Н.М. КАРАМЗИН

ПИСЬМА РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА


NICOLAI KARAMSIN.

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ



Н. М. КАРАМЗИН



ПИСЬМА РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА



ИЗДАНИЕ ПОДГОТОВИЛИ
Ю. М. ЛОТМАН, Н. А. МАРЧЕНКО,
Б. А. УСПЕНСКИЙ

ЛЕНИНГРАД
«НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1984

Ответственный редактор
Д. С. ЛИХАЧЕВ

К $\frac{4702010100\text{-}513}{042\ (02)\text{-}84}$ Без объявления.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

‹1›

Тверь, 18 Маия 1789.

Расстался я с вами, милые, расстался! Сердце мое [1] привязано к вам всеми нежнейшими своими чувствами,[1] а я беспрестанно от вас удаляюсь и буду удаляться! [2]

О сердце, сердце! кто знает, чего ты хочешь? — Сколько лет путешествие было приятнейшею мечтою моего воображения? Не в восторге ли сказал я самому себе: наконец ты поедешь? Не в радости ли [3] просыпался всякое утро? [3] Не с удовольствием ли засыпал, думая: ты поедешь? Сколько времени не мог ни о чем [4] думать, ничем заниматься, кроме путешествия? Не считал ли дней и часов? [5] Но — когда пришел желаемый день,[5] я стал грустить, вообразив [6] в первый раз живо, что мне надлежало расстаться с любезнейшими для меня людьми в свете, и со всем, что, так сказать, входило в состав [7] нравственного бытия моего.[7] На что ни смотрел — на стол, где несколько лет изливались на бумагу незрелыя мысли и чувства мои — на окно, под которым [8] сиживал я подгорюнившись в припадках своей меланхолии, и где так часто заставало меня восходящее солнце — на готической дом, любезный предмет глаз моих в часы ночные — одним словом, все, что попадалось мне в глаза, было для меня драгоценным памятником прошедших лет моей жизни, не обильной делами, но за то мыслями и чувствами обильной. [9] С вещами бездушными [9] прощался я как [10] с друзьями; и в самое то время, как был размягчен,[10] растроган, пришли люди мои, начали плакать и просить меня, чтобы я [11] не забыл их, и взял [11] опять к себе, когда возвращуся.[12] Слезы заразительны, мои милые, а особливо в таком случае.

Но вы мне всего любезнее, и с вами надлежало расстаться. Сердце мое так много чувствовало, что я говорить забывал. Но что вам сказывать! — Минута, в которую мы прощались, была такова, что тысячи приятных минут в будущем едва ли мне за нее заплатят.

Милой Птрв.[13] провожал меня до заставы. Там обнялись мы с ним, [14] и еще в первый раз [14] видел я слезы его; — там сел я в кибитку, взглянул [15] на Москву, где оставалось для меня столько любезного, [16] и

сказал: [16] *прости!* Колокольчик [17] зазвенел, [18] лошади помчались... и друг ваш осиротел в мире, осиротел в душе своей! [18]

Все прошедшее есть сон и тень: [19] ах! где, где часы,[19] в которые так хорошо бывало сердцу моему посреди вас, милые? — Естьли бы [20] человеку, самому благополучному, вдруг открылось будущее,[20] то замерло бы сердце его [21] от ужаса, и язык его онемел бы [21] в самую ту минуту,[22] в которую он думал [23] назвать себя [24] щастливейшим из смертных!..[24]

Во всю дорогу не приходило мне в голову ни одной радостной мысли; а на последней станции к Твери грусть моя так усилилась, что я, в деревенском трактире, стоя перед каррикатурами Королевы Французской и Римского Императора, [25] хотел бы, как говорит Шекспир, *выплакать сердце свое.*[25] Там-то все оставленное мною явилось [26] мне в таком трогательном виде — — Но полно, полно! Мне опять становится чрезмерно грустно. — Простите! [27] Дай Бог вам утешений! — Помните друга, но без всякого горестного чувства! [27]

‹2›

С. Петербург, 26 Маия 1789.

Прожив здесь пять дней, друзья мои, через час [1] поеду в Ригу.[1]

В Петербурге я не веселился. Приехав [2] к своему Д**,[2] нашел его в крайнем унынии. Сей достойный, любезный человек *[3] открыл мне [4] свое сердце: оно чувствительно — он нещастлив!..[4] «Состояние мое совсем твоему противоположно, сказал он со вздохом: главное твое желание исполняется: ты едешь наслаждаться, веселиться; а я поеду искать смерти, которая одна может [5] окончить мое страдание».[5] Я не смел утешать его, и довольствовался одним [6] сердечным участием [6] в его горести. Но не думай, мой друг — сказал я ему — чтобы ты видел перед собою человека, довольного своею судьбою; приобретая одно, лишаюсь другого, и жалею. — Оба мы вместе от всего сердца жаловались на нещастный жребий человечества, или молчали. По вечерам прохаживались в Летнем саду, и всегда больше думали, нежели говорили; каждый о своем думал. До обеда бывал я на бирже, чтобы видеться с знакомым своим Англичанином, через которого надлежало мне получить вексели. Там, смотря на корабли, [7] я вздумал-было [7] ехать водою, в Данциг, в Штетин или в Любек, [8] чтобы скорее быть в Германии.[8] Англичанин мне то же советовал, и сыскал Капитана, которой через несколько дней хотел плыть в Штетин. Дело, казалось, было с концом; однакожь вышло не так. [9] Надлежало объявить мой паспорт в Адмиралтействе; но там не хотели надписать его, потому что [9] он дан из Московского,

* Его уже нет в здешнем свете.

а не из Петербургского Губернского Правления, [10] и что в нем не сказано, как я поеду; то есть, не сказано, что поеду [10] морем. Возражения мои [11] не имели успеха [11] — я не знал порядка, и мне оставалось ехать сухим путем, или взять другой паспорт в Петербурге. Я решился на первое; [12] взял подорожную — и лошади готовы.[12] И так простите, любезные друзья! Когда-то будет мне веселее! А до сей минуты [13] все грустно. Простите!

‹3›

Рига, 31 Маия 1789.

Вчера, любезнейшие друзья мои, приехал я в Ригу, и остановился в Hôtel de Petersbourg.* Дорога меня измучила.[1] Не довольно было сердечной грусти, которой причина вам известна:[2] надлежало еще итти сильным дождям; [3] надлежало, чтобы я вздумал, к нещастью, ехать из Петербурга *на перекладных*,[3] и нигде не находил хороших кибиток. Все меня сердило. Везде, казалось,[4] брали с меня лишнее; [5] на каждой перемене держали слишком долго.[5] Но нигде не было мне так горько, как в Нарве. Я приехал туда [6] весь мокрой, весь в грязи; на силу мог [6] найти купить две рогожи, чтобы сколько нибудь закрыться от дождя, и заплатил за них по крайней мере как за две кожи.[7] Кибитку дали мне негодную, лошадей скверных. Лишь только отъехали с полверсты, переломилась ось; [8] кибитка упала в грязь, и я с нею.[8] Илья мой поехал с ямщиком назад за осью, [9] а бедный ваш друг остался на сильном дожде. Этого еще мало: [9] пришел какой-то Полицейской, и начал шуметь, что кибитка моя стояла середи дороги. Спрячь ее в карман! сказал я с притворным равнодушием, и завернулся в плащ. Бог знает, каково мне было в эту минуту! [10] Все приятныя мысли о путешествии [10] затмились в душе моей. О естьли бы [11] мне можно было тогда [11] перенестись к вам, друзья мои! Внутренно проклинал я [12] то беспокойство сердца человеческого,[12] которое влечет нас от предмета к предмету, от верных удовольствий к неверным, как скоро первыя [13] уже не новы [13] — которое настроивает к мечтам наше воображение, и заставляет нас искать радостей [14] в неизвестности будущего! [14]

Есть всему предел; волна, [15] ударившись о берег,[15] назад возвращается, или, поднявшись высоко, опять вниз упадает — и в самый тот миг, как сердце мое стало полно, [16] явился хорошо одетый мальчик, лет тринадцати, и [16] с милою, сердечною улыбкою сказал мне по Немецки: «У вас изломалась кибитка? Жаль, очень жаль! Пожалуйте к нам —

---

* Петербургская гостиница (*франц.*). *Переводы, после которых указан язык оригинала, принадлежат редакции.*

[17] вот наш дом [17] — батюшка и матушка приказали вас просить к себе.» — Благодарю вас, государь мой! Только мне не льзя отойти от своей кибитки; к тому же я одет слишком по-дорожному, и весь мокр.[18] — «К кибитке приставим мы человека; а на платье дорожных кто смотрит? Пожалуйте, сударь, пожалуйте!» — — Тут улыбнулся он так убедительно, что я должен был стряхнуть воду [19] с шляпы своей — разумеется, для того, чтобы с ним итти.[19] Мы взялись за руки, и побежали бегом в большой каменный дом, где в зале первого этажа нашел я многочисленную семью, сидящую вокруг стола; хозяйка разливала чай и кофе. Меня приняли так [20] ласково, потчивали так сердечно, что [20] я забыл все свое горе. Хозяин, пожилой человек, у которого добродушие на лице написано, с видом искреннего участия расспрашивал меня о моем путешествии.[21] Молодой человек, племянник его, недавно возвратившийся из Германии, сказывал мне, как удобнее [22] ехать из Риги в Кенигсберг.[22] Я пробыл у них около часа. Между тем привезли ось, и все было готово. «Нет, еще постойте!» сказали мне — и хозяйка принесла на блюде три хлеба. «Наш хлеб, говорят, хорош: возьмите его». *Бог с вами!* примолвил хозяин, пожав мою руку: *Бог с вами!* — Я сквозь слезы благодарил его, и желал, чтобы он и впредь своим гостеприимством утешал печальных странников,[23] расставшихся с милыми друзьями. — Гостеприимство, священная добродетель, обыкновенная во дни юности рода человеческого, и столь редкая во дни наши! естьли я когда нибудь тебя забуду, то пусть забудут меня друзья мои! Пусть вечно буду [24] на земле странником [24] и нигде не найду второго Крамера! *[25] Простился со всею любезною семьею, сел в кибитку и поскакал, обрадованный находкою добрых людей! —

Почта от Нарвы до Риги называется Немецкою, для того, что Коммисары на станциях Немцы. Почтовые домы везде одинакие — низенькие, деревянные, разделенные на две половины: одна для проезжих,[26] а в другой живет сам Коммисар, у которого можно найти все нужное для утоления голода и жажды. [27] Станции маленькия; [27] есть по-двенадцати и десяти верст. Вместо ямщиков ездят отставные солдаты, из которых иные помнят Миниха; рассказывая сказки, забывают они погонять лошадей, [28] и для того приехал я сюда [28] из Петербурга не прежде, как в пятый день. На одной станции за Дерптом надлежало мне ночевать: Г. З**,[29] едущий из Италии, забрал всех лошадей. Я с полчаса говорил [30] с ним, и нашел в нем [31] любезного человека.[31] Он настращал меня песчаными Прусскими дорогами, и советовал лучше ехать через Польшу и Вену; однакож мне не хочется переменить своего плана. Пожелав ему щастливого пути, бросился я на постелю; но не мог заснуть до самого того времени, как Чухонец пришел мне сказать, что кибитка для меня впряжена.

Я не приметил никакой розницы между Эстляндцами и Лифляндцами, кроме языка и кафтанов: одни [32] носят черные, [33] а другие серые.[33]

---

* Один из моих приятелей, будучи в Нарве, читал Крамеру сие письмо — он был доволен — я еще больше!

Языки их [34] сходны; имеют в себе [34] мало собственного, много Немецких, и даже несколько Славянских слов. Я заметил, [35] что они все Немецкия слова смягчают в произношении: [35] из чего можно заключить, что слух их нежен; но видя их непроворство, неловкость и недогадливость, всякой должен думать, что они, [36] просто сказать,[36] глуповаты. Господа, с которыми удалось мне говорить, жалуются на их леность, и называют их сонливыми людьми, которые по воле [37] ничего не сделают: и так надобно, чтобы их очень неволили,[38] потому что они очень много работают, и мужик в Лифляндии, или в Эстляндии, приносит господину вчетверо более нашего Казанского или Симбирского.

Сии бедные люди, *работающие господеви со страхом и трепетом* во все будничные дни, за то уже без памяти веселятся в праздники, которых, правда, весьма не много по их Календарю. [39] Дорога усеяна корчмами, и все оне в проезд мой [39] были наполнены гулющим народом — праздновали Троицу.[40]

Мужики и господа [41] Лютеранского исповедания. Церкви их [42] подобны нашим,[42] кроме того, что наверху стоит не крест, а петух, который должен напоминать о падении Апостола Петра. Проповеди говорятся [43] на их языке; однакож Пасторы все знают по-Немецки.

Что принадлежит до местоположений, то в этой стороне смотреть не на что. Леса, песок, болота; нет ни больших гор, ни пространных долин. — Напрасно будешь искать и таких деревень, как у нас. В одном месте видишь два двора, в другом три, четыре, и церковь. Избы больше наших и разделены обыкновенно на две половины: в одной живут люди, [44] а другая служит хлевом.[44] — Те, которые едут не на почтовых, должны останавливаться в корчмах. Впрочем я почти совсем не видал проезжих: [45] так пуста эта дорога в нынешнее время.

О городах говорить много нечего, потому что я в них не останавливался. В Ямбурге, маленьком городке, известном по своим суконным фабрикам, есть изрядное каменное строение. Немецкая часть Нарвы, или собственно так называемая Нарва, состоит по большой части из каменных домов; другая, отделяемая рекою, называется Иван-город. В первой все на Немецкую стать, а в другой все на Рускую. Тут была прежде наша граница — о Петр, Петр!

Когда открылся мне Дерпт, я сказал: прекрасный городок! Там все праздновало и веселилось. Мущины и женщины ходили по городу обнявшись, и в окрестных рощах мелькали гулющия четы.[46] *Что город, то норов; что деревня, то обычай.* — Здесь-то живет брат нещастного Л** *[47]. Он главный Пастор, всеми любим, и доход имеет очень хороший. [48] Помнит ли он брата? [48] Я говорил об нем с одним Лифляндским дворянином, любезным, пылким человеком. «Ах, государь мой! [49] сказал он мне: [49] самое то, что одного прославляет и щастливит, делает другого злополучным. Кто, читая Поэму шестнадцатилетнего Л**, и все то, что

* Ленца, Немецкого Автора, который несколько времени жил со мною в одном доме. Глубокая меланхолия, следствие многих нещастий, свела его с ума; но в самом сумасшествии он удивлял нас иногда своими пиитическими идеями, а всего чаще трогал добродушием и терпением.

он писал до двадцати пяти лет, не увидит *утренней зари великого духа?* Кто не подумает: вот юный Клопшток, юный Шекспир? Но тучи [50] помрачили эту [51] прекрасную зарю, и солнце никогда не воссияло. *Глубокая* чувствительность, без которой Клопшток не был бы Клопштоком и Шекспир Шекспиром, погубила его. Другия обстоятельства, и Л* бессмертен!» [52] —

Лишь только въедешь в Ригу, увидишь, что это торговый город — много лавок, много народа — река покрыта кораблями и судами разных наций — биржа полна. Везде слышишь Немецкой язык — где-где Руской — и везде требуют не рублей, а талеров. [53] Город не очень красив; [53] улицы узки — но много каменного строения, и есть хорошие домы.

В трактире, где я остановился, хозяин очень услужлив: сам носил паспорт мой в Правление и в Благочиние, и сыскал мне извощика, который за тринадцать червонцев нанялся довезти меня до Кенигсберга, вместе с одним [54] Французским купцом, который нанял [54] у него в свою коляску [55] четырех лошадей; а я поеду [55] в кибитке. — Илью отправлю отсюда прямо в Москву.

Милые друзья! всегда, всегда о вас думаю, когда могу думать. Я еще не выехал из России, но давно уже в чужих краях, потому что давно с вами расстался.[56]

‹4›

Курляндская корчма, 1 Июня 1789.

Еще не успел я окончить [1] письма к вам, любезнейшие друзья, как лошади были впряжены, и трактирщик пришел сказать мне, что через полчаса запрут городския вороты. Надобно было дописать письмо, расплатиться, укласть чемодан и приказать кое-что Илье. [2] Хозяин воспользовался моим недосугом, и подал мне самый аптекарской счет; то есть, за одне сутки он взял с меня около девяти рублей! [2]

Удивляюсь еще, как я в таких торопях ничего не забыл в трактире. Наконец все было готово, и мы выехали из ворот. Тут простился я с добродушным Ильею — он к вам поехал, милые! — [3] Начинало смеркаться. Вечер был тих и прохладен. Я заснул крепким сном молодого путешественника, и не чувствовал, как прошла ночь.[3] Восходящее солнце разбудило меня лучами своими; [4] мы приближались [4] к заставе, [5] маленькому домику [5] с рогаткою. Парижской купец пошел со мною к Маиору, который [6] принял меня учтиво,[6] и после осмотра велел нас пропустить. Мы въехали в Курляндию — и мысль, что я уже вне отечества, производила в душе моей удивительное действие. На все, что попадалось мне в глаза, смотрел я с отменным вниманием,[7] хотя предметы сами по себе были весьма обыкновенны. Я чувствовал такую ра-

дость, какой со времени нашей разлуки, милые! еще не чувствовал. Скоро открылась Митава. Вид сего города некрасив, но для меня был привлекателен! Вот первый иностранный город, думал я — и глаза мои искали чего нибудь отменного, нового. На берегу реки Аа, через которую мы переехали на плоту, стоит дворец Герцога Курляндского, не малый дом, впрочем по своей наружности весьма не великолепный. Стекла почти везде выбиты или вынуты; и видно, что внутри комнат переделывают. Герцог живет [8] в летнем замке,[8] не далеко от Митавы. Берег реки покрыт лесом, которым сам Герцог исключительно торгует, и который составляет для него немалый доход. Стоявшие на карауле солдаты [9] казались инвалидами.[9] Что принадлежит до города, то он велик,[10] но не хорош. Домы почти все маленькие, и довольно неопрятны; улицы узки и худо вымощены; садов и пустырей много.

Мы остановились в трактире, который считается [11] лучшим в городе. Тотчас окружили нас Жиды с разными безделками. Один предлагал трубку, другой старый Лютеранской молитвенник и Готшедову Грамматику, третий зрительное стекло, и каждый хотел продать товар свой таким добрым господам за самую сходную цену.[12] Француженка, едущая с Парижским купцом, женщина лет в сорок пять, стала оправлять свои седые волосы перед зеркалом, а мы с купцом, заказав обед, пошли ходить по городу — видели, как молодой Офицер учил старых солдат, и слышали, как пожилая курносая Немка в чепчике бранилась [13] с пьяным мужем своим, сапожником! [13]

Возвратясь, обедали мы с добрым аппетитом, и после обеда имели время напиться кофе, чаю, и поговорить довольно. Я узнал от сопутника своего, что он родом Италиянец, но в самых молодых летах оставил свое отечество и торгует [14] в Париже; много путешествовал, и в Россию приезжал отчасти по своим делам, а отчасти [15] для того, чтобы узнать всю жестокость зимы; и теперь возвращается опять в Париж, где намерен навсегда остаться. — За все вместе заплатили мы в трактире по рублю с человека.

Выехав из Митавы, увидел я приятнейшия места. Сия земля гораздо лучше Лифляндии, которую не жаль проехать зажмурясь. Нам попались [16] Немецкие извощики [16] из Либау и Пруссии. Странные экипажи! Длинныя фуры цугом; лошади пребольшия, [17] и висящия на них гремушки производят несносный для ушей шум.[17]

Отъехав пять миль, остановились мы ночевать в корчме. [18] Двор хорошо покрыт; комнаты довольно чисты, и в каждой готова постеля для путешественников.[18]

[19] Вечер приятен.[19] В нескольких шагах от корчмы течет чистая река. Берег покрыт мягкою зеленою травою, и осенен в иных местах густыми деревами. Я отказался от ужина, [20] вышел на берег, и вспомнил [20] один Московской вечер, в который, гуляя с Пт. под Андроньевым монастырем, с отменным удовольствием [21] смотрели мы [21] на заходящее солнце. Думал ли я тогда, что ровно через год буду наслаждаться приятностями вечера в Курляндской корчме? [22] Еще другая мысль пришла мне в голову. Некогда начал-было я писать роман, и хотел в воображении объез-

дить точно те земли, в которыя теперь еду. В мысленном путешествии, выехав из России, остановился я ночевать в корчме: и в действительном то же случилось. Но в романе писал я, что вечер был самый ненастный; что дождь не оставил на мне сухой нитки, и что в корчме надлежало мне сушиться перед камином; а на деле вечер выдался самый тихий и ясный. Сей первый ночлег был нещастлив для романа: боясь, чтобы ненастное время не продолжилось и не обеспокоило меня в моем путешествии, сжег я его в печи, в благословенном своем жилище на Чистых Прудах. — Я лег на траве под деревом, вынул из кармана записную книжку, чернилицу и перо, и написал то, что вы теперь читали.

Между тем вышли на берег [23] два Немца, которые в особливой кибитке едут с нами до Кенигсберга;[23] легли подле меня на траве, [24] закурили трубки,[24] и от скуки начали бранить Руской народ. Я, перестав писать, хладнокровно спросил у них, были ли они в России далее Риги? Нет, отвечали они. А когда так, государи мои, сказал я, то вы не можете судить [25] о Руских, побывав только в пограничном городе.[25] Они [26] не рассудили за благо [27] спорить, но долго не хотели признать меня Руским, воображая, что мы не умеем говорить иностранными языками.[27] Разговор продолжался. Один из них сказал мне, что он имел щастие быть в Голландии, и скопил там много полезных знаний. «Кто хочет узнать свет, говорил он, тому надобно ехать в Роттердам. Там-то живут славно, и все гуляют на шлюпках! Нигде не увидишь того, что там увидишь. Поверьте мне, государь мой, что в Роттердаме я сделался [28] человеком!» — Хорош гусь! думал я — [29] и пожелал им доброго вечера.[29]

‹5›

Поланга,[1] 3/14 Июня 1789.

Наконец, проехав Курляндиею более двух сот верст, въехали мы в Польския границы, и остановились ночевать в богатой корчме. В день переезжаем обыкновенно десять миль, или верст семдесят. В корчмах находили мы по сие время, что пить и есть: [2] суп, жареное [2] с салатом, яицы; и за это платили [3] не более, как копеек по двадцати с человека. Есть везде кофе и чай; правда, что все не очень хорошо. — Дорога довольно пуста. Кроме извощиков,[4] которые нам раза три попадались, и старомодных берлинов, в которых [5] Дворяне Курляндские [5] ездят друг к другу в гости, не встречались [6] никакие проезжие. Впрочем дорога не скучна; везде видишь плодоносную землю, луга, рощи; там и сям маленькия деревеньки, или врозь рассеянные крестьянские домики.[7]

С Французским Италианцом мы ладим. К Французенке у меня не лежит сердце, для того что ея физиогномия и ухватки мне не нравятся. Впрочем можно ее похвалить за опрятность. Лишь только остановимся,

извощик наш Гаврила, которого она зовет Габриелем, должен нести за нею в горницу уборный ларчик ея, и по крайней мере час она помадится, пудрится, притирается,[8] так что всегда надобно ее дожидаться к обеду. Долго советовались мы, сажать ли с собою за стол Немцов. Мне поручено было узнать их состояние. Открылось, [9] что они купцы.[9] Все сомнения исчезли, и с того времени они с нами обедают; а как Италиянец с Французенкою не разумеют по-Немецки, а они по-Французски, то я [10] должен служить [10] им переводчиком. Немец, который в Роттердаме стал человеком, уверял меня, что он прежде совершенно знал Французской язык, и забыл его весьма недавно; а чтобы еще больше уверить в этом меня и товарища своего, то при всяком поклоне Французенке говорит он: [11] *оплише, Матам!* obligé, Madame! * [11]

На Польской границе [12] осмотр был не строгой.[12] Я дал приставам [13] копеек сорок: после чего они только заглянули в мой чемодан, веря,[14] что у меня нет ничего нового.

Море от корчмы не далее двух сот сажен. Я около часа сидел на берегу, и смотрел на пространство волнующихся вод. Вид величественный и унылый! Напрасно глаза мои искали корабля или лодки! Рыбак не смел показаться на море; порывистый ветр опрокинул бы [15] челн его.[15] — Завтра будем обедать в Мемеле, откуда отправлю к вам это письмо, друзья мои!

‹6›

Мемель, 15 Июня,[1] 1789.

Я ожидал, что при въезде в Пруссию на самой границе нас остановят; однакож этого не случилось. Мы приехали в Мемель в одиннадцатом часу, [2] остановились в трактире — и дали несколько грошей осмотрщикам, чтобы они не перерывали наших вещей.[2]

Город не велик; есть каменныя строения, но мало порядочных. Цитадель очень крепка; однакож наши Руские умели взять ее в 57 году.[3]

Мемель можно назвать хорошим торговым городом. Курляндской Гаф, на котором он лежит, очень глубок. Пристань наполнена разными судами, которыя грузят по большой части пенькою и лесом для отправления в Англию и Голландию.[3]

Из Мемеля в Кенигсберг три пути; по берегу Гафа считается до Кенингсберга 18 миль, а через Тильзит 30: большая розница! Но извощики [4] всегда почти [4] избирают сей последний путь, жалея своих лошадей, которых весьма утомляют ужасные [5] пески набережной дороги. [6] Все они [6] берут здесь билеты, [7] платя за каждую лошадь и за каждую

* к Вашим услугам, мадам! (*франц.*)

милю до Кенигсберга.[7] Наш [8] Габриель заплатил три талера,[8] сказав, что он поедет берегом. Мы же в самом деле едем через Тильзит; [9] но Руской человек смекнул, что за 30 миль взяли бы с него более, нежели за 18! [9] Третий путь [10] водою через Гаф,[10] самый кратчайший в хорошую погоду, так что в семь часов можно быть в Кенигсберге. Немцы наши, которые наняли извощика только до Мемеля, едут водою: что им обоим будет стоить только два червонца. Габриель уговаривал [11] и нас с Италиянцом — с которым обыкновенно говорит он или знаками, или через меня [11] — ехать с ними же: что было бы для него весьма выгодно; но мы предпочли покойное и верное беспокойному и неверному, а в случае бури и опасному.[12]

[13] За обедом ели мы живую, вкусную рыбу,[13] которою Мемель изобилует; а как нам сказали, что Прусския корчмы очень [14] бедны, то мы запаслись здесь хорошим хлебом и вином.[3]

Теперь, милые друзья, [15] время отнести письмо на почту; у нас лошадей впрягают.[15]

[16] Что принадлежит до моего сердца.... благодаря судьбе! [16] оно стало повеселее. То думаю о вас, моих милых — но не с такою уже горестию, как прежде — то даю волю глазам своим бродить [17] по лугам и полям,[17] ничего не думая; то воображаю [18] себе будущее, и почти всегда в приятных видах. — Простите! Будьте здоровы, спокойны, и воображайте себе странствующего друга вашего *рыцарем веселого образа!* [19] —

‹7›

Корчма, в миле за Тильзитом,
[1] 17 Июня 1789, 11 часов ночи.[1]

Все вокруг меня спит. Я и сам-[2] было лег [2] на постелю; но около часа напрасно [3] ожидав сна, решился встать, засветить свечу и написать несколько строк к вам, [4] друзья мои! [4]

Я рад, что из Мемеля не согласился ехать водою. Места, через которыя мы проезжали, [5] очень приятны.[5] То обширныя поля с прекрасным хлебом, [6] то зеленые луга,[6] то маленькия рощицы и кусты, как будто бы в искусственной симметрии расположенные, представлялись глазам нашим. Маленькия деревеньки вдали составляли также приятный вид. Qu'il est beau, ce pays-ci! * твердили [7] мы с Италиянцом.[8]

Вообще, кажется, земля в Пруссии [9] еще лучше обработана, нежели в Курляндии, и в хорошие годы во всей здешней стороне хлеб бывает очень дешев; но в прошедший год урожай был так худ, что Правитель-

* Как прекрасна эта местность! (*франц.*)

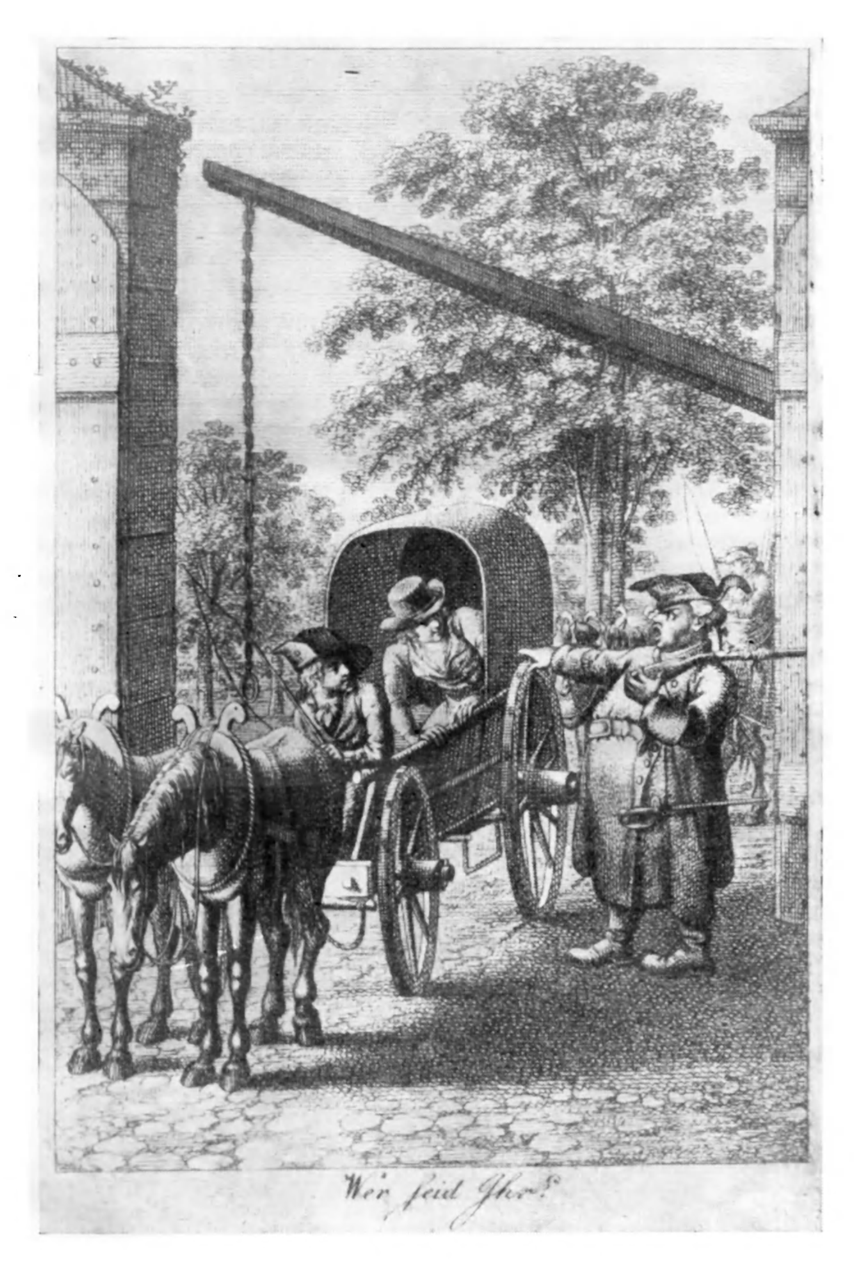


Иллюстрация к немецкому изданию «Писем русского путешественника».

ству надлежало довольствовать народ хлебом из заведенных магазинов. Пять, шесть лет хлеб родится хорошо; в седьмой год худо, и поселянину [10] есть нечего [10] — от того что он [11] всегда излишно надеется на будущее лето, не представляя себе ни засухи, ни града, и продает все сверх необходимого. — [12] Тильзит есть [12] весьма изрядно выстроенный городок и лежит [13] среди самых плодоноснейших долин на реке Мемеле. [14] Он производит знатный торг хлебом и лесом, отправляя все водою в Кенигсберг.[14]

Нас остановили у городских ворот, где стояли на карауле не солдаты, а граждане: для того, что полки, составляющие здешний гарнизон, не возвратились еще со смотру. [15] Толстой часовой,[15] у которого под брюхом [16] моталась маленькая шпажонка, подняв на плечо изломанное и веревками связанное ружье, с гордым видом сделал три шага вперед и престранным голосом закричал мне: Wer sind Sie? *Кто вы?* Будучи занят рассматриванием его необыкновенной физиогномии и фигуры, не мог я тотчас отвечать ему. Он надулся, искривил глаза и закричал еще страшнейшим голосом: Wer seyd ihr? * гораздо уже неучтивее! Несколько раз надлежало мне сказывать свою фамилию, и при всяком разе шатал он головою, дивясь чудному Рускому имени. С Италиянцом история была еще длиннее. Напрасно отзывался он незнанием Немецкого языка: толстобрюхой часовой непременно хотел, чтоб он отвечал на все его вопросы, вероятно с великим трудом наизусть вытверженные. Наконец я был призван в помощь,[17] и насилу добились мы до того, чтобы нас пропустили. — В городе показывали [18] мне башню, в разных местах простреленную Рускими ядрами.

В Прусских корчмах не находим мы ни мяса, ни хорошего хлеба. Француженка делает нам des oeufs au lait,** или Рускую яишницу, которая с молошным супом и салатом составляет наш обед и ужин. За то мы с Италиянцом [19] пьем в день чашек по десяти кофе, которое везде находили.[19]

Лишь только расположились мы в корчме, где теперь ночуем, услышали лошадиный топот, и через полминуты вошел человек в темном фраке, в пребольшой шляпе и с длинным хлыстом; подошел к столу, взглянул [20] на нас — на Француженку, занятую [21] вечерним туалетом; на Италиянца, рассматривавшего мою дорожную ландкарту, и на меня, пившего чай — скинул шляпу, пожелал нам доброго вечера, и оборотясь к хозяйке, которая лишь только показала лоб из другой горницы, сказал: «Здравствуй, Лиза! Как поживаешь?»

Лиза (сухая женщина лет в тридцать). А, Господин Поручик! Добро пожаловать! Откуда? откуда?

Поручик. Из города, Лиза. Барон фон М** писал ко мне, что у них [22] Комедианты. «Приезжай, брат, приезжай! Шалуны повеселят нас за наши гроши!» Чорт [23] меня возьми! [24] Естьли бы я знал, что за твари эти Комедианты, ни из чего бы не поехал.[24]

---

* Вы кто? (*нем.*)
** омлет (*франц.*)

Л и з а. И, ваше благородие! Разве вы не жалуете Комедии?

П о р у ч и к. О! я люблю все, что забавно, и переплатил в жизнь свою довольно полновесных талеров за Доктора Фауста с Ганс Вурстом.*

Л и з а. Ганс Вурст очень смешен, сказывают. — А что играли Комедианты, Господин Поручик?

П о р у ч и к. Комедию, в которой не было ничего смешного. Иной кричал, другой кривлялся, третий таращил глаза, а путного ничего не вышло.

Л и з а. Много было в Комедии, Господин Поручик?

П о р у ч и к. Разве мало дураков в Тильзите?

Л и з а. Господин Бургомистр с сожительницею [27] изволил ли быть там? [27]

П о р у ч и к. Разве он из последних? Толстобрюхой дурак зевал, а чванная супруга его беспрестанно терла себе глаза платком, как будто бы попал в них табак, и толкала его под бок, чтобы он не заснул и перестал пялить рот.

Л и з а. То-то насмешник!

П о р у ч и к. (*Садясь и кладя свою шляпу нà стол подле моего чайника*). Um Vergebung, mein Herr! Простите,[28] государь мой! — Я устал, Лиза. Дай мне крушку пива. Слышишь ли?

Л и з а. Тотчас, Господин Поручик.

П о р у ч и к. (*вошедшему слуге своему*) Каспар! набей мне трубку. — (*Оборотясь* [29] *к Француженке*). Осмелюсь спросить [30] с моим почтением, жалуете ли вы табак?

Ф р а н ц у ж е н к а. Monsieur! — Qu'est ce qu'il demande, Mr. Nicolas! ** (*Так она меня называет*).

Я. S'il peut fumer.*** — Курите, курите, Г. Поручик. Я вам за нее отвечаю.

Ф р а н ц у ж е н к а. Dites qu'oui.****

П о р у ч и к. А! Мадам не говорит по-Немецки. Жалею, весьма жалею, Мадам. — Откуда едете, естьли смею спросить, государь мой?

Я. Из Петербурга, Господин Поручик.

---

* Доктор Фауст, по суеверному народному преданию, есть [25] великой колдун, и по сие время бывает обыкновенно героем глупых пиэс, играемых в деревнях или в городах [26] на площадных Театрах *странствующими* Актерами.[26] В самом же деле Иоанн Фауст жил, как честной гражданин, во Франкфурте на Майне, около средины пятого-надесять века; и когда Гуттенберг, Майнцкой уроженец, изобрел печатание книг, Фауст вместе с ним пользовался выгодами сего изобретения. По смерти Гуттенберговой Фауст взял себе в помощники своего писаря, Петра Шопффера, который искусство книгопечатания довел до такого совершенства, что первыя вышедшия книги привели людей в изумление; и как простолюдины того века приписывали действию сверх-естественных сил все то, чего они изъяснить не умели, то Фауст провозглашен был сообщником дьявольским, которым он слывет и поныне между чернию и в сказках. — А Ганс Вурст значит на площадных Немецких Театрах то же, что у Италиянцов Арлекин.

** Сударь! — О чем он спрашивает, мосье Никола? (*франц.*)

*** Можно ли ему курить (*франц.*)

**** Скажите, что да (*франц.*)

Поручик. Радуюсь, радуюсь, государь мой. Что слышно о Шведах, о Турках?

Я. Старая песня, Г. Поручик: и те и другие бегают от Руских.

Поручик. Чорт меня возьми! Руские стоят крепко. — Скажу вам по приязни, государь мой, что естьли бы Король мой не отговорил мне, то давно бы я был не последним Штаб-Офицером в Руской службе. У меня везде не без друзей. На пример, племянник мой служит старшим Адьютантом [31] у Князя Потемкина.[31] Он ко мне обо всем пишет. Постойте — я покажу вам [32] письмо его.[32] Чорт меня возьми! я забыл [33] его дома. Он описывает мне взятие Очакова. Пятнадцать тысяч легло на месте, государь мой, пятнадцать тысяч!

Я. Не правда, Г. Поручик.

Поручик. Не правда? (*с насмешкою.*) Вы конечно сами там были?

Я. Хоть и не был, однакожь знаю, что Турков убито около 8000, а Руских 1500.

Поручик. О! я не люблю спорить, государь мой; а что знаю, то знаю. (*Принимаясь за кружку, которую между тем принесла ему хозяйка*). Разумеете ли, государь мой?

Я. Как вам угодно, Г. Поручик.

Поручик. Ваше здоровье, государь мой! — Ваше здоровье, Мадам! — (*Италиянцу*). Ваше здоровье! — Пиво изрядно, Лиза. — Послушайте, государь мой! — Теперь вы называете меня Господином Поручиком: для чего? [34]

Я. Для того,[35] что хозяйка вас так называет.

Поручик. [36] Скажите, от того, что я (*надев шляпу*) поклонился моему Королю — и безвременно пошел в отставку.[36] А то теперь говорили бы вы мне (*приподняв шляпу*): «Господин Маиор, здравствуйте!» (*Допивая кружку*) Разумеете ли? Чорт меня возьми, естьли я не по уши влюбился [37] в свою Анюту! Правда, что она была как розовая пышка! И теперь еще не худа,[38] государь мой, даром что уже четверых принесла мне. — Лиза! скажи, какова моя Анюта?

Лиза. И, Г. Поручик! как будто вы сами этого не знаете! — Чего говорить, что пригожа! — Скажу вам смех, Г. Поручик. Как вы на Святой неделе вечером проехали в город, ночевал у меня молодой господин из Кенигсберга — правду сказать, барин добрый, и заплатил мне честно за всякую безделку. Кушать он много не спрашивал — —

Поручик. Ну где же смех, Лиза?

Лиза. Так этот добрый господин стоял на крыльце, и увидел Госпожу Поручицу, которая сидела в коляске на правой стороне — так ли, Господин Поручик?

Поручик. Ну что же он сказал?

Лиза. То-то баба! сказал он — ха! ха! ха!

Поручик. Видно, он не глуп был — ха! ха! ха!

Я. И так любовь заставила вас итти в отставку, Г. Поручик?

Поручик. Проклятая любовь, государь мой. — Каспар, трубку! — Правда, я надеялся на хорошее приданое. Мне сказали, что у старика фон Т* золотыя горы. Девка добра, думал я: дай женимся! Старик рад

был выдать за меня дочь свою; только она никак не хотела итти за служивого. «Мамзель Анюта! сказал я: [39] люблю тебя как душу; [39] только люблю и службу Королевскую». На миленьких ея глазенках навернулись слезы. Я топнул ногою, и — пошел в отставку. Что же вышло! На другой день после свадьбы любезной мой тестюшка, вместо золотых гор, наградил меня тремя сотнями талеров. Вот тебе приданое! — Делать было нечего, государь мой. Я поговорил с ним крупно, а после за бутылкою старого Реинского вина заключил вечный мир. Правду сказать, старик был добросердечен — помяни Бог его душу! Мы жили дружно. Он умер на руках моих, и оставил нам в наследство дворянской дом. —

Но перервем разговор,[40] который занял уже слишком две страницы, и начинает утомлять серебряное перо мое.* [41] Словоохотный Поручик до десяти часов наговорил с три короба, которых я, жалея Габриелевых лошадей, не возьму с собою. Между прочим, услышав, что я из Кенигсберга поеду [42] в публичной коляске,[42] советовал мне 1) занять место в средине, и 2) естьли будут со мной дамы, потчивать их во всю дорогу чаем и кофе. В заключение желал, чтобы я путешествовал с пользою, так как известный Барон Тренк, с которым он будто бы очень дружен. — Господин Поручик, всунув свою трубку в сапог, [43] сел на коня и пустился во всю прыть, закричав мне: *щастливый путь, государь мой!* [43]

[44] Чего не напишешь в минуты бессонницы! [44] — Простите до Кенигсберга! —

‹8›

Кенигсберг, Июня 19,[1] 1789.

Вчера, в семь часов утра, приехал я сюда, любезные друзья мои, и стал, вместе с своим сопутником, в трактире у Шенка.[2]

Кенигсберг, столица Пруссии, есть один из больших городов в Европе, будучи в окружности около пятнадцати верст. Некогда был он в числе славных *Ганзейских* [3] городов. И ныне коммерция его довольно важна. Река Прегель, на которой он лежит, хотя не шире 150 или 160 футов, однакожь так глубока, что большия купеческия суда могут [4] ходить по ней.[4] Домов считается около 4000, а жителей 40 000 — как мало по величине [5] города! [6] Но теперь он кажется многолюдным,[6] потому что множество людей собралось сюда на ярманку, которая начнется с завтрашнего дня. Я видел довольно [7] хороших домов, но не видал таких огромных, как в Москве или в Петербурге, хотя вообще Кенигсберг выстроен едва ли не лучше Москвы.

Здешний гарнизон так многочислен, что везде попадаются в глаза мундиры. Не скажу, чтобы Прусские солдаты были одеты лучше наших;

---

* Все свои замечания писал я в дороге серебряным пером.

а особливо не нравятся мне их [8] двуугольныя шляпы.[8] Что принадлежит до Офицеров, то они очень опрятны, а жалованья получают, выключая Капитанов, малым чем более наших. Я слыхал, будто [9] в Прусской службе нет таких молодых Офицеров, как у нас; [10] однакож видел здесь по крайней мере десять пятнадцатилетних.[10] Мундиры синие, голубые и зеленые с красными, белыми и оранжевыми отворотами.

Вчера обедал я за общим столом, где было старых Маиоров, толстых Капитанов, осанистых Поручиков, [11] безбородых Подпоручиков и Прапорщиков [11] человек с тридцать. Содержанием громких разговоров был прошедший смотр. [12] Офицерския шутки [12] также со всех сторон сыпались. На пример: «Что за причина, Г. Ритмейстер, что у вас ныне и днем окна закрыты? Конечно вы не письмом занимаетесь? ха! ха! ха!» — «То-то фон Кребс! Все знает, что у меня делается!» — и проч. и проч. Однакож они учтивы. Лишь только наша Француженка показалась, все встали, и за обедом служили ей [13] с великим усердием.[13] — Как бы то ни было, только в другой раз рассудил я за-благо обедать один в своей комнате, растворив окна в сад, откуда лились в мой Немецкой суп ароматическия испарения сочной зелени.

Вчерась же после обеда был я у славного Канта, глубокомысленного, тонкого Метафизика, который опровергает и Малебранша и Лейбница, и Юма и Боннета — Канта, которого Иудейской Сократ, покойный Мендельзон, иначе не называл, как der alles zermalmende Kant, т. е. *все сокрушающий Кант*. Я не имел к нему писем; но смелость города берет — и мне отворились двери в кабинет его. Меня встретил маленькой, худенькой старичек, отменно белый и нежный. Первыя слова мои были: «Я Руской Дворянин, [14] люблю великих мужей, и желаю изъявить мое почтение Канту».[14] Он [15] тотчас попросил [15] меня сесть, говоря: «Я писал такое, [16] что не может нравиться всем; не многие любят метафизическия тонкости».[16] С полчаса говорили мы о разных вещах: о путешествиях, о Китае, об открытии новых земель. Надобно было удивляться его историческим и географическим знаниям, которыя, казалось, могли бы одни загромоздить магазин человеческой памяти; но это у него, как Немцы говорят, *дело постороннее*. [17] Потом я [17] не без скачка, обратил разговор [18] на природу и нравственность человека; и вот что мог удержать в памяти [18] из его рассуждений: [19]

«Деятельность есть наше определение. Человек не может быть никогда совершенно доволен обладаемым, и стремится всегда к приобретениям. Смерть застает нас [20] на пути к чему нибудь, что мы еще иметь хотим.[20] Дай человеку все, [21] чего желает; [21] но он в ту же минуту почувствует, что это *все* не есть *все*. Не видя цели или конца стремления нашего в здешней жизни, полагаем мы будущую, где узлу надобно развязаться. Сия мысль тем приятнее для человека, что здесь нет никакой соразмерности между радостями и горестями, между наслаждением и страданием. Я [22] утешаюсь тем,[22] что мне уже шестьдесят лет, и что скоро придет конец жизни моей: [23] ибо надеюсь вступить в другую, лучшую.[23] Помышляя о тех услаждениях, которыя имел я в жизни, не чувствую теперь удовольствия; но представляя себе те случаи, [24] где действо-

вал сообразно с *законом нравственным,* начертанным у меня в сердце, радуюсь. Говорю о *нравственном законе:* [24] назовем его совестию, чувством добра и зла — но он *есть.* Я солгал; никто не знает лжи моей, но мне стыдно. — Вероятность не есть очевидность,[25] когда мы говорим о будущей жизни; но, сообразив [26] все, рассудок велит нам [27] верить ей.[27] Да и что бы с нами было, когда бы мы, так сказать, [28] *глазами увидели ее?* [28] Естьли бы она нам очень полюбилась, [29] мы бы не могли уже [29] заниматься нынешнею жизнию и были бы [30] в беспрестанном томлении; а в противном случае не имели бы [31] утешения сказать себе в горестях здешней жизни: *авось там будет лучше!* — Но говоря о нашем определении, о жизни будущей и проч. [32] предполагаем уже [32] бытие Всевечного Творческого разума, все для чего нибудь, и все благо творящего.[33] Что? Как?... Но здесь первый мудрец признается в своем невежестве. Здесь разум [34] погашает светильник свой, и мы во тьме остаемся; одна фантазия может носиться во тьме сей и творить несобытное».[34] — Почтенный муж! прости, естьли в сих строках обезобразил я мысли твои! [35]

Он знает Лафатера, и переписывался с ним. «Лафатер [36] весьма любезен [36] по доброте своего сердца, говорит он: но имея чрезмерно живое воображение, часто ослепляется мечтами, верит [37] Магнетизму и пр.» [37] — Коснулись до его неприятелей. «Вы их узнаете, сказал он, и увидите, что они все добрые люди.»

Он записал мне титулы двух своих сочинений, которых я не читал: [38] Kritik der praktischen Vernunft и Metaphisik der Sitten * — и сию записку буду хранить как священный памятник.[39]

Вписав в свою карманную книжку мое имя, пожелал он, чтобы решились все мои сомнения; [40] потом мы [40] с ним расстались.[39]

Вот вам, друзья мои, краткое описание весьма любопытной [41] для меня беседы, которая продолжалась около трех часов. — Кант говорит скоро, [42] весьма тихо [42] и не вразумительно; и потому надлежало мне слушать его с напряжением всех нерв слуха. Домик у него маленькой, и внутри приборов не много. Все просто, [43] кроме... его Метафизики.[43]

Здешняя кафедральная [43а] церковь огромна. С великим примечанием рассматривал я там древнее оружие, латы и шишак [44] благочестивейшего из [44] Маркграфов Бранденбургских и храбрейшего из рыцарей своего времени. Где вы — думал я — где вы, мрачные веки, веки варварства и героизма? Бледныя тени ваши ужасают робкое просвещение наших дней. Одни сыны вдохновения дерзают вызывать их из бездны минувшего — подобно Улиссу, зовущему тени друзей [45] из мрачных жилищ смерти — чтобы в унылых песнях своих сохранять память чудесного изменения народов. — Я мечтал около часа, прислонясь к столбу. — На стене изображена Маркграфова беременная супруга, которая, забывая свое состояние, бросается на колени и с сердечным усердием молит Небо о сохранении

* «Критика практического разума» *и* «Метафизика нравов» (*нем.*)

жизни Героя, идущего побеждать [46] врагов. Жаль, что здесь искусство не соответствует трогательности предмета! — Там же видно множество разноцветных знамен, трофеев Маргграфовых.[47]

Француз, [48] наемный лакей, провожавший меня, уверял,[48] что оттуда есть подземной [49] ход за город в старую церковь, до которой будет около двух миль, и показывал мне маленькую дверь с лестницею, которая ведет [50] под землю. Правда ли это или нет, не знаю; но знаю то, что [51] в средние веки [51] на всякой случай прокапывали [52] такие ходы,[52] чтобы сохранять богатство [53] и жизнь от руки сильного.[54]

Вчера ввечеру простился я с своим товарищем, господином Ф***, которого приязни не забуду никогда. Не знаю, как ему, а мне грустно было с ним расставаться. Он с Француженкою поехал в Берлин, где, может быть, еще увижу [55] его.

Ныне был я у нашего Консула, Господина И***, который принял меня ласково.[56] Он рассказывал мне [57] много кое-чего,[57] что я с удовольствием слушал; и хотя уже давно живет в Немецком городе, [58] и весьма хорошо говорит по-Немецки, однако же [58] ни мало не *обгерманился*, и сохранил в целости Руской характер. Он дал мне письмо [59] к Почтмейстеру, в котором просил его отвести мне лучшее место в почтовой коляске.[59]

Вчера судьба познакомила меня с одним [60] молодым Французом,[60] который называет себя искусным зубным лекарем. Узнав, что в трактир к Шенку приехали иностранцы — ему сказали, Французы — явился он к Господину Ф*** с ношею комплиментов. Я тут был — и так мы познакомились. «В Париже есть мне равные в искусстве, сказал он: для того не хотел я там остаться, поехал в Берлин, перелечил, перечистил Немецкие зубы; но я имел дело с великими скрягами, [61] и для того — уехал из Берлина.[61] Теперь еду в Варшаву. Польские господа, слышно, умеют ценить достоинства и таланты: попробуем, полечим, почистим! А там отправлюсь [62] в Москву — в ваше отечество, государь мой, где конечно найду умных людей более, нежели где нибудь.» — Ныне, когда я только-что управился с своим обедом, пришел он ко мне с бумагами, и сказав, что узнает людей с первого взгляду, и что имеет уже ко мне полную доверенность, начал [63] читать мне... трактат [63] о зубной болезни.[64]

Между тем, как он читал, наемный лакей пришел сказать мне, что в другом трактире, обо двор, остановился Руской курьер, Капитан Гвардии. Allons le voir!* сказал Француз, спрятав [65] в карман свой трактат. Мы пошли вместе — и вместо Капитана нашел я Вахмистра конной Гвардии, Господина *** молодого любезного человека, который едет [66] в Копенгаген. Он еще в первый раз послан курьером, и не знает по-Немецки: [67] чему Прусские Офицеры, [68] окружившие нас на крыльце, весьма

---

* Пойдем, посетим его! (*франц.*)

дивились.[68] В самом деле не удобно[69] ездить по чужим землям, зная только один Французской язык, которым не все говорят. — В то время, как мы разговаривали, один из стоявших на крыльце получил письмо из Берлина, в котором пишут к нему, что близь сей столицы разбили почту, зарезали постиллиона[70] и отняли несколько тысяч талеров: неприятная весть для тех, которые туда едут![71] — Я пожелал земляку своему щастливого пути.[72]

В старинном замке, или во дворце, построенном на возвышении, осматривают путешественники цейггауз и библиотеку, в которой вы найдете несколько фолиантов и квартантов, окованных серебром. Там же есть так называемая *Московская*[73] *зала*, длиною во 166 шагов, а шириною в 30, которой свод сведен без столбов, и где показывают старинный осьмиугольный стол, ценою в 40 000 талеров. Для чего сия зала называется Московскою, не мог узнать. Один сказал, будто для того, что тут некогда сидели Руские пленники; но это не очень вероятно.[74]

Здесь есть изрядные сады, где можно с удовольствием прогуливаться. В больших городах [75] весьма нужны народныя гульбища.[75] Ремесленник, художник, ученый отдыхает на чистом воздухе по окончании своей работы, не имея нужды итти за город. К тому же испарения садов освежают и чистят [76] воздух, который в больших городах всегда бывает наполнен гнилыми частицами.[76]

Ярманка начинается. Все наряжаются в лучшее [77] свое платье, и толпа за толпою[77] встречается на улицах. Гостей принимают на крыльце, где подают чай и кофе.[74]

Я уже отправил свой чемодан на почту. Едущие в публичной коляске могут иметь 60 фунтов без платы; у меня менее шестидесяти.

Adieu!* Земляк мой Габриель, который, говоря его словами, не нашел еще работы, пришел сказать мне, что почтовая коляска скоро будет готова.

Я вас люблю так же, друзья мои, как и прежде; но разлука [78] не так уже для меня горестна.[78] Начинаю наслаждаться путешествием. Иногда, думая[79] о вас, вздохну; но легкой ветерок струит воду, [80] не возмущая светлости ея.[80] Таково сердце человеческое; [81] в сию минуту[81] благодарю Судьбу за то, что оно таково. — Будьте только благополучны, друзья мои, и никогда обо мне не беспокойтесь! В Берлине надеюсь получить от вас письмо.

---

* Прощайте! (*франц.*)

‹9›

Мариенбург, 21 Июня,[1] ночью.

[2]Прусская, так называемая почтовая коляска совсем не похожа на коляску.[2] Она есть не что иное, как длинная покрытая фура с двумя лавками, без ремней и без ресор. Я выбрал себе место [3] на передней лавке.[3] У меня [4]было двое товарищей, Капитан и Подпоручик,[4] которые сели назади на чемоданах.[5] Я думал, что мое место выгоднее; но последствие доказало, что выбор их был лучше моего. Слуга Капитанской и так называемый Ширмейстер, или проводник,[6] сели к нам же в коляску на другой лавке. Печальныя мысли, которыми голова моя наполнилась при готическом виде нашего экипажа, скоро рассеялись. В городе видел я везде приятную картину праздника — везде веселящихся людей; Офицеры мои были весьма учтивы, и разговор, начавшийся между нами, довольно занимал меня. Мы говорили о Турецкой и Шведской войне, и Капитан от доброго сердца хвалил храбрость наших солдат, которые, по его мнению, *едва ли* хуже Прусских. [7]Он рассказывал анекдоты[7] последней войны, [8]которые все[8] относились к чести Прусских воинов. Ему крайне хотелось, [9]чтобы Королю[9] мир наскучил. «Пора снова драться, говорил он: солдаты наши пролежали бока; нам нужна экзерциция, экзерциция!» Миролюбивое мое сердце оскорбилось. [10]Я вооружился против войны всем своим красноречием, описывая ужасы ея: [10] стон, вопль нещастных жертв, кровавою рекою на тот свет уносимых; опустошение земель, тоску отцов и матерей, жен и детей, друзей и сродников; сиротство М у з, [11]которыя скрываются[11] во мрак, подобно как в бурное время [12]бедныя малиновки и синички по кустам прячутся, и пр.[12] Немилостивый мой Капитан смеялся и кричал: «Нам нужна экзерциция, экзерциция!» Наконец я приметил, что взялся за работу Данаид; замолчал и обратил все свое внимание [13]на приятныя окрестности дороги. Постиллион наш не жалел лошадей;[13] и таким образом не приметно доехали мы до перемены, где только-что имели время отужинать на скорую руку.[14]

Ночь была приятна. [15]Я несколько раз засыпал, но не надолго, и почувствовал[15] выгоду, которую имели мои товарищи. [16]Они могли лежать на чемоданах,[16] а мне надлежало дремать сидя. На рассвете приехали мы на другую станцию.[17] Чтобы сколько нибудь ободриться после беспокойной ночи, выпили мы с Капитаном чашек по пяти кофе — что в самом деле меня оживило.

Места пошли совсем не приятныя, а дорога худая. Гейлигенбейль, маленькой городок [18]в семи милях[18] от Кенигсберга, приводит на мысль времена язычества. Тут возвышался некогда величественный дуб, безмолвный свидетель рождения и смерти многих веков — дуб священный для древних обитателей сей земли. Под мрачною его тениюобожали они идола Курхо, приносили ему жертвы, и славили его в диких своих гимнах. Вечное мерцание сего естественного храма и шум листьев наполняли сердца ужасом, в которой жрецы язычества облекали Богопочитание. Так Друиды в густоте лесов скрывали свою Религию; так глас Греческих Ора-

кулов[19] исходил из глубины мрака! — Немецкие Рыцари в третьем-надесять веке, покорив мечем Пруссию, разрушили олтари язычества, и на их развалинах воздвигнули храм Христианства. Гордый дуб, почтенный старец в царстве растений, претыкание бурь и вихрей, пал под сокрушительною рукою победителей,[20] уничтожавших все памятники идолопоклонства: жертва невинная! — Суеверное предание говорит, что долгое время не могли срубить дуба; что все топоры отскакивали от толстой коры его, как от жесткого алмаза; но что наконец сыскался один топор, который разрушил очарование, отделив дерево от корня; и что в память победительной секиры назвали сие место Heiligenbeil, т. е. *секира Святых.* [21] Ныне эта *секира Святых* славится каким-то отменным пивом и белым хлебом.[21]

Браунсберг, [22] где мы обедали и в третий раз переменяли лошадей,[22] есть довольно многолюдный городок.[23]

Здесь жил и умер Коперник, сказал мне Капитан, когда мы проезжали через одно маленькое местечко. — «И так это Фрауенберг?» — Точно.

Как же досадно было мне, что я не мог видеть тех комнат, в которых жил сей славный Математик и Астроном, и где он, по своим наблюдениям и вычетам, определил движение земли вокруг ея оси и солнца — земли, которая, по мнению его предшественников, стояла неподвижно в центре Планет, и которую после [24] Тихо-де-Браге хотел-было[24] опять остановить, но тщетно! — И таким образом Пифагоровы идеи, над которыми смеялись Греки, верившие своим чувствам более,[25] нежели Философу, воскресли в системе Николая Коперника! [26] — Сей Астроном был щастливее Галилея: суеверие — хотя он жил еще под его скипетром — не заставило его клятвенно отрицаться [27] от учения истины.[27] Коперник умер спокойно в своем мирном жилище, но Тихо-де-Браге должен был оставить свой философской замок и отечество. Науки, подобно Религии, имели своих страдальцов. —

Перед вечером приехали мы в Эльбинг, небольшой, но торговый город, и весьма изрядно выстроенный, где стоят два или три полка. Почте надлежало тут пробыть более[28] часа. Мы пошли в трактир, где, кроме хозяина и гостей, все было довольно чисто. Выехав из Кенигсберга, еще не видал я порядочно одетого человека. Двое играли в биллиард: [29] один в зеленом кафтане, диком камзоле, и в сальном парике,[29] человек лет за сорок, а другой молодой человек в пестром кургузом фраке; [30] первый играл очень худо, и сердился: а другой[30] хотел над ним шутить, смеялся во все горло при каждом его промахе, поглядывал на нас и в зеркало, и оправлял беспрестанно свой [31] толстый, запачканный[31] галстук. Каррикатура за каррикатурою приходила в трактир, и всякая каррикатура требовала пива и трубки.[32] Мне было очень скучно. К тому же я чувствовал сильное волнение в крови от кофе и от тряского движения почтовой коляски.[33]

Вышедши садиться, нашли мы у коляски молодого Офицера и старую женщину, которые рекомендовались в нашу благосклонность, и объявили, что едут[34] с нами. Таким образом стало нам гораздо теснее. Офицеры

мои рады были новому товарищу, с которым могли они говорить о прошедшем смотре. Женщина, [35] родом из Шведской Померании,[35] услышав, что я Руской, подняла руки к небу [36] и закричала: *Ах злодеи! вы губите нашего бедного Короля!* Офицеры смеялись; и я смеялся, хотя не совсем от доброго сердца.[37]

Между тем прекрасный вечер настроил душу мою к приятным впечатлениям. На обеих сторонах дороги [38] расстилались богатые луга; воздух был свеж и чист; многочисленныя стада [38] блеянием и ревом своим праздновали захождение солнца. Крестьянки доили коров, вдыхая в себя целебный пар молока, которое составляет богатство всех тамошних деревень. Жители принадлежат, естьли не ошибаюсь, к секте Перекрестителей, Wiedertäufer. Хвалят их нравы, миролюбие и честность. Рука их не подымается на ближнего. Кровь человеческая, говорят они, вопиет на небо. — Тишина наступившей ночи сомкнула глаза мои.[39]

Теперь мы в Мариенбурге, где я имел время написать к вам столько страниц. Сей город достоин примечания [40] только тем, что [40] древний его замок был некогда столицею Великих Мастеров [41] Немецкого Ордена.[41] — От старой женщины, моей неприятельницы, мы здесь освободились; но место ея займет высокой Офицер, который теперь сидит подле меня, дожидаясь отправления почты. — Рассветало.[42] Простите! Из Данцига надеюсь еще что нибудь приписать.

‹10›

Данциг, 22 Июня,[1] 1789.

Проехав через предместие Данцига, остановились мы в Прусском местечке Штоценберге, лежащем на высокой горе сего имени. Данциг [2] у нас под ногами как на блюдечке, так что можно считать кровли. Сей прекрасно-выстроенный город, море, гавань, корабли в пристани [3] и другие, рассеянные по волнующемуся,[3] необозримому пространству вод — все сие вместе образует такую картину, любезнейшие друзья мои, [4] какой я еще не видывал в жизни своей, и на которую смотрел два часа в безмолвии,[4] в глубокой тишине, в сладостном забвении самого себя.

Но блеск сего города померк с некоторого времени. [5] Торговля, любящая свободу,[5] более и более сжимается и упадает от теснящей руки сильного. Подобно как монахи строжайшего [6] Ордена, встретясь друг с другом в унылой мрачности своих жилищ, вместо всякого приветствия умирающим голосом произносят: *помни смерть!* так жители сего города [7] в глубоком унынии взывают [7] друг ко другу: *Данциг! Данциг! где твоя слава?* — Король Прусской наложил чрезмерную пошлину на все товары, отправляемые отсюда в море, от которого Данциг лежит верстах в пяти или шести.

Шотландцы, которые присылают сюда [8]сельди свои,[8] пользовались в Данциге всеми правами гражданства, для того, что некогда Шотланец Доглас оказал городу важную услугу. Те из жителей, с которыми я говорил, не могли [9]мне сказать, в чем именно состояла услуга Догласова.[9] Такой знак благодарности делает честь сему городу.[10]

Я не знал, что почта пробудет здесь так долго; а то бы успел [11] осмотреть в Данциге некоторыя примечания достойныя вещи. Теперь уже поздно: хотят впрягать лошадей. Более всего хотелось бы мне видеть славную Эйхелеву картину, в главной Лютеранской церкви, представляющую страшный суд. Король Французской — не знаю, который — давал за нее 100 000 гульденов. — Хотелось бы мне видеть и Профессора Тренделенбурга, чтобы поблагодарить его за Греческую Грамматику, им сочиненную, которою я пользовался и впредь надеюсь пользоваться.*[12] — Огромнейшее здание в городе есть Ратуша.[14] Вообще все домы в пять этажей. Отменная чистота стекол украшает вид их.[15]

Данциг имеет собственныя деньги, которыя однакож вне города не ходят; и в самом городе Прусския предпочитаются.[15]

На запад от Данцига возвышаются три песчаныя горы, которых верхи гораздо выше городских башен; одна из сих гор есть Штоценберг. В случае осады неприятельския батареи могут оттуда разрушить город. На горе Гагелсберге был некогда разбойничий замок; эхо ужаса его далеко отзывалось в окрестностях. Там показывают могилу Руских, убитых в 1734 году, когда Граф Миних штурмовал город. Осажденные знали, с которой стороны будет приступ; [16]почему гарнизон и жители[16] обратили туда все силы свои, и дрались как отчаянные. Известно, что город держал сторону Станислава Лещинского против Августа III, за которого вступилась Россия. Наконец Данциг покорился.

Товарищи мои, Офицеры, хотели осмотреть городския укрепления; но часовые не пустили их и грозили выстрелом. Они посмеялись над излишнею строгостию, и возвратились назад. Солдаты по большой части старые, и одеты неопрятно. [17]Магистрат поручает Коммендантское место[17] обыкновенно [18]какому нибудь иностранному[18] Генералу с большим жалованьем.

‹11›

Первая станция от Данцига.

В Данциге присоединились к нам Офицер, молодой Французской Купец и Магистер. [1]Для них и для Капитанского слуги Ширмейстер взял там открытую фуру.[1] Офицер сел к нам в коляску, где оставалось еще одно [2]место, которое хотел занять Магистер;[2] но Француз поднял крик,

---

* Автор начинал тогда учиться Греческому языку; но после [13]уже не имел времени[13] думать об нем.

доказывая свое [3]старшинство, и Ширмейстер решил дело в его пользу, узнав, что он в самом деле записался на почте ранее.[3] Магистер крайне упрашивал нас, чтобы мы как нибудь потеснились и дали ему место в коляске, представляя ученым образом, что ему с Ширмейстером и слугою будет скучно; но он *проповедывал глухим ушам*, как говорят Немцы. [4]Француз, по дорожному очень хорошо одетый, в торжестве сел на лавке между двух Офицеров, с насмешкою жалея, что бедного Магистра вымочит дождь, который накрапывал. Новый наш товарищ, Офицер, желая сидеть просторнее, взглядывал[4] на него очень косо, и начал его жать. Француз весьма учтиво объявил, что ему становится *тесновато*. Тем хуже для вас, отвечал ему Офицер с сердцем; закурил трубку и начал пускать ему в нос и в рот дымныя облака. Француз чихал, кашлял, и наконец спросил, *что бы это значило?* — «То, чтобы вы убрались в фуру к Магистру.» — «Государь мой!» сказал Француз с гордым видом. — «Государь мой!» отвечал Офицер с досадою: «вам говорят, чтобы вы убрались от нас.» — Француз с важностию уверял, что имеет равное с ним право сидеть в коляске; но Офицер, худой Юрист, начал сыпать на него пепел с огнем, говоря, что Везувий за дымом выбрасывает пламя. [5]Еще мало: он уткнул ему в бок ефес своей сабли. Бедный Француз,[5] видя, что терпением не отделаться, сквозь слезы просил Офицера [6]оставить его в покое до первой перемены, обещаясь пересесть там в фуру.[6] Старые мои товарищи, насмеявшись досыта, сжалились над мучеником, и уговорили своего собрата, чтобы он удовольствовался его обещанием. И я смеялся; однакожь искренно жалел о Французе, хотя он тотчас забыл все, и стал весел.

Теперь переменяют лошадей и готовят нам легкой ужин.

Выехав из Данцига, смотрел я на море, [7]которое синелось на правой стороне.[7] Более не попадалось в глаза ничего занимательного, кроме пространного Данцигского гульбища, где было [8]очень мало[8] людей, для того, что [9]небо покрывалось со всех сторон тучами.[9] В середине идет большая дорога, а по сторонам в алеях прогуливаются.

Офицеры сговорились-было атаковать Магистра; но он довольно искусно отразил[10] первые приступы, так что они наконец оставили его. Он едет в Италию рассматривать древности. [11]Многие восточные языки, по его словам, ему известны. Он[11] показывал мне письмо Графа ***, [12]который прислал[12] ему экземпляр Ал-Корана, напечатанного в Петербурге. Мы друг с другом [13]гораздо согласнее,[13] нежели с Офицерами.*

---

* После читал я о Магистре Ринге в прибавлении к Енским Литтературным Ведомостям. [14]Он известен в Германии по своей учености.[14]

‹12›

Штолпе, 24 Июня.[1]

[2]Путешественники говорят всегда с великим неудовольствием о грубости Прусских постиллионов.[2] Нынешний Король издал указ, [3]по которому все Почтмейстеры обязаны[3] иметь более уважения к проезжим, и не держать[4] никого долее часа на переменах, а постиллионам запрещаются все самовольныя остановки на дороге.[5] Нахальство сих последних было несносно. У всякой корчмы они останавливались пить пиво, и нещастные путешественники должны были терпеть,[6] или выманивать их деньгами. Указ имел хорошия[7] следствия; однакож[8] не во всей точности исполняется. [9]На пример, не доезжая за милю до Штолпе, мы принуждены были с час дожидаться постиллионов, которые[9] спокойно пили и ели в корчме, не смотря на позывы с нашей стороны. [10]Приехав в город,[10] все мои товарищи грудью приступили к Почтмейстеру, и требовали, чтобы он наказал их[11] — *Выговором?* спросил Почтмейстер. — *Палкою*, отвечали Офицеры. — «Я не имею права [12]бить их.»[12] — «Вздор! вздор! сказал[13] Капитан: или я сам со всеми управлюсь!» — Тут он страшным образом стукнул в пол своею тростью. «Насилие! насилие!» закричал[14] Почтмейстер: «хотят драться, бить меня!» — Капитан вдруг переменил тон и сказал тихо: «Я не хочу драться, а в Берлине поговорю об вас[15] с Министром.» Сказал и вышел вон, а за ним и все.[16] Постиллионы, как будто бы ничего не зная, пришли к нам просить на вино. [17]Их выгнали[17] — дверь затворилась и опять по тихоньку стала отворяться — все туда оборотили глаза, и увидели Почтмейстерову голову. Что вам угодно? спросил Капитан суровым голосом. Тут Почтмейстер всунул к нам в горницу все свое туловище, начал шаркать и кланяться Капитану, и называть его Господином Капитаном, и опять Господином Капитаном, и уверять его, что он имеет к нему почтение, и знает Маиора его полку, и знает его фамилию, и знает, что он прав, и отдает ему в полную власть тех постиллионов, которые повезут нас из Штолпе, и проч. и проч. — Капитан смягчился, улыбался и отвечал на все: «хорошо, хорошо, Господин Почтмейстер!» — Мы с Магистром также улыбались; а Офицеры говорили тихонько: «дурак! трус!»[18]

Теперь не могу вам сказать ничего примечания достойного, кроме того, что в местечке Лупове, [19]где мы обедали, есть прекрасныя форели и прекрасный бишоф.[19] И так естьли вы, друзья мои, [20]будете когда[20] в Лупове, то вспомните, что друг ваш [21]там обедал,[21] — вспомните, и велите подать себе [22]форелей и бишофу.[22]

Здесь остается тот Офицер, который мучил Француза; и так сей последний сядет с нами. — Adieu! *

---

* Прощайте! (*франц.*)

‹13›

Штаргард, 26 Июня.[1]

О Штаргарде, куда мы приехали ужинать, [2]могу вам сказать единственно то,[2] что он есть изрядный город, и что здешняя церковь Марии считается[3] высочайшею в Германии.

Мы проехали через Кеслин и Керлин, два маленькие городка. В первом бросается в глаза большое четвероугольное место со статуею Фридриха Вильгельма. Ты достоин сей почести! думал я, читая надпись. Не знаю, кого справедливее можно назвать *великим*, отца или сына, хотя последнего все без разбора *величают*. Здесь должно смотреть только на дела их, полезныя для государства — не на ученость, не на острыя слова, не на авторство. Кто привлек в свое государство множество чужестранцев? Кто обогатил его мануфактурами, фабриками, искусствами? Кто населил Пруссию? Кто всегда отходил от войны? Кто отказывался от всех излишностей, для того, чтобы его подданные не терпели недостатка в нужном? [4]Фридрих Вильгельм! — Но Кеслин будет для меня памятен не только по его монументу: там миловидная трактирщица угостила нас хорошим обедом! Неблагодарен путешественник, забывающий такие обеды, таких добрых, ласковых трактирщиц! По крайней мере я не забуду тебя миловидная Немка! Вспомнив статую Фридриха Вильгельма, вспомню и любезное твое угощение, приятные взоры, приятныя слова твои!...[4]

«Что, будет ли у нас война, Господа Офицеры?» спросил у моих товарищей старик, трактирщик в Керлине. Не думаю, отвечал Капитан. «Дай Бог, чтобы и не было!» сказал трактирщик: «я боюсь не Австрийских гусаров, а Руских козаков. О! что это за люди!» — А по чему ты их знаешь? спросил Капитан. — «По чему? Разве они не были в Керлине? Ничто не уйдет от их пики. К тому же у них такия страшныя лица, что меня по коже подирает, когда воображу их!» Да вот Руской козак! сказал Капитан, указав на меня. «Руской козак!» закричал трактирщик, и ударился затылком в стену. Мы все засмеялись, а трактирщик заохал. «За эту шутку вы заплатите мне дороже, Господа!» сказал он, взяв кофейник из рук служанки.[5]

Я видел один из древних разбойничьих замков. Он лежит на возвышении, и обведен со всех сторон широкими рвами, которые прежде были наполнены водою. Тут, в высоком тереме, сидели мать и дочь за пяльцами, и поглядывали в окно, когда муж и отец как голодной лев рыскал [6]по лесам и полям,[6] ища добычи. «Едет! Едет!» кричали они, и мосты гремели и опускались — гремели и опять подымались — и грабитель был безопасен в объятиях своей жены и дочери. Тут раскладывались похищенныя богатства, и женщины от радости ахали. Тут нещастные путешественники, которые в тот день попались в руки злодею, заключались в [7]подземную темницу, в двадцать семь сажен глубиною,[7] где густой воздух спирался и тяготил дыхание, и где гром цепей был им первым

приветствием. Иногда бедный отец прибегал к сим широким рвам, и смотря на сии острыя башни, восклицал: «Отдайте мне сына, и возьмите все, что имею! Нещастная мать день и ночь крушится; печальная невеста всякой час слезами обливается. Отдайте матери сына и невесте жениха!»

Стой, воображение! сказал я сам себе, и — заплатил два гроша сухой старухе и уродливому мальчику, которые показывали мне замок. Он издавна стоит пустой, и начинает уже разваливаться.

Теперь накрывают нам стол. Ужин будет прощальной. Все мои товарищи, кроме Капитана, едут [8] отсюда в Штетин, куда мне не дорога. Вероятно, что нам уже никогда не видать друг друга. Правда, что эта мысль для меня не очень горестна. [9] Я не поблагодарил бы судьбы,[9] естьли бы она велела мне всегда жить с такими людьми. С ними можно говорить только [10] о смотрах, маршах [10] и тому подобном. Самый [11] язык их странен. Не зная по-Французски, употребляют они в разговоре множество Французских слов, произнося их по своему: На прим. Da ist eine Precipice — ich habe eine Ture [12] gemacht — [13] ich schanschire es,[13]* и проч.

К нам пристал еще молодой человек, Почтмейстерской сын, который едет учиться в Университет. Слыша, что Офицеры в шутку называли меня Доктором, вздумал он показать мне свою ученость, и спросил,[14] как, *по моему мнению*, можно перевести на Немецкой Латинское слово ratio? ** Потом начал говорить о *духе языков*, и проч. Надобно знать, что Магистер уже от нас отстал; а то бы он не дал ему много говорить. Офицеры не полюбили сего ученого Почтмейстерского сына, и старались его дурачить. Приехав сюда, вынул он из кармана превеликия шпоры, и положил на стол. Офицеры, находя странным, что человек, едущий учиться в Университет, [15] вместо книг везет в кармане такую вещь,[15] стали смеяться. Француз подскочил с ларнетом, и начал рассматривать шпоры с великим вниманием. Смех умножился. Что вы находите в них? спросил Капитан. «Знакомыя черты», с важностию отвечал Француз: «кажется, [16] как будто бы я видал их прежде; [16] однакож нет — я видел только их изображение на эстампах в Дон-Кишоте!» Тут Офицеры во все горло захохотали, а Студент осердился. Насмеявшись досыта, Капитан сказал мне: «Естьли когда нибудь издадите вы журнал своего путешествия,[17] то прошу вас не забыть шпор.» Не забудьте шпор! закричали все Офицеры. Ваше желание исполню, отвечал я.[18]

Надобно сказать нечто о Прусских допросах. Во всяком городке и местечке [19] останавливают проезжих [19] при въезде и выезде, и спрашивают, кто, откуда и куда едет? Иные в шутку сказываются смешными и разными именами, т. е. при въезде одним, а при выезде другим: из чего выходят чудныя донесения начальникам. Иной называется Луциферомъ, другой Мамоном; третий в город въедет Авраамом, а выедет Исааком. Я не хотел шутить, и для того Офицеры просили меня в таких случаях притво-

* Здесь пропасть — я выкинул штуку — я меняю это (*нем., жаргон.*)
** разум (*латин.*)

ряться спящим, чтобы им за меня отвечать. Иногда был я какой нибудь Баракоменеверус, и ехал от горы Араратской; иногда Аристид, выгнанный из Афин; иногда Альцибиад, едущий в Персию; иногда Доктор Панглос, и проч. и проч.

Кушанье поставили. Простите!

‹14›

Берлин, 30 Июня,[1] 1789.

Вчера приехал я в Берлин, друзья мои; а ныне, к великому своему удовольствию, получил от вас письмо, которого ждал с таким нетерпением. Известие, что вы остались здоровы, меня утешило, успокоило. Но начто вы иногда грустите? Этого не было в уговоре. [2]А естьли вы[2] и впредь будете так немилостивы к себе и к другу своему, который за несколько тысяч верст берет участие даже в минутной вашей неприятности: то он, в отмщение вам, сам будет грустить с утра[3] до вечера.

Последнее письмо отправил я к вам из Штаргарда. Мы выехали оттуда в полночь. Кроме Капитана, было у меня двое новых товарищей: Офицер, едущий в Империю для набора рекрут, и купец Штаргардской. Я сел в коляске назади, на своем чемодане; мог протянуть ноги, [4]мог прилечь на подушку;[4] спина моя распрямилась, и движение крови[5] стало ровнее; тряская коляска казалась мне усыпительною колыбелью — и я, почитая себя блаженнейшим человеком в свете, заснул крепким сном, и спал до первой перемены, где разбудили меня пить кофе.[6]

Не доезжая за десять миль до Берлина, Капитан нас оставил. Мы прощались друг с другом как приятели, и я дал ему слово сыскать его в Кенигсберге, когда поеду обратно через сей город. [7]«Ведь нам[7] еще надобно хоть один раз в жизни видеться,[8]» сказал он, пожимая руку мою: «заезжайте ко мне, и расскажите, [9]что увидите в свете.»[9] — Хорошо, хорошо, Г. Капитан! Будьте между тем здоровы! — И так мы расстались.

В последнюю ночь нашего путешествия, приближаясь к Берлину, начинал я думать, что там делать буду, и кого увижу. Ночью всякия мечты воображения бывают живее, и я так ясно представил себе любезного А *,[10] идущего ко мне на встречу с трубкою и кричащего: [11]*кого вижу? брат Рамзей в Берлине?*[11] что руки мои протянулись[12] обнять его; но вместо моего дражайшего приятеля, который в сию минуту был от меня так далеко, чуть не обнял я мокрой женщины, сидевшей с нами в коляске. «Но как зашла к вам мокрая женщина?» Вот как. Солнце село, пошел дождь,

---

* Алексея Михайловича Кутузова, добродушного и любезного человека, который через несколько лет после того умер в Берлине, быв жертвою нещастных обстоятельств.



Н. М. Карамзин в молодости.



И. Кант.

[13]и вечер превратился в глубокую ночь.[13] Вдруг коляска наша остановилась; [14] Ширмейстер, сидевший с нами, выглянул и начал с кем-то бормотать; потом, оборотившись [15] к нам, сказал: «Господа! позволите ли сесть в коляску одной честной женщине и доехать с нами до первого местечка, куда она идет с своим мужем? Дождь промочил ее насквозь, и она боится занемочь.» А хороша ли она? спросил Офицер, едущий в Империю. Теперь темно, отвечал Ширмейстер. — Пускай ее садится, сказал Офицер. Я то же сказал, и купец то же. Женщина взлезла к нам в коляску, и была подлинно очень мокра, так что мы пятились от нее как можно далее, боясь воды, [16] которая текла [16] с нее ручьями. Офицер вступил с нею в разговор, и узнал от нее, что она жена портного мастера, [17] очень любит [17] своего мужа, и с ним никогда не расстается; что они ужинали в гостях у своего дяди, зажиточного купца, который торгует заморскими товарами, и пошли домой пешком для того, чтобы наслаждаться приятностями вечера, никак не ожидав дождя; что она взяла у дяди книжку, *жизнь Барона Тренка*, в которой описываются самыя чудныя приключения, и все справедливыя; что дочь дяди их, которой минуло уже девятнадцать лет, однажды не спала целую ночь, читая эту книгу, а на другую ночь [18] во сне увидела [18] Тренка в цепях, и так закричала, что отец пришел к ней со свечею [19] посмотреть, что с нею сделалось — и проч. и проч. [20] Вот все дело! [20]

Но естьли я не найду его в Берлине! пришло мне вдруг на мысль — и в самую ту минуту встретилась нам коляска. Насилу мог я удержаться, чтобы не закричать: *стой!* Это верно он, думал я, это верно он! Прости! Приезжай благополучно в наше отечество, к своим друзьям! Ты увидишь [21] моих любезных; [21] увидишь, и не скажешь им ничего обо мне! — Между тем мы приехали на станцию.[22] Я тотчас пошел к Почтмейстеру спросить, кто проехал в коляске. «Руской — купец из Риги», отвечал он. Тут я готов был вспрыгнуть от радости, что это был не наш А***.[23]

В некотором расстоянии от Берлина начинается прекрасная алея из каштановых деревьев, и дорога становится лучше и веселее. О виде Берлина не льзя было мне судить потому, что беспрестанный дождь мешал видеть далеко вперед. [24] У ворот мы остановились. Сержант вышел из караульни нас допрашивать: [24] *Кто вы? Откуда едете? За чем приехали в Берлин? Где будете жить? Долго ли здесь пробудете? Куда поедете из Берлина?* [25] Судите о любопытстве здешнего Правительства! — Наконец мы въехали в улицу прекрасного Берлина, где я надеялся отдохнуть в объятиях сердечной приязни, рассказывать Рускому о России и другу о друзьях, говорить о наших веселых Московских вечерах и философских спорах!... Но судьба смеялась надо мной! [25]

Коляска наша остановилась у почтового дома. Там прежде всего спросил я у Секретаря,[26] где живет А***? И что же? С хладнокровием, совсем противным моему нетерпению, отвечал он: «Его уже здесь нет!» — Его здесь нет? — «Нет, сударь», повторил он, и начал перебирать письма. — Где же он? — [27] «Во Франкфурте на Майне.[27] Подите к своему Священнику; [28] там лучше все узнаете.» — Я бросился на стул и готов был заплакать.[28] Секретарь взглянул на меня с улыбкою. Вы думали его

здесь[29] найти? спросил он. «Думал, государь мой, [30]думал!» и с сими словами я хотел итти вон.[30] «Постойте, сказал Секретарь: надобно осмотреть ваш чемодан.» [31]То есть, надобно было взять с меня несколько грошей. — Вообразите друга вашего, идущего в самых горестных размышлениях по Берлинским улицам, в след за инвалидом, который нес чемодан мой! Ни огромные домы, ни многолюдство, ни стук карет не могли вывести меня из меланхолической задумчивости. Я сам себе казался жалким сиротою, бедным, нещастным, и единственно от того, что А*** не хотел меня дождаться в Берлине! [31]

«Жаль, жаль, государь мой — сказал мне Г. Блум, трактирщик *Английского короля* в *Братской улице* — жаль, что у меня нет теперь для вас места. [32]В доме моем заняты все комнаты.[32] Вы, думаю, знаете, что к нашему Королю пожаловала [33]гостья, его сестрица. В Берлине будут праздники, и многие господа приехали сюда на это время. Поверите ли, что я ныне отказал уже десяти человекам?» — И так, Г. Блум — — «Вы из России приехали?» — Из России. И так — «У вас все войною занимаются?» — Да, Г. Блум, у нас война. И так мне остается — — «Послушайте: теперь только опросталась у меня одна комната, и вы можете занять ее. Что же у вас с Турками делается?» — Прикажите мне указать комнату; а после, естьли угодно — — «Очень хорошо! очень хорошо! Пойдемте, пойдемте!» Он привел меня в маленькую горенку с одним окном. «Не правда ли, что она очень хороша и очень уютна?» — Я доволен, Г. Блум. — Тут пришел ко мне фельдшер, парикмахер. Г. Блум от меня не выходил, беспрестанно говорил, и наконец мне же вздумал рассказывать, что у нас в России делается. Послушайте, Г. Блум, сказал я: это все писано к вам от первого числа Апреля по старому или по новому стилю. — «Как, государь мой!» — Как вам угодно, отвечал я, — взял трость и пошел со двора.[34]

Человек рожден к общежитию и дружбе — сию истину живо чувствовало мое сердце, когда я шел к [35]Д***, желая[35] найти в нем хотя часть любезных свойств нашего [36]А*, желая[36] полюбить его, и[37] говорить с ним со всею дружескою искренностию, свойственною моему сердцу! — Благодарю Судьбу! [38]Я нашел,[38] чего желал — нашел в Д* любезного, добродушного, искреннего человека. Он любит свое отечество, и я люблю его; он любит А***, и я люблю его; он сроден к откровенности, и я тоже: и так долго ли было нам познакомиться? Мы проговорили с ним до вечера, и он [39]захотел еще проводить меня.[39]

Лишь только вышли мы на улицу, я должен был зажать себе нос от дурного [40]запаха: здешние каналы наполнены всякою нечистотою.[40] Для чего бы их не чистить? Не уже ли нет у Берлинцев обоняния? — [41]Д*** повел меня[41] через славную [42]*Липовую* улицу,[42] которая в самом деле прекрасна. В средине посажены алеи[43] для пеших, а по сторонам мостовая. Чище ли здесь живут, или[44] испарения лип истребляют нечистоту в воздухе — только в сей[45] улице не чувствовал я никакого неприятного запаха. Домы не так высоки, как некоторые в Петербурге, но очень красивы. В алеях,[46] которыя простираются в длину шагов на тысячу или более, прогуливалось много людей.[47]

Лишь только я в своей комнате расположился пить чай, пожаловал ко мне [48] Г. Блум с бумажкою в руках.[48] Вам надобно на это отвечать, сказал он.[49] Я увидел на бумаге [50] те вопросы, которые делали мне при въезде в город, с прибавлением одного: *в какия ворота вы въехали?* Они [51] напечатаны, и мне надлежало под каждым писать [52] ответ. [53] Боже мой! какая осторожность! Разве Берлин в осаде? — Г. Блум объявил мне с важным видом, что завтра Берлинская публика узнает через газеты о моем приезде! [53]

Ныне поутру ходил я с Д*** осматривать город. Его по справедливости можно назвать прекрасным; [54] улицы и домы очень хороши.[54] К украшению города служат также большия площади: *Вильгельмова, Жандармская, Денгофская* и пр. На первой стоят четыре большия мраморныя статуи славных Прусских Генералов: Шверина, Кейта, Винтерфельда и Зейдлица. Шверин [55] держит в руке знамя, с которым он, в жарком сражении под Прагою, бросился на неприятеля, закричав своему полку: *дети! за мной!* Тут умер он смертию Героя, и Король сожалел [56] о сем искусном и храбром, Генерале более,[56] нежели о потере двадцати тысяч воинов. — Фридрих, приняв Кейта в свою службу, сказал: *я много выиграл.* Фридрих знал людей, и Кейт оказал ему важныя услуги. — Говорят, что Граф Петр Александрович Румянцов похож на Винтерфельда. Я не имел щастия видеть нашего Задунайского героя, и потому не мог искать сего сходства в хладном мраморе, изображающем Винтерфельда. — Зейдлиц был любимец Королевской, пылкой, отважный воин. Отдавая справедливость его достоинствам, осуждают [57] в нем некоторыя слабости, и говорят, что оне были причиною безвременной [58] смерти его. Он умер ие на поле чести, а на одре мучительной болезни. Король [59] тужил о нем, как о своем любимце.[60] — Таким образом Фридрих хотел во мраморе предать векам память своих полководцев. Юный воин, смотря на их изображения, чувствует желание подражать Героям, и жить [61] в памяти потомства.[62] Я сам люблю рассматривать памятники славных людей, и представлять [63] себе дела их. — На так называемом *длинном мосту*, через реку Шпре, стоит из меди вылитый монумент Фридриха Вильгельма Великого. Когда Руския войска [64] пришли сюда,[64] то некоторые из солдат в забаву рубили его тесаками. Мне показывали [65] сии знаки,[65] которые [66] возбуждают в Берлинцах неприятное воспоминание.[66]

[67] Мы прошли [67] в Королевскую библиотеку. Она огромна — и вот все, [68] что могу сказать о ней! Более всего [68] занимало меня [69] богатое анатомическое сочинение [69] с изображениями всех частей [70] человеческого тела.[70] Покойный Король заплатил за него [71] 700 талеров. Есть довольно восточных рукописей, на которыя я только взглянул. Показывали мне еще Лютеров Немецкой манускрипт; но я почти совсем не мог разобрать его, не читав никогда рукописей того века. — Книги давать на дом запрещено; однакожь известный человек, [72] задобрив деньгами помощника Библиотекарского,[72] может иметь [73] некоторыя. Таким образом Д** взял для меня Николаево описание Берлина, которое хотелось мне просмотреть. Библиотекою управляет ныне Г. Доктор Бистер, который и живет в сем большом доме.[74]

За столом у Господина Блума сидело человек тридцать: Офицеров, купцов [75] и важных Саксонских Баронов, приехавших в Берлин на праздники. Теперь все готовится [76] ко встрече Штатгальтерши, которая послезавтра будет сюда из Потсдама вместе с Королем. Об этом только и говорят; да о разбойниках, которые близь Ораниенбурга разбили [77] почту. — [78] Ввечеру Д*** водил меня в зверинец.[78] Он простирается от Берлина до Шарлотенбурга, и состоит из разных [79] алей: одне [79] идут во всю длину его, другия поперег, иныя вкось и перепутываются: славное [80] гульбище! Долго искал я [81] того места, о котором [81] некогда наш А *** писал ко мне следующее: «Я нашел в зверинце длинную алею, состоящую из древних сосн; мрачность и непременяющаяся зелень дерев производят в душе некоторое священное благоговение. Не забуду я одного утра, когда, гуляя [82] в зверинце один, и предавшись стремлению своего воображения, которое, как известно тебе, склонно к пасмурным представлениям, вступил я нечаянно в сию [83] алею. До того [84] места освещало меня лучезарное солнце; но вдруг [85] исчез весь свет. Я поднял глаза, и увидел перед собою [86] сей путь мрачности.[86] Только вдали при выходе виден был свет. Я остановился и долго глядел. Наконец одна мысль пробудила меня....[87] Не есть ли — думал я — не есть ли тьма сия изображение твоего состояния, когда ты, разлучившись с телом, вступишь в неизвестный тебе путь? Мысль сия так во мне усилилась, что я уже представил себя облегченного от земного бремени, идущего к оному вдали светящемуся свету, и — — с того [88] времени всякой раз, когда бываю в зверинце, захожу туда,[89] и часто поминаю тебя.» Любезный меланхолик! я сам думал о тебе, [90] вступая в сию алею,[90] и стоял, может быть, точно на том месте, где ты обо мне думал. Может быть, ты опять здесь стоять будешь, но я буду далеко, далеко от тебя! —

В зверинце много кофейных домов. Мы заходили в один из них, чтобы утолить жажду белым пивом, которое мне очень не полюбилось. — Сад Принца Фердинанда, в которой мы прошли из зверинца, отворен для всех порядочно-одетых людей. Я не взял бы тысячи таких садов за зверинец. Тут прогуливался [91] сам Принц, и с [92] угрюмым видом [92] отплатил нам поклон. — Бьет час.

‹15›

Июля 1.

Ныне по утру, побывав у Господина М**, к которому было у меня письмо [1] от Князя Д **, я виделся с известным Николаем, Автором и книгопродавцем, живущим [1] в той же улице, где я живу, т. е. в Brüderstrasse. Он встретил меня с такою ловкостию, с такою учтивостию, какой бы не льзя было ожидать от Немецкого Ученого и книгопродавца. «Вас знают и в России, сказал я ему: знают, что Немецкая Литтература [2] обязана

вам частию своих успехов.[2] Приехав в Берлин, спешил я видеть[3] друга Лессингова и Мендельзонова.» — [4] Благодарю вас,[4] отвечал он с улыбкою, и посадил меня на софе. С путешественником всего ближе говорить о путешествиях: и так, услышав, что я еду в Швейцарию, начал он говорить со мною о тех удовольствиях, которыя можно иметь в этой[5] примечания достойной земле, где он сам был [6] за несколько лет перед сим. Но скоро[6] обратил я разговор на Берлинской Иезуитизм. Надобно знать, что с некоторого времени начали писать в Германии — или, лучше сказать, в Берлине, и Николай первый подал к тому мысль — будто есть тайные Иезуиты, которые всеми силами стараются снова [7] овладеть Европою;[7] будто Каллиостро и подобные суть их Миссионеры, [8] которые обольщая[8] легковерных людей пышными обещаниями, порабощают[9] их власти тайных Иезуитских начальников и проч. и проч. С сего времени стали везде искать скрытых Иезуитов: между Учеными и неучеными, между Пасторами и солдатами. В сочинениях некоторых Писателей нашли что-то Иезуитское. Началась ужасная война, и Берлинской журнал, издаваемый Бистером и Гедике, [10] избран был в театр сей войны.[10] С Иезуитизмом слили в одно Католицизм; доказывали, что *тот* и *тот* из известных Протестантских Ученых тайно приняли Католическую Религию; что они опасные люди, и проч. Те, которых наименовали, рассердились и начали браниться или отбраниваться, доказывая, что Берлинцы бредят. Все это еще [11] и ныне продолжается.[11] Вот что сказал мне Николай:

«Известно, что Иезуиты имели везде связи; что у них были свои банки, свои банкиры. [12] Общество их хотя и называло Папу своим покровителем,[12] но цель его была тайная, и сокрывалась во внутренности Ордена.[13] Папа, лишив Орден своего покровительства, мог ли уничтожить существо его? Мог ли заставить внутренних начальников, или хранителей тайны, отказаться от их[14] цели? Не уже ли[15] закрылись все тайные каналы, через которые они действовали? Не уже ли[15] исчезли все банки их? — Я предложил свои чаяния, и хотел только возбудить внимание к сему предмету. Гипотеза моя, казалось, могла изъяснить некоторыя явления наших времен. — Что принадлежит до Католицизма, то всякой Протестант имеет причину не желать его распространения. Мы, слава Богу! можем обо всем рассуждать, можем пользоваться своим разумом; но дух Католицизма не терпит никакой свободы в умствованиях, и налагает цепи на разум. Естьли вы читаете книги, выходящие в Германии, то конечно заметили великую розницу[16] между теми, которыя печатаются [17] в Протестанских и Католических землях:[17] где более просвещения?» — Все это очень хорошо, сказал я; но за чем[18] с такою жестокостию писать против некоторых почтеннейших мужей Германии, для того единственно,[19] что они сомневаются в существовании тайных Иезуитов, и в том, чтобы Католики могли ныне быть опасны Протестантам? Признаться вам, я не мог без досады читать колкого ответа Доктора Бистера Господину Гарве, одному из первых ваших Философов, который с такою скромностию предложил свои сомнения. — «Однакож Гарве, отвечал Николай, [20] переменил свои мысли;[20] мы с ним нарочно для этого виделись. [21] Не надобно думать,[21] чтобы Католики [22] совсем перестали ныне[22] стараться обращать

Протестантов в свое исповедение. Известно учение их Церкви, что вне ея нет спасения: и так они, по некоторому человеколюбию, хотят распространить ея область. Одним словом, осторожность была нужна. — Впрочем всякой отвечает за себя.[23] Естьли некоторые зашли слишком далеко, я не виноват. Только во многом нас *хотят* криво толковать: к чему Штарк* и подобные имеют свои причины. Правда, что дело, делаемое с добрым намерением, может иметь некоторыя худыя следствия; но естьли оно имеет несравненно более добрых, то не льзя не назвать его хорошим [26] делом». — Завтра едет Николай к водам. Путешествие есть для меня лекарство, сказал он. [27] Я записал ему на карточке свое имя, и пожелал щастливого пути.[27] Потом он также учтиво проводил меня, как встретил. — Жаль, что он едет. Я хотел бы еще [28] поговорить с ним о некоторых вещах в досужные для него часы. Признаться, сердце мое не может одобрить тона, в котором Господа Берлинцы пишут. Где искать терпимости, естьли самые Философы, самые просветители — а они так себя называют — оказывают столько ненависти к тем, которые думают не так, как они? Тот есть для меня истинный Философ, кто со всеми может ужиться в мире; кто любит [29] и несогласных с его образом мыслей.[29] Должно показывать заблуждения разума человеческого, с благородным жаром, но без злобы. Скажи человеку, что он ошибается, и почему; но не поноси сердца его, и не называй его безумцем. Люди, люди! под каким предлогом вы себя не мучите! — Лафатер есть один из тех, которых Берлинцы бранят при всяком случае; и естьли он у них не совершенный Иезуит, то по крайней мере великой мечтатель. Я к Лафатеру не пристрастен, и обо многом думаю совсем не так, как он думает; однакожь уверен, что его Физиогномические Фрагменты [30] будут читаемы [30] и тогда, когда забудут, что жил на свете почтенный Доктор Бистер. Но оставим их. — Что принадлежит до Николаевой наружности, то в ней хотя и нет ничего [31] особенного, привлекательного,[31] однакожь есть что-то почтенное. Он высок, худощав, смугл. Лафатер в Физиогномике своей говорит, что высокой лоб его показывает весьма рассудительного человека.

У Г. Блума живет один молодой Шведской купец. Ныне, когда мы сидели за столом, пришел к нему Секретарь их Посольства, и вызвал его. Минут через пять возвратился наш Швед с веселою улыбкою, и объявил всему столу, что Шведы в одном деле одержали верх над Рускими. Секретарь Датского Посольства, который тут же обедал, начал смеяться над его патриотическою ревностию. Прусские Офицеры хотели знать подробности дела, но Швед сам не знал их. Да еще верить ли вашей победе? [32] сказал Датчанин: [33] мы будем ждать [33] подтверждения. Какого подтверждения! закричал Швед: я вам ручаюсь. Датчанин смеялся, а Швед горячился. Между тем Г. Блум, [34] подошедши ко мне,[34] крайне [35] упрашивал меня [35] не входить в разговор. «За чем вам тут мешаться? Вы видите, что

* Придворный Дармштатской Проповедник, которого Берлинцы объявили [24] тайным Католиком, Иезуитом, мечтателем; который судился с Издателями Берлинского Журнала гражданским судом, и писал [25] целыя книги против своих обвинителей.

Швед очень горяч. Сохрани Боже, естьли бы что нибудь вышло у вас с ним в моем доме!» Я уверял его, что ссоры у нас не будет; но после стола не мог утерпеть, чтобы не подойти к Шведу и не вступить с ним в разговор. Г. Блум тотчас подлетел к нам, [36] и посматривал то на меня, то на него, будучи готов затушить огонь при первом его воспылании.[36] Однакожь мы довольно спокойно разговаривали. Швед был в России, и по мундиру моему тотчас узнал, что я Руской. [37] При начале войны меня выслали из Петербурга,[37] сказал он, хотя мне очень хотелось [38] пожить там.[38] Жалуйтесь на своего Короля, отвечал я, который объявил нам войну без всякой справедливой причины. Тут Блум дернул меня за полу, боясь, чтобы Швед не рассердился; но он с улыбкою сказал: Короли поступают не по тем правилам, [39] которыя для нас, частных людей, должны быть законом.[39] «Это говорит Фридрих», сказал [40] сквозь зубы Прусской Маиор, сидевший за столом. Тут пришел ко мне Д ***, и Г. Блум был очень рад, что я убрался в свою комнату. Он боялся поединка.[41]

После обеда был я в Гарнизонной церкви, и видел монументы и портреты славных воинов. Там Клейст подле Шверина и Винтерфельда, любезный Клейст, бессмертный певец Весны, герой и патриот. Знаете ли вы конец его? В 1759 году, в жарком сражении при Куммерсдорфе, командовал он баталионом, и [42] взял три батареи.[42] У правой руки отстрелили у него два пальца: он взял шпагу в левую. Пулею прострелили ему левое плечо: он взял шпагу опять в правую руку. В самую ту минуту, как [43] храбрый Клейст [43] уже готов был лезть на четвертую батарею,[44] картеча раздробила ему правую ногу. Он упал и закричал своим солдатам: *Друзья! не покиньте Короля!* [45] Наехали козаки, раздели Клейста и бросили в болото.[45] Кто не подивится тому, что он в сию минуту смеялся от всего сердца над странною физиогномиею и ухватками одного козака, который снимал с него платье? Наконец от слабости заснул он так покойно, как бы в палатке. Ночью нашли его наши гусары, вытащили на сухое место, положили близь [46] огня на солому, [47] и закрыли плащем.[47] Один из них хотел всунуть ему в руку несколько талеров; [48] но как он не принял сего подарка, то гусар с досадою бросил [49] деньги на плащ и ускакал [50] с своими товарищами. [51] Поутру увидел Клейст [51] нашего Офицера, Барона Бульдберга, и сказал ему [52] свое имя.[52] Барон тотчас отправил его во Франкфурт. Там перевязали ему раны, и он спокойно [53] разговаривал с Философом Баумгартеном, некоторыми Учеными и нашими Офицерами, которые посещали его. Через несколько дней умер Клейст [54] с твердостию Стоического Философа. Все наши Офицеры присутствовали на его [55] погребении. Один из них, [56] видя, что на гробе у него [56] не было шпаги, положил свою, сказав: *у такого храброго Офицера должна быть* [57] *шпага и в могиле.*[57] — Клейст есть один из любезных моих Поэтов. Весна не была бы для меня так прекрасна, естьли бы Томсон и Клейст не описали мне всех красот ея.

‹16›

Июля 2.

Ныне[1] приехал сюда Король с своею гостьею, Штатгальтершею. Не можете вообразить, что за[2] пышная была ей встреча![3] Все граждане стояли в ружье, и никакая[4] сорочья стая не может так пеструться, как пестрился этот[5] фрунт. Офицеры отличались от рядовых только тем, что у них косы привиты были гораздо круче. В ожидании Штатгальтерши тянули они всем фрунтом водку, и так неосторожно, что некоторые стукались лбами. Капитаны ходили и увещевали своих сограждан отмахнуть на караул мастерски. «И конечно, конечно! кричали они: мы не ударим себя лицом в грязь.» Не льзя было не смеяться этому фарсу. — Купцы, все в красных кафтанах, под начальством[6] одного банкира, выезжали встречать Штатгальтершу за город. — И за то, что я посмеялся над Берлинскими гражданами и взглянул на Штатгальтершу и Прусского Короля, вымочил меня дождь. Теперь начнутся здесь пиры.[7] — Иду в Театр.

В 10 часов ночи. Давно уже не был я так приятно растроган, как ныне в Театре. Представляли Драму: [8]*Ненависть к людям и раскаяние,*[8] сочиненную Господином Коцебу, Ревельским жителем. [9]Автор осмелился вывести на сцену жену неверную, которая, забыв мужа и детей, ушла с любовником; но она мила, нещастлива — и я плакал как ребенок, не думая осуждать сочинителя. Сколько бывает в свете подобных историй!... Коцебу знает сердце. Жаль только, что он в одно время заставляет зрителей и плакать и смеяться! Жаль, что не имеет вкуса или не хочет его слушаться! Последняя сцена в пиесе несравненна. — Г. Флек[9] играет ролю мужа[10] с таким чувством,[11] что каждое слово его [12]доходит до сердца.[12] По крайней мере [13]я еще не видывал такого Актера.[13] В нем [14]соединены великия природныя дарования с великим искусством.[14] Гж. Унцельман представляет жену[15] очень трогательно. В игре ея обнаруживается какая-то нежная томность, которая делает ее любезною[16] для зрителя. — Я думаю,[17] что у Немцов не было бы таких Актеров, естьли бы не было у них Лессинга, Гете,[18] Шиллера и других Драматических Авторов, которые с такою живостию представляют в Драмах своих человека, каков он есть, отвергая[19] все излишния украшения, или Французския румяны, которыя человеку с естественным[20] вкусом не могут быть приятны. Читая Шекспира, [21]читая лучшия Немецкия Драмы,[21] я живо воображаю себе, [22]как надобно играть Актеру, и как что произнести;[22] но при чтении Французских Трагедий редко могу представить себе, [23]как можно в них играть Актеру хорошо, или так, чтобы меня тронуть.[23] — Вышедши из Театра, обтер я на крыльце последнюю сладкую слезу. Поверите ли, друзья мои, что нынешний вечер причисляю я к щастливейшим вечерам моей жизни? И пусть теперь доказывают мне, что [24]Изящныя Искусства[24] не имеют влияния на щастие наше! Нет, я буду всегда благословлять их действие, пока сердце будет биться в груди моей — пока будет оно чувствительно!

‹17›

Июля 4.

[1]Вчера в шесть часов утра[1] поехали мы с Д* верхом в Потсдам. [2]Ничего нет скучнее этой дороги: везде[2] глубокой песок, и никаких занимательных предметов в глаза не попадается. Но вид Потсдама, а особливо *Сан-Суси,* очень хорош. Мы остановились в трактире, не доезжая до городских ворот, и заказав[3] обед, пошли[4] в город. У ворот записали наши имена; однакожь в рассуждении допросов ныне нет уже такой строгости, как прежде. Покойный Король, живучи[5] в Потсдаме, хотел знать обо всех приезжих. — На парадном месте против дворца, [6]украшенном колоннадами,[6] училась гвардия: прекрасные люди, прекрасные мундиры! Вид дворца со стороны сада очень хорош. Город вообще прекрасно выстроен; [7]в большой, так называемой[7] *Римской улице* много великолепных домов, строенных[8] отчасти по образцу огромнейших Римских палат, [9]и на собственныя деньги покойного Короля: он дарил[9] их, кому хотел. Теперь[10] сии огромныя здания пусты,[11] или занимаются солдатами. Жителей очень мало: [12]причиною то,[12] что нынешний Король совсем оставил сей город, предпочитая ему Шарлотенбург. Не для того ли противен ему Потсдам, что он, будучи Принцом, имел там много неудовольствий и досад? Вообразите, что целый дом в два этажа [13]можно нанять там за пятьдесят рублей[13] в год; да и то нанимать не кому. На дверях больших домов висят солдатския сумы, камзолы и проч. Коротко сказать, Потсдам [14]кажется таким городом, из которого жители удалились,[14] слыша о приближении неприятеля, и в котором остался только гарнизон для его защиты.[15] Не можете вообразить,[16] как печален сей вид пустоты! [17]

В Потсдаме есть Руская церковь под надзиранием старого Руского солдата, которой живет там со времен царствования Императрицы Анны. Мы насилу могли сыскать его. Дряхлой старик сидел на больших креслах, и слыша,[18] что мы Руские, протянул к нам руки, и дрожащим голосом сказал: *Слава Богу! Слава Богу!* Он хотел сперва говорить с нами по Руски; но мы с трудом могли разуметь друг друга. Нам надлежало повторять почти каждое слово; а что мы с товарищем между собою говорили, того он никак не понимал, и даже не хотел верить, чтобы мы говорили по-Руски. «Видно, что у нас на Руси язык очень переменился, сказал он: или я, может быть, забываю его.» И то и другое правда, отвечали мы. «Пойдемте в церковь Божию, сказал он, и помолимся вместе, хотя ныне и нет праздника.» Старик насилу мог передвигать ноги. Сердце мое наполнилось благоговением, когда отворилась дверь в церковь, где столько времени царствует глубокое молчание, едва перерываемое слабыми вздохами и тихим голосом молящегося старца, который по Воскресеньям приходит туда читать святейшую из книг, приготовляющую его к блаженной вечности. В церкви все чисто. Церковная утварь и книги хранятся в сундуке. От времени до времени старик перебирает их с молитвою. «Часто

от всего сердца, сказал он, сокрушаюсь я о том, что [19] по смерти моей, которая от меня конечно уже не далеко, не кому [19] будет смотреть за церковью.» — С полчаса пробыли мы в сем священном месте; [20] простились с почтенным стариком и пожелали ему — тихой смерти.[20]

После обеда [21] были мы [21] в Сан-Суси. Сей увеселительный замок лежит на горе, откуда можно видеть город со всеми окрестностями: что составляет весьма приятную картину. Здесь жил не Король, а Философ Фридрих — не Стоической и не Циник — но Философ [22] любивший удовольствия и находивший их [22] в Изящных Искусствах и Науках. Он хотел соединить здесь простоту с великолепием. Дом низок и мал; но, взглянув на него, всякой назовет его прекрасным. Внутри комнаты отделаны [23] со вкусом и богато. В круглой мраморной зале надобно удивляться колоннам, живописи и прекрасно-набранному полу. Комната, где Король беседовал с мертвыми и живыми Философами, убрана вся кедровым деревом. С горы, срытой уступами (которые один другой закрывают, так, что взглянув снизу вверх, видишь только одну зеленую гладкую гору) сошли мы в приятный сад, украшенный мраморными фигурами и группами. Здесь гулял Фридрих с своими Вольтерами и Даланбертами.[24] Где ты теперь? думал я. Сажень земли вместила прах твой. Любезныя [25] места́ твои,[25] для украшения которых призывал ты лучших художников, теперь осиротели и пусты. — Из сада прошли мы в парк, где встречается глазам Японской домик на левой стороне главной алеи; а далее, перешедши через каменной мост, видишь на обеих сторонах прекрасные храмики. Мы прошли к *новому дворцу,* построенному покойным Королем со всею царской пышностию. Внутренность еще великолепнее внешности; и дивясь богатству, дивишься и вкусу, который виден в уборе комнат. Более шести миллионов талеров стоил Королю сей дворец. — Правда, я был тут не в таком расположении, в каком надобно рассматривать пышныя произведения искусств. Кровь моя волновалась, голова болела, и я насилу мог ходить. Оставив [26] дворец, поехали мы назад в город, [27] чтобы отдохнуть несколько в том трактире, где обедали.[27]

День склонялся к вечеру, и надобно было думать о возвращении. Вода с вином освежили меня, и мы поехали [28] назад в Берлин по Шарлотенбургской дороге. Мне хотелось видеть сей городок. Товарищ мой тут не езжал; но все уверяли нас, что нам не льзя сбиться с дороги. Чем далее [29] ехали мы,[29] тем хуже мне становилось. Раз шесть сходил я с лошади и отдыхал на траве. Ночь застала нас в большом лесу. Наконец я так ослабел, что не мог ни ехать, ни итти пешком, и как полумертвый лежал под деревом с закрытыми глазами. В лесу царствовала глубокая тишина. Товарищ мой стоял подле меня, держа обеих лошадей, [30] и горевал, не зная, как мне помочь. Одним словом, нас можно было в эту минуту изобразить на одном из тех эстампов, которыми украшаются модные романы! Д ** вздумал-было искать [30] по близости какого нибудь селения, нанять телегу и везти меня в Берлин; но как же было [31] остаться мне одному,[31] ночью, в лесу и в такой слабости? [32] Пруссия не Аркадия, и наш век не золотой: меня могли ограбить, а со мною было все мое богатство. Наконец, через час, я встал,[32] и пожав руку у моего любезного [33] това-

рища, сказал ему, что мне лучше. С версту [34] прошли мы пешком, и сели [35] на лошадей. Смертельная жажда томила меня, и за стакан воды отдал бы я половину своих червонцев. Шарлотенбург был от нас еще не близко. Несколько раз надеялись [36] мы видеть его, подъезжали и видели — лес и мрак. Наконец приехали в город; и с жадностию, какой еще никогда в жизни своей не чувствовал, лил я в себя холодную воду. До Берлина оставалась одна миля. Мне хотелось как нибудь добраться до места и мы въехали в алею зверинца. Луна взошла над нами; ясной свет ея разливался по зелени листьев; тихой и чистой воздух упитан был благовонными испарениями лип. И я мог жаловаться в сии минуты — тогда, как мать Природа дышала ароматами вокруг меня? [37] Эта ночь оставила во мне какия-то романическия, приятныя впечатления.[37] — Городския ворота были уже затворены; однакожь нас впустили.

Ныне поутру встал я [38] совершенно здоров,[38] оделся и поехал к Господину М**. Он повез меня к Формею, Секретарю Берлинской Академии, который принял [39] нас ласково.[39] Сей старик все еще бодр и весел. Он читал нам письмо, полученное им из П * от своего родственника, который всякую неделю пишет к нему, и не щадя бумаги. «Не поверите, с каким удовольствием я все это читаю!» сказал он. Г. Формей был знаком с Вольтером, и рассказывал нам некоторые анекдоты касательно до его пребывания в Берлине. — В следующий Четверток будет собрание в Берлинской Академии, в которое угодно было Господину Формею пригласить меня. [40] Мы поехали [40] к зятю его, Господину М***, Профессору, содержателю большого пансиона [41] и также Члену Академии. Он показывал нам минеральный кабинет и библиотеку сестры покойного Короля, состоящую из Французских, Англиийских, Италиянских и Немецких книг — [42] Философов, Историков и Поэтов. — После обеда я был у Графа Н**: об нем ни слова! Говорят, что он в старину имел имя остроумного человека в свете. Австрийский Посол, Князь Р *, бывший у него в гостях, казался мне ласковее хозяина.

Я поехал в Оперу.[42] Оперный дом велик и очень хорош. Тут видел я всю Королевскую фамилию и Штатгальтершу с дочерью. Играли Оперу Медею, в которой пела Тоди. Я слышал эту [43] славную певицу еще в Москве, и скажу — может быть к стыду своему — что ея пение мало трогает мое сердце. Для меня не приятно [44] видеть напряжение, с которым она поет. Впрочем, будучи только любителем музыки, не могу ценить искусства ея. Что принадлежит до декораций, то оне были великолепны.[45]

‹18›

Июля 5.

Ныне был я у старика Рамлера, Немецкого Горация. Самый почтенный Немец! Ваши сочинения, сказал я ему, почитаются у нас классическими. [1] Ему приятно было слышать,[1] что и в России читают его стихи и знают их цену. Рамлер напитался духом древних, а особливо Латинских Поэтов. В Одах его есть истинные восторги, высокое парение мыслей и язык вдохновения. Только иногда присвоивает он себе и чужие восторги, и заимствует [2] огонь у Горация [3] или других древних Поэтов [3] — правда, всегда искусным образом. Теперь он уже прожил век Поэзии. В новых его пиесах надобно удивляться круглости, чистоте и гармонии, [4] т. е. искусству его в механизме стихотворства; [4] но в них нет уже пиитического жара, который всегда с летами проходит. Кажется, что он сам это чувствует, и потому ныне мало сочиняет. Главное его упражнение с некоторого времени состоит в переводах Римских Поэтов, в которых почти всегда соблюдает [5] меру оригинала. Сии пиесы, печатаемые в Берлинском Журнале, могут служить примером в искусстве переводить. «Теперь, сказал он мне, принялся я за Марциала. Только немногия из его эпиграмм [6] были до сего времени [7] известны на Немецком языке.[7] Сам Лессинг перевел некоторыя, не упоминая Марциалова имени.» — Еще при жизни Геснеровой начал он перекладывать в стихи его Идиллии. «Я подражаю Сократу — писал он к Автору, своему другу — который в старости своей перелагал в стихи Езоповы басни.» Искусные Критики не довольны [8] трудом его.[8] Легкость и простота Геснерова языка, говорят они, пропадает в экзаметрах. К тому же в Идиллиях Швейцарского Теокрита есть какая-то гармония, которая не уступает гармонии стихов. Но Рамлер думает, и мне сказал, что Геснеровы Идиллии были единственно [9] потому несовершенны, что Автор писал их не экзаметрами. — Стихи свои, еще в рукописи, читает он одной [10] приятельнице, которая, не будучи ученою, имеет природное нежное *чувство изящного*. «Иногда, сказал он мне, я [11] спорю с нею,[11] когда она находит что нибудь противное в моих сочинениях.[12] *Говорите, что хотите*, отвечает она: *я не могу опровергать вас, но остаюсь при своем чувстве*. Наконец, подумав хорошенько, нахожу, что она права, и винюсь перед нею.» — Мне пришла [13] на мысль Аспазия, которой Афинские певцы отдавали на суд свои творения; [14] ушам ея верили они более, нежели своим — и я думаю, что женщины вообще могут чувствовать [15] некоторыя красоты Поэзии живее мущин.[15] — Рамлер восстает против Греческих митологических имен, которыя Граф Штолберг, Фос и другие удерживали в своих переводах. Мы уже привыкли к Латинским, говорит он: начто переучивать нас без всякой нужды? — Он очень любит Театр, и все, что я слышал от него об искусстве представления, мне очень полюбилось. Славный Экгоф утверждал, что Актеру не надобно чувствовать для того, чтобы хорошо играть; естьли не ошибаюсь, то и Энгель в своей Мимике то же говорит: но Рам-

лер думает противное, и кажется, справедливее их. В разговоре о Лейпцигских Ученых упомянул я о Вейсе. «Вейсе лучший друг мой», сказал он, и указал мне на стене портрет его. — Наконец я простился с ним, и он на память подарил мне Оду, сочиненную им нынешнему Королю, или, лучше сказать, кантат, выбранный из псалмов. — Рамлер высок, худощав, долгонос; говорит [16] отборно и протяжно.[16]

[17] Ныне представляли [17] Дон Карлоса, Шиллерову Трагедию. Нещастная любовь Принца к его мачихе Елисавете, которая прежде была его невестою, есть содержание сей Трагедии. Характер Короля Филиппа II, о котором История говорит столько [18] худого и доброго; который, для истребления ереси, проливал кровь человеческую, но услышав [18] о погибели флота своего, рассеянного ветром и разбитого Англичанами, равнодушно сказал: *Я послал его против Англичан, а не против ветров: буди воля Божия!* и сие нещастие перенес с твердостию Героя — сей характер изображен [19] с великим искусством.[19] Благородный и пылкий в страстях своих Дон Карлос трогает зрителя до глубины сердца. Великодушный [20] Маркиз Поза, друг Принцов, пробуждающий в нем ревность к добродетели и к героическим [21] делам, которую усыпила [22] нещастная страсть, представлен Автором в пример истинно-великого мужа. Есть трогательныя [23] и ужасныя сцены. — Короля играл Флек, и я еще более уверился в том, что он великой Актер. Маттауш, молодой человек,[24] представлявший Дон Карлоса, [25] довольно хорошо [25] выражал живость и пылкость Принцова характера. К тому же он очень недурен собою. Что принадлежит до роли Маркиза Позы, то Унцельман играл ее как-то [26] очень бездушно.[26] Ему гораздо свойственнее [27] представлять в [28] *Ненависти к людям* [28] старого Генерала, который от скуки [29] бьет мух,[29] нежели важного Маркиза Позу. Ролю Королевы играла очень слабо какая-то молодая Актриса. Гж. Унцельман трогательно [30] представляла молодую Принцессу, влюбленную в Принца. — Сия Трагедия есть одна из лучших Немецких драматических пиес, и вообще прекрасна. Автор пишет в Шекспировом духе. Есть только слишком фигурныя выражения (так как и у самого Шекспира), которыя хотя и показывают остроумие Автора, однакожь в Драме не у места.

‹19›

Берлин, Июля 6.

Веди меня к Морицу, сказал я ныне поутру наемному своему лакею. — «А кто этот Мориц?» — Кто? Филипп Мориц, Автор, Философ, Педагог, Психолог. — — «Постойте, постойте! Вы мне много насказали; надобно поискать его в календаре под каким нибудь одним именем. И так (*вынув из кармана книгу*) и так он Философ, говорите вы? Посмотрим.» — Простодушие сего доброго человека, который с важностию переворачивал

листы в своем всезаключающем календаре, и непременно хотел найти в нем роспись Философов, заставило меня смеяться. Посмотри его лучше между Профессорами — сказал я — пока еще число любителей мудрости не известно в Берлине. — *Карл Филипп Мориц, живет в* — — «Пойдем же к нему.»

Я имел великое почтение к Морицу, прочитав его *Anton Reiser*,* весьма любопытную[1] психологическую книгу, в которой описывает он собственныя свои приключения, мысли, чувства,[2] и развитие душевных своих способностей. Confessions de J. J. Rousseau, Stillings Jugendgeschichte ** и Anton Reiser, предпочитаю я всем систематическим Психологиям в свете.

Человеку с живым чувством и с любопытным духом трудно ужиться на одном месте; неограниченная деятельность души его требует всегда новых предметов, новой пищи. Таким образом Мориц, накопив от Профессорского дохода своего несколько луидоров, ездил в Англию, а потом в Италию, собирать новыя идеи и новыя чувства. Подробное и, можно сказать, оригинальное описание первого путешествия его, которое издал он под титулом Reisen eines Deutschen in England,*** читал я с великим удовольствием. О путешествии его по Италии, откуда он недавно возвратился, Немецкая Публика еще ничего не знает.

Я представлял себе Морица — не знаю, по чему — стариком;[3] но как же удивился, нашедши в нем еще молодого человека лет в тридцать, с румяным и свежим лицом! — «Вы еще так молоды, сказал я, а успели уже написать столько прекрасного!» Он улыбнулся.[4] — Я пробыл у него час, в которой мы перебрали довольно разных материй.

«Ничего нет приятнее, как путешествовать, говорит Мориц. Все идеи, которыя мы получаем из книг, можно назвать мертвыми в сравнении с идеями очевидца. — Кто хочет видеть просвещенный народ, который посредством своего трудолюбия дошел до высочайшей степени утончения[5] в жизни, тому надобно ехать в Англию; кто хочет иметь надлежащее понятие о Древних, тот должен видеть Италию.» — Он спрашивал меня о нашем языке, о нашей Литтературе. Я должен был прочесть ему несколько стихов разной меры, которых гармония казалась[6] ему довольно приятною. «Может быть придет такое время, сказал он, в которое мы будем учиться и Рускому языку; но для этого надобно вам написать что нибудь превосходное.» Тут невольный вздох вылетел у меня из сердца. Всем новым языкам предпочитает он Немецкой, говоря, [7]что ни в котором из них нет столько *значительных* слов, как в сем последнем.[7] Надобно сказать, что Мориц есть один из первых знатоков Немецкого языка, и что, может быть, никто еще не разбирал его так философически, как он. Весьма любопытны небольшия его пиесы Über die Sprache in psychologischer Rücksicht,**** которыя сообщает он в своем Психологиче-

---

* «Антона Райзера» (*нем.*)

** «Исповедь» Ж.-Ж. Руссо (*франц.*), «Историю молодости» Штиллинга (*нем.*)

*** «Путешествие немца по Англии» (*нем.*)

**** «О языке с психологической точки зрения» (*нем.*)

ском Магазине. — «Нам должно всегда *соединенными силами* искать истины, говорит он: она укрывается от *уединенного* искателя, [8] и *утомленному* Философу часто призрак истины кажется истиною.» [8] Мориц в ссоре с Кампе, славным Немецким Педагогом, который [9] в Ведомостях разбранил [10] его за то, что он вышел из связи с ним, и не захотел более печатать своих сочинений в его типографии. [11] «Я хотел [11] отвечать ему в таком же тоне, сказал Мориц, и написал-было уже листа два; однакожь одумался, бросил в огонь написанное и хладнокровно предложил Публике свое оправдание.» — Странные вы люди! думал я: вам не льзя ужиться в мире. Нет почти ни одного известного Автора в Германии, который бы с кем нибудь не имел публичной ссоры; и Публика читает с удовольствием бранныя их сочинения! — Adieu,* Г. Профессор! —

Я хотел-было видеть Энгеля, сочинителя *Светского Философа* и *Мимики*; но, к сожалению, не застал его дома. После обеда был [12] на фарфоровой фабрике, которая, по чистоте и твердости фарфора, есть одна из первых в Европе. Мне показывали множество прекрасных вещей, в которых надобно удивляться искусству рук человеческих.

В Театре представляли ныне Шредерову Familiengemählde ** — пиесу, которая не сделала во мне никакого приятного впечатления, может быть от того, что ее худо играли — и Оперу *Два охотника*. В последней [13] ролю девки молошницы играла та Актриса, которая в Дон-Карлосе представляла Королеву: какое превращение! Однакожь девку молошницу играет она лучше,[14] нежели Королеву.

‹20›

Берлин, Июля 7.

Нравственность здешних жителей прославлена отчасти с худой стороны. Г. Ц* называет Берлин Содомом и Гомором; однакожь Берлин еще не провалился, и Небесный гнев не обращает [1] его в пепел. В самом деле Г. Ц*, писав это,[2] забыл, что во всех семьях бывают уроды, и что по сим уродам не льзя заключать о всей семье. Мудрено и людям считаться между собою в добродетелях или пороках, а городам еще мудренее. — Одним словом, естьли бы Г. Лейб-Медик и Кавалер был непристрастен; естьли бы *некоторые* люди в Берлине не зацепили его за-живое, то бы он конечно не заговорил таким не-философским,[3] для Космополита и Филантропа оскорбительным языком.[4]

Говорят, что в Берлине много распутных женщин; но естьли бы Правительство не терпело их, то оказалось бы,[5] может быть, более распутства в семействах — или надлежало бы выслать из Берлина тысячи сол-

* Прощайте (*франц.*)
** «Картины семейной жизни» (*нем.*)

дат, множество[6] холостых, праздных людей, которые конечно не по Руссовой системе воспитаны, и которые по своему состоянию не могут жениться.[7]

Мне сказывали, что однажды ввечеру в зверинце развращенныя Берлинския Вакханты как Фурии бросились на одного нещастного Орфея, который уединенно гулял в темноте алей; отняли у него деньги, часы, и сорвали бы с него самое платье, естьли бы подошедшие люди не принудили их[8] разбежаться. Но когда бы[9] рассказали мне и тысячу таких[10] анекдотов, то я все не предал бы анафеме такого прекрасного города, как Берлин.[11]

В похвалу Берлинских граждан говорят, что они трудолюбивы, и что самые богатые и знатные люди не расточают денег на суетную роскошь, и соблюдают строгую экономию в столе, платье, экипаже и проч. Я видел старика Ф** едущего верхом на такой лошади, на которой бы, может быть, и я постыдился ехать по городу, и в таком кафтане, который сшит конечно в первой половине текущего столетия. Нынешний Король живет пышнее своего предшественника; однакожь окружающие его держатся по большой части старины. — В публичных собраниях бывает много хорошо-одетых молодых людей; в уборе Дам виден вкус.

‹21›

Берлин, Июля 8.

Естьли бы из народной[1] брани можно было заключать о народном[2] характере, то бы из schwer Noth,* [3]любимого Немецкого слова,[3] путешественник заключил, что в Немцах много желчи; но что бы тогда должно было заключить из любимой брани нашего народа?[4]

Здесь стоят на улицах наемныя кареты, так как у нас извощичьи дрожки или сани. За восемь грошей — что по нынешнему курсу составит 40 копеек — можно ехать в городе куда угодно, только в одно место. Карета и лошади очень изрядны.[5]

Справедливо говорят, что путешественнику надобно всегда останавливаться в первых трактирах, не только для лучшей услуги, но и для самой экономии. Там есть всему определенная цена, и лишнего ни с кого[6] не потребуют; а в худых трактирах стараются взять с вас как можно более, естьли[7] приметят, что в кошельке вашем есть золото. У Г. Блума плачу я за обед, который состоит из четырех блюд, 80 коп., за порцию кофе 15 коп., а за комнату в день 50 коп. Наемный лакей всегда благодарил меня, когда я давал ему в день полтину.[8]

Ныне счел я, что дорога от Кенигсберга[9] стоит мне не более пятнадцати червонных. На ординарной почте платят за милю 6 грошей или 30 копеек; сверх того надобно давать постиллионам на вино.

---

* Т. е. падучая болезнь.

‹22›

За две мили от Дрездена, 10 Июля, 1789.

И так [1] ваш друг [1] уже в Саксонии! — Осьмого числа отправил я к вам свой пакет из Берлина, и думал еще пробыть там по крайней мере неделю; но l'homme propose, Dieu dispose.* В тот же вечер стало мне так грустно, что я не знал, куда деваться. Бродил по городу, нахлобучив себе на глаза шляпу, и тростью своею считал на мостовой камни; но грусть в сердце моем не утихала. Прошел в зверинец, переходил из алеи в алею, по мне все было грустно. Что же делать? спросил я сам у себя, остановясь в конце длинной липовой алеи, приподняв шляпу и взглянув на солнце, которое в тихом великолепии сияло на западе. [2] Минуты две [2] искал я ответа на лазоревом небе и в душе своей; в третью нашел его — [3] сказал: *поедем далее!* [3] и тростью своею провел [4] на песке длинную змейку, подобную той, которую в *Тристраме Шанди* начертил Капрал Трим (vol. VI, chap. XXIV),** говоря [5] о приятностях свободы.[5] Чувства наши были конечно сходны. Так, добродушный Трим! nothing can be so sweet as liberty,*** думал я, возвращаясь скорыми шагами в город; и кто еще не заперт в клетку — кто может, подобно птичкам небесным,[6] быть здесь и там, и там и здесь — тот может еще наслаждаться бытием своим, и может быть щастлив, и должен быть щастлив.

И так, не дожидаясь торжественного собрания Берлинской Академии, решился я на другой день ехать. [7] Мне надлежало бы еще [7] побывать у Гр. К*, которая звала меня к себе через Господина М*; однакожь и это не могло меня остановить. — Вечер [8] провел я очень приятно с любезным Д*, а на другой день по утру, уклав свой чемодан и расплатясь с Господином Блумом, отправился в Саксонию — на ординарной почте, в открытой коляске, с двумя Студентами и одним молодым Лейпцигским купцом.[9]

С другой перемены поехал я на так называемой экстренной почте. В проклятой [10] Немецкой фуре [10] так [11] растрясло меня, что и теперь чувствую боль в груди.[11] Сверх того остался у меня на щеке рубец, и я должен еще благодарить Судьбу, что глаза мои целы. Надобно знать, что дорога к Саксонским границам идет по большой части лесом; а как почтовая коляска открыта [12] и очень высока, то сидящие в ней беспрестанно [13] должны нагибаться, [14] чтобы не удариться головою об дерево.[14] Ввечеру я задремал и схватил [15] от какого-то ветьвистого дерева такую пощечину, что у меня искры из глаз посыпались. Все это вместе заставило меня проститься с веселыми Студентами.[16]

Экстренная почта стоит почти вчетверо дороже ординарной. Мне дают пару лошадей с коляскою,[17] и берут с меня за милю по талеру (120 коп).[16]

---

* Человек предполагает, Бог располагает (*франц.*)
** т. VI, гл. XXIV (*англ.*)
*** Т. е. ничего не может быть приятнее свободы.

Саксонские иостиллионы отменны от Прусских только цветом своих кафтанов (на последних синие с красным воротником, а на первых желтые с голубым); впрочем они также жалеют своих лошадей, также любят пить в корчмах и также грубы.

Дороги в Саксонии [18] очень дурны,[18] и от Берлина до сего места не встречалось глазам моим ни одного приятного вида; только земля здесь, кажется, лучше обработана, нежели в Бранденбурге. По крайней мере известно то, что Саксонские земледельцы [19] вообще гораздо богатее Прусских.

Я должен описать вам одну встречу, которая оставила во мпе приятныя впечатления.

В местечке или в маленьком городке, где я ныне в полдень переменял лошадей, Почтмейстер не отправлял меня очень долго. Я прохаживался по двору, и думал — не знаю, о чем. Знаю только, что стук [20] коляски, подъехавшей к крыльцу почтового дома, перервал нить моих мыслей. Я взошел на крыльцо, и увидел молодую, прекрасную, нежную, белокурую женщину, — в маленькой черной шляпке, в Амазонском зеленом платье, с белым платком в руках, — вышедшую из коляски с пожилым, горбатым, долгоносым мущиною, которого изображение было бы не последнею пиесою между Гогардскими каррикатурами. Он подал ей руку, и когда они проходили мимо меня, я снял шляпу и поклонился красавице, — правда, не очень низко, для того, чтобы ни на секунду не выпустить [21] из глаз прелестей лица ея. [22] Надобно думать, что взор мой стоил комплимента: на меня взглянули умильно, и даже ласково! [22] Почтмейстер встретил гостей в сенях, [23] отвел им комнату,[23] и сам побежал за ключевою водою, в которой имела нужду красавица для освежения своих прелестей. Дверь затворилась, и я остался один в сенях. Но разве эта дверь не отворяется! [24] вздумал я, и тихонько [24] отворил ее. Красавица стояла перед зеркалом, и белым платком отирала пыль с белого лица своего; а сопутник ея сидел на креслах и зевал. «Извините, сказал я: у меня здесь осталась книга». Горбатый кавалер кивнул головою, и указал мне книгу мою, которая лежала на столе. Красавица отворотилась от зеркала, и взглянула на меня такими быстрыми, проницательными глазами, [25] что я верно бы [25] закраснелся, естьли бы у меня что нибудь дурное было на мысли; но я с спокойствием невинности смотрел на ея прекрасные голубые глаза, на ея правильный Греческий нос, [26] на ея розовые губы и щеки,[26] и любовался прелестями ея так, как молодой ваятель любуется Микель-Анджеловою статуею, или живописец Рафаэлевою картиною. — Красавица села, а я стоял против нее, и все еще не брал своей книги. «День очень жарок,» — сказала она приятным голосом, взглянув на своего сопутника и на меня. Он [27] зевнул, а я повторил ея слова: «день очень жарок.» Тут последовало [28] молчание. Зная, что женщины в *решительных* случаях жизни никогда не говорят первого слова, я спросил наконец: [28] «не в Дрезден ли вы едете, сударыня?» — «Нет, отвечала она: мы едем в деревню к своему приятелю. А вы конечно сами в Дрезден едете?» — Так, сударыня: я надеюсь быть там завтра очень рано. — «Вы конечно иностранец, естьли смею спросить?» —

Так, сударыня. — «Конечно Англичанин? потому что Англичане хорошо говорят по-Немецки.» — Извините, сударыня: я Москвитянин. — «Москвитянин? Ах, Боже мой! я еще от роду не видывала Москвитян.» — А я видал, сказал горбатый кавалер, и начал снова зевать. — «Да скажите пожалуйте, как вы к нам заехали?» — Из любопытства, сударыня. — «Надобно, чтобы вы были очень любопытны. Ведь вы конечно оставили в отечестве своем много любезного?» — Много, сударыня, много: я оставил отечество и друзей. — Не знаю, до чего бы мы с нею договорились, естьли бы не пришел Почтмейстер с водою, и не сказал мне, что коляска моя готова. Я низко поклонился красавице, а она пожелала мне щастливого [29] пути. — «И только?» — Что ж делать! Не хочу лгать.[29]

Прекрасный лужек, прекрасная рощица, прекрасная женщина — одним словом, все прекрасное меня радует, где бы и в каком бы виде ни находил его. Образ милой Саксонки остался [30] в моих мыслях,[30] к украшению картинной галлереи [31] моего воображения.[31] — На сей последней перемене [32] я решился [32] ночевать. Теперь бьет 10 часов. В четыре [33] меня разбудят.[33]

‹23›

Дрезден, 12 Июля.

Утро было прекрасное; птички пели, и молодые олени играли на дороге. Тут вдруг открылся мне Дрезден, [1] на большой долине,[1] по которой течет кроткая Эльба. Зеленые холмы на одной [2] стороне реки, и величественный город, и обширная плодоносная долина, составляют великолепный вид. — С приятными чувствами въехал я в Дрезден, и при первом взгляде показался он мне огромнее самого Берлина.[3]

Я остановился в трактире на почтовом дворе, и, одевшись, пошел к Господину П*, к которому было у меня [4] письмо из Москвы.[4] Он принял меня очень ласково, и вызвался-было доставить мне приятныя [5] знакомства в Дрездене; но как я пробуду здесь не более трех дней, и следственно не буду иметь времени пользоваться знакомствами, то мне оставалось только благодарить его за добрую волю. Мы пошли с ним ходить по городу.[3]

Дрезден едва ли уступает Берлину в огромности домов; но только улицы здесь гораздо теснее. Жителей считается в Дрездено около 35 000: очень не много [6] по обширности города и величине домов! [6] Правда, что на улицах и немного людей встречается; и на редком доме не прибито объявления об отдаче в наем комнат. За две или за три порядочно убранныя [7] горницы платят здесь в месяц не более семи или осьми талеров. — В некоторых местах города видны еще следы опустошения, произведенного в Дрездене Прусскими ядрами в 1760 году. — С час стоял

я на мосту, соединяющем так называемый *Новый город*[8] с Дрезденом, и не мог насытиться рассматриванием приятной картины, которую образуют[9] обе части города и прекрасные берега Эльбы. — Сей мост, длиною в 670 шагов, считается[10] лучшим в Германии; на обеих сторонах сделаны ходы для пеших и места для отдохновения.

Господин П* хотел, чтобы я у него обедал. Вы увидите мое семейство, сказал он. Нас встретила женщина лет в сорок, почтенного вида, и молодая девушка лет в двадцать, не прекрасная, но миловидная и нежная. Вот все мое семейство! сказал мне Господин П* — и я поцеловал руку [11] у той и другой.[11] Обед был самый умеренный, однакожь и не голодный. Хозяин и хозяйка расспрашивали меня о России, и вопросы их были так умны, что ответы не приводили меня в затруднение. Господин П* хотя и не есть Ученый,[12] однакожь много читал; и за бутылкою старого Реинского вина, которую принесла нам сама хозяйка, говорил с великим жаром о творениях некоторых Немецких Поэтов. Миловидная Шарлотта по большой части молчала, но взоры и улыбки ея были красноречивы.[13] [14] После обеда она играла на клавесине, хотя в Немецком вкусе, однакож не без приятности.[14] — От них пошел я в славную картинную галлерею, которая почитается одною из первых в Европе. Я был там три часа, но на многия картины не успел и глаз оборотить; не три часа, а несколько месяцев надобно,[15] чтобы хорошенько осмотреть сию галлерею. [16] Я рассматривал со вниманием Рафаэлеву * Марию [16] (которая держит на руках Младенца, и перед которою стоят на коленях Св. Сикстус и Варвара); Корреджиеву ** *ночь*, о которой столько писано и говорено было,

* Рафаэль, глава Римской школы, признан единогласно первым в своем искусстве. Никто из живописцев не вникал столько в красоты антиков, никто не учился Анатомии с такою прилежностию, как Рафаель — и потому никто не мог превзойти его в рисовке. Но знания, которыя сим средством приобрел он в форме человеческой, не сделали бы его таким великим живописцем, естьли бы Натура не одарила его творческим духом, без которого живописец [17] есть не что иное, как [17] бедный копист. Небесный огнь оживляет черты кисти его, когда он изображает Божество; в чертах Героев его видно непобедимое мужество; в образе Венеры или Роксаны умел он соединить все женския прелести, а в образе Марии красоту, невинность и святость. Лица тиранов,[18] им изображенныя, приводят в ужас; в лицах Мучеников [19] его надобно удивляться живым чертам небесного терпения. — Правда, что картины его неравной цены; последния несравненно превосходнее первых. [20] Преображение Христово считается [20] лучшим его произведением. — Сей великой художник скончал жизнь свою преждевременно, от чрезмерной склонности к женскому полу, склонности, которая вовлекла его в распутство.[21] Он родился в Урбино в 1483, а умер в Риме в 1520 году.

** Корреджио, первый Ломбардский живописец, почти без всякого руководства достиг до высочайшей степени совершенства в своем искусстве, не выезжав никогда из своего отечества, и не видав почти никаких хороших картин, ни антиков. Кисть его ставится [22] в пример нежности и приятности. Рисовка [23] не совсем правильна, однакожь искусна; головы [24] прекрасны, а краски несравненны. Нагое тело писал он весьма живо, а лица его [25] говорят. Одним словом, картины его отменно милы даже и для незнатоков;[25] и естьли бы Корреджио видел все прекрасныя творения [26] искусства в Риме и в Венеции, [27] то превзошел бы,[27] может быть, самого Рафаэля. — Всю жизнь свою провел он в бедности, был скромен, доволен малым и человеколюбив. Причина его смерти достойна замечания.[28] Продав в Парме одну картину свою, [29] взял он за нее [29] мешок медных денег и пошел

и в которой наиболее удивляются смеси света со тьмою; Микель-Анджелову * картину, представляющую [39] осужденного на смерть [39] человека, и вдали город; картины Юлия Романа **: Пана, который учит на флейте молодого пастуха; играющую Цецилию, окруженную Святыми, и проч. — Веронезовы: *** Воскресение, похищение Европы, и проч. — Караччиевы: **** Гения славы, летящего по воздуху; Марию со Младен-

---

с ним пешком в Корреджио. День был жарок, и ему надлежало перейти четыре мили. Радуясь тому, что полученными деньгами может на некоторое время вывести из нужды семейство свое, не чувствовал он усталости; но пришедши домой, занемог [30] горячкою, которая через несколько дней прекратила [31] жизнь его. Он родился в 1532, а умер в 1588 году.

* Микель-Анджело был великой Архитектор, живописец и рещик. Построенный им купол церкви Св. Петра служит доказательством искусства его в Архитектуре. Что принадлежит до картин его, то оне не столько приятны, сколько удивительны: для того что он всегда хотел представлять трудное и чрезвычайное. Зная хорошо Анатомию, старался он слишком сильно означать мускулы в своих фигурах; а тело писал всегда кирпичного цвета. Но естьли Микель-Анджело [32] не первый живописец по своей кисти, то едва ли кто нибудь превзошел его в рисовке. — В Скульптуре был он, кажется, еще искуснее. Его Купидон, Бахус и молодой Сатир, считаются [33] лучшими творениями [34] сего художества. — Микель-Анджело был остроумен.[35] Когда Папа Юлий спросил у него с неудовольствием, для чего он в писанных им картинах из Ветхого завета не употребил золота, по примеру старинных живописцев: то он с покорным видом отвечал, что святые мужи, им изображенные, считали [36] блеск одежды за ложное украшение человека. Желая дать знать Рафаэлю, что он видел в Фарнезских палатах картину его, Галатею, начертил он углем на стене Фаунову голову, которую и ныне [37] там показывают. Рафаэль, увидев ее, сказал, что никто, кроме Микеля-Анджело, не мог начертить такой головы. — Показывая Микель-Анджелову картину Распятия Христова, рассказывают всегда, будто бы он, желая естественнее [38] представить умирающего Спасителя, умертвил человека, который служил ему моделью; но анекдот сей совсем невероятен. — Он родился в 1474, а умер в 1564 г.

** Юлий Роман, лучший Рафаэлев ученик, имел плодотворное воображение, и был весьма искусен в рисовке. Все фигуры его вообще очень хороши. Только жаль, что он следовал антикам более, нежели Натуре! Можно сказать, что рисунки его слишком правильны, и от того все его лица слишком единообразны. Тело [40] он писал [40] кирпичного цвета, так как Микель-Анджело, и краски его вообще темны. Он родился в 1492, а умер в 1546 году.

*** Картины Павла Веронеза превосходны по живости и приятности фигур и по свежести красок. Натура была образцом его; однакожь, как великой художник, умел он исправлять [41] ея недостатки. — Между прочим рассказывают об нем следующий анекдот. Однажды, в окрестностях Венеции, застала его на дороге буря с дождем, и он принужден был требовать [42] убежища в загородном доме Прокуратора Пизани, который [43] принял его так ласково и дружелюбно, что живописец [44] не мог выехать от него несколько дней. В то [45] время написал он тихонько Дариеву фамилию (картину, на которой изображено двадцать фигур во весь рост) и спрятал ее под кровать; а прощаясь с хозяином, сказал ему, что он оставил там нечто в знак своей благодарности за его угощение. — Он родился в 1532, а умер в 1588 году.

**** Немногие из живописцев имели такое плодотворное воображение, как Аннибал Караччи, и немногие превзошли его в рисовке; а в последних его картинах, писанных в Риме, и самыя краски очень хороши. Лучшее произведение его кисти есть Фарнезская галлерея в Риме, над которою он восемь лет трудился, и за которую заплатили ему весьма худо, для того, что у него было много завистников и неприятелей. Он родился в 1560, а умер в 1609 году. Его погребли подле Рафаэля, которого он любил более всех живописцев.

цем, Матфеем и Иоанном, и проч. — Тинторетовы: * Аполлона с Музами, падение Ангелов, и проч. — Бассановы: ** Израильской народ в пустыне, Ноево семейство, и проч. — Джиордановы: *** похищение Сабинок, умирающего Сократа, Сусанну в купальне, и проч. — Розовы: **** собственный его портрет и ландшафт с деревьями, где сидящий старик говорит с двумя стоящими — Пуссеневы: ***** Ноево жертвоприношение, ландшафт с двумя сидящими Нимфами и с Нарциссом, который смотрится в воду, и еще другой, где спит нагая Нимфа, которую рассматривают из-за-дерева двое-мущин — Рубенсовы: ****** сидящую Марию с Младенцем, которому Ангелы подают плоды; Страшный Суд, Христа спящего на корабле во время бури, похищение Прозерпины, пьяного Силена с Нимфами, Венеру с Адонисом, наказываемого Купидона, которого одна женщина держит на руках, а другая сечет лозою; Нептуна, укрощающего море, и проч. — Фан Диковы ******* изображения Королей Карла II и Якова II; Иеронима, у ног которого лежит лев, и проч. — и наконец Менгсовы,

* Тинторет, Венецианской живописец, старался в своих картинах соединить вкус Микеля-Анджело с Тициановым: т. е. первому подражал он в рисунках, а второму в красках. (Тициан считается[46] первым колористом в свете.) Картины его весьма неравной цены, и потому говорили об нем, что он пишет иногда золотою, иногда серебряною, а иногда железною кистию. Он родился в 1512, а умер в 1594 году.

** В Бассановых картинах надобно удивляться живости красок; а в рисовке был он не весьма искусен, подобно всем Венециянским живописцам. Тело писал[47] очень живо, [48] а платье не хорошо.[48] Ландшафты его прекрасны. — Он родился в 1570, а умер в 1592 году.

*** Во всех Джиордановых картинах видна отменная легкость кисти; но как он писал слишком много, то почти все картины его не доделаны, и вообще рисовка[49] не очень правильна. Главною его моделью был Павел Веронез; но он умел подражать всем лучшим живописцам, так что самые знатоки иногда обманывались, и принимали его подражание за оригинал. — Он родился в Неаполе в 1632, а умер в 1705 году.

**** Салватор Роза, Неаполитанской живописец, писал лучше ландшафты, нежели историческия картины. Фигуры его по большой части неправильны;[50] однакожь в них видна смелая кисть и отменная живость. Дерева, горы и вообще всякие виды писал он прекрасно. Родился[51] в 1615, а умер в 1673 году.

***** В картинах Николая Пуссеня, славного Французского живописца, видны высокия мысли и живое выражение страстей; рисовка его правильна, но краски не очень хороши. В сем подобен он Римским живописцам, которые вообще не уважают колорита. Ландшафты его прекрасны. Он родился в 1594, а умер в 1663 году.

****** Рубенс по справедливости называется Фландрским Рафаэлем. Какой пиитический дух виден в его картинах! какия богатыя мысли! какое согласие в целом! какия живыя краски, лица, платья! Он никак не хотел подражать антикам, и писал все с натуры. К совершенству его картин недостает той[52] правильности в рисовке, которою славится Римская школа. — Рубенс способен был не только к живописи, но и к важным Государственным делам, и будучи Посланником в Англии, умел согласить Карла I на мир с Гишпаниею. Возвратясь во Фландрию, женился он на Елене Форман, славной красавице, которая часто служила ему моделью. Он родился в 1577, а умер 1640 году.

******* Фан Дик, Рубенсов ученик, есть конечно первый портретный живописец в свете. Колорит его не уступает Рубенсову; головы и руки писал он прекрасно. [53] Но для исторической живописи был уже не так способен,[53] для того что не имел Рубенсова пиитического духа. Король Карл I призвал его в Англию, где он мог бы обогатиться от своей работы, естьли бы жил умереннее и не прилепился к Алхимии.[54] Он родился в 1599, а умер в 1641 г.

которых очень много. Между прочими картинами есть прекрасныя перспективы и такия живыя изображения винограда и других плодов, что хочется их взять.[55] — Самыя лучшия картины перешли в Дрезденскую галлерею из Моденской, на прим. [56] Корреджиева *ночь*.[56] Август III, Польской Король, был великой любитель живописи, и не жалел денег на покупку хороших картин.

Надзиратель сказывал, что за несколько недель перед тем украли из галлереи картин десять, и притом самых лучших; но что, к щастию, воров скоро отыскали, и картины возвратились на прежнее [57] свое место. — Выходя, вручил я Господину надзирателю Голландской червонец.

Надобно было еще видеть так называемую *зеленую кладовую* (das Grüne Gewölbe), или собрание драгоценных камней, которому в целом свете едва ли есть подобное; и чтобы взглянуть [58] на этот блестящий кабинет [58] Саксонского Курфирста и после сказать: я *видел редкость!* надобно заплатить Голландской червонец. Мне сказывали, что один знатный Француз, смотря [59] на камни, сказал Курфирсту: *Хорошо, очень хорошо; а что это стоит Вашей Светлости?* [60]

После картинной галлереи и *зеленой кладовой* третия примечания достойная вещь в Дрездене есть библиотека, и всякой путешественник, имеющий некоторое требование на ученость, [61] считает за должность [61] видеть ее, то есть, взглянуть на ряды переплетенных книг и сказать: *какая огромная библиотека!* — Между Греческими манускриптами показывают весьма древний список одной Эврипидовой трагедии, проданной в библиотеку бывшим Московским Профессором Маттеем; за сей манускрипт, вместе с некоторыми другими, взял он с Курфирста около 1500 талеров. [62] Спрашивается, где Г. Маттей достал сии рукописи? [62]

Ввечеру [63] гулял я в саду,[63] который называется Zwinger Garten,* и который хотя [64] не велик, однакожь [65] приятен. Посланника [65] нашего нет в Дрездене. Он поехал в Карлсбад.

‹24›

Июля 12.

Ныне поутру вошел я в придворную Католическую [1] церковь во время обедни. Великолепие [2] храма, громкое и приятное пение, сопровождаемое согласными звуками органа; благоговение молящихся, к небу воздетыя руки Священников — все сие вместе произвело во мне некоторый восхитительный трепет. Мне казалось, что я вступил в мир Ангельской, и слышу гласы блаженных Духов, славословящих Неизреченного. Ноги мои подогнулись; я стал на колени и молился от всего сердца.

---

* Цвингеровский сад (*нем.*)

‹25›

Июля 12, в 10 часов вечера.

После обеда был я в гостях у нашего молодого Священника, где познакомился еще с Секретарем нашего [1] Министра; а оттуда пошел один гулять за город,[1] в так называемый *большой сад*. Длинная алея вывела меня за обширный зеленый луг. Тут на левой стороне представилась мне Эльба и цепь высоких холмов, покрытых [2] леском, из-за-которого выставляются кровли рассеянных домиков и шпицы башен. На правой стороне поля,[3] обогащенныя плодами; везде вокруг меня [4] расстилались зеленые ковры, усеянные цветами.[4] Вечернее солнце кроткими лучами своими освещало сию прекрасную картину. Я смотрел и наслаждался; смотрел, радовался и — [5] даже плакал: что обыкновенно бывает, когда сердцу моему очень, очень весело! — Вынул бумагу, карандаш; написал: *любезная Природа!* и более ни слова!! Но едва ли [5] когда нибудь чувствовал [6] так живо, что мы созданы наслаждаться и быть щастливыми; и едва ли когда нибудь [7] в сердце своем был так добр [7] и так благодарен против моего Творца, как в сии минуты. [8] Мне казалось, что слезы мои льются от живой любви к Самой Любви, и что оне должны смыть некоторыя черныя пятна в книге жизни моей.[8]

А вы, цветущие берега Эльбы, зеленые леса и холмы! вы будете благословляемы мною и тогда, когда, возвратясь в северное, отдаленное отечество мое, в часы уединения буду воспоминать прошедшее!

‹26›

Мейсен, Июля 13.

Я решился ныне поутру ехать в Лейпциг в публичной почтовой коляске (которая называется *желтою*, Gelbe Kutsche, для того что обита желтым сукном). В десять часов надлежало [1] нам отправиться.[1] Отдав свой чемодан Шафнеру (так называется в Саксонии проводник почты), и сказав ему, что буду дожидаться коляски на дороге, пошел я из Дрездена пешком в 9 часов утра. Наемный слуга согласился за несколько грошей быть моим путеводителем.[2]

Скорыми шагами вышел я из города; но вышедши, почти на каждом шагу останавливался и любовался прекрасною Натурою и плодами трудолюбия. Дорога идет вдоль по берегу Эльбы. На левой стороне за рекою видны горы, покрытыя частым зеленым березником и ольхами: а на правой плодоносная равнина с полями и деревеньками, которую в отдалении ограничивают виноградные сады.

Как ясно было небо, так ясна была душа моя. Я видел везде благоденствие, щастие и мир. Птички, которыя порхали и плавали по чистому воздуху над головою моею, [3]изображали для меня веселье и беспечность.[3] Оне чувствуют [4]бытие свое,[4] и наслаждаются им! [5]Каждый поселянин, идущий по лугу, казался мне[5] благополучным смертным, имеющим с избытком все то, что потребно человеку. Он здоров трудами — думал я — весел и щастлив в час отдохновения, будучи окружен [6]мирным семейством,[6] сидя подле верной своей жены, и смотря на играющих детей.[7] Все его желания, все его надежды ограничиваются обширностию[8] его полей; цветут поля, цветет душа его. — Молодая крестьянка с посошком была для меня Аркадскою пастушкою. Она спешит к своему пастуху — думал я — который [9]ожидает ее[9] под тению каштанового дерева, — там, на правой стороне, близь виноградных садов. Он чувствует электрическое потрясение в сердце,[10] встает и видит любезную,[11] которая издали грозит ему посошком своим. Как же бежит он на встречу к ней! Пастушка улыбается; идет [12]скорее, скорее — и[12] бросается в отверстыя объятия милого своего пастуха. — Потом [13]видел я их (разумеется, мысленно) сидящих друг подле друга в сени каштанового дерева.[13] Они целовались как нежныя горлицы.[14]

Я сел на дороге, и дождался почтовой коляски. [15]У меня было довольно товарищей; между прочими Магистер,[15] или деревенской Проповедник, в рыжем парике, и[16] двое молодых Студентов, Лейпцигской и Прагской, [17]который сидел[17] подле меня, и тотчас вступил со мною в разговор — о чем,[18] думаете вы? Непосредственно[19] о Мендельзоновом Федоне, о душе и теле. «Федон, сказал он, есть может быть самое *остроумнейшее* философическое сочинение; однакожь все доказательства бессмертия нашего основывает Автор на одной гипотезе. Много вероятности, но нет уверения; и едва ли не тщетно [20]будем искать его[20] в творениях древних и новых Философов!» — Надобно искать его в сердце,[21] сказал я. — «О! государь мой! возразил Студент: *сердечное* уверение не есть еще *философическое* уверение; оно не надежно; [22]теперь чувствуете его,[22] а через минуту оно исчезнет, и вы не найдете его места. Надобно, чтобы уверение основывалось на доказательствах, а доказательства на тех врожденных понятиях чистого разума, в которых заключаются все вечныя, необходимыя истины. Сего-то уверения [23]ищет Метафизик в уединенных сенях,[23] во мраке ночи, при слабом свете лампады, забывая сон и отдохновение. — Ежели бы могли мы узнать точно, что такое есть душа *сама в себе*, то нам все бы открылось; но» — — — Тут вынул я [24]из записной книжки своей[24] одно письмо [25]доброго Лафатера,[25] и прочитал Студенту следующее:

«Глаз, по своему образованию, не может смотреть на себя без зеркала. Мы созерцаемся[26] только в других предметах.[27] Чувство бытия, личность, душа — все сие существует единственно[28] по тому, что вне нас существует, — по феноменам или явлениям, которыя[29] до нас касаются.» — «Прекрасно! сказал Студент, — прекрасно! Но естьли думает он, что» — — Тут коляска остановилась; Шафнер отворил дверцы[30] и сказал: «Госпожи и господа! извольте обедать».[31]

Мы вошли в трактир, где уже накрыт был стол. Нам подали пивной суп с лимоном, часть жареной телятины, салат и масло, — за что взяли после с каждого копеек по сороку.

Дорога до самого Мейсена очень [32] приятна. Земля везде наилучшим образом обработана. Виноградные сады, которые сперва видны были в отдалении, подходят ближе к Эльбе, и наконец только одна дорога отделяет их от реки. Тут [33] стоят перпендикулярно [33] огромныя [34] гранитныя скалы! [34] Некоторыя из них — чего не делает трудолюбие! — покрыты землею и превращены в сады, в которых родится лучший Саксонский виноград. — На другой стороне Эльбы представляются развалины разбойничьих замков. Там гнездятся ныне летучия мыши, свистят и воют ветры.

Один древний поэт сказал:

Est locus, Albiacis ubi Misna rigatur ab undis
Fertilis et viridi totus amoenus humo.*

В этом месте теперь я. — — Мейсен лежит частию на горе, частию в долине. Окрестности прекрасны; только город сам по себе очень не красив. Улицы не ровны и не прямы; домы все [35] готические, и показывают странный вкус прошедших веков. Главная церковь есть большое здание, почтенное [36] своею древностию.[36] Старый дворец возвышается [37] на горе. Некогда воспитывались там Герои от племени Виттекиндова (сего славного [38] Саксонского Князя,[38] который столь храбро защищал свободу своего отечества, и которого Карл Великий победил не оружием, а великодушием своим). Ныне в сем дворце делают славный Саксонский фарфор. Чтобы видеть фабрику, надобно выпросить билет у главного Надзирателя.

Г. Маттей был несколько лет Директором здешней школы; но [39] недель за шесть [39] перед сим оставил [40] Мейсен и уехал в Виттенберг. Ему конечно везде дадут место. Он считается [41] в Германии одним из лучших Филологов.

Надобно садиться в коляску, и проститься с пером до Лейпцига.

‹27›

Лейпциг, Июля 14.

Дорога от Мейсена идет сперва по берегу Эльбы. Река, кроткая и величественная в своем течении, журчит на правой стороне; а на левой возвышаются скалы, увенчанныя зеленым кустарником, из за-которого в разных местах показываются седые мшистые камни.

---

* Благословенное место, где Мейсен волной омывается Эльбы,
Плодоносящее, зеленью щедрой покрыто (*латин.*)

Отъехав от Мейсена с полмили, вышли мы с Прагским Студентом из коляски, которая ехала очень тихо, и версты две шли пешком. После вопроса: женат ли я? Студент [1] мой начал говорить о женщинах, и притом не в похвалу их. «На гробе друга моего — сказал он — друга, который пошел в землю от нещастной любви к одной ветреной, легкомысленной женщине, клялся я удаляться от этого опасного для нас пола, и вечно быть холостым. Науки занимают всю мою душу — и, благодаря Бога! могу [2] быть щастлив сам собою.» — Тем лучше для вас, сказал я.

Стали находить облака, и мы сели опять в коляску. Тут Магистер шумел с Лейпцигским Студентом о теологических истинах. Сей последний предлагал разныя сомнения. Магистер брался все решить; но, по мнению Студента, не решил ничего. Это его очень сердило. «Наконец я должен вспомнить — сказал он, потирая рукою свой красный лоб — что некоторые люди совсем не имеют чувства истины. Головы их можно уподобить бездонному сосуду, в который ничего влить не льзя; или железному шару, в который ничто проникнуть не может, и от которого все отпрыгивает» — — И такия головы, перервал Студент, часто бывают покрыты рыжими париками, и торчат на кафедрах. — Государь мой! закричал Магистер, поправив [3] свой парик: о ком вы говорите? — О тех людях, о которых вы сами говорить начали, — спокойно отвечал Студент. Лучше замолчать, сказал Магистер. — Как вам угодно, отвечал Студент.

Между тем наступила ночь. Магистер снял с себя парик, положил его подле себя, надел на голову колпак и начал петь вечерния молитвы нестройным, диким голосом. Лейпцигской Студент тотчас пристал к нему, и они, как добрые ослы, затянули такое *дуо,* что надобно было зажать уши. — К щастию, певцы скоро унялись; в коляске все замолкло, и я заснул.

На рассвете остановились мы переменять лошадей, и когда стали выходить из коляски, чтобы итти в трактир пить кофе, Магистер хватился своего парика, искал его подле себя и на земле, и не могши найти, поднял крик и вопль: «Куда он девался? Как мне быть без него? как я бедный покажусь в город?» — Он приступил к Шафнеру, и требовал,[4] чтобы парик его непременно был отыскан. Шафнер искал и не находил. Лейпцигской Студент тирански смеялся над горестию бедного Магистра, и наконец, как будто бы сжалясь над ним, советовал ему поискать у себя в карманах. Чего тут искать! сказал он; однакожь опустил руку в карман своего кафтана, и — вытащил парик. Какая минута для живописца! Магистер от внезапной радости разинул рот, держал парик перед собою, и не мог сказать ни одного слова. «Вы ищите за милю того, что у вас под носом» — сказал ему Шафнер с сердцем; но душа Магистрова [5] была в сию минуту так полна, что ничто извне не могло войти в нее, и Шафнерова риторическая фигура проскочила естьли не мимо ушей его, то по крайней мере сквозь их, то есть (сообразно с Боннетовой [6] гипотезою о происхождении идей) [7] не тронув в его мозгу никакой новой или *девственной* фибры (fibre vierge).[7] Ко-

нечно долее минуты продолжалось его безмолвное восхищение. Наконец он засмеялся, и надевая на себя парик, уверял нас, что он Магистер не клал его в карман; а как парик[8] зашел туда, о том ведает Сатана и — — Тут взглянул он на Лейпцигского Студента и замолчал.

Без всяких дальнейших приключений [9] доехали мы до Лейпцига.[9]

Здесь-то, милые друзья мои, желал я провести свою юность; сюда стремились мысли мои за несколько лет перед сим; здесь хотел я собрать нужное для искания той истины, о которой с самых младенческих лет тоскует мое сердце! — Но Судьба не хотела исполнить моего желания.

Воображая, *как бы* я мог провести те лета, в которыя, так сказать, образуется душа наша, и *как* я провел их, чувствую горесть в сердце и слезы в глазах. — Не льзя возвратить потерянного! —

В 11 часов ночи. Я остановился в трактире у Мемеля против почтового двора. Комната у меня чиста и светла, а хозяин услужлив и говорлив до крайности. Между тем, как я разбирал свой чемодан, рассказывал он мне о порядке, заведенном в его доме, — о своем бескорыстии, честности и проч. «Все те, которые жили у меня — говорил он — были мною довольны. Я получаю конечно не много барыша, да за то идет обо мне добрая слава; за то у меня совесть чиста и покойна — а у кого покойна совесть, тот щастлив в здешней жизни, и ничего не боится, и ни от чего не бледнеет» — — В самую сию секунду грянул гром, и Г. Мемель испугался и побледнел. Что с вами сделалось? спросил я. «Ничего, отвечал он запинаясь, ничего; только надобно затворить окно,[10] чтобы не было сквозного ветру.»

В нынешнее лето я еще не видал и не слыхал такой грозы, какая была сегодни.[11] В несколько минут покрылось небо тучами; заблистала молния, загремел гром, буря с градом зашумела, и — через полчаса все прошло; солнце снова осветило небо и землю, и трактирщик мой опять начал говорить о неустрашимости того, кто берет за все умеренную цену, и, подобно ему, имеет чистую совесть.[12]

За ужином познакомился я с Гм. фон-Клейстом, который служил Прусскому Королю Тайным Советником, но по некоторым неприятным обстоятельствам должен был [13] оставить Пруссию,[13] и который, выгнав из воображения своего все призраки льстящей надежды, живет здесь в философическом спокойствии, наслаждаясь приятностию дружбы и обхождения с просвещеннейшими [14] мужами. — Ночь [14] провел я в коляске беспокойно. Теперь глаза мои смыкаются.

<28>

Июля 15.

[1] Ныне познакомился я с Гм. Мелли, молодым Женевцем,[1] к которому было у меня письмо из Петербурга от Ш*, Английского купца, и который, приняв меня учтиво,[2] взял на себя продать здесь один из векселей моих, а другой, Голландской, променять на Французской. — От него зашел я в теологическую Аудиторию; видел множество присутствующих, но мало слушающих. Дело шло о некоторых Еврейских словах — это не мое дело — и я, постояв у дверей, ушел.

Потом бродил я несколько часов [3] из улицы в улицу [3] и вокруг города, занимаясь местными наблюдениями. Собственно так называемый город очень не велик, но с предместиями, где много садов, занимает уже довольное пространство. Местоположение Лейпцига не так живописно, как Дрездена: он лежит среди равнин — но как сии равнины хорошо обработаны и, так сказать, *убраны* полями, садами, рощицами и деревеньками, то взор находит тут довольно разнообразия, и не скоро утомляется. Окрестности Дрезденския прекрасны, а Лейпцигския милы.[4] Первыя можно уподобить такой женщине, о которой все при первом взгляде кричат: *какая красавица!* а последния такой, которая всем же нравится, но только *тихо*; которую все же хвалят, но только без восторга; о которой с кротким, приятным движением души говорят: *она миловидна!*

Домы здесь так же высоки, как и в Дрездене, т. е. по большой части в четыре этажа; что принадлежит до улиц, то оне очень не широки. Хорошо, что здесь по городу не ездят в каретах, и пешие не боятся быть раздавлены.[5]

Я не видал еще в Германии такого многолюдного города, как Лейпциг. Торговля и Университет привлекают сюда множество иностранцев. — [6]

После обеда был я у Г. Бека, молодого, но весьма уважаемого, по его знаниям и талантам, Профессора. Я отдал ему письмо к Магистру Р*, который у него жил, но которого здесь уже нет. Г. Бек рассказал мне, [7] что Р* за несколько времени перед сим был вызван [7] из Лейпцига одним деревенским Дворянином, с тем, чтоб быть Проповедником в его деревне; но что, приехав туда, нашел он много препятствий со стороны Духовных; что ему надлежало выдержать престрогой экзамен, на котором старались его разбить и запутать в словах; что он, вышедши наконец из себя, схватил шляпу, пожелал высокоученым своим испытателям поболее любви к ближнему, ушел и скрылся, неизвестно куда.[8]

Профессор Бек есть тихой, скромной человек, осторожный в своих суждениях, [9] и говорящий с великою приятностию.[9] От него узнал я о славе Анахарсиса, сочинения Аббата Бартелеми. Лишь только он вышел в свет, все Французские Литтераторы преклонили [10] колена свои, и признали, что древняя Греция, столь для нас любопытная [11] — Гре-

ция, которой удивляемся[12] в ея развалинах и в малочисленных, до нас дошедших памятниках ея славы — никогда еще не была описана столь совершенно. Геттингенской Профессор Гейне, один из первых знатоков Греческой Литтературы и Древностей, рецензировал Апахарсиса в Гиттингенских Ученых Ведомостях, и прославил его в Германии. Г. Бек с великим нетерпением ожидает своего экземпляра.

Никто из Лейпцигских Ученых так не славен, как Доктор Платнер, Эклектической Философ, который ищет истины во всех системах, не привязываясь особенно ни к одной из них: который на прим. в ином согласен с Кантом, в ином с Лейбницем, или противоречит обоим.[13] Он умеет писать ясно, и кто хотя несколько знаком с Логикою и Метафизикою, тот легко понимает его. [14]*Афоризмы* Платнеровы[14] весьма уважаются, [15]и человеку, хотящему пуститься[15] в лабиринт философских систем, [16]могут оне[16] служить Ариадниною нитью.[17] Мне хотелось его видеть, и от Г. Бека пошел я к нему. Он живет за городом в саду. В алее встретилась мне молодая жена его, Вейсеева дочь, и сказала, что Господин Доктор дома.[18] Минуты через две явился[19] он сам — высокой, сухощавый человек лет за сорок, с острыми глазами, с ученою миною и с величавою осанкою. «Я уже слышал об вас от Г. Клейста» — [20]сказал он[20] и ввел меня в свой кабинет. «Признаюсь вам, что я теперь занят, продолжал он: мне надобно писать письма; завтра, [21]в этот час,[21] прошу вас к себе» — и проч. Я извинился, что пришел не во время, и кланялся, подвигаясь к дверям. «Какой, или каким наукам вы особенно себя посвятили?» спросил он. *Изящным*,[22] отвечал я, и закраснелся, — знаю, от чего — может быть и вы, друзья мои, знаете.

[23]Ввечеру я бродил[23] по садам и по алеям. Рихтеров сад велик и хорош. Девушка в белом корсете, лет двенадцати, подала мне при выходе букет цветов. Это мне очень полюбилось. [24]Я изъявил ей свою благодарность двумя грошами!![24]

В Вендлеровом саду видел я Геллертов монумент, сделанный из белого мрамора Профессором Эзером. Тут, смотря на сей памятник добродетельного мужа, дружбою сооруженный, вспомнил я то щастливое время моего ребячества, когда Геллертовы басни составляли почти всю мою библиотеку; когда, читая его *Инкле* и *Ярико*, обливался я горькими слезами, или, читая *Зеленого осла*, смеялся от всего сердца; когда Профессор**, преподавая нам, маленьким своим ученикам, Мораль по Геллертовым лекциям (Moralische Vorlesungen),* с жаром говаривал: «Друзья мои! будьте таковы, какими[25] учит быть вас Геллерт, и вы будете щастливы!» [26]Воспоминания растрогали мое сердце.[26] История жизни моей представилась мне в картине: [27]довольно тени![27] И что еще в будущем ожидает меня?

Я пошел из саду в церковь Св. Иоанна, где поставлен Геллерту учениками и друзьями его иной[28] памятник, представляющий Религию, которая из металла вылитый и лаврами увенчанный образ его подает Добродетели (прекрасная мысль!) Обе статуи сделаны из белого мрамора.

* Лекции о морали (*нем.*)

Внизу имя его и следующая надпись, сочиненная другом его Гейне: [29] «Сему учителю [29] и примеру добродетели и Религии посвятило сей памятник общество друзей его и современников, бывших свидетелями его достоинств». — Приятно, восхитительно для всякого [30] чувствительного сердца видеть [30] такия надписи, и знать, что не лесть, а истина начертала их. Все, знавшие покойного Геллерта, единогласно называли его мужем добродетельным. Жизнь его была сильнейшим [31] опровержением мнения тех людей, которые, находя [32] порок во всяком уголке сердца человеческого, считают [33] добродетель за одно пустое имя, — и тех, которые утверждают, что Религия не делает людей лучшими. «Всем, что есть во мне доброго — говаривал покойник тысячу раз друзьям своим — всем обязан я Християнству». — Описание его жизни заключается сими словами: «Неверно то удивление и бессмертие, которого ожидать могут произведения творческого духа, ибо вкус народов [34] переменяется со временем; [35] но честь его нравственного характера нетленна и непреходяща, подобно Религии и Добродетели, которых век есть — вечность!» [36]

Нет, Г. Мемель, я не пойду ужинать. [37] Сяду под окном,[37] буду читать Вейсееву Элегию на смерть Геллерта, Крамерову и Денисову Оду; буду читать, чувствовать и — может быть плакать. Нынешний вечер посвящу памяти добродетельного. Он здесь жил и учил добродетели!

‹29›

Июля 16.

Ныне поутру слышал я Эстетическую лекцию Доктора Платнера.

Эстетика есть *наука вкуса.* Она трактует о чувственном познании вообще. Баумгартен первый предложил ее как особливую, отделенную от других науку, которая — оставляя Логике образование вышших способностей души нашей, т. е. разума и рассудка — занимается исправлением чувств и всего чувственного, т. е. воображения с его действиями. Одним словом, Эстетика учит [1] наслаждаться изящным.[1]

Превеликая зала была наполнена слушателями, так что негде было упасть яблоку. Я должен был остановиться в дверях. Платнер [2] говорил уже на кафедре. Все молчало и слушало. Никакой шорох не мешал голосу Г. Доктора распространяться по зале.[2] Я был далеко от него, однако же не проронил ни одного слова. Он говорил о великом духе или [3] о Гении. Гений,[3] сказал он, не может заниматься ничем, кроме важного и великого — кроме Натуры и человека в целом. И так Философия, в высочайшем смысле сего слова, есть его наука. Он может иногда заниматься и другими науками, но только [4] всегда в отношении к сей; имеет [4] *особливую* способность находить сокровенныя сходства, аналогию, тайныя согласия в вещах, и часто [5] видит связь там, где обыкновенный человек

никакой не видит; и потому часто находит важным то, что обыкновенному человеку, которого взор простирается не далеко, кажется безделкою. Лейбниц, великий Лейбниц, проехал всю Германию и Италию, рылся во всех архивах, в пыли и в гнили молью источенных бумаг, для того, чтобы собрать материалы для Истории — Брауншвейгского Дому! Но проницательный Лейбниц видел связь сей Истории с иными предметами, важными для человечества вообще. — Наконец во всех делах [6] такого человека [6] виден особливый дух ревности, который, так сказать, оживляет их и отличает от дел людей обыкновенных.[7] Я вам поставлю в пример Франклина, не как Ученого, но как Политика. Видя оскорбляемыя права человечества, с каким жаром берется он быть [8] его ходатаем! [8] С сей минуты перестает [9] жить для себя, и в общем благе забывает свое частное. С каким рвением видим его текущего к своей великой цели, которая есть благо человечества! — Сей же дух ревности оживляет и отличает сочинения великих Гениев.[10] Естьли бы можно было извлечь его, на прим., из Мендельзоновых Философических Писем, или Иерузалемовой книги о Религии, то в первых осталось бы одно схоластическое мудрование, а во второй обыкновенные догматы Теологии; но, [11] одушевляемыя сим [11] огнем, возвышают оне душу читателя.[12]

Платнер говорит так свободно, как бы в своем кабинете, и очень приятно. Все, сколько я мог видеть, слушали [13] с великим вниманием. Сказывают, что Лейпцигские Студенты никого из Профессоров так не любят и не почитают, как его. — Когда он сошел с кафедры, то ему, как Царю, дали просторную дорогу до самых дверей. «Я никак не думал вас здесь увидеть — сказал он мне — а естьли бы знал, что вы сюда придете, то велел бы приготовить для вас место.» Он пригласил меня к себе после обеда, и сказал, [14] что хочет ужинать со мною в таком месте,[14] где я увижу некоторых *интересных людей.*

‹30›

Июля 16, в 2 часа по полудни.

Говорят, что в Лейпциге жить весело, — и я верю. Некоторые из здешних богатых купцов часто дают обеды, ужины, балы.[1] Молодые щеголи из Студентов являются с блеском в сих собраниях: играют в карты, танцуют, *куртизируют.*[2] Сверх того [3] здесь есть [3] особливыя ученыя общества или Клубы; там говорят об ученых или политических новостях, судят книги и проч. — Здесь есть и Театр; только комедианты уезжают отсюда на целое лето в другие города, и возвращаются уже осенью к так называемой Михайловой ярманке. — Для того, кто любит гулять, много вокруг Лейпцига приятных мест; а для того, кто любит услаждать вкус,[4] есть здесь отменно вкусные жаворонки, славные пироги, славная спаржа

и множество плодов, а особливо вишни, которая очень хороша и теперь так дешева, что за целое блюдо надобно заплатить не более десяти копеек. — В Саксонии вообще жить не дорого. За стол без вина плачу здесь 30 коп., за комнату также 30 коп.; то же[5] платил я и в Дрездене.

Почти на всякой улице найдете вы несколько книжных лавок, и все Лейпцигские книгопродавцы богатеют, — что для меня удивительно. Правда, что здесь много Ученых, имеющих нужду в книгах; но сии люди почти все или Авторы[6] или переводчики, и собирая библиотеки, платят они книгопродавцам не деньгами, а сочинениями или переводами. К тому же во всяком Немецком городе есть публичныя библиотеки, из которых можно брать для чтения всякия книги, платя за то безделку. — Книгопродавцы изо всей Германии съезжаются в Лейпциг на ярманки (которых бывает здесь три в год: одна начинается с первого Января, другая с Пасхи, а третья с Михайлова дня) и меняются между собою новыми книгами. Бесчестными почитаются из них те, которые перепечатывают в своих типографиях чужия книги, и делают через то подрыв тем, которые купили манускрипты у Авторов. Германия, где книжная торговля есть едва ли не самая важнейшая, имеет нужду в особливом и строгом для сего законе. — Вы пожелаете может быть знать, как дорого платят книгопродавцы Авторам за их сочинения? Смотря по сочинителю. Естьли он еще не известен Публике с хорошей стороны, то едва ли дадут ему за лист [7]и пять талеров;[7] но когда он прославится, то книгопродавец предлагает ему [8]десять, двадцать и более[8] талеров за лист.[9]

В 11 часов вечера. В назначенный час [10]я пришел[10] к Платнеру. Вы конечно поживете с нами, сказал он, [11]посадив меня.[11] — Несколько дней, отвечал я. — «Только? А я думал, что вы приехали *пользоваться* Лейпцигом. Здешние ученые сочли бы[12] за удовольствие способствовать вашим успехам в науках. Вы еще молоды, и знаете Немецкой язык. Вместо того, чтобы переезжать из города в город, [13]лучше вам пожить[13] в таком месте, как Лейпциг, где многие из ваших единоземцов искали просвещения, и, надеюсь, не тщетно.» — Я почел бы за особливое щастие быть вашим учеником, Г. Доктор; но обстоятельства, обстоятельства — — «И так мне остается жалеть, естьли они[14] не позволяют вам на сей раз остаться[15] с нами».[16]

Он помнит К*, Р* и других Руских, которые здесь учились. «Все они были моими учениками, сказал он: только[17] я был тогда еще не то, что теперь.» — По крайней мере ваши Афоризмы [18]еще не были изданы. . .[18].

И в самую ту минуту, как я, упомянув об Афоризмах, хотел просить у него объяснения [19]на некоторыя места из них,[19] пришли к нему с Университетскими делами. Он[20] отправляет должность Ректора. — У меня не много свободного времени, сказал он: однакожь вы должны ныне со мною ужинать. В восемь часов велите себя проводить в трактир *Голубого Ангела.* —

[21]Я имел время погулять в Рихтеровом саду (где девушка в белом корсете опять вручила мне букет цветов), и в восемь часов пришел[21] в трактир *Голубого Ангела.* Меня провели в большую комнату, где накрыт был стол на двадцать кувертов, но где еще никого не было. Через

полчаса явился Платнер с ученою братиею. Он каждому представлял[22] меня, и сказывал мне имена их: но все они были мне неизвестны, кроме старого Профессора Эзера и Биргермейстера Миллера, издавшего Сульцерову Теорию Изящных Наук с своими примечаниями. [23] Сели за ужин, — самый Афинский; [23] только что вино пили мы не из чаш, цветами оплетенных, а из простых Саксонских рюмок. Все были веселы и говорливы; хотели, чтобы и я говорил, и спрашивали меня[24] о нашей Литтературе. Они очень удивились, слыша[24] от меня, что десять песней Мессиады переведены на Руской язык. [25] «Я не думал бы[25] — сказал молодой Профессор Поэзии — чтобы в вашем языке можно было найти выражения для Клопштоковых идей.» Еще то скажу вам, примолвил я, [26] что перевод верен и ясен.[26] — В доказательство, что наш язык не противен ушам, читал я им Руские стихи разных мер, и они чувствовали их *определенную* гармонию. Говоря о наших оригинальных произведениях, прежде всех наименовал я две Эпическия Поэмы, Россияду и Владимира, которыя должны имя творца своего сделать незабвенным в Истории Российской Поэзии. — Платнер играл за ужином первую ролю, т. е. он управлял разговором. Естьли вообще справедливо[27] укоряют Немецких Ученых некоторою неловкостию в обхождении, то по крайней мере доктор Платнер (и конечно вместе со многими другими) должен быть исключен из сего числа. Он самый светский человек: любит и умеет говорить; говорит смело, для того что знает[28] свою цену. — Старик Эзер любезен по своему простосердечию. К нему имеют уважение; слушают его анекдоты, и смеются, примечая, что он хочет смешить. Во время царствования Императрицы Елисаветы Петровны сбирался он ехать в Россию, но раздумал. — Что принадлежит до Биргермейстера Миллера, то он, кажется, очень важничает. — В десять часов встали, пожелали друг другу доброго вечера, и разошлись. Платнер не позволил мне заплатить за ужин: что для меня [29] не совсем приятно было.[29] — Таким образом избранные Лейпцигские Ученые ужинают вместе один раз в неделю, и проводят вечер в приятных разговорах.

Милые друзья мои! я вижу людей достойных моего почтения, умных, знающих, ученых, славных — но все они[30] далеки от моего сердца. Кто из них имеет во мне хотя малейшую нужду? Всякой занят своим делом, и никто не заботится о бедном страннике. Никто не хватится меня завтра, естьли нынешняя ночь на черных своих крыльях унесет мою душу из здешнего мира; ни чей вздох не полетит в след за мною — и вы бы долго, долго не узнали о преселении вашего друга! [31]

‹31›

Июля 17.

В шестом часу вышел я за город с покойным и веселым духом; [1] бросился на траву бальзамического луга, наслаждался утром, — и был щастлив! [1]

Солнце взошло высоко, и жар [2] лучей его дал мне чувствовать, что полдень недалеко.[3] Деревня, в которой живет Вейсе, была у меня в виду. Пожелав [4] доброго утра молодой крестьянке, которая мне встретилась, [5] я спросил [5] у нее, где дом Господина Вейсе? — [6] «Там, на правой стороне [6] большой дом с садом!» [7] —

Вейсе, любимец драматической и лирической Музы [8] — друг добродетели и всех добрых — друг детей, который [9] учением и примером [9] своим распространил в Германии правила хорошего воспитания — Вейсе проводит лето в маленькой деревеньке, верстах в двух от Лейпцига, среди честных поселян и семейства своего. Я вошел [10] в горницу, и видел в окно, как любезный хозяин, маленькой человечик в красном халате и в белой шляпе, [11] спешил к дому [11] по алее, узнав от служанки, что какой-то Москвитянин его дожидается. Он вошел в горницу в том же красном халате, но только уже не в белой шляпе, а в напудреном парике с кошельком. Я с примечанием смотрел на портрет твой, любезной Вейсе, и узнал бы тебя между тысячами! — Ему уже слишком шестьдесят лет; [12] но румяное и свежее лице его не показывает ни пятидесяти [12] — и во всякой черте лица сего видна добрая душа! [13]

Он обошелся со мной ласково, сердечно,[14] просто; жалел, что я пришел к нему, а не он ко мне — [15] и в такой жар: [15] подчивал меня лимонадом, и проч.[13]

Я сказал ему, что разныя [16] пиесы из его *Друга детей* [17] переведены на Руской, [18] и некоторыя мною.[18] В Германии многие писали и пишут для детей и для молодых людей; но никто не писал и не пишет лучше Вейсе. Он сам отец, и отец нежный, посвятивший себя [19] воспитанию юных сердец.[19] Со всех сторон осыпали его благодарностию, когда он издавал свои еженедельные листы: дети [20] благодарили за удовольствие,[20] а отцы за видимую пользу, которую [21] сие чтение [21] приносило их детям. — Он издает ныне *Переписку Фамилии Друга Детей,* [22] приятную и полезную молодым людям.[22]

[23] Вейсе с великою скромностию говорит [23] о своих сочинениях; однакожь без всякого притворного смирения, которое для меня так же противно, как и самохвальство. — С каким чувством [24] описывает семейственное свое щастие! [24] «Благодарю Бога, сказал он сквозь слезы — благодарю Бога! Он дал мне вкусить в здешней жизни самыя чистейшия удовольствия; и я осмелился бы назвать свое щастие совершенным, естьли бы Небесная Благость возвратила здоровье дочери моей, которая несколько лет больна, и которой искусство врачей не помогает.» [25] — Одним словом, естьли я любил Вейсе как Автора, то теперь, узнав его лично, еще более полюбил [26] как человека.[27]

У него есть рукописная история нашего Театра, переведенная с Руского. Г. Дмитревской, будучи в Лейпциге, сочинил ее; а некто из Руских, которые учились в здешнем Университете, перевел[28] на Немецкой и подарил Господину Вейсе, который хранит сию[29] рукопись, как редкость,[30] в своей библиотеке.[31]

Наконец я с ним простился. «Путешествуйте щастливо, сказал он, и наслаждайтесь всем, что может принести удовольствие чистому сердцу! Однакожь я постараюсь еще увидеться с вами в Лейпциге». — А вы наслаждайтесь ясным вечером своей жизни! сказал я, вспомнив ла-Фонтенов стих: sa fin (т. е. конец мудрого) est le soir d'un beau jour* — и пошел[32] от него, будучи совершенно доволен в своем сердце. Один взгляд на доброго есть щастие для того, в ком не загрубело чувство добра.

Возвратясь в Лейпциг, зашел я в книжную лавку и купил себе на дорогу Оссианова Фингала и Vicar of Wakefild.** —

В полночь. Нынешний вечер провел я очень приятно. В шесть часов пошли мы с Гм. Мелли в загородный сад. Там было множество людей: и Студентов и Филистров.*** Одни, сидя под тению дерев, читали или держали перед собою книги, не удостоивая проходящих взора своего; другие, сидя в кругу, курили трубки и защищались от солнечных лучей густыми табашными облаками, которыя извивались и клубились над их головами; иные в темных алеях гуляли с дамами, и, — проч. Музыка гремела, и человек, ходя с тарелкою, собирал деньги для музыкантов; всякой давал, что хотел.

Г. Мелли удивил меня, начав говорить со мною по-Руски. «Я жил четыре года в Москве, сказал он — и хотя уже давно выехал из России, однакожь не забыл еще вашего языка». — К нам присоединились Гг. Шнейдер и Годи, путешествующие с Княгинею Белосельскою, которая теперь в Лейпциге. Первого видал я в Москве, и мы обрадовались друг другу как старинные знакомые. Г. Мелли угостил нас в трактире хорошим ужином. Мы пробыли тут до полуночи, и вместе пошли назад в город. Ворота были заперты, и каждый из нас заплатил по нескольку копеек за то, что их отворили. Таков закон в Лейпциге: или возвращайся в город ранее, или плати штраф.

---

* вечер прекрасного дня (*франц.*)

** «Векфилдский священник» (*англ.*)

*** Так Студенты называют граждан, и Господину Аделунгу угодно почитать это[33] слово за испорченное, вышедшее из Латинского слова Balistarii. Сим именем назывались городские солдаты и простые граждане.

‹32›

Июля 19.

Ныне[1] получил я вдруг два письма от А*, которых содержание для меня очень неприятно. Я не найду его во Франкфурте. Он едет в Париж на несколько недель, и хочет, чтобы я дождался его или в Мангейме или в Стразбурге; по мне никак не льзя исполнить его желания. Таким образом разрушилось то здание приятностей и удовольствий, которое основывал я на свидании с любезным другом! И таким образом во всем своем путешествии не увижу[2] ни одного человека, близкого к моему сердцу! Эта мысль сделала меня печальным, и я пошел без цели бродить по городу и по окрестностям. Мне встретился Г. Бр., молодой Ученый, с которым я здесь познакомился. Оба вместе пошли мы в Розенталь, большой парк. Я вспомнил, что известный обманщик Шрепфер кончил тут жизнь свою пистолетным выстрелом. [3]Кто не хотел бы знать его подлинной, таинственной истории? Сей человек[3] долгое время был слугою в одном кофейном доме в Лейпциге, и никто не примечал в нем ничего чрезвычайного. [4]Вдруг он скрылся,[4] и через несколько лет опять явился в Лейпциге под именем Барона Шрепфера, нанял себе большой дом и множество слуг; объявил себя мудрецом, повелевающим Натурою и Духами, и в громкую трубу звал к себе всех легковерных людей, [5]обещая им золотыя горы.[5] Со всех сторон стекались к нему ученики. Иные подлинно хотели от него научиться тому, чему ни в каких Университетах не учат; а другим более всего нравился его хороший стол. С почты приносили ему большие пакеты, надписанные на имя *Барона Шрепфера*, а Банкиры, [6]получая векселя, давали ему большия суммы денег.[6] С разительным красноречием говорил он о своих таинствах, будто бы в Италии ему сообщенных, и разгорячив воображение слушателей,[7] показывал им Духов, тени умерших знакомых, и проч. *Прииди и виждь!* кричал он всем, которые сомневались — приходили и видели тени и разные страхи, от которых у трусливых людей волосы дыбом становились. Надобно заметить, что круг ревностных его почитателей состоял не из Ученых, т. е. не из тех, которые привыкли рассуждать по Логике (сих людей не мог он терпеть, как таких,[8] которые верят разуму более, нежели глазам), а из дворян и купцов,[9] совсем незнакомых с науками. Заметить надобно и то, что он только *показывал* чудеса, а никого в самом деле *не научал* делать их; и что он показывал их только у себя дома, в некоторых, особливо на то определенных комнатах. Г. Бр. рассказал мне следующий анекдот. Некто М* пришел к Шрепферу с своим приятелем, для того, чтобы видеть его духопризывание. Он нашел у него множество гостей, которым беспрестанно [10]подносили пунш.[10] М* не хотел пить. Шрепфер приступал к нему, чтобы он выпил хоть один стакан; но М* отговорился. Потом ввели всех в большую залу, обитую[11] черным сукном, и в которой окна[12] были затворены. Шрепфер поставил всех зрителей вместе, очертил их кругом, и не велел никому трогаться с места. Шагах в трех от них, на маленьком жертвеннике, горел спирт, — чем единственно освещалась зала. Перед сим жертвенником Шрепфер, обнажив грудь свою и взяв

в руку большой блестящий мечь, бросился на колени и громко начал молиться, с таким жаром, с таким рвением,[13] что М*, пришедший видеть обманщика и обман, почувствовал трепет и благоговение в своем сердце. Огонь блистал в глазах молящегося, и грудь его высоко поднималась. Ему надлежало призвать тень одного известного человека, не давно умершего. По окончании молитвы он начал призывание сими словами: «О ты, блаженный дух, преселившийся в бесплотный и смертным неизвестный мир! внемли гласу оставленных тобою друзей, желающих тебя видеть; внемли, и оставя на время новую свою обитель, явися очам их!» и проч. и проч. Зрители почувствовали электрическое потрясение в своих нервах, услышали удар, подобный громовому,[14] и увидели над жертвенником легкий пар, который мало по малу густел, и наконец образовал человеческую фигуру; однакожь М* не приметил в ней большого сходства с покойником. Образ носился над жертвенником, а Шрепфер, который сделался бледен как смерть, махал мечем вокруг головы своей. М* решился вытти из круга и приближиться к Шрепферу; но сей, приметив его движение, вскочил, бросился на него, и устремив[15] мечь к его сердцу, закричал страшным голосом: *ты умрешь, нещастный, естьли хотя один шаг вперед ступишь!* У М* подкосились ноги: так он испугался грозного голоса и блестящего меча его! Тень исчезла. Шрепфер от усталости растянулся на полу, и велел вытти всем зрителям в другую комнату, где подали им на блюдах свежие[16] плоды. — Многие приходили к Шрепферу как в спектакль, и хотя знали, что вся тайная мудрость его состояла в шарлатанстве, однакожь с удовольствием смотрели на важныя комедии, им играемыя. Все это продолжалось несколько времени. Но вдруг Шрепфер задолжал в Лейпциге многим купцам, и притом таким, которые, не имея никакого желания видеть его Духов, требовали немедленно платежа. Векселей к нему уже не присылали, Банкиры не давали ему ни гроша, и нещастный мудрец, доведенный до крайности, застрелился в Розентале. — По сие время не известно, откуда получал Шрепфер деньги, и какую имел цель, выдавая себя за духопризывателя. [17]По гипотезе ученых Берлинцов, он был[17] орудие тайных Иезуитов[18] (вместе с Калиостром,[18] который в самом деле есть вторый Шрепфер) — Иезуитов, хотящих снова овладеть умами человеческими. Естьли это правда — в чем однакожь я очень, очень сомневаюсь — то с дозволения Господ тайных Иезуитов можно сказать, что они напрасно льстятся ныне подчинить себе Европу посредством таких шарлатанов — [19]тогда, как[19] законы разума[20] всенародно возглашаются,[20] и просвещение[21] более и более распространяется[21] — просвещение, которого одна искра может осветить бездну заблуждений. — Вы скажете, может быть, что Шрепфер брал деньги с обольщенных им людей? [22]Но точно не известен[22] ни один человек, с которого бы он брал их.[23] [24]Сию минуту[24] получил я записку от Платнера, в которой изъявляет он свое желание, чтобы я когда нибудь пожил в Лейпциге долее, и подал ему случай *заслужить мою благодарность.* — Профессор Бек, который очень обязал меня своею ласкою, взял на себя искать Гофмейстера для П*.[25] Он будет писать ко мне в Цирих. — Простите, любезные друзья![26]

‹33›

[1]Веймар, Июля 20.[1]

В путешествии своем от Лейпцига до Веймара не заметил я ничего, кроме прекрасной долины, на которой лежит город Наумбург, и маленькой деревеньки, где ребятишки набросали множество цветов к нам в коляску — *к нам*, говорю, потому что я ехал до Буттельштета с одним молодым Французом, который был чем-то в свите Французского посланника в Дрездене. Разумеется, что ребятишки хотели денег; мы бросили[2] несколько грошей, и они громко закричали нам: *спасибо!* — Француз, который не разумел ни одного слова по-Немецки, и которому я служил переводчиком, [3]почти заплакал,[3] когда нам пришлось расставаться. Впрочем он был для меня совсем не занимателен.[4]

На рассвете приехали мы в Буттельштет, где Почтмейстер дал мне до Веймара [5]маленькую колясочку.[5] Я подарил постиллиону фарфоровую трубку, купленную мною на Берлинской фабрике, а он из благодарности[6] привез меня в Веймар довольно скоро.

Местоположение Веймара изрядно.[7] Окрестныя деревеньки с полями и рощицами составляют приятный вид. Город очень не велик, и кроме Герцогского дворца не найдешь здесь ни одного огромного дома. — У городских ворот меня допрашивали; после чего предложил я караульному Сержанту свои вопросы, а именно: «здесь ли Виланд? здесь ли Гердер? здесь ли Гете?» Здесь, здесь, здесь, отвечал он — и я велел постиллиону везти себя в трактир *Слона.*[8]

[9]Наемный слуга немедленно был отправлен мною к Виланду,[9] спросить, дома ли он? *Нет, он во дворце.* — Дома ли Гердер? *Нет, он во дворце.* — Дома ли Гете? *Нет, он во дворце.*

Во дворце! во дворце! повторил я, передражнивая слугу, — взял трость и пошел в сад. Большой зеленой луг, обсаженный деревьями и называемый *звездою*, мне очень полюбился; но еще более полюбились мне дикие, мрачные берега стремительно текущего ручья, под шумом которого, сев на мшистом камне, прочитал я первую книгу Фингала. — Люди, которые встречались мне в саду, глядели[10] на меня с таким любопытством, с каким не смотрят на людей в больших городах, где на всяком шагу встречаются незнакомыя лица.

Узнав, что Гердер наконец дома, пошел я к нему. *У него одна мысль*, сказал об нем какой-то[11] Немецкой Автор, и *сия мысль есть целый мир.* Я читал его Urkunde des menschlichen Geschlechts,* читал, многого не понимал; но что понимал, то находил прекрасным. В каких картинах изображает[12] он творение! Какое восточное великолепие! — Я читал его *Бога,* одно из новейших сочинений,[13] в котором он доказывает, что Спиноза был глубокомысленный Философ и ревностный чтитель[14] Божества, от пантеизма и атеизма равно удаленный. [15]Гердер сообщает тут и свои мысли о Божестве и творении,[15] прекрасныя, утешительныя для человека

---

* «Анналы рода человеческого» (*нем.*)

мысли. Чтение сей маленькой книжки усладило несколько часов в моей жизни. Я выписал из нее многия места, которыя мне отменно полюбились. Постойте — не найду ли [16] чего нибудь [17] в записной книжке своей?...[17] Нашел одно место, которое, может быть, и вам полюбится — и для того включу [18] его в свое письмо. Автор говорит о смерти. [19] «Взглянем на лилию [19] в поле; она впивает в себя воздух,[20] свет, все стихии — [21] и соединяет их с существом своим [21] для того, что бы расти, накопить жизненного соку и расцвесть; цветет, и потом исчезает. Всю силу, любовь и жизнь свою истощила она на то, чтобы сделаться матерью, оставить по себе образы свои и размножить свое бытие. Теперь исчезло явление лилии; она истлела в неутомимом служении Натуры; [22] готовилась к разрушению с начала жизни.[22] Но что разрушилось в ней, кроме явления, которое не могло быть долее, которое, — [23] достигнув до высочайшей степени, заключавшей в себе [23] вид и меру красоты ея, — назад обратилось? и не с тем, чтобы, лишась жизни, уступить место юнейшим живым явлениям — сие было бы для нас весьма печальным символом [24] — нет! напротив того она, как живая, со всею радостию бытия произвела бытие их, и в зародыше любезного [25] вида предала его [26] вечноцветущему саду времени, в котором и сама цветет. Ибо [27] лилия не погибла [27] с сим явлением; сила корня ея существует; она [28] вновь пробудится [28] от зимнего сна своего и восстанет в новой весенней красоте, подле милых дочерей [29] бытия своего, которыя стали ея подругами и сестрами. И так нет смерти в творении; или смерть есть не что иное, как *удаление того, что не может быть долее,* т. е. *действие* [30] *вечноюной, неутомимой силы,*[30] которая по своему свойству не может ни минуты быть праздною или покоиться. По изящному закону Премудрости и Благости, все в быстрейшем течении стремится к новой силе юности и красоты — стремится, и всякую минуту превращается.» — В сем сочинении все ясно и понятно и согласно. Тут не бурнопламенное воображение юноши кружится на высотах и сверкает во мраке, подобно ночному метеору, блестящему и в минуту исчезающему: но мысль мудрого мужа, разумом освещаемая, тихо несется на легких крыльях веющего зефира — несется ко храму вечной Истины, и светлою струею свой путь означает. — Я читал еще его *Парамифии,** нежныя произведения цветущей фантазии, которыя дышат Греческим духом, и прекрасны как утренняя роза.[31]

Он встретил меня еще в сенях, и обошелся со мною так ласково, что я забыл в нем [32] великого Автора,[32] а видел перед собою только любезного, приветливого человека. — [33] Он расспрашивал [33] меня о политическом состоянии России, но с отменною скромностию. Потом разговор обратился на Литтературу, и слыша от меня, что я люблю Немецких Поэтов, спросил он, кого из них предпочитаю [34] всем другим? [34] Сей вопрос привел меня в затруднение. Клопштока, отвечал я запинаясь, почитаю самым *выспренним* [35] из Певцов Германских. «И справедливо,[36] сказал Гердер: только его читают менее, нежели других, и я знаю многих, которые в Мес-

* Т. е. *отдохновения.* Сим именем называют еще и нынешние Греки свои забавныя краткия повести.

сиаде на десятой песни [37] остановились с тем, чтоб уже никогда не приниматься за эту славную поэму.» [37] — Он хвалил Виланда, а особливо Гете — и велев маленькому своему сыну принести новое издание его сочинений, читал мне с живостию [38] некоторыя из его прекрасных мелких стихотворений. Особливо нравится ему маленькая пиеса, под именем Meine Göttin,* которая так начинается:

Welcher Unsterblichen
Soll der höchste Preis seyn?
Mit niemand streit' ich,
Aber ich geb' ihn
Der ewig beweglichen,
Immer neuen,
Seltsamsten Tochter Jovis,
Seinem Schooskinde,
Der Phantasie,** и проч.

«Это совершенно по-Гречески, сказал он — и какой язык! какая чистота! какая легкость!» — Гердер, Гете и подобные им, присвоившие себе дух древних Греков, умели и язык свой сблизить с Греческим и сделать его самым богатым и для Поэзии удобнейшим языком; и потому ни Французы, ни Англичане не имеют таких хороших [39] переводов с Греческого, какими обогатили ныне Немцы свою Литтературу. Гомер у них Гомер: та же неискусственная, благородная простота в языке, которая была душею древних времен, когда Царевны ходили по воду и Цари знали счет своим баранам.[40] — Гердер любезный [41] человек, друзья мои. Я простился с ним до завтрашнего дня.[42]

В церковь Св. Якова надобно было зайти для того, чтобы видеть там на стене барельеф покойного Профессора Музеуса, сочинителя *Физиогномического Путешествия* и *Немецких народных сказок*. Под барельефом [43] стоит на книге урна, с надписью: *незабвенному Музеусу*. — Чувствительная Амалия! *** потомство будет благодарить тебя за то, что ты умела чтить дарования.

---

* «Моя богиня» (*нем.*)

** Какую бессмертную
Венчать предпочтительно
Пред всеми богинями
Олимпа надзвездного?
Не спорю с питомцами
Разборчивой мудрости,
Учеными строгими;

Но свежей гирляндою
Венчаю веселую,
Крылатую, милую,
Всегда разновидную,
Всегда животворную,
Любимицу Зевсову,
Богиню — Фантазию

(*нем.; пер. В. А. Жуковского*)

*** Герцогиня Веймарская, мать владеющего Герцога.

‹34›

Июля 21.[1]

Вчера два раза был я у Виланда и два раза сказали мне, что его нет дома. [2]Ныне пришел к нему[2] в восемь часов утра, и увидел его. Вообразите себе человека довольно высокого, тонкого, долголицого, рябоватого, белокурого, почти безволосого, у которого глаза были некогда серые, но от чтения стали красные — таков Виланд. [3]Желание видеть вас привело меня в Веймар[3] — сказал я. «Это не стоило труда!» отвечал он с холодным видом и с такою ужимкою, которой я совсем не ожидал от Виланда. Потом спросил он, как я, живучи в Москве, научился говорить по-Немецки? Отвечая, что мне [4]был случай[4] говорить с Немцами и притом с такими, которые хорошо знают свой язык, упомянул я о Л*. Тут разговор обратился на сего нещастного человека, который некогда был ему очень знаком. Между тем мы все стояли: из чего и надлежало мне заключить, что он [5]не намерен удерживать меня долго в своем кабинете.[5] Конечно [6]я пришел не во время?[6] спросил я. Нет, отвечал он: впрочем поутру [7]мы обыкновенно чем нибудь занимаемся.[7] — «И так позвольте мне притти в другое время; [8] назначьте только час. Еще повторяю вам, что я приехал в Веймар единственно для того, чтобы вас видеть.» — *Виланд*. Чего вы от меня хотите? *Я*. Ваши сочинения заставили меня любить вас, и возбудили во мне желание узнать Автора[9] лично. Я ничего не хочу от вас, кроме того, чтобы вы позволили мне видеть себя. — *В*. Вы приводите меня в замешательство. Сказать ли вам искренно? — *Я*. Скажите. — *В*. Я не люблю новых знакомств, а особливо с такими людьми, которые мне ни по чему не известны. Я вас не знаю. — *Я*. Правда; [10]но чего вам опасаться?[10] — *В*. Ныне в Германии вошло в моду путешествовать и описывать путешествия. Многие переезжают из города в город, и стараются говорить с известными людьми только для того, чтобы после все слышанное от них напечатать. Что сказано было между четырех глаз, то выдается в публику.[11] Я на себя не надежен; иногда могу быть *слишком* откровенен. — *Я*. Вспомните, что я не Немец, и не могу писать для Немецкой Публики. К тому же вы могли бы обязать меня словом честного человека. — *В*. Но какая польза нам знакомиться? Положим, что [12]мы сойдемся образом мыслей и чувств: [12] да наконец не надобно ли будет нам расстаться? Ведь вы здесь не будете жить? — *Я*. Для того, чтобы иметь удовольствие вас видеть, [13]могу остаться[13] в Веймаре дней десять, и расставшись с вами, радовался бы[14] тому, что узнал Виланда[15] — узнал как отца среди семейства, и как друга среди друзей. — *В*. Вы очень искренны.[16] Теперь мне должно вас остерегаться, чтобы вы с этой стороны не приметили во мне чего нибудь дурного. — *Я*. Вы шутите. — *В*. Ни мало. Сверх того мне бы совестно было, естьли бы вы точно для меня остались здесь жить. Может быть в другом Немецком городе, на прим. в Готе, было бы вам веселее. — *Я*. Вы Поэт, а я люблю Поэзию: [17]как бы приятно для меня было,[17] естьли бы вы дозволили[18] мне хотя час провести с вами в разговоре [19]о пленительных красотах ея?[19] — *В*. Я не знаю,

как мне говорить с вами. Может быть, вы учитель[20] мой в Поэзии. — *Я*. О! много чести. И так мне остается проститься с вами в первый и в последний раз. — *В*. *(посмотрев на меня, и с улыбкою)* Я не физиогномист; однакожь вид ваш заставляет меня иметь к вам некоторую доверенность. Мне нравится ваша искренность; и я вижу еще первого Руского такого, как вы. Я видел вашего Ш*, острого человека, напитанного духом этого старика (*указывая на бюст Вольтеров*). Обыкновенно ваши единоземцы стараются подражать Французам; а вы — — *Я*. Благодарю. — *В*. И так естьли вам угодно провести со мною часа два-три, то приходите ко мне ныне после обеда в половине третьего. — [21] *Я*. Вы хотите быть только снисходительны! — *В*. Хочу иметь удовольствие быть с вами, говорю я,[21] и прошу вас не думать, чтобы вы одни на свете были искренны. — *Я*. Простите! — *В*. В третьем часу вас ожидаю. — *Я*. Буду. — Простите! [22]

Вот вам подробное описание нашего разговора, который сперва зацепил заживо мое самолюбие. Окончание [23] успокоило меня несколько; [23] однакожь я все еще в волнении пришел от Виланда к Гердеру, и решился на другой день ехать из Веймара.

Гердер принял меня с такою же кроткою ласкою,[24] как и вчера — с такою же приветливою улыбкою, и с таким же видом искренности.[25]

Мы говорили об Италии, откуда он не давно возвратился, и где остатки древнего искусства были достойным предметом его любопытства. Вдруг пришло мне на мысль: что, естьли бы я из Швейцарии пробрался в Италию, и взглянул на Медицисскую Венеру, Бельведерского Аполлона, Фарнезского Геркулеса, Олимпийского Юпитера — взглянул бы на величественныя развалины древнего Рима, и вздохнул бы о тленности всего подлунного? А сия мысль сделала то, что я на минуту совсем забылся.

Я признался Гердеру, обратив разговор на его сочинения, что die Urkunde des menschlichen Geschlechts казалась мне по большой части не понятною. «Эту книгу сочинял я в молодости,[26] отвечал он, когда воображение мое было во всей своей [27] бурной стремительности,[27] и когда оно еще не давало разуму отчета в путях своих.» — Дух ваш, сказал я, прощаясь с ним, известен мне по вашим творениям; [28] но мне хотелось иметь ваш образ в душе моей, и для того я пришел к вам — теперь видел вас, и доволен.[29]

Гердер не высокого росту, посредственной толщины, и лицем [30] очень не бел.[30] Лоб и глаза его показывают необыкновенной ум — (но я боюсь, чтобы вы, друзья мои, не почли меня каким нибудь физиогномическим колдуном). Вид его важен и привлекателен; в мине его нет ничего принужденного, ничего такого, что бы показывало желание *казаться чем нибудь*. Он говорит тихо и внятно; дает вес словам своим, но не излишний. Едва ли, по разговору его, можно подозревать в Гердере [31] скромного любимца Муз; но великий Ученый и глубокомысленный Метафизик скрыт [32] в нем весьма искусно.

Приятно, милые друзья мои, видеть наконец того человека, который был нам прежде столько известен и дорог по своим сочинениям; которого мы так часто себе воображали или вообразить старались. Теперь,

мне кажется, я еще с большим удовольствием буду читать [33] произведения Гердерова ума, воспоминая [33] вид и голос Автора.[22]

В 9 часов вечера. Я пришел к Виланду в назначенное время. Маленькия прекрасныя дети его окружили меня на крыльце. *Батюшка вас дожидается,* сказал один.[34] *Подите к нему,* сказали двое вместе. [35] *Мы вас проводим,*[35] сказал четвертый.[36] Я их всех перецеловал, и пошел [37] к их батюшке.

Простите — сказал,[38] вошедши к нему — простите, естьли давешнее мое посещение было для вас не совсем приятно. Надеюсь, что вы [39] не сочтете наглостию того,[39] что было [40] действием энтузиазма,[40] произведенного во мне вашими прекрасными сочинениями. — «Вы не имеете нужды извиняться, отвечал он: я рад, что этот жар к Поэзии так далеко распространяется, тогда как он в Германии пропадает.» — Тут сели мы на канапе. Начался разговор, который минута от минуты становился живее и для меня занимательнее.[41] Говоря о любви своей к Поэзии, сказал он: «Естьли бы Судьба определила мне жить на пустом острове, [42] то я написал бы все то же, и с таким же старанием [42] выработывал бы свои произведения, думая, что Музы слушают мои песни.» Он желал знать, пишу ли я? [43] и не переведено ли [43] что нибудь из моих безделок на Немецкой? Я сыскал в записной своей книжке перевод *печальной весны.* Прочитав его, сказал он: «Жалею, естьли вы часто бываете в таком расположении, какое здесь описано. Скажите, — [44] потому что теперь вы вселили в меня желание узнать вас короче [44] — скажите, что у вас в виду?» Тихая жизнь, отвечал я. Окончав свое путешествие, которое [45] предпринял единственно для того,[45] чтобы собрать некоторыя приятныя впечатления и обогатить свое воображение новыми идеями,[46] буду жить в мире с Натурою и с добрыми, [47] любить изящное и наслаждаться им.[47] — «Кто любит Муз и любим ими, сказал Виланд, тот в самом уединении не будет празден, и всегда найдет для себя *приятное* дело. Он носит в себе источник удовольствия,[48] творческую силу свою, которая делает его щастливым.»

Разговор наш касался и до Философов. — «Никто из Систематиков, сказал Виланд, не умеет так *обольщать* своих читателей, как Боннет; а особливо таких читателей, которые имеют живое воображение. Он пишет ясно, приятно, и заставляет любить себя и Философию свою. — О Канте говорит Виланд с почтением; но, кажется, не ломает головы [49] над его Метафизикою. Он показывал мне новое сочинение своего зятя, Профессора Реингольда, под титулом Versuch einer neuen Theorie des menschlichen Vorstellungsvermögens,* которое только-что отпечатано, и которое должно объяснить Кантову Метафизику. Прочтите его, сказал он мне, естьли вы читаете книги такого рода. Ваш Агатон, или Оберрон, для меня приятнее, отвечал я: однакожь иногда из любопытства заглядываю и в область Философии. — «А разве Агатон не есть философическая книга? сказал он: в нем решены самые важнейшие вопросы Философии.» — Правда, сказал я: и так прошу извинить меня. —

* «Опыт новой теории человеческой способности представлений» (*нем.*)

С любезною искренностию открывал мне Виланд мысли свои о некоторых важнейших для человечества предметах. Он ничего не отвергает, но только полагает различие между чаянием и уверением. Его можно назвать Скептиком, но только в хорошем значении сего слова.

Ему, казалось, приятно было слышать от меня, что некоторыя из важнейших его сочинений переведены на Руской. «Но каков перевод?» спросил он. — Не может нравиться тем, которые знают оригинал, — отвечал я. «Такова моя участь, сказал он: и Французские и Английские переводчики меня обезобразили.»

В шесть часов я встал. Он взял мою руку, и сказал, что от всего сердца желает мне щастия в жизни. «Вы видели меня таковым, каков я подлинно, примолвил он. Простите, [50] и хотя изредка [50] уведомляйте меня о себе. Я всегда буду отвечать вам, где бы вы ни были. Простите!» — Тут мы обнялись. Мне казалось, что он был несколько тронут; а это самого меня тронуло. На крыльце мы в последний раз пожали друг у друга руку, и расстались — может быть навечно. Никогда, никогда не забуду [51] Виланда! Естьли бы вы видели, друзья мои, с какою откровенностию, с каким жаром говорит сей почти шестидесятилетний человек, и как все черты лица его оживляются в разговоре! Душа его еще не состарелась и силы ея не истощились. Клелия и Синибальд, последняя [52] из его поэм,[52] писана с такою же полнотою духа, как Оберрон, как Музарион, и проч. Кажется еще, что он в последних своих творениях [53] ближе и ближе к совершенству подходит. Тридцать пять лет известен Виланд [54] в Германии как Автор. Самыя первыя его сочинения, на прим. *нравоучительныя повести, Симпатии* и проч., обратили на него внимание Публики. Хотя строгая критика, которая тогда уже начиналась в Германии, и находила в них много недостатков; однакожь отдавала Автору справедливость в том, что он имеет изобретательную силу, богатое воображение и живое чувство. Но эпоха славы его [55] началась с *комических повестей,*[55] признанных в своем роде превосходными и на Немецком языке тогда единственными. Удивлялись его остроте, вкусу, красоте языка, искусству в повествовании. Потом издавал он поэму за поэмою, и последняя всегда казалась лучшею. Давно уже Германия признала его одним из первых своих Певцев; он покоится на лаврах своих, но не засыпает. Естьли Французы оставили наконец свое старое худое мнение о Немецкой Литтературе (которое некогда она в самом деле заслуживала, т. е. тогда, как Немцы прилежали только к сухой учености) [56] — естьли знающие и справедливейшие из них соглашаются,[57] что Немцы не только во многом сравнялись с ними, но во многом и превзошли их: то конечно произвели это [58] отчасти Виландовы сочинения, [59] хотя и не хорошо на Французской язык переведенныя.[59]

Вчера ввечеру, идучи [60] мимо того дома, где живет Гете, видел я его смотрящего в окно, — остановился и рассматривал его с минуту: важное [61] Греческое лицо! Ныне [62] заходил к нему; но мне сказали, что он рано уехал в Ену. — В Веймаре есть еще и другие известные Писатели: Бертух, Боде, и проч. [63] Бертух перевел [63] с Гишпанского Дон-Кишота, и выдавал *Магазин Гишпанской и Португальской Литтературы*; [64] а Боде



И.-В. Гете.

славится переводом[64] Стернова *Путешествия* и Тристрама Шанди. Герцогиня Амалия любила [65] дарования. Она призвала к своему двору Виланда и поручила ему воспитание молодого Герцога; она призвала Гете, когда он прославился своим Вертером; она же призвала и Гердера в начальники здешнего Духовенства.

Простите, друзья мои! Ясная ночь вызывает меня из комнаты. Беру свой страннической посох — иду смотреть на засыпающую Природу, и странствовать глазами по звездному небу.

‹35›

Веймар, Июля 22.

Мне рассказывали здесь разные анекдоты о нашем Л*. Он приехал сюда для Гете, друга своего, [1]который вместе с ним учился[1] в Страсбурге, и был[2] тогда уже при Веймарском Дворе. Его приняли очень хорошо, как человека с дарованиями; но скоро приметили в нем великия странности. На прим. однажды явился он на придворный бал в домине, в маске и в шляпе, и в ту минуту, как все обратили на него глаза и ахнули от удивления, спокойно[3] подошел к знатнейшей даме и звал[4] ее танцовать с собою. Молодой Герцог любил фарсы и рад был сему забавному явлению, которое доставило ему удовольствие смеяться от всего сердца; но чиновные господа и госпожи, составляющия Веймарской Двор, думали, что дерзостному Л* надлежало за то[5] по крайней мере отрубить голову. — С самого своего приезда Л* объявил себя влюбленным во всех молодых, хороших женщин, и для каждой из них сочинял любовныя песни. Молодая Герцогиня печалилась тогда о кончине сестры своей: он написал ей на сей случай прекрасные стихи; но не преминул в них уподобить себя Иксиону, дерзнувшему влюбиться в Юпитерову супругу. — Однажды он встретился с Герцогинею за городом, и вместо того, чтобы поклониться[6] ей, упал[7] на колени, поднял вверх руки, и таким образом дал ей мимо себя проехать.[8] На другой день [9]Л* всем знакомым разослал по бумажке,[9] на которой нарисована была Герцогиня и он сам, стоящий на коленях с поднятыми вверх руками. — Но ни Поэзия, ни любовь не могли [10]занять его[10] совершенно. Он мог еще думать о реформе, которую, по его мнению, надлежало сделать в войске Его Светлости; и для того подавал Герцогу разные планы, писанные на больших листах. — За всем тем его терпели в Веймаре, а дамы находили приятным. [11]Но Гете наконец[11] с ним поссорился и принудил его выехать из Веймара. Одна дама взяла его с собою в деревню, где несколько дней читал он ей Шекспира, и потом отправился странствовать по белому свету.[12] —

‹36›

Эрфурт, 22 Июля.

В два часа приехал я сюда из Веймара, остановился в трактире (которого имени, право, не знаю); выпил[1] чашку кофе, пошел на так называемую *Петрову гору* в Бенедиктинской монастырь, [2]и просил там[2] первого встретившегося мне отца указать то место, где погребен Граф Глейхен. *Толстой* отец (NB. монастырь очень богат) охриплым голосом сказал мне, чтобы я шел к отцу церковнику. Мне надлежало итти через длинныя

сени или коридор, где [3]в печальном сумраке[3] представились глазам моим распятия и [4]лампады угасающия.[4] Вожатый[5] оставил меня в коридоре и пошел искать отца церковника. Трудно описать, что чувствовал я, прохаживаясь один, в глубокой тишине, [6]по сему темному коридору, и смотря на лампады и на старыя картины,[6] на которых изображены были разныя страшныя сцены. Мне казалось, что я пришел в мрачное жилище Фанатизма. Воображение мое представило мне [7]сие чудовище[7] во всей его гнусности, с поднявшимися от ярости волосами, с клубящеюся у рта пеною, с пламенными, бешеными глазами, и с кинжалом в руке, прямо на сердце мое устремленным. Я затрепетал, и холодный ужас разлился по моим жилам. Из глубины прошедших веков загремели в мой слух адския заклинания; но, к щастию, в самую сию минуту пришел мой [8]вожатый, и фантомы[8] моего воображения исчезли. Отец церковник, сказал он, вместе с другими отцами сидит за вечернею трапезою. Да не можешь ли ты сам показать мне гроб Глейхена? спросил я. Могу, отвечал он, естьли вы только его хотите видеть. — Вошедши в церковь, поднял он две широкия скованныя доски, и я увидел большой камень. — Выслушайте историю.[9]

Когда святая ревность выгнать неверных из земли Обетованной заразила всю Европу, и благочестивые рыцари, крестом ознаменованные, устремились к востоку: тогда[10] Глейхен, Имперской Граф, оставил свое отечество, и с верною дружиною направил путь свой к странам Азиатским. Не буду описывать вам великих дел его мужества. Скажу только, что[11] самые храбрейшие рыцари Христианства удивлялись его подвигам. Но Небесам угодно было искусить нещастием веру Героя — Граф Глейхен попался в плен к неверным, и стал невольником знатного Магометанца, который велел ему смотреть за своим садом. [12]Граф, нещастный Граф поливал цветы, и стенал в тяжком рабстве. Но тщетны[12] были бы все его стенания[13] и все обеты, естьли бы прекрасная Сарацынка, милая дочь господина его, не обратила [14]взоров нежной любви на злощастного Героя.[14] Часто в густых тенях вечера внимала она жалобным песням его; часто видела невольника[15] молящегося со слезами, и сама слезы проливала. Робкая стыдливость[16] долгое время не допускала ее изъясниться и сказать ему,[17] что она берет участие в его печали. Наконец искра воспылала — стыдливость исчезла — любовь не могла уже таиться в сердце, и огненною рекою излилась из уст ея в душу изумленного Графа. Ангельская невинность ея, [18]цветущая красота и способ разорвать цепь неволи, не дали ему вспомнить, что у него была супруга.[18] Он клялся Сарацынке вечно любить ее, естьли она согласится оставить своего отца, отечество,[19] и бежать с ним в страны Христианския. Но она уже не помнила ни отца, ни отечества — Граф был для нее все. Прекрасная летит, приносит ключь, отпирает дверь[20] в поле — летит с своим возлюбленным, и тихая ночь, одев их мрачным своим покровом, благоприятствует их побегу. Щастливо достигают они до отечества Графского. Подданные лобызают своего Государя и отца, которого считали[21] они погибшим, и с любопытством смотрят на его статную сопутницу, покрытую флером. При входе во дворец Графиня бросается в его объятия. «Ты опять меня видишь, любезная супруга! говорит Граф: [22]благодари ее[22] (*указывая на свою избавитель-*

ницу) — [23]она все для меня оставила.[23] Ах! я клялся любить ее!» — Граф хочет рукою закрыть текущия слезы свои. Сарацынка открывает свое лице, бросается на колени перед Графинею, и рыдая говорит: *я теперь раба твоя!* — «Ты сестра моя, отвечает Графиня, подымая и целуя Сарацынку: супруг мой будет твоим супругом; разделим сердце его.» Граф удивляется великодушию супруги [24] — прижимает ее к своему сердцу — все обнимаются и клянутся любить друг друга до гроба. Небеса благословили сей тройственный союз, и сам Папа утвердил [25] его. Мир и щастие обитали в Графском доме, и верные супруги [26]были погребены вместе [26] — в Эрфурте, в церкви Бенедиктинского монастыря — и покрыты одним большим камнем, на котором рука усердного художника вырезала их изображения. Я видел сей большой камень, и благословил память супругов.[27]

[28]Взглянув с *Петровой горы* на город и окрестности,[28] пошел я в сиротской дом, и видел там келью, в которой Мартин Лютер жил от 1505 до 1512 года. На стенах сей маленькой, темной горницы написана его история. На столике лежит Немецкая Библия первого издания, которую употреблял сам Лютер, и в которой все белыя страницы исписаны его рукою. Можно ли, думал я, чтобы простой монах, живший во мраке этой кельи, сделал [29]не только великую реформу в Римской церкви, вопреки Императору и Папе, но и великую нравственную революцию в свете! [29] — Вышедши из кельи, увидел я в коридоре множество странных картин. На одной изображен Император, к которому смерть, в виде скелета, подходит и докладывает с низким поклоном, что ему пора сложить с себя земное величие и отправиться на тот свет. На другой представлена актриса, а позади ее смерть в царском одеянии, поднимающая [30]кинжал с маскою.[30] На третьей изображены содержатель типографии в штофном халате и в большом парике, помощник его и смерть, хотящая подкосить ноги первого; а внизу подписано, что и содержатели типографий умереть должны! и проч. и проч.

‹37›

Гота, 23 Июля, в полночь.

Я приехал сюда в одиннадцать часов утра, и остановился в трактире *Колокольчика.* Сильная головная боль заставила меня пролежать [1] весь день. Ввечеру я встал, ходил [2] по городу, и видел перед дворцом иллюминацию и фейерверк, которым Готской Герцог веселил маленького Веймарского Принца, приехавшего к нему в гости.[3]

‹38›

Франкфурт на Майне, Июля 28.

Вчера,[1] милые друзья мои, приехал я во Франкфурт. Дорога от Готы была для меня очень скучна. Почти на каждой станции надлежало мне ночевать — (я ехал на ординарной почте) — или по крайней мере стоять по нескольку часов. Дороги везде прескверныя, так что надобно ехать все шагом, и даже самыя улицы в маленьких городках и местечках так дурны, что с трудом проехать можно. Правда, я сидел в коляске[2] очень просторно, т. е. почти все один; но чрезмерно тихая езда и остановки были для меня несносны. К тому же [3] почти ничего любопытного не встречалось глазам моим,[3] и я сомневаюсь, чтобы сам Йорик нашел тут много занимательного[4] для своего сердца.

Только дикия окрестности Эйзенаха произвели во мне некоторыя приятныя чувства, напомнив мне первобытную дикость всей Натуры.[5] Еще заметил я замок Вартбург, который лежит на горе не далеко от Эйзенаха, и в котором после Вормсского Сейма содержан был Мартин Лютер. Тут возвышаются два камня, в которых воображение находит нечто похожее на человеческия фигуры, и о которых, по старому преданию, рассказывается следующая сказка:

Молодой монах влюбился в молодую монахиню. Тщетно[6] сражался он с своею любовию; напрасно хотел умерщвлять плоть свою постом и трудами! Кровь его кипела[7] и волновалась. Образ нежной[8] монахини всегда[9] присутствовал в душе его. Он хотел молиться: но язык его, послушный сердцу, не мог произнести ничего, кроме: *люблю! люблю! люблю!* Часто ходил он в тот монастырь, где заключена была прекрасная; часто, смотря на нее, лил[10] пламенныя слезы, и видел огненный румянец на лице своей возлюбленной, — видел симпатическия слезы в глазах ея. Сердца их разумели друг друга, страшились[11] своих чувств[11] и — питали их. Наконец молодой монах трепещущею рукою вручил своей любезной следующее письмо: *Милая сестра! не далеко от монастырских ворот, в правую сторону, возвышается крутая гора. Я буду там при наступлении ночи. Или ты, прекрасная, будешь там же, или я свергнусь с высокого утеса, и умру временною и вечною смертию.* Сердце ея затрепетало. «Мне видеть его — думает она — мне видеть его за стеною монастырскою, и быть с ним одной в тишине ночи? Но я должна спасти его от страшного греха самоубийства.» — Она находит способ вытти ночью из монастыря — идет во мраке и страшится всякого шороха — всходит на гору, и вдруг чувствует себя в объятиях своего страстного обожателя. Они забывают все, трепещут в восторге — но вдруг кровь их хладеет, немеют члены, сердца перестают биться, и Небесный гнев превращает их в два камня. «Вы видите их» — сказал мне постиллион, указывая на верх горы. — Из сей народной сказки сочинил Виланд прекрасную поэму, под титулом: der Mönch und die Nonne.[12]*

---

* «Монах и монахиня» (*нем.*)

Проезжая через маленькое местечко [13]близь Гиршфельда,[13] постиллион мой остановился у дверей [14] одного дома. Я [15] счел этот дом [15] трактиром, вошел в него, и [16] первому человеку,[16] который встретил меня с низким поклоном, [17] велел принести бутылку воды и рейнвейна; [17] сел на стул, и не думал снимать своей шляпы. В комнате было еще человека три,[18] которые с великою учтивостию начинали говорить со мною. Принесли рейнвейн.[19] Я пил, хвалил вино, и наконец спросил, что надобно заплатить за него? «Ничего, отвечали мне с поклоном: вы не в трактире, а в гостях у честного мещанина, который очень рад тому, что вам полюбился его рейнвейн.» Вообразите мое удивление! Я схватил с себя шляпу и стал извиняться. «Ничего! ничего! сказал мне хозяин: только прошу вас быть благосклонным к моей дочери, которая поедет с вами в коляске.» [20] Буду почтителен,[20] и все, что вам угодно, — отвечал я. Пришла дочь его, девушка лет в двадцать, изрядная собою, в зеленом суконном сертуке и в черной шляпе. Мы рекомендовались друг другу [21] и сели в коляске рядом.[21] Каролина (так называлась девушка) сказал мне, что она едет в деревню к своей тетке. Я не хотел беспокоить ее никакими дальнейшими вопросами, вынул из кармана своего Vicar of Wakefield и начал читать. Сопутница моя стала зевать, жмуриться, дремать, и наконец голова ея упала ко мне на плечо. Я не смел тронуться, чтобы не разбудить ее; но вдруг нас так тряхнуло, что она отлетела от меня в другой угол коляски. Я предложил ей большую свою подушку. Она взяла ее, положила себе под голову и опять заснула. Между тем смерклось, и наступила ночь. Каролина спала крепким сном, и не просыпалась [22] до самого того места, где надлежало нам с нею расстаться. Что принадлежит до меня, то я вел себя так честно, как целомудренный рыцарь, боящийся одним нескромным взором оскорбить стыдливость [23] вверенной ему невинности.[23] Редки такие примеры в нынешнем свете, друзья мои, редки! Каролина, по своей невинности, не думала [24] благодарить меня за мою воздержность, и простилась со мною очень сухо. Бог с нею!

Нигде во всю дорогу не было мне так грустно, как в Гиршфельде. Я приехал туда в пять часов вечера, и должен был пробыть там до полуночи. Город не представлял мне ничего любопытного,[25] и я не знал, что делать. Читать не мог — писать также, хотя Почтмейстерша, по моему требованию, и принесла мне целую тетрадь бумаги. Сидя подгорюнившись, думал я о друзьях отдаленных, чувствовал сиротство свое и грустил.

Сюда приехал я ночью в дождь, и остановился в трактире *Звезды*, где отвели мне хорошую [26] комнату.

‹39›

Франкфурт, 29 Июля.

Ненастье продолжается. Сижу в своей горнице, под растворенным окном;[1] и хотя косой дождь мочит меня и разливает дрожь по моей внутренности, однакожь каменная Руская грудь не боится простуды, и питомец железного севера смеется над слабым усилием Маинских бурь.

Но такой ли погоды ожидал я в здешнем кротком климате? Более и более удаляясь от севера, радовался я мыслию, что оставляю за собою холод и сырость, все[2] сердитое, жестокое и угрюмое в натуре. Там, где течет Маин и Реин, думал я, там небо чисто, дни красны, и одни Зефиры струят воздух; там цветущая Природа ликует в ярком свете лучей солнечных. Но — приезжаю, и нахожу пасмурную осень середи лета. Только я намерен переупрямить погоду; и клянусь Титанами и страшным Стиксом, что не выеду из Франкфурта не дождавшись ясных дней.

Вчера был я только у Виллемера, богатого здешнего Банкира. Мы говорили с ним о новых Парижских происшествиях. Что за дела там делаются! Думал ли наш А* (который уехал отсюда недели за две перед сим) видеть в Париже такия сцены?

Не воображайте,[3] чтобы мне скучно было сидеть в своей горнице. Публичная библиотека в трех шагах от трактира. Вчера я брал из нее Фиеско, Шиллерову[4] трагедию, и читал ее с великим[5] удовольствием от первой страницы до последней. Едва ли не всего более тронул меня монолог Фиеска, когда он, уединясь в тихий час утра, размышляет, лучше ли ему остаться простым гражданином, и за услуги, оказанныя им отечеству, не требовать никакой награды,[6] кроме любви своих сограждан, или воспользоваться обстоятельствами и присвоить себе верховную власть в Республике.[7] Я готов был упасть перед ним[8] на колени и воскликнуть: *избери первое!* Какая сила в чувствах! Какая живопись в языке! вообще Фиеско тронул меня более, нежели Дон-Карлос, хотя сего последнего видел я на театре, и хотя критика отдает ему преимущество. — Ныне читал я также с великим удовольствием Ифландовы драмы, которыя можно назвать прекрасными семейственными картинами, и которыя верно полюбились бы нашей Публике, естьли бы искусный человек обработал[9] их для Руского театра.

В одном трактире со мною живет молодой Доктор Медицины, который вчера пришел ко мне пить чай, и просидел у меня весь вечер. По его мнению все зло в мире происходит от того, что люди не берегут своего желудка. «Испорченный желудок, сказал он, бывает источником не только всех болезней, но и всех пороков, всех дурных навыков, всех злых дел. От чего Моралисты так мало исправляют людей? От того, что они считают[10] их здоровыми, и говорят с ними как со здоровыми, тогда, как они больны, —[11] и когда бы,[11] вместо всех словесных убеждений, надлежало им дать несколько приемов чистительного. Беспорядок душевный бывает всегда следствием телесного беспорядка. Когда в машине нашей находится все в совершенном равновесии; когда все сосуды дей-

ствуют и отделяют исправно разныя жидкости; одним словом, когда всякая часть отправляет ту должность, которую поручила ей Натура: тогда и душа бывает здорова; тогда [12] человек рассуждает и действует хорошо; тогда бывает он мудр и добродетелен, и весел и щастлив.» — И так естьли бы у Калигулы не был испорчен желудок, то он не вздумал бы построить моста [13] на Средиземном море? спросил я. — «Без сомнения,[14] отвечал мой Доктор: и естьли бы лекарь его догадался дать ему несколько чистительных пилюль, то [15] смешное предприятие [15] было бы через час оставлено. От чего в златом веке были люди и добры и щастливы? Конечно от того, что они, питаясь только растениями и молоком, никогда не обременяли и не засоряли своего желудка. Наконец скажу вам, что естьли бы я был Государем, то велел бы всех преступников, вместо наказания, отсылать в больницы и лечить до того, пока они сделались бы добрыми людьми и полезными гражданами. Со временем предложу Публике свои мнения и доказательства, которыя, может быть, сделают революцию в Философии. Тогда вспомните, государь мой, что вы от меня слышали.» — Я удивлялся Логике Господина Доктора.

‹40›

Июля 30.

Наконец Франкфуртское небо перестало хмурить брови, и прояснилось.[1] Пользуясь [2] хорошим временем,[2] ходил я так много, что теперь чувствую боль в ногах.

[3] Трактирщик мой водил меня [3] по здешним садам. В одном из них встретились мы с хозяином, почтенным стариком и, как сказывают, очень богатым человеком. Узнав от моего вожатого,[4] что я путешествующий иностранец, он взял меня за руку и сказал: [5] «Я сам покажу вам все то, что можно назвать изрядным в моем саду. Какова эта темная алея?» — В жаркое время тут хорошо прохлаждаться, отвечал я. — «А эта маленькая беседка под ветьвями каштановых дерев?» — Тут прекрасно сидеть ввечеру, когда луна покажется на небе и свет свой прольет сквозь развесистые ветьви на эту бархатную зелень. — «А этот холмик?» — Ах! как бы я желал встретить тут восходящее солнце! — «А этот маленький лесок?» — Тут верно поют весною соловьи, так спокойно [6] и весело, как в самых диких местах Природы, ни мало не подозревая, чтобы сюда заманивало их искусство. — «Что вы скажете об этом домике?» — Он построен на то, чтоб быть жилищем Философа,[7] любящего простоту, уединение и тишину. — «Теперь вам надобно согласиться выпить у меня чашку кофе». — — Мы вошли в домик, и сели на деревянных стульях вокруг маленького столика. Нам подали кофе. [8] Я с удовольствием поблагодарил хозяина за его гостеприимство.[8]

В ненастное время казалось мне, что Франкфурт пуст; а теперь кажется, что он очень многолюден — от того, что в дурную погоду сидели все дома, кроме тех, которым уже по крайней нужде надлежало кор-

чится под дождем и топтать ногами грязь на улицах; а теперь, обрадовавшись солнцу, все как муравьи ползут из своих нор.

По своей цветущей и обширной коммерции, Франкфурт есть один из богатейших городов в Германии. Кроме некоторых дворянских фамилий, здесь поселившихся, всякой житель купец,[9] то есть, производит какой нибудь торг. На всякой улице множество лавок, наполненных товарами. Везде знаки трудолюбия, п р о м ы ш л е н н о с т и,* изобилия. Ни один нищий не подходил ко мне на улице просить милостыни.

Только не льзя назвать Франкфурт хорошо-выстроенным городом. Домы почти все старинные, и расписаны разными красками, — что для глаз весьма странно.[11]

Еще скажу то, что здесь в трактирах стол [12] очень дешев.[12] Мне приносят всегда пять хорошо приготовленных блюд и еще десерт, на двух или трех тарелках, и за это плачу [13] не более 50 копеек. Вино также очень дешево. Бутылка молодого рейнвейна стоит 10 копеек, а старого 40. —

После обеда, когда солнце укротило жар лучей своих, вышел я за город. Сады, сельские домики, луга и винограды [14] представились глазам моим. Сколько ландшафтов, достойных кисти Салватора Розы или Пуссеневой!

Уединенный домик с садиком, не далеко от большой дороги, прельстил меня, и я пошел к нему по узенькой тропинке. Два мальчика, игравшие на траве, бросились ко мне на встречу; но закричав: *это не он! это не Каспар!* побежали назад и скрылись в домик. Старое каштановое дерево призывало меня в свою тень — я сел под его ветьвями. Минут через пять мальчики опять выбежали, а за ними вышла женщина лет в тридцать, [15] приятная лицем, в белой кофточке и в соломенной шляпке.[15] Она села на крыльце, и смотрела с улыбкою [16] на играющих мальчиков,[16] с такою улыбкою, по которой легко было узнать, что она мать их. Они уговорились бегать в запуски; взявшись за руки, отошли от крыльца шагов тридцать, остановились, выставили вперед грудь и правую ногу, и дожидались, чтобы мать подала им знак. Она махнула им платком,[17] и они пустились как из лука стрела. Большой опередил меньшего, прибежал к матери, и закричав: *я первый!* бросился целовать ее. Меньшой прибежал, и также кинулся к ней на шею. [18] Любезная картина семейственного щастия! [18] Может быть в городе она бы меньше меня тронула; но среди сельских красот сердце наше живее чувствует все то, что принадлежит к составу [19] истинного щастия, влиянного благодетельным Существом в сосуд жизни человеческой. — Прости, уединенный домик! [20] Мир, тишина и покой да будут всегда наследственным добром твоих обитателей! [20] А ты, ветьвистое дерево! долго, долго еще принимай странников в тень свою — и под кровом шумящих листьев твоих да веселятся они веселием невинности и добродетели!

---

* [10] Это слово сделалось ныне обыкновенным: Автор употребил его первый.[10]





ЧАСТЬ ВТОРАЯ

‹41›

Франкфурт, Июля 31.[1]

Ныне ездил[2] я в деревню Берген, которой имя очень известно:[3] подле нее было в 1759 году, 13 апреля, кровопролитное сражение между Французами и соединенною Гановерскою и Гессенскою армиею; последнею командовал Брауншвейгской Принц Фердинанд, а первыми, которые остались победителями, Маршал Брольй.[4]

В здешней ратуше, называемой *Римлянином* (Römer), показывают путешественникам ту залу, в которой обедает новоизбранный Император, и где стоят портреты всех Императоров от Конрада I до Карла VI. Кто не пожалеет червонца, тот там же в Архиве может видеть и славную *золотую Буллу*, или договор Императора Карла IV с Государственными Чинами, написанный на 43 пергаментных [5] листах и названный сим именем[5] от золотой печати, висящей на черных и желтых шелковых снурках. На сей печати изображен Император, сидящий на троне, [6] а с другой стороны[6] Римская крепость, или так называемый *замок Св. Ангела* (il castello di S. Angelo) с словами aurea Roma (золотой Рим), которыя расположены в трех линиях таким образом:

$$\left\{\begin{matrix} a & u & r \\ e & a & r \\ o & m & a \end{matrix}\right\}$$

Я был и в кафедральной[7] церкви Католиков, где по уставу Майнцской Архиепископ коронует избранного Императора. Тут бросилась мне в глаза статуя Марии в белом кисейном платье. Часто ли шьют ей обновы? спросил я у моего провожатого. Из году в год, отвечал он. — Хотя главная церковь в городе принадлежит Католикам, однакожь господствующая Религия во Франкфурте есть Лютеранская, и Католицкому Духовенству запрещено ходить в процессии по улицам. Здесь очень много и Реформаторов, большею частию Французов, выгнанных из отечества Людовиком XIV; но они не могут иметь участия в правлении города, и даже не смеют всенародно[8] отправлять своего богослужения, в таком городе, где Жиды имеют Синагогу.[9] Такая нетерпимость конечно не служит к чести Франкфуртского Правительства.

Жидов считается здесь более 7 000. Все они должны жить в одной улице, которая так не чиста, что не льзя итти по ней не зажав носу. Жалко смотреть на сих нещастных людей, столь униженных между человеками! [10] Платье их состоит по большой части из засаленных лоскутков, [11] сквозь которое [11] видно нагое тело. По Воскресеньям, в тот час, когда начинается служба в Християнских церквах, запирают их улицу, и бедные Жиды как невольники сидят в своей клетке до окончания службы; и на ночь запирают их таким же образом. Сверх сего принуждения, естьли случится в городе пожар, то они обязаны везти туда воду и тушить огонь.

Между Франкфуртскими Жидами есть и богатые; но сии богатые живут [12] так же нечисто, как бедные. Я познакомился с одним из них, [13] умным, знающим человеком.[13] Он пригласил меня к себе, и принял очень учтиво. Молодая жена его, родом Француженка, говорит хорошо [14] и по-Французски и по-Немецки. С удовольствием провел я у них около двух часов; но только в сии два часа чего не вытерпело мое обоняние!

Мне хотелось видеть их Синагогу. Я вошел в нее как в мрачную пещеру, [15] думая: Бог Израилев,[15] Бог народа избранного! здесь ли должно поклоняться Тебе? Слабо горели светильники в обремененном гнилостию воздухе. Уныние, горесть, страх, изображались на лице [16] молящихся; нигде не видно было умиления; слеза благодарной любви ни чьей ланиты не орошала; ни чей взор в благоговейном восхищении не обращался к небу. Я видел каких-то [17] преступников, с трепетом ожидающих приговора к смерти, и едва дерзающих молить судию своего о помиловании. «За чем вы пришли сюда?» (сказал мне тот умный Жид, у которого я был в гостях.) «Пощадите нас! Наш храм был в Иерусалиме: там Всевышний благоволил являться своим избранным. Но разрушен храм великолепный, и мы, рассеянные по лицу земли, приходим сюда сетовать о бедствии народа нашего. Оставьте нас; мы представляем для вас печальную картину.» — Я не мог отвечать ему ни слова, пожал руку его, и вышел вон.

Давно уже замечено, что общее бедствие соединяет людей теснейшим союзом. Таким образом и Жиды, гонимые роком и угнетенные своими сочеловеками, находятся друг с другом в теснейшей связи, нежели мы, торжествующие Християне. Я хочу сказать, что в них видно более *духа общественности,* нежели в другом народе. Жид, в раздранном рубище, пришел ко мне ныне по утру с разными безделками. У меня сидел Доктор Н*. Не покупайте ничего у Жидов, сказал он мне: из них редкой не обманщик. «Не правда, государь мой! отвечал с жаром Израильтянин: мы не бесчестнее Християн.» Сказал, и с сердцем ушел из горницы. Вчера же зашел я к одному Жиду для того, чтобы разменять несколько червонцев на Французские талеры. На столе у него лежала развернутая книга: *Мендельзонов Иерусалим.* Мендельзон был великой человек, сказал я, взяв книгу в руки. «Вы знаете его? (спросил он у меня с веселою улыбкою.) Знаете и то, что он был одной нации со мною, и носил такую же бороду, как я?» Знаю, отвечал я, знаю. Тут Жид мой бросил на

стол талеры, и начал мне хвалить Мендельзона с жаром и восхищением, и заключил свою хвалу повторением, что сей великий муж, сей Сократ и Платон наших времен, был Жид, был Жид! — Здешние Актеры недавно представляли Шекспирову драму, *Венециянского Купца*. На другой день Франкфуртские Жиды прислали сказать Директору Комедии, что ни один из них не будет ходить в Театр, естьли сия драма, в которой обругана их нация, будет представлена в другой раз. Директор не захотел лишиться части своего сбора, и отвечал, что она будет выключена из списка пиес, играемых на Франкфуртском Театре.

‹42›

Августа 1.

Отсюда две дороги в Стразбург: через Дармштат, Гейдельберг и Карлсру, или через Фальц. И ту и другую мне хвалили: избираю[1] последнюю. Но как мне хотелось видеть Штарка, придворного Дармштатского Проповедника, то я ныне по утру нанял себе лошадь и поехал в Дармштат верхом. И с этой стороны окрестности Франкфуртския очень приятны; но далее к Дармштату (до которого считается от Франкфурта три мили) места уже не так хороши. Дорога инде очень песчана, инде очень выбита — и потому я еще более утвердился в своем намерении ехать чрез Фальц. Деревни[2] все хорошо выстроены, и везде находил я трактиры под разными, отчасти странными вывесками. На последней миле к Дармштату начинается очень хорошая мостовая. Тут открылся мне и город, лежащий близь покрытых лесом гор, и представляющий в сем расстоянии очень изрядную картину.

Остановясь в трактире, послал я слугу с письмецом к Штарку, а сам бросился на кресла отдыхать; но через несколько минут позвали меня обедать. В столовой комнате нашел я человек восемь, порядочно одетых. В том числе был один путешествующий Француз, для которого надлежало всем говорить по-Французски. Молодой человек, приехавший из Стразбурга, подробно рассказывал нам, каким образом за несколько дней пред сим[3] бунтовала тамошняя чернь;[3] но по-Французски говорил он так худо, что трудно было от смеха удержаться — на пример: *ильз-он дешире ла мезон де виль; ильз-он бриле* (brulé) *ле докиман* (le documens); *иль вуле бандр* (pendre) *ле машистра* (magistrats).* — Тут слуга принес мне печальную весть, что Штарка нет в Дармштате: он уехал к водам в Швальбах. «Господин Проповедник был очень болен, сказал сидевший подле меня человек: Берлинцы зажгли в нем кровь, и наши Медики с трудом могли потушить пожар.»[4] От всего сердца жалею о Штарке.

* они разрушили ратушу, они сожгли документы, они хотели повесить служащих магистрата (*испорчен. франц.*)

Дорога человеку добрая слава — и с каким легкомыслием похищаем мы друг у друга сие сокровище! О Шекспир, Шекспир! кто знал так хорошо сердце человеческое, как ты? Кто убедительнее твоего представил все безумство злословия?

Good name in man and woman, dear my Lord,
Is the immediate jewel of their souls.
Who steals my purse, steals trash; 'tis something, nothing;
'Twas mine, 'tis his, and has been slave to thousands;
But he, that filches from me my good name,
Robs me of that, which not enriches him,
And makes me poor indeed.*

Златые Пифагоровы *стихи* кажутся медными подле сих строк, которыя всякому человеку, Християнину и Турку, Индейцу и Африканцу, надлежало бы вписать незагладимыми буквами [5] в свое сердце.[5]

Я видел в Дармштате так называемый *дом экзерциции,* в котором может учиться целый полк, и в котором хранится множество всякого оружия; гулял [6] в большом придворном саду; ходил [7] по городу, в котором считается не более 300 [8] домов; потом сел на своего коня и отправился [9] назад во Франкфурт.[10]

Два раза был я в здешнем Театре, но в оба раза, к неудовольствию моему, играли очень неважныя Французо-Немецкия комедии. Внимание мое занимали более зрители, нежели актеры; а заметил я [11] единственно то,[11] что молодые люди здесь хорошо одеваются, и приходят в Театр не шуметь, а слушать пиесы, или — зевать.

‹43›

Маинц, 2 Августа.

Ныне в шесть часов вечера [1] приехал я в Маинц в *дилижансе* или в почтовой карете, в которой поеду до самого Стразбурга.

Какая гладкая дорога от Франкфурта до Маинца! Какие приятные виды! Какия прекрасныя места! Приближаясь к Маинцу, увидел я на левой стороне величественный Реин и тихой Маин, текущие почти рядом; а на правой виноградные сады, которых не льзя обнять глазами. Любезные друзья! как радостно билось мое сердце! Реин! Реин! наконец вижу тебя (думал я) — вижу, и благословляю царя вод Германских в гордом его течении!

Маинц лежит на западном берегу Реина, где впадает в него Маин. В городе улицы узки, хороших домов мало, церквей, монастырей и

* Т. е. «Доброе имя есть первая драгоценность души нашей. Кто крадет у меня кошелек, крадет безделку; он был мой, теперь стал его, и прежде служил тысяче других людей. Но кто похищает у меня доброе имя, тот сам не обогащается, а меня делает беднейшим человеком в свете».

монахов [2]великое множество.[2] — «Угодно ли вам видеть кишки Св. Бонифация, которыя хранятся в церкви Св. Иоанна?» спросил у меня с важным видом наемный слуга. Нет, друг мой! отвечал я: хотя Св. Бонифаций был добрый человек и обратил в Християнство Баварцев, однакожь кишки его не имеют для меня никакой прелести. Поведи меня лучше загород. — Мы вышли с ним за городския ворота. Я сел на берегу Реина, и видел в его водах вечерний луч солнца и картину зеленых берегов.

Возвратясь в трактир, ужинал я за общим столом с путешественниками разных земель. Все пили рейнвейн как воду. Я потребовал у трактирщика бутылку Гохгеймского вина, и притом самого старого, какое только есть у него в погребе. Надобно знать, что Гохгеймское считается самым лучшим из всех Реинских вин. «Вы конечно поблагодарите меня за этот нектар (сказал мне услужливый трактирщик, ставя передо мною бутылку): я получил его в наследство от моего отца, которого уже тридцать лет нет на свете.» В самом деле вино было очень хорошо, и равно приятно для вкуса и обоняния. Мысль, что пью рейнвейн па берегу Реина, веселила меня как ребенка. Я наливал, пенил, любовался светлостию вина, подчивал сидевших подле меня, и был доволен как царь. Скоро бутылка опорожнилась. Трактирщик уверял меня, что у него есть еще прекрасное Костгеймское вино, полученное им также в наследство [3]от отца его,[3] которого уже тридцать лет нет на свете. Верю, что оно делает честь памяти покойника, сказал я, — встал и пошел в свою комнату.

‹44›

Мангейм, 3 Августа.

Ныне рано поутру выехал я из Маинца в большой почтовой карете с пятью товарищами, и по западному берегу Реина, через Оппенгейм и Вормс, приехал в Мангейм в семь часов вечера.

Сию верхнюю часть Германии можно назвать земным раем. Дорога гладка как стол — везде прекрасныя деревни — везде богатые виноградные сады — везде плодами обремененныя дерева — груши, яблоки и Грецкие орехи растут на дороге (зрелище, в восторг приводящее северного жителя, привыкшего видеть печальныя сосны и пóтом орошаемые [1] сады, где Аргусы с дубинами стоят па карауле!) И между сими-то щедрыми долинами мчится почтенный, винородный Реин, неся на волнистом хребте [2] благословенные плоды своих берегов, плоды, [3]веселящие сердце людей в странах отдаленных и не столь облагодетельствованных Природою! [3]

Но где бедствие не посещает от жен рожденных? Где небо грозными тучами не покрывается? Где слезы [4] горести не лиются? Здесь лиются оне, и я видел их — видел тоску поселян нещастных. Реин и Неккер, наполнившись от дождей, яростно разлили воды свои и затопили [5] сады,

поля и самыя деревни. Здесь неслась часть домика, где обитали перед тем покой и довольствие — тут бурная[6] волна мчала запас осторожного, но тщетно осторожного поселянина — там плыла бедная, блеющая овца. Мы должны были ехать по воде, которая в иных местах вливалась к нам в карету. Но самое сие наводнение возвышало великолепие вида, открывшегося нам при въезде в длинную алею, версты за три до Мангейма — алею, которая, будучи облита водою, казалась мостом.[7]

В Оппенгейме, Курфальцском городе, мы завтракали и пили славное Нирenштеинское вино, которое однакожь показалось мне не так хорошо, как Гохгеймское. — Против Оппенгейма, на другой стороне Реина, стоит высокая пирамида, а на ней лев, держащий в правой лапе большой мечь. Шведской Король, Густав Адольф, поставил сей памятник в 1631 году, перешедши с своей армиею через Реин, разбив Гишпанцев и взяв Оппенгейм.

В Вормсе достойна примечания старинная ратуша, в которой Император Карл V со всеми Имперскими Князьями судил Лютера в 1521 году. [8]И ныне еще[8] показывают там лавку, на которой лопнул стакан с ядом, для него приготовленным. Путешественники отрезывают по кусочку от того места, где будто бы стояла сия отрава, и почти насквозь продолбили доску.

Мангейм есть прекрасный город. Улицы совершенно регулярны, и перерезывают одна другую прямыми углами: что для глаз — по крайней мере при первом взоре — очень приятно. Ворота Реинския, Неккерския и Гейдельбергския украшены баральефами, хорошо выработанными. В разных местах города есть площади, окруженныя большими домами. Дворец Курфирста построен на том месте, где Неккер сливается с Реином. Естьли бы я не торопился в Швейцарию, то остался бы здесь на несколько недель: так полюбился мне Мангейм!

‹45›

Мангейм, Августа 4.

В Академии Скульптуры видел я собрание статуй, и между ими самыя вернейшия копии славных Бельведерских антиков. Надобно удивляться древнему искусству, которое умело влагать душу в мрамор, и прекрасную[1] душу. М* с восхищением говорил нам о Лаокооне: я видел эту[2] группу, один из прекраснейших памятников Греческого художества,[3] и, по мнению некоторых, произведение Фидиасова резца. Утверждают, что она подала Виргилию мысль к описанию нещастного Лаокоонова конца.* Смотря на нее, прочитал я несколько раз сие место в бессмертной Энеиде, которая была у меня в руках:

---

* Лаокоон, брат Анхизов, не хотел допустить, чтобы Трояне приняли в город деревянную лошадь, в которой скрывались Греческие воины; боги, определившие погибель Трои, наказали его за сие сопротивление.

«Другое, ужаснейшее происшествие вселяет трепет в сердца наши. Лаокоон, избранный по жребию в жрецы Нептуновы, торжественно приносил в жертву тучного быка — и вдруг на поверхности тихих вод, от страны Тенедоса, являются... (страшное воспоминание!)... являются два ужасные змия, и рядом плывут к берегу; кровавая глава и грудь их гордо возвышается над волнами; неизмеримый хребет их извивается в кругах бесчисленных; плывут, с шумом рассекают пенистую влагу, и достигают брега. Пламя и кровь в очах их. Страшно шипят они, страшно зияют — и народ в ужасе спасается бегством. — Сии чудовища спешат к Лаокоону; бросаются сперва на двух юных сынов его, и терзают нещастных. Лаокоон стремится с копием на помощь к ним: отец злополучный! Змии обвиваются вокруг его тела, вокруг шеи, и шипят над его головою. Тщетно хочет он освободиться от чудовищ ужасных; руки старца бессильны. Покрытый их нечистым гноем, их ядом смертоносным, Лаокоон стенает — и вопль его до звезд возносится.»

С какою живостию изображена физическая боль в лице терзаемого старца! Как сильно изображена в нем и горесть нещастного родителя, который видит погибель детей своих, и не может спасти их! — Фидиас был Поэт.[3]

‹46›

Стразбург, Августа 6.

Через обширныя, зеленыя равнины — где роскошная Природа в садах и в полях изливает весь тук своего плодородия, и в пенящейся чаше подает смертному [1] нектар вдохновения и радости [1] — приехал я из Мангейма в Стразбург, вчера в 7 часов вечера.

Приятно, весело, друзья мои, переезжать из одной земли в другую, видеть новые предметы, с которыми, кажется, самая душа наша обновляется, и чувствовать неоцененную свободу человека, по которой он подлинно может назваться царем земного творения. Все прочия животныя, будучи привязаны к некоторым климатам, не могут вытти из пределов, начертанных им Натурою, и умирают, где родятся; но человек, силою могущественной воли своей, шагает из климата в климат — ищет везде наслаждений, и находит их — везде бывает любимым гостем Природы,[2] повсюду отверзающей для него новые источники удовольствия — везде радуется бытием своим, и благословляет свое человечество.

А мудрая связь общественности, по которой нахожу я во всякой земле все возможныя удобности жизни, как будто бы нарочно для меня придуманныя; по которой жители всех стран предлагают мне плоды своих тру-

дов, своей промышленности, и призывают меня участвовать в своих забавах, в своих весельях — —

Одним словом, друзья мои, путешествие питательно для духа и сердца нашего. Путешествуй гипохондрик, чтобы исцелиться от своей гипохондрии! Путешествуй мизантроп, чтобы полюбить человечество! Путешествуй, кто только может!

На границе наш постиллион остановился. Vous êtes déjà en France, Messieur, сказал нам худо-одетый человек, подошедши к нашей карете: et je vous en félicite.* Это был осмотрщик, который за свое поздравление хотел взять с нас по нескольку Французских копеек.

Везде в Эльзасе приметно волнение. Целыя деревни вооружаются, и поселяне пришивают кокарды к шляпам. Почтмейстеры, постиллионы, бабы, говорят о революции.

А в Стразбурге начинается новый бунт. Весь здешний гарнизон взволновался. Солдаты не слушаются Офицеров, пьют в трактирах даром, бегают с шумом по улицам, ругают своих начальников и пр. В глазах моих толпа пьяных солдат остановила ехавшего в карете Прелата, и принудила его пить пиво, из одной кружки с его кучером, за здоровье нации. Прелат бледнел от страха, и трепещущим голосом повторял: mes amis, mes amis! — Oui, nous sommes vos amis! ** кричали солдаты: *пей же с нами!* Крик на улицах продолжается почти беспрерывно. Но жители затыкают уши и спокойно отправляют свои дела. Офицеры сидят под окном,[3] и смеются, смотря на неистовых. — Я был ныне в Театре,[3а] и кроме веселости, ничего не приметил в зрителях. Молодые Офицеры перебегали из ложи в ложу, и от всего сердца били в ладоши, стараясь заглушить [4] шум пьяных бунтовщиков,[4] который раза три приводил в замешательство актеров на сцене.

Между тем в самых окрестностях Стразбурга толпы разбойников грабят монастыри. Сказывают, что по деревням ездил какой-то человек, который называл себя Графом д'Артуа, и возбуждал поселян к мятежу, говоря, что Король дает народу полную свободу до 15 Августа, и что до сего времени всякой может делать, что хочет. Сей слух заставил [5] здешнего начальника [5] обнародовать, что *одна адская злоба, достойная неслыханного наказания,* могла распустить такой слух. — [5а]

Здешняя кафедральная [5б] церковь есть величественное готическое здание, и башня ея почитается за самую высочайшую пирамиду в Европе. Вошедши во внутренность сего огромного храма, в котором никогда ясного света не бывает, [6] не льзя не почувствовать [6] благоговения; но кто хочет питать в себе это священное чувство, тот не смотри на баральефы корнизов и колонн, где вы увидите престранныя и смешныя аллегорическия фигуры. На прим. ослы, обезьяны и другие звери изображены в монашеской одежде разных Орденов; иные с важностию идут в процессии, другие прыгают, и пр. На одном баральефе представлен монах с монахи-

---

* Вы уже во Франции, господа, и я вас с этим поздравляю (*франц.*)
** друзья мои, друзья мои! — Да, мы ваши друзья! (*франц.*)

нею в самом непристойном положении. — Богатыя одежды Священников и украшение олтарей показывают за диковинку. Одно серебряное Распятие, подаренное церкви Людовиком XIV, стоит 60 000[7] талеров. — По круглой лестнице, состоящей из 725 ступеней, всходил я почти на самый верх башни, откуда без некоторого ужаса не мог смотреть вниз. Люди на улицах представлялись ползающими насекомыми, и целый город, казалось, можно было в минуту измерить аршином. Деревни вокруг Страсбурга едва были приметны; миль за десять и более синелись горы. Говорят, что в самую ясную погоду можно видеть и снежные верхи Альпийских гор; но я не видал их, сколько ни напрягал свое зрение. — Часы сей башни, по разнообразным своим движениям, считались[8] некогда чудом Механики; но вероятно, что нынешние гордые художники не так думают. — Между колоколами, из которых самый большой весом в 204 центнера, показывали мне так называемый *серебряный*, весом в 48 центнеров, и сказывали, что в него благовестят только в Иванов день. Там же хранится большой охотничий рог, [9] которым, лет за 400 перед сим, здешние Жиды хотели подать сигнал неприятелю для взятья Стразбурга.[9] Заговор открылся; многие из Жидов были созжены, многие разорены, а другие выгнаны из города. В память щастливо разрушенного заговора трубят в этот[10] рог всякую ночь два раза. — На стенах колокольни путешественники пишут свои имена, или стихи, или что кому вздумается. Я нашел и Руския следующия надписи: *Мы здесь были, и устали до смерти. — Высоко! — Здравствуй, брат земляк! — Какой же вид!*[11]

В Лютеранской церкви Св. Томаса видел я мраморный монумент Маршала, Графа Саксонского, славное произведение резца Пигалева. Маршал с жезлом своим сходит по ступеням в могилу,[12] и с презрением смотрит на смерть, которая открывает гроб.[13] На правой стороне два льва и орел, в ужасе и смятении, изображают соединенныя армии, побежденныя Графом во Фландрии. На левой стороне представлена Франция в образе прекрасной женщины, которая, со всеми знаками живой горести, хочет одною рукою удержать его, а другою отталкивает смерть. Печальный Гений жизни обращает к земле свой факел; и на сей же стороне развеваются победоносныя знамена Франции. — Художник хотел, чтобы удивлялись его искусству: по мнению знатоков, он достиг своей цели. Я, не будучи знатоком, смотрел на фигуры — на ту, на другую, на третью — и был в своем сердце так холоден, как мрамор, из которого оне сделаны. Смерть, в образе скелета, одетого[14] мантиею, была мне противна. Древние не так [15] изображали ее,[15] — и горе новым художникам, пугающим нас такими представлениями![16] На лице Героя желал бы я видеть [17] другое выражение.[17] Мне хотелось бы, чтобы он имел более внимания к горестной Франции, нежели к гнусному скелету. Коротко сказать, Пигаль, по моему чувству, есть искусный художник, но худой Поэт. — Под сим монументом, в темном своде, поставлен[18] гроб, в котором лежит бальзамированное тело Маршала; сердце заключено в сосуде, стоящем на гробе, а внутренность погребена в земле. Людовик XV, по своей чувствительности или по чему иному, не хотел исполнить последнего желания [19] Маршала умирающего,[19] которое состояло в том, чтобы тело его было созжено. Qu'il ne

reste rien de moi dans le monde, сказал он, que ma mémoire parmi mes amis! [20]* —

Здешний Университет так же почти славен, как Лейпцигской и Геттингенской. Многие Немцы и Англичане приезжают сюда учиться. Только из Стразбургских Профессоров очень не многие известны в ученом свете как Авторы. Их называют ленивыми в сравнении с другими. Может быть, они богатее других; а в Германии бедность делает многих Авторами.[21] —

Наконец о городе скажу вам, что он многолюден;[22] но [23]что улицы тесны,[23] и не льзя похвалить архитектуры домов.

Головной убор женщин здесь [24]весьма странен.[24] Крепко счесанные и насаленные волосы связываются (т. е. передние с задними) на средине головы; а на верху пришивается маленькая корона. Ничего не может быть [25]безобразнее такого убора.[25] —

Что принадлежит до здешнего Немецкого языка, то он очень[26] испорчен. В лучших обществах говорят всегда по-Французски.

Я надеялся здесь найти письмо от А*, но не нашел. Когда-то от вас, мои любезные, получу письма! Живы ли вы? Здоровы ли вы? Что с вами делается? Спрашиваю, и никакой Гений не шепчет мне на ухо ответа. Путешествовать приятно, но расставаться с друзьями больно.[27] — —

П. П. Мне сказывали, что Лафатер за несколько дней пред сим был в Базеле для свидания с Неккером. Я познакомился здесь с одним Магистром, очень любезным человеком, который водил меня в Университет, в анатомической театр, в медицинской сад, и который ныне за обедом и за ужином пил здоровье отечественных друзей моих. За ужином у нас был превеликой спор между Офицерами о том, что делать в нынешних обстоятельствах честному человеку, Французу и Офицеру? Положить руку на ефес, говорили одни, и быть в готовности защищать правую сторону. Взять абшид, говорили другие. Пить вино и над всем смеяться, сказал пожилой Капитан, опорожнив свою бутылку.

‹47›

Базель.

Берегитесь, государи мои! сказал нам в Стразбурге один Офицер, когда я с другими путешественниками садился в дилижанс: *дорога не совсем безопасна; в Эльзасе много разбойников.* Мы посмотрели друг на друга. «У кого не много денег, тот не боится разбойников» — сказал молодой Женевец, который приехал со мною из Франкфурта. «У меня есть кортик и собака» — сказал молодой человек в красном камзоле, севший

---

* Пусть в этом мире от меня останется только память, которую сохранят мои друзья! (*франц.*)

подле меня. «Чего бояться!» сказали все мы; поехали, и приехали в Базель благополучно.[1]

Эльзас есть прекрасная земля.[2] Города и деревни, через которыя мы проезжали, все хорошо выстроены. [3]На той и на другой стороне дороги плодоносныя поля.[3] Лотарингския горы, с развалинами рыцарских и разбойничьих замков, представляют для глаз нечто романическое, и придают разнообразие виду обширных равнин, утомительных для зрения. Сии горы более и более удаляются и темнеют, так что наконец не можно видеть на них ничего, кроме мрака. С другой стороны, за Реином, возвышаются черные хребты Шварцвальдских гор и в неизмеримом расстоянии ограничивают горизонт. Близь дороги изредка попадаются в глаза дерева и маленькия рощицы.

Французская почта гораздо скорее Немецкой. Постиллион (в синем камзоле с красным воротником, и в таких сапогах, которые были бы впору Гиганту в водяной болезни) беспрестанно машет хлыстом,[4] и понуждает коней своих бежать рысью. На шести, девяти и двенадцати верстах переменяют лошадей, и на каждой станции надобно платить прогоны вперед, [5]нашими деньгами[5] копеек по двадцати за милю (lieue). Из Стразбурга выехали мы в шесть часов поутру, а в восемь часов вечера были уже за три версты от Базеля, то есть переехали в день 29 Французских миль, или 87 верст. Тут надлежало нам ночевать, для того что ровно в восемь часов запираются в Базеле ворота, которых уже до утра ни для кого и ни для чего не отворяют.

С молодым человеком в красном камзоле [6]успел я[6] коротко познакомиться. Он сын придворного Коппенгагенского Аптекаря Беккера, учился в Германии Медицине и Химии (последней у славного Берлинского Профессора Клапрота), и прошел большую часть Германии пешком, один с своею собакою и с кортиком на бедре, пересылая чрез почту чемодан свой из города в город. В Стразбурге заболела у него нога, и принудила его сесть в дилижанс. Теперь хочет он видеть все примечания достойнейшее в Швейцарии, а потом отправится во Францию и в Англию. Со всею нежностию дружбы любит он свою собаку, и дорогою беспрестанно смотрел, бежит ли она за каретою; когда же приметил, мили за две не доезжая до нашего ночлега, что она устала и начала отставать, то, пожелав нам щастливого пути, вышел сам из дилижанса, чтобы брести потихоньку с своим другом. — Здесь в Базеле остановились мы с ним в одном трактире, под вывескою *Аиста*.

И так я уже в Швейцарии, в стране живописной Натуры, [7]в земле свободы и благополучия![7] Кажется, что здешний воздух имеет в себе нечто оживляющее: дыхание мое стало легче и свободнее, стан мой распрямился, [8]голова моя сама собою подымается вверх, и я с гордостию помышляю о своем человечестве.[8]

Базель более всех городов в Швейцарии; но, кроме двух огромных домов Банкира Саразеня, не заметил я здесь никаких хороших зданий, и улицы чрезмерно худо вымощены. Жителей по обширности[9] города очень не много, и некоторые переулки заросли травою. Реин разделяет Базель на две части; и хотя сия [10]река здесь не так широка, как в Ма-

инце, однакожь, по быстрейшему своему течению и по светлости[10a] воды своей, показалась мне гораздо приятнее. Только здесь она совершенно пуста; не видно на ней ни одного судна, ни одной лодочки. Не знаю, для чего Базельцы не пользуются выгодами судоходства, производя довольно важный торг с Немцами, и отправляя в Германию полотна, ленты, шелковыя материи и другия произведения своих мануфактур.[11]

В так называемом Минстере, или главной Базельской церкви, видел я многие старые монументы, с разными надписями, показывающими бедность разума человеческого в средних веках. Монументы Эразма и супруги Императора Рудольфа I были для меня примечательнее [12] других. Первый считался [12] в свое время ученейшим и остроумнейшим человеком в Европе: в доказательство чего может служить следующий, может быть уже известный вам, анекдот: Эразм, приехав в Лондон, посетил Томаса Моруса, Великого Государственного Канцлера, и, не сказав ему своего имени, вступил с ним в разговор о Политике, Религии и других предметах. Морус, будучи восхищен его разумом и красноречием, вскочил наконец с своего места и воскликнул: *ты Эразм или Демон!* — Из сочинений [13] его самое известнейшее есть Похвала Дурачеству, в котором он смеется над всеми состояниями жизни, а наиболее [14] над монашеским, не щадя и самого Папы. Некоторыя шутки конечно довольно остры; но многия грубы, сухи и натянуты — и вообще [15] книга сия [15] довольно скучна для тех, которые уже читали остроумныя сочинения Вольтеров и Виландов осьмаго-надесять века. — Минстер стоит на высоком месте, обсаженном деревьями, откуда вид очень хорош.

В публичной библиотеке показывают многия редкия рукописи и древния медали, которых цену знают только Антикварии [16] и Нумисматографы; а что принадлежит до меня, то я с большим примечанием и удовольствием смотрел там на картины славного Гольбеина, Базельского уроженца и друга Эразмова. Какое прекрасное лице у Спасителя на вечери! Иуду, как он здесь представлен, узнал бы я [17] всегда и везде.[17] В Христе, снятом со креста, не видно ничего божественного; но как умерший человек изображен он весьма естественно.[18] По преданию рассказывают, что Гольбеин писал его с одного утопшего Жида. Страсти Христовы изображены на осьми картинах. В ратуше есть целая зала, расписанная *альфреско* Гольбеином. Знатоки говорят о сем живописце, что фигуры его [19] вообще весьма хороши;[19] что тело писал он живо,[20] но одежду очень дурно. — В ограде церкви Св. Петра, на стене за решеткою, видел я и славный *танец мертвых*, который, по крайней мере отчасти, считают [21] за Гольбеинову работу. Смерть ведет на тот свет людей всякого состояния: и Папу и Нимфу радости, и Короля и нищего, и доброго и злого. Не будучи знатоком, могу сказать, что конечно не одно воображение и не одна кисть произвели сей ряд фигур: столь хороши некоторыя, и столь дурны прочия! [22] Я заметил три или четыре лица, весьма выразительныя, и конечно достойныя левой Гольбеиновой руки.* Впрочем вся картина испорчена воздухом и сыростию.

---

* Гольбеин писал левою рукою.

Между прочими Гольбеиновыми картинами, которыми гордится Базель, есть прекрасный портрет одной молодой женщины, славной в свое время. Живописец изобразил ее в виде Лаисы (по чему легко можно догадаться, какого роду была слава ея), а подле нее представил Купидона, облокотившегося на ея колени, и держащего в руке стрелу. Сия[23] картина найдена была па олтаре, где народ поклонялся ей под именем Богоматери; и на черных рамах ея написано золотыми буквами: Verbum Domini manet in aeternum (*слово Господне пребывает вовеки*).

Кабинет Господина Феша есть достойный предмет любопытства всех путешественников, любящих искусство. Его ценят во 150 000 талеров. Конечно не многие из частных[24] людей в Европе имеют такое собрание прекрасных картин, и конечно не многие из богачей имеют такой вкус, как Г. Феш. Но сколько завидны драгоценныя его картины, столько же. или еще более, завиден для меня и тот прекрасный вид, которым наслаждается сей любимец фортуны, смотря из окон своего кабинета на величественный Реин, и взором своим [25]следуя за его течением[25] между двумя великими государствами. Тут Франция, Швейцария и Германия представляются глазам в разнообразной картине, под голубым сводом неба — и я мог бы целый день неподвижно простоять в сем магическом кабинете, смотреть и тихо в душе восхищаться, естьли бы не побоялся быть в тягость Господину Фешу. — На дворе перед его домом показывают деревянную и очень[26] топорно выработанную статую Императора Рудольфа I. Он представлен сидящим на троне в порфире и со всеми знаками своего достоинства. Его избрали в Императоры в самое то время, когда он войсками своими окружил Базель; после чего отворили ему городския ворота — и он жил здесь, сказывают, точно в том доме, в котором живет теперь Г. Феш.

Ныне за обедом был я свидетелем трогательного явления. Пожилой человек, Кавалер Св. Людовика, сидел на конце стола с пожилою дамою. На лицах их изображалась горесть и бледность изнеможения. Они не брали участия в общем разговоре; взглядывали иногда друг на друга, и утирали платком покрасневшие глаза свои. Все смотрели на них с почтительным сожалением и с видом скрываемого любопытства. Молодой Женевец, сидевший подле меня, сказал мне на ухо: *это знатный Французский дворянин с своею женою, который по нынешним обстоятельствам должен был бежать из Франции.* В то время, как подавали нам десерт, вошли в залу молодой человек и молодая дама в дорожном платье. Mon père! ma mère! mon fils! ma fille! * — и при сих восклицаниях Кавалер Св. Людовика и сидевшая подле него дама вдруг очутились на средине комнаты в объятиях молодых людей. Глубокое молчание в зале — все мы, сидевшие за столом, казались оцепеневшими: один держал в руке бисквит, другой рюмку, и остался неподвижен в сем положении; те, которые говорили [27]и замолчали, не успели затворить рта,[27] устремив взоры свои па обнимающуюся группу. Ты пролетела, минута молчания и тишины! но глубокия черты оставила ты в моем сердце, которыя все-

* Отец! мать! сын! дочь! (*франц.*)

гда будут воспоминать мне чувствительность людей — ибо она превратила нас в камень, когда мы увидели отца и мать, сына и дочь, с жаром, с восторгом обнимающих друг друга! — Наконец Кавалер Св. Людовика, отирая лиющиеся слезы свои, оборотился к нам и сказал прерывающимся голосом: *Простите, государи мои, простите радостному исступлению нежных родителей, которые трепетали о жизни милых детей своих,* но, благодаря Всевышнего! видят их в целости и прижимают к своему сердцу! Мы лишились своего имения и отечества; но когда жив сын наш, когда жива дочь наша, то забываем все прочее горе!* Потом, держа друг друга за руки, вышли они из залы. Все мы встали, пошли за ними, и нашедши на крыльце слугу их, окружили его и требовали, чтобы он объяснил нам виденную нами сцену. — «Я могу вам сказать [28] единственно то,[28] отвечал он, что бунтующие поселяне хотели убить моего господина; что он принужден был искать спасения в бегстве, оставив замок свой в огне и в пламени, и не зная об участи детей своих, которыя были в гостях у брата его, и которыя теперь, по его письму, благополучно сюда приехали.» —

Естьли вы в полдень спросите здесь, *который час?* то вам скажут в ответ: *по общим часам двенадцать, а по Базельским час* — то есть, здешние часы идут всегда впереди [29] против общих. Напрасно будете вы приступать к Базельцам и требовать, чтобы они сказали вам подлинную причину сей странности. Никто ее не знает; но за старое предание рассказывают, что будто бы причиною того был некогда уничтоженный заговор — и таким образом: Некоторые зломыслящие люди в Базеле уговорились в двенадцать часов ночи собраться и перерезать в городе всех судей; один из Бургомистров узнал о том, и велел на колокольне главной церкви ударить час, вместо двенадцати; каждый из заговорщиков подумал, что назначенное время уже прошло, и возвратился домой — после чего все Базельцы, в память щастливой Бургомистровой выдумки, переставили часы свои часом вперед. По другому преданию, сделалось сие во время Базельского *Церковного Собора,*[30] для того, чтобы ленивые Кардиналы и Епископы вставали и собирались ранее. — Как бы то ни было, только Базельцы уже привыкли обманывать себя во времени дня, и народ почитает сей обман за драгоценное право своей вольности.[31]

Хотя в Базеле народ не имеет законодательной власти и не может сам избирать начальников, однакожь правление сего Кантона можно назвать отчасти демократическим; потому что каждому гражданину открыт путь ко всем достоинствам в Республике, и люди самого низкого состояния бывают Членами Большого и Малого Совета, которые [32] дают законы, объявляют войну, заключают мир, налагают подати, и сами избирают [33] Членов своих.[33] — Хлебники, сапожники, портные, играют часто важнейшия роли в Базельской Республике.[34]

Во всех жителях видна здесь какая-то важность, похожая на угрюмость, которая для меня не совсем приятна. В лице, в походке и во всех

* Слово в слово с Французского; но галлицизмы такого рода простительны.

ухватках имеют они много характерного.[35] — В домах[36] граждан и в трактирах соблюдается отменная чистота, которую путешественники называют вообще Швейцарскою добродетелию. — Только женщины здесь отменно дурны; по крайней мере я не видал ни одной хорошей, ни одной изрядной.[37] —

В семи верстах от Базеля находится так называемая *пустыня*, или [38]обширный сад,[38] принадлежащий одному из здешних богачей. Туда ходил я пешком с двумя молодыми Берлинцами, здесь живущими. Кажется, будто бы искусство не имело никакого участия в разведении[39] сего сада. Надобно везде ходить по узеньким тропинкам и взбираться на утесы по каменным ступеням. Инде видишь частый, зеленый кустарник — инде глубокия пещеры, или разбросанные шалаши. Во глубине дикого грота, где чистая вода, струясь[40] с высоких камней, ископала себе маленькой бассеин, стоит монумент покойного Геснера, печальною дружбою сооруженный... Поздно, поздно приехал я в Швейцарию: умолк[41] голос нежного певца ея![42] В сем тихом гроте, в сем святилище меланхолии, душа чувствует томное уныние и погружается наконец в сладкую дремоту. Здесь изобразил бы я Ночь, Сон и Смерть, как они, по описанию Павзаниеву, на Ципселовом сундуке изображены были.* — Мы сходили в подземный храм Прозерпины, и видели образ сей богини, освещаемый слабым светом тихо горящих лампад. Чрезвычайный холод и сырость не позволили нам ни минуты пробыть там.[44] — Мы обедали в местечке Арлейсгейме, принадлежащем Базельскому Епископу, и в семь часов возвратились назад в Базель.[45]

Верстах в двух или в трех отсюда, где построена так называемая гошпиталь Св. Якова, было некогда жестокое сражение между Французами и Швейцарами, которые почти все легли на месте. Базельские жители всякой год в Мае месяце приходят туда воспевать геройския дела своих предков и пить красное вино, называемое *Швейцарскою кровью*.

Я имел любопытство видеть тот дом, в котором жил Парацельс. Сказывают, что в саду, принадлежащем к сему дому, и поныне[46] находят еще огарки из химических или алхимических печей сего чудного человека, которому, по признанию Ученых, обязана Медицина многими минеральными лекарствами, и ныне с великою пользою употребляемыми, но который [47]от страшного хвастовства своего[47] прослыл шарлатаном в целой Европе.** —

Вообразите, что новый мой знакомец Б*, с которым я уговаривался вместе путешествовать по Швейцарии, умирает — умирает от любви! Здесь в трактире живет молодая дама из Ивердона. Сегодни ужинала она за общим столом, сидела подле Б* и несколько раз начинала с ним

---

* Ночь представлена была в виде молодой женщины, держащей в своих объятиях двух мальчиков, [43]белого и черного;[43] один спал, а другой *казался* спящим; один означал сон, а другой смерть.

** Пишут, что он часто лекции свои начинал так: «Знайте, о Медики! что колпак мой ученее всех вас, и что борода моя опытнее ваших Академий. Греки, Римляне, Французы, Италиянцы! я буду вашим царем».

говорить. Нежное сердце моего Датчанина растопилось от огненных ея взоров. Он весь покраснел, забыл пить и есть, и только что подчивал красавицу; а при конце ужина подал ей записную книжку свою и карандаш, прося, чтобы она написала ему какое нибудь наставление. Красавица взяла книжку, карандаш — взглянула на него [48] умильно, нежно [48] — и написала по-Французски: *Сердце, подобное вашему, не имеет нужды в наставлениях; следуя своим побуждениям, оно следует предписаниям добродетели* — написала и подала ему с улыбкою. Madame! сказал восхищенный Б* ... Madame!...* В самую сию минуту все из за-стола встали, и красавица, присев перед ним, подала руку своему брату и ушла. Б* стоял, смотрел в след за нею, и наконец сказал мне, когда я подошел к нему, что он едва ли может завтра ехать со мною в Цирих, чувствуя себя очень нездоровым.

‹48›

Базель, Августа 9.

Молодая Дама из Ивердона ныне поутру уехала, и Датчанин Б* исцелился от любовной своей болезни. Вместе с ним наняли мы здесь извощика, или так называемого *кучера* (Kutscher), который за два луидора с талером повезет нас в Цирих на паре жирных лошадей, в двуместной старомодной карете; и таким образом за 60 верст платим мы 17 руб. В Швейцарии нет почты. — *Ступайте, господа!* кричит нам почтенный извощик Швейцарской в плисовом фраке: *ступайте! чемоданы ваши привязаны.* И так простите!

‹49›

В карете дорогою.[1]

Уже я наслаждаюсь Швейцариею, милые друзья мои! Всякое дуновение ветерка проницает, кажется, в сердце мое и развевает в нем чувство радости. Какия места! какия места! Отъехав от Базеля версты две, я выскочил из кареты, упал на цветущий берег зеленого Реипа, [2] и готов был в восторге целовать землю.[2] Щастливые Швейцары! всякой ли день, всякой ли час благодарите вы Небо [3] за свое щастие, живучи [3] в объятиях прелестной Натуры, под благодетельными законами братского союза, в простоте нравов,[4] и служа одному Богу? Вся жизнь ваша есть конечно приятное сновидение,[4] и самая роковая стрела должна кротко влетать

* Сударыня!... Сударыня!... (*франц.*)

в грудь вашу,* не возмущаемую свирепыми[5] страстями! — Так, друзья мои! я думаю, что ужас смерти бывает следствием [6]нашего уклонения[6] от путей Природы. Думаю, и на сей раз уверен, что он не есть врожденное чувство нашего сердца. Ах! естьли бы теперь, в самую сию минуту, надлежало мне умереть, то я со слезою любви упал бы во[7] всеобъемлющее лоно Природы, с полным уверением, что она зовет меня к новому щастию; что изменение существа моего есть возвышение красоты, перемена изящного на лучшее. И всегда, милые друзья мои, всегда, когда я духом своим возвращаюсь в первоначальную простоту натуры человеческой — когда сердце мое отверзается впечатлениям красот Природы — чувствую я то же, и не нахожу в смерти ничего страшного. Высочайшая Благость не была бы высочайшею Благостию, естьли бы Она с которой нибудь стороны не усладила для нас всех необходимостей — и с сей-то услажденной стороны должны мы прикасаться к ним устами нашими! — Прости мне, мудрое[8] Провидение, естьли я когда нибудь как буйный младенец, проливая слезы досады, роптал на жребий человека! Теперь, погружаясь в чувство Твоей благости, лобызаю невидимую руку Твою, меня ведущую! —

Мы едем подле Реина, с ужасным шумом и волнением стремящегося между тихих лугов и садов виноградных. Тут мальчики и маленькия девочки играют, рвут цветы и бросают ими друг в друга; там покойный селянин, насвистывая веселую песню, поправляет в саду своем сошки, увитыя гибким виноградным стеблем — смотрит на проезжих, и ласковым мановением желает им доброго дня. — Высокия горы у нас перед глазами; но Альпы скрываются еще в лазури отдаления. Юра изгибает за нами хребет свой, отбрасывающий синюю тень на долины. — — Нет, я не могу писать; красоты, меня окружающия, отвлекают глаза мои от бумаги.

‹50›

Реинфельден, Австрийской городок.

И так я теперь во владении нашего Союзника! — Кучер наш кормит своих лошадей хлебом, а я сижу в трактире под окном,[1] и смотрю на Реин, которого пена чуть до меня не долетает.

---

* Читатель, может быть, вспомнит о стрелах Аполлоновых, которыя кротко умерщвляли смертных. Греки в мифах своих передали нам памятники нежного своего чувства. Что может быть в самом деле нежнее сего вымысла, приписывающего разрушение наше действию вечноюного Аполлона, в котором Древние воображали себе совершенство красоты и стройности?

‹51›

Брук.

Мы обедали в маленькой Швейцарской деревеньке, куда в одно время с нами приехала Француженка в печальном платье, с девятилетним сыном и с белкою. Печальное платье, бледное лице и томность в глазах, делали ее привлекательною для меня, а еще более для моего мягкосердечного Б*. «Я надеюсь, сударыня, что вы позволите нам вместе с вами обедать» — сказал он ей с таким видом и таким голосом, который для Датчанина был очень нежен. «Естьли это не будет вам противно» — отвечала Француженка с приятным движением головы. «Господин трактирщик!» закричал мой Б* повелительным голосом: «вы конечно не заставите нас жаловаться на худой обед?» *Увидите*, отвечал Швейцар с некоторою досадою, поправив на голове своей шапку. — «Швейцары добрые люди» — сказала Француженка с улыбкою, сев за накрытый стол — «только немного грубоваты.» Поставили кушанье: Б* резал, раздавал, и всячески старался услуживать Даме и сыну ея. Он не мог утерпеть, чтобы не спросить у нее, по ком носит она траур. «По брате, отвечала Француженка [1] со вздохом. Он[1] писал ко мне из Т* о своей болезни; я поехала к нему с маленьким своим Пьером, и — нашла его лежащего во [1a] гробе.» Тут обтерла она слезу, которая выкатилась из *правого* глаза [2] ея, как сказал бы Йорик.[2] — А в каких летах был ваш братец? спросил Б* и заставил меня от досады повернуться на стуле. — «Старее меня пятью годами» — отвечала она, и обтерла *другую* слезу, блиставшую на *нижней реснице левого глаза* ея. Господин Б*! сказал я: вы оскорбляете чувствительность Госпожи N. N. горестными воспоминаниями. Я этого не думал (отвечал он покрасневши), право не думал. Простите меня, сударыня! «Рана в сердце моем так еще свежа, сказала она, что кровь не переставала из нее литься.» — Маленькой Пьер бросил ложку, посмотрел на мать, встал, подбежал к ней, начал целовать ея руку, и между поцелуями взглядывал на нее так умильно, и говорил ей так нежно: *маменька, не плачьте! не плачьте, любезная маменька!* что я пошел в карман за белым платком, а Б* в восторге вскочил со стула, схватил руку [3] ея, которою обнимала она сына своего, и прижал ее к своим губам. В самую сию секунду вошел трактирщик. *Ба! что это?* сказал он [4] грубым голосом: [4] *я думал, что вы обедаете*. Никто не отвечал ему. Госпожа N. N. высвободила свою руку (на которой осталось розовое пятно), и томным взором наказала чувствительного Б* за нескромный жар его. Вели подать нам кофе, сказал я трактирщику; но он стоял как вкопанной, выпучив [5] глаза на Француженку, которой бледныя щеки, от внутреннего ея движения, покрылись алым румянцем. Между тем она указала маленькому Пьеру место его. Б* сел на свое, и мы принялись за десерт. Госпожа N. N. успокоилась, и рассказала нам, что она возвращается теперь к своему мужу, который родом Швейцар, но по торговым делам жил долгое время во Франции, и будучи в Т*, влюбился в нее, сыскал ея любовь, женился на ней и переехал жить в К*. Он очень щастлив, сударыня (сказал я), имея

такую супругу; но он конечно достоин своего щастия, потому что вы нашли его достойным любви вашей. — Тут кучер[6] объявил нам, что лошади впряжены. Надобно было расплатиться с трактирщиком и проститься с нежною Француженкою. Она позволила нам расцеловать своего Пьера, — из чего вышла опять чувствительная сцена, и вот каким образом. В самую ту минуту, как Б* обнимал маленького Пьера, резвая белка, прыгавшая по столу, вскочила ему на голову, и передними своими лапками так ласково ухватила его за нос, что он закричал. Госпожа N. N. ахнула; а трактирщик, стоявший у дверей, захохотал во все горло. Белку стащили с головы моего приятеля, и маленькой Пьер, вертя ее за хвост, кричал: *ах, белка! злая белка! на что ты схватила за нос Господина Б*?* Учтивый приятель мой уверял Госпожу N. N., что ему не приключилось в самом деле никакого вреда, кроме испуга. «Ах, государь мой! сказала она: я вижу кровь, я вижу кровь!»... и белым своим платком обтерла две красные капли на его переносице. «Ах, сударыня! отвечал Б*, будучи тронут до глубины сердца: как мне благодарить вас за вашу попечительность! Воспоминание об ней будет для меня всегда приятнейшим воспоминанием; и самой вашей белки я никогда не забуду.» Госпожа N. N. подарила ему трубочку Английского пластыря, желая, чтобы целительная сила его загладила преступление ея зверка.[7] Тут мы снова простились, получив от нее адрес ея, и записав ей наши имена. Маленькой Пьер проводил нас до кареты. Милая Француженка смотрела из окна,[8] когда мы садились. Простите, сударыня, простите! кричал ей Б*. Простите! отвечала она. Простите! кричал маленькой Пьер, кивая головою. — Мы поехали, и долго еще говорили о любезной Госпоже N. N., которая в воображении моего Б* затемнила образ молодой Госпожи из Ивердона. —

Проезжая через одну деревню, увидели мы великое стечение народа; велели кучеру остановиться, вышли из кареты и втерлись в толпу. Тут вязали одного молодого человека, который со слезами просил, чтобы его освободили. Что такое он сделал? спросили мы. «Он украл, украл два талера в лавке» — отвечали нам вдруг человека четыре: «у нас никогда не бывало воровства; это бродяга, пришедший из Германии; его надобно наказать.» — Однакожь он плачет, сказал я: добродушные Швейцары! пустите его! — «Нет, его надобно наказать, чтобы он перестал красть» — отвечали мне. По крайней мере, добродушные Швейцары, накажите его так, как отцы наказывают детей своих за их проступки, — сказал я, и пошел[9] к своей карете. — Может быть ни в какой земле, друзья мои, не бывает так мало преступлений, как в Швейцарии, а особливо воровства, которое считается[10] здесь за великое злодеяние. О разбоях и убивствах совсем не слышно; мир и тишина царствуют в щастливой Гельвеции. —

Спускаясь с высокой горы, которая висит над городом, мог я обнять глазами великое пространство; и все сие пространство усеяно щедротами Натуры.[11] Здесь мы ночуем; а завтра поутру будем в Цирихе.

‹52›

Цирих.

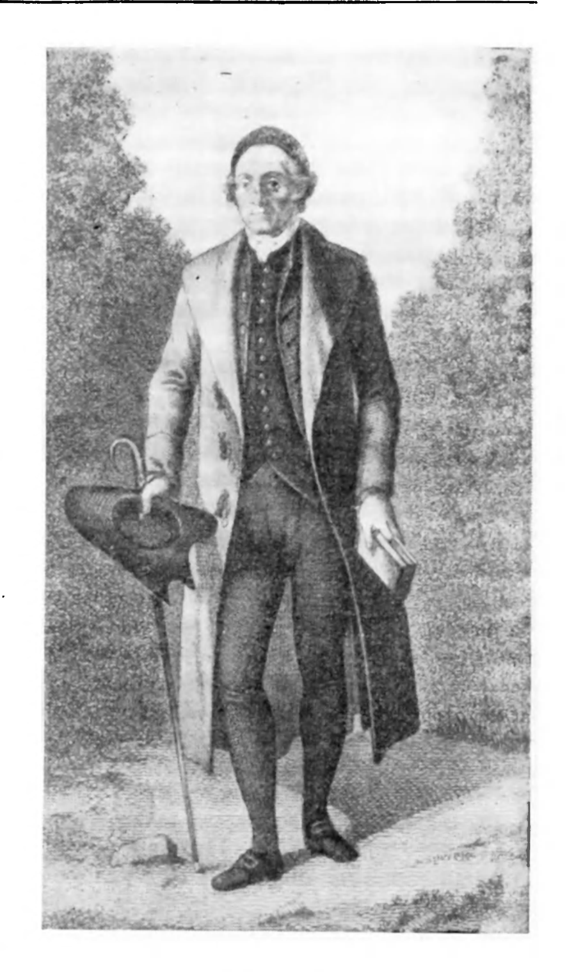
С отменным удовольствием подъезжал я к Цириху; с отменным удовольствием смотрел на его приятное местоположение, на ясное небо,[1] на веселыя окрестности, на светлое, зеркальное озеро, и на красные его берега, где нежный Геснер рвал цветы для украшения пастухов и пастушек своих; где душа бессмертного Клопштока наполнялась великими идеями о священной любви к отечеству, которыя после [2] с диким величием излились[2] в его *Германе*; где Бодмер собирал черты для картин своей Ноахиды, и питался духом времен Патриарших; где Виланд и Гете в сладостном упоении обнимались с Музами, и мечтали для потомства; где Фридрих Штолберг, сквозь туман двадцати девяти веков, видел в духе своем древнейшего из творцев Греческих, певца богов и Героев, седого старца Гомера, лаврами увенчанного, и песнями своими восхищающего Греческое юношество — видел, внимал, и в верном отзыве[3] повторял песни его на языке Тевтонов;* где наш Л* бродил с любовною своею грустию, и всякой цветочик со вздохом посвящал Веймарской своей богине. —

Мы приехали сюда в 10 часов утра. В трактире, под вывескою *Ворона*, отвели нам большую, светлую комнату. Обширное Цирихское озеро разливается у нас перед глазами, и почти под самыми нашими окнами[4] вытекает из него река Лиммата, которой шумное и быстрое стремление приятным образом отличается от тихой зыби вод его; прямо против нас, за озером, стоят высокия горы в утес; далее, в сторону, видны Швицкия, Унтервальденския и другия высочайшия и снегом покрытыя горы, составляющия для меня совершенно новое зрелище; и все это могу я видеть вдруг, сидя под окном[5] в своей комнате. — Нам принесли кушанье. После обеда пойду — нужно ли сказывать, к кому?

В 9 часов вечера. Вошедши в сени, я позвонил в колокольчик, и через минуту показался сухой, высокой, бледный человек, в котором мне не трудно было [6] узнать — Лафатера.[6] Он ввел меня в свой кабинет. Услышав, что я тот Москвитянин, который выманил у него несколько писем, [7] Лафатер поцеловался со мною[7] — поздравил меня с приездом в Цирих — сделал мне два или три вопроса о моем путешествии — [8] и сказал: «Приходите[8] ко мне в шесть часов; теперь я еще не кончил своего дела. Или останьтесь в моем кабинете, где можете читать и рассматривать, что вам угодно. Будьте здесь как дома.» — Тут он показал мне в своем шкапе несколько фолиантов, с надписью: *Физиогномический Кабинет*, и ушел. Я постоял, подумал, сел и начал разбирать физиогномические рисунки. Между тем признаюсь вам, друзья мои, что сделанный мне прием оставил во мне не совсем приятныя впечатления. Уже ли я надеялся, что со мною обойдутся дружелюбнее, и услышав мое имя, окажут более ласко-

* Т. е. Немцов. — Штолберг перевел Илиаду.

вого удивления? Но на чем же основывалась такая надежда? Друзья мои! не требуйте от меня ответа, или вы приведете меня в краску. Улыбнитесь про себя насчет ветреного, безрассудного самолюбия человеческого, и предайте забвению слабость вашего друга. — Лафатер раза три приходил опять в кабинет, запрещал мне вставать со стула, брал книгу или бумагу, и опять уходил назад. Наконец вошел [9] он с веселым видом, взял меня за руку и повел — в собрание Цирихских Ученых, к Профессору Брейтингеру, где рекомендовал меня хозяину и гостям, как своего приятеля. Небольшой человек с проницательным взором, — у которого Лафатер пожал руку сильнее, нежели у других, — обратил на себя мое внимание. Это был Пфенингер, издатель Християнского Магазина, и Лафатеров друг. При первом взгляде показалось мне, что он очень похож на С. И. Г., и хотя, рассматривая лице его по частям, увидел я, что глаза у него другие, лоб другой, и все, все другое; однакожь первое впечатление осталось, и мне никак не можно было разуверить себя в сем сходстве. Наконец я положил, что хотя и нет между ими сходства в наружной форме частей лица, однакожь оно должно быть во внутренней структуре мускулов!! Вы знаете, друзья мои, что я еще и в Москве любил заниматься рассматриванием лиц человеческих, искать сходства там, где другие его не находили, и проч. и проч. а теперь, будучи обвеян воздухом того города, который можно назвать колыбелию новой Физиогномики, Метопоскопии, Хиромантии, Подоскопии — теперь и вы бойтесь мне на глаза показаться! — Честные Швейцары курили табак и пили чай, а Лафатер рассказывал им о свидании своем с Неккером. Послушаем, что он говорит об нем. «Естьли бы хотел я вообразить совершенного Министра, то представил бы себе Неккера. Лице, голос и движения не изменяют у него



И. К. Лафатер.

сердцу. Вечное спокойствие есть его стихия. Однакожь он не рожден великим, так как Невтон, Вольтер, и проч. Великость его есть приобретение; он сделал из себя все возможное.» Лафатер видел его в самый тот час, как он решился повиноваться воле Короля и Национального Собрания, и посвятив[10] сердечный вздох спокойному пристанищу, ожидавшему его при подошве горы Юры,* возвратиться в бурный Париж. — Я был слушателем в беседе Цирихских Ученых, и к великому своему сожалению не понимал всего, что говорено было: потому что здесь говорят самым нечистым Немецким языком. Через час Лафатер взял шляпу, и я пошел с ним вместе. Он проводил меня до трактира, и простился со мною до завтрашнего дня.

Вы конечно не потребуете от меня, чтобы я в самый первый день личного моего знакомства с Лафатером описал вам душу и сердце его. На сей раз могу сказать единственно то,[13а] что он имеет весьма почтенную наружность: прямой и стройный стан, гордую осанку, продолговатое бледное лице, острые[14] глаза и важную мину. Все его движения живы и скоры; всякое слово говорит он с жаром.[15] В тоне его есть нечто учительское или повелительное, происшедшее конечно от навыка[16] говорить проповеди, но смягчаемое видом непритворной искренности и чистосердечия. Я не мог *свободно* говорить с ним, первое потому, что он, казалось, взором своим заставлял меня говорить как можно скорее; а второе потому, что я беспрестанно боялся не понять его, не привыкнув к Цирихскому выговору.[17]

Пришедши в свою комнату, почувствовал я великую грусть; и чтобы не дать ей усилиться в моем сердце, сел[18] писать к вам, любезные, милые друзья мои! Для того, чтобы узнать всю привязанность нашу к отечеству, надобно из него выехать; чтобы узнать всю любовь нашу к друзьям, надобно с ними расстаться.[19]

Какая приятная, тихая мелодия нежно потрясает нервы моего слуха! Я слышу пение; оно несется из окон соседнего дома. Это голос юноши — и вот слова песни:

«Отечество мое! любовию к тебе горит вся кровь моя; для пользы твоея готов ее пролить; умру твоим нежнейшим сыном.

---

* Где он теперь провождает тихие дни свои; но может ли единообразная, непрерывная, праздная тишина быть щастием для того, кто привык уже к деятельной жизни государственного человека? Сия жизнь, при всех своих беспокойствах, имеет в себе нечто весьма приятное, и Неккер, при шуме горных ветров, потрясающих уединенное жилище его, томится в унынии. Размышляя[11] о протекших часах, посвященных им благу Французов, он внутренно укоряет сей народ неблагодарностию, и взывает с Царем Леаром:[12] Blow winds, rage, blow! I tax not you, you elements, with unkindness; I called not you my children; I never gave you kingdom! («Шумите, свирепые ветры, шумите! я не жалуюсь на свирепость вашу, раздраженные стихии! вы не дети мои; вам не отдавал я царства.») Читая сие место в новой книге его, sur l'Administration de M. Nekker, par lui-même ‹«О правлении г. Неккера, им самим описанном». — *франц.*›,[13] я готов был заплакать.[13] Французы! вы кричали некогда: «да здравствует Нация, Король и Неккер!» а теперь кто из вас думает о Неккере?

Отечество мое! ты все в себе вмещаешь, чем смертный может наслаждаться в невинности своей. В тебе прекрасен вид Природы; в тебе целителен и ясен воздух; в тебе земныя блага рекою полною лиются.

Отечество мое! любовию к тебе горит вся кровь моя; для пользы твоея готов ее пролить; умру твоим нежнейшим сыном.

Мы все живем в союзе братском; друг друга любим, не боимся, и чтим того, кто добр и мудр. Не знаем роскоши, которая свободных в рабов, в тиранов превращает. На что нам блеск искусства, когда Природа здесь сияет во всей своей красе — когда мы из грудей ея пием блаженство и восторг?

Отечество мое! любовию к тебе горит вся кровь моя; для пользы твоея готов ее пролить; умру твоим нежнейшим сыном.»

Голос умолк; тишина ночи царствует в городе. Простите, друзья мои!

‹53›

11 Августа, в 10 часов вечера.

Пришедши в 11 часов к Лафатеру, нашел я у него в кабинете жену владетельного Графа Штолберга, которая читала про себя какой-то манускрипт, между тем как хозяин (NB. в пестром своем шлафроке) писал письма. Через полчаса комната его наполнилась гостями. Всякой чужестранец, приезжающий в Цирих, считает[1] за должность быть у Лафатера. Сии посещения могли бы иному наскучить; но Лафатер сказал мне, что он любит видеть новых людей, и что от всякого приезжего можно чему нибудь научиться. Он повел нас к своей жене, где пробыли мы с час[2] — поговорили о Французской революции, и разошлись. После обеда я опять пришел к нему, и нашел его опять занятого делом. К тому же всякую четверть часа кто нибудь входил к нему в кабинет, или требовать совета, или просить милостыни. Всякому отвечал он без сердца, и давал, что мог. Между тем я познакомился с живописцом Липсом, который не давно приехал из Италии, и живет у него в доме. К нам пришел еще Пфенингер, с которого Липс начал списывать портрет, и с которым мы проговорили[3] до самого вечера; а хозяин ушел от нас в четыре часа, и не возвращался.

О городе скажу вам, что он не прельщает глаз, и кроме публичных зданий, на прим. ратуши[4] и проч., не заметил я очень хороших или огромных домов; а многия улицы или переулки не будут [5] ни в сажень шириною.[5]

В здешнем арсенале показывают стрелу, которою славный Вильгельм Тель сшиб яблоко с головы своего сына и застрелил Императорского Губернатора Гейслера, — что было знаком к общему бунту. — В публичной Цирихской библиотеке между прочими манускриптами хранятся три Латинския письма от шестнадцатилетней Анны Гре к Реформатору Буллингеру, писанныя собственною ея рукою, и наполненныя чувствами сердечного благочестия. Разныя места, приведенныя ею в сих письмах из Ев-

рейских и Греческих книг, показывают, что она знала и тот и другой язык. Такая ученость в шестнадцатилетней девице могла бы и ныне удивить нас: что же тогда? Нещастная Гре! ты была украшением своего времени, и скончала цветущую жизнь[6] столь ужасным образом! Трон был тебе погибелью.

‹54›

Августа 12.

Ныне рано поутру прислал за мною Лафатер, чтобы вместе с ним и с некоторыми из друзей его итти обедать к деревенскому Священнику Т*. Это путешествие утомило меня до крайности. Надобно было всходить по камням на высокую и крутую гору. Некоторые из наших сопутников, для облегчения своего, скинули с себя кафтаны, и шли в одних камзолах. На вершине горы мы остановились отдохнуть и полюбоваться прекрасными видами, которые наградили меня за все претерпенное мною. «Удивительно ли (сказал мне Г. Гес, указывая рукою на светлое озеро, на горы и плодоносныя долины), удивительно ли, что Швейцары так привязаны к своему отечеству? Смотрите, сколько красот здесь рассеяно!» — На узкой долине между гор, в семи верстах от Цириха, лежит та маленькая деревенька, которая была целию нашего путешествия. Там принял нас добродушный Священник со всеми знаками дружелюбия. Вместе с ним вышли к нам на встречу жена его и две дочери, которыя всякому живописцу могли бы служить образцем красоты, и которыя напомнили мне Томсоновы стихи:

As in the hollow breast of Appenine,
Beneath the shelter of encircling hills,
A myrtle rises, far from human eye,
And breathes its balmy fragrance o'er the wild:
So flourish'd blooming, and unseen by all,
The sweet Lavinia.* — —

Сестры прелестницы! я хотел бы щастливою чертою пера изобразить красоту вашу, которую сама Натура возлелеяла; хотел бы сравнять белорумяныя щеки ваши с чистым снегом высоких гор, когда восходящее солнце [1] сыплет на него алыя розы;[1] хотел бы уподобить улыбку вашу улыбке весенней Природы, глаза ваши звездам вечерним — но скромность ваших взоров отнимает у меня смелость хвалить вас. — Никогда еще не видывал я двух женщин, столь между собою сходных, как сии две красавицы. Кажется, что Грации образовали их в одно время и по одной мо-

---

* «Подобно как в лоне гор Аппенинских, под кровом холмов, восходит мирт, удаленный от глаз человеческих, и бальзамическое свое [1] благоухание разливает [1] в пустыне: так цвела в уединении любезная Лавиния».

дели. Рост одинакой, лица одинакия; у обеих черные глаза и русые волосы, по плечам распущенные; на обеих и белыя платья одинакого покроя.*[2] «Я привел к вам Руского (сказал Лафатер), который знаком с вашею родственницею, девицею Т*.» Хозяйка меня расспрашивала, а дочери слушали, наливая чай для гостей своих. Признаюсь, я выпил лишнюю чашку, и выпил бы еще десять, естьли бы красавицы не перестали меня подчивать. — Между тем я обратил глаза свои на большой шкап с книгами, и нашел тут почти всех лучших древних и новых Стихотворцев. Вы конечно любите Поэзию? спросил я у хозяина. *Родясь в романической земле*, отвечал он, *как не любить Поэзии*? Между тем мы отдохнули, и пошли гулять по саду. Со всех сторон представлялись нам дикие виды гор, полагавших тесные пределы нашему зрению. — Естьли мне когда нибудь наскучит свет; естьли сердце мое когда нибудь умрет всем радостям общежития; естьли уже не будет для него ни одного сочувствующего сердца: то я удалюсь в эту пустыню, которую сама Натура оградила высокими стенами, неприступными для пороков, — и где все, все забыть можно, все, кроме Бога и Натуры. — Возвратясь в комнату, нашли мы на столе кушанье. Обед был самый изобильный; говорили, шутили, смеялись. Лафатер, сидевший рядом со мною, сказал, потрепав меня по плечу: *думал ли я дни за три перед этим, что буду ныне обедать с моим Московским приятелем*? После обеда началась игра — однакожь не карточная, друзья мои! Все сели вокруг стола; всякой взял листочик бумаги и написал вопрос, какой ему на мысль пришел. Потом бумажки смешали и роздали. Всякой должен был отвечать на тот вопрос, который ему достался, и написать новый. Таким образом продолжались вопросы и ответы, пока на листочках не осталось белого места. Тут прочли в слух все написанное. Некоторые ответы были довольно остроумны; а Лафатеровы отличались от других, как луна от звезд. Сестры прелестницы отвечали всегда просто и хорошо. Вот вам нечто для примера. Вопрос: *Кто есть истинный благодетель*? Ответ: *Тот, кто помогает ближнему в* настоящей *его нужде*. Сей ответ, при всей своей простоте, заключает в себе разительную истину. Давай всякому то, в чем он на *сей раз* имеет нужду; не читай нравоучений тому человеку, который умирает с голоду, а дай ему кусок хлеба; не бросай рубля тому, кто утопает, а вытащи его из воды. — Вопрос: *Нужна ли жизнь такого-то человека для совершения такого-то дела*? Ответ: *Нужна, естьли он жив останется; не нужна, естьли он умрет.* — Вопрос: *Что всего лучше в том месте, где мы теперь*? Ответ: *Люди*. Потом из нескольких[3] заданных слов, между которыми не было никакой связи, надлежало всякому сочинить что нибудь связное. Тут выходило все смешное. — Желал бы я, чтобы мы переняли у Немцов сии острящия разум игры, которыя могут быть столь забавны в приятельских обществах.**[4]

---

* Одной из них нет уже на свете! Горы Швейцарския! вы не защитили ее от безвременной, жестокой смерти!

** Желание Автора исполнилось: некоторые из наших Дам полюбили играть в вопросы и ответы.

Наконец, поблагодарив хозяина за угощение, отправились мы назад в Цирих. Добродушный Священник с двумя своими Ореадами пошел нас провожать; красавицы очень устали, и я насилу мог упросить одну из них взять мою трость. На вершине горы мы с ними расстались, и возвратились в город почти ночью. Я простился с Лафатером на два дни, потому что [5] намерен завтра [5] вместе с приятелем моим Б* итти пешком в Шафгаузен, до которого считается отсюда пять миль.

‹55›

Эглизау, Августа 14.[1]

Вчера в восемь часов утра [2] пошли мы с Б* из Цириха. Сперва шел я довольно бодро; но скоро силы мои начали истощаться — день был самый ясный — жар беспрестанно усиливался — и наконец, прошедши мили две, я от слабости упал на траву подле дороги, к великой досаде моего Б*, которому хотелось как можно скорее дойти до Реинского водопада. Из трактира вынесли нам воды и вина, которое подкрепило силы мои; и мы чрез час опять пустились в путь. Однакожь до Шафгаузена я еще раза три останавливался отдыхать. Наконец, в семь часов вечера, услышали мы шум Реина, удвоили шаги свои, пришли на край высокого берега, и увидели водопад. Не думаете ли вы, что мы при сем виде закричали, изумились, пришли в восторг, и проч.? Нет, друзья мои! мы стояли очень тихо и смирно, минут с пять не говорили ни слова, и боялись взглянуть друг на друга. Наконец я осмелился спросить у моего товарища, что он думает о сем явлении? «Я думаю, отвечал Б*, что оно — слишком — слишком возвеличено путешественниками.» Мы одно думаем, сказал я: река, с пеною и шумом ниспадающая с камней, конечно стоит того, чтобы взглянуть на нее; однакожь где тот громозвучный, ужасный водопад, который вселяет трепет в сердце? — Таким образом мы поговорили друг с другом, и боясь, чтобы в Шафгаузене не заперли ворот, отложили до следующего дня посмотреть на водопад вблизи. Насилу мог я дотащиться до города: так ноги мои устали! Мы пришли прямо в трактир *Венца,* где обыкновенно останавливаются путешественники, и где — не смотря на то, что мы были пешеходцы и с головы до ног покрыты пылью — приняли нас очень учтиво. Сей трактир почитается одним из лучших в Швейцарии, и существует более двух веков. Монтань упоминает об нем, и притом с великою похвалою, в описании своего путешествия; а Монтань был в Шафгаузене в 1581 году.[3] — После хорошего ужина бросился я на постелю и заснул мертвым сном. На другой день поутру, т. е. сегодни был я у Кандидата Миллера, Автора хорошо принятой книги, под титулом Philosophische Aufsätze,* и у богатого купца Гауппа, к которым дал мне Лафатер рекоммендательныя письма. Оба они приняли

---

* «Философские сочинения» (*нем.*)

меня очень ласково, и оба удивлялись тому, что падение Реина не сделало во мне сильного впечатления; но услышав, что мы видели его с горы, со [4] стороны Цириха, перестали дивиться, и уверяли меня, что я конечно переменю свое мнение, когда посмотрю на него с другой стороны, и вблизи. — О городе не могу вам сказать ничего примечания достойного, друзья мои. Не буду описывать вам и славного деревянного моста, построенного [5] не Архитектором, но плотником;[5] моста, который дрожит под ногами одного человека, и по которому без всякой опасности ездят самыя тяжелыя кареты и фуры.[6]

После обеда поехали мы в наемной коляске к водопаду, до которого от города будет около двух верст. Приехав туда, сошли с горы и сели в лодку. Стремление воды было очень быстро. Лодка наша страшно качалась; и чем ближе подъезжали мы к другому берегу, тем яростнее мчались волны. Один порыв ветра мог бы погрузить нас в кипящей быстрине. Пристав к берегу, с великим трудом взлезли мы на высокой утес, потом опять спустились ниже, и вошли в галлерею, построенную, так сказать, в самом водопаде. Теперь, друзья мои, представьте себе большую реку, которая, преодолевая в течении своем все препоны, полагаемыя ей огромными камнями, мчится с ужасною яростию, и наконец, достигнув до высочайшей гранитной преграды, и не находя себе пути под сею твердою стеною, с неописанным шумом и ревом свергается вниз, и в падении своем превращается в белую, кипящую пену. Тончайшие брызги разновидных волн, с беспримерною скоростию летящих одна за другою, мириадами подымаются вверх, и составляют млечныя облака влажной, для глаз непроницаемой пыли. Доски, на которых мы стояли, тряслись беспрестанно. Я весь облит был водяными частицами, молчал, смотрел и слушал разные звуки ниспадающих волн: ревущий концерт, оглушающий душу! [7] Феномен действительно величественный! Воображение мое одушевляло хладную стихию: давало ей чувство и голос: она вещала мне о чем-то неизглаголанном! Я наслаждался — и готов был на коленях извиняться перед Реином в том, что вчера говорил я о падении его с таким неуважением.[7] Долее часа стояли [8] мы в сей галлерее; но это время показалось мне минутою. Переезжая опять через Реин, увидели мы бесчисленныя радуги, производимыя солнечными лучами [9] в водяной пыли: [9] что составляет прекрасное, великолепное зрелище. После сильных движений, бывших в душе моей, мне нужно было отдохнуть. Я сел на Цирихском берегу, и спокойно рассматривал картину водопада с его окрестностями. Каменная стена, с которой низвергается Реин, вышиною будет около семидесяти пяти футов. В средине сего падения возвышаются две скалы, или два огромные камня, из которых один, не смотря на усилие волн, стремящихся сокрушить его, [10] стоит непоколебим — (подобно великому мужу, скажет Стихотворец, непреклонному среди бедствий,[10] и щитом душевной твердости отражающему все удары злого рока) — а другой камень едва держится на своем основании, будучи разрушаем водою. На противоположном крутом берегу представлялись мне старый замок Лауфен, церковь, хижины, виноградные сады и дерева: [11] все сие вместе [11] составляло весьма приятный ландшафт.[12]

Наконец, отпустив коляску назад в Шафгаузен, наняли мы лодку и поплыли вниз по Реину. Несколько раз обращались глаза мои на водопад; он скрылся — но шум его долго еще отзывался в моем слухе. — Лодошник почел за нужное сказать нам, что в Америке есть подобный водопад. Он не умел назвать его; но мы поняли, что он говорит о Ниагаре.

‹56›

Эглизау.

Шумящия волны быстро несли нашу лодку между плодоносных берегов Реина. День склонялся к вечеру. Я был так доволен, так весел; качание лодки приводило кровь мою в такое приятное волнение; солнце так великолепно сияло на нас сквозь зеленыя решетки ветьвистых дерев, которыя в разных местах увенчевают высокой берег; жаркое золото лучей его так прекрасно мешалось с чистым серебром Реинской пены; уединенныя хижины так гордо возвышались среди виноградных садиков, которые составляют богатство мирных семейств, живущих в простоте Натуры — ах, друзья мои! для чего не было вас со мною?

В Эглизау, маленьком городке, на половине дороги от Шафгаузена к Цириху, вышли мы на берег, заплатив лодошнику новый Французской талер, или два рубли. Хотя солнце уже садится, однакожь мы не намерены здесь ночевать. Выпив в трактире чашек пять кофе, я чувствую в себе такую бодрость, что готов пуститься пешком на десять миль. Товарищ мой Б*, который с кортиком и с собакою прошел всю Германию, совсем не знает усталости[1] — всегда уходит вперед,[1] оборачивается и смеется над моею дряхлостию. До Цириха остается нам перейти еще более двух миль. Завтра Воскресенье, и Лафатер поутру в семь или в восемь часов будет говорить проповедь в церкви Св. Петра; мне хочется притти туда к сему времени. — Б* подает мне посох и шляпу. Простите!

Корчма.[2]

Лишь только вышли мы из Эглизау, солнце закатилось; серыя облака покрыли небо; вечер становился час от часу темнее, и скоро наступила самая мрачная ночь. Нам надобно было итти лесом, в котором царствовала мертвая тишина. Мы останавливались и слушали — но ни один листочик на дереве не шевелился. Я громко произнес имя Сильвана, эхо повторило его, и опять все умолкло. Мне казалось, что я приближаюсь

к святилищу уединенного бога лесов, и вижу его вдали стоящего с кипарисною ветьвию. Сердце мое чувствовало вместе и страх и тихое, неизъяснимое удовольствие. Таким образом шли мы около двух часов, не встретясь ни с одним человеком. Тут повеял сильный, холодный ветер, и Б* признался мне, что он желал бы скорее дойти до какой нибудь деревни или до трактира, где бы нам можно было ночевать. Я и сам желал того же:[3] летний мой кафтан худо защищал меня от холодного ветра. Наконец мы пришли в маленькую деревеньку, где уже все спали; только в одном доме светился огонь, и сей дом был трактир. С видом удивления посмотрел на нас трактирщик, покачал головою, и сказав: *в темную ночь бродить пешком не прилично таким господам*! отворил нам дверь. Мы вошли в большую горницу, в которой не было ничего, кроме пяти или шести столов и дюжины деревянных стульев. Прежде всего заговорили мы об ужине. Тотчас все будет готово, сказал трактирщик, и принес нам сыру, масла, хлеба и бутылку кислого вина. Что же еще будет? спросили мы. Ничего, отвечал он. Делать было не чего, и пожав плечами, принялись мы за ужин. [4] Потом хозяин проводил нас [4] в спальню, то есть на чердак, в маленькой чулан, где мы нашли постелю, очень не мягкую и не чистую;[5] однакожь усталость принудила нас искать на ней успокоения. Через два часа я проснулся, взял свечу, сошел вниз, в ту горницу, где мы ужинали, и сел написать к вам несколько строк, друзья мои! Между тем товарищ мой спит очень покойно. Однакожь я намерен теперь разбудить его, чтобы, напившись кофе, итти в Цирих. Ветер утих, и небо прояснилось; скоро будет светать.

‹57›

Цирих.

В половине девятого часа пришли мы в Цирих, в самое то время, когда весь народ шел из церкви; и таким образом в сие Воскресенье не удалось мне слышать Лафатеровой проповеди. Все мущины и женщины, которыя мне встречались на улицах, были одеты по праздничному: первые [1] большею частию [1] в темных кафтанах, а последния, все без исключения, в черном длинном платье из шерстяной материи; на головах у них были или чепчики или покрывала. Праздничное платье Цирихских Сенаторов состоит в черном суконном кафтане, с черною шелковою епанчею и с превеликим белым крагеном. В таком наряде ходят [2] они обыкновенно в Совет и в церковь по Воскресеньям.[3]

Ныне после обеда принял меня Лафатер очень ласково, и наговорил мне довольно приятного. Ему хочется, чтобы я выдал на Руском языке извлечение из его сочинений. «Когда вы возвратитесь в Москву, сказал он, я буду пересылать к вам через почту рукописный оригинал. Вы можете собрать подписку, и уверить Публику, что в извлечении моем не

8*

будет ни одного необдуманного слова.» Что вы об этом скажете, друзья мои? Найдутся ли у нас читатели для такой книги? По крайней мере сомневаюсь, чтоб их нашлось много. Однакожь я принял Лафатерово предложение, и мы ударили с ним по рукам. — От него ходил я на Цирихское загородное гульбище, большой прекрасный луг, на берегу[4] реки Лимматы, осеняемый[5] старыми, почтенными липами. Тут нашел я очень много людей, которые все кла́нялись мне как знакомому. Таков обычай в Цирихе: всякой встречающийся на улице человек говорит вам: *добрый день*, или *добрый вечер!* — Учтивость хороша; однакожь рука устанет снимать шляпу — и я решился наконец ходить по городу с открытою головою. В девятом часу возвратился я к Лафатеру, и ужинал у него с некоторыми из его приятелей и со всем его семейством, кроме сына, который теперь в Лондоне. Большая Лафатерова дочь не хороша лицем, а меньшая очень приятна и резва; первой будет около двадцати, а последней около двенадцати лет. Хозяин наш был весел и говорлив; шутил, и шутил забавно. Между прочим зашла речь об одном из его известных неприятелей — я обратил на Лафатера все свое внимание — но он молчал, и на лице его не видно было никакой перемены. Едва ли справедливо будет требовать от него, чтобы он хвалил тех, которые бранят его так жестоко; довольно, естьли он не платит им такою же бранью. Пфеннингер сказывал мне, что Лафатер давно уже поставил себе за правило не читать тех сочинений, в которых об нем пишут; и таким образом ни хвала, ни хула до него не доходит. Я считаю это знаком редкой душевной твердости; и человек, который, поступая согласно[6] с своею совестию, не смотрит на то, что думают об нем другие люди, есть для меня великой человек. Между тем, друзья мои, желаю вам покойной ночи.

Ныне поутру пил я кофе у Господина Т*, отца известной вам девицы Т*, и познакомился со всем его семейством, довольно многочисленным. Удивляюсь, как отец и мать могли отпустить дочь свою в такую отдаленную землю! Состояние их (сколько я видел и слышал) очень не бедно — да и много ли надобно для содержания одной дочери! К тому же Швейцары так страстно любят свое отечество, что почитают за великое нещастие надолго оставлять его. — Вместе с Господином Т* ходили мы смотреть ученья Цирихской милиции. Почти все жители были зрителями сего спектакля, для них редкого. Тут случилось со мною нечто [7]смешное и — неприятное.[7] Г. Профессор Брейтингер, с которым я еще не видался по возвращении своем из Шафгаузена, встретился мне в толпе народа, когда уже кончилось ученье, и после первого приветствия спросил, каково показалось мне *виденное* мною? Я думал, что он говорит о падении Реина; воображение мое тотчас представило мне эту величественную сцену — земля затряслась подо мною — все вокруг меня зашумело — и я с жаром сказал ему: *ах! кто может описать великолепие такого*[8] *явления? Надобно только видеть и удивляться.* «Это были наши волонтеры» — отвечал мне Господин Профессор, и с поклоном ушел от меня. Тут я понял, что он спрашивал меня не о падении Реина, а об ученьи Цирих-

ских солдат: каковым же показался ему ответ мой? Признаться, я досадовал и на себя и на него, и хотел-было бежать за ним, чтобы вывести его из заблуждения, столь оскорбительного для моего самолюбия; но между тем он уже скрылся.[9]

Я более и более удивляюсь Лафатеру, любезные друзья мои. Вообразите, что он часа свободного не имеет, и дверь кабинета его почти никогда не затворяется; когда уйдет нищий, придет печальный, требующий утешения, или путешественник, не требующий ничего, но отвлекающий его от дела. Сверх того посещает он больных, не только живущих в его приходе, но и других. Ныне в семь часов, отправив [10] на почту несколько писем, схватил он шляпу, побежал [11] из комнаты, и сказал [12] мне, что я могу итти с ним вместе. Посмотрим, куда, — думал [13] я, и пошел за ним из улицы в улицу,[14] и наконец совсем вон из города, в маленькую деревеньку, и на крестьянской двор. — *Жива ли она?* — спросил он у пожилой женщины, которая встретила нас в сенях. *Чуть душа держится,* отвечала она со слезами, и отворила нам дверь в горницу, где увидел я старую, иссохшую и бледную женщину, лежащую на постеле. Два мальчика и две девочки стояли подле постели и плакали; но увидев Лафатера, бросились к нему, схватили его за обе руки и начали целовать их. Он подошел к больной, и ласковым голосом спросил у нее, какова она? — *Умираю — умираю,* отвечала старушка, и более не могла сказать ни слова, устремив глаза на грудь свою, которая страшным образом вверх подымалась. Лафатер сел подле нее,[15] и начал приготовлять ее к смерти. «Час твой приближился, сказал он, и Спаситель наш ожидает тебя. Не страшись гроба и могилы;[16] не ты, но только бренное тело твое в них заключится. В самую ту минуту, когда глаза твои закроются навеки для здешнего мира, воссияет тебе заря вечной и лучшей жизни. Благодаря Бога, ты дожила здесь до глубокой старости, — видела возростших детей и внучат своих, возростших [17] в добронравии и благочестии.[17] Они будут всегда благословлять память твою, и наконец с лицем светлым обнимут тебя в жилище блаженных. Там, там составим мы все одно щастливое семейство!» — При сих словах прервался [18] Лафатеров голос; он утерся белым платком, и прочитав [19] молитву, благословил умирающую, простился с нею — поцеловал маленьких детей — сказал, чтобы они не плакали, и дав им по нескольку копеек, ушел. Мне было очень тяжело, однакожь слезы не хотели литься из глаз моих; насилу мог я свободно вздохнуть на чистом вечернем воздухе.[20]

Где вы берете столько сил и столько терпения? сказал я Лафатеру, удивляясь его деятельности. «Друг мой! отвечал он с улыбкою: человек может делать много, естьли захочет; и чем более он действует, тем более находит в себе силы и охоты к действию.»

Не думаете ли вы, друзья мои, что Лафатер, помощник бедных, очень богат? Нет, доходы его весьма не велики. Но он продает многия из своих сочинений, и печатныя и письменныя, в пользу неимущих братий; и собирая таким образом изрядную сумму денег, раздает ее просящим. Я купил у него два манускрипта: *сто тайных физиогномических правил* (в заглавии которых написано: Lache des Elends nicht, und der Mittel das

Elend zu lindern) * и *памятник для любезных странников*; ** за последнюю рукопись он не взял с меня денег, а велел мне отдать их одному бедному Французу, который пришел к нему просить милостыни.[22]

Я имел удовольствие познакомиться сегодни с человеком весьма любезным — с Архидиаконом Тоблером, который мне известен был по своим сочинениям, а особливо по переводу Томсоновых времен года, изданному покойным Геснером, другом его. Он пришел ко мне ныне поутру с Господином Т*, и прельстил меня простотою своего обхождения. Вместе с ним и с двумя сестрами девицы Т* поехали мы в большой лодке гулять по озеру. Не льзя было выбрать лучшего дня: на небе не показывалось ни одного облачка и вода едва, едва струилась. На том и на другом берегу озера видны [23]хорошо-выстроенныя[23] деревни, сельские домики богатых Цирихских граждан, [24]и виноградные сады, которые простираются беспрерывно.[24] Ровно за сорок лет перед сим, любезные друзья мои, бессмертный Клопшток — с молодыми своими друзьями и с любезнейшими из Цирихских молодых девиц — катался по озеру. «Я как теперь смотрю на Клопштока (сказал Г. Тоблер). На нем был красный кафтан. В тот день отменно нравилась ему девица Шинц. Виртмиллер сделал из ея перчатки кокарду для Клопштоковой шляпы. Божественный певец Мессиады разливал радость вокруг себя.» Сию эфирную радость — радость, какую могут только чувствовать великия души — воспел Клопшток в прекрасной оде своей Züricher-See,*** которая осталась вечным памятником пребывания его в здешних местах — пребывания, лаврами и миртами увенчанного. Г. Тоблер — говоря о том, [25]как уважен был здесь певец Мессиады[25] — сказывал мне между прочим, что однажды из Кантона Гларуса пришли в Цирих две молодыя пастушки, единственно затем, чтобы видеть Клопштока. Одна из них взяла его за руку и сказала: Ach! wenn ich in der Clarissa lese und im Messias, so bin ich ausser mir! (*ах! читая Клариссу и Мессиаду, я вне себя бываю!*) Друзья мои! вообразите, что в эту райскую минуту чувствовало сердце Песнопевца! — Разговаривая таким образом с почтенным Архидиаконом, не видал я, как мы отплыли от города две мили или около пятнадцати верст. Тут надлежало нам вытти на берег близь небольшой деревеньки, в которой Г. Тоблер родился, и где отец его был Священником. Все крестьянские домики в сей деревне имеют очень хороший вид, [26]и подле всякого[26] есть садик, с плодовитыми деревьями и с грядами, на которых

---

* Не смейся над нуждой и средствами ее облегчения (*нем.*)

** Лафатер в печатном своем Физиогномическом сочинении бережется показывать в лицах[21] те черты, которыя означают худое: в сем письменном (которое, по его словам, никогда не должно быть напечатано) говорит он вольнее. — Памятник для путешественников есть для меня одно из лучших его творений; он напечатан в Hand-Bibliothek für Freunde ‹«Справочной библиотеке для друзей» — *нем.*›

*** «Цюрихское озеро» (*нем.*)

растут благовонные цветы и поваренные травы. Во внутренности домов все чисто.[27] Тут видел я семейный крестьянский обед. Когда все собрались к столу, хозяйка прочитала вслух молитву; после чего сели[28] вокруг стола — муж подле жены, брат подле сестры — и принялись за суп, а потом за сыр и масло. Обед заключен был также молитвою: при чем мущины стояли без шляп, которых они впрочем почти никогда с головы не снимают. Даже и городские жители не редко обедают в шляпах, — что почитается у них знаком[29] свободы и независимости.

Мы обедали в сельском трактире, и ели очень вкусную рыбу, ловимую в Цирихском озере. Говорят, будто в Швейцарии вообще больше едят, нежели в других землях, и приписывают это[30] действию здешнего острого воздуха. Что принадлежит до меня, то хотя обедаю[31] и ужинаю в Швейцарии с добрым аппетитом, однакожь не могу назвать его чрезмерным или отменным. После обеда переехали мы на другую сторону озера, где встретил нас свойственник Господина Т*, живущий почти на самом берегу в большом доме. Он показывал нам свое хозяйство, своих коров, своих лошадей и большой плодовитый сад. Когда[32] мы пришли к нему в дом, [33]он подчивал[33] нас прекрасными абрикосами и хорошим красным вином, не купленным, а домашним; между тем дочь его играла приятно на клавесине. Часов в семь поплыли мы назад в Цирих, и я имел удовольствие видеть снежныя горы, позлащаемыя заходящим солнцем, и наконец помраченныя густыми тенями вечера. Огни городские представляли нам вдали прекрасную иллюминацию, и мы вышли на берег в исходе десятого часа. Мне оставалось только благодарить Архидиакона Тоблера, Господина Т* и дочерей его за все те удовольствия, которыми я наслаждался сегодни в их обществе. — —

В Цирихе есть так называемая *девичья школа* (Töchter-Schule), которая достойна внимания всех, приезжающих в сей город. В ней безденежно учатся 60 молодых девушек (от двенадцати до шестнадцати лет) читать, писать, арифметике, правилам нравственности[34] и экономии: то есть, приготовляются быть хорошими хозяйками, супругами и матерьми. Приятно видеть вместе столько [35]молодых, опрятно и чисто одетых красавиц, которыя занимаются[35] своим делом в тишине и с великою прилежностию, под надзиранием [36]благонравных учительниц, обходящихся с ними кротко и ласково.[36] Тут дочь богатейшего Цирихского гражданина сидит подле дочери бедного соседа своего, и научается уважать[37] достоинство, а не богатство. — Сия благодетельная школа учреждена в 1774 году Гм. Профессором Устери, который, к общему сожалению своих сограждан, умер в начале нынешнего лета.[38]

Может быть ни в каком другом Европейском городе не найдете вы, друзья мои, таких неиспорченных нравов и такого благочестия, как в Цирихе. Здесь-то еще строго наблюдаются законы супружеской верности — и жена, которая осмелилась бы явно нарушить их, сделалась бы предметом общего презрения.[39] Здесь мать почитает воспитание детей главным

своим упражнением; а как и самые богатые из Цирихских жителей не держат более одной служанки, то всякая хозяйка находит для себя много дела в домашней жизни, не угнетается праздностию, матерью многих пороков, и редко ходит в гости. Театр, балы, маскарады, клубы, великолепные обеды и ужины! вы здесь неизвестны. Иногда сходятся две, три, четыре приятельницы — разговаривают дружески — вместе работают, или читают Геснера, Клопштока, Томсона и других Писателей и Поэтов, которые не приводят целомудрия в краску. Редко бывают оне вместе с посторонними мущинами, а при чужестранцах стыдятся говорить, думая, что Цирихской выговор противен их ушам. Все оне одеваются просто, не думая о Французских модах, и совсем не употребляют румян. — Мущины отправляют по утру дела свои: купец идет в контору или в лавку, Ученый садится читать или писать, художник берется за свою работу, и так далее. В полдень обедают, а ввечеру прогуливаются, или в приятельских беседах курят табак, пьют чай и кофе — купцы говорят о торговых, Ученые об ученых делах, и таким образом проводят время. Не знаю, продаются ли в Цирихе карты; по крайней мере в них здесь никогда не играют, и не знают сего прекрасного средства убивать время (простите мне этот [40] Галлицизм), средства, которое в других землях сделалось почти необходимым.

Мудрые Цирихские законодатели знали, что роскошь бывает гробом [41] вольности и добрых нравов,[41] и постарались заградить ей вход в свою республику. Мущины не могут здесь носить ни шелкового, ни бархатного платья, а женщины ни брилиантов, ни кружев; и даже в самую холодную зиму никто не смеет надеть шубы, для того что меха здесь очень дороги. В городе запрещено ездить в каретах, и потому здоровыя ноги здесь гораздо более уважаются, нежели в других местах. Во внутренности домов не увидите вы никаких богатых уборов — все просто и хорошо. Хотя чужестранныя вина сюда привозятся, однакожь их позволено употреблять не иначе, как в лекарство. Только думаю, что сей закон не очень строго наблюдается. На прим. у Лафатера за столом пили мы Малагу; но он взял ее, может быть, из Аптеки, по предписанию своего Доктора Г*.[42]

Я слыхал прежде, будто в Швейцарии жить дешево; теперь могу сказать, что это неправда, и что здесь все гораздо дороже, нежели в Германии: на прим. хлеб, мясо, дрова, платье, обувь и прочия необходимости. Причина сей дороговизны есть богатство Швейцаров. Где богаты люди, там дешевы деньги; где дешевы деньги, там дороги вещи. Обед в трактире стоит здесь восемь гривен; то же самое платил я в Базеле и в Шафгаузене. Правда, что в Швейцарских трактирах никогда не подают на стол менее семи или осьми хорошо приготовленных блюд, и потом десерт на четырех или на пяти тарелках.

Я всякой день бываю у Лафатера, обедаю у него, и хожу с ним по вечерам прогуливаться. [43] Он, кажется, любит меня; ласкает и расспрашивает [43] иногда о подробностях жизни моей, дозволяя [44] и мне

предлагать ему разные вопросы, а особливо на письме. В пример переведу вам ответ его на один из моих вопросов. Вопрос: «Какая есть всеобщая цель бытия нашего, равно *достижимая** для мудрых и слабоумных?» — Ответ: «Бытие есть цель бытия. — Чувство и радость бытия (Daseynsfrohheit) [46] есть цель всего, чего мы искать можем.[46] Мудрый и слабоумный [47] ищут только средств [47] наслаждаться бытием своим, или чувствовать его — ищут того, через что они самих себя сильнее ощутить могут. — Всякое *чувство* и всякой *предмет*, постигаемый которым нибудь из наших чувств, суть прибавления (Beyträge) нашего самочувствования (Selbstgefühles); чем более самочувствования, тем более блаженства. — Как различны наши организации или образования, так же различны и наши потребности в *средствах* и *предметах*, которые новым образом дают нам чувствовать наше бытие, наши силы, нашу жизнь. — Мудрый отличается от слабоумного только средствами самочувствования. Чем простее, вездесущнее, всенасладительнее, постояннее и благодетельнее есть средство или предмет, в котором или через который мы сильнее существуем, тем существеннее (existenter) мы сами, тем вернее и радостнее бытие наше — тем мы мудрее, свободнее, любящее (liebender), любимее, живущее, оживляющее, блаженнее, человечнее, божественнее, с целию бытия нашего сообразнее. — Исследуйте точно, чрез что и в чем вы приятнее или тверже существуете? Что вам доставляет более наслаждения — разумеется такого, которое никогда не может причинить раскаяния — которое всегда с спокойствием и внутреннею свободою духа может и должно быть снова желаемо? Чем достойнее и существеннее избираемое вами средство, тем достойнее и существеннее вы сами; чем существеннее вы делаетесь, то есть, чем сильнее, вернее и радостнее существование ваше — тем более приближаетесь вы ко всеобщей и особливой цели бытия вашего. Отношение (Anwendung) и исследование сего положения (отношение и исследование есть одно) покажет вам истину, или (что опять все одно) всеотносимость оного. Цирих, в Четверток ввечеру, 20 Августа 1789. Иоанн Каспар Лафатер.» Каков вам кажется сей ответ, друзья мои? Вы конечно не подумаете, чтобы я в самом деле надеялся сведать от Лафатера цель бытия нашего; мне хотелось только узнать, что он может о том сказать. Таким образом всякое утро прихожу к нему с каким нибудь вопросом. Он прячет мою бумажку в карман, и ввечеру отдает мне ответ, на ней же написанный, — оставляя у себя копию. Я уверен, что все это [48] будет напечатано в ежемесячном его сочинении, которое с нового года должно выходить в Берлине, под титулом: *ответы на вопросы моих приятелей.***

---

* То есть, до которой достигнуть можно. Я осмелился по аналогии употребить это [45] слово.

** Я угадал, — и первая пиеса, напечатанная в сем ежемесячном сочинении, есть ответ на мой вопрос о цели бытия. Берлинским Рецензентам показалось забавно: die constante, solideste, sutenabelste existenz — или: Daseyn ist der Zwek des Daseyns <Постоянное, прочнейшее, наиболее выносимое существование — *или*: Бытие есть цель бытия, — *нем.*>, — — и проч. «Г. К.*[49] (говорит Рецензент во Всеобщей Не-

Лафатер намерен еще издавать, также с будущего года, *Библиотеку для друзей,* где будут помещаемы такия пиесы, которых он, по каким нибудь причинам, не хочет [50] сообщить публике.[50] Только приятели его могут получать сию библиотеку; и хотя она будет печатная, однакожь они обязываются считать ее за манускрипт.

По сие время Лафатеровы сочинения составляют около пятидесяти томов; естьли он проживет еще лет двадцать, то это [51] число может вдвое умножиться. За всем тем, по его словам, сочинение есть для него не работа, а отдых.

[52] Сверх того, что [52] Лафатер пишет для публики и для приятелей, ведет он журнал жизни своей, который есть тайна и для самых друзей его, и который останется в наследство его сыну. Тут описывает он все свои важнейшие опыты, сокровенныя связи с некоторыми людьми, свои надежды, радости и печали. — Вероятно, что в сих записках много любопытного [53] — и я почти уверен, что оне со временем будут напечатаны — естьли не для меня и не для вас, то по крайней мере для детей ваших, друзья мои. Девятый-надесять век! сколько в тебе откроется такого, что теперь считается [54] тайною!

Раза три был я у почтенного старика Тоблера, и провел у него часов пять или шесть, весьма приятных. Он так много рассказывал мне о покойном Бодмере и Швейцарском Теокрите! «Геснер украсил весну жизни моей (говорит он) — и во всех приятных сценах моей юности, о которых теперь с удовольствием воспоминаю, вижу его перед собою. Часто проводили мы вместе длинные зимние вечера в чтении Поэтов; и почти всегда, когда я приходил к нему, встречал он меня с какою нибудь приятною новостию, им сочиненною. Дом его был Академиею изящной Литтературы и Искусства — Академиею, какой Государи основать не могут.» Вы знаете, что Геснер посвятил своего Дафниса одной девице; но не знаете, может быть, что эта девица была дочь Г. Гейдеггера, Цирихского Сенатора, и что творец Дафниса скоро после того женился на ней, и жил с нею всегда как любовник с любовницею. — По любви к человечеству прискорбно было мне слышать, что Геснер не мог терпеть Лафатера, и не смотря на все старания общих друзей их, никогда не хотел с ним помириться. Тем более чести Лафатеру,[55] что он, по смерти Геснеровой, сочинил ему похвальные стихи! [56]

С Профессором Мейстером, — братом того Мейстера, который написал на Французском языке известную книгу [57] *о естественном нравоучении,*[57] и который, будучи выгнан из Цириха за одно смелое сочинение, живет теперь в Париже — виделся я только один раз. Наружность его не очень привлекательна, однакожь обхождение его весьма приятно. Он говорит

мецкой библиотеке) конечно больше нашего знаком с игрою Лафатеровых мыслей; ему оставляем мы разуметь сие изъяснение цели бытия нашего.» — Мне кажется, что мысли Лафатеровы (не смотря на насмешки остроумных Берлинцев) и понятны и справедливы, и даже весьма обыкновенны; здесь можно назвать новыми только одни выражения. Но Г. Аделунг конечно имеет причину жаловаться, что Лафатер не всегда думает о чистоте Немецкого слога.

почти так же хорошо, как пишет. Я с удовольствием читал некоторыя из его сочинений (Kleine Reisen и Characteristik Deutscher Dichter),* и поблагодарил его за это[58] удовольствие.[59]

В нынешний вечер наслаждался я великолепным зрелищем. Около двух часов продолжалась ужасная гроза. Естьли бы вы видели, как пурпуровыя и золотыя молнии вились по хребтам гор, при страшной канонаде пеба! Казалось, что небесный Громовержец хотел превратить в пепел сии гордыя вышины: но оне стояли, и рука Его утомилась — громы умолкли, и тихая луна сквозь облака проглянула.

В Цирихском Кантоне считается около 180 000 жителей, а в городе около 10 000; но[60] только две тысячи имеют право гражданства,[61] избирают судей, участвуют в правлении и производят торг; все прочие лишены сей выгоды. Из тридцати цехов, на которые разделены граждане, один называется главным или дворянским, имея перед другими то преимущество, что из него выбирается в члены Верховного Совета осьмнадцать человек, — из прочих же только по двенадцати. [62] Сему Совету принадлежит законодательная власть;[62] а гражданския и уголовныя дела судит так называемый *Малый Совет*, или Сенат (состоящий из 40 членов и двух Бургомистров), для которого[63] избирается особенно из каждого цеха по шести человек; они называются Сенаторами, и всякой год сменяются. Кому двадцать лет от роду, тот имеет уже голос в Республике, то есть, может избирать в судьи; в тридцать лет можно быть Членом Верховного Совета, а в тридцать пять Сенатором, или Членом Малого Совета. Цирихской житель, имеющий право гражданства, так же гордится им, как Царь своею короною. Уже более 150 лет никто не получал сего права; однакожь его хотели дать Клопштоку, с тем условием, чтобы он навсегда остался в Цирихе. —

В Субботу ввечеру Лафатер затворяется в своем кабинете для сочинения проповеди — и чрез час бывает она готова. Правда, естьли он говорит все такия проповеди, какую я ныне слышал, то их сочинять не трудно. *Спаситель снял с нас бремя грехов: и так будем благодарить Его* — сии мысли, выраженныя различным образом, составляли содержание всего поучения. Одни восклицания, одна декламация, и более ничего! Признаюсь, что я ожидал чего нибудь лучшего. Вы скажете, что с народом так говорить надобно; но Лаврентий Стерн говорил с народом, говорил просто, и трогал сердце — мое и ваше. Вид, с каким проповедует Лафатер, мне полюбился.

Цирихские проповедники являются на кафедрах в каких-то странных черных *шушунах*, с большими белыми и жестко-накрухмаленными кра-

---

* «Маленькие путешествия» *и* «Характеристика немецких поэтов» (*нем.*)

генами. Обыкновенно же ходят они в черных или темных кафтанах. Лафатер носит на голове черную бархатную скуфейку — но только он один. Не для того ли почли его тайным Католиком?

Когда в церкви поют псалмы, мужчины стоят без шляп; когда же начинается проповедь, все садятся, надевают шляпы, молчат и слушают. — —

Я познакомился на сих днях с двумя молодыми соотечественниками моего приятеля Б*: с Графом М* и Господином Баг*. Сей последний сочинил на Датском языке две большия Оперы, которыя отменно полюбились Коппенгагенской Публике, а наконец были причиною того, что Автор лишился спокойствия и здоровья. Вы удивитесь; но тут нет ничего чудного. Зависть вооружила против него многих Писателей; они вздумали уверять публику, что Оперы Господина Баг* ни к чему не годятся. Молодой Автор защищался с жаром; но он был один в толпе неприятелей. В газетах, в журналах, в комедиях — одним словом, везде его бранили. Несколько месяцов он отбранивался; наконец почувствовал истощение сил своих, с больною грудью оставил место боя, и уехал в Пирмонт к водам, откуда Доктор прислал его в Швейцарию лечиться горным воздухом. Молодой Граф М*, учившийся в Геттингене, согласился вместе с ним путешествовать. Оба они познакомились с Лафатером, и полюбились ему своею живостию. И тот и другой любит аханье и восклицания. Граф бьет себя по лбу и стучит ногами, а Поэт Баг* складывает руки крестом и смотрит на небо, когда Лафатер говорит о чем нибудь с жаром. Ныне или завтра уедут они в Луцерн; любезный мой приятель Б* едет с ними же.

‹58›

Цирих, 26 Августа.

Наконец думаю ехать из Цириха, прожив здесь 16 дней. Ныне в последний раз обедал я у Лафатера, и в последний раз писал под его диктатурою [1] (вы удивитесь; но учтивый Лафатер хотел уверить меня, будто я пишу по-Немецки не худо).[1] В последний раз ходил по берегу Лимматы — и шумное течение сей реки никогда не приводило меня в такую маланхолию, как ныне. Я сел на лавке под высокою липою, против самого того места, где скоро поставлен будет монумент Геснеру. Том его сочинений был у меня в кармане [2] (как приятно читать здесь все его несравненныя Идиллии и Поэмы, читать в тех местах, где он сочинял их!) [2] — я вынул его, развернул, и следующия строки попались мне в глаза. «Потомство справедливо чтит урну с пеплом Песнопевца, которого Музы себе посвятили, да учит он смертных добродетели и невинности. Слава его, вечно юная, живет и тогда, когда трофеи завоевателя гниют во прахе, и великолепный памятник недостойного Владетеля среди пустыни

заростает диким терновым кустарником и седым мхом, на котором иногда отдыхает заблуждшийся странник. Хотя, по закону Натуры, не многие могут достигнуть до сего величия, однакожь похвально стремиться к оному. Уединенная прогулка моя и каждый уединенный час мой [3] да будут посвящены [3] сему стремлению!» Вообразите, друзья мои, с каким чувством я должен был читать сие, в двух шагах от того места, где Натура и Поэзия в вечном безмолвии будут лить слезы на урну незабвенного Геснера! * Не его ли посвятили Музы в учители невинности и добродетели? Не его ли слава, вечно юная, жить будет и тогда, когда трофеи завоевателей истлеют во прахе? Предчувствием бессмертия наполнялось сердце его, когда он магическим пером своим писал сии строки.

Рука времени, все разрушающая, разрушит некогда и город, в котором жил Песнопевец, и в течение столетий загладит развалины Цириха; но цветы Геснеровых творений не увянут до вечности, и благовоние их будет из века в век переливаться, услаждая всякое сердце.

Друзья мои! Писателям открыты многие пути ко славе, и бесчисленны венцы бессмертия; многих хвалит потомство — но всех ли с одинаким жаром?

О вы, одаренные от Природы творческим духом! пишите, и ваше имя будет незабвенно; но естьли хотите заслужить любовь потомства, то пишите так, как писал Геснер — да будет перо ваше посвящено добродетели и невинности!

‹59›

Баден.

Ныне поутру выехал я из Цириха. Лафатер не хотел прощаться со мною навсегда, говоря, что я непременно должен в другой раз приехать на берег Лимматы. Он дал мне одиннадцать рекомендательных писем в разные города Швейцарии, и уверил меня в непременности своего дружелюбного ко мне расположения. Старик Тоблер простился со мною до радостного свидания в полях вечности, которая есть любимый предмет утренних и вечерних его размышлений. —

На каждой версте от Цириха до Бадена встречались мне коляски и кареты, из которых выглядывали Английския, Немецкия и Французския лица. От Июня до Октября месяца Швейцария бывает наполнена путешественниками, которые приезжают сюда наслаждаться Природою.[1]

Наконец видел я в Швейцарии нечто такое, что мне не полюбилось.[2] Почти беспрестанно подбегали к коляске моей ребятишки и требовали подаяния. Не слушая отказа, бежали они за мною, кричали и разным

---

* На монументе Геснеровом изображены Поэзия и Натура в виде двух прекрасных женщин, плачущих над урною.

образом дурачились: один становился вверх ногами, другой кривлялся, третий [3]играл на дудке,[3] четвертый прыгал на одной ноге, пятый надевал на себя бумажную шапку, в аршин вышиною, и проч. и проч. Не нужда заставляет их просить милостыни; им нравится только сей легкой способ получать деньги. — Жаль, что отцы и матери не унимают их! Маленькие шалуны могут со временем сделаться большими — могут распространить в своем отечестве опасную нравственную[4] болезнь, от которой рано или поздно умирает свобода в Республиках. Тогда, любезные Швейцары, не поможет вам бальзамический воздух гор и долин ваших — увянет красота нежной богини, и слезы ваши не оживят хладного трупа.[5]

В Бадене остановился мой кучер кормить лошадей. Сей городок, стесненный со всех сторон высокими горами, находится под начальством Цирихского, Бернского и Гларисского Кантонов, и славен своими целебными теплицами, которыя были известны Римлянам под именем *Гельветских вод* (Aquae Helveticae). От города будет до них не более 300 шагов, и я тотчас пошел туда. Два колодезя — самые ближайшие к главному источнику, и потому самые действительнейшие — бывают всегда открыты для бедных. В них сидело[6] при мне человек двадцать, опустясь в воду по горло; бледныя и желтыя лица их показывали, что они не для забавы пользуются водами. В трактирах, которых тут очень много, сделаны разныя бани, где моются больные и здоровые, платя за то безделку. Вода сносно горяча, и пахнет[7] серою. Она проведена с другой стороны Лимматы (которая течет здесь между гор с ужасною быстротой) и труба идет под рекою. — Мне сказывали, что иногда бывает у вод до осьми сот приезжих.

Женщины носят здесь на головах предлинные[8] рога, от чего все оне кажутся [9]похожими на Сатиров.[9] — В Швейцарских городах (по крайней мере в тех, в которых я был) почти на всяком доме видите вы надписи, иногда отменно глупыя и смешныя. На прим. над домом одного Баденского горшечника написано: Dies Haus der liebe Gott behüt; hier ist Hafner Geschir aufs Feuer, und glüht (*сей дом Господь да сохранит! здесь глиняная посуда на огне горит*) — а над другим: Behüt uns Herr für Feuer und Brand, denn dies Haus wird zum geduldigen Schaaf genannt (*сохрани нас Господь от пожара ночною порою: ибо сей дом называется терпеливою овцою*). Но что скажете вы о следующих двух надписях, замеченных одним Немецким путешественником в Базеле и в Шафгаузене? Первая: ihr Menschen thut Buss, denn dies Haus heist zum Rindsfuss (*о человеки! покайтеся душою, ибо сей дом называется бычачьею ногою*) — а вторая: Auf Gott deine Hoffnung bau, denn dies Haus heist zur schwarzen Sau (*на Бога уповай ты мыслию своею, ибо сей дом называется черною свиньею*). Друзья мои! в вольной земле всякой волен дурачиться, и писать, что ему угодно. Всякой желает оставлять по себе памятники — и сочинители сих надписей, конечно ничего более в жизнь свою не сочинявшие, хотели в рифмах своих наслаждаться бессмертием. Внук чтит произведение дедушкина ума, и надпись из века в век переходит. — Поселяне Швейцарские любят расписывать свои домы разными красками и фигурами; по большой части изображаются тут древние

Герои Швейцарии и славные их подвиги; иногда же гербы Кантонов с сею надписью: Als Demuth weint', und Hochmuth lacht', da ward der Schweizer-Bund gemacht (т. е. *когда смирение проливало слезы и гордость смеялась, тогда заключился союз Швейцаров*).[10]

‹60›

Арау, в 8 часов вечера.

Я проехал ныне мимо развалин Габсбурга. Вы знаете, [1] любезные друзья,[1] что в сем замке жили некогда Габсбургские Графы, от которых произошел Австрийский дом — и потому легко можете угадать, с какими мыслями смотрел я на почтенныя развалины [2] древних башен, откуда храбрые Рудольфовы предки поражали врагов своих. — Тут живет ныне сторож, который в случае пожара дает [3] сигнал окружным деревням, стреляя из ружья.[4]

Места и дороги в Бернском Кантоне лучше, нежели в Цирихском. Ничего не может быть прекраснее здешних лугов, обсаженных плодовитыми деревьями, и пересекаемых многими ручейками, которые то соединяются, то опять на разные рукава разделяются, и образуют водяный, запутанный лабиринт. Там видны алеи, самою Природою насажденныя; здесь густые лесочки, прохладу странникам обещающие. — В деревнях [5] находите вы порядок и чистоту.[5] Все крестьянские домы покрыты соломою, [6] и разделяются [6] обыкновенно на две половины: одна состоит из двух горниц и кухни, а другая из сенного магазина, житниц [7] и хлевов.[8] Не увидите вы здесь ничего гниющего, непочиненного; [9] во всем соблюдена удобность, и все необходимое в изобилии и совершенстве. [10] Сие, можно сказать, цветущее состояние Швейцарских земледельцев происходит наиболее от того, что они не платят почти никаких податей, и живут в совершенной свободе и независимости, отдавая Правлению только десятую часть из собираемых ими полевых плодов.[10] Хотя между ими есть такие, которые имеют по пятидесяти тысяч рублей капиталу, однакожь все они одеваются очень просто, и летом ходят обыкновенно в камзолах из толстого полотна; а в праздники надевают суконные кафтаны, по большой части синие или дикие. Женщины носят желтыя соломенныя шляпы, [11] красные стамедные корсеты с крючками и юбки темного цвета; а волосы заплетают в косы.[11] Шею свою покрывают белою косынкою, перевязывая ее черною бархатною лентою.[12] —

Я нанял кучера только до Арау, маленького, изрядно выстроенного городка в Бернском Кантоне. В ожидании Базельского *дилижанса* (в котором хочу ехать до Берна, и которого ожидают сюда к девяти часам) велел я приготовить себе ужин.

‹61›

Берн, 28 Августа.

Ныне рано поутру приехал я в Берн, и с трудом мог найти для себя комнату в трактире *Венца:* так много здесь приезжих! Одевшись, пошел я к молодому Доктору Ренггеру, который, по Лафатеровой рекомендации, принял меня очень ласково; и как мне прежде всего хотелось побродить по городу, то он вызвался быть моим путеводителем.

Берн есть хотя старинный, однакожь красивый[1] город. Улицы прямы, широки и хорошо вымощены; а в средине проведены глубокие каналы, в которых с шумом течет вода, уносящая с собою всю нечистоту из города, и сверх того весьма полезная в случае пожара. Домы почти все одинакие: [2] из белого камня,[2] в три этажа, и представляют глазам [3] образ равенства в состоянии жителей, не так, как в иных больших городах Европы, где часто низкая хижина преклоняется к земле под тению колоссальных палат.[3] Всего более полюбились мне в Берне аркады под домами, столь удобные для пешеходцев, которые в сих покрытых галлереях никакого ненастья не боятся.

Мы были в здешнем Сиротском доме, где нашел я удивительную чистоту и порядок. В самом деле тут не много сирот, а более пансионеров, которые за небольшую сумму денег учатся и хорошо содержатся в сем доме. Оттуда пошли мы в публичную библиотеку. [4] На прекрасном маленьком лужке, между домов,[4] увидел я прикованного медведя, которому мимоходящие бросали хлеб и прочее, что он есть мог. Доктор Ренггер [5] сказал мне,[5] что в Берне всегда держат живого медведя, который есть герб сего Кантона; что имя *Берн* произошло от Немецкого слова *Бер* (то есть *медведь*); что Герцог Церингенской, начав строить этот город, поехал на ловлю, и положил назвать его именем первого затравленного зверя; что он затравил медведя, и потому назвал город *Бером,* имя, которое после превратилось в *Берн.* — В библиотеке видел я много хороших книг и несколько изрядных картин; но всего более занимал меня *рельеф,* представляющий часть Альпийских гор, и точно тех, на которых я дни через три быть надеюсь. Тут видны сии горы в подлинных своих фигурах, долины, озера, деревни, хижины, и даже маленькия дорожки. Но *рельеф* Генерала Пфиффера, Луцернского гражданина, должен быть еще гораздо превосходнее. Сей человек с удивительною неутомимостию странствовал по горам; срисовывал их — снимал меры — и все сие представил потом в малом виде с величайшею точностию. Два раза был он захвачен горными жителями как шпион, и наконец для безопасности своей мерил горы по ночам при лунном сиянии, скрываясь от людей и водя с собою двух коз, которых молоко составляло всю его пищу.

Из библиотеки прошел я на славную террасу, или гульбище подле кафедральной церкви, где, под тению древних каштановых дерев, в самый жаркой полдень можно наслаждаться прохладою, и откуда видна цепь высочайших снежных гор, которыя, будучи освещаемы солнцем, представляются в виде тонких, красноватых облаков. Сия терраса, скла-

денная человеческими руками, вышиною будет в шесть или в семь сот футов. Внизу течет Ара, и с великим шумом низвергается с высокой плотины. В стене, которою обведено это гульбище, нашел я на камне следующую надпись: *В честь всемогущества и чудесного Божия провидения, и в память потомству, положен сей камень, на том месте, откуда Г. Теобольд Веинцепфли, Студент, 25 Мая 1654 года упал с лошади, и потом, быв 30 лет Священником церкви в Керцерсе, в глубокой старости блаженно скончался 25 Ноября 1694 года.* Хотя иному чудно покажется, что человек, упав с такой вышины, мог жив остаться; однакожь это происшествие, по уверению Бернских жителей, не подвержено никакому сомнению. Сказывают, что на Студенте был тогда широкой плащ, который, захватив под себя много воздуху, удерживал его в падении, и не дал ему сильно удариться об землю.

После обеда был я у Проповедника Штапфера, самого добродушного Швейцара, и ввечеру ходил с ним прогуливаться за город. Сидя в беседке на возвышенном месте, смотрели мы на горы, которых вершины пылали разноцветными огнями. Тут понял я Галлеров стих:

Und ein Gott ist's, der Berge [6] Spitzen röthet mit Blitzen!

(*Бог красит молниями венцы гор*). Между тем Штапфер начал говорить со мною, и мне должно было на несколько минут отвратить глаза свои от сего прекрасного зрелища. Когда же я опять взглянул на горы, увидел — вместо розовых и пурпуровых огней — ужасную бледность. Солнце закатилось. Я был поражен сею скорою переменою, и готов был воскликнуть: *Так проходит слава мира сего! так увядает роза юности! так угасает светильник жизни!* Мне стало грустно — и мы тихими шагами возвратились в город.

Ныне поутру был я у Проповедника Виттенбаха, ученого Натуралиста, который перевел на Немецкой язык *Соссюрово путешествие по Швейцарии,* выдал *краткое наставление для путешествующих по Альпийским горам,* и сочиняет теперь *описание естественных произведений Швейцарии.* Хотя он не одного вкуса со мною, и никогда, по словам его, не читает [7] книг, наполненных [7] мечтами воображения; и хотя в любимых его науках я совершенной профан: однакожь мы нашли [8] материю для разговора, и для него и для меня занимательную [8] — а именно, мы говорили о Галлере, который был ему очень знаком. Между прочим сказывал он, что покойник, за два дни до смерти, не смотря на свою болезнь и слабость, с великим любопытством читал описание некоторых новых физических опытов, и отчасти поверял их. Таким образом самые последние часы жизни своей посвящал Галлер успехам наук, которыя любил он страстно! — Виттенбах, путешествуя всякой год по самым отдаленнейшим горам, никогда еще не бывал в Цирихе! «Я успею быть в городах и тогда (говорит он), когда от старости не в состоянии буду ходить по Альпам.» [9]

На террасе встретился я ныне с Графом д'Артуа, который там прогуливался со многими знатными Французами.[10] Он не дурен собою, и хо-

чет показываться веселым; но в самых его улыбках видно стесненное сердце. Такия-то перемены бывают в жизни человеческой! — Прожив здесь недели две в загородном доме, едет он теперь в Италию, куда отправятся за ним и другие эмигранты. *Щастливый путь!* говорят Бернцы, которые никак не рады были сим незванным гостям.[11]

В трактире *Венца*, где я живу, не садится за стол менее тридцати человек, Французов и Англичан, между которыми бывают жаркие споры о теперешних обстоятельствах Франции. Сегодни за ужином бедный Италиянской музыкант играл на арфе и пел. Англичане набросали ему целую тарелку серебряных денег, и хотели, чтобы он рассказал нам свою историю. *Слушайте*, сказал он, и запел:

Я в бедности на свет родился,
И в бедности воспитан был;
Отца в младенчестве лишился,
И в свете сиротою жил.[12]

Но бог, искусный в песнопеньи,
Меня сиротку полюбил;
Явился мне во сновиденьи,
И арфу с ласкою вручил;

[13] Открыл за тайну, как струною
С сердцами можно говорить,
И томной, жалкою игрою
Всех добрых в жалость приводить.

Я арфу взял — ударил в струны;
Смотрю — и в сердце горя нет!...
Тому не надобно Фортуны,
Кто с Фебом в дружестве живет! [13]

«Вот вам моя история, государи мои! сказал он по-Французски: * я странствую по свету, и везде нахожу людей, умеющих ценить таланты». *Браво! браво!* закричали Англичане, и бросили ему еще несколько талеров. —

Завтра думаю отправиться к Альпийским горам. Чемодан свой оставлю здесь, а с собою возьму только теплой сертук, половину белья своего, записную книжку и карандаш.

‹62›

Тун, в десять часов вечера.

В два часа по полудни выехал я из Берна, и в шесть часов приехал в городок Тун, лежащий на берегу большого озера. Дорогою видел я везде веселых поселян, собирающих плоды с богатых полей своих. Между ими заметил я много таких, у которых висели под бородою превеликие зобы.

---

* Песню пел он на Италиянском языке.

Здесь остановился я в трактире *Фрейгофе*; заказав ужин, бродил по городу, и всходил на здешнюю высокую колокольню, откуда видны многия цепи гор и все обширное Тунское озеро.

Завтра разбудят меня в четыре часа. В это время отходит отсюда почтовая лодка, на которой перееду [1] через озеро.

‹63›

Тунское озеро, 5 часов утра.

Темнота ночи мало по малу исчезает. Горы открываются минута от минуты яснее. Все дымится! Тонкия облака тумана носятся вокруг нашей лодки. Влага проницает сквозь мое платье, и сон смыкает глаза мои. Добродушный Швейцар подает мне черный мешок, который должен служить мне вместо пуховой подушки. Величественная Натура! прости слабому! на несколько часов отвращает он взор свой от твоего великолепия.

В семь часов. По обеим сторонам озера беспрерывно продолжаются горы. В иных местах покрыты оне виноградными садами, в других елями. Чистые ручьи ниспадают с камней. Внизу дымятся хижины, жилища бедности, невежества и — может быть — спокойствия. Вечная Премудрость! какое разнообразие в твоем физическом и нравственном [1] мире! —

На северной стороне озера, в пещере высокой горы, где журчит маленькой ручеек, провождал дни свои Св. Беатус, первейший из Христиан в Швейцарии. Гора сия доныне называется его именем.

На южном берегу возвышается старый замок Шпиц, который принадлежал некогда Бубенбергской фамилии, древнейшей и знатнейшей в Бернской Республике. Многие из Бубенбергов оказали отечеству важныя услуги, и пролили кровь свою для славы [2] его. Последними отраслями сего Дому были Леонард и Амалия, прекрасный юноша и прекрасная сестра его. Все благороднейшия фамилии в Берне искали их союза, и наконец, по нежной склонности сердца, Леонард женился на девице Эрлах, а сестра его вышла за брата ея. Бракосочетание их совершилось в одно время. Все праздновали день сей, в который два первые Дома соединялись тесным союзом родства; все радовались молодыми супругами, равно юными и равно прекрасными. Утехи [3] свадебного торжества были бесчисленны. После роскошного [4] обеда новобрачные и все гости гуляли в лодке по Тунскому озеру. Небо было ясно и чисто; легкий ветерок веянием своим прохлаждал веселых [5] гребцов, [6] и лобызал юных красавиц, играя их волосами; мелкия волны [6] пенились под лодкою, и журчанием своим [7] вливали томность в сердца супругов, которые с нежным трепетом друг ко другу прижимались.[7] Уже наступал вечер, и пла-

ватели беспрестранно от берегов удалялись. Солнце село — и вдруг, как будто бы из глубины ада, заревела буря; озеро страшно взволновалось, и кормчий содрогнулся. Он хотел плыть к берегу, но берег во мраке скрывался от глаз его. Весла валились из рук обессилевших гребцов, и вал за валом грозил поглотить лодку. Вообразите себе состояние супругов! Сперва старались они ободрять гребцов и кормчего, и сами помогали им; но видя, что все усилия их остаются тщетными, и что гибель [8] неизбежна, поручили [9] судьбу свою Богу, обтерли последнюю слезу о жизни, обнялись и дожидались смерти. Скоро громада волн обрушилась на лодку — и все потонули, все, кроме одного гребца, который доплыл [10] до берега, и принес весть о погибели нещастных. Таким образом пресекся древний род Бубенбергов, и замок их достался в наследство Дому Эрлахов, который по сие время считается [11] знатнейшим в Бернском Кантоне. — С печальными мыслями рассматривал я сей замок; ветер веял от опустевших стен его.

Унтерзеен, в 10 часов. Пристав к берегу версты за две отсюда, шел я до Унтерзеена приятною долиною, между лугов и огородов. Снежныя горы кажутся здесь гораздо выше и ближе одна к другой; я не видал уже полей с хлебом, ни садов виноградных; крестьянския избы построены отменным образом, и самые люди имеют в лицах своих что-то особливое. — Я нанял теперь проводника, которому известен путь по Альпийским горам — и через час [12] пойду в деревню Лаутербруннен, до которой считается отсюда около десяти верст.

Лаутербруннен. Дорога от Унтерзеена до Лаутербруннена идет долиною между гор подле речки Литшины, которая течет с ужасною быстротою, с пеною и с шумом, падая с камня на камень. Я прошел мимо развалин замка Уншпуннена, за которым долина становится час от часу уже, и наконец разделяется на двое: на лево идет дорога в Гриндельвальд, а на право в Лаутербруннен. Скоро открылась мне сия последняя деревенька, состоящая из рассеянных по долине и по горе маленьких домиков.

Версты за две не доходя до Лаутербруннена, увидел я так называемый *Штаубbах*, или ручей, свергающийся с вершины каменной горы, в 900 футов вышиною. В сем отдалении кажется он неподвижным столбом млечной пены. Скорыми шагами приближился я к этому [13] феномену, и рассматривал его со всех сторон. Вода прямо летит вниз, почти не дотрогиваясь до утеса горы, и разбиваясь, так сказать, в воздушном пространстве, падает на землю в виде пыли, или тончайшего серебряного дождя. Шагов на сто вокруг разносятся влажные брызги, которые в несколько минут промочили насквозь мое платье. — Потом ходил [14] я к другому водопаду, называемому *Триммербах,* до которого будет отсюда около двух верст. Вода, прокопав огромную скалу, из внутренности ея

с шумом падает и стремится в долину, где мало по малу утишая свою ярость, образует чистую речку. Вид рассевшейся горы и шумное падение *Триммербаха* составляют *дикую* красоту, пленяющую любителей Натуры. Около часа пробыл я на сем месте, сидя на возвышенном камне — и наконец, в великой усталости, возвратился в Лаутербруннен, где теперь отдыхаю в трактире.

В восемь часов вечера. Светлый месяц взошел над долиною. Я сижу на мягкой мураве, и смотрю, как свет его разливается по горам, осребряет гранитныя скалы, возвышает густую зелень сосн, и блистает на вершине *Юнгферы,* одной из высочайших Альпийских гор, вечным льдом покрытой. Два снежные холма, девическим грудям подобные, составляют ея корону. Ничто смертное к ним не прикасалося, самыя бури не могут до них возноситься; одни солнечпые и лунные лучи лобызают их нежную округлость; вечное безмолвие царствует вокруг их — здесь конец земного творения! — — Я смотрю, и не вижу выхода из сей узкой долины.

‹64›

Пастушьи хижины на Альпийских горах, в 9 часов утра.

В четыре часа разбудил меня проводник мой. Я вооружился Геркулесовскою палицею — пошел — с благоговением ступил первый шаг на Альпийскую гору, и с бодростию начал взбираться на крутизны. Утро было холодно; но скоро почувствовал я жар, и скинул с себя теплый сертук. Через четверть часа усталость подкосила ноги мои — и потом каждую минуту надлежало мне отдыхать. Кровь моя волновалась так сильно, что мне можно было слышать биение своего пульса. Я прошел мимо громады больших камней, которые за десять лет перед сим свалились с вершины горы, и могли бы превратить в пыль целый город. Почти беспрестанно слышал я глухой шум, происходящий от катящегося с гор снега. Горе тому нещастному страннику, который встретится сим падающим снежным кучам! Смерть его неизбежна. — Более четырех часов шел я все в гору, по узкой каменной дорожке, которая иногда совсем пропадала; наконец достиг до цели своих пламенных желаний, и ступил на вершину горы, где вдруг произошла во мне удивительная перемена. Чувство усталости исчезло; силы мои возобновились; дыхание мое стало легко и свободно; необыкновенное спокойствие и радость разлились в моем сердце. Я преклонил колена, устремил взор свой на небо, и принес жертву сердечного моления — Тому, Кто в сих гранитах и снегах напечатлел столь явственно Свое всемогущество, Свое величие, Свою

вечность!... Друзья мои! я стоял на высочайшей ступени, на которую смертные восходить могут для поклонения Всевышнему!... Язык мой не мог произнести ни одного слова; но я никогда так усердно не молился, как в сию минуту.

Таким образом на самом себе испытал я справедливость того, что Руссо[1] говорит о действии горного воздуха. Все земныя попечения, все заботы, все мысли и чувства, унижающия благородное существо человека, остаются в долине — и с сожалением смотрел я вниз на жителей Лаутербруннена, не завидуя им в том, что они в самую сию минуту увеселялись зрелищем серебряного *Штауб바ха,* освещаемого солнечными лучами. Здесь смертный чувствует свое высокое определение, забывает[2] земное отечество[2] и делается гражданином вселенной; здесь, смотря на хребты каменных твердынь, ледяными цепями скованных и осыпанных снегом, на котором столетия оставляют едва приметные следы,* забывает он время, и мыслию своею в вечность углубляется; здесь в благоговейном ужасе трепещет сердце его, когда он помышляет о той всемогущей Руке, которая вознесла к небесам сии громады, и повергнет их некогда в бездну морскую. —

С бодростию и с удовольствием продолжал я путь свой по горе, называемой Венгенальпом, мимо вершин Юнгферы и Эйгера, которыя возвышаются на хребте ея как на фундаменте. Тут нашел я несколько хижин, в которых пастухи живут только летом. Сии простодушные люди зазвали меня к себе в гости, и принесли мне сливок, творогу и сыру. Хлеба у них нет; но проводник мой взял[3] его с собою. Таким образом я обедал у них, сидя на бревне — потому что в их хижинах нет ни столов, ни стульев. Две молодыя веселыя пастушки, смотря на меня, беспрестанно смеялись. Я говорил им, что простая и беспечная жизнь их мне весьма нравится, и что я хочу остаться у них, и вместе с ними доить коров. Оне отвечали мне одним смехом. — Теперь лежу[4] на хижине, на которую стоило мне только шагнуть, и пишу карандашом в своей дорожной[5] книжке. Как в сию минуту низки передо мною все Великаны[6] земного шара! — Через полчаса пойду далее.

‹65›

Гриндельвальд, 7 часов вечера.

Шедши от хижин около часа по отлогому скату — мимо стад, пасущихся на цветной благовонной зелени — начали мы спускаться с горы. Гриндельвальд был уже виден. Долина, где лежит эта[1] деревенька, состоящая из двух или трех сот рассеянных домиков, [2]представляется

* Всякое лето тает на горах снег, и всякую зиму прибавляются на них новые снежные слои. Естьли бы можно было перечесть сии последние, то мы узнали бы тогда древность мира, или по крайней мере древность сих гор.

глазам в самом приятном виде.[2] В то же самое время увидел я и верхний *глетшер*, или *ледник*; а нижний открылся гораздо уже после, будучи заслоняем горою, с которой мы спускались. Сии ледники суть магнит, влекущий[3] путешественников в Гриндельвальд. Я пошел к нижнему, который был ко мне ближе. Вообразите себе между двух гор огромныя кучи льду, или множество высоких ледяных пирамид, в которых хотя и не видал я ничего подобного хрустальным волшебным замкам, примеченным тут одним Французским Писателем, но которыя в самом деле представляют для глаз нечто величественное. Не знаю, кто первый уподобил сии ледники бурному морю, которого валы от внезапного мороза в один миг [4]превратились в лед;[4] но могу сказать, что это[5] сравнение прекрасно и справедливо, и что сей путешественник или Писатель имел пиитическое воображение. — Посмотрев на ледник с того места, где с страшным ревом вытекает из-под свода его мутная река Литшина, ворочая в волнах своих превеликие камни, решился я взойти выше. К нещастию, проводник мой не знал удобнейшего ко всходу места; но как мне не хотелось оставить своего намерения, то я прямо пошел вверх подле льду, по кучам маленьких камешков, которые рассыпались под моими ногами, так что я беспрестанно спотыкался и полз,[6] [7]хватаясь руками[7] за большие камни. Проводник мой кричал, что он предает меня судьбе моей; но я, смотря на него с презрением и не отвечая ему ни слова, взбирался выше и выше, и храбро преодолевал все трудности. Наконец открылась мне почти вся ледяная долина, усеянная в разных местах весьма высокими пирамидами; но далее к Валлиским горам пирамиды[8] уменьшаются и почти все исчезают. Тут отдыхал я около часа, и лежал на камне, висящем над пропастью; спустился[9] опять вниз, и пришел в Гриндельвальд, естьли не совсем без ног, то по крайней мере без башмаков. Хорошо, что я взял из Берна [10]в запас новую пару![10]

У прекрасной девушки купил я корзинку черной вишни, хотя мелкой, однакожь отменно сладкой и вкусной, которая прохладила внутренний жар мой. Теперь, сидя в трактире за большим столом, дожидаюсь ужина.

‹66›

Гора Шейдек, 10 часов утра.

В пять часов утра[1] пошел я из Гриндельвальда, мимо верхнего ледника, который показался мне еще лучше нижнего, потому что цвет пирамид его гораздо чище и голубее. Более четырех часов взбирался я на гору Шейдек, и с такою же трудностию, как вчера на Венгенальп. Горныя ласточки порхали надо мною, и пели печальныя свои песни; а вдали слышно было блеяние стад. Цветы и травы курились ароматами вокруг меня, и освежали увядающие силы мои. Я прошел мимо пирами-

дальной вершины Шрекгорна, высочайшей Альпийской горы, которая, по измерению Г. Пфиффера, вышиною будет в 2400 сажен; а теперь возвышается передо мною грозный Веттергорн, который часто привлекает к себе громоносныя облака, и препоясывается их молниями. За два часа перед сим скатились с венца его две *лавины*, или кучи снегу, размягченного солнцем. Сперва услышал я великой треск, (который заставил меня вздрогнуть) — а потом увидел две снежныя массы, валящиеся с одного уступа горы на другой, и наконец упавшия на землю с глухим шумом, подобным отдаленному грому, — при чем на несколько сажен вверх поднялась снежная пыль.

На горе Шейдек нашел я пастухов, которые также подчивали меня творогом, сыром и [2] густыми, ароматическими[2] сливками. После такого[3] легкого и здорового обеда, сижу теперь на бугре горы, и смотрю на скопище вечных снегов. Здесь вижу[4] источник рек, орошающих наши долины; здесь запасная храмина Натуры, [5] храмина, из которой[5] она во время засухи черпает воду для освежения жаждущей земли. И естьли бы сии снега могли вдруг растопиться, то второй потоп поглотил бы все живущее в нашем мире.

Нельзя взирать без некоторого ужаса на сии концы земного творения, где нет никаких следов жизни — нет ни дерев, ни трав — где меланхолическая пустота искони царствует. [6] Иногда, над дикими, мертвыми утесами является здесь величайшая из птиц, Альпийской орел,[6] которому бедныя[7] дикия козы служат пищею. Тщетно сии последния стараются спастись от него легкостию ног своих, прыгая с одной высоты на другую! Лютый враг гонится повсюду за своею добычею и наконец пригоняет ее на край бездны, где нещастная уже не находит для себя никакого пути. Тут сильным ударом крыла сшибает он ее в пропасть, [8] и бедная коза, не смотря на все свое искусство в прыгании, неизбежно погибает. Орел[8] извлекает ее оттуда в острых когтях своих.[9]

Но не одна птица сия умерщвляет безоружных коз: Альпийские охотники еще для них страшнее. Презирая[10] все опасности, с удивительным проворством [11] взбираются они [11] на крутизны; однакожь многие погибают, падая в пропасти, или утопая в море снегов. Страшные анекдоты об них рассказывают. На прим. один Гриндельвальдской охотник, гонясь на Шрекгорне за козою, перебирался с камня на камень, и вдруг на ужасной высоте поскользнулся. Уже бездна разверзла под ним зев свой — уже острые граниты готовы были растерзать нещастного — но он зацепился ногою за камень и повис над пропастию. Представьте себе весь ужас его положения! Никто из товарищей не мог помочь ему; никто не отваживался лезть на вершину утеса. Долго висел он между небом и землею, между жизни и смерти; наконец удалось ему схватиться руками за камень, стать на ноги и спуститься вниз.

‹67›

Долина Гасли.

Пробыв у пастухов два часа, пошел я далее, беспрестанно [1] спускаясь с горы. Первый примечания достойный предмет, который встретился глазам моим на сем пути, был так называемый *Розенлавинглетшер*, самый прекраснейший из Швейцарских ледников, состоящий из чистых сафирных пирамид, гордо возвышающих острыя свои вершины. — Мрак древних высоких елей укрывал меня от жара солнечнаго; нигде не видал я следов человеческих: дичь и пустота представлялись везде глазам моим. С седых, мшистых скал упадали кипящие ручьи, и шум падения их раздавался по лесу. Но далее, спускаясь в долину, находил я прекрасные благовонные луга, каких лучше вообразить не льзя — и, к удивлению моему, не видал на них пасущегося скота. [2] Не можете вообразить,[2] как приятен вид зелени после голых камней и снежных громад, утомивших мое зрение! На всяком лужке отдыхал я по нескольку минут, и естьли не руками,[3] то по крайней мере глазами своими ласкал [4] каждую травку вокруг себя. — Я пришел в маленькую горную деревеньку, которой жители ведут пастушью жизнь во всей простоте ея, не зная ничего, кроме скотоводства, и питаясь одним молоком. Они делают большие сыры, и через Валисцов отправляют их в Италию. Сырные анбары построены из тонких бревен на высоких столбах или подпорах, для того, чтобы воздух мог отвсюду проходить в них.[5]

Жажда меня томила. Я остановился подле одной хижины, на берегу [6] чистого ручья, и видя молодого пастуха, у дверей сидящего, попросил у него стакана. Он не скоро понял меня; но поняв, тотчас бросился в свой домик и вынес чашку. *Она чиста*, сказал он худым Немецким языком, показывая мне дно ея; побежал к ручью, зачерпнул [7] воды, и опять вылил ее назад — посмотрел на меня и улыбнулся — [8] зачерпнул в другой раз, и опять вылил — взглянул на меня и засмеялся — почерпнул в третий раз, и принес мне,[8] говоря: *пей, добрый человек, пей нашу воду!* Я взял чашку, — и естьли бы не побоялся пролить воды, то конечно бы обнял добродушного пастуха, с таким чувством, с каким обнимает брат брата: столь любезен казался он мне в эту минуту! — Для чего [9] не родились мы в те времена, когда все люди были пастухами и братьями! * [10] Я с радостию отказался бы от многих удобностей жизни (которыми обязаны мы просвещению дней наших), чтобы возвратиться в первобытное состояние человека. Всеми *истинными* удовольствиями — теми, в которых участвует сердце, и которыя нас подлинно щастливыми делают — наслаждались люди и тогда, и еще более, нежели ныне — более наслаждались они любовию (ибо тогда ничто не запрещало им говорить друг другу: [11] *люблю тебя*,[11] и дарам Природы не предпочитались дары слепого случая, не придающие человеку никакой существенной цены), —

---

* **Когда же?**

более наслаждались дружбою, более красотами Природы. Теперь жилище и одежда наша покойнее: но покойнее ли сердца? [12] Ах, нет! тысячи забот, тысячи беспокойств, которых не знал человек в прежнем [13] своем состоянии, терзают ныне внутренность нашу, и всякая приятность в жизни ведет за собою тьму неприятностей. — С сими мыслями пошел я от пастуха; несколько раз оборачивался назад, и приметил, что он провожает меня взорами своими, в которых написано было желание: *поди, и будь щастлив!* Бог видел, что и я от всего сердца желал ему щастия; но он уже нашел его! [14]

Сильный шум прервал нить моих размышлений. Что это значит? спросил я у проводника моего, остановясь и слушая. «Мы приближаемся к *Рейхенбаху,* отвечал он, славнейшему Альпийскому водопаду.» — Хотя путешествующий по Швейцарским горам беспрестанно видит каскады, беспрестанно орошается их брызгами, и наконец смотрит на них равнодушно; однакожь мне очень хотелось видеть первый из Альпийских водопадов. Отдаленный шум обещал мне нечто величественное: воображение мое стремилось к причине его; но тут вдруг открылось мне другое великолепие, которое заставило меня на время забыть *Рейхенбах.* Ах! для чего я не живописец! для чего не мог [15] в ту же минуту [15] изобразить на бумаге плодоносную, зеленую долину Гасли, которая в виде прекраснейшего цветущего сада представилась глазам моим, между диких, каменных, небеса подпирающих гор! Плодовитые лесочки, и между ими маленькие деревянные домики, составляющие местечко Мейринген — река Ара, стремящаяся вдоль по долине — множество ручьев, ниспадающих с крутых утесов, и с серебряною пеною текущих по бархатной мураве: все сие вместе образовало нечто романическое, пленительное — нечто такое, чего я от роду не видывал. Ах, друзья мои! не должно ли мне благодарить Судьбу за все великое и прекрасное, виденное глазами моими в Швейцарии? Я благодарю ее — от всего сердца! — Наконец проводник напомнил мне *Рейхенбах,* и чтобы посмотреть на него вблизи, я должен был, не взирая на свою усталость, взойти опять на высокой пригорок и спуститься с него, но только уже не по камням, а по зеленой траве, увлажненной водяною пылью, летящею от каскада. Еще шагов за пятьдесят от падения облака сей пыли меня почти совсем ослепили. Однакожь я подошел к самому кипящему водоему, или той яростию воды ископанной яме, в которую *Рейхенбах* падает с высоты своей, с ужасным шумом, ревом, громом, срывая превеликие камни и целыя дерева, [16] им на пути встречаемыя. Трудно представить себе [16] ту ужасную быстроту, с которою волна за волною несется в неизмеримую глубину сего водоема, и опять вверх подымается, будучи отвержена [17] его вечнокипящею пучиною,[17] и распространяя вокруг себя белыя облака влажного дыму! [18] Тщетно воображение мое ищет сравнения, подобия, образа!... Реин [18] и Рейхенбах, великолепныя явления, величественныя чудеса Природы! в молчании удивляться будет вам [19] всякой, имеющий чувство; [19] но кто может изобразить вас кистию или словами? — Я почти совсем чувств лишился, будучи оглушен *гремящим громом* падения, и упал на землю. Моря водяных частиц лились на

меня, и притом с такими порывами вихря (производимого в воздухе силою падающей воды), что, боясь смертельной простуды, я должен был через несколько минут удалиться от сего места. Всякой, взглянув на меня, подумал бы, что я вышел из реки; ни одной сухой нитки на мне не осталось, и вода текла с меня ручьями, подобно как с какой нибудь Альпийской горы.

До Мейрингена оставалось мне не более трех верст, и дорога была уже не так трудна, как на сходе с вершины Шейдека; но сии три версты довели усталость мою до высочайшей степени, потому что жар в долинах бывает несносен. Лучи солнечные отпрыгивают от голых скал, и согревая воздух, производят духоту, весьма редко ветерком прохлаждаемую. Женщины, встречавшиеся мне, смотрели на меня с сожалением, и говорили: *как жарко, молодой путешественник!*

Местечко или деревня Мейринген состоит из маленьких деревянных домиков, рассеянных по долине в великом расстоянии один от другого; в Альпийских селениях совсем нет каменного строения.

Обитатели долины Гасли живут в беспрестанном шуме, происходящем как от Рейхенбаха, так и от других каскадов. Иногда сии ручьи, будучи наполнены снежною водою, низвергаются в долину с такою яростию, что заливают домы поселян, сады и луга их. За несколько лет перед сим причинили они страшное опустошение, и всю прекрасную долину покрыли песком и камнями; но жители не могли оставить милой своей родины, где предки их и они сами пользовались бесчисленными благодеяниями Природы — скоро земля была очищена и снова покрылась цветами и зеленью.

Сколь прекрасна здесь Натура, столь прекрасны и люди, а особливо женщины, из которых редкая не красавица. Все они свежи, как горныя розы — и почти всякая могла бы представлять нежную Флору. Удивитесь ли вы, естьли я пробуду здесь несколько дней? Может быть в целом свете нет другого Мейрингена. Но жаль, что здешния красавицы немного безобразят себя одеждою; на прим. [20] подвязывают юбку под самыми плечами, и [20] кажется, будто оне в мешках зашиты. — Здесь нашел я очень хороший трактир.

В 11 часов ночи. Вечер проведен мною приятно.[21] Я гулял по долине, в рощицах, по лугам, и возвращаясь в деревню, нашел подле одного домика множество молодых мущин и девушек, которыя между собою играли, прыгали и резвились. Тут праздновали сговор. Мне не трудно было узнать жениха с невестою: самая прекраснейшая чета, какую только вы себе вообразить можете! Румянец беспрестанно играл на их щеках; они [22] хотели резвиться вместе с другими, но нежная томность, видимая во всех их движениях, отличала их от прочих пастухов и пастушек. [23] Я подошел к жениху, взял его за руку,[23] и сказал ему: «ты щастлив,[24] мой друг!» Невеста взглянула на меня, [25] и с выразительною благодарностию за мое приветствие.[25] Как нежно чувство в Альпийских пастушках! как хорошо понимают оне язык сердца! Пастух с улыбкою посмотрел на свою любезную — [26] взоры их встретились.[26] Тут странная мысль пришла в мою голову: мне захотелось оста-

вить будущим супругам какой нибудь памятник, который бы, в течение благополучных дней любви их, мог напоминать им, что один путешественник, из отдаленнейшей страны Севера, был при их сговоре и брал участие в радости невинных сердец. Подумав, я вынул из кармана медаль, не золотую, а медную; но у меня не было ничего более — медаль, на которой изображена[27] голова Греческого юноши, и которую подарил мне приятель мой Б*. «Возьми ее — сказал я невесте — в знак моего доброжелательства.» Она с удивлением взглянула на медаль, на меня и на жениха своего, и не знала, что делать. «Родясь в такой земле, продолжал я, где обыкновенно дарят невест, прошу тебя принять от меня эту безделку, которую предлагаю тебе от доброго сердца.» — *А в какой земле родились вы?* спросил старик, сидевший на бревне. — «В России.» — *В России!... Да, я слыхал об этой земле от стариков наших. Да где-бишь она?* — Далеко, мой друг — там, за горами, прямо к Северу.» — *Точно, я это помню.* — Между тем жених с невестою перешептывались; последняя взяла медаль, сказала *спасибо!* и отдала первому, который повертел ее в руках и опять возвратил ей. Я радовался щастливою четою, и в мыслях своих читал Галлеровы стихи (из его Поэмы: Die Alpen, т. е. Альпийския горы):

Die Liebe brennt hier frey, und scheut kein Donner-Wetter.
Man liebet für sich selbst, und nicht für seine Vätter.
So bald ein junger Hirt die sanfte Glut empfunden,
Die leicht ein schmachtend Aug in muntern Geistern schürt,
So wird des Schäfers Mund von keiner Furcht gebunden;
Ein ungeheuchelt Wort bekennet, was ihn rührt;
Sie hört ihn, und, verdient sein Brand ihr Herz zum Lohne,
So sagt sie, was sie fühlt, und thut, wornach sie strebt,
Denn zarte Regung dient den Schönen nicht zum Hohne,
Die aus der Anmuth fliest, und durch die Tugend lebt.
. . . .
. . . .
Die Sehnsucht wird hier nicht mit eitler Pracht belästigt;
Er liebet sie, sie ihn, dies macht den Heuraths-Schluss,
Die Eh wird oft durch nichts, als beyder Treu befestigt,
Für Schwüre dient ein Ja, das Siegel ist ein Kuss.
Die holde Nachtigall grüsst sie von nahen Zweigen;
Die Wollust deckt ihr Bett auf sanft geschwollnes Mooss,
Zum Vorhang dient ein Baum, die Einsamkeit zum Zeugen;
Die Liebe führt die Braut in ihres Hirten Schooss,
O dreymahl seligs Paar! Euch muss ein Fürst beneiden.*[28]

---

* «Здесь любовь пылает свободно, никакой грозы не страшася; здесь любят для себя, а не для отцов своих. Когда молодой пастух почувствует нежную страсть, которую прекрасные глаза[29] легко воспаляют в веселом сердце, то уста его не таят ее.[30] Пастушка внимает ему, сказывает свои чувства, и следует движению своей склонности, естьли он достоин ея сердца; ибо сие движение, раждаемое приятностию и питаемое добродетелию, не постыдно для красавицы. Суетная пышность не тяготит страстных желаний; он любит ее, она его любит — сим заключается брак, который часто одною взаимною верностию утверждается; согласие служит вместо клятв, поцелуй вместо печати. Любезный соловей поздравляет их с ближних ветьвей; мягкая трава есть брачное ложе их, дерево занавес,[31] уединение свидетель, и любовь приводит невесту в объятия молодого пастуха. [32] Блаженная чета! Цари должны завидовать вам.» [32]



Иллюстрация к немецкому изданию «Писем русского путешественника».

Между тем солнце село, пастухи и пастушки начали расходиться по домам. Я простился с женихом, с невестою — и естьли бы Альпийския красавицы были не так стыдливы, то, может быть, пришло бы мне на мысль потребовать от нее.... невинного поцелуя!

‹68›

Деревня Трахт, на берегу Бринцского озера, в 8 часов вечера.

Вот конец моего пешеходства! Ноги у меня очень болят, и лице мое от солнечного жара покраснело и почернело; впрочем я в духе своем бодр и весел.

Дорога от Мейрингена до Трахта идет долиною, и хотя очень приятна, однакожь не могу сказать об ней ничего примечания достойного. Здесь нашел я шумной праздник. Все поселяне собрались на лугу, пьют и поют песни. Некоторые молодые люди борются; и когда один другого повалит, зрители кричат: *браво!* Между тем я сижу под окном,[1] посматриваю на веселящихся и на небо, которое начинает покрываться облаками. Хорошо, что я теперь не на горах! — Между тем трактирщица готовит мне для ужина блюдо рыбы, только что теперь в озере поиманной. Завтра поплыву на лодке в Унтерзеен, а оттуда назад в Тун.

Где вы, мои любезные? Как проводите время? Верно не так, как странствующий друг ваш, который на горах и в долинах об вас думает! — Будьте здоровы и благополучны.

‹69›

Унтерзеен.

Сей час пришел я в здешний трактир. Почтовая лодка, в которой плыл я из Трахта, пристала к берегу в двух верстах отсюда. Сильный дождь промочил меня насквозь; однакожь, плывя по озеру, я с удовольствием смотрел на горы, которыя, будучи покрыты облаками, дымились как Этны или Везувии. Теперь, в ожидании обеда, сушусь и приготовляюсь опять к путешествию. Дождь все еще не перестал.

‹70›

Тун, в 8 часов вечера.

Я благополучно доплыл до Туна, не смотря на сильное волнение озера. Валы играли нашею лодкою как шариком. Три женщины, бывшия со мною, беспрестанно кричали; одна из них упала в обморок, и мы с трудом могли привести ее в память. Что принадлежит до меня, то я ни мало не боялся, а еще веселился волнами, которыя разбивались о каменные берега. Наконец дождь перестал, и благодетельное солнце высушило мое платье. Приехав сюда, чувствовал я озноб; но выпив чашек пять хорошего чаю, стал опять совершенно здоров. — Завтра в четыре часа отправлюсь в Берн, где остались мои пожитки.

‹71›

Берн, 10 Сентября 1789.

Возвратясь с Альпийских гор, прожил я в Берне семь дней и притом не скучно:[1] то посещал своих знакомцев, которые обходились со мною очень дружелюбно: то прогуливался за городом — читал — писал. Третьего дня водил меня Пастор Штапфер к Господину Шпренгли, имеющему полное собрание Швейцарских птиц, множество древних медалей и других редкостей. Сам он, по жизни своей, достоин примечания не менее своего кабинета. Домик у него прекрасный, за городом, на высоком месте, откуда видны окрестныя селения и снежныя горы. [2] Ему теперь около семидесяти лет. В доме,[2] кроме его самого, мы никого не видали; пожилая служанка отправляет должность приворотника. Комнаты прибраны со вкусом, и все отменно чисто. Сей старик богат — наслаждается Натурою, изобилием, спокойствием. За несколько лет пред сим он был беден, и разбогател от наследства, полученного им нечаянно после одного дальнего свойственника. — Учася Орнитологии в молодых своих летах, покупал он разных птиц, анатомировал их и отдавал делать из них чучелы: вот основание того полного собрания, которое ныне привлекает к нему в дом почти всех путешественников, и которого не отдаст он ни за пятьдесят тысяч рублей! — Ему очень знаком наш Доктор Оз*.[3]

Вчера ходил я пешком в деревню Гиндельбанк, находящуюся в двух Французских милях отсюда. В тамошней церкви сооружен монумент так называемой *прекрасной жене*. Думаю, что вы читали или слыхали о сем памятнике, которого история достойна примечания. Господин Эрлах, знатный Бернской гражданин и помещик деревни Гиндельбанк,

призвал Немецкаго художника Наля, и подрядил его сделать мраморный монумент отцу своему. Наль, занимаяся сею работою, жил в доме у Проповедника той деревни, Г. Ланганса. Когда работа совершилась, пышный Эрлах вздумал прибегнуть к золоту, чтобы придать памятнику более великолепия. Наль говорил, что золото все испортит; но его не слушали, и гордый художник, сжав сердце, должен был повиноваться. В сие время умерла родами жена Лангансова, молодая прекрасная женщина, которую Наль любил сердечно за милыя свойства ея. Он плакал вместе с неутешным супругом; но вдруг, подобно молнии, блеснула в голове его мысль: *искусство мое да сохранит память ея в течение времен!* Обняв Ланганса, сказал он: «Слезы наши текут, и в прахе исчезают; изящныя произведения художеств живут вовеки — рука моя, повинуясь сердцу, изобразит на камне твою любезную; жители отдаленных земель захотят видеть сие изображение и в сравнении с ним будут презирать Эрлахской памятник.» — Сказал, и сделал.

Он представил мать (прекрасная Греческая фигура!), воскресающую вместе с младенцем. Камень гробный распался. Она поднимает голову; одною рукою держит сына, а другою хочет отвалить камень, и между тем с великим вниманием слушает небесную музыку, пробуждающую мертвых. Сия мысль прекрасна, и доказывает пиитической дух Художника; работа отвечает ей. Галлер сочинил к памятнику следующую надпись [4] (заставляя говорить воскресающую): [4] «Се трубный глас! он проницает в могилу. Пробудись, сын мой, и сложи с себя тленность! Спеши во сретение твоему Искупителю, от Которого бежит смерть и время! В вечное благо превращается все страдание.» Надпись хороша; но для первого мгновения, в котором представлена воскресающая, слишком плодовита. Лучше, естьли бы она сказала только: *Трубный глас!... Пробудись, сын мой! се Спаситель!* — Некоторые думают, что Художник не искусственно представил распадшийся камень, а в самом деле разломил его, вырезав прежде на нем надпись; но ревностные защитники искусства смеются над сею мыслию. Повыше Галлеровой надписи вырезан стих из Св. Писания: *Се аз и чадо мое, еже дал ми еси Ты.* Жаль только, что сей прекрасный монумент стоит [5] очень дурно! Он скрыт [6] под полом, и чтобы видеть его, то надобно поднять две доски. Об Эрлахском пышном памятнике не скажу ни слова: Художник не хотел, чтобы об нем говорили. — Нынешний Гиндельбанкской Проповедник не мог бы подружиться с Налем; в физиогномии его не приметил я [7] ничего пастырского.[7] Как он учит своих поселян, не знаю. — В Гиндельбанке есть бедный трактир, в котором я едва мог утолить свой голод; отобедав там, возвратился к вечеру в город.

Кажется, я еще не писал к вам о здешнем славном Цейггаузе. Там видите вы множество всякого оружия и всех воинских потребностей; но более внимания заслуживают латы древних Бернских Героев, славных храбростию и делами своими. Самыя большия из них принадлежали основателю Берна, Герцогу Церингенскому. Надобно, чтобы он был Гигант — и естьли не хотел взять приступом неба, то по крайней

мере ужас был его предтечею, когда он шел против неприятелей. Не знаю, любезные друзья мои, какой хлад разливается по моим жилам при виде памятников рыцарского времени, когда люди всего более верили руке своей и — Провидению; когда число побед бывало числом достоинств человека, и когда в храбрости вмещалось понятие всех добродетелей. — Пистолеты Карла *Смелого*, Герцога Бургундского, украшенные серебром и слоновою костью, показались мне также примечания достойными; я смотрел на них несколько минут, и воображал руку, их некогда державшую. —

Здесь нравы не так уже строги, как в Цирихе. Женщины и мущины сходятся вместе — обыкновенно после обеда, часа в четыре — и первыя говорят свободно, шутят и бывают душею общества. Некоторыя девицы играют на клавесине, поют, и восхищают слушателей. Знакомцы мои два раза водили меня в сии собрания, которыя были довольно многочисленны. [8] Но в карты здесь также не играют.[8] С иностранцами говорят всегда по-Французски, и притом гораздо лучше, нежели в других городах Швейцарии; что же принадлежит до здешнего Немецкого языка, то он весьма испорчен и неприятен слуху.

Бернской Аристократизм почитается самым строжайшим в Швейцарии. Некоторыя фамилии присвоили себе всю власть в Республике; из них составляется Большой Совет и Сенат (из которых первый имеет законодательную, а последний исполнительную власть); из них выбираются судьи, так называемые Ландфохты или правители в округах, на которые разделен Бернской Кантон; все прочие жители не имеют участия в правлении. Число сих аристократических или господствующих фамилий беспрестанно уменьшается; оне могут сообщать свои права другим фамилиям, но это [9] редко бывает. —

По вечерам обыкновенно выходил я на террассу, и гулял при свете лунном под ветьвями каштановых дерев, будучи углублен в приятную задумчивость. Ах, любезные друзья мои! только на горах сердце мое не было сиротою! Там казалось мне, что я к вам ближе.

Завтра поеду в Лозану, и простился уже со всеми своими знакомыми, кроме Проповедника Штапфера. [10] Сей добрый Швейцар [10] полюбил меня и мне полюбился. Всякой день проводил я в его кабинете несколько приятных часов. Все семейство его очень мило. Он запретил мне сказывать, когда я выеду [11] из Берна, и не хочет прощаться со мною. Чувствительный человек!

Здесь расстаюсь с Немецким языком, и не без сожаления.

Простите, мои друзья! Пакет свой [12] отнесу я [12] на почту. Естьли бы вы с таким удовольствием читали мои письма, с каким я пишу их!

‹72›

Лозана.

От Берна до Лозаны ехал я садом, [1] и прекраснейшим садом.[1] Дерева вокруг дороги гнулись под сочными, тяжелыми плодами, и златая осень являлась везде в самом блистательнейшем виде. День был Воскресный; нарядные поселяне веселились в кругах и пили пенистое вино, с восклицанием: *да здравствует Швейцария!*

Проехав городок Муртен, кучер мой остановился, и сказал мне: *хотите ли видеть остатки наших неприятелей?* — «Где?» — *Здесь, на правой стороне дороги.* — Я выскочил из кареты, и увидел за железною решеткою огромную кучу — костей человеческих.

Карл *Дерзостный*, Герцог Бургундский, один из сильнейших Европейских Государей своего времени, бичь человечества, ужас[2] соседственных народов, но воин храбрый, вознамерился в 1476 году покорить жителей Гельвеции, и гордость независимых смирить железным скипетром тиранства. Двинулось его воинство; разноцветныя знамена возвеялись, и земля застонала под тяжестию его огнестрельных орудий. Уже полки Бургундские во многочисленных рядах расположились на берегах Муртенского озера, и Карл, завистливым оком взирая на тихия долины Гельвеции, именовал их *своими*. В один час * разнесся по всей Швейцарии слух о близости врагов, и миролюбивые пастухи, оставив хижины и стада свои, вооружились мгновенно секирами и копьями, соединились, и при гласе труб, при гласе любви к отечеству, громко раздавшемся в сердцах их, с высоты холмов устремились на многочисленных неприятелей, подобно шумным рекам, с гор падающим. Громы Карловы загремели; но храбрые, непобедимые Швейцары сквозь дым и мрак ворвались в ряды его воинства, и громы умолкли, и ряды исчезли под сокрушительною их рукою. Сам Герцог в отчаянии бросился в озеро, и сильный конь вынес его на другой берег. Один верный служитель вместе с ним спасся; но Карл, обратив взор на поле сражения, и видя гибель всех своих воинов, в исступлении бешенства застрелил его из пистолета, сказав: *тебе ли одному оставаться?* — Победители собрали кости мертвых врагов, и положили их близь дороги, где лежат оне и поныне.

Я затрепетал, друзья мои, при сем плачевном виде нашей тленности. Швейцары! не уже ли можете вы веселиться таким печальным *трофеем?* Бургундцы по человечеству были вам братья. Ах! естьли[3] бы, омочив слезами сии остатки тридцати тысячь нещастных, [4] вы с благословением[4] предали их земле, и на месте победы своей соорудили черный монумент, вырезав на нем сии слова: *Здесь Швейцары сражались за свое отечество, победили,* [5] *но сожалели о побежденных*[5] — тогда бы я похвалил вас в сердце своем. Сокройте, сокройте сей памятник вар-

* Посредством сигналов.

варства! Гордясь именем Швейцара, не забывайте благороднейшего своего имени — имени человека!

Множество надписей читал я на стенах, которыми обведен сей открытый гроб. Вы знаете одну из них, сочиненную Галлером:

Steh still, Helvetier! hier liegt das kühne Heer,
Vor welchem Lüttich fiel, und Frankreichs Thron erbebte.
Nicht unsrer Ahnen Zahl, nicht künstlichers Gewehr,
Die Eintracht schlug den Feind, die ihren Arm belebte.
Kennt, Brüder, eure Macht: sie liegt in unsrer Treu.
O würde sie noch heut in jedem Leser neu! *

Сверх того написаны тут тысячи имен и примечаний. Где не обнаруживается склонность человека к распространению бытия своего, [6] или слуха об нем? [6] Для сего открывают новыя земли; для сего путешественник пишет имя свое на гробе Бургундцев. Многие, в память того, что они посещали этот гроб, берут из него кости: [7] я не хотел следовать их примеру.[7]

Далее за Муртеном представились мне развалины Авентикума, древнего Римского города, — развалины, состоящия в остатке колонад, стен, водяных труб, и проч. Где великолепие сего города, который был некогда первым в Гельвеции? где его жители? Исчезают царства, города и народы — исчезнем и мы, любезные друзья мои!... где будут стоять гробы наши? — Настала ночь, взошла луна и осветила могилу тех, которые некогда ликовали при ея свете.

‹73›

Лозана.

Я приехал в Лозану ночью. Город спал, и все молчало, кроме так называемого ночного караульщика, который, ходя по улицам, кричал: *ударило час, граждане!* Мне хотелось остановиться в трактире *Золотого льва*; но на стук мой отвечали так: tout est plein, Monsieur! tout est plein! (все занято, государь мой, все занято!) Я постучался в другом трактире, à la Couronne; но и там отвечали мне: tout est plein, Monsieur! — Вообразите мое положение! Ночью на улице, в неизвестном для меня городе, без пристанища, без знакомых! Ночной караульщик сжалился надо мною, и подошедши к запертым дверям трактира, уверял сонливого отвечателя, что Monsieur est un voyageur de qualité (что приехавший господин не из

* «Остановись, сын Гельвеции! здесь лежит дерзостное воинство, пред которым пал Литтих и трепетал престол Франции. Не число наших предков, не искуснейшее оружие, но согласие, оживлявшее руку их, победило врага. Познайте, братья, силу свою: она состоит в нашей верности — ах! да обновится и ныне верность сия в сердцах ваших».

простых путешественников); но нам тем же голосом отвечали: *все занято: желаю доброй ночи Господину Путешественнику!* — C'est impertinent ça (это бесстыдно!) сказал [1] мой заступник: [1] «подите за мною в трактир *Оленя*, где вас верно примут.» — Там в самом деле меня приняли, и отвели мне изрядную комнату. Добродушный караульщик с улыбкою сердечного удовольствия пожелал мне приятного сна, отказался от двадцати копеек, предложенных ему от меня, — пошел и закричал: *ударило час, любезные граждане!* Я развернул карманную книжку свою и записал: *такого-то числа, в Лозане, нашел доброго человека, который бескорыстно услуживает ближним.*

На другой день поутру исходил я весь город, и могу сказать, что он очень не хорош; лежит отчасти в яме, отчасти на косогоре, и куда ни поди, везде надобно спускаться с горы или всходить на гору. Улицы узки, нечисты и худо вымощены. Но на всяком возвышенном месте открываются живописные виды. Чистое обширное Женевское озеро; цепь Савойских гор, за ним белеющихся,[2] и рассеянныя по берегу его деревни и городки — Морж, Роль, Нион — составляют прелестную, разнообразную картину. Друзья мои! когда Судьба велит вам быть в Лозане, то взойдите на террасу кафедральной церкви, и вспомните, что несколько часов моей жизни протекло тут в удовольствии и тихой радости! Естьли бы теперь спросили меня: чем не льзя никогда насытиться? то я отвечал бы: хорошими видами. Сколько я видел прекрасных мест! и при всем том смотрю на новыя [3] с самым живейшим удовольствием.[3]

У меня было письмо к Г. Леваду (Натуралисту и Автору разных пиес, напечатанных в сочинениях Лозанского Ученого Общества). Дом и сад его мне очень полюбились; в последнем встречаются глазам Латинския, Французския и Английския надписи, выбранныя из разных Поэтов. Между прочими нашел я строфу из Аддиссоновой Оды, в которой Поэт благодарит Бога за все дары, приятые им от руки Его — за сердце, чувствительное и способное к наслаждению — и за друга, верного, любезного друга! Щастлив Г. Левад, естьли в Аддиссоновых стихах находит он собственныя свои чувства! — Сия Ода напечатана в Английском Зрителе. Некогда просидел я целую летнюю ночь за переводом ея, и в самую ту минуту, когда написал последние два стиха:

И в самой вечности не можно
Воспеть всей славы Твоея!

восходящее солнце осветило меня первыми лучами своими. Это утро было одно из лучших в моей жизни!

Вместе с Гм. Левадом был я в Café littéraire,* где можно читать [4] Французские, Английские и Немецкие Журналы. Я намерен часто посещать этот [5] кофейный дом, пока буду в Лозане. Теперь же, к нещастию, не льзя прогуливаться; почти с самого утра идет пресильный дождь.

Лозана бывает всегда наполнена молодыми Англичанами, которые

* Литературное кафе (*франц.*)

приезжают сюда учиться по-Французски и — делать разныя глупости и проказы. Иногда и наши любезные соотечественники присоединяются к ним, и вместо того, чтобы успевать в науках, успевают в шалостях. По крайней мере я никому бы не советовал посылать детей своих в Лозану, где разве только одному Французскому языку можно хорошо выучиться. Все прочия науки преподаются в Немецких Университетах гораздо лучше, нежели здесь: чему доказательством служит и то, что самые Швейцары, желающие посвятить себя учености, ездят в Лейпциг, а особливо в Геттинген. Нигде *способы учения* не доведены до такого совершенства, как ныне в Германии; и кого Платнер, кого Гейне не заставит полюбить науки, тот конечно не имеет уже в себе никакой способности. — Молодые чужестранцы живут и учатся здесь в Пансионах, платя за то шесть или семь луидоров в месяц: что составит на наши деньги около пятидесяти рублей.

Здесь поселился наш соотечественник, Граф Григорий Кириловичь Разумовский, [6]ученый Натуралист.[6] По любви к наукам отказался он от чинов, на которые знатный род его давал ему право — удалился в такую землю, где Натура столь великолепна, и где склонность его находит для себя более пищи — живет в тишине, трудится над умножением знаний человеческих в царствах Природы, и делает честь своему отечеству.[7] Сочинения его все на Французском языке. — За несколько недель перед сим уехал он в Россию, но с тем, чтобы опять возвратиться в Лозану.

Сию минуту пришел я из кафедральной церкви. Там из черного мрамора сооружен памятник Княгине Орловой, которая в цветущей молодости скончала дни свои в Лозане, в объятиях нежного, неутешного супруга. Сказывают, что она была прекрасна — прекрасна и чувствительна!... Я благословил память ея. — Белая мраморная урна стоит на том месте, где погребена Герцогиня Курляндская, которая была предметом почтения и любви всех здешних жителей. Она любила Натуру и Поэзию; Натура и Музы Британнии, вместе с Музами Германскими, образовали дух и сердце ея.

В пять часов по утру вышел я из Лозаны, с весельем в сердце — и с Руссовою Элоизою в руках. Вы конечно угадаете цель сего путешествия. Так, друзья мои! я хотел видеть собственными глазами те прекрасныя места, в которых бессмертный Руссо поселил своих романических любовников. Дорога от Лозаны идет между виноградных садов, обведенных высокою каменною стеною, которая на обеих сторонах была границею моего зрения. Но где только стена перерывается, там видны с левой стороны разнообразные уступы и возвышения горы Юры, на которых представляются глазам или прекраснейшие виноградные сады, или маленькие домики, или башни с развалинами древних замков; а на правой зеленые луга, обсаженные плодовитыми деревьями, и гладкое Женевское

озеро, с грозными скалами Савойского берега. — В девять часов был я уже в Веве (до которого от Лозаны четыре Франц. мили), и остановясь под тению каштановых дерев гульбища,[8] смотрел на каменные утесы Мельери, с которых отчаянный Сен-Прё хотел низвергнуться в озеро, и откуда писал он к Юлии следующия строки:

«В ужасных исступлениях и в волнении души моей не могу я быть на одном месте; брожу, с усилием взбираюсь на высоты, устремляюсь на вершины скал; скорыми шагами обхожу все окрестности, и вижу во всех предметах тот самый ужас, который царствует в моей внутренности. Нигде уже нет зелени; трава поблекла и пожелтела, дерева стоят без листьев, холодный ветер надувает сугробы, и вся Натура мертва в глазах моих, [9]как мертва надежда в моем сердце.[9] — Между скалами сего берега нашел я, в уединенном убежище, маленькую равнину, откуда виден щастливый город, в котором ты обитаешь. Вообрази, с какою жадностию устремился взор мой к сему любезному месту! В первый день я всячески старался найти глазами дом твой; но от чрезмерной отдаленности все мои усилия оставались тщетными; и я, приметив, что воображение обманывает глаза мои, пошел к Священнику и взял у него телескоп, посредством которого увидел [10]жилище твое. . . .[10]

«С того времени целые дни провожу в сем убежище, и смотрю на блаженныя стены, [11]заключающия в себе[11] источник жизни моей. [12]Не взирая на дурную погоду,[12] прихожу туда по утру, и возвращаюсь оттуда ночью. Листья, сухия ветьви, мною зажигаемыя, и беспрестанное движение охраняют[13] меня от чрезвычайного холода. Сие дикое место мне так полюбилось, что я приношу туда бумагу с чернилицею, и теперь пишу там письмо, на камне, отвалившемся от ближней скалы.».[14]

Вы можете иметь понятие о чувствах, произведенных во мне сими предметами, зная, как я люблю Руссо, и с каким удовольствием читал с вами его Элоизу! Хотя в сем романе много неестественного, много увеличенного — одним словом, много *романического* — однакожь на Французском языке никто не описывал любви такими яркими, живыми красками, какими она в Элоизе описана — в Элоизе, без которой не существовал бы и Немецкой *Вертер*.* — Надобно, чтобы красота здешних мест сделала глубокое впечатление в Руссовой душе; все описания его так живы, и притом так верны! Мне казалось, что я нашел глазами и ту равнину (ésplanade), которая была столь привлекательна для нещастного Сен-Прё.[14а] Ах, друзья мои! для чего в самом деле не было Юлии! для чего Руссо не велит искать здесь следов ея! Жестокой! ты описал нам такое прекрасное существо, и после говоришь: *его нет!* Вы помните это место в его Confessions: «Я скажу всем имеющим вкус, всем чувствительным: поезжайте в Веве, осмотрите его окрестности, гуляйте по озеру — и вы согласитесь,

* Основание романа то же, и многия положения (situations) в Вертере взяты из Элоизы; но в нем более Натуры.



Ж.-Ж. Руссо.

что сии прекрасныя места достойны Юлии, Клеры и Сен-Прё; [14б] но не ищите их там.» — Кокс, известный Английский Путешественник, пишет, что Руссо сочинял Элоизу, живучи [15] в деревне Мельери; но это несправедливо. Господин де Л*, о котором вы слыхали, знал Руссо и уверял меня, что он писал сей роман в то время, когда жил в *Эрмитаже*, в трех или четырех милях от Парижа.*

* Тогда я не читал еще продолжения Руссовых *Признаний* или *Confessions*, которое вышло в свет в бытность мою в Женеве, и в котором описано происхож-

Отдохнув в трактире и напившись чаю, пошел я далее по берегу озера, чтобы видеть главную сцену романа, селение *Кларан.* Высокия густыя дерева скрывают[29] его от нетерпеливых взоров. Подошел, и увидел — бедную маленькую деревеньку, лежащую у подошвы гор, покрытых елями. Вместо жилища Юлиина, столь прекрасно описанного, представился мне старый замок с башнями; суровая наружность его показывает суровость тех времен, в которыя он построен. Многие из тамошних жителей знают Новую Элоизу, и весьма довольны тем, что великой Руссо прославил их родину, сделав ее сценою своего романа. Работающий поселянин, видя там любопытного пришельца, говорит ему с усмешкою: *барин конечно читал Новую Элоизу?* Один старик показывал мне и тот лесок, в котором,

---

дение всех его сочинений по порядку. Я приведу здесь места, касающияся до Элоизы. Руссо, прославясь в Париже своею Оперою *Devin du Village* ‹«Деревенский колдун», — *франц.*› и другими сочинениями, приехал в Женеву, и был принят там [16]отменно ласково;[16] все уверяли его в своей любви, в почтении к его дарованиям, и чувствительный, растроганный Руссо обещал своим согражданам навсегда к ним переселиться, и только на короткое время съездить в Париж, чтобы учредить там дела свои. [17]«После того[17] (говорит он) я оставил все важныя упражнения, чтобы веселиться с друзьями [18]до моего отъезда.[18] Всего более полюбилась мне тогда прогулка с семейством [19]доброго Делюка.[19] В самое прекрасное время наняли мы лодку, и в семь дней объехали [20]кругом Женевского озера.[20] Места на другом конце его[21] впечатлелись в моей памяти, и через несколько лет после того я описал их в Новой Элоизе.» — Господин де Л* сказал мне правду: Руссо сочинял[22] свою Элоизу в то время, когда жил в Эрмитаже подле Парижа. Вот что говорит он о происхождении своего романа: «Я представлял себе любовь и дружбу (двух идолов моего сердца) в самых восхитительнейших образах; украсил их всеми прелестями нежного пола, всегда мною любимого; воображал себе сих друзей не мущинами, а женщинами (естьли[23] такой пример и реже, то по крайней мере он еще любезнее). Я дал им два характера сходные, но не одинакие; два образа, не совершенные, но по моему вкусу; доброта и чувствительность одушевляли их. Одна была черноволосая, другая белокурая; одна рассудительна, другая слаба, но в самой слабости своей любезная и добродетельная. [24]Одна из них имела любовника,[24] которому другая была нежным другом, и еще более, нежели другом; но только без всякого совместничества, без ревности и ссоры: ибо душе моей трудно воображать противныя чувства, и притом мне не хотелось помрачить сей картины ничем, унижающим Натуру.[25] Будучи восхищен сими двумя прекрасными образцами, я всячески сближал себя с любовником и другом; однакожь представил его молодым и прекрасным, дав ему мои добродетели и пороки. Чтобы поселить моих любовников в пристойной для них стране, я проходил в памяти своей все лучшия места, виденныя мною в путешествиях; но не мог найти ни одного совершенно хорошего. Долины Фессалийския могли бы меня удовольствовать, естьли бы я видел их; но воображение мое, [26]утомленное выдумками,[26] хотело какого нибудь существенного места, которое могло бы служить ему основанием. Наконец я выбрал берега того озера, вокруг которого сердце мое не переставало носиться» — и проч. С неописанным удовольствием читал я в Женеве сии *Confessions,* в которых так живо изображается душа и сердце Руссо.[27] Несколько времени после того воображение мое только им занималось, и даже во сне. Дух его парил надо мною. — Один молодой знакомый мне живописец, прочитав *Confessions*, так полюбил Руссо, что несколько раз принимался писать его в разных положениях, хотя (сколько мне известно) не кончил ни одной из сих картин. Я помню, что он между прочим изобразил его целующего фланелевую юбку, присланную ему на жилет [28]от Госпожи Депине.[23] Молодому живописцу казалось это очень трогательным. Люди имеют разные глаза и разныя чувства!

по Руссову описанию, Юлия поцеловала в первый раз страстного Сен-Прё, и сим магическим прикосновением потрясла в нем всю нервную систему его. — За деревенькою [30] волны озера омывают стены укрепленного замка Шильйона; унылый шум их склоняет душу к меланхолической дремоте. Еще далее, при конце озера (где впадает в него Рона) лежит Вильнёв, маленькой городок; но я посмотрел на него издали, и возвратился в Веве.[31]

О сем городе скажу вам, что положение его — на берегу прекраснейшего в свете озера, против диких Савойских утесов, и подле [32] гор плодоносных [32] — очень приятно. Он несравненно лучше Лозаны; [33] улицы ровны; [33] есть хорошие домы и прекрасная площадь. Здесь живут почти все дворяне Французской Швейцарии, или Pays-de-Vaud; * за всем тем Веве не кажется многолюдным [34] городом.

В здешний трактир вместе со мною вошли четыре человека в дорожных платьях, и вместе со мною потребовали обеда. В несколько минут мы познакомились, и я узнал, что трое из них Вестфальские Бароны, а четвертый Польский Князь. Последний возвращается из Франции в свое отечество, и заехал в Швейцарию для того,[35] чтобы взглянуть на Мельери и Кларан. Бароны *по доверенности* сказали мне (когда Поляк вышел из комнаты), что они весьма недовольны его товариществом; что он навязался на них в городке Морже, и с того времени не дает покою ушам их, беспрестанно бранясь или с кучером, или с гребцами, или с трактирщиками; и что он, по их примечанию, есть великой лжец. Скоро я имел случай увериться в справедливости сказанного ими. Лишь только мы сели за стол, Польский Князь начал бранить хозяина за кушанье; все было для него дурно, всего мало. Трактирщик напомнил ему, что он не в Варшаве; но Поляк не унялся до последнего блюда. Потом вздумал он рассказывать мне о Бастильском штурме, на котором будто бы [36] прострелили ему [36] шляпу и кафтан. Я не мог его долго слушать, чувствуя нужду в отдохновении, и ушел в отведенную мне комнату.

Всякой, кто читал примечания Коксова Переводчика, Рамона, взойдет конечно на террасу здешней церкви, чтобы, сидя между гробами, под мрачною тению столетних дерев, проводить глазами заходящее солнце, наслаждаться [37] тишиною вечернею, и видеть сгущение ночных теней на романической картине Вевейских окрестностей. Я был там, и погрузясь в самого себя, не чувствовал, как черная, величественная ночь окинула покровом своим и небо и землю. — Простите.

---

* Кантон Во (*франц.*)

‹74›

Лозана.

Вчера[1] возвратился я из Веве, и насилу дошел до Лозаны, будучи измучен зноем и жаром.

От сильного волнения в крови провел я ночь беспокойно,[2] и видел сны, из которых один показался мне [3]достойным замечания.[3] Мне привиделось, что я в большой зале стою на кафедре, и при множестве слушателей говорю речь о темпераментах. Проснувшись, [4]схватил я[4] перо и написал, что осталось [5]у меня в памяти:[5] из чего, к моему удивлению, вышло нечто порядочное. Судите сами — вот сей отрывок:

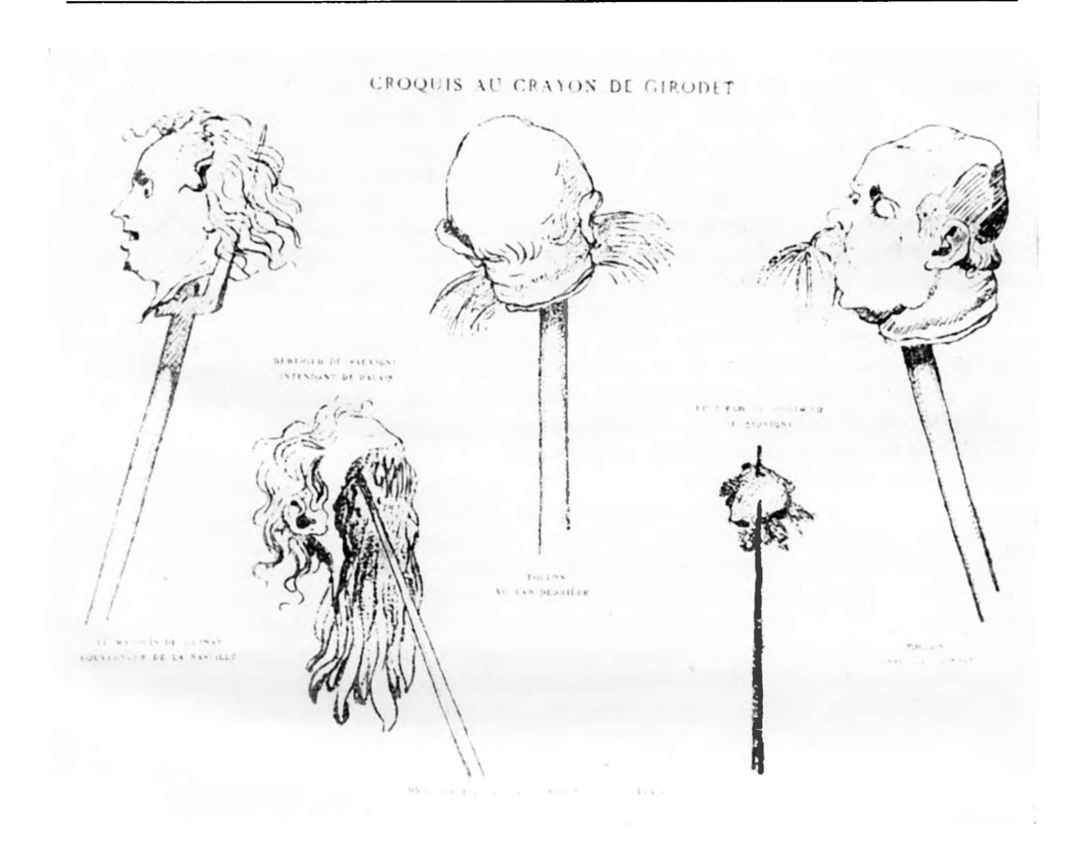
«*Темперамент* есть основание нравственного[5а] существа нашего, а *характер* случайная форма его.[6] Мы родимся с темпераментом, но без характера, который образуется мало по малу от внешних впечатлений. Характер зависит конечно от темперамента, но только отчасти, завися впрочем от рода действующих на нас предметов. Особливая способность принимать впечатления есть темперамент; форма, которую дают сии впечатления нравственному[6а] существу, есть характер. Один предмет производит разныя действия в людях[7] — от чего? от разности[8] темпераментов, или от разного свойства *нравственной*[9] *массы*, которая есть младенец.»

Вы мне поверите, что я не прибавил и не убавил, а[10] написал слова точно так, как сновидение впечатлело их в моей памяти. Кто изъяснит связь идей, во сне нам представляющихся?[11] и каким образом оне возбуждаются? Я совсем не думал наяву о темпераментах и характерах: от чего же мечтал об них?

Я завтракал ныне у Г. Левада с двумя Французскими Маркизами, приехавшими из Парижа. Они сообщили мне весьма худое понятие о Парижских дамах, сказав, что некоторыя из них, видя нагой труп нещастного дю-Фулона, [12]терзаемый на улице[12] бешеным народом, восклицали: *как же он был нежен и бел!* И Маркизы рассказывали об этом с таким чистосердечным смехом!! У меня сердце поворотилось.

Лозанския общества отличаются от Бернских вопервых тем, что в них всегда играют в карты, а во вторых и большею свободою в обращении. Мне кажется, что здешние жители переняли не только язык, но и самые нравы у Французов, по крайней мере отчасти, то есть, удержав в себе некоторую жесткость и холодность, свойственную Швейцарам. Сие смешение для меня противно. Целость, оригинальность! вы во всем драгоценны; вы занимаете, питаете мою душу — всякое подражание мне неприятно.[13]

Я слышал[14] ныне проповедь в кафедральной церкви. Проповедник был распудрен и разряжен; в телодвижениях и в голосе актерствовал до крайности. Все поучение состояло в высокопарном пустословии, а комплимент начальникам и всему красному городу Лозане был заклю-



А.-Л. Жироде-Триозон. Зарисовки уличных сцен в июне 1789 г. Голова Фулона на пике (в центре и справа).

чением. Я посматривал то на проповедника, то на слушателей; вообразил себе нашего П*, Знам. Священника, Лафатера — пожал плечами, и вышел вон. Кстати или не кстати скажу вам, что из всех церковных Риторов, которых мне удалось читать или слышать, нравится мне более [15] — Йорик.

На здешнем загородном гульбище, называемом Mont-Benon, нашел я ныне ввечеру множество людей. Какое смешение наций! Швейцары, Французы, Англичане, Немцы, Италиянцы, толпились вместе. Я сел на уединенной лавке, и дождался захождения солнца, которое, спускаясь к озеру, освещало на стороне Савоии дичь, пустоту, бедность, а на берегу Лозанском плодоносные сады, изобилие и богатство; мне казалось, что в ветерке, несущемся с противоположного берега, слышу я вздохи бедных поселян Савойских.

‹75›

Женева, Октября 2, 1789.

Вдруг три письма от вас, милые! Естьли бы вы видели, как я обрадовался! По крайней мере вы живы и здоровы! Благодарю Судьбу! Естьли щастие ваше несовершенно; естьли — — * Друзья мои! более ничего не скажу; но я хотел бы отдать вам все свои приятныя минуты, чтобы сделать жизнь вашу цепию минут, часов и дней приятных. Когда нибудь — мы будем щастливы! верно, верно будем!

От Лозаны до Женевы ехал я по берегу озера, между виноградных садов и полей, которыя впрочем не так хорошо обработаны, как в Немецкой Швейцарии, и поселяне в Pays-de-Vaud гораздо беднее, нежели в Бернском и Цирихском Кантонах. — Из городков, лежащих на берегу озера, лучше всех полюбился мне Морж.

Вы конечно удивитесь, когда скажу вам, что я в Женеве намерен прожить почти всю зиму. Окрестности Женевския прекрасны, город хорош. По рекомендательным письмам отворен мне вход в первые домы. Образ жизни Женевцов свободен и приятен — чего же лучше? Ведь мне надобно пожить на одном месте! Душа моя утомилась от множества любопытных и беспрестанно новых предметов, которые привлекали к себе ея внимание; ей нужно отдохновение — нужен тонкой, сладостный, питательный сон на персях любезной Природы.

Трактирная жизнь моя кончилась. За десять рублей в месяц я нанял себе большую, светлую, изрядно прибранную комнату в доме;[1] завел свой чай и кофе; а обедаю в Пансионе, платя за то рубли четыре в неделю. Вы не можете вообразить себе, как приятен мне теперь новый образ жизни и маленькое заведенное мною хозяйство! Встав[2] рано поутру, и надев свой походный сертук,[3] выхожу из города, гуляю по берегу гладкого озера или шумящей Роны, между садов и прекрасных сельских домиков, в которых богатые Женевские граждане проводят лето; отдыхаю[4] и пью чай в каком нибудь трактире, или во Франции, или в Швейцарии, или в Савоии (вы знаете, что Женева лежит на границе сих земель) — [5] еще гуляю,[5] возвращаюсь домой, пью с густыми сливками кофе, который варит мне хозяйка моя, Мадам Лажье — читаю книгу или пишу, — в двенадцать часов одеваюсь, в час обедаю; после обеда бываю в кофейных домах, где всегда множество людей, и где рассказываются вести; где рассуждают о Французских делах, о декретах Национального Собрания, о Неккере, о Графе Мирабо, и проч. В шесть часов иду или в театр, или в собрание — и таким образом кончится вечер.

В рассуждении здешних обществ скажу вам, что Женевцы обыкновенно зовут гостей на вечер *пить чай.* В шесть часов сходятся, пьют кофе, чай и едят бисквиты; садятся играть в карты, по большой части в Вист, и проигрывают или выигрывают рубли два, три; в десятом часу все расходятся, кроме трех или четырех коротких хозяину приятелей, которые

---

* Здесь выпущено несколько строк, писанных не для Публики.

остаются у него ужинать. На сих *вечеринках* сбирается человек по шестидесяти; тут видите вы знатных Французов, оставивших свое отечество — Немецких Принцов, Англичан, и всего менее Женевцов. Обедать или ужинать зовут редко. Г. Кела, один из Начальников или Синдиков здешней Республики, пригласил меня однажды к обеду в загородный дом свой. Стол был очень хорош. Тут познакомился я с Гишпанцом, который десять лет жил в Петербурге, отправляя должность Советника при Гишпанском Посольстве, и который, по некоторым обстоятельствам, должен был оставить свое отечество; зиму проводит он в Лионе, а лето в Швейцарии. — Барон де Лю, Лафатеров приятель, познакомил меня с Готскими молодыми Принцами, которые учатся здесь *светской науке*, или *приятному обхождению.* Я у них обедал; меньшой гораздо живее и остроумнее большого, Наследника высокого Готского трона. Вы наслышались о Бароне Г*: я улыбнулся, вспомнив, что имею честь сидеть подле его будущего [6]повелителя, который может без всякого суда — от чего Боже сохрани! — снять с него шляпу... и голову. — Вчера[6] позвал меня ужинать Г. Конклер. Я пришел в девять часов, но хозяин совсем еще неготов был принимать гостей, и сидел в своем кабинете. Через полчаса вошла хозяйка, и начали[7] сбираться гости. Между прочими был тут один глухой Барон, над которым Женевския Дамы весьма забавлялись. Оне загадывали ему загадки: Барон брался все отгадывать, но к нещастию не отгадал ни одной. На пример: *для чего Генрих IV, враг всякой пышности, имел золотыя шпоры?* Барон пять раз улыбался; пять раз отвечал, но все не в попад. Наконец вывели его из недоумения, сказав: pour piquer son cheval (чтобы шпорить[8] свою лошадь). *О! я это думал!* закричал Барон: c'est tout clair! *ничто не может быть яснее!* — Еще: *что находится* au milieu de Paris (в середине Парижа)? Барон, [9]который недавно приехал из Парижа,[9] отвечал: *город — люди — камни — грязь.* Над каждым ответом смеялись, и наконец объявили, что au milieu de Paris находится r. *Я только лишь хотел это сказать!* закричал Барон, и все захохотали. Хозяйка, которая почитается одною из разумнейших женщин Женевской Республики, расспрашивала меня о Московских дамах. Вопрос: *хороши ли оне?* Ответ: *прекрасны.* Вопрос: *умны ли оне?* Ответ: *беспримерно.* Вопрос: *сочиняют ли оне стихи?* Ответ: *бесподобные.* Вопрос: *какого роду?* Ответ: *молитвы.* — Vous badinez, Monsieur! *Вы шутите!* — «Извините, сударыня; я говорю точную правду.» — *Да разве оне очень много грешат?* — Нет, сударыня; оне молятся о том, чтобы не грешить.» — *А! это другое дело!* — Госпожа Конклер подала мне руку, и мы пошли ужинать. —

В полночь. Ныне ввечеру чувствовал я в душе своей великую тягость и скуку: каждая мысль, которая приходила ко мне в голову, давила мозг мой; мне не ловко было ни стоять, ни ходить. Я пошел в Бастион, здешнее гульбище — лег на углу вала, и дал глазам своим волю перебегать от предмета к предмету. Мало помалу голова моя облегчалась вместе с моим сердцем. Вечер был самый теплый и приятный. На обеих сторонах пред-

ставились мне горы, окруженныя облаками, которыя носились выше и ниже их вершин: вид величественный и грозный! Прямо передо мною простиралась большая равнина, усеянная рощицами, деревеньками и уединенными домиками. Все было тихо. От времени до времени — по большой дороге, идущей вдоль равнины — мчались в колясках молодые Англичане, которые, боясь следствия скоплявшихся облаков, погоняли кургузых коней своих, чтобы скорее возвратиться в город. Ветерок как птичка прилетел от Юры и шептал мне на ухо — не знаю, что. Тут вдруг ударили в барабан. Боясь, чтобы меня не заперли в Бастионе, я вскочил и вышел оттуда; но не желая расстаться с вечером, пошел на *Трель,* другое гульбище подле Ратуши, и сел на лавке под ореховыми деревьями, где представились мне те же виды, которыми веселился я в Бастионе. Темнота сгущалась; ветер усиливался, и шумел ужасно между деревами; облака неслись быстро, натекли на город, и пошел дождь. Обратив глаза на долину, вдруг увидел я множество огней, которые в темноте представляли романическое зрелище. Мне казалось, что я вижу там замки благодетельных Фей — и все сказки, которыя воспаляли младенческое мое воображение, и делали меня в ребячестве маленьким Дон-Кишотом, оживились в моей памяти. Между прочими тогдашними подвигами моими вспомнил я один вечер, сумрачный и бурный, в который, ощутив [10] вдохновение божественных Фей, укрылся я от своего, впрочем весьма бдительного дядьки, забрался в ту горницу, где хранились разныя оружия, покрытыя почтенною ржавчиною — схватил саблю, которая пришлась мне по руке, и заткнув ее за кушак тулупа своего, отправился на гумно * искать приключений и противиться силе злых волшебников; но чувствуя в себе на каждом шагу [11] умножение страха,[11] махнул саблею несколько раз по черному воздуху, и благополучно возвратился в свою комнату, думая, что подвиг мой был довольно важен. Лета младенчества! кто попомышляет об вас без удовольствия? И чем старее мы становимся, тем приятнее вы нам кажетесь.

Кто будучи в Женевской Республике, не почтет за приятную должность быть в Фернее, где жил славнейший из Писателей нашего века?

Я ходил туда пешком с одним молодым Немцом. Бывший Вольтеров замок построен на возвышенном месте, в некотором расстоянии от деревни Ферней, откуда идет к нему прекрасная алея. Перед домом, на левой стороне, увидели мы маленькую церковь, с надписью: *Вольтер Богу.*

«Вольтер был один из ревностных почитателей Божества (говорит Лагарп [12] в похвальном Слове Фернейскому мудрецу). Si Dieu n'exitait pas, il faudrait l'inventer (*естьли бы не существовал Бог, то надлежало бы Его выдумать*) — сей прекрасный стих написан им в старости, и показывает его Философию.» —

* Я жил тогда в деревне.

Человек, вышедший к нам навстречу, не хотел-было вести нас в дом, говоря, что господин его, которому известная наследница Вольтерова продала сей замок, не велел никого пускать туда; но мы уверили его в нашей благодарности, и в минуту отворилась нам дверь во святилище, в те комнаты, где жил Вольтер, и где все осталось так, как при нем было. Комнатные приборы хороши и довольно богаты. В той горнице, где стоит Вольтерова кровать, было погребено его сердце, которое Госпожа Денис[13] увезла с собою в Париж. Остался один черный монумент, с надписью:[14] son ésprit est partout, et son coeur est ici (*дух его везде, сердце его здесь*), а выше:[15] mes manes sont consolés, puisque mon coeur est au milieu de vous (*тень моя утешена, ибо сердце мое посреди вас*). На стенах висят портреты: первый нашей Императрицы (шитый на шелковой материи, с надписью:[16] presenté à Mr. Voltaire par l'Auteur,* — и на сей портрет смотрел я с бо́льшим примечанием и с бо́льшим удовольствием, нежели на другие); — второй покойного Прусского Короля; третий Лекеня, славного Парижского Актера; четвертый самого Вольтера, и (пятый) Маркизы де Шатле, которая была ему другом, и более нежели другом. Между гравированными изображениями заметил я портрет Невтона, Буало, Мармонтеля, д'Аламберта, Франклина, Гельвеция, Климента XIV, Дидрота и Делиля. Прочие эстампы и картины не важны. — Спальня Вольтерова служила ему и кабинетом, из которого он научал, трогал и смешил Европу. Так, друзья мои! должно признаться, что никто из Авторов осьмагонадесять века не действовал так сильно на своих современников, как Вольтер. К чести его можно сказать, что он распространил сию взаимную терпимость в Верах, которая сделалась характером наших времен, и наиболее посрамил гнусное лжеверие, которому еще в начале осьмагонадесять века приносились кровавыя жертвы в нашей Европе.** — Вольтер писал для читателей всякого рода, для ученых и неученых; все понимали его, и все пленялись им. [18] Никто не умел столь искусно[18] показывать смешного во всех вещах, и никакая Философия не могла устоять против Вольтеровой[19] иронии. Публика всегда была на его стороне, потому что он доставлял ей [20] удовольствие смеяться![20] — Вообще в сочинениях Вольтеровых[21] не найдем мы тех великих идей, которыя Гений Натуры, так сказать, непосредственно вдыхает в избранных смертных; но сии идеи и понятны бывают только немногим людям, и потому самому круг действия их весьма ограничен. Всякой любуется парением весеннего жаворонка; но чей взор дерзнет за орлом к солнцу? Кто не чувствует красот *Заиры*? но многие ли удивляются *Отеллу*? ***[22]

Положение Фернейского замка так прекрасно, что я позавидовал Вольтеру. Он [23] мог[23] из окон[24] своих видеть *Белую* Савойскую *гору*, высочайшую в Европе, и прочия снежныя громады вместе с зелеными равни-

---

* подарок г. Вольтеру от автора (*франц.*)

** Но я не могу одобрить Вольтера, когда он от суеверия не отличал истинной Христианской Религии, которая, по словам одного из его соотечественников, находится к первому[17] в таком же отношении, в каком находится правосудие к ябеде.

*** Тогда я так думал!

нами, садами и другими приятными предметами. Фернейской сад разведен им самим, и показывает его вкус. Всего более полюбилась мне длинная алея; при входе в нее кажется, что она примыкает к самым горам. — Большой, чистый пруд служит зеркалом для высоких дерев, осеняющих берега его.

Имя Вольтерово твердят все жители Фернея. Там, сев под ветьвями каштанового дерева, прочитал я с чувством сие место в Лагарповом похвальном Слове:

«Подданные, лишенные отца и господина своего, и дети их, наследники его благодеяний, скажут страннику, который [25] уклонится от пути своего,[25] чтобы видеть Ферней: *Вот домы, им построенные — убежище, которое дал он полезным искусствам* * — *поля, которыя обагатил он плодами. Сие многолюдное и цветущее селение родилось под его смотрением, родилось среди пустыни. Вот рощи, дороги и тропинки, где мы столь часто его видали. Здесь горестное Каласово семейство окружило своего покровителя; здесь сии нещастные обнимали колена его. Сие дерево посвящено благодарностию, и секира никогда не отделит его от корня. Он сидел под его тению, когда разоренные поселяне пришли требовать его помощи; тут проливал он слезы сожаления, и скорбь бедных превратил в радость. В сем месте видели мы его в последний раз* — — и внимающий странник, который при чтении Заиры не мог удержать слез своих, прольет, может быть, еще приятнейшия в память благотворителя.»

Мы обедали в Фернейском трактире с двумя молодыми Англичанами, и пили очень хорошее Французское вино, желая блаженства душе Вольтеровой.

От Женевы до Фернея не более шести верст, и я в семь часов вечера был уже дома.

Некоторые из здешних граждан ввели меня в свои так называемые *Серкли*, которых здесь очень много, и в которых Женевцы после обеда пьют кофе и курят табак. Тут не бывает женщин; говорят же более всего о Парижских новостях. Здешние богачи поверили Франции милионы, и до сего времени получали с них большие проценты; но теперь боятся, чтобы Французы не сказались банкрутами: от чего могут разориться в Женеве первые домы. Но тебя, бедный Север, тебя не удостоивает Женевец своего внимания! Тот, кто знает все подробности Парижских происшествий, едва ли знает, что у России со Швециею война. Визирь два раза разбит, Белград взят — никто об этом не говорит, никто не радуется. Любезная Германия! в недрах твоих звучат рюмки и стаканы, когда Слава протрубит щастливый подвиг сынов твоих; Реинвейн и вино Токайское пенятся в кубках; раздаются торжественныя песни вдохновенных Бардов. Германия! для чего я оставил тебя так скоро?

На сих днях обедал я за городом в сельском домике, вместе со многими Женевцами и чужестранными. Обед был самый веселый; все мы сидели в шляпах и пели песни. После стола одни катались в лодке по

* Известно, что Вольтер принял к себе в Ферней многих художников, которые принуждены были оставить Женеву.

озеру, другие играли *в шары,* или, сидя на крыльце, спокойно курили свои трубки. — Пробыв там до вечера, пошел я назад в город — и мог ли думать, чтобы на сем пути ожидала меня опасность? Вы конечно не угадаете, какая? Я шел задумавшись; наступил на змею, и увидел ее только тогда, как она начинала уже обвиваться вокруг ноги моей, и подымала вверх голову, чтобы сквозь чулок ужалить меня.... Но не бойтесь! я сбросил ее с ноги, прежде нежели она могла влить в нее яд свой. *Злобная тварь!* думал я, смотря, как она ползла от меня по желтому песку: *злобная тварь! жизнь твоя теперь в моих руках; но естьли Натура терпит тебя в своем царстве, то я не хочу прекращать бедного бытия твоего — пресмыкайся!* [26]

Не помню, писал ли я к вам, чтобы вы адресовали письма свои à la grande rue, No 17. На сей раз простите!

‹76›

Женева, Ноября 1, 1789.

После письма, пересланного через Лафатера, не получал я от вас ни одной строки. Не совестно ли вам так долго молчать? Вы знаете, что я только посредством вас сообщаюсь с любезным моим отечеством.

Здешняя жизнь моя довольно единообразна. Прогуливаюсь и читаю Французских Авторов, и старых и новых, чтобы иметь полное понятие о Французской Литтературе; бываю на Женевских вечеринках и в Опере. Строгий, любезный Руссо! соотечественники твои не послушались тебя, построили Театр и любят его страстно.* Здесь играют две Дижонския Трупы: одна летом и осенью, а другая зимою и весною; первая оперы, а вторая комедии и трагедии. Две или три актрисы, два или три актера, играют и поют очень изрядно. Недавно представляли Атиса, большую оперу, которой музыку сочинял славный Пичини. В композиции есть нечто великое, возвышающее душу. Ария: Vivre ou mourir,** которую поют нещастные любовники, гонимые судьбою и ревностию жестокой Цибеллы, прекрасна, несравненна. Из маленьких Французских *опереток* полюбилась мне более всех les petits Savoyards (маленькие Савояры); есть трогательныя места, и почти все голоса очень хороши.

В Пансионе вместе со мною обедает человек двенадцать. Датский Барон, Французский Маркиз, недавно приехавший из Парижа, и Капитан Женевского полку, играют за столом первыя роли. Барон путешествовал в Германии, Франции и Англии, говорит хорошо по-Немецки, и уверяет всех Французов, что он лучше их знает Французский язык, хотя

---

* Руссо с великим жаром утверждал, что Театр вреден для нравов.
** Жить или умереть (*франц.*)

не все ему в том верят. По крайней мере он бранится по-Французски не хуже площадных Парижских рыцарей. Г. Барон не терпит никаких противоречий, и готов драться всякую минуту; с презрением говорит о Женевцах, и весьма строго судит бедных здешних актеров. — Маркиз сказывает, что он приехал в Женеву отдыхать, и никак не хочет заводить знакомств, находя в уединении несказанное удовольствие. Дает чувствовать, что он Автор; хвалит Ж. Жака, и *уверяет,* что он писал электрическим пером; а Корнель, по его мнению, есть величайший из мужей, когда-либо произведенных Натурою. Вольтер, говорит он, был человек умный, но рассуждал очень худо. Однакожь Г. Маркиз собирается ехать в Ферней, думая, что в Вольтеровом кабинете крылатое вдохновение спустится на его голову — Женевский Капитан,[1] служивший несколько лет Королю Прусскому, говорит весьма охотно, и по временам осмеливается противоречить Барону; но всегда принужден бывает *ретироваться,* когда загремят громы из уст Баронских. Все пиесы, играемыя на здешнем театре, хвалит он одинаким образом. *Эдип,* по его словам, est rempli de sentiment (исполнен чувства) и опера *Кузнец* est rempli de sentiment (исполнен чувства). Простосердечие и невежество его часто заставляют нас смеяться. — Между прочими есть еще один примечания достойный человек, родом Женевец, который объездил все четыре части света, присвоил себе право лгать немилосердо, и хотел уверить меня, что многие из жителей Патагонии бывают ростом в четыре аршина.

Доктор Беккер приехал в Женеву. Мы встретились на улице и бросились обнимать друг друга, как старинные друзья обнимаются после долгой разлуки. С того времени мы всякой день видимся, иногда вместе гуляем и пьем чай перед камином; он нанял себе комнату в той же улице, где я живу. Единоземцы его, Граф Молтке и Поэт Багзен, остались в Берне. Последний скоро женится, и самым романическим образом. Я писал к вам, что Беккер поехал с ними в Луцерн. Оттуда пробрались они через горы в Унтерзеен, и пришедши в великом изнеможении на берег озера, сели в лодку, чтобы плыть в город Тун. В самую ту минуту, как лодошник хотел уже отвалить от берега, явилась молодая девушка с пожилым мущиною, — девушка лет в двадцать, приятная, миловидная, в зеленой шляпке, в белом платье, с тростью в руках, — приближилась к лодке, порхнула в нее как птичка, и с улыбкою сказала нашим путешественникам (которые, как *рыцари печального образа,* сидели повеся головы): Bonjour, Messieurs! * Они изумились от сего нечаянного явления, пристально посмотрели на девушку, взглянули друг на друга, и насилу вспомнили, что им надлежало отвечать на приветствие миловидной незнакомки. Доктор Беккер уверяет меня — а он человек правдивой — Беккер уверяет, что они отвечали ей весьма хорошо, хотя Граф на втором слове заикнулся, а Багзен и он Доктор ничего не сказали. Уже волны Тунского озера помчали лодку на влажных хребтах своих — или, просто сказать, они плыли, и начинали мало по малу разговаривать. Девушка сказала Датчанам, что она с дядею своим посещала в Унтер-

---

* Добрый день, господа! (*франц.*)

зеене больную, добрую свою кормилицу, и возвращается в Берн. Как же вы оставили ее? спросили чувствительные путешественники с видом заботливости. «Славу Богу! ей стало гораздо легче» — отвечала незнакомка. Потом она захотела знать отечество и фамилию своих сопутников; узнав же, что Граф есть внук бывшего Датского Министра, начала говорить о сем почтенном муже, об истории его времени, и показала, что ей известны Европейския происшествия. В Туне пристали к берегу. Граф подал ей руку, и вместе с товарищами своими проводил ее до трактира, где и для них нашлась комната. Тут сведали они от трактирщика, что прелестная сопутница их есть девица Галлер, внука великого Философа и Поэта сего имени. Багзен вспрыгнул от радости, и побежал к ней снова представляться,[2] и уверять ее в своем неограниченном почтении к творениям покойного ея дедушки. «Ах! естьли бы вы знали его лично!» сказала она с чувством: «в самой старости пленял он любезностию своею и больших и малых. Я не могу удержаться от слез, воображая, как он в свободные часы, — после важных, для человечества полезных трудов — беспечно и весело игрывал с нами, малыми детьми; брал меня на колени, целовал и называл своею милою Софьею.» — — Тут милая София белым платком обтерла слезы свои. Багзен плакал вместе с нею, и в восторге чувствительности осмелился поцеловать ея руку. — Наши путешественники забыли свою усталость, просидели весь вечер с девицею Галлер, и ужинали вместе с нею. На другой день им надлежало рано ехать в Берн; а София и дядя ея оставались еще в Туне. «Не ужели мы на всегда простимся?» сказал молодой Граф, смотря в глаза Софии. Багзен также смотрел ей в глаза, и еще с живейшим выражением нежности. Доктор Беккер протянул голову вперед, в ожидании ответа ея. Она улыбнулась, и подала Графу карточку: *вот адрес нашей фамилии, которая почтет за великое удовольствие угостить любезных путешественников*. Датчане изъявили ей благодарность свою, и пошли в отведенную им комнату. — На другой день по приезде своем в Берн сочли они за приятную должность явиться с почтением к девице Галлер. Ее не было дома; однакожь дядя и тетка ея приняли их очень ласково. *Скоро ли будет домой девица Галлер? скоро ли возвратится девица София? скоро ли увидим мы приятную нашу сопутницу*? вот вопросы, на которые [3]этот дядя и эта тетка[3] принуждены были отвечать всякую минуту. Наконец пришла девица Галлер, возвратилась девица София; Датчане увидели свою приятную сопутницу, и не могли удержаться от радостного восклицания при ея входе. Она обошлась с ними как с знакомыми, и показалась им еще прелестнее, еще милее. Граф, Багзен, Беккер, хотели говорить с нею вдруг, и вдруг делали ей вопросы. Одному отвечала она словами, другому улыбкою, третьему движением руки — и все были довольны. Ввечеру предложили гулянье; собрались приятели и приятельницы — но Датчане никого не видали, никого не слыхали, кроме Софии. Расстались с тем, чтобы на другой день опять видеться. Другой, третий и четвертый день были проведены почти так же. В сие время Беккер приметил, что он не может быть *первым* для Софии, умерил жар свой в обхождении с нею, и оставил все требования на отличную благосклонность ея. Граф приметил,

может быть, то же, сделался пасмурен, скоро совсем перестал ходить к Софии, и начал искать рассеяния в Бернских обществах. Что принадлежит до Багзена, то едва ли Лезбийская Песнопевица могла так страстно любить своего Фаона, как он полюбил Софию; и никогда жрица Аполлонова, сидя на златом треножнике, не трепетала так сильно в святых восторгах своих, как трепетал наш молодой Поэт, прикасаясь устами к Софииной руке. Всякое слово его одушевлялось чувством, когда он говорил с нею, и чувства его были — пламя. Он не осмеливался сказать ей: *я люблю тебя!* но нежная София понимала его, и не могла быть равнодушна к такому любовнику. Она стала не так жива и весела, как прежде — иногда задумывалась, и глаза ея блистали как молнии. Часто по вечерам гуляли они двое в алеях Бернской террасы; густыя тени каштановых дерев и лучи светлого месяца были свидетелями их непорочного обхождения, до самого того времени, как платонической любовник, в один из сих приятных вечеров упав на колени перед Софиею и схватив ея руку, сказал: *она моя! твое сердце образовано для моего сердца! мы будем щастливы!*... «Она твоя» — отвечала София, посмотрев на него с нежностию: «она твоя! и я надеюсь быть с тобою щастлива!» — Пусть другой, а не я, опишет сию минуту! — В тот же самый вечер все родственники девицы Галлер обняли Багзена как ея жениха и своего друга, и через несколько недель положили быть свадьбе. — Теперь Поэт наш наслаждается прекрасною зарею того щастия, которое ожидает его в объятиях милой супруги, и в восторге своем прославляет берег Тунского озера, где глаза его увидели, и где душа его полюбила Софию. — Между тем Граф Молтке совершенно успокоился и радуется щастию своего друга; Беккер также радуется[4] — и рассказал мне все то, что вы теперь читали.

Осень делает меня меланхоликом. Вершина Юры покрылась снегом; дерева желтеют, и трава сохнет. Брожу sur la Treille,* с унынием смотрю на развалины лета; слушаю, как шумит ветер — и горесть мешается в сердце моем с каким-то сладким удовольствием. Ах! никогда еще не чувствовал я столь живо, что течение Натуры есть образ нашего жизненного течения!... Где ты, весна жизни моей? Скоро, скоро проходит лето — и в сию минуту сердце мое чувствует холод осенний. Простите, друзья мои!

‹77›

Гора Юра, 8 Ноября 1789.

Тавернье, который объездил большую часть света, — Тавернье говорил, что он, кроме одного места в Армении, нигде не находил такого прекрасного вида, как в Обоне. Сей городок лежит на скате высокой Юры,

* по Виноградным Шпалерам (*франц.*)

недалеко от Моржа, верстах в тридцати от Женевы: и так, взяв в руки Диогенской посох, отправился я в путь, чтобы собственными глазами видеть ту картину, которою восхищался славный Французской путешественник.

Теперь, любезные друзья мои, сижу я на голубой Юре, повыше городка Обоня — смотрю, и взор мой теряется в бесчисленных красотах видимой мною страны, освещаемой вечерним солнцем.

Все Женевское светлое озеро как зеркало представляется глазам моим — по сю сторону множество городов, деревень, сельских домиков, лугов, лесочков и дорог, которыя одна другую пересекают, расходятся и опять соединяются, и на которых движутся люди как деятельные муравьи — а по ту сторону, на Савойском берегу, страшныя скалы, несколько хижин, и наконец гордая *Белая гора* в снежной своей мантии, в алоцветной короне, красимой солнечными лучами, — как царица среди прочих окружающих ее гор, высоких и гордых, но перед нею низких и смиренных.... Вознося к небесам главу свою, она вопрошает Европу: *что выше меня?* и Европа ответствует ей почтительным молчанием.

Насыщайся, мое зрение! я должен оставить сию землю.... Для чего же, когда она столь прекрасна? Построю хижину на голубой Юре, и жизнь моя протечет как восхитительный сон! ... Но ах! здесь нет друзей моих!

Величественный *рельеф* Натуры! впечатлейся в моей памяти! Увижу ли тебя еще раз в жизни моей, не знаю; но естьли огнедышущие Вулканы не превратят в пепел красот твоих — естьли земля не расступится под тобою, не осушит сего светлого озера, и не поглотит берегов его — ты будешь всегда удивлением смертных! Может быть, дети друзей моих придут на сие место: да чувствуют они, что я теперь чувствую, и Юра будет для них незабвенна! —

Солнце закатилось; но горы блистают. Темнеет синяя твердь — еще сияют три холма *Белой* горы. Шумит ветер — облака показываются на западе, разливаются по небу, и мрачная завеса скрывает от глаз моих великолепную картину.

‹78›

Обонь, 11 часов вечера.

Тавернье, возвратясь из Индии с великим богатством, купил Обонское Баронство, и хотел здесь провести остаток дней своих. Но страсть к путешествиям снова пробудилась в душе его — будучи осьмидесяти четырех лет от роду, поехал он на край севера, и скончал многотрудную жизнь свою в столице нашего государства, в 1689 году. Возвратясь в Москву, я постараюсь найти гроб сего достопамятного[1] человека, кото-

рый объездил всю Европу и Азию, шесть раз был в Турецни, Персии, Индии, и все еще не насытился путешествиями. — Отец его торговал географическими картами; сын любил их рассматривать, и часто говорил отцу: *Ах, батюшка! как бы хорошо было видеть все те земли, которыя изображены здесь на бумаге!* Вот начало его страсти! [2] —

Какое различие в судьбе человеческой! Один родится и умирает в отцевской своей хижине, не зная, что делается за полями его; другой хочет все знать, все видеть — и необозримые Океаны не могут ограничить его любопытства.

В человеческой натуре есть две противныя склонности: одна влечет сердце наше всегда к *новым* предметам, а другая привязывает нас к *старым*; одну называют *непостоянством, любовию к новостям,* а другую *привычкою.* Мы скучаем единообразием и желаем перемен; однакожь, расставаясь с тем, к чему душа наша привыкла, чувствуем горесть и сожаление. Щастлив тот, в ком сии две склонности равносильны! но в ком одна другую перевесит, тот будет или вечным бродягою, ветренным, беспокойным, мелким в духе; или холодным, ленивым, нечувствительным. Один, перебегая беспрестанно от предмета к предмету, не может ни во что углубиться, делается рассеянным, [3] и слабеет сердцем; [3] другой, видя и слыша всегда *то же да то же,* грубеет в чувствах, и наконец засыпает душею. Таким образом сии две крайности сближаются, потому что и та и другая ослабляет в нас душевныя действия. — Читайте Тавернье, Павла Люкаса, Шарденя и прочих славных путешественников, которые почти всю жизнь свою провели в странствиях: найдете ли в них нежное, чувствительное сердце? Тронут ли они душу вашу? — Ах, друзья мои! человек, который десять, двадцать лет может пробыть в *чужих* землях, между *чужими* людьми, не тоскуя о тех, с которыми он родился под одним небом, питался одним воздухом, учился произносить первые звуки, играл в младенчестве на одном поле, вместе плакал и улыбался — сей человек никогда не будет мне другом! —

Простите! Перо выпадает из рук моих, и мягкая постеля манит меня в свои объятия.

‹79›

Женева, 26 Ноября 1789.

Долго я не писал к вам, друзья мои, для того что не мог писать. Около двух недель мучила меня такая жестокая головная боль, какой я от роду не чувствовал, и которая не только не давала мне за перо приняться, но даже и спать мешала. Опершись на стол, просиживал я дни и ночи, почти без всякого движения, и закрыв глаза. Добродушная хозяйка моя, Мадам Лажье, приводила ко мне Доктора; но лекарства его не помогали.

Наконец благодетельная Натура сжалилась над бедным страдальцом, и сняла с головы моей свинцовую тягость. Вчера я в первый раз вздохнул свободно, и первый раз, вышедши на чистый воздух, поднял на небо глаза свои. Мне казалось, что вся Природа радовалась со мною — я плакал как младенец, и узнал, что болезнь не ожесточила моего сердца — оно не разучилось наслаждаться, — чувствует так же, как и прежде, и любезный образ друзей моих снова сияет в нем во всей своей ясности. Ах, милые! в сию минуту исчезло разделяющее нас пространство — я обнимал вас вместе с Натурою, вместе с целою вселенною!

Исчезни воспоминание о прошедшей болезни! Я не хочу быть злопамятен против матери моей, Природы, и забуду все, кроме того, чем она услаждает чашу дней моих! [1]

‹80›

Женева, Декабря 1, 1789.

Ныне минуло мне [1] двадцать три [1] года! В шесть часов утра вышел я на берег Женевского озера, и устремив глаза на голубую воду его, думал о жизни человеческой.

Друзья мои! дайте мне руку, и пусть вихрь времени мчит нас, куда хочет! — Доверенность к Провидению — доверенность к той невидимой Руке, которая движет и миры и атомы; которая бережет и червя и человека — должна быть основанием нашего спокойствия.

Этот день хотел бы я провести с вами: но как быть! — Стану хотя в мыслях вами радоваться. И вы конечно вспомните ныне своего друга.

Вместе с Беккером намерен я обедать у Барона де-Лю, а ужинать в трактире *Золотых весов*, где у нас будет веселый концерт.

‹81›

Женева.[1]

Вы может быть удивляетесь, друзья мои, что я по сие время ничего не говорил вам о великом Бонпете, который живет верстах в четырех от Женевы, в деревне Жанту. Мне сказали, что он весьма нездоров, глух и слеп, и никого кроме ближних родственников не принимает; почему я не имел надежды видеть сего славного Философа и Натуралиста. Но третьяго-дни Г. Кела, свойственник его, вызвался сам ехать к нему со мною, уверив меня, что посещение мое не будет ему в тягость. Мы приехали к нему поутру, но не застали его дома: он прогуливался. Г. Кела

велел ему сказать, что один Руской путешественник желает быть у него — и на другой день Боннет прислал звать меня. В назначенное время постучался я у дверей сельского его домика, был введен в кабинет Философа, увидел Боннета, и удивился. Я думал найти слабого старца, угнетенного бременем лет — обветшалую скинию, которой временный обитатель, небесный гражданин, утомленный беспокойством телесной жизни, ежедневно сбирается лететь обратно в свою отчизну — одним словом, развалины великаго Боннета. Что же нашел? хотя старца, но весьма бодрого — старца, в глазах которого блистает огонь жизни — старца, которого голос еще тверд и приятен — одним словом, Боннета, от которого можно ожидать второй *Палингенезии.** Он встретил меня почти у самых дверей, и с ласковым взором подал мне руку.[2] «Вы видите перед собою такого человека, сказал я, который с великим удовольствием и с пользою читал ваши сочинения, и который любит и почитает вас сердечно.» *Я всегда радуюсь,* отвечал он, *когда слышу, что сочинения мои приносят пользу или удовольствие благородным душам.*

Мы сели перед камином, Боннет на больших своих креслах, а я на стуле подле него. *Подвиньтесь ближе,* сказал он, приставляя к уху длинную медную трубку, чтобы лучше слышать: *чувства мои тупеют.* Я не могу от слова до слова описать вам разговора нашего, который продолжался около трех часов. Довольствуйтесь некоторыми отрывками.

Боннет очаровал меня своим добродушием и ласковым обхождением. Нет в нем ничего гордого, ничего надменного. Он говорил со мною как с равным себе; и всякой комплимент мой принимал с чувствительностию. Душа его столь хороша, столь чиста и неподозрительна, [3]что все учтивыя слова кажутся ему языком сердца: он[3] не сомневается в их искренности. Ах! какая розница между Немецким ученым и Боннетом! Первый с гордою улыбкою принимает всякую похвалу как должную дань, и мало думает о том человеке, который хвалит его; но Боннет за всякую учтивость старается платить учтивостию. Правда, что бой между нами не мог быть равен: я говорил с Философом, всему свету известным, и всеми превозносимым; а он говорил с молодым, обыкновенным, неизвестным ему человеком.

Боннет позволил мне переводить его сочинения на Руской язык. «С чего же вы думаете начать?» спросил он. [4]С *Созерцания Природы*[4] (Contemplation de la Nature) отвечал я, которое по справедливости может быть названо магазином любопытнейших[5] знаний для человека. — «Никогда не приходило мне на мысль, сказал он, чтобы это сочинение было так благосклонно принято публикою и переведено на столько языков. Вы знаете (из предисловия к Contemplation), что я хотел бросить его в камин. Но переведя *Палингенезию,* вы переведете лучшее и полезнейшее мое сочинение. Ах, государь мой! в нашем веке много неверующих!» — Ему неприятно, что на Английской и Немецкой язык переведено [6]*Созерцание Натуры*[6] без его ведома. *Когда автор еще жив,* сказал

* Титул одного из его сочинений.

он, *то надлежало бы у него спроситься.* — [7] Боннет хвалит один Спаланцаниев перевод,[7] а Немецким Переводчиком, Профессором Тициусом, весьма не доволен потому, что сей ученый Германец думал поправлять его, и собственныя свои мнения сообщал за мнения Сочинителевы. Я сказал Боннету, что Тициус, не смотря на свою ученость, во многих местах не понимал его. На пример начало: [8] je m'éleve à la Raison Eternelle,* перевел он: ich erhebe mich zu der ewigen Vernunft: грубая ошибка! Вместо Vernunft надлежало бы сказать Ursache; под словом raison разумел Автор *причину,* а не *разум.* Боннет пожал плечами, услышав от меня о сей ошибке.

Он любит Лафатера, хвалит его сердце и таланты, но не советует никому учиться у него Философии. — Лафатер, будучи не давно в гостях у Боннета, вдруг схватил с него парик и сказал сыну своему, который приехал вместе с ним: *смотри, Генрих! где ты увидишь такую голову, там учись мудрости.*

Говоря о честолюбии Авторском, Боннет сказал: «Пусть Сочинители ищут славы! Трудяся для собственной своей выгоды, они приносят пользу человечеству; ибо премудрый Творец неразрывным союзом соединил частное благо с общим.»

Жан-Жака называет он великим Ритором, слог его музыкою, а Философию — воздушным замком. Будучи усердным патриотом, Боннет не может простить согражданину своему, что он в Lettres écrites de la Montagne ** не пощадил Женевского правительства.

«В целой Европе, говорит Боннет, не найдете вы такого просвещенного города, как Женева; наши художники, ремесленники, купцы, женщины и девушки, имеют свои библиотеки, и читают не только романы и стихи, но и философическия книги.» — И я могу сказать, что Женевские парикмахеры твердят наизусть целыя тирады из Вольтера, и что Женевския Дамы, в доме у Господина К*, слушают с великим вниманием одного молодого Графа, Мартенева друга, когда он изъясняет им тайну творения.[9]

Боннет вызвался словесно или письменно объяснить для меня те места в своих сочинениях, которыя покажутся мне темными; но я избавлю его от сего труда.

Почтенный старец проводил меня до крыльца. — Знаете ли, как в просвещенной Женеве обыкновенно зовут его? *Инсектом* — для того, что он писал о насекомых!

---

* Возможен двойной перевод: «Я возношусь к Вечному Разуму» и «...к Вечной Причине» (*франц.*)

** «Письма с Горы» (*франц.*)

‹82›

Женева, Января 23, 1790.

В здешней маленькой Республике начинаются несогласия. Странные люди! живут в спокойствии, в довольстве, и все еще хотят чего-то. Ныне слышал я пышную[1] проповедь, на текст: *естьли забуду тебя, о Иерусалим! то да забудет себя рука моя, и да прилипнет язык[2] к гортани моей, естьли ты не будешь главным предметом моей радости!* * Разумеется, что Иерусалим значил Женеву. Проповедник говорил о любви к отечеству; доказывал, что Республика их щастлива со всех сторон; что для соблюдения сего благополучия всем гражданам должно жить в согласии, и что на сем общем согласии основывается личная безопасность каждого. В церкви было множество людей, а особливо женщин, хотя Ритор обращался всегда к братьям, а не к сестрам. Все вокруг меня вздыхали, все плакали — я сам несказанно был тронут, видя слезы красавиц, матерей и супруг.

Вот письмо к Боннету, писанное мною вчера поутру:

Monsieur,

Je prends la liberté de Vous écrire, parce que je crois qu'une petite lettre, quoique écrite en mauvais françois, Vous importunera moins qu'une visite qui pourroit interrompre Vos occupations quelques moments de plus.

J'ai relu encore une fois Votre *Contemplation* avec toute l'attention possible. Oui, Monsieur, je puis dire sans ostentation, que je me sens capable de traduire cet excellent ouvrage sans le défigurer, ni même affoiblir beaucoup l'énergie de Votre style; mais pour conserver toute la fraicheur de beautés, qui se trouvent dans l'original, il faudroit être un second *Bonnet*, ou doué de son génie. D'ailleurs notre langue, quoique fort riche, n'est pas assez cultivée, et nous avons encore très peu de livres de philosophie et de physique écrits ou traduits en russe. Il faudra faire de nouvelles compositions, et même créer de nouveaux noms, ce que les Allemands ont été obligés de faire, quands ils ont commencé à écrire en leur langue; mais sans être injuste envers cette dernière, dont je connois toute l'énergie et la richesse, je dirai que la notre a plus de souplesse et d'harmonie. Le sentiment de l'utilité de mon travail me donnera la force necessaire pour en surmonter les difficultés.

Vous êtes toujours si clair, et Vos expressions sont si précises, que pour aprèsent je n'ai qu'à Vous remercier de la permission, que Vous avec bien voulu me donner, de m'adresser à Vous, en cas que quelque chose dans Votre ouvrage m'embarassât. Si j'ai de la peine, ce sera de rendre clairement en russe ce qui est très clair en françois, pour peu que l'on sache ce dernier.

---

* По Французскому переводу.

Je me propose aussi de traduire Votre ***Palingénésie.*** J'ai un ami (Mr. N. N. à Moscou), qui s'éstime heureux, ainsi que moi, d'avoir lu et medité Vos ouvrages, et qui m'aidera dans mon agréable travail; et peut être que dans l'instant même où j'ai l'honneur de Vous écrire, il s'occupe à traduire un chapitre de Votre ***Contemplation*** ou de Votre ***Palingénésie,*** pour en faire un present à son ami, à son retour dans sa patrie.

En presentant au Public ma traduction, je dirai: *je l'ai vu lui-même,* et le lecteur m'enviera dans son coeur.

Dainez agréer mes remercimens de l'accueil favorable que Vous avez eu la bonté de me faire, et le respect profond, avec lequel je suis,*

Monsieur,

Votre très-humble
et très-obeissant serviteur
N. N.

Вот ответ:

Genthod, Vendredi au soir, 22 Janvier, 1790

Si je n'avois pas su, Monsieur, que vous êtes Russe de naissance, je ne m'en serois pas douté à la lecture de votre obligeante lettre. Vous maniez notre langue comme un François qui l'a cultivée, et je ne puis trop me

---

* Я осмеливаюсь писать к вам, думая, что письмо мое обеспокоит вас менее, нежели [3] посещение, которое могло бы [3] на несколько минут перервать ваши упражнения.

С величайшим вниманием читал я снова ваше [4] Созерцание Природы,[4] и могу сказать без тщеславия, что надеюсь перевести его [5] с довольною точностию; надеюсь, что не совсем ослаблю слог ваш. Но для того, чтобы сохранить всю свежесть красот, находящихся в подлиннике, мне надлежало бы иметь Боннетов дух. Сверх того язык наш хотя и богат, однакожь не так обработан, как другие, и по сие время еще весьма немногия философическия и физическия книги переведены на Руской. Надобно будет составлять или выдумывать новыя слова, подобно как составляли и выдумывали их Немцы, начав писать на собственном языке своем; но отдавая всю справедливость сему последнему, которого богатство и сила мне известны, скажу, что наш язык сам по себе гораздо приятнее. Перевод мой может быть полезен — и сия мысль послужит мне ободрением к преодолению всех трудностей.

Вы пишете [6] так ясно,[6] что на сей раз я должен только благодарить вас за данное мне позволение требовать у вас изъяснения в таком случае, естьли бы что нибудь показалось для меня непонятным в *Созерцании.*[7] Может быть, трудно будет мне выражать ясно на Руском языке то, что на Французском весьма понятно для всякого, кто хотя немного знает сей язык.

Я намерен переводить и вашу *Палингенезию.* Один приятель мой, живущий в Москве, так же как и я любит читать ваши сочинения и будет моим сотрудником; может быть в самую сию минуту, когда имею честь писать к вам, он переводит главу из *Созерцания*[8] или *Палингенезии.*

Предлагая публике перевод мой, скажу: *я видел его самого*, и читатель позавидует мне в сердце своем.

Изъявляя признательность мою за благосклонный прием,[9] с глубочайшим почтением имею честь быть — и проч.

féliciter d'avoir rencontré un Traducteur aussi capable que vous l'êtes de rendre bien son original. Vous ne rendrez sûrement pas moins bien la *Palingénésie* que la *Contemplation*, et ces deux ouvrages vous devront un honneur auquel l'Auteur sera extremement sensible, celui d'être connu d'une Nation que votre patriotisme désire d'éclairer, et qui est très susceptible d'instruction.

J'ai, Monsieur, un plaisir à vous demander; ce seroit d'accepter pour lundi prochain, 25 du courant, un petit diner philosophique dans ma retraite champêtre. Si ce jour peut vous convenir, je vous attendrois sur le midi, et nous nous entretiendrions ensemble d'un travail dont je vous suis si redevable. Veuillés me donner un mot de réponse.

Je suis charmé d'apprendre que vous ayez à Moscow un Ami inspiré par les mêmes vues qui vous animent, et la satisfaction qu'il goûte à me lire et à me méditer, m'en donne beaucoup à moi-même.

Agréez les assurances bien vraies des sentimens pleins d'estime et de considération avec lesquels j'ai l'honneur d'être,

Monsieur,
Votre très-humble
et très obéissant serviteur,
*Le Contemplateur d. l. Nature.**

‹83›

Женева, 26 Января, 1790.

День вчера был очень хорош, и я отправился в Жанту пешком; но скоро небо помрачилось, и сильный дождь принудил меня искать убежища. Я зашел в крестьянской домик, где многочисленное семейство сидело за обедом. Хозяин, узнав причину нечаянного посещения моего, принес мне стул из другой горницы, и просил меня отведать карто-

---

* Начало письма есть не что иное, как одна Французская учтивость. — «Я радуюсь, нашедши такого [10] переводчика: вы [10] конечно хорошо переведете и *Палингенезию* и *Созерцание*.[11] Автор будет вам весьма благодарен за то, что вы познакомите с его сочинениями такую нацию, которую он уважает.

Не можно ли [19] вам в Понедельник, то есть 25 числа сего месяца, отобедать со мною *по-философски* в сельском моем уединении? Естьли можно, то около двенадцати часов буду ожидать вас, и мы поговорим о том труде, которым вы намерены обязать меня. Прошу об ответе.

Мне приятно слышать, что у вас есть приятель, который вместе с вами любит просвещение, и находит удовольствие в чтении моих сочинений.

Уверяя вас в моем уважении, имею честь быть,

Государь мой,
Ваш покорный слуга,
[13] *Созерцатель Природы.*[13]

фелей, сваренных его женою. Я отведал, похвалил, и положил вилку. — «Что же вы не едите?» — Я иду обедать в Жанту, к Г. Боннету. — «К Господину Боннету? И так вы с ним знакомы?» — Знаком, хотя очень недавно. — «Какой добрый человек! Все поселяне любят его сердечно, а бедные называют отцом и благодетелем.» — [1] Он помогает им? [1] — «Конечно; никто еще не уходил от него с печальным лицем.» — И так он много раздает денег? — «Очень много; и сверх того говорит всегда так ласково, так умно, так хорошо, что у всякого слезы на глазах навертываются, и всякому хочется схватить и поцеловать руку его.» — *Правда, правда, батюшка*! сказал большой сын моего хозяина. *Правда*, повторила молодая жена его, взглянув на мужа и на меня. — — Дождь перестал, и я пошел, изъявив благодарность мою гостеприимному и добросердечному поселянину. И так Женевский мудрец не только по сочинениям, но и по делам своим есть друг человечества! [2]

Я нашел его в саду; но он тотчас повел меня в дом, приметив на кафтане моем следы дождевых капель, — посадил в кабинете своем перед камином, и велел мне греть ноги, боясь, чтобы я не простудился. Судите по сему об искусстве его пленять людей! Но душа его родилась с сим искусством — и естьли, по словам Виландовым, сочинения Боннетовы заставляют читателей любить Автора, то милое обхождение его еще увеличивает эту [3] любовь. — Ни с кем не говорю я так смело, так охотно, как с ним. И слова и взоры его ободряют меня. Он все выслушивает до конца, во все входит, на все отвечает. Какой человек! [4]

«Вы решились переводить [5] *Созерцание Природы*,[5] сказал он: начните же переводить его в глазах Автора, и на том столе, на котором оно было сочиняемо. Вот книга, бумага, чернилица, перо.» — С радостию исполнил я волю его; с некоторым благоговением приближился к письменному столу великого Философа, сел на его кресла, взял перо его — и рука моя не дрожала, хотя он стоял за мною. Я перевел титул — первый параграф — и прочитал вслух. *Слышу и не понимаю*, сказал любезный Боннет с усмешкою: *но соотечественники ваши будут конечно умнее меня. — Эта бумага останется здесь в память нашего знакомства.*

Он хотел знать, во сколько времени могу перевести Contemplation, в какой формат буду печатать эту [6] книгу, и сам ли стану читать корректуру? Мне очень приятно было, что великой Боннет входил в такия подробности; [7] но еще приятнее то,[7] что он обещал мне дать новыя, и самой Французской Публике неизвестныя примечания к *Созерцанию*,[8] которыя написаны у него на карточках, и в которых сообщает он известия о новых открытиях в науках, дополняет, объясняет, поправляет некоторыя неверности, и проч. и проч. «Я человек (сказал он), и потому ошибался; не мог сам делать всех опытов, верил другим наблюдателям, и после узнавал их заблуждения. Стараясь о возможном совершенстве моих сочинений, поправляю всякую ошибку, которую нахожу в них.» — Он хочет, чтобы я прислал к нему два экземпляра перевода моего: один для его собственной, а другой для Женевской публичной библиотеки.

Почтенный старец бережет слабые свои глаза, и почти ничего сам не пишет, а все диктует Секретарю.[9]

На вопрос, чью Философию преподают у нас в Московском Университете? отвечал я: Вольфову — отвечал наугад, не зная того верно. *Вольф есть хороший Философ*, сказал Боннет: *но только он слишком любит демонстрацию; я предпочел его методе аналитическую, которая гораздо вернее и безопаснее.*

В час мы сошли в залу нижнего этажа, где готов был обед, и где ждала нас Госпожа Боннет, которая летами моложе своего мужа, но здоровьем гораздо его слабее. Она также обласкала меня; и между тем, как Боннет ел суп, хвалила мне *тихонько* доброту его сердца. «О его разуме, о его знаниях пусть судит публика; но я знаю то, что любовь его, добронравие и нежныя попечения составляют мое щастие. Мне кажется, что без него я давно бы лишилась жизни, будучи так слаба и не здорова; видя же его подле себя, терпеливо переношу все припадки, всякую болезнь, и вместо роптания изъявляю Небу благодарность мою за такого супруга.» — О чем вы говорите? спросил Боннет, переменив тарелку. *О хорошей погоде*, отвечала Госпожа Боннет, и утерла платком глаза свои.

Я сидел между ими, как между Филемоном и Бавкидою. Обед был очень хорош, и так изобилен, как Природа, описанная хозяином. — Когда мы пили кофе, пришел тот Датчанин, живописец, о котором говорит Боннет в Contemplation, и который живет у него в доме. Он начал рассказывать о болезни Гжи. Соссюр, племянницы Боннетовой, и говоря по-Французски не очень хорошо, на третьем слове остановился, и несколько времени не мог сыскать выражения. Почтенный старец сидел, приставя к уху [10] медную трубку,[10] и с величайшим терпением дожидался, пока живописец мог изъясниться. Эта [11] черта для меня характерна, и показывает кротость Боннетовой души, которая никого и пичем оскорбить не хочет.[12]

Он вздумал проводить меня до Женевы, призвал кучера и велел ему закладывать карету. Естьли бы вы видели, какими глазами смотрел на него этот [13] кучер! и каким голосом отвечал ему: *слышу, добрый, любезный господин мой, слышу!* Все домашние любят его как отца.[14]

Жалеть ли о том, что он не имеет детей, которыя могли бы развеселить мрачную осень дней его? Но мудрец, дружелюбно беседующий с Гением Натуры — мудрец, почитающий весь род человеческой одним семейством, и трудами своими споспешествующий его просвещению и благополучию — может быть щастлив и без сего удовольствия.[15]

Гжа. Боннет любит и держит у себя птиц всякого рода: попугаев, чижей, горлиц, и проч. «Не удивляюсь вашему вкусу, сказал я: кто не любит того, что описано вашим супругом?» Боннет вслушался, и пожал руку мою. — «Однакожь знаете ли, сказал он, что я часто ссорюсь с моею женою за книги? Вчера, на пример, был у нас великой спор о Письмах дю-Пати;* слог их кажется ей прекрасным, а мне фигурным и принужденным; она находит в них сердечное красноречие, а я — одне антитезы.» — Гжа. Боннет смеялась, и говорила, что Сочинитель

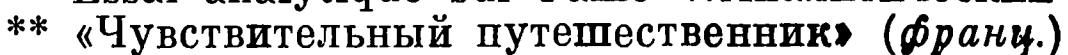
* Lettres sur l'Italie <«Письма об Италии», — *франц.*>.

[16] *Аналитического Опыта* * [16] не всегда чувствует красоты пиитическия. — Они довезли меня в своей карете до самых городских ворот. —

По сие время здесь нет зимы, и дни бывают так ясны и теплы, как у нас в исходе Августа или в начале Сентября, хотя во всей Женеве беспрестанно пылает огонь в каминах. Только один раз шел снег, и через несколько часов растаял; но все вершины гор им покрыты. Вид странный! Вверху седая зима со всеми своими ужасами, а внизу ясная осень.

На сих днях познакомился я с Господином Ульрихом, Цирихским уроженцом, который природно-глухих и немых учит говорить, читать и писать. Он живет здесь в доме одного богатого человека, у которого есть немая дочь, девушка лет тринадцати, прекрасная собою. Посредством его искусства и стараний начинает она уже изъясняться и разуметь других. Сперва — показывая ей, как для всякого слова надобно растворять рот, двигать язык и губы — научает он ее произношению тонов, а потом знаками изъясняет ей смысл их.[17] Когда другие люди говорят не скоро и произносят известныя ей слова, то она по движению губ понимает их. Все это чудно.[18] Сколько есть отвлеченных идей, которых, кажется, никак не льзя изъяснить знаками! Третьего-дни был я в гостях у сего Ульриха. При мне говорил он с своею ученицею, и так свободно, как со всяким другим. Она разумела и некоторыя из моих слов, и отвечала мне довольно хорошо; только в голосе ея есть нечто дикое и неприятное, чего уже никак не льзя поправить. Она пишет чисто,[19] и с наблюдением орфографии. Мать ея велит ей записывать, что с нею всякой день случается. Ульрих показывал мне этот [20] журнал, писанный складно, но только слишком отрывисто. Она чрезвычайно любит своего учителя, и ласкается к нему более, нежели к отцу и к матери. В журнале ея между прочим заметил я следующее: *Госпожа N. N. звала меня к себе в гости — я не пошла к ней — она не звала моего учителя.* — Ульрих ездил в Париж за тем только, чтобы видеться с Аббатом л'Епе, который завел там особливое училище для немых. Чему дивиться более: разуму ли учителя, или понятию учеников? Конечно сему последнему; но все вместе заставляет меня удивляться способностям души человеческой.[21]

На сих же днях узнал я и молодого Верна. Вам известны его *Франсиада* и Voyageur sentimental,** в которых много хорошего и трогательного. Он обедает иногда в нашем пансионе.[22]



* Essai analytique sur l'ame <«Аналитический опыт о душе», — *франц.*>.
** «Чувствительный путешественник» (*франц.*)





ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

‹84›

Женева.

Приятель мой Б* уехал[1] в Лозану. Сию минуту получил я от него письмо. Вот оно:[2]

«Ах мой друг! жалей о нещастном! Простуда, кашель, боль в груди, едвали[3] позволяют мне за перо взяться; но я непременно должен известить тебя о моем меланхолическом приключении.

Ты помнишь молодую Ивердонскую красавицу, с которою мы ужинали в Базеле, в трактире *Аиста*;* помнишь, может быть, и то, что я сидел рядом с нею; что она говорила со мною ласково, и смотрела на меня с нежностию — ах! какая гранитная гора могла защитить мое сердце от ея пронзительных взоров? Какия снежныя громады могли погасить огонь, воспаленный сими взорами в источнике жизни моей? Так, мой друг! я учился Анатомии, Медицине, и знаю, что сердце есть точно источник жизни, хотя почтенный Доктор Мегадидактос, вместе с уважения достойным Микрологосом, искал души и жизненного начала в чудесном,[4] от глаз наших укрывающемся сплетении нерв.... Но я боюсь удалиться от моего предмета, и потому, оставляя на сей раз почтеннаго Мегадидактоса и уважения достойнаго Микрологоса, скажу тебе откровенно, что Ивердонская красавица возбудила во мне такия чувства, которых — теперь описать не умею. Не знаю, что бы из меня вышло, и что бы я сделал, естьли бы она — о жестокой удар! — не уехала из трактира в самую ту ночь, в которую душа моя занималась ею с величайшим жаром, и в которую утешительный сон не смыкал глаз моих. Ты вывез меня из Базеля; путешествие, приятныя места, встреча с Француженкою, маленькой Пьер, белка, злая белка,** новыя[5] знакомства, водопады, горы, девица Г** — все сие не могло совершенно затереть образа прекрасной Ивердонки в сердце моем. Долго старался я преодолевать себя; но тщетно! Быстрая река рано или поздно разрывает все оплоты: так и любовь! Наняв в Лозане лошадь, поехал я верхом в Ивердон:[6] скакал, летел,[6] и в 10 часов утра был уже на

* Письма Руского Путеш. Ч. II стр. ‹101—102 наст. изд.›.
** Письма Руск. Путеш. Ч. II стр. ‹104—105 наст. изд.›.

месте — остановился в трактире, напудрился, снял с себя кортик, шпоры, и пошел, куда стремилось мое сердце. Там с пасмурным видом встретил меня шестидесятилетний старик, отец моей красавицы. *Милостивый государь!* сказал я: *почтение, которым душа моя преисполнена к вашей любезной дочери; великое, сильное желание видеть ее — —* В самую сию минуту она вошла. *Юлия! знаешь ли ты этого господина?* спросил у нее старик. Юлия посмотрела на меня, и учтивым образом отвечала, что она не имеет сей чести. Вообрази мое удивление![7] Я весь затрепетал — *затрепетал вслух*, как говорит Клопшток. Мне казалось, что все Швейцарския и Савойския горы обрушились на мою голову. Насилу мог я собраться с духом, и не говоря ни слова, подал беспамятной Юлии записную книжку мою, где увидела она имя свое, [8] ея собственною рукою написанное.*[8] Краска выступила на лице жестокой; она стала передо мною извиняться, и сказала отцу: *я имела честь вместе с ним ужинать в Базеле.* Он просил меня сесть. Кровь моя все еще не могла успокоиться, и я не имел духа смотреть на Юлию, которая также была в замешательстве. Старик, услышав от меня, что я Доктор Медицины, очень обрадовался, и начал говорить со мною о своих болезнях. Увы! (думал я) за тем ли Судьба привела меня в Ивердон, чтобы рассуждать о гемороидальных припадках дряхлого старика? Между тем дочь его сидела, нюхала табак, и взглядывала на меня, но совсем уже не так, как в Базеле. Взоры ея были так холодны, так холодны, как Северный Полюс. Наконец самолюбие мое, жестоко уязвленное, заставило меня — встать со стула и откланяться. *Долго ли вы пробудете в Ивердоне*? спросила Юлия приятным своим голосом (и с такою усмешкою, которая весьма ясно говорила: *надеюсь, что ты уже не придешь к нам в другой раз*). Несколько часов, отвечал я. — *В таком случае желаю вам щастливого пути.* — И щастливой практики — примолвил старик, сняв свой колпак. Мы расстались; и когда я вышел на улицу, наемный слуга, провожатый мой, сказал мне, что девица Юлия скоро выйдет за муж за Господина N. N. *А! теперь знаю причину холодного приема!* думал я, и удвоил шаги свои, чтобы скорее удалиться от дому будущей супруги Господина N. N. — Город Ивердон стал мне противен. Я с великим нетерпением дожидался обеда, и сев за стол, велел слуге оседлать мою лошадь. Вместе со мною обедало[9] четверо Англичан, которые вздумали пить мое здоровье всеми винами, какия были у трактирщика. Я сам велел подать бутылки две Бургонского, чтобы отблагодарить их — и таким образом прошло неприметно [10] около трех часов.[10] Сердце мое забыло все земное горе, и простило неверную Юлию. Англичане, по своему обыкновению, выдумывали[11] разныя *сентиментальныя* или *чувствительныя* здоровья. Мне также в свою очередь надлежало предложить три или четыре. При последнем я налил полную рюмку, поднял ее высоко и сказал громко: *кто любит красоту и нежность, тот пей со мною за здоровье Юлии, и желай красавице щастливого супружества!* Рюмки застучали, вино запенилось, и все Англичане

* Письма Руского Путеш. Ч. II стран. <102 наст. изд.>

в один голос воскликнули: *мы пьем за здоровье Юлии, и желаем красавице щастливого супружества!* — Между тем я раз десять спрашивал, готова ли моя лошадь? и десять раз отвечали мне, что она давно стоит у крыльца. Наконец слуга пришел сказать, что мне не льзя ехать. — Не льзя? для чего же? — *Становится поздно, и находят облака.* — «Вздор! я поеду! лошадь!» — Через полчаса опять пришел слуга. *Вам не льзя ехать.* — «Не льзя? для чего же?» — *Стало поздно; облака сгустились, и пошел снег.* — «Вздор! я поеду! лошадь!» — Через несколько минут слуга опять подошел ко мне. *Вам не льзя ехать!* — «Не льзя? для чего же?» — *Ночь на дворе; снег валится хлопками, и скоро сильный ветер надует везде сугробы.* — «Вздор! поеду, сию минуту поеду! лошадь!» — Сказал, встал со стула, пожал у Англичан руки, подпоясал кортик, расплатился с хозяином, вскочил на коня своего, и пустился во всю прыть по Лозанской дороге. Ветер со снегом дул мне в лице; но я протирал глаза, и беспрестанно шпорил свою лошадь. Скоро сделалась страшная вьюга, и белая тьма совсем лишила меня зрения. Я чувствовал, что еду не по дороге; но делать было нечего. Вперед, вперед, на волю Божию — и таким образом странствовал до половины ночи. Наконец добрый конь, верный товарищ мой, совсем из сил выбился, и стал. Я сошел с него, и повел его за узду; но скоро и мои силы истощились. Уже нещастный приятель твой готов был упасть на пушистую снежную постелю, покрыться снежным одеялом, и поручить участь свою Богу; хладная смерть со всеми своими ужасами вилась надо мною! Увы! я прощался уже с моим отечеством, с друзьями, с *химическими лекциями*,* и со всеми моими лестными надеждами! Но судьба изрекла мне помилование и вдруг увидел я перед собою крестьянской домик. Ты легко можешь представить себе радость мою, и для того не буду ее описывать. Довольно, что меня там приняли, отогрели, накормили, успокоили. На другой день поутру я принудил хозяина взять у меня шесть франков, и в десять часов утра возвратился в Лозану, — с жестокою простудою. Вот конец моего романа! Vale! ** В. — P. S. Как скоро уймется мой кашель, возвращусь на старое свое жилище, в Женевскую Республику, под надежный покров *великолепных* *** Синдиков. У вас, сказывают, много шуму!» Так, или почти так пишет мой Б.

Женевская кафедральная [11a] церковь напоминает мне давно-прошедшия времена. Тут был некогда храм Аполлонов; но огонь пылал в стенах его [12] и разрушил отчасти величественное здание древнего искусства — воцарилась новая Религия, и развалины языческого храма послужили основанием Християнской церкви.[13]

Вхожу во внутренность — огромно и пусто! Ищу глазами какого нибудь предмета, который мог бы занять душу мою. Мне представляется

* Приятель мой говаривал всегда с восхищением о будущих своих химических лекциях, которыми он хотел удивить всю ученую Данию.

** Будь здоров (*латин.*)

*** Их называли [1] всегда magnifiques.

громада черного мрамора, держимая львами — это гроб Герцога Рогана, которого Генрих IV [14] любил как друга, которого Людовик XIII страшился как грозного неприятеля, который жил и умер с мечем в руках и в лаврах победителя.

Avec tous les talens le Ciel l'avoit fait naitre.
Il agit en héros, en sage il écrivit; *
Il fut même grand homme en combattant son maitre,
Et plus grand lorsqu'il le servit.**

Вольтер.

Роган был главою Протестантов во Франции и предводителем их армии; но по заключении мира он лишился их доверенности. Многие из них называли его изменником, предателем, и готовы были обагрить руки свои кровию Героя, чистого в своем сердце. Безоружен и спокоен явился он среди мятущегося народа — обнажил грудь свою, и твердым голосом сказал озлобленным своим единоверцам: *разите! для вас жертвовал я моею жизнию; теперь хочу умереть от руки вашей* — сказал, и народ, устыдясь своей несправедливости, пал перед ним на колена. Так торжествует добродетель, и друг человечества проливает радостныя слезы! — Подобныя черты великодушия суть блестящия перлы в мрачной [15] Истории веков.[15]

Вместе с отцом своим покоится и нещастный Танкред. Судьба сего Принца достойна примечания и слез чувствительного человека. Роган хотел до времени таить рождение своего сына, боясь, чтобы Кардинал Ришелье [15а] не отнял его и не воспитал в Католической религии. Корыстолюбивая Танкредова сестра, желая одна владеть имением отца своего, воспользовалась сим обстоятельством, и некоторым преданным ей людям велела похитить младенца, увезти из Франции и отдать на воспитание какому нибудь человеку низкого состояния. Все сие сделалось, как она хотела, — и Танкред отдан был в Голландии одному небогатому мещанину; а Герцога и супругу его, дочь великаго Сюлли, уверили, что сын их [15б] умер. Юный Принц рос в деревне, бегал по лугам, работал в саду, и называл воспитателя своим [16] отцом, его жену матерью, а детей братьями и сестрами. Он был [17] прекрасный, умный мальчик,[17] и заслужил любовь всех тех, которые его знали. — Между тем Герцог умер. Супруга его давно уже перестала проливать слезы о любезном сыне, как вдруг, к нечаянной радости своей, получила достоверное известие,*** что он жив. В ту же минуту она послала за ним в Голландию. Танкред услышал о своем роде, и казался равнодушным; услышал о смерти отца своего, и пролил слезы; услышал о матери, об ея нетер-

* Он сочинил Les Intérêts des Princes, Le parfait Capitaine, ‹«Выгоды государей», «Превосходный полководец», — *франц.*› и другия книги.

** Небо произвело его на свет, одарив всеми талантами: он сражался как герой, как мудрец он писал. Даже сражаясь со своим государем, он был великим человеком, но еще более велик был он служа ему (*франц.*)

*** От одного из тех, которые отвезли его в Голландию.

пении видеть милого сына, и схватив присланного за руку, сказал ему: *поедем к ней!* увидел горесть воспитателя своего, горесть его жены и детей, и бросился обнимать их. *Никогда, никогда вас не забуду!* сказал он с нежностию: *никогда не перестану называть тебя отцом моим,* [18] *тебя матерью,*[18] *вас братьями и сестрами! Теперь простите: естьли мне хорошо будет в Париже, то я отпишу к вам, чтобы и вы туда приехали.* — Танкред поехал, и всякую минуту спрашивал: *скоро ли*[19] *увижу мать мою?* Он увидел ее, и нежная родительница едва не лишилась жизни от радостного восторга. . . .[20] Герцогиня немедленно объявила Танкреда сыном и наследником Герцога Рогана; однакожь дочь ея не хотела признать его своим братом. Началось дело, и до решения запрещено было молодому Рогану называться Герцогом. — Франция была тогда театром междоусобной войны. Герцог Орлеанской и Принц Конде хотели овладеть Парижем, и уничтожить Парламент; но многие дворяне, держа[21] сторону сего последнего, защищали[22] город. Осьмнадцатилетний Танкред пристал к ним, и в разных случаях оказал удивительную смелость и мужество. — Самая сия геройская пылкость погубила его. В одном сражении [23] он был оставлен[23] своими и со всех сторон окружен неприятелями, которые, щадя юного Героя, требовали, чтобы он сдался; но храбрый Танкред махал мечем вокруг головы своей и кричал: point de quartier! * il faut vaincre ou mourir! (*победить или умереть!*). Свинцовая пуля пролетела сквозь его [24] сердце, и Герой[24] умер Героем. — Сия безвременная смерть сократила жизнь нещастной Герцогини. Она велела написать над гробом его: *Здесь лежит Танкред, сын Герцога Рогана, истинный наследник добродетели и великого имени отца своего. Он умер на девятнадцатом году от рождения, сражаясь за своих сограждан. Небо показало — и скрыло его, к горести всех родственников и всех истинных сынов отечества. Маргарита Бетюн, Герцогиня де Роган, печальная вдова, неутешная мать, соорудила сей памятник, да будет оный вечным свидетельством ея скорби и любви к милому сыну.* Но злобная Танкредова сестра, по смерти матери своей, (которая также погребена в Женеве, подле супруга и сына) — злобная сестра, питая ненависть даже и к мертвому брату своему, заставила Короля писать к начальникам Женевской Республики, чтобы сия эпитафия была уничтожена. Они исполнили его приказание и стерли трогательную надпись; но я нашел ее в Histoire de Tancrede.** — Известный Скюдери сочинил тогда следующие стихи (поднесенные им самой сестре Танкредовой):

Olimpe, le pourrai-je dire,
Sans exciter votre courroux?
Le grand coeur que la France admire,
Semble déposer contre vous.
L'invincible Rohan, plus craint que le tonnerre,
*Vit finir ses jours à la guerre,****

* никакой пощады! (*франц.*)
** История Танкреда (*франц.*)
*** Сей стих можно поставить в пример слабых и непиитических стихов.

Et Tancrede a le même sort.
Cette conformité qui le couvre de gloire,
Force presque chacun à croire,
Que la belle Olimpe avoit tort,
Et que ce jeune Mars, si digne de mémoire,
Eut la naissance illustre, aussi bien que la mort. — *

В сей же церкви погребен дед Госпожи Ментенон, Теодор Агриппа Обинье, который некоторое время пользовался благосклонностию Генриха IV; но после должен был удалиться от Двора, и даже выехать из Франции.[25]

Прекрасное время продолжается. Я стараюсь им пользоваться, и часто, взяв в карман луидора три и записную книжку, странствую по Савоии, Швейцарии, или Pays de Gex, и дни через четыре возвращаюсь в Женеву.

Не давно был я на острове Св. Петра, где величайший из писателей осьмого-надесять века укрывался от злобы и предрассуждений человеческих, которыя, как Фурии, гнали его из места в место. День был очень хорош. В несколько часов исходил я весь остров, и везде искал следов Женевского гражданина и Философа: под ветьвями древних буков и каштановых дерев, в прекрасных аллеях мрачного леса, на лугах поблекших и на кремнистых свесах берега. «Здесь, думал я, здесь, забыв жестоких и неблагодарных людей.... неблагодарных и жестоких! Боже мой! [26]как горестно это чувствовать и писать!...[26] здесь, забыв все бури мирския, наслаждался он уединением и тихим вечером жизни; здесь отдыхала душа его после великих трудов своих; здесь в тихой, сладостной дремоте покоились его чувства! Где он? Все осталось, как при нем было; но его нет — нет!» Тут послышалось мне, что и лес и луга вздохнули, или повторили глубокой вздох моего сердца. Я смотрел вокруг себя — и весь остров показался мне в трауре. Печальный флер зимы лежал на Природе. — Ноги мои устали. Я сел на краю острова. Бильское озеро светлело и покоилось во всем пространстве своем; на берегах его дымились деревни; вдали видны были городки Биль и Нидау. Воображение мое представило плывущую по зеркальным водам лодку; зефир веял вокруг ее, и правил ею вместо кормчего. В лодке лежал старец почтенного вида, в Азиатской одежде; взоры его, [27]устремленные на небеса,[27] показывали великую душу, глубокомыслие, приятную задумчивость. Это он, он, — тот, кого выгнали из Франции, Женевы, Нешателя [28]— как будто бы за то,[28] что Небо одарило его отменным разумом; что он был добр, нежен и человеколюбив!

---

* Олимпия, могу ли я сказать это, не возбуждая вашего гнева? Великое сердце, которым восхищается Франция, кажется, свидетельствует против вас. Непобедимый Роган, внушавший бóльший ужас, чем гром, кончил свои дни на войне. Такова же участь и Танкреда. Это сходство, покрывшее его славой, заставляет почти каждого верить, что прекрасная Олимпия ошиблась и юный Марс, достойный того, чтобы о нем не забыли, имел столь же блистательное рождение, как и смерть (*франц.*)

Какими живыми красками описывает Руссо* приятную жизнь свою на острове Св. Петра, — жизнь, совершенно бездейственную! Кто никогда не истощал душевных сил своих в ночных размышлениях, тот конечно не может понять блаженства сего роду — блаженства сей *Субботы*, которою наслаждаются одни великие Духи при конце земного странствования, и которая приготовляет их к повой деятельности, начинающейся за прагом смерти.

Но кратко было успокоение твое! Новый удар грома перервал его, и сердце великого мужа облилось кровию. «Дайте мне умереть, — говорил он в горести души своей, — дайте мне умереть покойно! Пусть железные замки и тяжелые запоры гремят на дверях моей хижины! Заключите, заключите меня на сем острове, естьли вы думаете, что дыхание мое для вас ядовито! Но перестаньте гнать нещастного! Лишите меня дневного света, и только в ночное время позвольте мне бедному вздохнуть на свежем воздухе!» Нет, слабый старец должен проститься с любезным своим островом — и после того говорят, что Руссо был мизантроп! Скажите, кто бы не сделался таким[29] на его месте? Разве тот, кто никогда не любил человечества!

Я сидел в задумчивости, и вдруг увидел молодого человека, который, нахлучив себе на глаза круглую шляпу, тихими шагами ко мне приближался; в правой руке была у него книга. Он остановился, взглянул на меня, и сказав: Vous pensez à lui (*вы об нем думаете*), пошел прочь такими же тихими шагами. Я не успел ему отвечать и хорошенько посмотреть на него; но выговор его и зеленый фрак с золотыми пуговцами уверили меня, что он Англичанин.

На острове только один дом, в котором живет Управитель с семейством своим; тут жил и Руссо. — Сей остров, принадлежащий Берну, называется ныне по большой части Руссовым. —

Я был еще в Ивердоне, Нёшателе и в других городках Швейцарии. В Ивердонской публичной библиотеке показывают скелеты, найденные в земле лет за двадцать перед сим, близь одной мельницы. Лицами лежали они к востоку; в ногах у них стояли глиняныя урны и маленькия блюда с костями разных птиц. Тут же нашли еще несколько серебряных и медных медалей Константинова времени. — Во всей Швейцарии видно изобилие и богатство; но как скоро переступишь в Савойскую землю, увидишь бедность, людей в раздранных рубищах, множество пищих, — вообще неопрятность и нечистоту. Народ ленив, земля необработана, деревни пусты. Многие из поселян оставляют свои жилища, ездят по свету с учеными сурками и забавляют ребят. В Каруше, первом Савойском городке, стоит полк; но какие солдаты! какие Офицеры! Нещастная земля! Нещастлив и путешественник, который должен в Савойских трактирах искать обеда, или убежища на время ночи! Надобно закрыть глаза и зажать нос, естьли хочешь утолить голод; постели так чисты, что я никогда на них не ложился.

---

* В Promenades solitaires ‹«Прогулках уединенного мечтателя» — *франц.*›

Наконец мир и тишина царствуют в Женеве. Перемена, происшедшая за несколько месяцев перед сим в правлении Республики, утверждена союзными державами: Франциею, Кантоном Берном, Савоиею; и те из граждан, которые прежде были выгнаны из Женевы, могут теперь возвратиться. Не давно выбирали новых Синдиков. Все Женевцы, собравшиеся в церкви Св. Петра, подтверждали сей выбор, кладя руку на Библию. [30] Первый Синдик [30] говорил речь, и давал гражданству отчет [31] в делах своих.[31] Потом новые Синдики,[32] держа в руках жезлы правления, присягали и обещались наблюдать пользу Республики. Все было тихо и торжественно. Иностранцев впускали по билетам на галлерею.[33] —

Не давно случился здесь следующий комико-печальный анекдот. Я писал к вам о Женевском гульбище sur la Treille, где (а особливо в праздники) собирается множество людей, мущин и женщин, Женевцов и чужестранных. В последнее воскресенье один молодой Англичанин, — но не тот, которого видел я на острове Св. Петра, — к удивлению всех явился там на кургузом коне своем, пустился в галоп по алее и едва не передавил гуляющих. Здешний Полицейской судья схватил лошадь его за узду и сказал ему, что по Трели ходят, а не ездят. *А я хочу ехать*, отвечал Англичанин. — «Вам не позволят.» — *Кто, кто мне не позволит?* — «Я, именем закона.» — Англичанин высунул язык, дал шпоры своей лошади и поскакал. *Бунт! мятеж!* закричали Женевцы — и через несколько минут явился на *Трели* отряд здешней Гвардии. Вы думаете, может быть, что Англичанин скрылся? Никак — он ездил по алеям, свистал, махал своим хлыстиком, дразнил тех, которых физиогномия ему не нравилась, и хотел передавить солдат, когда они окружили его; но дерского Британца, не смотря на его храброе сопротивление, стащили с лошади и отвели в караульню. Через полчаса прибежала к нему молодая женщина, и со слезами бросилась обнимать его. Он начал говорить с нею по-Английски, и оборотившись [34] к караульному Офицеру, сказал ему: *вся ваша Республика не стоит слезы ея.* Уверяют, что Синдики за такое Женевохуление продержали его лишний день под стражею. Вчера он получил свободу и уехал из Женевы.

Граф Молтке и Поет Багзен теперь в Женеве. Они ездили на несколько дней в Париж и возвращаются опять в Берн. Багзен еще не женился, и спешит к своей невесте. Граф с восхищением говорит о своем путешествии, о Париже, Лионе, и проч; но Поэт говорит мало, потому что он весь свой жар истощает в письмах к Софии. Ныне ввечеру ходили мы прогуливаться, и я показывал им лучшия места и виды вокруг Женевы. Молтке, смотря на Белую гору, подымал руки, — громкими восклицаниями изъявлял восторг свой, — уверял, что он хотел бы жить и умереть на снежной вершине ея, и дивился тому, что никто из земных владык, для бессмертия славы своей, не вздумал намостить большой дороги от низу до верху сей горы, так, чтобы туда можно было ездить в каретах. Вы видите, что Граф любит исполинския [35] мысли! [36]

Датчане Молтке, Багзен, Беккер и я были ныне поутру в Фернее, — осмотрели все, поговорили о Вольтере, и проехали обедать в Жанту,

к [37] Созерцателю Натуры,[37] который принял нас с обыкновенною своею приветливостию. «Теперь вы окружены севером» — сказал я, когда мы сели вокруг его. *Мы многим обязаны вашему краю*, отвечал он: *там взошла новая заря наук; я говорю об Англии, которая есть также северная земля; а Линней был ваш сосед.* — Каждого из нас по очереди сажал Боннет подле себя, и со всяким находил особливую материю для разговора: с Графом, которого дедушка был Министром, говорил [37а] он о политическом состоянии Дании, с Багзеном о невесте его, с Беккером о Химии и Минералогии, со мною о Руской Литтературе и характере Женевцов. Потом разговор сделался [38] общим: Галлер [38] был предметом его. С каким жаром великой Боннет превозносил достоинства великого Галлера! Тридцать лет любили они друг друга. Слезы несколько раз показывались в глазах нашего почтенного старца. Он сыскал письма покойного друга своего, и отдал Багзену читать их; последнее, писанное Галлером за несколько дней перед его смертию, всех нас заставило плакать. Некоторыя строки остались в моей памяти; вот оне: «Скоро, любезный и почтенный друг мой! скоро не будет меня в сем мире. Обращаю глаза на прошедшую жизнь мою, и полагаясь на благость Провидения, спокойно ожидаю смерти. В сию минуту более, нежели когда нибудь, благодарю Бога за то, что я воспитан был в Християнской Религии, и что спасительныя истины ея всегда жили в моем сердце. Благодарю Его и за вашу драгоценную дружбу, которая служила мне утешением в жизни, и питала в душе моей любовь к мудрости и добродетели.... Простите, дражайший друг мой! Живите еще многия лета, и просвещайте человечество; живите и распространяйте царство добродетели!... Простите! В сию минуту душа моя к вам [39] стремится: — я [39] хотел бы обнять вас в последний раз; хотел бы в последний раз слышать из уст ваших сладостное наименование друга; хотел бы словесно изъявить вам всю признательность всю чувствительность моего сердца.... Я оставляю детей: будьте им вторым отцом, наставником, покровителем, другом!... Простите! Где и как мы увидимся, не знаю; но знаю то, что Бог премудр, благ и всесилен: [40] мы бессмертны! дружба наша бессмертна!... Скоро зашумит и подымется передо мною непроницаемая [41] завеса — слава Всевышнему!... Простите в последний раз — рука моя слабеет — в последний раз называюсь здесь вашим верным, нежным, признательным, благодарным, умирающим, но вечным другом!» — С такими чувствами, любезные друзья мои, кончил [42] жизнь свою сей великий муж — и да будет конец наш подобен его концу! — Боннет взял за руку Багзена, и сказал ему голосом растроганного сердца: *Вы женитесь на внуке его: обнимите меня!* [43]

Тут слуга пришел сказать, что Госпожа Боннет дожидается нас к обеду. Почтенный хозяин рекомендовал ей моих товарищей, и указывая на Багзена, сказал: *он любим тою, которая нам столь любезна!* [44]

За обедом Багзен должен был рассказать хозяйке, каким образом он познакомился с девицею Галлер. Я хотел бы, чтобы вы послушали его.[45] По-Французски изъясняется он с трудом; но живость его слов и движений трогает душу. — В жару своем Поэт наш заговорил-было

с Боннетом, но любезный старец, взяв его за руку, сказал ему весьма покойно: *мой друг! я Пифагореец, и обедаю в молчании.* Багзен замешался и замолчал; но Госпожа Боннет просила его досказать.[46]

После обеда ходили мы прогуливаться. «В этой беседке, говорит Боннет, сочинял я предисловие к Палингенезии; здесь, на берегу озера, первыя главы ея; тут, под высоким каштановым деревом, заключение [47] *Созерцания Природы.*[47] На чистом воздухе мысли мои бывают свежее.» — Часы или минуты сочинения — те минуты, в которыя душа его, божественным огнем согретая, предается быстрому стремлению мыслей и чувств своих — называет он щастливейшими, сладкими, небесными минутами.[48]

Разговор зашел о стихотворстве. Багзен уверял, что он никогда уже не будет писать стихами,* потому что сей род сочинений есть совсем неестественный, и мешает чувствам изливаться во всей их полноте и свободе. «Я отчасти согласен с вами, сказал Боннет, и признаюсь, что хорошая проза мне лучше нравится; но может быть для того, что я не Поэт.» — *Тот, кто в заключении Палингенезии написал:* notre P e r e!... notre P e r e!... nous...** *есть величайший из Поэтов,* сказал Багзен, и сею искреннею похвалою тронул чувствительного старца.[49]

Боннет называет Галлерову Поэму *о происхождении зла* самою лучшею из философических стихотворений; хвалит также и Essay on Man.*** Он любит и уважает Клопштока, хотя никогда с ним не видался.

Мы пробыли в Жанту до пяти часов.

‹85›

Февраля 2, 1790.

Аббат Н*, раздаватель милостыни при Французском Посольстве, играл важную ролю в Женевских обществах. Он был довольно учен, знаком со всеми Французскими славными и полуславными стихотворцами и прозаистами, остроумен, весел, забавен. От шести часов до осьми — время, в которое обыкновенно в вечерних Женевских собраниях все без исключения садятся за карточные столы — бывал [1] он душею дамской беседы, загадывал загадки, шарады; рассказывал смешные и трогательные Парижские анекдоты и тому подобное. [2] Любезный, милый Аббат! [2] говорили Дамы, садясь за карты.

В мире все подвержено перемене [3] — и вдруг веселый, забавный Аббат стал задумчив, печален, молчалив. В собраниях являлся он так же часто,

---

* Однакожь не давно выдал он многия пиесы в стихах.
** Отец наш!... Отец наш!... мы... (*франц.*)
*** «Опыт о человеке» (*англ.*)

как и прежде, но ролю играл совсем иную. Напрасно Дамы хотели ввести его в разговор: ответы его были коротки, улыбки принужденны. Что сделалось с нашим Аббатом? [4] говорили все знакомые с удивлением.[4]

Некоторыя из приятельниц [5] старались проникнуть в тайну; однакожь [6] все опыты [6] были безуспешны. На пример: «С некоторого времени вы печальны, Г. Аббат.» — Я, сударыня? Может быть. — «Друзья ваши берут участие в вашей горести, хотя и не знают [7] причины ея».[7] — [8] Мне им сказать нечего.[8] — «Позвольте в этом сомневаться.» — Как вам угодно. — — Одним словом, Аббат молчал, и Дамы наконец его оставили. Другой Аббат, приехавший из Парижа, [9] занял их своею любезностию.[9]

В сие время я узнал Н*.[10] Ему было за сорок лет; однакожь по свежести лица,[11] которая и от самой печали не увяла, всякой бы почел его тридцатипятилетним человеком. Вид [12] был сумрачен и важен; глаза томны, — но в них блистали еще [13] искры душевного огня.[13] Несколько раз встречался я с ним в уединенных своих прогулках; несколько раз находил его сидящего под каштановыми деревьями на пригорке, откуда [14] с правой стороны [14] видны снежныя Савойския горы, прямо Женевское озеро, а с левой [15] синяя гора Юра, которая простирается до самого Базеля. Ему конечно место сие было так же любезно, как и мне. Задумчив, углублен в самого себя, смотрел он на увядающий дерн — [16] уже приближалась зима [16] — или на тихое озеро. Иногда садился я подле него и думал о друзьях своих. Оба мы думали и молчали.

Секретарь Посольства, проснувшись однажды в три часа за полночь, увидел огонь в комнате у Аббата, которая от его комнаты отделялась одною перегородкою с стеклянною дверью. Ему захотелось узнать, что делает [17] Аббат... Он подошел к двери,[17] и увидел его стоящего на коленях перед Распятием. Руки его были простерты к предмету, им обожаемому; сердечное умиление изображалось на его лице, [18] блестящия слезы катились из глаз.[18] Молодой Секретарь никогда не был набожен; [19] но в сию минуту почувствовал благоговение, и стоял неподвижно.[19] Через несколько минут Аббат встал, сел и начал писать. Секретарь лег опять на постелю, но не мог заснуть. Свеча горела у Аббата до самого утра. В девять часов вышел он из своей комнаты. Глаза его были красны, лице бледно; впрочем неприметно было в нем никакого беспокойства. Секретарь спросил у него, покойно ли он спал? Очень покойно, отвечал Аббат, и предложил ему итти прогуливаться. Они вышли на *Трель*,[20] ходили взад и вперед около часа, и разговаривали о погоде и тому подобном. День был праздничный, и Аббату в десять часов надлежало служить обедню. Службу отправлял он с отменным усердием; [21] после чего, не сказав ни слова, скрылся. Настал час обеда,[21] Аббат не возвращался; настал [22] час ужина, Аббат не возвращался; прошла ночь, и его [23] все еще не было дома. Поутру Секретарь уведомил о том Резидента. Послали спрашивать [24] к знакомым; но никто не видал его. Послали наконец [25] спросить о нем в караульнях. Часовой у Швейцарских ворот сказал, что Аббат накануне в первом часу по полудни вышел из города. Спрашивали в окрестностях; но более [26] не могли о нем [26] ничего све-

дать. [27] Все пожитки его и кошелек с луидорами остались в его комнате.[27] Аббат пропал! говорили в городе, и наконец позабыли Аббата. У него не было друзей! Он не имел того, что я имею!

Там, где дикая Арва сливается с зеленою Роною, прогуливались два чужестранца, и разговаривали о жизни человеческой. Быстро, быстро течет она! сказал один из них, взглянул на стремительную Рону, и увидел — несущееся тело; большой камень остановил его.

Тело вытащили, и узнали нещастный жребий Аббата. Два месяца лежал он в воде. Глаз было совсем не видно; синее, размокшее лице устрашало взоры чувствительного. В одном кармане нашли у него муфту, в другом черную его мантию.

Труп погребли в первом Французском селении, верстах в трех от Женевы, без всякого обряда. Нет камня на могиле его — нет надписи. Страшливое суеверие бежит от сего места. Тут лежит погибший, говорят поселяне.[28]

Причина, для чего Аббат возненавидел жизнь, по сие время неизвестна.

‹86›

Женева, 28 Февраля, 1790.[1]

Не знаю, что думать о вашем молчании, любезнейшие друзья мои! С нетерпением ожидаю почты — она приходит — бегу, спрашиваю — и тихими шагами возвращаюсь домой, повеся голову, смотря в землю, и не видя ничего. Все представляю себе — и возможности устрашают меня. Ах! естьли вас не будет на свете, то связь моя с отечеством перервется — я пойду искать какой нибудь пустыни во глубине Альпийских гор, и там, среди печальных и ужасных предметов Натуры, в вечном унынии проведу жизнь мою.

Но может быть вы живы и благополучны; может быть письма ваши как нибудь пропадают — вот моя надежда, мое утешение! Сумрак и ясность, ненастье и ведро, сменяются теперь в душе моей, подобно как в непостоянном Апреле. — В самом печальном расположении принялся я за перо; теперь мне лучше.

Через три дни, друзья мои, выеду из Женевы. Главное мое упражнение состоит теперь в том, чтобы рассматривать ландкарту и сочинять план путешествия. Мне хочется пробраться в южную Францию, и видеть прекрасныя страны Лангедока и Прованса; но как я не думаю пробыть там долго, то вы должны писать ко мне в Париж, под адресом: à Messieurs Breguet et Compagnie, Quai des Morfondus, pour remettre à Mr. N. N.*

---

* Г-м Бреге и К°., набережная Продрогших, для передачи г. N. N. (*франц.*)

Естьли же по отъезде моем получены будут в Женеве от вас письма, то Г. Бьенц, любезный знакомец мой, перешлет их ко мне.

Живучи здесь, я часто досадовал на Женевцов, и несколько раз хотел описать характер их самыми несветлыми красками; но теперь, на прощаньи, не могу сказать об них ничего худого. Сердце мое помирилось с ними, и я желаю им всякого добра. Пусть цветет маленькая область их под тению Юры и Салева! Да наслаждаются они плодами своего трудолюбия, искусства и промышленности! Да рассуждают спокойно в *Серклях* своих о происшествиях мира,[2] и пусть дамы их загадывают загадки[2] глухим Баронам![3] Пусть все Европейцы с севера и юга приезжают к ним на вечеринки, играть в Виск по гривне партию, и пить чай и кофе! Да будет их Республика многия, многия лета прекрасною игрушкою на земном шаре.[4]

Ныне поутру вышел я из города в глубокой задумчивости. Но мало по малу меланхолическия мысли рассеялись; взоры мои, устремленные на величественное озеро, тихо плавали на прозрачных зыбях его. Мне стало так легко, так хорошо! Воздух был такой теплый, такой чистый! На деревах порхали птички, махали крылошками, и после зимнего молчания запевали радостныя песни, на ветьвях, еще не одетых листьями. Дыхание весны возбуждало жизнь и деятельность в Природе.

Наконец в последний раз я был у Боннета, и говоря с ним искренно, открыл ему свое горе. Он сожалел обо мне, утешал меня — голос и глаза его показывали, что [5] это сожаление, это утешение [5] было не притворное. — Обещанныя примечания к Contemplation * я получил. Беккер (который, к великому моему удовольствию, едет вместе со мною) велел мне спросить у Боннета, когда он позволит ему проститься с ним? *Он ваш приятель,* отвечал любезный старик: *и так во всякое время я буду рад ему.* Какая душа! и как мне забыть его приветливость, его ласки! — Слезы не удержались в глазах моих, когда мне надлежало с ним прощаться. «Живите (сказал я), живите для блага человечества!» Он обнял меня — желал мне щастия; желал, чтобы вы, друзья мои, были здоровы, и чтобы я скоро получил от вас письма. Милый, милый Боннет! Философ с чувством! — Я затворил за собою дверь его кабинета; но он вышел и кричал мне в след: [6] adieu, cher К..., adieu! [6] — **Боннет дал мне два адреса в Лион, к Гг. Жилиберту и де-ла-Турету, Директору и Секретарю Академии.

Целый вечер бродил я по Женевским окрестностям и прощался с любезнейшими мне местами. На высоком берегу шумящей Роны, там, где впадает в нее Арва, и где с крутой скалы низвергается пенистый ручей, просиживал я часто до самой ночи; оттуда взглянул ныне в последний раз на тихое, прекрасное озеро, на Савойскую долину, на горы и при-

* Quelques Notes additionelles pour la Traduction en Langue Russe de la *Contemplation de la Nature*, par M... ‹Несколько дополнительных примечаний для русского перевода «Созерцаний природы», выполненного г-м... — (*франц.*)›

** Прощайте, дорогой К..., прощайте! (*франц.*)

горки — вспомнил, где что думал, где что чувствовал — и едва не забыл того времени, в которое запираются городския ворота. — [7] Простите, друзья мои! [7] Естьли вы здоровы, то я доволен Судьбою, и получив от вас письмо, забуду все теперешнее горе! Простите! — Вот последняя строка из Женевы! — *Марта 1.*

‹87›

Горная деревенька в Pays de Gez,
Марта 4, 1790, в полночь.

Ныне после обеда поехали [1] мы из Женевы, в двуместной Английской карете, которую нанял я до самого Лиона за четыре луидора с талером, и по гладкой прекрасной дороге приближились [2] к Юре. Вся грусть моя исчезла; тихое веселье — неописанное, сладкое удовольствие заступило место ея в моем сердце. Никогда еще не путешествовал я так приятно, с такою удобностию. Добрый товарищ, покойная карета, услужливый извощик, перемена места — мысль о том, что скоро увижу — все это [3] привело меня в самое щастливейшее расположение, и каждый новый предмет оживлял мою радость. Беккер был так же весел, как и я; кучер наш был так же весел, как и мы. Прекрасный выезд!

Там, где гора Юра за несколько тысящелетий перед сим расступилась на своем основании, с таким треском, от которого может быть Альпы, Аппенин и Пиренеи задрожали, въехали мы во Францию при страшном северном ветре, и были встречены осмотрщиками, которые с величайшею учтивостию сказали, что им должно видеть наши вещи. Я отдал Беккеру ключь от моего чемодана и пошел в корчму. Там перед камином сидели *Монтаньяры,* или *горные жители.* Они взглянули на меня гордо, и оборотились опять к огню; но услышав приветствие мое: bonjour mes amis! (*здравствуйте, друзья!*) приподняли свои шляпы, раздвинулись и дали мне место подле огня. Важный вид их заставил меня думать, что люди, живущие между скал, на пустых утесах, под шумом ветров, не могут иметь веселого характера; мрачное уныние будет всегда их свойством — ибо душа человека есть зеркало окружающих его предметов.

Эта [4] пограничная корчма есть живой образ бедности. Вместо крыльца служат два дикие камня, один на другой положенные, и на которые должно [5] взбираться как на Альпийскую гору; внутри нет ничего, кроме голых стен, превеликого стола и десяти или двенадцати толстых отрубков или чурбанов, называемых стульями; пол кирпичный — но он почти весь выломан. — Через несколько минут пришел Беккер, и начал говорить со мною по-Немецки. Старик, который сидел за столом и ел хлеб с сыром, протянул уши, улыбнулся и сказал: *даичь! даичь!* давая нам разуметь, что он знает, каким языком мы говорим между собою. *Не удив-*

ляйтесь, продолжал старик; *я служил*[6] *несколько кампаний в Немецкой земле и в Нидерландах, под начальством храброго Саксонского Маршала. Вы конечно слыхали о сражении при Фонтенуа: там ранили меня в левую руку. Смотрите — я не могу поднять ее выше этого.* — «Почтенный воин! сказал я, подошедши к нему, и взяв его за правую руку: дозволь[7] мне посмотреть на тебя.» — Инвалид усмехнулся. «Давно ли ты в отставке, добрый старик?» спросил Беккер. «Тридцать лет, отвечал он — много времени! не правда ли, барин? Мой Фельдмаршал давно[8] лежит в земле.» — Мы видели гроб его. — «Вы видели гроб его? где?» — В Страсбурге, мой друг. — «В Страсбурге? Это далеко отсюда; я не дойду туда — а мне хотелось бы поклониться его праху. Он был герой, государи мои — Генерал, каких ныне уже нет, и быть не может. Солдаты [9] любили в нем отца.[9] Я как теперь смотрю на него: какой взор! какой голос! В день нашей победы его возили на тележке — жестокая болезнь не позволяла ему сесть на лошадь — однакожь он повелевал, ободрял, и мы дрались как львы, как отчаянные. Я забыл рану мою, и тогда уже упал на землю, когда вся наша армия в один голос воскликнула победу, и когда неприятели бежали[10] от нас как робкие зайцы. Какой день! какой день!» — Старик поднял вверх голову, и более двадцати лет свалилось в одну минуту с плеч его; число морщин на ветхом лице уменьшилось; тусклые глаза стали светлее, и осьмидесятилетний воин с толстою своею клюкою готов был маршировать против всех соединенных армий Европы. Я спросил вина, налил ему рюмку, и сказал: «здоровье[11] храбрых, заслуженных *Ветеранов!*» — *И молодых путешественников!* примолвил старик с улыбкою, и выпил до дна. — Мы узнали от него, что он живет у своего внука в одной из горных деревень, ходил в гости к другому внуку, и зашел в корчму отдохнуть. Между тем нам должно было ехать. Я хотел было дать ему *экю,* но побоялся оскорбить благородную гордость старого героя. Он проводил нас до крыльца, и кричал осмотрщикам: «я надеюсь, государи мои, что вы были учтивы против иностранных господ!» *Конечно!* отвечали они со смехом, и пожелали нам щастливого пути, не требуя с нас ни копейки.[12]

Мы долго ехали [13]отверстием Юры,[13] которая с обеих сторон дороги возвышалась как гранитная стена — и на сих страшных утесах, над головами нашими, по узеньким тропинкам ходили люди, согнувшись под тяжелыми ношами, или гоня перед собою навьюченных ослов. Не льзя без ужаса смотреть на них; кажется, что они всякую секунду [14]готовы упасть.[14] — Нас остановили в первой Французской крепости, *Фор де-л'Еклюз,* которую можно назвать неприступною, потому что со всех сторон ограждают ее неизмеримыя пропасти и крутизны. Сто человек [15]могут защитить эту крепость[15] против десяти тысяч неприятелей. Тамошний гарнизон состоит изо 150 инвалидов, под командою старого Майора, который должен был подписать имя свое на пропуске нашем. Я позабыл сказать вам, что мне дали в Женеве паспорт — следующего содержания:

Nous Syndics et Conseil de la Ville et Republique de Geneve, certifions à tous ceux qu'il appartiendra que Monsieur K*.[16] agé de 24 ans, Gentilhomme Russe, lequel allant voyager en France, afin qu'en son Voyage il ne lui

soit fait aucun deplaisir, ni moleste, Nous prions, et affectueusement requerons, tous ceux qu'il appartiendra, et auxquels il s'adressera, de lui donner libre et assuré passage dans les Lieux de leur Obéissance, sans lui faire, ni permettre être fait, aucun trouble ni empêchement, mais lui donner toute l'aide et l'assistance qu'ils desireroient de nous, envers ceux qui de leur part nous seroient recommandés. Nous offrons de faire le semblable toutes les fois que nous en serons requis. En foi de quoi nous avons donné les Presentes sous notre Sceau et Seing de notre Secretaire, ce premier Mars Mil sept cent quatrevingt dix.

PAR MESDITS SEIGNEURS SYNDICS ET CONSEIL.

*Puerari.**

И так естьли кто нибудь оскорбит меня во Франции, то я имею право принести жалобу Женевской Республике и, она должна за меня вступиться! Но не думайте, чтобы *великолепные* Синдики из отменной благосклонности дали мне эту [17] грамоту: всякой может получить такой паспорт. —

Ночью приехали мы к тому месту, которое называется la perte du Rhone,** вышли из кареты, и хотели спуститься на берег реки; но добросердечный извощик не пустил нас, уверяя, что один нещастливый шаг может стоить нам жизни. Не далеко от дороги светился огонь. Мы нашли там маленькой домик, и постучались у ворот. Через минуту явилось шесть или семь человек, которые, услышав, что нам надобно, взяли фонари, и повели или, лучше сказать, понесли нас вниз по каменному утесу. При слабом свете фонарей видели мы везде страшную дичь. Ветер шумел, река шумела — и все вместе составляло нечто весьма Оссианское. С обеих сторон ряды огромных камней сжимают Рону, которая течет с ужасною быстротою и с ревом. Наконец сии навислыя стены сходятся, и река совершенно скрывается под ними; слышен только шум ея подземного течения. По камням, образующим над нею высокой свод, можно

* «Мы, Синдики и Совет Города и Республики Женевы, сим свидетельствуем всем, до кого сие имеет касательство, что, поелику господин К., двадцати четырех лет от роду, русский дворянин, намерен путешествовать по Франции, то, чтобы в его путешествии ему не было учинено никакого неудовольствия, ниже досаждения, мы всепокорнейше просим всех, до кого сие касается, и тех, к кому он станет обращаться, давать ему свободный и охранный проезд по местам, находящимся в их подчинении, не чиня ему и не дозволяя причинить ему никаких тревог, ниже помех, но оказывать ему всяческую помощь и споспешествование, каковые бы они желали получить от нас в отношении тех, за кого бы они, со своей стороны, перед нами поручительствовали бы. Мы обещаем делать то же самое всякий раз, как нас будут о том просить. В каковой надежде выдано нами настоящее за нашей печатью и за подписью нашего Секретаря сего 1 марта 1790 г.

От имени вышеназванных господ Синдиков и Совета — Пюэрари» (*франц.*)

** исчезновение Роны (*франц.*)

ходить без всякой опасности. В нескольких саженях оттуда она опять вытекает с клубящеюся пеною, мало по малу расширяется, стремится уже не так быстро, и светлеет между берегов своих. — Тут пробыли мы около сорока минут, и возвратились к карете, заплатив гривен шесть нашим провожатым.* [18]

Проехав еще версты четыре, остановились мы ночевать в одной маленькой деревеньке. В трактире отвели нам очень хорошую и чисто прибранную комнату; развели в камине огонь, [19] через час [19] приготовили ужин, состоявший из шести или семи блюд с десертом. Внизу веселились горные жители, и пели простыя свои песни, которыя, соединяясь с шумом ветра, приводили душу мою в уныние. Я вслушивался в мелодии, и находил в них нечто сходное с нашими народными песнями, столь для меня трогательными. Пойте, горные друзья мои, пойте, и приятностию гармонии услаждайте житейския горести! ибо и вы имеете печали, от которых бедный человек ни за какою горою, ни за какою пропастью укрыться не может. И в вашей дикой стороне [20] друг оплакивает друга, любовник любовницу. — Трактирщица [21] рассказала нам следующий анекдот:

Все девушки здешней деревни заглядывались на любезного Жана; все молодые люди засматривались на милую Лизету.[22] Жан с самого младенчества любил одну Лизету, Лизета любила одного Жана. Родители их одобряли сию взаимную, нежную склонность, и щастливые любовники надеялись уже скоро соединиться навеки. В один день, гуляя по горам вместе с другими молодыми людьми, пришли они на край ужасной стремнины. Жан схватил Лизету за руку, и сказал ей: *удалимся! страшно!* — *Робкой!* отвечала она с усмешкою: *не стыдно ли тебе бояться? земля тверда под ногами. Я хочу заглянуть туда* — сказала, вырвалась у него из рук, приближилась к пропасти, и в самую ту минуту камни под ея ногами покатились. Она ахнула — хотела схватиться, но не успела — гора трещала — все валилось — нещастная низверглась в бездну, и погибла! — Жан хотел броситься за нею — ноги его подкосились — он упал без чувств на землю. Товарищи его побледнели от ужаса — кричали: *Жан! Жан!* но Жан не откликался; толкали его, но он молчал; приложили руку к сердцу — оно не билось — Жан умер! Лизету вытащили из пропасти; черепа не было на голове ея; лице - - - Но сердце мое содрогается. — — Отец Жанов пошел в монахи. Мать Лизетина умерла с горести.[23]

---

* В память этой ночной сцены храню я несколько блестящих камешков, находимых близь того места, где скрывается Рона.

‹88›

6 Марта, 1790.

В пять часов утра выехали мы вчера из горной деревеньки. Страшный ветер грозил беспрестанно опрокинуть нашу карету. Со всех сторон окружали нас пропасти, из которых каждая напоминала мне Лизету [1] и Жана — пропасти, в которыя нельзя смотреть без ужаса. Но я смотрел в них, и в этом [2] ужасе находил некоторое неизъяснимое удовольствие, которое надобно приписать особливому расположению души моей. Жерло всякой бездны *обсажено* острыми камнями; а во глубине или внизу нередко видна прекрасная мурава, орошаемая каскадами. Дерзкия козы спускаются туда и щиплют зелень. В иных местах, на вершине скал, заростают травою печальные остатки древних рыцарских замков, бывших в свое время неприступными. Там богиня Меланхолия во мшистой своей мантии сидит безмолвно на развалинах, и неподвижными очами смотрит на течение веков, которые один за другим мелькают в вечность, оставляя едва приметную тень на земном шаре. — Такия мысли, такие образы представлялись душе моей — и я по целым часам сидел в задумчивости, не говоря ни слова с моим Беккером.[3]

Дорога в сих диких местах так широка, что две кареты могут свободно разъехаться. Надлежало рассекать целыя каменныя горы, для того, чтобы провести ее: подумайте об ужасном труде и миллионах, которых она стоила! Таким образом трудолюбие и политическое просвещение народов [4] торжествует, так сказать, над Естеством,[5] и гранитныя преграды как прах рассыпаются под секирою всемогущего человека, который за безднами и за горами ищет подобных себе нравственных [6] существ, чтобы с гордою улыбкою сказать им: *и я живу на свете!*

Наконец мне душно стало в карете — я ушел пешком далеко, далеко вперед, и в лесу встретил четырех молодых женщин, которыя все были в зеленых Амазонских платьях, в черных шляпах; все белокурыя, и прекрасныя лицем. Я остановился и смотрел на них с удивлением. Оне также взглянули на меня, и одна из них сказала с лукавою усмешкою: *берегите свою шляпу, государь мой! ветер может унести ее.* Тут я вспомнил, что мне надлежало снять шляпу и поклониться красавицам. Оне засмеялись и прошли мимо. — Это были путешествующие Англичанки: четвероместная карета ехала за ними. Впрочем нам встречалось не много проезжих.[7] —

Вчера ввечеру спустились мы в пространныя равнины. Я почувствовал некоторую радость. Долго представлялись глазам моим необозримыя цепи высоких гор, и вид плоской земли был для меня нов. Я вспомнил Россию, любезное отечество, и мне казалось, что она уже не далеко. Так лежат поля наши — думал я, предавшись сему мечтательному чувству — так лежат поля наши, когда весеннее солнце растопляет снежную одежду их, и оживляет озими, надежду текущего года! — Вечер был прекрасный; умолкли горные ветры; приятная теплота разливалась в лучах заходящего светила. Но вдруг пришло мне на мысль, что друзей моих, может

быть, нет на свете — прощайте, все приятныя чувства! Я желал возвратиться на горы и слушать шум ветра. —

В самых диких местах, в самых беднейших деревеньках находили мы хорошие трактиры, сытный стол и чистую комнату с камином. За обед обыкновенно брали с нас двоих 70 су (около рубля двадцати копеек), а за ужин и ночлег 80 или 85 су: что составит на наши деньги рубли полтора. Две вещи отменныя приметил я во Французских *обержах*: первое, что в ужин не подают супа, следственно on soupe sans soupe; * второе, что на стол кладут только ложки с вилками, предполагая, что у всякаго путешественника есть свой нож. — Нигде не видал я таких мерзостных надписей, как в сих трактирах. Для чего вы их не стираете? спросил я однажды у хозяйки. *Мне не случилось взглянуть на них,* отвечала она: *кто станет читать такой вздор?*

В одном маленьком местечке нашли мы великое стечение народа. Что у вас делается? спросил я. — «Сосед наш Андрей (отвечала мне молодая женщина), содержатель трактира под вывескою *Креста*, сказал вчера в пьянстве *перед целым светом*, что он плюет *на нацию*. Все патриоты взволновались и хотели его повесить: однакожь наконец умилостивились, дали ему проспаться, и принудили его ныне публично в церкви, на коленях,[8] просить прощения у милосердаго Господа. Жаль мне бедного Андрея!» —

‹89›

Лион, 9 Марта, 1790.

За две мили открылся нам *Лион. Рона*, которая снова явилась подле дороги, и в обширнейшем течении, вела нас к сему первокласному Французскому городу, отделяя *Брес* от *Дофине*, одной из пространнейших Французских провинций, которую вдали [1] венчают покрытыя снегом горы,[1] отрасли Савойских Гигантов. — Издали казался Лион не так велик, каков он в самом деле. Пять или шесть башен подымались из темной громады зданий.[2] — Когда мы подъехали ближе, открылась нам набережная Ронская линия, состоящая из великолепных домов в пять и шесть этажей: вид пышной! — У ворот нас остановили. Осмотрщик весьма учтиво спросил, нет ли у нас [3] товаров, и после отрицательного ответа заглянул [3] в каретный ящик, поклонился и отошел прочь, не дотронувшись до наших чемоданов. Мы въехали в набережную улицу — и я вспомнил берег Невы. Длинный деревянный мост перегибается через Рону; [4] а на другой стороне [4] реки рассеяны прекрасные летние домики, окруженные садами. Проехав [5] мимо театра, огромного здания, [6] остановились мы в Hôtel de Milan.[6] ** Четыре человека бросились отвязывать наши че-

* ужинают без супа (*франц.*). Игра слов: глагол и существительное пишутся одинаково.

** Миланской гостинице (*франц.*)

моданы, и в минуту все было внесено в дом, хотя нам еще не отвели комнаты. Трактирщица встретила нас с такою улыбкою, какой не видал я ни на Немецких, ни на Швейцарских лицах. [7] К нещастию все горницы были заняты,[7] кроме одной, весьма темной. Приветливая хозяйка уверила нас, что на другой день отведет нам прекрасную. Так и быть! сказали мы, и оделись на скорую руку, чтобы итти в Комедию. Между тем слуга, который прибирал комнату, [8] желая украсить ее в глазах наших, уведомил нас, что в ней не давно жила чернобровая и черноглазая красавица, приехавшая из Константинополя.[8]

В пять часов пришли мы в Театр и взяли билет в партер. Ложи, паркет, раек — все было наполнено людьми. Вестрис, первый Парижской танцовщик, в последний раз обещал веселить Лионскую публику легкостию своих ног. Все шумело вокруг нас и над нами как улий пчел. Необыкновенная вольность удивила меня. Естьли в ложе или в паркете какая нибудь дама вставала с своего места, то из партера кричали в несколько голосов: [9] *садись! прочь!* [9] à bas! à bas!* Вокруг нас было не много порядочных людей, и для того уговорил я Беккера итти в паркет; но нам сказали, что там совсем нет места, и один молодой человек провел нас в ложу третьего этажа, где нашли мы даму и знакомца нашего Барона Баельвица, Гофмейстера Принцев Шварцбургских, которые в тот же день приехали в Лион и остановились также в Hôtel de Milan. Дама предложила мне место подле себя; но я боялся потеснить ее и вошел в другую маленькую ложу, над самою сценою, где никого не было. Занавес поднялся; представляли Комедию les Plaideurs.** Я слышал только половину слов, и не столько занимался пиесою, сколько теми людьми, которые беспрестанно приходили ко мне в ложу, и опять уходили. Лишь только опустили занавес, со всех сторон высыпали на сцену актеры и актрисы в *неглиже*, танцовщики и танцовщицы, и проч. и проч. Одни обнимались или плясали, другие смеялись, иные кричали: новый спектакль! Вестрис в пастушьем платье прыгал как резвая коза. Музыка снова заиграла — все театральные герои рассыпались — занавес поднялся — начался балет — Вестрис показался — рукоплескания как гром раздались во всех концах театра. Правду сказать, искусство сего танцовщика удивительно. Душа сидит у него в ногах, вопреки всем теориям испытателей естества человеческого, которые ищут ее в мозговых фибрах. Какая фигура! какая гибкость! какое равновесие! Никогда не думал я, чтобы танцовщик мог доставить мне столько удовольствия! Таким образом всякое искусство, подходящее к совершенству, приятно душе нашей! — Плеск восхищенных Французов заглушал музыку. В положении страстного [10] любовника, которого душа в томных вздохах сливается с душею любовницы, сокрылся Вестрис от глаз зрителей, поцеловал свою пастушку и бросился отдыхать на лавку. Играли еще комедию в один акт, самую пустую. Начался [11] новый балет — Вестрис снова показался —

---

* долой! долой! (*франц.*)
** «Сутяги» (*франц.*)

и снова гремела хвала при каждом движении ног его. Между тем сели подле меня два человека, одетые по дорожному. Вот разговор:

Один (*оборотясь ко мне*). Подле нас в ложе сидит Руской?

Я (*взглянув*[12] *в другую ложу*). Один Немец, другой Датчанин, третьего не знаю.

Один. По крайней мере я имею честь говорить с Руским?

Я. Я Руской.

Другой. [13] Быть не может;[13] вы Француз.

Я. Я Руской.

Один. О! у вас в России живут весело. Не правда ли?

Я. Очень весело.

Один. Давно ли вы здесь?

Я. Около трех часов.

Один. Откуда вы приехали?

Я. Из Женевы.

Один. А! прекрасный город! Что говорят там о Неккере?

Я. По большой части хвалят его.

Один. Куда вы едете?

Я. В Париж.

Другой. В Париж? Браво! браво! Мы сей час оттуда. Что за город! А, государь мой! какия удовольствия вас там ожидают! удовольствия, о которых здесь в Лионе не имеют понятия. Вы конечно остановились в Hôtel de Milan? и мы там же. (*Своему товарищу*) Mon ami, nous partons demain? (Мы завтра поедем?)

Один. Oui.*

Другой. Правда, надобны деньги — — —

Один. Что ты говоришь! Руские все богаты как Крезы; они без денег в Париж не ездят.

Другой. Как будто я не знаю этого! Правда, можно и с небольшими деньгами жить весело, быть всякой день в Театре, на гульбищах.

Один. Пять, шесть тысячь ливров в месяц — по нужде довольно. Ах! я более издерживал!

Другой. Браво, Вестрис! браво!

Один. Прекрасно! C'est dommage, qu'il soit bête. Je le connois très bien (Жаль, что он превеликая скотина. Я его знаю). Граф Мирабо имел дело, сказывают — —

Другой. С Маркизом — —

Один. За что?

Другой. Маркиз зацепил его за живое в Национальном Собрании. — (*Оборотясь ко мне*) Париж вам без сомнения полюбится. Вы можете проживать, сколько вам угодно. Что принадлежит до моего товарища, то он жил слишком пышно. Надобно признаться, что Лизета тебе дорого стоила.

Один. А! (*зажмуривается и храпит*).

Я. Откуда вы, естьли смею спросить.

---

* Да (*франц.*)

Другой. Мы из Лангедока, жили долго в Париже, и теперь возвращаемся в Монпелье.

Один (*просыпаясь*). Браво, браво, Вестрис! (*Стучит палкою в декорацию*). Он первый танцовщик во вселенной! — (*Задумывается и вздыхает*). Умирая, могу сказать, что я наслаждался жизнию; все видел — —

Другой. Все видел и все испытал! Примолви это, мой друг! ха! ха! ха!

Один. Mais oui, oui! * Правда! — Вы верно знаете того Руского Графа, который нынешнюю зиму провел в Монпелье?

Я. Графа Б...? по слуху.

Один. Он у меня обедал в загородном доме. Brave homme! ** (*Задумывается и храпит*).

Другой. Вы, право, хорошо говорите по-Французски.

Я. Извините — я говорю очень худо.

Один (*просыпаясь*). Прекрасно! очень хорошо!

Я. Вы очень снисходительны.

Один. Черный кафтан приличнее всего для чужестранца в Париже.

Другой. Черный шелковый. — Женщины у вас хороши?

Я. Прекрасны.

Один. О! никто не знает женщин так, как я! Мы видали Немок, Италиянок, — (*помолчав*) Гишпанок — (*помолчав*) Турчанок — (*помолчав*) и прочих, и прочих.

Другой. О! ты с ними очень знаком! ха! ха! ха!

Один. Вы приехали водою?

Я. Извините.

Один. И так сухим путем! А как называется тот Руской город, откуда можно ехать водою в Англию?

Я. Вы говорите конечно о Петербурге?

Один. Да, да! Жаль только, что у вас холодно. (*Оборотясь к своему приятелю*). Кучера отмораживают там бороды с усами. — Браво, браво, Вестрис! —

Между тем вошел к нам в ложу Беккер, и начал говорить со мною по-Немецки.

Один. (*Оборотясь к Беккеру*). Вы Немец?

Беккер. Извините — я из Копенгагена.

Один. А! — Ваш язык сходен с Немецким. Веть вы говорите: *я мен гер*? А куда вы едете?

Беккер. В Париж — с ним (*указывая на меня*).

Один. Браво! Tant mieux.***

Балет кончился — занавес опустился. Паркет, ложи, партер — все в один голос закричали: *останься здесь*, *Вестрис*, *останься здесь*! Крик продолжался несколько минут. Занавес снова поднялся. Вестрис выступил — какой скромный вид! какая кротость во всей наружности! какие

* Да, да, конечно! (*франц.*)
** Добрый малый! (*франц.*)
*** Тем лучше (*франц.*)

поклоны! Шляпу держал он у сердца. Надлежало зажать уши от громкого плеска. Вестрис остановился. Вдруг все умолкло — [14] можно было [14] слышать работу кузнечика.

Вестрис. Только на месяц позволено мне отлучиться из Парижа; месяц проходит, и мне надлежало [15] ныне ехать: но — — —

Здесь голос его перервался; он поднял глаза вверх, стараясь собрать силы. Страшное рукоплескание! но вдруг опять все умолкло.

Вестрис. «В знак благодарности за то благоволение, которого вы меня удостоиваете, я буду танцовать еще завтра.» Шумящее браво соединилось со всеобщим плеском — и занавес закрылся. Энтузиазм был так велик, что в сию минуту легкие Французы [16] могли бы, думаю, провозгласить Вестриса Диктатором! [16]

Учтивые господа, с которыми имел я вышеописанный разговор, пожелали мне щастливого пути, и обещали сыскать меня в Париже через месяц. Пришедши в свою комнату, сели мы с Беккером перед камином (в котором дубовыя дрова пылали),[17] и с некоторым родом восхищения разговаривали о Французской учтивости.

На другой день отвели нам две небольшия, веселыя комнаты, окнами на место de Terreaux [18] перед ратушею,[19] где беспрестанно бывает множество людей, кроме множества торговок, продающих яблоки, апельсины, померанцы и разныя безделки. Одевшись, пошли мы бродить по городу.

Улицы вообще все узки, кроме двух или трех посредственных. Набережная Соны [20] очень хороша.[20] Вода в сей реке так же зелена, как и в Роне, но гораздо мутнее. Беспрестанно кричали нам женщины, которыя здесь отправляют должность перевощиков: *не хотите ли переехать через реку*? хотя мостов много, и один от другого не далеко. Большая и лучшая часть города лежит между рек. За Соною подымается высокая гора, на вершине которой построены монастыри и несколько домов. Вид с сей горы есть один из прекраснейших. Весь город перед глазами — не маленькой городок, но один из величайших в Европе. Снежныя Савойския горы (из-за которых в ясную погоду выглядывает треглавый *Мон-Блан,* наш Женевской знакомец) с цепию Дофинских простираются [21] амфитеатром, ограничивая [21] область зрения. Обширныя зеленыя равнины по ту сторону Роны, принадлежащия к Дофине — равнины, где уже оперяется весна, отменно миловидны. Там идет дорога в Лангедок и Прованс, щастливыя цветущия страны, где чистый воздух в весенние и летние месяцы бывает напитан ароматами, и где теперь благоухают ландыши! — Среди большой площади, украшаемой густыми алеями, и со всех сторон окруженной великолепными домами, стоит на мраморном подножии бронзовая статуя Людовика XIV, такой же величины, как монумент нашего Российского Петра, хотя сии два героя были весьма не равны в великости духа и дел своих. Подданные прославили Людовика: Петр прославил своих подданных — первый *отчасти* способствовал успехам просвещения: вторый, как лучезарный бог света, явился на горизонте человечества, и осветил глубокую тьму вокруг себя — в правление первого тысячи трудолюбивых Французов принуждены были оставить отечество: вторый привлек в свое государство искусных и полезных

чужеземцов — первого уважаю как сильного Царя: второго почитаю как великого мужа, как Героя, как благодетеля человечества, как моего собственного благодетеля.* — При сем случае скажу, что мысль поставить статую Петра Великого на диком камне, есть для меня прекрасная, несравненная мысль — ибо сей камень служит разительным образом того состояния России, в котором была она до времен своего преобразователя.

* Может быть [22] не все Читатели знают те стихи, в которых Англинский Поэт Томсон прославил нашего незабвенного Императора. Вот они:

What cannot active government perform,
New-moulding Man? Wide stretching from these shores,
People savage from remotest time,
A huge neglected empire one vast Mind,
By Heaven inspir'd, from Gothic darkness call'd.
Immortal Peter! first of monarchs! He
His stubborn country tam'd, her rocks, her fens,
Her floods, her seas, her ill-submitting sons;
And while the fierce *Barbarian* he subdu'd,
To more exalted soul he rais'd the *Man*.
Ye shades of ancient heroes, ye who toil'd,
Thro' long successive ages to build up
A labouring plan of state! behold at once
The wonder done! behold the matchless prince,
Who left his native throne, where reign'd till then
A mighty shadow of unreal power;
Who greatly spurn'd the slothful pomp of courts;
And roaming every land, in every port
His sceptre laid aside, with glorious hand
Unwearied plying the mechanic tool,
Galther'd the seeds of trade, of useful arts,
Of civil wisdom and of martial skille.
Charg'd with the stores of *Europe* home he goes!
Then cities rise amid th'illumin'd waste;
O'er joyless deserts smiles the rural ring;
Far-distant flood to flood is social join'd;
Th'astonish'd *Euxine* hears the *Baltick* roar,
Proud navies ride on seas that never foam'd
With daring keel before; and armies stretch
Each way their dazzling files, repressing here
The frantic *Alexander* of the north,
And awing there stern *Othman's* shrinking sons.
Sloth flies the land, and *Ignorance*, and *Vice*,
Of old dishonour proud: it glows around,
Taught by the Royal Hand that rous'd the whole,
One scene of arts, of arms, of rising trade:
For what his wisdom plann'd, and power enforc'd,
More potent still, his great *example* shew'd.

То есть: Чего не может произвести [23] деятельное Правительство, преобразуя человека? [23] Одна великая Душа, вдохновенная Небом, извлекла из готического мрака обширную Империю, народ издревле дикой и грубой. Бессмертный Петр! первый из Монархов, укротивший суровую Россию с ея грозными скалами, блатами, шумными реками, озерами и непокорными жителями! Смирив жестокого варвара, возвысил он [24] нравственность человека.[24] О вы, тени древних Героев, устроявших веками порядок гражданских обществ! воззрите на сие, вдруг

Не менее нравится мне и краткая, сильная, многозначущая надпись: Петру Первому Екатерина Вторая. Что написано на монументе Французского Короля, я не читал.

В час возвратились мы обедать. Более тридцати человек сидело за столом. Всякой брал, что хотел. Щастлив, перед кем стояли лучшия блюда! Но стол был очень изобилен.[26]

После обеда пошел я с письмом к Маттисону, Немецкому стихотворцу, который воспитывает детей одного здешнего банкира. *Ах! вы говорите по-Немецки; вы любите Немецкую литтературу, Немецкое прямодушие!* С сими словами бросился он [27] обнимать меня.[27] Но я еще более обрадовался его знакомству, нежели он моему; в Германии не могло бы оно быть для меня так приятно, как во Франции, где я не ищу искренности, не ищу симпатического сердца — не ищу для того, что найти не надеюсь. С милою поспешностию выхватил он из ящика [28] свои бумаги и прочел мне три пиесы, [29] им не давно сочиненныя.[29] Я слушал его с непритворным удовольствием. Нежная кротость, живыя чувства, чистота языка составляют красоту его песней. Он вдруг остановился, взглянул на меня, засмеялся и сказал: *не правда ли, что я поспешил представить вам мою Музу? Ах! бедная по сие время не имела никакого знакомства в Лионе!* — [30] Я также засмеялся и пожал его руку, уверяя,[30] что Музу его люблю сердечно. — От него пошел [31] в Комедию. Играли *Руссова Деревенского Колдуна.* С живейшим удовольствием слушал я музыку сей прекрасной Оперы. Парижския дамы были правы, говоря, что Автору ея надлежало быть весьма чувствительну! — — — Я воображал его, как он, в бороде и в непричесанном парике, сидел в ложе Фонтенеблосского [32] театра во время первого представления [33] оперы своей,[33] укрываясь от взоров восхищенной публики. — В балете снова удивлялись мы искусству Вестрисову. Лишь только занавес начал опускаться, все закричали: *Вестрис! Вестрис!* Занавес опять подняли — утомленный танцовщик выступил при звуке рукоплесканий, с тем же скромным видом, с теми же смиренными ужимками, [34] как и вчера![34] Казалось, будто он ожидал суда, хотя решительное определение публики гремело во всех концах театра. Шум в секунду утих — Вестрис стоял как вкопанный и молчал — голос нетер-

---

совершившееся чудо! воззрите на беспримерного Государя, оставившего наследственный [25] престол, на коем [25] дотоле царствовала могущественная тень неутвержденной власти — презревшего пышность и негу, проходящего все земли, отлагающего свой скипетр в каждом корабельном пристанище, неутомимо работающего с искусными Механиками, и собирающего семена торговли, полезных художеств, общественной мудрости и воинской науки! Обремененный сокровищами Европы, он возвращается в свое отечество, и вдруг среди степей возносятся грады, в печальных пустынях улыбаются красоты сельския, отдаленныя реки соединяют свое течение, изумленный Евксин слышит шум Бальтийских волн, гордые флоты переплывают моря, которыя дотоле не пенились еще под дерзостными рулями, и многочисленныя воинства в блестящих рядах на врагов устремляются, поражают неистового северного Александра, и ужасают свирепых сынов Отомана. Удаляется леность, невежество и пороки, коими прежнее варварство гордилось. Везде является картина искусств, военных действий, цветущей торговли: мудрость его вымышляет, власть повелевает, пример показывает — — и государство благополучно!

пения раздался — публика ожидала речи, забыв, что танцовщик не есть Ритор.[35] В сию минуту Вестрис мог быть освистан. Опять все умолкло. Танцовщик собрался с силами и сказал: Messieurs! je suis penetré de vos bontés — mon devoir m'apelle à Paris. *Милостивые государи! я чувствую вашу благосклонность*; *должность отзывает меня в Париж.* Довольно для публики! Рукоплескание и *браво!* — Вестрис доволен Лионом со всех сторон; искусство его награждено здесь хвалою и деньгами. Я встречался с ним несколько раз на улице. *Вестрис*! *Вестрис*! [36] кричали люди,[36] и всякой указывал на него пальцом. И так легкость ног есть добродетель почтенная! Что принадлежит до денежной награды, то за всякое представление получал он 520 ливров. Теперь ужинают у него все здешние Комедианты (он живет в Hôtel de Milan) и так шумят, что я не надеюсь заснуть.[37]

Ныне поутру Маттисон водил нас к одному ваятелю, который в Италии образовал свой резец по моделям древних художников. Он принял нас учтиво, и показывал статуи, весьма искусно выработанныя. Живописцу, ваятелю так же нужно воображение, как и Поэту: Лионской художник имеет его. Он делает теперь заказную статую, которую один молодой супруг готовит в подарок супруге своей, щастливой матери любезного младенца, приближающегося к возрасту отрока. Художник представил прекрасного мальчика, спящего кротким сном невинности под надежным щитом Минервы, изображенной по мысли Греческих художников с отменным искусством; внизу виден образ Улиссов. — *Ныне мало работаю*, сказал он, *будучи принужден* (здесь он вздохнул) *часто вооружаться и ходить на караул, так как и все прочие граждане. Вид недоделанных статуй приводит меня в уныние. Ах, государи мои! вы не можете войти в чувства художника, отвлекаемого от работы*! — Ты истинный художник! думал я. — — Мы пошли в гошпиталь, огромное здание на берегу Роны. В первой зале, куда нас ввели, стояло около двух сот постель, в несколько рядов — о! какое зрелище! сердце мое трепетало. На одном лице видел я изнеможение всех сил, томную слабость; на другом яростный приступ смерти, напряженный отпор жизни; на ином победу первой — жизнь удалялась и вылетала на крыльях вздохов. Здесь-то надобно собирать черты для картин страждущего человечества, прибирая тени к теням. Но какое упражнение! кто выпесет весь ужас его! — Между смертию и болезнию попадалось в глаза и томно-радостное выздоровление. Бледные младенцы играли цветами — чувство к красотам Натуры возобновилось в сердцах их! Старец, подымаясь с одра, подымал глаза на небо, [38] или обращал их вокруг себя. *И так я еще буду жить!* говорили радостные глаза его.[38] *Я еще буду наслаждаться жизнию!* говорили веселые взоры выздоравливающего мужа и юноши. Какая смесь чувств! Как грудь моя могла вмещать их! — Таким образом переходили мы из залы в залу. В каждой заключается особливый род болезни: в одной лежат чахотные, в другой изувеченные, в третьей родильницы, и так далее. Везде удивительная чистота, везде свежий воздух. Присмотр за больными также достоин хвалы всякого друга человечества — и где можно расточать ее с живейшим удовольствием? Милосердие! сострадание! святыя добродетели! Так называе-

мыя *жалостливыя сестры* * [39] служат в сем *доме плача*, и чувство доброго дела есть их награда. Иные стоят на коленях и молятся; другия обхаживают больных, подают им лекарства, пищу. Некоторыя из сих добродетельных монахинь весьма молоды; кротость сияет на их лицах. В средине каждой залы стоит олтарь; тут всякой день служат обедню. *Вот комната* (сказал нам провожатый, указывая на дверь), *за которую надобно платить в день 12 ливров, с лекарствами, с пищею и услугою; но она пуста.* — «А что платят бедные?» — *10 су в день за все, и 20, кто хочет иметь постелю с занавесом.* — Что здесь? спросил я, указывая на маленькую часовню в углу двора. *Посмотрите*, отвечал вожатой [40] — и четыре гроба, покрытые черным полотном, встретили взор мой. *Всякой день*, говорил он, *умирает здесь несколько человек. Ныне, слава Богу! умерли только четверо. К вечеру их вывезут.* Я с ужасом отворотился от сего мрачного жилища смерти. — *Теперь поведу вас в кухню.* — Кстати! думал я, однакожь пошел за ним. Там в превеликой зале, со многими печами, кипели котлы, лежали целые быки и телята. «И это все в нынешний день будет съедено?» спросил я. *Тысяча больных*, отвечал он, *ест по крайней мере за пять сот здоровых. Я не считаю множества лекарей и духовных, которые здесь живут. Вот их столовая.* — Мы вошли в большую комнату, загроможденную столами. Час обеда еще не пришел; но некоторые из почтенных духовников наполняли свои желудки [41] мясом и пирогами:[41] они завтракали. — Все ли? спросил я, выходя из залы. — *Посмотрите сюда. Здесь за железными решетками содержатся безумные.* — Один из сих нещастных сидел на галерее за маленьким столиком, на котором стояла чернилица. Бумагу и перо держал он в руке, в глубокой задумчивости облокотясь на столик. — *Это Философ*, сказал с усмешкою провожатый: *бумага и чернилица ему дороже хлеба.* — «А что он пишет?» — *Кто знает! какия нибудь бредни; но начто лишать его такого безвредного удовольствия?* — «Правда, правда! сказал я со вздохом: начто лишать его безвредного удовольствия!» — Мы возвратились к обеду в Hôtel de Milan.

‹90›

Лион, Марта.... 1790.

Ныне после обеда был я в огромной Картезианской церкви, и провожатый мой с великою важностию рассказал [1] мне о тех чудесах, которые [2] служили поводом [2] к основанию сего строжайшего из монашеских Орденов. В 1080 году — неизвестно, в каком городе — погребали мертвого. [3] В ту самую минуту,[3] когда Священник читал последнюю молитву о вечном успокоении души его, умерший поднял голову и закричал страшным голосом: *Небесное правосудие обвиняет меня!* Священник затрепетал: но

* Женской монашеской Орден.

через несколько минут собрался с духом и хотел дочитать свою молитву. Тут вдруг раздался в церкви сильный шум и треск — гроб затрясся, свечи погасли, и мертвый еще страшнейшим голосом закричал: *Небесное правосудие осуждает меня!* Бруно, Кельнской уроженец, будучи свидетелем сего ужасного чуда, тотчас решился оставить свет и вместе с некоторыми из друзей своих — (Летописи говорят, с шестью) — пошел к Гренобльскому Епископу, упал к ногам его, и требовал, чтобы он отвел им какое нибудь уединенное место, где бы они могли провести жизнь свою в благочестии и в спасительных умозрениях. Епископ за день перед тем, отдыхая после обеда на мягком пуховике, видел во сне, что белое облако спустилось с неба на зеленый луг подле монастырского сада, и что на том самом месте выскочили из земли семь звезд. Будучи уверен, что сии семь звезд означали семь пришедших к нему странников, отвел он набожному Бруно и его друзьям упомянутый луг, на котором они через некоторое время построили новый монастырь — и этот[4] монастырь был первый Картезианской. — С великим любопытством расспрашивал я проводника моего о всех подробностях жизни сих затворников. Законы Ордена обязывают их не выходить из монастыря, удаляться от сообщения с людьми, и наблюдать вечное мертвое молчание. Дни проводят они в чтении, или работают в саду, или сидят поджав руки, с нетерпением дожидаясь обеда, который составляет главное удовольствие их печального братства. В пять часов после обеда они ложатся спать, в девять встают, [5]часа через два[5] опять ложатся спать, и так далее. Странная жизнь! Учредители сего Ордена худо знали нравственность человека, *образованную*,[6] так сказать, для деятельности, без которой не найдем мы ни спокойствия, ни наслаждения, ни щастия. Уединение приятно тогда, когда оно есть отдых; но беспрестанное уединение есть путь к ничтожеству. Сначала душа наша бунтует против сего заключения, противного ея натуре; чувство *недостатка* — (ибо человек сам по себе есть [7]фрагмент или отрывок:[7] только с подобными ему существами[8] и с Природою составляет он целое) — чувство недостатка мучит ее; наконец все благородныя побуждения в сердце нашем усыпают, и человек с первой степени земного творения ниспадает во сферу бездушных тварей.

Я стоял среди[9] церкви и смотрел на множество олтарей, на которых блистало серебро и золото. Вечер приближался; все вокруг меня начинало меркнуть, все было тихо — вдруг растворились двери, и печальные братья молчания, в белых платьях, явились глазам моим; потупив в землю взор свой, медленно друг за другом шли они к главному жертвеннику, и проходя мимо висящего в церкви колокола, ударяли в него слабою рукою; унылый звон раздавался под мрачными сводами, и мысль о смерти живо представилась душе моей. Я вышел из храма — увидел заходящее солнце, и сердце мое утешилось.

Я люблю остатки древностей; люблю знаки минувших столетий. Вышедши из города, удивлялся я ныне памятникам гордых Римлян, развалинам славных их водоводов.[10] Толстая стена с аркадами, в несколько ар-

шин вышиною, складена из маленьких камешков, *вдавленных*, так сказать, в густую известь, удивително твердую, так что ее ничем разбить не льзя, и в сей стене проведены были трубы. Римляне хотели жить в памяти потомства, и сооружали такия здания, которых не могли разрушать [11] целые веки. В нынешния философския времена не так думают; мы исчисляем дни свои, и предел их есть предел всех наших желаний и намерений; [12] далее не простираем взора,[12] и никто не хочет садить дуба без надежды отдыхать в тени его. Древние покачали бы головою, естьли бы они теперь воскресли и услышали мудрыя наши рассуждения; а мы, мы смеемся над мечтами Древних и над странным их славолюбием!

Оттуда пошел я в Римския бани, принадлежащия [13] ныне к женскому монастырю.[14] Проходя мимо стены монастырского сада и келий, я чуть было не упал в обморок от мефитического воздуха, который тут спирается. Изрядное уважение к древностям! Вместо того, чтобы путь к ним усыпать цветами, почтенныя сестры льют туда из окон [15] своих всякую нечистоту! И так, господа Французы, вы не должны бранить Азиатских варваров, которыми великолепные храмы древности превращаются в хлевы! — Здание не велико, и состоит из коридоров, в которые свет проходил через окна, сделанныя вверху на сводах. Здесь-то нежились роскошные Римляне! (думал я) — здесь-то какая нибудь Римская красавица, окруженная толпою невольниц, мылась ключевым кристаллом, в то самое время, когда прекрасный юноша, плененный ея красотою, издалека преселялся своим воображением в сии стены, и желал быть щастливым божеством источника,[16] водою которого освежалась прелестная! — Мне пришла на мысль басня Алфея и Аретузы, а почему, не знаю. Я начал-было хвалить нежность мифологических вымыслов; но скоро замолчал, видя, что вожатый мой, садовник монастырской, ни мало не хотел слушать меня. — При сем случае вспомнил я также читанное мною в Луциановых разговорах о неге Римских богачей. Когда они из бани возвращались домой, то перед ними шли всегда невольники, которые при всяком камешке, лежавшем на дороге, кричали: *берегись!* чтобы гордый Римлянин, всегда смотревший на небо, не споткнулся и не упал! «Что это?» спросил я у садовника, видя в коридорах бочки, горшки, корзины и прочее. *Здесь мой погреб*, отвечал он — *и мне очень приятно, что все путешественники любопытствуют его видеть.* — — С удовольствием пробыл я несколько времени в монастырском саду, разговаривая с садовником, который, будучи весьма словоохотен, насказал мне довольно всякой всячины о своих монахинях. Старыя, говорит он, бранчивы, грубы и скучны; сидят в своих кельях и говорят — о политике! а молодыя печальны, любят гулять в темных алеях, смотреть на месяц и — вздыхать из глубины сердца.[17]

Потом был я в маленькой, подземной церкви древних Христиан. Там, укрываясь от гонителей, изливали они сердце свое в теплых молитвах. Однакожь и там нашли их — кровь нещастных жертв обагрила помост храма. Показывают место, где лежат их кости. — В сей мрачной церкви многия женщины стояли на коленях и в молчании молились Богу; иныя проливали слезы; некоторыя в священном восторге ударяли себя в грудь

и прикасались бледными устами к хладному полу. И так во Франции набожность еще не истребилась!

В задумчивости вышел я на улицу: тут все шумело и веселилось — танцовщики прыгали, музыканты играли, певцы пели, [18] толпы народа [18] изъявляли свое удовольствие громким рукоплесканием. Мне казалось, что я в другом свете. Какая земля! какая нация! —

Ударило шесть часов — театр был наполнен зрителями; я сел в ложе подле двух молодых дам. Представляли новую трагедию, Карла IX, сочиненную Гм. Шенье. Слабый Король, правимый своею суеверною матерью и чернодушным Прелатом (который всегда говорит ему именем Неба), соглашается пролить кровь своих подданных, для того, что они — не Католики. Действие ужасно; но не всякой ужас может быть душею драмы. Великая тайна трагедии, которую Шекспир похитил во святилище человеческого сердца, пребывает тайною для Французских Поэтов — и Карл IX холоден как лед. Автор имел в виду новыя происшествия, и всякое слово, относящееся к нынешнему состоянию Франции, было сопровождаемо плеском зрителей. Но отними сии *отношения*, и пиеса показалась бы скучна всякому, даже и Французу. На сцене только разговаривают, а не действуют, по обыкновению Французских Трагиков; речи предлинныя, и наполнены обветшалыми сентенциями; один актер говорит без умолку, а другие зевают от праздности и скуки. Одна сцена тронула меня — та, где сонм фанатиков упадает на колени и благословляется злым Прелатом; где при звуке мечей клянутся они истребить еретиков. Главное действие трагедии повествуется, и для того мало трогает зрителя. Добродетельный Колиньи умирает за сценою. На театре остается один нещастный Карл, который в сильной горячке то бросается на землю, то — встает. Он видит (не в самом деле, а только в воображении) умерщвленного Колиньи, так как Синав видит умерщвленного Трувора; лишается сил, но между тем читает пышную речь стихов в двести. C'est terrible! (*это ужасно!*) говорили дамы, подле меня сидевшия.[19]

Маттисон пришел к нам из театра, и просидел в моей горнице до двенадцати часов. В камине пылали у нас дубовыя дрова, кипели чай и кофе. Маттисон читал мне Виландовы письма, писанныя не к нему, а к известной Госпоже ла-Рош, сочинительнице *Истории девицы Штернгейм* и других романов — письма, в которых добрая и нежная душа старого Поэта как в чистом зеркале изображается. Ла-Рош любит Маттисона и присылает ему копию своей переписки. — Три часа протекли для нас как три минуты. Б* рассказывал нам любопытные [20] анекдоты своего пешеходства, из которых сообщу вам [21] один:

Однажды пришел он ввечеру [21] в маленькую лесную деревеньку, и потребовал ночлега в первой избе. Хозяйка отворила ему дверь; но увидев кортик и большую Датскую собаку его, испугалась и побледнела. Б* вообразил, что она боится собак, и начал уверять, что Геркулес его смирен как ягненок, и не делает зла никакому животному; что он не тот страшный Геркулес, который умертвил Немейского льва и Лернейскую гидру, а тот [22] безоружный, и кроткий [22] обожатель красоты, на дубинке которого во дворце Королевы Лидийской ездили верьхом Эроты, и кото-

рого Омфала могла бить по щекам туфлями. Приятель мой видел, что хозяйка все еще бледнела и боялась; но он приписывал страх сей женщины ни чему иному, как совершенному ея невежеству в Мифологии; подошел к столу, положил на него свою шляпу, котомку, кортик — сел на деревянный стул, погладил своего Геркулеса, и велел хозяйке приготовить что нибудь к ужину. *Мы люди бедные*, отвечала она: *у нас ничего нет.* — «По крайней мере у тебя есть курица или утка?» — *Нет.* — «Есть молоко?» — *Нет.* «Есть сыр?» — *Нет.* — «Хлеб?» — *Нет.* Тут Б* вскочил со стула, Геркулес поднял голову, а хозяйка закричала и ушла. Вы легко можете вообразить, как нужен пешеходцу обед и ужин, и для того конечно простите моему приятелю, что он вскочил со стула не с приятною миною, услышав о предстоящей ему голодной смерти. Но хозяйка скрылась — делать было нечего — он ходил по избе, заглядывал туда и сюда, и наконец, к великой своей радости, увидел в темном углу кусок черствого хлеба — взял его и начал есть, уделяя некоторыя крохи верному Геркулесу, который, смотря на него умильно, разными знаками показывал ему, что и он вместе с ним проголодался. — Через несколько минут пришел высокой человек в черном камзоле, посмотрел на Б*, на кортик его, на собаку — побледнел и вышел вон. Что это значит? думал приятель мой, смотрел на кортик, на собаку, и не находил в них ничего страшного. Тщетно ждал он возвращения своей хозяйки; наконец, потеряв терпение, вышел на улицу — но там все было темно и тихо; в двух или трех домиках светился огонь, вдали шумел сосновой лес. Б* возвратился в избу, лег на хозяйкину постелю, надел колпак и заснул. Но скоро Геркулесов лай разбудил его, и в ту же минуту услышал он за дверью разные голоса. *Я не войду первый*, говорил один голос — *ни я*, говорил другой — *ступай ты*, говорил третий — *у тебя ружье; ты можешь достать его издали*, говорил четвертый. Мой Б* не трус; однакожь, подозревая, что речь идет об нем, и что его, а не другого сбираются достать издали, вскочил не без ужаса с постели, подбежал к столу, где горела свеча, и где лежал кортик — обнажил [23] страшное свое [23] оружие, взял его в правую руку, а в левую, вместо щита, деревянный стул и таким образом снарядившись, твердым и грозным голосом закричал: *кто там? что за люди? отвечайте!* Вдруг все утихло. Герой наш повторил свои вопросы. За дверью начался шопот, и Датской Геркулес, потеряв терпение, приближился к двери, отворил ее лапой — и что же представилось глазам моего Б*? Шесть или семь мужиков с ружьями, палашами и дубинами. Собака с лаем бросилась под ноги первого, и сей нещастной, сев на нее верьхом, кричал изо всей силы: *помогите! помогите! бьют! режут! друзья! спасите своего старосту!* Но товарищи его стояли на одном месте, дрожали от страха, и вместе с ним кричали: *помогите! помогите! бьют! режут! разбой! разбой!* — Б*, видя, что неприятели его не очень храбры, а потому и не очень опасны, ободрился, подошел к ним, и спрашивал, что они: разбойники, воры, или безумные? Никто не отвечал ему, а всякой кричал: *бьют! режут!* Между тем Геркулес, скучив держать на себе тяжелое бремя, сбросил с себя бедного старосту и кинулся на других мужиков, которые с ужасом побежали от него в разныя стороны. Деревенской начальник ле-

жал на земле, и не кричал уже для того, что почитал себя мертвым. Б* поднял его, поставил на ноги, и тряся за ворот, говорил ему: «естьли ты не безумный, то скажи мне, с каким намерением вы пришли вооруженные, и за кого меня принимаете?» Наконец староста дрожащим и прерывающимся голосом отвечал ему, что они почли его за славного разбойника тех мест, который ходит всегда с кортиком и с собакою, и которого голова оценена в несколько сот талеров. Приятель мой старался разуверить его; показал ему свой паспорт, и говорил с ним так тихо и ласково, что бедный храбрец перестал дрожать, облегчил вздохом стесненную грудь свою, бросился обнимать Б*, и сказал, прыгая от радости: «Слава Богу, слава Богу, что ты не разбойник, а добрый человек! Слава Богу, что мы не убили тебя! Слава Богу, что я, против своего обыкновения, почувствовал робость, хотевши по тебе выстрелить! Теперь ко мне в гости; теперь повеселимся, Господин Доктор! Ночь ничему не мешает, и бывает лучше иного дня. Пойдем, пойдем, Г. Доктор! у меня есть и курица и утка, и все, что тебе угодно!» — Староста зажег фонарь, взял котомку пешеходца, с позволения моего приятеля надел на себя кортик * и шляпу его, и с гордостию пошел вперед, освещая путь нашему Б*, который всего более радовался обещанному ужину, потому что кусок черствого хлеба не очень напитал желудок его. — Геркулес, [24] прогнав всех неприятелей, возвратился [24] к господину своему, шел позади и лаем отвечал на лай деревенских собак. Разбежавшиеся поселяне, видя начальника своего идущего в торжестве с кортиком, осмелились вытти на улицу, и староста громким голосом сказывал им, что пешеходец не разбойник, а почтенный Господин Доктор, который *инкогнито* странствует по белому свету. Жена и две дочери выбежали к нему на встречу, и едва не плакали от радости, видя, что супруг и родитель совершил благополучно опасный подвиг свой. — Б* не может нахвалиться гостеприимством и ужином старосты. [25] Сей добрый человек, сидя [25] с ним за столом, расспрашивал его о чудесах, видимых путешественниками в отдаленных землях севера и юга, и сам рассказывал ему многие анекдоты о том разбойнике, который около двух лет живет в их лесу, ходит с кортиком и с собакою, грабит проезжих и прохожих, и целыя деревни приводит в ужас. «Только меня он не испугает» — продолжал староста, выпив рюмки три вина: — «лишь бы попался мне в руки! — Так, Господин Доктор! род наш известен по своей храбрости. Дедушка мой был грозою всех разбойников, и пятьдесят лет начальствовал в здешней деревне; а батюшка никогда не возвращался из лесу без того, чтобы не принести с собою кожи убитого медведя. Я не люблю самохвальства, и не хочу говорить о своих делах; скажу только, что никогда не боюсь ходить один в самом густом лесу, и что по сей час ни волк, ни медведь, ни разбойник не смел напасть на меня.» — Б* по собственному опыту не мог сомневаться в его смелости и мужестве, и обещал распространить славу его и в других землях, в которых ему быть случится. Староста улыбался и посматривал на жену и дочерей своих, которыя начинали уже дремать. Б* также хотел спать: веж-

* В Немецкой земле носят кортики на ремне через плечо.

ливый хозяин уступил ему свою постелю, накормил Геркулеса (забыв, что он часа за два перед тем испугал его не на шутку), и ушел[26] с своими домашними в другую маленькую горенку. На другой день Б* давал ему талер за ужин и за ночлег; но староста не хотел и слышать об деньгах, — провожал его версты две от деревни, и простился с ним дружески.

Вы читали Тристрама, и помните историю нежных любовников; помните Амандуса, который, будучи разлучен с своею Амандою, странствовал по свету, попался в плен морским разбойникам, и двадцать лет просидел в подземной темнице, для того что он не хотел изменить своей Аманде и не отвечал любовью на любовь Марокской Принцесы; помните Аманду, которая исходила всю Европу, Азию, Африку,[27] босая и с распущенными волосами, спрашивая во всяком городе, у всяких ворот о своем Амандусе, и заставляя эхо мрачных лесов, эхо гор кремнистых, твердить имя его — *Амандус! Амандус!* — помните, как сии любовники сошлись наконец в Лионе, отечественном их городе, увидели друг друга, обнялись и — упали мертвые.... души их на крыльях радости улетели на небо! — помните, что нежный Стерн, приближаясь к тому месту, где, по описанию, надлежало быть их могиле, и чувствуя в сердце своем огнь и пламя, воскликнул: *нежныя, верныя тени! давно, давно хотел я пролить сии слезы на вашем гробе; приимите их от чувствительного сердца!* — но вы помните и то, что Стерну не на что было пролить слез своих, ибо он не нашел гроба любовников: увы! и я не мог найти его!... спрашивал — но Французы думают ныне о своей революции, а не о памятниках любви и нежности! —

Кто, будучи здесь, не вспомнит еще о других, нещастнейших любовниках, которые за двадцать лет перед сим умертвили себя в Лионе?

Италиянец, именем Фальдони, прекрасный, добрый юноша, обогащенный лучшими дарами природы, любил Терезу и был любим ею. Уже приближился тот щастливый день, в который, с общего согласия родителей, надлежало им соединиться браком; но жестокий рок не хотел их щастия. Молодой Италиянец каким-то случаем повредил себе главную пульсовую жилу: от чего произошла неизлечимая болезнь. Отец Терезин, боясь выдать дочь свою за такого человека, который может умереть в самый день брака, решился отказать нещастному Фальдони; но сей отказ еще более воспламенил любовников, и потеряв надежду соединиться в объятиях законной любви, они положили соединиться в хладных объятиях смерти. Не далеко от Лиона, в каштановой роще, построен сельской храм, Богу милосердия посвященный, и рукою Греческого искусства украшенный: туда пришел бледный Фальдони и ожидал Терезы. Скоро явилась она во всем сиянии красоты своей, в белом кисейном платье, которое шито было к свадьбе, и с розовым венком на темнорусых волосах. Любовники упали перед олтарем на колени, и — приставили к сердцам своим пистолеты, обвитые алыми лентами; взглянули друг на друга, — поцеловались — и сей огненный поцелуй был знаком смерти — выстрел раздался —

они упали, обнимая друг друга; и кровь их смешалась на мраморном помосте.

Признаюсь вам, друзья мои, что сие происшествие более ужасает, нежели трогает мое сердце. Я никогда не буду проклинать слабостей человечества; но одне заставляют меня плакать, другия возмущают дух мой. Естьли бы Тереза не любила, или перестала любить Фальдони; или естьли бы смерть похитила у него милую подругу, ту, которая составляла все щастие, всю прелесть жизни его: тогда бы[28] мог он возненавидеть жизнь; тогда бы собственное сердце мое изъяснило мне сей печальный феномен человечества; я вошел бы в чувства нещастного, и с приятными слезами нежного сожаления, взглянул бы на небо, без роптания, в тихой меланхолии. Но Фальдони и Тереза любили друг друга: и так им надлежало почитать себя щастливыми. Они жили в одном мире, под одним небом; озарялись лучами одного солнца, одной луны — чего более? *[29] Истинная любовь может наслаждаться без чувственных наслаждений, даже и тогда, когда предмет ея за отдаленными морями скрывается. Мысль: *меня любят!* должна быть щастием нежного любовника — и как приятно, как сладко думать ему, что ветерок, который в сию минуту прохлаждает жар лица его, веял может быть и на прелестях любезной; что птичка, в глазах его под небом парящая, за несколько дней перед тем сидела может быть на том дереве, под которым красавица размышляла о своем друге! Одним словом, удовольствия любви бесчисленны; ни тиранство родителей, ни тиранство самого рока не может отнять их у нежного сердца — и кому сии удовольствия не известны, тот не называй себя чувствительным! — Фальдони и Тереза! вы служите для меня примером одного исступления, помешательства разума, заблуждения, а не примером истинной любви!

Смотри! смотри! закричал мой Беккер. Я бросился к окну, и увидел, что вокруг ратуши толпится шумящий народ. Что это значит? спросили мы у слуги, который прибирал мою комнату. *Какое нибудь новое дурачество*, отвечал он. Но я любопытен был знать это дурачество, и вместе с Беккером пошел на улицу. У пяти или шести человек спрашивали мы о причине шума; но все отвечали нам: qu'en sais-je? (*почему мне знать?*) Наконец дело объяснилось. [30]Какая-то старушка подралась на улице с каким-то стариком;[30] понамарь вступился за женщину, старик выхватил из кармана пистолет и хотел застрелить понамаря; но люди, шедшие по улице, бросились на него, обезоружили, [31]и повели его... à la lanterne[31] (на виселицу); отряд национальной гвардии встретился с сею толпою людей, отнял у них старика и привел в ратушу — вот что было причиною волнения! Народ, который сделался во Франции страшнейшим деспотом, требовал, что бы ему выдали виновного и кричал: à la lanterne! Понамарь кричал: à la lanterne! à la lanterne! Бабы торговки кричали: à la lanterne! à la lanterne! — Те, которые наиболее шумели и возбуж-

* Кто хочет, рассмеется.

дали других к мятежу, были нищие и празднолюбцы, не хотящие работать с эпохи так называемой Французской свободы. — Изрядно одетый незнакомец подошел ко мне и к Беккеру, и с дружественным видом сказал нам: «Около получаса ходит за вами подозрительный человек: будьте осторожны — вы конечно иностранцы — sauvez vous, messieurs! спасайтесь!» Я посмотрел ему в глаза и уверился, что он хотел только испугать нас; а Беккер, не знаю от чего, покраснел и схватил мою руку; взор его говорил мне: *мы друг друга не оставим!* Но он и я благополучно возвратились в Hôtel de Milan. Народ ввечеру рассеялся, и мы пошли гулять на свободе по берегу Роны.

Мы обедали ныне у Господина Т*, богатого купца, вместе с некоторыми из здешних Ученых; а ввечеру были на гуляньи за городом. И богатые и бедные, и старые и малые, толпились на зеленых лугах, поздравляли друг друга с весною, и наслаждались теплым вечером. В городе не оставалось, думаю, ни четвертой части жителей, и всякой был в лучшем своем платье. Иные сидели на траве и пили чай; другие ели бисквиты, сладкие пироги, и подчивали своих знакомых. Я ходил между тысячами как в лесу, не зная никого, и не будучи никому известен. Однакожь, видя вокруг себя радостныя лица, веселился в сердце своем.[32] Наконец ушел ото всех людей, сел под зеленым кусточком, увидел фиялку и сорвал ее; но мне показалось, что она не так хорошо пахнет, как наши фиялки — может быть от того, что я не мог отдать сего цветочка любезнейшей из женщин и вернейшему из друзей моих!

‹91›

Лион... 1790.

Нет, друзья мои! я не увижу [1]плодоносных стран[1] южной Франции, которыми прельщалось мое воображение!... Беккер не получил здесь векселя, и оставшись только с шестью луидорами, решился ехать прямо в Париж. Мне надлежало с ним расстаться, или пожертвовать для него своим любопытством, своими мечтами, Лангедоком и Провансом.[2]

Несколько минут я сражался с самим собою, сидя в задумчивости перед камином. Любезный Датчанин разбирал между тем свой чемодан, в котором лежали некоторыя из моих вещей. *Вот твои книги,* говорил он — *твои письма — твои платки — возьми их! Может быть мы уже не увидимся. — Нет*, сказал я, встав со стула и обняв с чувствительностию Беккера — *мы едем вместе!*[3]

Гробница нежной Лауры, прославленной Петраркой! Воклюзская пустыня, жилище страстных любовников! * шумный, пенистый ключь, уто-

* В 12 верстах от Авиньйона.

лявший их жажду! я вас не увижу!... Луга Прованские, где тимон с розмарином благоухают! не ступит нога моя на вашу цветущую зелень!... Нимский храм Дианы, огромный Амфитеатр, драгоценные остатки древности! я вас не увижу! * — Не увижу и тебя, отчизна Пилата Поптийского! ** не взойду на ту высокую гору, на ту высокую башню, где сей нещастный сидел в заключении; не загляну в ту ужасную пропасть, в которую он бросился из отчаяния! *** — Простите, места любопытныя [4] для чувствительного путешественника!

Не без слез расставались мы с Маттисоном. Он подарил мне на память некоторыя из новейших своих сочинений, и сказал: *Где буду впредь, не знаю; но никакой климат не переменит моего сердца — я всегда с удовольствием стану вспоминать о нашем знакомстве — не забудьте Маттисона!* Прочих Лионских знакомцев оставляю без сожаления.[5]

Завтра в пять часов утра сядем в почтовую лодку и поедем в Шалон. С учтивою хозяйкою мы уже расплатились. Каждый день стоил нам здесь около луидора.

Теперь ночь — Беккер спит — я не могу — сижу за столиком, и лечу мыслями в мое отечество, — к вам, моим любезным!

‹92›

Река Сона.

Солнце восходит — туман разделился — лодка наша катится по струистой лазури, освещаемой золотыми лучами — подле меня сидит один добрый старик из Нима; молодая, приятная женщина спит крепким сном, положив голову на плечо его; он одевает красавицу плащом своим, боясь, чтобы она не простудилась — молодой Англичанин в углу лодки играет с своею собакою — другой Англичанин с важным видом болтает в реке воду длинною своею тростью, и напоминает мне [1] тех Духов [1] в Багват-Гете,**** которые сим способом целый океап превратили в масло — высокой Немец, стоя подле мачты, курит трубку — Беккер, пожимаясь от утреннего холодного воздуха, разговаривает с кормчим — я пишу карандашом на пергаментном листочке.

На обеих сторонах реки простираются зеленыя равнины; изредка видны пригорки и холмики; везде прекрасныя деревеньки, каких не находил я ни в Германии, ни в Швейцарии; сады, летние домики богатых купцов, дворянские замки с высокими башнями; везде земля обработана наилучшим образом; везде видно трудолюбие и богатые плоды его.

---

* В Ниме много Римских древностей.

** Город Вьень.

*** Так говорит предание. Сию башню и сию пропасть показывают близь Вьеня.

**** Индейская книга.

Я воображаю себе первобытное состояние сих цветущих берегов.... Здесь журчала Сона в дичи и мраке; темные леса шумели над ея водами; люди жили как звери, укрываясь в глубоких пещерах, или под ветьвями столетних дубов — какое превращение!... Сколько веков потребно было на то, чтобы сгладить с натуры все знаки первобытной дикости!

Но может быть, друзья мои, может быть в течение времени сии места опять запустеют и одичают; может быть через несколько веков (вместо сих прекрасных девушек, которыя теперь перед моими глазами сидят на берегу реки и чешут гребнями белых коз своих) явятся здесь хищные звери и заревут как в пустыне Африканской!... Горестная мысль![2]

Наблюдайте движения Природы; читайте историю народов; поезжайте в Сирию, в Египет, в Грецию — и скажите, чего ожидать не возможно? Все возвышается или упадает; народы земные подобны цветам весенним; они увядают в свое время — придет странник, который удивлялся некогда красоте их; придет на то место, где цвели [3]они..... и[3] печальный мох представится глазам его! — Оссиан! ты живо чувствовал сию плачевную судьбу всего подлунного, и для того потрясаешь мое сердце унылыми своими песнями!

Кто поручится, чтобы вся Франция — сие прекраснейшее в свете государство, прекраснейшее по своему климату, своим произведениям, своим жителям, своим искусствам и художествам — рано или поздно не уподобилась нынешнему Египту?

Одно утешает меня — то, что с падением народов[4] не упадает весь род человеческий; одни уступают свое место другим — и естьли запустеет Европа, то в средине Африки или в Канаде процветут новые политические общества, процветут науки, искусства и художества.[5]

Там, где жили Гомеры и Платоны, живут ныне невежды и варвары, но за то в северной Европе существует Певец Мессиады, которому сам Гомер отдал бы лавровый венец свой; за то у подошвы Юры видим Боннета, а в Кенигсберге Канта, перед которыми Платон в рассуждении философии есть младенец.[6]

Более писать негде.

‹93›

Макон в Бургонии, полночь.

Путешествие наше очень приятно. День был прекрасный, вечер теплой, солнце тихо и великолепно скатилось с голубого неба, и давно не видал я такой розовой зари, какую видел ныне.

В полдень пристали мы к берегу против одного небольшого местечка. Тут встретили нас пятнадцать или двадцать трактирщиц, из которых каждая звала к себе в гости *любезных путешественников*, уверяя, что

у нее прекрасный суп, прекрасные соусы, прекрасный десерт и самое лучшее вино. Я, Б*, молодой Французской Офицер и двое Англичан обедали вместе, и с великою благодарностию заплатили хозяйке по 30 су, для того что она в самом деле очень хорошо нас угостила. — После обеда гуляли мы по берегу реки, заходили в разные крестьянские домики, и видели, что поселяне живут чисто и опрятно. Офицер, Б* и я говорили с ними о хозяйстве, о земледелии, и шутили с молодыми крестьянками, которые умеют еще краснеться. Одно семейство застали мы за обедом: на большом столе, покрытом довольно-чистою скатертью, стояла чаша с супом, блюдо шпинату и кринка молока. — Но весьма не полюбились мне деревянные башмаки Французских поселян, и я не понимаю, как они не натирают ими ног своих. —

Около вечера мы проплыли мимо города Треву, лежащего на правой стороне Соны; более всего известен он по Mémoires de Trevoux,* антифилософическому, Иезуитскому Журналу, который, подобно черной молниеносной туче, метал страшные перуны на Вольтеров и д'Аланбертов, и грозил попалить священным огнем все произведения ума человеческого.[1]

В девять часов вышли мы на берег в городе Маконе, ужинали в первом здешнем трактире и пили самое лучшее Бургонское вино. Оно густого, темного цвета, и совсем не похоже на то, что у нас в России называется Бургонским.

Здесь ночуем, и в четыре часа поплывем в Шалон, где надеемся быть завтра после обеда.

‹94›

Фонтенебло, 9 часов утра.

Третьего дни ночью выехали мы из Шалона, в легкой коляске, вместе с одним Парижским купцом, который, взяв с нас двоих 300 ливров, сказал, чтобы мы спрятали до Парижа свои кошельки; он платит прогоны, за обед, за ужин, за чай и кофе. Может быть, останется у него несколько талеров или экю; но за то мы совершенно покойны.

Французская почта не дороже, и притом несравненно лучше Немецкой. Лошади везде через пять минут готовы; дороги прекрасныя; постильйоны не ленивы — города и деревни беспрестанно мелькают в глазах путешественника.[1]

В 30 часов переехали мы 65 Французских миль; везде видели приятныя места, и на каждой станции — были окружены нищими! Товарищ наш Француз говорил, что они бедны от праздности и лени своей, и потому не достойны сожаления; но я не мог спокойно ни обедать, ни ужинать, видя под окном сии бледныя лица, сии раздранныя рубища!

---

* «Тревуским запискам» (*франц.*)

Фонтенебло есть маленькой городок, окруженный лесами, в которых Французские Короли издревле забавлялись [2]звериною ловлею.[2] Святый Лудовик подписывал на указах: donné en nos déserts de Fontainebleau (*дано в нашей пустыне Фонтенебло*). Тогда не было здесь почти ничего, кроме двух или трех церквей и монастыря; но Франциск I построил в пустыне огромный дворец, и украсил его лучшими произведениями Италиянского художества. Я хотел видеть внутренность сего величественного здания, и за два *экю* видел все достойное примечания: прекрасную церковь, галерею Франциска I с ея славными картинами, Королевския и Королевины комнаты, также украшенныя превосходною живописью, и проч. В одной большой галерее сего дворца показывают то место, где жестокая Христина в 1659 году страшнейшим образом умертвила своего Штальмейстера и любовника, Маркиза Мональдески. — В маскарадной зале, расписанной живописцем Николо, многия картины стерты, для того что оне были слишком соблазнительны для набожных людей. Соваль, Адвокат Парижского Парламента, описывая *любовныя похождения Королей Французских*, говорит, что век Франциска I был самый развращенный, и что все произведения тогдашних Поэтов и живописцов дышали сладострастием. «Ступай в Фонтенебло! (восклицает благочестивой Адвокат, скончавший жизнь свою в 1670 году) и везде на стенах увидишь ты богов и богинь, мущин и женщин, которыя посрамляют натуру и утопают в море распутства. Добродетельная супруга Генриха IV истребила многия из сих картин; но чтобы истребить все погибельное, все развратное, надлежит предать пламени весь Фонтенебло.» Некто Сюбле-де-Ное, будучи Губернатором в Фонтенебло, сжег Микель-Анджелову картину, за которую Франциск I заплатил превеликую сумму. Изображалась нагая Леда, — и так живо, в таком сладострастном положении, что Губернатор не мог видеть ее без соблазна. — Сии анекдоты взял я из Дюлора.

Мы завтракали — постильйон хлопает бичом — простите — простите до Парижа!

‹95›

Париж, 27 Марта, 1790.

Мы приближались к Парижу, и я беспрестанно спрашивал, скоро ли увидим его? Наконец открылась обширная равнина, а на равнине, во всю длину ея, Париж! . . . Жадные взоры наши устремились на сию необозримую громаду зданий — и терялись в [1]ея густых тенях.[1] Сердце мое билось. «Вот он (думал я) — вот город, который в течение многих веков был образцем всей Европы, источником вкуса, мод — которого имя произносится с благоговением учеными и неучеными, Философами и щеголями, художниками и невеждами, в Европе и в Азии, в Америке и в Африке — которого имя стало мне известно почти вместе с моим именем; о кото-

ром так много читал я в романах, так много слыхал от путешественников, так много мечтал и думал!... Вот он!... я его вижу, и буду в нем!» — — Ах, друзья мои! сия минута была одною из приятнейших минут моего путешествия! Ни к какому городу не приближался я с такими живыми чувствами, с таким любопытством, — с таким нетерпением! — Товарищ наш Француз, указывая на Париж своей тростью, говорил нам: «Здесь, на правой стороне, видите вы предместье Мон-Мартр и дю-Танпль, против нас Св. Антония,[2] а на левой стороне за Сеною предместие Ст. Марсель, Мишель и Жермень. Эта высокая готическая башня есть древняя церковь Богоматери; сей новый великолепный храм, которого архитектуре вы конечно удивляетесь, есть храм Святой Женевьевы, покровительницы Парижа; там вдали возвышается с блестящим куполом l'Hôtel Royal des Invalides,* одно из огромнейших Парижских зданий, где Короли и отечество покоят заслуженных и престарелых воинов.»

Скоро въехали мы в предместие Св. Антония; но что же увидели? Узкия, нечистыя, грязныя улицы, худые домы и людей в раздранных рубищах. «И это Париж?» (думал я) — «город, который издали казался столь великолепным?» — Но декорация совершенно переменилась, когда мы выехали на берег Сены; тут представились нам красивыя[3] здания, домы в шесть этажей, богатыя лавки. Какое многолюдство! какая пестрота! какой шум! Карета скачет за каретою; — беспрестанно кричат: gare! gare! ** и народ волнуется как море.

Сей неописанный шум, сие чудное разнообразие предметов, сие чрезвычайное многолюдство, сия необыкновенная живость в народе, привели меня в некоторое изумление. — Мне казалось, что я как маленькая песчинка попал в ужасную пучину и кружусь в водном вихре.

Переехав через Сену, в улице *Генего*, остановились мы подле Hôtel Britannique.*** Там, в третьем этаже, нашлись для нас две комнаты, светлыя и чисто прибранныя, за которыя должно платить по два луидора в месяц. Хозяйка осыпала нас учтивостями; бегала, суетилась, назначала место для наших кроватей, сундука, чемодана, и при всяком слове говорила: aimables étrangers — *любезные иностранцы, почтенные иностранцы!* Купец, сопутник наш, пожелал нам всевозможных удовольствий в Париже, и уехал к себе домой; а мы в полчаса успели отобедать, причесаться, одеться — заперли свои комнаты, вышли на улицу и смешались с толпами народными, которыя как морския волны вынесли нас к славному *Новому мосту*, pont neuf, где стоит прекрасный монумент любезнейшего из Королей Французских, Генрика IV.[3a] Можно ли было пройти мимо его? Нет! ноги мои сами собою остановились; взор мой сам собою устремился на образ Героя, и несколько минут не мог с него совратиться.

Оставя Беккера у подножия Генриковой статуи, я пошел к Г. Брегету, который живет не далеко от Нового мосту на quai des morfondus.****

* Королевского дома инвалидов (*франц.*)
** поди! поди! (*франц.*)
*** Британской гостиницы (*франц.*)
**** набережной Продрогших (*франц.*)

Жена его приняла меня перед камином, и услышав мое имя, тотчас вынесла мне письмо — письмо от моих любезных!... Вообразите радость вашего друга!... вы здоровы и благополучны!... Все беспокойства в одну минуту забылись: я стал весел как беспечный младенец — читал десять раз письмо — забыл Госпожу Брегет, и не говорил с нею ни слова — душа моя в сию минуту занималась одними отдаленными друзьями. — *Кажется, что вы очень обрадовались*, сказала хозяйка: *это приятно видеть.* — Тут я опомнился, начал перед нею извиняться, но очень не складно; хотел рассказывать ей о Женеве, где она родилась — но не мог, и наконец ушел. Беккер увидел меня бегущего; увидел письмо в руке моей; увидел мое лице — и обрадовался сердечно — потому что он любит меня. Мы обнялись на Новом Мосту подле монумента — и мне казалось, что сам медный Генрик, смотря на нас, улыбался. Pont neuf! я никогда тебя не забуду!

Сердце мое было довольно и весело — я ходил с Беккером по неизвестному городу, из улицы в улицу, без проводника, без намерения и без цели — и все, что встречалось глазам нашим, занимало меня приятным образом.

Солнце село; наступила ночь и фонари засветились на улицах. Мы пришли в *Пале-рояль*, огромное здание, которое принадлежит Герцогу Орлеанскому, и которое называется столицею Парижа.

Вообразите себе великолепный квадратный замок, и внизу его аркады, под которыми в бесчисленных лавках сияют все сокровища света, богатства Индии и Америки, алмазы и диаманты, серебро и золото; все произведения Натуры и Искусства; все, чем когда нибудь Царская пышность украшалась; все изобретенное роскошью для услаждения жизни!... И все это, для привлечения глаз, разложено прекраснейшим образом, и освещено яркими, разноцветными огнями, ослепляющими зрение. — Вообразите себе множество людей, которые толпятся в сих галереях, и ходят взад и вперед только для того, чтобы смотреть друг на друга! — Тут видите вы и кофейные домы, первые в Париже, где также все людьми наполнено; где читают вслух газеты и журналы, шумят, спорят, говорят речи, и проч.

Голова моя закружилась — мы вышли из галереи, и сели отдыхать в каштановой алее, в Jardin du Palais Royal.* Тут царствовали тишина и сумрак. Аркады изливали свет свой на зеленые ветьви; но он терялся
4 в их тенях.[4] Из другой алеи неслись тихие, сладостные звуки нежной музыки; прохладный ветерок шевелил листочки на деревьях. — *Нимфы радости* подходили к нам одна за другой, бросали в нас цветами, вздыхали, смеялись, звали в свои гроты, обещали тьму удовольствий, и скрывались как призраки лунной ночи.

Все казалось мне очарованием, Калипсиным островом, Армидиным замком. Я погрузился в приятную задумчивость....[5]

---

* Саду Пале-Рояля (*франц.*)

‹96›

Париж, 2 Апреля,[1] 1790.

Я в Париже! Эта мысль производит в душе моей какое-то особливое, быстрое, неизъяснимое, приятное движение ... *я в Париже!* говорю сам себе, и бегу из улицы в улицу, из Тюльери в Поля Елисейския; вдруг останавливаюсь, на все смотрю с отменным любопытством: на домы, на кареты, на людей.[2] Что было мне известно по описаниям, вижу теперь собственными глазами — веселюсь и радуюсь живою картиною величайшего, славнейшего города в свете, чудного, единственного по разнообразию своих явлений. —

Пять дней прошли для меня как пять часов: в шуме, во многолюдстве, в спектаклях, в волшебном замке Пале-Рояль. Душа моя наполнена живыми впечатлениями; но я не могу самому себе дать в них отчета, и не в состоянии сказать вам ничего связного о Париже. Пусть любопытство мое насыщается; а после будет время рассуждать, описывать, хвалить, критиковать. — Теперь замечу одно то, что кажется мне главною чертою в характере Парижа: отменную живость народных движений, удивительную скорость в словах и делах. Система Декартовых вихрей могла родиться только в голове Француза, Парижского жителя. Здесь все спешит куда-то; все, кажется, перегоняют друг друга; ловят, хватают мысли; угадывают, чего вы хотите, чтоб как можно скорее вас отправить. Какая страшная противоположность — на пример, с важными Швейцарами, которые ходят всегда размеренными шагами, слушают вас с величайшим вниманием, приводящим в краску стыдливого, скромного человека; слушают и тогда, когда вы уже говорить перестали; соображают ваши слова, и отвечают так медленно, так осторожно, боясь, что они вас не понимают! А Парижской житель хочет всегда отгадывать; вы еще не кончили вопроса, он сказал ответ свой, поклонился и ушел!

‹97›

Париж, Апреля.... 1790.

Принимаясь за перо с тем, чтобы представить Вам Париж хотя не в совершенной картине, но по крайней мере в главных его чертах, должен ли я начать, как говорили Древние, *с яиц Леды*, и объявить с ученою важностию, что сей город назывался некогда Лютециею; что имя Парижских жителей, Parisii, значит *народ, покровительствуемый Изидою* — то есть, что оно произошло от Греческого слова [1] *Пара* и *Изис*,[1] хотя NB Гальские народы не имели никакого понятия о сей Египетской богине и не думали искать ея покровительства? Перевести ли некоторыя места из записок Юлия Цесаря (первого из древних Авторов, упоминающих о Париже) и Мизопогона, книги сочиненной Императором Иулиа-

ном; места, из которых вы узнаете, что Париж и во время Цесарево был уже столицею Галлии, и что император Иулиан умер-было в нем от угара?* Окружить ли мне себя творениями Иоанна Готвиля, Вильгельма Коррозета, Клавдия Фошета, Николая Бонфуса, Якова Берля,[2] Маленгра, Соваля, Дона Филибьеня, Коллетета, де-ла-Мара, Брисса, Буассо, Праделя, ле-Мера, Монфокона — ослепить ли глаза ваши ученою пылью сих Авторов, и показать ли вам ясно, что был Париж в своем начале, когда еще не огромныя палаты и храмы созерцались в струях Сены, а маленькие домики, подобные Альпийским хижинам; когда еще не гранитные, а деревянные мосты служили ей поясами; когда не Лаис, не Рено пленяли слух людей на берегах ея, а братья Оссиановы дикими своими песнями; когда не Мирабо, не Мори удивляли Парижцев своим красноречием, а седовласые Друиды, обожатели дубового леса? Итти ли мне в след Парижу, шаг за шагом, через пространство минувших веков, означая все его изменения, новые виды, успехи в архитектуре, от первого каменного домика до Луврской колонады? — Я слышу ответ ваш: «Мы прочитаем Сент-Фуа, его Essais sur Paris,** и узнаем все то, что ты можешь сказать о древности Парижа; скажи нам только, каков он показался тебе в нынешнем своем виде, и более ничего не требуем.» — И так, оставляя почтенную старину, оставляя все прошедшее, буду говорить об одном настоящем.

Париж покажется вам великолепнейшим городом, когда вы въедете в него по Версальской дороге. Громады зданий впереди, с высокими шпицами и куполами; на правой стороне река Сена с картинными домиками и садами; на левой, за пространною зеленою равниною, гора *Мартр,* покрытая бесчисленными ветреными мельницами, которыя, размахивая своими крыльями, представляют глазам вашим летящую станицу каких нибудь пернатых великанов, строусов или Альпийских орлов. Дорога широкая, ровная, гладка как стол, и ночью бывает освещена фонарями. Застава есть небольшой домик, который пленяет вас красотою архитектуры своей. Через обширный бархатный луг въезжаете в *поля Елисейския,* не даром названныя сим привлекательным именем: лесок, насажденный самими Ореадами, с маленькими цветущими лужками, с хижинками в разных местах рассеянными, из которых в одной найдете кофейный дом, в другой лавку. Тут по Воскресеньям гуляет народ, играет музыка, пляшут веселыя мещанки. Бедные люди, изнуренные шестидневною работою, отдыхают на свежей траве, пьют вино и поют *водевили.* Вы не имеете времени осмотреть всех красот сего лесочка, сих умиль-

---

* «Я провел зиму в моей любезной Лютеции, — говорит он: — она построена на острову и окружена стенами, которыя омываются водами реки, приятными для глаз и вкуса. Зима бывает там обыкновенно не очень холодна; но в мое время морозы были так жестоки, что река покрылась льдом. Жители нагревают свои жилища посредством печей; но я не позволил развести огня в моей горнице, а велел только принести к себе несколько горящих угольев. Пар, которой от них распространился по всей комнате, едва-было не задушил меня, и я упал без чувства».

** «Очерки о Париже» (*франц.*)

ных рощиц, как будто бы без всякого намерения разбросанных на правой и на левой стороне дороги: взор ваш стремится вперед, туда, где на большой, осьмиугольной площади возвышается статуя Лудовика XV, окруженная белым мраморным балюстрадом. Подойдите[3] к ней, и увидите перед собою густыя алеи славного сада Тюльери, примыкающия к великолепному дворцу: вид прекрасный! Вошедши в сад, не знаете, чем любоваться: густотою ли древних алей, или приятностию высоких террас, которыя на обеих сторонах простираются во всю длину сада; или красотою бассеинов, цветников, ваз, групп и статуй. Художник ле-Нотр,[4] творец сего конечно искуснейшего сада в Европе, ознаменовал каждую его часть печатию ума и вкуса. Здесь гуляет уже не народ, так как в *полях Елисейских*, а так называемыя *лучшия люди*, кавалеры и дамы, с которых пудра и румяна сыплются на землю. Взойдите на большую террасу; посмотрите на право, на лево, кругом: везде огромныя здания, замки, храмы — красивыя берега Сены, гранитные мосты, на которых толпятся тысячи людей, стучит множество карет — взгляните на все, и скажите, каков Париж? Мало, естьли назовете его первым городом в свете, столицею великолепия и волшебства. Останьтесь же здесь, естьли не хотите переменить своего мнения; пошедши далее, увидите... тесныя улицы, оскорбительное смешение богатства с нищетою; подле блестящей лавки ювелира кучу гнилых яблок и сельдей; везде грязь и даже кровь, текущую ручьями из мясных рядов — зажмете нос и закроете глаза. Картина пышного города затмится в ваших мыслях, и вам покажется, что из всех городов на свете через подземельные трубы сливается в Париж нечистота и гадость. Ступите еще шаг, и вдруг повеет на вас благоухание щастливой Аравии, или, по крайней мере, цветущих лугов Провансских: значит, что вы подошли к одной из тех лавок, в которых продаются духи и помада, и которых здесь множество. Одним словом, что шаг, то новая атмосфера, то новые предметы роскоши или самой отвратительной нечистоты — так, что вы должны будете назвать Париж самым великолепным и самым гадким, самым благовонным* и самым вонючим городом. Улицы все без исключения узки и темны от огромности домов; славная *Сент-Оноре* всех длиннее, всех шумнее и всех грязнее. Горе бедным пешеходцам, а особливо[5] когда идет дождь! Вам надобно или месить грязь на средине улицы,** или вода, льющаяся с кровель через дельфины, не оставит на вас сухой нитки. Карета здесь необходима,*** по крайней мере для нас иностранцев: а Французы умеют чудесным образом

---

* Потому что нигде не продают столько ароматических духов, как в Париже.

** Мостовая делается в Париже скатом с обеих сторон улицы: от чего в средине бывает всегда страшная грязь.

*** За порядочную наемную карету надобно заплатить в день рубля четыре. Можно ездить и в фиакрах, т. е. извощичьих каретах, которыя стоят на каждом перекрестке; правда, что оне очень не хороши, как снаружи, так и внутри; кучер сидит на козлах в худом камзоле или ветхой епанче, и беспрестанно погоняет двух — не лошадей, а лошадиных скелетов, которые то дернут, то станут — побегут, и опять ни с места. В сем экипаже можно за 24 су проехать город из конца в конец.

ходить ио грязи не грязнясь, мастерски прыгают с камня на камень, и прячутся в лавки от скачущих карет. Славный Турнфор, который объездил почти весь свет, возвратился в Париж и был раздавлен фиакром, от того, что он в путешествии своем разучился прыгать серною на улицах: искусство необходимое для здешних жителей!

Подите городом прямо, в которую сторону вам угодно, и вы очутитесь наконец в тени густых алей, называемых *Булеварами;* их три: одна для карет, а две для пешеходцев; оне идут рядом и образуют магическое кольцо, или самую прекраснейшую опушку вокруг всего Парижа. Тут городские жители собирались некогда играть в шары (à la boule) на зеленой траве: от чего и произошло название *буле-вер* или *буле-вар.* Сначала на месте алей, был только один вал, который защищал столицу Франции от неприятельских набегов; дерева посажены гораздо после. Одна часть булеваров называется *старыми,* а другая *новыми;* на первых видите предметы вкуса, богатства, пышности; все вымышленное праздностию для занятия праздности — здесь Комедия, тут Опера; здесь блестящия палаты, тут Гесперидские сады, в которых не достает только золотых яблок; здесь кофейный дом, обвешенный зелеными гирляндами; тут беседка, украшенная цветами и подобная сельскому храму любви; здесь маленькой приятной лесочик, в котором гремит музыка, прыгает на веревке резвая Нимфа, или какой нибудь *фигляр* забавляет народ своими хитростями; тут показываются вам все редкия произведения животного царства Природы: птицы Американския, звери Африканские, колпбрии и строусы, тигры и крокодилы; здесь под каштановым деревом, сидит Цирцея, смотрит на вас томными глазами, кладет руку на сердце, и видя, что вы с равнодушием идете мимо, говорит со вздохом: *нечувствительный! жестокий!* Тут молодой растрепанный *франт* встречается с пожилым, нежно-напудренным *петиметром,* смотрит на него с усмешкою, и подает руку оперной певице; здесь длинный ряд карет, из которых выглядывают юность и древность, красота и безобразие, ум и глупость в самых живых характерных чертах — и наконец. . . марширует отряд национальной гвардии. Целый день употребил я на то, чтобы обойти эту шумную часть Булеваров.*

Так называемая *новая* часть представляет совсем другое зрелище: там дерева сенистее, алеи красивее, воздух чище, но мало бывает гуляющих; не слышите ни стука каретного, ни топота лошадиного, ни песней, ни музыки; не видите ни Английских, ни Французских щеголей, ни распудренных голов, ни разрумяненных лиц. Здесь в густой тени отдыхает

---

* Между великолепными домами, к ним примыкающими, заметил я дом известного Бомарше. Сей человек умел не только странною Комедиею вскружить голову Парижской публике, но и разбогатеть удивительным образом; умел не только изображать живописным пером слабыя стороны человеческого сердца, но и пользоваться ими для наполнения кошелька своего; он вместе и остроумный автор и тонкой светской человек, и хитрой придворный и расчетистый купец. Теперь имеет Бомарше все средства и способы наслаждаться жизнию. Дом его смотрят любопытные как диковинку богатства и вкуса; один барельеф над воротами стоит 30 или 40 тысячь ливров.



Франт и петиметр. Сатирический эстамп.

добрый ремесленник с своею женою и дочерью; тут по алее медленными шагами прохаживается сын его с молодою своею невестою, там поля с хлебом, сельския работы, трудящиеся земледельцы; словом, все просто, тихо и мирно.

Возвратимся опять в городской шум. Карл V говаривал: Lutetia non urbs, sed orbis (Лютеция, то есть Париж, есть не город, а целый мир): что ж бы он сказал теперь, когда Лютеция его вдвое увеличилась своим пространством, и вдвое умножилась числом своих обитателей? Вообразите себе 25 000 домов в 4, в 5 этажей, которые с верху до низу наполнены людьми! Вопреки всем географическим календарям, Париж многолюднее и Константинополя и Лондона, вмещая в себе, по новому[5а] исчислению, 1 130 450 жителей, между которыми полагается 150 000 иностранцев и 200 000 слуг. Ступай здесь из конца в конец города: везде множество идущих и едущих, везде шум и гам, — на больших и малых улицах: а их в Париже около тысячи! Ночью в 10, в 11 часов все еще живо, все движется и шумит; в первом, во втором часу встречается еще много людей; в третьем и четвертом слышите изредка каретный стук — однакож сии два часа можно назвать самыми тихими в сутках. В пятом показываются на улицах работники, Савояры, поденщики — и мало по малу весь город снова оживляется.

Теперь хотите ли осмотреть со мною славнейшия здания в Париже? — Нет; оставим это до другого времени; вы устали, я также: надобно переменить материю или — кончить.

Нынешний день обедал я у Господина Гло**, к которому было у меня письмо из Женевы. Худо не знать обычаев: я пришел в два часа, но в доме совсем еще не думали принимать гостей. Хозяин, после *утренней прогулки,* одевался в своем кабинете, а хозяйка занималась *утренним чтением.* Минут через десять вышла последняя в гостиную комнату, где я сидел один у камина, перевертывая листы в Мармонтелевой Поэтике, которая лежала на экране. Госпожа Гло** есть ученая дама лет в тридцать, говорит по-Английски, Италиянски, и (подобно Госпоже Неккер, у которой собирались некогда д'Аланберты, Дидроты, и Мармонтели) любит обходиться с Авторами. Мы начали говорить о Литтературе, и с жаром,[6] потому что Госпожа Гло** противоречила всем моим мнениям. На пример, я сказал, что Расин и Вольтер лучшие Французские Трагики; но она, по благосклонности своей, открыла мне, что Шенье — есть бог перед ними. Я думал, что прежде писали во Франции лучше, нежели ныне; но она сказала мне, что в доме у нее собирается около двадцати сочинителей, которые все несравненны. Я хвалил дю-Пати: она уверяла, что его в Париже не читают; что он был хороший Адвокат, но худой Автор и наблюдатель. Я хвалил Драму Рауля: она говорила об ней с презрением. Одним словом, наши несогласия никогда бы не кончились, естьли бы слуга не растворил дверей, и не уведомил Гж. Гло** о приезде гостей. Через несколько минут наполнилась горница Маркизами, Кавалерами Св. Людовика, Адвокатами, Англичанами; каждый гость подходил к хозяйке с холодным приветствием. После всех явился хозяин, и завел разговор о партиях, интригах, декретах Народного[7] Собрания, и проч. и проч. Французы рассуждали, хвалили, критиковали; а молодые Англичане зевали. Я невольным образом пристал к сим последним, и сердечно обрадовался, когда нас позвали обедать. Стол был очень хорош; но Риторы[8] не умолкали. Между прочим отличал себя один Адвокат, который хотел быть Министром единственно для того, чтобы в 6 месяцев заплатить все долги Франции, умножить втрое доходы ея, обогатить Короля, духовенство, дворянство, купцов, художников, ремесленников.... Тут Господин Гло** схватил его за руку и с важным видом сказал: «довольно, довольно, о великодушный человек!» Я засмеялся — к щастию, не один. Впрочем Адвокат ни мало тем не оскорбился, и продолжал доказывать пользу своих великих планов, относясь наиболее к Неккерову брату, который обедал вместе с нами, и который с величайшим терпением слушал его. Таких говорунов ныне тьма в Париже, а особливо под аркадами в Пале-Рояль, и надобно иметь очень здоровую голову, чтобы от их красноречия не чувствовать[9] в ней боли. — Подле меня сидел за столом Англичанин, человек умный и важный, который, узнав, что я Руской, распрашивал меня о нашем климате, образе жизни, и проч. Известный путешественник Кокс ему приятель;



Моды времен революции.

он вместе с ним был в Швейцарии и в Германии. — Мы встали из-за стола в пять часов, и хозяин сказал мне, что я всякое Воскресенье могу обедать у него вместе с его приятелями.

Еще было у меня письмо к Господину Н*, старому Прованскому дворянину, от брата его *Эмигранта*[10] (с которым я познакомился в Женеве в доме госпожи К*). Он почти слеп, глух, насилу ходит, и живет в Париже для молодой, нежной, томной, белокурой, миловидной жены своей, которая любит спектакли и проч. Какая неровная чета! Может ли такое супружество быть щастливо? думал я, смотря на Господина и Госпожу Н*, на Вулкана и Венеру, на мертвый Октябрь и цветущий Май. О природа! в царстве твоем растут ли подле снегов розы? — Меня приняли с холодною ласкою, так как здесь обыкновенно чужестранцев принимают; звали обедать, ужинать, и проч. Госпожа Н* сказала мне, что ныне в Париже скучно; что она скоро поедет в Швейцарию, поселится на той прекрасной горе близь Нёшателя,[11] которую Руссо описал магическим пером своим в письме к д'Аланберту, и будет жить там щастливо в объятиях Натуры. Я похвалил ее пиитическое намерение.

Париж ныне не то, что он был. Грозная туча носится над его башнями, и помрачает блеск сего, некогда пышного города. Златая роскошь, которая прежде царствовала в нем как в своей любезной столице — златая

роскошь, опустив черное покрывало на горестное лицо свое, поднялась на воздух и скрылась за облаками; остался один бледный луч ея сияния, который едва сверкает на горизонте, подобно умирающей заре вечера. Ужасы Революции[12] выгнали из Парижа самых богатейших жителей; знатнейшее дворянство удалилось в чужия земли; а те, которые здесь остались, живут по большой части в тесном круге своих друзей и родственников.[13]

«Здесь» — сказал мне Аббат Н*, идучи[14] со мною по улице St. Honoré, и указывая тростью на большие домы, которые стоят ныне пустые — «здесь, по Воскресеньям, у Маркизы Д* съезжались самыя модныя Парижския Дамы, знатные люди, славнейшие *остроумцы* (beaux esprits); одни играли в карты, другие судили о житейской философии, о нежных чувствах, приятностях, красоте, вкусе — тут, по Четвергам, у Графини А* собирались глубокомысленные Политики обоего пола, сравнивали Мабли с Ж. Жаком и сочиняли планы для новой Утопии — там, по Субботам, у Баронесы Ф* читал М* примечания свои на Книгу Бытия, изъясняя любопытным женщинам свойства древнего Хаоса, и представляя его в таком ужасном виде, что слушательницы падали в обморок от великого страха. Вы опоздали приехать в Париж; щастливыя времена исчезли; приятныя ужины кончились; *хорошее общество* (la bonne compagnie) рассеялось по всем концам земли. Маркиза Д* уехала в Лондон, Графиня А* в Швейцарию, а Баронеса Ф* в Рим, чтобы постричься там в монахини. Порядочный человек не знает теперь, куда деваться, что делать, и как провести вечер».

Однакожь аббат Н* (к которому привез я письмо из Женевы от брата его, Графа Н*), признался мне, что Французы давно уже разучились веселиться в обществах, так как они во время Людовика XIV веселились, на пример в доме известной Марионы де-Лорм, Графини де-ла-Сюз, Нинпоны Ланкло, где Вольтер сочинял первые стихи свои; где Вуатюр, Сент-Эвремон, Саразень, Граммон, Менаж, Пелиссон, Гено, блистали остроумием, сыпали Аттическую соль на общий разговор и были законодателями забав и вкуса. — «Жан Ла (или Лас),[15] продолжал мой Аббат, — Жан Ла нещастною выдумкою Банка погубил и богатство и любезность Парижских жителей, превратив наших забавных Маркизов в торгашей и ростовщиков; где прежде раздроблялись все тонкости общественного ума, где все сокровища, все оттенки Французского языка истощались в приятных шутках, в острых словах, там заговорили.... о цене банковских ассигнаций, и домы, в которых собиралось лучшее общество, сделались биржами. Обстоятельства переменились — Жан Ла бежал в Италию — но истинная Французская веселость была уже с того времени редким явлением в Парижских собраниях. Начались страшныя игры; молодыя дамы съезжались по вечерам для того, чтобы разорять друг друга, метали карты на право и на лево, и забывали искусство Граций, искусство нравиться. Потом вошли в моду попугаи и Экономисты, *Академическия интриги* и Энциклопедисты, *каланбуры* и Магнетизм, Химия и Драматургия, Метафизика и Политика. Красавицы сделались Авторами, и нашли способ.... усыплять самых своих любовников. О спектак-

лях, Опере, балетах говорили мы наконец математическими посылками, и числами изъясняли красоты Новой Элоизы. Все философствовали, важничали, хитрили, и вводили в язык новыя странныя выражения, которых бы Расин и Депрео понять не могли или не захотели — и я не знаю, к чему бы мы наконец должны были прибегнуть от скуки, естьли бы вдруг не грянул над нами гром Революции.»

Тут мы расстались с Аббатом.

Вчера, в придворной церкви, видел я Короля и Королеву. Спокойствие, кротость и добродушие изображаются на лице первого, и я уверен, что никакое [16] злое намерение не раждалось в душе его. Есть на свете щастливые характеры, которые по природному чувству не могут не любить и не делать добра: таков сей Государь! Он может быть злополучен; может погибнуть в шумящей буре — но правосудная История впишет Людовика XVI в число благодетельных Царей, и друг человечества прольет в память его слезу сердечную. — Королева, не смотря на все удары рока, прекрасна и величественна, подобно розе, на которую веют холодные ветры, но которая сохраняет еще цвет и красоту свою. Мария рождена быть Королевою. Вид, взор, усмешка — все показывает необыкновенную душу. Не льзя, чтобы ея сердце не страдало; но она умеет сокрывать горесть свою, и на светлых глазах ея не приметно ни одного облачка. Улыбаясь так, как Грации улыбаются, перебирала она листочки в своем молитвеннике, взглядывала на Короля, на Принцессу, дочь свою, и снова бралась за книгу. Елисавета, сестра Королевская, молилась с великим усердием и набожностию; мне казалось, что по лицу ея катились слезы. — В церкви было множество народу, так что я от жару и духоты упал бы в обморок, естьли бы одна дама, приметив мою бледность, не подала мне спирту. Все люди смотрели на Короля и Королеву, еще более на последнюю; иные вздыхали, утирали глаза свои белыми платками; другие смотрели без всякого чувства, и смеялись над бедными монахами, которые пели вечерню. — На Короле был фиолетовый кафтан; на Королеве, Елисавете и Принцессе черныя платья, с простым головным убором. — Дофина видел я в Тюльери. Прекрасная, нежная Ланбаль, которой Флориан посвятил сказки свои, вела его за руку. Милой младенец! Ангел красоты и невинности! Как он, в темном своем камзольчике, с голубою лентою через плечо, прыгал и веселился на свежем воздухе! Со всех сторон бежали люди смотреть его, и все без шляп; все с радостию окружали любезного младенца, который ласкал их взором и усмешками своими. Народ любит еще кровь Царскую!

‹98›

Париж, Апреля.... 1790.

Говорить ли о Французской Революции? Вы читаете газеты: следственно происшествия вам известны. Можно ли было ожидать таких сцен в наше время, от зефирных Французов, которые славились своею любезностию, и пели с восторгом от Кале до Марсели, от Перпиньяна до Стразбурга:

Pour un peuple aimable et sensible
Le premier bien est un bon Roi — — —

Для любезного народа
[1] Щастье добрый Государь? [1]

Не думайте однакожь, чтобы вся нация участвовала в трагедии, которая играется ныне во Франции. Едва ли сотая часть действует; все другие смотрят, судят, спорят, плачут или смеются, бьют в ладоши или освистывают, как в театре. Те, которым потерять нечего, дерзки как хищные волки; те, которые всего могут лишиться, робки как зайцы; одни хотят все отнять, другие хотят спасти что нибудь. Оборонительная война с наглым неприятелем редко бывает щастлива. История не кончилась; но по сие время Французское дворянство и духовенство кажутся худыми защитниками Трона.

С 14 Июля все твердят во Франции об Аристократах и Демократах; хвалят и бранят друг друга сими именами, по большой части не зная их смысла. Судите о народном невежестве по следующему анекдоту: [2]

В одной деревеньке близь Парижа крестьяне остановили молодого, хорошо одетого человека, и требовали, чтобы он кричал с ними: vive la nation! *да здравствует нация!* Молодой человек исполнил их волю; махал шляпою и кричал: vive la nation! *Хорошо! хорошо!* сказали они: *мы довольны. Ты добрый Француз; ступай куда хочешь. Нет, постой: изъясни нам прежде, что такое.... нация?* [3] —

Рассказывают, что маленькой Дофин, играя со своею белкою, щелкает ее по носу и говорит: *ты Аристократ, великой Аристократ, белка!* Любезный младенец, безпрестанно слыша это слово, затвердил его.

Один Маркиз, который был некогда осыпан Королевскими милостями, играет теперь не последнюю ролю между неприятелями Двора. Некоторые из прежних его друзей изъявили ему свое негодование. Он пожал плечами, и с холодным видом отвечал им: que faire? j'aime les te-te-troubles! *что делать? я люблю мяте-те-тежи!* Маркиз заика.

Но читал ли Маркиз историю Греции и Рима? помнит ли цыкуту и скалу Тарпейскую? Народ есть острое железо, которым играть опасно, а революция отверстый гроб для добродетели и — самого злодейства.

Всякое гражданское общество, веками утвержденное, есть святыня для добрых граждан; и в самом несовершеннейшем надобно удивляться

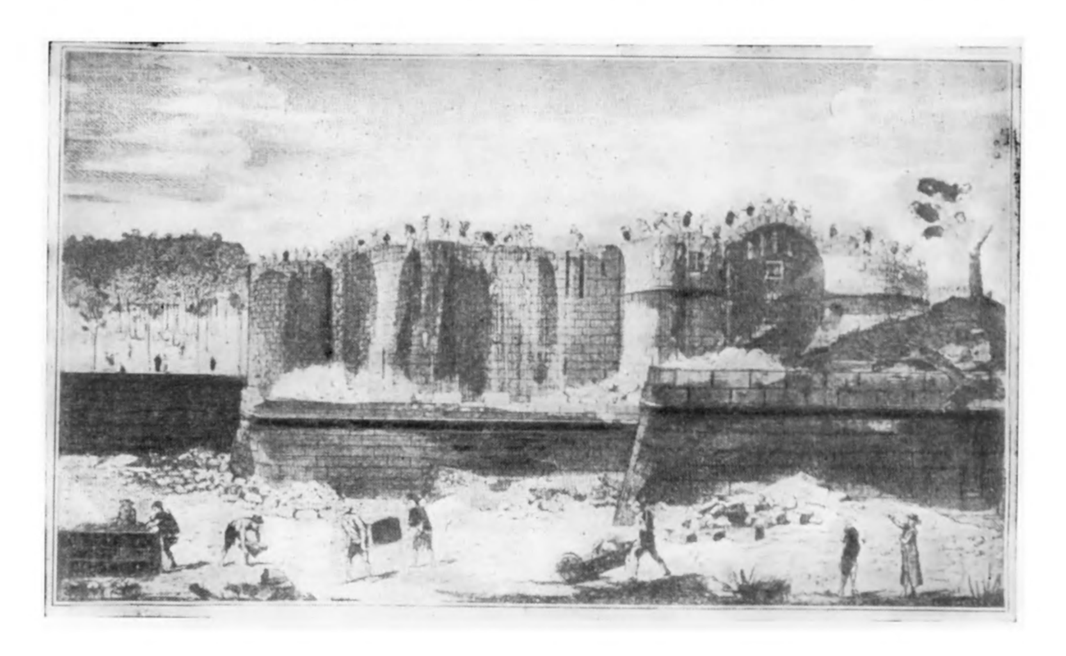


«Пробуждение третьего сословия». Сатирический эстамп.

чудесной гармонии, благоустройству, порядку. *Утопия** будет всегда мечтою доброго сердца, или может исполниться неприметным действием времени, посредством медленных, но верных, безопасных успехов разума, просвещения, воспитания, добрых нравов. Когда люди уверятся, что для собственного их щастия добродетель необходима, тогда настанет век златой, и во всяком правлении человек насладится мирным благополучием жизни. Всякия же насильственныя потрясения гибельны, и каждый бунтовщик готовит себе эшафот. Предадим,[4] друзья мои, предадим себя во власть Провидению: Оно конечно имеет Свой план; в Его руке сердца Государей — и довольно.

Легкие умы думают, что все легко; мудрые знают опасность всякой перемены, и живут тихо. Французская Монархия производила великих Государей, великих Министров, великих людей в разных родах; под ея мирною сению возрастали науки и художества; жизнь общественная украшалась цветами приятностей; бедный находил себе хлеб, богатый

* Или *Царство щастия* сочинения Моруса.



Разрушение Бастилии.

наслаждался своим избытком.... Но дерзкие подняли секиру на священное дерево, говоря: *мы лучше сделаем!*

Новые Республиканцы с порочными сердцами! разверните Плутарха, и вы услышите от древнего, величайшего, добродетельного Республиканца, Катона, что *безначалие хуже всякой власти*![5] —

В заключение сообщу вам несколько стихов из Рабеле, в которых знакомец мой, Аббат Н*, находит предсказание нынешней революции.

Gargantua, ch. LVIII.

Enigme et Prophetie

Je fays sçavoir à qui le veut entendre,
Que cet hyver prochain, sans plus attendre,
En ce lieu où nous sommes,
Il sortira une maniere d'hommes,
Las du repos et faschez du séjour,
Qui franchement iront, et de plein jour,
Suborner gents de toutes qualitez,
A differends et partialitez,
Et qui voudra les croire et escouter,
Quoy qu'il en doive advenir et couter.
Ils feront mettre en debats apparents
Amys entre eux et les proches parents.
Le fils hardi ne craindra l'impropere



М. Робеспьер.

De se bander contre son propre pere.
Mesme les Grands, de noble lieu saillis,
De leurs subjects se verront assaillis,
Et sur ce point naistra tant de meslées,
Tant de discords, venuës et allées,
Que nulle histoire, où sont les grands merveilles,
N'a fait récit d'émotions pareilles.
Alors auront non moindre authorité
Hommes sans foy, que gents de verité;
Car touts suivront la creance et estude
De l'ignorante et sotte multitude,
Dont le plus lourd sera recu pour juge.
O dommageable et penible deluge!
Deluge, dis-je, et à bonne raison;
Car ce travail ne perdra sa saison,
Et n'en sera la terre delivrée,
Jusques à tant qu'elle soit ennyvrée
De flots de sang...

Французской старинный язык, может быть, для вас темен. Я переведу:

«Объявляю всем, кто хочет знать, что не далее, как в следующую зиму, увидим во Франции злодеев, которые явно будут развращать людей всякого состояния, и поссорят друзей с друзьями, родных с родными. Дерзкой сын не побоится восстать против отца своего, и раб против господина, так, что в самой чудесной Истории не найдем примеров подобного раздора, волнения и мятежа. Тогда нечестивые, вероломные сравняются властию с добрыми; тогда глупая чернь будет давать законы, и бессмысленные сядут на месте судей. О страшный, гибельный потоп! *потоп,* говорю: ибо земля освободится от сего бедствия не иначе, *как упившись кровию*».

‹99›

Париж, Апреля....

В Четверток, в Пятницу и в Субботу на Страстной неделе бывало здесь славное гулянье в алеях Булонского лесу; *бывало*: потому что нынешнее, мною виденное, совсем не могло войти в сравнение с прежними, для которых богачи и щеголи нарочно заказывали новые экипажи, и где четыре, пять тысячь карет, одна другой лучше, блистательнее, моднее, являлись глазам зрителей. Я ходил туда пешком, и видел около тысячи экипажей, но ни одного великолепного. Это гулянье напомнило мне наше Московское, 1 Мая. Также карета за каретою, от Елисейских полей до монастыря Longchamp. Народ стоял в два ряда подле дороги, шумел, кричал и смеялся непристойным образом над гуляющими. На пример: «Смотрите! вот едет торговка из рыбного ряда с своею соседкою, башмачницею! Вот красный нос, самый длинный во всем Париже! Вот молодая кокетка в 70 лет: влюбляйтесь! Вот Кавалер Св. Людовика с молодою женою и с рогами! Вот Философ, который продает свой ум за две копейки!» — Молодые франты прыгали на Английских конях, заглядывали в каждую карету и дразнили чернь: allons, allons, mes amis! de l'esprit, de l'esprit! Bon, c'est de la vraie gaieté Parisienne! * Другие бродили пешком, с длинными деревянными саблями вместо тростей, pour se confondre avec le peuple.** — Прежде более всего отличались тут славныя жрицы Венерины; оне выезжали в самых лучших экипажах. Одна молодая Актриса разорвала связь свою с Графом Д*, прекрасным мущиною. Ея знакомыя удивлялись. «Чему дивиться?» — сказала им Актриса: «он чудовище, изверг: он не хотел подарить мне новой кареты для Булонского гулянья. Я должна была предпочесть ему старого Маркиза, ко-

---

* ну, ну, друзья! Больше остроумия, больше остроумия! Прекрасно! Вот это настоящая парижская веселость! (*франц.*)

** чтобы слиться с народом (*франц.*)

торый заложил все брилианты жены своей, чтобы купить мне самую дорогую карету в Париже!» [1]

Я прошел в монастырь Longchamp, видел гробницу Изабеллы, сестры Людовика Святого, и две остроумныя надписи под[2] монументом отца Фременя и брата Франциска Серафима. Первая:

Fremin, tu fais fremir le sort,
Et ton nom vit malgré la mort.*

Другая

Que la vie a vecu de François Seraphique,
80 ans sur terre, au Ciel vit l'angelique.**

<100>

Париж, Апреля 29, 1790.

Ныне целый день просидел я в комнате своей, один, с головною болью; но когда стало смеркаться, вышел на Pont neuf,*** и облокотясь на подножие Генриковой статуи, смотрел с великим удовольствием, как тени ночныя мешались с умирающим светом дня; как звезды на небе, а фонари на улицах засвечались. С приезду моего в Париж все вечера без исключения проводил я в спектаклях, и потому около месяца не видал сумерек. Как они хороши весною, даже и в шумном, немиловидном Париже!

Целый месяц быть всякой день в спектаклях! быть, и не насытиться ни смехом Талии, ни слезами Мельпомены!... и всякой раз наслаждаться их приятностями с новым чувством!.... Сам дивлюсь; но это правда.[1]

Правда и то, что я не имел прежде достаточного понятия о Французских театрах. Теперь скажу, что они доведены, каждой в своем роде, до возможного совершенства, и что все части спектакля составляют здесь прекрасную гармонию, которая самым приятнейшим образом действует на сердце зрителя.[2]

В Париже пять главных Театров: Большая Опера, так называемый Французской Театр (les François), Италианской (les Italiens), Графа Прованского (theâtre de Monsieur) и Variétés — всякой день играют на них, и всякой день (подивитесь Французам!) бывают они наполнены людьми, так что в 6 часов вы едва ли где нибудь найдете место.

Кто был в Париже, говорят Французы, и не видал Большой Оперы, подобен тому, кто был в Риме и не видал Папы. В самом деле, она есть нечто весьма великолепное, и наиболее по своим блестящим декорациям и прекрасным балетам. Здесь видите вы — то поля Елисейския,

* Фремен! Ты заставил судьбу трепетать, и имя твое живо, хотя ты и умер (*франц.*)

** Кто прожил на земле 80 лет жизнью Франциска Серафического, тот на небе живет ангелом (*франц.*)

*** Так называемой *Новый мост*, близь которого я жил.

где блаженствуют души праведных; где вечная весна зеленеет; где слух ваш пленяется [3]тихими звуками лир;[3] где все [4]любезно, восхитительно[4] — то мрачный Тартар, где вздохи умирающих волнуют страшный Ахерон; где шум черного Коцита и Стикса заглушается стенанием и плачем бедствия; где волны Флегетона пылают; где Тантал, Иксион и Данаиды вечно страдают, и не видят конца своим мучениям; где светлая Лета томным журчанием призывает нещастных к забвению житейских забот и горестей. Здесь видите,[5] как Орфей скитается в черных лесах подземного царства; как Фурии терзают Ореста; как Язон сражается с огнем, с пламенем и с чудовищами; как раздраженная Медея, проклиная неблагодарность людей, летит с громом и молниею на вершину Кавказа; как Египтяне в печальных хорах оплакивают смерть добродетельного Царя своего, и как горестная Нефта, над великолепным памятником супруга, клянется вечно боготворить его в сердце своем; как Ринальдо тает в восторге у ног пламенной Армиды, среди бесчисленных красот волшебного искусства, рассеянных в садах ея; как Диана спускается на светлом облаке, целует Эндимиона, и блестящими слезами страстную грудь свою орошает; как величественная Калипса истощает все возможныя очарования, чтобы пленить юного Телемака; как резвыя, милыя Нимфы — одна другой резвее, одна другой милее — окружают его с арфами и лирами, играют и поют любовь, [6]и каждым сладострастным движением[6] говорят ему: *люби! люби!* как нежный Телемак колеблется, чувствует слабость свою, забывает советы Мудрости, и... сверженный благодетельною рукою Ментора, летит с высокого каменного берега в шумящее море: летит вместе с душею зрителей.

Все сие так живо, так естественно, что я тысячу раз забывался и принимал искусственное подражание за самую натуру. Едва могу[7] верить глазам своим, видя быструю перемену [8]декораций. В одно мгновение[8] рай превращается в ад; в одно мгновение проливаются моря, там, где луга зеленели, где цветы расцветали, и где пастухи на свирелях играли; светлое небо покрывается густым мраком, черныя тучи несутся на крыльях ревущей бури, и зритель трепещет в душе своей; еще один миг, и мрак исчезает, и тучи скрываются, [9]и бури умолкают,[9] и сердце ваше светлеет вместе с видимыми предметами.

Не смотря на множество здешних искусных танцовщиков, Вестрис сияет между ими как Сириус между звездами. Все его движения так приятны, так живы, так выразительны, что я всегда смотрю, дивлюсь и не могу сам себе изъяснить удовольствия, которое доставляет мне сей единственный [10]танцовщик; легкость,[10] стройность, гармония, чувство, жизнь — все соединяется вместе, и естьли можно быть Ритором[11] без слов, то Вестрис в своем роде Цицерон. Никакие стихотворцы не опишут того, что блистает в его глазах, что выражает игра его мускулов, когда милая, стыдливая пастушка говорит ему нежным взором: *люблю*! когда он, бросаясь к ея сердцу, призывает небо и землю во свидетели своего блаженства. Живописец положит кисть, и скажет только: «Вестрис!» — Гардель бесподобен в трагической пантомиме. Какое величество! Герой в каждом взоре, герой в каждом движении! Вестрис питомец

милых Граций; а Гардель ученик важных Муз. — Нивлон есть вторый Вестрис. О других танцовщиках скажу только, что они составляют прекрасную группу живописных фигур, пленительную для зрения. — Когда же являются на сцене Терпсихорины Нимфы, как будто бы на крыльях Зефира принесенныя, тогда сцена кажется мне весенним лугом, на котором пестреют бесчисленныя цветы; взор теряется между разнообразными красотами — но любезная Периньйон и прелестная Миллер подобны пышной розе и гордой лилее, которыя отличаются от всех других цветов.

Лаис, Шенар, Лене, Руссо — вот первые певцы оперы; и естьли верить Французам, то никогда и никакая земля не производила лучших. Они нравятся мне не только пением, но и самою игрою: два таланта, которые не всегда бывают вместе! Маркези никогда не мог тронуть меня так, как Лаис и Шенар трогают. Пусть смеются над моей простотою и невежеством; но в голосе сего славного Италиянского певца нет того, что для меня всего любезнее — нет души! Вы спросите, что я разумею под сею душею? Не умею изъяснить; однакожь чувствую. Ах! какой Маркези может петь так хорошо:

J'ai perdu mon Eurydice:
Rien n'égale mon malheur! *

какой Италиянской получеловек может петь сию несравненную Глукову арию с таким сердечным выражением, как Руссо, молодой, статный, прекрасный Руссо, достойный Эвридики?

Мальяр есть теперь первая певица. Вы слыхали о Сент-Юберти: ее уже нет! Говорят, что она сошла с ума. Любители Оперы воспоминают об ней почти со слезами.

Сим декорациям, балетам, певцам,[12] совершенно отвечает и оркестр, составленный из лучших музыкантов Парижа. Одним словом, любезные друзья, здесь торжествуют Искусства на высочайшей степени совершенства, и все вместе производят в зрителе чувство, которое без всякой гиперболы можно назвать восхищением. — Такой спектакль требует конечно больших издержек. Не смотря на то, что за вход в ложи и в паркет платят (на наши деньги) рубли по два и по три; не смотря на то, что все сии дорогия места бывают наполнены людьми, Опера стоила Двору, по счету Неккерову, около трех или четырех миллионов в год.

На так называемом Французском Театре играют трагедии, драмы и большия комедии. — Я и теперь не переменил мнения своего о Французской Мельпомене. Она благородна, величественна, прекрасна; но никогда не тронет, не потрясет сердца моего так, как Муза Шекспирова и некоторых (правда, не многих) Немцов. Французские Поэты имеют тонкой, нежный вкус, и *в искусстве писать* могут служить образцами. Только в рассуждении изобретения, жара и глубокого *чувства Натуры* — простите мне священныя тени Корнелей, Расинов и Вольтеров! — дол-

* Потерял я Эвридику: что с моим сравнится горем! (*франц.*)

жны они уступить преимущество Англичанам и Немцам. Трагедии их наполнены изящными картинами, в которых весьма искусно подобраны краски к краскам, тени к теням; но я удивляюсь им по большой части с холодным сердцем. Везде смесь естественного с романическим; везде mes feux, ma foi; * везде Греки и Римляне à la Françoise,** которые тают в любовных восторгах, иногда философствуют, выражают [13] одну мысль разными отборными словами, и теряясь [14] в лабиринте красноречия, забывают действовать. Здешняя публика требует от Автора [15] прекрасных стихов, des vers à retenir; *** они прославляют пиесу, и для того стихотворцы стараются всячески умножать [16] их число, занимаясь тем более, нежели важностию [17] приключений, нежели новыми, чрезвычайными, но естественными *положениями* (situations), и забывая, что характер всего более обнаруживается в сих необыкновенных случаях, от которых и слова заимствуют силу свою.****

Коротко сказать, творения Французской Мельпомены славны — и будут всегда славны — красотою слога и блестящими стихами; но естьли Трагедия должна глубоко трогать наше сердце или ужасать душу: то соотечественники Вольтеровы не имеют может быть ни двух истинных трагедий — и д'Аланберт сказал весьма справедливо, что все их пиесы сочинены более для чтения, нежели для театра.

---

* пылаю страстью. Клянусь честью! (*франц.*).

** на французский манер (*франц.*)

*** стихов, которые запоминаются (*франц.*)

**** Я прошу знатоков Французского театра найти мне в Корнеле или в Расине что-нибудь подобное — на пример сим Шекспировым стихам, в устах старца Леара, изгнанного собственными детьми его, которым отдал он свое царство, свою корону, свое величие — скитающегося в бурную ночь по лесам и пустыням.

Blow winds... rage, blow!
You sulph'rous and thought-executing fires,
Vaunt-couriers of oak-cleaving thunder-bolts,
Singe my white head! And thou allshaking thunder,
Strike flat the thick rotundity o'th' world;
Crack nature's mould, all germins spill at once,
That make ingrateful man!...
I tax not you, you elements, with unkindness!
I never gave you kingdom, call'd you children;
...Then let fall
Your horrible pleasure!... Here I stand, your slave,
A pour, infirm, weak and despis'd old man!

(«Шумите ветры, свирепствуй буря! Серные, быстрые огни, предтечи разрушительных ударов! лейте пламя на белую главу мою!... Громы, громы! сокрушите здание мира; сокрушите образ натуры [18] и человека, неблагодарного человека!... Не жалуюсь на вашу свирепость, разъяренныя стихии! Я не отдавал вам царства, не именовал вас милыми детьми своими! И так свирепствуйте по воле! Разите — се я, раб ваш, слабый, изнуренный старец, отверженный от человечества!»)

Они раздирают душу; они гремят подобно тому грому, который в них описывается, и потрясают сердце читателя. Но что же дает им сию ужасную силу? Чрезвычайное положение [19] царственного изгнанника,[19] живая картина бедственной судьбы его. И кто после [20] того спросит еще: *какой характер, какую душу имел Леар?*

Когда же оне непременно должны быть играны, то по крайней мере надобно для них таких актеров, как ла-Рив, Сен-При, Сен-Фаль, и таких актрис, как Сенваль,[21] Рокур, и проч. которые заступили ныне место Барона и ле-Кеня, ля-Куврер и Клерон. Вот декламация! вот *действие*! [22] Благородство в виде, величавость в поступи, ясность, чистота в произношении, и в каждом слове душа, то есть, всякая Поэтова мысль оттенена, всякая мысль выражена свойственным ей тоном, и в гармонии с игрою глаз, с движением руки; везде живопись,[23] везде картины — и естьли зритель, не смотря на сие утончение искусства, остается холоден, то конечно не актеры виноваты.

Ла-Рив царь на сцене. Совершенно Греческая фигура и редкой орга́н! — Сей актер совсем было простился с театром. Рассказывают, что он, не любя молодой актрисы Дегарсень (которую можно назвать живым образом слабой томности), старался всячески замешивать ее в игре. Публика с неудовольствием приметила сию непохвальную черту сердца его, и славный ла-Рив был освистан партером; после чего он скрылся, и клялся никогда уже не выходить на сцену. Но — где клятва, тут и преступление. Два года бездействия ему наскучили. Привыкший к хвале и рукоплесканиям, [24] без них не мог быть щастлив,[24] сражался сам с собою, и наконец, оставя все сомнения, снова явился на сцене в роли Эдипа. [25] Я видел его.[25] Ужасное стечение людей! Не говоря о паркете, ложах, партере — самый оркестр был наполнен зрителями, которым музыканты уступили свои места. В пять часов начался стук и топот нетерпения; в половине шестого поднялся занавес — и все утихло. Первое явление — Эдипа нет — молчание царствовало. Но лишь только Димас сказал: Oedipe en ces lieux va paraitre,* страшныя рукоплескания загремели, которыя продолжались до самой той минуты, как ла-Рив вышел, в великолепной Греческой, белой одежде, распустив по плечам русые волосы, и гордо-смиренным наклонением головы изъявил публике благодарную свою чувствительность. — В течении всех пяти актов громкая хвала не умолкала. Ла-Рив старался всеми силами заслуживать ее, и, как Французы говорят, превосходил в искусстве самого себя, не жалея бедной своей груди. Не понимаю, как он мог выдержать до конца трагедии; не понимаю, как и зрители не устали от рукоплескания. В той сцене, где Эдип узнает, что он умертвил отца; [26] что он супруг своей матери; узнает, и страшным образом проклинает судьбу,** я почти оце-

---

* Эдип появился в этих местах (*франц.*)

** В следующих стихах:

Un Dieu plus fort que moi m'entrainait vers le crime;
Sous mes pas fugitifs il creusait un abime,
Et j'étais, malgré moi, dans mon aveuglement,
D'un pouvoir inconnu l'esclave et l'instrument.
Voilà tous mes forfaits; je n'en connais point d'autres.
Impitoyables Dieux, mes crimes sont les vôtres,
Et vous m'en punissez?... Où suis je? quelle nuit
Couvre d'un voile affreux la clarté qui nous luit?
Ces murs sont teints de sang; je vois les Eumenides

пенел. Никакая кисть не изобразит того, что свирепствовало на лице ла-Рива в сию минуту: ужас, грызение сердца, отчаяние, гнев, ожесточение, и все, все, чего не могу выразить словами. Зрители ахнули, когда он, терзаемый, гонимый Фуриями,[27] бросился со сцены и ударился головою о перистиль, так что все колонны задрожали. Вдали слышны были его стенания. — Публика не насытилась еще Эдипом своим, и по окончании пиесы вызвала бедного ла-Рива на сцену. Актриса Рокур, которая представляла Иокасту, держала его за руку; едва мог он сказать два или три слова, и готов был унасть на землю — занавес опустился. —

Сен-При играет одне роли с ла-Ривом: искусный актер с великими талантами, [28] но не ла-Рив.[28] — Сен-Фаль представляет любовников в трагедиях и драмах: молодой, статный человек приятного вида. В Корнелевом *Сиде* [29] он восхищает публику.[29] Так надобно играть Родрига, кроме двух или трех сцен, где я не совершенно доволен был игрою сего актера. На пример, описывая Королю сражение [30] с Маврами, излишно старался он выразить в голосе своем — сперва тишину ночи, а потом шум битвы, стук мечей и проч. Французы хлопали; но те, которые размышляли о правилах истинной мимики,[31] не могут любить такого неестественного подражания. — Сен-Валь, первая трагическая актриса, хотя слишком стара и немиловидна для роли любовниц, однакожь нравится блестящим своим искусством и жаром игры. — Рокур есть совершенная Медея, и потому в сей роле она несравненна. Величественная фигура, большие черные глаза, которые между густыми ресницами сияют как молнии ночью; волосы [32] как вороново крыло;[32] все черты лица правильны, но не милы; красота без нежности; суровость в самой улыбке; голос твердый и проницательный — одним словом, Медея. И теперь вижу я, как развевается на ней огненная мантия с волшебными знаками, и как ужасно сверкает острый кинжал в руках раздраженной полубогини, сверкает вместе с ея взором. Одна Рокур может сказать так разительно сии слова:

Le destin de Medée est d'être criminelle;
Mais son coeur étoit fait pour aimer la vertu.*

Славная актриса Конта — славная своею красотой и кокетством более, нежели театральною игрою — представляет роли любовниц в коме-

---

Secouer leurs flambeaux vengeurs des patricides.
Le tonnere en éclats semble fondre sur moi;
L'enfer s'ouvre...

‹Некий бог, более могущественный, чем я, увлек меня к преступлению. Под моими робкими стопами он изрыл пропасть, и я, ослепленный, поневоле стал рабом и орудием неведомой мне силы. Вот все мои грехи — других не знаю. Безжалостные боги! Мои преступления — это ваши преступления, и вы же меня за них караете?... Где я? Какая ночь своим страшным покровом скрывает от меня свет, нам сияющий? Эти стены в крови... Я вижу, как Эвмениды, мстящие отцеубийцам, потрясают своими факелами. Раскаты грома, кажется, рушатся на меня, ад разверзается... (*франц.*)›

* Участь Медеи быть преступницей; но сердце ее было создано, чтобы любить добродетель (*франц.*)

диях и драмах, иногда и в трагедиях. Ей теперь за тридцать лет; но она все еще хороша, и партер наполнен ея обожателями, щастливыми и нещастными. Сказывают, что один молодой Граф от любви к ней сошел с ума, и заключился в Картезианском монастыре. Никогда не бывает она так прелестна, как в новой пиесе le Couvent.* Черное платье, белое покрывало, вид невинности, чистосердечия ..... ах, бедный Граф! я верю твоему сумасшествию! — Зрители всегда заставляют ее несколько раз повторять арию:

L'attrait qui fait chérir ces lieux,
Est le charme de l'innocence.**

Несказанно-приятный голос! — Но никто из актеров сего театра не делает мне столько удовольствия, как Моле, единственный, несравненный Моле, играющий по большой части ролю отцев в комедиях. Наш Померанцев кажется учеником его. Я два раза удивлялся ему в Мольеровом и Фабровом Мизантропе, и два раза плакал от него в *Монтескьё*, Мерсьеровой драме. Такой благородный вид, такую улыбку добродушия, человеколюбия, обходительности надлежало иметь Автору бессмертной книги о *законах*! *** [33]

Я не буду говорить о других комических актерах сего Театра: их много. — Но в заключение скажу, что Талия Британская и Талия Германии должны уступить преимущество Французской. Английския комедии по большой части или скучны, или грубы, неблагопристойны, оскорбительны для всякого нежного вкуса; а Немецкия, кроме некоторых посредственных, совсем недостойны внимания.[35]

Так называемый Италианской Театр, но где играют одне Французския мелодрамы, есть мой любимый спектакль: я бываю в нем чаще, нежели в других, и всегда с великим удовольствием слушаю музыку Французских сочинителей, восхищаюсь игрою славной актрисы Дюгазон и пением Розы Рено, милой девушки лет в двадцать, которую публика до небес превозносит, и которая в самом деле есть теперь лучшая певица в Париже.

Мне полюбились две новыя мелодрамы, играемыя на сем Театре: Рауль *синяя борода* и Петр Великий. Содержание первой взято из старинной сказки и очень, очень театрально. Рауль, богатый дворянин, влюбляется в Розалию, любезную девушку, сестру одного небогатого рыцаря, и предлагает ей руку свою, вместе с блестящими подарками. Красавица чувствует некоторую склонность к молодому Вержи, который любит ее страстно: но, ах! бедный Вержи не имеет ничего, кроме доброго, нежного сердца — а доброе и нежное сердце не всегда заменяет, в глазах красавиц, дары щастия. Богатство Раулево ослепляет Розалию. Она рассматривает подарки... какое великолепие! какой вкус! Бо-

* «Монастырь» (*франц.*)

** Очарование невинности — вот прелесть, которая заставляет любить эти места (*франц.*)

*** То есть, в сей драме Моле представляет благодетельного [34] Монтескьё.

лее всего нравится ей прекрасный головной убор, осыпанный брилиантами; она надевает его, подходит к зеркалу... и подает руку гордому Раулю. Бедный Вержи плачет, и скрывается. Розалия живет в огромном замке, где все служит ей как богине, где все льстит ея суетности. Иногда, но очень редко, вылетает вздох из неверной груди; иногда, но очень редко кажется ей, что с добрым, пламенным Вержи была бы она щастливее, нежели с холодным[36] своим супругом. — Скоро Рауль едет — не известно куда — и прощаясь с красавицею, отдает ей ключь от одной запертой комнаты.[37] «Естьли не хочешь моей погибели, говорит он: естьли не хочешь сама погибнуть, то не будь любопытна!» Розалия клянется — в чем иногда не клянутся милыя женщины? — клянется, и через две минуты... отпирает дверь... Вообразите [38] ужас ея!...[38] Она видит головы двух прежних Раулевых жен, с огненною надписью: *вот доля твоя*! (Раулю было пророчество, что любопытство жены погубит его; для того он испытывал супруг своих, и умерщвлял их за сию слабость, надеясь спасти тем собственную жизнь) — Дюгазон представляет Розалию. Бледная, с распущенными волосами, [39] она бросается на креслы,[39] и поет дрожащим голосом:

Ah! quel sort
Le barbare
Me prepare!
C'est la mort!
C'est la mort! *

В сию минуту является Вержи, в женском платье, под именем Розалииной сестры. Какое свидание! Должно спасти погибающую; но как? Вержи без оружия, среди множества неприятелей. Одно средство остается: уведомить обо всем Розалиина брата. Вержи отправляет к нему письмо с конюшим своим. — Между тем Рауль возвращается; он знает все, и грозным голосом велит Розалии готовиться к смерти. Ни слезы, ни жалобы не смягчают его — нет избавления! Тщетно любовник смотрит в поле, нетерпеливо [40] ожидая помощи —

Реки там виясь сверкают,
Солнца ясные лучи
Всю природу озлащают;
Но булатные мечи
Не сияют, не сверкают.

Нет помощи! Не спешат рыцари избавить Розалию! Наконец отчаянный Вержи сказывает о себе Раулю, что он не женщина; что он любит его супругу, и хочет умереть вместе с нею: его ведут в темницу. Розалия ожидает смертоносного удара; острый меч блистает над ея головою... но вдруг с шумом отворяются двери; вооруженные рыцари нападают на Рауля и воинов его, побеждают — и Розалия узнает своего брата. Жестокий ея супруг умирает; нежный Вержи падает перед нею

* Ах, какой жребий готовит мне этот варвар! Смерть! Смерть! (*франц.*)

на колени... занавес опускается. — Гретри сочинял музыку: она прекрасна. —

В мелодраме Петр Великий есть очень трогательныя сцены; по крайней мере для Руского. Действие происходит [41] не далеко от границ России.[41] — Государь с другом своим ле-Фортом, живучи [42] в маленькой деревеньке на берегу моря, учится корабельному искусству, и всякой день, с утра [43] до вечера, трудится в пристани. Все почитают его обыкновенным работником, и называют добрым, смышленным, умным Петром. Молодой, видный актер Мишю играет эту [44] ролю: мне казался он живым портретом нашего Императора. Может быть и воображение мое прибавило нечто к сему сходству; но я не хотел чувствовать обмана — хотел им наслаждаться. В той же деревне живет прелестная Катерина, молодая, добродетельная вдова, нежно любимая поселянами. Государь, пылкий во всех своих склонностях, скорый во всех движениях сердца, [45] влюбляется в ея красоту, в милую душу,[45] и открывает ей страсть свою. Катерина обожает Петра; никогда еще глаза ея не видали такого прекрасного, величественного, любезного человека, и никогда сердце ея столь охотно не следовало за глазами. Она не таит своих чувств, и подает ему руку; слезы восторга катятся [46] по лицу ея.[46] Государь клянется быть ей нежным *супругом*: слово вылетело из уст его — оно свято. Ле-Форт, оставшись на едине с Монархом, говорит ему: «Бедная крестьянка будет супругою моего Императора! Но ты во всех своих делах беспримерен; ты велик духом своим; хочешь возвысить в отечестве нашем сан человека, и презираешь суетную надменность людей; одно душевное благородство достойно уважения в глазах твоих; Катерина благородна душею — и так да будет она супругою моего Государя, моего отца и друга!» Второе действие открывается сговором. Столетние старцы, опираясь на плечо внучат своих, приходят к невесте; хладными, слабыми руками пожимают ея руку, и с радостными слезами желают ей благополучия. Молодыя девушки приносят розовые венки, украшают ими любезную чету, и поют свадебныя песни. «Добрый Петр! говорят старцы: люби всегда милую Катерину, и будь другом нашей деревни!» Государь тронут до глубины сердца. «Вот другая блаженная минута в жизни моей!» тихо говорит он ле-Форту: «первою насладился я тогда, когда решился в душе своей быть отцом и просветителем миллионов людей, и дал в том клятву Всевышнему.» — Все садятся вокруг любовников; все веселы и щастливы! Старики знают, что ле-Форт имеет приятный голос, и для того просят его спеть какую нибудь старинную песню; он думает, берет цитру, играет и поет:

Жил был в свете добрый Царь,
Православный Государь.
Все сердца его любили,
Все отцом и другом чтили.

Любит Царь детей своих;
Хочет он блаженства их:
[47] Сан и пышность забывает [47] —
Трон, порфиру оставляет. —

Царь как странник в путь идет,
И обходит целый свет.
Посох есть ему — держава,
Все опасности — забава.

Для чегожь оставил он
Царский сан и светлый трон?
Для чего ему скитаться, —
Хладу, зною подвергаться?

Чтоб везде добро сбирать,
Душу, сердце украшать
Просвещения цветами,
Трудолюбия плодами.

Для чегожь ему желать
Душу, сердце украшать
Просвещения цветами,
Трудолюбия плодами?

Чтобы мудростью своей
Озарить умы людей,
Чад и подданных прославить
И в *искусстве жить* наставить.

О *Великий* Государь!
Первый, первый в свете Царь! —
Всю вселенную пройдете,
Но другова не найдете.

Ле-Форт забыл конец песни. Добрые крестьяне хвалят ее; только не хотят верить, чтобы в самом деле был на свете такой Государь. Катерина более всех тронута; в черных глазах ея блистают слезы. «Нет, говорит она ле-Форту: нет, ты нас не обманываешь; песня твоя справедлива: иначе ты не мог бы петь ее с таким сердечным жаром!» Вообразите чувствительность Государя! — Но скоро действие переменяется. Приезжает Менщиков, вызывает Императора и сказывает ему, что в России прошел ложный слух о его смерти; что зломышленники развевают везде пламя бунта; что ему непременно должно возвратиться как можно скорее в Москву, и что верный Преображенский полк ожидает его на границе. Император не страшится мятежников — один величественный, светлый взор его может рассеять все тучи на горизонте России — но он спешит явиться глазам любезной своей Гвардии. Нежная Катерина ждет друга, но тщетно; ищет его и не находит. Ей сказывают, что он уехал. Сердце ея хладеет. *Петр оставил, обманул меня!*... сии слова умирают на бледных [48] устах ея.[48] Но когда она, после жестокого обморока, приходит в себя, Петр стоит на коленях перед нею, уже не в платье бедного работника, но в великолепной одежде Царской, окруженный Вельможами. Катерина не видит ничего, кроме своего милого друга; оживает, восхищается и забывает упреки. Государь открывает ей все. «Я хотел обладать нежным сердцем, говорит он, которое любило бы во мне не Императора, но человека: вот оно!» — (обнимая Катерину) — «сердце и рука моя твои; прими же от меня и корону! Не она, но ты

будешь украшать ее.» — Удивленная Катерина не радуется венцу Царскому; она хотела бы жить с любезным Петром своим в бедной хижине; но Петр и на троне мил душе ея. Вельможи упадают перед нею на колени — весь Преображенский полк выходит на сцену — радостныя восклицания гремят в воздухе — восклицания: *да здравствует Петр и Екатерина*! Государь обнимает супругу — занавес опускается. Я отираю слезы свои — и радуюсь,[49] что я Руской. Автор пиесы есть Г. Бульи. — Жаль только, что Французы нарядили Государя, Менщикова и ле-Форта в Польское платье, а Преображенских солдат и Офицеров в крестьянские зеленые кафтаны с желтыми кушаками. Зрители вокруг меня говорили, что Руские и ныне точно так одеваются; а я, занимаясь драмою, не почел за нужное выводить их из заблуждения.

На Театре Графа Прованского (Théâtre de Monsieur) представляют по большой части Италиянския комические оперы, иногда же маленькия Французския пиесы. Говорят, что в Италии нет и не бывало подобной трупы: редкие таланты! Гж. Балетти есть первая певица, и славна не только своим голосом, красотою, но и беспорочным поведением. Парижская актриса и добродетель: чудная связь! и потому Английские Лорды со вздохом говорят, что она Феникс.[50] — Из певцов славнейшие Раффанелли, Мандини и Виганони.[51]

Новый Театр des Variétés огромнее всех здешних Театров; великолепная зала, прекрасные ложи, блестящая аван-сцена! — Там представляются комедии и драмы иногда очень хорошо, иногда посредственно. Известный Монвель, один из первых Парижских актеров, вторый ле-Кень, играет ныне в Variétés. Он стар, не имеет ни голосу, ни фигуры; но все сии недостатки заменяет искусством и живостию игры. Всякое слово его впечатлеватся в душу зрителя; глаза его в одну минуту и меркнут и воспламеняются; я боюсь смигнуть с него, когда он выходит на сцену. Ла-Рив, Монвель, Моле — вот три актера, которые, может быть, во всей Европе не найдут себе двух подобных.

Кроме сих главных пяти Театров есть в Париже множество других в Palais Royal, на *булеварах*, и для всякого спектакля находятся особливые зрители. Не говоря уже о богатых людях, которые живут только для удовольствий и рассеяния, самые бедные ремесленники, Савояры, разнощики, почитают за необходимость быть в Театре два или три раза в неделю; плачут, смеются, хлопают, свищут и решат судьбу пиес. В самом деле между ими есть много знатоков, которые замечают [52] всякую щастливую мысль Автора, всякое щастливое выражение актера.[52] A force de forger on devient forgeron * — и я часто удивлялся верному вкусу здешних партеров, которые по большой части бывают наполнены людьми низкого состояния. Англичанин торжествует в Парламенте и на бирже, Немец в ученом кабинете, Француз в Театре.

---

* Начнешь ковать — сделаешься кузнецом (*франц.*)

Только на две недели в году закрываются здесь спектакли, то есть, на Страстную и Святую недели; но как Французам жить и 14 дней без публичных веселий? Тогда всякой вечер в оперном доме бывает духовный концерт, concert spirituel, где лучшие Виртуозы[53] на разных инструментах показывают свое искусство, и где провел я несколько весьма приятных и, можно сказать, сладких часов, слушая Гайденову Stabat Mater,* Иомеллиево Miserere,** — и проч. Несколько раз грудь моя орошалась жаркими слезами — я не отирал их — я их не чувствовал. — Небесная музыка! наслаждаясь тобою, возвышаюсь духом, и не завидую Ангелам. Кто докажет мне, чтобы душа моя, удобная к таким святым, чистым, эфирным радостям, не имела в себе чего нибудь божественного, нетленного? Сии нежные звуки, веющие как Зефир на сердце мое, могут ли быть пищею смертного, грубого существа? — Но ничто в этом[54] концерте не трогало меня так сильно, как один прекрасный *дуэт* Лаиса и Руссо. Они пели — оркестр молчал — слушатели едва дышали ...... несравненно!

‹101›

Париж, Апреля...

От чего сердце мое страдает иногда без всякой известной мне причины? От чего свет помрачается в глазах моих тогда, как лучезарное солнце сияет на небе? Как изъяснить сии жестокие, меланхолические припадки, в которых вся душа моя сжимается и хладеет?... Не уже ли[1] сия тоска есть предчувствие отдаленных бедствий? Не уже ли[2] она есть не что иное, как задаток тех горестей, которыми Судьба намерена посетить меня в будущем?...

Часов шесть бродил я по окрестностям Парижа, в самом грустном расположении духа; пришел в Булонской лес и увидел перед собою готический замок Мадрит, построенный в 16 веке, окруженный глубокими рвами и темными аркадами. Террасы его заросли высокою травою. Где Франциск I наслаждался всеми приятностями любви и роскоши;*** где нежные звуки арф и гитар усыпляли его в объятиях богини сладострастия: там ныне пустота и молчание царствуют.... Вокруг меня бегали олени; солнце катилось к западу; ветер шумел в густоте леса. Я хотел видеть внутренность замка... Барельефы крыльца, представляющие разныя сцены из Метаморфоз Овидиевых, покрылись зеленым мохом; здесь, над пламенным сердцем нежного Пирама, умирающего от любви к Тизбе, развевается хладная полынь; там Время рукою своею изглаживает картину Юнонина мщения, превратившего в пепел

---

* «Стояла Мать скорбящая» (*латин.*)
** «Господи, помилуй!» (*латин.*)
*** Сей замок построен Франциском I по возвращении его из Гишпании.

злощастную Семелею.... В первой, второй, третьей зале все пусто и мрачно; в четвертой, украшенной резьбою и живописью, услышал я тяжелый вздох... осмотрелся кругом и... представьте себе мое удивление!... в углу сей огромной залы, подле мраморного камина, на больших креслах сидела старая женщина лет шестидесяти, бледная, сухая, в раздранном рубище... Она взглянула на меня, кивнула головою и тихим голосом сказала: *добрый вечер!*... Несколько минут стоял я неподвижно на одном месте; наконец подошел, начал говорить с нею и узнал, что она нищая, сбирает милостыню в Париже, в окрестных деревнях, и уже два года живет в пустом замке Мадрите. — Никто не тревожит тебя здесь? спросил я. — «Кому тревожить? Один раз пришел сюда Надзиратель, и увидел меня лежащую на соломе в передней горнице. Я рассказала ему свою историю, историю моей дочери — он заплакал — дал мне три ливра, и велел жить в этой зале, для того что в ней целы окончины; для того что в ней не дует ветер. Добрый человек!» — У тебя есть дочь? — «Была, была; теперь она там, выше замка Мадрита. Ах! мы жили с нею как в раю: жили в низенькой хижине, спокойно и щастливо! Тогда и свет был лучше; тогда и все люди были добрее. Знаешь ли, как у нас в деревне называли ее? Мущины соловьем, а женщины малиновкой. Она любила петь, сидя под окном, или ходя в роще за цветами; все останавливались и слушали. У меня сердце прыгало от радости. Тогда заимодавцы нас не мучили. Луиза попросит, и всякой готов ждать. Луиза умерла, и меня выгнали из хижины, с клюкою и котомкою. Ходи по миру и лей слезы на холодные камни!» — У тебя нет родни? — «Есть; да ныне всякой об себе думает. Кому до меня нужда? Я не люблю скучать собою. Слава Богу! нашла пристанище. Знаешь ли, что здесь живал Король Франсуа? я заступила его место. Иногда, по ночам, кажется мне, будто он расхаживает по горницам с своими Министрами, Генералами, и разговаривает о старине.» — И тебе здесь не страшно? — «Страшно? Нет, я уже давно перестала бояться.» — Что же будет с тобою, добрая старушка, когда ты занеможешь, когда ноги твои от старости.... «Что будет? Я умру — меня погребут, и все дело с концом.» — Мы замолчали.... Я подошел к окну, и смотрел на заходящее солнце, которое тихими лучами своими освещало разнообразныя картины Парижских окрестностей. Боже мой! сколько великолепия в физическом мире (думал я), и сколько бедствия в нравственном! Может ли нещастный, угнетенный бременем бытия своего, отверженный, уединенный среди множества людей, хладных и жестоких, — может ли он веселиться твоим великолепием, златое солнце! твоею чистою лазурью, светлое небо! вашею красотою, зеленые луга и рощи? Нет, он томится; всегда, везде томится, бедный страдалец! Темная ночь сокрой его! Шумящая буря унеси его... туда, туда, где добрые не тоскуют; где волны океана, океана вечности, прохлаждают истлевшее сердце!...

Солнце закатилось. Я пожал руку бедной старушки — и возвратился в Париж.

‹102›

Париж, Маия....

Сей час получил от вас письмо — и как обрадовался, нет нужды сказывать. Можно ли, что вы не писали ко мне от 14 Февраля до 7 Апреля? Любезные друзья мои конечно не знали, как дорого стоило их молчание бедному Рускому путешественнику; иначе, без сомнения, они не заставили бы его мучиться. Извините, естьли это похоже на выговор; мне право было очень грустно. Теперь говорю: *слава Богу!* и все забываю.

Вам казалось, что я никогда не выеду из Женевы; а естьли бы вы знали, как мне наконец стало там скучно! Спросите, для чего же я тотчас не выехал оттуда? Единственно для того, что всякой день ожидал ваших писем — и время проходило. Мне очень хотелось возобновить свое путешествие с покойным сердцем: чего однакожь не сделалось.

Правда, любезный А. А., Париж есть город единственный. Нигде, может быть, не льзя найти столько материи для философских наблюдений, как здесь; нигде столько любопытных предметов для человека, умеющего ценить Искусства; нигде столько рассеяния и забав. Но где же и столько опасностей для философии, особливо для сердца? Здесь тысячи сетей расставлены для всякой его слабости... Шумный океан, где быстрое стремление волн мчит вас от Харибды к Сцилле, от Сциллы к Харибде! Сирен множество; и пение их так сладостно, усыпительно.... Как легко забыться, заснуть! но пробуждение едва ли не всегда горестно — и первый предмет, который явится глазам, будет пустой кошелек.

Однакожь не надобно себе воображать, что Парижская приятная жизнь очень дорога для всякого; напротив того здесь можно за небольшия деньги наслаждаться всеми удовольствиями по своему вкусу. Я говорю о *позволенных*, и в строгом смысле позволенных удовольствиях. Естьли же кто вздумает *коротко* знакомиться с певицами и актрисами, или в тех домах, где играют в карты, не отказываться ни от какой партии, тому надобно Английское богатство. И домом жить дорого, то есть, дороже, нежели у нас в Москве. Но вот как можно весело проводить время и тратить не много денег: [1]

Иметь хорошую комнату в лучшей *Отели*;* поутру читать разные [2] журналы, газеты,[2] где всегда найдешь что нибудь занимательное, жалкое, смешное; и между тем пить кофе, какого не умеют варить ни в Германии, ни в Швейцарии; потом кликнуть парикмахера, говоруна, враля, который наскажет вам множество забавного вздору о Мирабо и Мори, о Бальи и Лафаете; намажет вашу голову Прованскими духами и напудрит самою белою, легкою, пудрою; а там, надев чистой, простой

---

* Hôtel есть наемный дом, где вы кроме комнаты и услуги ничего не имеете. Кофе и чай приносят вам из ближайшего кофейного дома, а обед из трактира.

фрак, *бродить* по городу, зайти в Пале-Рояль, в Тюльери, в Елисейския поля, к известному Писателю, к художнику, в лавки, где продаются эстампы и картины, — к Дидоту, любоваться его прекрасными изданиями классических Авторов, обедать у Ресторатёра,* где подадут вам за рубль пять или шесть хорошо приготовленных блюд с десертом; посмотреть на часы, и расположить время свое до шести, чтобы, осмотрев какую нибудь церковь, украшенную монументами, или галлерею картинную, или библиотеку, или кабинет редкостей, явиться, с первым движением смычка, в Опере, в Комедии, в Трагедии, пленяться гармониею, балетом, смеяться, плакать — и с томною, но приятных чувств исполненною душею отдыхать в Пале-Рояль, в Café de Valois, de Caveau,** за чашкою *баваруаза*;*** взглядывать на великолепное освещение лавок, аркад, алей в саду; вслушиваться иногда в то, что говорят тамошние глубокие Политики; наконец возвратиться в тихую свою комнату, собраться с идеями, написать несколько строк в своем журнале, броситься на мягкую постелю, и (чем обыкновенно кончится и день и жизнь) заснуть глубоким сном с приятною мыслию о будущем. — Так я провожу время, и доволен.

Скажу вам несколько слов о главных Парижских зданиях.

Лувр. Прежде был он не что иное, как грозная крепость, где жили потомки Кловисовы, и где, как в государственной темнице, заключались возмутители, ослушные Бароны, которые часто восставали против своих Королей. Франциск I, страстный охотник воевать, пленять красавиц и строить великолепные замки, разрушив до основания готическия башни, на их месте соорудил огромный дворец, украшенный лучшими художниками его века, но необитаемый до времен Карла IX. Лудовик XIV воцарился: с ним воцарились Искусства, Науки — и Лувр, по его мановению, увенчался великолепною своею колоннадою, лучшим произведением Французской Архитектуры, и тем более удивительною, что строил ее не славный зодчий, а Доктор Перро, обесславленный, разруганный насмешливым Буало в его сатирах. Не льзя взглянуть без какого-то глубокого почтения на ея перистили, портики, фронтоны, пиластры, столпы, которым вместо крова служит терраса с прекрасным балюстрадом. Я всякой раз останавливаюсь против главных ворот, смотрю и думаю: «Сколько тысящелетий мелькнуло через земный шар в вечность между первым сплетением гибких ветьвей, укрывших дикого Адамова сына от ненастья, и гигантскою колоннадою Лувра, дивом огромности и вкуса! Как мал человек, но как велик ум его! Как медленны успехи разума, но как они многообразны и бесконечны!» — Лудовик XIV долго жил в Лувре; наконец предпочел ему Версалию, и место великого

* Ресторатёрами называются в Париже лучшие трактирщики, у которых можно обедать. Вам подадут роспись всем блюдам, с означением их цены; выбрав, что угодно, обедаете на маленьком, особливом столике.

** Кафе Валуа, в «Погребке» (*франц.*)

*** Ароматический сироп с чаем.

Монарха занял Аполлон с Музами. Тут все Академии;* тут жили и славные Ученые, Авторы, Поэты, достойные Королевского внимания. Лудовик, уступив свое жилище Гению, возвысил и его и себя.

Говоря о Лувре, не льзя не вспомнить о снежном обелиске, которой в жестокую зиму в 1788 году сделан был против его окон бедными людьми, в знак благодарности к нынешнему Королю, покупавшему для них дрова. Все Парижские Стихотворцы сочиняли надписи для такого редкого памятника, и лучшая из них была:

Мы делаем Царю и другу своему
Лишь снежный монумент; милее он ему,
Чем мрамор драгоценный,
Из дальних стран на счет убогих привезенный.

В память сего трогательного случая, один богатый человек, Г. Жюбо, соорудил перед своим домом, близь Тюильри, мраморной обелиск, и вырезал на нем все надписи снежного монумента; я был у Г. Жюбо, читал их, и вообразив, как ныне Французы обходятся с Королем своим, подумал: «Вот памятник благодарности, который доказывает неблагодарность Французов!»

Тюльери. Имя произошло от tuile, т. е. черепицы, которую некогда тут делали. Сей дворец построен Катериною Медицис; состоит из пяти павильйонов с четырьмя *кор-де ложи*; украшен мраморными колоннами, фронтоном, статуями, и наконец изображением лучезарного солнца, девизом Лудовика XIV. Вид здания не величествен, но приятен; положение очень хорошо. С одной стороны река Сена, а перед главною фасадою Тюльерийской сад с высокими своими террасами, цветниками, бассейнами, группами и (что всего лучше) древними густыми алеями, сквозь которые вдали видна, на обширной площади, статуя Лудовика XV. Тут живет ныне Королевская фамилия. Я видел и внутренность дворца. В день Св. Духа Король вместе с Кавалерами главного Французского Ордена пошел в церковь; за ним Королева с Дамами; первые в рыцарских мантиях, с распущенными волосами; вторыя в богатых робах. В ту самую минуту любопытные зрители бросились во внутренния комнаты — я за ними — из залы в залу, и до самой спальни. *Куда вы, господа? за чем?* спрашивали придворные лакеи. *Смотреть,* отвечали мои товарищи, и шли далее. Украшения комнат составляют обои Гобелиновой фабрики, картины, статуи, гротески, бронзовые камины. Между тем глаза мои занимались не только вещами, но и людьми: Министрами и Экс-Министрами, придворными и старыми Королевскими слугами, которые, видя бесчинство молодых, с величайшим небрежением одетых людей, шумящих и бегающих, пожимали плечами. Я сам с каким-то го-

* Там, в зале Академии Художеств, видел я четыре славныя ле-Брюневы картины: сражения Александра Великого.

рестным чувством ходил за другими. Таков ли был прежде Французский Двор, славный своею блестящею пышностию? Видя двух человек, сидящих рядом и тихонько говорящих между собою, думал я: «Они верно говорят о нещастном состоянии Франции и будущих ея возможных бедствиях!» — Второй Сын Герцога Орлеанского играл в биллиард с каким-то почтенным стариком. Молодой Принц очень хорош лицом; надобно, чтобы и душа его была прекрасна, — следственно не похожа на душу отца его. — — Тюльери соединяется с Лувром посредством галлереи, которая длиннее и огромнее всех галлерей на свете, и где должен быть Королевский Музеум, или собрание картин, статуй, древностей, рассеянных теперь по разным местам.

Люксанбур принадлежит ныне Графу Прованскому: величественный дворец, построенный Мариею Медицис, супругою великого и матерью слабого Короля, женщиною властолюбивою, но рожденною без всякого таланта властвовать; которая, быв долгое время Ксантиппою Генриха IV, заступила его место на троне для того, чтобы расточить плоды Сюллиевой бережливости, завести междоусобную войну во Франции, возвеличить Ришелье [2а] и быть жертвою его неблагодарности; которая, осыпав миллионами недостойных своих любимцев, кончила жизнь в изгнании, в бедности, едва имея кусок хлеба для утоления голода и рубище для прикрытия наготы своей. Игра судьбы бывает иногда ужасна. — С такими мыслями смотрел я на прекрасную архитектуру сего дворца, на его террасы и павильйоны. За несколько гривен показали мне и внутренность. Комнаты едва ли достойны примечания; но тут славная галлерея Рубенсова, в которой сей Нидерландский Рафаэль истощил всю силу искусства и Гения своего: 25 больших картин, представляющих Генриха IV и Королеву Марию со множеством аллегорических фигур. Какое разнообразие в виде супругов! На всякой картине *они,* но всякая имеет свой особенный характер. Мария, изображенная в родах, есть венец Рубенсовой кисти. Глубокие следы страдания, томность, изнеможение; бледная роза красоты; радость быть материю Дофина; чувство, что вся Франция ожидала сей минуты с боязливым нетерпением, и что миллионы будут торжествовать ея щастливое разрешение от бремени; нежность супруги, говорящей своими взорами Генриху: *я жива! у нас есть сын!* все прекрасно, и с трогательным искусством выражено. Видно, что главным предметом живописца была Королева; она занимает первое место на картинах: Генрих везде *для нее.* Удивительно ли? Рубенс писал по ея заказу, после Генриховой смерти; и льстец-живописец сделал то, чего ни льстец-Историк, ни льстец-Поэт не мог бы сделать для Марии: он умел искусством своим подкупить сердца в ея пользу; он заставляет меня любить Марию. — Между аллегорическими фигурами приметил я одно женское милое лицо, неоднократно изображенное. Ученик живописи, который показывал мне галлерею, сказал: «Не дивитесь повторению; это лицо Рубенсовой жены, славной красавицы Елены [2б] Форман. Рубенс был ея *любовником-супругом,* и везде, где только мог, изображал свою Елену [2в].»

Я люблю тех, которые любить умели; и сердце мое еще сильнее прилепилось к художнику.

Сад Люксанбургской был некогда любимым гульбищем Французских Авторов, которые в густых и темных его алеях обдумывали планы своих творений. Там Мабли часто гулял с Кондильяком; туда приходил иногда и печальный Руссо говорить с своим красноречивым сердцем; там и Вольтер в молодости не редко искал гармонических рифм для острых своих мыслей, а мрачный Кребильйон воображал себя злобным Атреем. Ныне сад уже не таков; многия алеи исчезли, вырублены или засохли. Но я часто пользуюсь остальною сению тамошних старых дерев; хожу один, или, сидя на дерновом канапе, читаю книгу. Люксанбург не далеко от улицы Генего, в которой живу.[3]

Господин Д*, гуляя со мною третьягодни в Люксанбурском саду рассказал мне забавной случай. В 1784 году, Июля 8, собрался там почти весь Париж, чтобы видеть воздушное путешествие Аббата Миолана, объявленное через газеты, Ждут два, три часа: шар не поднимается. Публика спрашивает, когда начнется эксперимент? Аббат отвечает: *в минуту!* Но приходит вечер, а шар ни с места. Народ теряет наконец терпение, бросается на аэростат, рвет его в клочки, а Миолан спасается бегством. На другой день в Пале-Рояль и на всех перекрестках Савояры кричат: «Кому надобно изображение славного путешествия, щастливо совершенного славным Аббатом Миоланом, — за копейку, за копейку!» Аббат после того умер гражданскою смертию, то есть, не смел казаться в люди. Смешная история должна была кончиться новым смешным анекдотом. Господин Д*, скоро после Миоланова бедствия, был в партере Оперы и смотрел на балет. Вдруг приходит высокой человек, Аббат, становится перед ним, и мешает ему видеть сцену. «Посторонитесь, говорят ему: здесь довольно места». Гигант не слушает, не трогается; смотрит и не дает другим смотреть. Молодой Адвокат, который стоял подле Господина Д*, сказал ему: «хотите ли, чтобы я выгнал высокого Аббата?» *Ах ради Бога! естьли можете.* — «Могу» — и тотчас начал шептать на ухо всем, стоявшим вокруг его: «вот Аббат Миолан, который обманул публику!» Вдруг десять голосов повторили «вот Аббат Миолан!» Чрез минуту весь партер закричал: «вот Аббат Миолан!» и все указывали пальцом на высокого человека, который в изумлении, в досаде, в отчаянии на право и на лево [4] кричал: «Государи мои! [4] я не Аббат Миолан!» Но скоро и во всех ложах раздался голос: «вот Аббат Миолан!» так, что высокому человеку, который назывался совсем не Миоланом, надлежало как преступнику бежать из театра. Господин Д*, умирая со смеху, изъявлял благодарность молодому Адвокату, между тем как партер и ложи, заглушая музыку, кричали: «Вот Аббат Миолан!»

Граф Прованский живет во флигеле.

Пале-Рояль называется *сердцем, душою, мозгом, извлечением Парижа*. Ришельё строил и подарил его Лудовику XIII, надписав над воротами:



Нравы Пале-Рояля. Сатирический эстамп.

Palais Cardinal! * Эта надпись многим не полюбилась; одни называли ее гордою, другие бессмысленною, доказывая, что по-Французски не льзя сказать: Palais Cardinal. Некоторые вступились за Ришельё: писали, судились перед публикою, и славный *щеголь* Французского языка (разумеется, по тогдашнему времени) Бальзак играл отличную ролю в сем важном прении: доказательство, что Парижские умы издавна промышляют мыльными пузырями! Королева Анна прекратила спор, велев стереть Cardinal и написать Royal. Лудовик XIV воспитывался в Пале-Рояль, и наконец подарил его Герцогу Орлеанскому.

Не буду описывать вам наружности сего квадратного замка, который без всякого сомнения есть огромнейшее здание в Париже, в котором соединены все Ордены Архитектуры; скажу только, что собственно принадлежит к отличному его характеру. Фамилия Герцога Орлеанского занимает самую малую часть главного этажа: все остальное посвящено удовольствию публики, или прибытку хозяина. Тут спектакли, клубы, концертныя залы, магазины, кофейные домы, трактиры, лавки; тут бога-

---

* Кардинальский дворец (*франц.*) Непереводимая игра слов: «cardinal» означает и «кардинальский» и «основной», «главный».

тые иностранцы нанимают себе комнаты; тут живут блестящия первокласныя Нимфы; тут гнездятся и самыя презрительныя. Все, что можно найти в Париже, (а чего в Париже найти не льзя?), есть в Пале-Рояль. Тебе надобен модный фрак: поди туда, и надень. Хочешь, чтобы комнаты твои через несколько минут были украшены великолепно: поди туда, и все готово. Желаешь иметь картины, эстампы лучших мастеров, в рамах, за стеклами: поди туда, и выбирай. Разныя драгоценныя вещи, серебро, золото, все можно найти за серебро и золото. Скажи, и вдруг очутится в кабинете твоем отборная библиотека на всех языках, в прекрасных шкапах. Одним словом, приходи в Пале-Рояль *диким Американцем,* и через полчаса будешь одет наилучшим образом, можешь иметь богатоукрашенный дом, экипаж, множество слуг, 20 блюд на столе, и естьли угодно, цветущую Лаису, которая всякую минуту будет умирать от любви к тебе. Там собраны все лекарства от скуки и все сладкия отравы для душевного и телесного здоровья, все средства выманивать деньги и мучить безденежных, все способы наслаждаться временем и губить его. Можно целую жизнь, и самую долголетнюю, провести в Пале-Рояль как волшебный сон, и сказать при смерти: *я все видел, все узнал!*

В средине замка сад, еще не давно разведенный; и хотя план его очень хорош, но Парижские жители не могут забыть густых, сенистых дерев, которыя прежде тут были и вырублены немилосердым Герцогом для новых правильных [5] алей. «Теперь, говорят недовольные, одно дерево кличет другое, и ни которое воробья не укроет; а прежде — то ли дело? В Июле месяце, в самой жаркой день наслаждались мы здесь прохладою, как в самом дремучем, диком лесу. Славное *Краковское дерево* (arbre de Cracovie) как царь возвышалось между другими; в непроницаемой тени его собирались наши старые Политики, и сидя кругом, за чашею лимонада, на деревянном [5a] канапе, сообщали друг другу *газетныя тайны,* глубокия знания, остроумныя догадки. Молодые люди приходили слушать их, чтобы после к своим родственникам в провинциях написать: *Такой-то Король скоро объявит войну такому-то Государю. Новость несомнительная! Мы слышали ее под ветьвями Краковского дерева.* Тот, кто не пощадил его, пощадит ли какую нибудь святыню? Герцог Орлеанский запишет имя свое в истории как Герострат: Гений его есть злой дух разрушения.»

Однакожь новый сад имеет свои красоты. Зеленые павильйоны вокруг бассейна и липовый храм приятны для глаз. Всего же приятнее Сирк, здание удивительное, единственное в своем роде: длинный параллелограм, занимающий середину сада, украшенный Ионическими колоннами и зеленью, в которой белеются мраморныя изображения великих мужей Франции. Снаружи кажется он вам низенькою беседкою с портиками; войдите, и увидите внизу, под вашими ногами, великолепныя залы, галлереи, манеж; можете сойти туда по любому крыльцу, и вы будете в гостях у Короля Гномов, в подземельном царстве, однакожь не в темноте: свет льется на вас сверху, сквозь большия окна; и везде, в блестящих зеркалах, повторяются видимые вами предметы. В залах бывают всякой вечер или концерты или балы: освещение придает внутренности

Сирка еще более красоты. Тут ко всякой даме, сколько бы брилиантов ни сияло на голове ея, можно смело подойти, говорить, шутить; ни которая не рассердится, хотя все очень хорошо играют ролю знатных госпож. Тут же и славные Парижские фехтмейстеры показывают свое искусство, которому я несколько раз удивлялся. — Из комнат Герцога Орлеанского сделан ход в манеж или, лучше сказать, подземельная дорога, по которой он может приезжать туда верьхом или в коляске. Прекрасная терраса, усеянная цветами, усаженная ароматическими деревьями, составляет кровлю здания, и напоминает вам древние сады Вавилонские. Взошедши туда, гуляете среди цветников, выше земли, на воздухе, в царстве Сильфов, и через минуту сходите опять в глубокия недра земли, в царство Гномов, где с приятностию думаете: «тысячи людей шумят и движутся теперь над моею головою».[6]

Вся нижняя часть Пале-Рояль состоит из галлерей с 180 портиками, которые, будучи освещены реверберами, представляют ночью[7] блестящую иллюминацию.

Комнаты, занимаемыя фамилиею Герцога Орлеанского, украшены богато и со вкусом. Там славная картинная галлерея, едва ли уступающая Дрезденской и Диссельдорфской; кабинет Натуральной Истории, собрание Антиков, гравированных камней и моделей всякого рода художественных произведений, вместе с изображением всех ремесленных орудий.

Время кончить мое длинное историческое письмо, и пожелать вам, друзья мои, приятной ночи.

‹103›

Париж, Маия. . . . 1790.

Нынешний день молодой Скиф К*, в Академии Надписей и Словесности, имел щастие узнать Бартелеми-Платона.[1]

Меня обещали с ним познакомить; но как скоро я увидел его, то, следуя [2] первому движению,[2] подошел и сказал ему: «Я Руской; читал Анахарсиса; умею восхищаться творением великих, бессмертных талантов. И так, хотя в нескладных словах, примите жертву моего глубокого почтения!» — Он встал с кресел, взял мою руку, ласковым взором предуведомил меня о своем благорасположении, и наконец отвечал: *я рад вашему знакомству; люблю север, и герой, мною избранный, вам не чужой.* — «Мне хотелось бы иметь с ним какое нибудь сходство. Я в Академии: Платон передо мною; но имя мое не так известно, как имя Анахарсиса.» * — *Вы молоды, путешествуете, и конечно для того, чтобы укра-*

---

* Анахарсис, приехав в Афины, нашел Платона в Академии. Il me reçut, говорит Молодой Скиф, avec autant de politesse que de simplicité, et me fit un si bel éloge du Philosophe Anacharsis, dont je descends, que je rougissois de porter le même nom. — Anach. vol. 2, ch. VII. ‹Он принял меня... столь же вежливо, сколь просто, и произнес такую похвалу моему предку Анахарсису, что я покраснел от того, что ношу то же имя. — [Путешествие младого] Анах[арсиса], т. 2, гл. VII, — *франц.*›

сить ваш разум познаниями: довольно сходства! — «Будет еще более, естьли вы дозволите мне иногда видеть и слушать вас, с любопытным умом, с ревностным желанием образовать вкус свой наставлениями великого писателя. Я не поеду в Грецию: она в вашем кабинете.» — *Жаль, что вы приехали к нам в такое время, когда Аполлона и Муз наряжаем мы в национальный мундир! Однакожь дайте мне случай видеться с вами. Теперь вы услышите мое рассуждение о Самаританских медалях и легендах; оно покажется вам скучно,* comme de raison; * *извините; мои товарищи займут вас приятнейшим образом.* — Между тем заседание Академии открылось. Бартелеми сел на свое место; он старший в Академии, le Doyen.** В собрании было около 30 человек, да столько же зрителей — не более. В самом деле диссертация Аббата Бартелеми, в которой дело шло о медалях Ионафановых, Антигоновых, Симеоновых, не могла занимать меня; за то мало слушая, я много смотрел на Бартелеми. Совершенный Вольтер, как его изображают на портретах! высокой, худой, с проницательным взором, с тонкою Афинскою усмешкою. Ему гораздо более 70 лет; но голос его приятен, стан прям, все движения скоры и живы. Следственно от ученых трудов люди не стареются. Не сидячая, но бурная жизнь страстей пестрит морщинами лице наше. Бартелеми чувствовал в жизни только одну страсть: любовь ко славе, и силою Философии своей умерял ее. Подобно бессмертному Монтескьё он был еще *влюблен в дружбу,* имел щастие доказать великодушную свою привязанность к изгнанному Министру Шуазёлю, и делил с ним скуку уединения. Ему и супруге его, под именем Арсама и Федимы, приписал он Анахарсиса так мило и трогательно, говоря: «Сколько раз имя ваше готово было из глубины моего сердца излиться на бумагу! Сколь лучезарно сияло оно предо мною, когда мне надлежало описывать какое нибудь великое свойство души, благодеяния, признательность! Вы имеете право на сию книгу: я сочинял ее в тех местах, которыя всего более украшались вами; и хотя кончил оную далеко от Персии, но в глазах ваших; ибо воспоминание минут, с вами проведенных, никогда не может загладиться. Оно составит щастие остальных дней моих; а по смерти желаю единственно того, чтобы на гробе моем глубоко вырезали слова: *он заслужил благосклонность Арсама и Федимы!*»

Тут же узнал я Левека, Автора *Российской Истории,* которая хотя имеет много недостатков, однакожь лучше всех других. Больно, но должно по справедливости сказать, что у нас до сего времени нет хорошей Российской Истории, то есть, писанной с философским умом, с критикою, с благородным красноречием. Тацит, Юм, Робертсон, Гиббон — вот образцы! Говорят, что наша История сама по себе менее других занимательна: не думаю; нужен только ум, вкус, талант. Можно выбрать, одушевить, раскрасить; и читатель удивится, как из Нестора, Никона и проч. могло вытти нечто привлекательное, сильное, достойное внимания не только Руских, но и чужестранцов. Родословная Князей, их

---

* как и следовало ожидать (*франц.*)
** старейшина, дуаен (*франц.*)

ссоры, междоусобие, набеги Половцев, не очень любопытны: соглашаюсь; но за чем наполнять ими целые томы? Что не важно, то сократить, как сделал Юм в Английской Истории; но все черты, которыя означают свойство народа Руского, характер древних наших Героев, отменных людей, [3]происшествия действительно любопытныя[3] описать живо, разительно. У нас был свой Карл Великий: Владимир — свой Лудовик XI: Царь Иоанн — свой Кромвель: Годунов — и еще такой Государь, которому нигде не было подобных: Петр Великий. Время их правления составляет важнейшия эпохи в нашей Истории, и даже в Истории человечества; его-то надобно представить в живописи, а прочее можно обрисовать, но так, как делал свои рисунки Рафаэль или Микель Анджело. — Левек, как Писатель, не без дарования, не без достоинств; соображает довольно хорошо, рассказывает довольно складно, судит довольно справедливо; но кисть его слаба, краски не живы; слог правильный, логический, но не быстрый. К тому же Россия не мать ему; не наша кровь течет в его жилах; может ли он говорить о Руских с таким чувством, как Руской? Всего же более не люблю его за то, что он унижает Петра Великого (естьли посредственный Французский Писатель может унизить нашего славного Монарха) говоря: on lui a peut-être refusé avec raison le titre d'homme de Génie, puisque, en voulant former sa nation, il n'a su qu'imiter les autres peuples.* Я слыхал такое мнение даже от Руских, и никогда не мог слышать без досады. Путь образования или просвещения *один* для народов; все они идут им в след друг за другом. Иностранцы были умнее Руских: и так надлежало от них заимствовать, учиться, пользоваться их опытами. Благоразумно ли искать, что сыскано? [4]Лучше ли б было[4] Руским не строить кораблей, не образовать регулярного войска, не заводить Академий, фабрик, для того, что все это не Рускими выдумано? Какой народ не перенимал у другова? и не должно ли *сравняться*, чтобы *превзойти*? «Однакожь, говорят, начто подражать рабски? начто перенимать вещи, совсем ненужныя?» Какия же? Речь идет, думаю, о платье и бороде. Петр Великий одел нас по-Немецки для того, что так удобнее; обрил нам бороды для того, что так и покойнее и приятнее. Длинное платье не ловко, мешает ходить.... «Но в нем теплее!»... У нас есть шубы... «За чем же иметь два платья?»... За тем, что нет способа быть в одном на улице, где 20 градусов мороза, и в комнате, где 20 градусов тепла. Борода же принадлежит к состоянию дикого человека; не брить ее то же, что не стричь ногтей. Она закрывает от холоду только малую часть лица: сколько же неудобности летом, в сильной жар! сколько неудобности и зимою, носить на лице иней, снег и сосульки! Не лучше ли иметь муфту, которая греет не одну бороду, но все лицо? Избирать во всем лучшее, есть действие ума просвещенного; а Петр Великий хотел просветить ум во всех отношениях. Монарх объявил войну нашим старинным обыкновениям во первых для того, что

---

* То есть: «Его, может быть, по справедливости не хотят назвать великим умом: ибо он, желая образовать народ свой, только что подражал другим народам».

они были грубы, недостойны своего века; во вторых и для того, что они препятствовали введению других, еще важнейших и полезнейших иностранных новостей. Надлежало, так сказать, свернуть голову закоренелому Рускому упрямству, чтобы сделать нас гибкими, способными учиться и перенимать. Естьли бы Петр родился Государем какого нибудь острова, удаленного от всякого сообщения с другими государствами, то он в природном великом уме своем нашел бы источник полезных изобретений и новостей для блага подданных; но рожденный в Европе, где цвели уже Искусства и Науки во всех землях, кроме Руской, он должен был только разорвать завесу, которая скрывала от нас успехи разума человеческого, и сказать нам: «смотрите; сравняйтесь с ними, и потом, естьли можете, превзойдите их!» Немцы, Французы, Англичане, были впереди Руских по крайней мере шестью веками: Петр двинул нас своею мощною рукою, и мы в несколько лет почти догнали их. Все жалкия *Иеремиады* об изменении Руского характера, [5] о потере Руской нравственной физиогномии,[5] или [6] не что иное[6] как шутка, или происходят от недостатка в основательном размышлении. Мы не таковы, как брадатые предки наши: тем лучше! Грубость наружная и внутренняя, невежество, праздность, скука были их долею в самом вышшем состоянии: для нас открыты все пути к утончению разума и к благородным душевным удовольствиям. Все *народное* [7] ничто перед *человеческим*. Главное дело быть *людьми*, а не Славянами. Что хорошо для людей, то не может быть дурно для Руских; и что Англичане или Немцы изобрели для пользы, выгоды человека, то *мое*, ибо *я* человек! Еще другое странное мнение. Il est probable, говорит Левек, que si Pierre n'avoit pas régné, les Russes seroient aujourd'hui ce qu'ils sont; * то есть: хотя бы Петр Великий и не учил нас, мы бы выучились! Каким же образом? сами собою? но сколько трудов стоило Монарху победить наше упорство в невежестве! Следственно Руские не расположены, не готовы были просвещаться. При Царе Алексее Михайловиче жили многие иностранцы в Москве, но не имели никакого влияния на Руских, не имев с ними почти никакого обхождения. Молодые люди, тогдашние франты, катались иногда в санях по Немецкой слободе, и за то считались вольнодумцами. Одна только ревностная, деятельная воля и беспредельная власть Царя Руского могла произвести такую внезапную, быструю перемену. Сообщение наше с другими Европейскими землями было очень не свободно и затруднительно; их просвещение могло действовать на Россию только слабо; и в два века по естественному, непринужденному ходу вещей, едва ли сделалось бы то, что Государь наш сделал в 20 лет. Как Спарта без Ликурга, так Россия без Петра не могла бы прославиться.[8]

Между тем, друзья мои, вы все еще сидите со мною в Академии Надписей. Читали рассуждение о Греческой живописи, похвальное слово одному из умерших Членов; и я заметил то же, что несколько раз замечал в Спектаклях: ни одна хорошая мысль, ни одно щастливое выра-

---

* Если бы Петр и не царствовал, возможно, что русские были бы сегодня теми же, каковы они ныне (*франц.*)

жение не укрывается от тонкого вкуса здешней Публики — *браво!* и рукоплескание. Всего более нравятся здесь нравственныя[9] мысли или *сентенции,* иногда самыя обыкновенныя. На пример, в похвальном слове умершему, Автор сказал: «Вот доказательство, что нежныя души предпочитают тихое удовольствие совести шумным успехам честолюбия!» и все слушатели захлопали. — Заседание кончилось предложением задачь для Антиквариев. Надобно было познакомиться с Гм. Левеком и сказать ему комплимент на счет его доброго мнения о Руских, у которых он, по своей благосклонности, не отнимает природного ума, ни способности к Наукам. Бартелеми подарил меня еще двумя учтивыми фразами, и мы расстались как знакомые.

Я видел Автора прекрасных сказок, который в самом, кажется, легком, в самом обыкновенном роде сочинений, умеет быть единственным, неподражаемым: Мармонтеля. Не довольно видеть, надобно его узнать короче; надобно поговорить с ним о щастливых временах Французской Литтературы, которыя прошли и не возвратятся! Век Вольтеров, Жан-Жаков, Энциклопедии, Духа Законов, не уступает веку Расина, Буало, ла-Фонтена; и в доме Г-жи Неккер, Барона Ольбаха, шутили столь же остроумно, как в доме Нинöны Ланкло. Физиогномия Мармонтелева очень привлекательна; тон его доказывает, что он жил в лучшем Парижском обществе. Вообразите же, что один Немецкий Романист, которого имени не помню, в журнале своего путешествия описывает его почти мужиком, то есть, самым грубым человеком! Как врали могут быть нахальны! — Мармонтелю более шестидесяти лет; он женился на молодой красавице, и живет с нею щастливо в сельском уединении, изредка заглядывая в Париж. — Лагарп, в улице Генего, мой сосед. Талант, слог, вкус и критика его давно награждены всеобщим уважением. Он лучший Трагик после Вольтера. В творениях его мало огня, чувствительности, воображения, но стихи все хороши, и много сильных. Теперь занимается он литтературною частию Французского Меркурия, вместе с Шанфором, также Членом Академии. — Мерсье и Флориан в Париже; но мне по сие время не удалось их видеть.

‹104›

Париж, Мая.....

Бывшая актриса Дервье,[1] актриса посредственная, но прелестница славная, упражняясь лет двадцать в доходном своем искусстве, и нажив миллионы, вздумала построить такой дом, который обратил бы на себя внимание Парижа. Чего хотела, то и сделалось. Сей дом смотрят все как диво. Надобно иметь билет, чтобы видеть его. Господин П*, мой земляк,

доставил мне это удовольствие. Что за комнаты! что за приборы! Живопись, бронза, мрамор, дерево: все блестит, привлекает глаза. Дом не велик; но Ум чертил план его, Искусство было архитектором, Вкус украшал, а Богатство выдавало деньги. Тут нет ничего *не-прекрасного;* и с прекрасным для глаз везде соединена удобность или ловкость для употребления. Прошедши комнат пять, вошли мы во святилище — в спальню, где живопись изобразила на стенах Геркулеса, стоящего на коленях перед Омфалою; пять или шесть Эротов, едущих верьхом на его палице; Армиду, которая смотрится в зеркало, гораздо более восхищаясь своею красотою, нежели обожанием сидящего подле нее Ринальда; Венеру, которая, сняв с себя пояс, подает его... не видно кому, но верно хозяйке. Глаза ищут.... догадаетесь, чего. Ложе удовольствий, осыпанное неувядаемыми, то есть, искусственными розами без терний, возвышается на нескольких ступенях; тут без сомнения всякой Адонис должен преклонять колена свои. Позади спальни, в небольшой зале, сделан мраморный бассеин для купанья, а вверху хоры для музыкантов, чтобы красавица, слушая гармоническую игру их, могла в такт полоскаться. Из сей комнаты дверь в Гесперидской сад, где все тропинки опушены цветами; где все дерева осеняя благоухают. Лужки и лесочки живописные; кажется, будто всякая травка и всякой листок выбраны из тысячи. Дорожки извиваясь приводят вас ко мшистой скале, к дикому гроту, где читаете надпись: *Искусство ведет к Натуре; она дружески подает ему руку;* а в другом месте: *Здесь я наслаждаюсь задумчивостию.* Молодой Англичанин, который был с нами, взглянув на последнюю надпись сказал: grimace, grimace, Mademoiselle Dervieux! — * Хозяйка живет во втором этаже, который мы также осматривали, и где комнаты хотя со вкусом прибраны, однакожь не имеют очаровательности первого. Я любопытствовал видеть Нимфу; но ей угодно было играть ролю невидимки. На диване лежал корсет, доказательство ея тонкого стана, чепчик с розовыми лентами и черепаховой гребень. Зеленый тафтяный занавес отделял от нас славную прелестницу; но мы не смели отдернуть его. —

Новая Нинон вздумала продавать волшебный свой храм. Один богатый Американец, из числа ея любимцев, покупает его за половину цены, за 600 000 ливров, с тем намерением, как сказывают, чтобы за ужином, который он хочет дать в новокупленном доме, подарить его прежней хозяйке. Взор благодарного удивления должен быть наградою Американца.

---

* Кривлянье, кривлянье, мадемуазель Дервье! (*франц.*)

‹105›

Академии

Работать соединенными силами, с одним намерением, по лучшему плану, есть предмет всех Академий. Выдумка благословенная для пользы Наук, Искусств и всех людей! Приятная мысль быть участником в достохвальных трудах, соревнование между Членами, неразделимость общей славы с личною, взаимное усердное вспоможение окриляют разум человеческий. Надобно отдать справедливость Парижским Академиям: оне были всегда трудолюбивее и полезнее других ученых обществ.

Собственно так называемая *Французская Академия,* учрежденная Кардиналом Ришельё для обогащения Французского языка, утверждена Парламентом и Королем. Девиз ея: *Бессмертию!* Жаль, что она обязана бытием своим такому жестокому Министру! Жаль, что всякой новой Член при вступлении своем должен хвалить его! Жаль, что половина Членов состоит из людей едва не безграмотных, для того единственно, что они знатные! Такие Академики, ни мало не возвышая себя ученым титулом, унижают только Академию. *Всякой знай свое место и дело* есть мудрое правило, но реже всего исполняется. Правда, что *Господа-сорок,* messieurs les quarante,* наблюдают в своих заседаниях точное равенство. Прежде все они сидели на стульях: один из знатных Членов потребовал для себя кресел: чтожь сделали другие? сами сели на кресла. C'est toujours quelque chose.** Главный плод сего Академического дерева есть Лексикон Французского языка, чистый, правильный, строгий, но не полный, так что в первом издании господа Члены забыли даже слово *Академия!* На пример, Английский Лексикон Джонсонов и Немецкий Аделунгов гораздо совершеннее Французского. Вольтер более всех чувствовал недостатки его, хотел дополнить, украсить; но смерть помешала.*** Академия занималась и критикою, только редко и мало; в угождение своему основателю Ришельё доказывала, что Корнелев *Сид* не достоин славы; но Парижские любители Театра, на зло ей, тем более хвалили Сида. Она могла бы конечно быть гораздо полезнее, издавая на пример Журнал для критики и Словесности: чего бы не произвели соединенные труды лучших Писателей? Однакожь польза [1] ея не сомнительна. Множество хороших пиес написано для славы быть Членом Академии, или заслужить ея хвалу. Всякой год избирает она два предмета для Стихотворства и красноречия, вызывает всех Авторов обработывать их, в день Св. Лудовика торжественно объявляет, кто победитель, чье творение достойно награды, и раздает золотыя медали. Спрашивается, для чего ла-Фонтен, Мольер, Жан-Батист, Жан-Жак Руссо, Дидрот, Дорат и мно-

---

* Их всегда 40, ни более, не менее.

** Это всегда кое-что значит (*франц.*)

*** Остроумный Ривароль давно обещает новый Философический Словарь языка своего; но чрезмерная леность, как сказывают, мешает ему исполнить обещание.

гие другие достойные Писатели не были ея Членами? Ответ: где люди, там пристрастие и зависть; иногда славнее не быть, нежели быть Академиком. Истинныя дарования не остаются без награды: есть публика, есть потомство. Главное дело [2] не *получать*, а *заслуживать*.[2] Не *Писатели*, а *маратели* всего более сердятся за то, что им не дают патентов. Французская Академия, боясь, чтобы кто нибудь из Авторов не оскорбил ея гордости и не вздумал отвергнуть предлагаемого ею патента, утвердила законом выбирать в Члены единственно тех, которые сами запишутся в кандидаты. Злейший неприятель ея был Пирон. Известна его насмешка: messieurs les quarante ont de l'esprit comme quatre,* и забавная эпитафия:

Ci-git Piron; il ne fut rien,
Pas même Académicien.**

Но вот что делает честь Академии: в зале ея, между многими изображениями Славных Авторов, стоит Пиронов бюст! Мщение великодушное!

Академия Наук учреждена Лудовиком XIV, состоит из 70 Членов,[3] и занимается Физикою, Астрономиею, Математикою, Химиею, стараясь *открывать новое*, или *доводить до совершенства* известное, по девизу: invenit et perfecit.*** Каждый год выдает она [4] большой том сочинений своих,[4] полезных для Ученого, приятных для любопытного. Они составляют подробнейшую Историю Наук со времен Лудовика XIV. Иностранцы считают за великую славу быть Членами Парижской Академии; число их определено законом: 8, не более. Нигде нет теперь таких Астрономов и Химиков, как в Париже. Немецкий Ученый снимает колпак, говоря о Лаланде и Лавуазье. Первый, забывая все земное, более 40 лет беспрестанно занимается небесным, и открыл множество новых звезд. Он есть Талес нашего времени, и прекрасную эпитафию Греческого мудреца **** можно будет вырезать на его гробе:

Когда от старости Талесов взор затмился;
Когда уже и звезд не мог он различить,
Мудрец на небо преселился,
Чтоб к ним поближе быть.

Кроме своей учености, Лаланд любезен, жив, весел как самый любезнейший молодой Француз. Он воспитывает дочь свою также совершенно для *неба*, учит Математике, Астрономии, и в шутку называет Ураниею; ведет переписку со всеми знаменитыми Астрономами Европы, и с великим уважением говорит о Берлинце Боде. — Лавуазье есть Гений Химии, обогатил ее бесчисленными открытиями, и (что всего важнее) полезными для жизни, для всех людей. Быв перед Революциею [4a] Генеральным Откупщиком, имеет конечно не один миллион; но богатство не прохлаждает ревностной любви его к Наукам: оно служит ему только средством

* эти сорок господ имеют ума на четверых (*франц.*)
** Здесь покоится Пирон: он не был ничем, даже академиком (*франц.*)
*** изобрел и усовершенствовал (*латин.*)
**** Смот. Диогена Лаэрция в жизни Талеса.

к размножению их благотворных действий. Химические опыты требуют иногда больших издержек: Лавуазье ничего не жалеет; а сверх того[5] любит делиться с бедными: одною рукою обнимает их как братий, а другою кладет им кошелек в карман. Его сравнивают с Гельвецием, который также был Генеральным Откупщиком, также любил Науки и благодетельность; но Философия последнего не стоит Химии первого. Товарищ мой Беккер не может без восхищения говорить о Лавуазье, который дружески обласкал его, слыша, что он ученик Берлинского Химика Клапрота. Я всегда готов плакать от сердечного удовольствия, видя, как Науки соединяют людей, живущих на севере и юге; как они, без личного знакомства, любят, уважают друг друга. Что ни говорят Мизософы, а Науки святое дело! — Слава Лавуазьерова пристрастила многих здешних Дам к Химии, так что года за два перед сим красавицы любили изъяснять нежныя движения сердец своих химическими операциями. — Бальи есть также один из знаменитых Членов Академии, и более всего прославил себя Историею Древней и Новой Астрономии. Жаль, что он вдался в Революцию, и мирную тишину кабинета променял может быть на эшафот! *

Академия Надписей и Словесности учреждена также Лудовиком XIV, и более ста лет ревностно трудится для обогащения Исторической Литтературы; нравы, обыкновения, монументы древности, составляют предмет ея любопытных изысканий. Она по сие время выдала более 40 томов, которые можно назвать золотою миною Истории. Вы не знаете, что были Египтяне, Персы, Греки, Римляне, естьли не читали Записок Академии; читая их, живете с Древними; видите, кажется, все их движения, малейшия подробности домашней жизни в Афинах, в Риме и проч. Девиз Академии есть Муза Истории, которая в правой руке держит лавровый венок, а левою указывает вдали на пирамиду, с надписью: *не дает умирать*, vetat mori.

Наименую вам еще Академию Живописи, Ваяния, Архитектуры, которыя все помещены в Лувре, и все доказывают любовь к Наукам Лудовика XIV, или великого Министра его Кольберта.

‹106›

Париж, Мая. . .

Нынешний день — угадайте, что я осматривал? Парижския улицы; разумеется, где что нибудь случилось, было или есть примечания достойное. Забыв взять с собою план Парижа, которой бы всего лучше мог быть моим путеводителем, я страшным образом кружил по городу,

* Лавуазье и Бальи умерщвлены Робеспьером.

и в скверных фиакрах целый день проездил. В 10 часов утра началось мое путешествие. Кучеру дан был приказ везти меня — к *источнику любви*. Он не читал Сент-Фуа, следственно не понимал меня, но хотел угадать и не угадывал. Надлежало сказать яснее: Eh bien, dans la rue de la Truanderie! — «A la bonne heure. Vous autres étrangers, vous ne dites le mot propre qu'à la fin de la phrase!» [1] — — * И так мы отправились в Трюандери. Вот анекдот:

Агнеса Геллебик, прекрасная молодая девушка, дочь главного Конюшего при Дворе Филиппа Августа, любила и страдала. От Парижа далеко до мыса Левкадского: что же делать? броситься в колодезь на улице Трюандери, и концем дней своих прекратить любовную муку. Лет через 300 после того другой случай. Один молодой человек, приведенный в отчаяние жестокостию своей богини, также бросился в этот колодезь, но весьма осторожно и весьма щастливо: не утонул, не зашибся; и красавица, сведав, что ея любовник сидит в воде, прилетела на крыльях Зефира, спустила к нему веревку, вытащила рыцаря, наградила его своею любовию, сердцем и рукою. Желая изъявить благодарность колодезю, он перестроил его, украсил, и готическими буквами написал:

L'amour m'a refait
En 1525 tout-à fait.

В 1525 году вновь
Меня перестроила любовь.

Весь Париж узнал о сем происшествии. Молодые люди и девушки начали там сходиться при свете луны, петь нежныя песни, плясать, уверять друг друга в любви, и колодезь обратился в жертвенник Эротов. Наконец один славный проповедник тогдашнего времени с великим жаром представил родителям возможныя следствия таких сходбищ, и набожные люди немедленно засыпали *источник любви*. Показывают место его: тут выпил я стакан Сенской воды, остатками оросил землю, и сказал: à l'amour! ** *в жертву Венере-Урании*.

Нынешняя *Павильйонная улица* называлась прежде именем Дианы, не Греческой богини, а прекрасной милой Дианы дю-Пуатье, которую знаю и люблю по запискам Брантома. Она имела все прелести женския, до самой старости сохранила свежесть красоты своей, и владела сердцем Генриха II. Рост Минервин, гордый вид Юноны, походка величественная, темно-русые волосы, которые до земли доставали; глаза черные огненные; лице нежное лилейное, [2] с двумя розами [2] на щеках; грудь Венеры Медициской, и, что еще милее, чувствительное сердце и просвещенный ум: вот ея портрет! Король хотел, чтобы Парламенты торжественно [3] признали дочь ея законною его дочерью: Диана сказала:

---

* Ну так на улицу Трюандери! — То-то же. Вы, иностранцы, называете вещи своими именами только в конце фразы! (*франц.*)

** любви! (*франц.*)

«Имев право на твою руку, я требовала единственно твоего сердца, для того, что любила тебя; но никогда не соглашусь, чтобы Парламент объявил меня твоею наложницею.» — Генрих слушал ее во всем и делал только хорошее. Она любила Науки, Поэзию, и была Музою остроумного Маро. Город Лион посвятил ей медаль с надписью: Omnium victorem vici.* «Я видел Диану шестидесяти пяти лет, говорит Брантом, и не мог надивиться чудесной красоте ея; все прелести сияли еще на лице сей редкой женщины.» Какая из нынешних красавиц не позавидует Диане? Им остается следовать образу ея жизни. Она всякой день вставала в шесть часов, умывалась самою холодною ключевою водою, не знала притираний, никогда не румянилась, часто ездила верьхом, ходила, занималась чтением и не терпела праздности. Вот рецепт для сохранения красоты! — Диана погребена в Анете; не имея надежды видеть могилу ея, я бросил цветок на то место, где жила прелестная.

В улице *писателей* или *копистов* (des écrivains) хотел я видеть дом, где в 14 веке жил Николай Фламель с женою своею Пернилиею, и где еще по сие время на большом камне видны их резныя изображения, окруженныя готическими надписями и гиероглифами. Вы не знаете, кто был Николай Фламель: не правда ли? Он был [4] не что иное,[4] как бедный копист; но вдруг, к общему удивлению сделался благотворителем неимущих, и начал сыпать деньги на бедных отцов семейства, на вдов и сирот; завел больницы, выстроил несколько церквей. Пошли в городе разные толки: одни говорили, что Фламель нашел клад; другие думали, что он знает тайну философского камня и делает золото; иные подозревали даже, что он водится с Духами; а некоторые утверждали, что причиною богатства его есть тайная связь с Жидами, выгнанными тогда из Франции. Фламель умер, не решив спора. Через несколько лет любопытные вздумали рыть землю в его погребе, и нашли множество угольев, разных сосудов, урн, с каким-то жестким минеральным веществом. Алхимическое суеверие обрадовалось новому лучу безумной надежды, и многие, желая разбогатеть подобно Фламелю, превратили в дым свое имение. Прошло несколько веков: История его была уже забыта; но Павел Люкас, славный путешественник, славный лжец, возобновил ее следующею сказкою. Будучи в Азии, познакомился он с одним Дервишем, который говорил *всеми* языками, казался молодым человеком, а прожил на свете более ста лет. «Сей Дервиш, говорит Люкас, уверил меня, что Николай Фламель еще жив; что он, боясь сидеть в тюрьме за тайну философского камня, вздумал скрыться; подкупил Доктора и приходского священника, чтобы они разгласили о его смерти, а сам ушел из Франции. С того времени, сказал мне Дервиш, Николай Фламель и жена его Пернилия ведут философскую жизнь в разных частях света; он сердечный друг мой, и я недавно виделся с ним на берегу Гангеса.» — Удивительно не то, что Павел Люкас выдумал роман, а то, что Лудовик XIV посылал такого человека странствовать для обогащения Наук историческими сведениями. — Я стоял несколько ми-

* Я победила победителя всех.

нут перед домом Фламеля, копал в земле своею тростью, но не нашел ничего, кроме камней совсем не философских.

Я не хотел бы жить в улице *Ферронери*: какое ужасное воспоминание! Там Генрих IV пал от руки злодея — seul roi de qui le peuple ait gardé la mémoire,* говорит Вольтер. Герой великодушный, Царь благотворительный! ты завоевал не чужое, а свое государство, и единственно для щастия завоеванных! — Слова незабвенныя, простыя, но сильныя: *Я не хочу умереть без того, чтобы всякой крестьянин в Королевстве моем не ел курицы по Воскресеньям!* и другия, сказанныя им Гишпанскому Министру: *Вы не узнаете Парижа: мудрено ли? Отец семейства был прежде в отлучке; теперь он дома, и печется о своих детях!* — В бедствиях образовалась душа Генрихова; в собственном нещастии научился он дорожить щастием других людей и дружбою, которая раждается и торжествует в бурныя времена. Он был любим! Некоторые из добрых Французов от горести последовали за ним во гроб; между прочими ле-Вик, Парижской Губернатор. — Кучер мой остановился и кричал: «вот улица де-ла-Ферронери!» *Нет*, отвечал я: *ступай далее!* Я боялся вытти и ступить на ту землю, которая не провалилась под гнусным Равальяком.

Улица храма, rue du Temple, напоминает бедственный жребий славного Ордена Тамплиеров, которые в бедности были смиренны, храбры и великодушны; разбогатев, возгордились и вели жизнь роскошную. *Филипп Прекрасный* (но только не душею), и папа Климент V, по доносу двух злодеев, осудили всех главных рыцарей на казнь и сожжение. Варварство достойное 14 века! Их мучили, терзали, заставляли виниться в ужасных нелепостях: на прим. в том, будто они покланялись деревянному болвану с седою бородою, отрекались от Христа, дружились с дьяволом, влюблялись в чертовок, играли младенцами как мячем, то есть, бросали их из рук в руки, и таким образом умерщвляли. Многие рыцари не могли снести пытки, и признавали себя виновными; другие же, в страшных муках, на костре, в пламени, восклицали: *Есть Бог! Он знает нашу невинность!* Моле, Великий Магистер Ордена, выведен был на эшафот, чтоб всенародно изъявить покаяние, за которое обещали простить его. Один ревностный Легат в длинной речи описал все мнимыя злодеяния Кавалеров Храма, и заключил словами: «вот их начальник! слушайте: он сам откроет вам богомерзкия тайны Ордена.» ...*Открою истину*, сказал нещастный старец, выступив на край эшафота, и потрясая тяжкими своими цепями: *Всевышний, милосердый Отец человеков! внемли клятве моей, которая да оправдает меня пред Твоим небесным судилищем!... Клянусь, что рыцарство невинно; что Орден наш был всегда ревностным исполнителем Христианских должностей, правоверным, благодетельным; что одне лютыя муки заставили меня сказать противное, и что я молю Небо простить человеческую слабость мою. Вижу яростную злобу наших гонителей; вижу мечь и пламя. Да будет со мною воля Божия! Готов все терпеть в наказание за то,*

* единственный король, память о котором народ сохранил (*франц.*)

что я оклеветал моих братий, истину и святую Веру! — В тот же день сожгли его. Старец, пылая на костре, говорил только о невинности рыцарей, и молил Спасителя подкрепить его силы. Народ, проливая слезы, бросился в огонь, собрал пепел нещастного и унес его как драгоценную святыню. — Какия времена! какие изверги между людьми! Хищному Филиппу надобно было имение Ордена.

Чем загладить в мыслях страшныя воспоминания? Куда теперь ехать? В *Иль де-Нотр Дам,* где во время Карла V, перед глазами всех именитых жителей Парижа, рыцарь Макер сражался... с другим рыцарем, думаете? Нет, с собакою, которая могла служить примером для рыцарей. Доныне показывают там место сего чудного поединка. Выслушайте историю. Обри Мондидье, гуляя один в лесу не далеко от Парижа, был зарезан и схоронен под деревом. Собака нещастного, которая оставалась дома, побежала ночью искать его, нашла в лесу могилу, узнала, кто погребен тут, и несколько дней не сходила с места. Наконец голод заставил ее возвратиться в Париж. Она пришла к Обриеву другу, Ардильеру, и жалким воем давала ему чувствовать, что общего друга их нет уже на свете! Ардильер накормил ее, ласкал: но горестная собака не переставала визжать, лизала ему ноги, брала его за кафтан, тащила к дверям. Ардильер решился итти за нею — из улицы в улицу, за город, в лес, к высокому дубу. Тут начала она визжать еще сильнее, и рыть лапами землю. Друг Обриев с горестным предчувствием видит могилу; велит слуге своему копать, и находит тело нещастного. Через несколько месяцов собака встречается с убийцею, которого все Историки называют рыцарем Макером; бросается на него,* лает, грызет, так что с великим трудом могли оттащить ее. В другой, в третий раз то же; собака, всегда смирная, только против одного человека делается злобным тигром. Люди удивляются, говорят; вспомнили ея привязанность к господину; вспомнили, что Макер в разных случаях оказывал ненависть к покойнику. Другия обстоятельства умножают подозрения. Доходит до Короля. Он желает видеть собственными глазами — и видит, что собака, ласкаясь ко всем придворным, с визгом кусает Макера. В тогдашния времена поединок решил судьбу обвиняемых, естьли доказательства были не ясны. Карл назначает день, место; Рыцарю дают булаву, и пускают собаку. Жестокий бой начинается. Макер заносит руку, хочет разить; но собака увертывается, хватает его за горло — и злодей, падая на землю, признается Королю в своем злодеянии. Карл V, желая для потомства сохранить память верной собаки, которая столь чудесно открыла тайное убийство, велел в Бондийском лесу соорудить ей мраморный монумент и вырезать следующую надпись: *Жестокия сердца! стыдитесь: бессловесное животное умеет любить, и знает благодарность.* [5] *А ты, злодей!* [5] *в минуту преступления бойся самой тени своей!* — И так Карл справедливо назван *Мудрым.* — Когда *История лю-*

* Спрашивается, как она узнала его? Может быть, имея тонкое обоняние, почувствовала на нем кровь господина своего.

дей, наполненная злодеяниями, выпадет из рук моих, я стану читать *историю собак*, и утешусь!

От чего в Париже назвали одну улицу *адскою?* Лудовик Святый, добрый Государь (естьли бы он только не ездил воевать в Азию и в Африку) подарил ученикам Бруновым * небольшой домик с садом, близь старинного дворца, построенного Королем Робертом, и давно уже оставленного. Скоро разнесся в Париже слух, что нечистые духи живут в Робертовых палатах, шумят, стучат цепями и воют страшным образом; что одно *зеленое чудовище*, сверху человек, а снизу змея, ходит по комнатам, ночью выбегает на улицу и бросается на людей. Лудовик, слыша такие ужасы, рассудил за благо отдать сей дворец Картезианцам, с условием, чтобы они выгнали оттуда злых духов. Зеленое чудовище вдруг скрылось, и добрые монахи жили покойно в своем огромном доме; но улица и доныне называется *адскою*.

Я проехал оттуда в улицу *Милькёр*, где Франциск I жил несколько времени в маленьком домике, чтоб быть соседом прекрасной Герцогини д'Этамп, которая владела его нежным сердцем. Он украсил свои комнаты живописью, эмблемами, надписями, в честь и славу любви. «Я видел еще многие из сих девизов, говорит Соваль, но помню только один: пламенное сердце, изображенное между *альфы* и *омеги*; что без сомнения значило: *оно будет всегда пылать*.» Бани герцогини д'Этамп служат ныне конюшнею. Шляпный мастер варит себе кушанье в спальне Франциска I, а в *кабинете его восторгов* (cabinet de délices) живет сапожник.

Старинный закон не велит во Франции выпускать на улицу свиней. Любопытны ли вы знать причину? В улице *Мальтуа* вам скажут ее. Там молодой Король Филипп, сын Лудовика *Толстого*, ехал верьхом. Вдруг откуда ни взялась свинья и бросилась под ноги лошади его: лошадь споткнулась, Филипп упал и на другой день умер.

Шотланец Ла (Law) прославил улицу Кенкампуа: тут раздавались билеты его Банка. Страшное множество людей всегда теснилось вокруг бюро, чтобы менять луидоры на ассигнации. «Тут горбатые торговали своими горбами; то есть, позволяли ажиотёрам писать на них, и в несколько дней обогащались. Слуга покупал экипаж господина своего; демон корыстолюбия выгонял Философа из ученого кабинета и заставлял его вмешиваться в толпу игроков, чтобы покупать мнимыя ассигнации. Сон исчез, осталась простая бумага, и автор сей нещастной системы умер с голоду в Венеции, быв за несколько времени перед тем роскошнейшим человеком в Европе» — *Мерсье в Картине Парижа*.

Путешествие мое кончилось улицею *Арфы*, de la Harpe, где я видел остатки древнего Римского здания, известного под именем Palais des Thermes: ** огромную залу с круглым сводом, вышиною в 40 футов. Историки думают, что это здание древнее времен Иулиановых; по крайней мере Иулиан жил в нем, когда Гальские Легионы назвали его Рим-

* Бруно основал Картезианской Орден.

** Дворец бань (*франц.*)

ским Императором. Великолепные сады, бассеины, водоводы, о которых говорят старинныя летописи, все стерто и заглажено рукою времени. Тут жили Французские Цари Кловисова поколения; тут заключены были любезныя дочери Карла Великого за их нежныя слабости; тут, при Королях второго поколения, знатныя Парижския дамы видались с своими обожателями; тут ныне выкармливают голубей для продажи. Кстати, подумал я: голубь есть Венерина птица.

В этой же улице славился пирожник Миньйо, которого воспел Буало в Сатире своей.

> ...Mignot, c'est tout dire, et dans le monde entier
> Jamais empoisonneur ne sut mieux [6] son métier....[6] *

Пирожник рассердился на Сатирика, жаловался в суде; но будучи только осмеян судьями, вздумал мстить Поэту иным образом: уговорил Аббата Коттеня сочинить сатиру на Буало, напечатал ее и разослал с пирогами по всему городу.

‹107›

Оперное знакомство

Я пришел в Оперу с Немцом Реинвальдом.[1] Entrez dans cette loge, Messieurs! ** — В ложе сидели две дамы с Кавалером Св. Лудовика. «Останьтесь здесь, государи мои,» сказала нам одна из них: «видите, что у нас нет ничего на головах; в других ложах найдете женщин с превысокими уборами, которые совсем закроют от вас театр.» Мы вас благодарим, отвечал я, и сел позади ее. Учтивость ея возбудила мое внимание: я с обеих сторон заглядывал ей в лицо. Между тем товарищ мой начал говорить со мною по-Руски: и дамы и кавалер посмотрели на нас, услышав неизвестные звуки. Я имел удовольствие найти в учтивой даме белокурую молодую красавицу. Черный цвет платья оттенивал белизну лица; голубая ленточка извивалась в густых, светлых, ненапудренных волосах; букет роз алел на лилеях груди. — «Хорошо ли вам?» спросила у меня с улыбкою любезная незнакомка. — *Не льзя лучше,* сударыня. — Но кавалер, который сидел рядом с нею, беспрестанно повертываясь [2] с стороны в сторону,[2] беспокоил Реинвальда. «Я здесь ни за что не останусь,» сказал мой Немец: «проклятый Француз натрет мне на коленях мозоли» — сказал, и ушел. Белокурая незнакомка посмотрела на дверь и на меня. «Ваш товарищ не доволен нашею ложею?»

Я. Ему хочется быть прямо против сцены.

---

* Миньо — этим все сказано: в целом мире никогда отравитель не был лучшим мастером своего дела.... (*франц.*)

** Пройдите в эту ложу, господа! (*франц.*)

Незнакомка. А вы с нами?

Я. Естьли позволите.

Незнакомка. Вы очень милы.

Кавалер Св. Лудовика. Я только теперь приметил, что у вас на груди розы: вы их любите?

Незнакомка. Как не любить? оне служат эмблемою нашего пола.

«От них совсем нет запаха», сказал он, распуская и сжимая свои ноздри.

Я. Извините — я далее, а чувствую.

Незнакомка. Вы далее? да чтожь вам мешает быть поближе, естьли розы для вас приятны? Здесь есть место.... Вы Англичанин?

Я. Естьли Англичане имеют щастие вам нравиться, то мне больно назваться Руским.

Кавалер. Вы Руской? Видите, что я угадал, сударыня! j'ai voyagé dans le nord; je me connois aux accens; je vous l'ai dit dans le moment.*

Незнакомка. Я право думала, что вы Англичанин. Je raffole de cette nation.**

Кавалер. Не льзя ошибиться тому, кто, подобно мне, был везде, и знает языки. У вас в России говорят Немецким языком?

Я. Руским.

Кавалер. Да, Руским; все одно.

«Все места заняты,» сказала красавица, взглянув в партер: «тем лучше! я люблю людей».

Кавалер. Иначе вы были бы неблагодарны.

Как досадно! думал я: он сорвал у меня с языка это слово.

Кавалер. Только по Моисееву закону вам надобно ненавидеть женщин.

Незнакомка. Почему же?

Кавалер. Любовь за любовь, ненависть за ненависть.

Незнакомка (с усмешкою). Я Християнка. Однакожь это правда: женщины не любят друг друга.[3]

Для чего же? спросил я с величайшею невинностию.

Красавица. Для чего?...

Тут она понюхала свои розы, взглянула опять на меня, и спросила, давно ли я в Париже? долго ли пробуду?

Когда розы увянут в саду, меня уже здесь не будет — отвечал я самым жалким голосом.

Красавица (посмотрев на свой букет). Оне у меня цветут и зимою.

Я. Чего не делает искусство, сударыня? Однакожь Натура не теряет своих прав: ея цветы милее.

Красавица. Не северному жителю хвалить Природу: она у вас печальна.

Я. Не всегда, сударыня: у нас также есть весна, цветы и прекрасныя женщины.

---

* Я путешествовал по северу, я разбираюсь в акцентах; я вам это сразу сказал (*франц.*)

** Я без ума от этой нации (*франц.*)

Незнакомка. Любезныя?

Я. По крайней мере *любимыя.*

Незнакомка. Да, я думаю, что у вас лучше умеют любить, нежели нравиться. Во Франции напротив: чувство пылает здесь только в романах.

Я. У пас, сударыня, у нас оно пылает в сердцах.

Кавалер. Чувствительность везде роман. Я путешествовал, и знаю.

Красавица. О несносные Французы! вы все атеисты в любви. Не мешайте ему говорить. Он нам скажет, как в России обожают женщин —

Кавалер. Роман!

Красавица. Как мущины нежны, примечательны —

Кавалер (зевая). Роман!

Красавица. Как они смотрят женщинам[4] в глаза, не скучая, не *зевая.*

Кавалер (засмеявшись). Роман! Роман!

Тут весь театр осветился плошками, и зрители захлопали в знак удовольствия. Красавица сказала с улыбкою: «мущины рады свету, а мы боимся его. Посмотрите, на пример, как вдруг стала бледна молодая дама, которая сидит против нас!»...

Кавалер. От того, что она, подражая Англичанкам, не румянится.

Я. Бледность имеет свою прелесть, и женщины напрасно румянятся.

Красавица обернулась к партеру... Ах! она была нарумянена! Я сказал неучтивость, прижался боком к стене, и молчал. К щастью оркестр заиграл, и началась опера. Музыка Глукова Орфея восхитила меня так, что я забыл и красавицу; за то вспомнил Жан-Жака, который не любил Глука, но слыша в первый раз Орфея, пленился, молчал — и когда Парижские знатоки при выходе из театра окружили его, спрашивая, какова музыка? запел тихим голосом: j'ai perdu mon Eurydice; rien n'égale mon malheur — обтер слезы свои, и не сказав более ни слова, ушел. Так великие люди признаются в несправедливости мнений своих!

Занавес опустился. Незнакомка сказала мне: «Божественная музыка! а вы, кажется, не аплодировали?»

Я. Я чувствовал, сударыня.

Незнакомка. Глук милее Пиччини.

Кавалер. Об этом в Париже давно перестали спорить. Один славится гармониею, другой мелодиею; один всегда равно удивителен, другой велик порывами; один никогда не падает, другой встает с земли, чтобы лететь к облакам; в одном более характера, в другом более оттенок. *Мы* давно согласились.

Незнакомка. Я не умею делать ученых сравнений; а вы, государь мой?

Я. Согласен с вами, сударыня.

Незнакомка. Etes-vous toujours bien Mr.? *

Я. Parfaitement bien, Madame, auprés de vous.**

Тут Кавалер Св. Лудовика сказал ей что-то на ухо. Она засмеялась, посмотрела на часы, встала, подала ему руку, и сказав мне: je vous salue, Monsieur! *** ушла вместе с другою дамою. Я изумился.... Не дождаться

* Хорошо ли вам сейчас, сударь? (*франц.*)

** Превосходно, сударыня, рядом с вами (*франц.*)

*** Всего доброго, сударь! (*франц.*)

прекрасного балета *Калипсы* и *Телемака*! странно!... Мне стало в ложе просторнее и — скучнее. Я взглядывал на дверь, как будто бы ожидая возвращения прелестной незнакомки. Кто она? благородная, почтенная, или... Какая мысль! Важныя Парижския дамы не говорят так вольно с незнакомыми; однакожь может быть исключение из правила. Воображение мое не преставало заниматься ею во время балета, находя в разных танцовщицах сходство с белокурою незнакомкою. Я пришел домой — и все еще об ней думал.

«История кончилась,» вы скажете: а может быть и *нет*. Что естьли я опять где нибудь встречусь с красавицею, в *Елисейских полях*, в Булонском лесу; избавлю ее от разбойников, или вытащу из Сены, или спасу от огня?... Предвижу вашу усмешку. «Роман! роман!» повторите вы с Кавалером Св. Лудовика. Боже мой! как люди стали ныне недоверчивы! Это отнимает охоту путешествовать и рассказывать анекдоты. Хорошо; я замолчу.

‹108›

Париж, Мая....

Солиман Ага, Турецкий Посланник при Дворе Лудовика XIV в 1669 году, первый ввел в употребление кофе. Некто Паскаль, Армянин, вздумал завести кофейный дом; новость полюбилась, и Паскаль собрал довольно денег. Он умер, и мода на кофе прошла, так что к его наследникам никто уже не ходил в гости. Через несколько лет Прокоп Сицилиянец открыл новый кофейный дом близь *Французского театра,* украсил его со вкусом, и нашел способ заманивать к себе лучших людей в Париже, особливо Авторов. Тут сходились Фонтенель, Жан Батист Руссо, Сорен, Кребильйон, Пирон, Вольтер; читали прозу и стихи,[1] спорили, шутили, рассказывали новости. Парижане ходили от скуки слушать их. Имя сохранилось доныне; но теперешний Прокопов кофейный дом не имеет уже славы прежнего.

Что может быть щастливее этой выдумки? Вы идете по улице, устали, хотите отдохнуть: вам отворяют дверь в залу, чисто прибранную, где за несколько копеек освежитесь лимонадом, мороженым; прочитаете газеты; слушаете с к а з к и, рассуждения; сами говорите, и даже кричите, естьли угодно, не боясь досадить хозяину. Люди не богатые, осенью, зимою, находят тут приятное убежище от холода, камин, светлый огонь, перед которым могут сидеть как дома, не платя ничего, и еще пользоваться удовольствием общества. Vive Pascal, vive Procope! vive Soliman Aga! *

* Да здравствует Паскаль, да здравствует Прокоп! да здравствует Солиман Ага! (*франц.*)

Ныне более 600 кофейных домов в Париже (каждый имеет своего Корифея, умника, говоруна), но знаменитых считается 10, из которых пять или шесть в Пале-Рояль: Café de Foi, du Cavot, du Valois, de Chartres.* Первый отменно хорошо прибран; а второй украшен мраморными бюстами музыкальных сочинителей, которые своими Операми пленяют слух здешней публики: бюстом Глука, Саккини, Пиччини, Гретри и Филидора. Тут же на мраморном столе написано золотыми буквами: On ouvrit deux souscriptions sur cette table: la première le 28 Juillet, pour répéter l'experience d'Annonay; la deuxieme le 29 Août, 1783, pour rendre hommage par une médaille à la decouverte de MM. de Montgolfier.** На стене прибит медальйон, который изображает обоих братьев Монгольфье. — Жан-Жак Руссо прославил один кофейный дом, Le Café de la Régence *** тем, что всякой день играл там в шашки. Любопытство видеть великого Автора привлекало туда столько зрителей, что Полицеймейстер должен был приставить к дверям караул. И ныне еще собираются там ревностные Жан-Жакисты, пить кофе в честь Руссовой памяти. Стул, на котором он сиживал, хранится как драгоценность. Мне сказывали, что один из почитателей Философа давал за него 500 ливров; но хозяин не хотел продать его.

Смесь

Я желал видеть, как веселится Парижская чернь, и был нынешний день в *Генгетах*: так называются загородные трактиры, где по Воскресеньям собирается народ обедать за 10 *су* и пить самое дешевое вино. Не можете представить себе, какой шумный и разнообразный спектакль! Превеликия залы наполнены людьми обоего пола; кричат, пляшут, поют. Я видел двух шестидесятилетних стариков, важно танцующих менует с двумя старухами; молодые хлопали в ладоши, и кричали: *браво*! Некоторые шатались от действия винных паров, а также хотели танцовать и только что не падали; не узнавали дам своих, и вместо извинения говорили: diable! peste! **** — C'est l'empire de la grosse gaieté, царство грубого веселья! — И так не один Руской народ обожает Бахуса! Розница та, что пьяный Француз шумит, а не дерется.[2]

У дверей всякой *Генгеты* стоят женщины с цветами, берут вас за руку и говорят: *Господин милой, господин прекрасный! я дарю вас букетом роз.* Надо непременно взять подарок, отблагодарить шестью копейками,***** и еще сказать учтивое слово, un mot de politesse, d'honneteté.

---

* «Кафе веры», «Погребок», «Валуа», «Шартрское» (*франц.*)

** За этим столом были открыты две подписки: первая — 28 августа 1783 года, чтобы повторить опыт Аннонэ; вторая — 29 августа 1783 года, чтобы почтить медалью открытие братьев Монгольфье (*франц.*)

*** Кафе «Регентства» (*франц.*)

**** дьявол! чума! (*франц.*)

***** Une piece de 6 sous.

Парижския *цветошницы* одного разбора с *рыбными торговками* (les poissardes); страшно не понравиться им; оне в состоянии заметать вас грязью. Но естьли вы держите в руке букет цветов, то вам уже не предлагают другова. Однажды на *Королевском мосту, две цветошницы* остановили меня с Бароном В*, и требовали ... поцелуя! Мы смеялись, хотели итти: но жестокия Вакханты насильно поцеловали нас в щеку, хохотали во все горло, и кричали нам в след: *еще, еще один поцелуй!*

Идучи по *Дофинскому берегу,* увидел я на реке два Китайские павильйона; узнал, что это бани; сошел вниз, заплатил 24 *су* и вымылся холодною водою в прекрасном маленьком кабинете. Чистота удивительная. Во всякой кабинет проведена из реки особливая труба, в которой вода течет сквозь песок. Тут же учат плавать; урок стоит 30 *су*. При мне плавали три человека с отменною легкостию. В Париже есть и теплыя бани, в которыя часто посылают Медики больных своих. Самыя лучшия и дорогия называются Рускими, bains Russes, de vapeurs ou de fumigations, simples et composés.* Надобно заплатить рубли два, и вас вымоют, вытрут губками, обкурят ароматами, как у нас в Грузинских банях.

Я был в Hôtel-Dieu,** главной Парижской Гошпитали, в которую
3 принимают всякой веры, всякой нации,[3] всякого рода больных, и где бывает их иногда до 5 000, под надзиранием 8 Докторов и ста лекарей. 130 Монахинь Августинского Ордена служат нещастным и пекутся о соблюдении чистоты; 24 священника беспрестанно исповедывают умирающих, или отпевают мертвых. Я видел только две залы, и не мог итти далее: мне стало дурно; и до самого вечера стон больных отзывался в моих ушах. Не смотря на хороший присмотр, из 1 000 всегда умирает 250. Как можно заводить такия больницы в городе? Как можно пить воду из Сены, в которую стекает вся нечистота из Hôtel-Dieu? Ужасно вообразить! Щастлив, кто выедет из Парижа здоровый! — Я спешу в театр, чтобы рассеять свою меланхолию и начало лихорадки.

Здешняя Королевская Библиотека есть первая в свете; по крайней мере так сказал мне Библиотекарь. Шесть превеликих зал наполнены книгами. Мистические Авторы занимают пространство в 200 футов длиною и в 20 вышиною, Схоластики 150 футов, Юриспруденты 40 сажен, Историки вдвое. Поэтов считается 40 000, Романистов 6 000, путешественников 7 000. Все вместе составляет более 200 000 томов, к которым надобно еще прибавить 60 000 рукописных. Порядок редкий. Наименуйте книгу, и через несколько минут она у вас в руках. Мне, как Рускому, показывали Славянскую Библию и Наказ Императрицы. — Карл V полу-

---

* русские бани, паровые или с окуриванием, простые и смешанные (*франц.*)
** Божием Доме (*франц.*)

чил в наследство после Короля Иоанна 20 книг; любя чтение, умножил их до 900, и был основателем сей библиотеки. Тут же, в Кабинете древних и новых медалей, с великим любопытством рассматривал я два щита славнейших из древних полководцев: Аннибала и Сципиона Африканского.* Какими приятными воспоминаниями обязаны мы Истории! Мне было 8 или 9 лет от роду, когда я в первый раз читал Римскую, и воображая себя маленьким Сципионом, высоко поднимал голову. С того времени люблю его как своего [4] Героя. Аннибала я ненавидел в щастливыя времена славы его, но в решительный день, перед стенами Карфагенскими, сердце мое едва ли не ему желало победы. Когда все лавры на голове его увяли и засохли; когда он, укрываясь от злобы мстительных Римлян, скитался из земли в землю: тогда я был нежным другом хотя нещастного, но великого Аннибала, и врагом жестоких Республиканцев. — Еще хранятся в Библиотеке две стрелы диких Американцев, намазанныя таким сильным ядом, что естьли проколешь ими до крови какое нибудь животное, то оно через несколько минут оцепенев умрет. — В зале нижнего этажа стоят два глобуса чрезмерной величины, так что верхняя часть их выходит, через отверстие потолка, в другой этаж. Они сделаны Монахом Коронелли. — Собрание эстампов в Библиотеке также достойно примечания.

Здесь много и других общественных и частных библиотек, отворенных в назначенные дни для всякого. Читайте, выписывайте, что вам угодно. Нет в свете другова Парижа ни для ученых, ни для любопытных; все готово — только пользуйся.

Королевская Обсерватория, обращенная углами к четырем главным пунктам горизонта, построена без дерева и без железа. В большой зале первого этажа проведен Меридиан, который идет через всю Францию, на север и на юг, от Колиура до Динкирхена. Там одна комната называется *гайною,* la salle des Secrets, и представляет любопытный феномен. Естьли вы приложите губы к пиластру и тихонько скажете несколько слов, то человек, стоящий напротив у другова пиластра, слышит их; а люди, которые стоят между вами, ничего не слышат. Монах Киркер писал изъяснение сей механической странности. — Кто хочет сойти в подземельный лабиринт Обсерватории, служащий для разных метеорологических опытов, тому надобно непременно взять вожатого и факелы: 360 ступеней ведут вас в эту бездну; темнота страшная; густой, сырой воздух почти останавливает дыхание. Мне рассказывали, что два монаха, сошедши туда вместе с другими любопытными, отстали — хотели догнать товарищей, но факел их угас — они искали выхода из темных переходов, но тщетно. Через 8 дней нашли их в лабиринте мертвых.

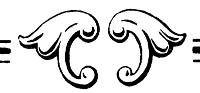
Лудовик XIV построил самой великолепнейший в Европе *Инвалидный дом* для изувеченных и престарелых воинов, желая доказать им

* Доказывается надписью.

Царскую благодарность, и часто бывал у них в гостях, без всякой стражи, кроме испытанного усердия своих Ветеранов. Печальное зрелище для Философа, трогательное для всякого чувствительного! Многие Инвалиды не могут ходить; многие не могут даже есть сами: их кормят. Одни молятся перед олтарями; другие сидят под тению густых дерев, разговаривая о победах, купленных их кровию. Как охотно снимаю шляпу перед седым воином, который носит на себе незагладимые знаки храбрости и печать славы! Война бедственна, но храбрость есть великое свойство души. «Робкой человек может быть добрым: но всякой дурной человек непременно должен быть трусом,» говорит Стернов Капрал Трим. — Петр Великий, осматривая Парижский Инвалидный дом в то время, как почтенные воины сидели за обедом, налил себе рюмку вина, и сказав: *ваше здоровье, товарищи!* выпил до капли.

Архитектура и живопись прекрасны.





ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

‹109›

Париж, Мая. . . .

13 Мая, в день Вознесенья, ходил я в деревеньку Сюрень, лежащую в двух милях от Парижа на берегу Сены. Мне сказали, что там с великою торжественностию[1] будут короновать розами осьмнадцатилетнюю добродетельную девушку; но какая горесть! нынешний год не было праздника[2] — la fête de la Rosiere.* Отель-де-Виль, или Городской Приказ не заплатил процентов с капитала, положенного каким-то Гм. Элиотом для награждения сельской невинности, хотя на это требовалось не более 300 ливров. Приходскому священнику надлежало после вечерни объявить имена трех достойнейших Сюренских девушек; деревенские старшины выбирали из них одну, украшали цветами, хвалили ея добродетель, водили по деревне и пели хором:

Без награды добродетель
Не бывает никогда;
Ей в подсолнечной свидетель
Бог и совесть завсегда.
Люди также примечают,
Кто похвально жизнь ведет;
За невинность увенчают
Девушку в осьмнадцать лет. . .**

Парижския дамы всегда любопытствовали видеть невинность так близко от Парижа, брали участие в веселии Сюренских поселян и не стыдились танцовать с ними по-деревенски. — Я обедал в трактире с нарядными земледельцами, которые потчивали меня своим красным вином, уверяя, что Сюренской виноград и Сюренские нравы славны во всем околотке. Один из них, с гордым видом выправляя свои белыя, длинныя манжеты, сказывал мне, что все три дочери его были увенчаны розами, и все три нашли себе достойных женихов.

Давно уже сельская простота не веселила меня столько, как нынешний день — и наслаждаться ею в 7 верстах от Парижа! Я не мог наго-

* праздник королевы Роз (*франц.*)
** Ей непременно надлежало быть осьмнадцати лет.

вориться с крестьянами и с крестьянками;[3] последния довольно смелы, но не бесстыдны. «Куда ты идешь с книжкою?» спросил я у миленькой девушки. — *В церковь,* отвечала она: *молиться Богу.* — «Жаль, что я не вашего закона; а мне хотелось бы молиться подле тебя, красавица.» — Mais le bon Dieu est de toutes les réligions, Monsieur. *Бог един во всех законах.* — Согласитесь, друзья мои, что такая философия в сельской девушке не совсем обыкновенна. Вообще все Сюренские жители казались мне умными и щастливыми, может быть от веселого расположения души моей.

Вечер провел я также очень приятно в деревне Исси, в прекрасных садах Герцога Инфантадоса и Принцессы Шиме. Тут есть несравненная алея из древних, каштановых дерев (лучше самой Тюлерийской), и в конце ея превеликой водоем. Вид с террас прелестен: замок Мёдон, Бельвю, Булонской лес, неизмеримая равнина, по которой течет Сена; и на краю горизонта Мон-Валерьен.[4]

Вообще Парижския окрестности весьма приятны. Везде прекрасныя деревеньки, алеи, сады; везде рассеяны драгоценности Искусств; в каждой сельской церкви найдете хорошия картины, замечания достойные монументы, памятники Французской Истории. С некоторого времени я всякой день бываю за городом, и возвращаюсь иногда очень поздно. Теперь же все цветет, и весна нежными оттенками переливается в лето.

‹110›

Париж, Мая. . . .

Я худо пользуюсь здешними знакомствами и обществом; я скуп на время: мне жаль тратить его в трех или четырех домах, где меня принимают. Холодная учтивость не привлекательна. Госпожа Гло* уверяет, что в доме ея собираются лучшие Авторы; но мне не случилось видеть у нее ни одного известного. Говорят отрывками; все личности, jargon, язык непонятный для чужестранца; молчишь, зеваешь, или скажешь слова два на вопросы: *как сильны бывают морозы в Петербурге? сколько месяцов катаются у вас в санях? ездите ли вы на оленях зимою?* Это не весело; и хотя стол госпожи Гло* очень вкусен, однакожь мне приятнее обедать за деньги у какого нибудь Ресторатёра, смотреть на множество людей, вслушиваться иногда в шумные разговоры или про себя думать, сочинять план для остального дня. Госпожа Н*, другая моя знакомка, миловидна и любезна, так что я с удовольствием был у нее раз пять. Мы говорили о Швейцарии, о Руссо, о щастии простой жизни, даже о любви в метафизическом смысле; но вот неудобность: к ней ездит молодой Барон Д*, и

как скоро он в двери, я делаюсь лишним; это не много оскорбительно для моего самолюбия. Барон же хотя и не есть Барон Немецкий, однакожь взгляды его на меня очень грубы. Он садится с ногами на диване подле хозяйки, играет ролю рассеянного или сонливого; плюет на Английский ковер; кладет голову на подушку — а как его не выгоняют, то надобно думать, что он имеет право выгонять других из кабинета Госпожи Н*. Смекнув таким образом, беру шляпу и скрываюсь. Прованская красавица раздумала ехать в Швейцарию и быть жительницей горы Нёшательской.* Барон смеется над такою мыслию, и называет ее вдохновением старомодного романизма.[1]

Здесь теперь не много Руских: фамилия Князя Г*, П*, и более никого, кроме Посланника, Секретаря М*, и Г. У*, с которыми вижусь не редко. У* не богат, но умел собрать прекрасную библиотеку и множество редких манускриптов на разных языках. У него есть оригинальныя письма Генриха IV, Лудовика XIII, XIV и XV, Кардинала Ришельё, Английской Королевы Елисаветы и проч. Он знаком со всеми здешними Библиотекарями, и через них достает редкости за безделку, особливо в нынешнее смутное время. В тот день, как народ разграбил Бастильской архив, У* купил за луидор целую кипу бумаг, между прочими несколько трогательных писем какого-то нещастного Автора к Полицеймейстеру и журнал одного из заключенных во время Лудовика XIV. Он уверен, что его писал тайный арестант, известный под именем *Железной маски,* о котором Вольтер говорит следующее: «Через несколько месяцов по смерти Кардинала Мазарини случилось произшествие, которое можно назвать беспримерным, и которого (что также удивительно) совсем не знали Историки. С величайшею тайною послан был на остров Святой Маргариты неизвестный арестант, молодой человек, высокой ростом и благородный видом. Он носил маску с железною пружиною, которая не мешала ему есть. Офицер имел повеление убить его, естьли бы он снял ее. Сей человек содержался на острове до самого того времени, как Губернатор Пиньерольской, Сен-Марс, в 1690 году сделан был Бастильским начальником, и сам перевез его в Бастилию, также в маске. Министр Лувуа был у него на острове Св. Маргариты, говорил с ним стоя и с великим почтением. В Бастилии отвели ему самыя лучшия комнаты, и ни в чем не отказывали. Всего более любил он тонкое белье и кружева; знал музыку; играл на гитаре, имел самый изобильный стол, и Губернатор редко перед ним садился. Старый Бастильской Доктор никогда не видал его лица. Он был, по словам сего Медика, чрезвычайно строен, имел трогательный голос, говорил приятно, никогда не жаловался на заключение,[2] и таил свое имя. — Сей неизвестный умер в 1703 году и погребен ночью в церкви Св. Павла. Никто из людей знаменитых в Европе не пропадал во время его заключения; но он без сомнения был важный человек. Вот что случилось в первые дни его пребывания на острове Святой Маргариты. . . . Сам Губернатор носил ему кушанье, и выходя, запирал комнату. Заключенный начертил однажды несколько слов на серебряной тарелке и бросил

* Описанной Жан Жаком в письме к д'Аланберту.

ее в окно на лодку, стоявшую внизу подле самой башни. Рыбак, хозяин лодки, поднял тарелку и принес Губернатору, который с великим беспокойством спросил: видел ли он надпись, и не показывал ли кому нибудь тарелки? Я только-что нашел ее, а сам не умею читать, отвечал рыбак. Однакожь Губернатор удержал рыбака, чтобы увериться в истине его слов. Наконец, отпуская, сказал ему: *поди и благодари Бога, что не умеешь читать*. Один из достоверных людей, которым сей случай был известен, жив еще и ныне. Шамилар последний из Министров знал тайну заключенного. Фельдмаршал Фёльяд, зять его, сказывал мне, что он на коленях просил тестя своего объявить ему, кто был сей человек, известный только под именем *Железной маски*. Шамилар отвечал, что он клялся хранить государственную тайну, и не может открыть ее. Одним словом, многие из наших современников свидетельствуют истину мною рассказанного, и я не знаю никакого исторического происшествия, которое было бы удивительнее и вернее оного». В жизни Герцога Ришельё, недавно напечатанной, сия любопытная загадка, справедливо или нет, решится. Автор говорит, будто человек с Железною маскою был сын Королевы Анны и близнец Лудовика XIV, скрытый от света Кардиналом Ришельё, для того, чтобы ему не вздумалось когда нибудь спорить о короне с братом своим. Гипотеза не совсем вероятная! Равно как и то не совсем вероятно, чтобы журнал заключенного, которым земляк мой дорожит до крайности, был в самом деле писан Железною Маскою. У него одно доказательство: «заключенный в разных местах упоминает о шоколаде, который к нему по утрам носили; при Лудовике XIV пили шоколад одни знатные; а как в это время (сколько известно) никто из важных людей, кроме человека с Железною Маскою не содержался в Бастилии, то надобно, чтобы журнал был его.» Впрочем Автор сих дневных записок, Железная Маска или другой кто, не говорит ничего примечания достойного; одне жалобы на скуку, на жестокость заключения, в несвязных словах, без орфографии — и все тут.

‹111›

Париж, Мая. . . .

Шесть дней сряду, в 10 часов утра, хожу я в улицу Св. Якова, в Кармелитской монастырь. . . . «За чем?» спросите вы: «за тем ли, чтобы рассматривать тамошнюю церковь, древнейшую в Париже, и некогда окруженную густым, мрачным лесом, где Св. Дионисий в подземной глубине укрывался от врагов своих, то есть врагов Христианства, благочестия и добродетели? За тем ли, чтобы решить спор Историков, — из которых одни приписывают строение сего храма язычникам, а другие Королю Роберту: одни утверждают, что статуя, видимая вверху, на портале, есть образ

богини Цереры: а другие уверяют, что она представляет Архангела Михаила? Или за тем, чтобы удивляться великолепию олтарей, их бронзе, золоту, барельефам?»... Нет: я хожу в Кармелитской монастырь для того, чтобы видеть милую, трогательную Магдалину живописца Лебрюна, таять сердцем, и даже плакать!... О чудо несравненного искусства! я вижу не холодныя краски, и не бездушное полотно, но живую, Ангельскую красоту, в горести, в слезах, которыя из небесных голубых глаз ея льются на грудь мою; чувствую теплоту, жар их, и вместе с нею плачу. Она узнала суету мира и злополучие страстей! Сердце ея, для света охладевшее, пылает пред олтарем Всевышнего. Не муки адския ужасают Магдалину, но мысль, что она не достойна любви Того, Кто любим ею столь ревностно и пламенно: любви Отца небесного — чувство нежное, однем прекрасным душам известное! *Прости меня,* говорит ея сердце. *Прости меня,* говорит ея взор.... Ах! не только Бог, совершенная благость, но и самые люди, редко не жестокие, каких бы слабостей не простили такому искреннему, святому раскаянию?... Никогда я не думал, не воображал, чтобы картина могла быть столь красноречива̀ и трогательна.[1] Чем более смотрю на нее, тем глубже вникаю чувством в ея красоты. Все прелестно в Магдалине: лице, стан, руки, растрепанные волосы, служащие покровом для лилейной груди; всего же прелестнее глаза, от слез покрасневшие... Я видел много славных произведений живописи: хвалил, удивлялся искусству; но эту картину *желал бы иметь*; *был бы щастливее с нею*; одним словом, *люблю ее!* Она стояла бы в моем уединенном кабинете, всегда перед моими глазами...

Но открыть ли вам тайную прелесть ея для моего сердца? Лебрюнь, в виде Магдалины, изобразил нежную, прекрасную Герцогиню Лавальер, которая в Лудовике XIV любила не Царя, а человека, и всем ему пожертвовала: своим сердцем, невинностию, спокойствием, светом. Я воображаю тихую лунную ночь, когда, гуляя в Версальском Парке с своими подругами, милая Лавальер сказала им: «вы говорите о придворных красавцах, [2]а забываете первого:[2] нашего любезного Короля. Не пышность трона ослепляет глаза мои; нет, и в сельской хижине, в платье бедного пастушка предпочла бы я его всем мущинам на свете.» — Король был в двух шагах от прелестной; скрывался за деревом, слышал ея слова, и сердце ему сказало: «вот та, которую ты любить должен!» Он не знал ее; на другой день старался говорить со всеми придворными дамами; узнал Лавальер по голосу — и несколько лет, будучи обожаем, сам обожал ее; изменил — и нещастная оставила свет, заключилась в Кармелитском монастыре, истребила в душе все земныя склонности, жила 36 лет единственно для добродетели, для Неба, под именем Луизы, *сестры милосердия,* ревностно исполняя строгия должности Ордена и звания своего.

‹112›

Париж, Мая....

Я думаю теперь: какое моглоб быть самое любопытнейшее описание Парижа? Исчисление здешних монументов Искусства (рассеянных, так сказать, по всем улицам) редких вещей в разных родах, предметов великолепия, вкуса, имеет конечно свою цену: но десять таких описаний, и самых подробных, отдал бы я за одну краткую *характеристику* или за *галлерею примечания достойных людей в Париже,* живущих не в огромных палатах, а по большей части на высоких чердаках, в тесном уголке, в неизвестности. Вот обширное поле, на котором можно собрать тысячу любопытных анекдотов! Здесь-то бедность, недостаток в средствах к пропитанию, доводит человека до удивительных хитростей, истощает и разум и воображение! Здесь многие люди, которые всякой день являются на гульбищах, в Пале-Рояль, даже в спектаклях, причесанные волос к волосу, распудренные, с большим кошельком на спине, с длинною шпагою на бедре, в черном кафтане, не имеют копейки верного дохода; а живут, веселятся, и, судя по наружному виду, беспечны как птицы небесныя. Средства? они разнообразны, бесчисленны, и нигде кроме Парижа неизвестны. На пример: человек, изрядно одетый, который сидит в Café de Chartres за чашкою *баваруаза*, говорит не умолкая, с видом благородным, приятным, шутит, рассказывает забавные анекдоты — знаете ли, чем живет? продажею *афиш,*[1] или всякого рода печатных объявлений, которыми здесь бывают облеплены стены. Ночью, когда город успокоится и люди по домам разбредутся, он ходит собирать свой корм, из улицы в улицу, сдирает со стен печатные листы, относит их к пирожникам, имеющим нужду в бумаге, получает за то несколько копеек, ливра два, или целый *экю,* ложится на соломенной тюфяк в каком нибудь *гренье,** и засыпает покойнее многих Крезов. Другой человек, который также всякой день бывает в *публике*, то есть в Тюльери, Пале-Рояль, и которого вы по кафтану сочтете Клерком,** есть... откупщик; но прошу угадать, какой? У него на откупе... все булавки, теряемыя дамами в Италиянском Спектакле. Когда занавес опускается и все зрители выходят из залы, он только-что является в Театр, и с дозволения Директорского, между тем как гасят свечи, ходит из ложи в ложу подбирать булавки; ни одна не укроется от его мышьих глаз, где бы она ни лежала; и в то мгновение, как слуга хочет гасить последнюю свечу, наш откупщик хватает последнюю булавку; говорит: *слава Богу! завтра я не умру с голоду!* и бежит с своим пакетом к лавошнику. — Я был в Мазариновой Библиотеке и смотрел на ряды книг без всяких мыслей. Ко мне подошел седый старик в темном кафтане, и сказал: «вы желаете видеть примечания достойныя книги и манускрипты?» — Желал бы, государь мой! — «Я

---

* То есть чердаке.
** Писарем.

к вашим услугам». И старик начал мне показывать редкия издания, древния рукописи, беспрестанно говоря, изъясняя. Я думал, что он Библиотекарь: совсем нет; но тридцать лет служит там *живым каталогом* для любителей и читателей книг. Надзиратели Мазариновой Коллегии дозволяют старику хозяйствовать в Библиотеке, и чрез то промышлять себе хлеб. Дайте ему *экю* или медную копейку: он возьмет их с равною благодарностию; не скажет: *мало!* не сморщит лба; также и за горсть серебряной монеты не поклонится вам ниже обыкновенного. Парижской нищий хочет иметь наружность благородного человека. Он берет подаяние без стыда; но за грубое слово вызовет вас на поединок: у него есть шпага!

В *Галлерее примечания достойных людей* занял бы конечно не последнее место один здешний Стоик, известный под именем *четырнадцатилуковошного* (de quatorze-oignons), истинный Диогенов человек, [2] отказывающий себе во всем,[2] что не есть в строгом смысле необходимо для жизни. Он промыслом *носильщик*; * все его имение состоит в большой корзине; днем разносит в ней по комиссии всякую всячину, а ночью спит как в алькове на городской площади, под колоннадою. Сорок лет не переменяет своего камзола; в случае нужды нашивает заплаты, и таким образом от времени до времени возобновляет его, как Природа, по мнению Медиков, возобновляет в разные периоды человеческое тело. 14 Луковиц составляют его дневную пищу. Не думайте, чтобы он жил так по необходимости; нет, бедные просят у него милостыни, и получают; другие берут в займы — но Парижской Диоген никогда не требует назад своих денег, ежедневно выработывая 3 и 4 ливра. Он умеет быть благодетелем и другом; говорит мало, но с выразительным Лаконизмом. Многие Ученые знакомы с ним. Химист Л* спросил у него однажды: «щастлив ли ты, добрый человек?» — Думаю, отвечал наш Философ. — «В чем состоят твои удовольствия?» — В работе, отдыхе,[3] в беспечности. — «Прибавь еще: в благодеяниях. Я знаю, что ты делаешь много добра.» — Какого? — «Подаешь милостыню.» — Отдаю лишнее. — «Молишься ли Богу?» — Благодарю Его. — «За что?» — За себя. — «Ты не боишься смерти?» — Ни жизни, ни смерти. — «Читаешь книги?» — Не имею времени. — «Бывает ли тебе скучно?» — Я никогда не бываю празден. — «Не завидуешь никому?» — Я доволен собою. — «Ты истинный мудрец.» — Я человек. — «Желаю твоей дружбы.» — Все люди друзья мои. — «Есть злые.» — Их не знаю.

К великому моему сожалению я не видал сего нового Диогена. Он скрылся при начале Революции.[4] Иные думают, что его уже нет на свете. Вот доказательство, что в самом низком состоянии может родиться и жить *Гений деятельной мудрости.*

---

* Porte-faix.

‹113›

Париж, Мая....

Нынешний день видел я две чудесныя школы: училище природно-глухих и немых (которым посредством знаков сообщают самыя трудныя, сложныя, метафизическия идеи;* которые знают совершенно Грамматику, разбирают все книги, и сами пишут ясным, чистым, правильным слогом), и еще другую, не менее удивительную школу природно-слепых, которые умеют читать, знают Музыку, Географию, Математику. Аббат л'Епе, основатель первого училища, умер; место его заступил [1] Аббат Сикар: он [1] с великою ревностию посвящает себя искусству делать получеловеков совершенными людьми, заменяя в них, так сказать, новым органом слух и язык. Молодой Швед, бывший вместе со мною у Сикара, написал на бумажке: *вы конечно жалеете о л'Епе* — и подал ее одному из учеников, который тотчас, схватив перо, отвечал: *без сомнения;* [2] *он наш благодетель,*[2] *разбудил в нас ум, дал нам мысли и другого учителя, подобного ему в искусстве и в ревности быть нашим просветителем, другом, вторым отцом.* Многие из немых страстно любят чтение, так, что для сохранения их глаз надобно отнимать у них книги. С удивительною скоростию говорят они знаками между собою, выражая самыя отвлеченныя идеи, кажется будто не могут нарадоваться своею новою способностию.

В другой школе, заведенной Господином Гаюи, слепые учатся Арифметике, чтению, Музыке и Географии посредством *выпуклых* (en relief) знаков, букв, нот и ландкарт, разбираемых ими по осязанию. Ученик, щупая ряды литер и нот, перед ним лежащих, читает, поет; прикоснувшись рукою к ландкарте, говорит: *здесь Париж, тут Москва; здесь Отагити, тут Филиппинские острова.* Швед тихонько перевернул карту; слепой, дотронувшись до нее, сказал: *она лежит вверх ногами,* и снова оборотил ее. Как у зрячих судят глаза о расстоянии предметов, [3] их взаимных отношениях,[3] так у слепых осязание, удивительно тонкое, верно *соглашенное* с памятью и воображением. На пример: [4] естьли я, зажмурив глаза, ощупаю несколько предметов, то мне очень трудно будет вообразить их взаимное между собою отношение, от непривычки судить о вещах по осязанию; напротив того слепые воображают по ощупи так же быстро, как мы по глазам. Надзиратель хотел сделать нам полное удовольствие, и велел слепым ученикам своим петь гимн, сочиненный для них Обером. Прекрасные голоса! трогательная мелодия! милыя слова! Мы заплакали. Надзиратель увидел слезы наши, и велел ученикам повторить гимн. Вот перевод его:

Владыка мира и судьбины!
Дай видеть нам луч солнца Твоего
Хотя на час, на миг единый,
И новой тьмой для нас покрой его:

---

* См. третью Часть Писем Руского Путешественника стр. ‹175 наст. изд.›.

Лишь толькоб мы узрели
Благотворителей своих,
И милый образ их
Навек в сердцах запечатлели.

‹114›

Париж, Мая....

Вы получали бы от меня не листы, а целыя тетради, естьли бы я описывал вам все картины, статуи и монументы, мною видимыя. Здесь церкви кажутся галлереями живописи или Академиями Скульптуры. Мудрено ли? Со времен Франциска I доныне [1] Художества цвели в Париже [2] как в отчизне своей.[2] Замечу только, что у меня осталось в памяти.

На пример: соборная церковь Богоматери, Notre Dame — здание готическое, огромное и почтенное своею древностию — наполнена картинами лучших Французских живописцев; но я, не говоря об них ни слова, опишу вам единственно памятник супружеской любви, сооруженный там Новою Артемизою. Графиня д'Аркур, потеряв супруга, хотела посредством сего мавзолея, изваянного Пигалем, оставить долговременную память своей нежности и печали. Ангел одною рукою снимает камень с могилы д'Аркура, а другою держит светильник, чтобы снова воспламенить в нем искру жизни. Супруг, оживленный благотворною теплотою, хочет встать, и слабую руку простирает к милой супруге, которая бросается в его объятия. Но смерть неумолимая стоит за д'Аркуром, указывает на свой песок, и дает знать, что время жизни прошло! Ангел гасит светильник.... Сказывают, что нежная Графиня, беспрестанно оплакивая кончину любезного, видела точно такой сон: Художник изобразил его по ея описанию — и никогда резец Пигалев не действовал на мое чувство так сильно, как в сем трогательном, меланхолическом представлении. Я уверен, что сердце его участвовало в работе.

Тут же видел я грубую статую Короля Филиппа Валуа. Победив неприятелей, он въехал верхом в соборную Парижскую церковь. Художник так и представил его: на лошади, с мечем в руке — не много уважения к святыне храма! [3] —

В Сорбонскую церковь ходят все удивляться искусству ваятеля Жирардона. На монументе, в древнем вкусе, представлен Кардинал Ришельё; умирая в объятиях Религии, он кладет правую руку на сердце, а в левой держит духовныя свои творения. Наука, в виде молодой женщины, рыдает у ног его. — Говорят, что Петр Великий, смотря на сей памятник, сказал внуку Кардинала, Герцогу Ришельё: *Твой дед был величайший из Министров; я отдал бы половину своего Государства за то, чтобы научили меня править другою, как он правил Франциею.* Не верю

этому анекдоту; или Государь наш не знал всех злодейств Кардинала, хитрого Министра, но свирепого человека, врага непримиримого, хвастливого покровителя Наук, но завистника и гонителя великих дарований. Я представил бы Кардинала не с Христианскою, святою Религиею, а с чудовищем, которое называется Политикою, и которое описывает Вольтер в Генриаде:

Дщерь гордости властолюбивой,
Обманов и коварства мать,
Все виды может принимать:
Казаться мирною, правдивой,
Покойною в опасный час;
Но сон вовеки не смыкает
Ея глубоко-впавших глаз;
Она трудится, вымышляет;
Печать у Истины берет,
И взоры обольщает ею;
За Небо будто восстает,
Но адской злобою своею
Разит лишь собственных врагов.

Впрочем сей монумент [4]ваятельного искусства[4] есть один из лучших в Париже.

В церкви Целестинов[5] (des Célestins) есть придел Герцога Орлеанского, который напоминает странное и нещастное приключение. Карл VI вздумал однажды для маскерада нарядиться Сатиром вместе с некоторыми из своих придворных. Герцог Орлеанской подошел к ним с факелом, и нечаянно зажег мохнатое платье на одном из них. К нещастью, они были связаны цепочкою друг с другом, и не могли скоро распутаться: огонь разлился, обхватил их, и в несколько минут почти все сгорели. Король спасен был Герцогинею де Берри, которая бросила на него свою мантелью, и затушила пламя. Герцог, чтобы загладить свою бедственную неосторожность, соорудил великолепный олтарь в церкви Целестинов. — Там много картин и памятников; между прочими монумент Леона, Царя Армянского, который будучи выгнан из земли своей Турками, умер в Париже в 1393 году. Фруасар, современный Историк, говорит об нем следующее: «Лишенный трона, сохранил он царския[6] добродетели, и еще прибавил к ним новую: великодушное терпение; с благодетелем своим, Карлом VI, обходился как с другом, не забывая собственного царского сана; а смерть Леонова была достойна жизни его.» — Близ гробницы нещастного Царя, в готическом нише, нежная дочь соорудила памятник нежной матери. Черная мраморная урна стоит на белой колонне, с надписью: «Будучи другом детей своих, она заставляла их плакать.... только от благодарности; скромность ея даже удивлялась необыкновенной любви нашей» (прекрасная черта!) «Да будет сей памятник священ для добрых и чувствительных сердец! Здесь погребена Мария Гокар, Графиня де Коссе, умершая 29 Сентября 1779 году.» — Подле трогатель-

ной надписи видите вы смешную, над гробом рыцаря Бриссака. Вот она: «Что я? мертвой или живой? мертвой: нет, живой. [7] Ты спросишь: почему? [7] отвечаю: потому, что имя мое везде шумит, везде гремит (mon nom court et bruit en tous lieux).» — В сей же церкви стоит славная Пилонова группа, три нагия Грации, одна другой лучше, и все прекрасныя; но не странно ли видеть языческих богинь в храме истинного Бога? Так угодно было Катерине Медицис. Она велела заключить сердце свое в одну урну с сердцем Генриха II, и поставить ее на голову Грациям. Чудная мысль!

В церкви Св. Кома погребен некто Трульяк, рогатой человек. Он был представлен за чудо Генриху IV, который подарил его своему конюшему; а конюший показывал его за деньги народу. Сей бедный Сатир крайне оскорблялся своим уродством и умер с горя. На гробе его вырезали эпитафию такого содержания:

Здесь погребен Трульяк. Не будучи женат,
Сей жалкой человек (о диво!) был рогат!

В церкви Св. Стефана, которой странная архитектура представляет вам соединение Греческого вкуса с готическим, найдете вы гроб нежного Расина без всякой эпитафии; но его имя напоминает лучшия произведения Французской Мельпомены — и довольно. Тут же погребен Паскаль (Философ, Теолог, остроумный Автор, которого Провинциальныя письма доныне ставятся в пример хорошего Французского слога); Турнфор, славный Ботанист и путешественник; Тонье, искусный Медик (которого эпитафия говорит: *Теперь только, смертные, страшитесь смерти: ибо Тонье умер и вас лечить не кому*), и живописец ле-Сюер, прозванный Французским Рафаэлем: предмет зависти и даже злобы других современных живописцов! На пример, ле-Брюн не мог равнодушно слушать, чтобы говорили о ле-Сюеровых картинах, и видя его при последнем издыхании, сказал: *теперь гора свалится у меня с плечь, и смерть этого человека вынет занозу из моего сердца!* В другое время, смотря на ле-Сюерову картину, и думая, что его никто не слышит, ле-Брюн шептал: *прекрасно! удивительно! несравненно!* Горестно слышать такие черные анекдоты о великих Артистах; и как я люблю живописца Магдалины, так гнушаюсь врагом ле-Сюеровым.

В церкви Св. Евстафия погребен Кольбер. Памятник достоин его памяти. Он изображен на коленях, на черной мраморной гробнице, перед Ангелом, держащим разогнутую книгу. Изобилие и Религия, в виде женщин, стоят подле. Великий Министр, слава Франции и Лудовика XIV! Он служил Королю, стараясь умножать его доходы и силы; служил народу, стараясь обогатить его посредством разных выгодных заведений и торговли; служил человечеству, способствуя быстрым успехам Наук, по-

лезных Искусств и Словесности, не только во Франции, но и в других землях. Победоносные Лудовиковы флоты, как будто бы словом: *да будет!* сотворенные; лучшия Французския мануфактуры; Лангедокской канал, соединяющий Средиземное море с Океаном; именитыя торговыя общества: Индейское, Американское — и почти все Академии остались монументами его незабвенного правления. Можно смело сказать, что Кольбер был первым Министром в свете; ищу в мыслях, и не нахожу другого, ни столь мудрого, ни столь щастливого в своих предприятиях (второе было конечно следствием первого) — и слава его Министерства прославила царствование Лудовика XIV. Вот предмет, достойный соревнования всех Министров! И всякому из них должно иметь в кабинете портрет Кольбертов, чтобы смотреть на него и не забывать великих своих обязанностей. — Но какой Монарх, какой Министр может удовольствовать всех людей? Один из недовольных Кольбертом написал на его статуе: res ridenda nimis, vir inexorabilis orat! т. е. *как смешно видеть моление неумолимого человека!* *

В Аббатстве Св. Женевьевы хранится прах Декартов, перевезенный из Стокгольма через 17 лет после смерти Философа. Нет памятника! Эпитафия говорит, что он был первым мудрецом своего века — и справедливо. Философия прежде его состояла в одном школьном пустословии. Декарт сказал, что она должна быть Наукою Природы и человека; взглянул на вселенную глазами мудреца, и предложил новую, остроумную систему, которая все изъясняет — и самое неизъяснимое; во многом ошибся, но своими ошибками направил на путь истины Английских и Немецких Философов; заблуждался в лабиринте, но бросил нить Ариадны Невтону и Лейбницу; не во всем достоин веры, но всегда достоин удивления; всегда велик, и своею Метафизикою, [8] своим нравоучением [8] возвеличивает сан человека, убедительно доказывая бытие Творца, чистую бестелесность души, святость добродетели. Я не давно читал следующее сравнение между Декартом и Невтоном: «Они равны *вымыслом* или духом изобретения; первый быстрее, высокопарнее: вторый глубокомысленнее. Таков характер Французов и Англичан; ум первых *строит в вышину,* последних [9] *углубляется в основание.* Оба Философа хотели создать мир, подобно как Александр хотел завоевать его; оба бессмертны, оба велики в понятиях своих о Натуре.»

В том же Аббатстве взглянул я на гробницу Кловиса (завоевателя Галлии, первого Царя Французов), на изображение Рима (en relief), в котором видны все улицы, все большия здания; на Библиотеку и на собрание [10] Египетских, Этрусских, Греческих, Римских и Гальских редкостей.

Новая церковь Святой Женевьевы величественна и прекрасна. Знатоки Архитектуры особливо хвалят фронтон, в котором смелость готическая соединена с красотою Греческою. Наружность и внутренность Коринфического Ордена; последняя не совсем еще отделана.

---

* Он представлен на гробнице молящимся.

В Аббатстве Св. Виктора хранятся древние манускрипты; между прочими Библия в рукописи девятого века, и Алькоран самый верный: что засвидетельствовано Турецким Послом, который с великим благоговением читал и целовал его.

В *Королевском Аббатстве,* где все богато и великолепно, всего лучше внутренность купола, расписанная водяными красками Миньяром; знатоки называют ее совершенством. Мольер сочинил Поэму в честь Миньяра. Жаль, что краски уже теряют свою живость.

В церкви Св. Андрея сооружен памятник Аббату Баттё, наставнику Авторов, которого за два года перед сим читал я с любезным Агатоном, вникая в истину его правил и разбирая красоты его примеров. Монумент нравится своею простотою; на колонне стоит урна с медальйоном умершего, и с милою надписью: amicus amico, *друг другу.* — Тут же видел я одну старинную Французскую эпитафию в стихах, которая содержит в себе историю Матвея Шартьё, *доброго человека,* и которая мне очень полюбилась. На пример: «Он верил Богу, Христианству, бессмертию, добродетели; не верил лицемерам суеверия и щастию порока; жил 50 лет с женою своею, и всякой наступающий год желал провести с нею как минувший; любил в будни работу, а в праздник гостей; учил добру детей своих, иногда умными словами, а чаще примером. Мнение и свидетельство его уважалось во всем околотке, и люди говорили: *так сказал Матвей Шартьё, добрый человек!* Прохожий! не дивись, что гробница его сделана не из Паросского мрамора, и не украшена Фригийскою работою; богатые памятники нужны для тех, которые жизнию и делами не оставили по себе доброй памяти; имя Матвея Шартьё есть и будет живым его монументом. 1559.» [11]

В храме Бенедиктинов погребен изгнанник Иаков II. Он велел схоронить себя без всякой пышности и на гробе написать только: ci-git Jacques II, Roi de la Grande Bretange.* Король самый нещастливейший, потому что никто не жалел о его нещастии!

Церковь Кармелитов достойна примечания богатым монументом, сооруженным в ней господами Буллене отцу и матери их; но История Кармелитов, изданная на Латинском языке, еще достойнее примечания. Автор утверждает, что не только все славнейшие Христиане, но и самые язычники: Пифагор, Нума Помпилий, Зороастр, Друиды, были монахи Кармелитского Ордена. Имя его происходит от Сирийской горы Кармель, где жили благочестивые пустынники, первые основатели Кармелитского собратства.

В церкви Св. Жерменя погребен Французской Гораций, Малерб, о котором сказал Буало, что он первый *узнал тайную силу каждого слова, поставленного на своем месте.* По сие время можно читать с великим удовольствием Оды его, и все знают наизусть прекрасную строфу:

La mort a des rigueurs à nulle autre pareilles;
On a beau la prier: [12]
La cruelle qu'elle est, se bouche les oreilles,

* Здесь погребен Иаков II, король Великобритании (*франц.*)

Et nous laisse crier.
Le pauvre en sa cabane, où le chaume le couvre,
Est sujet à ses loix,
Et la garde qui veille aux barrieres du Louvre,
N'en défend point nos Rois.*

Тут же погребены муж и жена Дасье, которых соединила законным браком любовь... к Греческому языку; которые в ученом супружестве своем ласкали друг друга Греческими именами, и тогда бывали веселы, тогда были щастливы, когда находили новую красоту в стихе Гомеровом. О варварство! о неблагодарность! на гробе их нет Греческой надписи!!

Кенотаф Графа Келюса, в одном из приделов Св. Жерменя, сделан из самого лучшего порфира. Граф берег его долгое время для своей гробницы. Человек, который для успехов Искусства не жалел ни трудов, ни имения, ни самой жизни, достоин такого кенотафа. Следующий анекдот доказывает удивительную страсть его. Будучи в Смирне, он хотел видеть развалины Эфеса, близь которых жил тогда разбойник Каракаяли, ужас всех путешественников. Чтожь сделал неустрашимый Граф? Сыскал двух разбойников из шайки Каракаяли, и нанял их себе в проводники, с тем, чтобы заплатить им деньги по возвращении в Смирну; надел самое простое платье, не взял с собою ничего, кроме бумаги с карандашем, и прямо с своими вожатыми явился к атаману воров, который, узнав о намерении его видеть древности, похвалил такое любопытство; сказал, что не далеко от его стана есть другия прекрасныя развалины; дал ему двух Арабских скакунов, чтобы ехать туда — и Граф через несколько минут очутился на развалинах Колофона; осмотрев их, возвратился ночевать к разбойнику, и на другой день видел то место, где был некогда город Эфес. — Келюс издал множество книг: Собрание древностей, Предметы для живописи и ваяния, Картины из Гомера и Виргилия, Сказки, и проч.

Церковь Св. Илера обагрилась некогда кровию двух живописцев. Один из них изобразил там Адама и Еву в земном раю. Другой, смотря на его картину, сказал: «Новорожденный младенец бывает связан с матерью посредством тонких жил, которыя, будучи перерезаны, образуют у него пупок. Адам и Ева не родились, но были вдруг сотворены; следственно ты глупец, изобразив их с пупком, которого они иметь не могли.» — Оскорбленный живописец выхватил шпагу; начался поединок — и безумцев на силу розняли.

Прах *великого* (как называют Французы) Корнеля покоится в церкви Св. Рока, без мавзолея, без эпитафии. Тут погребена и нежная Дезульер, которой имя напоминает вам

Берега кристальных речек,
Кротких, миленьких овечек,
И собачку подле них.

* Жестокость смерти не имеет равной. Напрасно ее умолять. Жестокая, она затыкает себе уши, предоставляя нам испускать вопли. Бедняк в своей хижине, укрывающийся соломой, покорен ее законам, и стража, бдящая на заставах Лувра, не защитит от нее наших королей (*франц.*)

Посошок, венок, сплетенный из луговых цветов, и свирель, лучше всего украсили бы ея могилу. — Тут и гроб ле-Нотра, творца великолепных садов, перед которыми древние сады Гесперидские [13] не что иное, как [13] сельские огороды. Над гробом стоит бюст его: лице благородное и важное. Таков был и характер Артиста. Когда он предлагал Лудовику XIV план Версальских садов, рассказывая, где чему быть, и какое действие должна произвести всякая его идея, Король, восхищенный таким богатым воображением, несколько раз перерывал его описание говоря: *Ле-Нотр!* [14] *за эту выдумку даю тебе 20 000 ливров.* Наконец бескорыстный и гордый художник рассердился и сказал ему: *Ваше Величество! я замолчу, чтобы не разорить вас.*

За последним олтарем сей церкви, под низким сводом, в бледном мерцании света, возвышается дикая скала: тут Спаситель на кресте; у ног Его Магдалина. На правой стороне видите спящих воинов, на левой сломленныя дерева, между которыми ползет змея. Под горою голубой мраморной жертвенник, в образе древней гробницы; на нем стоят две урны, в которых дымится фимиам.[15] Все вместе слабо освещено через отверстие [16] вверху, и составляет неизъяснимо-трогательное зрелище. Сердце чувствует благоговение, и колена сами собою преклоняются. — Похвалите Фальконета: вы видите произведение резца его.

В церкви Св. Северина списал я следующие стихи, вырезанные над темным коридором ея кладбища, и служащие примером *игры слов*:

Passant, penses-tu pas passer par ce passage,
Où pensant j'ai passé?
Si tu n'y penses pas, passant tu n'est pas sage,
Car en n'y pensant pas tu te verras passer.*

‹115›

Париж, Июня....

Госпожа Гло* сказала мне: «Послезавтра будет у нас *чтение*. Аббат Д* привезет *мысли о любви*, сочинение сестры его, Маркизы Л*. C'est plein de profondeur à ce qu'on dit.** Автор также будет у меня, но только *инкогнито*. Естьли хотите узнать остроумие и глубокомыслие здешних Дам, то приходите». — Как не притти? Я пожертвовал спектаклем, и в 8 часов явился. Хозяйка сидела на Вольтеровских креслах; вокруг ее пять или шесть Кавалеров вели шумный разговор; на софе два Аббата

---

* Прохожий! помышляешь ли пройти через этот проход, через который я, размышляя, прошел. Если не помышляешь, прохожий, то ты не мудр, ибо, и не помышляя, тебе придется тут пройти (*франц.*)

** Говорят, оно полно глубокомыслия (*франц.*)

занимали своею любезностию трех Дам; по углам комнаты было еще рассеяно несколько *групп*, так что общество состояло из 25 или 30 человек. В 9 часов хозяйка вызвала аббата Д* на сцену. Все окружили софу. Чтец вынул из кармана розовую тетрадку, сказал что-то забавное и начал.... Жаль, что я не могу от слова до слова пересказать вам мыслей Автора! Однакожь можете судить о достоинствах [1] и тоне сочинения по следующим отрывкам, которые остались у меня в памяти:

«Любовь есть *кризис*, решительная минута жизни, с трепетом ожидаемая сердцем. Занавес поднимается... *Он! она!* восклицает сердце, и теряет личность бытия своего. Таинственный рок бросает жребий в урну: ты блажен! ты погиб!»

«Все можно описать в мире, все, кроме страстной, героической любви; она есть символ неба, которой на земле не изъясняется. Перед нею исчезает всякое величие. Цесарь малодушен, Регул слаб... в сравнении с истинным любовником, который выше действия стихий, вне сферы мирских желаний, где обыкновенныя души, как пылинки в вихре, носятся и вертятся. Дерзко назвать его полубогом — мы не язычники — но он не человек. Зороастр изображает Бога в пламени; [2] пламя добродетельной, героической любви достойнее всего окружать трон Всевышнего.»

«Монтань говорит: *друг мне мил для того, что он он; я мил ему для того, что я я.* Монтань говорит о любовниках — или слова его не имеют смысла.»

«Прелести никогда не бывают основанием страсти; она рождается внезапно от соосязания двух нежных душ в одном взоре, в одном слове; она есть не что иное, как симпатия, соединения двух половин, которыя в разлуке томились.»

«Только один раз сгарают вещи; только один раз любит сердце.»

«В жизни чувствительных бывают три эпохи: *ожидание, забвение, воспоминание.* Забвением называю *восторг любви,* который не может быть продолжителен, для того, что мы не боги, и земля не Олимп. Любовь оставляет по себе милое *воспоминание*, которое уже не есть *любовь*; но мы, кажется, все еще любим человека, для того, что некогда обожали его. Нам приятно то место, где что нибудь приятное с нами случилось.»

«Человек, любящий славу, знатность, богатство, подобен тому, кто за неимением Новой Элоизы читает роман девицы Скюдери; за неимением, говорю, или по дурному вкусу. На диком Паросском мраморе наростает иногда довольно приятная зелень; но можно ли сравнить ее с видом того мрамора, который представляет Фидиасову Венеру? Вот его истинное *определение* (destination), подобно как определение сердца есть любовь.»

«Один великий музыкант сказал, что блаженство небесной жизни должно состоять в *гармонии*; нежныя души уверены, что оно будет состоять в любви.»

«Я не знаю, есть ли атеисты; но знаю, что любовники не могут быть атеистами. Взор с милого предмета невольно обращается на небо. Кто любил, тот понимает меня.»

Слушатели при всякой фразе говорили: *браво*! c'est beau, c'est ingénieux, sublime; * а я думал: *хорошо, изрядно, высокопарно, темно, и совсем не женской язык!* Глаза мои искали Автора. Черноволосая Дама, лет в 30, сидела всех далее от Аббата, не слушала, развертывала книги, ноты на клавесине: не трудно было угадать в ней сочинительницу. Хозяйка сказала: «я не знаю Автора, а хотела бы поцеловать его» — сказала, и с великою нежностию обняла Маркизу Л*. Все захлопали. Через минуту поставили два стола; три Дамы и пять Кавалеров сели играть в карты; а другие, сидя и стоя, слушали Аббата Д*, который с великою строгостию судил главных Французских Авторов. «Вольтер (говорил он) писал единственно для своего времени, искуснее всех других пользовался настоящим расположением умов; но достоинство его с переменою обстоятельств необходимо должно теряться. Будучи жаден к минутной славе, он боялся отделиться разумом от современников, боялся далеко опередить их, чтобы не сделаться темным, невразумительным; хотел за каждую строку *немедленного* награждения, и для того искал единственно лучшего выражения, лучшего оборота для идей обыкновенных; брал из чужих магазинов, работал *начисто*, не занимаясь изобретением, не думая о собрании новых материалов. Он был совершенный Эпикуреец в уме, не мыслил о потомстве, не верил бессмертию славы; не сажал кедров, а сеял одни цветы, из которых уже многие завяли в глазах наших — а мы еще современники Вольтеровы! Что же будет через сто лет? Насмешки его над разными суеверными мнениями, над разными философскими системами, могут ли производить сильное действие тогда, когда мнения и системы переменятся?» — А его трагедии? сказал я. — «Оне в *совершенстве* уступают Расиновым, [3] отвечал Аббат: [3] в слоге их нет чистоты, плавности, сладкого красноречия творца Федры и Андромахи; но много смелых идей, которыя теперь уже не кажутся смелыми; много так называемой Философии, которая не принадлежит к существу Драмы, а нравится партеру; много вкуса, а мало истинной чувствительности.» — Как! в Заире мало чувствительности? — «Да, я берусь доказать, что в Заире нет ни одной нежной мысли, которой бы не нашлось в самом обыкновенном романе. Достоинство Вольтерово состоит в одном выражении; но никогда не найдете в нем жарких излияний чувства, сильных стремлений сердца, de grands, de beaux élans de sensibilité, как на пример в Федре.» — И так Расин великой Трагик по вашему мнению? — «Великий Писатель, Стихотворец, а не Трагик. Нежная душа его никогда не могла принять в себя трагического ужаса. Он писал драматические Элегии, а не Трагедии; но в них много чувства, слог несравненный, красноречие живое, от полноты сердца; его можно назвать *совершенным*, и *до конца вселенной* самою лучшею похвалою Французских стихов будет: *они похожи на Расиновы*! Но имея дар *цветить* нежное чувство, совсем не имел он таланта изображать *ужасное* или *героическое*. Расин не представил на сцене ни одного сильного характера; в трагедиях его слышим великия имена, а не видим ни одного великого человека, как на пример в Корнеле.» — И так

* Это прекрасно, это остроумно, возвышенно (*франц.*)

вы отдаете венец Корнелю? — «Он достоин был родиться Римлянином, изображал великое, как *свое собственное*; Герои его действительно Герои; но сильный слог его часто слабеет, унижается, оскорбляет вкус; а нежности Корнелевы почти всегда несносны.» — Чтожь вы скажете о Кребильйоне? — «То, что он ужаснее всех наших Трагиков. Как Вольтер нравится, Расин пленяет, Корнель возвеличивает душу: так Кребильйон пугает воображение; но варварский слог его не достоин Мельпомены и нашего времени. Корнель не имел для себя образцев в слоге, но часто служит сам образцем: [4] Кребильйон же имел дерзость после Расина писать грубыми, дикими стихами, и доказал, что у него не было ни слуха, ни чувства для красот Стихотворства. Иногда проскакивают в его трагедиях хорошие стихи, но как будто бы не нарочно, без его ведома и согласия.»

Какой страшный Аристарх! думал я: хорошо, что у нас в России нет таких грозных Критиков.

Мы сели ужинать в 11 часов. Все говорили, но в памяти у меня ничего не осталось. Французские разговоры можно назвать беглым огнем: так быстро летят слова одно за другим, и внимание едва успевает следовать за ними.

‹116›

Париж, Июня. . . .

Я получил от Госпожи Н* следующую записку: «Сестра моя, Графиня Д*, которую вы у меня видели, желает иметь подробные сведения о вашем отечестве. Нынешния обстоятельства Франции таковы, что всякой из нас должен готовить себе убежище где нибудь в другой земле. Прошу отвечать на прилагаемые вопросы: чем меня обяжете.» Я развернул большой лист, на котором под вопросами оставлено было место для ответов. Вот нечто для примера — рассмейтесь!

Вопрос. Можно ли человеку с нежным здоровьем сносить жестокость вашего климата?

Ответ. В России терпят от холода менее, нежели в Провансе. В теплых комнатах, в теплых шубах, мы смеемся над трескучим морозом. В Декабре, в Генваре, когда во Франции небо мрачное и дождь льется рекою, красавицы наши, при ярком свете солнца, катаются в санях по снежным бриллиянтам, и розы цветут на их лилейных щеках. Ни в какое время года Россиянки не бывают столь прелестны, как зимою; действие холода свежит их лица, и всякая, входя с надворья в комнату, кажется Флорою.

Вопрос. Какое время в году бывает у вас приятно?

Ответ. Все четыре; но нигде весна не имеет столько прелестей, как в России. Белая одежда зимы наконец утомляет зрение; [1]душа желает перемены, и[1] звонкой голос жаворонка раздается на высоте воздушной. Сердца трепещут от удовольствия. Солнце быстрым действием лучей своих растопляет снежные холмы; вода шумит с гор, и поселянин, как мореплаватель при конце Океана,[2] радостно восклицает: *земля!* Реки рвут на себе ледяныя оковы, пышно выливаются из берегов, и самой маленькой ручеек кажется величественным сыном моря. Бледные луга, упитанные благотворною влагою, пушатся свежею травкою и красятся лазоревыми цветами. Березовыя рощи зеленеют; за ними и дремучие леса, при громком гимне веселых птичек, одеваются листьями, и Зефир[3] всюду разносит благоухание ароматной черемухи. В ваших климатах весна наступает медленно, едва приметным образом: у нас мгновенно слетает с неба, и глаз не успевает следовать за ея быстрыми действиями. Ваша Природа кажется изнуренною, слабою: наша имеет всю пламенную живость юности; едва пробуждаясь от зимнего сна, является во всем блеске красоты своей; и что у вас зреет несколько недель, то у нас в несколько дней доходит до возможного растительного совершенства. Луга ваши желтеют в средине лета: у нас зелены до самой зимы. В ясные осенние дни мы наслаждаемся Природою как другом, с которым нам должно расстаться на долгое время — и тем живее бывает наше удовольствие. Наступает зима — и сельской житель спешит в город пользоваться обществом.

Вопрос. Какия приятности имеет ваша общественная жизнь?

Ответ. Все те, которыми вы наслаждаетесь: спектакли, балы, ужины, карты и любезность вашего пола.

Вопрос. Любят ли иностранцев в России? хорошо ли их принимают?

Ответ: Гостеприимство есть добродетель Руских. Мы же благодарны иностранцам за просвещение, за множество умных идей и приятных чувств, которые были неизвестны[4] предкам нашим до связи с другими Европейскими землями. Осыпая гостей ласками, мы любим им доказывать, что ученики едва ли уступают учителям в искусстве жить и с людьми обходиться.

Вопрос. Уважаете ли вы женщин?

Ответ. У нас женщина на троне. Слава и любовь, лавр и роза, есть девиз наших рыцарей.

Угадайте, какой вопрос теперь следует?... *Много ли дичи в России?* «спрашивает муж мой (прибавляет Графиня), страстный охотник стрелять.»

Я отвечал так, что провинциальный Граф должен закричать: *ружье! лошадей! в Россию!*

Одним словом, естьли и муж и жена теперь не прискачут к вам в Москву, то не моя вина!

‹117›

Париж, Июня. . . .

Наконец я решился отказаться на несколько времени от Спектаклей, чтобы осмотреть любопытныя Парижския окрестности. С чего начать? Без всякого сомнения с Версалии.

В 9 часов утра наш Посольской священник, Г. К*, Руской Артист с великим талантом, и я пришли на берег Сены; сели на гальйот и поплыли мимо Елисейских полей, Булонского леса, многих прелестных загородных домов и садов. На левой стороне возвышается замок Мёдон с великолепною своею террасою (длиною во 150 сажен) и с густым парком. Он принадлежал откупщику Сервиеню, Министру Лувуа, Лудовику XIV и Дофину, который умер там оспою в 1711 году. В местечке Мёдон жил некогда Франциск Рабле, Автор романов Гаргантюа и Пантагрюэль, наполненных остроумными замыслами, гадкими описаниями, темными аллегориями и нелепостию. Шестой-надесять век удивлялся его знаниям, уму, шутовству.[1] Быв несколько времени худым монахом, Рабле сделался хорошим Доктором, выпросил у Папы *отпускную*, и прославил[2] Монпельерской Университет своими лекциями;* ездил в Рим пошутить над туфлем своего благодетеля, взял на себя должность приходского священника в Мёдоне, усердно врачевал тело и душу своей паствы, и писал романы, в которых простосердечный Лафонтен находил более ума, нежели в философских трактатах, и которые без всякого сомнения подали Стерну мысль сочинить *Тристрама Шанди*. Рабле жил и умер шутя. За несколько минут до смерти своей сказал он: «занавес опускается, комедия вся. Je vais chercher un grand peutêtre.» ** Духовная его состояла в следующих словах: *ничего не имею*; *много должен*; *остальное бедным*. — В деревеньке Севе, известной в целом свете по своей фарфоровой фабрике (с которою ни Саксонская, ни Берлинская не может сравняться в чистоте и в живописи), мы позавтракали в кофейном доме и отправились в Версалию пешком; видели на обеих сторонах дороги прекрасные домы, сады, трактиры, и нечувствительно вошли в Версальския алеи, avenues de Versailles, где открылся нам дворец. . .

Лудовик XIV хотел сделать чудо; велел — и среди пустыни, дикой, песчаной, явились Темпейския долины и дворец, которому в Европе нет подобного великолепием.

Три двойныя алеи, одна из Парижа, другая из Со, третья из Сен-Клу, сходятся на площади, называемой Place d'armes,[3] *** где возвышаются два огромныя здания. Радуйтесь, естьли вы любите лошадей: это конюшни. Впереди прекрасная железная решетка; а по концам две группы,

---

* Так, что по сие время, в память ему, на всякого новопринимаемого Доктора в Монтпелье надевают Раблееву мантию, которая не редко напоминает басню *осла во львиной коже*.

** Я отправляюсь на поиски великого «быть может» (*франц.*)

*** Оружейная площадь (*франц.*)

которыя изображают победы Франции над Гишпаниею и Немецкою Империею. Новая пристройка с левой стороны, для Королевской гвардии, имеет вид палаток: хорошо само по себе, но разрушает общую симметрию. За площадью передний двор (avant-cour) или двор Министров; у ворот стоят две группы, представляющия Изобилие и Мир, два главные предмета дел Министерских. Прежде всего пошли мы в придворную церковь, о которой Вольтер упоминает в описании Храма Вкуса:

Il n'a rien des défauts pompeux
De la chapelle de Versaille,
Ce colifichet fastueux
Qui du peuple éblouit les yeux,
Et dont le connoisseur se raille.*

Однакожь многие знатоки не так думают, и вопреки Фернейскому насмешнику находят здание достойным похвалы, как в гармонии целого, так и в частных украшениях. В церкви служили обедню, но никого не было, кроме монахов. Резная работа и живопись прекрасны; везде богатство, рассыпанное с блеском и со вкусом. Между многими хорошими картинами заметил я Жувенетову, на которой изображен Св. Лудовик, Герой и Християнин; победив неверных в Египте, он печется о раненых и служит им. На одном из олтарей показывают, как великую драгоценность, Распятие из слоновой кости, вышиною в 4 фута; дар Августа II, Короля Польского. Из церкви прошли мы в *Геркулесову залу*, которая огромна своим пространством и великолепна украшением.[4] Тут возвышаются 20 мраморных Коринфических пиластров, с жарко-вызолоченными капителями и базами; но главная красота залы есть плафон, расписанный на полотне масляными красками живописцем Лемуаном, и представляющий Геркулесово *боготворение* (апофеозу); самая величайшая картина в свете! Расположение, фигуры, выразительность, служат доказательством Лемуанова Гения. Самые лучшие живописцы ему удивляются. Тут же стоят две славныя Веронезовы картины: Спаситель и Ревекка. Первая была собственностью Сервитских монахов в Венеции, которые ни за что не хотели продать ее Лудовику XIV; но Сенат, узнав желание Короля, отнял у монахов картину и подарил ему. Даже и рамы достойны того, чтобы посмотреть на них несколько минут: прекрасная резьба! — Залы *Изобилия*, *Венерина*, *Дианина*, *Марсова*, также всего более достойны внимания по своим живописным плафонам. Во второй заметил я древнюю статую земледельца и Диктатора Цинцинната; в третьей бюст Лудовика XIV; а в четвертой удивлялись мы Лебрюневой *Дариевой фамилии*, признанной всеми знатоками за лучшую из картин его. Он писал ее в Фонтенебло;[5] Король всякой день ходил смотреть его работу и восхищался ею — что имело влияние на кисть художника. Рассказывают, что один Италиянский Прелат не мог от зависти видеть этой картины, и всегда, будучи во дворце, проходил мимо ее зажмурив глаза. Подле Лебрюневой стоит Веронезова картина *Странники*, на которой живописец

* В нем нет пышных недостатков версальской часовни, этой роскошной безделушки, которая ослепляет глаза черни и над которой смеется знаток.

изобразил все свое семейство. В *Меркуриевой зале* были прежде две Рафаэлевы картины: Архангел Михаил и *Святая фамилия*; но их, к нашему сожалению, за чем-то сняли. Тут с любопытством рассматривали мы часы, сделанные в начале нынешнего века Мораном, который, подобно нашему Кулыбину, никогда не бывал часовщиком. Всякой час два петуха поют махая крыльями; в ту же секунду выходят из маленькой дверцы две бронзовыя фигуры с тимпаном, по которому два Амура бьют всякую четверть стальным молоточком; в середине декорации является статуя Лудовика XIV, а сверху на облаке спускается богиня побед и держит корону над его головою; внутри играет музыка — и наконец вдруг все исчезает. — В Тронной, под великолепным балдахином, стоит престол. «Вот первый трон в свете!» сказал человек, который водил нас по дворцу: «*был*, разумею; но естьли Бог не оставил Французов, то солнце Лудовика XIV опять воссияет здесь во всей лучезарности!» — Через *залу войны*, *Salòn de la Guerre*, где кисть Лебрюнева везде изобразила победы Франции, вошли мы в галлерею, которая недаром названа большою: она длиной 37 сажен, вышиною 8. Против окон сделаны зеркальные аркады, в которых самым прелестным образом изображается сад, зелень, игра воды. На плафоне представлена Лебрюнем, в 27 аллегорических картинах, история Лудовика в первыя семь лет его царствования. Четыре мраморныя колонны с осмью пиластрами окружают вход с обеих сторон галлереи; между пиластрами, на мраморных подножиях, стоят древния статуи: Бахус, Венера (найденная в городе Арле), Весталка и Муза Урания; а в середине, в четырех нишах, Германик, изваянный славным Афинским художником Алькаменом; две Венеры и Диана. — В *зале мира* живопись представляет Францию, сидящую на лазоревом[6] шаре; Слава венчает ее; Амуры и Мир соединяют голубей. На другой картине Лудовик подает масличную ветвь Европе. — Из *мирной залы* вход в Королевины комнаты.... Я вспомнил 4 Октября, ту ужасную ночь, в которую прекрасная Мария, слыша у дверей своих грозный крик Парижских варваров и стук оружия, спешила неодетая, с распущенными волосами, укрыться в объятиях супруга от злобы тигров... Не скоро мог я обратить глаза на украшение и живопись комнат. Тут все картины представляют славу и торжество женщин. Клеопатра подле Антония, готового броситься к ногам ея; Царица Родопа смотрит на пирамиду, сооруженную красоте ея; бессмертная Сафо играет на лире; Аспазия говорит с Афинскими мудрецами; Пенелопа распускает ковер; невинныя девы приносят Юпитеру жертвы на горе Иде — и славнейшия Царицы древности. — В Королевских внутренних комнатах заметили мы Рафаэлева Иоанна, несколько Веронезовых, Бассановых картин, портреты Катерины Валуа, Марии Медицис, Франциска I (Рубенсовой, Вандиковой, Тициановой кисти), два древние бюста, Сципиона Африканского (бронзовой с серебряными глазами) и Александра Великого, порфировый; большие астрономические часы, которые бьют секунды, показывают месяц, число, день недели, действие холода и тепла на металлы, и круговращение планет с такою верностию, что во сто лет не могут сделать ни малейшей розницы с астрономическими таблицами. Лудовик XIV спал на высокой постеле,

с которой он видел, сквозь прямую аллею, весь Париж перед собою. В маленьких комнатах, подле Королевского кабинета, хранятся драгоценные гравированные, древние и новые камни; между ими всего любопытнее так называемая *печать Микеля Анджела*, на которой изображено собирание винограда. — Осмотрев театр, достойный называться Королевским, пошли мы искать обеда.

Версалия без Двора как тело без души: осиротела, уныла. Где прежде всякую минуту стучали кареты, теснился народ, там ныне едва встретится человек: мертвая тишина и скука! Всякой житель казался мне печальным. В самом лучшем трактире заставили нас два часа ждать обеда. Хозяйка в оправдание свое говорила: «Что делать? Худыя времена, государи мои! нещастныя времена! Все терпят: и вы потерпите!»

Утолив с нуждою голод свой, торопились мы видеть сады и парк, которые в окружности составляют верст пятьдесят.

Ничто не может сравняться с великолепным видом дворца из саду; фасада его, вместе с флигелями, простирается на 300 сажен. Тут рассеяны все красоты, все богатства архитектуры и ваяния. Никто из Царей земных, ни самый роскошный Соломон не имел такого жилища. Надобно видеть: описать не возможно. Исчислять[7] колонны, статуи, вазы, трофеи, не есть описывать. Огромность, совершенная гармония частей, действие целого: вот чего и самому живописцу не льзя изобразить кистию!

Пойдем в сады, творение Ленотра, которого смелый Гений везде сажал на трон гордое Искусство, а смиренную Натуру, как бедную невольницу, повергал к ногам его.

К великолепию Цари осуждены;
Мы требуем от них огромности блестящей,
Во изумление наш разум приводящей;
Как солнцем ею быть хотим ослеплены.

И так не ищите Природы в садах Версальских; но здесь на всяком шагу Искусство пленяет взоры; здесь царство кристальных вод, богини Скульптуры и Флоры. Партеры, цветники, пруды, фонтаны, бассеины, лесочки, и между ими бесчисленное множество статуй, групп, ваз, одна другой лучше, не привлекают, а развлекают внимание, так что вы не знаете, на что смотреть. Вот точно действие, которое хотели произвести великий Царь и великий художник! Последний без сомнения не думал, чтобы любопытные зрители разбирали всякую красоту в особенности: сколько времени надобно для такого дела? Мало и года! Нет, он воображал, что зритель, окинув глазами часть несметных богатств, и воскликнув в первую минуту: *великолепно*! умолкнет от изумления, и не посмеет более хвалить. Я то и сделал; в чувстве моего ничтожества передвигал ноги, переносил взоры от предмета к предмету, находил все совершенным, и смиренно удивлялся. Лудовик XIV с Ленотром запечатали мне воображение, которое не может тут ничего придумать, ничего представить иначе. К славе художника вспомнил я Тассово описание Армидиных садов: как оно бедно в сравнении с Версальским! Там эстамп,

здесь картина. А сколько раз было сказано, что Художество не угоняется за Поэзиею? в изображении *сердца для сердца*, конечно; но во всем *картинном для глаз* Поэт ученик Артиста, и должен трепетать, когда художник берет в руки его сочинение.

В 1775 году Версальский сад претерпел страшное опустошение: безжалостная секира подрубила все густыя, высокия дерева, для того (говорят), что они начинали стареться, и походили не на лесочки, а на лес. Стихотворец в таких случаях не принимает никаких извинений, и Делиль в гармонических стихах изъявляет свое негодование:

O Versailles, ô regrets, ô bosquets ravissans,
Chef-d'oeuvre d'un grand Roi, de Lenotre et du tems!
La hache est à vos pieds, et votre heure est venue! *

«Исчезли, продолжает он, исчезли ветвистые старцы, которых величественныя главы осеняли священную главу Царя великого! Увы! где прекрасныя рощи, в которых веселились Грации?... Амур! Амур! где прелестныя сени, в которых нежно томилась гордая Монтеспан, и где милая, чувствительная Лавальер не нарочно открыла тайну своего сердца щастливому любовнику? Все исчезло, и пернатые Орфеи, устрашенные стуком разрушения, с горестию летят из мирной обители, где столько лет в *присутствии Царей* пели они любовь свою! Боги, которыми ваятельное художество населило сии тенистые храмы; боги, вдруг лишенные зеленого покрова, тоскуют, и самая Венера в первый раз устыдилась наготы своей!... Растите, осеняйтесь, юныя дерева; возвратите нам птичек!»...

Юныя дерева послушались стихотворца, разрослись, осенились — Венера не стыдится уже наготы своей — птички возвратились из горестной ссылки, и снова поют любовь; но ах! не *в присутствии Царей*! Никто не слушает теперь их песен, кроме некоторых любопытных иностранцев, приходящих иногда видеть сад Версальский!

Одно название статуй, которыми украшаются партеры, фонтаны, лесочки, алеи, заняло бы несколько страниц; тут собраны лучшия произведения тридцати лучших ваятелей. Упомяну только о древнем, колоссальном Юпитере славного Греческого художника Мирона, сделанном из Паросского мрамора. Марк-Антоний нашел его в Самосе; Август поставил в Капитолии; Германик, Траян, Марк-Аврелий, приносили ему жертвы. Маргарита, Герцогиня Комаринская, подарила его Министру Карла V, Гранвелю, который украсил им Безансонской сад свой. Наконец, по воле Лудовика XIV, Самосской колоссальной Юпитер шагнул в Версалию. Я поклонился в нем не богу, а глубокой древности, и смотрел на него с особенным удовольствием. Время и странствия лишили его ног; художник Друильи приделал их; но мне казалось, что древний Зевс не твердо стоит на новых ногах.

В большом зверинце, в красивых павильйонах, за железными решетками видел я множество зверей: львов, тигров, барсов и (что всего лю-

* О Версаль, о сожаления, о восхитительные рощи, шедевр великого короля, Ленотра и времени! Топор у ваших корней, и час ваш настал! (*франц.*)

бопытнее) славного риноцероса, или носорога. Он менее слона, но гораздо более всех других животных. Страшно смотреть на него в клетке: каково же встретиться с ним в пустыне Африканской? Впрочем звери имеют причину не любить нас. Чего мы с ними не делаем? Маленькая двуногая тварь садится верхом на огромного слона, стучит ему молотком в голову, и правит им как овечкою; величественного льва как суслика запирает в клетку; оковав яростного тигра, дразнит его палкою и смеется над его злобою; берет за рог носорога, и ведет из Ефиопии в Версалию. Многих животных называют хитрыми; но что их хитрость против нашей?

Лудовик XIV хотя чрезмерно любил пышность, однакожь иногда скучал ею, и в таком случае из огромного дворца [8] переселялся на несколько дней в Трианон, небольшой увеселительной дом, построенный в Версальском парке, в один этаж, украшенный живописью, убранный со вкусом, и довольно просто. Перед домом цветники, бассеины, мраморныя группы.

Но мы спешили видеть *маленькой* Трианон, о котором говорит Делиль:

> Semblable à son auguste et jeune Déité,
> Trianon joint la grace avec la majesté.*

Приятные лесочки с Английскими цветниками окружают уединенный домик, Любезностию посвященный Любезности и тихим удовольствиям избранного общества. Тут не Королева, а только прекрасная Мария, как милая хозяйка, угощала друзей своих; тут, в низенькой галлерее, закрываемой от глаз густою зеленью, бывали самые приятнейшие ужины, концерты, пляски Граций. Софы и кресла обиты собственною работою Марии Антуанеты; розы, ею вышитыя, казались мне прелестнее всех роз Натуры.[8] Сад Трианона есть совершенство садов Английских; нигде нет холодной симметрии; везде приятный беспорядок, простота и красоты сельския. Везде свободно играют воды, и цветущие берега их ждут, кажется, пастушки. Прелестный островок является взору: там, в дикой густоте леска, возвышается храм Любви; там искусный резец Бушардонов изобразил Амура во всей его любезности. Нежный бог ласковым взором своим приветствует входящих; в чертах лица его не видно опасной хитрости, коварного лукавства. Художник представил любовь невинную и щастливую. — Иду далее; вижу маленькие холмики, обработанныя поля, луга, стада, хиженки, дикой грот. После великолепных, утомительных предметов Искусства нахожу Природу; снова нахожу самого себя, свое сердце и воображение; дышу легко, свободно; наслаждаюсь тихим вечером; радуюсь заходящим солнцем... Мне хотелось бы остановить, удержать его на лазурном своде, чтобы долее быть в прелестном Т р и а н о н е. Ночь наступает... Простите, места любезныя! — Возвращаюсь в Париж, бросаюсь на постелю и говорю самому себе: «я не видал ничего великолепнее Версальского дворца с парком, и милее Трианона с его сельскими красотами!»

---

* Подобный своему царственному и юному божеству, Трианон соединяет прелесть с величием (*франц.*)

‹118›

Париж, Июня....

Я был нынешний день у Вальяна, славного Африканского путешественника; не застал хозяина дома, однакожь видел его кабинет, и познакомился с хозяйкою, приятною женщиною, и до крайности говорливою. Вальян хотел с Мыса Доброй Надежды пробраться через пустыни Африканския до самого Египта: глубокия реки, неизмеримыя песчаныя степи, где вся Природа мертва и бездушна, заставили его возвратиться назад; но он во внутренности Африки был далее других путешественников. Весь Париж читает теперь описание его романического странствия, в котором Автор изображает себя маленьким Тезеем, сражается с чудовищами, и стреляет слонов как зайцев. Парижския Дамы говорят: il est vaillant, ce Monsieur de Vaillant!* Желая быть вторым Руссо, он ужасным образом бранит просвещение, хвалит диких, находит в Кафрии милую для своего сердца, привлекательную [1] Нерину; гоняется за нею как Аполлон за Дафною, прячет ея передник, когда она в реке купается; не может нарадоваться невинностию смуглой красавицы; клянется самому себе не употреблять ее во зло, и хранит клятву. Вальян вывез из Африки несколько звериных кож, пернатых чучел, Готтентотских орудий и материю для двух больших томов. Слог его чист, выразителен, иногда живописен; и Госпожа Вальян с гордым видом объявила мне, что в последния 15 лет Французская Литтература [2] произвела только две книги для бессмертия: Анахарсиса и путешествие мужа ея. Оно прекрасно, сказал я: но читая его, удивляюсь, как можно оставить милое семейство, отечество, все приятныя удобности Европейской жизни, и скитаться за океаном по неизвестным степям, чтобы вернее других описать какую нибудь птичку.[3] Теперь, видя *вас*, еще более удивляюсь. — «Видя меня?» — Иметь такую любезную супругу, и добровольно с нею расстаться! — «Государь мой! любопытство имеет своих мучеников. Мы женщины созданы для неподвижности; а вы все Калмыки — любите скитаться, искать Бог знает чего, и не думать о нашем беспокойстве.» — Я старался уверить Госпожу Вальян, что у нас в России мужья гораздо нежнее, не любят расставаться с женами, и твердят пословицу: *Дон, Дон, а лучше всего дом!* — Она дозволила мне притти к ней в другой раз, чтобы познакомиться с ея мужем, который опять собирается ехать в Африку!

---

* Он отважен, этот господин Вайан (*франц.*). Игра слов: Vaillant по-французски означает «отважный».

‹119›

Деревня Отель, Июня. . . .

Я пришел сюда для того, чтобы видеть дом, в котором Буало писал сатиры свои, веселился с друзьями, и где Мольер спас жизнь всех лучших Французских Писателей тогдашнего времени. Помните ли этот забавный анекдот? Хозяин, Расин, Лафонтен, Шапель, Мольер, ужинали, пили, смеялись, и наконец вздумали *Гераклитствовать*, оплакивать житейския горести, проклинать судьбу, находя, по словам одного Греческого Софиста, что первое щастие есть... не родиться, а второе умереть как можно скорее. Буало, не теряя времени, предложил друзьям своим броситься в реку. Сена была не далеко, и дети Аполлоновы, разгоряченные вином, вскочили, хотели бежать, лететь в объятия смерти. Один благоразумный Мольер не встал с места, и сказал им: «друзья! намерение ваше похвально; но теперь ночь: никто не увидит героического конца Поэтов. Дождемся Феба, отца нашего; и тогда весь Париж будет свидетелем славной смерти детей его!» Такая щастливая мысль всем полюбилась, и Шапель, наливая рюмку, говорил: «правда, правда; утопимся завтра, а теперь допьем остальное вино!» — По смерти стихотворца Буало жил в его доме придворный Медик Жандрон. Вольтер, будучи у него в гостях, написал карандашем на стене:

C'est ici le vrai Parnasse
Des vrais enfans d'Apollon:
Sous le nom de Boileau, ces lieux virent Horace,
Esculape y paroit sous celui de Gendron.*

Теперь этот дом принадлежит господину... забыл имя.

Деревенька Отёль славилась некогда хорошим вином своим; но слава ея прошла: нынешнее Отёльское вино никуда не годится. Я не мог выпить рюмки. — Смеркается; спешу в город.

‹120›

Сен-Дени.

Вселенныя любовь иль страх,
Цари! что вы по смерти?... прах!

То есть, я был в Аббатстве Св. Дионисия, на кладбище Французских Царей, которые все, в глубокой тишине, лежат друг подле друга: колено

* Здесь истинный Парнас для истинных детей Аполлона: под именем Буало здесь видели Горация, Эскулап появлялся здесь под именем Жандрона (*франц.*)

Меровеево, Карлово, Капетово, Валуа и Бурбонское. Я напрасно искал гробницы Ярославовой дочери, прекрасной Анны, супруги Генриха I, которая по смерти его вышла за Графа Крепи, и скончала дни свои в Жанлизском монастыре, ею основанном; другие же Историки думают, что она возвратилась в Россию. Как бы то ни было, но ея кенотафа нет подле монумента Генриха I. Вообразите чувство юной Россиянки, которая, оставляя свою милую отчизну и семейство, едет в чужую, дальнюю землю, как в темный лес, не зная там никого, не разумея языка — чтоб быть супругою неизвестного ей человека!... Следственно и тогда приносились горестныя жертвы Политике! Анна должна была переменить закон, во время самых жарких раздоров Восточной и Западной церкви: что очень удивительно. Генрих I заслуживал быть ея супругом; он славился мужеством и другими Царскими достоинствами. Любовь заключила вторый брачный союз ея; но Анна не долго наслаждалась щастием любви: Граф Крепи был убит на поединке одним Британским рыцарем.

Я поклонился гробу Лудовика XII и Генриха IV....

Великий человек достоин монумента,
Великий Государь достоин олтарей.

Гроб Франциска I, прозванного *Отцем Искусств и Наук*, великолепно украшен благодарным Художеством; но монумент первого из новых военачальников, Александра храбростию, Фабия благоразумием — одним словом, Тюрена, всех других достойнее примечания. Герой кончается в объятиях Бессмертия, которое венчает его лаврами. Храбрость и Мудрость стоят подле его гроба: одна в ужасе, другая в горестном изумлении. Черная мраморная доска ждет эпитафии: для чего не вырежут на ней следующих стихов, не знаю кем сочиненных:

Turenne a son tombeau parmi ceux de nos Rois;
Il obtint cet honneur par ses fameux exploits;
Louis voulut ainsi couronner sa vaillance,
Afin d'apprendre aux siècles d'avenir,
Qu'il ne met point de difference
Entre porter le sceptre et le bien soutenir.

Честь Франции, Тюрен,
С Царями погребен.
Сим Лудовик его и в гробе награждает,
Желая свету доказать,
Что он единым почитает,
На троне быть, или трон славно защищать.

Я не буду говорить вам о странных барельефах Дагобертовой гробницы, на которых изображены дьяволы в драке, Св. Дионисий в лодке и Ангелы с подсвечниками: мысль и работа достойны варварских веков. Король Дагобер основал Дионисиево Аббатство. Не буду описывать вам и тамошнего сокровища, золотых распятий, святых гвоздей, рук, ног, волосов, лоскутьев, подаренных Аббатству разными Королями и благочестивыми людьми. Замечу только венец Карла Великого, скипетр и дер-

жаву Генриха IV, мечь Лудовика Святого (которым он в Африке и Азии рубил неверных), портрет так называемой *Орлеанской девственницы*, славной Героини Вольтеровой Поэмы, и большую древнюю чашу, сделанную из восточного агата для Египетского Царя Птоломея Филадельфа, с изображением Вакхова торжества.

Св. Дионисий, Патрон Франции, проповедывал в Галлии Християнство, и был казнен злыми язычниками на Монмарте. Католическия Легенды говорят, что он после казни стал на ноги, взял в руки отрубленную голову свою и шел с нею версты четыре. Одна Парижская Дама, рассуждая о сем чуде, сказала: cela n'est pas surprenant; il n'y a que le premier pas qui coute.*

‹121›

Париж, Июня. . . .

Сколько раз был я в Булонском лесу, не видав славной *Безделки*![1] Сегодни видев ее, хвалил вкус хозяина, жалел о нынешней судьбе его. Вы догадываетесь, что я говорю о Булонском увеселительном доме Графа д'Артуа, называемом bagatelle,[2]** и вспомните, что сказал об нем Делиль:

Et toi, d'un Prince aimable ô l'asile fidelle,
Dont le nom trop modeste est indigne de toi,
Lieu charmant! etc.***

В конце леса, почти на самом берегу Сены, возвышается прекрасный павильйон, с золотою надписью на дверях: parva sed apta; *мал, но покоен.* У крыльца стоит мраморная Нимфа, и держит на голове корзину с цветами: в эту корзину ставится ночью хрустальный фонарь для освещения крыльца. Первая комната столовая, где из двух дельфинов бьет вода и льется в обширный бассеин, окруженный зеленью; зеркала повторяют действие фонтана. Оттуда вход в большую ротонду, украшенную стеклами, барельефами, арабесками и разными аллегорическими фигурами. К зале примыкают два кабинета: баня и будуар, где все нежно и сладострастно. На картинах улыбается Любовь, а в алькове кроются Восторги... не смею взглянуть на постелю. В верхнем этаже спальня бога Марса: везде пики, каски, трофеи, знаки сражений и побед. Но Марс дружен с Кипридою: взгляните на право... тут маленькой тайный кабинет, где представляются глазам знаки другого роду сражений и побед: Стыдливость умирает, Любовь торжествует. Цвет дивана, кресел и дру-

---

* в этом нет ничего удивительного; стоит лишь сделать первый шаг (*франц.*)
** безделушка (*франц.*)
*** И ты, о надежное убежище любезного государя, твое слишком скромное имя недостойно тебя, Очаровательное место! и т. д. (*франц.*)

гих приборов, есть самый нежный телесный; одни Амуры умеют так красить. Подойдите к окну: вид прелестный! Течение Сены, Лоншанский монастырь, мост Нёльи, образуют самой живописный ландшафт. — Наконец вы узнаете, что этот павильйон есть в самом деле волшебный, будучи построен, отделан, убран в пять недель; без волшебства таких чудес не делается.

От павильйона идут две алеи, и примыкают к гранитному утесу, из которого вытекает ручей; за утесом приятный лесок, посвященный *стыдливой Венере*, à la Venus pudique; мраморный образ ея стоит на высоком подножии. Тут начинается сад Английской, картина сельской Природы, в иных местах дикой, угрюмой, в других обработанной и веселой. Прежде всего является глазам большой луг, окруженный лесом и маленькими холмиками; в середине светлый пруд, по которому ветер носит лодку. На левой стороне извивается тропинка, и приводит вас к *пустыне;* густыя дерева, перепутываясь своими ветвями, служат ей оградою. Видите маленькой домик, покрытый тростником; в нем две комнаты, обклеенныя мхом и листьями, кухня, несколько деревянных стульев, постеля. Тут в самом деле жил когда-то пустынник, в трудах и воздержании; любопытные приходили видеть уединенного мудреца, и слушать его наставления. Он с презрением говорил о свете, называл его забавы адскими игрищами, женскую красоту приманкою Сатаны, а любовь (боюсь сказать) самим дьяволом. Купидон, раздраженный таким дерзким *Эротохулением*, решился отмстить Анахорету, прострелил его насквозь своею кипарисною стрелою, и показал ему вдали сельскую красавицу, которая на берегу Сены рвала фиялки. Пустынник воспламенился; забыл [3] свое учение,[3] свою густую бороду, и сделался Селадоном. Далее молчит история; но изустное предание говорит, что он был нещастлив в любви, и хотя обрил себе бороду, хотя обрезал длинное свое платье, но красавице не мог понравиться; с отчаяния записался в солдаты, дрался с Англичанами, был ранен и принят в дом Инвалидов, где Граф д'Артуа давал ему сто ливров пенсии. — Близь домика часовня; поле, которое Анахорет обработывал, и ручей, которым он утолял свою жажду.[4]

Вздохнув о слабости человеческой, иду далее, и вдруг является предо мною высокой обелиск, исписанный таинственными гиероглифами. Жаль, что Египетские жрецы не оставили мне ключа своей науки; сказывают, что на сей пирамиде помещена вся их мудрость. За обелиском, по цветущим лугам, извиваются тропинки, текут ручейки, возвышаются красивые мостики и павильйоны. Один из них построен на скале; всход неудобен, труден... это павильйон *Философии,* которая не всякому дается. Вид его снаружи не привлекателен, странный, готический: в знак того, что Философия мила только Философам, а другим кажется едва ли не сумасбродством. Внутренность украшена медальйонами Греческих мудрецов; а разноцветныя окончины представляют вам всякую вещь разноцветною: эмблема несогласия умов и мнений человеческих. Внизу павильйона грот, куда лучи солнца проницают сквозь расселины камней, где собраны все произведения минерального царства. — С другой дикой скалы стремится большой каскад, шумит и вливается пеною в кристалл пруда, которого

тихия струи омывают в одном месте черную мраморную гробницу, обсаженную кипарисами: предмет трогательный для всякого, кто любил и терял милых!

Ктожь милых не терял? Оставь холодный свет,
И горесть разделяй с унылыми древами,
С кристаллом томных вод и с нежными цветами;
Чувствительный во всем себе друзей найдет.
Там урну хладную с любовью осеняют
    Тополь высокий, бледный тис,
    И ты, друг мертвых, кипарис!
    Печальныя сердца твою приятность знают,
    Любовник нежный мирты рвет,
    Для славы гордый лавр растет;
    Но ты милее тем, которые стенают
    Над прахом щастья и друзей!

Делиль.

Хотите ли, подобно Орфею, за любезною тениюю сойти в Плутоново царство? Есть ли у вас сладкогласная лира?... Земля разверзается перед вами: вы спускаетесь в глубины ея по каменным ступеням, и трепещете от ужаса; густой мрак окружает вас. Поздно думать о возвращении; надобно итти вперед, в ночной темноте, в неизвестности. Беспокойное воображение мечтает об адских чудовищах, слышит грозный шум Стикса и Коцита; скоро, скоро залает Цербер... Не бойтесь: быстрый лучь света издали озаряет ваши глаза — еще несколько шагов, и вы опять в подсолнечном мире, на берегу журчащей речки, среди прелестных ландшафтов. Здесь, любезные друзья, остановитесь со мною; сядьте на мягком дерне, и насладитесь приятным вечером. Не хочу более описывать; описание может наскучить... но никогда, никогда не скучилось бы вам гулять в Булонском саду Графа д'Артуа![5]

На возвратном пути в город случилась со мною странность. Смерклось;[6] я шел один как можно тише, как можно чаще останавливаясь и смотря на все стороны. Скачет карета. Я слышу голос: arrête! arrête! *стой!* Кучер удержал лошадей. Вышли два человека, прямо ко мне; оглядели меня с головы до ног, и спросили: кто я? — Иностранец. Что вам угодно? — «Не вы ли ходили в Булонском лесу с Господином Лаклосом?» — Я ходил в Булонском лесу один, и не знаю Господина Лаклоса. — «Тем лучше, или тем хуже. По крайней мере не объехала ли вас дама верхом, в зеленом Амазонском платье?» — Я не приметил. Но что значат ваши вопросы, государи мои? — «Так; нам нужно знать. Извините.» — Они приподняли шляпы, прыгнули в карету и поскакали.

‹122›

Париж, Июня....

Я был в Марли; видел чертог солнца* и 12 павильйонов, изображающих 12 знаков Зодиака; видел Олимп, долины Темпейския, сады Альциноевы;[1] одним словом, вторую Версалию, с некоторыми особливыми оттенками. Вместо подробного описания, вот вам худой перевод Делилевых прекрасных стихов, в которых он прославляет Марли:

Там все велико, все прелестно,
Искусство славно и чудесно;
Там истинный Армидин сад,
Или великого Героя
Достойный мирный вертоград,
Где он в объятиях покоя
Еще желает *побеждать*
Натуру смелыми трудами,
И каждый шаг свой означать
Могуществом и чудесами,
Едва понятными уму.
Стихии творческой Природы
Подвластны кажутся ему;
В его руках земля и воды.
Там храмы в рощах Ореяд
Под кровом зелени блистают;
Там бронзы дышут, говорят.
Там реки ток свой пресекают,
И вверх стремяся упадают
Жемчужным, радужным дождем,
Лучами солнца озлащенным;
Потом, извивистым путем.
Древами темно осененным,
Едва журчат среди лугов.
Там, в тихой мрачности лесов,
Везде встречаются Сильваны,
Подруги скромныя Дианы.
Там каждый мрамор — бог, лесочик всякой — храм **
Герой, известный всем странам,
На лаврах славы отдыхая,
И будто весь Олимп сзывая
К себе на велелепный пир,
С богами торжествует мир.

Надобно быть механиком, чтобы понять чудесность Марлийской водяной машины; ея горизонтальныя и вертикальныя движения, действие насосов, и проч. Дело состоит в том, что она берет воду из реки Сены, поднимает ее вверх, вливает в трубы, проведенныя в Марли и в Трианон. Изобретатель сей машины не знал грамоте.[2] — —

---

* Солнце, как известно, было девизом Лудовика XIV. Королевский павильйон, построенный среди двенадцати других, называется *солнечным*.

** Я удержал в этом славном стихе меру оригинала.

Как обогащены Искусством все места вокруг Парижа! Часто хожу на гору Валериянскую, и там, сидя нодле уединенной часовни, смотрю на великолепныя окрестности великолепного города.[3]

Я не забыл Эрмитажа, сельского дома Госпожи д'Епине, в котором жил Руссо и где сочинена Новая Элоиза; где Автор читал ее своей простодушной Терезе, которая, не умев счесть до ста, умела чувствовать красоты бессмертного Романа, и плакать. Дом маленькой, на пригорке; вокруг сельския равнины.

Был и в Монморанси, где написан Эмиль; был и в Пасси, где жил Франклин; был и в *Бельвю*, достойном своего имени;* и в Сен-Клу, где бьет славнейший искусственный каскад в Европе; был я и в разных других городках,[4] деревеньках, замках, по чему нибудь достойных любопытства.

‹123›

Париж, Июня....

Наемный слуга мой Бидер, который (за 24 су в день) всюду меня провожает, *зная* (по словам его) *Париж как свой чердак*, давно уже приступал ко мне, чтобы я шел смотреть *Царскую кладовую*, Garde-meuble du Roi. «Стыдно, государь мой, стыдно! Быть три месяца в Париже, и не видеть еще самой любопытнейшей вещи! Что вы здесь делаете? бегаете по улицам, по театрам, по лесам, вокруг города! Вот вам шляпа, трость; надобно непременно итти в кладовую!» — Я надел шляпу, взял трость, и пошел на место Лудовика XV в Garde-meuble, большое здание с колоннами.[1]

В самом деле я видел там множество редких вещей, серебра и золота, драгоценных камней, ваз и всякого роду оружия. Любопытнее всего: 1) круглой серебряный щит, около трех футов в диаметре, найденный в Роне близ Лиона, представляющий (en bas-relief) ** сражение конницы, и подаренный, как думают, Гишпанским народом Сципиону Африканскому; 2) стальныя латы Франциска I, с резною работою по рисунку Юлия Романа, такия легкия, что их можно поднять одною рукою (он в них сражался при Павии, где Французы *все потеряли, кроме чести*: tout est perdu hormis l'honneur, писал Франциск к матери, будучи в плену у неприятеля со всеми своими Генералами); 3) латы Генриха II (в которых он был смертельно ранен на турнире Графом Монгомерри) и Лудовика XIV, подарок Венецианской Республики; 4) два меча Генриха IV; 5) две пушки с серебряными лафетами, присланныя Сиамским

---

* *Бельвю* значит прекрасный вид.

** в виде барельефа (*франц.*)

Царем Лудовику XIV, в доказательство, что у него есть артиллерия; *
6) длинное вызолоченное копье Папы Павла V, которым он хотел заколоть Венециянскую Республику; 7) золотая корзинка, осыпанная бриллиянтами и рубинами; 8) [2] *золотая церковная утварь* [2] Кардинала Ришельё, также осыпанная драгоценными каменьями; 9) богатое седло, подаренное Султаном Лудовику XV — и наконец шелковыя картинныя обои, за которыя Франциск I заплатил около 100 000 талеров Фламандским художникам, и на которых вытканы сражения Сципионовы, *деяния Апостольския* и басни Псиши, по рисунку Юлия Романа и Рафаэля. Тут же хранятся и лучшия произведения Гобелинской фабрики, заведенной в Париже Кольбертом: работа удивительная правильностию рисунка, блеском красок, нежными оттенками шелков, так, что тканье не уступает в ней живописи. — Слуга мой Бидер беспрестанно говорил: eh bien, Monsieur, eh bien, qu'en dites-vous? **

Теперь скажу вам несколько слов о Бидере. Он родом Немец, но забыл свой природный язык; живет со мною в одной *Отели*,[3] только на чердаке; беден как Ир, а честен как Сократ; покупает мне все дешево, и бранит меня, естьли где нибудь заплачу лишнее. Однажды, всходя на лестницу, я выронил завернутые в бумажке пять луидоров: он шел за мною, поднял их и принес ко мне. Ты самый честный слуга, Бидер! говорю ему. Il faut bien que je le sois, Monsieur, pour ne pas dementir mon nom,*** отвечает мой Немец. Не помню, за что я сказал ему грубость. Бидер отступил два шага назад... Monsieur, de choses pareilles ne se disent point en bon françois. Je suis trop sensible pour le souffrir.**** Я рассмеялся. Riez, Monsieur: je rirar avec vous; mais point de grossieretés, je vous en prie.[4]***** — Однажды Бидер пришел ко мне весь в слезах и сказал, подавая лист газет: «читайте!» Я взял и прочитал следующее: «Сего Маия 28 дня, в 5 часов утра, в улице Сен-Мери застрелился слуга господина N. Прибежали на выстрел, отворили дверь... нещастный плавал в крови своей; подле него лежал пистолет; на стене было написано: quand on n'est rien, et qu'on est sans éspoir, la vie est un opprobre, et la mort un devoir; ****** а на дверях: aujourd'hui mon tour, demain le tien.******* Между разбросанными по столу бумагами нашлись стихи, разныя философическия мысли и завещание. Из первых видно, что сей молодой человек знал наизусть опасныя произведения новых Философов; вместо утешения, извлекал из каждой мысли яд для души своей, необразованной

---

* Ему сказали, что Лудовик не считает его опасным своим неприятелем, полагая, что у него нет пушек.

** Ну, сударь, хорошо, что вы об этом скажете? (*франц.*)

*** ‹Я, действительно, должен, сударь, быть таким, чтобы не опровергать своего имени (*франц.*)›. Бидер по-немецки значит *добрый* или *честный*.

**** Сударь, подобные вещи не говорят на хорошем французском языке. Я слишком чувствителен, чтобы терпеть это (*франц.*)

***** Смейтесь, сударь; я посмеюсь вместе с вами, но не грубите, пожалуйста! (*франц.*)

****** Когда ты — ничто и надежда потеряна, жизнь — позор, а смерть — долг (*франц.*)

******* Сегодня — я, завтра — ты (*франц.*)

воспитанием для чтения таких книг, и сделался жертвою мечтательных умствований. Он ненавидел свое низкое состояние, и в самом деле был выше его, как разумом, так и нежным чувством; целые ночи просиживал за книгами, и покупал свечи на свои деньги, думая, что строгая честность не дозволяла ему тратить на то господских. В завещании говорит, что он *сын любви*, и весьма трогательно описывает нежность *второй матери* своей, добродушной кормилицы; отказывает ей 130 ливров, отечеству (en don patriotique) * 100, бедным 48, заключенным в темнице за долги 48, луидор тем, которые возмут на себя труд предать земле прах его, и три луидора другу своему, слуге Немцу, живущему в *Британской Отели*. Комиссар нашел в его ларчике более 400 ливров.» — «Три луидора отказаны мне, сказал чувствительный Бидер: он был с ребячества другом моим и редким молодым человеком; вместо того, чтобы шататься по трактирам, ходил всякой день на несколько часов в *кабинет чтения*, и всякое Воскресенье в театр. Не редко со слезами говаривал мне: *Генрих! будем благородны сердцем! заслужим собственное свое почтение!* Ах! я не могу пересказать вам всех речей его: Жак говаривал как самая умная книга; а я, бедняк, не умею сказать двух красивых слов. С некоторого времени он стал задумчив, ходил повеся голову и любил рассуждать со мною о смерти. Дней шесть мы не видались: вчера узнал я, что Жаку наскучила жизнь, и что в свете не стало одного доброго человека!» — Бидер плакал как ребенок. Я сам был сердечно тронут. Бедный Жак!.. Гибельныя следствия полуфилософии! Drink deep or taste not, *пей много, или не пей ни капли*, сказал Англичанин Поп. Эпиктет был слугою, но не убил себя.

‹124›

Эрменонвиль.

Верст 30 от Парижа до Эрменонвиля: там Руссо, жертва страстей, чувствительности, пылкого воображения, злобы людей и своей подозрительности, заключил бурный день жизни тихим, ясным вечером; там последнее дело его было — благодеяние, последнее слово — хвала Природе; там в мирной сени высоких дерев, дружбою насажденных, покоится прах его... Туда спешат добрые странники, видеть места, освященные невидимым присутствием Гения, — ходить по тропинкам, на которых след Руссовой ноги изображался — дышать тем воздухом, которым некогда он дышал — и нежною слезою меланхолии оросить его гробницу.

Эрменонвиль был прежде затемняем дремучим лесом, окружен болотами, глубокими и бесплодными песками: одним словом был дикою пу-

* Как дар патриота (*франц.*)

стынею. Но человек, богатый и деньгами и вкусом, купил его, отделал — и дикая, лесная пустыня обратилась в прелестный Английский сад, в живописные ландшафты, в Пуссеневу картину.

Древний замок остался в прежнем своем готическом виде. В нем жила некогда *милая Габриэль*, и Генрих IV наслаждался ея любовию: воспоминание, которое украшает его лучше самых великолепных перистилей! Маленькие домики примыкают к нему с обеих сторон; светлыя воды струятся вокруг его, образуя множество приятных островков. Здесь раскиданы лесочки; там зеленеют долины; тут гроты, шумные каскады; везде Природа[1] в своем разнообразии — и вы читаете надпись:

Ищи в других местах Искусства красоты:
Здесь вид богатыя природы
Есть образ щастливой свободы
И милой сердцу простоты.

Прежде всего поведу вас к двум густым деревам, которыя сплелись ветвями, и на которых рукою Жан-Жака вырезаны слова: *любовь все соединяет*. Руссо любил отдыхать под их сению, на дерновом канапе, им самим сделанном. Тут рассеяны знаки пастушеской жизни; на ветвях висят свирели, посохи, венки, и на диком монументе изображены имена сельских Певцов: Теокрита, Виргилия, Томсона.

На высоком пригорке видите храм — *новой Философии*, который своею архитектурою напоминает развалины Сибиллина храма в Тиволи. Он не достроен; материалы готовы, но предрассудки мешают совершить здание. На колоннах вырезаны имена главных Архитекторов, с означением того, что каждый из них обработывал по своему таланту. На пример:

J. J. Rousseau — — — Naturam	(Природу)
Montesquieu — — — Justitiam	(Правосудие)
W. Penn — — — Humanitatem	(Человечество)
Voltaire — — — Ridiculum	(смешное)
Descartes — — — nil in rebus inane	(нет в вещах пустого)
Newton — — — lucem	(свет).

Внутри написано, что сей недостроенный храм посвящен Монтаню; над входом: *познавай причину вещей*; а на столпе: *кто довершит*? Многие писали ответ на колоннах. Одни думают, что несовершенный ум человеческий не может произвести ничего совершенного; другие надеются, *что разум в школе веков возмужает*, победит все затруднения, докончит свое дело и воцарит истину на земном шаре.[2]

Вид, который открывается с вершины пригорка, веселит глаза и душу. Кристальныя воды, нежная зелень лугов, густая зелень леса, представляют разнообразную игру теней и света.

Уныло журчащий ручеек ведет вас, мимо диких гротов, к олтарю *задумчивости*. Далее, в лесу, находите мшистый камень с надписью: *здесь погребены кости нещастных, убитых во времена суеверия, когда брат восставал на брата, гражданин на гражданина, за несогласное мнение о Религии.* — На дверях маленькой хижины, которая должна быть жилищем отшельника, видите надпись:

Здесь покланяюся Творцу
Природы дивныя и нашему Отцу.

Перейдите чрез большую дорогу, и невольный ужас овладеет вашим сердцем: мрачныя сосны, печальные кедры, дикия скалы, глубокой песок, являют вам картину Сибирской пустыни. Но вы скоро примиритесь с нею... На хижине,[3] покрытой сосновыми ветвями, написано: *Царю хорошо в своем дворце, а леснику в своем шалаше; всякой у себя господин*; а на древнем, густом вязе:

Под сению его я с милой изъяснился;
Под сению его узнал, что я любим!

Следственно и в дикой пустыне можно быть щастливым! — Во внутренности каменного утеса найдете грот Жан-Жака Руссо, с надписью: *Жан-Жак бессмертен.* Тут, между многими девизами и титулом всех его сочинений, вырезано прекрасное изречение Женевского Гражданина: *тот единственно может быть свободен, кому для исполнения воли своей не надобно приставлять к своим рукам чужих.** — Идите далее, и дикость вокруг вас мало по малу исчезает; зеленая мурава, скалы покрытыя можжевельником, шумящие водопады, напоминают вам Швейцарию, Мельери и Кларан; вы ищете глазами Юлиина имени, и видите его — на камнях и деревах.

Светлая река течет по лугу мимо виноградных садов, сельских домиков; на другой стороне ея возвышается готическая башня *прекрасной Габриели*, и маленькая лодочка готова перевезти вас. На дверях башни читаете:

Здесь было царство Габриели;
Ей надлежало дань платить.
Французы исстари умели
Сердцами красоту дарить.

Архитектура наружности, крыльцо, внутренния комнаты, напоминают вам те времена, когда люди не умели со вкусом ни строить, ни украшать своих домов, но умели обожать славу и красавиц. Здесь, думаете вы, здесь Король Рыцарь, после военного грома, наслаждался тишиною и сердцем своим в объятиях милой Габриели; здесь сочинил он нежную песню свою:

Charmante Gabrielle,
Percé de mille dards,
Quand la gloire m'appelle,
Je vole au champ de Mars.
Cruelle départie!
Malheureux jour!
C'est trop peu d'une vie
Pour tant d'amour.**

---

* Короче: «кто не имеет нужды в чужих руках», но не так живописно.

** ‹Прекрасная Габриель! Пронзенный тысячью копий, я лечу на поле брани, когда слава меня зовет. Жестокое расставание! Несчастный день! Слишком мало

И куда ни взгляните в комнатах, везде читаете: charmante Gabrielle! Автор[4] Седен сочинил *здесь* на голос этой песни другую такого содержания:

Здесь Габриели страстной
Взор нежность изъявлял;
Здесь бог войны ужасной
В цепях любви вздыхал.
Француз в восторг приходит
От имени ея;
Оно на мысль приводит
Нам доброго Царя.

С нежными чувствами выходите из башни, и вступаете в прекрасной лесок, посвященный Музам и Спокойствию. Тут стремится ручей, подобный Воклюзскому, где, по уверению Италиянского Тибулла, *травы, цветы, Зефиры, птицы и Петрарка о любви говорили.* Тут в прохладном гроте написано:

Являйте, зеркальныя воды,
Всегда любезный вид Природы
И образ милой красоты!
С Зефирами играйте,
И мне воспоминайте
Петрарковы мечты!

От всех Эрменонвильских домиков, живописно рассеянных по лугу, отличается тот, который строен был для Жан-Жака, но достроен уже по смерти его: самый сельской и приятный![5] Подле садик, огород; лужок, орошаемый ручейком; густыя дерева; мостик, примкнутый к двум большим вязам, и маленькой жертвенник, с надписью:

A l'amitié, le baume de la vie.

Дружбе, бальзаму жизни.

Под сению одного дерева стоит канапе, с надписью:

Жан-Жак любил здесь отдыхать,
Смотреть на зелень дерна,
Бросать для птичек зерна,
И с нашими детьми играть.

Руссо переехал в Эрменонвиль 20 Мая 1778, а умер 2 Июля: следственно не долго наслаждался он здешним тихим[6] уединением; успел только ласкою, обходительностию снискать любовь Эрменонвильских жителей, которые по сие время не могут без слез говорить об нем. Свет, Литтература, слава, все ему наскучило; одна Природа сохранила до конца милыя права свои на его сердце и чувствительность. В Эрменонвиле рука Жан-Жакова не бралась за перо, а только подавала милостыню бедным. Лучшее его удовольствие состояло в прогулках, в дру-

---

одной жизни для такой любви! (*франц.*)>. Вероятно, что последние два стиха не Генриховы. Музыка сей старинной песни очень приятна.

жеских разговорах с земледельцами и в невинных играх с детьми. За день до смерти своей он ходил еще собирать травы; 2 Июля, в 7 часов утра, вдруг почувствовал слабость и дурноту; велел своей Терезе растворить окно, взглянул на луг, сказал: comme la Nature est belle! * и закрыл глаза навеки.... Человек редкий, Автор единственный; пылкий в страстях и в слоге, убедительный в самых заблуждениях, любезный в самых слабостях! младенец сердцем до старости! мизантроп, любви исполненный! нещастный по своему характеру между людьми, и завидно-щастливый по своей душевной нежности в объятиях Натуры, в присутствии невидимого Божества, в чувстве Его благости и красот творения!... Прах его хранится на маленьком прекрасном островке, île des peupliers,** осененном высокими тополями. Надобно переехать на лодке — и Харон говорит вам о Жан-Жаке, сказывает, что Эрменонвильской цырюльник купил трость его и не хотел продать ее за 100 экю; что жена мельникова никому не дает садиться на том стуле, на котором Руссо у мельницы сиживал, смотря на пенистую воду; что школьный мастер хранит два пера его; что Руссо ходил всегда задумавшись, неровными шагами, но всякому кланялся с ласковым видом. Вам хочется и слушать перевощика, и читать надписи на берегу, и видеть скорее гроб Ж.-Жаков...

Среди журчащих вод, под сению священной,
Ты видишь гроб Руссо, наставника людей;
Но памятник его нетленной
Есть чувство нежных душ и щастие детей.***

Всякая могила есть для меня какое-то святилище; всякой безмолвный прах говорит мне:

И я был жив, как ты;
И ты умрешь, как я.

Сколь же красноречив пепел такого Автора, который сильно действовал на ваше сердце; которому вы обязаны многими из любезнейших своих идей; которого душа отчасти перелилась в вашу? Монумент его имеет вид древнего жертвенника; с одной стороны написано: ici repose l'homme de la Nature et de la vérité, *здесь покоится человек истины и природы;* а на другой стороне изображены играющия дети с матерью, которая держит в руке том Эмиля; на верху девиз Жан-Жаков: vitam impendere vero, *жить для истины.* На свинцовом гробе вырезано: hic jacent ossa J. J. Rousseau, *здесь лежат кости Руссовы.*

Что Руссо в жизни своей имел злобных врагов, не мудрено; но можно ли без омерзения слышать, что некоторые хотели ругаться и над бесчувственным прахом его, вырезывали на гробе непристойныя, бесстыдныя надписи, бросали грязь на монумент и ломали его, так что хозяин, Маркиз Жирарден, должен был приставить караул к острову!

---

* как прекрасна Природа! (*франц.*)
** острове тополей (*франц.*)
*** Перевод одной из надписей.

За то Руссо имел и жарких, ревностных почитателей более, нежели кто нибудь из новых Авторов. Ревность некоторых доходила до безумия. Рассказывают, что один молодой Француз, восхищенный творениями Жан-Жака, вздумал проповедывать его учение в Азии, и сочинил на Арабском языке катихизис, который начинается так: *Что есть правда? Бог. Кто ложный пророк Его? Магомет. Кто истинный? Руссо.* Французской Консул видел его в Бассоре в 1780 году, и никак не мог доказать ему, что он сумасшедший. Скромный Руссо конечно не хотел таких учеников. Думаю, что и нынешние Французские Ораторы не одолжили бы его своими пышными хвалами: чувствительный, добродушный Жан-Жак объявил бы себя первым врагом Революции.

Говорили, что Тереза, жена его, вышла за-муж за слугу Маркиза Жирарденя: это неправда. Она гордится именем Руссовой супруги, и живет одна в маленькой деревеньке Плесси-Бельвиль.[7]

Кто, оперщись рукою на монумент незабвенного Жан-Жака, видел заходящее солнце и думал о бессмертии: тот насладился не малым удовольствием в жизни.

‹125›

Шантильи.

Dans sa pompe élégante admirez **Chantilly**,
De Heros en Heros, d'âge en âge embelli.*

Не ожидайте от меня пышного описания: я видел Шантильи в дурное время, в дурном расположении и в страхе, чтобы не уехала без меня почтовая карета. Мысль, что хозяин его скитается ныне по чужим землям, как бедный изгнанник, также туманила для глаз моих предметы. Что вам сказать? Я видел великолепныя палаты, прекрасныя статуи, Физические Кабинеты, подземельные ходы с высокими сводами, редкия оранжереи, огромныя конюшни, большой парк, красивыя террасы, *остров Любви,* приятный Английский сад, [1]хижины украшенныя как дворец,[1] чудесную игру вод и наконец латы *Орлеанской девственницы.* Я вспомнил то великолепное, беспримерное зрелище, которым Принц Конде веселил здесь Северного Графа. Ночь превратилась в день; от бесчисленных огней казалось, что леса и воды горели; искры сыпались от каскадов; музыка гремела, и охотники, при восклицаниях народа, неслись вихрем за быстрыми оленями. Так и восточные Государи не забавляли гостей своих.

---

* Восхищайтесь Шантильи с его изящной пышностью. С каждым новым героем и с каждым новым веком он становится прекраснее (*франц.*)

Шантильи окружен густым лесом. Тут, на большой равнине, где сходятся 12 бесконечных алей, Великой Конде, Герой[2] и друг просвещения, давал праздники Лудовику XIV и всему Двору его.

Сей лес напоминает печальную смерть мрачного Романиста Прево. Он гулял в нем, и упал без чувства; его подняли как мертвого, вздумали анатомить, и безрассудный лекарь воткнул ему нож в сердце — пронзительный крик раздался — Прево был еще жив — лекарь зарезал его.

Я списал в Шантильи прекрасную Грувелеву надпись к Амуру, представленному без покрова, без оружия и без крыльев. Как умею, переведу ее:

Одною нежностью богат,
Как Правда сердцем обнаружен,
Как Непорочность безоружен,
Как Постоянство некрылат,
Он был в Астреин век. Уже мы не находим
Его нигде; но жизнь в искании проводим.

‹126›

Париж, Июня. . . . 1790.

Вчера целых пять часов провел я у Госпожи Н*, и не скучно; даже самый прелестный Барон, друг ея, казался мне сносным. Говорили о чувствительности. Барон утверждал, что привязанность мущин бывает гораздо сильнее и надежнее; что женщины более плачут, а мы чаще умираем от любви. Хозяйка утверждала противное, и милым голосом, с нежным и томным видом своим рассказала нам печальный Лионской анекдот. Все были тронуты; я не менее других. Госпожа Н* оборотилась ко мне и спросила: «сочиняете ли вы стихи?» — Для тех, которые любят меня, отвечал я. — «Вот вам материя. Дайте мне слово описать это приключение в Руских стихах.» — Охотно; но позвольте немного украсить. — Ни мало. Скажите только, что от меня слышали.» — Это слишком просто. — «Истина не требует украшений.» — По крайней мере в рассказ можно вместить некоторыя мысли, нравственныя истины. — «Дозволяю. Сдержите же слово.» — — Я сдержал его, и написал следующее:

АЛИНА

О дар, достойнейший Небес,
Источник радости и слез,
Чувствительность! сколь ты прекрасна,
Мила — но в действиях нещастна!...
Внимайте, нежныя сердца!

В стране, украшенной дарами
Природы, щедрого Творца,

Где Сона светлыми водами
Кропит зеленые брега,
Сады, цветущие луга,
Алина милая родилась;
Пленяла взоры красотой,
А души Ангельской душой;
Пленяла — и сама пленилась.
Одна любовь в любви[1] закон,
И сердце в выборе не властно:
Что мило, то всегда прекрасно;
Но нежный юноша, Милон,
Достоин был Алины нежной;
Как старец в младости умен,
Любезен всем, от всех почтен.
С улыбкой гордой и надежной
Себе подруги он искал;
Увидел — вольности лишился:
Алине сердцем покорился;
Сказав: *люблю!* ответа ждал....
Еще Алина слов искала;
Боялась сердцу волю дать,
Но все молчанием сказала. —
Друг друга вечно обожать
Они клялись чистосердечно.
Но что в минутной жизни вечно?
Что клятва? — искренний обман!
Что сердце? — ветреный тиран!
Оно в желаньях своевольно,
И самым щастьем — недовольно.

И самым щастьем! — Так Милон,
Осыпанный любви цветами,
Ея нежнейшими дарами,
Вдруг стал задумчив. Часто он
Ласкаемый подругой милой,
Имел вид томной и унылой,
И в землю потуплял глаза,
Когда блестящая слеза
Любви, чувствительности страстной
Катилась по лицу прекрасной;
Как в пламенных ея очах
Стыдливость с нежностью сражалась,
Грудь тихо, тайно волновалась,
И розы тлели на устах.
Чего ему не доставало?
Он милой был боготворим!
Прекрасная дышала им!
Но верх блаженства есть начало
Унылой томности в душах;
Любовь, восторг, холодность смежны.
Увы! почтожь сей пламень нежный
Не вместе гаснет в двух сердцах?

Любовь имеет взор орлиный:
Глаза чувствительной Алины
Могли ль премены не видать?
Могло ль ей сердпе не сказать:
«Уже твой друг не любит страстно?»

Она надеется (напрасно!)
Любовь любовью обновить:
Ее легко найти исканьем,
Всегдашней ласкою, стараньем;
Но чем же можно возвратить?
Ничем! в немилом все немило.
Алина тоже, что была,
И всех других пленять могла,
Но чувство друга к ней простыло;
Когда он с нею, скука с ним.
Кто нами пламенно любим,
Кто прежде сам любил нас страстно,
Тому быть в тягость наконец
Для сердца нежного ужасно!
Милон не есть коварный льстец:
Не хочет больше притворяться,
Влюбленным без любви казаться —
И дни проводит розно с той,
Которая одна, без друга,
Проводит их с своей тоской.
Увы! нещастная супруга
В молчании страдать должна....
И скоро узнает она,
Что ветреный Милон другою
Любезной женщиной пленен;
Что он сражается с собою,
И, сердцем в горесть погружен,
Винит жестокость злой судьбины! *
Удар последний для Алины!
Ах! сердце друга потерять,
И щастию его мешать
В другом любимом им предмете,
Лютее всех мучений в свете!
Мир хладный, жизнь, противны ей;
Она бежит от глаз людей....
Но горесть лишь себя находит
Во всем, везде, гдеб ни была!...
Алина в мрачный лес приходит
(Нещастным тень лесов мила!)
И видит храм уединенный,
Остаток древности священный;
Там ветр в развалинах свистит,
И мрамор желтым мхом покрыт;
Там древность Божеству молилась;
Там после, в наши времена,
Кровь двух любовников струилась:
Известны свету имена
Фальдони, нежныя Терезы; **
Они жить вместе не могли,
И смерть разлуке предпочли.

---

* Женщина, в которую Милон был влюблен, по словам Госпожи Н*, сама любила его; но имела твердость отказать ему от дому, для того, что он был женат.

** См. III Част. Писем Руск. Пут. стр. <208—209 наст. изд.>. Церковь, в которой они застрелились, построена на развалинах древнего храма, как сказывают. Все, что здесь говорит или мыслит Алина, взято из ея Журнала, в котором она почти с самого детства записывала свои мысли, и который хотела сжечь умирая, но не успела. За день до смерти нещастная ходила на то место, где Фальдони и Тереза умертвили себя.

Алина, проливая слезы,
Равняет жребий их с своим,
И мыслит: «Кто любя любим,
Тот должен быть судьбой доволен;
В темнице и в цепях он волен
Об друге сладостно мечтать —
В разлуке, в горестях питать
Себя надеждою щастливой.
Неблагодарные! за чем,
В жару любви нетерпеливой
И в исступлении своем,
Вы Небо смертью оскорбили?
Ах! мне бы слезы ваши были
Столь милы, как... любовь моя!
Но щастьем полным насладиться,
Изменой вдруг его лишиться,
И в тягость другу быть как я...
В подобном бедствии нас должно
Лишь Богу одному судить!....
Когда мне здесь уже не можно
Для щастия супруга жить,
Могу еще, на зло судьбине,
Ему пожертвовать собой!»

Вдруг обнаружились в Алине
Все признаки болезни злой,
И смерть приближилась к нещастной.
Супруг у ног ея лежал;
Неверный слезы проливал,
И снова как любовник страстной
Клялся ей в нежности, в любви;
(Но поздно!) говорил: «живи,
Живи, о милая! для друга!
Я может быть виновен был!»
«Нет!» — томным голосом супруга
Ему сказала: «ты любил,
Любил меня! и я сердечно,
Мой друг, благодарю тебя!
Но естьли здесь ничто не вечно,
То как тебе винить себя?
Цвет щастья, жизнь, ах! все неверно!
Любви блаженство столь безмерно,
Что смертный был бы самый Бог,
Когдаб продлить его он мог....
Ничто, ничто моей кончины
Уже не может отвратить!
Последний взор твоей Алины
Стремится нежность изъявить....
Но дай ей умереть щастливо;
Дай слово мне — спокойным быть,
Снести потерю терпеливо
И снова — для любови жить!
Ах! естьли ты с другою будешь
Дни в мирных радостях вести,
Хотя Алину и забудешь,
Довольно для меня!... Прости!
Есть мир другой, где нет измены,
Нет скуки, в чувствах перемены: [2]

Там ты увидишься со мной,
И там, надеюсь, будешь мой!»....
Навек закрылся взор Алины.
Никто не мог понять причины
Сего внезапного конца;
Но вы, о нежныя сердца!
Ее конечно угадали!
В нещастьи жизнь нам не мила....
Спросили медиков: узнали,
Что яд Алина приняла....
Супруг, как громом пораженный,
Хотел итти за нею в след;
Но гласом дружбы убежденный,
Остался жить. Он слезы льет;
И сею горестною жертвой
Суд Неба и людей смягчил;
Живой Алине изменил,
Но хочет верным быть ей мертвой!

‹127›

Париж, Июня.... 1790.

Скажу вам нечто о Парижском Народном[1] Собрании, о котором так много пишут теперь в газетах. В первый раз пришел я туда после обеда; не знал места, хотел войти в большия двери вместе с Членами, был остановлен часовым, которого никакия просьбы смягчить не могли, [2] и готовился уже[2] с досадою воротиться домой; но вдруг явился человек в темном кафтане, собою очень некрасивый; взял меня за руку, и сказав: allons, Mr. allons! * ввел в залу. Я окинул глазами все предметы...... Большая галлерея, стол для Президента и еще два для Секретарей по сторонам; напротив кафедра; кругом лавки, одна другой выше; вверху ложи для зрителей. Заседание еще не открывалось. Вокруг меня было множество людей, по большой части неопрятно одетых — с растрепанными волосами, в сертуках. Шумели, смеялись, около часа. Зрители хлопали в ладоши, изъявляя нетерпение. Наконец тот самый человек, который ввел меня,** подошел к Президентскому столу, взял колокольчик, зазвонил[3] — и все, закричав: *по местам! по местам!* разбежались и сели. Один я остался середи залы — подумал, что мне делать, и сел на ближней лавке; но через минуту подошел ко мне Церемониймейстер, в черном кафтане, и сказал: «Вы не можете быть здесь!» Я встал и перешел на другое место. Между тем один из Членов, Г. Андре, читал на кафедре предложение Военной Комиссии. Его слушали со вниманием;[4] я также, но не долго, потому что проклятый черный кафтан

---

* пойдемте, сударь, пойдемте! (*франц.*)
** Это был Рабо-Сент-Этьен.



Мирабо.

опять подлетел ко мне и сказал: «государь мой! вы конечно не знаете, что в этой зале могут быть только одни Члены.» — Куда же мне деваться, Г. М.? — «Подите в ложи.» — А естьли там нет места? — «Подите домой, или куда вам угодно.» — — Я ушел; но в другой раз высидел в ложе 5 или 6 часов, и видел одно из самых бурных заседаний. Депутаты Духовенства предлагали, чтобы Католическую Религию признать единственною или главною во Франции. Мирабо оспоривал, говорил с жаром, и сказал: «я вижу отсюда то окно, из которого сын Катерины Медицис

стрелял в Протестантов!» Аббат Мори вскочил с места, и закричал: «вздор! ты отсюда не видишь его». Члены [5] и зрители захохотали во все горло. Такия непристойности бывают весьма часто. Вообще в заседаниях нет ни малой торжественности, никакого величия; но многие Риторы говорят красноречиво. Мирабо и Мори вечно единоборствуют, как Ахиллес и Гектор.

На другой день после споров о Католической Религии явились в лавках бумажныя табакерки à l'abbé Maury; отворите крышку, выскочит Аббат. Таковы Французы: на всякой случай у них готова выдумка. — Расскажу вам другой анекдот в сем роде. В тот самый день, как Собрание определило выдать ассигнации, я был в театре. Играли старую оперу *башмашника*, которому во втором акте надлежало петь известный *водевиль*. Вместо того он запел новые стихи, в похвалу Короля и Народного Собрания, с припевом:

L'argent caché ressortira
Par le moyen des assignats.*

Зрители были вне себя от удовольствия, и заставили актера десять раз повторять: l'argent caché ressortira. Им казалось, что перед ними лежат уже кучи золота!

‹128›

Париж, Июня. . . . 1790.

Вы помните, что Йорик сказал Министру Б* о характере Французов: «они слишком *важны*!» Министр удивился; но разговор вдруг перервался, и забавный Йорик не изъяснил нам своей мысли. Кажется, об Афинском народе было сказано, что он важными делами шутил как безделками, а безделки считал важными делами: то же самое можно сказать о Французах, которые не обижаются сходством с Афинским народом. Вспомните жаркие, но смешные споры о древней и новой Литтературе, которыми Версальской Двор и весь Париж занимался; вспомните историю Глукистов, Пичинистов, Месмеристов, и согласитесь, что в некотором смысле Йорик мог утверждать свой парадокс. Но Французы имеют характер, вопреки его старым шиллингам, qui, à force d'être polis, n'ont plus d'empreinte ** — имеют даже более других народов. Я говорил об этом с Госпожею Н*, и после выразил мысли свои в письме к ней. Вот перевод:

---

* Спрятанные деньги вновь появятся с помощью ассигнаций (*франц.*)

** ‹которые настолько отполировались, что не сохраняют больше отпечатка (*франц.*) Игра слов: être polis — быть полированным и быть вежливым.› Слова Йориковы, сказанныя им в другом месте.



Сатирический эстамп против аббата Мори.

«Скажу: *огонь, воздух* — и характер Французов описан. Я не знаю народа умнее, пламеннее и ветренее вашего. Кажется, будто он *выдумал,* или для него *выдумано общежитие:* столь мила его обходительность, и столь удивительны его тонкия соображения в искусстве жить с людьми! Сие искусство кажется в нем любезною природою. Никто, кроме его, не умеет приласкать человека одним видом, одною вежливою улыбкою. Напрасно Англичанин или Немец захотел бы учиться ей перед зеркалом: на лице их она чужая, принужденная. Я хочу жить и умереть в моем любезном отечестве; но после России нет для меня земли приятнее Франции, где иностранец часто забывается, что он не между своими. Говорят, что здесь трудно найти искреннего, верного друга...

Ах! друзья везде редки; и чужеземцу ли искать их, тому, кто, подобно Комете, *являясь исчезает*? Дружба есть потребность жизни; всякой хочет для нее предмета надежного. Но все, чего по справедливости могу требовать от чужих людей, Француз предлагает мне с ласкою, с *букетом цветов*. Ветреность, непостоянство, которыя составляют порок его характера, [1]соединяются в нем с любезными свойствами души,[1] *происходящими* * некоторым образом от сего самого порока. Француз непостоянен — и не злопамятен; удивление, похвала, может скоро ему наскучить: ненависть также. По ветренности оставляет он доброе, избирает вредное: за то сам первый смеется над своею ошибкою — и даже плачет, естьли надобно. Веселая безрассудность есть милая подруга жизни его. Как Англичанин радуется открытию нового острова, так Француз радуется острому слову. Чувствителен до крайности, страстно влюбляется в истину, в славу, в великия предприятия; но любовники непостоянны! Минуты его жара, исступления, ненависти, могут иметь страшныя следствия: чему примером служит Революция. Жаль, естьли эта ужасная политическая перемена должна переменить и характер народа, столь веселого, остроумного, любезного!»

Это писано для Дамы, и для Француженки, которая ахнула бы от ужаса, и закричала: *северный варвар!* естьли бы я сказал ей, что Французы не остроумнее, не [2] любезнее других.

Я оставил тебя, любезный Париж, оставил с сожалением и благодарностию! Среди шумных явлений твоих жил я спокойно и весело, как беспечный гражданин вселенной; смотрел на твое волнение с тихою душею, как мирный пастырь смотрит с горы на бурное море. Ни Якобинцы, ни Аристократы твои не сделали мне никакого зла; я слышал споры, и не спорил; ходил в великолепные храмы твои наслаждаться глазами и слухом: там, где светозарный бог Искусств сияет в лучах ума и талантов; там, где Гений славы величественно покоится на лаврах! Я не умел описать всех приятных впечатлений своих, не умел всем пользоваться, но выехал из тебя не с пустою душею: в ней остались идеи и воспоминания! Может быть, когда нибудь еще увижу тебя и сравню прежнее с настоящим; может быть порадуюсь тогда большею зрелостию своего духа, или вздохну о потерянной живости чувства. С каким удовольствием взошел бы я еще на гору Валерианскую, откуда взор мой летал по твоим живописным окрестностям! С каким удовольствием, сидя во мраке Булонского леса, снова развернул бы перед собою свиток Истории,** чтобы найти в ней предсказание будущего! Может быть тогда все темное для меня изъяснится; может быть тогда еще более полюблю человечество; или, закрыв летописи, перестану заниматься его судьбою. . . .

Прости, любезный Париж! прости, любезный В*! Мы родились с тобою не в одной земле, но с одинаким сердцем; увиделись, и три месяца

* Qui tiennent à ce même défaut.

** В Булонском лесу читал я Маблиеву Историю Французского Правления.

не расставались. Сколько приятных вечеров провел я в твоей Сен-Жерменской *Отели*, читая привлекательныя мечты единоземца и соученика твоего, Шиллера, или занимаясь собственными нашими мечтами, или философствуя о свете, или судя новую Комедию, нами вместе виденную! Не забуду наших приятных обедов за городом, наших ночных прогулок, наших рыцарских приключений, и всегда буду хранить нежное, дружеское письмо твое, которое тихонько написал ты в моей комнате за час до нашей разлуки. Я любил всех моих земляков[3] в Париже; но единственно с тобою и с Б* мне грустно было расставаться. К утешению своему думаю, что мы в твоем или моем отечестве можем еще увидеться, в другом состоянии души, может быть и с другим образом мыслей, но равно знакомы и дружны! *

А вы, отечественные друзья мои, не назовете меня неверным за то, что я в чужой земле нашел человека, с которым сердце мое было как дома. Это знакомство считаю благодеянием Судьбы в странническом сиротстве моем. Как ни приятно, как ни весело всякой день видеть прекрасное, слышать умное и любопытное; но людям некоторого роду надобны подобные им люди, или сердцу их будет грустно.

Наконец скажу вам, что, выключая мои обыкновенныя маланхолическия минуты, я не знал в Париже ничего, кроме удовольствий. Провести так около четырех месяцов, есть, по словам одного Английского Доктора, выманить у скупой волшебницы, Судьбы, очень богатый подарок. Почти все мои земляки провожали меня, и Б* и Барон В*. Мы обнялись несколько раз прежде, нежели я сел в дилижанс. Теперь мы ночуем, отъехав верст 30 от Парижа. Душа моя так занята прошедшим, что воображение мое еще ни разу не заглянуло в будущее; еду в Англию, а об ней еще не думаю.

---

* Через 10 лет после нашей разлуки, не имев во все это время никакого об нем известия, вдруг получаю от него письмо из Петербурга, куда он прислан с важною коммисиею от Двора своего — письмо дружеское и любезное. Мне приятно напечатать здесь некоторыя его строки: Je vous supplie, mon cher ami, de me répondre le plutôt possible, pour que je sache que vous vous portez bien et que je peux toujours me compter parmi vos amis. Vous n'avez pas d'idée, combien le souvenir de notre séjour de Paris a de charmes pour moi. Tout a changé depuis; mais l'amitié que je vous ai vouée alors, est toujours la même. Je me flatte aussi, que vous ne m'avez pas entierement oublié. J'aime à croire que nous nous entendons toujours à demi-mot, и проч. ‹Умоляю вас, дорогой мой друг, ответить мне как можно скорее, чтобы я знал, что вы хорошо себя чувствуете и что я все еще могу считать себя в числе ваших друзей. Вы не представляете, сколько прелести имеют для меня воспоминия о нашем пребывании в Париже. С тех пор все переменилось, но дружба, которую я питал к вам, осталась неизменной. Льщу себя надеждой, что и вы также не совсем меня забыли. Мне хочется верить, что мы по-прежнему понимаем друг-друга с полуслова» (*франц.*)›. Он женился на молодой, любезной женщине, которая известна в Германии по уму и талантам своим. Она написала Роман, который долго считался творением славного Гете: потому что скромная Муза не хотела наименовать себя.

‹129›

Го-Бюиссон, в 4 часа пополудни.

В Иль-де-Франсе [1]плоды уже зрелы[1] — в Пикардии зелены[2] — в окрестностях Булони [3]все еще цветет и благоухает.[3] Перемена климата чувствительна на каждой миле — и воображение, что я удаляюсь беспрестанно от благословенных стран юга, горестно для души моей. Натура видимо беднеет к северу.

Теперь сижу[4] один под каштановым деревом, шагах в двадцати от почтового двора, — смотрю через луга и поля на синеющееся вдали море и на город Кале, окруженный болотами и песками.

Странное чувство! Мне кажется, будто я приехал на край света — там необозримое море — конец земли — Природа хладеет, умирает — и слезы мои льются ручьями.

Все тихо, все печально; почтовой двор стоит уединенно; вокруг его чистое поле. Товарищи мои сидят на траве, подле нашей кареты, не говоря между собою ни слова; постильйоны впрягают лошадей; ветер воет, и листья уныло шумят над головой моей.

Кто видит мои слезы? кто берет участие в моей горести? кому изъясню чувства мои? Я один.... один! — Друзья! где взор ваш? где рука ваша? где ваше сердце? [5]Кто утешит печального?[5]

О милыя узы отечества, родства и дружбы! я вас чувствую, не смотря на отдаление — чувствую и лобызаю с нежностию!...

Дикой, преселенный из мрачных Канадских лесов в великолепный город Европы, на сцену всех блестящих Искусств, видит богатство и пышность — видит, и пленяется; — но через минуту очарование исчезает — хлад остается в его сердце, и он желает возвратиться в бедные шалаши лесов Канадских, где грудь его согревалась питательными лучами любви и дружбы.

Товарищи мои садятся в карету — через час будем в Кале.

‹130›

Кале, в час по полуночи.

Нас привезли в трактир почтового двора. — Я тотчас пошел к Дессеню (которого дом есть самый лучший в городе); остановился перед его воротами, украшенными белым павильйоном, и смотрел на право и на лево. «Что вам надобно, государь мой?» спросил у меня молодой Офицер в синем мундире. «Комната, в которой жил Лаврентий Стерн»,* отвечал я. —

* См. Sentimental Journey, Стерново путешествие. [1]Оно переведено на Руской, и напечатано.[1]

«И где в первый раз ел он Французской суп?» — сказал Офицер. — Соус с цыплятами, отвечал я. — «Где хвалил он кровь Бурбонов?» — Где жар человеколюбия покрыл лице его нежным румянцем. — «Где самый тяжелый из металлов казался ему легче пуха» * — Где приходил к нему отец Лорензо с кротостию святого мужа. — «И где он не дал ему ни копейки?» — Но где хотел он заплатить двадцать фунтов стерлингов[2] тому Адвокату, который бы взялся и мог оправдать Йорика в глазах Йориковых. — «Государь мой! эта комната во втором этаже, прямо над вами. Тут живет ныне старая Англичанка с своею дочерью.» —

Я взглянул на окно, и увидел горшок с розами. Подле него стояла молодая женщина, и держала в руках книгу — верно Sentimental Journey! **

Благодарю вас, государь мой — сказал я словоохотному Французу: но естьли позволите, то я спросил бы еще — — «Где тот каретный сарай, перервал Офицер, в котором Йорик познакомился с милою сестрою Графа Л*?» — Где он помирился с отцом Лорензом и... с своею совестию. — «Где Йорик отдал ему черепаховую свою табакерку и взял на обмен роговую?» — Но которая была ему дороже золотой и бриллиянтовой. — «Этот сарай в 50 шагах отсюда, через улицу; но он заперт, а ключ у Господина Дессеня, который теперь... у вечерни.» — Офицер засмеялся, — поклонился, и ушел. — «Господин Дессень в Театре,» сказал мне другой человек мимоходом. «Господин Дессень на карауле (сказал третий): его недавно пожаловали в Капралы Гвардии.» — О Йорик! думал я — о Йорик! как все переменилось ныне во Франции! Дессень Капралом! Дессень в мундире! Дессень на карауле! Grand Dieu! *** — Смерклось, и я возвратился в свой трактир.

Что вам сказать о Кале? Город не велик, но чрезвычайно многолюден — и Англичане составляют по крайней мере шестую часть жителей. Домы не высокие, — в два этажа; а роскошь видна только в одних трактирах. Впрочем все кажется мне здесь печальным и бедным. Воздух напитан сыростию и тонкою морскою солью, которая неприятным образом щекотит нервы обоняния. Ни для чего в свете не хотел бы я жить здесь долго!

За ужином[3] ели мы прекрасную рыбу и свежих морских раков, отменно вкусных. Тут[4] сидело человек 40; между прочими семь или восемь Англичан, которые только-что переехали через Канал, и намерены странствовать по всей Европе. С ними был один Италиянец, великой говорун и великой трус; худым Английским и Французским языком рассказывал он о многих опасностях, угрожавших ему и товарищам его на море. Англичане смеялись, и называли его Улиссом, который пугает Царя Альциноя повествованием о страшных небылицах.**** Между тем они бес-

---

* Все сие памятно тому, кто хотя один раз читал Стерново или Йориково путешествие; но можно ли читать его только один раз?

** Сентиментальное путешествие (*англ.*)

*** Великий Боже! (*франц.*)

**** См. Одиссею.

престанно кричали трактирщику: [5] *вина! вина!* [5] *самого лучшего!* du meilleur! du meilleur! и розовое Шампанское лилось из урны своей не в рюмки, а в стаканы. Оно так хорошо алело в стекле, так хорошо пенилось, что и умеренной друг ваш, не спрашивая о цене, велел подать себе бутылку — du meilleur! du meilleur! Прекрасное вино! Немец с длинным носом, сидевший подле меня, доказывал убедительным образом, что оно и цветом и вкусом похоже на божественный Нектар, который излился из рогов святой козы Амальтеи * «Мы давно слышали, сказал один из Англичан, что Немцы ученый народ: теперь верю этому. Vraiment, Monsieur, vous êtes savant comme tous les diables!» ** — Германец улыбался, и был сердечно доволен заслуженною похвалою.

Я пришел в свою комнату, бросился на постелю, и заснул; но через несколько минут разбудил меня шум веселых Англичан, которые в другой горнице кричали, топали, стучали и проч. и проч. С полчаса я терпел; наконец кликнул слугу, и послал его напомнить Британцам, что они не одни в трактире, и что соседи их может быть хотят тишины и спокойствия. Сказав несколько раз *Год дем*, они замолчали. — Рука не пишет более — простите!

‹131›

Кале, 10 часов утра.

Узнав, что пакет-бот наш не отвалит от берега прежде одиннадцати часов, я пошел бродить, куда глаза глядят — очутился за городом, близь кладбища, обсаженного высокими деревьями, и вспомнил могилу отца Лоренза, где Йориковы слезы лились на мягкой дерн, — где в одной руке держал он табакерку добродушного монаха, а другою рвал зеленую траву. — Патер Лорензо! друг Йорик! (думал я, облокотившись на один мшистой камень) — где вы, не знаю; но желаю некогда быть с вами вместе!

У ног моих синелись цветочки; я сорвал два, и спрятал в записную книжку свою. Вы их увидите некогда, — естьли волны морския не поглотят меня вместе с ними! — Простите!

---

* Так говорит Мифология.
** В самом деле, сударь, вы дьявольски ученый человек! (*франц.*)

‹132›

Пакет-бот.

Мы уже три часа на море; ветер нресильной; многие пассажиры больны. Берег Французской скрылся от глаз наших — Английской показывается в отдалении.

Вместе с нами сели на Пакет-бот молодый Лорд и две Англичанки, жена и сестра его; они возвращаются из Италии. Лорд важен, но учтив. — Лади и Мисс любезны. С каким нетерпением приближаются они к отечеству, к родственникам и друзьям своим, после шестилетней разлуки! С какою радостию говорят о тех удовольствиях, которыя ожидают их в Лондоне! — Ах! я завидовал им от всего сердца! Они приметили мою чувствительность, и для того, может быть, обошлись со мною ласковее, нежели с другими пасажирами. Через два часа Лади занемогла морскою болезнию — Лорд также — их отвели в каюту. Мисс осталась на палубе; но скоро и она побледнела. Ветер сорвал с нее шляпу, развевал ея русые длинные волосы. Я принес ей стакан холодной воды; но ничто не помогало![1] Бедная Англичанка, смотря на меня умильными и томными глазами, говорила: Je suis mal, très mal; ma poitrine se déchire — Dieu! jo crois mourir! *мне дурно, очень дурно; грудь моя раздирается — я умираю!* — Наконец и ее должно было вести в каюту к прочим больным женщинам. Она подала мне свою руку, холодную, слабую и дрожащую; грудь ея видимо подымалась и опускалась; слезы катились градом по бледному лицу — я почти нес ее на руках. Какая мучительная болезнь! Видя везде страдающих; видя многия неприятныя явления, которыя бывают всегдашним следствием морских припадков, я сам едва было не упал в обморок; оставил свою больную, возвратился на палубу, и мало по малу отдохнул на свежем воздухе.

Подле меня сидят теперь два Немца — кажется, ремесленники, которые, думая, что их никто не разумеет, свободно разговаривают между собою. — «Что-то мы увидим в Англии! сказал один: Французы нам теперь известны; в них не много пути». — «Думаю, отвечал другой, что и Англия нам не очень полюбится. Где лучше нашей любезной Германии! Где лучше берегов Реина!» — «Где лучше Веиндорфа!» сказал первый с улыбкою: «там живет Анюта.» — Правда, отвечал другой со вздохом: там живет Анюта. Не далеко оттуда живет и Лиза, примолвил он с улыбкою. — Ах! не далеко! отвечал первый с таким же вздохом. — «Еще шесть или семь месяцев,» сказал один, взяв товарища своего за руку — — «Еще шесть или семь месяцев, повторил другой, и мы в Германии!» — «И мы на берегу Рейна!» — «И мы в Веиндорфе!» — «Там, где живет Анюта!» — «Там, где живет Лиза!» — «Дай Бог! дай Бог!» — сказали они в один голос, и крепко, крепко [2] пожали руку один у другого.[2]

Уже открывается Дувр и высокия башни, в которых ночью зажигают огонь для безопасности плавателей. Нигде не видно зелени; везде песчаные холмы, песчаныя равнины. Мы близко к берегу; но еще буря может

унести нас далеко в необозримость морскую — еще опасность не миновалась — еще корабль наш может удариться о подводные граниты, и погрузиться в шумящей бездне! Тогда... adieu! *

‹133›

Дувр.

Берег! берег! Мы в Дувре, и я в Англии — в той земле, которую в ребячестве своем любил я [1] с таким жаром,[1] и которая по характеру жителей и степени народного просвещения есть конечно одно из первых государств Европы. — Здесь все другое: другие домы, другия улицы, другие люди, другая пища — одним словом, мне кажется, что я переехал в другую часть света.

Англия есть кирпичное царство: и в городе и в деревнях все домы из кирпичей, покрыты черепицею, и некрашеные. Везде видите [2] дым земляных угольев; везде чувствуете их запах, который для меня весьма неприятен; улицы широки и отменно чисты; везде *тротуары,* или камнем выстланныя дорожки для пеших — и на каждом шагу — в таком маленьком городке, как Дувр — встречается вам красавица, в черной шляпке, с кроткою, нежною улыбкою, с посошком в белой руке.

Так, друзья мои! Англию можно назвать землею красоты — и путешественник, который не пленится миловидными Англичанками; который — особливо приехав из Франции, где очень мало красавиц — может смотреть равнодушно на их прелести, должен иметь каменное сердце. Часа два ходил я здесь по улицам единственно для того, чтобы любоваться Дуврскими женщинами, и скажу всякому живописцу: «естьли ты не был в Англии, то кисть твоя никогда совершенной красоты не изображала!» — Англичанок не льзя уподобить розам; нет, оне почти все бледны — но сия бледность показывает сердечную чувствительность, и делается новою приятностию на их лицах. Поэт назовет их лилиями, на которых, от розовых облаков неба,[3] мелькают алыя оттенки. Кажется, будто всяким томным взором своим говорят оне: *я умею любить нежно!* — Милыя, милыя Англичанки! — Но вы опасны для слабого сердца, опаснее Нимф Калипсиных, и ваш остров есть остров волшебства, очарования. Горе бедному страннику! Равнодушно взглянет он с берега на пылающий корабль свой, и снова устремит огненные глаза на какую нибудь Эвхарису.** Ах! какой Ментор низвергнет его в волны морския!

Между тем не думайте, чтобы друг ваш, приехав в опасную Англию, где Купидон во все стороны пускает тысячами стрелы свои, лишился всей твердости, ослабел и разстаял в томных чувствах. [4] Нет, друзья мои! [4]

---

* прощайте! (*франц.*)

** Известно, что Телемак, влюбленный в Калипсину Нимфу Эвхарису, не тужил о сгоревшем корабле своем.

я имел еще столько сил, чтобы взойти на превысокую гору и видеть там древний замок, колодезь в 360 футов глубиною, и медную пушку, длиною в три сажени, которая называется карманным пистолетом Королевы Елисаветы.

Я сел отдыхать на вершине горы, [5] и великолепнейший вид представился глазам моим.[5] С одной стороны вся Кентская провинция с городами и деревнями, рощами и полями; а с другой бесконечное море, в которое погружалось солнце, и где пестрели разноцветные флаги; где белелись парусы и миллионы пенистых валов. —

Английский Лорд, любезная жена и милая сестра его, вышедши на берег, с нежностию обняли друг друга. «Берег моего отечества! (сказал Лорд) я благословляю тебя!» — Они дали мне свой Лондонской адрес, [6] и поехали в наемной карете.[6]

Когда я пришел в трактир, где мы остановились ночевать, то в первой комнате окружили меня семь или восемь человек, весьма худо одетых, которые грубым голосом требовали денег. Один говорил: «дай мне шиллинг за то, что я подал тебе руку, когда ты сходил с пакет-бота»; другой: «дай мне шиллинг за то, что я поднял платок твой, когда ты уронил его на землю»; третий: «дай мне два шиллинга за то, что я донес до трактира чемодан твой.» Четвертый, пятый, шестый — все требовали, все объявляли права свои на мой кошелек; но я, бросив на землю два шиллинга, ушел от них. Судите, любят ли здесь деньги, и дешево ли ценят Англичане труд свой?

Еще другая черта. Все наши сундуки и вещи принесли с пакет-бота в таможню. «У меня нет ничего запрещенного, сказал я осмотрщикам: и естьли вы поверите моему честному слову, и не будете разбивать моего чемодана, то я с благодарностию заплачу несколько шиллингов». — «Нет, государь мой! (отвечали мне) нам должно все видеть.» Я отпер, и показал им старыя свои книги, бумаги, белье, фраки. «Теперь, сказали они, вы должны заплатить полкроны.» — За что же? спросил я: разве вы были снисходительны или нашли у меня что нибудь запрещенное? — «Нет; но без этова не получите своего чемодана.» Я пожал плечами, и заплатил три шиллинга. — И так Английские таможенные приставы умеют строго исполнять свою должность, и притом... наживаться!

Мне хотелось видеть Английскую кухню. Какая чистота! На полу нет ни пятнышка; кастрюли, блюда, чашки — все бело, все светло, все в удивительном порядке. Каменныя уголья пылают на большом очаге, и розовым огнем своим прельщают зрение. Хозяйка улыбнулась очень приятно, когда я сказал ей: «вид Французской кухни не редко отнимает аппетит; вид вашей кухни производит его.»

Ужин наш состоял из жареной говядины, земляных яблок, пудинга и сыру. Я хотел спросить вина, но вспомнил, что в Англии нет виноградных садов, и спросил портеру. Бутылка самого худого Шампанского или Бургонского стоит здесь более четырех рублей. Простите! Теперь полночь.

‹134›

Лондон.

В шесть часов утра сели мы в четвероместную карету, и поскакали на прекрасных лошадях по Лондонской дороге, ровной и гладкой.

Какия места! какая земля! Везде богатые, темнозеленые и тучные луга, где пасутся многочисленныя стада, блестящия своею перловою и серебряною волною; везде прекрасныя деревеньки с кирпичными домиками, покрытыми светлою черепицею; везде видите вы маленьких красавиц (в чистых, белых корсетах, с распущенными кудрями, с открытою снежною грудью), которыя держат в руках корзинки, и продают цветы;[1] везде замки богатых Лордов, окруженные рощами и зеркальными прудами; везде встречается вам множество карет, колясок, верховых; множество хорошо одетых людей, которые едут из Лондона и в Лондон, или из деревень и сельских домиков выезжают прогуливаться на большую дорогу; везде трактиры, и у всякого трактира стоят оседланныя лошади и кабриолеты — одним словом, дорога от Дувра до Лондона подобна большой улице многолюдного города.

Что, ежели бы[2] я прямо из России приехал в Англию, не видав ни Эльбских, ни Реинских, ни Сенских берегов; не быв ни в Германии, ни в Швейцарии, ни во Франции? — Думаю, что картина Англии еще более поразила б мои чувства; она была бы для меня новее.

Какое многолюдство! какая деятельность! и притом какой порядок! Все представляет вид довольства, хотя не роскоши, но изобилия. Ни один предмет от Дувра до Лондона не напомнил мне о бедности человеческой.

На каждых четырех верстах переменяли мы лошадей; но, не смотря на то, постильйоны или кучера, coachmen останавливаются раза три пить в трактирах — и никто не смей им сказать ни слова!

В Кантербури, главном городе Кентской провинции, пили мы чай, в первый раз по-Английски, то есть, крепкой и густой, почти без сливок, и с маслом, намазанным на ломтики белого хлеба; в Рочестере обедали, также по-Английски, то есть, не ели ничего, кроме говядины и сыра. Я спросил салату; но мне [3]подали вялую траву, облитую уксусом:[3] Англичане не любят никакой зелени. *Рост-биф, биф стекс* * есть их обыкновенная пища. От того густеет в них кровь; от того делаются они флегматиками, меланхоликами, несносными для самих себя, и не редко самоубийцами. К сей физической причине их *сплина* ** можно прибавить еще две другия: вечной туман от моря и вечный дым от угольев, который облаками носится здесь над городами и деревнями.

Мы проезжали мимо одного огромного замка, построенного на высоком месте, откуда можно видеть несколько городов, множество деревень, рек, море, и проч. «Как щастлив должен быть хозяин этова дому!» сказала наша сопутница, пожилая Француженка. «Нет (отвечал молодой

* Жареная и битая говядина.
** То есть, меланхолии.

Кентской дворянин, ехавший с нами в карете): блестящая наружность и прикрасные виды не делают человека благополучным. Я знаю историю хозяина; она горестна.» — Англичанин рассказал нам следующее:

«Лорд О* был молод, хорош, богат; но с самого младенчества носил на лице своем печать меланхолии — и казалось, что жизнь, подобно свинцовому бремени, тяготила душу и сердце его. Двадцати-пяти лет женился он на знатной и любезной девице, оставил Лондон, приехал в нашу провинцию, в этот огромный замок, построенный и украшенный отцом его, и не смотря на все ласки, на все нежности милой супруги, предался более, нежели когда нибудь, мрачной задумчивости и меланхолии. Бедная Лади, живучи с ним, страдала и томилась, semblable à ces flambeaux, à ces lugubres feux, qui brulent près des morts sans échauffer leur cendre.* — В один бурный вечер он взял ее за руку, привел в густоту парка, и сказал: *я мучил тебя; сердце мое, мертвое для всех радостей, не чувствует цены твоей: мне должно умереть — прости!* В самую сию минуту нещастный Лорд прострелил себе голову, и упал мертвой к ногам оцепеневшей жены своей. — Уже два года покоится в земле прах его. Чувствительная вдова клялась не выезжать из замка, и всякой день проливает слезы на гробе супруга,[4] который был неизъяснимым феноменом в нравственном[5] мире.» — Товарищи мои начали рассуждать о сем происшествии; я молчал.

Верст за пять увидели мы Лондон в густом тумане. Купол церкви Св. Павла гигантски превышал все другия здания. Близь него — так казалось издали — подымался сквозь дым и мглу тонкой высокой столп, монумент, сооруженный в память пожара, который некогда превратил в пепел большую часть города. Через несколько минут открылось потом и Вестминстерское Аббатство, древнее готическое здание, вместе с другими церквами и башнями, вместе с зелеными, густыми парками, зверинцами и рощами, окружающими Лондон. — Надобно было спускаться с горы: я вышел из кареты — и смотря на величественный город, на его окрестности и на большую дорогу, забыл все. Естьли бы товарищи не хватились меня, то я остался бы один на горе и пошел бы в Лондон пешком.

На правой стороне, между зеленых берегов, сверкала Темза, где возвышались бесчисленныя корабельныя мачты, подобно лесу, опаленному молниями. Вот первая пристань в свете, средоточие всемирной торговли!

Мы въехали в Лондон.

---

* подобно факелам, этим мрачным огням, горящим над мертвецами, но не согревающим их праха (*франц.*)

‹135›

Лондон, Июля. . . . 1790.

Париж и Лондон, два первые города в Европе, были двумя Фаросами моего путешествия, когда я сочинял план его. Наконец вижу и Лондон.

Естьли великолепие состоит в огромных зданиях, которыя, подобно гранитным утесам, гордо возвышаются к небу, то Лондон совсем не великолепен. Проехав двадцать или тридцать лучших улиц, я не видал ни одних величественных палат, ни одного огромного дому. Но длинныя, широкия, гладко-вымощенныя улицы; большими камнями устланныя дороги для пеших; двери домов, сделанныя из красного дерева, натертыя воском и блестящия как зеркало; беспрерывный ряд фонарей на обеих сторонах; красивыя площади (Squares), где представляются вам или статуи или другие исторические монументы; под домами богатыя лавки, где, сквозь стеклянныя двери, с улицы видите множество всякого роду товаров; редкая чистота, опрятность в одежде людей самых простых, и какое-то общее благоустройство во всех предметах — образуют картину неописанной приятности, и вы сто раз повторяете: *Лондон прекрасен!* Какая розница с Парижем! Там огромность и гадость, здесь простота с удивительною чистотою; там роскошь и бедность в вечной противоположности, здесь единообразие общего достатка; там палаты, из которых ползут бледные люди в раздранных рубищах: здесь из маленьких кирпичных домиков выходят Здоровье и Довольствие, с благородным и спокойным видом — Лорд и ремесленник, чисто одетые, почти без всякого различия; там распудренный, разряженный человек тащится в скверном фиакре, здесь поселянин скачет в хорошей карете на двух гордых конях; там грязь и мрачная теснота, здесь все сухо и гладко — везде светлый простор, не смотря на многолюдство.

Я не знал, где мне преклонить свою голову в обширном Лондоне, но ехал спокойно, весело; смотрел и ничего не думал. Обыкновенное следствие путешествия и переездов из земли в землю! Человек привыкает к неизвестности, страшной для домоседов. *Здесь есть люди: я найду себе место, найду знакомство и приятности* — вот чувство, которое делает его беззаботным гражданином вселенной! [1]

Наконец карета наша остановилась; товарищи мои выпрыгнули и скрылись. Тут вспомнил я, что и мне надлежало итти куда нибудь с своим чемоданом — куда же? Однажды, всходя в Парижской Отели своей на лестницу, поднял я карточку, на которой было написано: *Г. Ромели в Лондоне, на улице Пель-Мель, в 208 нумере, имеет комнаты для иностранцев.* Карточка сохранилась в моей записной книжке, и друг ваш отправился к Гну Ромели. Вспомните анекдот, что один Француз, умирая, велел позвать к себе *обыкновенного* духовника своего; но посланный возвратился с ответом, что духовника его уже лет двадцать нет на свете. Со мною случилось подобное. Г. Ромели скончался за 15 лет до моего приезда в Лондон! .. Надлежало искать другого пристанища: мне отвели уголок в одном Французском трактире. «Комната не велика (ска-

зал хозяин), и занята молодым Эмигрантом; но он добрый человек, и согласится разделить ее с вами.» Товарища моего не было дома; в горнице не нашел я ничего, кроме постели, гитары, карт и... a black pair of silk breeches.* В ту же минуту явился Английской парикмахер, толстый флегматик, который изрезал мне щеки тупою бритвою, намазал голову салом и напудрил мукою... я уже не в Париже, где кисть искусного, веселого Ролета ** подобно Зефиру навевала на мою голову белейший ароматный иней! На мои жалобы: *ты меня режешь, помада твоя пахнет салом, из пудры твоей хорошо только печь сухари,* Англичанин отвечал с сердцем: I dont understand you, Sir; *я вас не разумею!* И большой человек не есть ли ребенок? Безделица веселит, безделица огорчает его: толстой Лондонской парикмахер грубостью своею как облаком затмил мою душу. Надевая на себя Парижской фрак, я вздохнул о Париже, и вышел из дому в задумчивости, которая однакожь в минуту рассеялась видом прекраснейшей иллюминации.... Едва только закатилось солнце, а все фонари на улицах были уже засвечены; их здесь тысячи, один подле другова, и куда ни взглянешь, везде перспектива огней, которые вдали кажутся вам огненною, беспрерывною нитью, протянутою в воздухе. Я ничего подобного не видывал, и не дивлюсь ошибке одного Немецкого Принца, который, въехав в Лондон ночью и видя яркое освещение улиц, подумал, что город иллюминован для его приезда. Английская нация любит свет, и дает Правительству миллионы, чтобы заменять естественное солнце искусственным. Разительное доказательство народного богатства! Французское Министерство давало пенсии на *лунной свет*; *** гордый Британец смеется, звучит в кармане гинеями, и велит Питту зажигать фонари засветло.

Я люблю большие города и многолюдство, в котором человек может быть уединеннее, нежели в самом малом обществе; люблю смотреть на тысячи незнакомых лиц, которыя, подобно Китайским теням, мелькают передо-мною, оставляя в нервах легкия, едва приметныя впечатления: люблю теряться душею в разнообразии действующих на меня предметов и вдруг обращаться к самому себе, — думать, что я средоточие нравственного мира, предмет всех его движений, или пылинка, которая с мириадами других атомов обращается в вихре предопределенных случаев. Философия моя укрепляется, так сказать, видом людской суетности; напротив того, будучи один с собою, часто ловлю свои мысли на мирских ничтожностях. Свет нравственной,[2] подобно небесным телам, имеет две силы: одною влечет сердце наше к себе, а другою отталкивает его: первую живее чувствую в уединении, другую между людей — но не всякой обязан иметь мои чувства.

Я умствую: извините. Таково действие Английского климата. Здесь родились Невтон, Локк и Гоббес!

---

* ‹пары шелковых черных брюк (*англ.*)›. С которыми отправился Йорик во Францию, как известно.

** Имя моего Парижского парикмахера.

*** В лунныя ночи Париж не освещался; из остатков суммы, определенной на освещение города, давались пенсионы.

Надобно смотреть, надобно описывать. — Ошибаюсь или нет; но мне кажется, что первый взгляд на город дает нам лучшее, живейшее об нем понятие, нежели долговременное пребывание, в котором, занимаясь частями, теряем *чувство целого*. Свежее любопытство ловит главные, отличительные знаки места и людей: то, что собственно называется характером, и что при долгом, *повторительном* рассматривании затемняется в душе наблюдателя. Таким образом, естьли бы я, прожив в Лондоне года два, уехал и захотел себе представить его в картине, то мне надлежало бы оживить в памяти своей сильныя впечатления нынешнего дня.

Кто скажет вам: *шумный Лондон*! тот, будьте уверены,[3] никогда не видал его. *Многолюден,* правда; но тих удивительным образом, не только в сравнении с Парижем, но даже и с Москвою. Кажется, будто здесь люди или со сна не разгулялись, или чрезмерно устали от деятельности, и спешат отдыхать. Естьли бы от времени до времени стук карет не потрясал нерв вашего слуха, то вы, ходя по здешним улицам, могли бы вообразить, что у вас залегли уши. Я входил в разные кофейные домы: двадцать, тридцать человек сидят в глубоком молчании, читают газеты, пьют красное Португальское вино; и хорошо естьли в 10 минут услышите два слова — какия же? your health, gentleman! *ваше здоровье*! Мудрено ли, что Англичане славятся глубокомыслием в Философии? они имеют время думать. Мудрено ли, что Ораторы их в Парламенте заговорив не умеют кончить? им наскучило молчать дома и в публике.

Спокойствие моих ушей давало полную свободу глазам моим заниматься наружностию предметов, особливо лицами. Женщины и в Лондоне очень хороши, одеваются просто и мило; все без пудры, без румян, в шляпках, выдуманных Грациями. Оне ходят как летают; за иною два лакея с трудом успевают бежать. Маленькия ножки, выставляясь из-под кисейной юбки, едва касаются до камней *троттуара*; на белом корсете развевается Ост-Индская *Шаль;* и на Шаль, из-под шляпки, падают светлые локоны. Англичанки по большой части белокуры; но самыя лучшия из них темноволосыя. Так мне показалось; а я, право, смотрел на них с большим вниманием! Взглядывал и на Англичан, которых лица можно разделить на три рода: на угрюмыя, добродушныя и зверския. Клянусь вам, что нигде не случалось мне видеть столько последних, как здесь. Я уверился, что Гогард писал с Натуры. Правда, что такия гнусныя физиогномии встречаются только в низкой черни Лондонского народа; но столь многообразны, живы и разительны, что десяти Лафатеров не достало бы для описания всех дурных качеств, ими изображаемых. Франтов видел я здесь гораздо более, нежели в Париже. Шляпа сахарною головою, густо-насаленные волосы и виски до самых плеч, толстой галстук, в котором погребена вся нижняя часть лица, разинутый рот, обе руки в карманах, и самая непристойная походка: вот их общия приметы! Не думаю, чтобы из тысячи подобных людей вышел один хороший Член Парламента. Борк, Фокс, Шеридан, Питт, в молодости своей верно не бегали по улицам разинями.

Скажите, друзья мои, нашему П., обожателю Англичан, чтоб он тотчас заказал себе дюжину *синих* фраков: это любимый цвет их. Из 50 че-

ловек, которые встретятся вам на Лондонской улице, по крайней мере двадцать увидите в синих кафтанах. Таким важным замечанием могу кончить письмо свое: остальныя наблюдения поберегу для следующих. Скажу только, что я с великим трудом нашел свою *Таверну*. Лондонския улицы все одна на другую похожи; надобно было спрашивать, а я дурно выговаривал имя своей, и не прежде одиннадцати часов возвратился к любезному моему... чемодану.

‹136›

Лондон, Июля.... 1790.

Я не видал еще никого в Лондоне; не успел взять денег у Банкира, но успел слышать в Вестминстерском Аббатстве Генделеву Ораторию, Мессию, отдав за вход последнюю гинею свою. В оркестре было 900 музыкантов. Пели славная в Европе Мара, Синьйора Кантело, Стораче, известный певец Паккиеротти, Норрис и проч. Инструментальною музыкою управлял Г. Крамер. Вообразите действие 600 инструментов и 300 голосов, наилучшим образом согләшенных, — в огромной зале, при бессчисленном множестве слушателей, наблюдающих глубокое молчание! Какая величественная гармония! какия трогательныя арии! гремящие хоры! быстрыя перемены чувств! После священного ужаса, вселяемого ариею: who shall stand when he appears,* вы в восторге от хора: arise, shine, for thy light is come.** Печаль, грусть обнимает[1] сердце, когда Мара поет о Христе: he was a man of sorrows, and acquainted with grief.*** Так называемые *семи-хоры*, вопросами и ответами, производят удивительное действие. Один: who is the king of glory? Другой: The Lord, strong and mighty. — Who is the king of glory? The Lord of Hosts.**** После чего семи-хор повторяется всем хором. Я плакал от восхищения, когда Мара пела арию: I know that my Redeemer lives — и дуэт с Паккиеротти: O Death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? ***** Я слыхал музыку Перголезиеву, Иомеллиеву, Гайденову, но не бывал ничем столько растроган, как Генделевым Мессиею. И печально и радостно, и великолепно и чувствительно! —

Оратория разделяется на три части; после каждой музыканты отдыхали, а слушатели, пользуясь тем временем, завтракали. Я был в ложе с одним купеческим семейством. Меня посадили на лучшем месте и кормили пирогами, но нимало не думали занимать разговором. Лишь

---

* Кто устоит пред лицем Его, и проч.

** Восстань и сияй, ибо явился свет Твой.

*** Он испытал горесть, узнал печаль.

**** Кто Царь славы? Господь небесных воинств.

***** Жив, жив Спаситель мой!... О Смерть! Где твое жало? Могила! где победа твоя?

только Король с Фамилиею вошел в ложу свою, один из моих товарищей ударил меня по плечу и сказал: «вот наш добрый Джордж с добрыми детьми своими! Я нарочно наклонюсь, чтобы вы могли лучше видеть их.» Это мне очень полюбилось, и полюбилось бы еще более, естьли бы он не так сильно ударил меня по плечу. — Вот другой случай: к нам вошла женщина с *аффишами*, и втерла мне в руки листочек, для того, чтобы взять с меня 6 пенсов. Старший из фамилии выдернул его у меня с сердцем[2] и бросил женщине, говоря: «ему не надобно; ты хочешь отнять у него деньги; это стыдно. Он иностранец, и не умеет отговориться.» Хорошо, подумал я: но для чего ты, господин Британец, вырвал листок с такою грубостию? для чего задел меня им по носу?

Между тем я с приятным любопытством рассматривал Королевскую Фамилию. У всех добродушныя лица, и более Немецкия, нежели Английския. Вид у Короля самый здоровый; никаких следов прежней его болезни в нем не приметно. Дочери похожи на мать: совсем не красавицы, но довольно миловидны. Принц Валлисской хороший мущина; только слишком толст.[3]

Тут видел я всю лучшую Лондонскую публику. Но всех более занимал меня молодой человек в сереньком фраке, видом весьма обыкновенный, но умом своим редкий; человек, который в летах цветущей молодости живет единственно честолюбием, имея целию пользу своего отечества; родителя славного сын достойный, уважаемый всеми истинными патриотами — одним словом, Вильгельм Питт! У него самое Английское, покойное и даже немного флегматическое лицо, на котором однакожь изображается благородная важность и глубокомыслие. Он с великим вниманием слушал музыку — говорил с теми, которые сидели подле него — но более казался задумчивым. В наружности его нет ничего [4]особенного, приятного.[4] — — Слышав Генделя и видев Питта, не жалею своей гинеи.[5]

Эта Оратория дается каждый год, в память сочинителю и в знак признательности Английского народа к великим его талантам. Гендель жил и умер в Лондоне.

Из Вестминстерского Аббатства прошел я в славный Сент-Джемской парк — несколько изрядных липовых алей, обширный луг, где ходят коровы, и более ничего!

‹137›

Лондон, Июля. . . . 1790.

С помощию моих любезных земляков нашел я в Оксофортской улице, близ Cavendich Square,* прекрасныя три комнаты за полгинею в неделю; оне составляют весь второй этаж дома, в котором живут две сестры хозяйки, служанка Дженни, ваш друг — и более никого. «Один мущина

* Кавендши-сквер (*англ.*)

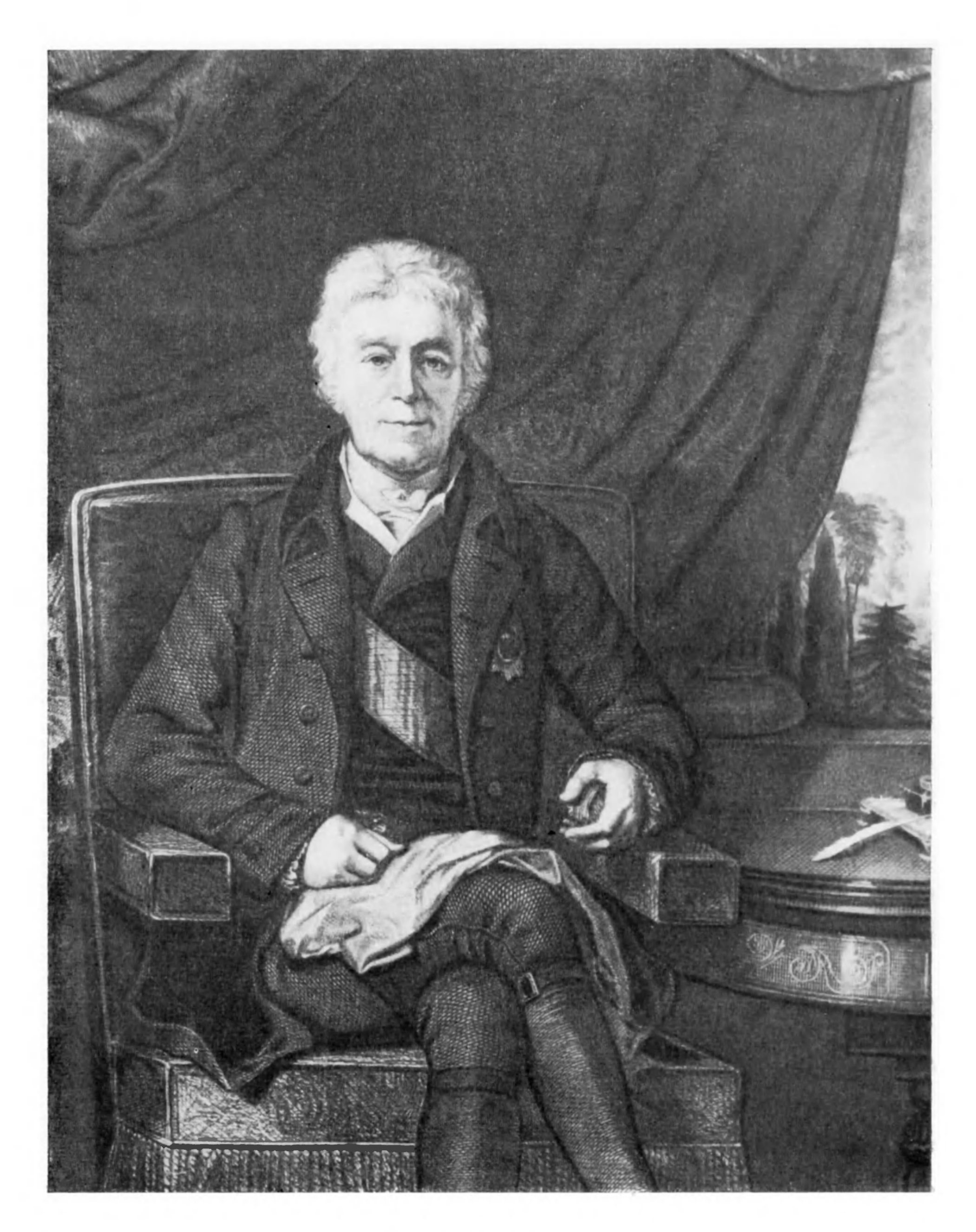
с тремя женщинами! как страшно или весело!» Ни мало. Хозяйки мои украшены нравственными[1] добродетелями и седыми волосами; а служанка успела уже рассказать мне тайную историю своего сердца: Немец ремесленник пленился ею и скоро будет щастливым ея супругом. В 8 часов утра приносит она мне чай с сухарями, и разговаривает со мною о Фильдинговых и Ричардсоновых романах. Вкус у нее странной: на пример, Ловелас кажется ей несравненно любезнее Грандиссона. Обожая Клементину, Дженни смеется над девицею Байрон, а Клариссу называет умною дурою. Таковы Лондонския служанки!

В каждом городе самая примечательнейшая вещь есть для меня... самый город. Я уже исходил Лондон вдоль и поперег. Он ужасно длинен, но в иных местах очень узок; в окружности же составляет верст пятьдесят. Распространяясь беспрестанно, он скоро поглотит все окрестныя деревни, которыя исчезнут в нем как реки в Океане. *Вестминстер* и *Сити* составляют главныя части его: в первом живут по большой части свободные и достаточные люди, а в последнем купцы, работники, матрозы: тут река с великолепными своими мостами, тут Биржа; улицы теснее, и везде множество народу. Тут не видите уже той приятной чистоты, которая на каждом шагу пленяет глаза в Вестминстере. Темза, величественная и прекрасная, совсем не служит к украшению города, не имея хорошей набережной (как на пример Нева в Петербурге, или Рона в Лионе), и будучи с обеих сторон застроена скверными домами, где укрываются самые бедные жители Лондона. Только в одном месте сделана на берегу терраса (называемая *Адельфи*), и к нещастью в таком, где совсем не видно реки под множеством лодок, нагруженных земляными угольями. Но и в этой неопрятной части города находите везде богатыя лавки и магазины, наполненные всякого рода товарами, Индейскими и Американскими сокровищами, которых запасено тут на несколько лет для всей Европы. Такая роскошь не возмущает, а радует сердце, представляя вам разительный образ человеческой смелости, нравственного[2] сближения народов и общественного просвещения! Пусть гордый богачь, окруженный произведениями всех земель, думает, что услаждение его чувств есть главный предмет торговли! Она, питая бесчисленное множество людей, питает деятельность в мире, переносит из одной части его в другую полезныя изобретения ума человеческого, новыя идеи, новыя средства утешаться жизнию. —

Нет другого города столь приятного для пешеходцев, как Лондон: везде подле домов сделаны для них широкие *троттуары*, которые по-Руски можно назвать *намостами*; их всякое утро моют служанки (каждая перед своим домом), так что и в грязь и в пыль у вас ноги чисты. Одно только не нравится мне в этом *намосте*; а именно то, что беспрестанно видишь у ног отверстия, которыя ночью закрываются, а днем не всегда; и естьли вы хотя мало задумаетесь, то можете попасть в них как в западню. Всякое отверстие служит окном для кухни, или для какой нибудь Таверны; или тут ссыпают земляные уголья; или тут маленькая лестница для схода вниз. Надобно знать, что все Лондонские домы стро-



Н. М. Карамзин в 1800-е гг.



С. Р. Воронцов.

ятся с подземельною частию, в которой бывает обыкновенно кухня, погреб и еще какия нибудь, очень несветлыя горницы для слуг, служанок, бедных людей. В Париже нищета взбирается под облака, на чердак; а здесь опускается в землю. Можно сказать, что в Париже носят бедных на головах, а здесь топчут ногами.

Домы Лондонские все малы, узки, кирпичные, не беленые (для того, чтобы вечная копоть от угольев была на них менее приметна), и представляют скучное, печальное единообразие; но внутренность мила: все просто, чисто и похоже на сельское. Крыльцо и комнаты устланы прекрасными коврами; везде светлое красное дерево; нигде не увидишь пылинки; нет больших зал, но все уютно и покойно. Всех приходящих к хозяину или к хозяйке вводят в горницу нижнего этажа, которая называется parlour;* одни родные или друзья могут войти во внутренния комнаты. — Ворот здесь нет: из домов на улицу делаются большия двери, которыя всегда бывают заперты. Кто придет, должен стучаться медною скобою в медный замок: слуга один раз, гость два, хозяин три раза. Для карет и лошадей есть особливые конюшенные дворы; при домах же бывают самые маленькие дворики, устланные дерном; иногда и садик, но редко, потому что места в городе чрезмерно дороги. Их по большой части отдают здесь на выстройку: возьми место, построй дом, живи в нем 15 или 20 лет, и после отдай все тому, чья земля.

Что, естьли бы Лондон при таких широких улицах, при таком множестве красивых лавок, был выстроен как Париж? Воображение не могло бы представить ничего великолепнее. —

Не скоро привыкнешь к здешнему образу жизни, к здешним поздним обедам, которые можно почти назвать ужинами. Вообразите, что за стол садятся в 7 часов! Хорошо тому, кто спит до одиннадцати; но каково мне, привыкшему вставать в восемь? Брожу по улицам; любуюсь, как на вечной ярмонке, разложенными в лавках товарами; смотрю на смешныя каррикатуры, выставляемыя на дверях, [3] в *эстампных кабинетах*,[3] и дивлюсь охоте Англичан. Как Француз на всякой случай напишет песенку, так Англичанин на все выдумает каррикатуру. На пример, теперь Лондонский Кабинет ссорится с Мадритским за Нутка-Соунд. Чтожь представляет каррикатура? Министры обоих Дворов стоят по горло в воде и дерутся в кулачки; у Гишпанского кровь бьет уже фонтаном из носу. — Захожу завтракать в пирожныя лавки, где прекрасная ветчина, свежее масло, славные пироги и конфекты; где все так чисто, так прибрано, что любо взглянуть. Правда, что такие завтраки не дешевы, и меньше двух рублей не заплатишь, естьли аппетит хорош. Обедаю иногда в кофейных домах, где за кусок говядины, пудинга и сыру берут также рубли два. За то велика учтивость: слуга отворяет вам дверь, и миловидная хозяйка спрашивает ласково, что прикажете? — Но всего чаще обедаю у нашего Посла, Г. С. Р. В., человека умного, достойного, приветливого,[4] который живет совершенно по-Английски, любит Англичан и любим ими. Всегда нахожу у него человек пять или шесть, по большой части иностранных

---

* гостиная (*англ.*)

Министров. Обхождение Графа приятно и ласково без всякой излишней короткости. Он истинный патриот, знает хорошо Рускую Историю, Литтературу, и читал мне наизусть лучшия места из Од Ломоносова. Такой посол не уронит своего Двора; за то Питт и Гренвиль очень уважают его. Я заметил, что здешния Министерския конференции бывают без всяких чинов. В назначенный час Министр к Министру идет пешком, в фраке. Хозяин, как сказывают, принимает в сертуке; подают чай — высылают слугу — и, сидя на диване, решат важное политическое дело. Здесь нужен ум, а не пышность. Наш Граф носит всегда синий фрак и маленькой кошелек, который отличает его от всех Лондонских жителей: потому что здесь никто кошельков не носит. На лето нанимает он прекрасный сельской дом в Ричмонде (верстах в 10 от Лондона), где я также у него был и ночевал.

Вчерашний день пригласил меня обедать богатый Англичанин Бакстер, Консул, в загородный дом свой, близь Гайд-Парка. В ожидании шести часов я гулял в Парке, и видел множество Англичанок верхом. Как оне скачут! Приятно смотреть на их смелость и ловкость; за каждою берейтер. День был хорош: но вдруг пошел дождь. Все мои Амазонки спешились, и под тению древних дубов искали убежища. Я осмелился с одной из них заговорить по-Французски. Она осмотрела меня с головы до ног; сказала два раза oui, два раза non * — и более ничего. Все [5] хорошо-воспитанные [5] Англичане знают Французской язык, но не хотят говорить им, и я теперь крайне жалею, что так худо знаю Английской. Какая розница с нами! У нас всякой, кто умеет только сказать: comment vous portez-vous? ** без всякой нужды коверкает Французской язык, чтобы с Руским не говорить по-Руски; а в нашем так называемом *хорошем обществе* без Французского языка будешь глух и нем. Не стыдно ли? Как не иметь народного самолюбия? За чем быть попугаями и обезьянами вместе? Наш язык и для разговоров право не хуже других; надобно только, чтобы наши умные светские люди, особливо же красавицы, поискали в нем выражений для своих мыслей. Всего же смешнее для меня наши *остроумцы*, которые хотят быть Французскими Авторами. Бедные! они щастливы тем, что Француз скажет об них: pour un étranger, Monsieur n'écrit pas mal! ***

Извините, друзья мои, что я так разгорячился, и забыл, что меня Бакстер ждет к обеду — совершенно Английскому, кроме Французского супа. Ростбив, *потаты,***** пудинги, и рюмка за рюмкой Кларету, Мадеры! Мущины пьют, женщины говорят между собою потихоньку, и скоро оставляют нас одних; снимают скатерть, кладут на стол какия-то пестрыя салфетки, и ставят множество бутылок; снова пить — *тосты*, здоровья! Всякой предлагает свое; я сказал: *вечный мир и цветущая торговля*! Англичане мои сильно хлопнули рукою по стулу, и выпили до дна.

---

* да ... нет (*франц.*)

** как вы поживаете? (*франц.*)

*** для иностранца мосье пишет неплохо! (*франц.*)

**** земляные яблоки

В 9 часов мы встали, все розовые; пошли к Дамам пить чай, и наконец всякой отправился домой. Это, говорят, весело! По крайней мере не мне. Не для того ли пьют Англичане, что у них вино дорого? они любят хвастаться своим богатством. Или холодная кровь их имеет нужду в разгорячении?

‹138›

Лондон, Июля... 1790.

Нынешний день провел я как Говард — осматривал темницы — хвалил попечительность Английского Правления, сожалел о людях, и гнушался людьми.

Лучше, естьли бы совсем не было нужды в тюрьмах; но когда бедный человек все еще проказит и безумствует, то Английския должно назвать благодеянием человечества, и Французская пословица: il n'y a point de belles prisons * здесь отчасти несправедлива.

Я хотел видеть прежде Лондонское судилище, Justice-Hall,** где каждыя 6 недель сбираются [1] так называемые *присяжные,* Jury, и судьи для решения уголовных дел. Здесь, друзья мои, отдайте пальму Английским законодателям, которые умели жестокое правосудие смягчить человеколюбием, не забыли ничего для спасения невинности и не боялись излишних предосторожностей. Расскажу вам порядок следствий.

Так называемый *мирный судья* есть в Англии первый разбиратель всех доносов; он призывает к себе обвиняемого, дает очную ставку и возвращает ему свободу, естьли донос оказывается не основательным; в противном же случае обязывает его явиться в суд, или, когда преступление важно, отсылает в темницу. Потом другой судья, именуемый Шерифом, избирает от 12 до 24 присяжных (всякого состояния людей, известных по своему доброму поведению), которые снова должны рассмотреть обстоятельства доноса; и естьли 12 из них не признают доказательств вероятными, то обвиняемый выпускается; а естьли признают, то начинается формальное дело — таким образом:

В день решительного заседания преступник является в суде, выслушивает на себя донос, и на вопрос: «как хочет быть судим?» отвечает: «по совести и закону моего отечества.» Шериф избирает тогда других присяжных ровно 12, и судимый имеет право уничтожить их выбор, доказывая, что они по чему нибудь могут быть пристрастны; и даже без всяких причин может отвергнуть по закону 20 человек. Когда же присяжные выбраны, тогда, дав клятву быть верными совести, садятся на свои кресла, и вместе с судьями выслушивают дело, в присутствии многочис-

---

* То есть: «нет на свете хороших темниц».
** Дворец правосудия (*англ.*)

ленных зрителей. Доносчик обвиняет, судимый оправдывается, сам или через своего адвоката; представляют свидетелей — и наконец, по разобрании всех обстоятельств, один из судей снова предлагает их в ясном сокращении. Присяжные идут в другую комнату, запираются и судят единственно по гласу совести; закон не велит им ни пить ни есть, пока они на что нибудь единодушно не согласятся. Вышедши оттуда, говорят только одно слово: *виноват* или *невиноват*, и дело решено без всякой аппелляции. Естьли скажут: *виноват*, то судьи прибирают только закон на вину, держась его точного смысла, и не входя ни в какия произвольныя изъяснения, так что в Англии не будет наказано и самое важное преступление, естьли закон именно не определяет его. Следственно здесь нет человека, от которого зависела бы жизнь другова! Не только осудить, но даже и судить не льзя никого без согласия 12 знаменитых граждан. За то Англичане и хвалятся своими уголовными законами более, нежели чем нибудь, называя установление присяжных священным и божественным. Рассказывают много удивительных случаев, в которых темное чувство истины спасало невинных вопреки всем вероятностям. На пример: недавно один ремесленник был судим в убийстве; разныя улики обвиняли его; 11 присяжных согласились произнести решительное слово: *виноват*! двенадцатой не хотел. Товарищи требовали от него причин. «Не знаю, отвечал он: но вид этого человека говорит моему сердцу в его пользу; и я скорее умру с голода, нежели обвиню.» Прошел целый день в споре; и наконец присяжные, изнуренные усталостию, решились оправдать судимого. Через несколько дней нашелся другой убийца: ремесленник был невинен.

Из городского судилища сделан подземельный ход в Невгат, ту славную темницу, которой имя прежде всего узнал я из Английских романов. Здание большое и красивое снаружи. На дворе со всех сторон окружили нас заключенные, по большой части важные преступники, и требовали подаяния. Зная опытом, что и на Лондонских улицах беспрестанно должно смотреть на часы и держать в руке кошелек, я тотчас схватился за свои карманы среди изобличенных воров и разбойников: но тюремщик, поняв мое движение, сказал с видом негодования: «государь мой! рассыпьте вокруг себя гинеи; их здесь не тронут: таков заведенный мною порядок.» — Для чего же не сделают вас Лондонским Полицеймейстером? спросил я; и в доказательство, что верю ему, спрятал обе руки в жилет, бросив колодникам несколько шиллингов. — Мы переходили из коридора в коридор: везде чистота, везде свежий воздух, заражаемый только ядовитым дыханием преступников. Тюремщик, вводя нас в разныя комнаты, говорил: «здесь сидит *господин* убийца, здесь *господин* вор, здесь *госпожа* фальшивая монетчица!» Не можете вообразить, какия гнусныя лица представлялись глазам моим! Порок и злодейство страшно безобразят людей! Признаюсь, что я сжав сердце ходил за надзирателем, и несколько раз спрашивал: *все ли*? Но он хвастался перед нами обширностию своего владения и множеством ему подвластных. В одной комнате заключен молодой человек. Дверь отворилась: он сидел на стуле и писал; приподнял голову, и с ласковым видом нам поклонился. Приятное и том-

ное лице его казалось чуждым злодеянию. Тем более я содрогнулся, когда тюремщик сказал нам, что он хотел умертвить госпожу свою и — любовницу. Она не считала за преступление изменить молодому камердинеру своему; а камердинер, в минуту исступления, выхватил кинжал, и ранил ее в руку. Желаю знать решение присяжных.

В Невгате заключаются не только преступники, но и бедные должники: они разделены с первыми одною стеною. Такое соседство ужасно! И добрый человек может разориться: каково же дышать одним воздухом с злодеями и видеть перед своими окнами казнь их?* С некоторого времени Правительство посылает осужденных в Ботани-Бейскую колонию: от чего Невгат называют ея преддверием; но не чудно ли вам покажется, что некоторые лучше хотят быть с *честию повешены* в Англии, нежели плыть так далеко? «Мы любим свое отечество (говорят они) и не терпим дурного общества.»

Я читал в Архенгольце описание Кингс-Бенча,** или темницы для неплатящих должников, — описание, которое может прельстить воображение читателей. Он говорит о приятном местоположении, о садах, о залах великолепно украшенных, о балах, концертах и весельях всякого роду. Одним словом, сей известный Англоман описывает тюрму едва ли не такими живыми красками, какими Тасс изобразил волшебное жилище Армиды. Сказать вам правду, я не нашел сходства в оригинале Кингс-Бенча с портретом живописца Архенгольца. Вообразите большое место, обнесенное высокою стеною; несколько маленьких домиков, бедно прибранных; множество людей неопрятно одетых, из которых одни ходят в задумчивости по маленькой площади, другие играют в карты или, читая газеты, зевают: вот Кингс-Бенч! Я не видал ничего похожего на сад; но то правда, что есть лавки, в которых покупают и продают заключенные; есть и кофейные домы, которых содержатели сами за долги содержатся в Кингс-Бенче — это довольно странно! Портные, сапожники, и самыя Нимфы Венерины, там сидящия, отправляют свое ремесло. Но между ими нет ни одной замужней женщины. По Английским законам в рассуждении долгов всегда муж за жену отвечает; она дает на себя обязательство, а он бедняк или платит, или идет в тюрьму. Последнее спасение для девицы или вдовы, которая не может удовольствовать своих заимодавцев, есть в Англии замужство.

После Кингс-Бенча хотел я видеть заключенных другого роду — пришел к огромному замку, к большим воротам — и глаза мои, при входе, остановились на двух статуях, которыя весьма живо представляют *безумие печальное* и *свирепое*... «Это Бедлам!» скажете вы, и не ошибетесь. Надлежало сыскать надзирателя, который из учтивости сам пошел с нами. Предлинныя галлереи разделены железною решеткою: на одной стороне женщины, на другой мущины. В коридоре окружили нас первыя, рассматривали с великим вниманием, начинали говорить между собою

---

* Злодеев казнят перед самым Невгатом.

** Выгода сидеть в Кингс-Бенче, а не в другой тюрьме, покупается деньгами; кто не может ничего дать, того отправляют в Невгат.

сперва тихо, потом громче и громче, и наконец так закричали, что надобно было зажать уши. Одна брала меня за руку, другая за пучок, третья хотела сдуть пудру с головы моей — и не было конца их ласкам. Между тем некоторыя сидели в глубокой задумчивости. «Это сумасшедшия от любви, сказал надзиратель: оне всегда смирны и молчаливы.» И так нежнейшая страсть человеческого сердца и в самом безумии занимает еще *всю душу*! *сон для внешних предметов* все еще продолжается!... Я подошел к одной молодой, бледной женщине, и смотрел на нее. Нам рассказали ея историю. Она Француженка, ушла от своих родителей с любовником, молодым Англичанином, приехала в Лондон, и скоро лишилась своего друга: он умер горячкою. Разум ея после жестокой болезни повредился. Я начинал говорить с нею: она кланялась и не отвечала ни слова. Другая женщина, лет в 40, сидела на полу и смотрела в землю: нещастная думает, что она приговорена к смерти и будет сожжена на костре; ничто не может ее разуверить — и когда день пройдет, она говорит: «завтра, завтра сожгут меня!» Какое ужасное состояние! — Многие из мущин заставили нас смеяться. Иной воображает себя пушкою, и беспрестанно палит ртом своим; другой ревет медведем и ходит на четвереньках. Бешеные сидят особливо; иные прикованы к стене. Один из них беспрестанно смеется, и зовет к себе людей, говоря: «я щастлив! подите ко мне; я вдохну в вас блаженство!» Но кто подойдет, того укусит. — Порядок в доме, чистота, услуга и присмотр за нещастными достойны удивления. Между комнатами сделаны бани, теплыя и холодныя, которыми Медики лечат их. Многие выздоравливают; и при выпуске каждый получает безденежно нужныя лекарства для укрепления души и тела. — Надзиратель провел нас в сад, где гуляли самые смирные из безумных. Один читал газеты: я заглянул в них и сказал: «это старыя.» Безумный улыбнулся очень умно, приподнял свою шляпу и вежливым тоном отвечал мне: «государь мой! мы живем в другом свете; что у вас старо, то у нас еще ново!»

В Бедламе кончил жизнь свою Английской Трагик Ли. Может быть вы не знаете об нем следующего забавного анекдота. Один приятель посетил его в доме сумасшедших. Ли чрезвычайно ему обрадовался, говорил очень умно и привел его на высокую террасу; задумался и сказал: «Мой друг! хочешь ли быть вместе со мною бессмертным? Бросимся с этой террасы: там внизу, на острых камнях, ожидает нас славная смерть!» — Приятель увидел опасность, но отвечал ему равнодушно: «ничего не мудрено броситься сверху; гораздо славнее сойти вниз, и оттуда вспрыгнуть на террасу.» — Правда, правда! закричал стихотворец и побежал с лесницы; а приятель между тем убрался домой. —

Бедламу обязан я некоторыми мыслями, и предлагаю их на ваше рассмотрение. Не правда ли, друзья мои, что в наше время гораздо более сумасшедших, нежели когда нибудь? от чего же? от сильнейшего действия страстей, как мне кажется. Не говорю о физических причинах безумия, действующих гораздо реже нравственных.[2] На пример: когда бывало столько самоубийств от любви, как ныне? Мущины стреляются, а нежная, кроткая женщина сходит с ума. Древние не знали романов;

рыцари средних веков были честны в любви, но шумная и воинственная жизнь их не давала ей чрезмерно усилиться в сердце. Напротив того в нашем образе жизни, покойной, роскошной, утонченной — в свете, где желание нравиться есть первое и последнее чувство молодых и старых; на театре, который можно назвать *театром любви*; в книгах, усеянных, так сказать, ея цветами — все, все наполняет душу горючим веществом для огня любовного. Девушка двенадцати лет, побывав несколько раз в спектакле, начинает уже задумываться; женщина в 45 лет все еще томится нежностию: та и другая любит *воображением*; одна угадывает, другая воспоминает — но я право не удивлюсь теперь, естьли покажут мне десяти- или шестидесятилетнюю Сафу! Мущины тоже; и пусть скажут нам, в какое другое время бывало столько молодых и старых Селадонов и Альцибиадов, сколько их видим ныне? — Возьмем в пример и славолюбие: утверждаю, что оно в нынешний век еще сильнее действует, нежели прежде. Я люблю верить всем великим делам древних Героев; положим, что Кодры и Деции давали убивать себя, и что Курции бросались в пропасть: но фанатизм Религии конечно более славолюбия участвовал в их героизме.* Тогда же войны были *народныя*; всякой дрался за *свои* Афины, за *свой* Рим. Ныне совсем другое; ныне Француз или Гишпанец служит волонтером в Руской армии единственно из чести; дерется храбро и умирает: вот славолюбие!

Душа, слишком чувствительная к удовольствиям страстей, чувствует сильно и неприятности их: рай и ад для нее в соседстве; за восторгом следует или отчаяние или меланхолия, которая столь часто отворяет дверь.... в дом сумасшедших.

‹139›

Лондон, Июля... 1790.

Здесь терпим всякой образ Веры; и есть ли в Европе хотя одна Христианская Секта, которой бы в Англии не было? Пуритане или Кальвинисты, Методисты или Набожные, Пресвитириане, Социане, Унитане, Квакеры, Геррнгуторы; одним словом, чего хочешь, того просишь. Все же те, которые не принадлежат к главной или Епископской церкви, называются Диссентерами. Мне хочется видеть служение каждой Секты — и нынешний день началось мое пилигримство с Квакеров. В 12 часов я пришел к ним в церковь: голыя стены, лавки и кафедра. Все одеты просто; женщины не только без румян и пудры, но даже и ленточки ни на одной не увидите; мущины в темных кафтанах без пуговиц и складок. Всякой войдет с постным лицом, ни на кого не взглянет, никому не поклонится, сядет на место и углубится в размышление. Вы знаете, что у них нет

* О рыцарстве средних веков можно сказать тоже.

ни священников, ни учителей, и в церкви проповедуют единственно те, которые вдруг почувствуют в себе действие Св. Духа. Тогда вдохновенный стремится на кафедру, говорит от полноты сердца, а другие слушают с благоговением. Я крайне любопытствовал видеть такое явление, и смотрел на все лица, чтобы схватить, так сказать, первыя черты вдохновения. Проходит час, другой: царствует глубокое молчание, которое изредка перерывается.... кашлем. Все физиогномии покойны; никто не кривляется; многие засыпают — и друг ваш с ними. Просыпаюсь — смотрю на часы: три — а все еще никто не говорит. Дожидаюсь, снова зеваю, снова засыпаю — наконец вижу пять часов, лишаюсь терпения, и ухожу ни с чем. Господа Квакеры! вперед вы меня не заманите!

‹140›

Биржа и Королевское Общество.

Англичанин царствует в Парламенте и на Бирже; в первом дает он законы самому себе, а на второй целому торговому миру.

Лондонская Биржа есть огромное, четвероугольное здание, с высокою башнею (на которой, вместо флюгера, видите изображение сверчка *) с колоннадами, портиками и с величественными аркадами над входом. Вошедши во внутренность, прежде всего встречаете глазами статую Карла II, на высоком мраморном подножии, и читаете в надписи самую грубую лесть и ложь: *отцу отечества, лучшему из Королей, утехе рода человеческого*, и проч. Кругом везде Амуры, не без смысла тут поставленные: известно, что Карл II *любил любить*. Стоя на этом месте куда ни взглянете, видите галлерею, где, под аркадами, собираются купцы, всякой день в 11 часов, и ходя взад и вперед, делают свои дела до трех. Тут человек человеку даром не скажет слова, даром не пожмет руки. Когда говорят, то идет торг; когда схватятся руками, то дело решено, и кораблю плыть в Новый Йорк или за Мыс Доброй Надежды. Людей множество, но тихо; кругом жужжат, а не слышно громкого слова. На стенах прибиты известия о кораблях, пришедших или отходящих; можете плыть, куда только вздумаете: в Малабар, в Китай, в Нутка-Соунд, в Архангельск. Капитан всегда на бирже; уговоритесь — и Бог с вами! — Тут славный Лойдов кофейный дом, где собираются Лондонские страховщики, и куда стекаются новости из всех земель и частей света; тут лежит большая книга, в которую оне вписываются для любопытных, и которая служит магазином для здешних журналистов. — Подле Биржи множество кофейных домов, где купцы завтракают и пишут. Господин С* ввел меня в один из них — представьте же себе мое удивление: все люди заговорили со мною по-Руски! Мне казалось, что я движением какого нибудь волшебного прутика перенесен в мое отечество. Открылось, что

---

* Сверчок был гербом Архитектора Биржи.

в этом доме собираются купцы, торгующие с Россиею; все они живали в Петербурге, знают язык наш, и по своему приласкали меня.

Нынешний же день был я в Королевском Обществе. Г. Пар**, Член его, ввел меня в это славное ученое собрание. С нами пришел еще молодой Шведской Барон Сил*, человек умный и приятный. Входя в залу собрания, он взял меня за руку и сказал с улыбкою: «здесь мы друзья, государь мой*; храм Наук есть храм мира.» Я засмеялся, и мы обнялись по-братски; а Г. Пар* закричал: «браво! браво!» Между тем Англичане, которые никогда не обнимаются, смотрели на нас с удивлением: им странно казалось, что два человека пришли в ученое собрание целоваться!... Профаны! вы не разумели нашей Мистики; вы не знали, что мы подали хороший пример [1] воюющим державам,[1] и что по тайной симпатии действий оне скоро ему последуют!

В большой зале увидели мы большой стол, покрытый книгами и бумагами; за столом, на бархатных креслах, сидел Президент, Г. Банкс, в шляпе; перед ним лежал золотой скипетр, в знак того, что просвещенный ум есть царь земли. Секретари читали переписку, по большой части с Французскими Учеными. Г. Банкс всякой раз снимал шляпу и говорил: «изъявим такому-то Господину благодарность нашу за его подарок!» — Он сказывал свое мнение о книгах, но с великою скромностию. — Читали еще другия бумаги, из которых я не разумел половины. Через два часа собрание кончилось, и Г. Пар* подвел меня к Президенту, который дурно произносит, но хорошо говорит по-Французски. Он человек тихой, и для Англичанина довольно приветливой.

‹141›

Лондон, Июля.... 1790.

Хотя Лондон не имеет столько примечания достойных вещей, как Париж, однакожь есть что видеть, и всякой день употребляю несколько часов на осматривание зданий, общественных заведений, Кабинетов; на пример, нынешний день видел у Г. Толе (Towley) редкое собрание антиков, Египетския статуи, древние барельефы, между которыми живет хозяин, как скупец между сундуками.

Англия, богатая Философами и всякого роду Авторами, но бедная художниками, произвела наконец несколько хороших живописцев, которых лучшия историческия картины собраны в так называемой *Шекспировой галлерее.* Г. Бойдель вздумал, а художники и Публика оказали всю возможную патриотическую ревность для произведения в действо щастливой идеи, изобразить лучшия сцены из Драм бессмертного Поэта, как для славы его, так и для славы Английского Искусства. Охотники сыпали деньгами для ободрения талантов, и более двадцати живописцев неуто-

---

* Тогда была у нас война со Швециею.

мимо трудятся над обогащением галлереи, в которой был я несколько раз с великим удовольствием. Зная твердо Шекспира, почти не имею нужды справляться с описанием, и смотря на картины, угадываю содержание. Всего более нравится мне работа Фисли, старинного Лафатерова друга; * он выбирает из Шекспира самое фантастическое или *мечтательное,* и с удивительною силою, с удивительным богатством воображения дает *вещественность воздушным его творениям, дает им имя и место,* a local habitation and a name, как сказал один Англичанин. Естьли бы воскрес мечтатель-Поэт, как бы обнял он мечтателя-живописца! Картины Гамильтоновы, Ангелики Кауфман, Вестовы, также очень хороши и выразительны. — Тут же видел я рисунки всех картин Орфордова собрания, купленного нашею Императрицею.

Здешняя церковь Св. Павла почти столько же славна, как Римская Св. Петра, и есть конечно вторая в свете по наружному своему [1] великолепию; вы [1] видали рисунки той и другой: есть сходство, но много и различия. Избавлю себя и вас от подробностей; не хочу говорить о *стиле,* о бесчисленных колоннах, фронтонах, статуях Апостолов, Королевы Анны, Великобритании с копьем, Франции с короною, Ирландии с арфою, Америки с луком; и даже не скажу ни слова о величественном куполе. Все это превозносится и знатоками и невеждами. Я заметил для себя одну прекрасную аллегорию; на фронтоне портика изображен феникс, вылетающий из пламени, с Латинскою надписью: *воскресаю!* что имеет отношение к возобновлению этой церкви, разрушенной пожаром. Окружающий ее балюстрад считается первым в свете. Жаль, что она сжата со всех сторон зданиями, и не имеет большой площади, на которой огромность ея показалась бы несравненно разительнее! Жаль также, что Лондонской вечной дым не пощадил великолепного храма и закоптил его снизу до самого золотого шара, служащего ему короною! Вошедши во внутренность, я спешил, по совету моего вожатого, на середину церкви, и остановясь под самым куполом, долго смотрел вверх и вокруг себя. Вы думаете, что друг ваш, пораженный величеством храма, был в восхищении! Нет; мысль, которая вдруг пришла мне в голову, все испортила: «что значат все наши своды перед сводом неба? сколько надобно ума и трудов для произведения столь неважного действия? не есть ли Искусство самая бесстыдная обезьяна Природы, когда оно хочет спорить с нею в величии!» Между тем Чичероне мой говорил: «смотрите на эту гордую аркаду, на щиты, на фестоны, на все украшения; смотрите на живопись купола, на славные органы, на колонны галлереи, и согласитесь, что вы не видали ничего подобного!» — В так называемом *Хоре* сделан трон для Лондонского Епископа и место Лондонского Лорда-Мера... Вдруг началось в церкви пение столь приятное, что я забыл смотреть, слушал и пле-

---

* В молодости своей оба они влюбились в одну девицу: Лафатер пожертвовал ему своею любовью. Фисли, уехав в Италию и посвятив себя Искусству, перестал отвечать на письма своего друга; но Лафатер всегда говорит об нем с чувством и с жаром.

нялся во глубине души моей. Прекрасные мальчики, в белом платье, пели хором: они казались мне Ангелами! Что может быть прелестнее гармонии человеческих голосов? Это непосредственный орган божественной души! Декарт, который всех животных, кроме человека, хотел признавать машинами, не мог слушать соловьев без досады; ему казалось, что нежная Филомела, трогая душу, опровергает его систему; а система, как известна, всего дороже Философу! Каково же Материалисту слушать пение человеческое? Ему надобно быть глухим или чрезмерно упрямым. — Служение кончилось, и вожатой предложил мне итти в верхния галлереи, вместе с Французским Маркизом и женою его. Маркиз задохнулся и сел на первой галлерее; но Француженка всходила бодро, и хотела быть на самом верху. Начались трудныя ступени, темные, узкие переходы: Маркиза не отставала и кричала мне: *далее*! Montez toujours! Я был на Стразбургской башне, на Альпийских горах, но устал до смерти, и естьли бы не постыдился женщины, то отказался бы от славы быть на высочайшем пункте Лондона. Мы взобрались едва не под самой крест: наконец... nec plus ultra!* остановились и забыли свою усталость. Прекрасный вид! весь город, все окружности перед глазами! Лондон кажется грудою блестящей черепицы; бесчисленныя мачты на Темзе частым камышем на маленьком ручейке; рощи и парки густою крапивою. Мы пробыли с час, и Француженка имела время показать мне свое остроумие, философию и наблюдательный дух. «В Англии, говорит она, надобно только *смотреть*; *слушать* нечего. Англичане прекрасны видом, но скучны до крайности; женщины здесь миловидны, и только: их дело разливать чай и нянчить детей. Парламентские Ораторы кажутся мне Индейскими петухами, Шекспировы трагедии игрищами и похоронами; здешние актеры умеют только падать. Все это несносно: не правда ли?» Я боялся противоречием еще более взволновать кровь ея, которая и без того была в страшном движении; подал ей руку в знак согласия, и мы пошли вниз, дружелюбно разделяя опасности и говоря без умолку. — Craignez de faire un faux pas, madame. — «Ah! les femmes en font si souvent!» — C'est que les chûtes des femmes sont quelques fois très aimables. — «Oui, parce que les hommes en pofitent.» — Elles s'en relevent avec grace. — «Mais non pas sans en ressentir la douleur le reste de leurs jours.» — La douleur d'une belle femme est une grace de plus. — «Et tout cela n'est que pour servir sa majesté, l'homme.» [2] — Ce Roi est souvent détrôné, Md. — «Comme notre bon et pauvre Louis XVI: n'est-ce pas?» — A peu près, Md. — — ** Между тем мы сошли в нижнюю галлерею, где Маркиз сообщил нам свои примечания на живопись купола, и где мы забавлялись

* крайний предел! (*латин.*)

** Не оступитесь, сударыня (не сделайте ложный шаг) — «Ах, женщины так часто делают это!» — Это потому, что падение женщин порой бывает так приятно. — «Да, потому, что мужчины от этого выигрывают». — Они потом весьма грациозно поднимаются. — «Но не без того чтобы до конца дней своих не чувствовать печали». — Что может быть прелестнее печали очаровательной женщины. — «И это все лишь для того, чтобы служить его величеству мужчине». — Этого владыку часто свергают с престола, сударыня. — «Как нашего доброго, бедного Людовика XVI, не так ли?» — Почти, сударыня (*франц.*)

странною игрою звуков. Станьте в одном месте галлереи, и скажите что нибудь очень тихо: стоящие вдали, напротив вас, слышат ясно каждое слово.* Звук чудным образом умножается в окружности свода, и скрып двери кажется вам сильным ударом грома. Оттуда прошли мы в библиотеку, где примечания достойна модель храма, которою Архитектор Св. Павла, Христофор Рен (Wren), весьма радовался, но которая для того не была произведена в действо, [3] что походит [3] на языческие храмы. Художник досадовал, спорил, и наконец согласился сделать другой план. — На месте Св. Павла было некогда славное капище Дианы; во втором веке оно превратилось в Христианскую церковь, которая через 400 лет была снова украшена и посвящена Апостолу Павлу; пять раз горела, и не прежде как в 1711 году явилась в теперешнем своем виде. Она стоила 12 миллионов рублей.

Лондонская крепость, Tower, построенная на Темзе в одиннадцатом веке Вильгельмом Завоевателем, была прежде дворцом Английских Королей, их убежищем в народных возмущениях, наконец государственною темницею; а теперь в ней монетной двор, арсенал, царская кладовая и — звери!

Я не давно читал Юма, и память моя тотчас представила мне ряд нещастных Принцов, которые в этой крепости были заключены и убиты. Английская История богата злодействами; можно смело сказать, что по числу жителей в Англии более нежели во всех других землях погибло людей от внутренних мятежей. Здесь Католики умерщвляли Реформатов, Реформаты Католиков, Роялисты Республиканцев, Республиканцы Роялистов; здесь была не одна Французская Революция. Сколько добродетельных патриотов, Министров, любимцев Королевских положило свою голову на эшафоте! Какое остервенение в сердцах! какое исступление умов! Книга выпадает из рук. Кто полюбит Англичан, читая их Историю? Какие Парламенты! Римской Сенат во время Калигулы был не хуже их. Прочитав жизнь Кромвеля, вижу, что он возвышением своим обязан был не великой душе, а коварству своему и фанатизму тогдашнего времени. Речи, говоренныя им в Парламенте, наполнены удивительным безумием. Он нарочно путается в словах, чтобы не сказать ничего: какая ничтожная хитрость! Великой человек не прибегает к таким малым средствам; он говорит дело, или молчит. Сколь бессмысленно все говоренное и писанное Кромвелем, столь умны и глубокомысленны сочинения Секретаря его, Мильтона, который по восшествии на престол Карла II спасся от эшафота своею Поэмою, славою и всеобщим уважением.

Дворец Вильгельма Завоевателя еще цел и называется *белою башнею*, white tower: здание безобразное и варварское! Другие Короли к нему пристроивали, окружив его стенами и рвами.

---

* Это напомнило мне Парижскую Salle du secret. ‹Тайный зал (*франц.*)›

Прежде всего показали нам в крепости диких зверей (забаву Королей Английских со времени Генриха I), а потом большую залу, где хранятся трофеи первого победоностного флота Англии, разбившего славную Гишпанскую *Армаду*. Я с великим любопытством рассматривал флаги и всякого роду оружие; думал о Филиппе, о Елисавете; воображал смиренную гордость первого и скромное величие последней; — воображал ту минуту, когда Герцог Сидония упал на колени перед своим Монархом, говоря: *флот твой погиб*! и когда Филипп, с милостию простирая к нему руку, отвечал: *да будет воля Божия*! — Я воображал всеобщую ревность Лондонских граждан и солдат Елисаветиных, когда она, в виде Любви и Красоты, как богиня явилась между ими, говоря: *друзья! не оставьте меня и отечество*! и когда все они единодушно отвечали: *умрем за тебя и спасем отечество*!... Заметьте, что не только Гишпанская Армада, но почти все огромныя вооружения древних и новых времен оканчивались стыдом и ничтожностию. Бог слабым помогает! Там горсть Греков торжествует над бесчисленными Персами; тут Голландские рыбаки или Швейцарские пастухи истребляют лучшия армии; здесь Венеция или Прусской Фридрих противится всей Европе и заключает славный мир.

Оттуда пошли мы в большой арсенал... прекрасный и грозный вид! Стены, колонны, пиластры, все составлено из оружия, которое ослепляет глаза своим блеском. Одно слово — и 100 000 человек будут здесь вооружены в несколько минут. — Внизу под малым арсеналом, в длинной галлерее, стоит *Королевская артиллерия* между столбами, на которых висят знамена, в разныя времена отнятыя Англичанами у неприятелей. Тут же видите вы изображение знаменитейших Английских Королей и Героев: каждой сидит на лошади, в *своих* латах и с мечем *своим*. Я долго смотрел на храброго *Черного Принца*.

В царской кладовой показывали нам венец Эдуарда *Исповедника*, осыпанный множеством драгоценных камней; золотую державу с фиолетовым аметистом, которому цены не полагают; скипетр, так называемые *мечи милосердия, духовного и временного правосудия*, носимые перед Английскими Королями в обряде коронования — серебряныя купели для царской фамилии, и пребогатый *государственный венец*, надеваемый Королем для присутствия в Парламенте, и украшенный большим изумрудом, рубином и жемчугом.

Тут же показывают и топор, которым отрубили голову Анне Грей!!

Наконец ввели нас в монетную, где делают золотыя и серебряныя деньги; но это Английская *Тайная*, и вам говорят: *сюда не ходите, сюда не глядите*; *туда вас не пустят*! —Мы видели кучу гиней; но Г. надзиратель не постыдился взять с нас несколько шиллингов!

Сент-Джемской дворец есть, может быть, самый беднейший в Европе. Смотря на него, пышный человек не захочет быть Английским Монархом Внутри также нет ничего царского. Тут Король обыкновенно показывается чужестранным Министрам и публике; а живет в Королевином

дворце, Buckinghamhouse,* где комнаты убраны со вкусом, отчасти работою самой Королевы, и где всего любопытнее славные Рафаэлевы картоны или рисунки; их всего 12 : 7 — у Королевы Английской, два у Короля Французского, два у Сардинского, а двенадцатой у одного Англичанина, который, заняв для покупки сего драгоценного рисунка большую сумму денег, отдал его в заклад и получил назад испорченный. На них изображены разные чудеса из Нового Завета; фигуры все в человеческий рост. Художники считают их образцом правильности и смелости. — Я видел торжественное собрание во Дворце; однакожь не входил в парадную залу, будучи в простом фраке.

Уаит-гал (White-hall) был прежде Дворцом Английских Королей — сгорел, и теперь существуют только его остатки, между которыми достойна примечания большая зала, расписанная вверху Рубенсом. В сем здании показывают закладенное окно, из которого нещастный Карл сведен был на эшафот. Там, где он лишился жизни, стоит мраморное изображение Иакова II; подняв руку, он указывает пальцем на место казни отца его.**

Адмиралтейство есть также одно из лучших зданий в Лондоне. Тут заседают пять главных Морских Коммисаров; они рассылают приказы к начальникам Портов и к Адмиралам; все выборы флотских Чиновников от них зависят.

Палаты Лорда-Мера и Банк стоят примечательного взгляда; самый[4] огромный дом в Лондоне есть так называемый *Соммерсет-гаус* на Темзе, который еще не достроен, и похож на целый город. Тут соединены все городские Приказы, Коммисии, Бюро; тут живут Казначеи, Секретари, и проч. Архитектура очень хороша и величественна. — Еще заметны домы Бетфордов, Честерфильдов, Девонширского Герцога Принца Валлисского, (который дает впрочем дурную идею о вкусе хозяина или Архитектора); другие все малы и ничтожны.

Описания свои заключу я примечанием на счет Английского любопытства. Что ни пойдете вы здесь осматривать: церковь ли Св. Павла, Шекспирову ли галлерею, или дом какой, везде находите множество людей, особливо женщин. Не мудрено: в Лондоне обедают поздно; и кто не имеет дела, тому надобно выдумывать, чем занять себя до шести часов.

---

* Букингемский дворец (*англ.*)

** Я видел статую Карла I, любопытную по следующему анекдоту. После его бедственной кончины, она была снята и куплена медником, которой продал бесчисленное множество шандалов, уверяя, что они вылиты из металла статуи; но в самом деле он спрятал ее, и подарил Карлу II, при его восшествии на престол — за что был награжден весьма щедро.

‹142›

Виндзор.

Земляки мои непременно хотели видеть славную скачку близ Виндзора, где резвая лошадь приносит хозяину иногда более Ост-Индского корабля. Я рад с другими всюду ехать, и в 9 часов утра поскакали мы четверо в карете по Виндзорской дороге; беспрестанно кричали нашему кучеру: *скорее*! *скорее*! и в несколько минут очутились на первой станции. «Лошадей!» — *А где их взять*? *все в разгоне*. — «Вздор! это разве не лошади?» — *Оне приготовлены для других*; *для вас нет ни одной*. — Мы шумели, но без пользы, и наконец решились итти пешком, не смотря на жар и пыль. — Какое превращение! какой удар для нашей гордости! Те, мимо которых как птицы пролетели мы на борзых Английских конях, объезжали нас один за другим, смотрели с презрением на бедных пешеходцев и смеялись. Несносные, грубые Британцы! думал я: обсыпайте нас пылью; но за чем смеяться? — Иные кричали даже: «добрый путь, господа! видно, по обещанию!» — Но Руских не так легко унизить; мы сами начали смеяться; скинули с себя кафтаны, шли бодро и пели даже Французския арии; отобедали в сельском трактире, и в 5 часов, своротив немного с большой дороги, вступили в Виндзорской Парк....

Thy forests, Windsor! and thy green retreats,
At once the Monarch's and the Muse's seats.
*Pope.**

Мы сняли шляпы... веря Поэту, что это священный лес. «Здесь, (говорит он) являются боги во всем своем великолепии; здесь Пан окружен бесчисленными стадами, Помона рассыпает плоды свои, Флора цветит луга, и дары Цереры волнуются как необозримое море»... Описание Стихотворца пышно, но справедливо. Мрачные леса, прекрасные лесочки, поля, луга, бесконечныя алеи, зеркальные каналы, реки и речки, все есть в Виндзорском Парке! — Как мы веселились, отдыхали и снова утомлялись, то сидя под густою сению, где пели над нами всякого роду лесныя птицы, то бегая с оленями, которых тут множество! — Стихотворец у меня в мыслях и в руках. Я ищу берегов унылой Лодоны, где, по его словам, часто купалась Цинтия-Диана....

Из юных Нимф ея дочь Тамеса, Лодона,
Была славнее всех; и взор Эндимиона
Лишь потому ее с Дианой различал,
Что месяц золотой богиню украшал.
Но смертных и богов пленяя, не пленялась:
Одна свобода ей с невинностью мила,
И ловля птиц, зверей, утехою была.
Одежда легкая на Нимфе развевалась;
Зефир играл в ея струистых волосах;

* Твои леса, Виндзор, и твои зеленые убежища — приют одновременно и короля и муз. *Поп.* (*англ.*)

Резной колчан звенел с стрелами на плечах,
И меткое копье * за серною свистало.
Однажды Пап ее увидел, полюбил,
И сердце у него желаньем воспылало.
Она бежит... в любви предмет бегущий мил,
И Нимфа робкая стыдливостью своею
Для дерзкого еще прелестнее была.
Как горлица летит от хищного орла,
Как яростный орел стремится вслед за нею,
Так Нимфа от него, так он за Нимфой в след —
И ближе, ближе к ней... Она изнемогает;
Слаба, бледна... в глазах ея темнеет свет.
Уже тень Панова Лодону настигает,
И Нимфа слышит стук ног бога за собой;
Дыхание его как ветер развевает
Ей волосы... Тогда, оставлена Судьбой,
В отчаяньи своем нещастная, к богине
Душею обратясь, так мыслила: «спаси,
О Цинтия! меня; в дубравы пренеси,
На родину мою! Ах! пусть я там отныне
Стенаю горестно, и слезы лью ручьем!»
Исполнилось... и вдруг, как будто бы слезами
Излив тоску свою, она течет струями,
Стеная жалобно в журчании своем.
Поток сей и теперь Лодоной называем,
Чист, хладен как она; тот лес им орошаем,
Где Нимфа некогда гуляла и жила.
Диана моется в его воде кристальной,
И память Нимфина доныне ей мила:
Когда вообразит ея конец печальной,
Струи сливаются с богининой слезой.
Пастух задумавшись журчанью их внимает;
Сидя под тению, в них часто созерцает
Луну у ног своих и горы вниз главой,
Плывущий ряд дерев, над берегом висящих,
И воду светлую собою зеленящих.
Среди прекрасных мест излучистым путем
Лодона тихая едва, едва струится;
Но вдруг, быстрее став в течении своем,
Спешит с отцом ея навек соединиться.**

Извините, естьли перевод хуже оригинала. Слушая томное журчание Лодоны, я вздумал рассказать ея историю в Руских стихах.

Мне хотелось бы многое перевести вам из Windsor-Forest; *** например, щастие сельского жителя, любителя Наук и любимца Муз; описание бога Тамеса, который, подняв свою влажную главу, опершись на урну и озираясь вокруг себя, славословит мир и предсказывает величие Англии. Но солнце заходит, а нам должно еще видеть славную скачку. Мы спешим, спешим....

Теперь вы, друзья мои, ожидаете от меня другой картины; хотите видеть, как 30, 40 человек, одетых Зефирами, садятся на прекрасных,

* Легкия копья, с которыми изображаются Дианины Нимфы, были *бросаемы* в зверей.

** С Темзою, которая в Поэзии называется богом Тамесом.

*** «Виндзорского леса» (*англ.*)

живописных лошадей, приподнимаются на стременах, удерживают дыхание, и с сильным биением сердца ждут знака, чтобы скакать, лететь к цели, опередить других, схватить знамя и упасть на землю без памяти; хотите лететь взором за скакунами, из которых всякой кажется Пегасом; хотите в то же время угадывать по глазам зрителей, кто кому желает победы, чья душа за какою лошадью несется; хотите читать в них надежду, страх, опять надежду, восторг или отчаяние; хотите слышать радостные плески в честь победителя: *браво! виват! ура!*... Ошибаетесь, друзья мои! мы опоздали, ничего не видали, посмеялись над собою и пошли осматривать большой Виндзорской дворец. Он стоит на высоком месте; всход нечувствителен, а вид прекрасен. На одной стороне равнина, где извивается величественная Темза, опушенная лесочками; а на другой большая гора, покрытая густым лесом. Перед дворцом, на террасе, гуляли Принцессы, дочери Королевския в простых белых платьях, в соломенных шляпках, с тросточками, как сельския пастушки. Оне резвились, бегали и кричали друг другу: ma soeur, ma soeur! * Глаза мои искали Елисаветы: воображение мое, по некоторым газетным анекдотам, издавна любило заниматься ею. Она не красавица; но скромный вид ея нравится.

Дворец построен еще Вильгельмом Завоевателем, распространен и украшен другими Королями. Он славится более своим прекрасным местоположением, нежели наружным и внутренним великолепием. Я заметил несколько хороших картин: Микель-Анджеловых, Пуссеневых, Корреджиевых и портретов Вандиковых. Из спальни вход в *залу красоты*, где стоят портреты прелестнейших женщин во время Карла II. Хотите ли знать имена их? Mistriss Knoff, Lawson, Lady Sunderland, Rochester, Denham, Middleton, Byron, Richmond, Clevelant, Sommerset, Northumberland, Grammont, Ossory.** Естьли живописцы не льстили, то оне были подлинно красавицы, даже и в Англии, где так много приятных женских лиц.... Некоторые плафоны в комнатах очень хороши; также и резная работа. Я долго смотрел на портрет нашего Великого Петра, написанный во время Его пребывания в Лондоне живописцом Неллером. Император был тогда еще молод: это Марс в Преображенском мундире! — Зала Св. Георгия, или Кавалеров Подвязки, стоит того, чтобы сказать об ней несколько слов; она велика и прекрасна своею архитектурою. В большом овале, среди плафона, представлен Карл II в Орденской одежде, а за ним, в виде женщин, три Соединенныя Королевства. Изобилие и Религия держат над ним корону. Тут же изображено Монархическое Правление, которое опирается на Религию и Вечность. Правосудие, Сила, Умеренность и Благоразумие гонят мятеж и бунт. Подле трона, в осьмиугольнике, под крестом Св. Георгия, окруженным подвязкою и Купидонами, вырезана надпись: Honni soit qui

* сестрица! сестрица! (*франц.*)

** Г-жи Ноф, Лаусон, леди Сандерленд, Рочестер, Дэнхем, Мидлтон, Байрон, Ричмонд, Кливленд, Сомерсет, Нортемберленд, Грэммонт, Оссори (*англ.*)

mal y pense!* Одним словом, как в Версальском Дворце все дышет Лудовиком XIV, так в Виндзорском все напоминает Карла II, о котором Английские патриоты не любят воспоминать.

‹143›

Виндзорский Парк.

Сидя под тению дубов Виндзорского Парка, слушая пение лесных птичек, шум Темзы и ветвей, провел я несколько часов в каком-то сладостном забвении — не спал, но видел сны, восхитительные и печальные.

Темныя, лестныя, милыя надежды сердца! исполнитесь ли вы когда нибудь? Живость ваша есть ли залог исполнения? или, со всеми правами быть щастливым, узнаю щастье только воображением, увижу его только мельком, вдали, подобно блистанию молний, и при конце жизни скажу: «я не жил!»

Мне грустно; но как сладостна эта грусть? Ах! молодость есть прелестная эпоха бытия нашего! Сердце, в полноте жизни, творит для себя будущее, какое ему мило; все кажется возможным, все близким. Любовь и Слава, два идола чувствительных душ, стоят за флером перед нами и подымают руку, чтобы осыпать нас дарами своими. Сердце бьется в восхитительном ожидании, теряется в желаниях, в выборе щастья, и наслаждается возможным еще более, нежели действительным.

Но цвет юности на лице увядает; опытность сушит сердце, уверяя его в трудности щастливых успехов, которые прежде казались ему столь легкими! Мы узнаем, что воображение украшало все приятности жизни, сокрывая от нас недостатки ея. Молодость прошла; любовь как солнце скатилась с горизонта — чтожь осталось в сердце? несколько милых и горестных воспоминаний — нежная тоска — чувство, подобное тому, которое имеем по разлуке с бесценным другом, без надежды увидеться с ним в здешнем свете. — А слава?... Говорят, что она есть последнее утешение любовию растерзанного сердца; но слава, подобно розе любви, имеет свое терние, свои обманы и муки. Многие ли бывали ею щастливы? Первый звук ея возбуждает гидру зависти и злословия, которыя будут шипеть за вами до гробовой доски, и на самую могилу вашу изолиют еще яд свой. —

Жизнь наша делится на две эпохи: первую проводим в будущем, а вторую в прошедшем. До некоторых лет, в гордости надежд своих, человек смотрит все вперед, с мыслию: «там, там ожидает меня судьба, достойная моего сердца!» Потери мало огорчают его; будущее кажется ему несметною казною, приготовленною для его удовольствий. Но когда горячка юности пройдет; когда сто раз оскорбленное самолюбие по неволе научится смирению; когда, сто раз обманутые надеждою, наконец

* Да будет стыдно тому, кто дурно подумает об этом! (*франц.*)

перестаем ей верить: тогда, с досадою оставляя будущее, обращаем глаза на прошедшее, и хотим некоторыми приятными воспоминаниями заменить потерянное щастие лестных ожиданий, говоря себе в утешение: *и мы, и мы были в Аркадии!* Тогда, тогда единственно научаемся дорожить и настоящим; тогда же бываем до крайности чувствительны и к самомалейшей трате; тогда прекрасный день, веселая прогулка, занимательная книга, искренний дружеский разговор, даже ласки верной собачки (которая не оставила нас вместе с неверными любовницами!) извлекают из глаз наших слезы благодарности; но тогда же и смерть любимой птички делает нам превеликое горе.

Где сливаются сии две эпохи? ни глаз не видит, ни сердце не чувствует. Однажды в Швейцарии вышел я гулять на восходе солнца. Люди, которые мне встречались, говорили: «доброе *утро*, господин!» Что со мною было далее, не помню; но вдруг вывело меня из задумчивости приветствие: «добрый *вечер!*» Я взглянул на небо: солнце садилось. Это поразило меня. Так бывает с нами и в жизни! Сперва говорят об человеке: «как он молод!» и вдруг скажут об нем: «как он стар!»

Таким образом мыслил я в Виндзорском парке, разбирая свои чувства и угадывая те, которыя *со временем будут моими!*

‹144›

Лондон, Июля.... 1790.

Трое Руских, M*, Д* и я, в 11 часов утра сошли с берега Темзы, сели в ботик и поплыли в Гриничь. День прекрасный — мы спокойны и веселы — плывем под величественными арками мостов, мимо бесчисленных кораблей, стоящих на обеих сторонах в несколько рядов: одни с распущенными флагами приходят и втираются в тесную линию; другие с поднятыми парусами готовы лететь на край мира. Мы смотрим, любуемся, рассуждаем — и хвалим прекрасную выдумку денег, которыя столько чудес производят в свете и столько выгод доставляют в жизни. Кусок золота — нет, еще лучше: клочек бумажки, присланный из Москвы в Лондон, как волшебный талисман дает мне власть над людьми и вещами: захочу, имею — скажу, сделаю. Все, кажется, ожидает моих повелений. Вздумал ехать в Гриничь — стукнул в руке беленькими кружками — и гордые Англичане исполняют мою волю, пенят веслами Темзу, и доставляют мне удовольствие видеть разнообразныя картины человеческого трудолюбия и Природы. — Разговор наш еще не кончился, а ботик у берега.

Первый предмет, который явился глазам нашим, был самый предмет нашего путешествия и любопытства: Гриничская Госпиталь, где признательная Англия осыпает цветами старость своих мореходцов, ору-

дие величества и силы ея. Не многие Цари живут так великолепно, как Английские престарелые матрозы. Огромное здание состоит из двух замков, спереди разделенных красивою площадью, и назади соединяемых колоннадами и Губернаторским домом, за которым начинается большой парк. Седые старцы, опершись на балюстрад террасы, видят корабли, на всех парусах летящие по Темзе: что может быть для них приятнее? сколько воспоминаний для каждого? Так и они в свое время рассекали волны, с Ансоном, с Куком! — С другой стороны, плывущие на кораблях матрозы смотрят на Гриничь и думают: «там готово пристанище для нашей старости! Отечество благодарно; оно призрит и успокоит нас, когда мы в его служении истощим силы свои!»

Все внутренния украшения дома имеют отношение к мореплаванию: у дверей глобусы, в куполе залы компас; здесь Эвр летит с востока и гонит с неба звезду утреннюю; тут Австер, окруженный тучами и молниями, льет воду; Зефир бросает цветы на землю; Борей, размахивая драконовыми крыльями, сыплет снег и град. Там Английской корабль, украшенный трофеями, и главнейшия реки Британии, отягченныя сокровищами; там изображения славнейших Астрономов, которые своими открытиями способствовали успехам Навигации. — Имена патриотов, давших деньги Вильгельму III на заведение Госпитали, вырезаны на стене золотыми буквами. Тут же представлен и сей любезный Англичанам Король, попирающий ногами самовластие и тиранство. Между многими другими, по большой части аллегорическими картинами, читаете надписи: Anglorum spes magna — salus publica — securitas publica.*

Каждый из нас должен был заплатить около рубля за свое любопытство; не больно давать деньги в пользу такого славного заведения. У всякого матроза, служащего на Королевских и купеческих кораблях, вычитают из жалованья 6 пенсов в месяц на содержание Госпитали; за то всякой матроз может быть там принят, естьли докажет, что он не в состоянии продолжать службы, или был ранен в сражении, или способствовал отнять у неприятеля корабль. Теперь их 2000 в Гриниче, и каждой получает в неделю 7 белых хлебов, 3 фунта говядины, 2 ф. баранины, $1^1/_2$ ф. сыру, столько же масла, гороху, и шиллинг на табак.

Я напомню вам слово, сказанное в Лондоне Петром Великим Вильгельму III, и достойное нашего Монарха. Король спросил, что Ему более всего полюбилось в Англии? Петр I отвечал: «то, что Госпиталь заслуженных матрозов похожа здесь [1] на дворец, а дворец [1] Вашего Величества похож на Госпиталь.» — В Англии много хорошего; а всего лучше общественныя заведения, которыя доказывают благодетельную мудрость Правления.[2] Salus publica есть подлинно девиз его. Англичане должны любить свое отечество.[3]

Гриничь сам по себе есть красивый городок; там родилась Елисавета. — Мы отобедали в кофейном доме, погуляли в парке, сели в лодку,

* Главная надежда англичан — общественное благо — общественная безопасность (*латин.*)

поплыли, в 10 часов вечера вышли на берег и очутились в каком-то волшебном месте!...

Вообразите бесконечныя алеи, целые леса, ярко освещенные огнями; галлереи, колоннады, павильйоны, альковы, украшенные живописью и бюстами великих людей; среди густой зелени триумфальныя, пылающия арки, под которыми гремит оркестр; везде множество людей; везде столы для пиршества, убранные цветами и зеленью. Ослепленные глаза мои ищут мрака; я вхожу в узкую крытую алею, и мне говорят: *вот гульбище Друидов!* * Иду далее; вижу, при свете луны и отдаленных огней, пустыню и рассеянные холмики, представляющие Римской стан; тут растут кипарисы и кедры. На одном пригорке сидит Мильтон — мраморный — и слушает музыку; далее — обелиск, Китайской сад; наконец нет уже дороги... Возвращаюсь к оркестру.[4]

Естьли вы догадливы, то узнали, что я описываю вам славный Английской Воксал, которому напрасно хотят подражать в других землях. Вот прекрасное, вечернее гульбище, достойное умного и богатого народа.

Оркестр играет по большой части любимыя народныя песни; поют актеры и актрисы Лондонских Театров; а слушатели, в знак удовольствия, часто бросают им деньги.

Вдруг зазвонили в колокольчик, и все бросились к одному месту; я побежал вместе с другими, не зная, куда и за чем. Вдруг поднялся занавес, и мы увидели написанное огненными словами: Take care of your pockets! *берегите карманы!* (потому что Лондонские воры, которых довольно бывает и в Воксале, пользуются этою минутою). В то же время открылась прозрачная картина, представляющая сельскую сцену. «Хорошо! думал я: но не стоит того, чтобы бежать без памяти и давить людей.»

Лондонской Воксал соединяет все состояния: тут бывают и знатные люди и лакеи, и лучшия Дамы и публичныя женщины. Одни кажутся актерами, другие зрителями. — Я обходил все галлереи и осмотрел все картины, написанныя по большой части из Шекспировых Драм или из новейшей Английской Истории. Большая ротонда, где в ненастное время бывает музыка, убрана сверху до полу зеркалами; куда ни взглянешь, видишь себя в десяти живых портретах.[5]

Часу в двенадцатом начались ужины в павильйонах, и в лесочке заиграли на рогах. Я от роду не видывал такого множества людей сидящих за столами — что имеет вид какого-то великолепного праздника. Мы сами выбрали себе павильйон; велели подать цыпленка, анчоусов, сыру, масла, бутылку Кларету, и заплатили рублей шесть.[6]

Воксал в двух милях от Лондона, и летом бывает отворен всякой вечер; за вход платится копеек сорок. — Я на рассвете возвратился домой, будучи весьма доволен целым днем.

---

* Имя алеи.

‹145›

Выбор в Парламент.

Через каждыя семь лет Парламент возобновляется. Ныне, по моему щастию, надлежало быть выборам; я видел их.

Вестминстер избирает двух Членов. Министры желали Лорда Гуда, а противники их Фокса; более не было Кандидатов. На кануне избрания угощались безденежно в двух тавернах те Вестминстерские жители, которые имеют голос: в одной подчивали Министры, а в другой приятели Фоксовы. Я хотел видеть этот праздник: вошел в таверну, и должен был выпить стакан вина за Фоксово здоровье. На сей раз Англичане довольно шумели.... Fox for ever! *Да здравствует Фокс! наш доброй, умный Фокс, лисица именем,* лев сердцем, патриот, друг Вестминстерского народа!* — Тут были всякого роду люди: и Лорды и ремесленники. Кто имеет свой уголок в Вестминстере, тот имеет и голос.

На другой день рано по утру отправился я с земляками своими на Ковенгарденскую площадь, уже наполненную народом, так что мы с трудом нашли себе место подле галлереи, которая на это время делается из досок, и в которой Избиратели записывают свои голоса. Самих Кандидатов еще не было; но друзья их работали, говорили речи, махали шляпами, и кричали Hood for ever! Fox for ever! ** Тут люди в голубых лентах дружески пожимали руку у сапожников. — Вдруг явился человек лет пятидесяти, неопрятно одетый, видом неважный, снял шляпу и показал, что хочет говорить. Все умолкло. «Сограждане!» сказал он, понюхав несколько раз табаку, которым засыпан был весь длинный камзол его: «сограждане! истинная Английская свобода у нас давно уже не в моде; но я человек старинной, и люблю отечество по старинному. Вам говорят, что нынешний день есть торжество гражданских прав ваших; но пользуетесь ли вы ими, когда вам предлагают из двух Кандидатов выбрать двух Членов? Они уже выбраны! Министры с противниками согласились, и над вами шутят.» — (Тут он еще несколько раз понюхал табаку, а народ говорил: «это правда; над нами шутят.») — «Сограждане! для поддержания ваших прав, драгоценных моему сердцу, я сам себя предлагаю в Кандидаты. Знаю, что меня не выберут; но по крайней мере вы будете выбирать. Я Горн Тук: вы обо мне слыхали, и знаете, что Министерство меня не жалует.» — *Браво!* закричали многие: *мы подадим за тебя голоса!* В ту же минуту подошел к нему седой старик на клюках, и все вокруг меня произнесли имя его: *Вилькес! Вилькес!* Вам, друзья мои, известна история этого человека, который несколько лет играл знаменитую ролю в Англии, был страшным врагом Министерства, самого Парламента, идолом народа; думал только о личных своих выгодах, и хотел быть ужасным единственно для того, чтобы получить доходное место; получил его, обогатился и сошел с шумного

---

* Фокс значит лисица.

** Да здравствует Гуд! Да здравствует Фокс! (*англ.*)

театра. Он сказал Горну: «мой друг! этою дрожащею рукою напишу я имя твое в книге, и умру спокойнее, естьли ты будешь Членом Парламента.» Горн обнял его с холодным видом, и начал нюхать табак.

Горн Тук был, во время Американской войны, проповедником в Брендсфорде, писал в газетах против двора, сидел за то в тюрьме, не унялся, и поныне еще ставит себе за честь быть врагом Министров. Он говорит сильно, пишет еще сильнее, и многие считают его Автором славных *Юниевых писем.*

Раздался голос: «дайте место Кандидатам!» Мы увидели процессию... Напереди знамена, с изображением Гудова и Фоксова имени, и с надписью: *за отечество, народ, конституцию.* За ними шли друзья Кандидатов с разноцветными кокардами на шляпах; за ними сами Кандидаты: Фокс, толстой, маленькой, черноволосой, с густыми бровями, с румяным лицем, человек лет в 45, в синем фраке — и Гуд, высокой, худой, лет пятидесяти, в Адмиральском зеленом мундире. Они стали на доски, устланныя коврами, и каждый говорил народу приветствие. Начался выбор. Избиратели входили в галлерею, и записывали голоса свои: что продолжалось несколько часов. Между тем мальчик лет тринадцати влез на галлерею, и кричал над головою Кандидатов: *здравствуй Фокс! провались сквозь землю Гуд!* а через минуту: *здравствуй Гуд! провались сквозь землю Фокс!* Никто не унимал шалуна, а Кандидаты даже и не взглянули на него.

Наконец объявили имена новых Членов: Гуда и Фокса. За Горна Тука было только 200 голосов; но он вместе с избранными говорил благодарную речь народу, и сказал: «я никак не думал, чтобы в Вестминстере нашлось 200 патриотов; теперь вижу, и радуюсь такому числу.» — Тут Фокса посадили на кресла, украшенныя лаврами и в триумфе понесли домой; знамена развевались над его головою, музыка гремела, и тысячи голосов восклицали: Fox for ever! *Виват! ура!* Фокс уже в пятый раз избирается от Вестминстера: и так не мудрено, что он сидел на торжественных креслах очень покойно и свободно, то улыбался, то хмурил густыя черныя брови свои. — И Гуда хотели нести; но он просил увольнения, и один из друзей его сказал: «Адмирал наш любит триумфы только на море!» — —

Теперь, друзья мои, опишу вам другого роду происшествие. Сюда недавно приехал курьером из П* господин N. N., человек не молодой, который, не жалея толстого брюха своего, скачет из земли в землю, чтобы остальными от прогонов червонцами кормить жену и детей своих. И так вы не осудите его, что он скуп, и приехав в Лондон, не хотел сшить себе фрака, а ходил по улицам в коротеньком синем мундире, в длинном красном камзоле и в черном бархатном картузе; но здешний народ не вы — мальчики бегали за ним и кричали: *смотрите, какая чучела!* Мы приступили к нему, чтобы он оделся по-людски, и наконец убедили. Господин N. N. сделал себе модный фрак, купил прекрасную шляпу, и дал нам слово обновить их в день выборов. Мы зашли к нему, чтобы итти вместе на площадь, и ахнули от удивления: он надел сверх кафтана синюю толстую епанчу, а на шляпу какой-то футляр из кле-

енки, боясь дождя! Мы сорвали с него то и другое; уверили, что небо чисто — и пошли. Нещастный! Солнце долго сияло, но часу в пятом, когда уже мы возвращались домой, небо затуманилось, ударил дождь, и наш N. N. бросился под зонтик пирожной лавки, ругая нас немилосердо. Мы остановились, и через минуту были окружены множеством людей. Вдруг видим, что приятель наш с кем-то разговаривает очень весело, смеется, рассказывает — и вдруг, оцепенев, бледнеет от ужаса.... Что такое?.. у него украли из кармана деньги, которыя он беспрестанно держал рукою, но заговорившись с незнакомцем, оратор наш хотел сделать какой-то выразительный *жест*, вынул из кармана руку, и через две секунды не нашел уже в нем кошелька. Подивитесь искусству здешних воров! Мы советовали бедному N. N. не брать денег: он не послушался.

Нигде так явно не терпимы воры, как в Лондоне; здесь имеют они свои Клубы, свои Таверны, и разделяются на разные классы: на пехоту и конницу (footpad, highwayman), на домовых и карманных (housebreaker, pickpocket). Англичане боятся строгой полиции, и лучше хотят быть обкрадены, нежели видеть везде караулы, пикеты, и жить в городе как в лагере. За то они берут предосторожность; не возят и не носят с собою много денег, и редко ходят по ночам, особливо же за городом. Мы Руские вздумали однажды в 11 часов ночи ехать в Воксал. Что же? выезжая из города, увидели, что у нас за каретою сидят человек пять с ужасными рожами; мы остановились, согнали их, но следуя совету благоразумия, воротились назад. Негодяи могли бы в поле догнать нас и ограбить. В другой раз я и Д* испугали самих воров. Мы гуляли пешком близ Ричмонда, запоздали, сбились с дороги и очутились в пустом месте, на берегу Темзы, в бурную ночь, часу в первом; идем и видим под деревом сидящих двух человек. Добрым людям мудрено было в такое время сидеть в поле и на дожде. Что же делать? спастись дерзостию, payer d'audace, как говорят Французы — смелым Бог владеет — прямо к ним, скорым шагом! Они вскочили и дали нам дорогу. — В Англий никогда не возьмут в тюрьму человека по вероятности, что он вор; надобно поймать его на деле и представить свидетелей; иначе вам же беда, естьли приведете его без неоспоримых законных доказательств.

‹146›

Театр.

Летом бывает здесь только один Гемеркетской Театр, на котором однакожъ играют все лучшие Ковенгарденские и Друриленские актеры.* Зрителей всегда множество: и в ложах и в партере; народ бывает в галлереях. В первый раз видел я Шекспирова Гамлета — и лучше, естьли бы

* Два главные Лондонские Театра.

не видал! Актеры говорят, а не играют; одеты дурно, декорации бедныя. Гамлет был в черном Французском кафтане, с толстым пучком и в голубой ленте; Королева в робронде, а Король в Гишпанской епанче. Лакеи в ливрее приносят на сцену декорацию, одну ставят, другую берут на плеча, тащат — и это делается во время представления! Какая розница с Парижскими театрами! Я сердился на актеров не за себя, а за Шекспира, и дивился зрителям, которые сидели покойно и с великим вниманием слушали; изредка даже хлопали. Угадайте, какая сцена живее всех действовала на публику? та, где копают могилу для Офелии, и где работники, играя словами, говорят, что первый дворянин был Адам, the first that ever bore arms,* и тому подобное. Одна Офелия занимала меня: прекрасная актриса,** прекрасно одетая, и трогательная в сценах безумия; она напомнила мне Дюгазон в Нине; и поет очень приятно. — Я видел еще Оперу Инкле и Ярико (которую играли не очень хорошо, но гораздо лучше Гамлета) и еще три Комедии или *буфонады*, в которых зрители очень смеялись. — Говорят, что у Англичан есть Мельпомена: госпожа Сиддонс, редкая трагическая Актриса; но ее теперь нет в Лондоне. Гораздо более нашел я удовольствия в здешней Италиянской Опере. Играли Андромаху. Маркези и Мара пели; музыка прекрасная. Дни два отзывался в ушах моих трогательный дуэт:

Quando mai, astri tiranni,
Avran fine i nostri affanni?
Quando paghi mai sarete
Della vostra crudelta? ***

В театре я купил эту Оперу, поднесенную Принцу Валлисскому при следующем Английском письме, которое перевожу для вас как редкую вещь:

«Странно покажется, что я осмеливаюсь поднести Италиянскую Оперу Вашему Королевскому Высочеству. Хотя Юпитер принимал в жертву быков, но никто не смел дарить его мухами. Принц столь искусный, как Ваше Высочество, во всех отвлеченных науках и самой изящнейшей Литтературе, не может дорожить Оперною безделкою. Восхитительныя прелести музыки, рассыпанныя в сей Опере, *озлащают* некоторым образом сей малый труд; но я имею нечто важнейшее для моего оправдания. Славный Понтифекс, Леон X, не презрел поднесенной ему книги о *поваренном искусстве*, и мы читаем в Вал. Максиме, что Персидской Монарх принял в дар старой кафтан с таким снисхождением, что наградил дателя Самоским островом. Первый был самый остроумнейший из владык земных, а вторый сильнейший: два качества, которыя чудесно соединяются в Вашем Высочестве. Лучезарное светило

---

* он первый носил личное оружие (*англ.*)

** Биллингтон, естьли не ошибаюсь.

*** Жестокие светила, когда же окончатся наши горести? Когда же вы насытите свою жестокость? (*итал.*)

не отказывает в улыбке своей ни червячку, ни былинке; а высокая благодетельность вашего сердца не имеет другого примера. — Вашего Высочества покорнейший слуга К. Ф. Бадини.»

После такого письма я хотел бы лично узнать господина Бадини.[1]

‹147›

Лондон, Июля. . . 1790.

Я хотел итти за город, в прекрасную деревеньку Гамстет; хотел взойти на холм *Примроз*, где благоухает скошенное сено; хотел оттуда посмотреть на Лондон, возвратиться к ночи в город и ехать в Воксал... но нигде не был, и не жалею. День не пропал: сердце мое было тронуто!

Подле самого Cavendish Square встретился мне старой, слепой нищий, которого вела... собачка, привязанная на снурке. Собачка остановилась, начала ко мне ласкаться, лизать ноги мои; нищий сказал томным голосом: «добрый господин! сжалься над бедным и слепым! my dear sir, I am poor and blind!» Я отдал ему шиллинг. Он поклонился, тронул снурок, и собачка побежала. Я пошел за ними. Собачка вела его серединою *тротуара*, как можно далее от края и всех отверстий, чтобы слепой старик не упал; часто останавливалась, ласкала людей (но не всех, а по выбору: она казалась физиогномистом!) и почти всякой давал нищему. Мы прошли две улицы. Собачка остановилась подле женщины, не молодой, но миловидной и очень бедно одетой, которая против одного дому сидела на стуле, играла на лютне и пела жалобным голосом. Прекрасной мальчик, также бедно одетый, держал в руках несколько печатных листочков, стоял прислонившись к стене и умильно смотрел на поющую. Увидев старика, он подбежал к нему и сказал: «добрый Томас! здоров ли ты?» — *Слава Богу! а мать твоя?... Как она хорошо поет! послушаю.* — Сын начал ласкать собачку; а мать, поговорив с стариком, снова заиграла и запела... Я долго слушал и положил ей на колени несколько пенсов. Мальчик взглянул на меня благодарными глазами и подал мне печатной листок. Это был гимн, который пела мать его. Вместо того, чтобы итти за город, я возвратился домой и перевел гимн. Вот он:

Господь есть бедных покровитель
И всех печальных утешитель;
Всевышний зрит, что нужно нам,
И двум тоскующим сердцам
    Пошлет в свой час отраду.
Отдаст ли нас Он в жертву гладу?
    Забудет ли Отец детей?
    Прохожий сжалится над нами
      (Есть сердце у людей!)
    А мы молитвой и слезами
      Заплатим долг ему.

В словах нет ничего отменного; но естьлиб вы, друзья мои, слышали, как бедная женщина пела, то не удивились бы, что я переводил их — со слезами.

‹148›

Ранела.

Нынешнюю ночь карета служила мне спалнею! — В 8 часов отправились мы Руские в Ранела пешком; не шли, а бежали, боясь опоздать; устали до смерти, потому что от моей улицы до Ранела конечно не менее пяти верст, и в десятом часу вошли в большую круглую залу, прекрасно освещенную, где гремела музыка. Тут в летние вечера собирается хорошее Лондонское общество, чтобы слушать музыку и гулять. В ротонде сделаны в два ряда ложи, где женщины и мущины садятся отдыхать, пить чай и смотреть на множество людей, которые вертятся в зале. Мы взглянули на собрание, на украшения залы, на высокой оркестр, и пошли в сад, где горел фейерверк; но любуясь им, чуть было не подвергнулись судьбе Семелеиной: искры осыпали нас с головы до ног. — Возвратясь в ротонду, я сел в ложе подле одного старика, который насвистывал разныя песни, как Стернов дядя Тоби, но впрочем не мешал мне молчать и смотреть на публику. Может быть действие свечь обманывало глаза мои: только мне казалось, что я никогда еще не видывал вместе столько красавиц и красавцев, как в Ранела; а вы согласитесь, что такое зрелище очень занимательно. К нещастью у меня страшно болела голова, и я во втором часу, оставив товарищей своих веселиться, пошел искать кареты; с трудом нашел, сел, велел везти себя в Оксфортскую улицу, и заснул. Просыпаюсь у своего дому — вижу день — смотрю на часы: пять... и так я три часа ехал! Кучер сказал, что мы около двух стояли на одном месте, и что никак не льзя было проехать за множеством карет.

‹149›

Лондон, Июля... 1790.

Нынешнее утро видел я в славном Британском Музеуме множество древностей Египетских, Этруских, Римских, жертвенных орудий, Американских идолов, и проч. Мне показывали одну Египетскую глиняную ноздреватую чашу, которая имеет удивительное свойство: естьли на-

лить ее водою, и вложить в которой нибудь из ея наружных поров салатное семя, то оно распустится и через несколько дней произведет траву. Я с любопытством рассматривал еще *Лакриматории*, или маленькие глиняные и стеклянные сосуды, в которые Римляне плакали на погребениях; но всего любопытнее был для меня оригинал Магны Харты, или славный договор Англичан с их Королем Иоанном, заключенный в 13 веке, и служащий основанием их конституции. Спросите у Англичанина, в чем состоят ея главныя выгоды? Он скажет: *я живу, где хочу; уверен в том, что имею; не боюсь ничего, кроме законов*. Разогните же Магну Харту: в ней Король утвердил клятвенно сии права для Англичан — и в какое время? когда все другие Европейские народы были еще погружены в мрачное варварство.

Из Музеума прошел я в дом Ост-Индской Компании и видел с удивлением огромные магазины ея. Общество частных людей имеет в совершенном подданстве богатейшия, обширныя страны мира, целыя (можно сказать) государства; избирает Губернаторов и других начальников; содержит там армию, воюет и заключает мир с державами! Это беспримерно в свете. Президент и 24 Директора управляют делами. Компания продает свои товары всегда с публичного торгу — и хотя снабжает ими всю Европу; хотя выручает за них миллионы: однакожь расходы ея так велики, что она очень много должна. Следственно ей более славы, нежели прибыли; но согласитесь, что Английской богатый купец не может завидовать никакому состоянию людей в Европе!

‹150›

Семейственная жизнь.

Берега Темзы прекрасны; их можно назвать цветниками — и вопреки Английским туманам, здесь царствует Флора. Как милы сельские домики, оплетенные розами снизу до самой кровли,* или густо осененные деревами, так что ни один яркой лучь солнца не может в них проникнуть!

Но картина добрых нравов и семейственного щастия всего более восхищает меня в деревнях Английских, в которых живут теперь многие достаточные Лондонские граждане, делаясь на лето поселянами. Всякое Воскресенье [1] хожу в какую нибудь загородную церковь слушать нравственную,[2] ясную проповедь во вкусе Йориковых, и смотреть на спокойныя лица отцов и супругов, которые все усердно молятся Всевышнему и просят, кажется, единственно о сохранении того, что уже имеют. В церквах сделаны ложи — и каждая занимается особливым семейством.

* Вид прекрасной. Ветви с цветами нарочно поднятые вверх, переплетаются, и достают до кровли низеньких домиков.

Матери окружены детьми — и я нигде не видывал таких прекрасных малюток, как здесь: совершенно *кровь с молоком*, как говорят Руские: одушевленные цветочки, любезные Зефиру; все маленькие Эмили, все маленькия Софии. Из церкви каждая семья идет в свой садик, который разгоряченному воображению кажется по крайней мере уголком Мильтонова Эдема; но, к щастию, тут нет змея искусителя: миловидная хозяйка гуляет рука в руку с мужем своим, а не с прелестником, не с *Чичисбеем*... одним словом, здесь редкой холостой человек не вздохнет, видя красоту и щастие детей, скромность и благонравие женщин. Так, друзья мои, здесь женщины скромны и благонравны, следственно мужья щастливы; здесь супруги живут для себя, а не для света. Я говорю о среднем состоянии людей; впрочем и самые Английские Лорды, и самые Английские Герцоги не знают того всегдашнего рассеяния, которое можно назвать стихиею нашего, так называемого *хорошего общества*. Здесь бал или концерт есть важное происшествие: об нем пишут в газетах. У нас правило: *вечно быть в гостях, или принимать гостей*. Англичанин говорит: *я хочу быть щастливым дома, и только изредка иметь свидетелей моему щастию*. Какия же следствия? Светския дамы, будучи всегда на сцене, привыкают думать единственно о театральных добродетелях. Со вкусом одеться, хорошо войти, приятно взглянуть, есть важное достоинство для женщины, которая живет в гостях, а дома только спит или сидит за туалетом. Ныне большой ужин, завтра бал: красавица танцует до пяти часов утра; и на другой день до того ли ей, чтобы заниматься своими нравственными[3] должностями? Напротив того Англичанка, воспитываемая для домашней жизни, приобретает качества доброй супруги и матери, украшая душу свою теми склонностями и навыками, которые предохраняют нас от скуки в уединении, и делают одного человека сокровищем для другого. Войдите здесь по утру в дом: хозяйка всегда за рукодельем, за книгою, за клавесином, или рисует, или пишет, или учит детей, в приятном ожидании той минуты, когда муж, отправив свои дела, возвратится с биржи, выдет из кабинета и скажет: *теперь я твой! теперь я ваш!* Пусть назовут меня, чем кому угодно; но признаюсь, что я без какой-то внутренней досады не могу видеть молодых супругов в свете, и говорю мысленно: «Нещастные! что вы здесь делаете? Разве дома среди вашего семейства, в объятиях любви и дружбы, вам не сто раз приятнее, нежели в этом пустоблестящем кругу, где не только добрыя свойства сердца, но и самый ум едва ли не без дела; где знание какой-то приличности составляет всю науку; где *быть не странным* есть верх искусства для мущины, и где две, три женщины бывают для того, чтобы удивлялись красоте их, а все прочия... Бог знает, для чего; где с большими издержками и хлопотами люди проводят несколько часов в утомительной игре ложного веселья? Естьли у вас нет детей, мне остается только жалеть, что вы не умеете наслаждаться друг другом, и не знаете, как мило проводить целые дни с любезным человеком, деля с ним дело и безделье, в полной душевной свободе, в мирном расположении сердца. А естьли вы родители, то пренебрегаете одну из святейших обязанностей человечества.

В самую ту минуту когда ты, беспечная мать, прыгаешь в контр-дансе, маленькая дочь твоя падает, может быть, из рук неосторожной кормилицы, чтобы на всю жизнь сделаться уродом, или семилетний сын, оставленный с наемным учителем и слугами, видит какой нибудь дурной пример, который сеет в его сердце порок и нещастие. Сидя за клавесином, среди блестящего общества, ты, красавица, хочешь нравиться, и поешь как малиновка; но малиновка не оставляет птенцов своих! Одна попечительная мать имеет право жаловаться на судьбу, естьли не хороши дети ея; а та, которая светския удовольствия предпочитает семейственным, не может назваться попечительною.» [4]

И каким опасностям подвержена в свете добродетель молодой женщины? Скажите, не виновна ли она перед своим мужем, как скоро хочет нравиться другим? Что же иное может питать склонность ея к светским обществам? Слабости имеют свою постепенность, и переливы едва приметны. Сперва молодая супруга хочет только заслужить общее внимание или красотою или любезностию, чтобы *оправдать выбор ея мужа*, как думает; а там родится в ней желание нравиться какому нибудь *знатоку* более, нежели другому; а там — надобно хитрить, заманивать, подавать надежду; а там... не увидишь, как и сердце вмешается в планы самолюбия; а там — бедный муж! бедныя дети!

Всего же нещастнее она сама. Хорошо, естьли бы до конца можно было жить в упоении страстей; но есть время, в которое все оставляет женщину, кроме ея добродетели; в которое одна благодарная любовь супруга и детей может рассеять грусть ея о потерянной красоте и многих приятностях жизни, увядающих вместе с цветом наружных прелестей. Что, естьли оскорбленный муж убегает тогда ея взоров; естьли дурно воспитанныя дети, не обязанныя ей ни чем, кроме нещастной жизни и пороков своих, всякой час растравляют раны [5] ея сердца [5] знаками холодности, нелюбви, самого презрения?... Обратится ли к свету? Но там время переломило ея скипетр, угодники исчезли — Зефир опахала ея не приманивает уже Сильфов — и разве подобная ей нещастная кокетка сядет подле нее, чтобы излить желчь свою на умы и на сердца людей.

Говорю о женщинах для того, что сердцу моему приятнее заниматься ими; но главная вина без всякого сомнения на стороне мущин, которые не умеют пользоваться своими правами для взаимного щастия, и лучше хотят быть строптивыми рабами, нежели умными, вежливыми и любезными властелинами нежного пола, созданного прельщать, следственно не властвовать, потому что сила не имеет нужды в прельщении. Часто должно жалеть о *муже*, но о *мужьях* никогда. Мягкое женское сердце принимает всегда образ нашего; и естьли бы мы вообще любили добродетель, то милыя красавицы из кокетства сделались бы добродетельными.[6]

Я всегда думал, что дальнейшие успехи просвещения должны более привязать людей к домашней жизни. Не пустота ли душевная вовлекает

нас в рассеяние? Первое дело истинной Философии[7] есть обратить человека к неизменным удовольствиям Натуры. Когда голова и сердце заняты дома приятным образом; когда в руке книга, подле милая жена, вокруг прекрасныя дети, захочется ли ехать на бал, или на большой ужин?

Мысль моя не та, чтобы супруги должны были всю жизнь провести с глазу на глаз. Гименей не есть ни тюремщик, ни отшельник, и мы рождены для общества; но согласитесь, что в светских собраниях всего менее наслаждаются обществом. Там нет места ни рассуждениям, ни рассказам, ни излияниям чувства; всякой должен [8]сказать слово[8] мимоходом и увернуться в сторону, чтобы пустить [9]другова на сцену;[9] все беспокойны, чтобы не проговориться и не обличить своего невежества в *хорошем тоне*. Одним словом, это вечная дурная комедия, называемая *принуждением,* без связи, а всего более без интереса. — Но приятностию общества наслаждаемся мы в коротком обхождении с друзьями и сердечными приятелями, которых первый взор открывает душу; которые приходят к нам меняться мыслями и наблюдениями, шутить в веселом расположении, грустить в печальном. Выбор таких людей зависит от ума супругов; и не всего ли ближе искать их между теми, которых сама Натура предлагает нам в друзья, то есть, между родственниками? О милые союзы родства! вы бываете твердейшею опорою добрых нравов — и естьли я в чем нибудь завидую нашим предкам, то конечно в привязанности их к своим ближним.

Вольтер в конце своего остроумного и безобразного романа * говорит: *друзья! пойдем работать в саду!* слова, которыя часто отзываются в душе моей после утомительного размышления о тайне рока и щастия. Можно еще примолвить: «пойдем любить своих домашних, родственников и друзей; а прочее оставим на произвол судьбы»!

Не смотря на Лондонскую огромную церковь Св. Павла; не глядя на Темзу, через которую великолепные мосты перегибаются, и на которой пестреют флаги всех народов; не удивляясь богатству магазинов Ост-Индской Компании, и даже не в собрании здешнего Ученого Королевского Общества говорю я: *Англичане просвещены!* нет; но видя, как они умеют наслаждаться семейственным щастием, твержу сто раз: *Англичане просвещены!*

---

* Кандида.

‹151›

Литтература.

Литтература Англичан, подобно их характеру, имеет много *особенности*, и в разных частях превосходна. Здесь отечество *живописной* Поэзии (Poésie descriptive): Французы и Немцы переняли сей род у Англичан, которые умеют замечать самыя мелкия черты в Природе. По сие время ничто еще не может сравняться с Томсоновыми *Временами года*; их можно назвать зеркалом Натуры. Сен-Ламбер лучше нравится Французам; но он в своей Поэме кажется мне Парижским щеголем, который, выехав в загородный дом, смотрит из окна на сельския картины и описывает их в хороших стихах; а Томсона сравню с каким нибудь Швейцарским или Шотландским охотником, который, с ружьем в руке, всю жизнь бродит по лесам и дебрям, отдыхает иногда на холме или на скале, смотрит вокруг себя, и что ему полюбится, что Природа вдохнет в его душу, то изображает карандашем на бумаге. Сен-Ламбер кажется приятным гостем Натуры, а Томсон ея родным и домашним. — В Английских Поэтах есть еще какое-то *простодушие*, не совсем древнее, но сходное с Гомеровским; есть меланхолия, которая изливается более из сердца, нежели из воображения; есть какая-то странная, но приятная мечтательность, которая, подобно Английскому саду, представляет вам тысячу неожидаемых вещей. — Самым же лучшим цветком Британской Поэзии считается Мильтоново описание Адама и Евы и Драйденова Ода на музыку. Любопытно знать то, что Поэма Мильтонова, в которой столь много прекрасного и великого, сто лет продавалась, но едва была известна в Англии. Первый Аддисон поднял ее на высокой пьедесталь и сказал: *удивляйтесь!*

В Драматической Поэзии Англичане не имеют ничего превосходного, кроме творений одного Автора; но этот Автор есть Шекспир, и Англичане богаты!

Легко смеяться над ним не только с Вольтеровым, но и самым обыкновенным умом; кто же не чувствует великих красот его, с тем — я не хочу и спорить! Забавные Шекспировы Критики похожи на дерзких мальчиков, которые окружают на улице странно одетого человека и кричат: *какой смешной! какой чудак!*

Всякой Автор ознаменован печатию своего века. Шекспир хотел нравиться современникам, знал их вкус и угождал ему; что казалось тогда остроумием, то ныне скучно и противно: следствие успехов разума и вкуса, на которые и самой великой Гений *не может взять мер своих.* Но всякой истинный талант, платя дань веку, творит и для вечности; современныя красоты исчезают, а общия, основанныя на сердце человеческом и на природе вещей, сохраняют силу свою, как в Гомере, так и в Шекспире. Величие, истина характеров, занимательность приключений, *откровение* человеческого сердца, и великия мысли, рассеянныя в драмах Британского Гения, будут всегда их магиею для людей с чувством. Я не знаю другого Поэта, который имел бы такое всеобъемлющее, плодотворное, не-

истощимое воображение; и вы найдете все роды Поэзии в Шекспировых сочинениях. Он есть любимый сын богини Фантазии, которая отдала ему волшебный жезл свой; а он, гуляя в диких садах воображения, на каждом шагу творит чудеса!

Еще повторяю: у Англичан один Шекспир! Все их новейшие Трагики только-что *хотят* быть сильными, а в самом деле слабы духом. В них есть Шекспировской *бомбаст,* а нет Шекспирова Гения. В изображении страстей всегда почти заходят они за предел истины и Натуры, может быть от того, что обыкновенное, то есть истинное, мало трогает сонныя и флегматическия сердца Британцев: им надобны ужасы и громы, резанье и погребения, исступление и бешенство. Нежная черта души не была бы здесь примечена; тихие звуки сердца без всякого действия исчезли бы в Лондонском партере. — Славная Аддисонова трагедия хороша там, где Катон говорит и действует; но любовныя сцены несносны. Нынешния любимыя драмы Англичан: Grecian Daughter, Fair penitent, Jean Shore * и проч., трогают более содержанием и картинами, нежели чувством и силою Авторского таланта. — Комедии их держатся запутанными интригами и каррикатурами; в них мало истинного остроумия, а много *буфонства;* здесь Талия не смеется, а хохочет.

Примечания достойно то, что одна земля произвела и лучших Романистов и лучших Историков. Ричардсон и Фильдинг выучили Французов и Немцов писать романы как *историю жизни,* а Робертсон, Юм, Гиббон, влияли в Историю привлекательность любопытнейшего романа, умным расположением действий, живописью приключений и характеров, мыслями и слогом. После Фукидида и Тацита ничто не может сравняться с Историческим Триумвиратом Британии.**

Новейшая Английская Литтература совсем не достойна внимания: теперь пишут здесь только самые посредственные романы, а стихотворца нет ни одного хорошего. Йонг, гроза щастливых и утешитель нещастных, и Стерн, оригинальный живописец чувствительности, заключили фалангу бессмертных Британских Авторов.

А я заключу это письмо двумя, тремя словами об Английском языке. Он всех на свете легче и простее, совсем почти не имеет грамматики, и кто знает частицы of и to, знает склонения; кто знает will и shall, знает спряжения; все неправильные глаголы можно затвердить в один день. Но вы, читая как азбуку Робертсона и Фильдинга, даже Томсона и Шекспира, будете с Англичанами немы и глухи; то есть, ни они вас, ни вы их не поймете. Так труден Английской выговор, и столь мудрено узнать слухом то слово, которое вы знаете глазами! Я все понимаю, что мне напишут, а в разговоре должен угадывать. Кажется, что у Англичан рты связаны или на отверстие их положена Министерством большая пошлина: они чуть, чуть разводят зубы, свистят, намекают, а не говорят. Вообще Английской язык груб, неприятен для слуха, но богат и обработан во всех родах для письма — богат *краденым,* или (чтоб не оскорбить

* «Дочь Греции», «Кающаяся красавица», «Джин Шор» (*англ.*)

** Т. е. с Робертсоном, Юмом и Гиббоном.

Британской гордости), *отнятым* у других. Все ученыя и по большой части нравственныя[1] слова взяты из Французского или из Латинского, а коренные глаголы из Немецкого. Римляне, Саксонцы, Датчане истребили и Британской народ, и язык их; говорят, что в Валлисе есть некоторые его остатки. Пестрота Английского языка не мешает ему быть сильным и выразительным; а смелость Стихотворцев удивительна; но гармонии, и того, что в Реторике называется *числом,* совсем нет. Слова отрывистыя, фразы короткия, и ни малого разнообразия в периодах! Мера стихов всегда одинакая: Ямбы в 4 или в 5 стоп с мужеским окончанием. — Да будет же честь и слава нашему языку, который в самородном богатстве своем, почти без всякого чуждого примеса, течет как гордая, величественная река — шумит, гремит — и вдруг, естьли надобно, смягчается, журчит нежным ручейком и сладостно вливается в душу, образуя все меры, какия заключаются только в падении и возвышении человеческого голоса!

‹152›

Лондон, Августа... 1790.

В 8 часов вечера я позвонил в своем маленьком кабинете, и вместо моей Дженни (которая, сказать правду, не очень красива собою) вошла ко мне прелестная девушка лет семнадцати. Я удивился, и смотрел на нее в молчании. Она спрашивала: «что угодно господину?» краснелась, присядала, глядела в землю, и наконец изъяснила мне, что Дженни, пользуясь Воскресеньем, гуляет за городом, а она взялась на несколько часов заступить ея место в доме. Я хотел знать имя красавицы? — София. — Ея состояние? — Служанка в пансионе. — Ея забавы, удовольствия в жизни? — Работа, милость госпожи, хорошая книжка. — Ея надежды? — Накопить несколько гиней и возвратиться в Кентское Графство к старику отцу, которой живет в большой нужде. — — София принесла мне чай, налила, по усильной прозьбе моей сама выпила чашку, но никак не хотела сесть, и при всяком слове краснелась, хотя я остерегался нескромности в разговоре с нею. Впрочем, к моему удивлению, Английския фразы сами собою мне представлялись, и естьли бы я всякой день мог говорить с прелестною Софиею, то через месяц заговорил бы как — Оратор Парламента! С чувством скажу вам, друзья мои, что Англичанки и в самом низком состоянии чрезвычайно любезны своею кротостию.

В нынешнее Воскресенье поговорю о Воскресеньи. Оно здесь свято и торжественно; самый бедный поденщик перестает работать; купец запирает лавку, биржа пустеет, Спектакли затворяются, музыка молчит. Все идут к обедне; люди, привязанные своими упражнениями и делами к городу, разъезжаются по деревням; народ толпится на гульбищах, и бед-

ный по возможности наряжается. Что у Французов *Генгеты,*[1] то здесь Thea-gardens или сады, где народ пьет чай и пунш, ест сыр и масло. Тут-то во всей славе являются горнишныя девушки, в длинных платьях, в шляпках, с веерами; тут ищут оне себе женихов и щастья; видятся с своими знакомыми, угощают друг друга, и набираются всякого рода анекдотами, замечаниями, на целую неделю. Тут, кроме слуг и служанок гуляют ремесленники, сидельцы, Аптекарские ученики — одним словом, такие люди, которые имеют уже некоторый вкус в жизни, и знают, что такое хороший воздух, приятный сельской вид, и проч. Тут соблюдается тишина и благопристойность; тут вы любите Англичан.

Но естьли хотите, чтобы у вас помутилось на душе, то загляните ввечеру в подземельныя[2] Таверны или в *питейные домы,* где веселится подлая Лондонская чернь! — Такова судьба гражданских обществ:[3] хорошо сверху, в середине, а вниз не заглядывай. Дрожжи и в самом лучшем вине бывают столь же противны вкусу, как и в самом худом.

Дурное напоминает дурное: скажу вам еще, что на Лондонских улицах, ввечеру, видел я более ужасов разврата, нежели и в самом Париже. Оставляя другое (о чем можно только говорить, а не писать) вообразите, что между нещастными жертвами распутства здесь много двенадцатилетних девушек! вообразите, что есть Мегеры, к которым изверги-матери приводят дочерей на смотр и торгуются!

Я начал письмо свое невинностию, а кончил предметом омерзения! — Любезная София! прости меня.

‹153›

Вестминстер.

Славная *Вестминстерская* зала (Westminsterhall) построена еще в одиннадцатом веке, как некоторые Историки утверждают. Она считается самою огромнейшею в Европе, и свод ея держится сам собою, без столбов. В ней торжествуется коронация Английских Монархов; в ней бывают и чрезвычайныя заседания Верхнего Парламента, когда он судит Государственного Пера. Таким образом случилось мне видеть там суд Гастингса, Hasting's trial, который уже 10 лет продолжается, и который был для меня любопытен. Достав билет через нашего Посла, я занял место в верхней галлерее, среди множества зрителей. Мы долго ждали. Наконец явился Фокс, в черном Французском кафтане, с кипою бумаг; а за ним Борк, сухощавой старик в очках, и также в черном кафтане и с бумагами. Вы знаете, что Нижний Парламент, именем народа, обвиняет Гастингса, бывшего Губернатора Ост-Индии, в разных преступлениях, и выбрал адвокатами Борка, Фокса и Шеридана, чтобы доказывать вины его в судилище Лордов. Отворились большия двери — и судьи, Члены Верхнего Парламента, вошли тихо и торжественно друг за другом в своих

мантиях, а Духовные, то есть Епископы, в высоких шапках, и сели по местам. [1] Фокс стал напротив Лорда Канцлера,[1] и начал говорить речь, которая продолжалась целые... четыре часа! Он исчислял все доказательства Гастингсова корыстолюбия, все его беззаконныя дела, оскорбительныя для чести, для имени Английского народа; говорил сильно, иногда с жаром, и отдыхал единственно тогда, когда надлежало представить улики в подлиннике. В таком случае Борк заступал место его и читал бумаги; а Ритор садился на стул, утираясь белым платком, и через 5 минут снова начинал говорить. Я не столько жалел Фоксовой груди, сколько бедных Лордов — слушать, по крайней мере сидеть столько времени на одном месте, без движения, с важностию, с видом внимания! Фокс требовал от них не безделки, а жизни Гастингсовой, называя его вором, злодеем, чудовищем — и в присутствии его самого. Гастингс, старик лет за шестьдесят, седой, худенькой, в голубом Французском кафтане, сидел на креслах подле самого Ритора, который над его головою требовал его головы! Но умный старик казался совершенно покойным, равнодушным; даже худо слушал, посматривая то на судей, то на своих двух Адвокатов, которые с великою прилежностию записывали обвинения, сидя подле Клиента. Он уверен, что его оправдают; но виноват ли он подлинно? спросите вы. Против человечества, виноват; против Англии, нет. Гастингс не злодей в сердце своем; но зная тайную политику Английского Министерства, зная выгоды Ост-Индской Компании, жертвовал, может быть, собственными благородными чувствами тому предмету, для которого послали его в Индию; тиранствовал, чтобы утвердить там власть Англичан, и стараясь умножать доходы Компании, умножил, может быть, и свои — за что однакожь Министры не предадут его в жертву Парламентским говорунам. Англичанин человеколюбив у себя; а в Америке, в Африке и в Азии едва не зверь; по крайней мере с людьми обходится там как с зверями; накопит денег, возвратится домой, и кричит: *не тронь*[2] *меня; я человек!* Торжество Английского правосудия состоит единственно в том, что Гастингса бранят, разоряют, именем закона; Риторы истощают свое красноречие, занимают Публику, Журналистов; Лорды зевают, дремлют на больших креслах; всякой делает свое дело — и довольно! Что принадлежит до Фоксова таланта, то я назову его скорее *складною говорливостию,* нежели красноречием; слова текут рекою, но нет сильных Ораторских[3] движений; много разительной Логики, только много и лишнего. В Шеридане более пиитического жара, но менее логической силы, как говорят Критики; а славный Борк уже стареется. — — Наконец Фокс кончил, поклонился и сошел с кафедры. Один из Гастингсовых Адвокатов сказал Перам: «Милорды! Генерал N. N. не успел представить вам отзыва в пользу нашего Клиента; уехал в свое отечество, в Швейцарию, для поправления здоровья; но он скоро возвратится.»... Тут Борк выступил вперед и примолвил с важным видом: «Милорды! пожелаем Господину Генералу щастливого пути и лучшего здоровья!» Все Лорды, все зрители засмеялись; встали — и пошли домой.

Подле Вестминстерской залы, в остатках огромного дворца,[4] который сгорел * при Генрихе VIII, собирается обыкновенно Верхний и Нижний Парламент. В заседаниях первого не бывает никого, кроме Членов; я мог видеть только залу собрания, украшенную богатыми обоями, на которых изображено разбитие Гишпанской Армады. В конце залы возвышается Королевской трон, а подле два места для старших Принцов крови; за троном сидят молодые Лорды, которые не имеют еще голоса; на правой стороне Епископы, против Короля Перы, Герцоги и проч. Замечания достойно то, что Канцлер и Оратор сидят на *шерстяных шарах:* древнее и, как уверяют, символическое обыкновение! Шар означает важность торговли (не знаю, по чему) а шерсть суконныя Английския фабрики, требующия внимания Лордов.

Зала Нижнего Парламента соединяется с первою длинным коридором; она убрана деревом. Тут для зрителей сделаны галлереи. Кафедры нет. Президент, называемый Оратором, сидит на возвышенном месте между двух Клерков или Секретарей, за столом, на котором лежит золотой скипетр; они трое должны быть всегда в Шпанских париках и в мантиях; все прочие в обыкновенных кафтанах, в шляпах, сидят на лавках, из которых одна другой выше. Кто хочет говорить, встает, и снимая шляпу, обращает речь свою к Президенту, то есть к Оратору, который, подобно дядьке, унимает их, естьли они заговорят не-дело. и кричит: to order! *в порядок!* Члены могут всячески бранить друг друга, только не именуя, а на пример так: «почтенный господин, который говорил передо мною, есть глупец» — и проч. Министрам часто достается; они иногда отбраниваются, иногда отмалчиваются; а когда пойдет дело на голоса, большинство всегда на их стороне. Кто говорит хорошо, того слушают; в противном случае кашляют, стучат ногами, шумят; а при всяком важном слове кричат hearken! *слушайте!* Заседание открывается в 3 часа по полудни, молитвою, и продолжается иногда до 2 за полночь. Розница[5] между Парижским Народным собранием и Английским Парламентом есть та, что первое шумнее; впрочем и Парламентския собрания довольно беспорядочны. Члены беспрестанно встают; поклонясь Оратору, как школьному Магистру, бегают вон, едят и проч. — Их числом 558; на лицо же не бывает никогда и трех сот. Едва ли 50 человек говорят когда нибудь; все прочие немы; иные, может быть, и глухи — но дела идут своим порядком, и хорошо. Умные Министры правят; умная публика[6] смотрит и судит. Член может говорить в Парламенте все, что ему годно; по закону он не дает ответа.

---

* Едва ли в каком нибудь городе было столько пожаров, как в Лондоне.

‹154›

Вестминстерское Аббатство.

Церковныя Английския Хроники наполнены чудесными сказаниями о сем древнем Аббатстве. На пример, оне говорят, что сам Апостол Петр, окруженный ликами Ангелов, освятил его в начале седьмого века, при Короле Себерте. Как бы то ни было, оно есть самое древнейшее здание в Лондоне, несколько раз горело, разрушалось и снова из праха восставало. Славный Рен, строитель Павловской церкви, прибавил к нему две новыя готическия башни, которыя, вместе с северным портиком, называемым *Соломоновыми вратами*, Solomon's Gate, всего более украшают внешность храма. Внутренность разительна; огромный свод величественно опускается на ряд гигантских столпов, между которыми свет и мрак разливаются. Тут всякой день бывает утреннее и вечернее служение; тут венчаются Короли Английские; тут стоят и гробы их!... Я вспомнил Французской стих:

Не льзя без ужаса с престола — в гроб ступить!

Тут сооружены монументы Героям, Патриотам, Философам, Поэтам; и я назвал бы Вестминстер храмом бессмертия, естьли бы в нем не было многих имен, совсем недостойных памяти. Чтобы думать хорошо об людях, надобно читать не Историю, а надгробныя надписи: как хвалят покойников! — Замечу важнейшие монументы и переведу некоторыя надписи.

На черном и белом мраморном памятнике Лорда Кранфильда подписано женою его: «Зависть воздвигала бури против моего славного и добродетельного супруга; но он, с чистою душею, смело стоял на корме, крепко держался за руль совести, рассекал волны, спасся от кораблекрушения, в глубокую осень жизни своей бросил якорь и вышел на тихий берег уединения. Наконец сей изнуренный мореходец отправился на тот свет, и корабль его щастливо пристал к небу.»

На гробе славного Поэта Драйдена стоит его бюст, с простою надписью: «Иоанн Драйден родился в 1632, умер в 1700 году. Герцог Буккенгам соорудил ему сей монумент.» — Подле, как нарочно, вырезана самая пышная эпитафия на памятнике Стихотворца Кауле (Cowley): «Здесь лежит Пиндар, Гораций и Виргилий Англии, утеха, красота, удивление веков,» и проч. — На гробе самого Герцога Буккингама, друга Попова, читаете: «Я жил и сомневался; умираю и не знаю; что ни будет, на все готов.» — А ниже: «За Короля моего часто, за отечество всегда».

Готический монумент древнейшего Английского стихотворца Часера почти совсем развалился. Часер жил в четвертом-надесять веке, писал неблагопристойныя сказки, хвалил своего родственника, Герцога Ландкастерского, и помог ему стихами своими взойти на престол.

Нещастный Граф Эссекс посвятил белый мраморный памятник Бену Джонсону, современнику Шекспирову, с надписью: O rare Ben Johnson! *О редкой Джонсон!*

На гробе Спенсера подписано: «Он был царь Поэтов своего времени, и божественный ум его всего лучше виден в его творениях.»

Ботлер сочинил славную Поэму Годибраса, осмеивая в ней Кромвелевских Республиканцев и Фанатизм. Двор и Король хвалили Поэму, но Автор умер с голоду. Барбер, Лондонской Мер, сказал: «кто в жизни не имел пристанища, тому сделаем хотя по смерти достойный его монумент» — сказал и сделал.

Под Мильтоновым бюстом сооружен памятник Стихотворцу Грею. Лирическая Муза держит в руке медальйон его, и указывая другою рукою на Мильтона, говорит: *у Греков Гомер и Пиндар; здесь Мильтон и Грей!*

Преклоните колена... вот Шекспир!... стоит как живой, в одежде своего времени, опершись на книгу, в глубокой задумчивости... Вы узнаете предмет его глубокомыслия, читая следующую надпись, взятую из его Драмы The Tempest: *

Колоссы гордые, веков произведенье,
И храмы славные, и самой шар земной,
Со всем, что есть на нем, исчезнет как творенье
Воздушныя мечты, развалин за собой
В пространствах не оставив!

Четыре времени года изображены на гробнице Томсоновой. Отрок указывает на них и подает венок Поэту.

Герцог и Герцогиня Квинсберри почтили прекрасным монументом Гея, творца Оперы *Нищих.*** Эпитафия сочинена самим Геем:

Все в свете есть игра, жизнь самая ничто:
Так прежде *думал* я, а ныне *знаю* то.

Музыкант Гендель, изображенный славным Рубильяком, слушает Ангела, который в облаках, над его головою, играет на арфе. Перед ним лежит его Оратория, Мессия, разогнутая на прекрасной арии: I know that my Redeemer lives: *Знаю, что жив спаситель мой!* [2] —

На гробнице Томаса Парра написано, что он жил 152 года, в царствование десяти Королей, от Эдуарда IV до Карла II. Известно, что сей удивительный человек, будучи ста тридцати лет, не оставлял в покое молодых соседок своих, и присужден был всенародно, в церкви, каяться в любовных грехах.

Автор *Вакефильдского Священника, Запустевшей деревни* и *Путешественника,* Голдсмит расхвален до крайности. «Он был великой Поэт, Историк, Философ; занимался почти всяким родом сочинений, и во всяком успевал; владел нежными чувствами, и по воле заставлял плакать и смеяться. Во всех его речах и делах обнаруживалось редкое добродушие. Ум острый, замысловатый и великой вливал душу, силу и приятность

---

* «Буря» (*англ.*)

** Самое остроумнейшее произведение Английской Литтературы... и самое противное человеку с нежным нравственным [1] чувством.

в каждое слово его. Любовь товарищей,[3] верность друзей и уважение читателей воздвигли ему сей памятник.»

Я остановился с благоговением перед памятником Невтона. Херувимы держат перед ним развернутый свиток; он указывает на него пальцом, опершись рукою на книги, с заглавием: Божество, Оптика, Хронология; вверху большой шар, на котором сидит *Астрономия;* внизу прекрасной барельеф, где изображены все Невтоновы открытия. В Латинской надписи сказано, что он «почти божественным умом своим определил движение и фигуру светил небесных, путь Комет, прилив и отлив моря; узнал разнообразие солнечных лучей и свойство цветов, был мудрым изъяснителем Натуры, древности и Св. Писания; доказал своею Философиею величие Бога, а жизнию святость Евангелия.» Надпись заключается сими словами: «Как смертные должны гордиться Невтоном, славою и красою человечества!»

Некоторые памятники сооружены Парламентом и Королем, от имени благодарной Англии, за важныя услуги; на пример, Капитану Корнвалю, Генералу Вольфу, Маиору Андре, которые пожертвовали жизнию отечеству. Трогательное и достойное геройства воздаяние!

Монумент Гаскона Найтингеля и жены его, посвященный любовию сына их, есть самый лучший в Вестминстерском Аббатстве, как художеством, так и мыслию. Прекрасная женщина умирает в объятиях супруга. Смерть выползает из гроба, смотрит ужасными глазами на супругу и метит в нее копьем своим. Супруг видит грозное чудовище, и в страхе, в отчаянии, стремится отразить удар. — Это работа славного Рубильяка.

Придел Генриха VII назывался *чудом мира.* В самом деле тут много удивительного в готическом вкусе; особливо же в резьбе на меди и на дереве. — В этом приделе погребают Королевскую фамилию, и вы видите подле нещастной Марии Стуарт Елисавету! Гроб всех примиряет.

В заключение переведу вам нечто из мыслей одного Англичанина о Вестминстерском Аббатстве.

«С живым меланхолическим удовольствием был я во всех мрачных сокровенностях сего последнего жилища славы; рассуждал о жизни человеческой, ея бедствиях и краткости. Миллионы (думал я), подобно тебе размышляли здесь о трофеях смерти, на которые теперь смотришь; и ты, подобно миллионам, будешь прахом, уступишь место новым людям, и следов твоих не останется. Сие святое хранилище славы и величия будет и впредь наполняться почтенными остатками дарований и заслуг, украшаться новыми великолепными памятниками и служить предметом удивления; а наконец, по неизбежному закону судьбы, со всем богатством древностей погребется во тме времен, и будет *памятником собственного своего разрушения!*»

‹155›

Окрестности Лондона.

Видя и слыша, как скромно живут богатые Лорды в столице, я не мог понять, на что они проживаются; но увидев сельские домы их, понимаю, как им может недоставать и двух сот тысячь дохода. Огромные замки, сады, которых содержание требует множества рук; лошади, собаки, сельские праздники: вот обширное поле их мотовства! Руской в столице и в путешествиях разоряется, Англичанин экономит. Живучи в Лондоне только заездом, Лорд не считает себя обязанным звать гостей; не стыдится в старом фраке итти пешком обедать к Принцу Валлисскому и ехать верхом на простой наемной лошади; а естьли вы у него по короткому знакомству обедаете, служат два лакея — простой сервис — и много, что пять блюд на столе. Здесь живут в городе как в деревне, а в деревне как в городе; в городе простота, в деревне старомодная пышность — разумеется, что я говорю о богатом дворянстве.

И сколько сокровищ в живописи, в антиках, рассеяно по сельским домам! Давно уже Англичане имеют страсть ездить в Италию и скупать все превосходное, чем славится там древнее и новое Искусство; внук умножает собрание деда, и картина, статуя, которою любовались художники в Италии, навеки погребается в его деревенском замке, где он бережет ее как *златое руно* свое: почему, теряясь в лабиринте сельских парков, любопытный художник может воображать себя Язоном.

Я наименую только самые лучшие из виденных мною домов вокруг Лондона:

Так называемый *Бельведер* Лорда Турлова, откуда прекрасный вид на окрестныя поля и Темзу, покрытую кораблями — замок Графа Минсфильда, где есть великолепная зала, которую считают лучшим произведением здешней Архитектуры — Герцога Девонширского, может быть самый огромнейший в Англии, построенный среди темных кедровых алей — Графа Дорсета, окруженный самым диким парком, где множество зверей, птиц, и где есть прекрасный готической эрмитаж с искусственными развалинами — Графа Буккингамшира с миловидными каштановыми лесочками, прекрасным гротом, обсаженным благоуханными кустами — Sion-House * Герцога Нортумберландского с большими садами, всего более украшенными текущею в них Темзою — Вальполя в готическом вкусе — Графа Тильнея, откуда с террасы видны река, каналы, бесчисленныя алеи, пустыни, лесочки, которые составляют необозримой амфитеатр — Алдермана Томаса, называемый naked beauty ** — господина Бинга и Карю (Carew), где обширные сады, а в садах столетния померанцовыя деревья (что беспримерно в Англии). — В каждом из сих домов богатая картинная галлерея со множеством других произведений Искусства; при каждом большия оранжереи, где собраны плоды и растения всех частей

* Сионский замок (*англ.*)
** чистая красота (*англ.*)

мира; при каждом огромныя конюшни, где лошади живут лучше многих людей на свете. Вы читали забавное Гулливерово путешествие; помните, что он заехал в царство лошадей, у которых люди были в рабстве, и которыя, разговаривая по своему с нашим путешественником, никак не хотели верить, чтобы где нибудь подобныя им благородные твари могли служить слабодушному человеку. Эта выдумка Свифтова казалась мне странною; но приехав в Англию, я понял Сатирика: он шутил над своими земляками, которые, по страсти к лошадям, ходят за ними по крайней мере как за нежными друзьями своими. Резвые скакуны здесь только-что не Члены Парламента, и без всякого излишнего самолюбия могут вообразить себя господами людей. — Вообще Архитектура сельских замков и домов очень хороша. Вкус, выгнанный из Лондона, живет и царствует в Английских деревнях.

Во все стороны Лондонския окрестности приятны; но смотреть на них хорошо только с какого нибудь возвышения. Здесь все обгорожено: поля, луга; и куда ни взглянешь, везде забор — это неприятно.

Самыя лучшия места по реке Темзе; самые лучшие виды вокруг Виндзора и Ричмонда, который в древния времена был столицею Британских Королей, и назывался *Шен:* что на старинном Саксонском языке значило *блестящий.* Теперь Ричмонд есть самая прекраснейшая деревня в свете, и называется *Английским Фраскати.*[1] Тамошний дворец не достоин большого внимания; сад также — но вид с горы, на которой Ричмонд возвышается амфитеатром, удивительно прелестен. Вы следуете глазами за Темзою верст 30 в ея блистательном течении сквозь богатыя долины, луга, рощи, сады, которые все вместе кажутся одним садом. Тут прекрасно видеть восхождение солнца, когда оно, как будто бы снимая туманный покров с равнин, открывает необозримую сцену деятельности в физическом и нравственном мире. Я несколько раз ночевал в Ричмонде, но только однажды видел восходящее солнце. Между Ричмонда и Кингстона есть большой парк, называемый New-Park,* которого хотя и не льзя сравнять с Виндзорским, но который однакожь считается одним из лучших в Англии. Величественныя дерева, прекрасная зелень; а всего лучше вид с тамошнего холма: шесть провинций представляются глазам вашим — Лондон — Виндзор. . . .

Я один раз был в славном, Кьюском саду, Kew-Garden, место, которое нынешний Король старался украсить по всей возможности, но которое само по себе не стоит того, хотя в описаниях и называют его Эдемом: мало, низко, без видов. Там Китайское, Арабское, Турецкое перемешено с Греческим и Римским. Храм Беллоны и Китайский павильйон; храм Эола и дом Конфуциев; Арабская *Алгамра* и *Пагода!*

Из Ричмонда ходил я в Твитнам (Twickenham), миловидную деревеньку, где жил и умер Философ и Стихотворец Поп. Там множество прекрасных сельских домиков; но мне надобен был дом Поэта (принадлежащий теперь Лорду Станопу). Я видел его кабинет, его кресла — место, обсаженное деревами, где он в летние дни переводил Гомера — грот, где

* Новый парк (*англ.*)

стоит мраморный бюст его, и откуда видна Темза — наконец столетнюю иву, которая чудным образом раздвоилась, и под которою любил думать Философ и мечтать Стихотворец; я сорвал с нее веточку на память.

В церкви сделан Поэту мраморный монумент, другом его, Доктором Варбуртоном. На верху бюст, а внизу надпись, самим Попом сочиненная:

Heros and Kings! your distance keep!
In peace let one poor Poet sleep,
Who never flatterd folks like you.
Let Horace blush, and Virgile too! *

Правда ли? — В этой же церкви погребен бессмертный Томсон, без монумента, без надписи.

Я любопытствовал видеть, близ городка Барнета, то место, где в 1471 году, в Светлое Воскресенье, кровопролитное сражение решило судьбу фамилий Йоркской и Ландкастерской. Сия война составляет ужаснейшую эпоху в Английской Истории; славная Magna Charta,** права, законы, все было под спудом. Народ не знал, к кому обратиться, и в мертвой бесчувственности служил орудием безпрестанных злодеяний. — На сем месте сооружен каменный столп.[2]

В деревне Бромтоне показывали мне развалины Кромвелева дому.[3]

Местечко Чарлтон достойно примечания по красивому своему положению, а еще более по *роговой ярмонке,* Horn-fair, которая ежегодно там бывает, и на которой все жители украшают свой лоб рогами! Рассказывают, что Король Иоанн, будучи на звериной ловле, утомился и заехал в Чарлтон отдохнуть; вошел в крестьянскую избу, полюбил хозяйку и начал ласкать ее так нежно, что хозяин рассердился, и так рассердился, что хотел убить его; но Король объявил себя Королем, обезоружил крестьянина, и желая наградить его за маленькую досаду, подарил ему местечко Чарлтон, с тем условием, чтобы он завел там ярманку, на которой бы все купцы и продавцы являлись с рогатыми лбами. — Оставляю вам сказать на этот случай множество острых слов.

Гамтон-Каурт, построенный Кардиналом Вольсеем, верстах в 17 от Лондона, на берегу Темзы, удивлял некогда своим великолепием, так что Гроций назвал его в стихах своих *дворцом мира,* и прибавил: «везде *властвуют* боги; но *жить* им прилично только в Гамптон-Каурте!» — Пишут, что в нем сделано было 280 раззолоченных кроватей с шелковыми занавесами для гостей, и что всякому гостю подавали есть на серебре, а пить в золоте. Английской Ришельё и Дюбуа — так можно назвать Вольсея — наконец сам испугался такой пышности, зная хищную зависть Генриха VIII, и решился подарить ему сей замок, в котором после жила умная и добродетельная Королева Мария, дочь Иакова II. Архитектура дворца отчасти готическая, но величественна. Внутри множество картин, из которых лучшия Веронезова Сусанна и Бассанов *потоп.* Кабинет

* «Прочь, Цари и Герои! дайте покойно спать бедному Поэту, который вам никогда не ласкал, к стыду Горация и Виргилия!»

** Великая Хартия (*латин.*)

Марии украшен ея собственною работою. — Гамптонские сады напоминают старинный вкус.

В заключение скажу, что нигде, может быть, сельская Природа так не украшена, как в Англии; нигде не радуются столько ясным летним днем, как на здешнем острове. Мрачной флегматической британец с жадностию глотает солнечные лучи, как лекарство от его болезни, *сплина*. Одним словом: дайте Англичанам Лангедокское небо — они будут здоровы, веселы, запоют и запляшут как Французы.

Еще прибавлю, что нигде нет такой удобности ездить за город, как здесь. Идете на почтовой двор, где стоит всегда множество карет; смотрите, на которой написано имя той деревни, в которую хотите ехать; — садитесь, не говоря ни слова, и карета в положенный час скачет, хотя бы и никого, кроме вас, в ней не было; приехав на место, платите безделку, и уверены, что для возвращения найдете также карету. Вот действие многолюдства и всеобщего избытка![4]

‹156›

Лондон, Сентября... 1790.

Было время, когда я, почти не видав Англичан, восхищался ими, и воображал Англию самою приятнейшею для сердца моего землею. С каким восторгом, будучи пансионером Профессора Ш*, читал я во время Американской войны донесения торжествующих Британских Адмиралов! Родней, Гоу, не сходили у меня с языка; я праздновал победы их и звал к себе в гости маленьких соучеников моих. Мне казалось, что быть храбрым есть... быть Англичанином — великодушным, тоже — чувствительным, тоже; истинным человеком, тоже. Романы, естьли не ошибаюсь, были главным основанием такого мнения. Теперь вижу Англичан вблизи, отдаю им справедливость, хвалю их — но похвала моя так холодна, как они сами.

Во первых я не хотел бы провести жизнь мою в Англии для климата, сырого, мрачного, печального. Знаю, что и в Сибири можно быть щастливым, когда сердце довольно и радостно; но веселой климат делает нас веселее, а в грусти и в меланхолии здесь скорее нежели где нибудь захочется застрелиться. Рощи, парки, луга, сады: все это прекрасно в Англии; но все это покрыто туманами, мраком и дымом земляных угольев. Редко, редко проглянет солнце, и то не на-долго; а без него худо жить на свете. *Кланяйся от меня солнцу,* писал некто отсюда к своему приятелю в Неаполь: *я уже давно не видался с ним.* Английская зима не так холодна, как наша; за то у нас зимою бывают красные дни, которые здесь и летом редки. Как же Англичанину не смотреть Сентябрем?

Вовторых — холодный характер их мне совсем не нравится. *Это Волкан, покрытый льдом,* сказал мне рассмеявшись один Французской Эми-

грант.[1] Но я стою, гляжу, пламени не вижу, а между тем зябну. Рускоемое сердце любит изливаться в искренних, живых разговорах; любит игру глаз, скорыя перемены лица, выразительное движение руки. Англичанин молчалив, равнодушен, говорит как читает, не обнаруживая никогда быстрых душевных стремлений, которыя потрясают электрически всю нашу физическую систему. Говорят, что он глубокомысленнее других: не для того ли, что кажется глубокомысленным? не по тому ли, что густая кровь движется в нем медленнее, и дает ему вид задумчивого, часто без всяких мыслей? Пример Бакона, Невтона, Локка, Гоббеса, ничего не доказывает. Гении родятся во всех землях; вселенная отечество их — и можно ли по справедливости сказать, чтобы (на пример) Локк был глубокомысленнее Декарта и Лейбница?

Но что Англичане просвещены и рассудительны, соглашаюсь: здесь ремесленники читают Юмову Историю, служанка Йориковы проповеди и Клариссу; здесь лавошник рассуждает основательно о торговых выгодах своего отечества, и земледелец говорит вам о Шеридановом красноречии; здесь газеты и журналы у всех в руках, не только в городе, но и в маленьких деревеньках.

Фильдинг утверждает, что ни на каком языке не льзя выразить смысла Английского слова humour, означающего и *веселость,* и *шутливость,* и *замысловатость;* из чего заключает, что его нация преимущественно имеет сии свойства. Замысловатость Англичан видна разве только в их каррикатурах, шутливость в народных глупых театральных *фарсах,* а веселости ни в чем не вижу — даже на самыя смешныя каррикатуры смотрят они с преважным видом! а когда смеются, то смех их походит на истерической. Нет, нет, гордые цари морей, столь же мрачные, как туманы, которые носятся над стихиею славы вашей! оставьте недругам вашим, Французам, всякую игривость ума. Будьте рассудительны, естьли вам угодно; но позвольте мне думать, что вы не имеете тонкости, приятности разума и того живого слияния мыслей, которое производит общественную любезность. Вы рассудительны — и скучны!... Сохрани меня Бог, чтобы я тоже сказал об Англичанках! Оне милы своею красотою и чувствительностию, которая столь выразительно изображается в их глазах: довольно для их совершенства и щастия супругов! о чем я уже писал к вам; а теперь судим только мущин.

Англичане любят благотворить, любят удивлять своим великодушием, и всегда помогут нещастному, как скоро уверены, что он не притворяется нещастным. В противном случае скорее дадут ему умереть с голода, нежели помогут, боясь обмана, оскорбительного для их самолюбия. Ж*, наш земляк, который живет здесь лет восемь, зимою ездил из Лондона во Фландрию, и на возвратном пути должен был остановиться в Кале. Сильный, холодный ветер окружил гавань множеством льду, и пакет-боты никак не могли вытти из нее. Ж* издержал все свои деньги, грустил и не знал, что делать. Трактиры были наполнены путешественниками, которые, в ожидании благоприятного времени для переезда через Канал, веселились без памяти, пили, пели и танцовали. Земляк наш с пустым кошельком и с печальным сердцем не мог участвовать в их весельи.

В одной комнате с ним жили богатый Англичанин и молодой Парижской купец. Он открыл им причину своей грусти. Что сделал богатый Англичанин? дивился его безрассудности, и повторив несколько раз: *как можно на всякой случай не брать с собою лишних денег?* вышел вон. Что сделал молодой Француз? высыпал на стол свои луидоры и сказал: *возьмите сколько вам надобно; будьте только веселее.* — «Государь мой! вы меня не знаете.» — Все одно; я рад услужить вам; в Лондоне мы увидимся. — Ж* взял с благодарностию луидоров 10 или 15, и хотел дать ему свой Лондонской адрес. Француз не принял его, говоря: *ваше дело сыскать меня на бирже. Я пять лет купец, а 24 года человек.* — — Англичанин поступил так грубо не от скупости, но от страха быть обманутым.

Замечено, что они в чужих землях гораздо щедрее на благодеяния, нежели в своей, думая, что в Англии, где всякого роду трудолюбие по достоинству награждается, хороший человек не может быть в нищете; из чего вышло у них правило: *кто у нас беден, тот недостоин лучшей доли* — правило ужасное! Здесь бедность делается пороком! Она терпит, и должна таиться! Ах! естьли хотите еще более угнести того, кто угнетен нищетою, пошлите его в Англию: здесь, среди предметов богатства, цветущего изобилия и кучами рассыпанных гиней, узнает он муку Тантала! ... И какое ложное правило! Разве стечение бед не может и самого трудолюбивого довести до сумы? На пример, болезнь....

Англичане честны; у них есть нравы, семейная жизнь, союз родства и дружбы... Позавидуем им! Их слово, приязнь, знакомство надежны: действие, может быть, их общего *духа торговли,* которая приучает людей уважать и хранить доверенность со всеми ея оттенками. Но строгая честность не мешает им быть тонкими эгоистами. Таковы они в своей торговле, политике и частных отношениях между собою. Все придумано, все разочтено, и последнее следствие есть... личная выгода. Заметьте, что холодные люди вообще бывают великие эгоисты. В них действует более ум, нежели сердце; ум же всегда обращается к собственной пользе, как магнит к северу. Делать добро, не зная для чего, есть дело нашего бедного, *безрассудного* сердца. На пример, Г. Пар*, мой здешний знакомец, всякое утро в 11 часов является ко мне и спрашивает: «куда хотите итти? что видеть? с кем познакомиться? я к вашим услугам». Отец его, будучи Консулом в Архипелаге, женился на Гречанке, которая воспитала сына своего в нашем Исповедании. Г. Пар* считает за должность быть покровителем Руских и по возможности делать им услуги. Имея привычку бродить всякое утро пешком, он находит во мне товарища, который иногда смешит его своими простосердечными вопросами и замечаниями, и который, расставаясь с ним, всякой раз искренно говорит ему *спасибо!* Англичане всегда готовы одолжать вас таким образом.

Они горды — и всего более гордятся своею Конституциею. Я читал здесь Делольма с великим вниманием. Законы хороши; но их надобно еще хорошо исполнять, чтобы люди были щастливы. На пример, Английской Министр, наблюдая только некоторыя формы, или законныя обыкновения, может делать все, что ему угодно: сыплет деньгами, обещает места, и Члены Парламента готовы служить ему. Малочисленные его про-

тивники спорят, кричат, и более ничего. Но важно то, что Министр всегда должен быть отменно умным человеком, для сильного, ясного и скорого ответа на все возражения противников; еще важнее то, что ему опасно во зло употреблять власть свою. Англичане просвещены, знают наизусть свои истинныя выгоды, и естьли бы какой нибудь Питт вздумал явно действовать против общей пользы, то он непременно бы лишился большинства голосов в Парламенте, как волшебник своего талисмана. И так не Конституция, а просвещение Англичан есть истинный их Палладиум. Всякия гражданския учреждения должны быть соображены с характером народа; что хорошо в Англии, то будет дурно в иной земле. Не даром сказал Солон: *мое учреждение есть самое лучшее, но только для Афин.* Впрочем всякое правление, которого душа есть справедливость, благотворно и совершенно.

Вы слыхали о грубости здешнего народа в рассуждении иностранцев: с некоторого времени она посмягчилась, и учтивое имя frenchdog (Французская собака), которым Лондонская чернь жаловала всех не-Англичан, [2] уже вышло [2] из моды. Мне случилось ехать в карете с одним поселянином, который, узнав, что я иностранец, с важным видом сказал: «хорошо быть Англичанином, но еще лучше быть добрым человеком. Француз, Немец — мне все одно; кто честен, тот брат мой.» Мне крайне полюбилось такое рассуждение; я тотчас записал его в дорожной своей книжке. Однакожь не все здешние поселяне так рассуждают: это был конечно вольнодумец между ими! Вообще Английской народ считает нас чужеземцев какими-то несовершенными, жалкими людьми. *Не тронь его,* говорят здесь на улице: *это иностранец* — что значит: «это бедный человек или младенец».

Кто думает, что щастье состоит в богатстве и в избытке вещей, тому надобно показать многих здешних Крезов, осыпанных средствами наслаждаться, теряющих вкус ко всем наслаждениям и задолго до смерти умирающих душею. Вот Английской *сплин!* Эту нравственную болезнь можно назвать и Руским именем: *скукою,* известною во всех землях, но здесь более, нежели где нибудь, от климата, тяжелой пищи, излишнего покоя, близкого к усыплению. Человек странное существо! в заботах и беспокойстве жалуется; все имеет, беспечен и — зевает. Богатый Англичанин от скуки путешествует, от скуки делается охотником, от скуки мотает, от скуки женится, от скуки стреляется. Они бывают нещастливы от щастья! Я говорю о здешних *праздных* богачах, которых деды нажились в Индии; а *деятельные,* управляя всемирною торговлею и вымышляя новые способы играть мнимыми нуждами людей, не знают *сплина.*

Не от *сплина* ли происходят и многочисленныя Английския странности, которыя в другом месте назвались бы безумием, а здесь называются только своенравием или whim? Человек, не находя уже вкуса в истинных приятностях жизни, выдумывает ложныя, и когда не может прельстить людей своим щастием, хочет по крайней мере удивить их чем нибудь необыкновенным. Я мог бы выписать из Английских газет и журналов множество странных анекдотов; на пример, как один богатый человек построил себе домик на высокой горе в Шотландии, и живет

там с своею собакою; как другой, ненавидя, по его словам, землю, поселился на воде; как третий, по антипатии к свету, выходит из дому только ночью, а днем спит или сидит в темной комнате при свече; как четвертой, отказывая себе все, кроме самого необходимого, в начале каждой весны дает деревенским соседям своим великолепной праздник, который стоит ему почти всего годового доходу. Британцы хвалятся тем, что могут досыта дурачиться, не давая никому отчета в своих фантазиях. Уступим им это преимущество, друзья мои, и скажем себе в утешение: «естьли в Англии позволено *дурачиться,* у нас не запрещено *умничать;* а последнее не редко бывает смешнее первого.»

Но эта неограниченная свобода жить как хочешь, делать что хочешь, во всех случаях, непротивных благу других людей, производит в Англии множество *особенных* характеров и богатую жатву для Романистов. Другия Европейския земли похожи на регулярные сады, в которых видите ровныя деревья, прямыя дорожки, и все единообразное; Англичане же, в нравственном[3] смысле, растут как дикие дубы по воле судьбы, и хотя все одного рода, но все различны; и Фильдингу оставалось не выдумывать характеры для своих романов, а только примечать и описывать.[4]

Наконец — естьли бы одним словом надлежало означить народное свойство Англичан — я назвал бы их угрюмыми, так как Французов * легкомысленными, Италиянцев коварными. Видеть Англию очень приятно; обычаи народа, успехи просвещения и всех искусств достойны примечания и занимают ум ваш. Но жить здесь для удовольствий общежития, есть искать цветов на песчаной долине — в чем согласны со мною все иностранцы, с которыми удалось мне познакомиться в Лондоне и говорить о том. Я и в другой раз приехал бы с удовольствием в Англию, но выеду из нее без сожаления.

‹157›

Море.

Я не сдержал слова, любезнейшие друзья мои! оставляю Англию — и жалею! Таково мое сердце: ему трудно расставаться со всем, что его хотя несколько занимало.

И так друг ваш уже на море! возвращается в милое отечество, к своим любезным! скорее, нежели думал! От чего же? Скажу вам правду. Кошелек мой ежедневно истощался; становился легче, легче; звучал слабее, слабее; наконец рука моя ощупала в нем только две гинеи.... Мне оставалось бежать на биржу, скорее, скорее; уговориться

* Не помню, кто в шутку сказал мне: *Англичане слишком влажны, Италиянцы слишком сухи, а Французы только сочны.*

с молодым Капитаном Виллиамсом, взлесть по веревкам на корабль его, и, сняв шляпу, учтиво откланяться с палубы Лондону. — Меня провожал Руской парикмахер Федор, который здесь живет семь или восемь лет, женился на миловидной Англичанке, написал над своею лавкою: Fedor Ooshakof,* салит голову Лондонским щеголям, и доволен как царь. Он был в России Экономическим крестьянином, и служит всем Руским с великим усердием.

Капитан ввел меня в каюту, очень изрядно-прибранную; указал мне постелю, сделанную как гроб, и в утешение объявил, что одна прекрасная девица, которая плыла с ним из Нового Йорка, умерла на ней горячкою. Жеребей брошен, думал я: посмотрим, будет ли эта постеля и моим гробом! — Страшный дождь не дозволил мне дышать чистым воздухом на палубе; я лег спать, с одною гинеею в кармане (потому что другую отдал парикмахеру), и поручил судьбу свою волнам и ветрам!

Сильный шум и стук разбудил меня: мы снимались с якоря. Я вышел на палубу... солнце только-что показалось на горизонте. Через минуту корабль тронулся, зашумел, и на всех парусах пустился сквозь ряды других стоящих на Темзе кораблей. Народ, матрозы желали Капитану щастливого пути, и маханием шляп как будто бы давали нам благополучной ветер. Я смотрел на прекрасные берега Темзы, которые, казалось, плыли мимо нас с лугами, парками и домами своими — скоро [1] вышли мы в открытое море, где корабль наш зашумел величественнее. Солнце скрылось. Я радовался и веселился необозримостию пенистых волн, свистом бури и дерзостию человеческою. Берега Англии темнели....

Но у меня самого в глазах темнеет; голова кружится....

Здравствуйте, друзья мои! я ожил!... Как мучительна, ужасна морская болезнь! Кажется, что душа хочет выпрыгнуть из груди; слезы льются градом, тоска несносная... а Капитан заставляет меня есть, уверяя, что это лучшее лекарство! Не зная, что делать, я сто раз ложился на постелю, сто раз садился на палубе, где морская пена окропляла меня. Не подумайте, что это реторическая фигура; нет, волны были в самом деле так велики, что иногда переливались через корабль. Одна из них чуть было не сшибла меня в то глубокое отверстие корабля, где лежат острые якори. Болезнь моя продолжалась три дни. Вдруг засыпаю крепким сном — открываю глаза, не чувствую никакой тоски — едва верю себе — встаю, одеваюсь. Входит Капитан с печальным видом и говорит: «ветер утих; нет ни малейшего веяния; корабль ни с места: страшная тишина!» — — Я выбежал на палубу: прекрасное зрелище! море стояло как неподвижное стекло, великолепно освещаемое солнцем; парусы висели без действия; корабль не шевелился; матросы сидели, повеся голову. Все были печальны, кроме меня; я веселился как ребенок, и здоровьем своим и картиною морской, почти невероятной тишины.

* Федор Ушаков (*англ.*)

Вообразите бесконечное гладкое пространство вод и бесконечное, во все стороны, отражение лучей яркого света!... Вот зеркало, достойное бога Феба! — Казалось, что в мире не было ничего, кроме воды, неба, солнца и корабля нашего. Через час нашли легкия облака; повеял ветерок, море заструилось, и парусы вспорхнули.

Нам встретились Норвежские рыбаки. Капитан махнул им рукою — и через две минуты вся палуба покрылась у нас рыбою. Не можете представить, как я обрадовался, не ев три дни, и крайне не любя соленого мяса и гороховых пудингов, которыми Английские мореходцы подчивают своих пассажиров! Норвежцы, большие пьяницы, хотели сверх денег рому; пили его как воду, и в знак ласки хлопали нас по плечам. — В сию минуту приносят нам два блюда рыбы. Вы знаете, что такое хороший обед для голодного!...[2]

Опять страшный ветер, но попутной. Я здоров совершенно, бодр и весел. Мысль, что всякую минуту приближаюсь к отечеству, живит и радует мое сердце. Слушаю шум моря; смотрю, как быстрый корабль наш черною своею грудью рассекает волны; читаю Оссиана и перевожу его Картона.* Нынешняя ночь была самая бурная. Капитан не спал, боясь опасных скал Норвегии. Я вместе с ним сидел у руля, дрожал от холодного ветра, но любовался седыми облаками, сквозь которыя проглядывала луна, прекрасно разливая свет свой на миллионы волн. Какой праздник для моего воображения, наполненного Оссианом! Мне хотелось увидеть Норвежские дикие берега на левой стороне; но взор мой терялся во мраке. Вдруг слышим вдали пушечный выстрел, другой, третий. Что это? спрашиваю у Капитана. «Может быть какой нибудь нещастный корабль погибает,» отвечает он: «здешнее море ужасно для плавателей.» Бедные! кто поможет им во мраке? Может быть страшный ветер сорвал их мачты; может быть нашли они на мель; может быть вода заливает уже корабль их!... Мы слышали еще два выстрела, и кроме шума волн уже ничего не слыхали... Капитан наш сам боялся сбиться с верного пути, и беспрестанно при свете фонаря смотрел на компас. — Все наши матрозы спали, кроме одного караульного. Когда хотя мало переменится ветер, караульной закричит; в минуту все выбегут, бросятся к мачтам, и другие парусы веют. Корабль наш очень велик; но матрозов только 9 человек. — Я лег спать в три часа, и сильное качание корабля в первый раз показалось мне роскошью. Так качают детей в колыбели!

‹158›

Море.

Мария В* родилась в Лондоне. Отец ея был один из самых ревностных противников Министерства — возненавидел Англию, и продав свое имение, переселился в Новый Йорк. Мария, жертва его политического

* Самый этот перевод был напечатан после в «Московском Журнале».

упрямства, оставила в Лондоне свое сердце и щастие, у нее был тайной любовник и жених, молодой, добродетельный человек. Пять лет жила она в Америке — лишилась отца, искренно оплакивала смерть его, и спешила возвратиться в отечество, будучи уверена в постоянстве своего друга. Опасности моря не устрашали ее; она села на корабль, одна с своею любовию и с милою надеждою — но в самый первый день плавания занемогла жестокою болезнию. Капитан советовал ей возвратиться. «Нет», говорила Мария: «я хочу умереть или быть в Англии; каждой день для меня дорог». Болезнь усилилась и повредила ея рассудок. Ей казалось, что она сидит уже подле жениха своего и рассказывает ему о горестях прошедшей разлуки. «Теперь я щастлива», говорила Мария в беспамятстве: «теперь могу спокойно умереть в твоих объятиях». Но друг ея был далеко, и Мария скончалась на руках служанки своей. Вообразите, что нещастную бросили в море! вообразите, что я сплю на ея постеле!... «Так и меня бросите в море (говорю Капитану) естьли умру на корабле вашем?» — *Что делать!* отвечает он, пожимая плечами. Это ужасно! Земля, земля! приготовь в тихих недрах своих укромное местечко для моего праха! Довольно, что мы и живые по волнам носимся; а то быть еще и по смерти игралищем бурной стихии!...

Нынешний день море в самом деле едва не поглотило нас. Корабельный мастер выпил стакана четыре водки; не приметил флага, поставленного на мели для предостережения мореплавателей — и Капитан увидел беду в самую ту минуту, когда мы были уже в нескольких саженях от подводных камней; побледнел, закричал — матрозы бросились на мачты — парусы упали, и корабль пошел в другую сторону. Чудное проворство! С Англичанами весело и умереть на море! Это подлинно их стихия. — Мастеру досталось от Капитана. Он хотел его бить; хотел перекинуть его через борд. Пьяница залился горькими слезами и сказал: «Капитан! я виноват; утопи меня, но не бей. Англичанину смерть легче безчестья».

Между тем, друзья мои, я в восемь дней удивительным образом привык к Нептунову царству, и рад плыть, куда угодно — Буря не утихает; корабль беспрестанно идет боком, и на палубе не льзя ступить шагу без того, чтобы не держаться за веревки. В каюте все вещи (посуда, сундуки) прибиты гвоздями; но часто, от сильных порывов, гвозди вылетают, и делается страшный стук. — Я уже различаю флаги всех наций; и как скоро встретится нам корабль, кричу в трубу: From whence you come? * Это забавляет меня.

Вчера ночевали мы перед самым Копенгагеном. Как мне хотелось в город! Жестокой Капитан не дал лодки.

---

* Откуда плывете? (*англ.*)

‹159›

Кронштат.

Берег! отечество! благословляю вас! Я в России, и через несколько дней буду с вами, друзья мои!... Всех останавливаю, спрашиваю единственно для того, чтобы говорить по-Руски и слышать Руских людей. Вы знаете, что трудно найти город хуже Кронштата; но мне он мил! Здешний трактир можно назвать гостинницею нищих; но мне в нем весело!

С каким удовольствием перебираю свои сокровища: записки, счеты, книги, камешки, сухия травки и ветки, напоминающия мне или сокрытие Роны, la perte du Rhone, или могилу отца Лоренза, или густую иву, под которою Англичанин Поп сочинял лучшие стихи свои! Согласитесь, что все на свете Крезы бедны передо мною!

Перечитываю теперь некоторыя из своих писем: вот зеркало души моей в течение осьмнадцати месяцов! Оно через 20 лет (естьли столько проживу на свете) будет для меня еще приятно — пусть для меня одного! Загляну, и увижу, каков я был, как думал и мечтал; а что человеку (между нами будь сказано) занимательнее самого себя?... По чему знать? может быть и другие найдут нечто приятное в моих *эскизах;* может быть и другие... но это их, а не мое дело.

А вы, любезные, скорее приготовьте мне опрятную хижинку, в которой я мог бы на свободе веселиться *Китайскими тенями* моего воображения, грустить с моим сердцем и утешаться с друзьями!



ДОПОЛНЕНИЯ



ВАРИАНТЫ

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

В вариантах текста учтены все случаи разного написания фраз, словосочетаний, собственных имен и географических названий, а также смысловые и стилистические изменения. За норму принято издание 1820 г. — последнее прижизненное издание Н. М. Карамзина.

Все варианты обозначены арабскими цифрами, нумерация вариантов начинается заново в каждом письме. При этом соблюдаются следующие правила.

1. Для обозначения замены одного слова другим словом или выражением цифра ставится над словом справа, например: любопытный[1]; в вариантах: [1] *МЖ1*, *ПРП1* интересный.

2. Для обозначения замены пунктуационного знака (учитывается замена эмоционально или семантически значимая) цифра ставится над словом справа (после данного знака), а в вариантах повторяется слово с учетом изменившегося знака, например: душа.[1] В вариантах: [1] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* душа!

3. Для обозначения замены группы слов цифра ставится в начале и в конце заменяемой группы, например: [1]минуты две[1]; в вариантах: [1-1] *МЖ1* две минуты.

4. В случае если последнее слово в предложении в основном тексте не является последним в каком-либо другом тексте, для ясности в вариантах повторяется это же слово, знак перемены ставится так же, как при замене одного слова другим, например: Простите.[1] В вариантах текста: [1] *МЖ1* Простите, милые друзья мои, простите!

5. Для обозначения членения текста на смысловые куски, не совпадающие с членением текста издания 1820 г. (отбивка, черта, отделяющая одну часть от другой), знак перемены ставится над последним абзацем справа, а в вариантах текста принято обозначение *||*, например; мои.[1] В вариантах текста: [1]*ПРП1—2* *||* Внутри главы подобные случаи могут быть обозначены одной цифрой при совпадении вариантов. Цифровая последовательность при этом нарушается.

6. Если в вариантах приводится значительной по объему текст, в основном совпадающий в двух или нескольких изданиях, мелкие разночте-

ния даются по ходу чтения текста в скобках, например: [2-2] *МЖ1—2* Хотя я по слуху (*МЖ2* по описанию) составил себе и так весьма непышное понятие (*МЖ2* весьма непышную идею) о почтовой коляске, однако ж в самом деле нашел ее хуже, нежели думал.

7. Поясняющие слова, не относящиеся к авторскому тексту, помещены в угловые скобки, например: *МЖ2* ⟨*сноски нет*⟩. В случае совпадения текста в нескольких изданиях, обозначение изданий объединено: вместо *МЖ1*, *МЖ2* дается обозначение *МЖ1—2*, вместо *ПРП1*, *ПРП2* — *ПРП1—2* и т. п. В вариантах названы только те издания, текст которых не совпадает с текстом издания 1820 г.

8. Издавая текст «Писем русского путешественника» отдельной книгой, Карамзин предпослал ему предисловие, перепечатанное в последующих изданиях, при этом 1793 г. обозначен только в 3-м издании «Сочинений» (1820). В издании 1797—1801 гг. имелись гравированный титул с эпиграфом из стихотворения Карамзина 1792 г. «На разлуку с П⟨етровым⟩», посвящение Плещеевым и «Изъяснение виньета» (в последующих изданиях не воспроизводились). Все эти тексты публикуются перед основным корпусом вариантов.

Таким образом, пользуясь обозначенными вариантами, читатель может восстановить текст любого интересующего его издания и проследить те изменения, которые внесены Карамзиным в процессе работы над текстом «Писем русского путешественника».

СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РАЗДЕЛЕ «ВАРИАНТЫ»

МЖ1 — «Московский журнал», 1791—1792.
МЖ2 — «Московский журнал». [Изд. 2-е], 1803.
А1 — альманах «Аглая», ч. 1—2. М., 1794—1795.
А2 — альманах «Аглая», ч. 1—2. [Изд. 2-е]. М., 1796.
ПРП1 — *Карамзин Н. М.* Письма русского путешественника. [Изд. 1-е]. М., 1797—1801.
ПРП2 — *Карамзин Н. М.* Письма русского путешественника. [Изд. 2-е]. М., 1797—1801.
ПРП — *Карамзин Н. М.* Письма русского путешественника, т. 6. М., 1801.
С1 — Сочинения Н. М. Карамзина. М., 1803.
С2 — Сочинения Н. М. Карамзина. [Изд. 2-е]. М., 1814.
С3 — Сочинения Н. М. Карамзина. [Изд. 3-е]. М., 1820.

⟨*Посвящение*⟩. Семейству друзей моих П Л Щ В Х: К вам писанное — Вам же посвящаю. Н. К.
⟨*Эпиграф*⟩. Кто в мире и любви умеет жить с собою, // Тот радость и любовь во всех странах найдет.

Изъяснение Виньета. Виньет срисован с одного антика, и представляет Меркурия, как бога дорог, который стоит подле пирамиды и жезлом своим прикасается к лежащему на ней странническому посоху. В древние времена путешественники, возвратившись домой, посвящали жезлы свои Меркурию и клали их на пирамиды, означавшие в Греции расстояние одного места до другого, подобно нашим верстам. — На верху изображена масличная ветвь, в знак безопасности для странников.

⟨ПРЕДИСЛОВИЕ⟩

Я хотел при новом издании многое переменить в сих Письмах, и. . . не переменил почти ничего. Как оне были написаны, как удостоились лестного благоволения Публики, пусть так и остаются. Пестрота, неровность в слоге есть следствие различных предметов, которые действовали на душу молодого, неопытного Руского Путешественника: он сказывал друзьям своим, что ему приключалось, что он видел, слышал, чувствовал, думал — и описывал свои впечатления не на досуге, не в тишине кабинета, а где и как случалось, дорогою, на лоскутках, карандашем. Много неважного, мелочи — соглашаюсь; но естьли в Ричардсоновых, Фильдинговых романах без скуки читаем мы — на пример, что Грандисон всякой день пил два раза чай с любезною Мисс Бирон; что Том Джонес спал ровно семь часов в таком-то сельском трактире: то для чего же и Путешественнику не простить некоторых бездельных подробностей? Человек в дорожном платье, с посохом в руке, с котомкою за плечами, не обязан говорить с осторожною разборчивостию какого нибудь Придворного, окруженного такими же Придворными, или Профессора, сидящего в Шпанском парике на больших, ученых креслах. — А кто в описании путешествий ищет одних статистических и географических сведений, тому, вместо сих Писем, советую читать Бишингову Географию.

1793 г.

‹1›

[1-1] *МЖ1—2* столько к вам привязано, *ПРП1* привязано к вам всеми нежнейшими чувствами своими, *ПРП2* привязано к вам всеми нежными своими чувствами, [2] *МЖ1* Что я по сие время вытерпел, милые, и еще терпеть буду! [3-3] *МЖ1*, *ПРП1* просыпался по том всякое утро? *ПРП2*, *МЖ2* просыпался всякое утро; [4] *МЖ1—2* ничего [5-5] *МЖ1—2* И при всем том, когда настал желаемой день, [6] *МЖ1* вообразя себе *МЖ2* вообразив себе [7-7] *МЖ1*, *ПРП1—2*, *С1—2* бытия моего. [8] *ПРП2* у которого [9-9] *МЖ1—2* С бездушными вещами [10-10] *МЖ1*, *ПРП1* с друзьями. И в самое то время, как я был размягчен, [11-11] *МЖ1*, *ПРП1* не забыл их, — чтобы я взял их *МЖ2* не забыл их, — и взял [12] *МЖ1* возвращусь. [13] *МЖ1—2* Милой Пт. *С1* || Милой Птрв. [14-14] *МЖ1*, *ПРП1* и в первой еще раз [15] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* и взглянул [16] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* взглянул и сказал: [17] *МЖ1* Колокол [18-18] *МЖ1* лошади помчались, и я еще может быть в первой раз в жизни своей так живо почувствовал себя *одного*. *МЖ2* лошади помчались, и друг ваш осиротел в мире, осиротел в душе своей (*ПРП1—2* ||) [19-19] *МЖ1—2* где теперь те часы, [20-20] *МЖ1* человеку вдруг открылося будущее, [21-21] *МЖ1* в самой живейшей радости, и язык бы его в свинец превратился [22] *МЖ1—2* секунду, [23] *МЖ1* подумал бы [24-24] *МЖ1* щастливейшим человеком. *ПРП1* *ЩАСТЛИВЕЙШИМ* из смертных! . . *МЖ2* щастливейшим из смертных. . . . (С1 ||) [25-25] *МЖ1* рад бы был выплакать все сердце свое. *ПРП1—2* рад бы был, как говорит Шекспир, *выплакать сердце свое*. *МЖ2* рад бы был, как говорит Шекспир, выплакать все сердце свое. [26] *МЖ1—2* представилось [27-27] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* Дай Бог вам множество утешений! Простите до Петербурга! — Воспоминайте друга, но без всякого прискорбного чувства! — Простите! *С1—2* Дай Бог вам множество утешений! — Помните друга, но без всякого горестного чувства! —

‹2›

[1-1] *МЖ2* еду в Ригу (*ПРП2* ||) [2-2] *МЖ1*, *ПРП1* к своему приятелю ****, *ПРП2* к своему ****, *МЖ2* к своему приятелю ***, [3] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* ‹*сноски нет*› [4-4] *МЖ1*, *ПРП1* свое сердце; оно нежнее, нежели я думал, и он нещастливее, нежели я думал. *ПРП2* свое серце: оно чувствительно — он нещастлив! . . . *МЖ2* свое сердце; оно чувствительно, он нещастлив. [5-5] *МЖ1—2*, *ПРП1* окончать мое мучение». *ПРП2* окончать мое страдание.» — [6-6] *МЖ1*, *ПРП1* сердечным соучаствованием *ПРП2* искренним участием [7-7] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* вздумал было я [8-8] *МЖ1—2* чтобы с меньшими беспокойствами и скорее быть в Германии. [9-9] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* Мне сказали, что паспорт мой надобно было (*МЖ2* надобно *ПРП1—2* должно) надписать в Адмиралтействе. Я туда явился с ним, но его надписать не хотели, для того,

что [10-10] *МЖ1* и что в нем не сказано, как я поеду, то есть, не сказано, что я поеду морем. Возражения мои не помогли — *МЖ2* в нем же не сказано, что я поеду морем. Возражения не помогли — [11-11] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* не помогли — [12-12] *МЖ1*, *ПРП1* пошел, взял подорожную, и послал за лошадьми, которыя уже и готовы. *ПРП 2* и послал за лошадьми, которыя уже готовы. *МЖ2* взял подорожную и послал за лошадьми, которыя уже и готовы. [13] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* сего часа

‹3›

[1] *МЖ1—2* очень измучила. [2] *МЖ1* конечно известна: [3-3] *МЖ1* надобно еще было, чтобы я в Петербурге не купил своей повозки, поехал на перекладных *ПРП1—2*, *МЖ2* надобно еще было, чтобы я поехал из Петербурга на *перекладных* [4] *МЖ1* казалось мне, [5-5] *МЖ1* или заставляли меня слишком долго дожидаться. *ПРП1—2* на каждой перемене держали меня слишком долго. *МЖ2* или долго не отправляли. [6-6] *МЖ1* весь мокрой. Насквозь промоченная постеля и грязью забрызганныя подушки были печальным предметом для глаз моих. Насилу мог я *ПРП1—2* весь мокрой. Постеля моя, подушки, все было забрызгано грязью. Насилу мог я *МЖ2* весь мокрый; насилу мог [7] *МЖ1* добрыя кожи. [8-8] *МЖ1* кибитка упала, и я с нею повалился в грязь *МЖ2* кибитка упала, и я с нею в грязь. [9-9] *МЖ1—2* а я остался подле кибитки на сильном дожде. Этого еще мало было: *ПРП1—2* а я остался на сильном дожде. Этого еще мало: [10-10] *МЖ1* Все те приятные образа, в которых представлялось мне путешествие, [11-11] *МЖ1—2*, *ПРП1* можно было мне тогда *ПРП2* мне тогда можно было [12-12] *МЖ1* то никогда неспящее побуждение сердца человеческого, *ПРП1* то беспокойное побуждение сердца человеческого, *ПРП2* то беспокойное чувство сердца, *МЖ2* то беспокойное чувство сердца человеческого, [13-13] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* перестают быть для нас новыми — [14-14] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* в неизвестном будущем. [15-15] *МЖ1—2* ударясь в берег, [16-16] *МЖ1* откуда ни взялся молодой, хорошо одетой человек или мальчик лет тринадцати, стал передо мной как лист перед травой, и *ПРП1—2*, *МЖ2* откуда ни взялся хорошо одетой мальчик лет тринадцати, и [17-17] *МЖ1—2* — вот это наш дом — [18] *ПРП2* в грязи. — [19-19] *МЖ1—2* с шляпы, и сбросить с себя грязной плащ — разумеется, чтобы с ним итти [20-20] *ПРП2* ласково, что [21] *МЖ1—2* вояже. [22-22] *МЖ1* путешествовать по сей земле. [23] *МЖ1*, *ПРП1—2* путешественников, [24-24] *МЖ1—2*, *ПРП1* бездомным странником на земле сей, *ПРП2*, *С1* бездомным на земле странником [25] *МЖ1—2* ‹*сноски нет*› [26] *МЖ1*, *ПРП1* для проезжающих, [27-27] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* Станции все маленькия; [28-28] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* и потому приехал я (*ПРП1—2* сюда) [29] *МЖ1—2* для того, что Г.***, [30] *МЖ1* имел честь говорить [31-31] *МЖ1* любезного и собственно по особе своей почтенного человека *ПРП1* любезного и почтенного человека. [32] *МЖ1-2* первые [33-33] *МЖ1* а вторые серые, дьячковского покроя. *МЖ2* а вторые серые; [34-34] *МЖ1* хотя разны, однако жь сходны; имеют *МЖ2* сходны; имеют [35-35] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* что все Немецкия

слова в их произношении смягчены, [36-36] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* по просту сказать, [37] *МЖ1*, *ПРП1* без понуждения *МЖ2*, *ПРП2* без принуждения [38] *МЖ1*, *ПРП1* понуждали, *ПРП2*, *МЖ2* принуждали, [39-39] *МЖ1*, *ПРП1* Корчмы, которыми усеяна дорога, в проезд мой *ПРП2*, *МЖ2* Бесчисленные корчмы в проезд мой [40] *ПРП2* || [41] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* господа все [42-42] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* похожи на наши, [43] *МЖ1—2* говорят [44-44] *МЖ1* в другой скотина. — [45] *МЖ1*, *ПРП1* проезжающих [46] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* пары. [47] *ПРП2* Ленца. (*МЖ1—2*, *ПРП1—2* ‹*сноски нет*›) [48-48] *МЖ1—2* Не знаю, помнит ли он брата. [49-49] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* сказал он мне со вздохом: [50] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* Но черныя тучи [51] *МЖ1—2*, *ПРП1* сию [52] *МЖ1—2* — Тут сказали ему, что в коляску его запрягли лошадей. *ПРП1—2* — Тут сказали ему, что коляска его готова. (*С1—2* ||) [53-53] *МЖ1*, *ПРП1* Город не так чтобы красив был; *ПРП2*, *МЖ2* Впрочем город не очень красив; [54-54] *МЖ2* Парижским купцом. Француз нанял [55-55] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* четыре лошади; а я поеду на паре в кибитке. — *С1* четыре лошади; а я поеду в кибитке. — [56] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*. Простите! Будьте здоровы и покойны! — До Мемеля что нибудь напишу, а оттуда пошлю к вам. Простите! (*МЖ1—2* Лошади готовы.)

‹4›

[1] *МЖ1—2*, *ПРП1*, *С1* окончать [2-2] *МЖ1*, *ПРП1* — Ноту мне подали, и я за сутки должен был заплатить около девяти рублей. Не было мне времени раздроблять сего аптекарского счета; оставалось только заплатить. *ПРП2* За сутки я должен был заплатить около девяти рублей. Не было мне времени раздроблять сего аптекарского счета; оставалось только бросить на стол деньги. *МЖ2* Мне подали аптекарской счет, и я за сутки должен был заплатить около девяти рублей. Не было времени спорить; оставалось только бросить на стол деньги. [3-3] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* Начинало смеркаться. В Форштате извощики наши остановились. (*МЖ1* Мне надобно было чем-нибудь заняться: и так я принялся за жареное, которое отпустили со мною из трактира. *ПРП1—2* Мне надобно было чем-нибудь заняться: и так я вздумал считать свои червонцы. — (*МЖ2* ‹*фраза пропущена*›.) Три или четыре человека подходили спрашивать меня, куда я еду? (*МЖ2* куда еду?) В Англию, отвечал я. Они дивились, как можно пускаться в такой дальний путь, и желали мне всякого добра (*ПРП1—2 абз.*). Мимо нас промчалась кибитка. Двое молодых Немцов, которые сидели на облуку, держали в руках бутылки и трубки, и кричали мне: Guten Abend, mein Herr! Мы поехали за ними (*ПРП1—2 абз.*) Вечер был тих и прохладен. Я заснул крепким сном и не чувствовал, как мы доехали до той корчмы, где надлежало нам ночевать. Проснувшись и осмотрясь, (*ПРП2*, *МЖ2* Проснувшись) увидел я, что с нами на покрытом дворе стояла еще кибитка, точно та, которая при выезде из Риги мимо нас проскакала (*ПРП2* нас обскакала). Вот еще товарищи! подумал я, и опять заснул. [4-4] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* Мы уже ехали и приближались [5-5] *МЖ1*, *ПРП1—2* к маленькому домику [6-6] *МЖ1—2* принял нас очень

учтиво, *ПРП1* принял меня очень учтиво, [7] *МЖ1—2, ПРП1—2* примечанием, [8-8] *МЖ1—2, ПРП1—2* в летнем своем замке, [9-9] *МЖ1, ПРП1* казались мне инвалидами, и по своей фигуре, и по платью. *ПРП2, МЖ2* казались мне инвалидами (*ПРП2* инвалидами,) по своей фигуре и платью. [10] *МЖ1—2, ПРП1* довольно пространен, [11] *МЖ1—2, ПРП1* почитается [12] *МЖ1—2, ПРП1—2* цену. Приехавшие с нами Немцы ушли к своему знакомому. [13-13] *МЖ1* с краснорожим мужем своим, сапожником. *ПРП1—2, МЖ2* с пьяным мужем своим, сапожником. [14] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* вошел в коммерцию [15] *МЖ1, ПРП1, С1* отчасти [16-16] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* фурманы [17-17] *МЖ1, ПРП1* лошади пребольшия, и на них навешаны гремушки, производящия несносной для ушей шум. *ПРП2* лошади большия, и на них навешены гремушки, производящия несносной для ушей шум. *МЖ2* на лошадях навешены гремушки, производящие несносной для ушей шум. [18-18] *МЖ1—2, ПРП1—2* Двор, где стоят повозки и лошади, хорошо покрыт; комнаты довольно чисты, и несколько постель стоит к услугам путешествующих. (*ПРП1* и в каждой готова постеля к услугам путешествующих. *ПРП2* и в каждой готова постеля для путешествующих. *МЖ2* и постели готовы для путешествующих.) [19-19] *МЖ1—2, ПРП1—2* Вечер весьма приятен. [20-20] *МЖ1—2, ПРП1—2* и, напившись чаю, пошел гулять по берегу. Солнце передо мною закатилось. Я вспомнил [21-21] *МЖ1, ПРП1* смотрел я *МЖ2* смотрел [22] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* корчме! [23-23] *МЖ1—2, ПРП1—2* Немцы, [24-24] *МЖ1—2* закурили *дуо*, [25-25] *МЖ1—2, ПРП1, С1* о Руской нации, побывав только в пограничном городе. *ПРП2* о Руской нации, видев только пограничной город. [26] *ПРП2* Немцы [27-27] *МЖ1—2, ПРП1—2* утверждать своего мнения, а я опровергать его основательнее. Приметив из слов их, что они почитали (*ПРП2* считали) меня Французом, почел (*МЖ2* счел) я за должное открыть им заблуждение их; (*ПРП2* вывести их из заблуждения;) но они долго не хотели мне верить, думая, что Руские не могут говорить ни по-Немецки, ни по-Французски. [28] *МЖ1, МЖ2* стал [29-29] *МЖ1, ПРП1* — встал, походил по лугу, и возвратился в корчму, где написал сии строки. *ПРП2, МЖ2* — встал, походил по лугу, и возвратился в корчму.

‹5›

[1] *МЖ1—2, ПРП1—2* Полонга [2-2] *МЖ1—2, ПРП1* есть, и не за большия деньги. Давали нам суп, жареное *ПРП2* есть, и не за большия деньги. Нам давали суп, жаркое [3] *МЖ1, ПРП1—2, С1* платили мы *МЖ2* брали [4] *МЖ1, ПРП1—2, С1* фурманов, *МЖ2* Фурманов, [5-5] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* Курляндские дворяне [6] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* не встречались нам [7] *МЖ1* || [8] *МЖ1—2, ПРП1* притирается и проч., [9-9] *МЖ1—2, ПРП1—2* что они Купцы, торгующие вином. [10-10] *МЖ1—2, ПРП1—2* должен бываю служить [11-11] *МЖ1, ПРП1* obligé, Madame! *МЖ2* Оплише, Матам! [12-12] *МЖ1—2* визитация была не строгая. [13] *МЖ1—2* осмотрщикам [14] *МЖ1—2, ПРП1* положась на мое слово, *ПРП2* веря моему слову, [15-15] *МЖ1, ПРП1* его челночек. — *ПРП2* его челн. — *МЖ2* челн его. —

‹6›

[1] *МЖ1—2* 4/15 Июня, [2-2] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* и остановились в трактире. (*ПРП1—2* ||) [3] *ПРП1—2* || [4-4] *ПРП2* всегда [5] *ПРП2* глубокие [6-6] *МЖ1—2* Все извощики, едущие в Кенигсберг, *ПРП1—2* Все они, отправляясь в Кенигсберг, [7-7] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* и платят с лошадей пошлину. [8-8] *МЖ1—2* Гаврила за шесть лошадей заплатил три Курляндских талера, (*МЖ2* три талера,) [9-9] *МЖ1—2*, *ПРП1* но естьли бы он сказал правду, то ему стоило бы это почти вдвое, потому что плата идет по лошадям (*МЖ1*, *ПРП1* и по лошадям) и по милям: и так вместо 18 надлежало бы ему заплатить за 30 миль. — *ПРП2* но естьли бы он сказал правду, то ему стоило бы это гораздо дороже, потому что надобно платить и за каждую лошадь, и за каждую милю: следственно вместо 18 надлежало бы ему заплатить за 30 миль. — [10-10] *МЖ1* водою через гаф, *МЖ2* водою, *ПРП2* Гафом, [11-11] *ПРП2* Италиянца и меня [12] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* Лишь только мы приехали, явились осмотрщики и взяли с нас по нескольку грошей, чтобы не перерывать наших вещей. (*ПРП1—2* ||) [13-13] *МЖ1—2* За обедом ели мы живую, (*МЖ2* свежую,) весьма вкусную рыбу, *ПРП2* Обед наш состоял в разных блюдах свежей и вкусной рыбы, [14] *МЖ1—2* весьма [15-15] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* пора отнести письмо на почту; у нас лошадей впрягают. (*ПРП2* впрягают лошадей.) [16-16] *МЖ1—2* Что принадлежит до моего сердца, то благодаря Судьбе! [17-17] *МЖ1* по полям и по лугам, [18] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* представляю [19] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* — Простите!

‹7›

[1-1] *МЖ1—2* 6/17 Июня 1789, 11 1/2 ночи. [2-2] *ПРП2* лег-было *МЖ2* лег было [3] *МЖ1—2*, *ПРП1* тщетно [4-4] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* друзья мои. (*ПРП1—2* ||) [5-5] *МЖ1* были весьма приятны. *МЖ2* весьма приятны. [6-6] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* то живоцветные зеленые луга, [7] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* восклицали [8] *ПРП1—2*, *С1* || [9] *МЖ1—2* здесь [10-10] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* есть не чего. От чего же это происходит? [11] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* поселянин [12] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* — Отсюда, т. е. из Тильзита, отправляется хлеб водою в Кенигсберг. Сей [13] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* лежит [14-14] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* и, кроме хлеба, производит еще знатной торг лесом, отправляемым также водою в Кенигсберг. (*С1* ||) [15-15] *МЖ1* Толстой часовой в разноцветной паре, [16] *ПРП2*, *МЖ2* на боку [17] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* на помощь, [18] *ПРП2* указывали [19-19] *МЖ1—2* налегаем уже на кофе, которое по сие время везде находим. *ПРП1—2* пьем в день чашек по десяти кофе, которое по сие время везде находили. [20] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* посмотрел [21] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* занимавшуюся [22] *МЖ1*, *ПРП1* к ним приехали [23] *МЖ1—2*, *ПРП1* Ч. ‹*дальше это сокращение сохраняется*› [24-24] *ПРП2* Естьли бы я знал эту дрянь, ни за что бы не поехал. || [25] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* был будто бы [26-26] *МЖ1* на площадных Театрах шатающимися Актерами. *МЖ2* на площадных Театрах. [27] *ПРП2* изволил там

быть? [28] *МЖ1—2, ПРП1—2* Прошу простить, [29] *МЖ1—2, ПРП1—2* обернувшись *С1* оборотившись [30] *ПРП2* доложить, [31-31] *МЖ1—2, ПРП1—2* у Князя. . . . [32-32] *МЖ1—2, ПРП1* последнее письмо его. [33] *МЖ1* позабыл [34] *МЖ1—2, ПРП1—2* по чему? [35] *МЖ1—2, ПРП1—2* По тому, [36] *МЖ1—2, ПРП1—2* По тому, что я (приподняв шляпу) (*ПРП1—2* надев шляпу) поклонился (*ПРП2* откланялся) моему Королю — и пошел безвременно в отставку. [37] *МЖ1—2, ПРП1—2* был влюблен [38] *МЖ1* не худа она, [39-39] *МЖ1* я тебя люблю как душу; [40] *МЖ1* диалог, [41] *МЖ1—2* ‹*сноски нет*› [42-42] *МЖ1, ПРП1* в публичной почтовой коляске, [43-43] *МЖ1, ПРП1*, сел с своим Каспаром на конь, и пустился во всю прыть, крича мне, вышедшему на крыльцо: «Glückliche Reiße, mein Herr! (*ПРП1* щастливой путь!)» *ПРП2* сел на коня, и пустился во всю прыть, крича мне, вышедшему на крыльцо: Glückliche Reiße, mein Herr! щастливой путь! *МЖ2* сел с своим Каспаром на коня, и пустился во всю прыть, крича мне: Glückliche Reiße, mein Herr! [44-44] *МЖ1, ПРП1* Чего человек не напишет в часы бессонницы! — *ПРП2* Чего не напишет человек во время бессонницы! — *МЖ2* Чего не напишет человек в минуты бессонницы! —

‹8›

[1] *МЖ1—2* Июня 8/19 [2] *МЖ1—2* у Шенка. При въезде в город нас остановили, записали наши имена (*МЖ2* записали имена) и послали с нами визитатора, чтобы осмотреть (*МЖ2* освидетельствовать) наши вещи; и это стоило нам опять несколько грошей. — Приехав, пошел я тотчас бродить по городу. || (*МЖ2* — Приехав, я спешил осмотреть город.) *ПРП1—2* У городских ворот записали наши имена и послали с нами Визитатора, чтобы осмотреть (*ПРП2* и послали Визитатора осмотреть) наши вещи; это стоило нам опять несколько грошей. — Приехав, пошел я тотчас (*ПРП2* я тотчас пошел) бродить по городу. (*ПРП2* ||) [3] *МЖ1, ПРП1 ганзейских* [4-4] *МЖ1—2* по ней ходить. [5] *МЖ1, ПРП1* по пространству *ПРП2, МЖ2* по обширности [6-6] *МЖ1, ПРП1—2* При всем том город теперь кажется (*ПРП2* кажется теперь) многолюдным, *МЖ2* Однако жь Кенигсберг кажется теперь многолюдным, [7] *МЖ1—2* много [8-8] *МЖ1—2, ПРП1—2* двуугольныя шляпы, т. е. шляпы, у которых поля подняты только с двух сторон. [9] *МЖ1, ПРП1* что будто бы [10-10] *МЖ1* однако жь здесь видел по крайней мере десяток пятнадцатилетних, правда не выше Подпоручтиков. — *ПРП1—2, МЖ2* однакожь (*МЖ2* однако жь) видел здесь по крайней мере десять пятнадцатилетних, правда не выше Подпоручтиков. — [11-11] *МЖ1* и безбородых Подпоручтиков и Прапорщиков *ПРП2* безбородых Прапорщиков, до тридцати человек. *МЖ2* и безбородых Прапорщиков, [12-12] *МЖ1—2, ПРП1—2* Притом Офицерския шутки [13-13] *МЖ1—2, ПРП1—2* как Парижские Кавалеры. — [14-14] *МЖ1, ПРП1* путешествующий для того, чтобы познакомиться с некоторыми почтенными учеными мужами — и для того прихожу к Канту.» *ПРП2, МЖ2* путешествую для того, чтобы познакомиться с некоторыми славными учеными мужами — и для того прихожу

к Канту.» [15-15] *ПРП2* просил [16-16] *МЖ1*, *ПРП1—2* что не может нравиться многим (*ПРП1—2* всем); немногие (*ПРП1—2* не многие) любят метафизическия тонкости, в которыя хотелось мне входить.» *МЖ2* что не может нравиться многим; редкие любят метафизические тонкости. [17-17] *МЖ2* Наконец я, [18-18] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* на моральную натуру человека; и вот (*МЖ1* человека. Вот) что мог (*МЖ1* что мог я) удержать в памяти [19] *ПРП2*, *МЖ2* || [20-20] *МЖ1* на бегу за чем нибудь, что мы еще иметь хотим. *ПРП2 на пути.* [21-21] *МЖ1—2* чего он желает; [22-22] *МЖ1—2* радуюсь, [23-23] *МЖ1—2* надеясь (*МЖ2* надеюсь) вступить в другую. [24-24] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* где действовал я (*С1* где действовал) сообразно с *моральным законом*, начертанным у меня на сердце (*С1* в сердце), радуюсь. Я говорю (*МЖ2*, *С1* Говорю) о *моральном законе*: [25] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, уверение, [26] *МЖ1—2* сообразя [27-27] *МЖ1*, *ПРП1—2* принимать ее. [28-28] *МЖ1*, *ПРП1—2 глазами ее увидели?* [29-29] *ПРП2* то мы не могли бы уже *МЖ2* мы не могли бы уже [30] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* и были бы [31] *МЖ1* мы бы не имели *ПРП1* мы не имели бы [32-32] *МЖ1—2*, *ПРП1* предполагаем уже мы [33] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* благо творящего. [34-34] *МЖ1*, *ПРП1—2* погашает (*ПРП2* гасит) свой светильник, и мы во тьме остаемся; одна фантазия может носиться во тьме сей (*ПРП2* в ней) и творить несобытное (*МЖ1* чудовищей)». *МЖ2* погашает светильник, и мы во тьме остаемся; одна фантазия может носиться в сем мраке, и творить несобытное». [35] *ПРП2* || [36-36] *ПРП2* любезен [37-37] *МЖ1—2*, *ПРП1*, *С1* магнетизму», и пр. — *С2* магнетизму, и пр.» — *С3* Магнетизму, и пр.» — [38] *МЖ1*, *ПРП1* еще не читал: [39] *МЖ1* || [40-40] *МЖ2* и мы [41] *МЖ1—2*, *ПРП1*, *С1* интересной *ПРП2* занимательной [42-42] *ПРП2*, *МЖ2* тихо, [43-43] *МЖ1—2* кроме — его Метафизики. || [44-44] *ПРП2* одного из благочестивых [45] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* друзей своих [46-46] *МЖ1* которой пошел побеждать *МЖ2* которой побеждал [47] *ПРП2* || [48-48] *ПРП2* наемной мой лакей, уверял, [49] *МЖ1—2* подземельной [50] *МЖ1—2* *ПРП1* будто бы ведет [51-51] *МЖ1—2* в средних веках [52-52] *МЖ1*, *МЖ2* ходы под землею, [53] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* богатства [54] *МЖ1—2* сильного.— [55] *МЖ1* застану *МЖ2* найду [56] *МЖ1*, *ПРП1—2* весьма ласково. [57-57] *ПРП2* многое, [58-58] *ПРП2* однако же [59-59] *МЖ1*, *ПРП1* к Почт-Директору, в котором просил его приказать отвести мне лучшее место в почтовой коляске. *ПРП2* к Почт-Директору с прозьбою, чтобы мне отвели лучшее место в почтовой коляске. || *МЖ2* к Почт-Директору, в котором просил его отвести мне лучшее место в почтовой коляске. [60-60] *МЖ1—2*, *ПРП1* молодым путешествующим Французом, [61-61] *МЖ1—2* и — уехал из Берлина. [62] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* поеду [63-63] *МЖ1—2* читать мне трактат [64] *ПРП2* || [65] *МЖ1—2* пряча [66] *МЖ1—2* ехал [67] *МЖ1—2*, *ПРП1*, *С1* по-Немецки, *ПРП2* Немецкого языка, [68-68] *МЖ1—2* которые на крыльце нас окружили, весьма дивились. *ПРП2* окружившие нас на крыльце, дивились. [69] *МЖ1* не весьма удобно [70] *МЖ1—2*, *ПРП1* постиллиона с проводником [71] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* Впрочем вероятно, что после такого случая Правительство постарается о безопасности проезжих. — (*ПРП2* возьмет

меры для общей безопасности. —) *МЖ1* ‹*сноска*:› В бытность мою в Берлине Правительство не могло еще открыть виновников. — С того времени велено всем проводникам иметь при себе ружье: спасительная предосторожность! [72] *МЖ1—2* ‹*дальнейшая часть письма предваряется датой*:› 9/20 Июня. [73] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* *Московитская* [74] *ПРП1*, *С1* || [75-75] *МЖ1—2* весьма нужны публичныя гулянья. *ПРП2* нужны такие гульбища. [76-76] *ПРП2* воздух. *ПРП1*, *С1* воздух, которой в больших городах всегда бывает наполнен гнилыми частицами. || [77-77] *МЖ1* свое платье. Партия за партией *МЖ2* свое платье: толпа за толпою [78-78] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, не так уже для меня горестна, как прежде. [79] *МЖ1—2* подумая [80-80] *МЖ1* не возмущая оной. *МЖ2* не возмущая. [81-81] *МЖ1* но в сию минуту *МЖ2* и в сию минуту. [43а] *МЖ1—2* катедральная



[1] *МЖ1—2* 10/21 Июня, [2-2] *МЖ1—2* Хотя я по слуху (*МЖ2* по описанию) составил себе и так весьма непышное понятие (*МЖ2* весьма непышную идею) о почтовой коляске, однако жь в самом деле нашел ее хуже, нежели думал. [3-3] *МЖ1* на передней лавке, обклавшись подушками. *ПРП1—2*, *МЖ2* на передней лавке, обклавшись своими подушками. [4-4] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* было еще двое товарищей, Капитан и Подпоручик (*ПРП2* Порутчик) [5] *МЖ1*, *ПРП1* на чемоданах, подслав под себя плащи. [6] *МЖ1-2*, *ПРП1—2* или проводник почты, [7-7] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* По том рассказывал он [8-8] *МЖ1—2* которые все, по естественному порядку вещей, [9-9] *МЖ1*, *ПРП1* чтобы Королю наконец [10-10] *МЖ1—2* Я начал декламировать против войны изо всей силы, описывая всю ужасность ея: *ПРП1—2*, *С1* Я вооружился против войны всем своим красноречием, описывая всю ужасность ея (*С1* ужасность ея): [11-11] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* скрывающихся [12-12] *МЖ1* дворовыя собаченки, поджав хвост, убегают под навес, и проч. *МЖ2* бедныя синички и малиновки в кустах скрываются, и проч. [13-13] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* на приятныя места, через которые мы проезжали. Постиллион наш, против моего чаяния, ехал почти все рысью (*МЖ2* ехал все рысью), [14] *С1* || *МЖ1* Бутылка доброго вина, которую взял я в запас из Кенигсберга, весьма нам пригодилась. [15-15] *МЖ1*, *ПРП1* Я несколько раз засыпал, но не надолго. Тут почувствовал я *МЖ2* Несколько раз глаза мои закрывались, но не надолго. Тут почувствовал я [16-16] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* На чемоданах могли они лежать, как на постеле, [17] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* перемену. [18-18] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* в семи милях с половиною [19] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* прорицалищ [20] *ПРП2* завоевателей, [21-21] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* Ныне в сей *секире святых* пьют вкусное пиво (*ПРП1—2* какое-то отменное пиво) и едят хороший белой хлеб. За̀ славу купил я несколько булок, которыя подлинно (*МЖ1—2* были) очень белы. [22-22] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* где мы в третий раз переменяли лошадей, [23] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* Тут мы обедали и пили кофе в почтовом доме. [24-24] *МЖ1*, *ПРП1—2* Тихо де Браге хотел было *МЖ2* Тихо де Браге

хотел-было [25] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* более [26] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* Коперника!— [27-27] *МЖ1—2* от своего учения. [28] *МЖ1* поболее [29-29] *МЖ1—2*, *ПРП1* один в зеленом кафтане и диком камзоле, под сальным париком, *ПРП2* один в желтом кафтане, в померанцовом камзоле, в сальном парике, [30-30] *МЖ1* под круглою шляпою. Пожилой играл очень худо, потел и сердился; а молодой *ПРП1—2* под круглою шляпою (*ПРП2* и в круглой шляпе). Пожилой игрок играл очень худо, и сердился; а молодой *МЖ2* под круглой шляпою. Первой играл очень худо, потел и сердился; а другой [31-31] *МЖ1* толстой и запачканной [32] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* и трубку. [33] *МЖ1* почтовой коляски. *МЖ2* коляски. *||* [34] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* они едут [35-35] *МЖ1*, *ПРП1—2* которая была родом из Шведской Провинции, *МЖ2*, *С1* родом из Шведской Провинции, [36] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* на небо [37] *МЖ1 Ах злодей! МЖ2 Ах злодеи!* [38-38] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* простирались богатые цветные луга; воздух был свеж и чист; многочисленныя стада, рассыпавшиеся (*ПРП2* рассыпанныя *МЖ2* рассыпаясь) по бархату сочных трав, [39] *С3* *||* [40-40] *МЖ1—2*, *ПРП1* только по тому, что *ПРП2* единственно по тому, что [41-41] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* Немецких Рыцарей. [42] *МЖ1* Почти совсем рассветало.

‹10›

[1] *МЖ1—2* 11/22 Июня 1789. [2] *МЖ1*, *ПРП1* Данциг лежит [3-3] *МЖ1*, *ПРП1* и белеющиеся парусы плывущих в разном расстоянии по волнующемуся, *ПРП2* и белеющиеся парусы рассеянных по волнистому, *МЖ2* и белеющиеся парусы плывущих вдали по [4-4] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* какой я еще не видывал в жизни моей, и которая восхищает душу. Два часа смотрел я на нее в безмолвии, [5-5] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* Торг, любящий свободу. [6] *МЖ1*, *ПРП1* наистрожайшего *ПРП2*, *МЖ2* Картезианского [7-7] *МЖ1—2*, *ПРП1* воздыхая (*МЖ2* вздыхая) от всего сердца, взывают (*МЖ2* говорят) *ПРП2* воздыхая из глубины сердца, взывают [8-8] *МЖ1—2*, *ПРП1* свои сельди, [9-9] *МЖ1—2*, *ПРП1*, *С1* мне сказать наверно, не ограничены ли ныне сии права, и в чем именно состояла услуга Догласова. *ПРП2* сказать мне наверно, существует ли до ныне это исключительное право, и в чем именно состояла услуга Догласова. [10] *МЖ2* *||* [11] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* я успел [12] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* *‹сноски нет›* [13-13] *С1—2* не имел уже времени [14] *МЖ1* Магистрат. [15] *ПРП1—2*, *МЖ2* *||* [16-16] *МЖ1* и по тому гарнизон и жители *МЖ2* гарнизон и жители [17-17] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* Коммендантское место поручает Магистрат [18-18] *МЖ1—2* иностранному, заслуженному

‹11›

[1-1] *МЖ1—2* Нам дали еще открытую фуру, где сел Ширмейстер с Капитанским слугою. [2-2] *МЖ1—2* место. Магистер хотел занять его; [3-3] *МЖ1—2* старшинство. Ширмейстер решил процес (*МЖ2* дело) в пользу последнего, которой в самом деле записался на почте прежде. *ПРП1—2* старшинство, и Ширмейстер решил процес (*ПРП2* спор) в его пользу, узнав, что он в самом деле записался на почте прежде. [4-4] *МЖ1—2*

Француз, по дорожному весьма хорошо (*МЖ2* хорошо) одетой, в торжестве сел на лавке между двух Офицеров (*МЖ2* между двумя Офицерами), с насмешкою жалея, что бедного Магистра вымочит дождь, которой стал накрапать (*МЖ2* которой накрапывал). Новой наш товарищ, Офицер, желая сидеть просторнее, поглядывал (*МЖ2* взглядывал) [5-5] *МЖ1—2, ПРП1—2* Француз только что отряхивался. По том Офицер уткнул ему в бок эфес своей сабли. Француз говорил, что он ни за что не выйдет из коляски. Приступы продолжались. Наконец Француз (*ПРП1—2* бедный Француз) [6-6] *МЖ1—2* чтобы он оставил его в покое до первой перемены, где он обещался пересесть в фуру, не смотря на дождь. [7-7] *МЖ1—2* которое было у нас на правой руке. [8-8] *МЖ1—2* мало [9-9] *МЖ1* накрапал дождь. *МЖ2* накрапывал дождь. [10] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* отбил [11-11] *ПРП2* древности; знает многие восточные языки, и [12-12] *МЖ1* при котором он, по его прозьбе, прислал [13-13] *МЖ1—2, ПРП1—2* гармонируем более, [14-14] *МЖ1—2, ПРП1—2* Пишут, что он очень учен, и что в путешествии своем без сомнения обогатится еще большими знаниями.

‹12›

[1] *МЖ1—2*, 13/24 Июня. [2-2] *МЖ1—2* О грубости Прусских постиллионов путешественники говорят всегда с великим неудовольствием. [3-3] *МЖ1* в котором рекоммендуется всем Почтмейстерам *МЖ2* который велит всем Почтмейстерам [4] *МЖ1—2* и не задерживать [5] *МЖ1—2* на дороге между перемен. [6] *МЖ1—2* по целым часам их дожидаться, *ПРП1—2* по целым часам дожидаться, [7] *МЖ1—2, ПРП1—2* добрыя [8] *МЖ1—2, ПРП1—2* однако жь он [9-9] *МЖ1—2* Постиллионам, едущим с ординарною почтою, не велено останавливаться дорогою более одного раза, и то проехав половину; но случалось, что наши останавливались раза по три. Не доезжая за полмили (*МЖ2* за милю) до Штольпе, мы принуждены были с час дожидаться постиллионов, которые (*МЖ2* дожидаться их, между тем как они) [10-10] *МЖ1—2* Наконец Офицеры вышли из терпения, и Капитан велел слуге своему сесть на козлы и ехать. Тут негодяи выбежали, и сперва было ни мало не думали извиняться; но Офицеры так на них напустились, что они очень присмирели. Приехав, [11] *МЖ1—2* постиллионов — [12-12] *МЖ1* бить их, сказал Почтмейстер. [13] *МЖ1* закричал [14] *МЖ1* завопил [15] *МЖ1—2* о вас [16] *МЖ1, ПРП1—2* Я этова так не оставлю, ворчал сквозь зубы Капитан. Как это оставить! кричали (*ПРП1—2* говорили) Офицеры. Постиллионы, *МЖ2* Я этова так не оставлю, ворчал сквозь зубы Капитан. Как оставить! говорили Офицеры. [17-17] *МЖ1—2, ПРП1—2* Вон! (*МЖ1* Вон собаки!) закричал молодой Подпоручтик (*ПРП2* Поручтик), и бросился к ним с кулаком; но Капитан удержал его, и равнодушно сказал: «не будем же виноваты!» Постиллионы вышли — [18] *С1* || [19-19] *МЖ1—2* ели мы прекрасныя форели и пили прекрасной бишоф. [20-20] *МЖ1—2* когда нибудь будете [21-21] *МЖ1—2* ел там прекрасныя форели, и пил прекрасной бишоф — [22-22] *МЖ1—2* того и другого.

‹13›

[1] *МЖ1—2* 15/26 Июня. [2-2] *МЖ1—2* не могу вам сказать ничего, кроме того, [3] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* почитается [4-4] *МЖ1* Фридрих Вильгельм, которого статую видел я в том городке, где миловидная трактирщица угостила нас хорошим обедом. Неблагодарен тот путешественник, которой забывает подобныя угощения! Что принадлежит до меня, то всегда буду помнить, что в тот день, в которой носились в голове моей дела Фридриха Вильгельма, обедал я у миловидной трактирщицы, и был доволен. *ПРП1—2* Фридрих Вильгельм, которого статую видел я в том городке, где миловидная трактирщица угостила нас хорошим обедом. Неблагодарен путешественник, забывающий такие обеды, таких добрых, ласковых трактирщиц! По крайней мере я не забуду тебя, миловидная Немка! Вспомнив монумент Фридриха Вильгельма, вспомню и приятное твое угощение, приятные взоры, приятныя слова твои! *МЖ2* Фридрих Вильгельм, которого статую видел я в том городке, где миловидная трактирщица угостила нас хорошим обедом. Неблагодарен путешественник, забывающий такие обеды, таких добрых, ласковых трактирщиц! [5] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* у служанки. [6-6] *МЖ1* по полям и лесам, [7-7] *МЖ1—2*, *ПРП2* в подземельную (*ПРП2* в подземную) темницу, глубиною в двадцать семь сажен, [8] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* поедут [9-9] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* Я бы не назвал Судьбы матерью, [10-10] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* о строях [11] *МЖ1—2* И [12] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* eine schoene Ture [13-13] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* ich wollte es schanschiren, [14] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* и спросил у меня, [15-15] *МЖ1* везет в кармане не книгу, а ужасныя шпоры, [16-16] *МЖ1* как будто бы я их прежде видел; *ПРП1* как будто бы я видел их прежде; *ПРП2* будто я видел их прежде; [17] *МЖ1* вояжа, [18] *С1* || [19-19] *МЖ1—2* где стоят полки, останавливают всех проезжих

‹14›

[1] *МЖ1—2* 19/30 Июня [2-2] *ПРП2* а естьли и [3] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* от утра [4-4] *МЖ1*, *ПРП1* мог прилечь, положа себе под голову подушки; *ПРП2* мог прилечь на своих подушках; *МЖ2* мог прилечь, положа голову на подушки; [5] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* крови моей [6] *ПРП1—2* || [7-7] *МЖ2* Нам [8] *МЖ1* увидеться! [9-9] *МЖ1—2* что вы увидите хорошего в свете.» [10] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* ‹*сноски нет*› [11-11] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* Was seh'ich! Bist du es, Bruder Ramsey? Willkommen in Berlin! [12] *МЖ1—2* протянулись было *ПРП1—2* протянулись-было [13-13] *МЖ1—2* и вечер стал глубокою ночью; [14] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* остановилась. [15] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* обернувшись [16-16] *МЖ1*, *ПРП1—2* текшей [17-17] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* пять лет за мужем, имеет троих детей, очень любит [18-18] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* увидела во сне [19] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* с свечею [20-20] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* Вот все дело. [21-21] *МЖ1* тех, кого я столь люблю; *МЖ2* тех, которых я столько люблю; [22] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* на перемену [23] *ПРП2* ||

[24-24] *МЖ1—2*, *ПРП1* У ворот мы остановились. Сержант вышел из караульни нас допрашивать. *ПРП2* У ворот надлежало нам выдержать строгой допрос. [25-25] *МЖ1—2*, *ПРП1* Вот вопросы, на которые надлежало мне отвечать. — Прекрасной город! думал я, ехав по прямым улицам. *ПРП2* вопросы, на которые надлежало мне отвечать. — Прекрасной город! думал я, ехав по прямым улицам, мимо огромных домов. [26] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* у Секретаря Почты, [27-27] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* — «Поехал во Франкфурт на Майне. [28-28] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* он вам может сказать о нем более, нежели я.» Es ist hart! сказал я, сев на стул и приложа (*ПРП1—2* приложив) руку ко лбу. [29] *МЖ1*, *ПРП1—2*, *С1* наверно здесь *МЖ2* верно здесь [30-30] *МЖ1—2*, *ПРП1* отвечал я, — думал, и обманулся. С сими словами вскочил я со стула, и хотел итти вон. *ПРП2* думал, и обманулся, — отвечал я, вскочил со стула, и хотел итти вон. [31-31] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* Чемодан мой принесли, заглянули в него, и я всунул (*ПРП1—2*, *МЖ2* и я, всунув) осмотрщику в руку восемь грошей и (*ПРП1—2* грошей,) велел вести себя в Roi d'Angleterre. Солдат взвалил себе на плечи мой скарб (*ПРП1—2*, *МЖ2* взял мои пожитки), а я пошел за ним, думая: «Надобно было ему уехать тогда, когда я приехал! И так я мечтал, воображая, как с ним увижусь, и что скажу ему! Больно так обманываться!» [32-32] *МЖ2* ‹*Этой фразы нет*› [33] *МЖ1—2* приехала [34-34] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* со двора, пожав руку у Г. Блума. [35-35] *МЖ1—2*, *ПРП1* к Д*. Как желал я *ПРП2* к Д*. Как хотелось мне [36-36] *МЖ1*, *ПРП1* А*! Как желал я *ПРП2*, *МЖ2* А*! Как желал *С1* А*; желая [37] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* и по том [38-38] *МЖ2* нашел [39] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* пошел меня провожать. (*ПРП1*, *МЖ2* ||). [40-40] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* запаха, которой происходит от всякой нечистоты, сливающейся в каналы. *С1* запаха, которой происходит от всякой нечистоты в каналах. [41-41] *МЖ1* Мы пошли *МЖ2* Мы шли [42-42] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* *липовую* улицу (die Straße unter Linden), [43] *МЖ1—2* липовые алеи [44] *МЖ1* или чаще каналы чистят, или [45] *ПРП2* в этой [46] *МЖ1—2* По алеям [47] *МЖ2* || *МЖ1*, *ПРП1—2* Мы раза два прошли по сей улице (*ПРП2* по алеям), а по том земляк проводил меня до дому. [48-48] *ПРП2* Г. Блум. [49] *МЖ1*, *ПРП1* он, подавая мне сию бумажку. *ПРП2* он, подавая мне бумагу. *МЖ2* он, подавая мне записку. [50] *МЖ1—2* тут все *ПРП1—2* на ней [51] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* Все сии вопросы [52] *МЖ1*, *ПРП1—2*, *МЖ2* подписывать [53-53] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* «Я должен это послать в Полицию, сказал трактирщик: а там посмотрят (*ПРП2* справятся), то ли вы сказали о себе у городских ворот, что здесь напишете. По том публикуют (*ПРП2* объявят) о вас в Ведомостях» (ПРП2 ||) [54-54] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* по регулярности улиц и по хорошим (*ПРП2* и хорошим) зданиям. [55] *МЖ1—2* Шверин и Кейт изображены в Римском платье. Последний (*МЖ2* Первый) [56-56] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* о потере сего искусного и храброго Генерала более, [57] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* порицают [58] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* преждевременной [59] *МЖ1—2* Фридрих [60] *МЖ1* — Винтерфельд и Зейдлиц изображены в своих мундирах. — [61-61] *МЖ1*, *ПРП1* и по том жить [62] *МЖ1—2* у потомства. [63] *МЖ1—2*, *ПРП1* и при сем случае представ-

лять [64-64] *МЖ1—2* вошли в Берлин, [65-65] *МЖ1*, *ПРП1* оставшиеся знаки, [66-66] *ПРП2* до ныне пугают Берлинцев. || [67-67] *МЖ1—2*, *ПРП1* По том пошли мы *ПРП2* По том зашли мы [68-68] *МЖ1*, *ПРП1* что я о ней сказать могу. Преимущественно перед прочим *ПРП2* что могу сказать о ней. Более всего *МЖ2* что я о ней сказать могу. Более прочего [69-69] *МЖ2* анатомическое сочинение [70-70] *ПРП2* человеческого тела. [71] *МЖ1* за оное [72-72] *МЖ1* дав помощнику Библиотекарскому несколько грошей, *МЖ2* дав что нибудь помощнику Библиотекарскому, [73] *МЖ1* получить [74] *ПРП2* || [75] *МЖ1—2* купцов тутошних и иностранных, [76] *МЖ1—2*, *ПРП1* приготовляется [77] *МЖ2* ограбили [78-78] *МЖ1*, *ПРП1—2* После обеда принес мне Д* письмо от вас, друзей моих, и по том (*ПРП1—2* друзей моих; через час) пошли мы в зверинец. *МЖ2* После обеда принес мне Д* письмо от вас, друзей моих, и мы пошли в зверинец. [79-79] *МЖ1—2* алей, из которых одне [80] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* прекрасное [81-81] *МЖ1*, *ПРП1* той алеи, о которой [82] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* прогуливаясь [83] *ПРП2* в эту [84] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* До сего [85] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* но тут вдруг [86-86] *ПРП2* путь мрачности. *МЖ2* путь, [87] *МЖ1—2* меня, произведя во мне некое ужаса исполненное содрогание. [88] *МЖ1*, *ПРП1—2*, *С1* С того. [89] *МЖ1—2* в сию алею *ПРП2* в эту алею [90-90] *ПРП2* вступая во мрак древних сосн, *МЖ2* под сению древних сосн, [91-91] *МЖ1—2* встретился нам [92-92] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* с угрюмою миною

‹15›

[1-1] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* из Москвы, поехал (*МЖ2* отправился) я к известному Николаю, Автору и книгопродавцу, живущему [2-2] *МЖ1* вам во многом обязана. *МЖ2* вам обязана частию своих успехов. [3] *МЖ1—2* прежде всех видеть [4-4] *МЖ1—2* «Вы мне много чести делаете, [5] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* сей [6-6] *МЖ1*, *ПРП1* за несколько лет перед сим. По том *ПРП2* не давно. По том *МЖ2* не очень давно. По том [7-7] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* подчинить себе Европу; [8-8] *МЖ1*, *ПРП1* посланные в мир с тем, чтобы, обольщая *ПРП2*, *МЖ2* посланные в свет для того, чтобы, обольщая [9] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* порабощать [10-10] *МЖ1—2*, *ПРП1* избран был театром сей войны. *ПРП2* сделался ее театром. [11-11] *МЖ1—2* и поныне продолжается. — *ПРП1—2* и поныне продолжается. [12-12] *МЖ1—2* Орден их хотя и находился под покровительством (*МЖ2* под начальством) Папы, *ПРП1* Общество их хотя и находилось под наружным покровительством Папы, *ПРП2* Общество их только по наружности зависело от Папы; [13] *МЖ1* оного. *МЖ2* святилища. [14] *МЖ1—2* своей [15] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* Уже ли [16] *МЖ1* разность [17-17] *МЖ1—2*, *ПРП1* в Протестантских землях, и между теми, которыя в Католических выходят: *ПРП2* в Протестантских землях и в Католических: [18] *МЖ1* за чем бы [19] *МЖ1—2*, *ПРП1* только, [20-20] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* некоторыя свои мысли о сем предмете; [21-21] *МЖ1—2*, *ПРП1* Точно не надобно думать. *ПРП2* Ни как не надобно думать, [22-22] *МЖ1—2* ныне совсем перестали [23] *МЖ1—2* только за себя.

[24] *МЖ1—2, ПРП1—2* провозгласили [25] *МЖ1—2, ПРП1* но процес свой проиграл, и по том писал *ПРП2* но не быв удовлетворен, писал [26] *МЖ1—2, ПРП1—2* добрым [27-27] *МЖ1-2* На карточке записал я ему (*МЖ2* для него) свое имя, и пожелал ему щастливого пути. [28] *МЖ1—2* больше [29-29] *МЖ1—2, ПРП1—2* и тех, которые с ним разно (*МЖ2* розно) думают. [30-30] *МЖ1—2*, будут читать [31-31] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* особенно привлекательного [32] *МЖ1—2* Да еще в самом ли деле одержали вы верх! *МЖ1—2, ПРП1—2* ‹*сноска*:› Наконец в самом деле вышло, что слух сей был несправедлив. [33] *МЖ1* мы подождем *МЖ2* надобно ждать [34-34] *МЖ1—2* сидевший подле меня, [35-35] *МЖ1—2* меня упрашивал [36-36] *МЖ1* и посматривал на нас попеременно, будучи готов затушить огонь при первом воспылании оного. (*МЖ2* будучи готов затушить огонь при первой искре.) [37-37] *МЖ1—2* Я должен был при начале войны выехать из Петербурга, [38-38] *МЖ1* пожить там подолее. *МЖ2* пожить там долее. [39-39] *МЖ1—2* по которым мы, частные люди, поступать должны. [40] *МЖ1—2* проворчал [41] *С1* || [42-42] *МЖ1—2* взял три батареи, получил двенадцать контузий, и под сильным пушечным огнем повел (*МЖ2* вел) свою комманду против четвертой батареи. *ПРП1* взял три батареи, и под сильным пушечным огнем вел свою комманду против четвертой, *ПРП2* взял три батареи, и под сильным пушечным огнем шел против четвертой. [43-43] *МЖ1* он [44-44] *МЖ1—2, ПРП1—2* на батарею, [45-45] *МЖ1—2* Два раза хотел он (*МЖ2* хотел) встать, но без сил упадал на землю. Его вынесли за фрунт. Лекарь, хотевший перевязать его раны, был убит подле него. Наехали козаки, раздели Клейста до нага, и бросили его в болото. [46] *МЖ1—2, ПРП1* подле *ПРП2* возле [47-47] *МЖ1—2* покрыли плащом, надели ему на голову шляпу, и дали ему (*МЖ2* и дали) хлеба с водою. *ПРП1—2* и покрыли плащом. [48] *МЖ1—2* серебреных денег; [49] *МЖ1* бросил ему [50] *МЖ1* ускакал от него [51-51] *МЖ1—2* Поутру опять приехали козаки, и отняли у него все, что дали ему добродушные гусары. Через несколько часов увидел он [52-52] *МЖ1—2, ПРП1—2* свое имя и чин. [53] *МЖ1—2, ПРП1, С1* с веселым видом *ПРП2* покойно [54] *МЖ1—2* он [55] *МЖ1* при его [56-56] *МЖ1—2* увидев, что у него на гробе *ПРП1* увидев, что на гробе у него [57-57] *МЖ1—2, ПРП1—2* шпага.

‹16›

[1] *МЖ1—2, ПРП1—2* Ныне поутру [2] *МЖ1—2* какая [3] *МЖ1, ПРП1* встреча, [4-4] *МЖ1* поставлены были в ружье. Никакая *МЖ2* стояли в ружье. Никакая [5] *МЖ1—2, ПРП1* сей *ПРП2* их [6] *МЖ1—2* под предводительством [7] *МЖ1—2, ПРП1—2* пиры и празднества; а там не будет ли и свадьбы. — [8-8] *МЖ1—2* Menschenhaß und Reue, *человеконенавидение и раскаяние ПРП1—2* Menschenhaß und Reue, *ненависть к людям и раскаяние* [9-9] *МЖ1—2, ПРП1—2* Барон Мейнау, человек лет в тридцать, женится на пятнадцатилетней Эйлалии. Несколько лет живут они щастливо. Эйлалия почитает в своем супруге опытного и благоразумного человека; а он (*МЖ2, ПРП2* а супруг) старается всем ее уте-

шать (*МЖ1* и доставлять ей всевозможныя удовольствия). Но вдруг, по некоторому нещастному случаю, лишается он половины своего имения. Надлежало ограничить расходы; а сия новая (*ПРП2* а такая *МЖ2* такая новая) экономия не могла быть приятна молодой Эйлалии (*ПРП1—2* для Эйлалии). В сие время один молодой человек, обязанной Барону всем своим щастием, вкрадывается мало помалу к ней в сердце — и чем же? Не отменною красотою, не отменным разумом, не добродетелию; но угождая всем женским прихотям — лестию и коварством (*МЖ1—2*, *ПРП1* прихотям, угадывая желания ея при самом их зарождении, льстя ей, забавляя ее.). Нет умеренности в склонностях (*МЖ1—2*, *ПРП1* юного) женского сердца: любовь (*ПРП1*, *МЖ2* сердца. Любовь) к сему молодому человеку уменьшает в Эйлалии любовь к супругу, и наконец так ослепляет ее, что она — забыв добродетель, а с нею забыв супруга и детей своих — уходит с своим развратителем. Сей удар был совсем нечаянной для Мейнау. Из отчаяния оставляет он (*ПРП1—2* Он оставляет) свой дом, клянет людей, бежит от них и без всякого намерения странствует из земли в землю. Между тем ветреной молодой человек, удовлетворя страсти своей, оставляет Эйлалию. Тут открываются глаза ея — она чувствует всю ужасность своего состояния, весь стыд и нещастие порочной женщины. Наконец, под именем Гжи Миллер, идет (*МЖ1* идет она) в управительницы (*МЖ1*, *ПРП1* в дом) к графине Винтерзее, и живет у нее в деревне, во всегдашнем уединении и горести. Едва осмеливается она искать некоторого утешения в тайных благодеяниях. — Случай приводит Барона Мейнау в сию деревню. Он остается тут на некоторое время, живет в маленьком домике в конце (*ПРП2* на конце) зверинца, ходит по лесам, читает Циммерманову книгу *Об уединении*, и клянет природу человеческую. Отсюда начинается Драма. — Граф и графиня Винтерзее приезжают в деревню. Барон фон дер Горст, брат графинин, (*МЖ1*, *ПРП1* приехавший с ними же,) влюбляется в Гжу Миллер, и открывается (*МЖ1—2*, *ПРП1* в том) сестре. (*МЖ1—2*, *ПРП1* сестре своей). Графиня любит свою управительницу, и будучи уверена, что она не подлого рода (*ПРП2* благородная), не противится намерению (*ПРП1* своего) брата жениться на ней, и (*МЖ1—2*, *ПРП1* сама еще) берет на себя говорить о том с нею (*ПРП1—2* говорить с нею о любви его). Тут Эйлалия решится, в собственное свое наказание, рассказать (*ПРП1—2* Тут Эйлалия рассказывает) Графине свою историю. «Величайшая жертва, говорит она, какую истинное раскаяние принести может, состоит в том, чтобы добровольно отказаться от почтения любезных людей.» (*ПРП1—2* «Вы будете презирать меня, говорит она: так и быть! Небесное правосудие требует жертвы от искреннего раскаяния: я приношу ее, лишаясь добровольно вашего доброго мнения о моем сердце.») Но Графиня обнимает ее и уверяет в своей дружбе. Между тем Мейнау имел случай оказать услугу графу (*МЖ2* оказать графу услугу). Сей последний упал с мосту в реку, и конечно бы утонул, естьли бы Мейнау не бросился и не вытащил его. (*ПРП1* оказать услугу графу Винтерзее. Сей последний упал в реку, и утонул бы без его помощи. *ПРП2* спасти графа Винтерзее, который утонул бы в реке без его помощи.) Граф посылает своего шурина звать его к себе в гости.

Барон фон дер Горст находит в пустыннике старинного друга своего (*ПРП1—2* старинного своего друга), принуждает его рассказать (*МЖ1* рассказать ему) свою историю (*ПРП1—2* историю свою) со времени их разлуки, и (*МЖ1* не смотря на отговорки,) берет с него слово притти к Графу. Мейнау приходит, видит Эйлалию, и в тот же миг бросается назад в двери. — Эйлалия падает в обморок — и тем кончится четвертое действие. Барон фон дер Горст (*ПРП1—2* Горст), узнав, что Эйлалия жена друга его, почитает за должность стараться о их соединении. Эйлалия поручает ему просить супруга своего, чтобы он позволил (*ПРП2* дозволил) ей притти к нему и видеть детей (*МЖ1—2*, *ПРП1* детей своих). Мейнау не хочет сперва и слышать о том, чтобы опять жить с нею вместе. «Женщина, говорит он, которая один раз могла изменить своему мужу (*МЖ2* могла изменить мужу), может изменить и в другой раз. И что скажут обо мне в свете, когда покажусь я с моею беглою женою? (*ПРП1* когда покажусь я с нею? *ПРП2* когда я покажусь с нею?») (*МЖ1* Не станут ли указывать на меня пальцами?») Наконец решится он в последний раз видеть Эйлалию, а по том хочет с детьми своими (которых посылает привезти из города,) удалиться в такое место, где бы никогда уже не мог встретиться с своею неверною, но все еще любезною ему супругою. Эйлалия приходит. Ничего не может быть прекраснее и трогательнее сей сцены. Мейнау размягчается. «О! какого Ангела развратил ты у меня! (*ПРП1—2* «Злодей! ты развратил Ангела!» *МЖ2* «Ты развратил Ангела,») говорит он, представляя себе в мыслях соблазнителя своей супруги (*ПРП1—2* соблазнителя ея). Эйлалия не просит у него прощения; она почитает себя недостойною такого супруга — и в ту минуту, как они хотят сказать друг другу: *прости на веки*! вбегают дети, бросаются целовать своих родителей, и Мейнау, тронутый до глубины сердца, прощает Эйлалию; с рыданием бросается она в объятия своего супруга, и занавес закрывается. — Никакая пьеса (*ПРП2*, *МЖ2* Никакая Драма) не оставляла во мне таких сладких впечатлений, как сия. Не скажу чтобы в ней не льзя было ничего покритиковать (*ПРП2*, *МЖ2* критиковать) — на прим. всякому странно покажется, что барон фон дер Горст (*ПРП1—2* Барон Горст), выслушав историю своего друга, просит его итти сватать (*МЖ1—2* сватать за него) Гжу Миллер. Однако ж в ней так много трогательного и прекрасного, что зритель забывает критику. —Г. Флек [10] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* Барона Мейнау [11] *МЖ1* с такою натуральностию, с таким чувством [12-12] *МЖ1—2* до сердца доходит. [13-13] *ПРП2* я не видывал лучшего Актера. [14] *МЖ1—2* видны и великия природныя дарования, и великое искусство. Коротко сказать, я не знаю, как можно лучше представить Мизантропа с добрым сердцем и оскорбленного супруга, хотящего ненавидеть, но все еще любящего свою виновную супругу. — [15] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* Эйлалию [16] *МЖ1—2* тем интереснее [17] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* — не льзя от слез удержаться там, где она, открыв Графине свое сердце, бросается к ногам ее и говорит: «Verstossen Sie mich nicht! Verstossen Sie mich nicht!»* и где она приходит навсегда проститься с супру-

* Не отвергайте меня! Не отвергайте меня! (*нем.*)

гом. — Я думаю [18] *МЖ1* Гете, Клингера, [19] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* изображая, так сказать, все оттенки его натуры, но отвергая [20] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* с чистым естественным [21-21] *МЖ1—2* читая Немецкия Драмы [22-22] *ПРП2* как надобно играть Актеру; [23-23] *МЖ1* как можно в них играть Актеру хорошо, или натурально, или так, чтобы меня тронуть. — *ПРП1*, *С1—2* как можно в них играть Актеру хорошо, или так, чтобы меня тронуть. *ПРП2* какою игрою, каким тоном Актер может тронуть меня. — [24-24] *МЖ1* Изящныя Науки.

‹17›

[1-1] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* Вчера поутру в шесть часов [2-2] *МЖ1—2* Приятель мой, выехав из города, тотчас дал шпоры своему коню и пустился рысью. И я было за ним пришпорил, но на двадцати шагах (*МЖ2* но скоро) должен был остановить свою лошадь, почувствовав в боку колику. Хотя товарищу моему крайне хотелось догнать двух верховых, которые перед нами ехали, однако жь для меня поехал он шагом. — Ничего нет скучнее дороги от Берлина в Потсдам. Везде [3] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* Отдохнув и заказав [4] *МЖ1—2*, *ПРП1* пошли мы [5] *МЖ1* живя [6-6] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* которое украшено Римскими колоннадами, [7-7] *МЖ1—2* а особливо в так называемой [8] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* которые построены [9-9] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* Покойной Король на собственныя свои деньги строил домы, и (*МЖ1*, *ПРП1* и по том) дарил [10] *МЖ1—2* Ныне [11] *МЖ1—2* стоят пусты [12-12] *МЖ1* Причина сему та, *МЖ2* Причина та, [13-13] *МЖ1—2* ходит там в наем по пятидесяти рублей [14-14] *МЖ1*, *ПРП1—2* похож на такой город, из которого жители удалились, услышав (*ПРП1—2* слыша) о приближении неприятеля *МЖ2* похож на осажденный город, из которого жители удалились [15] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* защищения [16] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* представить, [17] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* пустоты. *С2* пустоты? [18] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* и услышав, [19-19] *ПРП2* по смерти моей не кому [20-20] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* по том простились (*МЖ2*, *ПРП2* простились) с почтенным (*ПРП2* с добрым) стариком и пожелали ему — покойной смерти. (*МЖ2* — тихой смерти. *ПРП2* — тихой смерти. ||) [21-21] *МЖ1—2*, *ПРП1* поехали мы *ПРП2* отправились мы [22-22] *МЖ1—2*, *ПРП1* любивший удовольствия и умевший находить их *ПРП2* который любил удовольствия и находил их [23] *МЖ1—2* убраны [24] *МЖ1—2* д'Аламбертами. [25-25] *МЖ1—2* твои места [26] *МЖ1—2*, *ПРП1* Оставя [27-27] *МЖ1* чтобы отдохнуть несколько в том трактире, где мы обедали. Таким образом, к великому своему сожалению, не видал я и картинной галлереи в Сан-Суси. *МЖ2* чтобы отдохнуть в трактире. [28] *МЖ1—2* потихоньку поехали [29-29] *МЖ1* ехал я, *МЖ2* мы ехали, [30-30] *МЖ1*, *ПРП1* и не знал, что со мною делать. Наконец он вздумал-было оставить меня, искать *ПРП2* и не знал, что со мною делать. Наконец он вздумал было уехать, искать *МЖ2* и не знал, что со мною делать. Наконец он вздумал было искать [31-31] *МЖ1—2* мне остаться одному, [32-32] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* Естьли бы в сем положении (*ПРП2* в этом положении *МЖ2* в этом состоянии) нашли меня какие-

нибудь люди, что бы могли они (*МЖ2* что бы могли) обо мне подумать? что бы могли сделать со мною? Все мое имение было со мною: и так естьли бы меня ограбили? Одним словом, я просил его, чтобы он не оставлял меня. Таким образом прошло около часа. По том я встал, [33] *МЖ1* любезного, попечительного *МЖ2* любезного, доброго [34] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* С полверсты [35] *МЖ1—2*, *ПРП1* а по том сели [36] *МЖ1—2* думали [37-37] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* Сия ночь, друзья мои, будет для меня незабвенна. [38-38] *МЖ1* здоров и бодр, [39-39] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* меня (*ПРП1—2* нас) очень учтиво. [40-40] *МЖ1—2*, *ПРП1* По том поехали мы *ПРП2* От него поехали мы [41] *МЖ1—2* пенсиона [42-42] *МЖ1*, *ПРП1—2* философических, исторических и пиитических. — После обеда имел я честь быть представлен Графу Н., которому угодно было спросить меня о плане моего путешествия. У него был К. Р.* (*ПРП2* Князь Р*), которой также удостоил меня вопросов двух. — Возвратясь домой, написал я несколько слов к вам, друзья мои, и пошел в Оперу. *МЖ2* — философских, исторических и пиитических. — После обеда был я представлен Графу Н*, которой спрашивал меня о плане моего путешествия. Бывший у него Князь Р* обошелся со мною гораздо ласковее, нежели сам хозяин. — Возвратясь домой, написал я несколько строк к вам, друзья мои, и пошел в Оперу. [43] *МЖ1—2*, *ПРП1* сию [44] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* не очень приятно [45] *МЖ1—2* великолепны. — В партере было так тесно и жарко, что я насилу мог дождаться конца Оперы.

‹18›

[1-1] *МЖ1—2* Ему, казалось, было приятно, *ПРП1—2* Ему было приятно слышать, [2] *МЖ1* и, так сказать, заимствует *ПРП2* заимствуя [3-3] *МЖ1—2* или какого-нибудь другого древнего Поэта — [4-4] *МЖ1—2* т. е. искусству его в механизме Поэзии, или в собственном стихотворстве; *ПРП1—2* т. е. искусству в механизме Поэзии, или в стихотворстве; [5] *МЖ1—2 ПРП1—2* соблюдает он [6] *МЖ1—2* пиес [7-7] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* переведены на Немецкой. [8-8] *МЖ1—2* сим трудом его. *ПРП2* трудом его; [9] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* только [10] *МЖ1—2* одной госпоже, своей [11-11] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* противоречу ей, [12] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* пиесах. [13] *МЖ1* тут пришла [14] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* сочинения; [15-15] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* красоты Поэзии живее, нежели мущины. — [16-16] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* протяжно и отборно. [17-17] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* От него прошел я в Театр. Представляли [18-18] *МЖ1—2*, *ПРП1* и худого, и доброго; которой под предлогом истребления ереси, столько пролил крови человеческой (*ПРП1* проливал кровь человеческую); которой, услышав *ПРП2* и худого, и доброго, которой, под видом истребления ереси, проливал кровь человеческую, но услышав [19-19] *МЖ1—2*, *ПРП2* весьма искусно. [20] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* Благоразумной и великодушной [21] *МЖ1—2*, *ПРП2* к великим [22] *МЖ1* усыпила было в нем *МЖ2* усыпила в нем [23] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* претрогательныя [24] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* Актер [25-25] *МЖ1*, *ПРП1* весьма хорошо *ПРП2*, *МЖ2* хорошо [26-26] *МЖ1* очень деревянно. *МЖ2*

не удачно. [27] *МЖ1* натуральнее *МЖ2* естественнее [28-28] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* Menschenhaß und Reue [29-29] *МЖ1* мух бьет, [30] *МЖ1—2* весьма трогательно

‹19›

[1] *МЖ1—2*, *ПРП1* интересную *ПРП2* занимательную [2] *МЖ1—2*, *ПРП1* и чувства, [3] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* человеком лет за сорок; [4] *МЖ1* только что улыбнулся. — [5] *МЖ1* утонченности [6] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* показалась [7-7] *МЖ1* что ни в котором из оных нет столько *значительных* слов, как в сем последнем. *ПРП2* что в нем более *значительных* слов, нежели в каком нибудь другом. [8-8] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* и *утомленной* Философ часто принимает признак истины за существо ея.» — [9] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* которой публично [10] *МЖ1—2* разругал [11-11] *МЖ1*, *ПРП1—2* По том хотел было я *МЖ2* По том хотел я [12] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* был я [13] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* В последней пьесе [14] *МЖ1* натуральнее, *МЖ2* гораздо лучше,

‹20›

[1] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* не превращает [2] *МЖ1—2*, *ПРП1* сие, [3] *МЖ1—2*, *ПРП1* не-философским, мизантропическим и для [4] *ПРП2* || [5] *МЖ1—2* *ПРП1—2* то было бы, [6] *МЖ1—2* это множество [7] *ПРП1—2* || [8] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* сих презренных тварей [9] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* Но естьли бы [10] *ПРП2* подобных [11] *С1* ||

‹21›

[1] *МЖ1—2*, *ПРП1* из национальной [2] *МЖ1—2*, *ПРП1* о национальном [3-3] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* любимой Немецкой брани, [4] *МЖ1* народа? То, что мы очень сердиты на богиню Киприду. || *ПРП1—2*, *С1* народа? || [5] *МЖ2* || [6] *МЖ1* уже ни с кого [7] *ПРП2* когда [8] *МЖ1*, *ПРП1* по полтине. *МЖ2* полтину. || [9] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* от Кенигсберга до Берлина

‹22›

[1-1] *МЖ1—2* я [2-2] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* Две минуты [3-3] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* — *поедем далее*! Поедем далее! повторил я у себя в мыслях и [4] *ПРП2* начертил [5-5] *МЖ1* о приятности свободы, *МЖ2* о приятностях свободной воли. [6] *МЖ1—2* поднебесным, [7-7] *МЖ1—2*, *ПРП1* Мне бы надлежало еще [8] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* Последний вечер [9] *ПРП1—2* || [10-10] *МЖ1—2*, *ПРП1* почтовой фуре *ПРП2* фуре [11-11] *МЖ1—2* отбило мне бока, что у меня и теперь болят ребра. [12] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* не покрыта [13] *МЖ1—2* почти беспрестанно [14-14] *МЖ1—2*, *ПРП1* чтобы не зацепиться головою за дерева. *ПРП2* чтобы не зацепиться за дерево. [15] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* и получил

[16] *МЖ1* || [17] *МЖ1—2, ПРП1—2* с колясочкою и с ностиллионом, *С1* с колясочкою, [18-18] *МЖ1* так же дурны, как в Пруссии, *МЖ2* не лучше Прусских, [19] *МЖ1—2, ПРП1—2* поселяне [20] *МЖ1—2* шум [21] *МЖ1—2, ПРП1—2* не потерять [22-22] *МЖ1—2, ПРП1* Натурально, что за поклон заплатили мне поклоном. *ПРП2* Как водится, за поклон заплатили мне поклоном. [23-23] *МЖ1—2, ПРП1—2* наговорил им множество комплиментов, проводил их в комнату, [24-24] *МЖ1* подумал я, и потихоньку *ПРП1—2* вздумал я, и потихоньку *МЖ2* подумал я, и тихонько [25-25] *МЖ1—2, ПРП1* что я бы верно [26-26] *МЖ1—2, ПРП1* на ея розолилейныя щеки, и проч. и проч., *ПРП2* на ея лилейныя щеки, и проч. и проч., [27] *МЖ1—2, ПРП1—2* Сопутник ея [28-28] *МЖ1—2, ПРП1—2* молчание, которое перервал я вопросом: [29-29] *МЖ1* пути. || *ПРП1—2, МЖ2* пути. [30-30] *МЖ1—2* в моем воображении, [31-31] *МЖ1* оного. — *МЖ2* его. — [32-32] *МЖ1—2, ПРП1—2* решился я [33-33] *МЖ1—2, ПРП1—2* я велел разбудить себя. Иду спать. Простите!

‹23›

[1-1] *МЖ1—2, ПРП1—2* лежащий на большой долине, [2] *МЖ1* беспрерывно простирающиеся по одной [3] *МЖ1, С2* || [4-4] *МЖ1—2* рекоммендательное письмо. [5] *МЖ1—2, ПРП1—2* интересныя [6-6] *МЖ1, ПРП1* по пространству города и по великости домов! [7] *МЖ1—2, ПРП1—2* прибранныя [8] *МЖ1—2 ПРП1—2 новой город* (Neustadt) [9] *МЖ1—2, ПРП1—2* представляют глазам [10] *МЖ1—2, ПРП1—2* почитается [11-11] *МЖ1, ПРП1—2* у той и у другой. *МЖ2* у обеих. [12] *МЖ1, ПРП1* Ученой по профессии [13] *МЖ1—2, ПРП1* очень красноречивы [14-14] *МЖ1—2, ПРП1* После обеда, по приказанию своего отца, играла она на клавесине, и я рад бы был слушать ее до вечера. — *ПРП2* После обеда, по приказанию своего отца, играла она на клавесине, и я мог бы с удовольствием слушать ее до вечера. — [15] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* надобно на то, [16-16] *МЖ1, ПРП1* С наибольшим вниманием рассматривал я *ПРП2, МЖ2* С большим вниманием рассматривал я [17-17] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* есть ничто ино , как [18] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* Тиранов, [19] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* мучеников [20-20] *МЖ1—2, ПРП1—2* Образ Преображения Христова почитается [21] *МЖ1—2, ПРП1—2* в распутство и причинила неизлечимую болезнь. [22] *МЖ1—2, ПРП1—2* поставляется [23] *МЖ1—2, ПРП1—2* Рисовка его [24] *МЖ1—2, ПРП1—2* головы его [25-25] *МЖ1—2, ПРП1—2* отменно приятны. Одним словом, не льзя без удивления рассматривать его картин; [26] *МЖ1—2, ПРП1—2* произведения [27-27] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* то он был бы конечно правильнее в рисовке, и превзошел бы, [28] *МЖ1—2, ПРП1* примечания. [29-29] *МЖ1—2, ПРП1* получил он за нее *ПРП2* получил он [30] *МЖ1—2, ПРП1—2* принужден был лечь на постелю, и занемог [31] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* скончала [32] *МЖ1—2, ПРП1—2* он [33] *МЖ1—2, ПРП1—2* почитаются [34] *МЖ1—2, ПРП1—2* произведениями [35] *МЖ1—2, ПРП1* весьма остроумен. [36] *МЖ1—2, ПРП1—2*

почитали [37] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* и по сие время [38] *МЖ1*, *ПРП1* натуральнее *МЖ2* разительнее [39-39] *МЖ1—2* на сожжение осужденного [40-40] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* писал он [41] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* поправлять [42] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* просить [43] *МЖ1—2*, *ПРП1* Сей [44] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* он [45] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* В сие [46] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* почитается [47] *МЖ1—2*, *ПРП1* писал он [48-48] *МЖ1—2*, *ПРП1* а платье очень не хорошо. *ПРП2* а одежду не хорошо. [49] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* рисовка его [50] *МЖ1* несправедливы в рисовке; *МЖ2* неправильны в рисовке; [51] *МЖ1—2*, *ПРП1*, *С1* Он родился [52] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* только той [53-53] *МЖ1—2*, *ПРП1* Для исторической живописи был он уже не так способен, *ПРП2* но к исторической живописи был он уже не так способен, [54] *МЖ1*, *ПРП1* к алхимии. [55] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* взять и есть. — [56-56] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* Корреджиева *ночь*, и проч. [57] *МЖ1—2*, *ПРП1* в прежнее [58-58] *МЖ1—2* на этот блестящий минеральной кабинет [59] *МЖ1—2*, *ПРП1* посмотря [60] *С1* || [61-61] *МЖ1—2*, *ПРП1* почитает за должность [62-62] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* Хотел бы я знать, где Г. Маттей достал сии рукописи! [63-63] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* прошел я несколько раз по саду, [64] *МЖ1—2*, *ПРП1* хотя и [65-65] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* приятен. Возвратясь домой, написал я, что вы теперь читали. ‹*абз.*› Посланника

‹24›

[1] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* Католицкую [2] *МЖ1—2* Огромность

‹25›

[1-1] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* посольства (*МЖ1*, *ПРП2* Посольства). — Оттуда пошел (*МЖ1*, *ПРП1* пошел я) один прогуливаться за город, [2] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* простирающихся с одной стороны вдоль по ея берегу, и покрытых [3] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* видел я поля, [4-4] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* расстилалась тучная зелень, цветами испещренная. [5-5] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* — проливал слезы. (*ПРП1—2* ||) Любезная Природа, нежная мать наша! какими несказанными радостями питаешь ты сердца чад своих, когда оне к тебе прибегают, и в объятиях твоих ищут отрады! ‹*абз.*› Едва ли [6] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* чувствовал я [7-7] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* был я так добр в сердце своем, [8-8] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* Естьли ничто не погибает в громаде творения, то не погибнут и слезы, которыя выкатились из глаз моих на сем лугу — и некогда (*ПРП2* и когда-нибудь) в книге жизни моей смоют оне некоторыя черныя пятна (*ПРП1—2* ||).

‹26›

[1-1] *МЖ1—2* ей выехать. [2] *МЖ1—2* провожатым. [3-3] *МЖ1—2* казались мне блаженными тварями. [4-4] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* бытие свое — думал я, — чувствуют, [5-5] *МЖ1—2* В каждом поселянине, идущем

по лугу, видел я благополучного смертного, имеющего [6-6] *МЖ1—2, ПРП1—2* мирным своим семейством, [7] *МЖ1—2, ПРП1—2* детей своих. [8] *МЖ1—2, ПРП1—2* пространством [9-9] *МЖ1—2* дожидается [10] *МЖ1—2, ПРП1—2* в своем сердце [11] *МЖ1—2, ПРП1—2* свою любезную, [12-12] *МЖ1—2, ПРП1—2* скорее, скорее, скорее — [13-13] *МЖ1—2, ПРП1* видел я их сидящих друг подле друга под каштановым деревом. [14] *ПРП1* || [15-15] *МЖ1—2, ПРП1—2*, Шафнер оставил мне место напереди подле окошка (*ПРП1—2* подле окна) для того (сказал он) чтобы я мог наслаждаться приятными видами; правду ли он сказал или нет, оставим на сей раз без исследования. У меня было шесть товарищей: две важныя дамы в черных шляпах — (ведь вы (*ПРП2* вы), друзья мои, конечно согласитесь со мною, что даму можно назвать человеком?) — пожилой Магистер, [16] *МЖ1—2, ПРП1—2* купец и [17-17] *МЖ1—2, ПРП1—2* Сей последний сидел [18] *МЖ1—2, ПРП1—2* и о чем же, [19] *МЖ1—2, ПРП1—2* Почти непосредственно [20-20] *МЖ1—2, ПРП1—2* будем мы искать его [21] *МЖ1—2, ПРП1—2* в чувствах своего сердца, [22-22] *МЖ1—2, ПРП1—2* теперь вы чувствуете его, [23-23] *МЖ1—2, ПРП1* ищет Ученой в уединенных сенях, *ПРП2* ищет Ученой в уединенных тенях, [24-24] *МЖ1—2, ПРП1—2* из записной своей книжки [25-25] *МЖ1—2* почтенного Л*** *ПРП1—2* почтенного Лафатера [26] *МЖ1—2, ПРП1* видим себя [27] *МЖ1—2, ПРП1—2* предметах (unser ich siehet sich nur im Du). [28] *МЖ1—2, ПРП1—2* только [29] *МЖ1—2* которыя (кажется) [30] *МЖ1—2, ПРП1—2* дверь [31] *ПРП1—2* || [32] *МЖ1—2* весьма [33-33] *МЖ1—2, ПРП1—2* подымаются почти перпендикулярно [34-34] *МЖ1—2, ПРП1—2* граниты. [35] *МЖ1—2, ПРП1—2* почти все [36-36] *МЖ1—2* по своей древности. [37] *МЖ1—2, ПРП1—2* лежит [38-38] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* Саксонского Принца [39-39] *МЖ1—2* за несколько недель [40] *МЖ1, ПРП1* оставил он [41] *МЖ1—2, ПРП1—2* почитается

‹27›

[1] *МЖ1—2* и после отрицательного ответа, Студент *ПРП1—2* и после ответа: нет! (*ПРП1* студент) Студент [2] *МЖ1—2, ПРП1—2* я могу [3] *МЖ1—2, ПРП1—2* поправя [4] *МЖ1—2, ПРП1* и требовал от него, [5] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* его [6] *МЖ1—2, ПРП1* Малебраншевою [7-7] *МЖ1—2, ПРП1* не начертя (*МЖ2* не начертив) на его мозгу никакого особливого знака, или (по Боннетову) не потряся там никакой новой или *девственной* фибры (fibre vierge), [8] *МЖ1* оной парик [9-9] *МЖ1—2, ПРП1* приехали мы ныне в Лейпциг в 4 часа по полудни. [10] *МЖ1—2* окошко [11] *МЖ1* ныне. [12] *МЖ1—2, ПРП1* совесть. ‹*абз.*› До самого ужина пробыл я в своей комнате, и писал к вам, друзья мои. [13-13] *МЖ1—2, ПРП1—2* оставить службу и Пруссию, [14-14] *МЖ1—2, ПРП1—2* мужами. Почтенной человек! (*абз.*; *ПРП2* ||) Прошедшую ночь

‹28›

[1-1] *МЖ1—2* Ныне поутру был я у г. Мелли, молодого Женевца, здесь торгующего *ПРП1—2* Ныне поутру познакомился я с Гм. Мелли, молодым Женевцем, здесь торгующим, [2] *МЖ1—2, ПРП1—2* очень учтиво [3-3] *МЖ1—2, ПРП1—2* по городу [4] *МЖ1—2, ПРП1—2* приятны. [5] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* раздавлены! [6] *МЖ2, С1* || [7-7] *МЖ1—2* что за несколько времени перед сим он был вызван [8] *ПРП2* || [9-9] *МЖ1—2, ПРП1* и говорящий с великою определенностию и чистотою. *ПРП2* и говорит с великою приятностию и чистотою. [10] *МЖ1—2, ПРП1—2* преклонили перед ним [11] *МЖ1—2, ПРП1—2* интересная [12] *МЖ1—2, ПРП1—2* удивляемся мы [13] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* и тому и другому [14-14] *МЖ1* Афоризмы Его *ПРП1—2, МЖ2* Афоризмы его *С1—2 Афоризмы* его [15-15] *МЖ1—2* и кто хочет пуститься [16-16] *МЖ1—2* тому могут оне [17] *МЖ1—2, ПРП1—2* (Ernst Platners Philosophische Aphorismen) [18] *МЖ1, ПРП1—2* дома. Слуга пошел к нему, а я остался в сенях маленького его домика. [19] *МЖ1—2* вышел [20-20] *МЖ1—2, ПРП1—2* сказал он мне [21-21] *МЖ1—2, ПРП1—2* об эту пору, [22] *МЖ1—2* ‹*сноска к слову* «изящным»:› Приятель мой под Изящными Науками разумеет les belles lettres. — К. [23-23] *МЖ1—2, ПРП1—2* По том бродил я [24-24] *МЖ1—2, ПРП1—2* Я поблагодарил девушку и дал ей — два гроша!! [25] *МЖ1—2, ПРП1—2* каковыми [26-26] *МЖ1—2, ПРП1—2* Сими воспоминаниями растрогал я свое сердце. [27-27] *МЖ1—2, ПРП1—2* много тени и мрачности! [28] *МЖ1—2, ПРП1—2 С1* другой [29-29] *ПРП2, МЖ2* «Учителю [30-30] *МЖ1, ПРП1—2* чувствительного человека читать *МЖ2* нежного сердца читать [31] *МЖ2* сильным [32] *МЖ1—2* видя [33] *МЖ1—2, ПРП1* почитают [34] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* наций [35] *МЖ1—2, ПРП1—2* со временами; [36] *МЖ2* || [37-37] *МЖ1* Я сяду под окошком *МЖ2* Я сяду под окном

‹29›

[1-1] *МЖ1—2, ПРП1—2* чувствовать изящное и наслаждаться им. [2-2] *МЖ1—2, ПРП1—2* стоял уже на кафедре и говорил. Все молчало и слушало. Никакой шорох не мешал голосу г. Доктора распространяться (*ПРП2* разноситься) по зале. [3-3] *МЖ1* о *жени.* «*Жени ПРП1* о Жени. «Жени [4-4] *МЖ1—2, ПРП1—2* всегда в связи с сею. Он имеет [5] *МЖ1—2, ПРП1—2* и потому часто [6-6] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* такого великого человека [7] *МЖ1—2, ПРП1—2* обыкновенных людей. [8-8] *МЖ1* ходатаем оного! [9] *МЖ1, ПРП1* перестает он [10] *МЖ1* духов. *ПРП1—2, МЖ2* Духов. [11-11] *МЖ1—2, ПРП1* оживляемыя оным *ПРП2* оживляемыя им [12] *МЖ1* || [13] *МЖ1—2* слушали его [14-14] *МЖ1—2, ПРП1—2* что поведет меня ужинать в такое место,

‹30›

[1] *МЖ1—2, ПРП1* балы и проч. [2] *МЖ1—2, ПРП1 куртизируют,* и проч. [3-3] *МЖ1—2, ПРП1—2* есть здесь [4] *МЖ1—2, ПРП1—2* свой вкус, [5] *МЖ1, ПРП1—2* точно то же [6] *МЖ1—2, ПРП1—2* сочини-

тели [7-7] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* и два талера; [8-8] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* семь, восемь и десять [9] *МЖ1* || [10-10] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* пришел я [11-11] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* посадив меня против себя. [12] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* почли бы [13-13] *МЖ1—2*, *ПРП1* Лучше бы вам было прожить подолее *ПРП2* лучше вам прожить подолее [14] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* обстоятельства [15] *ПРП2* пожить [13] *МЖ1* || [17] *ПРП2* но [18-18] *МЖ1—2*, еще не были изданы, сказал я. *ПРП1* еще не были изданы. . . || [19-19] *МЖ1*, *ПРП1* на некоторыя места из оных, *ПРП2*, *МЖ2* на некоторыя в них места [20] *ПРП2* Платнер [21-21] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* Приняв с благодарностию предложение господина Доктора, пошел я в Рихтеров сад. Девушка в белом корсете подала мне опять букет цветов, и я опять подарил ей два гроша ‹*абз.*› В восемь часов пришел я [22] *МЖ1—2* рекомендовал [23-23] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* Сели за стол. Ужин был самой Афинской; [24-24] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* о нашей литтературе (*ПРП1* литтературе). Они очень удивились, услышав [25-25] *МЖ1*, *ПРП1—2* «Я бы не думал, — [26-26] *МЖ1—2* что перевод по большой части литтерален и ясен. [27] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* по справедливости [28] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* чувствует [29-29] *ПРП2* было не совсем приятно. [30] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* сии люди [31] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* друга. Простите!

‹31›

[1-1] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* и благословил утреннюю Природу, которая в зеленой одежде своей великолепно передо мною красовалась. Я бросился на траву бальзамического луга; купался в росе его, и впивал в себя его свежесть; наслаждался утром, и был щастлив. [2] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* и пекущий жар [3] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* приближается. [4] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* Я пошел туда, и пожелав [5-5] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* спросил [6-6] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* «Там, подалее (*ПРП1—2* далее) на правой стороне, [7] *МЖ1—2*, *ПРП1* — отвечала она, и пошла своею дорогою. [8] *МЖ1*, *ПРП1* — Поэт, как по духу, так и по сердцу своему почтения достойной — *ПРП2* — Поэт, любезный как талантом, так и сердцем своим — *МЖ2* — Поэт, как по уму, так и по сердцу своему почтения достойный — [9-9] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* примером и учением [10] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* «Он гуляет по саду (сказала мне служанка, встретившая меня в сенях) (*МЖ2* (сказала мне служанка)): войдите в комнату, а я пойду сказать ему об вас.» Я вошел [11-11] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* скорыми шагами шел к дому [12-12] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* но по румяному и свежему лицу его не подумал бы я, чтобы ему было и пятьдесят — [13] *МЖ1* || [14] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* и сердечно, [15-15] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* жалел, что я шел к нему в такой жар: [16] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* некоторыя [17] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* *друга детей* — (Kinderfreund) [18-18] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* и что сам я перевел его Драму *Аркадской памятник* (которая напечатана в XVIII Части Детского Чтения). [19-19] *МЖ1—2* воспитанию детей своих. *ПРП2* образованию юных сердец. [20-20] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* благодарили его за то удовольствие, которое доставляло им сие чтение; [21-21] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* оно [22-22] *МЖ1—2* которая служит продолжением его преж-

него периодического сочинения, и собственно определена на то, чтобы приносить удовольствие и пользу *молодым людям. ПРП1—2* которая служит продолжением его прежнего периодического сочинения; она приятна и полезна молодым людям. [23-23] *МЖ1, ПРП1—2* С великою скромностию говорит он *МЖ2* Вейсе с великою скромностию отзывается [24-24] *МЖ1—2* говорит он о своем семейственном щастии! *ПРП1—2* описывает семейственное свое щастие! [25] *МЖ1—2, ПРП1* по сие время не могло пособить.» — [26] *МЖ1—2, ПРП1—2* полюбил его [27] *ПРП2* || [28] *МЖ1—2, ПРП1—2* перевел ее [29] *ПРП2* эту [30] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* как некоторую редкость, [31] *ПРП2, С1* || [32] *МЖ1—2, ПРП1—2* сказал, и пошел [33] *МЖ1—2, ПРП1—2* сие

‹32›

[1] *МЖ1—2, ПРП1—2* Ныне поутру [2] *МЖ1—2, ПРП1—2* не увижу я [3-3] *МЖ1—2, ПРП1—2* Подлинная история жизни его, естьли бы кто мог описать ее, была бы конечно очень интересна. (*ПРП2* интересна.) Сей человек (*ПРП2* Он) [4-4] *ПРП2* вдруг скрылся [5-5] *МЖ1—2, ПРП1—2* обещая сообщить им великия знания. [6-6] *МЖ1—2, ПРП1* получали повеления давать (*ПРП1* выдавать) ему большия суммы денег. *ПРП2* по векселям выдавали ему большия суммы денег. [7] *МЖ1—2, ПРП1—2* своих слушателей, [8] *ПРП2* как таких людей, [9] *МЖ1—2, ПРП1—2* и из купцов, [10-10] *МЖ1* пунш подносили. [11] *МЖ1—2, ПРП1—2* которая обита была [12] *МЖ1—2* все окна [13] *МЖ1—2, ПРП1—2* усердием, [14] *МЖ1—2, ПРП1—2* удару грома, [15] *МЖ1* устремя [16] *МЖ1—2* освежающие [17-17] *МЖ1—2* Естьли принять гипотезу Берлинцов, то он был [18-18] *МЖ1, ПРП1—2, С1* (так же как и Калиостро, *МЖ2* (подобно графу Калиостро, [19-19] *МЖ1—2, ПРП2* тогда, когда [20-20] *МЖ1, ПРП1—2* публично возглашаются *МЖ2* публично изъясняются [21-21] *МЖ1—2, ПРП1—2* распространяется более и более — [22] *МЖ1—2, ПРП1—2* Но по крайней мере точно не известен [23] *МЖ1—2* То же должно сказать и в рассуждении Калиостро (*МЖ1* так называемого графа Калиостро). Писали и говорили, будто бы Базельской Банкир Саразень, им обольщенной, передавал ему множество денег; но Саразень, которой уже давно признал Калиостра обманщиком, клялся одному из коротких своих приятелей, что он не давал ему ни копейки. Вероятно, что святая Инквизиция допыталась до истины, и узнала, откуда нещастной шарлатан, самим собою или другими обманутой, брал свои бриллианты и золото. Жаль только, что святая Инквизиция со всеми делами своими есть для нас непроницаемая тьма, и мы от нее никогда не узнаем ***показания*** Калиострова. (Примечание Издателево.) || *ПРП1—2, С1* || [24-24] *МЖ1—2, ПРП1—2* Ныне после обеда выеду (*ПРП1* выеду я) из Лейпцига; до Буттельштета поеду в публичной коляске, а оттуда до Веймара на экстренной почте.— Сию минуту [25] *МЖ1* для Алексаши. *ПРП1—2* для П***. *МЖ2* для А***. [28] *МЖ1—2, ПРП1—2* Грустно мне, очень грустно, что я не увижусь с А*.

‹33›

[1-1] *МЖ1—2* Веймар, 20 июля. [2] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* бросили им [3-3] *МЖ1—2* очень жалел обо мне, [4] *МЖ1—2, ПРП1* неинтересен. [5-5] *МЖ1—2, ПРП1* маленькую, покойную колясочку. *ПРП2* маленькую, легкую колясочку. [6] *МЖ1* в благодарность [7] *МЖ1—2* весьма изрядно. [8] *МЖ1 слона. МЖ2 слона. ||* [9-9] *МЖ1—2* Тотчас послал я наемного слугу к Виланду, *ПРП1—2* Наемный слуга немедленно отправлен был мною к Виланду, [10] *МЖ1—2, ПРП1—2* смотрели [11] *МЖ1—2* один [12] *МЖ1—2, ПРП1—2* представляет [13] *МЖ1—2, ПРП1—2* его сочинений [14] *МЖ1—2, ПРП1—2* почитатель [15-15] *МЖ1—2, ПРП1, С1—2* и по сему поводу сообщает собственныя свои мысли о Божестве (*МЖ1—2* о Боге) и творении, *ПРП2* Тут автор сообщает собственныя свои мысли о Божестве и творении, [16] *МЖ1* не найду ли я [17-17] *МЖ1—2, ПРП1—2* в записной своей книжке?. . . [18] *МЖ1—2, ПРП1* я включу [19-19] *МЖ1, ПРП1—2* Посмотрим на лилию *МЖ2* Посмотрим на лилею [20] *МЖ1—2* сок, воздух, [21-21] *МЖ1—2* и вырабатывает их в своей внутренности, [22-22] *МЖ1—2* и можно сказать, что от начала жизни своей приготовлялась (*МЖ1* приготовлялась она) к своему разрушению, [23-23] *МЖ1—2* достигнув до высочайшего пункта линии, — пункта, заключавшего в себе [24] *МЖ1—2* образом — *ПРП1—2* примером — [25] *МЖ1—2, ПРП1—2* прекраснейшего [26] *МЖ1—2, ПРП1—2* оное [27-27] *МЖ1* не умерла она *МЖ2* лилия не умерла [28-28] *МЖ1* паки пробудится *МЖ2* пробудится [29] *МЖ1—2, ПРП1—2* дщерей [30] *МЖ1—2, ПРП1—2 продолжающейся силы,* [31] *МЖ2 ||* [32-32] *МЖ1—2, ПРП1* великого Духа и Автора, [33-33] *МЖ1—2* — Я провел у него два приятные часа. Он расспрашивал [34-34] *МЖ1—2, ПРП1—2* всем прочим. [35] *МЖ1—2, ПРП1—2* возвышеннейшим [36-36] *МЖ1—2, ПРП1—2* «И по справедливости, [37-37] *МЖ1—2* остановились и не могли читать далее». [38] *МЖ1—2, ПРП1—2* с чувством [39] *МЖ1—2, ПРП1—2* прекрасных [40] *МЖ1, ПРП1—2* — простота, которую греки означали прекрасным словом ἁπλϑτηζ. — [41] *МЖ1—2, ПРП1—2* прелюбезной [42] *МЖ2 ||* [43] *МЖ1—2* Под барельефом — которой, сказывают, очень похож на покойника —

‹34›

[1] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* 21 Июля. [2-2] *МЖ1—2, ПРП1—2* Ныне поутру иришел (*МЖ1* пришел я) к нему [3-3] *МЖ1—2* Я приехал в Веймар для того, чтобы видеть вас, — [4-4] *МЖ1—2, ПРП1—2* довольно часто был случай [5-5] *МЖ1—2* не намерен меня долго у себя удерживать. [6-6] *ПРП2* вы заняты? [7] *МЖ1* я обыкновенно чем-нибудь занимаюсь. *ПРП2* мы обыкновенно что-нибудь делаем. *МЖ2* обыкновенно чем-нибудь занимаюсь. [8] *МЖ1—2* сказал я: [9] *МЖ1—2* вас [10-10] *МЖ1—2,*

ПРП1—2 но чего вам от меня опасаться? [11] *МЖ1—2, ПРП1—2* в публику, а от этого многие (*МЖ1—2* многие люди) потерпели. [12-12] *МЖ1—2, ПРП1—2* мы сделаемся друг другу интересны; [13-13] *МЖ1—2, ПРП1—2* мог бы я прожить [14] *МЖ1* радовался бы я [15] *МЖ1—2, ПРП1—2* вас [16] *МЖ1—2* искренни; иной бы не сказал этого наперед. [17-17] *МЖ1—2* что бы могло быть для меня приятнее, [18] *МЖ1—2, ПРП1—2* позволили [19-19] *МЖ1—2, ПРП1—2* о сей усладительнице жизни нашей? [20] *МЖ1—2* мастер [21-21] *МЖ1—2, ПРП1—2* — Я. Мне можно (*МЖ2* должно) бояться. — — В. Чего? — Я. Того, чтобы посещение мое не было вам в тягость. — В. Оно будет мне приятно, [22] *С1* || [23-23] *МЖ1—2* меня несколько успокоило; [24] *МЖ1—2* ласковостию, [25] *МЖ1—2, ПРП1—2* патриархальной искренности. [26] *МЖ1—2* в моей молодости, [27-27] *МЖ1—2, ПРП1—2* стремительности [28] *МЖ1—2* сочинениям; [29] *МЖ1—2, ПРП1—2* и доволен. Простите! || [30-30] *МЖ1—2* очень, очень не бел. [31] *МЖ1—2, ПРП1—2* в нем [32] *МЖ1—2* сокрыт [33-33] *МЖ1* Гердеровы сочинения, воспоминая при сем чтении *ПРП1—2* произведения Гердерова ума, воспоминая при сем чтении *МЖ2* Гердеровы сочинения, воспоминая [34] *МЖ1—2, ПРП1—2 — Батюшка вас дожидается*, сказала другая. — [35-35] *МЖ1—2 Я вас провожу*, [36] *МЖ1—2, ПРП1—2* первый. [37] *МЖ1, ПРП1—2* и по том уже пошел [38] *МЖ1—2, ПРП1—2* сказал я, [39-39] *МЖ1—2* не почтете некоторою наглостию того, *ПРП1—2* не почтете наглостию то, (*ПРП1* того,) [40-40] *МЖ1—2, ПРП1* плодом энтузиазма, *ПРП2* плодом ревности, [41] *МЖ1, ПРП1—2* интереснее. [42-42] *МЖ1, ПРП1* то я бы все то же написал, и с таким же бы тщанием *ПРП2* то я написал бы все то же, и с таким же тщанием *МЖ2* я написал бы все то же, и с таким же тщанием [43-43] *МЖ1—2, ПРП1—2* а по том, не переведено ли [44-44] *МЖ1* продолжал он — по тому что теперь я начинаю вами интересоваться — *ПРП1—2* продолжал он — по тому что теперь вы вселили в меня желание узнать вас короче — *МЖ2* продолжал он — по тому что я начинаю вами интересоваться — [45-45] *МЖ1—2, ПРП1—2* предпринял я для того, [46] *МЖ1* образами, *МЖ2* картинами, [47] *МЖ1—2, ПРП1—2* во всем искать *изящного* и радоваться им, воспоминать приятное и забывать неприятное. [48] *МЖ1—2, ПРП1—2* своего удовольствия [49] *МЖ1—2, ПРП1—2* своей головы [50-50] *МЖ1, ПРП1—2* и по временам *МЖ2* и от времени до времени [51] *МЖ1—2, ПРП1—2* не забуду я [52-52] *МЖ1—2* из поэм его, [53] *МЖ1—2, ПРП1—2* произведениях [54] *МЖ1—2, ПРП1—2* он [55] *МЖ1—2, ПРП1—2* началась с публикования (*МЖ1—2* с публикования его) *комических повестей*, [56] *МЖ1—2* учености или эрудиции [57] *МЖ1—2, ПРП1—2* признаются [58] *МЖ1—2, ПРП1—2* сие [59-59] *МЖ1—2*, хотя и не весьма хорошо на Французской язык переведенныя (правда, все несравненно лучше, нежели на Руской). (*МЖ2* ||) *ПРП1—2* хотя и не весьма хорошо на Французской язык переведенныя. [60] *МЖ1—2, ПРП1—2* проходя [61] *МЖ1* важное и хорошее [62] *МЖ1—2, ПРП1—2* Ныне поутру [63-63] *МЖ1—2, ПРП1—2* Первой перевел [64-64] *МЖ1—2, ПРП1—2* а второй прекрасно перевел с Английского [65] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* любит

‹35›

[1-1] *МЖ1—2, ПРП1—2* с которым (*МЖ1—2, ПРП1* с которым он) вместе учился [2] *МЖ1—2, ПРП1—2* и которой был [3] *МЖ1—2, ПРП1—2* он спокойно [4] *МЖ1—2, ПРП1—2* и позвал [5] *МЖ1* за сие *МЖ2* за это [6] *МЖ1—2, ПРП1—2* подойти и поклониться [7] *МЖ1, ПРП1* упал он [8] *МЖ1—2, ПРП1—2* пройти или проехать. [9-9] *МЖ1—2, ПРП1—2* все знакомые получили от него по бумажке, [10-10] *МЖ1—2, ПРП1—2* его занять [11-11] *МЖ1—2, ПРП1—2* Но наконец Гете [12] *МЖ1—2, ПРП1—2* — Теперь принесли мне суп; а после обеда поеду в Эрфурт. Простите, друзья мои!

‹36›

[1] *МЖ1— 2, ПРП1—2* и выпив [2-2] *МЖ1—2, ПРП1—2* Пришедши туда, попросил я [3-3] *МЖ1—2, ПРП1—2* в мерцающем сумраке [4-4] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* угасшия лампады. [5] *МЖ1—2, ПРП1—2* Проводник [6-6] *МЖ1, ПРП1—2* по сим темным переходам, и посматривая на распятия, на лампады и на старыя картины, *МЖ2* по сим темным переходам, и смотря на лампады и на старыя картины, *С1* по сему темному коридору, и смотря на распятия, на лампады и на старыя картины, [7-7] *ПРП2* это [8-8] *МЖ1—2, ПРП1—2* проводник, и призраки [9] *ПРП2 ||* [10] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* тогда и [11] *МЖ1—2* что и [12-12] *МЖ1, ПРП1* Граф, нещастной Граф поливал цветы, фиялки и колокольчики, лилии и розы. — Долго Герой воздыхал в поносной неволе. И тщетны *ПРП2* Долго нещастной Граф воздыхал в поносной неволе; и напрасны *МЖ2* Долго герой воздыхал в поносной неволе. И тщетны [13] *МЖ1—2, ПРП1* вздохи и *ПРП2* вздохи, [14-14] *МЖ1—2, ПРП1—2* на него взоров нежной любви. [15] *МЖ1—2, ПРП1—2* его [16] *МЖ1—2, ПРП1—2* стыдливость, добродетель юных девических душ, [17] *МЖ1—2, ПРП1—2* невольнику [18-18] *МЖ1—2, ПРП1—2* цветущая красота (*МЖ1* еще не пожженная пламенем восточного сладострастия,) и способ к свободе — все сие заставило его забыть, [19] *МЖ1, ПРП1—2* свое отечество [20] *МЖ1, ПРП1—2* потаенную дверь [21] *МЖ1, ПРП1—2* почитали [22-22] *МЖ1—2, ПРП1—2* благодари же ее, [23-23] *МЖ1—2, ПРП1—2* она оставила для меня отца и отечество (*МЖ1, ПРП1—2* отечество свое). [24] *МЖ1—2, ПРП1—2* своей супруги [25] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* подтвердил [26-26] *МЖ1—2, ПРП1—2* по блаженной своей кончине, (*МЖ1, ПРП1—2* были погребены) погребены вместе — [27] *ПРП1—2 ||* [28-28] *МЖ1—2, ПРП1—2* Полюбовавшись приятным видом с *Петровой горы*, [29-29] *МЖ1—2, ПРП1—2* сделал такую великую реформу в Римской церкви, вопреки Папе и Императору! *С1* сделал не только великую реформу в Римской церкви, вопреки Императору и Папе, но и великую моральную революцию в свете! [30-30] *МЖ1* кинжал; на котором воткнута маска.

<37>

[1] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* пролежать на постеле [2] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* походил [3] *МЖ1—2* Иллюминация, — со множеством народа, между которым терлись и Офицеры и Придворные, — представляла в ночной темноте весьма приятное зрелище.

<38>

[1] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* Вчера ввечеру, [2] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* в почтовой коляске [3-3] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* почти ничего занимательного не попадалось мне в глаза, *С1* почти ничего занимательного не встречалось глазам моим, [4] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* интересного [5] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* Природы. [6] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* тщетно [7] *МЖ1—2* пылала [8] *МЖ1—2* прекрасной [9] *МЖ1—2* беспрестанно [10] *МЖ1—2*, *ПРП1* проливал он *ПРП2* проливал [11-11] *МЖ1—2* чувств своих [12] *ПРП2* || [13-13] *МЖ1—2*, *ПРП1* по сю сторону Гиршфельда, *ПРП2* за Эйзенахом, [14] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* подле [15-15] *МЖ1—2*, *ПРП1* почел сей дом [16-16] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* у первого человека, [17-17] *МЖ1—2*, *ПРП1* потребовал рейнвейна и воды; потом *ПРП2* потребовал рейнвейна и воды; [18] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* четыре, [19] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* бутылку рейнвейна. [20-20] *МЖ1* «Я буду учтив, почтителен, *ПРП1—2* «Буду учтив, почтителен, *МЖ2* «Я буду учтив, вежлив, [21-21] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* сели в коляске рядом и поехали. [22] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* и почти не просыпалась [23-23] *МЖ1—2* порученной ему непорочности. [24] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* не почла за должность [25] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* примечания достойного, [26] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* очень хорошую

<39>

[1] *МЖ1—2* окошком; [2] *МЖ1—2*, *ПРП1* и все [3] *МЖ1—2* Не думайте, [4] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* <*сноска к слову* «Шиллерову»:> Шиллер Профессором в Ене. Не давно писали в Ведомостях, что он умер; но сие известие, печальное для всех любителей его Музы, оказалось ложным. [5] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* с превеликим [6] *МЖ1—2* заплаты, [7] *МЖ1—2*, *ПРП1* республике *ПРП2* Республике [8] *МЖ1*, *ПРП1* перед первым. — [9] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* перевел [10] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* почитают [11-11] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* — тогда, когда бы [12] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* то есть, тогда [13] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* мосту [14] *МЖ1—2* Конечно, [15-15] *МЖ1—2*, *ПРП1* безумное предприятие *ПРП2* вздорное намерение

<40>

[1] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* и прояснилось во всем своем пространстве. [2-2] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* хорошею погодою, [3-3] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* Ныне поутру водил меня трактирщик мой [4] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* провожатого [5] *МЖ1—2*, *ПРП1* и сказал мне: *ПРП2* и сказал: [6] *МЖ1—2*,

ПРП1—2 покойно [7] *МЖ1, ПРП1* чувствующего человека, *МЖ2* чувствительного человека, [8-8] *МЖ1—2, ПРП1—2* Выпив чашку, поблагодарил я хозяина за его гостеприимство, и пошел. [9] *МЖ1—2, ПРП1—2* есть купец [10-10] *МЖ1—2* Не может ли сие слово означать латинского industria или французского industrie? *ПРП1—2* Не может ли это (*ПРП1* сие) слово означать industrie? [11] *ПРП1* || [12-12] *МЖ1—2* очень хорош и дешев. [13] *МЖ1—2, ПРП1—2* плачу я [14] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* виноградные огороды [15-15] *МЖ1—2* в белой кофточке и в соломенной шляпке. Лице ея было приятно, хотя весенний цвет красоты начинал уже вянуть на щеках ея. *ПРП2* приятная лицом, в белом корсете и в соломенной шляпке. *ПРП1* приятная лицом, в белой кофточке и в соломенной шляпке. [16-16] *МЖ1—2, ПРП1—2* на мальчиков — которые вокруг ее прыгали— [17] *МЖ1—2, ПРП1—2* белым платком своим, [18-18] *МЖ1—2, ПРП1—2* Какая группа! Какая трогательная картина семейственного щастия! [19] *МЖ1—2 ПРП1—2, С1* к сумме [20-20] *МЖ1—2* Благополучие да обитает в стенах твоих! Да будет оно наследственным добром твоих обитателей!

‹41›

[1] *МЖ1—2, ПРП1—2* Июля 31. *С1—2* Часть II. Июля 31. [2] *МЖ1—2, ПРП1—2* поутру был [3] *МЖ1—2, ПРП1—2* известно по тому, что [4] *МЖ1—2,* Брольйо. [5] *МЖ1—2, ПРП1—2* листах in 4 to, и названной сим именем (*ПРП2* и названной так) [6-6] *МЖ1—2, ПРП1—2* а на другой стороне [7] *МЖ1, ПРП1* в катедральной *ПРП2* в соборной [8] *МЖ1—2, ПРП1—2* публично [9] *МЖ1—2* свою синагогу. [10] *МЖ1—2* человеками. [11-11] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* сквозь которые [12] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* живут по большой части [13-13] *МЖ1—2* и притом очень умным человеком. [14] *МЖ1* очень хорошо [15-15] *МЖ1—2, ПРП1—2* Бог Израилев, думал я, [16] *МЖ1—2* на лицах [17] *МЖ1—2, ПРП1* перед собою

‹42›

[1] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* я избираю [2] *МЖ1—2, ПРП1—2* Деревни, которыя попадались мне в глаза, [3-3] *МЖ1—2* бунтовал тамошний народ; [4] ‹*сноска к слову* «пожар»:› *МЖ1—2* О ссоре Штарка с Берлинцами упомянуто было в письмах Русского Путешественника, в марте месяце Москов. журнала ‹*с. 38 наст. изд.*› *ПРП1—2* О ссоре Штарка с Берлинцами упомянуто было в ч. I Писем, ‹*то же*› [5-5] *МЖ1—2, ПРП1—2* в свое — сердце (*МЖ1—2* ||) [6] *МЖ1—2, ПРП1* погулял [7] *МЖ1—2 ПРП1* походил [8] *МЖ1—2, ПРП1—2* 500 [9] *МЖ1—2* и поехал [10] *МЖ1, ПРП2* || [11-11] *МЖ1—2* только то

‹43›

[1] *МЖ1—2, ПРП1* по полудни [2-2] *МЖ1—2, ПРП1—2* множество. [3-3] *ПРП2* от его отца,

‹44›

[1] *МЖ1, ПРП1—2* поливаемые [2] *МЖ1, ПРП1* хребте своем [3-3] *МЖ1* возвеселяющие беднейшия, отдаленныя страны. [4] *МЖ1—2, ПРП1—2* Где громы Божественного гнева не известны слуху смертного? Где слезы [5] *МЖ1—2, ПРП1—2* потопили [6] *МЖ1—2* мрачная [7] *МЖ2*? [8-8] *МЖ1—2, ПРП1—2* И по сие время

‹45›

[1] *МЖ1* и притом прекрасную [2] *МЖ1* сию [3-3] *МЖ1* и естьли не восхищался, то по крайней мере любовался ею около часа. Думают, что Виргилиево описание нещастного Лаокоонова конца* взято с сей группы, которую почитают произведением Фидиасова резца; по крайней мере она его достойна. Плиний пишет, что он видел ее во дворце императора Тита;** и так может быть, что она уже и в Виргилиево время была в Риме. Только Поэт удалился от художника. Он описывает *последственное* или *разновременное* действие (action successive), а художник представил — и по законам необходимости должен был представить — *купное* или *единовременное* (action simultanée). В стихах Виргилиевых змеи растерзали прежде двух сынов Лаокооновых, а по том уже его самого, бросившегося на помощь к своим детям; но Фидиас соединяет сии два *момента*,*** и драконы схватывают у него вместе и отца и детей. Виргилиево описание конечно хорошо; но оно есть самая сухая история против Фидиасовой *поэмы* — так по справедливости можно назвать его трогательную группу, в которой видим сильное и стройное воображение, необыкновенную чувствительность и великое искусство художника, находить и показывать *изящное* в самом ужасном и возмутительном. Лаокоон его есть совершеннейшая форма человеческого тела; он представлен старцем, но старцем величественным и, можно сказать, прекрасным. Физическая боль выражена живо; но она смягчается и делается трогательною, мешаясь с горестию нежного отца, видящего погибель своих детей. Оне с двух разных сторон бросаются к нему (думая, по своей невинности, что подле родителя нет для них опасности); но лютыя чудовища вокруг их обвиваются — меньшой (жертва тем трогательнейшая!) пожираем змеею, а другой остается только запутанной в петлях хребта драконова. Сей самой дракон терзает и Лаокоона, которой тщетно силится от него освободиться и разорвать на шее петлю, его жмущую. Уста его готовы испустить вопль (у Виргилия вопль его до

* Лаокоон, брат Анхизов, был в Трое Нептуновым священником (Laoccon ductus Neptuno forte facerdos. Virg. An. II, 201) и не хотел допустить, чтобы Трояне приняли в город *деревянную лошадь*, в которой скрывались Греческие воины; но боги, определившие погибель Трои, наказали его за сие сопротивление ужаснейшим образом. Вдруг вышли из моря две страшныя змеи, бросились на него, приносившего жертву, и пожрали его вместе с двумя юными сынами.

** Кн. 30, гл. V.

*** Здесь бы можно было сказать по-Руски *два времени*; но, с позволения гг. Пуристов, оставляю в тексте иностранное, в сем смысле более Руского известное слово.

звезд возносится) — но геройская твердость сжимает их. Одним словом, кто может смотреть на сию группу с холодным сердцем, тот носит в груди своей весь лед севера, и происходит от ненавистного богам поколения. — *МЖ2* и если не восхищался, то по крайней мере любовался ею около часа. Думают, что она подала Виргилию мысль к описанию нещастного Лаоконова конца,* Плиний пишет, что он видел ее во дворце императора Тита;** и так может быть, что она уже и в Виргилиево время была в Риме. *ПРП1—2 ‹Текст совпадает с основным текстом, кроме:› ПРП1—2, С1* (глава и грудь их гордо) возвышаются *ПРП1—2* вокруг его шеи.

‹46›

[1-1] *МЖ1, ПРП1* питие вдохновения и сладкой радости *ПРП2, МЖ2* нектар вдохновения и сладкой радости [2] *МЖ1—2, ПРП1—2* Натуры [3] *МЖ1* под окошком [3а] *ПРП2* в театре [4-4] *МЖ1* уличной шум *МЖ2* шум солдат [5-5] *МЖ1* Рошанбо, здешнего начальника [5а] *МЖ1—2, ПРП2* || [6-6] *ПРП2* всякой чувствует [7] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* 600 000 [8] *МЖ1—2, ПРП1—2* почитались [9-9] *МЖ1, ПРП1* Рассказывают, что лет за 400 перед сим здешние Жиды хотели отворить городския ворота неприятелю, и согласились подать ему сигнал в сей (*ПРП1* в этот) рог. *МЖ2* которым, лет за 400 перед сим, здешние Жиды хотели подать сигнал неприятелю, чтобы он приступил к городским воротам. [10] *МЖ1, ПРП1* в сей [11] *ПРП2* || [12] *МЖ1* во гроб, [13] *МЖ1* оный. [14] *МЖ1—2* одеянного [15-15] *МЖ1—2, ПРП1—2* ее изображали, — [16] *МЖ1—2, ПРП1—2* образами! [17-17] *МЖ1—2* иную мину. *ПРП1* другую мину. [18] *МЖ1—2* стоит [19-19] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* умирающего Маршала, [20] *МЖ1—2, ПРП2* || [21] *ПРП2* || [22] *МЖ1—2, ПРП1* очень многолюден, [23] *МЖ1—2, ПРП1, С1* что улицы очень тесны, *ПРП2* улицы тесны, [24-24] *МЖ2* странен. *ПРП2* очень странен. [25-25] *МЖ1* ненатуральнее и безобразнее сего убора [26] *МЖ2, ПРП2* весьма [27] *МЖ1—2, ПРП1—2.*— Простите, друзья мои. (*ПРП2* мои!) Завтра поутру сам отнесу письмо на почту. Простите до Базеля. [5б] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* катедральная.

‹47›

[1] *МЖ2* || [2] *МЖ1—2, ПРП1—2* провинция. [3-3] *МЖ1, ПРП1* На той и на другой стороне дороги простираются плодоносныя поля. *МЖ2, ПРП2* На обеих сторонах дороги плодоносныя поля. [4] *МЖ1—2, ПРП1* своим хлыстом [5-5] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* на наши деньги [6-6] *МЖ1—2, ПРП1—2* я успел уже [7-7] *МЖ1* в земле свободы и щастия! *ПРП1—2, С1* в земле тишины и благополучия! *МЖ2* в земле мира и щастия! [8-8] *МЖ2* и голова моя сама собою подымается вверх. [9] *МЖ1—2, ПРП1—2* по пространству [10] *ПРП2* эта [10а] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1*

-** *Как в МЖ1.

по зеленому цвету [11] *МЖ2* || [12-12] *МЖ1, ПРП1* прочих. Первой почитался [13] *МЖ2* из всех сочинений [14] *ПРП1* а наиболее *ПРП2* особливо [15-15] *ПРП2* книга эта *МЖ2* эта книга [16] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* Антиквариусы [17-17] *МЖ1—2* между тысячами. [18] *МЖ1* натурально. [19-19] *ПРП1—2* очень хороши; *МЖ2* хороши; [20] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* отменно живо, [21] *МЖ1—2, ПРП1—2* почитают [22] *МЖ1—2, ПРП1—2* другие! [23] *ПРП2, МЖ2* Эта [24] *МЖ1—2* из партикулярных [25-25] *МЖ1—2, ПРП1—2* провождая его течение [26] *МЖ1—2* весьма [27-27] *МЖ1—2, ПРП1—2* и умолкли, забыли затворить рот, [28-28] *МЖ1—2, ПРП1* только то, [29] *МЖ1* шестидесятью минутами впереди [30] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1 концилиума.* [31] *МЖ1* свободы. — *МЖ2* вольности. || [32] *МЖ1—2, ПРП1—2* Сии два Совета [33-33]*МЖ1—2, ПРП1—2* членов своих — что бывает таким образом: когда умрет Член Большого Совета, состоящего из 280 человек, то из того цеха,* к которому он принадлежал, выбирают шесть кандидатов; а сии кандидаты должны бросить между собою жеребей, кому заступить место умершего. Малой Совет, которой состоит из 60 человек, и которой решит все уголовныя дела и соблюдает благоустройство в Республике, избирается уже из Членов Большого и так же по жеребью, кроме Бургомистров. — [34] *МЖ2* || [35] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* характеристического. [36] *МЖ1—2, ПРП1—2* В партикулярных домах [37] *МЖ2* || [38-38] *МЖ1, ПРП1* обширной, по горе простирающийся сад, [39] *МЖ1* в насаждении [40] *МЖ1—2, ПРП1—2* струящаяся [41] *МЖ1—2, ПРП1—2* уже умолк [42] *МЖ1—2, ПРП1—2* ея, и сырая земля поглотила опустевшую обитель духа его, отлетевшего в вечныя селения Добрых! [43-43] *МЖ1—2, ПРП1—2* из которых один был белой, а другой черной, [44] *МЖ1—2, ПРП1—2* в сем месте. [45] *МЖ1* || [46] *МЖ1—2, ПРП1—2* по сие время [47-47] *МЖ1—2, ПРП1* от страшных своих *родомонтад* [48-48] *МЖ1—2* так умильно, так нежно

‹49›

[1] *МЖ1—2* (В карете дорогою.) [2-2] *МЖ1—2* и в восторге целовал землю. *ПРП1—2* и в восторге целовал землю.** [3-3] *МЖ1—2, ПРП1—2* за свое щастие? При всяком ли биении пульса благословляете вы свою долю, живя (*ПРП2, МЖ2* живучи) [4-4] *МЖ1—2* и пред одним Богом наклоняя гордую свою выю? Вся жизнь ваша есть конечно приятное сновидение (*ПРП2* мирное, приятное сновидение). [5] *МЖ1, ПРП1—2, С1—2* тиранскими *МЖ2* гибельными [6-6] *МЖ1—2, ПРП1—2* нашего развращения, или уклонения [7] *МЖ2* на [8] *МЖ1—2* премудрое

‹50›

[1] *МЖ1—2* под окошком

* Так называемой *большой* город разделен на 15 цехов, из которых выбирается в Совет по 16 человек; а из трех так называемых обществ (Geselschaften) *малого* города по двенадцати.

** Тогда мне было только 24 года!!

‹51›

[1-1] *ПРП2* со вздохом: он [1а] *МЖ1*, *ПРП1—2*, *С1—2* в [2-2] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* ея.— [3] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* правую руку [4-4] *МЖ1—2* грубым своим голосом [5] *МЖ1*, *ПРП1—2* выпуча [6] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* кучер наш [7] *МЖ1—2* белки. [8] *МЖ1—2* из окошка, [9] *МЖ1*, *ПРП1—2* вздохнул и пошел [10] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* почитается [11] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* Натуры!

‹52›

[1] *МЖ1—2* небо его [2-2] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* с шумом волнующегося моря излились [3] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* ‹*сноска к слову* «отзыве»:› Под отзывом разумеется эхо. [4] *МЖ1* окошками [5] *МЖ1* под окошком [6-6] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* узнать Лафатера. [7-7] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* поцеловался [8-8] *МЖ1*, *ПРП1—2* по том сказал: «Пожалуйста приходите *МЖ2* по том сказал: «Приходите [9] *МЖ1—2* пришел [10] *МЖ1* посвятя [11] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* и помышляя [12] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* Леаром или Лиром: [13-13] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* едва мог я от слез удержаться. [13а] *ПРП1* только то [14] *МЖ1—2*, *ПРП1* проницательные [15] *МЖ1* с аффектом и с жаром. [16] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* от привычки [17] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* произношению. [18] *МЖ1*, *ПРП1* сел я [19] *МЖ1—2* ||

‹53›

[1] *МЖ1—2*, *ПРП1* почитает [2] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* с полчаса [3] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* просидели и проговорили [4] *МЖ1* Магистрата [5-5] *МЖ1—2* ни в сажень шириною, и чрезвычайно круты. || [6] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* жизнь свою

‹54›

[1-1] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* благовоние изливает [2] *МЖ1—2* ‹*сноски нет*› [3] *МЖ1—2* из некоторых [4] *МЖ1—2* ‹*сноски нет*› [5-5] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* завтра поутру намерен я

‹55›

[1] *МЖ1—2* Эглизау. *ПРП1—2* Часть III. Эглизау, Августа 14. [2] *МЖ1—2* поутру [3] *МЖ1—2* естьли не ошибаюсь, в 1581 или 82 году. — [4] *МЖ1—2* от [5-5] *МЖ1—2* простым плотником; [6] *МЖ2* || [7-7] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* Здесь живописец бросает кисть свою, и Поэт не находит слов для описания сего ужасно-великого явления. Разве только в страшные дни древнего потопа, когда правосудный Бог превратил земные пары во влажной гроб развращенного (*С1—2* развратного) человечества, водная стихия ярилась так, как она здесь ярится.

Я готов был на коленях просить прощения у Реина, в том, что вчера говорил о падении его с таким неуважением. [8] *МЖ1—2, ПРП1—2* пробыли *С1—2* были [9-9] *МЖ1—2, ПРП1—2* в пыли; [10-10] *МЖ1* стоит непоколебимо, подобно великому мужу, непреклонному среди напастей, *ПРП1* стоит непоколебим — (подобно великому мужу, непреклонному среди бедствий, *МЖ2* стоит непоколебимо, «подобно великому мужу, (скажет поэт), непреклонному среди напастей [11-11] *МЖ2* все вместе [12] *МЖ2 ||*

‹56›

[1-1] *МЖ1—2* всегда уходит у меня вперед, [2] *МЖ1—2 || ‹без заголовка›* [3] *МЖ1—2, ПРП1* того же, по тому что [4-4] *МЖ1* По том повел нас хозяин *ПРП1* По том хозяин повел нас *МЖ2* Наконец хозяин повел нас [5] *МЖ1—2, ПРП1* и очень не чистую;

‹57›

[1-1] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* по большой части [2] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* приходят [3] *МЖ2 ||* [4] *МЖ1—2, ПРП1—2* простирающийся вдоль по берегу [5] *МЖ1—2, ПРП1—2* и осеняемый [6] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* сообразно [7-7] *МЖ1—2, ПРП1* не весьма приятное. [8] *МЖ1—2, ПРП1* сего [9] *МЖ1—2 ‹абз.› В десять часов вечера. ПРП1—2 ||* [10] *МЖ1* отправя [11] *МЖ1—2, ПРП1* и побежал [12] *МЖ1—2, ПРП1* сказав [13] *МЖ1—2, ПРП1—2* подумал [14] *МЖ1—2, ПРП1—2* — из улицы и [15] *МЖ1—2, ПРП1* взял ее руку, и [16] *МЖ1—2* могилы! [17-17] *МЖ1—2* в благочестии и добронравии. [18] *МЖ1—2, ПРП1—2* перервался [19] *МЖ1—2, ПРП1* и по том, прочитав [20] *ПРП2 ||* [21] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* в лицах человеческих [22] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2 ‹абз.›* Господин Т* пригласил меня ехать с ним завтра на лодке прогуливаться по Цирихскому озеру; надеюсь, что эта прогулка будет для меня очень приятна. *||* [23-23] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* отменно хорошо выстроенныя [24-24] *МЖ1* и виноградные сады, беспрерывно простирающиеся. *МЖ2* и виноградные сады. [25-25] *МЖ1—2, ПРП1* как уважен был сей Поэт в Цирихе — [26-26] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* и почти подле всякого [27] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* очень чисто. [28] *МЖ1—2, ПРП1* все сели [29] *МЖ1—2, ПРП1* за знак [30] *МЖ1—2, ПРП1* сие [31] *МЖ1—2, ПРП1* я обедаю [32] *МЖ1—2, ПРП1* По том, когда [33-33] *МЖ1—2, ПРП1* подчивал он [34] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* морали [35-35] *МЖ1—2, ПРП1* молодых красавиц, весьма опрятно (*ПРП1* опрятно) и чисто одетых, и учащихся (*МЖ2* учащихся) *ПРП2, С1* молодых, опрятно и чисто одетых красавиц, которые учатся [36-36] *МЖ1, ПРП1* благочестивых учительниц, которыя обходятся с ними как нежныя матери с милыми детьми своими. *МЖ2* благонравных учительниц, которыя обходятся с ними как нежныя матери с милыми детьми своими. [37] *МЖ1—2, ПРП1* чтить [38] *ПРП2 ||* [39] *МЖ1, ПРП1* поругания. [40] *МЖ1—2, ПРП1* сей [41-41] *МЖ1—2* вольности, равенства

и добрых нравов, [42] *МЖ2* || [43-43] *МЖ1—2* Он обходится со мною очень дружелюбно, и расспрашивает меня [44] *МЖ1—2*, *ПРП1* позволяя [45] *МЖ1—2*, *ПРП1* сие [46-46] *МЖ1* есть цель всего, что человек искать может. *МЖ2* есть цель всех наших действий. [47-47] *МЖ1—2* только сего ищут — ищут средств к тому, чтобы [48] *МЖ1—2*, *ПРП1* сие [49] *МЖ1—2* г. N. N. [50-50] *МЖ1—2* сделать публичными. [51] *МЖ1—2*, *ПРП1* сие [52-52] *МЖ1* Сверх всего того, что *МЖ2* Сверх всего, что [53] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* интересного — [54] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* почитается [55] *МЖ1—2*, *ПРП1* сему последнему, [56] *С1* || [57-57] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* о *естественной морали* [58] *МЖ1—2*, *ПРП1* сие [59] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С2* || [60] *МЖ1* но между сим числом жителей [61] *МЖ1—2* гражданства. Сии последние [62-62] *МЖ1—2* Сей Совет имеет законодательную власть; [63] *МЖ1—2* Для сего Совета

‹58›

[1-1] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* (Под диктатурою? Точно — и учтивой Лафатер хотел уверить меня, будто я пишу по-Немецки не очень худо) [2-2] *МЖ1—2* (потому что я перечитывал здесь все его прекрасныя Идиллии и Поэмы, перечитывал в тех местах, где он сочинял их). [3-3] *МЖ1—2*, *ПРП1* да будет посвящен

‹59›

[1] *МЖ2* || [2] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* очень не полюбилось. [3-3] *МЖ1* дудел в дудку, *МЖ2* дудел в дудку, [4] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* моральную [5] *МЖ1* — явится чудовище насилия, и загремит цепями! *МЖ2* || [6] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* сидели [7] *МЖ1—2* и весьма пахнет [8] *МЖ1*, *ПРП1—2* предолгие *МЖ2* превеликие [9-9] *МЖ2* Сатирами. [10] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* — Кучер сказывает мне, что лошади впряжены. ||

‹60›

[1-1] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* любезные друзья мои, [2] *МЖ1—2*. *ПРП1—2* руины [3] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* подает [4] *С1* || [5-5] *МЖ1—2* видите вы довольствие, порядок и чистоту. [6] *МЖ1—2* и сии кровли свешиваются во все стороны так далеко, что под ними, как под навесом, стоят у мужиков телеги, сохи, дрова, бочки и прочия принадлежащия к хозяйству вещи. Всякой дом разделяется [7] *МЖ1—2* житницы [8] *МЖ1—2* хлевов; под горницами бывает обыкновенно погреб. [9] *МЖ1* ничего непочиненного; *МЖ2* ничего худого; [10-10] *МЖ1* Сие, можно сказать, цветущее состояние Швейцарских поселян происходит наиболее от того, что они не платят почти никаких податей, и живут в совершенной свободе и независимости, отдавая Правлению только десятую часть из собираемых ими полевых плодов. *МЖ2* Швейцарские поселяне, вместо податей, отдают Правлению только десятую часть из собираемых ими полевых плодов. [11-11] *МЖ1* почти совсем без тульи, наклоняя их немного на левую сторону;

а волосы свои заплетают в две косы, от которых черныя ленты висят до самого подола. Корсеты на них, сколько я приметил, бывают по большой части из шерстяной красной материи; у некоторых же двуцветные, то есть передняя сторона красного, а задняя темного цвета; богатые застегивают их серебряными крючками. *МЖ2* почти совсем без тульи, а волосы свои заплетают в две косы, распуская ленты до самого подола. Корсеты на них, сколько я приметил, бывают по большой части из шерстяной красной материи; богатые застегивают их серебряными крючками. [12-12] *МЖ1—2* юпки же носят оне темного цвета, и поднимают их под самыя плеча, открывая икры, — что для меня очень безобразно. (*МЖ2* ||)

‹61›

[1] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* очень красивой [2-2] *МЖ1—2* то есть, все построены из белого камня, *ПРП1—2*, *С1—2* построены из белого камня [3-3] *МЖ1* приятной образ равенства в состоянии жителей, не так как в иных больших городах Европы, где часто низкая хижина преклоняется к земле под тению колоссальных палат, и где на всяком шагу встречаешь оскорбительное смешение роскоши с бедностию. *МЖ2* приятное единообразие; здесь низкая хижина не преклоняется к земле под тению колоссальных палат, и нигде не видишь оскорбительного смешения роскоши с бедностию. [4-4] *МЖ1—2* Проходя мимо маленького лужка, [5-5] *МЖ1*, *ПРП1* сказал мне при сем случае,— [6] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* der der Berge [7-7] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* таких книг, которыя наполнены [8-8] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* такую материю для разговора, которая и для него и для меня была занимательна — [9] *ПРП1—2* || [10] *МЖ1* Французскими беглецами. [11] *ПРП1—2*, *МЖ2* || [12] *МЖ1—2* слыл [13-13] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*

Открыл мне, как златыя хорды,*
С размером движимы рукой,
Согласно издают аккорды,
И радость в сердце льют рекой.
По том в небесном восхищеньи
Я начал как Орфей играть,
И в нежном, сладком упоеньи
Всю бедность, горе забывать.
(*ПРП1—2* Любовь, красавиц прославлять.)

‹62›

[1] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* перееду я

‹63›

[1] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* моральном [2] *МЖ1—2*, *ПРП1* для пользы [3] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* Увеселения [4] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* великолепного [5] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* радостных [6-6] *МЖ1* и ло-

* Я не знаю, для чего Итальянец назвал струны сим Греческим именем.

бызал юных красавиц, играя их белыми волосами, чистейшему льну подобными; мелкия волны *МЖ2* мелкия волны [7-7] *МЖ2* питали нежную томность в сердце супругов. *МЖ1, ПРП1—2, С1—2* вливали томность в сердца супругов, которые с нежным трепетом друг к другу (*С1—2* друг ко другу) прижимались, и тщетно хотели скрыть во внутренности своей пламя любви, пылавшее на румяных щеках их. (*С2* на их румяных щеках). [8] *МЖ1—2, ПРП1—2* погибель [9] *МЖ1, ПРП1* поручили они [10] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* щастливо доплыл [11] *МЖ1, ПРП1* почитается [12] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* полчаса [13] *МЖ1—2, ПРП1* сему [14] *МЖ1—2, ПРП1* пошел

‹64›

[1] *МЖ1—2* Ст. Прiô [2-2] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* земное свое отечество [3] *МЖ1—2, ПРП1* принес [4] *МЖ1* лежу я [5] *МЖ1—2* записной [6] *МЖ1* Великие Моголы

‹65›

[1] *МЖ1—2, ПРП1* сия [2-2] *МЖ1—2* представляется в весьма приятном виде. [3] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* привлекающий [4-4] *МЖ1—2* в лед превратились; [5] *МЖ1—2* сие [6] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* и почти полз, [7-7] *МЖ1—2* хватаясь [8] *МЖ1—2, ПРП1* пирамиды сии [9] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* а потом спустился [10-10] *МЖ1—2* запасную пару! *С1* в запас новую пару! *||*

‹66›

[1] *МЖ1* поутру [2-2] *МЖ1, ПРП1—2, С1* густыми, палевыми, ароматическими [3] *МЖ1—2, ПРП1* сего [4] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* вижу я [5-5] *МЖ1—2* из которой [6-6] *МЖ1—2* Но иногда в сих диких и мертвых странах видят величайшую из птиц, Альпийского орла, [7] *МЖ2* жалкие [8-8] *МЖ1* где, не смотря на все свое искусство в балансировании, она неизбежно погибает. Орел *ПРП1* и бедная коза, не смотря на все свое искусство в балансировании, неизбежно погибает. Орел *МЖ2* бедная погибает, и гордый Орел [9] *МЖ2 ||* [10] *МЖ1—2* Сии люди, презирая [11-11] *МЖ1—2* взбираются

‹67›

[1] *МЖ1—2* почти беспрестанно [2-2] *МЖ1—2* Не поверите, друзья мои, [3] *МЖ1—2, ПРП1—2* не губами [4] *МЖ1—2, ПРП1—2* целовал [5] *ПРП2 ||* [6] *МЖ1* стоящей на берегу [7] *МЖ1—2, ПРП1—2* почерпнул [8-8] *МЖ1, ПРП1—2* почерпнул в другой раз, и опять вылил — посмотрел на меня и засмеялся — почерпнул в третий раз, *МЖ2* почерпнул в другой раз, [9] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* Ах, милые друзья мои! для чего [10] *МЖ1—2* ‹*сноска отсутствует*› *ПРП1—2* ‹*сноска:*›

Мечта воображения! [11-11] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1 Я люблю тебя,* [12] *МЖ1—2, ПРП1—2* сердце? [13] *МЖ1—2, ПРП1* в естественном [14] *МЖ2* || [15-15] *МЖ1—2* в ту минуту [16-16] *МЖ1* встречающиеся его стремлению. О! естьли бы можно было описать *ПРП1—2* им на пути встречаемые. О! естьли бы можно было описать *МЖ2* Трудно вообразить [17-17] *МЖ1* вечнокипящею пучиною оного, *МЖ2* вечнокипящею его пучиною, [18-18] *МЖ1, ПРП1* Но тщетно воображение мое ищет сравнения, подобия, образа! . . . Рейн *МЖ2*. . . Рейн [19-19] *МЖ2* всякой; [20-20] *МЖ1—2, ПРП1—2* юпку подвязывают оне под самыми плечами, и потому [21] *МЖ1—2, ПРП1* очень приятно. [22] *МЖ1—2, ПРП1—2* глаза их были на слезе; они [23-23] *МЖ1* Я подошел к невесте и к жениху, потрепал по плечу последнего, *ПРП1* Я подошел к жениху, потрепал его по плечу, *МЖ2* Я подошел к невесте и к жениху, потрепал его по плечу, [24]*МЖ1—2, ПРП1—2* очень щастлив, [25-25] *МЖ1* и в выразительном взоре ее прочитал я скромную благодарность за мой комплимент. *ПРП1—2, МЖ2* и в выразительном взоре ея прочитал я скромную благодарность за мое приветствие. [26-26] *МЖ1, ПРП1* — взоры их встретились: какое красноречие! *МЖ2* — и взоры их встретились. [27] *МЖ1* была изображена [28] *МЖ1* beneiden, Dann liebe balsamt Graß, und Eckel herscht auf Seiden. [29] *МЖ1—2, ПРП1* очи [30] *МЖ1—2, ПРП1* оной. [31] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* завес, [32-32] *МЖ1* Блаженная чета! Цари должны завидовать вам; ибо любовь напояет мураву бальзамом, а на шелках мучатся отвращением!! *МЖ2* Блаженная чета! и проч.

‹68›

[1] *МЖ1—2* под окошком,

‹71›

[1] *МЖ1, ПРП1—2* очень не скучно: [2-2] *МЖ1, ПРП1* По сие время он холост — а ему теперь около семидесяти лет. В доме *МЖ2* В доме [3] *ПРП2* || [4-4] *МЖ1* влагая оную в уста воскресающей: *ПРП1* влагая слова в уста воскресающей: *МЖ2* заставляя говорить воскресающую мать: [5] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* поставлен [6] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* совсем скрыт [7-7] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* и ничего такого, что бы показывало чувства. [8-8] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* Но в карты здесь не играют, также как и в Цирихе. [9] *МЖ1-2, ПРП1* сие [10-10] *МЖ1* Сей доброй, почтенной Швейцар [11] *МЖ1—2* поеду [12-12] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* отнесу

‹72›

[1-1] *МЖ1—2* и притом самым прекраснейшим. [2] *МЖ1—2* тиран кровожаждуйший, ужас [3] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* естьли бы вы, [4-4] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* с благословением [5-5] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* и оплакали свою победу — [6-6] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* или слуха о бытии своем? [7-7] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* я не мог следовать

их примеру — вы догадаетесь, для чего? — Впрочем все кости так высохли, что от них нет никакого дурного запаха. — (*МЖ1*, *С1* ||)

<73>

[1-1] *МЖ1*, *ПРП1—2*, *С1* мой часовещатель: *МЖ2* караульщик: [2] *МЖ1—2* воздымающихся [3-3] *МЖ1—2* с живейшим удовольствием! [4] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* читать многие [5] *МЖ1—2*, *ПРП1* сей [6-6] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* человек ученой и великой Натуралист. [7] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* отечеству. Естьли не ошибаюсь, то он первой из Россиян известен в Европе как истинно ученой человек. [8] *МЖ1—2*, *ПРП1* гульбища, находящегося на западной стороне города, [9-9] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* подобно надежде в моем сердце. — [10-10] *МЖ1—2* жилище твое; по крайней мере я думал, что его вижу. [11-11] *МЖ1—2* заключающия [12-12] *МЖ1—2* Не взирая на погоду, [13] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* защищают [14] *С2* || [15] *МЖ1—2*, *ПРП1* живя [16-16] *МЖ1—2* с отменными почестями; [17-17] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* После сего решения [18-18] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* до времени моего отъезда. [19-19] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* приятеля моего Делюка. [20-20] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* все озеро. [21] *МЖ1—2*, *ПРП1* оного [22] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* точно сочинял [23] *МЖ1—2*, *ПРП1* ибо естьли [24-24] *МЖ1—2* Одной из них дал я любовника, [25] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* натуру. [26-26] *МЖ1—2* устав выдумывать, [27] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* милого Руссо. [28-28] *МЖ1—2* от госпожи Д*. [29] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* сокрывают [30] *МЖ1—2*, *ПРП1* За сею деревенькою [31] *МЖ1* || [32-32] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* плодоносных гор — [33-33] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* улицы ровны и регулярны; [34] *МЖ1—2* весьма многолюдным [35] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* только для того, [36-36] *МЖ1—2*, *ПРП1* ему прострелили [37] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* насладиться [7а] *МЖ2* Катедральной [14а,б] *МЖ1* Ст. Прîо *ПРП1* Сен-Прио

<74>

[1] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* Вчера ввечеру [2] *МЖ1—2* не весьма покойно, [3-3] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* примечания достойным. [4-4] *МЖ1—2* я схватил [5-5] *МЖ1—2* в памяти моей, [6] *МЖ1—2* оного. [7] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* в моральных существах— [8] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* от различности [9] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* *моральной* [10] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* и [11] *МЖ1* представляющихся! *МЖ2* представляющихся, [12-12] *МЖ1* влачимый по улицам *МЖ2* влекомый по улицам [13] *МЖ1*, *ПРП1* противно. *МЖ2* противно! [14] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* слушал [15] *МЖ1*, *ПРП1* только один — [5а] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* морального [6а] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* нашему моральному

<75>

[1] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* в партикулярном доме; [2] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* Вставши [3] *МЖ1—2* <*сноска к слову* «сертук»:> Я не имею духа

писать *сюртут*, или — что еще хуже — *сюртук*. [4] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* по том отдыхаю [5-5] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* по том еще гуляю, [6-6] *МЖ1* повелителя, которой может без всякого суда — от чего Боже сохрани! — снять с него шляпу и — голову. — Вчера *МЖ2.* повелителя. — Вчера [7] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* и по том начали [8] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* колоть [9-9] *МЖ1—2, ПРП1—2* которой №В недавно приехал из Парижа, [10] *МЖ1—2, ПРП1* но чувствуя [11-11] *МЖ1—2, ПРП1—2* умножение страха по мере удаления моего от дому, [12] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* де-ла-Гарп [13] *МЖ1—2* Г-жа Вильет [14] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* на котором написано в середине: [15] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* а в верьху: [16] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* с подписью: [17] *МЖ1—2, ПРП1* к оному (то есть к суеверию) [18-18] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* Никто лучше его не умел [19] *МЖ1—2, ПРП1—2* его [20-20] *МЖ1—2, ПРП1—2* удовольствие — смеяться! [21] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* его [22] *МЖ2 Отеллу*? ‹*без сноски*› *МЖ1, ПРП1 Отеллу*? ‹*без сноски*› Тот, кто читает наизусть целыя страницы из Расина, не знает, что есть на свете Гете. — [23-23] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* мог [24] *МЖ1—2* из окошек [25] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* совратится с пути своего, [26] *МЖ1* ||. [5a] *МЖ1, ПРП1—2* в виск *МЖ2, С1* в Виск *С2* в Вист

‹76›

[1] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* бравой Капитан, [2] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* рекоммендоваться, [3-3] *МЖ1—2, ПРП1* сей дядя и сия тетка [4] *МЖ1* радуется оному —

‹78›

[1] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* примечанья достойного [2] *ПРП1—2, С1* || [3] *МЖ1, ПРП1* и лишается энергии в ощущениях; *МЖ2* и лишается энергии сердечной;

‹79›

[1] *МЖ1—2 ПРП1*

Μνήμη και Λήθη, μέγα χάιρετον' ή μὲν ἐπ ἔργοις
Μνήμη τοις ἀγαθοις, ή δ, ἐπὶ λευλαλέοις (*)

‹80›

[1-1] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* двадцать четыре

---

* «Воспоминание и забвение, воспоминание приятного, забвение печального! будьте щастием моей жизни!»

‹81›

[1] *МЖ1—2 ‹эта глава не отделена от предыдущей› ПРП1—2* Часть IV. Женева. [2] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* руку свою. [3-3] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* что он все учтивыя слова почитает за язык сердца, и [4-4] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* С *Рассматривания Натуры* [5] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* интереснейших [6-6] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1 Рассматривание Натуры* [7-7] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* Спаланцаниеву переводу отдает он преимущество перед всеми прочими, [8] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* начало *Рассматривания Натуры*: [9] *МЖ1* ||

‹82›

[1] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* патетическую [2] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* язык мой [3-3] *МЖ1—2, ПРП1* визит, который мог бы [4-4] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1 Рассматривание натуры* [5] *МЖ1—2, ПРП1* оное [6-6] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* так ясно, и выражения ваши так определенны, что [7] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* в *Рассматривании натуры*. [8] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* из *Рассматривания* [9] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* прием, которой вы мне сделали, [10-10] *МЖ1—2* переводчика, и вы *ПРП1—2* переводчика; вы [11] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* и *Рассматривание* [12] *МЖ1—2, ПРП1* Я намерен просить вас об одном удовольствии — не можно ли [13-13] *МЖ1—2, ПРП1—2 Рассматриватель Натуры*. *С1—2* Созерцатель Натуры.

‹83›

[1-1] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* Разве он помогает им? [2] *МЖ1* || [3] *МЖ1—2, ПРП1* сию [4] *С1* || [5-5] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1 Рассматривание Натуры*, [6] *МЖ1—2, ПРП1* сию [7-7] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* но еще приятнее было для меня то, [8] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* к *Рассматриванию Натуры*, [9] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* Секретарю своему. [10-10] *МЖ1—2, ПРП1—2* медную свою трубку, [11] *МЖ1—2, ПРП1* Сия [12] *ПРП2* || [13] *МЖ1—2, ПРП1* сей [14] *ПРП2* || [15] *ПРП2* || [16-16] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1 аналитического опыта* [17] *МЖ1—2* оных. [18] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* очень чудно. [19] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* очень чисто, [20] *МЖ1—2, ПРП1* сей [21] *МЖ1* || [22] *МЖ1—2, ПРП1—2* ||

‹84›

МЖ1—2 ‹вместо заглавия — черта› ПРП1—2 ‹вместо заглавия — звездочка› [1] *МЖ1—2, ПРП1* за несколько дней перед сим уехал [2] *МЖ1* || [3] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* едва [4] *МЖ1—2, ПРП1* в оном чудесном, [5] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* интересныя [6-6] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* или, лучше сказать, поскакал, полетел, [7] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* изумление! [8-8] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* собственною рукою ея напи-

санное. [9] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* обедали [10-10] *МЖ1—2*, *ПРП1* около трех или четырех часов. [11] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* называют [12] *МЖ1* оного [13] *МЖ1* || [14] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* Генрик IV [15-15] *МЖ1—2*, *ПРП1* истории веков. [16] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* своего [17-17] *МЖ1—2* прекрасной, умной, расторопной мальчик, [18-18] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* тебя моею матерью, [19] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* *Скоро ли мы приедем? Скоро ли* [20] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* восторга. Чувствительной сын упал перед нею на колени, целовал ея руки. . . . Но воображение мое опускает занавес на сию трогательную сцену. [21] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* держали [22] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* и защищали [23-23] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* он оставлен был [24-24] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* сердце — и Герой [25] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* || [26-26] *МЖ1—2*, *ПРП1* с какою горестию пишу сии слова! . . . [27-27] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* на небеса устремленные, [28-28] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* не за то ли, [29] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* таковым [30-30] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* Первый судья [31-31] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* в делах сменяемых Синдиков. [32] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* судьи [33] *МЖ1* || [34] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* и обернувшись [35] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* гигантские [36] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* || [37-37] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* к Рассматривателю Натуры, [38-38] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* общим — Галлер *С1* общим; — Галлер [39-39] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* стремится — я [40] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* всесилен — *С1* всесилен; — [41] *МЖ1—2*, *ПРП1* оная непроницаемая [42] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* кончал [43] *МЖ1* || [44] *МЖ1* || [45] *МЖ1—2*, *ПРП1* его! [46] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* продолжать [47] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* *Рассматривания Натуры.* [48] *МЖ1* || [49] *МЖ1*, *ПРП1—2* || [11а] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* катедральная [15а] *МЖ1—2*, *ПРП1* Ришельйо *ПРП2*, *С1—2* Ришельё [15б] *С1* его [37а] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* рассуждал

‹85›

[1] *МЖ1*, *ПРП1—2* был [2-2] *МЖ1—2* L'aimable Abbé! [3] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* перемене — в физическом и моральном — [4-4] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* говорили все его знакомые, и никто не мог сыскать (*МЖ2* угадать) причины такой внезапной перемены. [5] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* из приятельниц его [6-6] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* все приступы [7-7] *МЖ2* причины. [8-8] *МЖ1* — И я не знаю ее. *МЖ2* — И я не знаю. [9-9] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* заступил его место. [10] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* его. [11] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* лица его, [12] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* Вид его [13-13] *МЖ1* искры того огня, из которого Физиономисты столь многое заключают. *МЖ2* искры того огня, в котором Физиономисты находят ум и чувствительность. [14-14] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* на правой стороне [15] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* а на левой [16-16] *МЖ1—2*, *ПРП1* — уже приближалась зима! — [17-17] *МЖ1—2* Аббат. Встав с постели, отдернул он занавес над дверью, *ПРП1—2* Аббат. Встав с постели, подошел он к двери, [18-18] *МЖ1*, *ПРП1—2*, *С1* блестящия слезы катились из глаз его. *МЖ2* из глаз катились блестящия слезы. [19-19] *МЖ1—2*, *ПРП1*

но сей вид возбудил в душе его глубокия чувства благоговения: он (*МЖ1—2* благоговения. Он) стоял неподвижно. [20] *МЖ1—2 ‹сноска к слову* «Трель»:› Гульбище Женевское. [21-21] *МЖ1—2* Возвратясь в свою комнату, надел (*МЖ1* надел он) сертук и пошел со двора. Пришел час обеда, *ПРП1—2, С1—2* после чего, не сказав ни слова, вдруг скрылся. Настал час обеда, [22] *МЖ1—2* пришел [23] *МЖ2* но его [24] *МЖ1—2* спрашивать о нем [25] *МЖ2* было [26-26] *МЖ2* не могли [27-27] *МЖ1* В комнате его нашли в целости все его пожитки и даже некоторую сумму денег, и потому уверились, что Аббат, оставляя свою комнату, не был намерен путешествовать по белому свету. *МЖ2* В комнате у него нашли все его пожитки и даже некоторую сумму денег, следственно Аббат, выходя из дому, не думал странствовать по свету. [28] *ПРП2 ||*

‹86›

[1] *МЖ1—2* Женева, 28 Февр. 1790. [2-2] *МЖ1—2* и дамы их да загадывают загадки [3] *МЖ1—2, ПРП1—2 ‹к слову* «Баронам» — *сноска, отсылающая к письму ‹75›, с.* 157› [4] *МЖ1—2* шаре! *ПРП1—2, С1—2* шаре!* [5-5] *МЖ1—2, ПРП1* сие сожаление, сие утешение [6-6] *МЖ1—2* adieu, cher. . ., adieu [7-7] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* Простите, милые друзья мои!

‹87›

[1] *МЖ1—2, ПРП1* выехали [2] *МЖ1—2* приближались [3] *МЖ1—2, ПРП1* сие [4] *МЖ1—2, ПРП1* Сия [5] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* надобно [6] *МЖ1—2, ПРП1—2 прослужил* [7] *МЖ1—2, ПРП1* позволь [8] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* давно уже [9-9] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* любили его как отца. [10] *МЖ1—2, ПРП1—2* побежали [11] *МЖ1—2, ПРП1—2* за здоровье [12] *МЖ1 ||* [13-13] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* между распавшейся Юры [14-14] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* упасть готовы. — [15-15] *МЖ1—2, ПРП1—2* могут защищать сию (*ПРП2* эту) крепость [16] *МЖ1—2* N. N. [17] *МЖ1—2, ПРП1* сию [18] *МЖ1—2 ‹сноски нет. Слова*: «В память сей ночной сцены . . . где скрывается Рона.» *кончают абз.›* [19-19] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* и через час [20] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* стране [21] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* Здешняя трактирщица [22] *МЖ1—2* Терезу *‹дальше соответственно везде вместо* Лизета — Тереза.› [23] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* с горести. — Не могу писать более. Простите!

‹88›

[1] *МЖ1—2* Терезу [2] *МЖ1—2, ПРП1* в сем [3] *С1 ||* [4] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* наций [5] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* над Натурою, [6] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* моральных [7] *МЖ1—2, ПРП1* проезжающих. — [8] *МЖ1—2, ПРП1—2* стоя на коленях, *С1—2* и на коленях,

---

* Это желание не исполнилось!

‹89›

[1-1] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* коронуют снегом покрытыя горы, [2] *МЖ1—2, ПРП1* домов. Деревни подле дороги очень хорошо выстроены. — [3-3] *МЖ1, ПРП1—2, С1* товаров? и после отрицательного ответа заглянул *МЖ2* товаров? заглянул [4-4] *МЖ1* здесь ни конной ни пеший не освобожден от пошлины — полсу стоит пропускной билет. На другой стороне *МЖ2* На другой стороне [5] *МЖ1—2* Мы проехали [6-6] *МЖ1—2* и остановились у Hôtel de Milan. [7-7] *МЖ1—2* Мы желали иметь горницу с двумя постелями, но к нещастию все были заняты, [8-8] *МЖ1—2* уведомил нас, что перед нами жила тут чернобровая и черноглазая красавица из Константинополя — вероятно для того, чтобы комната показалась нам лучше. ‹*нет абз.*› [9-9] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* садись! садись! [10] *МЖ1—2* восхищенного [11] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* Потом начался [12] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* (заглянув [13-13] *МЖ1—2, ПРП1* Быть не может! [14-14] *МЖ1* — дыхание остановилось — можно б было *ПРП1—2, МЖ2* — — можно б было [15] *МЖ1—2, ПРП1—2* надлежало б [16-16] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* могли бы провозгласить Вестриса своим Диктатором. [17] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* весьма ярко горели, [18] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* des Terreaux [19] *МЖ1—2* перед Магистратом, [20-20] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* очень хорошо выстроена. [21-21] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* в амфитеатре и ограничивают [22] *МЖ1—2* Доживем ли мы до того, чтобы какой нибудь Философ и Ритор, какой нибудь второй Робертсон описал жизнь и дела П е т р а Великого? — Может быть [23-23] *МЖ1* деятельное Правительство, или человек преобразующий? [24-24] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* моральную натуру человека. [25-25] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* престол свой, на котором [26] *С1* || [27-27] *МЖ1—2, ПРП1* меня обнимать. [28] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* из бюро [29-29] *МЖ1—2* из своих сочинений. [30-30] *МЖ1—2* И я засмеялся, пожал его руку, и уверял, [31] *МЖ1—2, ПРП1* пошел я [32] *МЖ1—2* Версальского [33-33] *МЖ1—2* сего сочинения, [34-34] *МЖ1—2, ПРП1* как и за день перед тем. [35] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* не есть Ритор — забвение, простительное Французам! [36-36] *МЖ1* кричали мимоходящие, *ПРП1—2* кричали мимошедшие, *МЖ2* кричал народ [37] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* || [38-38] *МЖ1—2, ПРП1* обращал их вокруг себя, и по том опять подымал на небо. [39] *МЖ1—2* ‹*сноски нет*› [40] *МЖ1—2, ПРП1—2* провожатой — [41-41] *МЖ1—2* холодным жареным —

‹90›

[1] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* рассказывал [2-2] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* подали повод [3-3] *МЖ1—2, ПРП1—2* В самую ту минуту, [4] *МЖ1—2, ПРП1* сей [5-5] *МЖ1—2. ПРП1—2* по том часа через два [6] *МЖ1 сотворенную,* [7-7] *МЖ1—2* фрагмент: [8] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* моральными существами [9] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* посреди [10] *МЖ1—2* водяных проводов. [11] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* разрушить

[12-12] *МЖ1* далее оного не простираем своего взора, *МЖ1* далее не простираем своего взора, [13] *МЖ1—2* которыя принадлежат [14] *МЖ1—2* монастырю и к которым приступ весьма труден. [15] *МЖ1—2* из окошек [16] *МЖ1* оного источника [17] *МЖ1*, *С1—3* || [18-18] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* и толпы народа [19] *МЖ1* || [20] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* интересные [21-21] *МЖ1—2* два ‹*абз.*› Приближаясь к Ганноверу, он почувствовал великую усталость, и сел в почтовую коляску, которая его нагнала. В ней было пять или шесть путешественников, и между прочими один молодой человек весьма привлекательного вида. Знакомства в публичных экипажах делаются очень скоро, и в полчаса Б.* успел переговорить со всеми; успел узнать, кто откуда и куда ехал, и прочее тому подобное. Молодой человек не говорил ни слова. Любопытной приятель мой, осмотрев его с головы до ног, учтивым образом спросил, не студент ли он? *Я был студент*, отвечал он с улыбкою, *по том солдат*, *а теперь простой мещанин.* «Солдат?» сказал с удивлением Б*: «что заставило вас избрать это состояние? и каким образом могли вы оставить его?» — Сей вопрос повторили и прочие его товарищи. «Государи мои! (отвечал молодой человек) не приятно говорить о себе худое; однакожь в немногих словах удовлетворю вашему любопытству. Вы знаете Немецкие университеты, которые по справедливости могут назваться первыми в Европе. Но сколь они полезны для разума, столь опасны для сердца и нрава молодых людей. Вы видите во мне нещастной пример сей опасности. Семнадцати лет приехал я в Геттинген, чтобы под руководством славных мужей, под руководством Гейне, Мейнерса, Шлецера, Кестнера, Биргера, вступить во святилище наук, где, подобно как в садах Гесперидских, растут златые плоды драгоценных человеческих знаний.* Сперва учился я с великою прилежностию, и вел себя наилучшим образом; но скоро попался, к нещастию, в самое худое общество, заразился пагубным примером, и через несколько времени включил себя в число тех студентов, которые наиболее известны были по развращенности (*МЖ2* по развратности) своих нравов. Отец мой, небогатой купец, давал мне хорошее содержание; но тут в неделю издерживал я то, что присылалось мне на полгода, и скоро вошел в долги. Два раза батюшка платил их за меня, и в нежных письмах убеждал расточительного сына своего жить порядочнее. Ах! он любил меня более всех других детей! Не могу сказать, чтобы увещания его совсем меня не трогали — иногда я плакал горькими слезами, раскаивался, и обещал самому себе исправиться; но все не надолго, и через несколько дней доброе намерение совсем забывалось. Наконец я дошел до крайности, и не имел уже смелости писать к отцу моему и снова требовать у него денег. Заимодавцы грозили посадить меня в тюрьму; веселые приятели раззнакомились со мною, и прекрасная Лаиса, которая прежде умирала от любви к щедрому своему обожателю, указала мне двери. Надлежало на что нибудь решиться — я продал свои книги, платье; ушел пешком из Геттингена, и нашедши в одном маленьком городке Прусского наборщика, записался в солдаты.

*** Б* точно так рассказывал.**

Меня отправили в Берлин, нарядили в мундир, послали в караул, и скоро узнал я всю трудность солдатской жизни. Не буду говорить вам о моем позднем раскаянии, о моей тоске и печали; бывали такия минуты, в которыя жизнь казалась мне несносною. Таким образом прошло несколько месяцев, и судьба сжалилась надо мною. Читая один раз газеты, увидел я объявление от моего отца, в котором он изображал горесть свою о моем побеге, убеждал меня возвратиться в родительской дом, обещал все забыть, заплатить долги мои и разделить со мною небольшое свое имущество. Слезы покатились из глаз моих, и схватив перо, я в тот же час написал к нему письмо, — признавался во всех моих проступках, и наконец уведомлял его о моей нещастной судьбе. Через несколько недель получил я ответ — он впечатлелся навсегда в моем сердце. Никогда родительская нежность не описывалась живейшими красками! Батюшка прислал мне двести талеров, и писал, что он сам приехал бы выкупить меня из службы, естьли бы болезнь сестры моей не удерживала его в Ганновере. За двадцать фридрихсдоров получил я свободу, сбросил с себя мундир и через несколько дней отправился из Берлина, уведомив батюшку о времени моего отъезда.» — Лишь только успел он сказать сии слова, коляска остановилась подле сельского трактира. Молодой человек выглянул в окошко, закричал, переменился в лице, выскочил вон и бросился к ногам — отца своего (*МЖ2* отца), которой с дочерью и с меньшим сыном выехал встретить милого беглеца своего. Они обнимали друг друга, плакали, рыдали, хотели говорить, но не могли сказать ничего, кроме отрывистых, несвязных слов. Все путешественники вышли из коляски, и в молчании смотрели на сию сцену любви и восторга. Постильйоны неподвижно сидели на лошадях, и трубки их упали на землю. — Наконец нежной старик повел сына своего в трактир, где приготовлен был обед. *И вы, государи мои!* сказал он Б* и товарищам его — *и вы должны обедать с нами; должны участвовать в нашем веселье. Пойдем-те, пойдем-те!* Они с удовольствием исполнили его волю; самые постильйоны приглашены были к столу и пили за здоровье радостного семейства.

С пешеходцем Б* случалось много и странного; в пример чего может служить второй анекдот. Однажды ввечеру пришел он [22-22] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* безоружной, кроткой [23-23] *МЖ1—2, ПРП1* сие страшное оружие, [24-24] *МЖ1—2* которой давно уже прогнал всех неприятелей, и возвратился [25-25] *МЖ1—2, ПРП1—2* которой, сидя [26] *МЖ1, ПРП1—2* и ретировался *МЖ2* и скрылся [27] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1—2* и Африку, [28] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* тогда бы, любезные друзья, тогда бы [29] *МЖ1—2, ПРП1—2 ‹сноски нет›* [30-30] *МЖ1—2* Старая женщина подралась на улице с стариком; [31-31] *МЖ1—2* и повели его à la lanterne [32] *МЖ1—2* моем.

‹91›

[1-1] *МЖ1—2* сих плодоносных стран [2] *МЖ1* || [3] *МЖ1* || [4] *МЖ1—2, ПРП1—2, С1* интересныя [5] *МЖ1* ||

‹92›

[1-1] *МЖ1* оных Духов *МЖ2* Духов [2] *МЖ1* || [3-3] *МЖ1—2*, *ПРП1—2* они; придет — и [4] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* наций [5] *С1* || [6] *ПРП1—2*, *С1* ||

‹93›

[1] *МЖ1* ||

‹94›

[1] *МЖ1* || [2-2] *МЖ1—2* ловлею.

‹95›

[1-1] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* в ней (*МЖ1* в оной), подобно как в бесконечности океана. [2] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* *фобур* Св. Антония, [3] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1* великолепныя [4-4] *МЖ1—2* в густоте их теней. [5] *МЖ1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* задумчивость, и тысячи романических мыслей носились в душе моей — — — [3a] *С1* Генриха IV.

‹96›

[1] *ПРП1—2*, *С1* Париж, Апреля 2, [2] *ПРП1—2*, *С1* на людей — и тысячи идей возбуждаются в голове моей.

‹97›

[1-1] *ПРП1—2* παρα и Ισις, [2] *ПРП1—2* Бреля, [3] *ПРП1—2*, *С1* Подойдете [4] *ПРП1* ле-Нуар, [5] *ПРП1—2*, *С1—2* особливо [6] *А1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* и с довольным жаром, [7] *А1—2* народного [8] *А1—2*, *С1* риторы [9] *А1—2* не почувствовать [10] *А1—2*, *С1* эмигранта [11] *А1—2* близ Ниошателя [12] *А1—2* революции [13] *А1—2* и родственников. Огромные домы стоят пустые. [14] *ПРП1—2* шедши [15] *ПРП1—2*, *С1—2* ‹*пояснение в скобках опущено*› [16] *А1—2* никогда и никакое [5a] *ПРП1—2*, *С1* новому и самому верному

‹98›

[1-1] *ПРП1* Щастье первое есть Царь? [2] *С1* || [3] *С1* || [4] *ПРП1—2* Предадим себя, [5] *ПРП1—2*, *С1* ||

‹99›

[1] *ПРП1—2* || [2] *ПРП1—2* над

‹100›

[1] *А1—2* || [2] *А1—2* || [3-3] *А1—2*, *ПРП1—2* тихою гармониею златых лир; [4-4] *А1—2*, *ПРП1—2*, *С1* любезно, мило, восхитительно —

[5] *А1—2* видите вы, [6-6] *А1—2*, *ПРП1—2* и каждым огненным взором, и каждым сладострастным движением [7] *А1—2*, *ПРП1—2* можно [8-8] *А1—2* декораций: в одно мгновение [9-9] *А1—2* и буря умолкает, [10-10] *А1—2* танцовщик. Легкость, [11] *А1—2*, *ПРП1—2*, *С1* ритором [12] *А1—2*, *ПРП1—2* певцам и певицам, [13] *А1—2* и выражают [14] *А1—2* которые, теряясь [15] *А1—2* от автора [16] *А1—2* умножить [17] *А1* интересностию [18] *А1—2*, *ПРП1—2* Натуры [19-19] *А1—2* сего царственного изгнанника, [20] *А1—2*, *ПРП1—2* после сего [21] *А1—2* Сен-Валь [22] *А1—2*, *ПРП1—2*, *С1 жесты!* [23] *А1—2* живописец, [24-24] *А1* не мог быть щастлив без оных; *А2* не мог быть без них щастлив; [25-25] *А1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* Я был сей раз в театре. [26] *А1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* отца своего; [27] *А1—2* фуриями, [28-28] *А1—2*, *ПРП1—2* но не лаРив! — [29] *А1—2*, *ПРП1—2*, *С1-2* торжествует он более, нежели во всех других пьесах. [30] *А1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* сражение свое [31] *А1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* Мимики, [32-32] *А1* подобные вороньему крылу; [33] *А1—2* || [34] *А1—2* Президента [35] *А1—2* || [36] *А1—2* с хладным [37] *А1—2* горницы. [38-38] *А1—2*, *ПРП1—2* ея ужас! . . [39-39] *А1—2* бросается она в креслы, [40] *А1—2* беспрестанно [41-41] *А1—2* не далеко от границ России, на берегу моря. [42] *А1* живя [43] *А1—2*, *ПРП1—2*, *С1* от утра [44] *А1—2* сию [45-45] *А1—2* *ПРП1—2*, *С1* влюбляется в красоту и милую душу ея, влюбляется, и *С2* влюбляется в красоту, в милую душу ея и [46-46] *А1—2*, *ПРП1—2*, *С1—2* по белому лицу ея. [47-47] *А1—2*, *ПРП1—2*, *С1* Сан, великость забывает, — [48-48] *А1—2*, *ПРП1—2* ее устах. [49] *А1—2*, *ПРП1—2*, *С1* — отираю, и радуюсь, [50] *А1—2*, *ПРП1—2*, *С1* феникс. [51] *А1—2* || [52-52] *А1—2*, *ПРП1—2*, *С1* всякую щастливую мысль, всякое щастливое выражение, всякой удачный *жест* актера. [53] *А1—2* виртуозы [54] *А1—2* в сем

‹101›

[1] *А1—2* Уже ли [2] *А1—2* Уже ли

‹102›

[1] *ПРП1—2*, *С1* || [2-2] *ПРП1—2*, *С1 публичные листы*, журналы, газеты, [3] *С1* || [4-4] *ПРП1—2* «Государи мои! Государи мои!» [5] *ПРП1—2*, *С1* регулярных [6] *С1* || [7] *ПРП1—2*, *С1—2* всякую ночь. [2а] *ПРП1—2*, *С1* Ришельё [2б] *ПРП1—2*, *С1* Элены [2в] *ПРП1—2*, *С1* Элену [5а] *ПРП1—2*, *С1* дерновом

‹103›

[1] *ПРП1—2*, *С1* Бартелеми—Платона! [2-2] *ПРП1—2*, *С1* первому движению энтузиазма, [3-3] *ПРП1—2*, *С1* собственно так называемые анекдоты собрать, [4-4] *ПРП1—2* Лучше ли было [5-5] *ПРП1—2*, *С1* о потере Руской народной, моральной физиономии [6-6] *ПРП1—2*, *С1* ничто иное [7] *ПРП1—2*, *С1 национальное* [8] *С1* || [9] *ПРП1—2*, *С1* моральные

<104>

[1] *ПРП1—2*, *С1—2* Дервьё [2] *С1* ||

<105>

[1] *ПРП1—2*, *С1* полезность [2-2] *ПРП1—2*, *С1* не *получить*, а *заслужить*. [3] *ПРП1—2*, *С1* из 76 Членов, [4-4] *ПРП1—2* большой Том in 4 сочинений своих, [5] *ПРП1—2*, *С1* и сверх того [4a] *ПРП1—2*, *С1* революциею

<106>

[1] *ПРП1—2*, *С1* de la phrase.» [2-2] *ПРП1—2*, *С1—2* с двумя Майскими розами [3] *ПРП1—2*, *С1* формальным актом [4-4] *ПРП1—2*, *С1* ни что иное, [5-5] *ПРП1—2* А ты, злодей, [6-6] *ПРП1—2* son métier.

<107>

[1] *ПРП1—2* Реингольдом. [2-2] *ПРП1—2* из стороны в сторону, [3] *С1* || [4] *ПРП1—2*, *С1* дамам

<108>

[1] *ПРП1—2*, *С1—2* и стихи свои, [2] *ПРП1—2* || [3-3] *ПРП1—2*, *С1* принимают, без различия веры и нации, [4] *ПРП1—2* моего

<109>

[1] *ПРП1—2*, *С1* церемониею [2] *ПРП1—2*, *С1* интересного праздника [3] *ПРП1* и крестьянками; [4] *С1* ||

<110>

[1] *ПРП1—2* || [2] *ПРП1—2*, *С1* на свое заключение,

<111>

[1] *ПРП1—2* трогательна! [2-2] *ПРП1—2* а забываете первого,

<112>

[1] *ПРП1—2* *аффиш*, [2-2] *ПРП1—2*, *С1* отказывающий себе все то, [3] *ПРП1—2*, *С1* в отдыхе, [4] *ПРП1—2*, *С1* революции.

<113>

[1-1] *ПРП1—2*, *С1* Аббат Сикар, который [2-2] *ПРП1—2* *он наш благодетель*; [3-3] *ПРП1—2*, *С1* их взаимных отношениях: [4] *ПРП1—2* На пример,

‹114›

[1] *ПРП1* до ныне, [2-2] *ПРП1—2, С1* как в милой отчизне своей. [3] *ПРП1—2, С1* Храма! — [4-4] *ПРП1—2, С1* ваятельного Искусства [5] *ПРП1—2, С1* Селестинов [6] *ПРП1—2* Царские [7-7] *ПРП1—2* Ты спросишь, почему? [8-8] *ПРП1—2, С1* своею Моралью [9] *ПРП1—2, С1* ум последних [10] *ПРП1—2, С1* и на редкое собрание [11] *ПРП1—2* || [12] *ПРП1—2* la prier; [13-13] *ПРП1—2, С1* ни что иное, как [14] *ПРП1—2, С1 Ленотр!* [15] *ПРП1* фимиям, [16] *С2* отверзтие

‹115›

[1] *ПРП1—2, С1* о достоинстве [2] *ПРП1—2, С1* в пламени: [3-3] *ПРП1—2* отвечал Аббат; [4] *ПРП1—2, С1* образцем;

‹116›

[1-1] *ПРП1—2* желает перемены — и [2] *ПРП1—2, С1* океана [3] *ПРП1—2, С1* и зефир [4] *ПРП1—2* не известны

‹117›

[1] *ПРП1—2, С1* буфонству. [2] *ПРП1—2* прославил [3] *ПРП1—2* place d'armes [4] *ПРП1—2, С1—2* своим украшением. [5] *ПРП1—2, С1* в Фонтенбло; [6] *ПРП1—2, С1* на лазуревом [7] *ПРП1—2, С1* Исчислять [8] *ПРП1—2, С1* Дворца [9] *ПРП1* натуры.

‹118›

[1] *ПРП1—2, С1* интересную [2] *ПРП1—2* литтература [3] *ПРП1—2, С1—2* птицу.

‹121›

[1] *ПРП1—2, С1 безделки!* [2] *ПРП1—2 Bagatelle,* [3-3] *ПРП1—2, С1* свою мораль, [4] *С1* || [5] *ПРП1—2* || [6] *ПРП1* Смеркалось;

‹122›

[1] *ПРП1—2, С1—2* Альциновы; [2] *ПРП1—2* || [3] *ПРП1* || [4-4] *ПРП1—2, С1* и в разных других городках;

‹123›

[1] *ПРП1—2* || [2-2] *ПРП1—2, С1 золотая часовня* [3] *ПРП1—2, С1 отели,* [4] *ПРП1—2, С1—2* en prie! —

‹124›

[1] *ПРП1—2, С1* природа [2] *ПРП2* || [3] *ПРП1—2* На хижинке, [4] *ПРП1—2* Стены говорят: *charmante Gabrielle!* Автор [5] *ПРП1—2, С1—2* и милой! [6] *ПРП1—2, С1—2* тихим и приятным [7] *ПРП1, С1* ||

‹125›

[1-1] *ПРП, С1—2* хижину (*ПРП, С1* хижину (Hameau)), украшенную как Царский дворец, [2] *ПРП, С1* герой

‹126›

[1] *ПРП, С1* любви [2] *ПРП* перемены;

‹127›

[1] *ПРП* народном [2-2] *ПРП, С1* и хотел уже [3] *ПРП, С1—2* зазвонил — [4] *ПРП, С1* с довольным вниманием; [5] *ПРП* Все Члены

‹128›

[1-1] *ПРП, С1* заменяются в нем милыми свойствами души, [2] *ПРП, С1—2* не [3] *ПРП, С1* единоземцев

‹129›

[1-1] *А1—2* зреют уже плоды на деревах — [2] *А1—2* все еще цветет и благоухает — [3-3] *А1—2* едва распускаются пучечки цвета, [4] *А1—2, ПРП, С1* сижу я [5-5] *А1—2* Ах! кому укрепить слабого? Кто ободрит томного? Кто утешит печального?

‹130›

[1-1] *А1—2* Я слышал, что оно переведено на Руской, и напечатано. [2] *А1—2* стерлин. [3] *А1—2, ПРП, С1* В ужине [4] *А1—2, ПРП, С1* За столом [5-5] *А1—2 вина, вина,*

‹132›

[1] *А1—2* не помогало! [2-2] *А1—2* друг у друга пожали руку.

‹133›

[1-1] *А1—2* с энтузиазмом, [2] *А1—2* видите вы [3] *А1—2* Неба, [4-4] *А1—2, ПРП* — нет, друзья мои! [5-5] *А1—2* — и великолепнейший вид представился глазам моим. [6-6] *А1—2* сели в наемную карету, и поехали.

‹134›

[1] *А1—2* цветы, розы и лилии, ясмины и ландыши; [2] *А1—2* естли бы [3-3] *А1—2* подали вялой травы, облитой уксусом. [4] *А1—2, ПРП, С1* супруга своего, [5] *А1—2, ПРП, С1* в моральном

‹135›

[1] *ПРП, С1* вселенной! || *С2* вселенной! [2] *ПРП, С1* моральный, [3] *ПРП* уверены!

‹136›

[1] *ПРП, С1* обнимают [2] *ПРП, С1* с видом сердца [3] *ПРП* || [4-4] *ПРП, С1* особенно приятного. — [5] *ПРП* ||

‹137›

[1] *ПРП, С1* моральными [2] *ПРП, С1* морального [3-3] *ПРП, С1 эстампных кабинетов,* [4] *ПРП, С1—2* ласкового, [5-5] *ПРП* воспитанные

‹138›

[1] *ПРП* собираются [2] *ПРП, С1* моральных

‹140›

[1-1] *ПРП, С1* двум воюющим державам,

‹141›

[1-1] *ПРП* великолепию. Вы [2] *ПРП celle de l'homme.* — [3-3] *ПРП* что она походит [4] *ПРП, С1* самый же

‹144›

[1-1] *ПРП, С1* на Дворец, а Дворец [2] *ПРП, С1* правления. [3] *ПРП* || [4] *ПРП* || [5] *ПРП* || [6] *ПРП* ||

‹145›

[1] *ПРП, С1* осторожность;

‹146›

[1] *ПРП* Бадини!

‹150›

[1] *ПРП* воскресенье [2] *ПРП, С1* моральную, [3] *ПРП, С1* моральными [4] *ПРП* || [5-5] *ПРП, С1—2* сердца ее [6] *ПРП* || [7] *ПРП* философии [8-8] *ПРП* сказать свое слово [9-9] *ПРП, С1* на сцену другого;

‹151›

[1] *ПРП, С1* моральные

‹152›

[1] *ПРП, С1 генгеты,* [2] *ПРП, С1* подземные [3] *ПРП* обществ:

‹153›

[1-1] *ПРП, С1* Фокс стал на возвышенное место, против Лорда Канцлера, [2] *ПРП, не стронь* [3] *ПРП, С1* Риторских [4] *ПРП, С1* Дворца, [5] *ПРП* Разница [6] *ПРП, С1* Публика

‹154›

[1] *ПРП, С1* моральным [2] *ПРП* || [3] *ПРП, С1* его товарищей,

‹155›

[1] *ПРП, С1 Фрескати.* [2] *ПРП* || [3] *ПРП* || [4] *ПРП* избытка.

‹156›

[1] *ПРП, С1* эмигрант. [2-2] *ПРП, С1—2* вышло уже [3] *ПРП, С1* в моральном [4] *ПРП* ||

‹157›

[1] *ПРП, С1* и скоро [2] *ПРП* голодного. ||

При учете вариантов текста «Писем русского путешественника» необходимо иметь в виду также немецкий перевод памятника, выполненный И. Г. Рихтером и авторизованный Карамзиным (Лейпциг, 1799—1802). Если опустить те сокращения, которые были сделаны бесспорно с согласия Карамзина, чтобы приспособить текст ко вкусам немецких читателей, то обращают на себя внимание места, по которым можно судить о пропусках, сделанных Карамзиным в русском тексте из цензурных соображений. Так, в описании положения лифляндских крестьян

немецкий перевод дает более резкую формулу; в русском варианте: «Сии бедные люди, *работающие господеви со страхом и трепетом* во все будничные дни». В немецком тексте: «Diese armen Leute, die alle Werktage aus Not und Zwang arbeiten...» («Эти бедные люди, работающие во все будничные дни из нужды и подчиняясь насилию»). В русском тексте не только убраны «нужда и насилие», но и добавлена библейская цитата, против которой было труднее выдвинуть цензурные возражения.

В описании игр дофина с белкой русский вариант влагает в уста наследника французского престола относительно нейтральные слова: «Ты аристократ, великий аристократ, белка!». Однако в немецком варианте мальчик повторяет выкрики санкюлотов: «Warte, du, böser Aristocrat, ich will dich kriegen!» («Погоди, дрянной аристократ, я до тебя еще доберусь!»).

В описании положения Франции перед революцией обращают на себя внимание следующие изменения: «Французская монархия производила великих государей, великих министров, великих людей в разных родах; под ее мирною сению возрастали науки и художества; жизнь общественная украшалась цветами приятностей, бедной находил себе хлеб, богатой наслаждался своим избытком» — в немецком варианте слова «бедной находил себе хлеб, богатой наслаждался своим избытком» исключены, что явно обнаруживает их вынужденный цензурный характер. Вместо заключительной фразы этой тирады: «Но дерзкие подняли секиру на священное дерево, говоря: *мы сделаем лучше!*», в немецком тексте просто: «Was ist Frankreich jetzt?» («Что же Франция сегодня?»).

Наиболее значима, однако, разница между немецким и русским текстами в оценке английской конституции. Русский текст: «Спросите у Англичанина в чем состоят ее главные выгоды? Он скажет: *я живу, где хочу; уверен в том, что имею; не боюсь ничего, кроме законов.* Разогните же Магну Харту: в ней король утвердил клятвенно сии права для Англичан — и в какое время? когда все другие Европейские народы были еще погружены в мрачное варварство». Немецкий текст: «In einer Zeit, wo das übrige Europa noch in der finstersten Barbarey schmachtete, sicherten Englands Könige schon ihre Unterthanen von willkürlicher Gewalt. *Sicherheit des Eigenthums und Schutz der Gesetze* sind die beiden grossen Vortheile, welche die Magna Charta den Britten sichert». («В то время как остальная часть Европы еще томилась в самом мрачном варварстве, короли Англии уже защитили своих подданных от произвола власти. *Охрана собственности и защита законов* — таковы два крупных преимущества, которые Великая Хартия гарантирует британцам»). Мысль не только выражена со значительно большей определенностью, но изложена непосредственно от лица автора, которого в русском тексте заменяет некоторый условный англичанин.*

---

* Сопоставление перевода Рихтера с оригиналом выполнено Л. Е. Гениным.

ПИСЬМО В «ЗРИТЕЛЬ» О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

С удовольствием, милостивый государь, принимаю я ваше любезное приглашение и берусь за перо, чтобы сказать несколько слов о русской литературе, которую вы находите достойной внимания ваших читателей. Да, сударь, гений живет во всех климатах, и в России также есть люди с дарованием. Они достаточно скромны, чтобы не оспаривать пальмы признания у французских или немецких литераторов, но, читая их бессмертные творения, они могут сказать себе: «И мы художники!». Да, повсюду природа велика и возвышенна; повсюду она поражает наше сердце, приводя в движение тот первоисточник чувствительности, который равно обитает в сердце дикаря и Ж.-Ж. Руссо; повсюду есть люди, одаренные ею в превосходной степени, которые более других внимательны к феноменам мира физического и нравственного, в которых этот мир вызывает впечатления более живые и более глубокие и которые выражают эти впечатления с большей энергией и с большими оттенками. Таков источник всех талантов, в особенности же талантов поэтических, которые процветали среди русских задолго до Петра Великого.

У нас есть песни и романсы, сочиненные вот уже два или три века, в которых мы встречаем выражения любви и дружбы самые трогательные и наивные. Иногда это пастушка, оплакивающая смерть своего возлюбленного, убитого в сражении. Ей приносят его окровавленную одежду — она хочет омыть ее слезами. Иногда это Богатырь, странствующий рыцарь, скрепляющий кровью клятву дружбы и говорящий брату по оружию: «Видишь ли ты ту гранитную скалу, которая презирает бури? Такова будет моя постоянная дружба, которая ради тебя превозможет все бури жизни!» Иногда это юный пастух, поющий о благополучии своих овечек и услаждающий тем скуку одинокого своего существования, более естественно, чем госпожа Дезульер. Иногда это несчастный ссыльный, убегающий человеческого общества и скрываю-

щийся в темных лесах. Он живет с дикими зверьми и находит их менее жестокими, чем людей. Во всех этих песнях мера стиха весьма правильна и разнообразна, во всех царствует меланхолия и нежная склонность к печали, составляющая характер нашего народа и превосходно выраженная в напевах — очень простых, очень монотонных, но и очень трогательных.

Имеем также весьма старые рыцарские романы (герои которых, большею частью, военачальники князя Владимира, нашего Карломана) и волшебпые сказки, многие из которых заслуживают называться поэмами. Но более всего вас, быть может, изумит, сударь, что уже два года как в наших архивах был раскопан отрывок стихотворения, озаглавленный «Песнь воинов Игоря», которое достойно сравнения с лучшими отрывками из Оссиана. Оно сочинено неизвестным автором в двенадцатом веке. Энергический стиль, чувства возвышенного героизма, поражающие образы, почерпнутые из ужасов натуры, — таковы достоинства этого отрывка, в котором поэт, начертывая картину кровавого сражения, восклицает: «Ах! Я чувствую, что моя кисть слаба и медлительна, я не имею таланта Бояна, сего соловья времен прошедших!» Были же, значит, на Руси и до него великие поэты, чьи произведения поглощены веками! Наши летописи не называют этого Бояна, мы не знаем, ни когда он жил, ни о чем он пел. Но эта дань уважения, отданная его гению таким поэтом, заставляет живо сожалеть о потере его творений.

Когда Петр Великий разорвал занавес, скрывавший от наших глаз цивилизованные нации Европы и их успехи в искусствах, русский, униженный чувством своего несовершенства, но чувствовавший себя способным к просвещению, захотел подражать иностранцам во всем: как в образе жизни, так и в одежде, как в нравах, так и в искусствах. Он принялся перестраивать свой язык по образцам языка немцев и французов, и наша поэзия, наша литература сделались отголоском и копией их поэзии и их литературы.

С этого времени мы осуществляли, и достаточно успешно, опыты почти во всех литературных жанрах. У нас имеются эпические поэмы, являющие красоты Гомера, Виргилия и Тасса, мы имеем трагедии, вызывающие слезы, и комедии, заставляющие смеяться, романы, которые порой можно прочесть и без зевоты, остроумные сказки и проч. Мы не испытываем недостатка в чувствительности, воображении да, наконец, и в самом таланте. Но храм вкуса, но святилище искусства редко открываются перед нашими авторами. Дело в том, что мы пишем из прихоти, дело в том, что недостаточное ободрение не приохочивает нас к кропотливому труду. По той же причине рассудительная критика редка в России. Дело в том, что в стране, где чин решает все, слава имеет мало привлекательности.

Вообще у нас сочиняют более в стихах, чем в прозе. Это потому, что по милости рифмы можно себе позволить более небрежности, потому, что милую песенку можно прочесть в обществе милой женщине, в то время как произведение в прозе в большей мере требует идей зрелых.

В течение нескольких лет в Москве издается некий календарь муз, озаглавленный «Аониды», с эпиграфом, взятым из Шамфора:

> Chérissons le rival qui peut nous surpasser;
> Nommez-moi mon vainqueur, et je cours l'embrasser.*

Все наши поэты появляются на этой сцене, чтобы воспевать наслаждения или горести любви, улыбку весны или ужасы зимы, прелесть труда и прелесть лени, величие наших властителей и грацию наших пастушек. И потом они умолкают на целый год.

Прилагаемые здесь выдержки из одного прозаического произведения, вызвавшего в России некоторую сенсацию, заставят вас судить о нашей манере смотреть на вещи, описывать и анализировать произведения словесности.

Письма русского путешественника, в пяти томах, Москва, 1797.

Это произведение обязано частью своего успеха у русских читателей новизной предмета. Уже с довольно давних времен наши соотечественники ** путешествуют по чужим странам, но никто из них до сих пор не рассудил сделать этого с пером в руках. Автору этих писем такая мысль пришла первому, и ему удалось в высшей мере возбудить интерес публики. Это молодой человек, жадный до созерцания природы там, где она имеет вид более веселый и более величественный, чем в нашем отечестве, и в особенности жаждущий увидать великих писателей, творения которых развили первые способности его души: он вырвался из объятий своих друзей и отправился в путь — один со своим чувствительным сердцем. Все возбуждало его любопытство: достопримечательности городов, оттенки, отличающие манеру жизни их обитателей, памятники, напоминавшие ему какие-либо исторические события, какие-либо славные происшествия, следы великих людей, уже усопших, приятные ландшафты, зрелище плодородных полей и вид огромного моря. Порой он посещает старый замок, покинутый и в развалинах, чтобы там помечтать в свое удовольствие, теряясь мечтами во тьме прошедших времен; порой он является на пороге знаменитого автора, не имея другой рекомендации, кроме своего восторга перед его творениями. И почти всегда он принят хорошо. Но иногда он испытывал и маленькие неприятности. Кант, Николаи, Рамлер, Мориц, Гердер его принимают с дружелюбием и сердечностью, его очаровавшей. Тогда ему казалось, что он перенесен во времена древности, когда философы отправлялись увидать себе подобных в страны самые отдаленные и на-

---

* Будем лелеять соперника, который может нас превзойти; укажите мне моего победителя, и я поспешу заключить его в объятья (*франц.*)

** Мы публикуем эту статью, представляющую собой письмо, в таком виде, в каком оно было нам послано. Оно позволяет судить, в какой степени наш язык распространен в России среди писателей. Мы весьма сожалеем, что не можем назвать выдающегося писателя, которому мы им обязаны, но нам приходится уважать законы, которые его скромность нам предписывает.

ходили везде хозяев гостеприимных и друзей искренних. Но бессмертный автор «Агатона» с выражением досады говорит ему: «Сударь, я вас не знаю!» Он изумлен, смущен, уже хочет удалиться и отказаться от своей мании визитов такого рода. Но добрый Виланд смягчается, меняет тон, удерживает его, доверительно с ним говорит, и юный путешественник, проведя три часа в кабинете этого великого поэта, прощается с ним, проникнутый благодарностью, проливая слезы умиления. Во Франкфурте-на-Майне он узнал о французской революции. Это известие глубоко его взволновало. Он направляется в Эльзас, видит лишь беспорядки, слышит разговоры только о грабежах и убийствах и бежит в Швейцарию, чтобы там дышать воздухом мирной свободы. Он пересекает восхитительные равнины, где земледельцы спокойно наслаждаются плодами своих умеренных трудов. Он карабкается на высочайшие горы, покрытые вечным снегом, и там, на их величественных вершинах, преклоняет свои колени перед отцом вселенной. Живя запросто с альпийскими пастухами, он не остается нечувствительным к красоте пастушек и не без вздоха сожаления спускается в долины. В Цюрихе он обедает каждый день со знаменитым Лафатером, искренность и добродушие которого вызывают у него любовь, а ошибочные мнения — сожаление. Ему нравится в Берне, Лозанне, в Веве. В Кларане он перечел самые страстные из писем «Новой Элоизы». В Женеве он останавливается. Он принят во всех кружках и во всех обществах этого очаровательного города, присутствует в доме г-жи К. на лекции мистического характера, прочтенной графом-эмигрантом. Он познакомился со знаменитым Бонне и провел в Жанту восхитительные часы, «созерцая, как он говорил, созерцателя природы накануне его переселения в небесные области, читая на его божественном челе то нежное спокойствие, тот мирный сон души, которая, развив всю свою деятельность и достигнув высших степеней умственного совершенства, не имеет более дела на земле». С удовольствием останавливается он на всех мелочах, касающихся славного Бонне, нежного друга своей супруги, друга всех людей и благодетеля бедных. Автор совершил экскурсию в швейцарскую Савойю, ему кажется, что он видит тень Руссо на острове св. Петра, он в восторге с нею беседует и возвращается в Женеву читать только что появившееся продолжение его «Исповеди». Часто посещает он фернейский замок, откуда некогда исходили лучи света, рассеявшие тьму предрассудков в Европе, те лучи ума и чувства, которые заставляли всех людей порой смеяться, а порой плакать.

Наконец автор говорит: «прощай» прекрасному Женевскому озеру, прикрепляет к своей шляпе трехцветную кокарду, вступает во Францию, останавливается на несколько дней в Лионе, восхищается тонкостью обращения французов, напрасно ищет могилы Аманда и Аманды,* Фальдони и Терезы. Он продолжает путешествие и останавливается в Париже. Это то место, которого читатель ожидает с нетерпением, —

* Смотри «Тристрам Шенди».

отсюда его письма становятся интереснее и разнообразнее. Сначала он оглушен зрелищем величайшего и самого шумного города мира. Он чувствует необходимость привести в порядок свои впечатления и уезжает из Парижа, чтобы описывать Париж. В восхитительном Булонском лесу, сидя в тени развесистых деревьев, один в кругу оленей, игравших рядом с ним, он набрасывает картину этой столицы, или вернее, впечатлений, которые она произвела на него.

«История Парижа, — говорит он в заключение, — это история Франции и история цивилизации». Бегло набрасывает он историю Парижа, стараясь, однако, схватить все характерное, и кончает словами: «Французский народ прошел через все степени цивилизации, чтобы оказаться на той вершине, на которой он находится в настоящее время. Сравнивая его влекущийся шаг с быстрым полетом нашего народа к той же цели, говорят о чуде. Удивительно всесилие творческого гения, который, вырвав Россию из летаргического сна, в который она была погружена, направил ее на пути света с такой силой, что по прошествии малого числа лет мы находимся впереди вместе с народами, которые многие века обгоняли нас. Но здесь другие идеи и новые образы теснятся в моем уме: достаточно ли прочны сооружения, воздвигаемые с излишней поспешностью? Шествие Природы не является ли всегда постепенным и медленным? Блистательная иррегулярность может ли быть устойчивой и прочной? Вырастают ли великие люди из детей, которые с самого раннего возраста обучаются слишком многому?... Я умолкаю».

Наш путешественник присутствует на шумных спорах в Национальном Собрании, восхищается талантами Мирабо, отдает должное красноречию его противника аббата Мори, глядя на них, как на Ахиллеса и Гектора. Его вводят в некоторые парижские общества, и он застает еще милых маркизов, обворожительных аббатов, женщин-писательниц. Он слушает их рассуждения об *экспансивной* чувствительности и жалобы на разрушение хорошего общества, как на *самое гибельное* последствие революции. Он порядочно скучает в их кружках и бежит, чтобы рассеяться, в театры, спектакли которых его восхищают. Академии, памятники искусства, Пале-Рояль, окрестности Парижа дают материалы для многих из его писем, довольно пространных. Письма эти содержат любопытные происшествия, странные черты примечательных характеров и отличаются пикантностью. Мог ли путешественник, недавно стучавшийся у дверей всех немецких писателей, уклониться от того, чтобы выразить уважение французским литераторам? На одном из заседаний Академии изящной словесности он приближается с глубочайшим почтением к автору «Анахарсиса» и произносит ему несколько скифских, вернее, русских, приветствий, которые мудрый Бартелеми выслушивает с видом дружелюбия, свойственным афинской вежливости. Нашему путешественнику кажется, что он видит в нем мудрого Платона, принимающего с благосклонностью юного Анахарсиса, и эта аналогия ему бесконечно льстит. Он негодует против одного немецкого романиста, описывающего Мармонтеля как человека недостаточно светского и

грубой внешности; русский путешественник находит в его тоне и физиономии ту тонкость, то нежное выражение чувств, которые заставляют любить его «Нравственные сказки». То, что он говорит о Байи и Лавуазье, пробуждает болезненные воспоминания об их трагическом конце.

Наконец автор начинает говорить о революции... Можно было бы ожидать длинного письма, но оно содержит лишь несколько строк; вот они:

«Французская революция — одно из тех событий, которые определяют судьбы людей на много последующих веков. Новая эпоха начинается: я ее *вижу*, но Руссо ее *предвидел*. Прочтите примечание в „Эмиле", и книга выпадет из ваших рук. Я слышу декламации и „за" и „против", но я далек от того, чтобы подражать этим крикунам. Я признаюсь, что мысли мои об этом не достаточно зрелы. События следуют друг за другом как волны взволнованного моря, и есть еще люди, которые считают, что революция уже окончена! Нет! нет! Мы еще увидим много удивительных вещей. Крайнее волнение умов служит этому предзнаменованием. Опускаю занавес». Далее, говоря о характере французов, он замечает: «Скажу: огонь, воздух — и характер французов описан. В самом деле, это самый умный, самый чувствительный и самый легкомысленный народ. Все свойства общественные и все их последствия развиты у французов до высшей степени своего совершенства. Все вам улыбается здесь той улыбкой вежливости, которой напрасно мы пытались бы подражать и которая у немца или англичанина часто лишь неприятное притворство (чтобы не сказать *гримаса*). Но у милых французов она столь натуральна, столь грациозна! Я люблю мое отечество, но да будет мне позволено любить также и этот народ с его обольстительным обращением, которое вечно будет привлекать иностранцев во Францию. Говорят, что не тут следует искать искренних друзей. Ах! друзья везде редки, и не путешественнику их искать где бы то ни было, ему, который, подобно комете, являясь, исчезает. Дружба есть потребность жизни; всякий хочет для нее предмета надежного. Но все, чего по справедливости иностранец может требовать от людей, к которым он прибыл издалека, француз предлагает вам наиболее любезным образом. Ветренность, непостоянство, в которых его справедливо упрекают и которые составляют пороки его характера, искупаются в нем любезными свойствами души, происходящими от тех же пороков. Француз непостоянен, но зато и незлопамятен. Восторг утомляет его, ненависть — также. Ветреный, он покидает часто одно доброе ради другого, зато сам первый смеется над своею ошибкою и оплакивает ее, если в этом есть необходимость. Веселость, безрассудство — милые подруги жизни его. Как жадный англичанин, рассматривающий весь мир и людей лишь как предметы спекуляции на лондонской бирже, радуется открытию нового острова, так француз радуется *острому слову*, вызывающему смех. Чувствителен до крайности, страстно влюбляется в истину, в славу, во все великое и прекрасное; но любовники непостоянны! Эти минуты жара, энтузиазма, гнева могут увлечь его до крайностей ужасных, чему при-

мером служит революция. Жаль, если это великое событие должно переменить и характер народа; изменение, полагаю, не послужит ему к выгоде, и он перестанет быть тем, чем он сейчас является в моих глазах: *самым любезным* из всех народов».

Проведя четыре месяца в Париже (которые ему показались очень короткими), наш путешественник пакует свои чемоданы, садится в дилижанс, и вот он уже в Кале собирает цветы на мнимой могиле отца Лоренцо.* Он прибывает в Дувр, швыряет свою трехцветную кокарду в море, в последний раз прощается с Францией, посылая ей пожелания счастья, и ставит ногу на землю. Первое, что его поражает в Англии, — это красота женщин, нежная томность их глаз, выражение чувствительности во всех чертах, которые, кажется, говорят: «Я умею любить!»

Боюсь, чтобы этот отрывок не показался слишком длинным, и обойду молчанием десять писем, в которых путешественник дает отчет о своем пребывании в Лондоне, описывает экскурсии и наблюдения, которые он там делал. В заключение он говорит: «Люблю Англию, но не хотел бы провести в ней всю свою жизнь, люблю великолепное зрелище ее городов и радующих глаз деревень, ее парков и лугов, но не люблю ее печальный климат, вечные туманы, скрывающие солнце. Люблю твердый характер англичан, люблю даже их странности, но не люблю их угрюмой флегматичности. Люблю их промышленность, их честность в делах, но не люблю их искусной скупости, помышляющей о разорении всех других народов, не люблю их презрения к беднякам, возмущающего мое сердце. Люблю видеть, как они горды своей конституцией, но не люблю видеть, как они продают места в парламенте. Люблю легкий стиль Шеридана и Фокса, но не люблю ни их хладнокровия, ни монотонного падения их периодов. Люблю трагедии Шекспира, но не люблю лондонской безвкусной манеры их исполнения. Я не прочь от английской кухни, но я совсем не любитель продолжительных трапез, во время которых много пьют и мало веселятся. Наконец, я люблю англичанок больше, чем англичан, так как они, в большинстве, хорошо воспитаны, чувствительны и романтичны, а это — мой вкус. Я с удовольствием вернулся бы в Англию, но покидаю ее без сожалений».

Последнее письмо помечено Кронштадтом. Вот оно, чтобы завершить эти выписки:

«Земля, земля! Приветствую тебя, о мое отечество! Приветствую вас, мои любезные друзья! Еще несколько дней, и вы меня увидите в своем кругу. Доволен ли я результатами своего путешествия? Да, я ими доволен; я наслаждался, и этого довольно. Я видел цветущие берега величественного Рейна, великолепные Альпы, прекрасный Лиман, веселые равнины Франции, плодородные поля Англии, и я всегда буду с удовольствием думать о них. Я видел великих людей, и их священные образы навсегда запечатлелись в моей душе, боготворящей все, что есть

* Смотри «Сентиментальное путешествие» Стерна.

прекрасного в природе человека. Я видел главные народы Европы, их нравы, обычаи, оттенки характеров, происходящие от разницы климатов, степени просвещения и, в особенности, формы правления; я их видел, и я научился быть более осторожным в моих суждениях о достоинствах и *недостоинствах* целых народов. Наконец я собрал достаточно предметов, чтобы занимать мой рассудок, мой ум и мое воображение в часы сладостного покоя, который — предмет моих желаний. Пусть другие гоняются за состоянием и чинами; я презираю роскошь и те пустые знаки различий, которые ослепляют чернь. Но я хочу быть полезным моей родине; я хочу быть достойным уважения публики. И, если самолюбие меня не ослепляет, я могу этого добиться, трудясь на поприще лучшего из искусств — искусства слова — источника стольких наслаждений для тонких душ, столь заполняющего пустоту жизни. «Прекрасно лишь то, чего нет», — сказал Ж.-Ж. Руссо. Пусть! если это прекрасное всегда от нас ускользает, как легкая тень, поймаем его по крайней мере в нашем воображении, устремимся в область сладких химер, будем набрасывать прекрасный идеал, обманем сами себя и тех, кто достоин быть обманутым. Ах! если я не смог найти счастья на земле, может быть, я смогу его живописать — это уже значит быть, в некотором смысле, счастливым! Друзья мои! Приготовьте мне простое сельское жилище, опрятное, с маленьким садом, где я мог бы найти всего понемногу: зелени, цветов весной, тени летом, плодов осенью. Пусть в моем кабинете будет камин для зимы и книги на любой сезон! Дружба разделит мои удовольствия и горести. Что до любви... о ней мы будем говорить в наших стихах». Автор потом написал их много.

NN

LETTRE AU SPECTATEUR SUR LA LITTÉRATURE RUSSE

C'est avec bien du plaisir, monsieur, que je me rends à votre obligeante invitation, et prends la plume pour dire quelques mots sur notre littérature, que vous voulez bien supposer digne de l'attention de vos lecteurs. Oui, Monsieur, le génie est de tous les climats, et en Russie même il y a des gens à talens, qui sont assez modestes pour ne pas disputer la palme aux littérateurs français, allemands etc., mais qui, en lisant leurs immortels ouvrages, peuvent se dire: *et nous aussi nous sommes peintres*! Oui, partout la nature est grande et sublime; partout elle frappe à notre coeur, pour émouvoir ce principe de sensibilité, qui réside dans l'âme d'un sauvage, aussi bien que dans celle de J. J. Rousseau; partout il est des hommes, qui en sont doués dans un degré supérieur; qui, plus que les autres, sont attentifs aux phénomènes du monde physique et moral; qui en reçoivent des impressions plus vives, plus profondes, et les expriment avec plus d'énergie, plus de nuances.

Et voilà l'origine de tous les talens; voilà surtout celle de la poësie, que les Russes cultivoient bien avant le tems de Pierre le Grand.

Nous avons des chansons, des romances, faites il y a deux ou trois siècles, où l'on trouve l'expression la plus touchante, la plus naïve de l'amour, de l'amitié etc. Tantôt c'est une bergère, qui pleure la mort de son amant, tué dans un combat, et dont on lui apporte l'habit ensanglanté, qu'elle veut laver de ses larmes; tantôt c'est un *Bogatir*, un chevalier errant, qui scelle de son sang le serment d'amitié, et dit à son frère d'armes: «Vois-tu ce rocher de granit, qui brave les orages? Telle sera mon amitié constante qui bravera pour toi les orages de la vie!» Tantôt c'est un jeune pasteur qui chante le bonheur de ses brebis, avec plus de naturel que Madame Deshoulières, et charme ainsi l'ennui de son existence isolée: tantôt c'est un malheureux proscrit qui fuit la société, s'enfonce dans les noires forets, vit avec les bêtes féroces, et les trouve moins cruelles que les hommes. Dans toutes ces chansons, la cadence des vers est très régulière est très variée; dans toutes règne une mélancolie, un doux penchant à la tristesse, qui fait le caractère de notre peuple, et qui est parfaitement bien exprimé dans des airs très simples, très monotones, mais très touchans.

Nous avons aussi de bien vieux romans de chevalerie (dont les héros sont pour la plupart des généraux du prince Wladimir, notre Charlemagne) et des contes de fées, dont plusieurs méritent le nom de poëmes. Mais ce qui vous surprendra peut-être davantage, Monsieur, c'est qu'on a déterré, il y a deux ans, dans nos archives, le fragment d'un poëme, intitulé *le Chant des guerriers d'Igor*, qui peut être mis à côté des plus beaux morceaux d'Ossian, et qui a été fait dans le douzième siècle par un auteur inconnu. Un style énergique, des sentimens d'un héroïsme sublime, des images frappantes, puisées dans les horreurs de la nature, sont le mérite de ce fragment, où le poëte, trançant le tableau d'un combat sanglant, s'écrie: «Ah! je sens que mon pinceau est foible et languissant; je n'ai pas le talent du grand *Bayan*, ce rossignol des tems passés!» Il y avait donc en Russie, avant lui, de grands poëtes, dont les ouvrages sont engloutis par les siècles! Nos annales ne nomment point ce *Bayan*; nous ne savons ni quand il a vécu, ni ce qu'il a chanté. Mais cet hommage, rendu à son génie par un tel poëte, fait vivement regretter la perte de ses ouvrages.

Quand Pierre le Grand déchira le rideau qui cachoit à nos yeux les nations civilisées de l'Europe et les progrès de leurs arts, le Russe, humilié par le sentiment de son infériorité, mais se sentant capable d'instruction, voulut imiter les étrangers en tout, dans la façon de vivre comme dans le costume, dans les moeurs comme dans les arts; il modela sa langue sur celle des Allemands, des Français, et notre poësie, notre littérature devinrent l'écho et la copie des leurs.

Depuis ce tems, nous nous sommes essayés, avec assez de succès, dans presque tous les genres de littérature. Nous avons des poëmes épiques, qui présentent les beautés d'Homère, de Virgile, du Tasse: nous avons des tragédies qui font pleurer, des comédies qui font rire, des romans qu'on lit quelquefois sans bailler, des contes faits avec esprit, etc., etc. La sensibilité, l'imagination, les talens enfin ne nous manquent point; mais le temple du goût, mais

le sanctuaire de l'art s'ouvrent rarement devant nos auteurs. C'est que nous écrivons par boutades; c'est que le peu d'encouragement ne nous invite point à une étude assidue; c'est que, par la même raison, les critiques judicieux sont rares en Russie; c'est que dans un pays, où le rang fait tout, la renommée a peu de charmes.

En général on fait chez nous plus de vers que de prose; parcequ'à la faveur de la rime, l'on se permet plus de négligences, qu'on peut lire une jolie chanson en société à une jolie femme, et qu'un ouvrage en prose demande plus d'idées mûres. Depuis quelques années, on publie un Almanach des Muses à Moscou, sous le titre des *Aonides*, avec cette épigraphe prise de Chamfort:

Chérissons le rival qui peut nous surpasser;
Nommez-moi mon vainqueur, et je cours l'embrasser.

Tous nos poëtes y paroissent sur la scène, pour chanter les délices ou les peines de l'amour, le sourire du printems ou les horreurs de l'hiver, les charmes de l'étude ou ceux de la paresse, la grandeur de nos souverains ou les graces de nos bergères; et puis ils se taisent pour toute l'année.

L'extrait ci-joint d'un ouvrage en prose, qui a fait quelque sensation en Russie, vous fera juger de notre manière de voir les choses, d'écrire et d'analyser les productions littéraires.

Lettres d'un voyageur russe, en cinq vol. Moscou 1797.

Cet ouvrage doit en partie son succès à la nouveauté du sujet pour les lecteurs russes, Depuis assez longtems nos compatriotes * voyagent dans les pays étrangers; mais aucun d'eux, jusqu'à présent, ne s'est avisé de le faire sa plume à la main. L'auteur de ces lettres a eu le premier cette idée, et il a parfaitement réussi à intéresser le public. C'est un jeune homme, avide de voir la nature là où elle se présente sous des aspects plus riants, plus majestueux que dans notre pays, et surtout avide de voir les grands écrivains, dont les ouvrages ont développé les premières facultés de son âme: il s'arrache des bras de ses amis, et part seul avec son coeur sensible. Tout l'intéresse: les curiosités des villes, les nuances qui distinguent leurs habitans dans la manière de vivre, les monumens qui lui rappellent quelque fait d'histoire, quelque événement célèbre; les traces des grands hommes qui ne sont plus, les sites agréables, la vue des champs fertiles et celle de la mer immense. Tantôt il visite un vieux chateau, abandonné et en ruine, pour y rêver à son aise et se perdre avec ses idées dans la nuit des tems passés; tantôt il se présente à la porte des auteurs célèbres, sans autre recommandation que son enthousiasme pour leurs écrits; et presque toujours il en est bien reçu. Mais quelquefois il essuie aussi de petites mortifications. Kant, Nocolaï, Ramler, Moritz, Herder l'accueillent avec une aménité et une cordialité qui l'enchantent; et alors

* Nous donnons cet article comme la lettre, tel qu'il nous a été envoyé; il pourra faire juger jusqu'à quel point notre langue est cultivée en Russie par les gens de lettres. Nous avons le plus grand regret de ne pouvoir nommer le littérateur distingué a qui nous le devons; mais nous devons respecter la loi que sa modestie nous a imposée.

il se croit transporté dans ces tems anciens, où les philosophes alloient voir leurs semblables dans les pays les plus éloignés et trouvoient partout des hôtes hospitaliers et des amis sincères. Mais quand l'immortel auteur *d'Agathon*, dans un accès de mauvaise humeur, lui dit: «Monsieur, je ne vous connois pas!» il est étonné, pétrifié; déjà il veut s'éloigner et renoncer à sa manie pour cette sorte de visites; mais le bon Wieland s'adoucit, change de ton, le retient, lui parle avec confiance; et le jeune voyageur, après avoir passé trois heures dans le cabinet de ce grand poëte, lui dit adieu, pénétré de reconnoissance et pleurant d'attendrissement. C'est à Francfort-sur-le-Mein, qu'il apprend la nouvelle de la révolution française; il en est vivement agité; il entre en Alsace, ne voit que des troubles, n'entend parler que de vols, d'assassinats, et court en Suisse, pour y respirer l'air d'une liberté paisible; il traverse ces vallons délicieux, où les laboureurs jouissent tranquillement des fruits de leur travail modéré; il grimpe sur les montagnes les plus élevées, couvertes de neiges éternelles, et là, sur leur cime majestueuse, il fléchit le genou pour adorer le père de l'univers; il vit familièrement avec les bergers des Alpes, ne devient que trop sensible à la beauté des bergères, et ne descend qu'à regret dans les plaines. A Zurich, il dine tous les jours avec le célèbre Lavater, dont il aime la franchise, la bonhomie, mais dont il plaint les opinions erronées. Il se plait à Berne, à Lausanne, à Vevay; il relit à Clarens les lettres les plus passionnées de la *Nouvelle Héloïse*, et se fixe à Genève. Il est admis dans tous les cercles, dans toutes les sociétés de cette charmante ville, assiste dans la maison de Mme. C. aux leçons mystiques d'un comte émigré, fait la connoissance du célèbre Bonnet, et passe à Genthou des heures délicieuses, «en contemplant, comme il le dit, le contemplateur de la nature, à la veille de son départ pour les régions célestes; en lisant sur son front auguste cette douce tranquillité, ce paisible sommeil d'une âme, qui, après avoir déployé toute son activité, et atteint le plus haut degré de la perfection intellectuelle, n'a plus rien à faire sur la terre». On s'arrête avec plaisir à tous les détails qui concernent le célèbre Bonnet, ami tendre de son épouse, ami de tous les hommes et bienfaiteur des pauvres. — L'auteur fait des excursions en Savoye, en Suisse; croit voir l'ombre de J. J. Rousseau dans l'ile de St. Pierre, lui parle dans ses extases, et revient à Genève lire la suite de ses *Confessions* qui venoit de paroître. Il visite souvent le chateau de Ferney, d'où partoient autrefois ces traits de lumière, qui ont dissipé les ténèbres de la superstition en Europe; ces traits d'esprit et de sentiment, qui faisaient tantôt rire et tantôt pleurer tous les hommes.

Enfin l'auteur dit adieu au beau lac de Genève, attache à son chapeau la cocarde tricolore, entre en France, fait quelque séjour à Lyon, s'extasie de la politesse française, et cherche en vain le tombeau d'Amandus et d'Amanda,* celui de Faldoni et de Thérèse; il poursuit son voyage, et se fixe à Paris. C'est ici que le lecteur l'attendoit; c'est ici que ses lettres acquièrent plus d'intéret et de variété. D'abord, il est étourdi par le spectacle de la plus grande et la plus bruyante ville du monde; il sent le besoin du re-

* Voyez *Tristram Shandy*.

cueillement, et sort de Paris pour le peindre. C'est dans le charmant *bois de Boulogne*, assis à l'ombre des arbres touffus, seul parmi les cerfs qui venoient jouer autour de lui, qu'il esquisse le tableau de cette capitale, ou plutôt celui des impressions qu'elle a faites sur lui.

«L'histoire de Paris, dit-il ensuite, est celle de la France et de la civilisation». Il la parcourt rapidement, mais tâche de saisir tous les traits caractéristiques, et finit par dire: «La nation française a donc passé par tous les degrés de la civilisation pour arriver au point où elle se trouve actuellement. En comparant sa marche trainante au vol rapide de notre peuple vers le même but, on crie au miracle; on s'étonne de la toute-puissance d'un génie créateur, qui, arrachant tout d'un coup la nation russe au sommeil léthargique, dans lequel elle étoit plongée, l'a poussée dans la carrière des lumières avec tant de force, que dans peu d'années, nous voila marchant de front avec les peuples qui s'y avançoient bien des siècles avant nous. Mais ici d'autres idées et d'autres images se présentent à mon esprit: ces batimens qu'on élève avec trop de précipitation, sont-ils assez solides? La marche de la nature n'est-elle pas toujours graduelle et lente? Ces irrégularités brillantes peuvent-elles être stables et sures? Ces enfans, à qui l'on apprend trop de choses des leurs premières annés, deviennent-ils de grands hommes? . . . Je me tais».

Notre voyageur, assiste aux discussions bruyantes de l'assemblée nationale, admire les talens de Mirabeau, rend justice à l'éloquence de son adversaire l'abbé Maury, et les regarde comme Achille et Hector. — Il est introduit dans quelques sociétés de Paris, voit encore d'aimables marquis, de charmans abbés, des femmes-auteurs; il les entend raisonner sur la sensibilité *expansive* et se lamenter sur la ruine de la bonne compagnie, comme sur l'effet *le plus funeste* de la révolution; il s'ennuie passablement dans leurs cercles, et court, pour se délasser, aux spectacles, qui l'enchantent. Les académies, les monumens des arts, le Palais Royal, les environs de Paris font le sujet de plusieurs lettres assez longues; celle qui contient des anecdotes curieuses, des traits singuliers, des caractères remarquables et très piquante. — Le voyageur, qui venoit de frapper à la porte de tous les auteurs allemands, manqueroit-il de présenter ses hommages aux littérateurs français? Dans une séance de l'académie des belles lettres, il s'approche avec la plus profonde vénération de l'auteur *d'Anacharsis*, et lui fait quelques complimens à la scythe ou bien à la russe, que le sage Barthélemy écoute avec cet air d'aménité qui caractérisoit la politesse athénienne. Notre voyageur croit voir en lui le sage Platon, accueillant avec bonté le jeune Anacharsis, et cette analogie de situation le flatte infiniment. — Il s'élève avec indignation contre un romancier allemand, qui dépeint Marmontel comme un homme peu poli et d'un extérieur grossier; le voyageur russe trouve, dans son ton et dans sa physionomie, cette finesse, cette douce expression de sentiment, qui fait aimer ses *Contes Moraux*. — Ce qu'il dit sur Bailly et Lavoisier réveille le souvenir douloureux de leur fin tragique.

Enfin l'auteur va parler de la révolution. . . On s'attendroit à une longue lettre; mais elle ne contient que quelques lignes; les voici:

«La révolution française est un de ces événemens, qui fixent les destinées des hommes pour une longue suite de siècles. Une nouvelle époque commence; je le *vois*, mais Rousseau l'a *prévu*. Lisez une note dans *Emile*, et le livre vous tombera des mains. J'entends des déclamations pour et contre, mais je suis loin d'imiter ces crieurs. J'avoue que mes idées là-dessus ne sont pas assez mûres. Les événemens se suivent comme les vagues d'une mer agitée; et l'on veut déjà regarder la révolution comme finie! Non! non! On verra encore bien des choses étonnantès; l'extrême agitation des esprits en est le présage. Je tire le rideau». — Puis, en parlant du caractère français, il dit: «Je vous nomme l'air et le feu, et le caractère des Français est déjà défini. En effet, c'est la nation la plus spirituelle, la plus sensible et la plus legère. Toutes les qualités sociales, et tous les mouvemens qui en proviennent, sont chez les Français à l'apogée de leur perfection. Tout vous sourit ici, et ce sourire de politesse, que nous voudrions imiter en vain, et qui chez un Allemand, chez un Anglais, n'est très souvent qu'une affectation desagréable (pour ne pas dire *grimace*), est quelque, chose de si naturel, de si gracieux chez ces Français aimables! Je chéris ma patrie; mais que l'on me permette d'aimer aussi ce peuple et ses manières séduisantes, qui attireront toujours les étrangers en France. On dit que ce n'est pas ici qu'il faut chercher des amis sincères: des Amis! Ah! ils sont rares dans tous les pays, et ce n'est pas à un voyageur d'en trouver où que ce soit, lui qui n'est qu'une comète qui paroît et disparoît. L'amitié est un besoin de la vie; on veut quelque chose de solide pour son objet. Mais tout ce qu'un étranger peut raisonnablement exiger des gens qu'il vient voir de loin, les Français vous l'offrent de la manière la plus obligeante. Cette légèreté, cette inconstance, qu'on leur reproche justement, et qu'il faut bien placer parmi les défauts de caractère, sont rachetés chez eux par de belles, qualités de l'âme, qui tiennent à ces mêmes défauts. Le Français est changeant; mais, en revanche, il n'est pas haineux; l'admiration le fatigue, la haine aussi. Etourdi, il quitte souvent le bien pour un autre, rit le premier de ses erreurs, et en pleure même, s'il le faut. La gaieté, la folie sont les aimables compagnes de sa vie; *le petit mot pour rire* lui fait autant de plaisir, que la découverte d'une nouvelle ile à l'Anglais avare, qui regarde le monde et les hommes comme un objet de spéculation pour la bourse de Londres. Sensible à l'extrême, il devient l'amant le plus passionné de la vérité, de la gloire, de tout ce qui est grand et beau; mais les amans sont volages! Ces momens d'engouement, d'enthousiasme, de colère peuvent le porter à des excès terribles: ceux de la révolution en fournissent la preuve. Enfin ce seroit bien dommage, si ce grand événement devoit changer tout à fait le caractère de la nation; je crois qu'elle perdroit au change; et cesseroit d'être ce qu'elle était toujours à mes yeux, *la plus aimable* de toutes les nations».

Après un séjour de quatre mois à Paris (qui lui ont paru bien courts), notre voyageur fait ses paquets, monte dans la diligence, et le voila à Calais, cueillant des fleurs sur le tombeau prétendu du père Lorenzo.* Il s'embarque pour Douvres, jette sa cocarde tricolore dans la mer, fait à la France ses der-

* Voyez le *Voyage sentimental* de Sterne.

niers adieux, forme des voeux pour son bonheur, met pied à terre; — et la première chose qui le frappe en Angleterre, c'est la beauté des femmes, la douce langueur de leurs yeux, l'expression de sensibilité dans tous leurs traits, qui partoit dire: «Je sais aimer!»

Je crains que cet extrait ne soit par trop long, et je passe sous silence les 10 lettres où le voyageur rend compte de son séjour à Londres, des connoissances, des observations, qu'il y fait. Enfin, il se résume et dit: «J'aime l'Angleterre, mais je ne voudrais pas y passer toute ma vie. J'aime l'aspect de ses villes superbes et de ses campagnes riantes, ses parcs et ses prairies; mais je n'aime pas son triste climat, ses brouillards éternels, qui enveloppent le soleil. J'aime le caractère ferme des Anglais et même leurs singularités; mais je n'aime pas leur phlegme morose. J'aime leur industrie, leur probité dans les affaires; mais je n'aime pas leur avarice savante, qui médite la ruine de tous les autres peuples, ni leur mépris pour la pauvreté, qui révolte mon coeur. J'aime à les voir fiers de leur constitution; mais je n'aime pas à les voir trafiquer les places au parlement. J'aime la facile élocution de Sheridan, de Fox; mais je n'aime pas leur froide action, ni la chûte monotone de leur périodes. J'aime les tragédie de Shakespeare, mais je n'aime pas la manière insipide, dont on les joue à Londres. J'aime assez la cuisine anglaise; mais je n'aime pas du tout cette longue durée des repas, où l'on boit beaucoup, et où l'on s'amuse peu. Enfin j'aime les Anglaises plus que les Anglais, parce qu'elles sont, pour la plupart, bien élevées, sentimentales et romanesques, ce qui est de mon goût. Je reviendrois avec plaisir en Angleterre, mais je la quitte sans regret.»

La dernière lettre est datée de Cronstadt. La voila pour terminer cet extrait:

«Terre, terre! je te salue, ô ma patrie! Je vous salue, ô mes tendres amis! Encore quelques jours, et vous me verrez au milieu de vous. Suis-je content du résultat de mon voyage? Oui, je le suis; j'ai joui, et c'est assez. J'ai vu les bords fleuris du Rhin majestueux, les Alpes superbes, le beau Léman, les plaines riantes de la France, les champs fertiles de l'Angleterre, et j'y penserai toujours avec bien du plaisir. J'ai vu de grands hommes, et leur image sacrée s'est imprimée dans mon âme, idolâtre de tout ce qui est beau dans la nature humaine. J'ai vu les premières nations de l'Europe, leurs moeurs, leurs usages et ces nuances de caractère, qui resultent du climat, des différens degrés de civilisation et surtout de la forme du gouvernement; je l'ai vu, et j'ai appris à être plus reservé dans mes jugemens sur le mérite et *le démérite* des peuples entiers. Enfin j'ai ramassé bien des sujets pour occuper ma raison, mon esprit et mon imagination dans les heures de ce doux loisir, qui est l'objet de mes voeux. Que les autres courent après la fortune et les rangs; je méprise le luxe et ces marques futiles de distinction qui éblouissent le vulgaire; mais je voudrois mériter de ma patrie; je voudrois me rendre digne de l'estime publique; — et si l'amour propre ne m'aveugle point, je peux y parvenir en cultivant le plus beau de tous les arts, celui d'écrire, qui est la souce de tant de délices pour les âmes delicates, et qui remplit si bien le vide de la vie. *Il n'y a rien de beau que ce qui n'est pas*, dit J. J. Rousseau. Eh bien! si ce beau, comme une ombre légère, nous échappe toujours, saisissons le du moins

par notre imagination; élançons nous dans les régions des douces chimères; esquissons le beau idéal; trompons nous nous-mêmes et ceux qui sont dignes d'être trompés. Ah! si je ne sais pas trouver le bonheur dans la vie, je saurai peut-être le peindre; c'est toujours être heureux en quelque façon, c'est toujours quelque chose! — Mes amis! préparez moi une habitation champêtre bien simple, mais où règne la propreté, avec un petit jardin, où l'on puisse trouver un peu de tout, de la verdure, des fleurs pour le printems, de l'ombre pour l'été, des fruits pour l'automne. Que j'aie dans mon cabinet une petite cheminée pour l'hiver, et des livres pour toutes les saisons! L'amitié y viendra partager mes plaisirs et mes peines; quant à l'amour. . . nous en parlerons dans nos vers». L'auteur en a fait beaucoup depuis.

NN

ПЕРЕПИСКА КАРАМЗИНА С ЛАФАТЕРОМ

1786—1790

КАРАМЗИН К ЛАФАТЕРУ

I

Москва, 14 августа 1786.

К кому намереваюсь я писать? К Лафатеру? Да! я намерен писать к тому, кто наполнил сердце мое пламенной любовью и высоким уважением.

Но обладаю ли я теми великими талантами, которыми мне надлежало бы обладать для того, чтобы осмелиться писать к великому Лафатеру? .. Порочное себялюбие слишком ослепляло бы меня, если б я ответил «да» на этот вопрос. Нет! этими талантами я совсем не обладаю; к тому же недостаточно знаю немецкий язык. Однако напрасны все доводы благоразумия, чтобы отвратить меня от моего столь смелого предприятия! Сердце мое не позволяет мне выпустить перо из рук и — я пишу!

Если б я не был уверен, что смертные слишком слепы, дабы провидеть пути Господни, что им не дозволено жаловаться на свою судьбу, то я бы воскликнул с чувством похожим на сожаление: Господи! для чего я родился так далеко от того, кого сердце мое так сильно любит и так высоко чтит, хотя я и не знаю его лично? О, как было бы хорошо, если б солнце, вестник Твоей благости, возглашало мне о Твоих благодеяниях там, где голос Лафатера призывает сердца юношей к истинной мудрости? .. Но... я должен молчать.

Простите мне, благородный муж, мою восторженность, если только излияния сердечные заслуживают этого названия.

Всеми силами буду я стараться укрощать порывы моего сердца и, насколько возможно, разумнее продолжать мое послание.

Знаете ли вы, что один русский юноша имел счастие читать Ваши сочинения; чем более он их читал, тем живее чувствовал он их достоинства. «Как велик должен быть их автор, — думал он про себя. — О, если б я мог увидеть этого великого человека! Каким счастливцем, о, каким счастливцем считал бы я себя тогда! .. Но как это возможно? Отделенный от него несколькими странами, я никак не надеюсь на такое счастие. Но не могу ли я написать к нему письмо? Не могу ли сказать ему, что я его высоко чту, что я люблю его? Да, это я могу сделать; это я сде-

лаю». — Юноша не хочет терять ни одной минуты, берет перо в руки и начинает писать свое письмо.

Этот юноша — я сам, и так как я юноша, то вы должны мне простить, что я своим письмом прерываю более важные занятия ваши.

Расскажу вам всю свою повесть, чтобы дать вам о себе верное понятие.

Когда я был еще мальчиком, то предавался изучению языков; особенно любил я немецкий язык, хотя сам не знал, почему отдавал ему предпочтение перед другими языками. Учителем моим был немецкий профессор. Я имел счастие снискать его благорасположение; он полюбил меня, и я тоже его полюбил. Но я не мог учиться у него столько времени, сколько бы желал; как дворянин, я должен был вскоре посвятить себя военной службе. Однако же, увидев, что эта служба вынуждает меня отказаться от всех прежних моих занятий (ведь военное дело не имеет ничего общего с ученостью), я скоро покинул военную службу, хотя и поступил против воли моих родных. Итак, уже на восемнадцатом году я был в отставке и мечтал заниматься только книгами. В то же время позволял я себе наслаждаться удовольствиями большого света, причем однако ж думал, что они не в состоянии произвести на меня сильное впечатление или отвратить меня от моих книг. Но вскоре я увидел, что сердце мое меня обмануло: я сделался большим любителем светских развлечений, страстным картежником. Однако же благое Провидение не захотело допустить меня до конечной погибели; один достойный муж открыл мне глаза, и я сознал свое несчастное положение. Сцена переменилась. Внезапно все обновилось во мне. Я вновь принялся за чтение и почувствовал в душе своей сладостную тишину. Такой же образ жизни продолжаю я вести и теперь, и живу в Москве в кругу моих истинных друзей и руководителей. О, когда-то благая судьба позволит мне включить в их число и великого Лафатера!

Теперь вы уже знаете, кто я такой. Да будет вам известно, что мне еще нет двадцати одного года. Но это к делу не идет: я молод, но уверен, что Лафатер великий человек и истинный христианин. Пусть сумасбродный француз кричит до изнеможения легких! Всякий разумный человек согласится, что французы — сумасброды.

Станет ли у меня духу сказать вам, что́ я думаю! Я думаю кое-что такое, о чем можно только думать. Нет! не могу допустить, чтобы эти мысли остались одними мыслями. Знайте же, что я хочу вас о чем-то спросить, но я и сам знаю, что просьба моя слишком смела. Я прошу у вас ответа на мое письмо. Будьте так добры, напишите мне, что вы неравнодушны к моей любви и почтению к вам. Как буду я тогда блаженствовать! Как буду вас благословлять! О, если б вы могли заглянуть в мое сердце, то вы наверное ответили бы мне и сказали, что не считаете меня недостойным своего расположения! Позвольте же мне питать сладостную надежду когда-нибудь получить от вас письмо. Вы можете найти во мне верного корреспондента, который не оставит без обстоятельного ответа ни одного вашего вопроса, сделанного, может быть, для более близкого знакомства с нашею страною.

Итак, если вы соблаговолите написать ко мне, то пишите по следующему адресу: «Господину *Кутузову*, живущему в доме господина Новикова в Москве». Этот Кутузов мой приятель и вручит мне ваше письмо вернейшим образом. — Прощайте, великий и благородный муж! Никогда не перестану я быть

Вашим покорнейшим слугой и истинным почитателем

Николай Карамзин.

P. S. Простите мне все ошибки языка, которые вы, может быть, встретите в моем письме; ведь я не немец и ни с кем еще не обменивался немецкими письмами.

ЛАФАТЕР К КАРАМЗИНУ

1

Цюрих, 30 марта 1787.

Мой милый господин Карамзин,

Только сегодня, в пятницу вечером 30-го марта, получил я ваше письмо из Москвы от 14-го августа 1786 — и потому не хочу откладывать письмо мое к вам, хотя наступающая Страстная неделя и не позволяет мне очень распространяться. Я бы мог пожелать, чтобы ваше милое, сердечное, наивное письмо содержало хоть один или два особенных вопроса, что послужило бы мне материалом для ответа, которого вы так настоятельно требуете. Мне бы хотелось сказать вам что-нибудь такое, чтó сделало бы мое письмецо полезным для вас и заслуживающим чтения. Но чтó же я могу сказать? Если б вы меня увидели, то я представился бы вам совсем другим человеком, нежели каким вы меня воображаете. Я ни более, ни менее как бедный слабый смертный, которому приходится ежедневно настраивать свое Κύριεἐλέησον ‹господи, помилуй›. При всем том, я постоянно стремлюсь быть веселее, чтобы другим было веселее, быть спокойнее и сильнее, чтоб распространять вокруг себя больше спокойствия и силы.

Желал бы я каким-нибудь способом оказать и вам пользу! — Из всех своих сочинений я ничего не рекомендую вам, кроме моих «Братских посланий к юношам». В них, я надеюсь, кое-что благотворно подействует на ваше жаждущее истины сердце.

Будьте так добры, поклонитесь Ленцу и передайте ему прилагаемый листок, а если встретите в Москве доктора Френкеля или пастора Бруннера, то уверьте их в моей неизменной дружбе. Остаюсь искренне вам преданный

Иоганн Каспар Лафатер,
пастор при церкви св. Петра.

КАРАМЗИН К ЛАФАТЕРУ

II

Москва, 20-го апреля 1787.

Вчера, 19 апреля, получил я ваше письмо от 30 марта. Мне едва верилось, что письмо это от вас. Так невероятно казалось мне получить письмо от Лафатера. В то время, как я писал к вам, я надеялся на ответ от вас; но когда письмо мое было отправлено и я мог на досуге обдумать дело, то нашел свой поступок и свою надежду неразумными. Часто, очень часто спрашивал я себя: Для чего ты писал к Лафатеру? Не для того ли, чтобы сказать ему, что его творения осветили многие мрачные часы твоей жизни, что сердце твое преисполнено любви и уважения к нему? Хорошо, но разве ты от него не требовал настоятельного ответа? Написал ли бы ты к нему, если б был совершенно уверен, что он тебе не ответит? И можешь ли ожидать ответа, не выказав слабости своего рассудка, так как тысячи людей с таким же правом могли бы предъявить подобное требование, почему и невозможно было бы удовлетворить ни их, ни тебя? Неужели же тот, кто посвятил все дни и все часы своей жизни на пользу человечества, тот, кто так занят, что никогда не имеет отдыха и не может думать, если смею так выразиться, о частной пользе, чтобы не терять из виду общего блага, — неужели такой человек должен жертвовать хотя бы несколькими минутами своего кратковременного сна для переписки с юношей, не только отдаленным от него, но и не имеющим в себе ничего такого, что было бы достойно его внимания, — вовсе не обладающим теми качествами, которыми друзья этого человека должны отличаться от всех других людей? — — Такие вопросы заставляли меня краснеть от стыда.

Лафатер! не сон ли это! получил ли юноша в самом деле письмо от этого мужа? — О, да! это уже не сон; письмо, которое я перечитал уже не одну сотню раз, лежит передо мною. — Я радуюсь, потому что имею причину радоваться.

Я трепетал от радости, когда читал и вновь перечитывал ваше письмо. Раз десять восклицал я: «Лафатер! Вы судите не так, как я. Вы знаете, что́ вам делать и чего не делать». Не было ли с моей стороны новой дерзостью хотеть так точно определить ваш круг действий и решить: «того или другого он сделать не может?». — Как изменчив человек! Его помыслы, верованья и надежды — что апрельская погода: солнце, ветер, дождь, снег, и опять солнце!

Перейдем теперь к содержанию вашего бесценного, отрадного сердцу письма.

Вы не хотели ни на один день отложить своего ответа, хотя приближение Страстной недели не позволяло вам, как вы выразились, «распространяться», а я бы сказал: отвечать на подобные письма. Но вы — сама доброта, и написали ко мне. — Вы желали бы, чтобы письмо мое (опускаю ваши любезные эпитеты) содержало какие-нибудь два особые во-

проса, которые послужили бы вам материалом для ответа. — Теперь, видя, что это было бы вам не противно, я и сам желал бы того. Когда же я писал к вам, то имел в виду только излить перед вами чувства моего сердца, не быв в состоянии говорить о чем-нибудь философском. О, если б мне и теперь дозволено было предложить вопрос на любезное ваше разрешение! Но я не хочу так настоятельно просить у вас ответа; не хочу употреблять во зло вашу доброту! Если вы найдете вопрос мой заслуживающим ответа, то верно ответите мне. Вы конечно знаете, кто сказал: «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся!»

Я прилежно читал ваши сочинения; я заметил, что вы рассматривали человека в совершенно новых условиях. Вы открыли совсем новую область для философского наблюдения. Чем Колумб был для мореплавания, тем вы стали для познания человека. Кто может разрешить мои сомнения и объяснить мне, что̀ такое человек, лучше нежели Лафатер, который изучал людей и представил опыты своих исследований? Я хочу задать вам вопрос, на который, может быть, уже тысячу раз отвечали, но все эти ответы меня не удовлетворяют. Из ваших уст я желаю услышать ответ. Вот мой вопрос: «Каким образом душа наша соединена с телом, тогда как они из совершенно различных стихий? Не служило ли связующим между ними звеном еще третье отдельное вещество, ни душа, ни тело, а совершенно особенная сущность? Или же душа и тело соединяются посредством постепенного перехода одного вещества в другое». Вопросу этому можно дать еще такую форму: «Каким способом душа действует на тело, посредственно или непосредственно?»

«Учись мудро спрашивать», говорит Лафатер. — Мудро ли я поставил свой вопрос, это вы сами должны решить. Я спросил вас о связи души с телом, потому что связь эта, по правде сказать, мне остается неизвестною, хотя я часто напрягаю все свои силы, размышляя об этом. Между тем такое знание не должно быть вне круга человеческих познаний: в этом убеждает меня многое, особенно же ваши сочинения. И как дорого это знание всякому, кто хочет познать себя самого! Нужно знать себя и со стороны души, и со стороны тела, нужно вникнуть в различные отношения их между собою, чтобы осмелиться сказать: я себя знаю. Этого мне еще недостает, — и вот я обращаюсь к тому, кого считаю знатоком в науке о человеке. Я думал, что вы не можете признавать своей целью частную пользу; могу и теперь так думать, и все-таки предлагаю вам свой вопрос, и прошу вас просветить меня. Христос пришел в мир для того, чтобы спасти и вразумить весь род человеческий — не одного, не сотню, а всех людей. — Но вместе с тем Он хотел и каждого лично спасти и вразумить; всякому, кто Его спрашивал, Он отвечал, если только Его спрашивали, как достигнуть вечного блаженства. Вы истинный христианин, следовательно, и поступаете по тем же правилам, по которым поступал Христос.

«Если бы вы меня увидели, то я представился бы вам совсем другим человеком, нежели каким вы меня воображаете». — Но образ ваш, созданный моим воображением, не может быть совершенно неверным; он

не может не походить вовсе на свой оригинал: ведь воображение мое заимствовало для него краски из произведений вашего духа. Конечно, если бы я когда-нибудь увидел вас, то признал бы свой образ несовершенным. А почему? Потому что искусство всегда уступает природе, и копия всегда хуже подлинника: я нашел бы вас еще достойнее почитания. — Если бы я вас когда-нибудь увидел! Эта мысль для меня отрадна. Что бы я испытал, если бы... Сердце мое трепещет и сильно бьется в моей груди. Да, Лафатер, если Богу угодно, то я буду в Цюрихе и увижу вас. В этом же году? нет, конечно не в этом году, но может быть в будущем. — «Милостивый государь!»... — Не господина ли Лафатера имею счастье видеть? — «Я Лафатер». — Лаф... Юноша не может ничего более выговорить; он плачет слезами радости, падает на колени и лепечет: Я тот русский, которому вы сказали в письме: «Желал бы я каким-нибудь способом оказать и вам пользу». — Сердце, мое сердце, мое бедное сердце! здорово ли ты?

«При всем том я постоянно стремлюсь быть веселее, чтобы другим было веселее». — Если уж на таком расстоянии, каким я отделен от вас, вы делаете людей счастливыми, насколько же более вы счастливите живущих около вас и слышащих из ваших уст, как им найти путь правый!

Скажу вам кое-что о моем настоящем положении. Я все еще живу в Москве, на свободе от всяких служебных занятий. Перевожу с немецкого и французского, каждую неделю должен приготовить печатный лист для детей, набрасываю для себя самого кое-что под всегдашним заглавием «беспорядочные мысли». Я престранный меланхолик, о котором вы так сердечно жалеете. Я горазд на выдумки, чтоб мучить самого себя. Часто я твердо намереваюсь быть веселее, но намерение всегда так и остается намерением без исполнения. Я читаю произведения Лафатера, Геллерта, Галлера и многих других. Я лишен удовольствия много читать на своем родном языке. Мы еще бедны писателями. У нас есть несколько поэтов, заслуживающих быть читанными: первый и лучший из них — Херасков. Он сочинил две поэмы: «Россиада» и «Владимир»; последнее и лучшее произведение его остается еще непонятым моими соотечественниками. 14 лет тому назад господин Новиков прославился своими остроумными сочинениями, но теперь он более ничего не хочет писать; может быть, потому, что нашел другой и более верный способ быть полезным своему отечеству. В господине Ключареве мы имеем теперь поэта-философа, но он пишет немного.

Я готов тысячу раз перечитывать ваши «Братские письма к юношам»; мне никогда не надоест это чтение. Сам автор советовал мне читать их — этого я никогда не забуду.

Что сказать вам о *Ленце*? Он нездоров. Он всегда путается в мыслях. Вы вероятно не узнали бы его, если б теперь увидели. Он живет в Москве, сам не зная зачем. Все, что́ он по временам пишет, доказывает, что он когда-то был очень даровит, но теперь... Ваше письмо я вручил ему лично. Господина доктора *Френкеля* я видел и ваше поручение исполнил устно. Пастера *Бруммера* я не имею чести знать, но передал ему ваш поклон письменно.

Боюсь, что письмо мое слишком длинно. Пора кончить. — Если вы будете писать ко мне, то адресуйте письмо на мое имя в дом господина *Новикова.* Прощайте и сохраните мне долю своего доброго расположения. Ваш искренний почитатель и покорнейший слуга

Николай Карамзин.

ЛАФАТЕР К КАРАМЗИНУ

2

Господину Николаю Карамзину,
в доме г-на Новикова в Москве.

Если б мне, мой милый Карамзин, какое-нибудь существо под луной могло сказать, что́ такое *тело само по себе* и что́ такое *душа сама по себе.* то я бы вам тотчас объяснил, каким способом тело и душа действуют друг на друга, в какой взаимной связи они находятся, соприкасаются ли они между собой посредственно или непосредственно? Я думаю однако, что нам придется еще несколько времени подождать этого просвещенного существа. Глаз наш не так устроен, чтобы видеть себя без зеркала, — а наше «я» видит себя только в другом «ты». Мы не имеем в себе точки зрения на самих себя. Чувство бытия, сознание своего *я,* душа существует только чрез посредство предметов, которые вне нас, и явлений, как будто прикасающихся к нам. Попросту, мы даже не знаем, что́ такое материя, хотя очень верно означаем этим словом что-то такое, что́ противится нашему телесному ощущению, что́ кажется нам непроницаемым. Противоположное тому, что́ сопротивляется нашему давлению, но имеет жизнь и силу, называем мы душой, а душа есть кажущееся маховое колесо всех произвольных движений нашего тела, насколько они отличаются от механических. Но ка́к действует душа на тело, ка́к сила соприкасается с силой, что́ такое движение, независимо от того, ка́к мы, по нашей организации, должны его себе представлять, — где то, что́ мы называем материей, теряется вне всякого соотношения с нашими чувствами, и как оно порождает в нас самочувствие и мышление, этого, любезный г. Карамзин, я сам вовсе не понимаю. Довольно! я *существую* — и размышляю о своем бытии, сравниваю его с другими видами бытия — и не знаю ни одного подобного человеческому, почему и называю его царственным, духовным, высоким, предназначенным на продолжение и совершенствование, — радуюсь этому и больше не мудрствую.

Не смейтесь над моим неведением, мой милый! Мы не знаем, что́ мы такое и как существуем; знаем только, что существуем, верим, что существовали, надеемся, что будем существовать. Чтобы увереннее, радостнее и живее сознавать свое бытие, да помогут нам истина, добродетель и религия!

Сила, бодрость и свобода наслаждаться самим собой чрез самопожертвование — вот великое искусство, которому мы должны учиться здесь на земле, а для этого нам не нужно понимать необъяснимого для нас, так называемого влияния так называемой души на так называемое тело. Действительно ли пища, которую я принимаю, прибавляет новые частицы к моему телу, или же только посредством некоторого трения приводит в новое движение жизненную силу в прежних частях, — это совершенно безразлично тому, кто знает, что он не может существовать без пищи и потому ищет ее добыть и ищет не напрасно. Такова судьба множества и других исследований.

Но довольно на этот раз. Да будет с вами благодать Господня!

Цюрих, суббота, 16 июня 1787.

Иоганн Каспар Лафатер.

КАРАМЗИН К ЛАФАТЕРУ

III

Воскресенье, 25 июля 1787.

Вам конечно не покажется странным, что я опять пишу к вам, так как вы хорошо знаете человеческое сердце и поймете, что любознательный человек не может отложить перо свое, когда удостоился счастья вести поучительную для себя переписку с великими и учеными людьми! Не боясь прослыть за хвастуна, я могу назвать себя любознательным; а так как я уверен, что вы лучше всего можете утолить мою духовную жажду, то могу ли молчать? Могу ли перестать спрашивать, пока есть надежда получить ответ? — Нет, конечно, нет!

Итак, теперь еще невозможно в точности понять связь души с телом, это — грустное открытие для того, кто так желал себя познать! Я есмь, и мое *я* — для меня загадка, которую я не могу разрешить; я говорю: моя душа, мое тело, и все-таки не знаю, чтó такое душа, чтó такое тело сами по себе; я захочу — и воля моя исполняется, но как она исполняется, как моя воля, приводя меня в движение, приводит мое тело в это движение — о том я ничего не знаю и не могу даже льстить себя надеждой понять это, ибо вы сами отказываетесь решить этот вопрос. А разве я выше Лафатера? Разве разум мой больше его обширного разума? Если он, великий человек, сам говорит: «не знаю», могу ли я, с своими ограниченными способностями, вообразить, что знаю? Чтó же мне теперь делать?

Теперь в душе моей возникает много сомнений. Я родился с жаждой знания; я вижу, и тотчас хочу знать, чтó произвело сотрясение в моих глазных нервах: из этого я заключаю, что знание для души моей необходимо, почти так же необходимо, как для тела пища, которой

я искал с той минуты, как появился на свет. Как только пища моя переварена, я ищу новой пищи; как только душа моя основательно узна́ет какой-нибудь предмет, то я ищу опять нового предмета для познания. Как несчастлив человек, когда он напрасно ищет пищи! Как он несчастлив, когда напрасно напрягает свои душевные силы, чтобы приобрести знание, кажущееся ему столь полезным! Я все еще думаю, что познание своей души, тела и их взаимодействия были бы ему очень полезны, ибо если б я мог все это узнать, то еще более благоговел бы к своему Творцу и религия моя была бы совершеннее. Апостол Павел говорит: кто хочет постигнуть премудрость Господню, тот должен созерцать Его творения. И где мог бы я найти лучшее подтверждение этой премудрости, как не в человеке, который так удивительно создан? Неужели я должен, подобно нашему милому Бюффону, разбрасываться по всем четырем частям света, чтоб распознать всех червей, а о самом себе так мало заботиться? Неужели мне всегда ходить обходными путями? Избави Бог!

Простите мне, великий муж, простите мне мою нескромность: не слишком ли я злоупотребляю вашей добротой? Я изнемогаю под бременем своего неведения; я жажду облегчения. Вы наверное знаете столько, сколько человеку нужно знать, чтоб быть счастливым. Вы говорите: «Сила, бодрость и свобода наслаждаться самим собой чрез самопожертвование — вот великое искусство, которому мы должны учиться здесь на земле, а для этого нам не нужно понимать необъяснимого для нас, так называемого влияния так называемой души на так называемое тело». Скажите мне, пожалуйста, как могу я чрез самопожертвование наслаждаться самим собой, не зная себя? Я хочу знать, что́ я такое, ибо *знание*, по моему мнению, может сделать меня живее чувствующим бытие потому, что я таким образом могу, как мне кажется, достигнуть наслаждения самим собою. Если же я ошибаюсь, ежели есть еще вернейшие средства *сделать сознание нашего бытия тверже и радостнее*; если б я эти средства имел перед глазами и тем не менее все-таки стал мудрствовать, то это уже было бы безрассудно, и я сам был бы виновником своей жажды. Вразумите меня, и Бог наградит вас за это; бо́льшего я не могу вам обещать. Может быть, вы не считаете меня достойным сообщения таких знаний, которыми так справедливо дорожите; может быть. — — Но к чему говорить обиняками, когда я пишу к Лафатеру! Если можно что-нибудь сказать, то он наверно скажет то, что́ нужно.

А я все еще меланхолик,

> ...and at the destin'd Hour
> Punctual as Lovers to the Moment sworn
> I keep my Assignation with my Woe.*

Я ничего не слышу о *Клопштоке*. Разве он не намерен больше писать? — Впрочем было бы слишком неблагодарно требовать от него еще чего-нибудь после того, как он подарил нас своей «Мессиадой».

---

* И в назначенный час так же, как влюбленные, принесшие клятву верности, я прихожу на свидание с моей скорбью (*англ.*)

Да будет над вами в преизобильной мере благодать Господня во веки веков.

Адрес: Карамзину в доме г. Новикова.

Всегда, всегда буду я вас любить и почитать.

Николай Карамзин.

КАРАМЗИН К ЛАФАТЕРУ

IV

Москва, 27 марта 1788.

Не пожимайте плечами! — Одно только слово, и потом вечное молчание! — Благодарю вас, великий муж, за доброту, с какою вы отвечаете на мои письма.

Конечно, не *из одного* тщеславия я когда-то взял перо в руки, чтобы к вам писать. Я действительно полюбил вас, прочитав некоторые из ваших сочинений и узнав некоторые черты вашей жизни. Меня приводило в восторг переноситься мысленно в *Цюрих,* воображать себя в одной стране, под одной кровлей с *Лафатером,* — в этой мечте для меня было что-то существенное! Наконец мне пришло в голову написать к вам, но о вопросах я еще не думал. Я сгорал желанием сказать вам, что я вас люблю. «Пусть же он узна́ет, что я совершенно ему предан!» — такова была моя цель, мое желание, мое счастье! Ждать от вас ответа — о, это было дерзкой, но в то же время и восхитительной мыслью! И когда я увидел, что моя смелая надежда сбылась, о! тогда я готов был выплакать всю душу слезами радости! Когда я таким образом получил, как мне казалось, позволение опять к вам писать и предложить вам несколько вопросов,— тогда я снова написал к вам, сообщил вам свои вопросы и ждал от вас поучения. Конечно, я писал много такого, что́ не могло вас интересовать, но заметил это слишком поздно, когда письмо мое уже было отправлено. Вы опять снизошли до меня и ответили мне. Я опять радовался и благословлял вас, когда взял в руки ваше письмо. Для меня было большой неожиданностью услышать от вас, что совершенно невозможно понять, что́ такое тело само по себе и что́ такое душа сама по себе и какова их связь между собой. «*Лафатер,* думал я про себя, так прилежно изучал человека и в своих „Физиономических отрывках“ развил столько прекрасных мыслей о том, как душа выражается в теле, и все-таки отказывается знать, что́ такое душа, что́ такое тело и как душа действует на тело, и даже говорит, что этого не нужно знать! Поэтому я хочу просить его объяснить мне, как я *должен размышлять о своем бытии* и до какой степени могу и обязан знать себя; и если, как он говорит, наслаждение самим собой есть цель, к которой я должен стремиться, то я желал бы иметь более точное понятие об этом самонаслаждении и о средствах, какими оно достигается.» — Так я размышлял, и

писал, и ждал ответа, но напрасно. — Конечно, я не имел права рассчитывать на ваш ответ, но я боюсь, что причина, по которой вы не хотите более писать ко мне, лишит меня смелости явиться когда-нибудь перед вами и сказать: «Вот я, тот русский, который имел счастие переписываться с вами», — а это для меня чувствительное огорчение. Верите ли вы, или не верите, я все-таки буду повторять, что сердце мое любит вас. Я не могу без чувства умиления смотреть на ваши письма! Сердце мое обливается кровью, когда подумаю, что вы обо мне дурного мнения и, может быть, жалеете о минутах, потраченных на чтение моих писем и на писание ко мне ответов. Часто, очень часто гляжу я на ваш бюст и стараюсь себе представить, как вы получили мое последнее письмо, как его читали, с каким выражением лица положили его на стол, — все это волнует мне душу, из глаз катится светлая слеза, и мне становится грустно. Беру ваши «Братские послания к юношам», перечитываю их, и мне опять грустно; беру ваши письма ко мне, читаю их, и мне грустно, — все наводит на меня грусть, как только я подумаю, что вы обо мне недоброго мнения, или что вы навеки забыли меня. Несколько дней тому назад мне пришло на мысль опять написать к вам. Сегодня план этот созрел, и я взялся за перо, чтоб выразить вам свою пламенную благодарность за снисхождение, без которого вы не стали бы ко мне писать, и вместе с тем попросить вас не считать меня за хвастуна, писавшего вам единственно с целью получить ответ от такого знаменитого человека, как вы, для того, чтоб сказать: «Смотрите! я в переписке с *Лафатером*!». Нет, любовь и потребность общения, вот что́ первоначально побудило меня писать к вам. Конечно, я слишком подчинился внушению моего сердца, не посоветовавшись честно с разумом; но как бы то ни было, повторяю, что не одно тщеславие побудило меня писать к вам.

Итак я сказал вам все, что́ хотел сказать, может быть даже слишком многословно, но болтливость всегда происходит от избытка сердца.

Как бы вы обо мне ни думали, — забудете ли меня, или нет, — но я все-таки буду вас любить и почитать. И более ни слова.

Come then, expressive Silence, come! *

Николай Карамзин.

ЛАФАТЕР К КАРАМЗИНУ

3

Милый Карамзин!

200 лежащих передо мною писем, на которые я еще не отвечал, — вот единственная причина моего молчания. К тому же ваше письмо не так просто, чтобы можно было скоро и легко ответить на него. Тем не

* Приди, о красноречивое молчание, приди! (*англ.*)

менее в доказательство того, что я не пренебрегаю вами, я предлагаю вам — через каждые четыре месяца посылать вам выдержки из моих важнейших писем. Откладывайте по одному луидору в год на почтовые издержки и за снятие копий, а что́ останется, будет передаваться мною в кассу бедных.

Прощайте!

Цюрих, 13 марта 1788

Иоганн Каспар Лафатер.

Если сын мой когда-нибудь попадет в Москву, то верно найдет в вас друга.

КАРАМЗИН К ЛАФАТЕРУ

V

Москва, 10 июня 1788.

Не нахожу слов, чтоб выразить вам мою горячую благодарность; слова остаются словами, холодными и безжизненными. Да, великий муж, никогда я не буду в состоянии достаточно отблагодарить вас за ваш милостивый дар, каким я буду всегда считать извлечение из ваших писем. Как вы добры! Мне бы хотелось излить перед вами все мои теперешние чувства, но это невозможно; то, что́ я чувствую, выше всяких слов.

Я жду, как святыни, обещанных выдержек. Изнываю от желания их читать, изучать и приспособить свои мысли к образу мыслей великого Лафатера. Там, близ серого хребта гор, воспетого *Галлером,* взойдет для меня солнце знания; оно своими светлыми лучами рассеет мрак моего неведения и оживит меня своим сиянием, — я встану, бодро осмотрюсь и лишь тогда буду весел.

Г. *Бибер,* здешний книгопродавец, будет ежегодно доставлять вам через *страсбургского* или *женевского* книгопродавца по одному луидору, так как наши банкиры и слышать не хотят о пересылке такой незначительной суммы.

Вы ведь мой учитель — сердце мое трепещет от этого радостного сознания. — Ученик ваш поэтому должен сообщить вам, чем он теперь занимается. Я прилежно читаю сочинения *Боннета.* Хотя великий философ нашего времени открыл мне много новых взглядов, я все-таки не вполне доволен всеми его гипотезами. Les germes, emboîtement des germes, les sièges de l'âme, la machine organique, les fibres sensibles * — все это очень философично, глубокомысленно, хорошо согласуемо и могло бы

* Зародыши, вхождение зародышей, седалище души, органический механизм, чувствительные фибры (*франц.*)

так быть и на самом деле, если б Господь Бог при сотворении мира руководился философией достопочтенного *Боннета*; но чтоб было это так на самом деле — я этому не верю, пока верю, что мудрость Господня далеко превосходит мудрость всех наших философов и, следовательно, может найти другие, более удобные способы к созданию и сохранению своих творений, чем те, которые ей приписываются нашими *Лейбницами* и *Боннетами*. Я думаю, что было бы лучше наблюдать великое мироздание, как оно есть, и насколько это доступно нашему глазу, всматриваться, как все там *происходит*, нежели задумываться о том, как все *могло бы* там происходить, а это часто случается с нашими философами: они не довольно терпеливы, чтобы продолжать свои наблюдения, а спешат к своему письменному столу, чтобы жалобно изложить под тяжестью множества своих догадок то немногое, что́ они успели разглядеть. Может быть... но я слишком много болтаю.

Если сын ваш приедет в Москву, то найдет во мне покорнейшего слугу, который будет всячески стараться заслужить его расположение.

Потрудитесь обозначать на адресе дом, куда должны быть доставляемы письма ко мне, именно дом г-на Новикова, иначе они могут теряться.

Будьте здоровы, мой благодетель!

Николай Карамзин.

КАРАМЗИН К ЛАФАТЕРУ

VI

Москва, 17 октября.

Господин Франк, страсбургский банкир, передаст вам по прилагаемому векселю 1 луидор. — Я весь — ожидание, если можно так выразиться. Как знаменателен будет для меня день, в который я получу извлечения из ваших писем! Прощайте и будьте уверены, что ваше благорасположение может мне усладить горечь жизни!

Николай Карамзин.

ЛАФАТЕР К КАРАМЗИНУ

4

Карамзину, в дом г-на Новикова.
Карамзину 7.I.1789.

Вот вам наконец, милый Карамзин, первая тетрадь с двумя-тремя девизами! — Пусть это малое научит вас многому! — Я получил присланное вами. — Я вас никогда не забуду. У вас есть теперь в моих складах собственный ящик, на котором означено ваше имя, и туда я время от времени стану откладывать некоторые не лишенные интереса копии моих писем. Я вполне полагаюсь на вашу скромность. Прилагаемое предуведомление — non ut veniam, sed ne praeteream! *

Цюрих, 7 января 1789.

Лафатер.

Что за ужасное время! Сердце человечества обливается кровью. Война и — нищета!

КАРАМЗИН К ЛАФАТЕРУ

VII

Москва, 15-го марта 1789.

Наконец-то я счастлив, — именно счастлив — ибо получил то, чего давно так страстно ожидал. Благодарю, благодарю вас, великий муж, за доброту, какую вы мне этим оказали. Доверие, которого вы меня удостаиваете, опять приводит меня в восторг, и я свято буду исполнять те условия, которые на меня налагает благодарность и даже чувство чести.

Как поучительны для меня все письма, которые вы по доброте своей мне сообщили! Я читаю, и вокруг меня носятся святые, высокие мысли. Ваши взгляды на Божество, — о *Лафатер*! я благоговею перед мудрецом, которого понятия так возвышенны! — Кроткое участие к чужому несчастию, утешительная любовь, нежный призыв к покорности, на которой зиждется наше земное счастие, — все это и еще многое, что́ находит выражение только на языке *Лафатера,* а также содержание письма к профессору *Шпитлеру* наполнило душу мою блаженными ощущениями. Но как могу я изобразить все впечатления, вызванные во мне каждым письмом! «Разные правила для путешествующих» мне теперь особенно дороги, а почему? Потому что сам я скоро, очень скоро — сбираюсь путешествовать!

---

* не ради извинения, а в порядке предупреждения! (*латин.*)

Да, я намерен путешествовать, хочу — если Богу угодно — вас посетить, обнять вас и онеметь и забыться в глубоком ощущении счастья видеть вас, быть возле вас. Если сердце и на этот раз меня не обманывает, если есть что-нибудь существенное в его предчувствиях, то вы ласково примете меня под свое крыло, то я найду в вас руководителя и друга, близ которого я буду так же спокоен, как на родной стороне. В мае месяце думаю ехать из Москвы в Петербург, а из Петербурга проеду через Германию в Швейцарию, так что в августе надеюсь быть в Цюрихе. Там я останусь вблизи вас и, если вы позволите, несколько месяцев буду наслаждаться вашим обществом, вашими наставлениями, после чего поеду дальше во Францию и Англию.

Так как я уже недолго думаю пробыть в своем отечестве и не успею до моего отъезда получить столь любезно предложенное вами драгоценное сочинение «Правила физиономики», то прошу вас позволить мне ласкаться надеждой, что я получу его от вас самих, как только приеду в Цюрих.

И затем, вполне полагаясь на вашу доброту и в сладостном уповании лично познакомиться с вами через четыре или пять месяцев, говорю вам: прощайте, великий, досточтимый муж! Будьте здоровы и пожелайте, чтоб я к вам приехал.

Николай Карамзин.

ВОПРОСЫ ЛАФАТЕРУ, ЗАДАННЫЕ В ЦЮРИХЕ

1. **Какая есть всеобщая цель бытия нашего, равно достижимая для мудрых и слабоумных?**

Вы, великий человек, — которому я одним рукожатием, одним взглядом думаю выразить все мои чувства, — вы на этот вопрос мне ответите, *приноравливаясь* ко мне. Я молодой человек, у которого в груди бьется горячее сердце, который ищет *чего-то,* к чему он мог бы привязаться всей душой, и о чем сам не имеет определенного понятия, но что́ должно наполнить пустоту его души и оживить его жизнь.

2. **Что должно думать об магнетизме?**

Спрашиваю вас об этом, зная, что этот вопрос обратил на себя ваше внимание и вы изучали его. Это во всяком случае слишком важное явление, чтобы я оставил его незамеченным во время моего странствия по свету.

Карамзин.

ЛАФАТЕР К КАРАМЗИНУ

5

19 VIII 1789

Господину Карамзину, приезжему из Москвы в Цюрихе.

О цели Бытия

«Какая есть всеобщая цель человечества или всеобщая цель бытия нашего, равно достижимая для мудрых и слабоумных?»

Милый К......н!

Бытие[1] есть *цель бытия.*

Чувство и радость бытия есть цель всего, чего мы искать можем.

Мудрый и слабоумный ищут только средств наслаждаться бытием своим или чувствовать его — ищут того, через что́ они самих себя сильнее ощутить могут.

Всякое *чувство* и всякий *предмет,* постигаемый которым-нибудь из наших чувств, суть прибавление нашего самочувствования; чем более самочувствования, тем более блаженства.

Как различны наши организации или образования, так же различны и наши потребности в *средствах* и *предметах,* которые новым образом дают нам чувствовать наше бытие, наши силы, нашу жизнь.

Мудрый отличается от слабоумного только средствами самочувствования. Чем простее, вездесущнее, всенасладительнее, постояннее и благодетельнее есть средство или предмет, в котором или через который мы сильнее существуем, тем существеннее мы сами, тем вернее и радостнее бытие наше — тем мы мудрее, свободнее, любящее, любимее, живущее, оживляющее, блаженнее, человечнее, божественнее, с целию бытия нашего сообразнее.

Исследуйте точно «чрез что и в чем вы приятнее или тверже существуете? Что вам доставляет более наслаждения — разумеется такого, которое никогда не может причинить раскаяния — которое всегда с спокойствием и внутреннею свободою духа может и должно быть снова желаемо?»

Чем достойнее и существеннее избираемое вами средство, тем достойнее и существеннее вы сами.

Чем существеннее вы делаетесь, то есть, чем сильнее, вернее и радостнее существование ваше — тем более приближаетесь вы ко всеобщей и особливой цели бытия вашего.

Отношение и исследование сего положения (отношение и исследование есть одно) покажет вам истину, или (что опять все одно) всеотносимость оного.

---

[1] *Начинающийся отсюда ответ Лафатера до слов:* «всеотносимость оного» *переведен самим Карамзиным в его «Письмах русского путешественника», откуда этот перевод и заимствуется дословно.*

Не продолжайте своих вопросов, пока вы не вполне поймете и не найдете вполне справедливым этот ответ.

Цюрих, четверг вечером 20 августа 1789.

Иоганн Каспар Лафатер.

ЗАМЕТКА

Извлечения из ваших произведений могут быть изданы в России двояким способом:

1) Какой-нибудь типографщик в Москве, конечно, возьмет на себя печатание. Это может осуществиться на различных условиях. Или мы получим известное число экземпляров, которые я продам, и вырученные деньги перешлю в Цюрих сразу или по мере продажи; или же издатель заплатит нам чистыми деньгами. Но я теперь еще не могу определить, сколько можно будет за это требовать от издателя, так как еще не знаю, как велик будет объем произведения.

2) Можно все устроить и другим способом, который кажется мне даже лучше и выгоднее. По возвращении в Москву я тотчас предприму периодическое издание. Имею основание предполагать, что в подписчиках недостатка не будет. Чтó бы вы сказали, если б я стал помещать в ежемесячном журнале ваши извлечения по мере того, как буду их получать от вас. Будьте уверены, что наряду с вашими произведениями не появится ничего *нечистого,* чтó могло бы повредить вашему достоинству. А я буду ежегодно посылать в Цюрих известную сумму, смотря по тому, будет ли число подписчиков увеличиваться или уменьшаться; первое кажется мне вероятнее. Таким образом вы можете иметь гораздо более влияния на развитие русских умов, так как произведения ваши в форме ежемесячного журнала будут попадать в бóльшее число рук и будут больше читаться, чем если б они были разом напечатаны и изданы.

Что же принадлежит до вашего французского творения по физиономике, то я, по возвращении в Москву, извещу вас, сколько экземпляров могу продать *тотчас* же. Тогда от вас будет зависеть прислать мне еще экземпляров, которые могли бы продаваться мало-помалу. Как только я получу эти экземпляры и вырученные за них деньги, я вам вышлю вексель на Страсбург или на Голландию, по которому деньги могут быть выданы даже в Цюрихе.

Цюрих, 21 августа 1789.

Н. Карамзин.

ЛАФАТЕР К КАРАМЗИНУ

6

23 VIII 1789.

Тот не мал перед Богом, кто духом и тверд и смиренен.
Верен и в малом ты будь — из малых сложилось большое.
Чистым быть значит себя позабыть, не забыв про другого.
Труд, порядок и цель — ежедневным пусть будут девизом.
Помни, что слаб ты, в том силы источник, дарованный Богом.
Верным себе пребывай, будь всегда и везде лишь собою.
Будь правдив, кроток, ясен, тверд и всегда неизменен!
То лишь наполнит тебя, что в тебе и вне тебя вечно.

Воскресенье вечером, 23 августа 1789.

Лафатер.

КАРАМЗИН К ЛАФАТЕРУ

VIII

Женева, 26 сентября 1789.

Так как вам не нравится никакая благодарность, выражающаяся в словах, то я принужден молчать.

Скажу вам коротко, что везде, куда я являлся по вашим адресам, меня очень хорошо принимали, и я познакомился с несколькими открытыми душами, с которыми общение мне было и останется очень приятно.

Здесь я думаю перезимовать. Поэтому прошу вас прислать мне несколько извлечений из ваших трудов: я прилежно и весело займусь их переводом. Я мог бы здесь почитать и «Ручную библиотеку для друзей».

Лафатер! Картина вашей жизни будет всегда представляться моему воображению!

Мой адрес: à Genève, à la Grande rue, № 17, chez Lagier.*

Рекомендации в Роллу и Нион остались у меня, так как я проехал через эти города ночью.

Прощайте!

Николай Карамзин.

* В Женеву, Большая улица, № 17, у Лажье (*франц.*).

КАРАМЗИН К ЛАФАТЕРУ

IX

Женева, 17 декабря 1789.

Пишу еще раз и снова прошу извинения, если письмо мое не будет вам приятно.

Но мне нужно знать, получу ли я еще здесь в Женеве — где пробуду до марта — какие-нибудь извлечения из ваших сочинений, перевод которых на русский язык я так охотно беру на себя. Если вы мне их пришлете, то прошу не франкировать своих писем. Выдержки эти будут как можно изящнее напечатаны в Москве и изданы в форме ежемесячного журнала. Им будет предпослана биография ваша — материалы для нее вы мне обещали. Ежегодно буду вам доставлять то, что при этом выручим.

Из Москвы я вам напишу, сколько экземпляров ваших французских физиономических сочинений я могу тотчас продать, и тогда вы можете мне их переслать в Москву через г. *Буркарда* из Кирсгартена.

Мне нужно издать что-нибудь о своем путешествии — это я обещал. Будет ли мне позволено сказать там о *Лафатере* несколько слов, — то, что́ напишет перо мое по внушению сердца? Преувеличенных похвал не будет! Когда истина руководит нашим пером, то оно всегда скромно.

Вы мне конечно ответите, если возможно; — неизвестность тяготит меня.

Я живу здесь в Женеве à la Grande rue, № 17, chez M. Lagier.

Прощайте!

Николай Карамзин.

КАРАМЗИН К ЛАФАТЕРУ

X

Женева, 14 марта 1790.

Я с благодарностью наслаждался и теперь еще наслаждаюсь «Человеческим сердцем».

Прекрасно человеческое сердце, когда оно таково, как там изображено. Счастлив тот, кто узна́ет свое сердце в этом образе!

Предоставляю другим ответить на вопросы, предложенные вашим читателям в предисловии: у меня для этого недостает многого.

Завтра утром я еду во Францию. Будьте так добры, перешлите по прилагаемому адресу в Базель на имя г. Буркарда из Кирсгартена последующие предназначенные мне выпуски «Ручной библиотеки». Он обещал переслать мне в Москву все, что́ для меня получит от вас.

Могу ли я надеяться получить какую-нибудь часть выдержек из ваших сочинений хоть по возвращении моем в Москву (где предполагаю быть уже в августе)? Если они придут еще до моего приезда в Москву, то они не пропадут. Мой адрес прилагаю, впрочем оп и у вас записан в адресной книжке.

Прощайте, достоуважаемый муж!! Не забывайте меня, если воспоминание обо мне чего-нибудь стоит.

Карамзин.

КАРАМЗИН К ЛАФАТЕРУ

XI

1 декабря 1790.

Вот я опять на прежнем месте, немного постарше, может быть поумнее, по крайней мере более довольный собой и светом. Я видел столько прекрасного во время своего путешествия!

Давно уже я об вас ничего не знаю. Ваше поручение относительно вашего французского физиономического сочинения я не забыл. Здешний книгопродавец г. *Бибер,* хороший человек, желает получить 4 экземпляра на условиях, которые вы прочтете в прилагаемом письме. Я лично желаю иметь два полные экземпляра и еще один экземпляр четвертой части отдельно, так как у одного из моих друзей уже есть три первые части. Г. *Бибер* пишет вам, каким путем вы можете ему доставить его экземпляры: не присоедините ли к ним и мои?

Как только я получу их, тотчас же перешлю вам вексель. Не знаю, вышло ли еще что-нибудь из «Ручной библиотеки для друзей», у меня только первая тетрадь. Если напечатано еще несколько выпусков, и назначенные для меня остаются у вас, то будьте так добры, вышлите мне их по почте и сообщите, что́ вам будет сто́ить каждый год пересылка. За следующий год, если издание «Библиотеки» будет продолжаться, и за расходы по пересылке деньги будут вам отправлены, как скоро я узна́ю, сколько будет следовать.

А в заключение один вопрос: *мудрее ли мы и добродетельнее ли Древних, потому что мы христиане?*

Мой адрес: в доме г-на *Плещеева* на Тверской в Москве.

Прощайте!

Николай Карамзин.

KARAMSIN AN LAVATER

I

Moscau, den 14. Augustus, 1786.

An wen will ich diesen Brief schreiben? . . . An Lavater? Ja! an ihn will ich schreiben; an Ihn, der mein Herz mit der feurigsten Liebe und Hochachtung gegen sich erfüllt hat.

Besitze ich aber diejenige große Talenten, die ich notwendig besitzen müßte, um an den großen Lavater einen Brief schreiben zu dürfen? . . . Die lasterhafte Selbstliebe müßte mich zu sehr verblenden, wenn ich diese Frage mit Ja beantworten wollte. Nein! diese Talenten besitze ich gar nicht; auch die Sprachkenntnis fehlet mir dazu. — — Umsonst aber bemühen sich die Gründe der Vernunft, mich von meinem, übrigens kühnem Unternehmen abzuwenden! Mein Herz erlaubt mir nicht, die Feder aus der Hand zu lassen, und — ich schreibe.

Wenn ich nicht versichert wäre, daß der Sterbliche zu blind ist, Gottes Absichten zu erforschen; daß es ihm unerlaubt ist, sich über sein Schicksal zu beklagen: so würde ich mit einer Art von Wehmuth ausrufen: Gott! warum bin ich so weit von dem gebohren, den mein Herz so sehr liebet und hochachtet, ohne Ihn persönlich zu kennen? Wäre es nicht wohl, wenn der Bote deiner Güte, die Sonne, dich mit Wohlthaten mir da verkündigte, wo die Herzen der Jünglinge Lavaters Stimme zur wahren Weisheit einladet?... Aber. . . ich soll schweigen.

Verzeihen Sie mir, edler Mann! meinen Enthusiasmus, wenn nur die Ausdrücke des Herzens solchen Namen verdienen. Nach allen meinen Kräften will ich mich bemühen, die starken Bewegungen meines Herzens zu besänftigen, und, wo es nur für mich möglich ist, ordentlicher meinen Brief fortzusetzen.

Wissen Sie, daß ein gewisser russischer Jüngling hat das Glück gehabt, Ihre Schriften zu lesen; je mehr er sie las, desto mehr empfand er auch ihren Werth. «Wie groß soll ihr Verfasser seyn?» dachte er bey sich selbst. «Mögte ich den großen Mann kennen! Wie glücklich, wie glücklich wollte ich mich alsdann schätzen! . . . Wie ist es aber möglich? Entfernt von Ihm durch viele Länder, auch die Hoffnung fehlet mir dazu. Kann ich aber nicht einen Brief an Ihn schreiben? Kann ich nicht Ihm sagen, daß ich ihn hochschätze, daß ich ihn liebe? Ja, daß kann ich thun; daß will ich thun». — Der Jüngling will keine Stunde verweilen, nimmt die Feder in die Hand, und fängt an, seinen Brief zu schreiben.

Dieser Jüngling bin ich selbst; und weil ich ein Jüngling bin, so sollen Sie mir verzeihen, daß ich Ihre wichtigern Beschäftigungen durch meinen Brief unterbreche.

Ich will Ihnen meine ganze Geschichte erzählen, damit Sie sich einen wahren Begriff von mir machen könnten.

Da ich noch ein Knabe war, legte ich mich auf die Erlernung der Spra-

chen; besonders liebte ich die deutsche Sprache, ob ich gleich noch nicht wußte, warum ich eigentlich ihr den Vorzug vor andern gab. Mein Lehrmeister war ein deutscher Professor. Ich habe das Glück gehabt, seine Wohlgewogenheit an mich zu ziehen; er liebte mich und ich liebte ihn auch. Ich konnte aber nicht so lange bey ihm lernen, als ich es wollte; als ein Edelmann müßte ich mich bald dem Kriegsstande widmen. Da ich mich aber in diesem Stande genöthigt sah, alle meine vorigen Übungen aufzuheben, weil er mit gelehrten Sachen nichts zu thun hat: so habe ich solchen bald verlassen, ob es gleich nicht nach dem Willen meiner Anverwandten war. In meinem achtzehnten Jahre also war ich abgedankt, und meynte mich nur mit Büchern zu beschäftigen. Zugleich erlaubte ich mir auch, die Lustbarkeiten der großen Welt zu genießen, dachte aber, daß sie zu schwach sind, einen großen Eindruck auf mich zu machen, oder mich von meinen Büchern abzuwenden. Doch sah ich bald, daß mein Herz mich betrogen hat; ich ward ein großer Liebhaber von allen weltlichen Lustbarkeiten, und auch ein hitziger Kartenspieler. Die gütige Vorsehung wollte aber nicht mich gänzlich ins Verderben stürzen; bald hat mir ein gewisser würdiger Mann die Augen aufgethan, und ich wurde gewahr, daß ich — in solchem Zustande unglücklich war. Die Scene hat sich verändert. Alles auf einmal wurde in mir neu. Ich fieng an, wieder Bücher zu lesen, und empfand eine süße Stille in meiner Seele. — Solche Lebensart setze ich noch fort, und wohne in Moskau im Schooße meiner wahren Freunde und Führer. O wenn wird mir doch ein günstiges Schicksal erlauben, auch den großen Lavater zu ihrer Anzahl zu rechnen!

Jetzt wissen Sie schon, wer ich bin. Es sey Ihnen bekannt, daß ich auch noch nicht ein und zwanzig Jahr alt bin. Das thut aber nichts zur Sache; ich bin jung, aber ich bin versichert, daß Lavater ein großer Mann, ein wahrer Christ ist. Der tolle Franzose mag so lange schreyen, bis seine Lunge sich erschöpfen wird! Ein jeder vernünftiger Mann wird einsehen, daß der Franzose toll ist.

Werde ich das Herz haben, Ihnen zu sagen, was ich denke? Ich denke so was, so was, was sich nur denken läßt. Nein! ich kann nicht zulassen, daß diese Gedanken bloß bey den Gedanken blieben. Wissen Sie also, daß ich Sie um etwas bitten will; ich weiß aber selbst, daß meine Bitte zu kühn ist. Ich bitte Sie um eine Antwort auf meinen Brief. Haben Sie die Güte, mir durch einen Brief zu sagen, daß meine Liebe und Hochachtung gegen Sie Ihnen nicht gleichgültig ist. Wie glückselig werde ich alsdann seyn! Wie werde ich Sie segnen! O wenn Sie nur mein Herz sehen könnten, so würden Sie gewiß mir antworten, und sagen, daß Sie mich Ihrer Wohlgewogenheit nicht unwürdig achten! Erlauben Sie mir, die süße Hoffnung zu hegen, jemals von Ihnen einen Brief zu bekommen. Sie können in mir einen getreuen Korrespondenten finden, der keine einzige Frage, die Sie vielleicht thun werden, um einen nähern Begriff von unserm Lande zu haben, ohne genaue Antwort bleiben lassen wird.

Wenn Sie also die Güte haben werden, an mich zu schreiben, so schreiben Sie unter der Aufschrift: «An den Herrn von *Kutusoff*, wohnhaft im Hause des Herrn von *Nowikoff*, in Moskau». Dieser *Kutusoff* ist mein guter Freund,

und er wird mir Ihren Brief ganz getreu einhändigen. — Leben Sie wohl, großer und edler Mann! Nie werde ich aufhören zu seyn

Dero
ganz gehorsamster Diener und wahrer Verehrer
Nicolas von Karamsin.

P. S. Verzeihen Sie mir alle die Sprachfehler, die ich vielleicht in meinem Briefe begangen habe; ich bin kein Deutscher, und auch noch nie habe ich einen deutschen Briefwechsel gehabt.

II

Moscau, den 20. April, 1787.

Gestern, den 19. April, habe ich Ihren Brief vom 30. März erhalten. Kaum wollte ich glauben, daß es ein Brief von Ihnen war. So unwahrscheinlich kam es mir vor, von Lavater einen Brief zu erhalten. Da ich an Sie geschrieben habe, so dachte ich an eine Antwort von Ihnen; da aber mein Brief weg war — da ich mehr Zeit hatte, die Sache durchzudenken: so habe ich meine That und mein Hoffen für unvernünftig erklärt. Oft und sehr oft habe ich mich gefragt: Warum hast du an Lavater geschrieben? Nicht wahr, Ihm zu sagen, daß Seine Schriften manche trübe Stunden dir hell machten, daß dein Herz gegen Ihn voll Liebe und Hochachtung ist? Gut, hast du aber nicht so angelegentlich eine Antwort von Ihm zu haben verlanget? Würdest du geschrieben haben, wenn dein Schreiben ganz gewiß unbeantwortet bleiben müßte? Und kannst du darauf warten, ohne die Schwäche deiner Vernunft zu verrathen, da viele Tausende mit eben dem Rechte einen Anspruch darauf machen könnten, und es eben darum unmöglich wäre, dir und allen deinen Mitprätendenten Gnüge zu leisten? Soll ein Mann, der alle Tage, alle Stunden seines Lebens dem allgemeinen Nutzen des menschlichen Geschlechts gewidmet hat — der so viel zu thun hat, daß Er nie von seinen Geschäften ausruhen kann — der den Privatnutzen, wenn ich so sagen darf, nie zu Seinem Gegenstande haben kann, um den allgemeinen nicht aus den Augen zu verlieren — soll Er noch einige Minuten seinem kurzen Schlaf entreißen, um an einen Jüngling zu schreiben, der von Ihm so weit entfernt ist und nichts an sich hat, was ihn seiner Aufmerksamkeit würdig machen könnte, der ganz und gar nicht die Eigenschaften besitzt, von denen Seine Freunde vor allen andern Menschen ausgezeichnet seyn müssen? — — Solche Fragen machten mich schamroth.

Lavater! ist das nicht ein Traum? hat der Jüngling wirklich einen Brief von dem Manne erhalten? — Ja, ja! das ist kein Traum mehr; das Schreiben, das ich etliche hundertmal gelesen habe, liegt noch vor mir. — Ich freue mich, weil ich Ursache habe, mich zu freuen.

Ich zitterte vor Freude, da ich Ihren Brief las und wieder las. Zehnmal rief ich aus: «*Lavater!* Ihre Urtheile sind nicht meine Urtheile. Sie wissen wohl, was Sie thun und lassen müssen». War es nicht eine neue Dreistigkeit

von mir, Ihren Wirkungskreis so genau bestimmen zu wollen und sagen: «Dies und jenes kann der Mann nicht thun?» — Wie veränderlich der Mensch ist! Sein Denken, Glauben und Hoffen ist ein Aprilwetter — Sonnenschein, Wind, Regen, Schnee, und wieder Sonnenschein.

Nun auf den Inhalt Ihres theuersten, herztröstenden Briefes zu kommen. Sie wollten nicht einen einzigen Tag anstehen lassen, an mich zu schreiben, so wenig auch die Annäherung der heiligen Woche, wie Sie sagen, «weitläufig zu seyn,» ich will aber sagen, gleiche Briefe zu beantworten, gestattete. Sie sind aber die Güte selbst, und Sie haben an mich geschrieben. — Sie hätten wünschen mögen, daß mein (Ihre gütigen épithètes ausgelassen) Brief eine oder zwo besondere Fragen enthalten hätte, die Ihnen Stoff zu einer Antwort gegeben haben würden. — Jetzt hätte ich auch selbst solches wünschen mögen, weil es Ihnen nicht zuwider wäre. Da ich aber an Sie geschrieben habe, so dachte ich blos daran, Empfindungen meines Herzens vor Ihnen auszuschütten, ohne etwas Philosophisches vorzutragen im Stande zu seyn. Wenn es mir auch jetzt erlaubt seyn möge, Ihnen zur gütigen Beantwortung eine Frage vorzulegen! Ich will Sie aber nicht so angelegentlich um eine Antwort bitten; ich will Ihre Güte nicht mißbrauchen. Wenn Sie finden, daß die Frage Ihrer Beantwortung werth ist, so werden Sie gewiß antworten. Sie wissen wohl, wer das gesagt hat: «Gieb dem, der dich bittet, und wende dich nicht von dem, der von dir entlehnen will».

Ich habe Ihre Schriften fleißig gelesen; ich habe wahrgenommen, daß Sie den Menschen in ganz neuen Verhältnissen betrachtet haben. Sie haben ein ganz neues Feld zur Betrachtung des philosophischen Auges entdeckt; was *Kolumb* für die Seefahrt war, das sind Sie für die Menschenkenntnis. Wer meine Zweifel besser auflösen und mich belehren kann, was ein Mensch ist, als Lavater, der den Menschen studiert und die Proben davon abgelegt hat? Ich will Ihnen solche Frage vorlegen, die vielleicht tausendmal beantwortet wurde, auf eine solche Weise aber, die für mich nicht genug befriedigend ist. Ich will aus Ihrem Munde eine Antwort darauf hören. Da ist die Frage: «Wie wird unsere Seele mit unserm Körper verknüpfet, da jene von einem ganz andern Stoffe als dieser ist? Ist dieses Verknüpfungsband nicht eine dritte Substanz, eine abgesonderte Wesenheit, die weder Seele, noch Körper ist? Oder sind sie, d. i. Seele und Körper, durch gegenseitige Schattirungen vereinigt?» Diese Frage kann auch umgegossen werden und lauten: «Auf was für eine Weise wirkt die Seele auf den Körper, mittelbar oder unmittelbar»?

«Lerne weislich fragen», sagt Lavater. — Ob ich weislich gefragt habe, das müssen Sie selbst entscheiden. Ich habe Sie um die Verbindung der Seele mit dem Körper gefragt, die mir, eigentlich zu sagen, noch unbekannt bleibt, ob ich gleich zuweilen mit der Anstrengung aller meiner Kräfte darüber nachdenke. Solche Kenntnis aber soll nicht außer dem Kreise menschlicher Kenntnisse sein: dessen versichert mich Vieles, hauptsächlich aber Ihre Schriften. Und wie theuer ist sie, diese Kenntnis, einem jeden, der sich selbst kennen will! Man muß sich nach der Seele und nach dem Körper kennen, man muß ihre verschiedene Verhältnisse durchdringen, um sagen zu dürfen: ich kenne mich selbst. Dies mangelt mir noch — darum wende ich mich

an denjenigen, den ich für einen Meister in der Menschenwissenschaft halte. Ich dachte, Sie können den Privatnutzen nicht zu ihrem Gegenstande haben: so kann ich auch jetzt denken, und Ihnen doch meine Frage vorlegen, und Sie doch bitten, mich zu belehren. Christus ist in die Welt gekommen, das ganze menschliche Geschlecht selig zu machen, das ganze menschliche Geschlecht zu belehren — nicht einen Menschen, nicht hundert, sondern das Ganze. — Er wollte aber auch jeden Individu selig machen, jeden Individu belehren; wer Ihn fragte, dem hat Er geantwortet, wenn er nur um das Mittel, selig zu werden, Ihn fragte. Sie sind ein wahrer Christ, folglich handeln Sie nach eben den Regeln, nach welchen Christus gehandelt hat.

«Wenn Sie mich sähen, so würden Sie einen ganz andern Mann sehen, als Sie sich vorstellen». — Das Bild, das meine Einbildungskraft von Ihnen entworfen hat, kann nicht so ganz falsch seyn; es kann nicht dem Originale so durchaus unähnlich seyn: weil die Farben dazu sie, meine Einbildungskraft, von den Producten Ihres Geistes entlehnt hat. Wenn ich Sie einst sähe, so würde ich freylich mein Bild für unvollkommen erklären. Und warum? weil die Kunst immer der Natur nachgeben soll, weil die Copie immer schlechter als das Original selbst ist: ich würde Sie noch verehrungswürdiger finden. — Wenn ich Sie einst sähe! Der Gedanke thut mir wohl. Was würde ich empfunden haben, wenn ich. . . Mein Herz zittert, schlägt schnell in meiner Brust. Ja, Lavater, will's Gott, werde ich einst in Zürich seyn und Sie sehen. Dieses Jahrs? nein, gewiß nicht dieses Jahrs, vielleicht aber des künftigen. — «Mein Herr!» — Habe ich das Glück, Herrn Lavater zu sehen? — «Ich bin Lavater». — Lav. . . der Jüngling kann nichts mehr sagen; er weinet Freudenthränen, fällt auf die Knie und stammelt: Ich bin der Russe, zu dem Sie in einem Briefe sagten: «Mög ich auch Ihnen auf irgend eine Weise nützlich werden». — — Mein Herz, mein Herz, mein armes Herz! befindest du dich wohl?

«Dennoch streb' ich immer froher zu werden, um froher zu machen» — Wenn Sie auch diejenigen froh machen, die so weit als ich von Ihnen entfernt sind: wie viel froher machen Sie die Menschen, die immer um Sie sind, die immer aus Ihrem Munde hören, wie sie gerecht wandeln müssen!

Ich will Ihnen etwas von meiner jetzigen Lage sagen. Ich wohne noch immer in Moskau, von allen Staatsgeschäften frey. Ich übersetze aus dem Deutschen und Französischen, soll wöchentlich einen gedruckten Bogen für Kinder liefern, zeichne so was für mich selbst auf, das immer *verwirrte Gedanken* zum Titel führet. Ich bin ein wunderlicher Kopfhänger, den Sie so herzlich bemitleiden. Ich bin sehr witzig, mich selbst zu plagen. Ich fasse oft den Entschluß, froher zu werden, und der Entschluß bleibt immer ein Entschluß ohne Ausführung. Ich lese Lavaters-, Gellerts-, Hallers Schriften, und viele andere. Ich habe nicht das Vergnügen, viel in meiner Muttersprache zu lesen. Wir sind noch arm an Schriftstellern. Wir haben einige Dichter, die des Lesens werth sind. Der erste und der beste ist Cheraskow. Er hat zwey Gedichte verfasset, *Rossiada* und *Wladimir*; das letzte und das schönste Gedicht bleibt noch von meinen Landsleuten unverstanden. Vor 14 Jahren hat sich Herr von *Nowikow* als ein witziger Autor berühmt gemacht, er will aber jetzt nichts mehr schreiben; vielleicht, weil er ein anderes und gewisseres

Mittel gefunden hat, seinem Vaterlande nützlich zu seyn. An dem Herrn *Kliutscharew* haben wir jetzt einen philosophischen Dichter, der aber nicht viel schreibt.

Ich will tausendmal Ihre *brüderliche Schreiben an Jünglinge* lesen; ich kann nie des Lesens satt werden. Der Autor selbst hat mir empfohlen, diese Schreiben zu lesen — das werde ich nie vergessen.

Was soll ich Ihnen von Lenzen sagen? Er befindet sich nicht wohl. Er ist immer verwirrt. Sie würden ihn gewiß nicht erkannt haben, wenn Sie ihn jetzt sähen. Er wohnt in Moskau, ohne zu wissen, warum. Alles, was er zuweilen schreibt, zeigt an, daß er jemals viel Genie gehabt hat, jetzt aber. . . Ich habe ihm Ihren Brief persönlich eingehändigt. Herrn Doctor *Fränkel* habe ich gesehen und Ihren Auftrag mündlich ausgerichtet. Ich habe nicht die Ehre, Herrn Pastor *Brunner* zu kennen, ich will ihm aber Ihren Gruß schriftlich zuschicken.

Ich fürchte, mein Brief wird zu lang. Ich soll abbrechen. — Wenn Sie an mich schreiben, so adressiren Sie den Brief an meinen Namen im Hause des Herrn von Nowikow. Leben Sie wohl und halten Sie mir etwas zu gute. Ich bin Ihr aufrichtiger Verehrer und gehorsamster Diener

Nicolas von Karamsin.

III

Sonntags, den 25. Juli 1787.

Gewiß, es wird Ihnen nicht fremd vorkommen, daß ich wieder an Sie schreibe, da Sie das menschliche Herz so gut kennen, da es Ihnen bekannt ist, daß der Lehrbegierige seine Feder nie ruhen läßt, wenn er so glücklich ist, mit großen und gelehrten Männern einen für sich unterrichtenden Briefwechsel zu haben. Ohne Furcht, für einen Prahler gehalten zu werden, kann ich mich für einen Lehrbegierigen ausgeben; und da ich versichert bin, daß Sie am besten meinen Seelenhunger stillen können — kann ich schweigen? kann ich aufhören, zu fragen, so lange die Hoffnung, eine Antwort zu haben, da ist? — Nein, gewiß nicht!

Es ist also für jetzt unmöglich, so genau den Zusammenhang der Seele mit dem Körper zu verstehen — eine traurige Nachricht für den, der sich selbst gerne kennen wollte! Ich bin, und mein Ich ist für mich ein Räthsel, das ich nicht auflösen kann; ich sage: meine Seele, mein Körper — und weiß doch nicht, was Seele in sich ist, was Körper in sich ist; ich will, und es geschiehet — wie es aber geschiehet, wie mein Wollen, mich zu bewegen, meinen Korper in eine Bewegung setze, davon weiß ich nichts, und darf mich nicht einmal schmeicheln, davon etwas zu verstehen, weil Sie selbst nichts davon verstehen wollen. Bin ich denn größer als Lavater? habe ich mehr Vernunft als er, dessen Vernunft so groß ist? wenn er, der große Mann, wenn er selbst sagt: ich weiß es nicht — kann ich, dessen Fähigkeiten so eingeschränkt sind, kann ich es zu wissen glauben? Und was soll ich nun?

Jetzt gehen viele Zweifel in meiner Seele auf. Ich bin mit einem Streben nach Erkenntnis geboren; ich sehe, und sogleich will ich wissen, was in meinen Augennerven eine Erschütterung hervorgebracht hat: daher schließe ich, daß das Wissen für meine Seele nothwendig ist, fast eben so nothwendig, als die Nahrung für meinen Körper, darnach ich mich umsah, sobald ich in die Welt geboren war. Wenn die Nahrung verdaut ist, so suche ich wieder eine neue Nahrung; wenn meine Seele einen Gegenstand gründlich erkannt hat, so suche ich wieder einen neuen Gegenstand zu erkennen. Wie unglücklich der Mensch ist, wenn er umsonst die Nahrung suchet! wie unglücklich ist er, wenn er umsonst seine Seelenkräfte anstrengt, eine Kenntnis in Besitz zu nehmen, die ihm so nützlich zu seyn scheinet! Daß die Erkenntnis seiner Seele, seines Körpers und ihrer gegenseitigen Einwirkung ihm von großem Nutzen wäre, glaube ich noch immer; denn hätte ich es gründlich erkennen mögen, ich hätte meinen Schöpfer noch verehrungswürdiger gefunden, und meine Religion eine bessere Religion seyn würde. Paulus sagt: wer Gottes Weisheit erkennen will, der soll seine Werke betrachten. Und wo hätte ich diese Weisheit besser entdecken mögen, als in dem Menschen, der so wunderbar bereitet ist? Soll ich mich, gleich wie notre cher Buffon, nach allen vier Theilen der Welt ausdehnen, um alle Würmer zu erkennen, und um mich selbst so wenig bekümmern? Soll ich immer durch tausend Umwege gehn? Das sey ferne!

Verzeihen Sie mir, großer Mann, verzeihen Sie mir meine Unbescheidenheit: soll ich Ihre Güte nicht zu sehr mißbrauchen? Ich unterliege unter der Last meiner Unwissenheit; ich sehne mich nach Erleichterung. Sie wissen gewiß so viel, wie viel der Mensch wissen soll, um glücklich zu seyn. Sie sagen: «Kraft, und Lust und Freyheit, «sich selbst, durch Aufopferung seiner selbst, zu genießen, ist die große Kunst, die wir hienieden zu lernen haben, und wozu wir den unerklärbaren sogenannten Einfluß der sogenannten Seele auf den sogenannten Körper zu verstehen nicht bedürfen». Sagen Sie mir, ich bitte Sie, wie kann ich mich selbst, durch Aufopferung meiner selbst, genießen, ohne mich selbst zu kennen? Ich will wissen, was ich bin, weil das *Wissen*, meiner Meinung nach, mich *existenter* machen kann — weil ich dadurch zum Genutze meiner selbst gelangen glaube. Wenn es aber nicht so ist, wenn es noch sicherere Mittel giebt, *uns unsers Daseyns gewisser und froher zu machen*; wenn ich diese Mittel vor Augen sähe, und dennoch *grübeln* wollte: so wäre es eine Thorheit, und dann würde ich selbst Schuld an meinem Hunger seyn. Belehren Sie mich, und Gott wird Sie gewiß dafür belohnen; mehr kann ich Ihnen nichts versprechen. Vielleicht trauen Sie mir nicht so viel zu, um mir solche Kenntnisse mittheilen zu können, die Sie so viel Ursache haben, hochzuschätzen; vielleicht — — — Wozu aber solche Umschweife, da ich an Lavater schreibe! Wenn es nur möglich ist, etwas zu sagen, so wird er gewiß sagen, was zu sagen ist.

Noch immer bin ich ein Kopfhänger,

— — — and at the destin'd Hour
Punctual as Lovers to the Moment sworn
I keep my Assignation with my Woe.

Ich höre nichts mehr von *Klopstock*. Will er nichts mehr schreiben? — Es wäre auch zu undankbar, noch etwas von ihm zu verlangen, nachdem er uns seine Messiade geliefert hat.

Der Friede unsers Herrn sey in überschwenglichem Maaße mit Ihnen immer und ewiglich!

Die Aufschrift: An Karamsin, im Hause des Herrn von Nowikow.

Immer, immer werde ich Sie lieben und hochschätzen.

Nicolas von Karamsin.

IV

Moscau, den 27. März, 1788.

Kein Achselzucken! — Ein Wort, und dann ewiges Stillschweigen — Ich danke Ihnen, großer Mann, für die Güte, mit welcher Sie meine Briefe beantworten.

Gewiß, es war nicht *die bloße* Eitelkeit, die mir einst die Feder in die Hand gab, an Sie zu schreiben. Ich liebte Sie gewiß, nachdem ich einige Ihrer Schriften gelesen hatte, nachdem mir einige Züge aus Ihrem Leben bekannt wurden. Es war für mich so was entzückendes, mich in Gedanken in *Zürich* zu versetzen, mich in einem Lande, unter einem Dache mit *Lavater* zu denken — eine Illusion, die für mich aber so was wesentliches enthielte! Endlich kam ich auf den Einfall, an Sie zu schreiben, ohne an die Fragen denken zu können. Ich brannte vor Begier, Ihnen zu sagen, daß ich Sie liebe. «Möge Er's doch wissen, daß ich Ihm so ganz ergeben bin!» Das war mein Ziel, mein Wünschen, mein Glück. Auf eine Antwort von Ihnen zu warten — o! das war für mich ein frecher Gedanke, aber auch zugleich ein entzückender Gedanke. Und da ich meine kühne Hoffnung erfüllt sah, o! ich wollte in Freudenthränen ganz zerfließen! Da ich also die Erlaubnis, wieder an Sie zu schreiben und Ihnen einige Fragen vorzulegen, zu erhalten glaubte — dann schrieb ich wieder an Sie, und fragte Sie, und wartete auf eine Belehrung von Ihnen. Freylich, ich schrieb vieles, das Sie nicht interessieren konnte; das merkte ich aber zu spät, nicht eher, als mein Brief weg war. Sie haben wieder sich herabgelassen, mir zu antworten. Ich freute mich wieder, und segnete Sie, da ich Ihren Brief in die Hand nahm. Es war für mich so was unerwartetes, von Ihnen zu vernehmen, daß es ganz und gar unmöglich sey, zu wissen, was der Körper in sich ist, was die Seele in sich ist, und wie sie mit einander verbunden sind. «*Lavater*, dachte ich bey mir selbst, hat den Menschen so fleißig studiert, so schöne Gedanken von der Art und Weise, wie die Seele in dem Körper sich ausdrücket, in Seinen Physionomischen Fragmenten entwickelt, und doch will Er nicht wissen, was die Seele ist, was der Körper ist, und wie die Seele auf den Körper wirket, und sagt, daß es zu wissen nicht nöthig ist! Ich will ihn also bitten, mir zu sagen, wie ich eigentlich *über mein Daseyn reflektieren* soll, und in wiefern ich mich kennen kann und muß; und wenn der Selbstgenuß, wie Er sagte, das Ziel ist, wornach ich mich streben soll, so wollte ich für jetzt einen bessern Begriff

von dem Selbstgenuße und von den Mitteln, dazu zu gelangen, haben». — So dachte ich, und schrieb, und wartete auf eine Antwort, aber — vergebens. Auf Ihre Antwort konnte ich mit Recht keinen Anspruch machen; aber ich fürchte, die Ursache, warum Sie nicht mehr an mich schreiben wollen, soll mir den Muth benehmen, jemals vor Sie zu treten, und zu sagen: «das bin ich, der Russe, der das Glück hatte, mit Ihnen Briefe zu wechseln» — und das ist für mich sehr kränkend. Sie mögen glauben oder nicht, so will ich doch wiederholen, daß mein Herz Sie liebt. Ich kann ohne Rührung nicht Ihre Briefe ansehen! Das Herz blutet mir, so bald ich denke, daß ich bei Ihnen nicht gut angeschrieben bin, daß Sie vielleicht die Minuten bereuen, die Sie verwandten, meine Briefe zu lesen und an mich zu schreiben. Oft und sehr oft sehe ich Ihren Bust an, und bilde mir ein, wie Sie meinen letzten Brief erhielten, wie Sie ihn lasen, mit was für einer Miene Sie ihn auf den Tisch legten — das gehet mir durch die Seele, eine glänzende Thräne rollt mir über die Wangen hinab, und ich werde traurig. Ich nehme Ihre brüderliche Schreiben an Junglinge, lese sie, und werde traurig; ich nehme Ihre Briefe an mich, lese sie, und werde traurig — alles macht mich traurig, so bald ich denke, daß Sie von mir nichts gutes denken, oder daß ich aus Ihrem Angedenken auf ewig vertrieben bin. Vor einigen Tagen kam ich auf den Gedanken, wieder an Sie schreiben. Heute ist dieser Gedanke reif geworden, und ich ergriff die Feder, Ihnen für Ihre Herablassung, ohne die Sie unmöglich an mich schreiben könnten, meinen feurigsten Dank abzustatten, und Sie zugleich zu bitten, mich nicht für einen Prahler zu halten, der an Sie bloß in der Absicht schrieb, von Ihnen, als von einem berühmten Manne, einen Brief zu erhalten, um sagen zu können: «Siehe da! ich wechsele Briefe mit *Lavater!*». Nein, der Liebestrieb, der Mitteilungstrieb, waren die Grundtriebe meines Schreibens. Freilich, ich ließ mich allzusehr von meinem Herzen regieren, ohne die Vernunft redlich zu Rathe zu ziehen; dem sey aber, wie ihm wolle, so will ich doch wiederholen: es war nicht die bloße Eitelkeit, die mich antrieb, an Sie zu schreiben.

Ich habe Ihnen also gesagt, was ich sagen wollte, vielleicht auch allzuweitläuftig; aber die Schwatzhaftigkeit ist immer eine Folge der Herzensfülle.

Sie mögen nun von mir denken, was Sie wollen — Sie mögen mich vergessen oder nicht, — so will ich doch immer Sie lieben und verehren. Und damit sey es zu Ende!

Come then, expressive Silence, come!

Nicolas von Karamsin.

V

Moscau, den 10. Junius, 1788.

Ich weiß nicht Worte zu finden, Ihnen die Wärme meiner Dankbarkeit auszudrücken; alle Worte sind doch Worte — sind kalt und ohne Leben. Ja, großer Mann, ich kann Ihnen nie für Ihre gütigste Gabe, wofür ich das Mittheilen der Auszüge aus Ihren Briefen immer ansehen werde, genug danken. Wie gütig sind Sie! Ich wollte gerne alle meine jetzige Empfindungen vor Ihnen ausschütten, aber ich kann's nicht — was ich jetzt empfinde, ist über allen Ausdruck erhaben.

Ich warte auf diese mir versprochene Auszüge als auf ein Heiligthum. Ich schmachte vor Begierde, sie zu lesen, zu studieren, und meine Denkungsart nach der Denkungsart des großen *Lavater* einzurichten. Da — nahe am grauen Gebirge, das von *Haller* besungen war, gehet mir die Sonne der Belehrung auf, die mit ihren hellen Strahlen die Schatten meiner Unwissenheit zerstreuen, und mit ihrem Lichte mich beleben wird — ich werde aufstehen, munter herumblicken, und erst dann *froh* seyn.

Herr *Biber*, hiesiger Buchhändler, wird Ihnen jährlich, durch diesen oder jenen Buchhändler in *Strasburg* oder in *Genf*, 1 St. Louis d'or zustellen; weil unsere Banquiers von der Überschickung einer so kleinen Summe nichts hören wollen.

Sie sind ja mein Lehrer — mein Herz hüpfet vor Freude, Sie dafür zu erkennen — Ihr Lehrling muß Ihnen also sagen, was er jetzt studiert. Ich lese sehr fleißig *Bonnets* Schriften. So viele Aussichten mir der große Philosoph unserer Zeit auch eröffnet hat, so bin ich doch weit davon, mit allen seinen Hypothesen vollkommen zufrieden zu seyn. Les germes, emboîtement des germes, les sièges de l'âme, la machine organique, les fibres sensibles — Das ist alles sehr *philosophisch*, tiefsinnig, läßt sich gut zusammenreimen, und könnte auch in der That so seyn, wenn der liebe Gott, bei seiner Schöpfung, sich nach der Philosophie des ehrwürdigen *Bonnet* einrichten wollte; ob es aber in der That so ist, das glaube ich doch nicht, so lange ich glaube, daß Gottes Weisheit aller unserer Philosophen weit übertrifft, und folglich andere, bequemere, als die von unseren *Leibnitzen* und *Bonneten* ihr zugeschriebene Mittel, ihre Geschöpfe hervorzubringen und zu erhalten, finden kann. Es wäre doch besser, glaube ich, das große Weltgebäude, so wie es vor unsern Augen da ist, zu betrachten, und zu sehen — so weit unsere Blicke reichen könnten — wie da alles *zugehet*, als nachzudenken, wie da alles zugehen *könnte*; und das letzte ist doch oft der Fall bey unsern Philosophen, die zuweilen keine Geduld haben, weiter zu betrachten, sondern gleich zu ihrem Schreibtische eilen, das wenige in Augenschein genommene unter der Last ihrer zahlreichen Vermuthungen seufzen zu lassen. Vielleicht. . . aber ich schwatze zu viel.

Sollte Ihr Herr Sohn nach Moscau kommen, so findet er an mir seinen gehorsamsten Diener, der sein Möglichstes thun wird, seine Wohlgewogenheit zu verdienen.

Belieben Sie das Haus, wo die Briefe an mich abgegeben werden sollen, nämlich das Haus des Herrn von *Nowikow*, in der Aufschrift anzuzeigen — sonst können sie verloren gehen.

Leben Sie wohl, mein Wohlthäter!

Nicolas v. Karamsin

VI

Moscau, den 17. Oktober.

Herr *Frank*, Banquier in Straßburg, wird Ihnen nach der beyliegenden Anweisung 1 St. Louis d'or bezahlen. — Ich bin ganz Erwartung, wenn ich mich so ausdrücken darf. Wie merkwürdig mir der Tag seyn wird, da ich die Auszüge aus Ihren Briefen bekommen werde! Leben Sie wohl, und seyn Sie versichert, daß Ihre Wohlgewogenheit mir die Bitterkeit des Lebens versüßen kann!

Nicolas von Karamsin.

VII

Moscau, den 15. März 1789.

Endlich bin ich so glücklich — gewiß glücklich — das, worauf ich seit langer Zeit so sehnsuchtvoll wartete, zu erhalten. Ich danke, ich danke Ihnen, großer Mann, für die Güte, die Sie gegen mich dadurch bewiesen haben. Das Vertrauen, das Sie damit auf mich setzen, ist wieder etwas entzückendes für mich — und immer wird es mir heilig seyn, die Bedingungen zu beobachten, wozu mich Dankbarkeit und selbst die Ehre verpflichtet.

Wie lehrreich sind mir alle die Briefe, die mir Ihre Güte mittheilte! Ich lese, und heilige, erhabene Gedanken schweben um mich her. Ihre Ideen von der Gottheit — — o *Lavater!* ich bewundere den Weisen, der so erhaben denken kann! — Sanfte Theilnehmung am Unglücke anderer, tröstende Liebe, zärtliche Einladung zur Resignation, worauf sich unser Glück hienieden gründen soll — das alles, und noch mehreres, was nur in Lavaters Sprache einen Ausdruck findet und der Inhalt des Briefes an Professor *Spittler* ist, erfüllte mein Herz mit wonnevollen Empfindungen. Wie kann ich Ihnen aber alle die Eindrücke schildern, die ein jedes Stück in mir machte! *Vermischte Regeln auf der Reise* sind mir jetzt besonders theuer, und warum? Weil ich selbst bald, sehr bald — reisen will!

Ja, ich will reisen; will — wenn's Gott will — zu Ihnen kommen, Sie umarmen und verstummen und mich gänzlich im tiefen Gefühle des Glücks Sie zu sehen, neben Ihnen zu seyn, verlieren. Wenn mich mein Herz auf diesmal nicht täuschet, wenn etwas Wesentliches in seinen Ahnungen ist,

so nehmen Sie mich freundlich in Ihren Schooß auf, so finde ich an Ihnen einen Führer, einen Freund, bey dem ich so sicher, als mitten in meinem Vaterlande seyn werde. Im Maymonath will ich von Moscau nach Petersburg, und von Petersburg durch Deutschland nach der Schweiz gehen, so daß ich im Augustus nach Zürich zu kommen glaube. Da bleib ich bey Ihnen, und genieße, wenn Sie es mir vergönnen, einige Monate Ihren Umgang, Ihre Lehren, und dann gehe weiter nach Frankreich und England.

Da die Zeit, die ich noch in meinem Vaterlande zu bleiben gedenke, so kurz ist, und ich nicht das mir so schätzbare Werk, *physiognomische Regeln*, das Sie mir so gütig anbieten, noch vor meiner Abreise erhalten kann, so bitte ich Sie, mich die Hoffnung genießen zu lassen, daß ich es von Ihnen selbst bekomme, so bald ich nach Zürich komme.

Und damit, mich gänzlich auf Ihre Güte verlassend, und in der süßen Hoffnung, Sie nach vier oder fünf Monaten persönlich kennen zu lernen, nehm' ich Abschied von Ihnen, großer, ehrwürdiger Mann! Leben Sie wohl, und wünschen Sie einmal, daß ich zu Ihnen komme!

Nicolaus Karamsin.

1. Was ist der allgemeine Zweck der Menschheit, oder das allgemeine Ziel unsers Daseyns, das für Dumme und für Weise gleich erreichbar wäre?

Sie, großer Mann, — dem ich mit einem Händedruck, mit einem Blick alle meine Empfindungen auszudrücken glaube — Sie werden mir diese Frage beantworten, und *in Rücksicht auf mich* beantworten. Ich bin ein junger Mensch, der ein recht warmes Herz in seinem Busen trägt — der etwas sucht, woran er sich mit seiner ganzen Seele hängen könnte, und wovon er selbst keinen bestimmten Begriff hat, das aber die Leere seiner Seele ausfüllen und sein Leben lebhafter machen soll.

2. Was muß man über Magnetismus denken?

— Ich frage Sie darum, weil ich weiß, daß es Ihre Aufmerksamkeit verdiente und von Ihnen untersucht wurde. Es ist immer ein zu wichtiges Phänomen, als daß ich es auf meiner Wanderschaft durch die Welt unbemerkt lassen konnte.

Karamsin.

NOTA

Die Auszüge aus Ihren Schriften können in Rußland auf zweyerley Art herausgegeben werden.

1. Ein Buchdrucker in Moskau wird gewiß den Druck davon übernehmen. Die Bedingungen, unter denen es geschehen kann, können wohl verschieden seyn. Entweder kriegen wir eine gewisse Anzahl von Exemplarien, die ich verkaufen und das erhaltene Geld — auf einmal, oder nach und nach, so wie die Exemplarien verkauft werden — nach Zürich übermachen kann; oder wird uns der Verleger baar bezahlen. Doch kann ich für jetzt noch nicht bestimmen, was man von dem Verleger dafür verlangen kann, weil ich noch nicht weiß, wie stark das Werk seyn wird.

2. Man kann es auch auf eine andere Weise veranstalten, die mir auch die beste und die vortheilhafteste zu seyn scheint. So bald ich nach Moskau

zurückkomme, werd' ich eine periodische Schrift herausgeben. Ich habe Ursache zu glauben, daß es mir nicht an Subscribenten fehlen wird. Wie, wenn Ihre Auszüge, so wie ich sie von Ihnen erhalte, in die Monatsschrift eingerückt werden könnten? Seyn Sie versichert, daß an die Seite Ihrer Aufsätze nichts *unreines* zu stehen kommt, was Ihrer Würde schaden könnte. Und ich werde jährlich eine gewisse Summe nach Zürich übermachen, je nachdem, die Anzahl der Subscribenten zu- oder abnehmen wird; das Erste ist mir aber immer wahrscheinlicher. Auf die Art könnten Sie auch einen viel größeren Einfluß auf die Cultur russischer Geister haben, da Ihre Aufsätze, in Form einer Monatsschrift herausgegeben, in mehrere Hände kommen und mehr gelesen seyn werden, als wenn sie auf einmahl abgedruckt und herausgegeben wären.

Und was Ihr französisches Physiognomisches Werk anbelangt, so werd' ich Ihnen, nach meiner Zurückkunft nach Moskau, melden, wie viele Exemplarien davon ich *gleich* verkaufen kann. Dann stehet's in Ihrem Belieben, auch mehrere Exemplarien mir zu schicken, die immer nach und nach verkauft werden könnten. So bald ich die Exemplarien von Ihnen und das Geld dafür von den Käufern erhalte, schick' ich Ihnen einen Wechselbrief auf Straßburg oder auf Holland, der selbst in Zürich bezahlt werden könnte.

Zürich, den 21. Augustus 1789.

N. Karamsin.

VIII

Genf, den 26. September, 1789.

Da Ihnen jeder Dank, der aus Worten besteht, gar nicht gefällt, so muß ich schweigen.

Kurz und gut sag' ich Ihnen also, daß ich überall, wo mich Ihre Adressen hinführten, sehr gut aufgenommen war, und einige offene Seelen kennen lernte, deren Umgang mir sehr angenehm war und ist.

Hier will ich überwintern. Ich bitte Sie also, mir etwas von den Auszügen aus Ihren Schriften zu schicken, an deren Übersetzung ich fleißig und lustig arbeiten werde. Ich könnte auch die *Handbibliothek für Freunde* hier lesen.

Lavater! das Bild Ihres Lebens wird mir immer vorschweben!

Meine Adresse: à Genève, à la Grande rue, Nr. 17, chez Lagier.

Die Adressen nach *Rolle* und nach *Nyon* sind bey mir geblieben, weil ich diese Städte bey Nacht passierte.

Leben Sie wohl!

Nicolaus Karamsin.

IX

Genf, d. 17. December, 1789.

Ich schreibe noch einmahl, und bitte Sie noch einmahl um Verzeihung, wenn mein Brief nicht willkommen ist.

Aber ich muß doch wissen, ob ich noch hier in Genf — wo ich bis März bleibe — etwas von den Auszügen aus Ihren Schriften, deren Übersetzung ins Russische ich so gerne übernehme, erhalten werde. Wenn Sie es mir schicken, so bitte ich Sie, es nicht zu frankiren. Es soll in *Moskau* so schön als möglich gedruckt und in Form einer Monatsschrift herausgegeben werden. Ihr Leben — wozu Sie mir Materialien versprochen haben — wird vorausgeschickt. Jährlich werde ich Ihnen schicken, was wir dabey gewinnen werden.

Aus Moskau schreib ich Ihnen, wie viele Exemplare ich von Ihrem französischen Physiognomischen Werke gleich verkaufen kann; und dann können Sie sie durch Herrn *Bourcard* von Kirsgarten nach *Moskau* überschicken.

Ich muß etwas über meine Reise herausgeben — das hab' ich versprochen. Wird's mir erlaubt seyn, da ein Wort von *Lavater* zu sagen — das, was mein Herz mir in die Feder dictieren wird? Aber keine übertriebene Lobsprüche! Wenn Wahrheit unsere Feder führt, so ist sie immer bescheiden.

Sie werden mir gewiß antworten, wenn es möglich ist — die Ungewißheit drückt mich schwer.

Ich wohne hier in Genf à la Grande rue, Nr. 17, chez Mr. Lagier,

Leben Sie wohl!

Nicolaus Karamsin.

X

Genf, den 14. März 1790.

Mit Dank hab' ich das *menschliche Herz* genossen, und genieße es noch immer.

Schön ist das *menschliche Herz* so wie es da ist. Glücklich, wer sein Herz daran erkennen kann!

Die Beantwortung der Fragen, die Sie in der Vorrede Ihren Lesern vorlegen, überlasse ich andern; dann dazu fehlt mir vieles.

Morgen früh gehe ich nach Frankreich. Haben Sie die Güte, die folgenden, mir zugedachten Hefte von der *Handbibliothek* dem Herrn Bourcard von Kirsgarten, mit der beyliegenden Adresse, nach *Basel* zu schicken. Er hat versprochen, das, was er für mich von Ihnen erhalten wird, mir nach Moskau zu überschicken.

Kann ich hoffen, wenigstens nach meiner Zurückkunft nach *Moskau* (wo ich schon im Augustus zu seyn glaube), etwas von den Auszügen aus Ihren Schriften zu erhalten? Sollte es in *Moskau* ankommen ehe ich da bin, so wird

es nicht verloren gehen. Meine Adresse sehen Sie hier. Sonst haben Sie sie auch in Ihr Adressenbuch eingeschrieben.

Leben Sie wohl, verehrungswürdiger Mann! Vergessen Sie mich nicht, wenn mein Andenken nicht etwas leeres ist!

Karamsin.

XI

Den 1. December 1790.

Nun bin ich wieder da, wo ich war, ein wenig älter, klüger vielleicht, wenigstens mit mir selbst und mit der Welt zufriedener! Ich habe so viel schönes auf meiner Reise gesehen!

Schon lange weiß ich nichts von Ihnen. Ihren Auftrag, Ihr französisches physiognomisches Werk betreffend, hab' ich nicht vergessen. Herr *Biber*, hiesiger Buchhändler, ein braver Mann, will davon 4 Exemplare haben, unter Bedingungen, die Sie in seinem, hier beygelegten Briefe lesen werden. Ich selbst will davon zwey ganze Exemplare, und noch ein Exemplar von dem vierten Theile à part haben, weil einer meiner Freunde die drey ersten schon hat. Herr *Biber* schreibt Ihnen, durch welchen Weg Sie ihm seine Exemplare schicken können: wollen Sie auch die meinigen dabey schicken? Sobald ich sie erhalte, will ich Ihnen gleich einen Wechsel senden.

Ich weiß nicht, ob von der *Bibliothek für Freunde* noch etwas heraus ist; ich habe nur das erste Heft davon. Wenn noch einige Hefte davon gedruckt sind, und die mir zugedachten noch bei Ihnen liegen, so bitte ich Sie, sie mir durch die Post zu schicken, und mir dabey zu melden, was Ihnen das Porto jährlich kosten wird. Für den folgenden Jahrgang, wenn die *Bibliothek* fortgesetzt wird, und für das Porto schick' ich Ihnen gleich, so bald ich weiß, wie viel.

Und zum Beschluß eine Frage: *Sind wir weiser und tugendhafter als die Alten, weil wir Christen sind*?

Meine Adresse: im Hause des Herrn Plescheew auf der Twerskaya in Moskau.

Leben Sie wohl!

Nicolaus Karamsin.

ПИСЬМА А. А. ПЕТРОВА К КАРАМЗИНУ

1785—1792 *

1

‹Москва.› Ч‹исла› 5. Маия 1785 Года.

Сего дня по утру получил я письмо твое, которого столь долго дожидался. Оно столько [1] меня обрадовало, что я весь день весел и всем [2] доволен. Приятнееже всего для меня то, что из слов твоих кажется, будто ты скоро в Москву возвратишься. Дай Боже, чтоб это скорее случилось! Хотя ты чрез то не освободишься от слушанья вздору; ибо я, преданнейший твой слуга, осмеливаюсь ласкать себя не безосновательною надеждою, что могу заменить двух или трех Симбирских [3] болтунов, изливающих и иссыпающих ныне в твои уши порождения пустотою наполненных голов своих: — однако здесь конечно найдешь ты и больше лекарств от головных болезней, пустословием производимых, больше лекарств от скуки и монашествующей меланхолии. Между тем должен я тебе сказать, что совсем не понимаю, как можешь ты почитать свое состояние столь мрачным, каким ты его описываешь. Не погневайся; я думаю, что ты сам отчасти виноват в тех неприятностях, которыя терпишь, и *хочешь беспрестанно* скучать. Терпеть иногда скуку есть жребий всякого от жены рожденного. Но также всякой человек имеет способность разгонять скуку и на трудном каменистом пути своем выискивать маленькия тропинки, по которым хотя три или четыре шага может ступить спокойно. Я не знаю, чья бы доля сея способности была менее моей; однако и я по большей части терплю скуку по своей воле. Работа, ученье, плоды праздных и веселых часов какого нибудь Немца, собственная фантазия, доброй приятель — вот сколько *противоскучий* или *противоядий* скуки мне одному известных. И все эте противоскучия можно найти не выходя за ворота. Сколькож можно еще их найти, захотевши искать! — «Это все очень хорошо», скажешь ты: «но когда скука овладеет мною, то я не могу приняться за работу; ученье нейдет в голову, и самой Шакеспер [4]

---

* *Текстологический комментарий и правка Карамзина даются под строкой в цифровых сносках. Если Карамзин исправил или зачеркнул одно слово, цифра ставится справа, если несколько слов — по обеим сторонам исправленного текста.*

[1] так [2] всѣм [3] С *** [4] Шекспир

меня не прельщает, собственная фантазия заводит меня только в пустыя степи или в дремучие леса, а доброго приятеля взять негде.» — На это отвечаю, что к работе и к ученью всякой молодой человек немножко только попринудить себя должен, после чего и Шакеспер[5] и фантазия удовольствия приносить будут; а добрым приятелем может быть всякой честной человек, у которого есть уши, язык и общий человеческий смысл, естьли только захочешь подладить к его тону. Хотя подлаживаться к чужому тону есть наука и требует упражнения; однако по этому-то самому и служит оно противоскучием, и пр. и пр.

Каково понравилось тебе мое нравоучение? — Пожалуй постарайся употребить что нибудь из него в свою пользу. Естьлиже ничто уже тебе пособить не может, то мне остается только сожалеть о том и желать, чтоб как можно скорее пришла та *помощь, о коей ты вздыхаешь*. Уповаю, что мы увидимся еще прежде Иоаннова дня, естьли Богу то будет угодно.

Ты описываешь мне внешнее свое состояние. Но я не выразумел, тогда ли только ты был в нем, когда письмо писал; или обыкновенно в нем бываешь. В первом случае я хвалю тебя; ибо сам, как тебе известно, препровождаю утро в таком наряде. В другом случае напоминаю тебе:

«Wozu die Außenseite
Von einem Diogen? Wozu ein wilder Bart?
Mich deucht, ein weiser Mann trägt sich, wie andere
Leute» *

[6]В рассуждении книжных новостей, надеюсь, не неприятно тебе будет услышать, что здесь печатается «Магазин для С‹вободных› К‹аменщиков›»? Се! поле пространное для первого противоскучия! Хотел было послать к тебе книжку *Судьба Рел‹игии›*; но неуспел достать ее, ибо она не продается.[6]

Ты очень хорошо сделаешь, естьли напишешь ко мне еще письмо или цва; но больше писать, желательно, чтоб не было уже тебе времени, и чтоб по крайней мере в первых числах июня мы не имели нужды писать друг ко другу, чего желать, с равным моему усердием, можешь разве только один ты.

Касательно до меня самого не имею ничего нового сказать. Я живу все по старому: сплю много, работаю мало, часто шатаюсь по улицам, заброжу иногда в театр, и не однажды в день о тебе вспоминаю.

Прости; уведомь меня поскорее, что ты стал спокойнее и довольнее, чему я весьма обрадуюсь.

---

* Зачем внешность какого-нибудь Диогена? Зачем дикая борода? Мне кажется, что разумный человек ведет себя, как другие люди (*нем.*)

[5] Шекспир [6–6] *Вычеркнуто.* С. К. *густо замазано.*

2

<Москва.> Ч<исла> 20 Мая. 1785 Года.

Я имел удовольствие получить письмо твое от 9 мая и покорно благодарю тебя за него. Я никогда не сомневался, что ты меня высоко почитаешь и горячо любишь, хотя в первом и никогда ты меня не уверял. Великия и обработанныя мои дарования в рассуждении первого, а любви достойныя и приятныя свойства в рассуждении другова, служат мне надежными поруками. О тебеж никогда я не думал, чтоб ты не мог отдавать справедливости и приписывать истинную цену достоинствам таких великих людей, как я. Люблю ли я тебя? о том не хочу сказывать. Я редко пропускаю случай писать к тебе; из чего можешь заключать по крайней мере то, что я всегда о тебе помню. «*Disce philosophari!*» говорим мы ученые; сиречь: учися любомудрствовати и от действия доходить до причины — ab effectu ad causam. (№. Когда будешь писать ко мне, то пожалуй, не позабудь поблагодарить меня за сии Латинския слова и похвалить мою ученость.)

За две неделиж пред сим писал я к тебе о твоей скуке, и теперь не почитаю за нужное повторять. Что же касается до праздности, то я никому в свете не поверю, чтоб ты ничего не делал. Хотя ты и секретничаешь, однако я наперед воображаю, как по приезде твоем все Московские Авторы и переводчики будут ходить повеся головы; длятого, что бедные сии люди будут тогда раза по четыре в неделю приезжать и приходить к Директорам Типографической Компании, и получать от них неприятной ответ, что книг их не можно еще начать печатать; ибо обе Типографии заняты печатанием Российского Шакеспира[1].

Весьма одолжил ты меня благодарностию своею за сообщенную мною Российским детям Историю кофия! Не правда ли, любезной друг, что сия пиэса[2] несравненна? Но представь себе, сколь несправедлив свет! — представь себе, сколь велико бесстыдство некоторых! — Они не устыдились — [3]о слабоумия[3] человеческого!!! — не устыдились, говорю, сказать, что они долго искали вотще, какую связь имеет стих из Св.<ященного> П.<исания> и заключение 16-го листа высокославного журнала для детей мной издаваемого, с сим преполезным и для блага младых отраслей рода человеческого необходимым разговором о кофе! — [4] Охотно бы исполнил желание твое и поместил в детском Чт.<ении> историю тобаку; но по многочисленным и важным причинам сие невозможно, в чем уверяю тебя неложным словом честного Журналиста. Естьлиж можно было, то стал бы я просить тебя о помощи, яко знатока и любителя этова Символа мирских упражнений и забав.[4]

Весьма мне неприятно, что ты должен отложить до Июля возвращение свое в Москву. Я ничего столько нежелал, как, чтоб увидеть тебя прежде Иоаннова дня. Но когда и это желание должно иметь общую

---

[1] Шакспира [2] пиеса [3–3] *Написано по соскобленному тексту.* [4–4] *Вычеркнуто.*

участь большей части желаний; то по крайней мере надеюсь я, что ты будешь писать ко мне, как можно чаще.

Конечно у вас в Симбирске[5] незнают ни мало учтивости, какую должно наблюдать, когда пишешь письмо к такому почтенному человеку, как я. Виданоль когда нибудь, чтоб в письмах целые строки вымарывались? Ты наделал мне труда на целой час, разбирать вымаранныя строки с таким же углублением и напряжением сил, с каким Голландские Филологи разбирают какую нибудь Греческую или Латинскую надпись. После многих тщетных опытов показалось мне, что тут написано было:[6] Естьли так, то для чего это вымарывать? Мне весьма приятно слышать, что ты не совсем [7]чужд в Большом Симбирском Свете.[7] При этом напомнил бы я тебе Университетскую мою шутку кое-о чем; но как она и здесь казалась тебе неприятною, то — и пр. и пр.

Все бр.‹атья›,[8] которых ты больше других знаешь, слава Богу! здоровы, равно как и я. Надеюсь, что естьлиб я сказал им, что пишу к тебе сего дня письмо, то они велели бы приписать от себя поклон. Но я никому об этом не сказывал; и так будь и тем доволен, что желает тебе всякого благополучия

А. П.‹етров›

3

‹Москва.› Ч‹исла› 11. Июня 1785 Года.

Виноват я, что уже две почты пропустил не писавши к тебе; но надеюсь, что ты простишь меня в этом, зная, что подобное со всяким человеком может случиться.

«Слава просвещению нынешнего столетия, и краи Симбирские[1] озарившему». Так воскликнул я при чтении твоих Епистол[2] — (не смею назвать Руским именем столь ученыя писания), окоторых всякой подумал бы, что оне получены из Англии, или Германии. Чего нет в них касающегося до Литтературы? Все есть. Ты пишешь о переводах, о собственных сочинениях, о Шакеспере,[3] о трагических Характерах, о несправедливой Волтеровой[4] критике, равно как о кофие и тобаке. Первое письмо твое сильно поколебало мое мнение о превосходстве над тобою в учености; второеж крепким ударом сшибло его с ног; я спрятал свой кусочик Латини в карман, стал в угол, сложил руки на груди, повесил голову и признал слабость мою пред тобою, хотя ты и по латине не учился. — Я не сомневаюсь, что под сочинением твоим о Соломоне кроется нечто совсем иное; но будучи не столько остроумен и проницателен, что бы уразуметь сие подразумеваемое, приму слова твои за простую

---

[5] С***. [6] *После* было *тщательно вычеркнуты четыре слова, прочесть которые не удалось; Карамзин заменил их многоточием.* [7–7] печален [8] *Вычеркнуто.*

[1] С *** [2] Эпистол [3] Шекспире [4] Вольтеровой

историю и скажу тебе мое мнение о твоей пиэсе, так, как бы она всамом деле существовала. Судя по началу преизящного сего трактата, должно заключить, что естьли Соломон знал и говорил по немецки, то говорил гораздо лучше, нежели ты пишешь. Будучи Великой *Жени*, ты столько превознесся над малостями, что в трех строках сделал пять ошибок против немецкого языка. Пожалуй употреби в пользу сие дружеское замечание, и лучше пиши все свое сочинение на Рускословянском языке долгосложно-протяжно-парящими словами. Для дополнения же твоего искуства писать таким слогом, советую тебе читать сочинения [5] и Переводы в стихах и в прозе Вас<илия> Тредиаковского, *коего о в любви езде остров книжницею пользуюсь, переводною, ныне, с Французского языка, и весьма ту читаю.* [6]Естьлиж непременно хочешь писать по немецки; то пиши кое-что такое, чего бы никто не читал; а с формированною в голове твоей пиэсою о Соломоне не осмеливайся показываться в публику. Нет ничего хуже, как начинать доказательство о чьем нибудь знании какого нибудь языка, с ошибками против того языка. Иной насмешник спросит: «Для чегож Автор доказывал это не на Немецком языке?» Пожалуй, не огорчись сими нельстивыми выражениями.[6]

По слогу писем твоих примечаю, что ты ныне в гораздо спокойнейшем бываешь расположении, нежели в каком был сначала по приезде в Симбирск.[7] Сердечно этому радуюсь и желаю, чтоб спокойствие твое никогда ни чем не нарушилось, но также, чтоб не превратилось в привычку жить в Симбирске [8] к великому неудовольствию тех, которые здесь ожидают нетерпеливо увидеться с тобою поскорее.

Касательно до себя, скажу, что я ныне совсем избаловался, так, что и мышей [9] ловить не гожусь. Леность и праздность столько мною овладели, что я почти ни за какую работу не принимаюсь, а по тому иредко бываю в добром расположении. — «Это уже не новое, но давнишнее!» скажешь ты. Правда! но мне кажется, что прежде я никогда не чувствовал тягости, какую навьючивает на нас безделье, по крайней мере не чувствовал ее столь сильно, как недавно чувствовать начал. — Мне очень хочется после Иванова дня побывать в деревне и, может быть уеду я довольно далеко месяца на полтора. — Извини, что я сообщаю тебе эту ведомость, по всей вероятности ни мало для тебя не нужную. Я столько занимаюсь ныне сими мыслями, что немог и к тебе этова не написать.

[10] Ты пишешь, что не можешь выехать из Симбирска прежде Июля; следовательно я буду ожидать от тебя еще письма, да и не одного. Пожалуй уведомь, получил ли ты печатныя тетратки: *Судьбу Религии* и *Карманную Августинову Псалтирь*, которыя давно уже к тебе посланы? [10]

---

[5] Сочинения [6–6] *Вычеркнуто. В «Русском архиве» пропущены слова:* Иной насмешник спросит: [7] С** [8] С*** [9] *В «Русском архиве» вместо* мышей *ошибочно* мыслей. [10–10] *Вычеркнуто.*

4

Москва 1787 году Августа 1.

Третьего дни получил я письмо твое от 26 Июля и теперь принимаюсь отвечать на оное, хотя еще два дни осталось до вторника.

Ты хорошо делаешь, что не спрашиваешь для чего первое мое к тебе письмо было так коротко. Я не имею отменной охоты рассказывать о причине тогдашней моей скромности. Естьлиб ты спросил, то я отвечал бы, что тогда не мог более писать. А для чего не мог? Проницательный человек сам усмотрел бы это из другова моего к тебе письма, а может быть и из самова этова, которое теперь пишу.

Я никогда не сомневался в том, что ты имеешь философской дух, тонкой, глубоко проницающий и удобный к открытиям для других невозможным. Письмо твое служит подтверждением сего моего справедливого и на опытах основанного мнения. Ты находишь в себе что-то достойное похвалы: Удивительное проницание! Кто мог вообразить только возможность такой находки? Проницание твое несравненно: ты видишь то, что от всех прочих смертных сокрыто. — «Старая натянутая насмешка!» скажешь ты. Не погневайся, новой не случилось; а кто сам себя хвалит, того надобно чем нибудь наказать.

Худо бы заплатил я тебе, любезной брат[1], за твою ко мне доверенность естьлиб не сказал тебе прямо, что письмо твое к Лафатеру *мне не очень нравится*. «Почему»? Мне кажется, что ты насильно хочешь его заставить знать то, очем он ясно и без всяких обиняков писал к тебе, что не знает и знать не старается. — Но пожалуй заметь, что мне так только *кажется*; а что мне только кажется, на то и сам я еще не полагаюсь.

Мне весьма приятно, что Батте тебе нравится. Я думаю, что Господин Азмус, сшутивший не очень понятно на его щет в простых своих сочинениях,[2] гораздо более употреблял искуства, нежели какой нибудь доброй человек, старавшийся утончить природный свой вид чтением Баттевых правил.

Фенелон, Аддисон, Геллерт были *просты*, *чувствовали*, имели *природной дар*; это видит всякой, кто хотя мало имеет способности отличать их сочинения от Истории *Аглицкова Милорда Георга;* однакож они учились правилам и употребляли их. — Телемак, Аддисоновы пиесы в Спектаторе, Геллертовы басни и духовныя песни, кажутся мне гораздо натуральнее и простее крестьянских песен и простых рассуждений в письмах простосердечного Азмуса, которой имеет у себя ученого родственника Клавдиуса, умеющего при случае довольно колко и *правильно* браниться с неучтивыми Рецензентами. — Простота, — чувствование — превыше всякого умниченья; грешно сравнивать натуру, Génie, с педантскими подражаниями — с натянутыми подделками низких умов. — Однако простота не состоит ни в подлинном, ни в притворном незнании. Можно писать крестьянским наречием: *што, подико ты,*[3] *эво-ся, вот вишь ты,* и

[1] друг [2] *Запятая вычеркнута.* [3] *Вычеркнуто.*

совсем тем педанствовать. — Самыя жаркия чувствования могут иногда показаться суше Латинского Лексикона и Латинской Грамматики. — Пьяные мужики и Екскременты[4] разных животных находятся в *натуре*; но я не пожелал бы читать живого оных описания ни в стихах, ни в прозе. — Говорят, что Шакеспер[5] был величайший Génie; но я не знаю, для чего его трагедии не так мне нравятся, как Эмилия Галотти. — Но полно! пора мне оставить критическия свои замечания. Может быть я уже наскучил тебе худым выражением незрелых мыслей. Я хотел только сказать, что *правила кажутся мне нужными*.

Я надеялся, что нынешняя поездка твоя в деревню истребит в тебе старое закоренелое предрассуждение против деревенской жизни, и что ты присоединишься к защитникам превосходства деревни пред Москвою в летнее время. Но теперь вижу, что надежда моя была не основательна. Не хочу доказывать тебе несправедливость[6] твоего равнодушия к приятностям сельским; ибо сия материя давно уже часто и пространно была нами трактована как в присутствии, так и в отсутствии А. И., президента *селозащитительного* общества. Позволь только спросить у тебя: как может находить вкус в беллетрах, в искуственном подражании прекрасной Натуре тот, кто в самом оригинале не находит приятностей, когда оный представляется ему в лучшем своем виде? — Что перемена воздуха, тишина, густыя рощи не дают сердцу <...>[7]

5

Из деревни Н**‹овикова›. 30 июня 1788.

Начать ли мне жалостную[1] песнь и наполнить ли письмо упреками? Истязать ли[2] тебя о причине, для чего не сдержал ты своего слова? Твердое твое I will * заставило-было все мои сомнения спрятаться; я ожидал уже было[3] приезда твоего, так, как из близкой тучи после молнии ожидают грому. Но твердое твое I will пошатнулось, и сомнения мои оправдались. Худо или хорошо ты сделал, что сюда неприехал, подвержено еще исследованию. Естьлиб все в мире делалось только для меня, то ты сделал absolutно[4] дурно.[5] Но впрочем — ты имел бы здесь удовольствия, имел бы и неудовольствия; в Москве также верно имел ты удовольствия и неудовольствия, которыя имели бы здесь перевес, не знаю.[5]

---

* Я хочу (*англ.*)

[4] Экскременты [5] Шакеспир [6] несправедливости [7] *Продолжение отсутствует ввиду утраты листа.*

[1] жалобную [2] *К словам* истязать ли *примечание Карамзина*: [Не нужно указывать] Разумеется, что покойный П** [упот‹реблял›] — *конец слова отрезан* — в письмах своих употреблял часто слова для шутки. [3] *Вычеркнуто.* [4] *Корень слова Петров написал латинскими буквами, окончание русскими. Карамзин вычеркнул.* [5-5] *Карамзин разбил фразу на две: запятую после* неудовольствия *он заменил точкой. Соответственно* Которыя *начал с прописной буквы.*

Один только раз вспоминал я [6]о тебе[6] с сожалением, что тебя здесь нет; а именно вовремя всенощного бдения для сретения солнца, о чем естьли полюбопытствуешь, от И. П. ‹Тургенева› подробнее узнаешь! Были еще случаи, при которых желал бы я, чтоб ты здесь был; но они были между человеками, в мире подлунном, вкотором обыкновенно на всякую приятность можно щитать по десяти неприятелей.[7]

Ты в Москве. А. А. ‹Плещеев› уже уехал, и по тому ты почти всегда дома бываешь; несколько скучаешь; но еще более работаешь; десятую долю старых планов производишь в действо, делаешь новые планы; изредка ездишь под Симонов монастырь ‹?›,[8] и прочее обычное творишь. Неправдали? — Поэзия, музыка, живопись воспеты ли тобою? Удивленные Чистые Пруды внемлютли Гимну Томсонову, улучшенному на языке Российском? Ликует ли Руская проза и любуется ли каким либо новым светильником в ея мире, тобою возженным? Отправлено ли уже письмо к Лаватеру с Луидором? — Прочитай сии вопросы, и пересмотри свои композиции с отеческою улыбкою, естьли оне существуют уже в телах; естьли же только души их носятся в голове твоей, то встань скресл, посдвинь колпак немножко со-лбу, [9]приложи палец ко лбу или к носу,[9] и устремивши взор на столик, располагай, что когда сделать; потом вели сварить кофе, [10]подать трубку,[10] сядь и делай — что тебе угодно.

[11]Что касается до меня, то я по отпуск сего письма жив и здоров; но знаю это потому только, что ем, пью и сплю попеременно; иных же знаков жизни никаких *не предвидится.* Хотя нынешнее мое положение и не обыкновенное, однако ты можешь представить себе, что оно для меня тяжко; ибо мне *кажется,* что оно против воли моей таково. Сердечно желал бы при нынешнем случае уехать в Москву, но весьма мне нужно переговорить кое-что с Н. И. ‹Новиковым›, когда ему будет свободнее: касательно до предприемлемой поездки в Вологду, и о многом ином дальнейшем.[11] Вопросы: *что я есмь*? и *что я буду*? всего меня занимают, и бедную мою голову, праздностию расслабленную, кружат и в вящшее неустройство приводят. — Но это сюда непринадлежит. Ergo punctum!* Неслыханная совершаются! И я стихи писал, или *хотел* писать. Посылаю к тебе произведения толстой моей Музы. Но не соблазнись. Помни, что это Гратуляция; участьже гратулантов искони одинакова.[12] Не опасайся, чтоб я неотважился на что либо выше случайных стихов: нет, благодетельной мой Демон хранит еще меня от такой дерзости. — В прошедшие праздники, т. е. в день Рождения и имянин И. П. ‹Тургенева›, был здесь великой поход на стихи!!![13] Даже и Н. Л. С‹афонов› поздравлял его стихами! Все то можешь ты услышать

---

* Следовательно, точка! (*латин.*)

6–6 *Вычеркнуто.* 7 неприятностей 8 *Далее вписано:* с котомкою книг 9–9 *Отсутствует в публикации «Русского архива».* 10–10 *Вычеркнуто.* 11–11 *Отсутствует в публикации «Русского архива».* 12–15 *Отсутствует в публикации «Русского архива». Вместо этого текста ошибочно помещена последняя фраза из предыдущего письма:* Пожалуй уведомь... 13 *Три восклицательных знака заменены точкой.*

от И. П. ‹Тургенева›. У негож можешь читать и коллекцию стихов во всяких родах и вкусах.

Может быть скоро будешь ты писать к А. М. ‹Кутузову›. Засвидетельствуй ему мое почтение. И. П. ‹Тургенев› читал письмо его: Der liebe Mann! * Прости, любезный брат[14], чрез неделю надеюсь увидеться с тобою. Господь да сохранит тебя от болезней, беспокойства, печали и от всех зол! [15]

6

‹Отрывок без даты›

2.[1] Два письма от А. М. ‹Кутузова› одно к А. А. ‹Плещееву›, а другое к тебе, из которого сделай одолжение, сообщи мне, что за благо рассудишь.

3.[2] Письмо Французское, полученное мною от самого писавшего. Прости, любезный брат[3], моему любопытству, что я его распечатал. Оно было в обертке и надписано: A. Monsieur, Monsieur[4] de K. membre correspondant de l'Academie des Sciences de Petersbourg actuellement à la compagnie de Monsieur de P.** — Имею честь поздравить с новым достоинством.

4. [5] Отпечатки моего вензеля и бумажной кружечик для обозначения величины печати, которую ты прикажешь вырезать в Туле, естьли имеешь к тому случай, чем одолжишь.

5. Отпечаток герба Т.‹ургенева›. Его велел послать к тебе П. Ф. К.‹лючарев›, и просит заказать вырезать печать. Я спрашивал у него, прикажет ли написать к тебе поклон? «Как хочешь», отвечал он. — «Что это значит?» спросил я. «Он де ведь не пишет ко мне поклона!» — Внимай и уразумей!!! Поговаривает о поездке в Симбирск.[5]

Прости любезной[6] брат! — Желал бы писать к тебе пространее; но ни время, ни расположение мое не позволяют. Будь здоров, спокоен и весел! Это желание еще не исполнится естьли ты будешь немного только здоровее и спокойнее меня, хотя и я *по отпуск сего письма жив*; но окончать сии[7] старой дедовской формы не могу: Абдеритской мой сенатор был некогда крайне обижен, и с горя частенько подпивает. В утешительном этом состоянии заставляет он своего малого, которой поучон *музычке* наигрывать разные песни[8] [9]и меноветцы[9], малой сонлив, часто

---

* Милый человек! (*нем.*)

** Милостивому государю господину К., члену-корреспонденту Петербургской Академии Наук, проживающему в настоящее время совместно с господином П. (*франц.*)

[14] друг

[1] *Вычеркнут номер.* [2] *Вычеркнут номер.* [3] друг [4] *Вписано над строкой* [5–5] *Вычеркнуто.* [6] *Далее вписано:* друг и [7] сей [8] песенки [9–9] *Вычеркнуто.*

получает пощочины от барина, от чего не мало терпит и гудок его, которой по нерадению давно уже имеет вид Антика. — Извини, что написал такую галиматию. Прости!

7

‹Отрывок без даты›

Ты начал что то писать; но не хочешь сказать мне, что такое. — И я начал, по приказанию, нечто писать. «А что?» — Теперь не скажу!

Для разогнания черных мыслей, которые иногда и в деревне тебя посещают, расскажу тебе небольшое приключение, недавно бывшее. — Я уже писал к тебе, что за Москвою рекою был большой пожар. В этом пожаре неучтивой огонь не пощадил между прочими домами и живища[1] одного из бывших дражайших наших брр. ‹братьев›,[2] не рассудив о том, что вместе с домом может разрушить и философию хозяина. (Ты должен знать этова брата[3]: пузатой купец, с величавою поступью, [4]принадлежал к стаду Ф. П. К‹лючарева›,[4] почитался Философом). Лишившись дому, Господин Философ целой день неутешно плакал, как-то бы может быть и я в таких обстоятельствах сделал. Простодушные знакомцы его дивились, видя руского Сенеку плачущего, и изъявили ему свое удивление. Он отвечал им: «Не о доме моем плачу; ибо знаю, что домы и всякое другое имение суета суть. Но под кровлею моего дома птичка свила себе гнездо; оно теперь разорено и о ней-то я плачу.» Простодушные знакомцы дивились[5] великодушию, славили философию, могущую возвысить человека до такой степени, и восклицали: «О великой муж! Забывая о своем нещастии, плачет о малой птичке!». И я восклицаю вместе с ними: «О проклятыя лягушки! зачем выгнали вы абдеритов из их гнезда и заставили рассеяться по всему свету!» Что ты скажешь о сем философе? Пожалей об нем, естьли можешь; я не могу: ведь ему не приключилось никакова нещастия! Достойны сожаления только бедная птичка и все те бедныя люди, которых домы вместе с его домом сгорели.

[6]Слава Богу! Здесь все здоровы. Н. И. ‹Новиков› переезжает то отсюда в деревню, то из деревни сюда. — И. П. ‹Тургенев› имел неприятность: у него в доме сделалась пропажа, и сверх того, он, может-быть, лишится по этому случаю одного из лучших своих дворовых людей. Я сказывал ему, что ты переводишь речи: Was bin ich * и пр. Он тем доволен. — Детского чтения осталось три листа: наборщики жаждут еще оригиналу. — Надеюсь, что получу от тебя еще письмо, и что ты уведомишь меня об А. М. ‹Кутузове›, как я тебя просил. — Прости, любезный брат![7] Будь здоров, как трудолюбивой юноша и радостен, как беспечное дитя. Успевай во всяком добре, и помни меня.[8]

---

* Что я есмь (*нем.*)

[1] жилища [2] приятелей [3] приятеля [4–4] которой вообще [всеми нами]
[5] *Далее вписано:* [такому] сему [6–8] *Несколько раз перечеркнуто.* [7] *Зачеркнуто.*

8

20 Сентября 1789 г‹ода›.

Четыре уже месяца как мы расстались, а я теперь только в первой еще раз пишу к тебе. Но ты весьма ошибаешься, естьли заключишь из этова, будто я мало о тебе помню. Нет, любезной друг, вспоминание об тебе есть одно из лучших моих удовольствий. Часто я путешествую за тобою по Ландкарте; расчисляю, когда куда мог ты приехать, сколько там[1] пробыть; вскарабкиваюсь с тобою на высокие горы, воображаю тебя бродящего по прекрасным местам, или делающего визит какому нибудь важновидному ученому. — Я думаю, что теперь ты давно уже в Швейцарии. Усердно желаю, что бы во всех местах находил ты таких людей, которых знакомство и воспоминание возвышало бы удовольствие, какое ты находишь в наслаждении прекрасною природою и в новости предметов, и утешало бы тебя в твоем опыте, что везде есть злые люди. Могу себе представить, что сей опыт часто тебя огорчает, при твоей чувствительности, и приводит в такое грустное расположение, в каком видал я тебя живши с тобою. Но не правда ли, что он и дает тебе живее чувствовать цену людей достойных почтения, многих ли или немногих?

Письмо твое из Дрездена весьма меня обрадовало. Я не ожидаю от тебя подробных описаний твоего путешествия, но уверен, что когда будешь иметь время и случай, не оставишь любящего тебя друга в неизвестности о том, где и как ты поживаешь; также не поленишься сообщать мне иногда кое-что из того, что увидишь и узнаешь. — Я весьма любопытен знать, виделся ли ты с А. М. ‹Кутузовым›; виделся ли уже с Лафатером и как он тебя принял; как располагаешь ты свой вояж. Я опасаюсь проезда твоего через Францию, где ныне такие неустройства. — Ты жалуешься, что все примечания достойное, что ты видел, стоило тебе денег. Пожалуй уведомь, в каких обстоятельствах твой кошелек, и не должен ли ты больше издерживать денег, нежели прежде думал?

Что касается до меня, я жив по прежнему, перевожу (что мимоходом сказать, довольно уже мне наскучило); учусь лениво по [2]английский и по французский[2], однакож не теряю надежды получить сколько нибудь успеха; иногда политизирую по газетам. Все лето прожил я в деревне с А. И.[3] ‹Новиковым›, поехал недели через две после твоего отъезду, а возвратился очень недавно, и для того-то так долго к тебе не писал. Что впредь случится, не премину тебя уведомить. — Осиротевшее без тебя Детское чтение намерен я наполнить по большей части из Кампова Теофрона. — [4]Все наши знакомые в добром здоровье. А. И. ‹Новиков›, С. И. ‹Гамалея› и Ф. П. ‹Ключарев› благодарят тебя за то, что ты их помнишь и желают тебе всякого добра.[4] Бедной наш Ленц в таком же состоянии, в каком ты его оставил; часто жалуется на нездоровье. Он жи-

---

[1] где [2–2] английски [3] *В тексте явная описка:* А. М., *вызванная, видимо, тем, что Петров думал о находящемся в Германии А. М. Кутузове. Лето он провел у А. И. Новикова. Исправляем по смыслу.* [4–4] *Вычеркнуто.*

вет с Князем[5] Е<нгалычевым> в том же домике, где мы жили; но мы всякой день с ним видимся. В Лифляндию не поедет. Все лето странствовал он по окрестностям Москвы, ночевал однажды в запущенном саду и был окраден до рубашки.

Прости, любезной друг! Наслаждайся приятностями своего вояжа. Дай Бог! чтоб ты никогда не имел причины быть им недоволен! и чтоб я имел удовольствие увидеть тебя возвратившегося к нам благополучно. Между тем помни и люби твоего [6]искренно тебя любящего брата[6].

9

С.П.Б. 19 Июля 1792 г<ода>.

Благодарю тебя, любезной друг за письмо твое от 2 Июля и за присылку последнего месяца Журнала. Я получил и письмо и книжку почти в одно время.

И так Иоганн Иакоб Ленц отошел уже в землю отцев наших. Мир праху его на кладбище, а душе его в странах вышших. Мутен здесь был поток его жизни, но добрался наконец до общей цели всего текущего. Может быть некогда, очистившись в море вечности, тонкая влага его поднимется парами, спустится обратно на землю, найдет себе лучший грунт и составит новый источник, чистый и приятный, как источник Бландузской, и будет служить самым лучшим украшением прелестному ландшафту. — А мы оставшиеся с наследием покойного, с Историею Российской торговли, примемся каждый за свой том, будем читать, штудировать,[1] делать выписки, пока и мы не отправимся туда, где Руские купцы не торгуют, и где указы касающиеся до коммерции не нужны...

Что я разумел под *человекоугодничеством*, писавши к тебе об отрывках из Записок одного молодого Россиянина, теперь право сам не знаю. Знаю только, что хотел тогда сказать тебе, что я не почитаю этой пиесы твоею, или по крайней мере не желал бы, чтоб она была твоя. Впрочем здешний воздух не произвел во мне никакой перемены. Я и в Москве часто, или и по большей части калякивал <?>[2] невразумительно, и употреблял слова совсем несвойственные смыслу. Но оставим это и предадим забвению то, что забвения достойно!

Ты намерен был ехать в деревню, и как я надеюсь, теперь и живешь уже в деревне. O terque quaterque beatus!!!* Удели и мне частицу своего блаженства; уведомь, во всем ли так тебе там живется, как ты думал; и естьли деревенская жизнь делает тебе пользу и облегчение голове твоей, то верно родятся у тебя и новые какие нибудь планы; не поленись сообщить их мне, как то прежде бывало.

---

* О трижды, четырежды блаженный!!! (*латин.*)

[5] *Вычеркнуто.* [6–6] искреннего друга

[1] твердить [2] говаривал

Бедная Лиза[3] твоя для меня прекрасна! а другим как нравится, ни от кого не удалось еще слышать. — Львов[4], сказывают, *превесьма* доволен твоими примечаниями на его стихи, как то иначе и быть не может. — Кстати! не можешь ли ты, любезно уведомить меня, в каких ныне обстоятельствах Сочинитель Гимна «Ходящему на крыльях», напечатанного у тебя в Июне? Мне очень хочется знать об его участи. —

Письма, твое к Боннету, и Боннетово к тебе, я почитаю за предобъявление об издании Руского перевода «Рассматривания натуры». Скоро ли намерен ты сделать это доброе и общеполезное дело?

Лиодор твой не похож на других Романических Героев; по крайней мере бессоницею не страждет. Кинувшись на постелю, он спит сном более, нежели богатырским. Не пора ли разбудить его? — Также не сыщется ли у тебя какого нибудь добродушного помощника для перевода последней Мармонтелевой сказочки, когда сам ты столько ленив и ветрен, что по сю пору перевести ее не можешь?

Коцебу скоро будет в Петербурге. Он переводит сочинения Гаврила Ром<ановича>; но что будет жить у Гавр<илы> Ром<ановича> в доме, этова я не слыхал. Напротив того я слышал, что П. А. З.<убов> берет его к себе в Секретари.— Он сочинил книгу о преимуществах дворянства о которой не могу еще сказать более ничего, как только то, что она напечатана прекрасно, с прекрасным фронтисписом и виньетами. — Касательно сочиняемых здесь *водопадов*, лучше бы всего выписать для тебя кой-какие места; но теперь сделать этова не могу: ибо пишу письмо дома. Это поема во вкусе Оссианском; но она еще без конца, да и весьма мало надежды, чтоб была когда нибудь окончана.

Из надписей твоих, последняя, то-есть:

«Покойся, милой прах, до радостного утра!»

нравится мне отменно, как в сравнении с прочими, так и сама по себе. Я поцеловал бы за нее сочинителя, хотя весьма не охотник целоваться. Она проста, нежна, коротка, и учтива к прохожему, потому что не допускает его до труда думать, чтобы сказать, узнавши, кто погребен под монументом. И. И. Д.<митриеву> нравится она также больше прочих. Однакож, мне кажется, критического мнения даром оказывать не можно: и потому ты необходимо должен сообщить нам подробное и обстоятельное описание монумента, к которому она сделана.

Прочие мои требования от тебя суть следующие:

1. Пожалуйста пришли стихи «К милости», как они сперва были написаны. Я не покажу их никому, естьли то нужно.

2. Не можно ли подарить меня новым экземпляром твоего журнала 1791 года. Старой еще в Москве довольно уже одряхлел, а здесь стал таким инвалидом, что насилу в руках держится, да и разрознен!

3. Не можно ли также подарить меня рукописным экземпляром поэмы «Das Menschliche Herz» *, за что бы я не остался неблагодарным.

---

* «Человеческое сердце» (*нем.*)

[3] Л...   [4] Л**

Я попросил бы, чтобы ты прислал мне на краткое время и полученные вновь пять книжек «Библиотеки для друзей». Но ты скажешь, что это слишком прихотливо.

Теперь бы следовало писать к тебе о здешней моей жизни, я от великодушия твоего надеюсь, что ты от этова меня уволишь. Описывать пространно лень; а коротко описать не умею. Я сплю без просыпу и во сне снится мне, будто играю ролю человека что-то делающего, а зрители смотря на меня зевают. — Может быть это покажется тебе вздором; но справедливее ничего сказать не могу. — С И. И. <Дмитриевым> вижусь почти всякую неделю раз, когда он бывает у Г. Р. <Державина>, а с Л<абзиным> с приезду моего сюда виделся только два раза.

О [5]Петербургском *Зрителе*[5], что сказать, не знаю. Я прочитываю иногда из него некоторые листы между тем, как разрезываю экземпляры для тебя и для Г.<аврилы> Р.<омановича>, а целой пиэсы как-то ни одной прочитать не удавалось: то помешает что нибудь, то дрема одолеет.

Прости!

[5–5] П. З.

ПРИЛОЖЕНИЯ



СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В РАЗДЕЛЕ «ПРИЛОЖЕНИЯ»

Барсков — *Барсков Я. Л.* Переписка московских масонов XVIII века. Пг., 1915.

Державин — *Державин К.* Театр французской революции. 1789—1799. М.—Л., 1937.

Сиповский — *Сиповский В. В.* Н. М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника». СПб., 1899.

Лотман—Успенский — *Лотман Ю., Успенский Б.* Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры («Происшествие в царстве теней, или Судьбина Российского языка» — неизвестное сочинение Семена Боброва). — Труды по русской и славянской филологии, 24. Тарту, 1975 (Учен. зап. Тартуск. гос. ун-та, вып. 359).

Карамзин, III — *Карамзин.* Соч., т. 3. СПб., 1848.

Письма к Дмитриеву — Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866.

Cross — *Cross A. G.* Karamzin and England. — Slavonic and East European Rev., 1964, vol. 43, Dec., № 100.

Cross. 1971 — *Cross A. G.* N. M. Karamzin. A Study of his Literary Career. 1783—1803. London—Amsterdam, 1971.

Dulaure — *Dulaure J. A.* Nouvelle description des environs de Paris. Paris, 1786.

Saintfoix — *Saintfoix* [*J.-F.*]. Essais historiques de Paris. T. 1—5. 4-e éd. Paris, 1768.

Simmons — *Simmons E. T.* English Literature and Culture in Russia (1533—1840). Cambridge, Mass., 1935.

Vaugelas — [*Vaugelas C. F. de*]. Remarques sur la langue Françoise utiles a ceux qui veulent bien parler et bien escrire. Paris, 1647.

ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИЗДАНИЯ

Участники настоящего издания считают приятной обязанностью выразить свою признательность Б. Ф. Егорову, Л. Н. Киселевой, З. Г. Минц, Е. В. Петровской, И. М. Семенко, В. П. Степанову, оказывавшим им на разных этапах работы дружескую помощь. Особую благодарность они испытывают по отношению к акад. Д. С. Лихачеву, чье компетентное и доброжелательное участие сделало возможным появление настоящего тома.

Произведения Карамзина, и в первую очередь «Письма русского путешественника» — памятник не только художественной литературы, но и русской культуры в целом и культуры русского языка в том числе. В конце XVIII—начале XIX в. язык является неотъемлемой частью культуры. В обличии языковых споров в эту эпоху, как правило, проявляются более общие социально-культурные конфликты. Вопросы, которые в периоды стабилизации языка имеют формальный характер и интересуют только специалистов, в эпохи культурных и языковых сдвигов приобретают значение общественных индикаторов. Это относится ко всем сферам языка — и не в последнюю очередь к области орфографии. Пушкин называл орфографию «геральдикой языка»,[1] имея в виду, что по тем или иным решениям спорных орфографических вопросов современники, как по гербам и знаменам рыцарских отрядов, узнают, с кем имеют дело. Те орфографические проблемы, которые в наше время решаются автоматически, поскольку орфографическая норма существует как единая и для всех обязательная, в XVIII—начале XIX в. были областью творчества, сознательного выбора и культурного самоопределения.

Сказанное диктует особую осторожность в определении принципов передачи орфографических и пунктуационных норм языка Карамзина. В настоящем издании проводится лишь минимальная модернизация орфографии и пунктуации.

---

[1] *Пушкин.* Полн. собр. соч., т. 12. [М.—Л.], 1949, с. 43.

Последовательно проведена замена устаревших и отсутствующих в современном алфавите букв на их нынешние адекваты. Так, *ѣ* заменяется на *е*, *ѳ* на *ф*, *i* на *и*. Равным образом устраняется *ъ* на конце слова. Окончание родительного падежа единственного числа прилагательных *-аго/-яго* везде заменено на *-ого/-его*. Во всех случаях в соответствии с современными орфографическими правилами написания типа *разсказ*, *разстался* и т. п. заменяются на *рассказ*, *расстался*.

Эта модернизация орфографии осуществляется автоматически и поэтому не может служить препятствием для реконструкции в нужных случаях подлинных написаний Карамзина.

Все черты значимого своеобразия карамзинских написаний должны безусловно сохраняться. Вопрос о том, что́ является здесь значимым, не может решаться интуитивно, так как порой весьма далеко отстоит от представлений, которые кажутся носителю современной нормы «естественными». Вопрос этот решается нами на основании:

во-первых, анализа идейно-художественной позиции Карамзина, в частности, изучения всей совокупности его высказываний по вопросам языка;

во-вторых, текстологического изучения «Писем русского путешественника», которое дает богатый материал истории авторских правок, позволяющих установить целевую направленность работы Карамзина над языком своего произведения;

в-третьих, учета всей суммы высказываний современников — полемики, пародий, подражаний, — а также изучения судеб карамзинской традиции. Так, например, смысловое значение графики в поэзии Жуковского и Пушкина проясняет смысл новаторства Карамзина в этой области.

Особенное значение имела для Карамзина возможность пользоваться параллельными формами, восходящими к церковнославянской книжности и русскому просторечию. Так, например, чередование книжных форм высокого стиля *-ый/-ий* и русской по происхождению просторечной формы *-ой/-ей* дает истинно пушкинскую картину слияния языковых средств в едином художественном организме текста. Так, в «Письмах» постоянны употребления типа: «деревенск*ой* проповедник в рыжем парике», но «велик*ий* Лейбниц» или «проницательн*ый* Лейбниц». Разительны примеры вроде описания внешности Канта: «Меня встретил маленьк*ой*, худеньк*ой* старичок, отменно бел*ый* и нежн*ый*». Есть и еще более тонкие различия: мы встречаем «новоизбранн*ый* Император», но: «Мендельзон был велик*ой* человек, сказал я, взяв книгу в руки». В первом случае — нейтрально-письменная речь, во втором — воспроизводится устная речь от первого лица, что делает употребление церковнославянской морфемы для Карамзина невозможной. Понятно, какой смысловой ущерб нанесла бы унификация этой сложной системы различий и противопоставлений.

Остановимся на более сложном случае. Современному читателю кажется странным написание *Руской* через одно *с*, принятое и последовательно проведенное Карамзиным. Однако в XVIII в. этноним *Руской* имел стилистически разговорную окраску, противостоя книжно-высокому

Росс (или *Россиянин*). Именно в противопоставлении *сс* — *с*, равно как и в антитезе ударных гласных *у* — *о* (*Русь* — *Россия*), выражалась оппозиция возвышенного (поэтического) и нейтрального, с явным уклоном в разговорность, стиля. Поэтому, в частности, Карамзин не мог присоединить к русскому корню *рус-* церковнославянскую флексию *-ий* и постоянно писал *Руской*. Форма на *-ий* была бы невозможной стилистической какофонией. Оттенки эти прекрасно ощущались читателями XVIII в., так как были предметом долгой и острой дискуссии. Уже В. Е. Ададурову форма *русский* представлялась определенно неправильной;[2] написание этого слова с одним *с* мы наблюдаем также у Тредиаковского и ряда других авторов XVIII—начала XIX в. Показательно, что еще Даль признавал лишь форму *руский* с одним *с* (стилистическое ощущение окончания уже утратилось к тому времени); по словам Даля, «только Польша прозвала нас Россией, россиянами, российскими, по правописанию латинскому, а мы переняли это, перенесли в кирилицу свою и пишем *русский*!».[3] Объяснение Даля неточно,[4] но очень характерно. В этом отношении заглавия «Письма *Рус*кого путешественника» и «История государства *Росс*ийского» заключают в себе глубоко значимую антитезу, характеризующую эволюцию позиции Карамзина, в частности и языковой. В силу сказанного в настоящем издании при воспроизведении текста Карамзина сохраняется написание данного слова с одним *с*: *Руской*, *Руского* и т. п. Естественно, однако, что на титульном листе книги это же слово фигурирует в современном написании: «Письма русского путешественника».

Точно так же может быть мотивировано и сохранение написаний типа *щастье*, *мущина*, и т. п. Подобные написания были в XVIII—начале XIX в. предметом ожесточенной полемики[5] и, следовательно, являются в «Письмах русского путешественника» результатом сознательного авторского выбора. Откликаясь на эту полемику, В. С. Филимонов — ярый сторонник написания соответствующих слов через *щ*, а не через сочетание *сч* — еще в 1838 г. писал:

В нем *слова* и *червя* в замену
Я букву *ща* пишу одну...
Иные пусть ползут *червями*,
Куда ползти им суждено;
А я останусь — со *щами*.
Для щастья ж это все равно.[6]

Охарактеризованные выше случаи значимы с точки зрения сознательной ориентации Карамзина в орфографических вопросах его времени.

---

[2] *Успенский Б. А.* Первая русская грамматика на родном языке. Доломоносовский период отечественной русистики. М., 1975, с. 155, 202.

[3] *Даль Владимир.* Толковый словарь живого великоруского языка, т. 4. Изд. 2-е. СПб., 1882, с. 114.

[4] См.: *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка, т. 3. М., 1971, с. 522—523.

[5] См.: *Успенский Б. А.* Первая русская грамматика..., с. 80—81, 154, 201.

[6] См.: Поэты 1820—1830-х годов, т. 1. Л., 1972, с. 709.

Однако для современного исследователя и читателя имеет значение и другая сторона вопроса: своеобразие индивидуальных языковых навыков писателя. При этом необходимо иметь в виду, что языковая — в частности, орфографическая — норма в эпоху Карамзина допускала существенно большую вариантность, чем в наши дни. В этом отношении представляют интерес колебания Карамзина в написании одного и того же слова. Так, например, он пишет то *верхи*, то *верьхи*, *однакож* и *однакожь* и проч. Случаи колебаний нами сохраняются. Эти случаи дают богатый материал для суждений о разнообразных лингвостилистических проблемах, таких как особенности произношения писателя, его школьные навыки и проч.

Особую сторону вопроса представляет стремление Карамзина включить в текст его «интонационную партитуру». Считая, что поэтическая мысль лишь с трудом передается средствами внешнего выражения, Карамзин сознательно вовлекал в сферу художественной активности те аспекты языка, которые традиционно эстетической значимости не несли: стремясь передать интонацию, музыкальность фразы, ритм речи, в том числе и прозаической, эмфазу, он обращал исключительное внимание на графику, шрифтовые разновидности, вводил новые знаки препинания (например, цепочку из тире), усложнял значение старых, превращая графический уровень текста в художественно значимый и передавая его средствами такие, например, значения, как мечтательность интонации говорящего, его взволнованность, субъективность его переживаний и проч.

В этой связи обращает на себя внимание употребление заглавных букв. В прозе Карамзина они составляют целую продуманную партитуру, означая то смысловое и интонационное выделение, то перевод имени в другой смысловой класс, иногда уважение, иногда иронию. Анализ напряженной работы Карамзина над различными редакциями текста позволяет утверждать, что никогда решение этого вопроса не выносилось автоматически и безразлично к содержанию, а всегда преследовало идейно-художественную цель, выражало некоторую позицию автора. Стоит проследить, как Карамзин в ранней редакции «Писем» пишет слово *Революция* с заглавной буквы, затем в промежуточных редакциях переходит на строчную, чтобы в последней восстановить первоначальный вариант, и делается ясной глубина смыслов, которые несет у него графический уровень организации текста.

Система пунктуации Карамзина в принципе выполняет иную роль, чем в современных нам текстах: опираясь не на грамматический, а на логический принцип, она выделяет не синтагматическое, а интонационно-ритмическое членение фразы и должна быть руководством при чтении письменного текста вслух. Эта оригинальная система не может быть разрушена без нарушения самой «музыки» карамзинской прозы. Поэтизация прозы — введение созвучий, аллитераций, ритмических повторов — также получала отражение в графике, что повышает необходимость бережного к ней отношения. Напомним, что именно индивидуальная пунктуация являлась для современников часто наиболее бросающимся в глаза

знаком «карамзинизма». Так, Н. И. Греч вспоминал о своем учителе Д. И. Кудлае, который «любил везде ставить тире в подражание модному тогда Карамзину».[7]

Отметим, что пунктуация, подобно специфической (маркированной) лексике, может отражать ту или иную культурную ориентацию или даже определенную литературную преемственность. Так, активное употребление знака тире, — именно Карамзин и вводит, по-видимому, этот знак препинания в русскую письменность,[8] что вызывает нападки его литературных противников,[9] — может указывать на связь со Стерном и вообще на осознание своей принадлежности к сентиментальному направлению: обильное тире при описании душевных переживаний, для передачи быстрой смены фактов и чувств составляет отличительную особенность стерновского «Сентиментального путешествия», связывающую его с «Письмами русского путешественника».[10]

В пародийной по отношению к Карамзину анонимной книжке «Путешествие моего двоюродного братца в карманы» (М., 1803) находим издевательское «предисловие», наглядно рисующее, что̀ в карамзинском стиле выделялось современниками:

!! — — . . . . — — !!
? . . ? . . ? . . ? . . ? . .
— — — — — — — — —
. . . .
/?/ /!/ /!/ /!/ /!/
!! — — . . . . — — !!

(показательна кольцевая композиция этого своеобразного текста). Характерно, что в графических новациях «Евгения Онегина» критики Пушкина в первую очередь увидали карамзинскую традицию субъективной графики. Это видно и по пародийному письму Грибоедова Булгарину, и по такой пародии на пушкинско-карамзинскую графику, как «Рукопись покойного Климентия Акимовича Хабарова» (М., 1828) П. Л. Яковлева (брата лицейского товарища Пушкина).

К вопросам индивидуальной интонационной пунктуации относится также и употребление разного рода типографских средств: курсива, раз-

[7] *Греч Н. И.* Записки о моей жизни. М.—Л., 1930, с. 168.

[8] См.: *Шапиро А. Б.* Основы русской пунктуации. М., 1955, с. 139—140.

[9] Так, например, П. А. Оленин подчеркнуто имитирует эту особенность карамзинского стиля в своем пародийном рассказе о поездке в имение («Тринадцать часов, или Приютино», 1809 — рукопись Гос. публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, ф. 542, Оленина, № 627). Произведение это было написано, по свидетельству сестры Оленина, «в насмешку путешествия Карамзина»; высмеивая здесь карамзинскую пунктуацию, Оленин говорит: «О вы! которые выдумали знаки удивления! — точки... черточки — зачем не выдумали вы и еще каких-нибудь знаков восклицания». См.: Иван Андреевич Крылов. Проблемы творчества. Л., 1975, с. 162.

[10] Ср. вообще о стернианстве Карамзина: *Маслов В.* Интерес к Стерну в русской литературе конца XVIII-го и нач. XIX-го вв. — В кн.: Историко-литературный сборник. Посвящается В. И. Срезневскому. Л., 1924; *Канунова Ф. З.* Карамзин и Стерн. — XVIII век, сб. 10. Л., 1975.

рядки и проч. Следует подчеркнуть, что употребление курсива и кавычек у Карамзина не совпадает с современными нормами и не может быть адекватно на них переведено. Курсивом он обозначает не только прямую речь, но и разные формы чужого слова: несобственно-прямую, косвенную речь, а также цитаты из чужих текстов. Одновременно курсив подразумевает ненейтральное отношение автора к разным формам чужого слова. В нейтральных случаях Карамзин использует кавычки. Таким образом, создается возможность выражения сложных интонационно-оценочных значений и этим способом. Наконец, нельзя пройти мимо специфики использования Карамзиным дефисов, слитного и раздельного написания частиц и предлогов. Вопрос этот тоже не относится к условностям графики (ср. сложность соответствующих построений у Тредиаковского), так как касается расположения ударений, что непосредственно влияло на ритмику фразы.

Мы стремились сохранить все пунктуационные и графические особенности карамзинского текста. Единственное отступление делается в тех случаях, когда Карамзин при передаче прямой речи не закрывает кавычек; в этих случаях произведена соответствующая правка. Кроме того, ремарки действующих лиц у Карамзина иногда выделяются петитом; поскольку сочетание шрифтов разных кеглей в одной строке представляет технические трудности, этот текст дается курсивом.

Там, где Карамзин ссылается на предшествующее изложение (в начале III части он несколько раз ссылается на II часть «Писем»), страницы воспроизводимого издания переводятся на пагинацию настоящего издания.

Отмеченные выше особенности языковой позиции Карамзина красноречиво отражаются в одном исключительно интересном документе. Издатель С. И. Селивановский, в типографии которого печатались сочинения Карамзина (в 1803, 1814 и 1820 гг.), сохранил полный корректурный экземпляр «Писем русского путешественника» к изданию 1814 г. с собственноручной правкой Карамзина. В настоящее время он находится в Рукописном отделе Института русской литературы АН СССР (Пушкинского Дома).[11] Корректуры вводят нас непосредственно в творческую лабораторию Карамзина и убедительно свидетельствуют о том, сколь большое внимание писатель уделял всем аспектам языковой стороны текста. Так, например, мы воочию убеждаемся в творческом напряжении, которым сопровождался выбор строчных или прописных букв. Приведем лишь некоторые примеры. В корректуре набрано: *Тираны* (с прописной буквы) и *мученики* (со строчной). Карамзин меняет — появляются *тираны* и *Мученики* (№ 93, с. 163). Во фразе «Друзья мои! писателям открыты многие пути ко славе» он превращает

---

[11] РО ИРЛИ, ф. 93 (П. Я. Дашкова), оп. 2, № 93—95. — В нижеследующем изложении ссылки на этот источник даются непосредственно в тексте — с указанием единицы хранения и страницы. Некоторые сведения об этих корректурах можно найти в заметке: *Михайлов Кон. Ник.* Корректура Н. М. Карамзина. — Ист. вестн., год 22, 1901, май, т. 84; ср. также: *Шапиро А. Б.* Основы русской пунктуации, 357—360.

писателей в *Писателей* с большой буквы (№ 94, с. 127), однако в другой фразе — «Знаком со всеми французскими славными Стихотворцами и Прозаистами» — *Стихотворцы* и *Прозаисты* понижаются в *стихотворцев и прозаистов* (№ 95, с. 33). Написание *ода* исправляется на *Ода* (№ 94, с. 197), но *Басни* — на *басни* (№ 93, с. 1); написание *архитектура* исправляется на *Архитектура* (№ 95, с. 232), *клубы* на *Клубы* (№ 93, с. 194), но *Дворца*, напротив, меняется на *дворца* (№ 95, с. 226). Слово *церкви* во фразе «учение их церкви» правится на *Церкви* (№ 93, с. 104), но, называя Москву XVII в. столицей «нашего Государства», Карамзин исправляет последнее на *государство* со строчной буквы (№ 94, с. 252). На заглавные буквы переводятся *Мораль* (№ 93, с. 162), *Революция* (№ 95, с. 165), *Благородство* (№ 95, с. 186), а также *Нимфы* (№ 93, с. 162), *Музы* (№ 94, с. 62), *Духи* (№ 93, с. 209).

Последовательно проводится уточнение значений в окончаниях прилагательных *-ый/-ой*. Так, например, в патетически-романтической картине, представляющейся воображению путешественника при виде древнего разбойничьего замка, Карамзин правит *бедной отец* на *бедный отец* (№ 93, с. 80). Напротив, в комическом эпизоде — рассказе о том, как Б* был принят за грабителя, — Карамзин исправляет *высокий человек* на *высокой человек* (№ 95, с. 100); точно так же во фразе *он стоял как вкопанный, выпучив глаза* исправляется *вкопанный* на *вкопаной* (№ 94, с. 58). Особенно показателен следующий пример. Говоря о сыне русского вельможи, посвятившем себя наукам и поселившемся в Швейцарии, Карамзин пишет: «Разумовский, человек ученый и великий Натуралист». *Великий* употреблено здесь в значении типа «великий знаток», но окончание *-ий* придавало в сознании Карамзина слишком большую торжественность выражению — назвать Разумовского великим ученым было никак нельзя. В корректуре к изданию 1814 г. Карамзин исправляет окончание на *-ой* (№ 94, с. 199). Однако *великой* зазвучало для него иронически, чего Разумовский также не заслуживал. Карамзин вышел из затруднительного положения, вообще отказавшись от спорного прилагательного, — в издании 1820 г. стоит просто: «Разумовский, ученый Натуралист».

Тщательная и творческая по своей природе работа Карамзина над корректурой отражается и в выборе графических средств. Так, например, Карамзина не удовлетворили употреблявшиеся Селивановским кавычки — в результате были изготовлены специальные знаки особой конфигурации.

В корректурах мы находим исправления синтаксические (так, например, Карамзин правит *от отца моего* на *от моего отца* — № 94, с. 14; фраза *взоры его, на небеса устремленные* правится им на *взоры его, устремленные на небеса* — № 95, с. 19), так же как и собственно лексические исправления, вызванные стремлением упразднить те или иные иностранные слова: так, *нации* последовательно заменяется на *народы* (№ 93, с. 189), *натура* правится на *естество* (№ 95, с. 57), *жесты* на *действие* (№ 95, с. 186), *церковный концилиум* на *церковный собор* (№ 94, с. 45). Как видим, исправления, касающиеся более или менее

формальных моментов, сочетаются с правкой, так или иначе связанной с содержанием: к тому и к другому Карамзин относится с предельным вниманием. Отметим еще характерные орфографические исправления в корректурах Карамзина: *однакожъ* правится на *однакожь* (№ 93, с. 97, 106, 107, 108, 115 и др.), *обьятие* на *объятие* (№ 93, с. 79), *советывал* на *советовал* (№ 93, с. 178); с фоностилистикой может быть связана замена *псальмы* на *псалмы* (№ 93, с. 129), *ярмарка* на *ярманка* (№ 93, с. 44). Причины подобных исправлений не всегда ясны, в каких-то случаях исправления такого рода дают возможность разных интерпретаций; однако правка Карамзина во всяком случае показывает, что сам он придавал им значение.

Анализ корректур «Писем русского путешественника» свидетельствует, между прочим, что по мере работы над «Историей государства Российского» чувствительность Карамзина к славянизмам и к их стилистической функции возрастает. Не очень осведомленный в тонкостях церковнославянского языка в 1790—1800-х гг., он делается в 1810-х гг. тонким знатоком стилистических возможностей этой языковой стихии; это и отражается в тех дифференциациях, которые он вносит в стиль последних двух изданий «Писем русского путешественника». В этом смысле издание 1814 г. является этапным, отражая обратное воздействие опыта «Истории государства Российского» на стиль «Писем русского путешественника», т. е. дополнение «нового слога» тонкими нюансами пользования церковнославянским языком. Корректуры здесь оказываются важным документом, демонстрирующим этот процесс.

Текстологическая история «Писем русского путешественника» (см. с. 607—612 наст. изд.) документируется по печатным источникам ввиду гибели рукописей Карамзина в огне московского пожара и распыления архива писателя после его смерти. В связи с этим в каждом конкретном случае возможно сомнение: в какой мере то или иное исправление (устанавливаемое путем сличения текстов разных редакций) принадлежит непосредственно самому Карамзину. Подобные вопросы решаются в текстологии путем установления того, в какой степени автор лично участвует в издании своих произведений; в самом деле, известны многочисленные случаи, когда авторы устранялись от редакционной работы и передоверяли ее другим, часто случайным лицам (Гоголь, Тютчев и др.). Обнаружение корректур, правленных рукою Карамзина, устраняет подобные сомнения: корректуры демонстрируют процесс работы над текстом и свидетельствуют о том, что Карамзин был не только автором, но и тщательнейшим редактором своих произведений. Таким образом, мы имеем право считать все изменения карамзинского текста (вплоть до мельчайших!) как в этом, так и в других изданиях — авторизованными, что неизмеримо повышает их источниковедческую ценность и вместе с тем обязывает издателей к тщательному их учету.

Стремление к максимальному расширению средств выразительности порождало специфический взгляд на внешнее оформление текста. В момент зарождения романтической поэтики происходило оживление меха-

низмов барокко. Отношение Карамзина к зрительным элементам текста можно сопоставить с позицией такого композитора, для которого значимо не только звучание, но и внешний вид партитуры. Г. А. Гуковский показал, что для Жуковского графика входила в стилистику;[12] процесс этот, бесспорно, был начат Карамзиным. Не случайно противники Карамзина в равной мере полемизировали как с его языковым новаторством, так и с его системой графики, в частности с использованием курсива и т. п., объединяя все это в едином понятии «нового слога»:

И прозы в патоку, в набор курсивных слов
Увязши, стал отец всех нынешних ослов, —

писал о Карамзине автор анонимной поэмы «Галлоруссия».[13] Ср. также у Д. П. Горчакова в «Послании к князю С. Н. Долгорукову»:

А сей, вообразив, что он российский Стерн,
Жемчужну льет слезу на шелковистый дерн,
Приветствует луну и входит в восхищенье,
Курсивом прописав змее своей прощенье.[14]

Последнее высказывание (где содержится прямая аллюзия на «Письма русского путешественника»)[15] интересно тем, что здесь как равноправные фигурируют литературные мотивы (*приветствует луну*), стилистические приемы (*жемчужная слеза, шелковистый дерн*) и использование курсива.

Чрезвычайная широта диапазона значимых элементов карамзинского текста заставляет нас подходить к его воспроизведению с сугубой осторожностью. Карамзин был принципиальным экспериментатором, и возникающие в связи с его изданиями текстологические проблемы не могут не нести какой-то доли текстологического эксперимента. При этом следует подчеркнуть, что приведенные выше рассуждения построены на основе изучения именно карамзинского текста и не могут и не должны автоматически переноситься на другие издания произведений XVIII в., которые, конечно, требуют в каждом отдельном случае поисков оптимальных именно для данного текста решений.[16]

---

[12] *Гуковский Г. А.* Пушкин и русские романтики. М., 1965, с. 67—68.

[13] Поэты 1790—1810-х годов. Л., 1971, с. 786.

[14] Поэты-сатирики конца XVIII—начала XIX в. Л., 1959, с. 158.

[15] Говоря о курсиве, Горчаков имеет в виду графическое оформление прямой речи (обращение к змее) в письме из Женевы от 2 октября 1789 г. См.: наст. изд., с. 161.

[16] См. подробнее: *Лотман Ю. М., Толстой Н. И., Успенский Б. А.* Некоторые вопросы текстологии и публикации русских литературных памятников XVIII века. — Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1981, т. 40, № 4.

Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский

«ПИСЬМА РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА» КАРАМЗИНА И ИХ МЕСТО В РАЗВИТИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Трактовка роли великого деятеля, зачинателя исторической или культурной традиции, может быть двоякой: мифологической и исторической. Мифологическая трактовка подразумевает представление, согласно которому новатор — зачинатель традиции не имеет предшественников. Все его деяния рассматриваются как результат индивидуальных усилий, собственных изобретений и личной энергии. В предшествующей ему эпохе усматриваются лишь «темнота», «косность» — чисто негативные качества, противостоящие его творческому и созидательному гению. Предшественников у него не может быть — допускаются лишь «предтечи», ранние пророки, провозглашающие пришествие.

Исторический подход, как правило, ориентирован на установление «корней» и «истоков» деятельности реформатора. Перед ним вырастает целый лес предшественников, и историк в конце концов приходит к выводу, что реформа произошла задолго до появления реформатора, который лишь прикрыл своим именем свершившееся.

Каждый из этих подходов склонен отрицать противоположный.

Деятельность Карамзина с исключительной наглядностью убеждает, что историко-культурная реальность раскрывается лишь в свете двойной перспективы этих двух интерпретаций.

Доказывать научную актуальность исторического подхода нет надобности. Но и так называемый мифологический аспект не может игнорироваться историком культуры уже потому, что сами возникающие в ту или иную эпоху «мифы» представляют собой определенную историко-культурную и историко-психологическую реальность. Весомость каждого из этих аспектов применительно к тому или иному деятелю различна. Роль мифологических элементов возрастает в тех случаях, когда установка на биографическую легенду входит в код эпохи и становится фактом сознания и деятельности самого данного исторического лица. В этом случае анализ психологической установки исторического деятеля неотделим от анализа его исторической роли. Примерами такого рода в русской культуре XVIII в. могут быть Петр I и Карамзин. Уже то обстоятельство, что оба они могут в равной мере убедительно быть представлены и как новаторы-демиурги, создатели совершенно новой, до них не существовавшей традиции, и как эклектики-практики,

энергично внедряющие и прикрывающие своим именем то, что практически было создано до них целым периодом ушедшей потом в тень исторической деятельности, делает правомерным сопоставление их имен. Показательно и то, что полемика вокруг сыгранной ими обоими исторической роли не утихает в науке и публицистике до наших дней. Оценка их исторической деятельности все еще остается научной и общественной проблемой.

В подобных случаях особенную роль приобретает личность писателя, которая, выходя за рамки, обычно отводимые биографии, становится фактом общественной культурной жизни, влияет на поведение современников и на их восприятие литературных произведений. Последние существуют как бы в приложении к личности писателя. Одно не воспринимается без другого, одно служит ключом к другому.

Карамзин творил в эпоху предромантизма, когда значение человеческого облика писателя во всей европейской литературе резко возросло. Однако роль личного, человеческого элемента в восприятии его творчества современниками значительно превышала не только все известное в этом отношении в русской литературе, но и выходила за рамки европейской нормы.

Творя литературу, Карамзин творил самого себя, и поза для него становилась необходимым условием амплуа писателя. «Письма русского путешественника» в этом отношении особенно знаменательны. Их беллетристическая природа проявляется в ощутимой стилизации образа автора и подчеркнутости его литературной позы. В этом смысле они очевидно отличаются от дошедших до нас реальных писем Карамзина: в последних «образ автора» стерт, повествователь нейтрален. В особенности это заметно в интимной переписке Карамзина — его письмах к И. И. Дмитриеву и ко второй жене. Вместе с тем письма к императору пишутся от лица мудрого советника, историка, чьими устами говорит потомство, к невесте — от лица влюбленного в условно-литературном значении этого слова; показательно, что письма невесте пишутся по-французски, после свадьбы же Карамзин сразу и навсегда переходит на русский язык. Здесь реальная личность Карамзина подменялась его условным двойником.

Литературная поза Карамзина как автора «Писем русского путешественника» двоилась в расчете на два различных типа аудитории. В России, перед русским читателем, Карамзин представал в утрированной роли «европейца». В этом случае он не боялся произвести шокирующее впечатление, скорее даже стремился к этому. Не случайно переписка близких друзей и знакомых Карамзина (Плещеевы, Кутузов, Багрянский) по возвращении его из-за границы наполнена жалобами на то, что он вернулся «tout-à-fait changé de corps et d'âme» и что «проклятые чужие краи» совсем его переменили.[1] Восприятие современ-

---

[1] *Барское*, с. 86; ср. в письме Н. Н. Трубецкого А. М. Кутузову: «Касательно до общего нашего приятеля Карамзина, то мне кажется, что он бабочку ловит и что чужие краи, надув его гордостию, соделали, что он теперь никуды не годится» (там же, с. 94). *Перевод франц. текста:* Совершенно изменившимся телом и душой.

никами молодого издателя «Московского журнала» как «нового человека» и «европейца» входило в его «игру» и составляло условие общественного резонанса для той деятельности реформатора, к которой Карамзин готовился. Однако в кругу своих европейских знакомцев Карамзин играл подчеркнутую роль «русского», резко отзываясь о тех своих соплеменниках, которые за границей стремятся походить на иностранцев.[2] Поскольку мы можем судить по «Письмам русского путешественника» (а, как мы увидим дальше, «Письма» являются весьма сомнительным источником для реконструкции реальных биографических обстоятельств пребывания Карамзина за границей, однако можно полагать, что для суждений о психологической реальности и о стиле поведения автора они дают обильный и достоверный материал), его поведение в кругу иностранцев строилось по модели: «юный Анахарсис в Афинах». Однако, принимая позу скифа — искателя мудрости, он стремился поразить собеседников не простодушием, а обширностью и глубиной познаний, свидетельствуя тем самым о высоте уровня русского Просвещения. Выступая в Москве как проповедник, владеющий истиной, строгий судья и ценитель, Карамзин в кругу европейских ученых стилизует себя как посланца юной цивилизации, ищущего истину в кругу просвещенных мудрецов. Поза мнимого смирения, сопровождаемая демонстрацией энциклопедических познаний (к каждой встрече Карамзин, вероятно, готовился столь же старательно, как и к ее описанию в «Письмах», прибегая к помощи справочников и пособий), должна была подтверждать общие успехи молодой России на пути просвещения и личные успехи выдающегося «москвитянина».

Обе эти позы зафиксированы в «Письмах русского путешественника»: читатель их мог взглянуть на Карамзина-автора и «из Москвы», и «из Парижа». Это, с одной стороны, подготовляло литературу к восприятию контрапунктного использования точек зрения как принципа художественной прозы, а с другой — открывало возможность двойного истолкования жизненной позиции автора.

Новое в деятельности Карамзина как литератора, в частности, состояло в принципиальном слиянии литературы и поведения, жизни писателя: жизнь просматривалась сквозь призму литературы, а литература — сквозь призму быта. Первый аспект особенно ярко проявлялся во взгляде на литературу как на средство цивилизации читателя. Карамзин, видя в прогрессе закон развития человечества, считал, что Россия после реформ Петра I должна двигаться по европейскому пути. Однако прогресс цивилизации мыслился им не только в форме смены одних общественных институтов другими, но и как цепь постепенных успехов в развитии «ума и сердца», в совершенствовании душевного

[2] «Русская» ориентация «Писем», в частности, проявилась в том, что они оказались единственным произведением Карамзина, не имевшим успеха у европейского читателя. См.: *Арзуманова М. А.* Перевод английской рецензии на «Письма русского путешественника» из бумаг А. С. Шишкова. — В кн.: XVIII век, сб. 8. Л., 1969; *Быкова Т. А.* Переводы произведений Карамзина на иностранные языки и отклики на них в иностранной литературе (там же); *Cross*, *1971*, p. 94—95.

мира его современников: «Законы хороши; но их надобно еще хорошо исполнять, чтобы люди были щастливы <...> Англичане просвещены, знают наизусть свои истинныя выгоды, и естьли бы какой нибудь Питт вздумал явно действовать против общей пользы, то он непременно бы лишился большинства голосов в Параламенте, как волшебник своего талисмана. И так не Конституция, а просвещение Англичан есть истинный их Палладиум» (с. 382—383 наст. изд.). Тонкость чувств, нежность сердца, гуманность не только идей, но и эмоций делались мерилом цивилизованности общества, и их выражение становилось первейшей задачей литературы. Душевная же тонкость ассоциировалась со способностью к различению оттенков чувств (именно требование различения степеней и оттенков значений — критерия цивилизованности — выдвигало установку на «вкус», столь характерную впоследствии для карамзинистов). Но тонкость в различиях подразумевала способность расчленения впечатлений и эмоций для их сопоставления и сравнения. Такое расчленение достигалось называнием, превращением всего в слова. Поэтому словесный, литературный пересказ, описание необходимы Карамзину для того, чтобы тонко чувствовать. Пейзаж воспринимается через призму его литературного образа, любовное чувство — сквозь описание любви в стихах или прозе, жизнь — сквозь литературу. Поза тонкого, цивилизованного, чувствительного человека, человека гуманного и сочувствующего окружающим, ассоциируется у Карамзина не с чувствительным дикарем Руссо, а с читателем, вспоминающим, глядя на мир, прочитанные строки, и писателем, переживающим жизнь по мере ее описания.

Но у взаимоотношений литературы и жизни, с позиции Карамзина, была и другая сторона: не только литература переливалась в жизнь, но и жизнь становилась формой литературного творчества. Поведение писателя становилось культурным фактом, оно как бы продолжало литературу, и читатель воспринимал их в нерасторжимом единстве. В этом аспекте намечался дуализм в литературной позе Карамзина.

Именно «Письма русского путешественника» создали для русского читателя Карамзина (напомним, что, печатаясь из номера в номер, они в значительной степени определяли лицо «Московского журнала», а кличка «путешественник» надолго закрепилась в литературных кругах за Карамзиным). Но «Письма» же закрепили двойственность его образа для читателей (европеец — русский; ученик — учитель; неискушенный юноша, читатель чужих сочинений — писатель, законодатель литературных норм и проч.). Сам Карамзин в своем личном поведении представал перед читателями то одним, то другим своим лицом, свободно варьируя стилизуемые им культурные маски.

«Письмами» была задана определенная литературная поза, рассчитанная на то, чтобы шокировать современников, вызывать восторг или ненависть, будить крайние эмоции положительного или отрицательного свойства, но ни в коем случае не оставлять читателя в состоянии спокойного безразличия. Так началась поразительная литературная судьба Карамзина — судьба человека, стоящего вне борьбы, споров и эмоций,

но провоцирующего борьбу, споры и эмоции читателей и потомков. При этом двойственность литературного облика, исходно заданного образом автора «Писем», позволяла с самого начала «читать» его с противоположных позиций: как патриота и галломана, новатора и консерватора, чувствительного и холодного, мятежника и врага политики и мятежей.

Итак, именно «Письма русского путешественника» создали Карамзина как писателя и в значительной мере предопределили его литературную судьбу. Именно они задавали то двойное прочтение, которое в дальнейшем было свойственно всем литературным творениям Карамзина. Для читательской аудитории эта двойственность позиции определяла литературное *лицо* Карамзина. Для самого Карамзина она определяла его литературную *позу*.

Говоря о литературной позиции — или литературной позе — Карамзина, необходимо иметь в виду его принципиальный утопизм как характерную черту его идеологии. Карамзин выступает за самодержавие — но против самодержцев: он выступает за идеальное самодержавие, т. е. за те формы правления, которых нет, но которые могли бы быть, — за ту идею, которая в них заложена. Точно так же Карамзин — за народ, но против «дебелого мужика»; он провозглашает необходимость ориентации литературного языка на разговорную речь, но не на реальную, а на идеальную речь, не на то, как *говорят*, а на то, как *должны* говорить. Это придает своеобразный, подчас парадоксальный смысл его декларациям и в ряде случаев может дать основание увидеть несоответствие программы и ее практического осуществления. Так, Карамзин, который в глазах других предстает галломаном (и, конечно, в некотором роде им является), может выступить против галломании; Карамзин-«западник» может написать статью «О любви к отечеству и народной гордости»; Карамзин, близкий к «щегольской» культуре (требования моды были для молодого Карамзина достаточно актуальны), может представать перед читателем как противник щегольства. При этом он как бы следует принципу, прямо сформулированному им в статье «Отчего в России мало авторских талантов?»: «давать старым <словам> некоторый новый смысл».

Этот утопизм идеологической позиции Карамзина сочетался с принятой им на себя миссией просветителя. Он одновременно теоретик-утопист и практик — деятель просвещения, популяризатор. Теоретик усматривал в любой реализации идеи ее плачевное уничижение, практик — профессионал литератор, журналист и широко читаемый писатель — осуждал «химеры» и видел в популяризации и просветительстве общественное служение. Однако оборотная сторона популяризации — банальность, трюизм, и эту опасность Карамзин очень остро ощущал. Он постоянно борется с возможностью тривиального, опошляющего истолкования его идеологической программы. Можно было бы сказать, что Карамзин находится в непрекращающейся полемике со своим двойником — карамзинистом. Общеизвестно, что всю свою жизнь Карамзин чуждался полемики с литературными противниками; в какой-то мере

это компенсировалось его полемикой со своим alter ego. Целый ряд заявлений Карамзина имеет превентивный характер, предупреждая ту или иную крайность истолкования. Другие декларации высказаны им не от своего лица, а от лица некой литературной маски. Характерно в этом отношении почти одновременное создание взаимоотрицающих произведений: «Моя исповедь» и «Рыцарь нашего времени». Одно осмеивает «Исповедь» Руссо — другое явно ориентируется на это произведение; одно — саморазоблачение «модного героя», другое — утверждение его в качестве «героя нашего времени». Карамзин может быть ироничен, говоря о том, к чему он относится серьезно, но он может с пафосом говорить об идеях, которые, вообще говоря, принадлежат не ему самому. Все это создает возможность игры точек зрения, обеспечивая насыщенность идеологической композиции, и вместе с тем делает прочтение карамзинского текста отнюдь не тривиальной задачей. Однако указанные особенности текстов Карамзина отнюдь не исключают внутренней последовательности его личности; можно сказать даже, что именно личность Карамзина оказывается организующим началом в этих текстах. Общий принцип чтения Карамзина может быть сформулирован приблизительно так: через тексты к личности автора и от личности — снова к тексту. Это особенно верно для «Писем русского путешественника» — произведения, объединяющего художественный, познавательный и философский аспекты. Интерес молодого Карамзина к физиогномике и его переписка с Лафатером имели целью выяснение одного общего вопроса, которому сам Карамзин придавал очень большое значение: как сосуществуют и взаимно влияют друг на друга душа и тело. Можно думать, что вопрос о сосуществовании и взаимовлиянии жизни и искусства укладывался для Карамзина в рамки той же проблемы. Из переписки с Лафатером Карамзин усвоил, что мир есть зеркало души и что познание души предполагает взгляд на себя со стороны. «Глаз наш не так устроен, чтобы видеть себя без зеркала, — а наше „я“ видит себя только в другом „ты“. Мы не имеем в себе точки зрения на самих себя», — писал Карамзину Лафатер в письме от 16 июня 1787 г. Литературная поза Карамзина-путешественника и была для него средством познания себя и своей страны, причем сам Карамзин не без основания мог рассматривать себя как эманацию русской культуры XVIII в.

* * *

Почти два века отделяют нас от времени создания «Писем русского путешественника». За это время оценки произведения Карамзина не раз менялись самым решительным образом. Так, Ф. И. Буслаев в 1866 г. видел в «Письмах русского путешественника» «необычайную цивилизирующую силу», «зеркало, в котором отразилась вся европейская цивилизация».[3] А почти через сто лет Е. Н. Купреянова так оценивала

[3] Моск. унив. изв., 1867, № 3, с. 15.

«Письма русского путешественника»: «Это своего рода „окно“, прорубленное Карамзиным для русского читателя в культурно-историческую жизнь западноевропейских стран. Правда, „окно“ это находилось на относительно невысоком уровне интеллектуальных интересов и возможностей образованного дворянства того времени».[4]

При очевидной противоположности оба эти мнения имеют общее основание: они в равной мере исходят из убеждения, что «Письма русского путешественника» представляют собой своего рода беллетризованный Бедекер, украшенный забавными сюжетами справочник для путешественников по Европе. Между тем уже тот факт, что произведение это и два века спустя находит своих читателей, свидетельствует, что перед нами не указатель достопримечательных мест, а литературное произведение, сохраняющее ценность и для совсем другой России, пытающейся определить свое отношение к совсем другой Европе.

Стремление не сводить значение «Писем» к «познавательному содержанию»,[5] а увидеть в этом произведении целостный идеологический и художественный мир, в который Карамзин вводит читателя, высказывалось уже рядом авторов.[6] Такой подход представляется наиболее плодотворным. Однако и первый вряд ли можно просто отбросить как заблуждение — слишком глубокие корни он имеет в читательской традиции: Карамзин создал устойчивый культурный образ «русского путешественника» за границей, и влияние этого образа оказалось исключительно долговременным. В 1803—1804 гг. В. Л. Пушкин совершил поездку по Европе. В сознании путешественника это была не только заграничная поездка, не только паломничество по следам Карамзина, но и своеобразное перевоплощение в образ карамзинского «русского путешественника».[7] Явная несостоятельность этих претензий заранее придала самому замыслу в глазах современников пародийно-комический характер.[8] Связь с определенной культурно-психологической традицией современники ощущали здесь бесспорно. Не будем перечислять всех ее последующих вех — укажем лишь на некоторые.

В 1839 г. М. Погодин, путешествуя за границей, посетил Париж. «Письма русского путешественника» присутствуют в его сознании как некая норма европейской жизни, которой он постоянно поверяет свои личные впечатления. Здесь и совпадения: «Не веришь себе и хочешь усомниться с К‹арамзиным›, полно, жив ли я, не брежу ли я во сне?».

---

[4] История русского романа в 2-х т., т. 1. М.—Л., 1962, с. 69.

[5] Там же, с. 70.

[6] См.: *Иванов М. В.* Мир Швейцарии в «Письмах русского путешественника». — В кн.: XVIII век, сб. 10. Л., 1975, с. 297.

[7] В. Л. Пушкин, как и Карамзин, писал мало реальных писем во время своего путешествия, однако сразу же начал публикацию в «Вестнике Европы» литературных писем (1803, ч. 10 и 11; перепеч. в кн.: *Пушкин В. Л.* Соч. СПб., 1895); ср.: *Трубицын Н. Н.* Из поездки Василия Львовича Пушкина за границу, 1803—1804. — В кн.: Пушкин и его современники, вып. 19—20. Пг., 1914.

[8] См. стихотворение И. И. Дмитриева «Путешествие N N в Париж и Лондон» (Соч., т. 1. СПб., 1893, с. 229—231); ср.: *Дмитриев М. А.* Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869, с. 55—56.

Замечание «вспоминали Карамзина» попадается в его путевом дневнике неоднократно. Здесь же и расхождения: «Не те уже воспоминания возбуждает Палерояль, как во времена Карамзина».[9]

Сложное и в основном полемическое отношение Достоевского к образу «русского путешественника» подразумевает постоянную соотнесенность. Так, в «Зимних заметках о летних впечатлениях» Достоевский, вспоминая свое впечатление от Кельнского собора, пишет: «Я было хотел „на коленях просить у него прощения" за то, что не постиг в первый раз его красоту, точь-в-точь как Карамзин, с такою же целью становившийся на колени перед рейнским водопадом».[10] Здесь сознательно полемическое использование слов Карамзина: «Я наслаждался — и готов был на коленях извиняться перед Реином в том, что вчера говорил я о падении его с таким неуважением» (с. 113 наст. изд.). Весь замысел толстовского «Люцерна», конечно, полемичен по отношению к эпизоду с бернским арфистом, которому у Карамзина был оказан столь радушный прием: «Сегодня за ужином бедный Италианской музыкант играл на арфе и пел. Англичане набросали ему целую тарелку серебряных денег» (с. 130 наст. изд.).

Перечень этот можно было бы значительно продолжить. Закончим одним сопоставлением: в 1925 г. Маяковский, уезжая из Парижа, написал стихотворение «Прощанье», которое заканчивалось словами:

Подступай
к глазам,
разлуки жижа,
сердце
мне
сантиментальностью расквась!
Я хотел бы
жить
и умереть в Париже,
Если б не было
такой земли —
Москва.[11]

Слово «сантиментальность» совсем не случайно у Маяковского: стихи эти — весьма точная цитата. «Я хочу жить и умереть в моем любезном отечестве, но после России нет для меня земли приятнее Франции», — писал Карамзин, расставаясь с Парижем. Маяковский не только наизусть помнил эти слова, но и, прощаясь с Парижем, ощущал себя все тем же «русским путешественником» за границей. Параллель эта вызывала у него даже некоторую досаду, что видно из иронических в собственный адрес слов о сердце, расквашенном сентиментальностью.

Таким образом, если на самой поверхности текста Карамзин давал читателю перечень европейских достопримечательностей (их-то исследо-

---

[9] *Погодин М.* Год в чужих краях, 1839. Дорожный дневник, ч. 3. М., 1844, с. 6, 23 и 5.

[10] *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. в 30-ти т., т. 5. Л., 1973, с. 48.

[11] *Маяковский Владимир.* Полн. собр. соч., т. 6. М., 1957, с. 227.

ватели и называют «познавательным содержанием» книги), то в более глубоком слое мысли создан был образ «русского путешественника», который сделался реальным фактом русской культуры в ее отношении к Европе. Однако за этим стоял еще более глубинный пласт — соотношение России и Европы в едином процессе движения мировой цивилизации. Попробуем выяснить, что же своего внес Карамзин в эту вековую проблему.

* * *

Творчество Карамзина началось для читателей «Письмами русского путешественника» и завершилось «Историей государства Российского». В таком расположении при всей его историко-культурной и лично-биографической обусловленности скрыта красота строгого композиционного построения: Карамзин начал как писатель, показывающий читателям в зеркале своего творчества Европу и прогресс культуры, и завершил свой путь тем, что открыл перед ними Россию и ее историю.

«Письма русского путешественника» выражали мысли верящего в исторический прогресс просветителя. С этой точки зрения сегодняшний день Европы представлялся завтрашним днем России. Это имел в виду и Карамзин, когда в письме в «Spectateur du Nord» говорил о «быстром полете нашего народа к той же цели» (с. 453 наст. изд.). Убеждение в единстве пути всех народов, шествующих по дороге цивилизации, продиктовало Кондорсе, который, скрываясь от преследований якобинского трибунала, писал итоговую книгу французского Просвещения — пронизанный оптимизмом «Опыт исторической картины прогресса человеческого разума», — следующие слова: «Движение других народов будет более быстрым и более надежным, чем наше, поскольку они получат от нас то, что мы принуждены были открыть первыми, и потому, что знание этих простых истин, этих методов, которых мы достигли лишь путем длительных блужданий, они смогут постичь, следуя развитию доказательств в наших речах и книгах».[12] «Письма русского путешественника» были путешествием в будущее, «История государства Российского» — в прошлое.

Такое понимание значения «Писем» выдвигало на передний план аспекты, имевшие наиболее, с точки зрения Карамзина, близкое отношение к проблеме цивилизации и ее развития. Это, во-первых, опыт истории европейской культуры в двух основных — для конца XVIII в. — ее проявлениях: с точки зрения духовного обогащения человеческой личности (сюда входили вопросы литературы, развития искусств, все стороны духовной жизни человека) и с точки зрения социального прогресса (этот аспект был связан с мыслями о роли французской революции,

[12] *Condorcet.* Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'ésprit humain. — Ouvrages posthumes. Nouv. éd., [S. l.], 1797, p. 257. — Знакомство Карамзина с этим произведением, по крайней мере во время создания им окончательного текста «Писем», представляется весьма вероятным.

о свободе и просвещении народа, о соотношении экономической и личной свободы и др.); и, во-вторых, проблемы реформы русского литературного языка и пересмотра отношений между литературным языком и литературой, органически связанные со всем комплексом размышлений, возникавших при попытках определения будущих путей русской культуры.

*
* *

Чтобы определить сущность «Писем русского путешественника» как литературного произведения, необходимо выделить в этой книге «Dichtung» и «Wahrheit». Даже после исследования В. В. Сиповского, установившего, что «Письма русского путешественника» не могут рассматриваться в качестве сборника реальных писем,[13] в научной литературе доминирует представление о «полубеллетристической природе»[14] этого произведения. Представление о господстве в книге непосредственных дорожных впечатлений Карамзина породило версию, согласно которой в ее основе лежит путевой дневник, хотя никаких следов дорожных записей у нас нет и самый факт их существования проблематичен. Однако дело даже не в наличии или отсутствии путевых дневников, а в принципах обработки автором реального материала и превращения его в факты художественного творчества. Соотношение реального путешествия Карамзина, его дорожных впечатлений и текста книги — сконструированного Карамзиным для русских читателей образа Европы — один из ключевых вопросов в понимании идейной и художественной природы этого текста. Ответить на этот вопрос не так уж легко: мы слишком мало знаем о реальном путешествии писателя. Стоит нам поставить перед собой задачу проверки текста «Писем», как обнаруживается, что, кроме самих «Писем русского путешественника», у нас нет об этом периоде никаких других сведений.

Причины, породившие самую идею путешествия, остаются для нас неясными. С одной стороны, существует версия, что за границу Карамзин был «отправлен» масонами. Слухи об этом носились в московском обществе 1790-х гг., эти же сведения Карамзин якобы подтвердил сам в беседе с Ф. Глинкой.[15] В литературе о Карамзине повторяется слух о том, что «программу» путешествия составил С. И. Гамалея. Однако есть и прямо противоположные данные: вопрос этот специально исследовался московскими властями во время «суда» над Новиковым. Следствие как будто приняло утверждение, что Карамзин путешествовал «не от общества», а вольным «вояжором» на собственные деньги. Существует ряд данных о том, что драматический разрыв с кружком мо-

---

[13] См.: *Сиповский*, с. 158—237.

[14] *Brang Peter.* Über die Tagebuchfiktion in der russischen Literatur. — In: Typologia Litterarum. Zürich—Freiburg, 1969, S. 444.

[15] *Шторм Г. П.* Новое о Пушкине и Карамзине. — Изв. АН СССР, Отд. литературы и языка, 1960, т. 19, вып. 2, март—апрель, с. 150.

сковских «мартинистов» предшествовал заграничному вояжу, а не последовал за ним. Исключительно эмоционально описаны обстоятельства отъезда Карамзина в письмах А. И. Плещеевой А. М. Кутузову (см. с. 692 наст. изд.), рисующих картину в почти трагических тонах (при использовании этих документов следует учитывать склонность Плещеевой драматизировать ситуации). Однако письма эти не дают ясного представления о причинах и характере событий. Рамзей (прозвище Карамзина в дружеском московском кружке) вынужден был, по ее словам, чуть ли не бежать из Москвы, она сама, «плакав пред ним, просила его ехать», «сие было нужно и надобно», хотя в принципе она всегда была «против оного вояжа». Причиной же был некий «злодей» и «Тартюф».[16] А. И. Плещеева намекает Кутузову на то, что сознательно пишет темно, опасаясь перлюстрации писем. Душевная близость ее к Карамзину и степень осведомленности в его делах делают ее свидетельство особенно важным. Даже при учете ее склонности к преувеличениям высказывание это не может не привлечь нашего внимания. Расшифровать его мы пока бессильны: ни кто такой «Тартюф», ни в чем состояли его злодейства, сделавшие поездку необходимой, мы не знаем и не имеем оснований для построения обоснованных гипотез.

Когда Карамзин собирался за границу, у него, бесспорно, был план путешествия, а вероятнее — два плана. Как мы уже отмечали, какой-то план был составлен Гамалеей. Он, очевидно, не был реализован, поскольку в странствовании Карамзина не обнаруживается никаких черт путешествия масонского ученика с его специфическими чертами: длительным пребыванием в местах собрания масонских рукописей и их изучением с целью проникновения в таинства Духа и Натуры. Возможно, эта часть программы и была бы частично реализована, если бы весь план путешествия не изменился в результате письма А. М. Кутузова. К встрече с ним, по утверждению Карамзина, сам он искренне стремился. Следовательно, отношения их в этот период еще не были испорчены. В «Письмах русского путешественника» Карамзин так описал свое ожидание свидания с Кутузовым при приближении к Берлину: «Ночью всякия мечты воображения бывают живее, и я так ясно представил себе любезного А*, идущего ко мне на встречу с трубкой и кричащего: *кого вижу? брат Рамзей в Берлине?* что руки мои протянулись обнять его. . .» (с. 32 наст. изд.). Как мы покажем ниже, обстоятельства контактов Карамзина и Кутузова за границей не совсем ясны, но к моменту возвращения Карамзина из-за границы отношения их были уже более чем прохладными.

Кроме «масонского» плана Гамалеи у Карамзина был свой (разработанный совместно с Петровым или, по крайней мере, Петрову известный) план, в который были посвящены и Плещеевы. В общих чертах он соответствовал маршруту, описанному в «Письмах русского путешественника»: Германия—Швейцария—Франция—Англия. Петров в сентябре 1789 г. писал Карамзину: «Я думаю, <. . .> ты давно уже в Швейцарии».

[16] *Барсков*, с. 5—6; ср. примеч. на с. 692 наст. изд.

И в том же письме: «Я опасаюсь проезда твоего через Францию, где ныне такие неустройства» (см. с. 509 наст. изд.). А. А. Плещеев пишет 7 (18) июля 1790 г. А. М. Кутузову: «Любезный наш Николай Михайлович должен уже месяц назад быть в своем любезном Лондоне, а как намерение его было сим городом кончить свое путешествие, то я надеюсь сего столь мне любезного человека в конце августа видеть у себя в Знаменском».[17]

Таким образом, московские друзья Карамзина, находившиеся вне масонского кружка (Петров к этому времени охладел к своим масонским симпатиям и покинул дом Типографической компании (см. с. 691—692 наст. изд.), а Плещеевы, в особенности Анастасия Ивановна, которая и Кутузову пыталась «открыть глаза»,[18] вообще стояли в оппозиции к кружку московских мистиков), были заранее посвящены в маршрут его заграничного путешествия.

Однако из сказанного еще нельзя сделать категорического вывода о том, что в ходе путешествия Карамзин не внес в маршрут изменений. Не встретив Кутузова в Берлине, Карамзин едет в Саксонию. То, что из столицы Пруссии автор «Писем» отправился в Дрезден, делает естественным предположение, что дальнейший путь его должен был лежать на Вену, откуда можно было проехать через Ломбардию или по дороге через Линц и Мюнхен в Швейцарию, с тем чтобы в дальнейшем через Францию и Англию вернуться в Петербург. В пользу такого маршрута говорит, в частности, то, что из Швейцарии Карамзин, видимо, отнюдь не собирался ехать прямо в Париж — в планы его входило посещение юга страны.

Практически все сложилось иначе. Из Дрездена Карамзин заехал в Лейпциг. Мы сейчас не можем судить, что́ это означало: было ли это небольшим отклонением в сторону ради посещения интересного культурного центра (возможны также и специальные масонские цели), или же речь шла о движении в Швейцарию по совсем иной трассе — через Нюрнберг и Констанц на Цюрих. Однако в Лейпциге Карамзин, как он подчеркивает, неожиданно для себя получил известия, изменившие его планы. В «Письмах» под датой «июля 19» он сообщает: «Ныне получил я вдруг два письма от А*, которых содержание для меня очень неприятно. Я не найду его во Франкфурте. Он едет в Париж на несколько недель, и хочет, чтобы я дождался его или в Мангейме или в Стразбурге; но мне никак не льзя исполнить его желания» (с. 69 наст. изд.). В приведенном отрывке столько неясностей, что невольно возникает мысль о стремлении автора больше скрыть, чем рассказать. Во-первых, очевидно, что путь из Берлина в Саксонию был предусмотрен еще в Москве, — иначе непонятно, каким образом Кутузов, не встретившись с Карамзиным в Берлине, знал, что следующее письмо следует писать в Лейп-

---

[17] *Барсков*, с. 1. — Ср. письмо Лафатеру, с. 477 наст. изд.

[18] Кутузову она писала: «Я сколько-нибудь всех ваших друзей знаю и лучше хочу для них остаться при моем недоверчивом нраве, нежели с вашей легковерностью» (*Барсков*, с. 5).

циг. Во-вторых, именно из того, что, узнав в Берлине об отъезде Кутузова во Франкфурт (на Майне), Карамзин все же поехал, согласно обдуманному еще дома плану, в Дрезден, можно заключить, что он не собирался спешить на Майн за своим другом. Фраза «Я не найду его во Франкфурте» звучит странно и, вероятно, должна сгладить для читателя post factum противоречия между планом и реальным путешествием. В-третьих, узнав, что Кутузов советует ему решительно изменить маршрут и ехать к французской границе и в Мангейме или в уже лежащем во Франции Страсбуре дожидаться его (о странности такого предложения — ниже), Карамзин пишет: «Мне никак не льзя исполнить его желания»; — и решительно примиряется с невозможностью встретиться с Кутузовым во время вояжа: «И таким образом во всем своем путешествии не увижу ни одного человека, близкого к моему сердцу!» (с. 69 наст. изд.). Однако он все же едет во Франкфурт, хотя этого было «никак нельзя» сделать, и из Франкфурта направляется в Страсбур. Такое неожиданное решение ничем не мотивируется в тексте «Писем» и остается для читателя непонятным.

Далее происходят еще более странные вещи: Карамзин, согласно «Письмам», приезжает в Мангейм, откуда едет в Страсбур. Ни в одном из этих городов он не встречает Кутузова и даже, как кажется, не ожидает встретить (во Франкфурте он узнает, что Кутузов в Париже, но об этом он знал еще из писем, полученных в Лейпциге). Зачем же он сюда приехал? Неясности продолжают громоздиться; в Мангейме, согласно тексту «Писем», он делает запись: «Естьли бы я не торопился в Швейцарию, то остался бы здесь на несколько недель: так полюбился мне Мангейм!» (с. 92 наст. изд.). Итак, он спешит в Швейцарию. Однако из Мангейма он направляется совсем не туда, а едет во Францию — в Страсбур. В «Письмах» это странное противоречие никак не объясняется. В первоначальном тексте произведения оно получило истолкование. В автореферате «Писем», опубликованном в «Spectateur du Nord», поездке в Страсбур дано недвусмысленное пояснение: указав, что во Франкфурте-на-Майне он узнал о революции во Франции и был ею «живо взволнован», Карамзин сообщает читателю, что его путешественник направился после этих известий из Германии во Францию, но, столкнувшись в Эльзасе с грабежами, волнениями и слухами об убийствах, повернул в Швейцарию, «чтобы там дышать воздухом мирной свободы» (с. 452 наст. изд.). Таким образом, из Мангейма Карамзин «торопился» совсем не в Швейцарию, а во Францию.

Все эти противоречия рассеются, если предположить, что Кутузов, отправляясь из Франкфурта в Париж, звал туда и Карамзина. В таком предложении, высказанном еще до взятия Бастилии, не было ничего не только смелого или сомнительного, но даже необычного. Иначе выглядело оно в момент публикации «Писем», и его, естественно, приходилось тщательно маскировать.

Поездка А. М. Кутузова ранним летом 1789 г. в Париж остается для нас загадкою, как, впрочем, и почти все, что касается его пребывания за границей. Ясно только, что в дальнейшем Кутузов, имея в виду перлю-

страцию писем в России, ее скрывал: он тщательно избегал в письмах к русским друзьям всего, что могло бы даже намекать на нее (упоминания имеют характер глухих и невольных обмолвок, см. письмо И. В. Лопухину — *Барсков*, с. 59). Поездка, бесспорно, случайно совпала со знаменательными событиями. 19 июля (по европейскому календарю) Карамзин получил от Кутузова письмо о намерении последнего поехать «на несколько недель» в Париж. Сам Карамзин проделал путь от Лейпцига до Франкфурта за десять дней, письмо в обратном направлении, видимо, двигалось около этого времени. Следовательно, Кутузов выехал во Францию в начале июля 1789 г. и если не поспел к событиям 14 июля, то оказался в Париже, потрясенном их последствиями.

Карамзин, узнав во Франкфурте о начале революции, первым делом вспомнил, что в Париже находится Кутузов: «Вчера был я только у Виллемера, богатого здешнего Банкира. Мы говорили с ним о новых Парижских происшествиях. Что за дела там делаются! Думал ли наш А* (который уехал отсюда недели за две перед сим) видеть в Париже такия сцены?» (с. 84 наст. изд.). Можно предположить, что описание «сцен» Карамзин черпал именно из писем Кутузова, ждавших его во Франкфурте.

В условиях июля 1789 г. принять решение отправиться в Париж было весьма естественно. Было очевидно, что в Париже происходят события всемирно-исторического значения. А бояться каких-либо последствий такой поездки со стороны французов или со стороны русского правительства не могло и прийти в голову. Второе было куда более реально, но в Париже в эту пору было много русских путешественников, и правительство не выражало еще по этому поводу никакого беспокойства. Даже полтора года спустя, в ноябре 1790 г., в ответ на решительное запрещение со стороны И. В. Лопухина масонским стипендиатам М. И. Невзорову и В. Я. Колокольникову ездить в Париж «в рассуждении царствующей там ныне мятежности» [19] молодые люди протестовали: «Нам будет там в теперешних обстоятельствах Франции безопасно. Чужестранцы все, как в здешнем городе (Страсбуре, — *авт.*), так и во всей Франции, не только никакой, как сказывают, не имеют опасности, но еще особенно обезопашиваются, и от двора нашего повеления нет выезжать из Франции, ибо здесь, кроме помянутых двух студентов петербургских, живут многие из России дворянские дети, как-то: сын графа Разумовского, г-н Новосильцов и проч. Много, равным образом, как мы теперь слышали, находится русских в Париже».[20]

Если поставить себя в положение Карамзина, размышляющего в Страсбуре в июле 1789 г. о планах дальнейшей поездки (т. е. восстановить до деталей все, что он знал в эти дни, и заставить себя забыть все, что ему еще не могло быть известно, все события, отделяющие его пребывание на пороге Франции от времени публикации «Писем русского путешественника»), то нам станет очевидно, что отказ от поездки

[19] *Барсков*, с. 23.
[20] Там же, с. 37—38.

в Париж нуждается в большем числе мотивировок, чем решение туда ехать.

Но все же поехал Карамзин из Страсбура в Париж или нет? «Письма русского путешественника» утверждают, что нет. Однако здесь уместно обратить внимание на странные неувязки в хронологии окончательного текста «Писем». Согласно этому тексту, Карамзин прибыл в Париж (из Швейцарии) 27 марта 1790 г. и оставил его в июне (даты этого месяца он упорно заменяет многоточиями) того же года.

Всякая попытка составить реальную хронологию пребывания Карамзина в Париже наталкивается на трудности, связанные с запутанностью дат, вернее всего не случайной: так, под неопределенной датой «Париж, Мая...» (это первая майская помета, позволяющая думать, что описываемые здесь впечатления относятся к началу мая, однако анализ обнаруживает, что «письмо» это касается событий самого конца месяца) в главке «Тюльери» Карамзин утверждает, что был свидетелем праздника Ордена св. Духа. Праздник этот в 1790 г. приходился на 25 мая н. с. («Духов день») — время, когда Карамзин должен был находиться уже по дороге в Лондон. Самое же поразительное, что этот праздник, «очевидцем» которого был «русский путешественник», в 1790 г., как кажется, вообще не состоялся (см. примеч. на с. 654). В письме, помеченном «Париж, Июня...» и описывающем посещение «Царской кладовой», Карамзин сообщает, что он уже «три месяца в Париже» (с. 305 наст. изд.). Следовательно, речь идет о 27 июня. Однако мы располагаем его письмом из Лондона Дмитриеву, датированным 4 июня 1790 г.[21] Если к этому добавить, что в Париже им сделано 15 записей, помеченных июнем (т. е., хотя даты нигде не указаны, читатель может предположить, что до середины этого месяца он был в Париже), а дорога из столицы Франции в Лондон тоже требовала времени, то картина спутанности дат окажется весьма выразительной. К этому можно добавить, что в эпизоде со слугой Бидером допущена характерная мистификация: дана ссылка на газету от 28 мая, между тем как описанное здесь событие произошло 30 марта и попало в газеты в первых числах апреля (см. примеч. на с. 664—665), и что в письмах из Лондона путешественник делается «очевидцем» событий, заведомо произошедших в его отсутствие (например, выборы в Парламент, см. примеч. на с. 673). Есть и другие факты хронологических несоответствий, из чего можно заключить, что даты в «Письмах русского путешественника» являются элементом организации литературного текста, а не документальными опорами реального путешествия их автора. Более того, литературному замыслу, видимо, предшествовало стремление утаить некоторые деликатные моменты реального путешествия.

Возвращение Карамзина в Петербург по «Письмам» приходится на осень 1790 г. (последнее «английское» письмо помечено: «Лондон, сентябрь... 1790»), однако, согласно опубликованным Г. П. Штормом данным петербургской полиции, Карамзин прибыл в столицу 15 июля![22]

[21] См.: *Письма к Дмитриеву*, с. 13—14.

[22] См.: *Шторм Г. П.* Новое о Пушкине и Карамзине, с. 150. — Г. П. Шторм ошибочно толкует выражение «из Москвы отставной поручик Николай Карамзин»

А. А. Плещеев писал Кутузову: «Любезной наш Николай Михайлович приехал в Россию еще в августе» (Плещеевы в своем Знаменском могли ошибаться в точной дате приезда Карамзина в Петербург).[23]

Несколько недель очевидного расхождения между реальным и литературным сроком возвращения Карамзина на родину невольно приводят на память «несколько недель», которые должен был провести Кутузов в Париже, и «несколько недель», которые Карамзин охотно провел бы в Мангейме, если бы «не торопился». Эти несколько недель, выпав из хронологии «Писем», спутали всю их датировку. Если бы Карамзин указал в «Письмах» истинную дату своего приезда в Россию, то получилось бы, что в Лондон он лишь заглянул дня на два. Если бы он указал подлинное время своего прибытия в Лондон, то его пребывание в Париже показалось бы слишком кратковременным для серьезных суждений. Все эти сомнения отпадут, если предположить, что Карамзин поехал из Страсбура в Париж «на несколько недель», затем отправился в Швейцарию, откуда намеревался через Лион совершить путешествие па юг Франции. Узнав о крестьянских восстаниях в этом районе, он вторично прибыл в Париж и отсюда раньше, чем это указано в «Письмах», направился в Лондон. По каким-то неизвестным нам обстоятельствам он решил скрыть свое первое пребывание в столице Франции от читателей и властей в России, расширив в «Письмах» время пребывания в Швейцарии и удлинив сроки своего путешествия вообще. Косвенным подтверждением этих гипотез является то, что именно во время пребывания Карамзина за границей испортились его отношения с Кутузовым, превратившись из пламенно дружеских в почти враждебные со стороны Кутузова и прохладные со стороны Карамзина. Это выглядит весьма странно, если учесть, что официально они в это время не встречались. В. В. Виноградов был прав, когда писал: «Больше всего масоны боялись появления „Писем русского путешественника“, описания заграничной поездки Карамзина».[24]

как указание на то, что Карамзин прибыл в Петербург из Москвы: оно означает — «москвич», «жительствующий в Москве».

[23] *Барсков*, с. 30. — Ср. расхождение в д в е н е д е л и между реальной датой отъезда из Швейцарии и той, которую находим в «Письмах» (с. 189 наст. изд.).

[24] *Виноградов В. В.* Проблема авторства и теория стилей. М., 1961, с. 255. — Кутузов, узнав о намерении Карамзина издавать журнал (следует иметь в виду, что это слово обозначало одновременно и периодическое издание, и дневник), решил, что приятель его хочет опубликовать подлинный путевой дневник, и встревожился именно этим, явно опасаясь проникновения в печать нежелательных сведений. Он писал Карамзину: «Опасно связываться с вашею братнею, авторами, тотчас попадешь в лабет («в дураки» — карточный термин, означающий проигрыш, — *авт.*). Я и сам знаю многие мои пороки и недостатки; что ж будет, ежели они предложатся публике, изображенные искусною кистью?» (*Барсков*, с. 55). Каким образом Карамзин мог в своем «путевом журнале» «искусною кистию» изображать недостатки Кутузова, если они не встречались за границей? Обмолвку Кутузова можно считать прямым доказательством факта встречи за границей, т. е. поездки Карамзина в Париж в июле 1789 г.

*
* *

Итак, «Письма русского путешественника» — не сумма бесхитростных дорожных записей. Вырисовывается факт отбора. Для выяснения позиции автора оказывается существенным не только то, что он включил в свою книгу, но и то, чтб он не включил, поскольку пропуски входят в активную архитектонику мысли, если они ощущаются читателем. Перед нами встанет задача: оживить для себя исторические впечатления, уже забытые нами, но ясные в уме и памяти читателей эпохи Карамзина.

Каковы были реальные события в Париже, свидетелем которых сделался Карамзин? Как ни странно, несмотря на обилие литературы, полностью посвященной проблеме «Карамзин и французская революция» или частично ее затрагивающей, вопрос этот даже не поставлен. Все писавшие ограничивались комментированием того, что написал на эту тему Карамзин, хотя очевидно, что без сопоставления с тем, что он знал и видал, читал и слышал в эти годы, выяснить подлинный смысл его писаний невозможно.

Если предположить, что Карамзин в первый раз был в Париже вместе с Кутузовым, то он должен был быть свидетелем первых триумфов революции: провозглашения Бальи (который в эту пору был для всех героем Залы для игры в мяч) мэром Парижа, а Лафайета — командующим национальной гвардией. Революция переживала свое радостное начало: 15 июля архиепископ парижский отслужил в соборе Парижской богоматери благодарственную мессу в честь взятия Бастилии. Король, отвергнув предложения бежать за принцами и Бретейлем и возглавить в Меце поход на Париж, принял из рук Бальи трехцветную кокарду. Английский посол Дорсет доносил своему правительству: «С этого момента мы можем рассматривать Францию как свободную страну, короля как монарха, чьи полномочия ограничены законами, а дворянство как низведенное до уровня нации».[25]

Париж клокотал от брошюр, разговоров в кафе, салонах (клубы также еще имели характер салонов, облик их изменился лишь весной — летом 1790 г.), но до событий 5—6 октября 1789 г., когда Карамзина в Париже наверняка не было, обстоятельства развивались вполне мирно. В тексте «Писем» есть одно место, которое бесспорно отсылало мысли читателя тех лет к Парижу августа 1789 г. и, может быть, является косвенным подтверждением гипотезы о первом посещении Карамзиным столицы Франции. Это описание постановки пьесы М.-Ж. Шенье «Карл IX». Холодно оценив художественные достоинства пьесы, Карамзин заметил: «Автор имел в виду новыя происшествия, и всякое слово, относящееся к нынешнему состоянию Франции, было сопровождаемо плеском зрителей» (с. 205 наст. изд.). Карамзин «прикрепил» этот эпизод к своему посещению Лиона. Однако читатели 1790—1800-х гг. еще живо помнили,

[25] *Mathiez A.* La Révolution française, t. 1. Paris, 1928, p. 61.

что именно эта пьеса вызвала один из наиболее шумных общественных эксцессов лета 1789 г. Иоахим-Генрих Кампе — писатель и педагог, высоко чтимый в кружке Новикова и позже пропагандируемый карамзинским «Вестником Европы», посетил Париж в 1789 г. и выпустил «Письма из Парижа во время революции». Книга, сочувственно описывавшая события 1789 г., пользовалась большим успехом и к 1790 г. вышла уже тремя изданиями. Она была, конечно, известна и Карамзину, и его читателям. Здесь автор в письме, помеченном 26 августа 1789 г., описывает сцену в театре: публика устраивает театральной труппе обструкцию, срывая ход спектакля. «„Карл IX"! „Карл IX"! гремело от партера до галлереи ‹...› Я воспользовался перерывом в спектакле, чтобы полюбопытствовать у соседа, что это все означает и, в особенности, что имеют в виду крики о Карле IX? Он ответил мне следующее: „Существует уже около года трагедия под этим названием. Она написана г-м Шенье и посвящена Варфоломеевской ночи"».[26]

Кампе описал самый разгар конфликта, когда королевские актеры отказывались играть революционную пьесу, постановки которой от них требовал парижский зритель. Париж победил. В кипящей атмосфере 1789 г. этой победе приписывалось почти такое же значение, как и крупнейшим революционным событиям. «„Карл IX", — пишет К. Н. Державин в специальном исследовании о театре французской революции, — стал яблоком раздора между различными социальными группировками французской общественности первых лет революции потому, что, имея в основе своей исторические факты (события, связанные с массовыми убийствами протестантов 24 августа 1572 г.), эта трагедия поднимала и своеобразно интерпретировала ряд волнующих вопросов современности. Борьба придворной камарильи за уничтожение еретиков-гугенотов, проблема королевской власти в ее отношении к народу, к вопросам засилия клерикализма, образ короля-народолюбца, на который намекала фигура Генриха Наваррского, и т. д. и т. д., — все эти элементы трагедии, обличавшей деспотизм, тиранию дурных королевских советников и, наконец, королевскую власть, поскольку она ставит себя выше интересов своих подданных, нашли живейший отклик у буржуазной общественности...».[27] По существующим преданиям, Демулен, сказав, что «Шенье нацепил Мельпомене национальную кокарду», добавил: «Эта пьеса двинет наше дело больше, чем октябрьские дни!»; а Дантон воскликнул на ее премьере: «Если Фигаро убил дворянство, то „Карл IX" убьет королевскую власть».[28] Ниже мы увидим, как напомнил об этой пьесе Мирабо с трибуны Национальной Ассамблеи, выступая в присутствии Карамзина. Упоминание о пьесе Шенье в тексте «Писем» характерно для поэтики отсылок и намеков на события, известность которых читателю подразумевается. Эту поэтику Карамзин положил в основу своего произведения.

---

[26] Briefe aus Paris zur Zeit der Revolution geschrieben von Joahim Heinrich Campe. 3. Aufl. Braunschweig, 1790, S. 307.

[27] *Державин*, с. 67.

[28] Там же, с. 69.

Намеки на более раннее пребывание в Париже, чем это указывается по датировке «Писем», можно увидеть и в ряде других мест текста. В главе «Писем», помеченной «Лозанна», Карамзин рассказывает, как он завтракал «с двумя Французскими Маркизами, приехавшими из Парижа. Они сообщили мне весьма худое понятие о Парижских дамах, сказав, что некоторыя из них, видя нагой труп нещастного дю-Фулона, терзаемый на улице бешеным народом, восклицали: *как же он был нежен и бел!* И Маркизы рассказывали об этом с таким чистосердечным смехом!! У меня сердце поворотилось» (с. 154 наст. изд.). Убийство Фулона и его зятя Бертье, принадлежавших к ненавистному парижанам интендантству, произошло непосредственно за взятием Бастилии. Смерть Фулона, одной из первых жертв революции, приковала всеобщее внимание. Потрясенный Бабеф писал жене: «Господа, вместо того, чтобы цивилизовать, превратили нас в варваров, потому что они сами варвары. Они пожинают и будут пожинать то, что сами посеяли».[29] К началу октября 1789 г., когда парижские маркизы якобы приехали в Лозанну, смерть Фулона была заслонена уже множеством других, не менее драматичных эпизодов. Не естественнее ли предположить, что разговор маркиз Карамзин слышал в парижском салоне в августе, когда об этом только и говорили в столице Франции?

Допустив, что Карамзин навестил в первый раз Париж во время пребывания там Кутузова, мы берем на себя тем самым обязательство хотя бы предположительно высказать соображения о причинах, заставлявших его тщательно скрывать это путешествие.

В хронике событий конца лета 1789 г., относящихся к революции в Париже, мы тщетно будем искать чего-либо, что могло бы больше скомпрометировать русского путешественника, чем посещение центра революции в 1790 г., которого Карамзин, как известно, не скрывал. Здесь возможно лишь одно предположение, связанное не с Карамзиным, а с Кутузовым. Как мы уже говорили, А. М. Кутузов оказался в июле—августе (?) 1789 г. в Париже. Для такой поездки должны были быть веские причины. Друг Радищева и ближайший сотрудник Новикова, Кутузов находился за границей не для увеселительной прогулки: он был отправлен туда московскими масонами для поисков «тайн» и мистической мудрости. Миссия эта крайне его тяготила. В конечном счете он погиб, горько сознавая, что принесен московскими «братьями» в жертву, и вместе с тем не считая себя вправе даже в этом случае самовольно оставить вверенный ему пост.[30] Умонастроения этого грустного, одинокого (Карамзин называл его «любезным меланхоликом») и самоотверженного человека, бескорыстного искателя истины, были далеки от тех, которые

---

[29] *Mathiez A.* La Révolution..., p. 80.

[30] См.: *Лотман Ю. М., Фурсенко В. В.* «Сочувственник» А. Н. Радищева А. М. Кутузов и его письма к И. П. Тургеневу. — Труды по русской и славянской филологии, 6. Тарту, 1963 (Учен. зап. Тартуск. гос. ун-та, вып. 139); *Лотман Ю. М.* Неизвестное письмо А. М. Кутузова И. П. Тургеневу. — Там же, 11. Тарту, 1968 (Учен. зап. Тартуск. гос. ун-та, вып. 209).

приводили русских бар в Париж в поисках «веселостей». Только серьезные дела могли привести Кутузова в Париж. Разгадку природы этих дел следует искать не в революционных событиях, а в масонских исканиях.

На Вильгельмсбаденском конгрессе 1782 г. Россия была признана восьмой полностью автономной провинцией масонского мира. Получение полной независимости было большой победой новиковского кружка. Однако этот же акт закрепил связи московских «мартинистов» с берлинским масонским центром. Не случайно Кутузов, направленный на поиски древних знаний, с помощью которых масоны надеялись осуществить утопию гуманизации земного мира, и одновременно как бы аккредитованный русскими масонами при европейском движении, был послан в Берлин. Имеющиеся в нашем распоряжении данные позволяют предположить, что односторонние связи с берлинским масонством (к тому же подозрительные с точки зрения русского правительства) в 1789 г. начали тяготить москвичей. Кстати, известное отражение такого недовольства можно найти и в «Письмах». В письме от 19 июля Карамзин рассказывает историю Шрепфера, которого он именует «известным обманщиком». Между тем Бишоффсвердер, бывший наряду с Велльнером руководителем берлинского масонства, признавал Шрепфера своим руководителем. Подробный рассказ об этом авантюристе в «Письмах», конечно, не случаен.

Если принять эту гипотезу, то поездка Кутузова может получить некоторые объяснения. Немецкое масонство находилось в 1789 г. в состоянии брожения. Баварские иллюминаты были уже разгромлены, но иезуиты напрасно торжествовали победу над просветителями: иллюминаты рассеялись по немецким городам (центрами их стали Регенсбург, Нюрнберг и Франкфурт-на-Майне) и продолжали борьбу за соединение масонской организации с просветительскими идеалами. Одновременно диктатура берлинских розенкрейцеров вызывала самое широкое недовольство. Борьбу за упрощение ритуала и отказ от алхимических увлечений, а также за демократизацию идеалов масонства возглавила франкфуртская ложа «Единение», связанная с антиберлинским «Эклектическим союзом» лож. В этих условиях появление Кутузова во Франкфурте едва ли было случайным. Что же могло привести его в Париж?

Роль масонов в событиях французской революции была незначительной, а в разгар революции большинство лож вообще прекратило работу.[31] Правда, в целом масоны в начале революции отнеслись к ней сочувственно. Возникла даже масонская легенда, согласно которой революция — это отмщение королям Франции за преступную расправу их с тамплиерами в начале XIV в.[32]

---

[31] Литература по проблеме «французская революция и масонство» огромна, однако весьма низкокачественна и в массе научной ценности не имеет. Критический анализ ее см.: *Soboul Albert.* La franc-maçonnerie et la Révolution française. — La Pensée, 1973, août, № 170. — См. также специальный номер: Annales historiques de la Révolution française, 1969, № 3 (La franc-maçonnerie et la Révolution française).

[32] Показательно и отнюдь не случайно появление в «Письмах» подробного описания казни тамплиеров: «Филипп Прекрасный (но только не душою) и папа

Центром парижского масонства в 1789 г. была ложа «Соединенных друзей», на заседаниях которой в эту пору возникали порой острые дискуссии. Членом ложи был Клод Фоше, в ближайшем будущем организатор «Социального кружка», исключительно интересный социальный мыслитель — утопист, в уме которого масонские идеи трансформировались в программу социального преобразования на основах социалистического типа.[33] Карамзин был, видимо, в дальнейшем знаком с идеями «Социального кружка»: отражение их можно усмотреть в «Разных отрывках (из записок одного молодого россиянина)», произведении, которое было опубликовано в «Московском журнале», но из цензурных соображений не только не включено ни в одно из собраний сочинений, но даже выброшено из второго издания журнала.[34] «Социальный кружок» Фоше и Бонвиля возник в январе 1790 г., и Карамзин, весной и летом этого года находившийся в Париже, более чем вероятно был его посетителем. В дальнейшем осведомленность в деятельности «Социального кружка» проявил Дмитриев-Мамонов, хорошо знакомый с издаваемой им газетой «Железные уста».

«Социальный кружок» развивал социально-утопические идеи, следы которых можно обнаружить в творчестве Карамзина 1790-х гг. Ср. в «Записках одного молодого россиянина»: «Естьли бы я был старшим братом всех братьев сочеловеков моих, и естьли бы они послушались старшего брата своего, то я созвал бы их всех ‹...› сказал бы им: братья!... Тут слезы рекою быстрою полились бы из глаз моих; перервался бы голос мой, но красноречие слез моих размягчило бы сердца и Гуронов и Лапландцев... Братья! повторил бы я с сильнейшим движением души моей: братья! обнимите друг друга с пламенною, чистейшею любовию...».[35] Ср. у Фоше: «Великое братство людей на земле, преодоление вражды, которую сеют дурные законы и испорченные религии». Идеал этот реализуется как соединение мирного социального переустройства на основах равенства имуществ и трудовой собственности и «братских объятий» всех народов мира: «Каждый человек спокойно сту-

---

Климент V, по доносу двух злодеев, осудили всех главных рыцарей на казнь и сожжение». В свете борьбы, которую вели французские масоны в 1788—1789 гг. с иезуитами, вряд ли случайно, что непосредственно перед историей тамплиеров Карамзин поместил в «Письмах» рассказ об организованном иезуитами убийстве Генриха IV. Связь культа тамплиеров с антидеспотическими настроениями присуща и некоторым декабристским документам. Дмитриев-Мамонов в программном документе своего общества «Краткие наставления русскому рыцарю» писал: «Вижду горсть Греков, претящих Персам одолеть ю у Фермопил. Обрати взоры свои на Север и вижду Петра при Полтаве и Новгородцев на месте Вечевом. Вспомни Храмовников, певших Гимны хвалебные на костре, кости их сжигавшем...» (Вестн. ЛГУ, 1949, № 7, с. 138).

[33] *Алексеев-Попов В. С.* «Социальный кружок» и его политические и социальные требования. — В кн.: Из истории социально-политических идей. М., 1955, с. 297—339.

[34] См.: *Виноградов В. В.* Проблема авторства и теория стилей, с. 246—257; см. также с. 693 наст. изд.

[35] Моск. журн., 1792, ч. 6, кн. 1, с. 72.

пит ногой на землю, которая должна его кормить, и от всего сердца обнимет брата, которого он должен любить».[36]

Идею эту Карамзин поэтически развил в 1792 г. в «Песни мира»:

Миллионы, веселитесь,
Миллионы, обнимитесь,
Как объемлет брата брат!
Лобызайтесь все стократ! [37]

Конечно, идеи этого рода были широко распространены в прогрессивной европейской публицистике конца XVIII в. (процитированные выше стихи с основанием сопоставлялись с «Песнью к радости» Шиллера),[38] однако уместно было бы напомнить, что в то же время Карамзин проявлял устойчивый интерес к социально-утопическим идеям и утверждал, что «*утопия* будет всегда мечтою доброго сердца» (см. с. 227 наст. изд.).

«Социальный кружок» создал исключительно интересную программу, но политические идеи его на фоне последующих французских событий выглядели умеренными. Тем более ничего компрометирующего, с точки зрения современного исследователя, не могло бы быть усмотрено в контактах с парижским масонством, мирно либеральным и политически пассивным. Совершенно иначе вопрос этот выглядел в Петербурге и Москве: преследования масонов входили в критическую стадию. Екатерина II — скептик и рационалист в сфере идей, прагматик и циник в политике — всегда была враждебна мистическому гуманизму, иррационализму и утопизму масонов. До определенного момента она расценивала их доктрину как глупость и считала, что насмешка — достаточное в данном случае оружие. Революционные события в Париже насторожили ее, особенно после того, когда в результате неудачного бегства короля в Варенн суд над ним был поставлен в повестку дня. В кругах кобленцской эмиграции все более резко высказывались суждения, возлагавшие вину за происходящее в Париже на деятелей антиклерикального и антидеспотического лагеря предшествующего периода. «Вольтерьянцы» и «мартинисты» смешивались в одну кучу не только московскими бригадирами и барынями, но и кобленцскими эмигрантами, вчерашними собеседниками Кондильяка и Дидро. Иезуиты подняли голову. Полным выражением этих настроений была появившаяся в Гамбурге в 1798 г. брошюра аббата Баррюэля «Памятная записка к истории якобинизма», оформившая миф о международном заговоре масонов как источнике всех революционных движений. Екатерина II была захвачена этими настроениями. К ним присоединились давняя ненависть к Новикову, испуг при известии о сближении Новикова с наследником Павлом Петровичем. Не последнюю роль сыграл и московский главнокомандующий Прозоровский, из

---

[36] Цит. по статье: *Алексеев-Попов В. С.* «Социальный кружок»..., с. 313.

[37] *Карамзин Н. М.* Полн. собр. стихотворений. М.—Л., 1966, с. 106.

[38] Там же, с. 22; см. также: *Neumann F. W.* Karamzins Verhältnis zu Schiller. — Z. für slavische Philologie, 1932, Bd 9; *Rothe H.* N. M. Karamzins europäische Reise: der Beginn des russischen Romans. Bad-Homburg e. a., 1968, S. 82—125.

карьерных соображений мечтавшей раскрыть какой-либо «заговор» и раздувавший опасения старевшей и терявшей политический такт императрицы. В этих условиях любой намек на причастность к масонству делался опасным (напомним, как старательно вычищал в этом отношении Карамзин письма Петрова, готовя их к печати, — с. 499 и сл. наст. изд.), а любое соединение масонских связей с фактом посещения Парижа вело в крепость. Так, например, как ни маскировал доктор М. И. Багрянский свое пребывание в Париже в 1789 г. (видимо, вместе с Кутузовым) утверждениями, что он «прилежал тамо к повивальному искуству теоретическому и практическому», он попал с Новиковым в Шлиссельбургскую крепость (можно предположить, что упоминаемая в литературе «добровольность» этого заключения была не вполне безусловной), в то время как неизмеримо более видные деятели масонства отделались ссылками в свои деревни или даже, как И. В. Лопухин, отставкою с оставлением в Москве. С этими сравнительно мягкими мерами можно сопоставить судьбу Невзорова и Колокольникова — студентов, стипендиатов Новикова и Лопухина, посланных ими учиться за границу: оба они были по возвращении на родину арестованы, подвергнуты допросу в Петропавловской крепости Шешковским, после чего Колокольников вскоре скончался, а Невзоров был объявлен сумасшедшим и помещен в дом умалишенных, где и пробыл до самой смерти Екатерины II.[39] «Вояж» Карам-

---

[39] *Попов А. Н.* Новые документы по делу Новикова. — В кн.: Сборник русского исторического общества, т. 2. СПб., 1868, с. 133. — Некоторый свет на поездку Кутузова в Париж могут пролить следующие соображения: документы обнаруживают тесную связь, которая установилась в 1780-е гг. между «неизвестным философом» Луи-Клодом Сен-Мартеном — одним из высших авторитетов у русских масонов, от имени которого они получили ставшую после столь опасной кличку «мартинистов», — и любопытным кружком русских людей. В сочинении «Мой исторический и философский портрет» Сен-Мартен писал: «Кашелов, князь Репнин, Зиновьев, графиня Разумоский (так! — *авт.*), другая княгиня, о которой мне говорил Д. в одном из своих писем, двое Голицыных, господин Машков, господин Скавронский, посол в Неаполе, господин Воронцов, посол в Лондоне — таковы главные русские, которых я знал лично, исключая князя Репнина, с которым я был знаком лишь по переписке» (*Saint-Martin Louis-Claude de.* Mon portrait historique et philosophique (1789—1803). Paris, 1961, p. 129). В этом списке особенно привлекают внимание следующие лица. В. Н. Зиновьев (1754—1816?) — друг и однокашник по Лейпцигскому университету А. Н. Радищева и А. М. Кутузова, родственник С. Р. и А. Р. Воронцовых, принятый у них на правах ближайшего друга дома; в 1784 г. он был принят в Берлине в масонство кронпринцем герцогом Брауншвейгским Фердинандом, Великим мастером Соединенных лож; в дальнейшем он тесно сошелся с Сен-Мартеном и главой лионской ложи Ж.-Б. Виллермозом, с первым он путешествовал по Италии и общался в конце 1780-х гг. в Париже и Лондоне. Более чем естественно предположить наличие связей между Кутузовым и Зиновьевым во время заграничной миссии первого. Кашелов — Р. А. Кошелев (1749—1827), дом которого за границей был сборным местом для русских масонов, друг Сен-Мартена и Виллермоза, с одной стороны, но и друг матери Марии Феодоровны, герцогини Вюртембергской, и ее самой, интимный друг Александра I (см.: *Николай Михайлович, вел. кн.* Император Александр I. Пг., 1914, с. 449—460 и др. по именному указателю). Машков — первый секретарь русского посольства в Париже, с которым потом встречался Карамзин. Двое Голицыных — Алексей Иванович (1765—1807), писатель и переводчик (в частности, перевел «Эдипа» Вольтера), и, возможно, Дмитрий-Августин Дмитриевич Голицын (1770—

зина очень интересовал следователей по делу Новикова, и только твердые заявления масонов, что он вояжировал «от себя», избавили писателя от преследований, хотя и не сняли с него подозрений. Если «первое», совместное с Кутузовым, посещение Парижа Карамзиным имело место, то у него были все основания тщательно скрывать этот визит.

Что же увидел Карамзин, побывав в Париже в 1790 г.? Только представляя события тех дней с той мерой подробности, которая соответствовала бы осведомленности среднего русского читателя конца XVIII — начала XIX в., мы можем оценить текст «Писем».[40]

1840), принявший восьми лет католичество, друг детства нидерландского короля Вильгельма I, известный миссионерской деятельностью в Пенсильвании, где он основал колонию под именем патера Смита. «Другая княгиня» — вел. кн. Мария Феодоровна, у матери которой в Монбельяре Сен-Мартен, Кошелев и Зиновьев подолгу гостили. Процитированный отрывок намекает на личное знакомство, которое могло произойти во время путешествия «князя и княгини Северных» (т. е. Павла Петровича и Марии Феодоровны) по Европе. Одновременно интересна особая роль в этом кружке гр. С. Р. Воронцова, который был для Сен-Мартена «преданным учеником, обладающим всеми данными для того, чтобы стать в точном смысле *взыскуемым человеком»* («homme de désir» — по терминологии позднего Сен-Мартена, человек утопического будущего мира, — *авт.*) (см.: *Sekrecka Mieczysława.* Louis-Claude de Saint-Martin, le Philosophe inconnu, l'homme et l'oeuvre. Wrocław, 1968, p. 118). Создается картина тесно переплетенных связей, из которых одни прямо идут к Кутузову (заметим, что и к Радищеву: Зиновьев и Воронцов — люди близкого Радищеву мира, а Кутузов находится с ним в деятельной — до сих пор не найденной — переписке), а другие тянутся к наследнику престола Павлу Петровичу и его окружению («монбелярские» связи в России были очень неприятны Екатерины II). При этом следует подчеркнуть, что Сен-Мартен именно в этот период переживает резкую смену взглядов: он отрекается от масонства ради идеи либерально-гуманной утопии, свободной от уз орденской организации, революцию он встречает сочувственно и записывает, что «эта революция была бы сделана Богом, если бы ее не совершили мы». В «Моем портрете» он писал, что смысл этого изречения ему самому сделался ясен лишь три года спустя: он означал, что революцию, сделанную людьми, следует дополнить революцией в сфере духа (Mon portrait..., p. 366). Мысль Сен-Мартена развивалась в том же направлении, что и у теоретиков «Социального кружка». Такое движение мысли, видимо, было характерно и для окружавшего Сен-Мартена русского кружка, и для С. Р. Воронцова, который писал брату, что ждет в России революции и учит своего сына (будущего фельдмаршала М. С. Воронцова, пушкинского «полу-милорда») ремеслу, чтобы тот смог заработать себе хлеб в будущей России. Все сказанное создает совершенно новый контекст поездке Кутузова из Берлина в Париж. Может быть, не лишено значения и то, что встреча Карамзина и Кутузова должна была произойти, видимо, в Страсбуре — месте пребывания Сен-Мартена после его разрыва с масонством, городе, который он называл «моим раем». Он писал: «Во Франции три города, из которых один — мой рай, это Страсбур, другой мой ад, а третий — мое чистилище» (Mon portrait..., p. 151). Чистилище — Париж, в который Сен-Мартен уехал незадолго до поездки Кутузова и Карамзина и куда (за ним?) они (оба?) последовали. Ад — Лион, где Сен-Мартен пребывал долгое время до разрыва с Виллермозом. Лион претендовал на руководящую роль во французском масонстве, придерживаясь «брауншвейгской» ориентации, в то время как Парижский «восток» шел навстречу веяниям, создаваемым началом революции. То, что все углы треугольника сделались опорными точками пребывания Карамзина во Франции, а в Лондоне он поспешил к С. Р. Воронцову (парижского посла Симолина он, видимо, не удостоил своим визитом), представляется достойным внимания.

[40] Русский читатель получал обширную информацию о событиях в Париже в 1789—1792 гг. из газет (СПб. и Моск. ведомости) — многочисленные парижские

Весна—лето 1790 г. были временем относительно мирного развития событий в Париже. Король присягнул конституции и, как могло показаться, собирался добросовестно выполнять обязанности конституционного монарха. В начале 1790 г. Радищев издал брошюру «Письмо к другу, жительствующему в Тобольске», которая заканчивалась известным отрицанием совместимости суверенных прав народа и самого факта существования единодержавной власти: «Нет и docкончания мира, примера может быт‹ь› небудет чтобы Царь уcпустил добровольно что ли из своея власти, седяй на Престоле».[41] К этим словам Радищев перед публикацией добавил примечание: «Если бы сие было писано в 1790 году, то пример Лудвига XVI дал бы сочинителю другие мысли».

Одновременно и Учредительное собрание, казалось, овладело ходом событий, взяв в свои руки народные общества и стихийное возмущение парижан. Имена Лафайета и Мирабо, несмотря на нападки Марата, еще ассоциировались с революцией. Силы, стремившиеся толкнуть события резко вправо или влево, до бегства в Варенн действовали за кулисами. Париж кипел от дебатов в Собрании и клубах, брошюр и листовок, однако казалось, что эти споры перерастут в «нормальные» парламентские прения, а не в эксцессы насильственных действий. Карамзин — не как условный «русский путешественник», а как реальное лицо — оказался погруженным в эту атмосферу. На первом месте здесь, конечно, стояли посещения Учредительного собрания. Даже из осторожного текста «Писем» видно, что он бывал там не раз. Какие впечатления он вынес?

«Московский журнал» прекратился прежде, чем Карамзин дошел до парижских сцен. Впервые «парижские главы» были пересказаны в авторецензии, опубликованной в гамбургском (на французском языке) журнале «Spectateur du Nord». Здесь читаем: «Наш путешественник присутствует на шумных спорах в Национальном Собрании, восхищается талантами Мирабо, отдает должное красноречию его противника аббата Мори, глядя на них, как на Ахиллеса и Гектора» (с. 453 наст. изд.).

В тексте русского издания, появившегося, наконец, в 1801 г., эпизод изложен так, чтобы предельно снизить его значение: «...в другой раз высидел ‹я› в ложе 5 или 6 часов, и видел одно из самых бурных заседаний. Депутаты Духовенства предлагали, чтобы Католическую Религию признать единственною или главною во Франции. Мирабо оспоривал, говорил с жаром, и сказал: „я вижу отсюда то окно, из которого сын Катерины Медицис стрелял в Протестантов!“ Аббат Мори вскочил с места,

---

издания, в том числе и крайне революционные, свободно продавались в Петербурге и Москве (см.: *Штранге М. М.* Русское общество и французская революция 1789—1794. М., 1956; *Алифиренко П. К.* Правительство Екатерины II и французская буржуазная революция. — Ист. зап., 1947, № 22; *Брикнер А. Г.* «С.-Петербургские ведомости» во время французской революции. — Древняя и новая Россия, 1876, кн. 1, кн. 2; *Каганова А.* Французская буржуазная революция конца XVIII в. и современная ей русская пресса. — Вопросы истории, 1947, № 7; *Кирпичников А.* «Московские ведомости» в 1789 г. и начало французской революции. — Ист. вестн., 1882, № 9; *Пумпянский С.* Великая французская революция в освещении екатерининских газет. — Звезда, 1930, № 9/10).

[41] *Радищев А. Н.* Полн. собр. соч., т. 1. М.—Л., 1938, с. 151.

и закричал: „вздор! ты отсюда не видишь его“. Члены и зрители захохотали во все горло. Такия непристойности бывают весьма часто. Вообще в заседаниях нет ни малой торжественности, никакого величия; но многие Риторы говорят красноречиво. Мирабо и Мори вечно единоборствуют, как Ахиллес и Гектор» (с. 318—319 наст. изд.).

Из этих цитат следует сделать вывод, что Карамзин был на знаменательном заседании 13 апреля 1790 г., во время которого обсуждались претензии католического клира на прерогативы государственной церкви Франции. Именно на этом заседании Мирабо произнес одну из своих самых блистательных речей. В заключительной главе «Путешествия из Петербурга в Москву», написанной не позже осени 1789 г., Радищев писал: «Человек, рожденный с нежными чувствами, одаренный сильным воображением, побуждаемый любочестием, изторгается из среды народныя. Восходит на лобное место. Все взоры на него стремятся, все ожидают с нетерпением его произречения. Его же ожидает плескание рук или посмеяние горшее самыя смерти. Как можно быть ему посредственным? Таков был Демосфен, таков был Цицерон; таков был Пит; таковы ныне Бурк, Фокс, Мирабо и другие».[42] Отрывок этот вызвал особенное раздражение Екатерины II, которая заметила на полях книги: «Тут вмещена хвала Мирабоа, который не единой, но многие виселицы достоин».[43] Естественно, что хвалить Мирабо в русской подцензурной печати ни при Екатерине, ни при Павле было невозможно. Очевидно, осторожные слова о том, что «многие риторы говорят красноречиво», относятся в первую очередь, поскольку речь идет о Национальном собрании 1790 г., к Мирабо. В речи 13 апреля 1790 г. Мирабо обрушился на средневековый фанатизм и церковную исключительность, в защиту свободы совести. Зная отношение Карамзина к этим вопросам, нельзя сомневаться в его сочувствии оратору. Речь эта запомнилась Карамзину настолько, что через несколько лет, скорее всего по памяти, он смог ее довольно близко пересказать. Отвергая ссылку на отмену Нантского эдикта Людовиком XIV как на юридическую и историческую основу прав католической церкви, Мирабо сказал: «Я считаю, что воспоминания о том, что творили тираны, не может служить образцом для представителей народа, желающего быть свободным. Но поскольку в данной связи прибегли к ссылкам на историю, я тоже позволю себе одну: вспомните, господа, что отсюда, с этой самой трибуны, на которой я сейчас говорю, я вижу то окно дворца (глаза и жест руки указывают направо), из которого заговорщики, подменяя сво-

---

[42] Там же, с. 387.

[43] *Радищев А. Н.* Путешествие из Петербурга в Москву. М.—Л., 1935, с. 509. — Екатерина питала к Мирабо личную ненависть, связанную с публикацией последним скандальной «Секретной истории берлинского двора», в которой, как с ужасом доносил Безбородко русский посол в Париже Симолин, австрийский император «назван коронованным палачом и унижен ужасным образом. Прусский король выставлен самым большим дураком <...> Его перо, полное желчи и всякой мерзости, не пощадило даже лица, занимающего самое высокое положение» (Литературное наследство, т. 29/30. М., 1937, с. 389). «Лицо» это, т. е. Екатерина II, отплатило Мирабо взаимной ненавистью. Понятно, какой характер приобретало всякое упоминание его имени в русской печати.

ими корыстными интересами самые священные интересы религии, вложили в руки слабого короля роковой мушкет, давший сигнал варфоломеевской резне».[44]

Выступление Мирабо имело отношение не только к свободе совести: в Париже говорили о том, что придворная камарилья готовит новую Варфоломеевскую ночь патриотам. Эмигрировавшие принцы открыто расточали такие неосторожные угрозы. Еще 12 июля 1789 г. в своей знаменитой речи в Пале-Рояле К. Демулен крикнул собравшейся толпе: «Может быть, уже в эту ночь они замышляют или даже уже организуют Варфоломеевскую ночь для патриотов!».[45] В этих условиях образы придворно-клерикального заговора, слабого короля, уступающего давлению заговорщиков, резни, учиненной фанатиками, вызывали не только религиозные, но и политические ассоциации. Карамзин сидел в зале и дышал его наэлектризованным воздухом. Вряд ли он был настроен иронически.

Слова о том, что Мирабо и Мори «вечно единоборствуют, как Ахиллес и Гектор»,* заставляют нас попытаться определить, какие еще заседания Ассамблеи Карамзин посетил и при каких «единоборствах» он присутствовал. Таким могло быть заседание 19 апреля, обсуждавшее вопрос о границах власти Национальной Ассамблеи. Мори, аббат, основной оратор клерикалов и роялистов, задал вопрос, по какому праву депутаты, собранные с целью решать вопросы налогового обложения, присвоили себе полномочия представителей нации и образовали Национальный Конвент. Мирабо бросился к трибуне: «Я отвечаю: с того самого дня, как мы нашли зал, в котором должны были собираться, запертым, ощетинившимся и оскверненным штыками, мы устремились к первому попавшемуся месту, в котором могли соединиться, и поклялись скорее погибнуть, чем терпеть подобный порядок вещей. С этого дня мы сделались Национальным Конвентом, даже если не были им прежде».[46] Речь Мирабо, утверждавшая революцию как исторический и юридический факт, была произнесена с огромной силой. Карамзина она могла привлечь еще и потому, что в ней Мирабо затронул интересовавший русского путешественника вопрос неизбежности языковых перемен в условиях исторических катаклизмов: «Стоит ли останавливаться на странном упреке в том, что мы пользуемся новым словом, чтобы выразить новые чувства и новые принципы, новые идеи и новые установления. Пусть поищут в пустом словаре публицистов определение такого слова, как Национальный Конвент!».[47] 5 мая произошла острая дискуссия между Мирабо и Мори по вопросу о том, кому принадлежит право назначать судей: королю или народу. Спор шел о природе и границах суверенитета. Вероятно, при-

---

[44] Chef-d'oeuvres oratoires de Mirabeau ou choix des plus éloquens discours de cet orateur célèbre, t. 1. Paris, 1822, p. 369—370.

[45] Oeuvres de Camille Desmoulins, t. 2. Paris, 1890, p. 91—92.

* Разрядка в цитатах принадлежит авторам настоящей статьи; курсив же используется для выделений в тексте, принадлежавших автору цитаты.

[46] Chef-d'oeuvres oratoires de Mirabeau..., p. 372.

[47] Ibid., p. 374.

сутствовал Карамзин и на заседании 20 мая, во время которого разгорелась острая дискуссия между Мирабо и Мори. И снова нет сомнений, что симпатии его были на стороне Мирабо. В 1790 г. из-за конфликта в Калифорнии вспыхнула война между Испанией и Англией. Франция была связана с Испанией «семейным договором». Возник вопрос о вступлении Франции в войну, вызвавший в Национальном Собрании дебаты о праве короля объявлять состояние войны. Мирабо произнес громовую речь против агрессивных войн, которые ведутся в защиту семейных интересов тиранов, провозглашая миролюбие свободных народов. Переход власти в руки народа, по его словам, навсегда уничтожит войны между нациями и положит основание вечному миру. Под возмущенные крики правой стороны зала Мирабо заявил, что король, выступающий как инициатор агрессии, должен быть судим как преступник, виновный в оскорблении нации (измененный термин «оскорбление величества»). Достаточно знать, сколь устойчивы были пацифистские настроения Карамзина, чтобы представить себе его реакцию на эту речь. Не случайно вскоре после этого он провозгласил в Лондоне тост за вечный мир (в свете устойчивой политики Екатерины II — постоянно расширять границы с помощью победоносных агрессивных войн — такой тост имел отчетливо оппозиционный характер). Выступление Мори, отвечавшего Мирабо ссылками на «исторические права» короля, вряд ли показалось Карамзину столь же убедительным.

Однако споры Мирабо и Мори, происходившие на глазах Карамзина, дали ему еще один урок. Он видел перед собой маркиза Мирабо, аристократа, отпрыска старинного семейства, мота и расточителя, ведущего роскошный образ жизни и с трибуны Конституанты проповедующего идеи демократии и играющего роль народного трибуна. Одновременно он имел возможность наблюдать его противника аббата Мори. Выходец из бедной семьи сапожника-гугенота, лично испытавший тяготы фанатизма и препятствия, которые ставил старый режим на пути одаренного человека из народа, Мори, одаренный способностями богослова и общественного деятеля и талантом оратора, был снедаем неуемным честолюбием. Ему приписывают фразу: «Тут я погибну или добуду себе кардинальскую шляпу». Зрелище аристократа, выступающего от имени народа, и выходца из низов, защищающего папство и корону, толкало Карамзина к тому, чтобы за пафосом политических деклараций различать борьбу честолюбий, жажду власти и успеха. Позже Карамзин писал: «Аристократы, демократы, либералисты, сервилисты! Кто из вас может похвалиться искренностию? Вы все авгуры, и боитесь заглянуть в глаза друг другу, чтобы не умереть со смеху. Аристократы, сервилисты хотят старого порядка: ибо он для них выгоден. Демократы, либералисты хотят нового беспорядка: ибо надеются им воспользоваться для своих личных выгод».[48]

[48] Неизданные сочинения и переписка Николая Михайловича Карамзина, ч. 1. СПб., 1862, с. 194.

Оценивая отношение Карамзина к французской революции, обычно упускают из виду одно обстоятельство: в отличие от большинства своих русских современников Карамзин знал деятелей революции не только по газетам и брошюрам — он знал их в лицо, мог представить себе жесты, мимику, интонации речи. Такое знание глубоко влияет на строй мыслей, толкая от абстракций к личному отношению к событиям. Возможно, здесь следует искать разгадку некоторых труднообъяснимых симпатий Карамзина. Мы имеем в виду прежде всего его отношение к Робеспьеру.

Пушкин писал о Радищеве: «Увлеченный однажды львиным ревом колоссального Мирабо, он уже не хотел сделаться поклонником Робеспьера, этого сентиментального тигра».[49] Применительно к Карамзину было бы справедливо прямо противоположное высказывание.

Многое в речах Мирабо, конечно, вызывало сочувственный отзвук в душе Карамзина, однако личность его не могла быть симпатичной автору «Писем русского путешественника», а Карамзин приходил к убеждению, что человеческий облик людей реальнее, чем те слова, которые они говорят.

Карамзин видел в Париже, — наблюдая лицо, внешность, приемы общественного поведения, — короля, королеву, Мирабо, Мори; можно быть уверенным, что он видел Лафайета, Бальи, Барнава, Робеспьера, наблюдая их во время уличных церемоний и на заседаниях Национальной Ассамблеи. Он был знаком с Кондорсе, Рабо де Сен-Этьеном, Роммом, Лавуазье; видимо, бывал в салоне г-жи Неккер, где должен был видеть, помимо самого Неккера, Сийеса, Талейрана, Жермену Неккер (будущую м-м де Сталь). Он, видимо, был знаком с Шамфором. Можно предположить его знакомство с Фоше и Бонвилем. Наконец, можно предположить по тому личному чувству, которое у него вызывало это имя, знакомство Карамзина с Робеспьером. Вообще, если «русский путешественник» посетил Париж 1790 г., не познакомившись ни с одним из ведущих деятелей политической жизни, то про его автора этого, видимо, сказать нельзя. Мы знаем, сколь решителен был Карамзин во время путешествия в завязывании новых знакомств с выдающимися людьми. Вкус к этому, вероятно, в отличие от его литературного двойника, не покинул его и в Париже.[50]

Авторитетное свидетельство декабриста Николая Тургенева показывает, сколь сложным было отношение Карамзина к ведущим деятелям революции: «Робеспьер внушал ему благоговение. Друзья Карамзина[51] рассказывали, что, получив известие о смерти грозного трибуна, он пролил слезы; под старость он продолжал говорить о нем с почтением, удивляясь его бескорыстию, серьезности и твердости его характера и даже его скромному домашнему обиходу, составлявшему, по словам Карамзина, контраст с укладом жизни людей той эпохи».[52]

---

49 *Пушкин.* Полн. собр. соч., т. 12. [М.], 1949, с. 34.

50 Реконструкции данных о парижских связях Карамзина см. в примечаниях.

51 Видимо, Н. Тургенев имеет в виду И. И. Дмитриева.

52 *Тургенев Николай.* Россия и русские. М., 1915, с. 342.

Комментируя это свидетельство, прежде всего следует подчеркнуть, что Карамзин знал Робеспьера не по книгам: если неясно, был ли он с ним знаком (слезы при известии о гибели, кажется, намекают на личное знакомство), то, по крайней мере, он безусловно его видел и слышал. В 1789 г. Робеспьер выступал в Учредительном собрании 69 раз, в 1790 — 125.[53] Выступления его падают и на те дни, когда присутствие Карамзина в зале весьма вероятно. Так, например, 3 мая 1790 г., когда конституционный комитет представил план организации муниципалитета Парижа, произошла полемика не только между Мирабо и Мори, но и между Мирабо и Робеспьером. Значительно чаще и решительнее Робеспьер выступал в «Обществе друзей конституции» (Якобинском клубе), председателем которого он был избран. Ходил ли Карамзин туда слушать его выступления, мы не знаем (напомним, что до раскола и последовавшего за ним ухода фельянов летом 1791 г. Якобинский клуб не выделялся демократизмом и в факте его посещения не было ничего экстраординарного на фоне парижских событий тех дней). По крайней мере, ему были известны и скромные условия жизни Робеспьера в семье столяра Дюпле, и личные свойства его характера. «Уклад жизни людей той эпохи» — это, конечно, намек на образ жизни таких лидеров революции, как Мирабо или Дантон. С Робеспьером Карамзина мог познакомить Ромм.

Карамзин позже, в 1820 г., сочувственно отнесясь к революции в Испании, сформулировал свои опасения так: «Боюся крови и фраз». Для него «фразы» — ораторская риторика — были равносильны лжи и насилию, а сама ораторская сдержанность Робеспьера — тихий голос, скованность жестов, близорукость — была скорее привлекательна, чем отталкивающа. При этом следует подчеркнуть, что речь, конечно, шла не о сочувствии идеям якобинского лидера (Карамзин все более склонялся к скептическому отношению к любым программам), а о личном уважении, основанном на убеждении в том, что в водовороте революционных событий Робеспьер не искал ничего лично для себя. Не следует видеть в Карамзине 1790 г. того охладевшего скептика, отравленного горечью многих разочарований, которым он сделался в дальнейшем. Душевное состояние его в 1790 г. отличалось острейшими противоречиями, но в общем скорее было энтузиастическим, и парижские впечатления давали для его переживаний обильную пищу.

Для того чтобы продемонстрировать расхождение между «Dichtung» и «Wahrheit» в «Письмах», приведем еще один пример. В записи, помеченной «Лион... 1790» и относящейся к первой половине марта, Карамзин сообщает о своем решении не ехать на юг Франции, в Лангедок и Прованс, путешествие в которые, очевидно, было предусмотрено его московским планом. Отказ свой он мотивирует нежеланием расставаться с путевым приятелем, датчанином Беккером. «— *Нет,* — сказал я, встав со стула и обняв с чувствительностию Беккера — *мы едем вместе*! Гробница нежной Лауры, прославленной Петраркой! Воклюзская пустыня,

[53] См.: *Робеспьер Максимилиан.* Избранные произведения, т. 1. М., 1965, с. 22.

жилище страстных любовников! шумный, пенистый ключь, утолявший их жажду! я вас не увижу!...» (с. 210—211 наст. изд.).

Можно, однако, предположить, что причины изменения маршрута были более прозаическими. Юг Франции был охвачен волнениями. В марте 1790 г. роялисты и клерикалы попытались спровоцировать здесь восстания. Во время поста и пасхальных месс священники произносили проповеди, связывавшие революцию с ересью гугенотов. В Монтобане атмосфера накалилась уже в середине марта, что вылилось несколько позже в кровавую резню между католиками и протестантами. Для установления порядка пришлось вызывать национальных гвардейцев из Тулузы и Бордо. Кровавые столкновения произошли в Ниме и Авиньоне. Беспорядки, вызванные религиозным фанатизмом, на фоне продолжающихся крестьянских волнений, грабежей на дорогах заставили Карамзина изменить планы путешествия. Не случайно тема религиозного фанатизма доминирует в лионских «письмах» и сопровождает Карамзина в его дорожных размышлениях по пути в Париж.

Карамзин покинул Францию, однако события в этой стране оставались в центре его внимания, и это нельзя не учитывать, поскольку текст «Писем» окончательно сложился в эпоху завершения революции.

Вернувшийся из-за границы Карамзин поразил своих друзей переменами, произошедшими в его характере за столь короткий срок. А. И. Плещеева писала Кутузову: «Я всякий день его вижу, но вижу не того, который поехал от меня. Сердце его сто раз было нежнее и чувствительнее». «Перемена его состоит еще в том, что он более стал надежен на себя».[54] Кутузов отвечал: «Видно, что путешествие его произвело в нем великую перемену в рассуждении прежних друзей его. Может быть, и в нем произошла французская революция».[55] Проницательный А. М. Кутузов, как кажется, нашел исключительно точный образ.

Для того чтобы судить о динамике отношения Карамзина к событиям во Франции после его возвращения в Москву, мы располагаем скудными данными. Можно предположить, что отношение это было весьма далеким от официального. Екатерина II первоначально смотрела на парижские события не без доли злорадства: версальский двор был ей несимпатичен, а устранение Франции с дипломатической арены и вовлеченность в конфликт Австрии открывали перед Россией новые и заманчивые возможности. Императрица старалась убедить и себя и других, что «развратный французский пример» ее империи не угрожает. Однако дальнейший ход событий резко уменьшил ее оптимизм. Осенью 1791 г. враждебность Екатерины II к Франции резко усилилась, а в феврале 1792 г. русский посол в Париже Симолин был отозван (пока еще без формального разрыва отношений).[56] Но еще 4 июня 1790 г. — в тот самый день, когда Карамзин письмом из Лондона Дмитриеву засвидетельствовал факт своего отъ-

---

[54] *Барсков*, с. 29.

[55] Там же, с. 99.

[56] См.: *Лукин Н. М.* Избранные труды, т. 1. М., 1960, с. 431—475; ср.: Литературное наследство, т. 29—30, с. 343—382.

езда из Франции, — в Петербурге была подписана депеша, требовавшая чтобы Симолин добивался выезда всех русских из Парижа. Очевидно, что Карамзин, над которым к тому же нависали подозрения в близости к новиковскому кружку, принужден был к сугубой осторожности. Тем не менее разбросанные в «Московском журнале» намеки не оставляют сомнений в его истинной позиции. Более того, из России, на удаленном от центра событий расстоянии, Карамзину в 1791—1792 гг., видимо, яснее виделись именно положительные стороны французских событий. По крайней мере в «Московском журнале» он не только воздержался от какой-либо критики революции, но и допустил ряд сочувственных высказываний по ее поводу.

Прежде всего следует отметить раздел театральных рецензий журнала Карамзина. Сообщая читателям обзор новых постановок парижского театра, издатель «Московского журнала» Карамзин явно подбирал их с определенной тенденцией. Бросаются в глаза антиклерикальные пьесы: «Жестокости монастыря» («Les rigueurs du cloître») Ретиф де ла Бретона и «Монастырские жертвы» («Les victimes cloîtrées») Монвеля. Карамзин не скрывал своего отрицательного отношения к средневековой церковности и клерикальному фанатизму. Так, публикуя переводную статью «Жизнь и дела Иосифа Бальзамо, т. н. графа Калиостро» (публикация имела тактический характер: правительство демонстративно сваливало в одну кучу таинственных авантюристов вроде Калиостро, московских розенкрейцеров, иллюминатов и проч.; разоблачая шарлатана-алхимика, Карамзин как бы шел в русле правительственной пропаганды, а на самом деле скрыто с ней полемизировал), издатель «Московского журнала» сохранил авторское вступление: «Невежество Древних было гораздо безвреднее, нежели многоведение Новых. Человеколюбие, экономия, общественная свобода, равенство людей, общее благосостояние, Религия, чистая мораль, — суть обольщающия имена, которыми украшают всякое преступление». К этим словам Карамзин дал выразительное примечание: «Да, г. патер (или как тебя зовут иначе)!, тебе очень досадно, что люди стали умнее и что вы не можете ныне делать того, что прежде делали».[57] Тогда же в журнале появился отрывок «Писем» с описанием постановки «Карла IX» М.-Ж. Шенье. Полемика с церковным фанатизмом получала на страницах «Московского журнала» двойной смысл: будучи актуальной в контексте французских событий, она одновременно ассоциировалась с кампанией преследований новиковского кружка.

Другую группу рецензируемых Карамзиным пьес составляют имеющие непосредственно политическое звучание. Такова посвященная характерному для революционного театра культу Руссо пьеса «Ж.-Ж. Руссо в его последние мгновенья» («J.-J. Rousseau à ses derniers moments») и в особенности комедия Фабра д'Эглантина «Излеченный от дворянства» («Convalesent de qualité»). Смысл ее — в осмеянии старого аристократа, который провел последние годы в провинции и не знает о совер-

[57] Моск. журн., 1791, ч. 4, кн. 2, с. 206. — Рецензия на «Жестокости монастыря» — там же, ч. 2, кн. 1, с. 70; на «Монастырские жертвы» — там же, ч. 4, кн. 3, с. 342.

шившейся в Париже революции. Приехав в Париж, верный сословным предрассудкам, он отказывает в руке дочери сватающемуся за нее добродетельному мещанину. «Знатной господин хочет приказать слугам своим выбросить мещанина в окошко; пишет письмо к *lieutenant de police* и требует у него *lettre de cachet,* чтобы и отца и сына посадить в *Бастилию*».[58] Игра ведется на намеках на уже отмененные привилегии аристократов и уничтоженные революцией институты старого режима. Рецензия Карамзина построена по модели анекдота, который на заседании Учредительного собрания 3 мая 1790 г. Мирабо применил к Мори, рассказав об аристократе, восклицавшем в охваченном революцией Париже: «Верните мне мою Бастилию, верните мне моего Ленуара!» («Je veux ma Bastille, je veux mon Lenoir!»).[59]

Но и в значительно более обострившейся обстановке 1792 г. Карамзин не изменил своих симпатий. Об этом свидетельствуют разбросанные в «Московском журнале» намеки. В первой книжке журнала за 1792 г. под рубрикой «О иностранных книгах» было помещено следующее: «„1. Les Ruines, ou Méditation sur les Révolutions des Empires“. Par Mr. Volney. A Paris, 1791 — То есть „Развалины, или размышления о революциях Империи“, соч. Г. Вольнея. 2. „De J.-J. Rousseau etc.“ par M. Mércier. A Paris, juin 1791. То есть „О Жан-Жаке Руссо и проч.“, соч. Г. Мерсье. Сии две книги можно назвать важнейшими произведениями французской литтературы в прошедшем году».[60] Прежде всего обращает на себя внимание краткость рецензии, в ней отсутствует обычный пересказ содержания. Однако иначе не могло и быть: обе книги — яркие образцы философской публицистики первого этапа революции и ни о каком пересказе содержания их в русской прессе не могло быть и речи. Даже полное название второй из них привести было невозможно — под скромным «и проч.» скрывалось: «рассмотренный в качестве одного из первых писателей Революции». Книга Вольнея принадлежит к вершинам поздней просветительской публицистики. Книга Мерсье — более заурядное явление. Но и в ней можно было найти пассажи вроде: «Руссо можно было бы упрекнуть еще в том, что он *нигде не говорил о восстании,* о том законном средстве угнетенного народа, средстве, признанном самим Создателем, который дал силу человеку, как когти животному, чтобы отражать своих врагов. Восстание народа! Это удар хвоста кита, который топит челнок охотников. Только восстание спасло Париж в последнее время от резни, а Францию от разрушения. Это первое, самое прекрасное и самое неоспо-

---

[58] Моск. журн., 1791, ч. 3, кн. 3, с. 331—332. — Курсив подчеркивал ироническое отношение автора рецензии. Lieutenant de police — начальник полиции Парижа. Должность эта, которую до революции занимал Ленуар, была уже уничтожена; lettre de cachet — «запечатанные письма» — одно из наиболее вопиющих злоупотреблений «старого режима»: королевские приказы о репрессиях с пропуском фамилии того, кого следовало подвергнуть наказанию. Такие письма выдавались в качестве награды, давая возможность придворной камарилье расправляться с личными врагами как с государственными преступниками.

[59] Chef-d'oeuvres oratoires de Mirabeau..., p. 376.

[60] Моск. журн., 1792, ч. 5, кн. 1, с. 150—151.

римое право оскорбленного народа».[61] Мерсье, книга которого вышла в июне 1791 г., видимо, имел в виду поход парижских женщин на Версаль 5—6 октября 1789 г., когда говорил о восстании, спасшем Париж от новой Варфоломеевской ночи. В книге, которую Карамзин рекомендовал своим читателям как «важнейшее произведение французской литературы», можно было прочесть: «Это только начало ниспровержения деспотических тронов на развалинах всех бастилий — в Шпандау и в Сибири».[62]

Усилия по организации интервенции во Францию не вызывали сочувствия у издателя «Московского журнала». Помещая рецензию на книгу Бартелеми «Путешествие младого Анахарсиса по Греции в середине четвертого века перед рожеством Христовым», Карамзин процитировал место из рецензируемой книги — «Пример нации, предпочитающей смерть рабству, достоин всего внимания, и умолчать о нем не возможно», снабдив цитату краткой ремаркой: «Г. Бартелеми прав».[63] В подлиннике речь шла о греко-персидской войне, но в сознании читателей «Московского журнала» текст легко мог получить другое истолкование. Напомним, что Карамзин сам сравнивал себя с юным скифом Анахарсисом, а Грецию в романе Бартелеми — с Францией.

Внимательное прочтение сочинений Карамзина обнаруживает и многие другие намеки, темные для нас, но вполне понятные современникам. Ограничимся одним примером. В 1793 г. Карамзин написал стихотворение «Песнь Божеству» (опубликовано в 1794 г. в ч. 2 «Моих безделок»), снабдив его примечанием: «Сочиненная на тот случай, как безумец Дюмон сказал во французском Конвенте: „Нет бога!“». На первый взгляд Карамзин во вполне благонамеренном и даже ортодоксальном духе перефразировал известное изречение Иоанна Дамаскина в переводе Иоанна, экзарха Болгарского: «Рече безумец в сердце своем несть Бога». Однако для современников, которым было известно, кто такой Дюмон и по какому поводу он сказал процитированные Карамзиным слова, дело рисовалось в несколько ином свете. Андре Дюмон — видный деятель революции, в 1793 г. эбертист и «бешеный», заклятый враг Робеспьера, в дальнейшем термидорианец и контрреволюционер. Дюмон был активным деятелем «движения дехристианизации» и яростным противником религиозной реформы Робеспьера. Карамзин, видимо, сочувствовал попытке последнего ввести революцию под своды религиозно-этических доктрин деистического характера. Стихотворение Карамзина весьма далеко от ортодоксального православия и развивает положения «Исповедания веры савойского викария» Руссо. Бог здесь назван «Господь Природы» и характеризуется с помощью типично деистической лексики (характерно использование имени «Феб» для обозначения солнца, решительно невозможное в ряду православных понятий и терминов). Если в тосте за вечный мир и свободную торговлю, который Карамзин провозгласил в Лондоне, зву-

---

[61] *Mércier.* De J.-J. Rousseau, t. 1. Paris, 1791, p. 61.
[62] Ibid., p. 108.
[63] Моск. журн., 1791, ч. 3, кн. 1, с. 103.

чала полемика и с агрессивными речами в Конвенте, и с политикой ограничения свободы предпринимательства, то в полемике с Дюмоном слышен был голос не только внимательного наблюдателя парижских событий, но и человека, стремящегося не отвергать их огульно, а выбирать из них все, что он мог принять.

Каковы же были общие воззрения Карамзина в этот период? Без ответа на этот вопрос нельзя понять и специфики его отношения к французской революции.

Традиции масонского утопизма, книги Руссо и Мабли, которыми Карамзин зачитывался в революционном Париже, настраивали его на утопический лад. Утопия рисовалась Карамзину в том облике, который придавали идеальному обществу Платон и Томас Мор. Оба эти писателя составляли любимое чтение Карамзина, и к их идеям он многократно возвращался, выделяя такие черты, как всеобщее равенство, царство суровой добродетели, строгая государственная регламентация жизни. Политика отождествлялась с эгоизмом и честолюбием, и ей противопоставлялась личная добродетель. Уже в первой части «Московского журнала» Карамзин дал подробную рецензию на русский перевод «Утопии» Т. Мора: «Сия книга содержит описание идеальной республики, подобной республике платоновой».[64] Попытки государственной регламентации экономики в ходе революции с этой точки зрения могли истолковываться как шаги в сторону платоновской власти государства. Карамзин не верил в реализуемость этих идеалов, но не мог отказать им в уважении. Он колебался между эстетическим преклонением перед идеей всеобщего равенства и скептической усмешкой в адрес тех своих современников, которые «сравнивали Мабли с Жан-Жаком и сочиняли планы для новой Утопии» (с. 224 наст. изд.).

Для того чтобы понять отношение Карамзина к Робеспьеру, которого он оценивал не как политического деятеля, а как благородного мечтателя, нужно иметь в виду, что отрицательное отношение писателя к насилию, исходящему от толпы, улицы, шире — народа, не распространялось на насилие вообще. В 1798 г., набрасывая план работы о Петре I, Карамзин писал: «Оправдание некоторых жестокостей. Всегдашнее мягкосердечие несовместно с великостию духа. Les grands hommes ne voyent que le tout. Но иногде и чувствительность торжествовала».[65] Соединение «некоторых жестокостей» с «чувствительностью» скорее характеризовало психологический облик Робеспьера, чем Петра I.

По мере того как росло скептическое сомнение во всех разновидностях утопизма, все большую ценность приобретало в глазах Карамзина развитие индивидуальной свободы.

В сознании Карамзина в годы революции боролись две концепции. Одна заставляла прославлять успехи промышленности, свободу торговли, видеть в игре экономических интересов залог свободы и цивилизации.

---

[64] Там же, ч. 1, кн. 3, с. 359.

[65] Неизданные соч. и переписка..., с. 202. *Перевод франц. текста:* Великие люди видят только всеобщее.

Другая — третировать экономическую свободу как анархию эгоизма и противопоставлять ей суровую нравственность и общую пользу. Обе исключали политику в узком смысле слова. Соответственно Карамзин колеблется между двумя концепциями истории, иногда пытаясь их эклектически примирить: одна, исторически связанная с Руссо, Мабли, Вольнеем, рассматривала социальное и этическое совершенство как исходную точку исторического развития. С этой позиции, человечеству предстояло вернуться к истоку или погибнуть. Другая, восходящая к Вольтеру, Гердеру и Кондорсе, исходила из идеи непрерывности исторического прогресса и поступательного развития человеческого разума и общества. С этой точки зрения, совершенное состояние человечества переносится в отдаленное будущее, а историческое движение приобретает смысл как постепенное приближение к нему.

Все более склоняясь к тому, что первобытное равенство — прекрасная, но несбыточная мечта, Карамзин переносил свои надежды в будущее, возлагая упования на прогрессивное движение человечества от тьмы и невежества к свету и Разуму. Наблюдая парижские события, он стремился отделить великий прогресс идей от случайных, как ему казалось, хотя и неизбежных эксцессов. Тем более тяжелый кризис ему пришлось пережить в период между маем и сентябрем 1793 г. Превращение революции в гражданскую войну, выступления санкюлотов, террор заставили Карамзина отказаться от веры в прогресс. Переживаемые им тяжелые настроения усугублялись все более открыто реакционным курсом русской внутренней политики. Сам он не мог чувствовать себя в безопасности. Настроения второй половины 1793 г. отразились во второй книжке «Аглаи» (вышла в 1794 г.).

Первая часть альманаха, содержащая произведения, написанные до весны—начала лета 1793 г., отличается умеренным оптимизмом: Карамзин полемизирует с Руссо[66] и выражает твердую уверенность в том, что с успехами цивилизации «настанет златый век Поэтов, век благонравия — и там, где возвышаются теперь кровавые эшафоты, там сядет добродетель на светлом троне».[67]

Второй том отмечен печатью мрачного трагизма. В очерке «Мелодор к Филалету», открыто автобиографическом, Карамзин писал: «Помнишь, друг мой, как мы некогда рассуждали о нравственном мире, ловили в Истории все благородные черты души человеческой, питали в груди своей эфирное пламя любви, которого веяние возносило нас к небесам, и, проливая сладкие слезы, восклицали: „Человек велик духом своим! Божество обитает в его сердце!"». И далее: «Кто более нашего славил преимущества осьмогонадесять века: свет философии, смягчение нравов, тонкость разума и чувства, размножение жизненных удовольствий, всеместное распространение духа общественности, теснейшую и дружелюбнейшую связь народов, кротость Правлений и проч. и проч.? ‹...› Осьмойнадесять век

---

[66] О сущности этой полемики см.: *Лотман Ю. М.* Руссо и русская культура XVIII в. — В кн.: Эпоха Просвещения. Л., 1967, с. 272—274.

[67] Аглая, кн. 1, 1794, с. 75.

кончается: что же видишь ты на сцене мира? — Осьмойнадесять век кончается, и нещастный филантроп меряет двумя шагами могилу свою, чтобы лечь в ней с обманутым, растерзанным сердцем своим, и закрыть глаза навеки!».[68]

А. И. Герцен, переживший в свою очередь трагическое разочарование в революции 1848 г., назвал эти слова: «Выстраданные строки, огненные и полные слез».[69]

Эволюция отношения Карамзина к европейским событиям на этом не завершилась. Вера в прогресс вернулась к нему вместе с убеждением в том, что провидение таинственными путями ведет человечество к совершенству. Уже в 1797 г. он, резко контрастируя со всем, что в ту пору писалось в России, утверждал, что «французский народ прошел через все степени цивилизации, чтобы оказаться на той вершине, на которой он находится в настоящее время» (с. 453 наст. изд.), и далее: «Французская революция — одно из тех событий, которые определяют судьбы людей на много последующих веков» (с. 454 наст. изд.).

Неверие в «утопии идеологов» заставило Карамзина в дальнейшем предпочитать трезвый и цинический практицизм политики бонапартизма. Однако недоверие к политическим доктринам сочеталось у него с убеждением, что вне государственной компетенции, захватывающей лишь внешнюю сторону жизни, лежит область подлинного духовного прогресса. Великие исторические события — а французскую революцию он относил именно к великим историческим событиям — на поверхности реализуются в форме грубых и мелких человеческих страстей. Но тем, кто способен взглянуть глубже, раскрывается величественная картина духовного возвышения человечества. «И жизнь наша, и жизнь империй должны содействовать раскрытию великих способностей души человеческой; здесь все для души, все для ума и чувства; все бессмертно в их успехах!».[70]

*
* *

Уже заглавие «Письма русского путешественника» для книги, посвященной европейским путешествиям, ставило вопрос о соотношении России и Запада. В этом смысле книга Карамзина опиралась на давнюю литературную традицию. Древнерусская литература обладала развитым жанром путешествия. Жанр этот имел устойчивые, веками устоявшиеся признаки. Древнерусское путешествие было или паломничеством, или антипаломничеством, т. е. конечной его целью могло быть «святое» или «грешное» место. Пространство обладало присущим ему признаком святости или греха. Быть «никаким» оно не могло. Соответственно движение путешественника, с одной стороны, обусловлено было его внутренней сущностью (грешник не мог направляться в святые места), а с другой —

[68] Там же, кн. 2, 1795, с. 65—67.
[69] *Герцен А. И.* Собр. соч. в 30-ти т., т. 6. М., 1955, с. 12.
[70] *Карамзин, III*, с. 654.

усиливало в нем интенсивность того или иного свойства: если человек по достоинству своему сподобился посетить святые места, то там он приобщался к некоей высшей святости и удостаивался прикосновения к благодати. Так же и движение человека в плохие места, с одной стороны, было результатом его недостоинства, а с другой — вело его к конечной гибели.[71] Географическое пространство для русского средневековья было неотделимо от сакрально-этических характеристик. Одновременно средневековое путешествие имело и устойчивые, типовые маршруты. Приобщение к святости требовало перемещения в «святые земли» — на Афон, к византийским и палестинским святыням. По отношению к этим землям своя, Русская земля мыслилась как менее святая. «Плохие», грешные земли располагались на западе,[72] что в принципе соответствовало средневековой ориентации: рай — на востоке, ад — на западе (соответственно движение на запад мыслилось как нисхождение по иерархии греха, а на восток — восхождение по лестнице святости).

После захвата святых земель турками и распространения идеи «Москва — третий Рим» антитеза «святые земли — грешные земли» подверглась трансформации: признак святости был приписан Русской земле, а чужие земли стали расцениваться как греховные.

Культура XVIII в. отвергла средневековые представления о географическом пространстве. Поколение людей типа «российского матроза Василия Кариотского» или И. И. Неплюева, мореходов и путешественников, не могло вместить свои жизненные впечатления в средневековые представления о географии.

Тем более интересно, что в определенных — и весьма существенных — показателях структура пространственных представлений повторяла средневековую, хотя и меняла местами положительные и отрицательные знаки, что естественно при безусловном субъективном отталкивании. Путешествие за благодатью заменилось путешествием за Разумом, знанием, просвещением. При этом путешествие отчетливо приобретало черты некоего «приобщения». Демонстративно «перевернутый» по отношению к традиции древнерусских паломничеств характер путешествий на запад в XVIII в. подчеркивался тем, что в нем присутствовали обе основные средневековые модели, хотя и в «вывернутой» форме. Во-первых, в поисках истины обращались не на восток (не в святые земли), а на запад (в земли грешные). Во-вторых, своя земля мыслилась не как просветленная светом истины, а как погруженная во тьму. Свет же в нее следовало занести извне, из тех земель, которые традиционно мыслились как обуянные тьмой.

В этом отношении уже «Великое посольство» Петра I имело характер не только демонстрации новой культурной ориентировки, но и открытого «поруганья заветных святынь», пользуясь выражением А. Блока. Не слу-

---

[71] См.: *Лотман Ю. М.* О понятии географического пространства в русских средневековых текстах. — Труды по знаковым системам, 2. Тарту, 1965. (Учен. зап. Тартуск. гос. ун-та, вып. 181).

[72] *Попов Андрей.* Историко-литературный обзор древне-русских полемических сочинений против латинян, XI—XV в. М., 1875.

чайно именно с ним связывались в народе легенды о подмене царя Антихристом, вернувшимся на Русь с Запада в облике заложенного там на самом деле «в столб» Петра I.[73] Для традиции, которая была начата «Великим посольством», путешествие в Европу (и в первую очередь во Францию) сделалось чем-то значительно большим, чем поездка из одного места в другое, перемещение в географическом пространстве. Оно приобрело черты подлинного паломничества. Сформированная в XVIII в. традиция эта оказалась весьма долговечной. В известном автобиографическом введении к главе IV книги «За рубежом» М. Е. Салтыков-Щедрин писал: «С представлением о Франции и Париже для меня неразрывно связывается воспоминание о моем юношестве, то есть о сороковых годах. Да и не только для меня лично, но и для всех нас, сверстников, в этих двух словах заключалось нечто лучезарное, светоносное, что согревало нашу жизнь и в известном смысле даже определяло ее содержание». И далее: «В России — впрочем не столько в России, сколько специально в Петербурге — мы существовали лишь фактически или, как в то время говорилось, имели „образ жизни“. Ходили на службу, в соответствующие канцелярии, писали письма к родителям, питались в ресторанах, а чаще всего в кухмистерских, собирались друг у друга для собеседований и т. д. Но духовно мы жили во Франции».[74] Такое отношение было возможно лишь потому, что Европа, и в первую очередь Франция, представлялась не реально географическим, а идеальным пространством, откуда, по выражению того же Салтыкова-Щедрина, «лилась на нас вера в человечество» и «воссияла нам уверенность, что „золотой век“ находится не позади, а впереди нас».[75] Не случайно для многих русских западников непосредственное столкновение с реальным Западом делалось источником горьких разочарований, а порой — как это было для Герцена — и подлинной духовной драмы.

Очень рано определился и противоположный штамп построения путешествия на Запад. Запад мыслился как страна погибельная. Средневековые представления о еретичестве и безверии латинян отчасти сохранялись, отчасти же трансформировались в идею неразумия и легкомыслия парижан, их абсолютной приверженности моде, мотовству и разврату. Подобно тому как в перспективе первого подхода достаточно было прикосновения к миру Запада, для того чтобы сподобиться света Разума, для второго характерно убеждение в том, что такого же прикосновения достаточно для гибели, потери нравственности и приобщения к «модной жизни» петиметров.

Оба подхода едины в том, что Запад — не бытовая и географическая реальность, а идеологический конструкт и что сущность этого конструкта может быть осмыслена лишь в антитезе русской действительности.

---

[73] См.: *Чистов К. В.* Русские народные социально-утопические легенды. М., 1967, с. 91—123.

[74] *Салтыков-Щедрин М. Е.* Полн. собр. соч., т. 14. М., 1972, с. 111.

[75] Там же, с. 112.

«Письма русского путешественника» были принципиально новым словом в споре о России и Западе. Карамзин вводил читателя в мир, где Россия и Запад не противостояли друг другу. Европа не была ни спасением, ни гибелью России, она не отождествлялась ни с Разумом, ни с Модой, ни с идеалами, ни с развратом, она стала обыкновенной, понятной, своей, а не чужой. Русский же путешественник перестал быть «любопытным скифом» в чуждом ему мире цивилизации — в такой же мере, как и язвительным обличителем недостатков этого чуждого ему мира. Путешественник Карамзина осведомлен и любознателен, но абсолютно чужд изумления перед тем, что он видит. Это не случайно: то, что он видит, ему уже, как правило, наперед было известно из книг, картин, театральных постановок, которые он видел у себя на родине; зрелища новые, но культурная традиция общая, и поэтому путешествие доставляет ему радость узнавания давно известного, а не изумление перед открывшимся ему неслыханно новым миром. Реплика Карамзина в споре «Россия или Европа?» имела смысл: «Россия есть Европа».

Концепция сотношения России и Европы зиждется у Карамзина на убеждении в единстве пути развития человечества. Путь этот мыслится как движение от средневекового и первобытного невежества к единству и братству просвещенных народов. «Бедность разума человеческого в средних веках» (с. 98 наст. изд.) является для него, как и для любого просветителя XVIII в., аксиомой. В этом отношении Шишков, утверждавший наличие вечных черт национального характера и в связи с этим незакономерность влияния одной национальной культуры на другую, был ближе к романтическим концепциям XIX столетия, в то время как Карамзин продолжал разделять оптимистические надежды философского века. Наиболее точную формулу соотношения национального и европейского начал в мировоззрении Карамзина дал С. Ф. Платонов в краткой, но насыщенной мыслью речи 18 июля 1911 г.: «В произведениях своих Карамзин вовсе упразднил вековое противоположение Руси и Европы как различных и непримиримых миров; он мыслил Россию как одну из европейских стран и русский народ как одну из равнокачественных с прочими наций. Он не клял Запада во имя любви к родине, а поклонение западному просвещению не вызывало в нем глумления над отечественным невежством». И далее: «Исходя из мысли о единстве человеческой культуры, Карамзин не устранял от культурной жизни и свой народ. Он признавал за ним право на моральное равенство в братской семье просвещенных народов. „Как человек, так и народ (писал он) начинает всегда подражанием, но должен со временем быть сам собой, чтобы сказать: я существую нравственно“».[76]

Эта позиция Карамзина была непонятна современникам из числа тех, кто отождествлял симпатии к европейской цивилизации с петиметрским преклонением перед модой. Упреки, которые затем неоднократно высказывались шишковистами, в первый раз раздались из масонского лагеря. Еще до знакомства с «Письмами» Карамзина Кутузов решительно пред-

[76] *Платонов С. Ф.* Н. М. Карамзин. СПб., 1912, с. 8—9.

полагал в их авторе охлаждение к своей родине: «Ежели догадки мои справедливы, то отечество наше изображается им не в весьма выгодном виде. Но тем приятнее описаны прочия государствы».[77]

Но именно потому, что европейская жизнь представлялась Карамзину некоторым возможным будущим России, книга его не укладывалась в рамки серии путевых эпизодов — она имела целостную, единую концепцию.

Раздел, посвященный Германии, вводит читателя в обстановку идейно-философских споров. Он строится как ряд посещений и бесед с «великими умами». Посещение Николаи в начале путешествия по Германии и рассуждение о дармштадском мистике Штарке в конце этого этапа странствия ассоциировались у читателя, близкого к масонским кругам, с многозначительными представлениями. Николаи — просветитель, писатель и книгоиздатель, активный деятель из числа берлинских гонителей католицизма и иезуитизма — и его дармштадский оппонент Штарк, которого обвиняли в тайном католицизме и даже иезуитизме, масон и основатель «тамплиерского клериката» (1767), были хорошо известны полярностью своих воззрений (то, что Карамзин повидал первого и не встретился со вторым, было для московских масонов отнюдь не нейтральным поступком, а демонстрацией вряд ли приятной для них независимости автора «Писем»). Однако Карамзин увидал в этих антиподах общее — нетерпимость мнений, и это вызвало его осуждение: «Где искать терпимости, естьли самые Философы, самые просветители — а они так себя называют — оказывают столько ненависти к тем, которые думают не так, как они? Тот есть для меня истинный Философ, кто со всеми может ужиться в мире; кто любит и несогласных с его образом мыслей» (с. 38 наст. изд.).

Этой паре идеологов противостоит другая пара: встреча с Кантом открывает «немецкую часть» путешествия, встреча с Виландом предваряет ее заключение. Кант и Виланд — скептики. Их сомнения разрушают предрассудки и фанатизм. «Все сокрушающий Кант» и Виланд, которого «можно назвать скептиком», — добрые люди, уважающие не только свои идеи, но и личность своих противников. В разговоре с Кантом путешественник коснулся «до его неприятелей. „Вы их узнаете, сказал он, и увидите, что они все добрые люди“» (с. 21 наст. изд.).

Человеческая мысль возвышается не правотою своих идей, утверждает Карамзин, а терпимостью по отношению к чужим идеям. Этот вывод скептического гуманизма имел прямое отношение к опыту французской революции. Столь же непосредственно, хотя и столь же прикровенно, отнесены к ней и описания Швейцарии и Англии.

Равнодушный к вопросам политики, Карамзин не был индифферентен к социальным доктринам. В ходе французской революции столкнулись две социально-экономические идеи: радикальная идея государственной регламентации экономики, подчинения рынка морали, введения максимума цен и законодательной власти над производством и торговлей, с од-

---

[77] *Барсков*, с. 99—100.

ной стороны, и либеральная идея свободного экономического laisser faire, laisser passer, основанного на беспрепятственном буржуазном развитии, — с другой.

Каждая из этих идей была по-своему привлекательна для Карамзина. Первая ассоциировалась у него с концепцией платоновской Республики, приверженность к идеалам которой он подчеркивал на протяжении всей жизни, и привлекала как царство регламентированной добродетели и обуздания частного эгоизма. Вторая вызывала симпатии своей связью с личной свободой и либеральными представлениями о нерушимости прав отдельной личности. Известно, сколь острые и кровавые коллизии породило столкновение этих концепций в ходе французской революции. Карамзин предпочел не высказываться по этому вопросу прямо, тем более что не отдавал безусловного предпочтения ни той, ни другой точке зрения. Он предпочел столкнуть в своей книге две утопии — утопию торжества морали и регламентации над богатством, воплотив ее в образе Швейцарии, и утопию свободного предпринимательства в образе Англии.

«Мудрые Цирихские законодатели знали, что роскошь бывает гробом вольности и добрых нравов, и постарались заградить ей вход в свою республику. Мущины не могут здесь носить ни шелкового, ни бархатного платья; а женщины ни брилиантов, ни кружев; и даже в самую холодную зиму никто не смеет надеть шубы, для того что меха здесь очень дороги. В городе запрещено ездить в каретах, и потому здоровыя ноги здесь гораздо более уважаются, нежели в других местах. Во внутренности домов не увидите вы никаких богатых уборов — все просто и хорошо. Хотя чужестранныя вина сюда привозятся, однакожь позволено употреблять не иначе, как в лекарство» (с. 120 наст. изд.).

В жителях Швейцарии подчеркивается бедность, свободолюбие, равенство и бескорыстие. На этом фоне даже дети, которые, дурачась (а не из бедности), просят милостыню, кажутся путешественнику опасным прецедентом: «Маленькие шалуны могут со временем сделаться большими — могут распространить в своем отечестве опасную нравственную болезнь, от которой рано или поздно умирает свобода в Республиках» (с. 126 наст. изд.).

Зато на английском берегу путешественник сразу же сталкивается с сребролюбием. «Один говорил: „Дай мне шиллинг за то, что я подал тебе руку, когда ты сходил с пакет-бота“; другой: „дай мне шиллинг за то, что я поднял платок твой, когда ты уронил его на землю“; третий: „дай мне два шиллинга за то, что я донес до трактира чемодан твой“. Четвертый, пятый, шестый — все требовали, все объявляли права свои на мой кошелек» (с. 328 наст. изд.). Однако одновременно путешественник наблюдает и свободу личности, рост ремесла и торговли, гордую независимость характеров и патриотизм. В Англии вкусы путешественника разительно меняются. Здесь он восклицает: «Я люблю большие города и многолюдство» и провозглашает тост: «Вечный мир и цветущая торговля!».

Сталкивая эти два социальных мира, Карамзин оставляет вопрос открытым и не решает его в пользу ни того, ни другого.

*
* *

Не только непосредственные впечатления от европейского путешествия, но и внимательное чтение политической публицистики сделали из Карамзина наблюдателя, исключительно точно ориентированного в политической жизни его эпохи. Как позже Пушкин или Герцен, Карамзин ясно представлял себе самые тонкие оттенки политических группировок, характеры вождей партий, игру высоких идей и личных интересов. Он видел больше, чем описал, и передумал больше, чем изложил в «Письмах». Придя к такому выводу, мы неизбежно оказываемся и перед важными следствиями.

Подобно тому как исследование В. В. Сиповского заставило нас отказаться от представления, что «Письма русского путешественника» — собрание реальных писем, реконструкция «вояжа» Карамзина убеждает, что и взгляд на это сочинение как на описание действительных путевых впечатлений иллюзорен. Карамзин был весьма далек от того, чтобы предлагать читателю отчет о своих подлинных, биографически реальных странствиях и переживаниях. «Письма русского путешественника» — не собрание писем и не переработанный для печати путевой дневник, это литературное произведение. И судить его надо по законам художественного текста. Включение или невключение в произведение тех или иных описаний или размышлений должно рассматриваться в контексте тех идейно-художественных задач, которые ставил перед собой автор. Карамзин слишком легко представлял как личные впечатления то, что почерпнул из литературных источников, и не описывал того, что видел своими глазами, чтобы заставить нас раз навсегда отказаться от взгляда на «Письма русского путешественника» как на подсобный материал для биографии писателя.

Что же представляют собой «Письма русского путешественника» как литературное произведение?

Прежде всего, не следует забывать, что читателю «Письма» были предложены как собрание реальных документов дружеской переписки. Литературное произведение имитировало нелитературность. Смысл такого решения нам станет понятным, если реконструируем некоторые основные черты поэтики Карамзина.

Карамзин 1790-х гг. воспринимал себя как новатора, создателя нового этапа в русской литературе. В стихотворении «Поэзия», перечисляя великих поэтов мира, он не назвал ни одного русского имени, недвусмысленно заявив, что великой русской поэзии еще предстоит родиться:

О россы! век грядет, в который и у вас
Поэзия начнет сиять, как солнце в полдень.
Исчезла нощи мгла — уже Авроры свет
В ‹Москве› блестит, и скоро все народы
На север притекут светильник возжигать...[78]

[78] *Карамзин Н. М.* Полн. собр. стихотворений, с. 63.

Новая литература мыслилась Карамзиным как противостоящая традиции XVIII в. с ее отождествлением возвышенного и прекрасного. Однако, хотя Карамзин пережил увлечение штюрмерской поэзией, а А. Петров дразнил его кличкой «великой жени́», исключительное (в том числе исключительно безобразное или исключительно преступное) в большинстве случаев не подвергалось поэтизации в его творчестве. Прекрасное приравнивалось к обыденному. Подобно тому как в стихотворении «Странность любви, или бессонница» идеалом женской красоты объявляется... отсутствие красоты, отсутствие исключительных свойств ума (слово «красавица» Карамзин заменил другим — «милая») и вообще всего исключительного, в искусстве прекрасной становится безыскусственность, а идеалом литературы делается нелитературность. Все, на чем стоит печать литературности, оказывается отлученным от литературы.

С одной стороны, в литературу вводятся внелитературные бытовые документы, с другой — лежащая традиционно за пределами «изящной словесности» публицистика. «Лучше читать Юма, Гельвеция, Мабли, нежели в томных элегиях жаловаться на холодность или непостоянство красавиц», — писал Карамзин А. Вяземскому.[79] Признаки «нехудожественности» и жанрового синкретизма, ориентации не на какой-либо жанровый канон, а на свободную смесь разнохарактерных в жанрово-стилистическом отношении отрывков создают иллюзию «непрофессиональности» произведения: автор не записной писатель, а «молодой человек» и «путешественник».

Чтобы мысль о том, что безыскусственная жизнь призвана сменить «искусственную» литературу, не воспринималась читателем модернизированно, в духе сходно звучащих, но совсем иных по эстетической природе более поздних лозунгов и программ, необходимо сделать существенную оговорку. В письме к Н. Страхову в 1872 г. Л. Н. Толстой нарисовал кривую русской литературы. Карамзина и себя он поставил симметрично — в начале и конце «поэтической парраболы» пушкинского периода. Хотя в формулировке, предложенной выше для творческих принципов Карамзина, можно уловить черты сходства с идеями Руссо, столь близкими Л. Н. Толстому, смысл этих концепций глубоко различен: пафос Руссо и Толстого был в у п р о щ е н и и культуры, в сведении ее к Природе, пафос Карамзина — в у с л о ж н е н и и, обогащении культуры. Требование реабилитации простой жизни — быта, языка, психологии — имело особый смысл: литература «опускается» до жизни, но жизнь должна «возвыситься» до литературы. Литература опрощается, но к жизни начинают применяться чисто эстетические критерии. Это приводило к тому, что «простота» карамзинизма уже через несколько десятилетий стала казаться манерностью. Но эта же особенность имела и другой смысл — карамзинизм оказал огромное цивилизующее воздействие на русского читателя: отказываясь от сложной иерархии требований, которые классицизм предъявлял литературному произведению, он предъявлял исключительно высокие требования к читателю, обязав его смотреть на собственную

[79] Рус. архив, 1872, стб. 1325.

жизнь как на род творчества и оценивать свое поведение не только в привычных рамках церковной или государственной этики, но и эстетически. Простой человек может быть литературным героем, но быть «простым человеком», по критериям Карамзина, было отнюдь не просто. Для этого требовались такая тонкость чувств, такое душевное изящество, столь развитое переживание красоты, на которые читатели до Карамзина не смели и претендовать. Карамзин создал стандарт «простого человека», который был им властно навязан русскому читателю конца XVIII—начала XIX в. Стандарт этот оказался чрезвычайно высоким. Именно он сделался тем психологическим фундаментом, на который потом опирались и душевное богатство пушкинской Татьяны, и героизм поколения 1820-х гг.

Мы уже обнаружили, что «русский путешественник» «Писем» отнюдь не тождествен реальному их автору — Карамзину, хотя одновременно наделен внешними признаками, имитирующими автобиографизм повествования. Путешественник, прежде всего, дилетант, странствующий без какой-либо ясной цели. Он называет себя в одном месте Анахарсисом, но от юного скифа, искателя мудрости, он отличается тем, что посещения философов и великих поэтов свободно перемежаются в его «Письмах» с описаниями дорожных пустяков, не содержащих в себе ничего философски поучительного. Масонские наставники были шокированы именно отсутствием глубокомыслия, углубленности в аналитические размышления.

«Внешнее» путешествие искателя мудрости, совершающего паломничество от одного мудреца к другому, — с точки зрения масонов, лишь оболочка его «внутреннего» странствия по лабиринту собственной души. Только это второе и является тем подлинным путешествием, которое должен совершить ученик, ищущий источник света. А. М. Кутузов предупреждал А. А. Плещеева: «Может быть, занимаешься чтением лорда Рамзея? и к сему не прилепляйся слишком. Он не может описывать ничего иного, как внешнего внешним образом; но сие не есть упражнение человека, старающегося шествовать к цели человека».[80] Стремление сосредоточить внимание на «внутреннем человеке» продиктовало Кутузову исключительно интересную формулу: «Не наружность жителей, не кавтаны и рединготы их, не домы, в которых они живут, не язык, которым они говорят, не горы, не море, не восходящее или заходящее солнце суть предмет нашего внимания, но человек и его свойствы. Все жизненныя вещи могут также быть употребляемы, но не иначе, как токмо пособствия и средствы». Прямое отношение этих слов к «Письмам русского путешественника» раскрывается далее: «Мы читаем в древней гистории, что все великие мужи путешествовали, но забываем то, что цель путешествия их была искать мудрых мужей, от которых бы им можно было учиться. Иное дело путешествовать политику, купцу, военному человеку и художнику: иное дело — испытатель естества человеческого и нравоучитель; сии последние не имеют нужды выезжать из своего отечества; все то, чего они ищут, найдут в самих себе и в своих соотчичах».[81]

[80] *Барсков*, с. 100.
[81] Рус. ист. журн., 1917, кн. 1—2, с. 134.

Излагаемые Кутузовым принципы предромантического субъективизма совсем не были чужды Карамзину и оказали на его творческую эволюцию глубокое влияние. Тем более приходится полагать, что в «Письмах» Карамзин игнорировал их сознательно.

Упреки в недостаточной серьезности содержания «Писем» и связанные с ними утверждения о мелкости авторского взгляда, недостаточности его умственного кругозора высказывались в дальнейшем неоднократно и с самых различных позиций. Они прозвучали сравнительно недавно в итоговой статье П. Н. Беркова, писавшего, что «Письма русского путешественника» в «конечном счете все-таки юношеское произведение».[82]

То, что для высказывавших подобные упреки являлось недостатком, для самого Карамзина было принципиально. «История государства Российского» была итогом многолетних размышлений. Но, углубив в неизмеримой степени свои ранние исторические концепции, Карамзин в определенном отношении их сузил. Взгляд на историю, отразившийся в «Письмах русского путешественника», был «наивен» в том значении этого слова, которое применимо к историческим воззрениям Л. Н. Толстого. Не оценив должным образом этой стороны «Писем русского путешественника», мы теряем историческое звено между Новиковым и Л. Толстым, что в итоге приводит к разрушению для нас всей этой линии культурной преемственности.

Новиков отказался от государственной службы, вызвав раздражение Екатерины II (ранний отказ от службы был повторен потом Карамзиным и Толстым), поскольку считал, что путем общественного служения является не государственная, а частная, личная, внеправительственная деятельность. Вступая в противоречие с петровско-ломоносовской традицией приравнивания государственной службы и общественного служения, Новиков считал, что прогресс совершается не в области правительственных распоряжений и законов, а в сфере частного существования, постепенного одухотворения непосредственной жизни. С этой точки зрения история переставала казаться цепью правительственных актов, распоряжений царей или выступлений ораторов. Акцент переносился на одухотворенность частного бытия — от высоких актов творческого сознания до бытовых проявлений благородства или падений души человеческой. Линия эта (при учете идеологических трансформаций и переплетений с другими культурными традициями) явственно прослеживается в дальнейшем, вливаясь в «толстовское направление».[83] Л. Н. Толстой завершил в 1857 г. рассказ о бессердечном отношении англичан-туристов в швейцарском городке Люцерн к бродячему певцу-тирольцу выводом: «Вот событие, которое историки нашего времени должны записать огненными неизгладимыми буквами. Это событие значительнее, серьезнее и

---

[82] *Берков П. Н.* Державин и Карамзин в истории русской литературы. — В кн.: XVIII век, сб. 8. Л., 1969, с. 15.

[83] См.: *Лотман Ю. М.* Истоки «толстовского направления» в русской литературе 1830-х годов. — Труды по русской и славянской филологии, 5. Тарту, 1962. (Учен. зап. Тартуск. гос. ун-та, вып. 119).

имеет глубочайший смысл, чем факты, записываемые в газетах и историях». И далее: «Это факт не для истории деяний людских, но для истории прогресса и цивилизации».[84] Последние слова могли бы послужить эпиграфом к «Письмам русского путешественника» Карамзина. Книга эта, рисуя Европу в переломный момент 1789—1790 гг., посвящена не «истории деяний людских», а «истории прогресса и цивилизации». Игнорирование первых выражает не недостаток умственного развития автора, а принципиальную природу его позиции. При этом, как и Толстой 1850—1860-х гг., Карамзин — человек и мыслитель — живо интересуется современной ему «историей деяний людских». Для того чтобы обосновать идеологически необходимое ему очищение текста от следов этих интересов, ему приходится подвергать стилизации образ повествователя. Образ путешественника приобретал черты «российского вояжора». Не без расчета на эпатирование читателя, Карамзин аффектировал в его литературном облике черты петиметра, как подчеркивал их в 1790-х гг. в своем жизненном поведении.[85]

Параллель между «русским путешественником» Карамзина и странствующим петиметром, столь энергично подчеркиваемая современниками, питалась из еще одного источника. Масонские наставники Карамзина, как и вообще моралистически настроенные читатели, охотно согласились бы с отказом от изображения сцен политической борьбы. Но одновременно они наложили бы запрет на описание всего «внешнего внешним образом». Вся бытовая, торгово-ремесленная, вещественная сторона жизни оказывалась отлученной. Интерес к ней категорически осуждался. Прогресс мыслился как чисто духовное движение, совместимое с любыми условиями внешнего существования. Материальный прогресс мог оказываться подозрительным, отвлекая человека от духовного сосредоточения. Это создавало основу критическому противопоставлению Европы России. Интерес к материальному, бытовому прогрессу Европы полемически отождествлялся с петиметрским преклонением перед модами и вещами.

Для Карамзина прогресс включал в себя одновременно культурное одухотворение жизни и культурное же усовершенствование ее материально-бытовой стороны. Следует напомнить, что в «Записки одного молодого россиянипа» Карамзин вставил полемический пересказ идеи Гель-

---

[84] *Толстой Л. Н.* Собр. соч. в 14-ти т., т. 3. М., 1951, с. 25.

[85] Подобно тому как Толстой, стилизуя свое литературное (а отчасти и житейское) поведение в духе условной маски «помещик-медведь за границей», полемически реабилитировал эту маску (ср. поведение за границей кн. Щербацкого в «Анне Карениной»), Карамзин полемически демонстрировал позу «русский петиметр за границей», реабилитируя право путешественника не быть ни мудрецом, ни искателем истины, ни желчным критиком Европы. Подобно тому как в «Люцерне» названная выше авторская маска «переливается» в другие, прямо ей противоположные, — демократ, враг условностей, «русский Руссо» и пр., маска путешественника-щеголя «играет» в «Письмах русского путешественника», переходя в свои противоположности. К этому следует добавить, что, как мы уже отмечали, «Люцерн» очевидно полемичен по отношению к одному из эпизодов карамзинских «Писем». Это приводило к тому, что и образ повествователя, и реальное поведение Толстого в Швейцарии строились в двойной перспективе: как отталкивание от героя «Писем русского путешественника» и сближение с героем «Исповеди» Руссо.

веция: «На систему наших мыслей весьма сильно действует обед. Тотчас после стола человек мыслит не так, как перед обедом».[86] Напомним, что вопрос о соединении души и тела был остро обсуждаем в масонской публицистике. В «Письмах» находим: «Не читай нравоучений тому человеку, который умирает с голоду, а дай ему кусок хлеба».[87] При таком взгляде бытовая реальность, как и область духа, попадала в высокую сферу прогресса. Отказаться от интереса к ней даже под угрозой прослыть петиметром, «Попугаем Обезьяниным», как его зло прозвал Кутузов, Карамзин не мог.

Избрав в качестве точки зрения для своего повествования «молодого путешественника», «простодушного наблюдателя» и почти петиметра, Карамзин произвел, однако, характерную подмену, которая, конечно, не укрылась от взора современников. Для того чтобы занять позицию «мыслителя» и «мудреца», читателю надо было ознакомиться с философской, политической или мистико-этической литературой эпохи; для того чтобы оказаться на уровне «простодушного наблюдателя» «Писем русского путешественника», следовало овладеть всей культурой в неслыханном дотоле масштабе. При этом огромный пласт сведений переставал рассматриваться как удел небольшого слоя специалистов или педантов, он превращался в естественный уровень «простого» человека. Человек Карамзина — это человек, погруженный в культуру.

В связи с этим решительно меняется отношение к письменному источнику. Развалины замка, улицы незнакомого нам города становятся фактами культуры, если существуют документы, освещающие их историю, связанные с ними предания, их место в развитии цивилизации. Горы, реки, природа как таковая получают принадлежность к миру Культуры, если описаны в стихах, — поэт делает с пейзажем то же, что земледелец с полем и садом. Обрабатывая его, он делает его частью культуры. Поэтому путешественник Карамзина — это путешественник с книгой в руках. Он смотрит на то, что уже знает по описаниям, и не стесняется книжных заимствований в своем произведении. Вся Европа расстилается перед ним, как обширный сборник цитат, и он наслаждается, узнавая уже знакомое и указывая неискушенному читателю на источники этих цитат, овеществленных в городах, замках и исторических памятниках. В этой связи получает особый смысл стремление Карамзина в дальнейшем в таких произведениях, как «Записка о московских достопамятностях», «Путешествие вокруг Москвы», «Исторические воспоминания и замечания на пути к Троице», а также в примечаниях к «Истории государства Российского» связать и памятники русской старины с определенными историческими воспоминаниями и тем самым ввести их в современную Карамзину культуру.

Таким образом, печатный текст «Писем», с одной стороны, как бы переливался в жизненное поведение читателей, становясь фактом куль-

---

[86] Моск. журн., 1792, ч. 6, кн. 1, с. 71.

[87] Ср. вопросы Карамзина Лафатеру о природе влияния души на тело (с. 467—472 наст. изд.).

туры чувств и поступков людей, чья жизнь лежала за пределами искусства, а с другой — вливался в синкретическое единство культуры, становясь словесным элементом (как бы «подписями к картинкам») ее целого — того культурного мира, в который входили памятники архитектуры, живописи, всех форм человеческого труда и обжитого человеком пространства Европы, а прошлое и настоящее сливались в неразрывности памяти.

*
* *

Исследуя жанр «путешествия» в литературе конца XVIII в., Т. Роболи выделяет в русских путешествиях две ориентации: «К моменту появления в России „Писем русского путешественника" Н. М. Карамзина, с которых по-настоящему следует вести русскую родословную литературных путешествий, на Западе в этом жанре дифференцировались два основных типа: один собственно стерновский, где настоящего описания путешествий, в сущности, нет; и другой — типа Дюпати, представляющий гибридную форму, где этнографический, исторический и географический материал перемешан со сценками, рассуждениями, лирическими отступлениями и проч. <...> „Письма русского путешественника" сконструированы по типу гибридному, но в отношении к своему образцу — Дюпати — сгущеннее как в смысле количества и разнообразия вводного материала, так и в смысле эпистолярности своего стиля; кроме того, „Путешествие" Дюпати стилистически однороднее. — У Карамзина чрезвычайной пестроте материала соответствует пестрота стиля».[88]

Эта точка зрения была воспринята последующей исследовательской традицией и поддержана авторитетом Г. А. Гуковского.[89] Однако следует заметить, что к моменту выхода «Писем» обе эти традиции давно потеряли для русского читателя прелесть новизны. Стернианская традиция успела уже спуститься в область массовой литературы. Так, например, в 1797 г. безымянный автор «Моей дорожной записки» (сочинения непрофессионального и не предназначенного для печати, т. е. отчетливо принадлежащего к литературному фону эпохи) уже может выступить как эпигон Карамзина, интерпретирующий его традицию в отчетливо стернианском духе. Он снабдил свое сочинение не только чувствительным эпиграфом из «Вертера», но и «Предисловием», в котором заявил, как истинный карамзинист: «Моя дорожная записка мне нравится, может быть для того что *моя*, и что я могу смотрется в нее, как будто бы в зеркало».[90] Влияние Стерна проявляется не только в настойчивом стремлении автора к капризной субъективности логики повествования,

---

[88] *Роболи Т.* Литература «путешествий». — В кн.: Русская проза. Л., 1926, с. 48—50.

[89] См.: *Гуковский Г. А.* Карамзин. — В кн.: История русской литературы, т. 5. М.—Л., с. 85.

[90] Щукинский сб., вып. 2. М., 1903, с. 216.

но и в его склонности соединять чувствительность с иронией. Вот как описывает автор дорожное происшествие. Коляска его застряла в ледяной луже: «Ночь была темная, ни одной звездочки не блистало на небе, ветер шумел уныло в сосновой роще; и в сию меланхолическую пору между тем, как люди мои трудились около повозки — я сидел посреди рощи на льду... один... и думал. Вы не угадаете, друзья мои, что занимало мои мысли. Я размышлял не о коловратностях судьбы <...> Нет, милые! Я думал, как живее и красноречивее представить вам мое похождение».[91]

Однако «Письма» Карамзина сложнее, насыщеннее и противоречивее, чем эта и другие «стернианские» их проекции. Но и сопоставление с традицией Дюпати не ведет нас к специфике карамзинского текста. Именно эта аналогия заставляла Г. А. Гуковского утверждать, что «информационная задача выдвинута в его (Карамзина, — *авт.*) книге на первый план».[92] Т. Роболи, останавливаясь на различиях между «Письмами» Карамзина и «Путешествием» Дюпати, отмечает «пестроту стиля»[93] в книге первого, ориентацию различных отрывков текста на разные историко-литературные традиции. Однако это лишь самый внешний и элементарный признак стиля «Писем» Карамзина, хотя преуменьшать значение стилистических сломов и контрастов в общем построении их художественного единства нет никакого основания. Но не менее важным является принцип семантической насыщенности и многоплановости каждого из отрывков. Приведем пример. В письме из Лозанны есть такой отрывок: «Сию минуту пришел я из кафедральной церкви. Там из черного мрамора сооружен памятник Княгине Орловой, которая в цветущей молодости скончала дни свои в Лозане, в объятиях нежного, неутешного супруга. Сказывают, что она была прекрасна — прекрасна и чувствительна!... Я благословил память ея» (с. 149 наст. изд.). Читатель, фиксирующий один поверхностный слой смысла, увидит в этом отрывке лишь «сентиментальный эпизод», обычный в литературе «эпохи чувствительности». Однако читатель более осведомленный обнаружит здесь другой пласт смыслов: брак кн. Григория Орлова был связан с нашумевшей в свое время историей. «Орлов страстно влюбился в свою двоюродную сестру, фрейлину двора ее величества Екатерину Николаевну Зиновьеву <...> В июне 1776 г. они уже обвенчались, вопреки закона и обычая, строго воспрещающих браки на двоюродных сестрах».[94] Православная церковь рассматривала такой брак как кровосмешение и требовала в этих случаях насильственного разведения супругов и церковного покаяния.[95] Строки в «Письмах» Карамзина представляли дерзкое штюр-

[91] Там же, с. 226.

[92] История русской литературы, т. 5, с. 85.

[93] *Роболи Т.* Литература «путешествий», с. 50.

[94] *Барсуков А.* Рассказы из русской истории XVIII века (по архивным документам). СПб., 1885, с. 176—177.

[95] «У князя Юрия Владимировича <Долгорукова> был старший брат, который женился на графине Бутурлиной, а несколько времени спустя на другой, младшей ее сестре женился сам Юрий Владимирович: первый брак считался законным, а второй не признавали, хотели развести» (*Благово Д.* Рассказы бабушки. Из воспоми-

мерское эпатирование общепринятых норм морали, аналогичное апологии любви брата к сестре в «Острове Борнгольме», вызвавшей целую бурю откликов — от С. Боброва до Хлестакова, который со ссылкой на Карамзина и его «Остров Борнгольм» просил руки у замужней городничихи.

Однако эпизод этот имел и еще более глубокий смысловой пласт — уже не моральный, а политический. Поздняя и противозаконная любовь Григория Орлова была использована сторонниками Потемкина для того, чтобы свести счеты с бывшим соперником. «Возникло целое дело о незаконном браке Орлова. Члены Совета подали мнение о необходимости развести Орлова с женою и заключить обоих в монастыри. Граф Кирила Григорьевич Разумовский, возмущенный этою беспощадностью к человеку, утратившему первенствующее значение при дворе, напомнил своим товарищам о правиле, соблюдаемом при кулачных боях: лежачего не бьют. „Еще недавно, — говорил он, — все мы считали бы себя счастливыми, ежели бы Орлов пригласил нас на свою свадьбу; а теперь, когда он не имеет прежней силы и власти, то стыдно и совестно нам нападать на него"».[96] Совет не изменил, однако, своего мнения, а Екатерина II дозволила Орлову с женой выехать за границу, что означало пожизненное изгнание. Кн. Орлова скончалась в Лозанне 16 июня 1781 г.

Политический смысл вступления Карамзина сделается бесспорным, если мы вспомним, что оно было лишь частью кампании, развернутой противниками Потемкина по этому поводу. Державин написал стихи на смерть гр. Орловой, которые Карамзин опубликовал в «Московском журнале». Стихотворение Державина было якобы доставлено Карамзину «при письме», также опубликованном в «Московском журнале», которое

наний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком. СПб., 1885, с. 150). Мемуаристка (Е. П. Янькова) вспоминает далее, что брак младшего брата был юридически и церковно аннулирован, дети от этого брака считались детьми старшей пары; во время беременности младшей сестры старшая «обкладывалась подушками, и посторонние, видя их обеих в таковом положении, не догадывались, что одна в тягости заподлинно, а другая — притворно» (там же). Дети от обоих браков считались детьми старшего брата, после смерти которого Ю. В. Долгоруков должен был добиваться высочайшего изволения на усыновление собственных детей. Сама мемуаристка находит этот запрет вполне нормальным и передает такой разговор со своим двоюродным братом гр. Толстым: «Однажды он говорил мне: „Ma cousine, что бы вы мне сказали, ежелиб я посватался за одну из ваших дочерей, за Agrippine?"

Я спрашиваю его: „Да что ты это в шутку мне говоришь?"

— Нет, ma cousine, очень серьезно, отвечает он.

— Ну и я скажу тебе серьезно, что мы слишком близкие родные, чтоб я согласилась отдать за тебя которую-нибудь из дочерей: твоя мать мне родная тетка, и вдруг Грушенька будет ей снохой: да этого брака и архиерей не разрешит» (там же, с. 262). Ср. также историю флигель-адъютанта Мансурова, который просил у Александра I разрешения жениться на своей кузине Трубецкой. Царь отказал и советовал Мансурову уехать за границу на постоянное жительство и там обвенчаться. При этом Мансуров был предупрежден, что дети от этого брака будут считаться в России незаконными (см.: *Свербеев Д. Н.* Записки 1799—1826, т. 1. М., 1899, с. 301).

[96] *Барсуков А.* Рассказы из русской истории, с. 177.

создавало вокруг покойной ореол жертвы несправедливых гонений. Вероятно, не случайно рядом с рассказом о могиле Орловой в Лозанне упомянут «наш соотечественник, Граф Григорий Кириловичь Разумовский, ученый Натуралист», автор многих сочинений по минералогии, который за несколько недель перед этим уехал в Россию (см. с. 149 наст. изд.). Фамилия эта, с одной стороны, могла напомнить читателю об имевшем явно политический характер выступлении отца его в Совете в защиту Орлова, а с другой — намекала на аналогичный конфликт любви и предрассудка: молодой Г. К. Разумовский, нелюбимый шестой сын гетмана К. Разумовского, избрав путь профессионального ученого, поселился в Швейцарии. Здесь он влюбился в Генриетту Мальсен и в 1788 г. отправился в Петербург за отцовским благословлением, в котором ему было, однако, отказано из-за неравенства положения жениха и невесты (хотя Мальсен была дочерью эльзасского барона, К. Разумовский считал ее происхождение слишком низким). Брак все же состоялся, хотя и без разрешения отца. Он был несчастлив, в чем усматривали результат отцовского деспотизма. Карамзин явно рассчитывал на то, что аудитории это известно.

Наконец, для наиболее хорошо осведомленного читателя эпизод имел еще один ярус смыслов: гр. Орлова, урожденная Зиновьева, была родной сестрой В. Н. Зиновьева, друга юности Радищева и Кутузова, упомянутого нами выше (см. с. 547). Именно кончина сестры была непосредственной причиной длительного духовного кризиса, который привел В. Н. Зиновьева в ряды масонов. О значении связей с зарубежным кружком Зиновьева—Кошелева—С. Р. Воронцова для Кутузова и Карамзина мы уже говорили. Таким образом, на примере одного, казалось бы, совершенно незначительного эпизода «Писем» можно проследить, какую сложную и многослойную смысловую нагрузку несет текст Карамзина. Можно с уверенностью сказать, что в огромном числе случаев мы не можем прокомментировать всех смысловых ассоциаций и вынуждены довольствоваться снятием наиболее поверхностного пласта смысла. «Письма русского путешественника» построены по законам эзотерической семантики: их могут читать и близкие и далекие, осведомленные и неосведомленные читатели. Но чем читатель дальше от мира автора, тем более поверхностный слой смысла он извлекает из текста, тем более выдвигается вперед плоская «информационная задача». По мере приближения к миру Карамзина перед читателем раскрываются богатство и сложность ассоциаций, игра точками зрения, та многослойная структура смысла, которая делает «Письма русского путешественника» произведением, непосредственно предшествующим прозе Пушкина.

После статьи Т. Роболи сложился стереотип европейского литературного контекста, с которым сопоставляются «Письма русского путешественника». Это «Сентиментальное путешествие» Стерна и «Письма об Италии» Дюпати. Конечно, странно было бы отрицать значение для Карамзина этих произведений, тем более что ссылки и реминисценции из них играют существенную роль в конструкции «Писем русского путешественника». Однако для осмысления самим Карамзиным и характера

своей поездки и своей собственной позиции в жизни и тексте «Писем», вероятно, важнее были другие произведения — «Путешествие юного Анахарсиса» Бартелеми и «Философские (или, как они стали в дальнейшем именоваться, «Английские») письма» Вольтера. Оба текста связывали путешествие с поисками идеалов истинного просвещения, оба создавали образ искателя мудрости, оба были проникнуты верой в прогресс цивилизации. Особенно важны для Карамзина были «Философские письма» Вольтера — плод путешествия изгнанного из Франции писателя за Ла-Манш. Здесь Карамзин встретил не только существенную для него веру в прогресс в сочетании с ироническим скепсисом, вносящим коррективы в эту же самую веру, но и модель сопоставления двух национальных характеров — английского и французского. Важна была для него и идея связи, существующей между природой той или иной цивилизации и характером нации. В «Письмах русского путешественника» есть следы прямого воздействия идей Вольтера. Въехав в Париж, путешественник Карамзина написал друзьям: «Система Декартовых вихрей могла родиться только в голове Француза, Парижского жителя». Это была понятная отсылка к «Философским письмам» Вольтера. Ср.: «Прибывающий в Лондон француз находит философские дела столь же основательно изменившимися, как и все другое. Он оставил мир наполненным, он находит его пустым. В Париже видят вселенную состоящей из вихрей неуловимой материи, в Лондоне ничего этого не видят» (письмо XIV «О Декарте и Ньютоне» в «Философских письмах» Вольтера). Однако идея Вольтера претерпела в сознании Карамзина существенные изменения. Дело не только в том, что схема «легкомысленный француз ↔ положительный англичанин» в силу композиционного места этих рассуждений в книге Карамзина трансформирована в другую: «легкомысленный француз ↔ положительный швейцарец». Существенно более глубокое изменение: Вольтер строит концепцию с в о е й национальной культуры путем сравнения ее с нефранцузским национально-психологическим и культурным типом. Карамзин сопоставляет две разновидности е в р о п е й с к о й культуры. Карамзина интересует не подчеркивание различий, а идея единства цивилизации, пробивающегося с к в о з ь эти различия. Как различные нации Европы, сохраняя своеобразие своей духовной физиономии, темперамента и традиций, движутся по пути культурного прогресса, так и Россия должна найти свое место в этом общем движении. Противопоставление «Англия — Франция» для Вольтера вписывается в оппозицию «чужое — свое». Для Карамзина все типы европейских культур в определенном смысле относятся к миру «чужого» («свое» — мир России — подразумевается, а не описывается). Но они же с некоторой другой точки зрения укладываются в понятие «своего», ибо Россия для Карамзина — часть Европы, и в каждом из европейских народов он находит некоторые черты, которые могли бы сходствовать с русской цивилизацией.

Размышления над соотношением единства цивилизации и прогресса, с одной стороны, и специфики национального типа, с другой — приближали к Карамзину вольтеровскую философию истории.

Перед Карамзиным были две концепции культуры, которые ассоциировались с двумя истолкованиями «начала» мира, акта творения. С позиции Руссо, мир выглядел как прекрасное, совершенное создание Природы. Начало его лежало далеко за пределами человеческой истории. Вторжение цивилизации в Природу возможно лишь как порча исконного прекрасного порядка. С позиции Вольтера, мир не может характеризоваться как совершенный, в нем заложены коренные недостатки: землетрясения, эпидемии, стихийные бедствия так же поражают мир Природы, как фанатизм, невежество и жестокость — мир человеческого общества. В этом отношении характерен спор между Вольтером и Руссо по поводу лиссабонского землетрясения. Вольтер увидал в нем страшное свидетельство несправедливости миропорядка, а Руссо — лишь гибельность искусственной цивилизации. Обвалы в горах и катастрофы в пустынях, говорил Руссо, не только не являются бедствиями, но проходят, как правило, незамеченными. Если бы зло цивилизации не собрало людей в противоестественную кучу, природный катаклизм не принес бы им большого вреда. С точки зрения Вольтера, лиссабонское землетрясение могло бы убедить человека, что Бог или не имеет сил, или лишен желания предотвратить мировое зло, т. е. что он или зол, или слаб. Ставя читателя перед этой дилеммой, Вольтер-деист не соглашался ни с тем, ни с другим решением. Выход он находил в представлении о том, что мир все еще находится в процессе творения и смотреть на него как на законченный неправомерно. Усовершенствование мира продолжается с помощью культурной деятельности человека, «обрабатывающего свой сад». Отсюда надежды на научно-технический прогресс, призванный победить зло Природы, и прогресс гуманности, который усовершенствует общество. Прогресс сделался для Вольтера своего рода верой, оказавшей огромное воздействие на весь ход последующей европейской мысли, включая и Гете и Карамзина. Полемика Карамзина с Руссо в первой части «Аглаи» несет на себе отчетливую печать аргументов Вольтера.

Для понимания позиции Карамзина существенно, что просветительский оптимизм, связанный с концепцией прогресса, был настолько глубок, часто превращаясь именно в символ веры, что мог выдерживать весьма жестокие удары реальности. В частности, события французской революции XVIII в. отнюдь не сразу и не легко освобождали просветителя от его оптимистических иллюзий, и он склонен был порой предпринимать для их сохранения усилия истинно героические. Напомним, что самая полная и аргументированная апология прогресса в духе философии истории Вольтера, проникнутая духом просветительского оптимизма, — трактат Кондорсе — писалась за несколько недель до трагической гибели автора, в дни, когда он скрывался от преследований якобинского трибунала, не имея возможности даже ночью покидать свое убежище. Прославляя неизбежность победы разума, Кондорсе отчетливо видел перед собой тень гильотины.

Говоря о соотношении концепции прогресса у Вольтера и Карамзина, следует отметить еще одну родственную черту. Вольтер был принципиальным противником законченных доктрин и учений, претендующих

на безусловную истинность. В них он видел зерно той нетерпимости, которую считал основным врагом гуманности и своим личным врагом. Скепсис и сомнение Вольтер рассматривал как школу терпимости, философскую гарантию от фанатизма. Между верой в прогресс Вольтера и Кондорсе имелось существенное различие: самые дорогие для себя идеи Вольтер сдабривал иронией, подмешивал к ним сомнение. Так, вера в поступательное движение человечества противоречиво сочеталась у него с горьким утверждением неизбывности человеческой глупости. В том, что вера и сомнение, просветительский оптимизм и просветительский пессимизм сополагались в его воззрениях, не сливаясь и не находя примирения, Вольтер видел не недостаток, а гарантию от догматизма и фанатизма. Эта черта воззрений Вольтера была близка Карамзину.

Путешествие Карамзина по Европе становится удобной сюжетной основой столкновения не только разных национально-психологических типов, но и различных идеологических концепций, которые противоречиво сополагаются без вынесения над ними окончательного авторского суда. Швейцария в значительной мере идет под знаком идей Руссо. Англия и Франция вносят коррективы, в значительной мере навеянные концепцией Вольтера. С явной ориентацией на Вольтера значительная часть «французских» писем Карамзина посвящена борьбе с фанатизмом, проповеди терпимости и — в прямой перекличке с автором «Генриады» — апологии Генриха IV. Тексты Вольтера были настолько известны читателю тех лет, что, вне всяких сомнений, Карамзин явно отсылал к ним русских поклонников «Писем русского путешественника», когда писал: «Я не хотел бы жить в улице *Ферронери*: какое ужасное воспоминание! Там Генрих IV пал от руки злодея — seul roi de qui le peuple ait gardé la mémoire,[97] писал Вольтер». Прямая ссылка на «Генриаду» дает ключ к следующей за ней развернутой апологии Генриха IV. Но рядом — более сложный случай: «Кучер мой остановился и кричал: „Вот улица де-ла-Ферронери!“ — „Нет, — отвечал я, — ступай далее!“ Я боялся вытти и ступить на ту землю, которая не провалилась под гнусным Равальяком». Смысл этих слов был до конца ясен лишь читателю, который помнил рассуждение в «Философском словаре» Вольтера (статья «Frivolité»): «Кто мог бы пройти по улице де ла Ферронери, не пролив слез и не содрогнувшись от ужаса от тех отвратительных и священных принципов, которые вонзили нож в сердце лучшего из людей и величайшего из королей <...> К счастью, люди столь легкомысленны, столь суетны, столь погружены в настоящее, столь нечувствительны к прошлому, что из десяти тысяч едва ли найдутся двое-трое, кто предастся таким размышлениям». Карамзин явно хотел доказать своим читателям, что он не «frivole», а чувствителен и не относится к десяти тысячам легкомысленных парижан. Соединение легкомыслия и жестокости как черту национального характера французов Вольтер будет неоднократно подчеркивать

[97] Единственный король, память о котором народ сохранил (*франц.*). Подробнее о проблеме «Карамзин и Вольтер» см.: *Заборов П. Р.* Вольтер в России. Л., 1978.

в период борьбы с судьями Каласа и дю Белле. Эта мысль в значительной мере станет для Карамзина ключом для характеристики парижанина.

Англия для Вольтера — царство просвещения, семейных добродетелей, чувствительности и роскоши, с одной стороны, и мир эгоизма, грубых нравов, торгового расчета — с другой. Такой ее в значительной мере видит и Карамзин. Однако увлечение английской философией и английскими законами не находит у него отклика.

Так складываются те запасы идей и концепций, которые превращают бесхитростный по внешности перечень путевых впечатлений в единство, обладающее композиционной организацией.

*

* *

Итак, перед нами имитация писем частного лица, «русского путешественника», непритязательно описывающего свои дорожные впечатления. Однако, как мы видели, под этим пластом вскрывается более глубинный: с одной стороны, частная жизнь человека и жизнь его сердца раскрывается как средоточие культурного движения, завоевание цивилизации и осьмогонадесять века, с другой — сквозь эпизоды частной жизни путешественника постоянно просвечивает огромная толща многовековой культуры, неизменно присутствующая в сознании автора.

Однако в книге Карамзина есть и еще более глубокий композиционный пласт. В кругу друзей Карамзина прозвали «лорд Рамзей».[98] Прозвище это не было, конечно, случайно: в дружеском кружке Плещеевых—Кутузова—Петрова—Карамзина усматривалось какое-то сходство между франко-шотландским писателем А. М. Рамзеем и Карамзиным. Прозвище Карамзина, видимо, намекало на увлечения Рамзея планами слияния масонского братства с союзом людей искусства, которые, объединившись вместе, преобразуют человечество.[99] Скептический, насмешливый герой Виланда Агатон был, вероятно, антиподом энтузиастическому Рамзею. Но «лорд Рамзей», конечно, хорошо знал и главное, прославленное произведение своего «тезки» — дважды переведенный в XVIII в. на русский

---

[98] В исследовательской литературе прозвище «Рамзей» часто именуют «масонским именем» Карамзина — это явная ошибка. Карамзин в масонстве не достиг степени более высокой, чем «брата», по простой иоанновской системе, а масонские имена давались лишь в сокровенных высших степенях (например, все московские розенкрейцеры получили орденские имена, хотя в большинстве отнеслись к этому ритуальному новшеству иронически). Имена эти представляли собой латинские рыцарские девизы и были тайными. Прозвание же «лорд Рамзей» ничего общего не имело с ними по форме и было известно оппозиционным по отношению к масонству друзьям Карамзина — Плещеевым. Это было такое же кружковое прозвание, каким сделалось для А. А. Петрова имя Агатона.

[99] См.: *Cheral A.* Un avanturier religieux au XVIII siècle A.-M. Ramsey. Paris, 1926.

язык роман о воспитательном путешествии юного Кира.[100] Роман этот, дополнявший известную «Киропедию» Ксенофонта, был написан в традиции «Путешествия Телемака» Фенелона, другом и поклонником которого был Рамзей. Роман Рамзея построен как путешествие ищущего мудрости юного Кира. Странствие его имеет философский и педагогический характер: он путешествует от мудреца к мудрецу и от одной политической системы к другой, посещает суровую добродетельную Спарту и роскошные, цветущие искусствами Афины. Зароастр и Пифагор научают его таинственным знаниям, а у финикийцев он удивляется благодетельному воздействию торговли на общежитие.

Карамзин относился отрицательно к традиции политико-педагогического романа Фенелона. Однако схема такого романа отчетливо просматривается в «Письмах русского путешественника»: путешествие от мудреца к мудрецу, от одной формы «гражданства» к другой, размышления о вольности, искусствах, торговле, перечисление памятников искусства и культуры. Существенным при этом было, что данная глубинная схема противоречила и герою — «вояжору» и моднику, не условно-схематическому, а наделенному слабостями «чувствительного человека», и современной обстановке повествования, и его концовке: путешествие завершается не обретением истины, а сознанием ее призрачности и неоднозначности. Однако этот поверхностный слой не отменяет глубинного: они сосуществуют, воздействуя друг на друга. С одной стороны, частный, интимный, человеческий облик повествования ощущается резче на фоне глубинной традиции обобщенного политического романа. С другой — стершаяся уже и перешедшая в массовую литературу схема фенелоновско-рамзеевской идеологической и композиционной структуры оживает под влиянием включения в чуждую ей традицию, снова становится эстетически активной, придавая повествованию Карамзина философскую значимость без претензии на философию. Такая установка была сознательной. Начиная публикацию «Писем русского путешественника» в первом номере «Московского журнала», Карамзин дал программную рецензию на «философский роман» Хераскова «Кадм и Гармония». Здесь он писал: «Философ — не Поэт, пишет моральныя диссертации, иногда весьма сухия; Поэт сопровождает мораль свою пленительными образами, живит ее в лицах и производит более действия».[101]

Однако эта же рецензия намекнула на еще более глубинную традицию, просматривающуюся сквозь путевые письма русского путешественника. Критика Фенелона и его традиции в русской литературе второй половины XVIII в. шла по линии «освобождения» гомеровской основы его сюжета от модных французских наслоений «галантного века». Именно в этом направлении работала мысль Тредиаковского, когда он

[100] Новое Киронаставление, или путешествия Кировы <...> соч. г. Рамзеем, с франц. на росс. язык пер. Авраам Волков. Ч. 1—2. М., 1765; Новая Киропедия, или Путешествия Кировы <...> соч. Андреем Рамзеем. Ч. 1—2. Изд. 2-е, испр. с англ. подлинника. Иждивением Типографической компании. М., у Н. Новикова, 1785 (перевод А. Волкова, исправленный по подлиннику С. С. Бобровым).

[101] Моск. журн., 1791, ч. 1, кн. 1, с. 80.

превратил роман Фенелона в написанную гекзаметрами поэму. Карамзин — совсем другим путем — идет к аналогичной цели: простая современная жизнь в ее патриархальных проявлениях ближе к миру Гомера, чем создания французских романистов. «Кто не знает Телемака Гомерова и Телемака Фенелонова? Кто не чувствует великой разности между ими? Возьми какого-нибудь пастуха — Швейцарского или Русского, все равно, одень его в Греческое платье и назови его сыном Царя Итакского: он будет ближе к Гомерову Телемаку, нежели чадо Фенелонова воображения, которое есть ничто иное, как идеальный образ царевича Французского, ведомого не Греческою Минервою, а Французской Философиею».[102] Поскольку неприкрашенная современность ближе к исконной древности, чем «философское столетие», «Письма русского путешественника» подразумевали глубинное соотношение и с сюжетом античного эпического путешествия, а сам «путешественник» получал еще добавочную смысловую подсветку.

«Письма русского путешественника» включаются в поиски нового литературного эпоса. Как «Тилемахида» относится к переводу «Илиады» Гнедича, «Письма русского путешественника» относятся к «Истории государства Российского».

*

* *

«Письма русского путешественника» — этап не только в развитии русской литературы и общественной мысли, но и в истории русского литературного языка. Лингвистическая программа Карамзина является органической частью его общеидеологической позиции. Как литературная, так и языковая деятельность Карамзина непосредственно связаны с западноевропейским культурным влиянием. В лингвистическом аспекте это проявляется в стремлении организовать русский литературный язык по подобию литературных языков Западной Европы, т. е. поставить литературный язык в такое же отношение к разговорной речи, какое имеет место в западноевропейских странах. Иными словами, дело идет о *стремлении перенести на русскую почву западноевропейскую языковую и литературную ситуацию*; непосредственным образцом при этом служит французский литературный язык. Отсюда закономерно следует принципиальная установка на разговорную речь, т. е. на естественное употребление (usus loquendi), а не на искусственные книжные нормы (usus scribendi). Выдвигая в статье «Отчего в России мало авторских талантов?» (1802) программное требование «писать как говорят», Карамзин прямо ссылается на «французов», т. е. на пример французского литературного языка: по его словам, «Французский язык весь в книгах <...> а Русской только отчасти: Французы пишут как говорят, а Русские обо многих предметах должны еще говорить так, как напишет человек с талантом».[103]

[102] Там же, с. 99.
[103] *Карамзин, III*, с. 529.

Таким образом, в идеале разговорная речь и литературный язык должны слиться, но основная роль при этом принадлежит именно разговорной стихии как естественному началу в языке.

Такой подход не исключает создания неологизмов (необходимых для выражения тех или иных понятий, заимствуемых из западных языков), но и само создание неологизмов в конечном счете мотивируется ссылкой на западноевропейскую языковую ситуацию — в данном случае на опыт немецкого языкового строительства. В письме к Ш. Бонне от 22 января 1790 г., помещенном в «Письмах русского путешественника», Карамзин пишет: «Надобно будет составлять или выдумывать новыя слова, подобно как составляли и выдумывали их Немцы, начав писать на собственном языке своем».[104] Однако усвоение неологизмов в принципе также предполагает апробацию в разговорной речи — или же критерий в к у с а (языкового чутья), который по идее должен быть функционально эквивалентен апробации такого рода.[105]

Следует вообще оговориться, что карамзинисты ориентируются не на реальную, а, так сказать, на идеальную разговорную речь, апробированную критерием вкуса (это соответствует принципиальной утопичности идеологической позиции Карамзина, о которой мы уже говорили в начале данной статьи). «...Русские обо многих предметах должны еще говорить так, как напишет человек с талантом», — признается Карамзин, а его последователь П. И. Макаров замечает в рецензии на перевод романа Жанлис: «...надобно иногда писать так, как должно бы говорить, а не так, как говорят».[106] Такая позиция, понятно, допускает известное несовпадение литературного языка и разговорной речи, — которое, однако, никоим образом не обусловлено их принципиальным противопоставлением. Речь идет, напротив, о модификации и совершенствовании разговорной речи как средства создания литературного языка.

---

[104] Ср. это место во французском оригинале: «Il faudra faire de nouvelles compositions, et même créer de nouveaux noms, ce que les Allemands ont été obligés de faire, quand ils sont commencé à écrire en leur langue». См.: наст. изд., с. 170—171.

[105] Предложение Карамзина в этом отношении не оригинально: ср., например, в «Кошельке» Н. И. Новикова (1774, л. 1) обсуждение возможности «с крайнею только осторожностию употреблять иностранные речения», а вместо этого «отыскивать коренные слова российские и сочинять вновь у нас не имевшихся, п о п р и м е р у н е м ц е в», причем специально подчеркивается, что «сие утвердиться не может, если не будет такая же строгость наблюдаема и в обыкновенном российском разговоре» (см.: Сатирические журналы Н. И. Новикова («Трутень», 1769—1770, «Пустомеля», 1770, «Живописец», 1772—1773, «Кошелек», 1774). Ред., вступ. статья и коммент. П. Н. Беркова. М.—Л., 1951, с. 478—479). Эти предложения опираются вообще на достаточно устойчивую традицию калькирования немецких слов, ср.: *Тихонравов Н. С.* Русские драматические произведения 1672—1725 годов, т. 1. СПб., 1874, с. XXI; т. 2, Примечания, с. 550—554; *Виноградов В. В.* Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв. Изд. 2-е. М., 1938, с. 29—30; *Лотман—Успенский*, с. 210. — Как выяснили исследования относительно недавнего времени, многие неологизмы, по традиции приписываемые Карамзину, существовали уже и до него; роль Карамзина в создании неологизмов нуждается вообще в радикальной переоценке (см.: *Hüttl-Worth G.* Die Bereicherung des russischen Wortschatzes im XVIII. Jahrhundert. Wien, 1956).

[106] Моск. Меркурий, 1803, ч. 4, с. 122.

Подобный подход закономерно обусловливает повышение роли индивидуального творчества в процессах формирования и эволюции языка: в частности, эволюция литературного языка оказывается связанной с модой — через индивидуальное начало. Нетрудно усмотреть идейную связь этой концепции литературного языка с характерным для Карамзина пониманием натуры как «изящной украшенной природы»,[107] что придает своеобразный смысл той установке на естественность, которую вообще декларирует Карамзин. Эстетизация природы подразумевает взгляд на естественное через призму искусственных текстов: так, пейзаж просматривается сквозь литературное его описание, великий человек современности — через литературный образ великого человека прошлого и т. п. Применительно к языку это означало бы облагораживание естественного употребления сквозь призму некоторой сложившейся языковой нормы. Но поскольку такой традиции не было, подчеркивалась роль моды, которая в отличие от культурных текстов давала образцы не прошлого, а будущего употребления.

Критерий вкуса имеет принципиальное важное значение в эстетике Карамзина и в его подходе к лингвистическим проблемам.[108] Вкус понимается как «некоторое *эстетическое чувство,* нужное для любителей Литтературы» («Цветок на гроб моего Агатона», 1793),[109] опирающееся

---

[107] Ср., например, стихотворение «Дарования» (1796), где, обращаясь к Поэзии, Карамзин восклицает:

Натуры каждое явленье
И сердца каждое движенье
Есть кисти твоея предмет;
Как в светлом, явственном кристале,
Являешь ты в своем зерцале
Для глаз другой, прекрасный свет;
И часто прелесть в подражаньи
Милее, чем в Природе, нам:
Лесок, цветочек в описаньи
Еще приятнее очам.

Эту строфу автор снабжает следующим подстрочным примечанием: «Все прелести изящных Искусств суть не что иное, как подражание Натуре: но копия бывает иногда лучше оригинала, по крайней мере делает его для нас всегда занимательнее: мы имеем удовольствие сравнивать» (*Карамзин Н. М.* Полн. собр. стихотворений, с. 219). В другом стихотворении того же времени («К бедному поэту») Карамзин писал:

Непроницаемым туманом
Покрыта истина для нас.
Кто может вымышлять приятно,
Стихами, прозой, — в добрый час!
Лишь только б было вероятно.
Что есть поэт? искусный лжец:
Ему и слава и венец!

(Там же, с. 195)

[108] Ср.: *Левин В. Д.* Очерк стилистики русского литературного языка конца XVIII—начала XIX в. (Лексика). М., 1964, с. 122—126.

[109] *Карамзин, III*, с. 361—362.

на интуицию и «неизъяснимое для ума» («Речь, произнесенная в <...> Российской Академии», 1818);[110] такое понимание противопоставляет «естественный вкус» просветительскому рационализму XVIII в. Изменяемость вкуса («вкус изменяется и в людях и в народах», — см. там же) оправдывает изменение как литературы, так и литературного языка, и это определяет отношение к языковому прогрессу. Изменения языка признаются естественным и неизбежным процессом и объясняются «естественным беспрестанным движением живого слова к дальнейшему совершенству» (там же).[111] «Удержать язык в одном состоянии не возможно: такого чуда не бывало от начала света», — писал в этой связи П. И. Макаров, полемизируя с Шишковым (в рецензии на «Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка» Шишкова). — «Придет время, когда и нынешний язык будет стар».[112]

*

* *

Итак, языковая программа карамзинизма предполагает принципиальную установку на узус, а не на стабильную норму. Литературный язык в принципе ориентируется на разговорную речь и подчиняется ей в своем развитии. Естественным следствием такой установки является стремление избавиться от специфических книжных элементов, поскольку они осмысляются как таковые, — иначе говоря, от славянизмов, неупотребительных в разговорном общении и возможных лишь в письменном тексте.[113]

При этом необходимо подчеркнуть, что то, что самими карамзинистами осмыслялось как сближение литературного языка с разговорной речью, языком общества, неизбежно понималось их противниками как отказ от национальной литературной традиции. Для Шишкова, в частности, язык общества вообще «не имел никакого отношения к языку литературы. Сама постановка вопроса об их взаимовлияниях лишена была для него смысла»;[114] такой же подход характерен в общем и для дру-

---

[110] Там же, с. 646.

[111] Там же, с. 644.

[112] Моск. Меркурий, 1803, ч. 4, с. 162—163.

[113] Поскольку понятие «славянизма» приобретает при этом чисто функциональный смысл, отношение к конкретным лексическим славянизмам может довольно существенно варьироваться у разных авторов и в разные периоды. Об эволюции понятия славянизма во второй половине XVIII—начале XIX в. см.: *Замкова В. В.* Славянизм как термин стилистики. — В кн.: Вопросы исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских языков. К 80-летию члена-корреспондента АН СССР С. Г. Бархударова. М., 1974; ср. также: *Лотман—Успенский.* Ср. о славянизмах у Карамзина: *Ковалевская Е. Г.* Славянизмы и русская архаическая лексика в произведениях Н. М. Карамзина. — Учен. зап. Ленингр. пед. ин-та им. Герцена, 1958, т. 173; *Левин В. Д.* Очерк стилистики..., с. 245, 255 и сл., 295 и сл., ср. также с. 315—316.

[114] *Левин В. Д.* Традиции высокого стиля в лексике русского литературного языка первой половины XIX в. — В кн.: Материалы и исследования по истории русского литературного языка, т. 5. М., 1962, с. 187. — Полемизируя со статьей

гих «архаистов». Если в свое время разговорная речь не входила в систему литературного языка и осмыслялась как нечто прямо ему противоположное (такое понимание и сохраняется у Шишкова и его партии), то теперь, согласно концепции карамзинистов, она оказывается включенной в стилистический диапазон литературного языка.[115] Соответственно, если ранее понятия «книжного» и «литературного» языка в общем совпадали по своему содержанию, то теперь «книжный» язык приобретает новое, а именно более узкое значение по сравнению с «литературным» языком. «Книжное» начинает пониматься как то, что относится к литературному языку, но при этом невозможно в разговорной речи. В этом именно смысле карамзинисты борются с книжным языком: так, карамзинист П. И. Макаров, развивая мысль Карамзина, призывает в уже упоминавшейся рецензии на книгу Шишкова «писать как говорят, и говорить как пишут <...> чтобы совершенно уничтожить язык книжной».[116] Речь идет при этом по существу не столько о борьбе непосредственно с церковнославянской языковой стихией, сколько вообще о борьбе с теми языковыми средствами, которые нельзя применять в разговорной речи. Поскольку, однако, в точности таким же образом карамзинисты могут понимать и «славянизмы» — а именно, как слова, невозможные в разговорной речи,[117] — постольку понятия «книжного» и «славенского» для них совпадают. В результате антитеза «разговорного» и «книжного» соответствует антитезе «русского» и «славенского».[118]

«Отчего в России мало авторских талантов?», где Карамзин ссылается на французов и призывает писать, как говорят, и говорить, как пишут, Шишков замечает: «Расинов язык не тот, которым все говорят, иначе всякой бы был Расин» ([*Шишков А. С.*]. Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка. Изд. 2-е. СПб., 1818, с. 159).

[115] Весьма характерен протест Шишкова против стилистического нормирования разговорной речи. Отвечая на критику П. И. Макарова, Шишков писал в своих «Примечаниях на критику, изданную в „Московском Меркурие"...»: Макаров «думает, что мы разговариваем между собою простым, средним и высоким языком! Признаться, что я о таком разделении разговоров наших на различные слоги отроду в первый раз слышу» (Собр. соч. и переводов адмирала Шишкова, ч. 2. СПб., 1824, с. 432). Как отмечает В. В. Виноградов, «Шишков склонен относиться к устной стихии как к некоторому субстанциональному единству, которое строится на принципиально иных основах, чем язык литературы» (*Виноградов В. В.* Очерки по истории..., с. 199).

[116] Моск. Меркурий, 1803, ч. 4, с. 180.

[117] Шишков не без основания отмечал в «Рассуждении о красноречии Священного Писания...», что карамзинисты основываются «на том мечтательном правиле, что которое слово употребляется в обыкновенных разговорах, так то Руское, а которое не употребляется, так то Славенское» (Собр. соч. и переводов адмирала Шишкова, ч. 4. СПб., 1825, с. 58).

[118] Соответственно в своей рецензии на прозаический перевод поэмы Ариосто «Неистовый Роланд» Карамзин писал: «Слог нашего Переводчика <П. С. Молчанова> можно назвать изрядным; он не надут славянщизною и довольно чист» (Моск. журн., 1791, ч. 2, с. 324); итак, чистота стиля связывается с отсутствием славянизмов. В рецензии на перевод «Клариссы» Ричардсона Карамзин иронически упоминал о «моде, введенной в Руской слог *големыми претолковниками NN., иже отревают все, еже есть Руское, и блещаются блаженне сиянием славяномудрия*» (Моск. журн., 1791, ч. 4, с. 112); слово *големый* в этой фразе представляет собой, вероятно, отклик на «Лирическое послание» Н. П. Николева, где употреблено это

Одновременно претерпевает изменение и понимание «литературы», ее объема и задач: если ранее *литература* означала «образованность», «ученость», «письменность» в широком смысле (в соответствии с этимологией этого слова, ср. homo litteratus — «грамотный, образованный человек»), то с 80-х гг. XVIII в. литература начинает пониматься как «изящная словесность» (belles-lettres). При этом слово *литература*, оказываясь равнозначным слову *словесность*, вытесняет у карамзинистов это последнее и начинает восприниматься вообще как галлицизм (ср. франц. littérature < латин. litteratura), вызывая нападки литературных противников Карамзина (см., например, возражения Шишкова).[119] Тем самым если ранее «литература» не противопоставлялась «науке» и «литературные» тексты включали в себя научные, то постепенно эти понятия приобретают почти антагонистический смысл; вопрос об отличии писателя от ученого и о специфике художественной литературы, отличающей ее от научного текста, впервые в России поднимается в статье Карамзина 1791 г., посвященной херасковскому «Кадму и Гармонии».[120] Противопоставляя в статье «Нечто о науках, искусствах и просвещении» 1793 г. «полезные искусства» и «изящные ‹или: приятные› искусства», Карамзин связывает первые со свойственным человеку стремлением «жить покойно», а вторые — с желанием «жить приятно»;[121] таким образом, наука связывается прежде всего с прагматикой и оказывается вне эстетических критериев, которые принадлежат исключительно компетенции «изящных искусств», в частности литературы. Характерно, что если в первоначальной редакции «Писем русского путешественника» (1791)

слово (Новые ежемесячные сочинения, 1791, № 6, с. 33); ср. полемику И. И. Дмитриева и Николева относительно данного слова (см.: *Арзуманова М. А.* Из истории литературно-общественной борьбы 90-х годов XVIII в. (Н. П. Николев и Н. М. Карамзин). — Вестн. ЛГУ, 1965, № 20. Сер. истории, языка и литературы, вып. 4, с. 74). (Несколько менее показательны аналогичные замечания Карамзина по поводу славянизмов в пьесах, поскольку речь идет в данном случае не столько о стилистике, сколько о требовании реалистичности диалогической речи, — см., например: Моск. журн., 1791, ч. 1, с. 232—233, 357). Ср. также критические возражения Карамзина, касающиеся конкретных славянизмов, цитируемые у Виноградова (*Виноградов В. В.* 1) Язык Пушкина. Пушкин и история русского литературного языка. М.—Л., 1935, с. 47; 2) Очерки по истории..., с. 175) или Левина (Левин *В. Д.* Очерк стилистики..., с. 86—87, 200—201).

[119] [*Шишков А. С.*] Рассуждение о старом и новом слоге..., с. 296—297, примеч.; ср.: *Биржакова Е. Э., Войнова Л. А., Кутина Л. Л.* Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII века. Языковые контакты и заимствования. Л., 1972, с. 161—162; *Веселитский В. В.* Отвлеченная лексика в русском литературном языке XVIII—начала XIX в. М., 1972, с. 221—224.

[120] Моск. журн., 1791, ч. 1, с. 80 и сл.; ср.: *Берков П. Н.* История русской журналистики XVIII века. М.—Л., 1952, с. 510.

[121] *Карамзин, III*, с. 381. — Вместе с тем в стихотворении «Дарования» (1796) Карамзин писал:

> Посредством милых Граций, Муз,
> *Приятность* с *пользой* заключила
> Навеки дружеский союз.
>
> (*Карамзин Н. М.* Полн. собр. стихотворений, с. 218)

Карамзин пользуется выражением «изящные науки» для передачи значения французского beaux-arts,[122] то в последующих изданиях Карамзин может заменять *Изящные Науки* на *Изящные Искусства*;[123] соответствующая правка относится к 1797 г., т. е. появляется уже в первом отдельном издании «Писем».[124]

При этом противопоставление науки и литературы у карамзинистов находит соответствие в противопоставлении книжного и литературного языка: литературный язык призван обслуживать именно литературные тексты, тогда как книжный язык может употребляться в текстах научных и им подобных. Характерно, что когда Карамзин выступил со своей «Историей государства Российского», язык которой по сравнению с другими карамзинскими сочинениями должен быть квалифицирован как архаический, ее появление было воспринято противоположной партией как отказ от принципов «нового слога» и возвращение к предшествующей традиции. Шишков писал, например, в «Сравнении Сумарокова с Лафонтенем...», что Карамзин в «Истории государства Российского» хотя и «не образовал язык, но возвратился к нему, и умнó сделал».[125] Это мнение, как ни странно, разделяется и одним из самых проницательных исследователей литературно-языковой полемики начала XIX в. — Ю. Н. Тыняновым. «Не очень распространен <...> тот факт, — говорит Тынянов, — что не Карамзин победил Шишкова, а, напротив, Шишков Карамзина. По крайней мере в 20-х и 30-х годах было ясно многим, что в „Истории государства Российского" Карамзин сдал свои стилистические позиции своим врагам».[126] Вряд ли можно с этим согласиться: необходимо помнить, что «История государства Российского» не является литературным произведением в традиционном смысле этого слова (хотя и создало целую литературную традицию и могло восприниматься современниками как sui generis произведение художественное) — и именно в силу этого обстоятельства, с позиции карамзинистов, здесь вполне оправдано применение специфических книжных языковых средств. То, что было воспринято сторонниками Шишкова как победа, на самом деле входило в программу «нового слога».

*

* *

Установка на разговорную речь определяет социолингвистический аспект языковой программы карамзинизма. В самом деле, противопоставление письменного и разговорного языка проявляется, в частности, в том, что первый имеет принципиально наддиалектный характер, тогда как вто-

---

[122] Моск. журн., 1791, ч. 2, с. 23.

[123] См. наст. изд., с. 40, 410.

[124] Выражение *изящные Искусства* можно встретить у Карамзина уже в стихотворении «Дарования» 1796 г. (см.: *Карамзин Н. М.* Полн. собр. стихотворений, с. 219, примеч. 1).

[125] Собр. соч. и переводов адмирала Шишкова, ч. 12. СПб., 1828, с. 168.

[126] См. предисловие Ю. Н. Тынянова в кн.: *Кюхельбекер В. К.* Дневник. Л., 1929, с. 4. Ср. также: *Тынянов Ю. Н.* Архаисты и новаторы. Л., 1929, с. 292—293.

рому свойственно диалектное дробление (на географические или социальные диалекты): первый стремится к единообразию, второй — к дифференциации. В том случае, когда литературный язык отчетливо противопоставляет себя разговорной речи, одни и те же нормы правильной речи призваны объединять самые разные слои общества (при том что степень владения соответствующими нормами может существенно различаться в разных социальных группах); напротив, ориентация литературного языка на разговорную речь естественно связывается с речевыми навыками определенного социума. Соответственно с отказом от единых критериев языковой правильности (объединяющих все общество в целом) закономерно возникает проблема *социального престижа* тех или иных речевых навыков: социальная норма выступает при этом как субститут книжной.

Язык карамзинистов явно ориентируется на разговорную речь светского общества или, иными словами, на социальный диалект дворянской элиты. В статье «Отчего в России мало авторских талантов?» Карамзин ссылается прежде всего на речь «лучших домов», т. е. beau monde'а, рассматривая совершенствование этой речи как необходимое условие создания литературного языка; по мысли Карамзина, «Автору надобно иметь не только собственно так называемое дарование <...> но и <...> тонкой вкус и знание света»; «хорошие Авторы» появятся в России только тогда, когда «увидим между светскими людьми более ученых, или между учеными более светских людей».[127] По словам ближайшего сподвижника Карамзина, И. И. Дмитриева, Карамзин «по зрелом размышлении пошел своей дорогой и начал писать языком, подходящим к *разговорному образованного общества* семидесятых годов» («Взгляд на мою жизнь»).[128] Между тем противник карамзинизма, Н. А. Полевой, писал о карамзинистах: «Эта школа не так многочисленна печатно, как словесно, и не столько действует она в литературе, сколько в так называемом лучшем обществе».[129] Ср. в этой связи также призыв П. И. Макарова согласовать «книжный язык» «с языком хорошего общества» («Некоторые мысли издателей Меркурия»).[130] Соответственно, полемизируя с Шишковым, П. И. Макаров предлагает последнему попробовать перевести на «старый слог» разговоры «большого света» и таким образом проверить качество того языка, сторонником которого является Шишков.[131]

---

[127] *Карамзин, III*, с. 528, 527, 531.

[128] *Дмитриев И. И.* Соч. Ред. и примеч. А. А. Флоридова, т. 2. СПб., 1893, с. 61.

[129] *Сухомлинов М. Н.* История Российской Академии, вып. 8. СПб., 1888, с. 348.

[130] Моск. Меркурий, 1803, ч. 1, с. 10. — Выражение *книжный язык* в данном случае означает «литературный язык».

[131] В рецензии на книгу Шишкова «Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка» Макаров писал: «Вместо жалоб, что мы не любим своих обычаев, лучше бы приложить несколько переводов из тех Французских романов, которые наполнены разговорами большого света; или из тех легких сочинений, какими замысловатая Вольтерова Муза пленяла любезных Парижских Граций: тогда Читатели уверились бы, что старинный наш язык достаточен для выражения каждой мысли. Естьли же таких сочинений перевести не возможно, то по крайней мере надлежало бы доказать, что мы, переняв образ жизни чужестранной и желая

Отсюда ясно, что языковая полемика «архаистов» («славянофилов») и «новаторов» (карамзинистов) имеет отчетливо выраженный социальный характер. Так, карамзинисты могут вести борьбу с церковнославянской языковой стихией под знаменем борьбы с «подьяческим» или «семинарским» языком, эксплицитно переводя языковую полемику в социолингвистический план: славянизмы осмысляются как семинаризмы или речевые признаки приказного сословия, т. е. книжный язык фактически переосмысляется в социолингвистической перспективе в своего рода сословный жаргон.[132] Соответственно одни и те же оценочные характеристики могут иметь существенно различный смысл у карамзинистов и у их литературных противников: если у первых они выступают как социолингвистические оценки, то у вторых они фигурируют безотносительно к социальному расслоению общества. Такие эпитеты, как *благородный, простонародный* и т. п., применительно к характеристике языка (слога) употребляются в карамзинистской критике исключительно как социолингвистические оценки: эпитет *благородный* относится к языку светского общества, *простонародный* — к языку низших сословий. Между тем для Шишкова и его сторонников эпитет *благородный* в качестве стилистической характеристики равносилен «важному, высокому, книжному», тогда как *простонародное* может относиться к разговорному началу, характеризуя разговорную речь всех слоев общества, включая сюда и представителей светской элиты.[133]

Итак, установка карамзинистов на разговорную речь предполагает ориентацию на речевые нормы элитарного общества. Мы знаем об этих нормах главным образом по их утрированным, карикатурным изображениям в сатирической литературе второй половины XVIII—начала XIX в., где они обычно именуются «щегольским наречием».[134] Если отвлечься от преднамеренного сатирического утрирования и ряда стереотипных приемов изображения щеголя-петиметра, «щегольское наречие» и может рассматриваться как дворянский социальный диалект в его специфических формах; иначе говоря, речь дворянства — постольку, поскольку она не нейтральна, социально маркирована, т. е. противостоит (и в известных случаях сознательно противопоставляется) речи всего остального русского общества. Естественно, что эти специфические формы

показывать то же остроумие, каким блистают другие народы, не имеем однакож надобности изъяснять понятий других народов» (Моск. Меркурий, 1803, ч. 4, с. 178—179).

[132] По всей видимости, именно в результате этого процесса появляется отрицательно-ироническое значение славянизмов в литературном языке — например, таких, как *пресловутый, оглашенный, осклабиться, распинаться* и т. п.

[133] См.: *Лотман—Успенский*, с. 243—245, 223, 232.

[134] Вместе с тем внимательный анализ под соответствующим углом зрения позволит, можно думать, обнаружить декларации о языке, написанные с позиции самой «щегольской» культуры. Отметим в этой связи «Опыт о языке во обще, и о Российском языке» неизвестного автора из Ярославля, опубликованный в октябрьском выпуске «Собрания новостей» за 1775 г., который написан, возможно, именно с этих позиций.

общения в первую очередь характерны для столичных салонов и отличаются прежде всего гетерогенностью, обусловленной влиянием со стороны западноевропейских языков: именно европеизмы, в первую очередь галлицизмы (заимствования и кальки), и создают наиболее очевидный социолингвистический барьер между речью дворян и речью остальных слоев общества.[135]

По словам В. В. Виноградова, «изучение „наречия" „щеголей" и „щеголих" конца XVIII века нельзя отделять от вопроса о светском языке русской дворянской интеллигенции (столичной и находящейся под влиянием столиц — провинциальной), которая, разрывая связи с традициями церковной книжности, питалась французской „культурой" <...> Не будет парадоксальным утверждение, что диалект „щеголей" и „щеголих" XVIII века стал одной из социально-бытовых опор литературной речи русского дворянства конца XVIII—начала XIX веков».[136]

Упорная — и, видимо, безуспешная — борьба с «щегольским наречием» в литературе второй половины XVIII—начала XIX в., может быть, ярче всего указывает на значимость этого феномена как культурно-исторического явления. Во всяком случае влияние «щегольского наречия» отчетливо прослеживается в современном литературном языке, и это позволяет констатировать определенную разговорную традицию, которая первоначально была характерной исключительно для дворянского beau monde'а, а затем стала общим достоянием. Если такие, например, слова, как *интересный* (в значении «любопытный», «занимательный», но не «выгодный», «прибыльный»), *серьезный, развязный*, — в свое время одиозные (социолингвистически маркированные) и характерные для стилизованной речи галломанов-петиметров в сатирической литературе XVIII в. — вошли в русский литературный язык как нейтральные выражения и совсем не ощущаются здесь как гетерогенные элементы, то мы обязаны этим именно традиции разговорной речи, идущей от «щеголь-

---

[135] Это явление было в значительной мере обусловлено перенесением немецкой языковой ситуации на русскую почву. Галломания русского дворянского общества второй половины XVIII в. с известным правом может рассматриваться вообще как отражение языковой ситуации при немецких дворах: действительно, французско-русский макаронизм русской светской речи очень близко соответствует французско-немецкому макаронизму немецкого языка «эпохи модников» (à la mode-Zeit). Таким образом, если субъективно русские петиметры были ориентированы на французский язык и французскую культуру, то фактически они могли просто импортировать немецкую языковую ситуацию: немецкая языковая культура выполняла роль актуального посредника в русско-французских контактах. Ср. в этой связи позднее у Кюхельбекера в «Обозрении Российской словесности 1824 года» объединение «Германо-Россов и Русских Французов», которые противопоставляются «Славянам», т. е. сторонникам Шишкова (см.: Литературные портфели, 1. Л., 1923, с. 74); полагаем, что при этом может иметься в виду не только литературная позиция (так, под «Германо-Россом» может подразумеваться, например, Жуковский, а под «Русским Французом» — Батюшков и т. п.), но и позиция языковая, которые вообще неразрывно слиты в литературно-языковом сознании того времени и особенно в сознании Кюхельбекера.

[136] *Виноградов В. В.* Язык Пушкина. Пушкин и история русского литературного языка, с. 195—196.

ского наречия».[137] Это влияние не ограничивалось лексикой, распространяясь также на синтаксис и фонетику.[138] Значительная роль в адаптации соответствующих выражений и конструкций принадлежит именно карамзинистам, деятельность которых в определенной степени и узаконила данную традицию.

Связь карамзинизма с «щегольской» культурой не ограничивается социолингвистическим аспектом и проявляется даже в личном поведении. Целый ряд карамзинистов — начиная от самого Карамзина в молодости, а также таких типичных представителей этого движения, как П. И. Макаров, П. И. Шаликов или В. Л. Пушкин, — могли восприниматься как «щеголи».[139] Во всяком случае бытовая речь Карамзина несла на себе явный отпечаток «щегольского наречия».[140] Черты «щегольского наречия» могут быть прослежены и в литературном творчестве карамзинистов, прежде всего в первом (журнальном) варианте «Писем русского путешественника». Уже первая фраза «Писем»: «Расстался я с вами, милые, расстался!» — должна была служить своеобразным сигналом, задавая тон всему сочинению и соответствующим образом ориентируя читателя: слово

---

137 Конкретные примеры такого рода можно значительно умножить. См., в частности: *Лотман—Успенский*, с. 248—250, 282—284 (примеч. 9, 13), 285 (примеч. 17), 286—287 (примеч. 20), 289—290 (примеч. 28, 30), 291 (примеч. 37), 292—294 (примеч. 45, 46), 294—295 (примеч. 52, 59), 297—298 (примеч. 67, 71), 299 (примеч. 83), 301—302 (примеч. 103), 306 (примеч. 124), 310—311 (примеч. 150), 315 (примеч. 185), 319 (примеч. 213).

138 Ср. примеры синтаксических галлицизмов, вошедших в литературный язык, у А. В. Исаченко в его работах «Какова специфика литературного двуязычия в истории славянских народов?» (Вопросы языкознания, 1958, № 3, с. 45) и «Borrowing or Loan Translation? A Note on Recent Inter-Slavic Linguistic Contacts» (Ann. de l'Inst. de Philologie et d'Histoire Orientales et Slaves, Bruxelles, 1968, t. 18, dédié à Boris Unbegaun, p. 182—184). К фонетическим признакам «щегольского наречия», которые получают в дальнейшем более или менее широкое распространение, относятся грассирование и манерное шепелявенье (свидетельство о том, что подобное произношение восходит именно к «щегольскому наречию», можно найти в «Живописце» (1772, ч. 2, л. 12), ср. в кн.: Сатирические журналы Н. И. Новикова..., с. 418), так же как и особая фоностилистика иностранных слов (прононс и т. п.). — Материал по «щегольскому наречию» можно найти в статье: *Биржакова Е. Э.* Щеголи и щегольской жаргон в русской комедии XVIII века. — В кн.: Язык русских писателей XVIII века. Л., 1981. — Высказанные в этой статье теоретические положения, как правило, не оригинальны и не обнаруживают достаточно ясного понимания существа проблемы.

139 См.: *Лотман—Успенский*, с. 250—251. — Этому отнюдь не противоречат спорадические выпады Карамзина против щегольства и галломании — например, в «Письмах русского путешественника» (наст. изд., с. 333, 338) или в статье «Странность» 1802 г. (*Карамзин, III*, с. 609—610), — которые объясняются скорее всего тактическими соображениями, т. е. служат ответом на реальную или возможную критику. Нам уже приходилось упоминать выше о том, что негативные выступления Карамзина в целом ряде случаев не столько свидетельствуют о действительных взглядах автора, сколько говорят об актуальности для него соответствующей проблематики.

140 Ср. особенно впечатления Г. П. Каменева о бытовой речи Карамзина в его письме к С. А. Москотильникову от 10 окт. 1800: *Бобров Е.* Литература и просвещение в России XIX в. Материалы, исследования и заметки, т. 3. Казань, 1902, с. 130; ср.: *Виноградов В. В.* Язык Пушкина..., с. 196—197.

милые в подобном контексте воспринималось как модное, «щегольское» слово,[141] в дальнейшем же это слово становится одним из типичных ярлыков карамзинизма.[142]

В дальнейшем соответствующие черты могут отчасти устраняться из литературных текстов по мере того, как опи осознаются как ненейтральные (в этом отношении показательна последующая авторская правка «Писем русского путешественника», в свое время рассмотренная — хотя и не исчерпывающим образом — В. В. Сиповским);[143] однако в большинстве случаев подобные выражения и конструкции усваиваются в литературном языке, утрачивая специальный социолингвистический оттенок. Естественно, что в литературных текстах черты «щегольского наречия» как собственно разговорного явления прослеживаются все же в меньшей степени, нежели в обиходной речи (в этом плане показательно сопоставление языка «Писем русского путешественника» с языком подлинных писем молодого Карамзина — например, его писем к Дмитриеву, — иначе говоря, сопоставление литературных и эпистолярных текстов). Даже в условиях сознательной ориентации на разговорную языковую стихию литература предполагает определенный отбор средств вы-

---

[141] Это слово обычно для стилизованной речи петиметров в сатирической литературе XVIII в., например в журналах Новикова (см.: Сатирические журналы Новикова..., с. 202—203) или в комедиях Княжнина (см.: *Княжнин Я. Б.* Избранные произведения. Вступит. статья, подгот. текста и примеч. Л. И. Кулаковой. Л., 1961, с. 547, 646). Шишков констатирует, что слово *милый*, как оно употребляется Карамзиным, является «одним модным словцом, каковыя по временам проявляются иногда в столицах» ([*Шишков А. С.*] Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка, с. 176). Весьма характерен иронический отзыв М. И. Багрянского о Карамзине в письме к А. М. Кутузову от 29 января 1791 г.: «Pour vous donner quelques idées de son style excellent je vous citerai quelques morceaux des lettres qu'il adresse à ses *милые*» (*Барсков*, с. 86). Вообще Карамзин охарактеризован в этом письме (так же, как и в письме А. М. Кутузова того же года, — см.: там же, с. 70—73) как типичный петиметр.

[142] См.: *Лотман—Успенский*, с. 316—317 (примеч. 197); XVIII век, сб. 10. Л., 1975, с. 100—101.

[143] *Сиповский*, с. 170—237. — Соответствующая правка «Писем русского путешественника» в какой-то степени может быть связана и с изменчивостью «щегольского наречия» как социального диалекта дворянской элиты. «Щегольское наречие» характеризуется относительной нестабильностью и подвержено изменениям, связанным с фактором моды (это не мешает прослеживать здесь определенные традиции разговорной речи). Одновременно влияние разговорной речи дворянского общества на речь других сословий (прежде всего городского мещанства) обусловливает постоянное обновление «щегольского наречия», определяющееся стремлением элитарной речи к обособлению, — те или иные выражения, ранее принадлежавшие «щегольскому наречию», перестают употребляться его носителями, воспринимаясь теперь как «мещанские», устаревшие и т. п., т. е. приобретая специальный стилистический или социолингвистической нюанс. Так, Шишков констатирует, что «обветшалыя иностранныя слова, как например: *авантажиться, манериться, компанию водить, куры строить, комедь играть* и проч. <...> прогнаны уже из большова света и переселились к купцам и купчихам» ([*Шишков А. С.*] Рассуждение о старом и новом слоге..., с. 23, примеч.); все эти выражения были характерны в свое время для «щегольского наречия». Свидетельство о том, что галлицизмы попадают из языка светского общества на улицу, становясь достоянием мещанского просторечия, можно найти и в гоголевских «Мертвых душах» (*Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч., т. 6. [М.—Л.], 1951, с. 164—165, 471—472; ср. также: с. 182—183).

ражения (с помощью критерия вкуса), и соответственно разговорная речь подвергается здесь известной фильтрации; наконец, необходимо помнить, что карамзинисты ориентируются не столько на реальное, сколько на идеальное состояние разговорной речи (см. выше).

Основные признаки карамзинского подхода к литературному языку, охарактеризованные еще в классической работе Я. К. Грота о Карамзине,[144] а именно «ограничение ‹роли› славянизмов», «введение иностранных слов для новых понятий», «сообщение прежним словам нового значения» и «составление новых слов», находят соответствие в практике «щегольской» речи.[145] Если носители «щегольского наречия» в большинстве случаев и не ставили перед собой собственно литературных задач, то для них всегда были актуальны проблемы изящества, «приятности» речи. Известная карамзинская характеристика новой русской литературы в «Пантеоне российских авторов» 1801 г. — «*приятность слога*, называемая Французами Elegance»,[146] — ближайшим образом соответствует требованиям «приятного вкуса», «приятства слуха» и т. п., выдвигавшимся для «щегольского наречия».[147] Характерно, что выражение *приятные*

---

[144] См.: *Грот Я. К.* Карамзин в истории русского литературного языка. Пересмотр вопроса о начале «нового слога». — Труды, т. 2. Филологические разыскания (1852—1892). СПб., 1899, с. 79—83.

[145] О том, что петиметры выдумывали новые слова и пускали их в обращение, см., например, у В. Покровского (Щеголихи в сатирической литературе XVIII века. М., 1903, с. 39—40, 54, и Прил., с. 19), С. Порошина (Записки, служащие к истории его имп. высочества государя цесаревича и великого князя Павла Петровича. Изд. 2-е. СПб., 1881, стб. 295—296). Ср. близкие по духу рекомендации в уже упоминавшемся трактате «Опыт о языке...» (Собрание новостей, 1775, окт.) неизвестного русского автора-галломана. Что касается придавания словам новых значений, то примером здесь могут служить такие слова, как *прелестный, очаровательный, обаятельный, обожать* и т. п. Первоначально эти слова связывались со злым, колдовским или языческим началом; однако в речи щеголей они были сближены со своими французскими эквивалентами (charmant, séduisant, idolâtrer и т. д.) и стали употребляться в положительном смысле. Именно этот смысл и был воспринят карамзинистами; в этом значении они вошли и в современный литературный язык. Ср.: *Лотман—Успенский*, с. 248—249, 301—302 (примеч. 103); см. также: *Виноградов В. В.* О некоторых вопросах русской исторической лексикологии. — Изв. АН СССР. ОЛЯ, 1953, т. 12, вып. 3, с. 208—209; *Hüttl-Worth G.* Die Bereicherung des russischen Wortschatzes im XVIII. Jahrhundert, S. 144—145; *Хютль-Ворт Г.* 1) Проблемы межславянских и славяно-неславянских лексических отношений. — American Contributions to the 5th Intern. Congr. of Slavists (Sofia, 1963). The Hague, 1963, c. 145; 2) О проблемах русского литературного языка конца XVIII—начала XIX-го в. — Slovanské spisovné jazyky v době obrození. Sborník věnovaný Univ. Karlovou k 200. výročí narození Josefa Jungmanna. [Praha], 1974, s. 35.

[146] *Карамзин Н. М.* Пантеон российских авторов, ч. 1. М., 1801, страница к портрету Кантемира.

[147] См.: *Лотман—Успенский*, с. 224—228. — Цитированная фраза вызвала особенно резкие нападки оппонентов Карамзина; ср., например, пародирование ее у Шишкова в «Рассуждении о старом и новом слоге Российского языка» (цит. изд., с. 28, 165, 425, 434; ср. также с. 3—4, 16, 46) или у Д. И. Хвостова в эпиграмме «Госпожа и ткачи», направленной против Шаликова, которую Дмитриев, однако, принял на свой счет (ср. ответную эпиграмму Дмитриева «Без имя рифмодей глумился сколько мог...»; история этой полемики раскрыта в дневнике Хвостова, хранящемся в рукописном отделе Института русской литературы АН СССР: ф. 322, № 11, л. 4, 26). Любопытно, что, перепечатывая «Пантеон рос-

искусства в фразеологии Карамзина (в статье «Нечто о науках, искусстве и просвещении» 1793 г.) [148] соответствует по значению термину *щегольские науки* у В. Н. Татищева (в «Разговоре двух приятелей о пользе науки и училищ» 1730-х гг.): [149] в обоих случаях имеются в виду «изящные искусства», и это связано вообще с важным для карамзинизма противопоставлением науки и искусства. Точно так же карамзинистов и представителей «щегольского наречия» объединяет ориентация на дамский язык и вкус [150] и отношение к языковой эволюции, в которой усматривается не порча языка, а прогрессивное явление, связываемое с совершенствованием вкуса. Все сказанное позволяет видеть в носителях «щегольской» речи ту культурную среду, которая способствовала возникновению карамзинизма. Не случайно Кюхельбекер мог считать, что язык карамзинистской литературы — это не что иное, как «un petit jargon de coterie» (см. его статью «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие»).[151]

Говоря о «щегольском наречии», целесообразно различать социальный жаргон и социальный диалект, поскольку данный термин фактически покрывает оба значения. Под социальным жаргоном понимается вообще речевая норма, приобретаемая в сознательном возрасте и связанная с вхождением в некоторую социальную корпорацию, к которой, по определению, нельзя принадлежать с самого рождения (примером могут служить всякого рода профессиональные арго, блатная речь и т. п.); пользование такой нормой предполагает осмысление себя членом данного социума, причем сам социум негласно регламентирует право на соответствующее речёвое поведение. Овладение жаргоном всегда носит более или менее искусственный характер и связано с осознанным стремлением к обособлению и противопоставлению некоторой социальной группы всему остальному обществу. Однако «щегольское наречие» как социальный жаргон обнаруживает тенденцию превращаться в социальный диалект столичного дворянства, когда соответствующие формы общения орга-

---

сийских авторов» в собрании сочинений 1820 г., Карамзин устраняет слова «называемая Французами Elegance» — явно в связи с их откровенно эпатирующим характером. Ссылки на «приятность» слога вообще очень характерны для Карамзина и его последователей (см.: *Левин В. Д.* Очерк стилистики..., с. 122—123). Слова *приятный, приятность* выступают при этом в текстах конца XVIII в. как обычные соответствия к французским élégant, élégance (*Веселитский В. В.* Отвлеченная лексика..., с. 165—166; *Лотман—Успенский*, с. 228, примеч. 112).

[148] *Карамзин, III*, с. 393.

[149] *Татищев В. Н.* Разговор двух приятелей о пользе науки и училищ. С предисл. и указат. Н. Попова. — Чтения в О-ве истории и древностей российских при имп. Моск. ун-те, 1887, кн. 1, с. 82.

[150] См.: *Лотман—Успенский*, с. 230—232; *Левин В. Д.* Очерк стилистики..., с. 129—130; *Виноградов В. В.* Язык Пушкина..., с. 209—220.

[151] Мнемозина, 1824, ч. 2, с. 38. — То же, по-видимому, говорит и Пушкин, когда характеризует язык карамзинистов как «язык условленный, избранный» (в статье «О поэтическом слоге» 1828 г.) и вместе с тем противопоставляет «щегольство речей» «простонародному слогу», принятому в «истинно дворянском обществе» (в статье «О новейших блюстителях нравственности» 1830 г. и в набросках к VIII главе «Евгения Онегина» того же времени). См.: *Пушкин.* Полн. собр. соч., т. 11. [М.], 1949, с. 73, 98; т. 6. [М.], 1937, с. 626—627.

нически усваиваются в процессе естественного обучения языку уже в детском возрасте и таким образом распространяются на все общество.[152] Тем самым в основе «щегольского наречия» как социального диалекта лежит «щегольское наречие» как социальный жаргон. Первое питается вторым, т. е. жаргон постоянно обогащает диалект и в свою очередь постоянно обновляется, пытаясь обособиться от него. Жаргону вообще свойственна изменяемость, нестабильность, подчиненность моде, и эти его качества в конечном счете отражаются на диалекте.

Карамзинисты в принципе ориентировались на «щегольское наречие» как социальный диалект, тогда как объектом сатирических нападок в литературе XVIII—начала XIX в. служили прежде всего жаргонные явления. Точнее можно было бы сказать, что карамзинисты использовали такие средства выражения, которые, по их мнению, могли бы стать социальным диалектом дворянства; в этом отношении они могли, так сказать, предвосхищать события, т. е. использовать жаргонные выражения, если в них усматривалась потенциальная возможность превращения в диалектные формы. Эта ориентация на диалект, а не на жаргон соответствует общей установке на естественное начало в языке, присущей вообще карамзинизму как интеллектуальному явлению. Вместе с тем для преобладающей части русского общества оба явления органически объединялись под именем «щегольского наречия»; вообще границы между жаргоном и диалектом были крайне нестабильны и могли по-разному интерпретироваться в зависимости от субъективной позиции и индивидуального опыта. Иначе говоря, карамзинисты, по-видимому, были склонны придавать термину «щегольское наречие» более специальное значение, нежели то, которое было вообще принято в языке. Соответственно сами карамзинисты, как правило, предпочитают не пользоваться терминами «щегольство», «щегольской» и т. п. в своих стилистических характеристиках,[153] между тем как другие могут воспринимать их как типичных представителей «щегольского наречия».

В свете сказанного не может не обратить на себя внимание характеристика в «Письмах русского путешественника» Жана Луи Геза де Бальзака, одного из законодателей хорошего тона и вкуса прециозных писате-

---

[152] Это связано с тем обстоятельством, что основная роль в распространении и эволюции «щегольского наречия» принадлежала женщинам («щеголихам»), от которых дети уже естественно перенимали соответствующие речевые навыки.

[153] Тем не менее в переводах П. И. Макарова (с французского) можно встретить такие выражения, как «щегольской слог» или «щегольские фразы» и т. п. (см.: Моск. Меркурий, 1803, ч. 1, с. 136; ч. 2, с. 140; ч. 3, с. 57). Так, в рецензии на книгу Сегюра читаем: «Мы не будем говорить о слоге: кто поверил бы, что сия книга писана Сегюром, естьли бы она не блистала щегольскими фразами, остроумием и вкусом — естьли бы тон любезного светского человека не оказывался в ней на каждой странице» (там же, ч. 3, с. 57). Ср. перевод отрывка из сочинения Сегюра «Об уме и вкусе»: «Начиная от щегольской разборчивости в уборах до правильности слога <...> — все блистают посредством *Вкуса* или заблуждаются без него» (там же, ч. 1, с. 136).

лей, как «славного щеголя Французского языка (разумеется, по тогдашнему времени)».[154] Следует иметь в виду, что прециозная литература — с ее утонченным стилем, противопоставляющим себя вульгарной речи, с ее установкой на causerie аристократических салонов и ориентацией на дамский вкус, наконец, с характерными для нее пасторальностью, риторической декламационностью и лирическими реминисценциями — обнаруживает явное типологическое сходство с карамзинизмом.[155] Вместе с тем так называемый «жаргон прециозниц» («jargon de précieuses») — с аффектацией языка, с постоянным обновлением словаря путем искусственного введения неологизмов, с использованием слов в переносном смысле и т. п.[156] — в целом ряде моментов оказывается сходным с русским «щегольским наречием», в формировании которого, кстати сказать, основная роль также принадлежала женщинам («щеголихам»).[157] Характеристика такого рода, бесспорно, свидетельствует о внимании к проблемам «щегольского наречия» в его отношении к литературному языку.

В этом же плане заслуживает внимания связь языковой программы Карамзина с идеями Вожела: как известно, Вожела был непосредственно связан с представителями прециозной литературы и его знаменитые «Remarques sur la langue françoise» (1647) в значительной степени отражают взгляды салона мадам де Рамбулье.

Влияние Вожела и его последователей на Карамзина несомненно.[158] Заявления карамзинистов о соотношении литературного языка и разговорной речи, о необходимости ориентироваться на речевые навыки «лучших домов» (beau monde'а), наконец, о роли писателя, обладающего чувством вкуса, в образовании языковой нормы могут ближайшим образом напоминать положения Вожела.[159] Понятие «вкуса» у карамзинистов со-

---

[154] См.: наст. изд., с. 249.

[155] Характерно, что, говоря в «Письмах русского путешественника» от пица своего собеседника, некоего аббата Н* (явно условный персонаж, служащий для выражения взглядов самого автора), о золотом веке французской литературы, Карамзин называет прежде всего представителей прециозной литературы — таких, как Вуатюр, Менаж, Пелиссон, Саразен; по словам Карамзина, они «блистали остроумием, сыпали Аттическую соль на общий разговор и были законодателями забав и вкуса» (наст. изд., с. 224). Речь идет при этом об эпохе, когда во Франции было еще «хорошее общество (la bonne compagnie)». Об интересе к прециозной литературе явно свидетельствует и цитата из Брантома в «Письмах» (наст. изд., с. 260—261; ср. также комментарий на с. 658).

[156] См.: *Somaize [A. B. de]*. Le dictionnaire des precieuses. Nouv. éd. augm. de divers opuscules du même aut. relatifs aux Precieuses et d'une Clef historique et anecdotique par M. Ch.-L. Livet, t. 1. Paris, 1956, p. XLI—LXIV; *Lathuillère R.* La préciosité. Étude historique et linguistique, t. 1. Genève, 1966, p. 37—38.

[157] Ср. знаменательное высказывание мужчины-петиметра в «Живописце» Н. И. Новикова: «Необходимо ‹...› должен я ‹...› говорить нынешним щегольским женским наречием» (Сатирические журналы Н. И. Новикова..., с. 293).

[158] Ср.: *Томашевский Б. В.* Стилистика и стихосложение. Курс лекций. Л., 1959, с. 44—45.

[159] Ср., например, у Вожела: «...устной речи принадлежит первенство в ценностном и иерархическом плане, тогда как письменная — только лишь ее отражение. Но согласие хороших авторов — это как бы печать или проба, которая утверждает язык двора, отмечает доброе употребление и выносит вердикт в сомнительных

держательно соответствует понятию «употребления» у Вожела; как отмечает В. Д. Левин, «опора на „вкус“ собственно и означает опору на „общее употребление“, на речевую практику образованного общества».[160] П. И. Макаров «отсылает» в одном из своих критических разборов не понравившиеся ему слова и выражения (как правило, это славянизмы) к «Трибуналу Вкуса» (рецензия на перевод сочинения Лантье «Антеноровы путешествия по Греции и Азии»),[161] подобно тому как Вожела в свое время объявлял употребление «арбитром» при решении языковых проблем («Употребление <...> которое весь свет называет <...> арбитром или властителем языков»).[162] В другой рецензии, говоря о необходимости согласовать литературный язык с общим употреблением («применяться к языку, употребительному в обыкновенном разговоре»), Макаров призывает различать хорошее и дурное употребление: «...надлежало бы <...> подражать людям, которые говорят *хорошо*, а не тем, которые говорят *дурно*. Выражения простонародныя не должны Писателю служить правилом» (рецензия на перевод романа Жанлис «Матери-соперницы, или Клевета»).[163] Это в точности соответствует положению Вожела о двух употреблениях в языке, ср.: «Есть, без сомнения, два вида употребления, доброе и дурное <...> Мы полагаем, что народ владеет лишь дурным употреблением, тогда как доброе употребление владеет нашим языком».[164] Наконец, характерная для карамзинистов феминизация литературного языка, проявляющаяся в ориентации на язык и вкус светской дамы,[165] обнаруживает разительное сходство с установкой Вожела.[166] Если в глазах Вожела достоинство женской речи определяется тем обстоятель-

---

случаях» («...la parole qui se prononce, est la premiere en ordre et en dignité, puis que celle qui est escrite n'est que son image. Mais le consentement des bon Autheurs est comme le sceau ou une verification, qui authorise le langage de la Cour, et qui marque le bon Usage, et decide celuy qui est douteux». — *Vaugelas*, fol. 2). То, что Вожела говорит о «чувстве и практике лучших современных авторов» («le sentiment et la pratique des meilleurs Autheurs du temps» — ibid., fol. 8), вполне соответствует карамзинскому критерию вкуса. Наконец, Вожела может прямо сопоставлять языковое употребление с (гастрономическим) вкусом (ibid., fol. 4).

160 *Левин В. Д.* Очерк стилистики..., с. 125.

161 Моск. Меркурий, 1803, ч. 2, с. 67.

162 «Cet Usage <...> que tout le monde apelle <...> l'arbitre ou le maistre des langues» (*Vaugelas*, fol. 1v).

163 Моск. Меркурий, 1803, ч. 4, с. 121—122.

164 «Il y a sans doute deux sortes d'Usages, un bon et un mauvais <...> Selon nous, le peuple n'est le maistre que du mauvais Usage, et le bon Usage est le maistre de nostre langue» (*Vaugelas*, fol. 1v, 9v). Ср.: *Père Buffier de la Compagnie de Jesus.* Grammaire Françoise sur un plan nouveau... Paris, 1754, p. 17. — О юридических метафорах у Вожела см. специально: *Weinrich H.* Vaugelas und die Lehre vom guten Sprachgebrauch. — Z. für romanische Philologie, 1960, Bd 76, H. 1/2. — Вообще, как показывает Вейнрих, Вожела в значительной степени основывался в своей языковой концепции на понятиях и терминах обычного французского права его времени (но не римского права).

165 См.: *Лотман—Успенский*, с. 230—233; *Левин В. Д.* Очерк стилистики..., с. 129—130; *Виноградов В. В.* Язык Пушкина..., с. 209 и сл.

166 Ср.: *Flutre L.-F.* Du rôle des femmes dans l'élaboration des *Remarques* de Vaugelas. — Neophilologus, 1954, t. 38, № 4.

ством, что она свободна от влияния латинского языка,[167] то карамзинисты призывают ориентироваться на женскую речь потому, что она свободна от церковнославянского влияния. Отношение Вожела к латыни, таким образом, соответствует отношению карамзинистов к церковнославянскому языку.

Необходимо подчеркнуть, что Вожела противопоставлял языковое употребление как нечто немотивированное — рациональным грамматическим правилам: по его словам, употребление не поддается рациональному объяснению и может вступать в конфликт с правилами.[168] Вообще говорить в соответствии с правилами («parler grammaticalement»), с точки зрения Вожела, — совсем не то же самое, что говорить по-французски («parler françois»). То же утверждают и карамзинисты, провозглашая критерий «вкуса, неизъяснимого для ума» (речь Карамзина в Российской академии 1818 г.),[169] и соответственно противопоставляя «чувствование» — «умничанью» (письмо А. А. Петрова к Карамзину от 1 августа 1787 г.);[170] ср. также частые у карамзинистов выступления против «педантства», которое явно или неявно противопоставляется ориентации на употребление (см., например, в том же письме А. А. Петрова к Карамзину[171] или у П. И. Макарова в статье «Некоторые мысли издателей Меркурия»).[172] В статье «Отчего в России мало авторских талантов?» Карамзин заявляет: «Все Французские Писатели, служащие образцом тонкости и приятности в слоге, *перепpавляли*, так сказать, школьную свою Реторику в свете, наблюдая, что ему нравится и по чему».[173] Это высказывание явно восходит к мысли Вожела о том, что чистота языка определяется употреблением, а не школьными правилами. Весьма характерны

---

[167] Так, Вожела писал: «Из моих *Заметок* следует, что женщины и все те, чей язык не окрашен латынью, могут извлечь из этого выгоду» («J'ai conçu mes *Remarques* d'une sorte, que les femmes et tous ceux qui n'ont nulle teinture de la langue Latine en peuvent tirer du profit»). Ср. также: «Когда возникают сомнения по языковым вопросам, бывает лучше спрашивать мнение женщины или же тех, кто ничему не учился, чем советоваться с теми, кто весьма искушен в греческом и латыни» («Dans les doutes de la langue il vaut mieux pour l'ordinaire, consulter les femmes et ceux qui n'ont point étudié, que ceux qui sont bien savants en la langue grecque et en latine»). См.: *Flutre L.-F.* Du rôle des femmes..., p. 242; ср.: *Vaugelas*, fol. 17v.

[168] См.: *Weinrich H.* Vaugelas und die Lehre..., S. 4, 13—14. — По словам Вожела, «глубоко заблуждаются и погрешают против главного принципа языка те, кто умствует о нашем языке и решительно осуждает общепринятый способ говорения на том основании, что он противоречит разуму, так как отнюдь не разум, а употребление и аналогию следует здесь принимать во внимание <...> Употребление творит многое, что <...> противно разуму» («...ceux-là se trompent lourdement, et pechent contre la premier principe de langues, qui veulent raisonner sur la nostre <langue>, et qui condamnent beaucoup de façons de parler généralement receuës, parce qu'elles sont contre la raison; car la raison n'y est point du tout considerée, il n'y a que l'Usage et l'Analogie <...> l'Usage fait beaucoup de choses <...> contre raison» — *Vaugelas*, fol. 7—8).

[169] См.: *Карамзин, III*, с. 646.

[170] См.: наст. изд., с. 504—505.

[171] Наст. изд., с. 505.

[172] Моск. Меркурий, 1803, ч. 1, с. 10.

[173] *Карамзин, III*, с. 530.

возражения Шишкова против подобной позиции; так, в «Рассуждении о красноречии Священного Писания...» изображается спор «Славянина» (шишковиста) с «Русским» (карамзинистом), причем «Русский» говорит: «Употребление тиранн: оно делает вкус, а против вкуса никто не пойдет», а «Славянин» ему возражает: «Мы последовали употреблению там, где рассудок одобрял его, или по крайней мере не противился оному. Употребление и вкус должны зависеть от ума, а не ум от них; ибо ежели употребление и вкус станут управлять умом, так кто же будет управлять ими?».[174] Нельзя не отметить, что карамзинистское понимание «вкуса» рассматривается здесь как производное от «употребления»; но особенно знаменательно то обстоятельство, что в уста своего оппонента — карамзиниста — Шишков фактически вкладывает слова Вожела, ср. у последнего: «употребление <...> которое весь свет называет <...> тираном».[175]

*

* *

Истоки языковой концепции Карамзина (как и концепции Вожела) достаточно очевидны. Хотя ближайшей моделью, на которую ориентировались карамзинисты, служила западноевропейская языковая ситуация, корни этой концепции восходят несомненно к итальянским ренессансным спорам о языке, известным под названием «Questione della lingua». Западноевропейская — французская и отчасти немецкая — литературно-языковая традиция лишь способствовала усвоению ренессансных идей на русской почве. В самом деле, лингвистическая идеология Карамзина и его окружения ближайшим образом соответствует той, которая была сформулирована еще Данте и получила дальнейшее развитие в выступлениях таких его последователей, как Леон Баттиста Альберти, Лоренцо де Медичи, Бальдассаре Кастильоне и др. Требование «писать как говорят», конечно, восходит к идеям дантовского «Пира» (I, 5—13): речь идет, в сущности, о достоинстве (dignitas) разговорной речи и возможности использования ее как средства литературного общения.[176] Как и для Альберти, для Карамзина достоинство разговорной речи зависит от того, кто ею пользуется, т. е. престиж языка определяется скорее творческим («авторским») началом, нежели какими-либо имманентными свойствами. Если говорить вообще о достоинстве (dignitas) и норме (quidditas) литературного языка как основных аспектах итальянского «Questione della lingua»,[177] то можно сказать, что проблема достоинства решается для Карамзина как проблема культурного п р е с т и ж а, а проблема нормы, т. е. отбора языковых средств выражения, — как проблема в к у с а; и то, и

---

[174] Собр. соч. и переводов адмирала Шишкова, ч. 4. СПб., 1825, с. 86.

[175] «Cet Usage <...> que tout le monde apelle <...> le Tyran» (*Vaugelas*, fol. 1v).

[176] См.: *Данте Алигьери.* Малые произведения. Изд. подгот. И. Н. Голенищев-Кутузов. М., 1968, с. 119—133.

[177] Ср.: *Picchio Riccardo.* Introduction à une étude comparée de la question de la langue chez les Slaves. — In: *Picchio Riccardo.* Etudes littéraires slavo-romanes. Firenze, 1978, p. 160.

другое в конечном счете восходит к Данте, ср. «О народном красноречии» (II, 1; I, 11 и сл.).[178] Необходимость обращения к естественному началу в языке была провозглашена Данте в первом же параграфе трактата «О народном красноречии» (I, 1),[179] причем здесь специально подчеркивается роль женщин в передаче естественных речевых навыков (ср. ориентацию карамзинистов на женскую речь). Уже Данте противопоставляет «употребление» (usus) «разуму» (ratio), причем это различие связывается у него с противопоставлением живых и мертвых языков: если норма итальянского языка основывается на употреблении, то латынь основывается на разуме, т. е. на рациональных грамматических правилах («Пир», I, 5).[180] Совершенно так же Вожела определяет разницу между французским языком и латынью, а карамзинисты — разницу между русским и церковнославянским языком (ср. выше). Связь теории языка и теории литературы, размежевание книжного и литературного языка, противопоставление науки и искусства, столь важные для карамзинизма, также имеют вполне очевидное ренессансное происхождение.

Пожалуй, ближе всего языковая позиция карамзинистов соответствует позиции Кастильоне, который, выступая против того, чтобы письменная речь отличалась от устной, провозглашает требование изящества речи, явно сходное с карамзинским требованием «приятности слога». Требование изящества речи связано у Кастильоне, как в дальнейшем и у карамзинистов, с установкой на светское употребление (ср. аналогичные высказывания Данте в трактате «О народном красноречии», I, 18).[181] В терминах итальянской языковой полемики («Questione della lingua») «щегольское наречие», столь актуальное для карамзинистов, — это не что иное, как «lingua cortegiana», описанный в трактате Кастильоне «Il libro del Cortegiano» (главы 28—39). Как для Кастильоне, так и для карамзинистов критерием изящества (приятности) речи выступает утонченный вкус. Наконец, Кастильоне не только призывает избегать архаизмов и вообще форм, не находящих опоры в живом употреблении, но и включает заимствованные формы (галлицизмы и испанизмы), поскольку они приняты в светской речи; это опять-таки соответствует теории и практике карамзинизма. Любопытно отметить, что так же, как у Кастильоне, языковая программа Карамзина направлена на расширение лексических и синтаксических возможностей. Вожела, оказавший столь большое влияние на Карамзина, продолжает именно линию Кастильоне.

Итак, карамзинская концепция литературного языка вполне укладывается в схему «Questione della lingua». Возможные колебания в рамках карамзинистской программы в общем и целом соответствуют путям, намеченным еще на итальянской почве.[182]

---

[178] *Данте Алигьери.* Малые произведения, с. 288, 279—287.
[179] Там же, с. 270.
[180] Там же, с. 119—120.
[181] Там же, с. 286.
[182] Ср. содержательный обзор различных аспектов итальянской языковой полемики в работе: *Picchio Simonelli M.* Aspects of the Language Question in Italy. — Aquila. Chestnut Hill Studies in Modern Languages and Literatures. Chestnut Hill — The Hague, 1976, vol. 3.

Вместе с тем необходимо отметить, что ренессансные (в основе своей — дантовские) идеи, попадая на русскую почву, могут получать существенно иное содержание — иногда даже прямо противоположное тому, которое они первоначально имели. В самом деле, проникновение ренессансных идей очевидным образом связано с европеизацией русской культуры, в результате которой на русскую языковую ситуацию усваивается взгляд извне и ей приписывается чужая система ценностей. В ряде случаев это придает соответствующим идеям своеобразный, как бы «перевернутый» характер.

Так, выступления итальянских гуманистов связаны прежде всего с борьбой за национальный язык. Латынь воспринимается здесь как интернациональный язык культуры и цивилизации, тогда как противостоящая книжному языку разговорная речь становится знаменем национального самосознания. Латынь интернациональна, а разговорный язык национален, однако в масштабах нации написанное на латыни доступно лишь ученому сословию, а написанное на разговорном языке доступно всему обществу. Таким образом, сторонники латыни настаивают на универсальности литературного языка в рамках образованного сословия (ср., например, позицию Петрарки), тогда как сторонники национального языка выступают с требованием демократизации литературного языка, что в свою очередь связано с понятием общественной жизни, предполагающим в принципе равные права для всех граждан в обществе. Соответственно ориентация литературного языка на разговорную речь может мотивироваться в Италии чисто утилитарными задачами (ср. особенно выступления Альберти и Пальмиери). Фактически речь идет о расширении понятия общества за счет его дефеодализации: общественная жизнь должна учитывать интересы буржуазии, и тем самым литературный язык должен обслуживать купцов и ремесленников в той же мере, как и представителей других сословий.

Между тем в русских условиях борьба с церковнославянской языковой стихией может приобретать прямо противоположное содержание. Именно церковнославянский язык связывается здесь с национальным началом, тогда как разговорная речь культурной элиты подчеркнуто космополитична. Поскольку ориентация литературного языка на разговорную речь связана вообще с европеизацией русской культуры, постольку разговорная речь европеизированной части русского общества имеет по существу интернациональный характер, будучи насыщена заимствованиями и семантическими кальками. Литературный язык этого рода не столько объединяет общество, сколько разъединяет его, и вместе с тем он явно способствует международным культурным контактам: литературный язык призван обеспечить прежде всего адекватную передачу того содержания, которое должно быть выражено на европейских языках. Мериме имел все основания считать, что «фраза Пушкина звучит совсем по-французски», и подозревать, что русские «бояре», перед тем как писать по-русски, думают по-французски;[183] не случайно Вяземский призывал (в предисло-

[183] *Виноградов А. К.* Мериме в письмах к Соболевскому. М., 1928, с. 99—100. — Действительно, в письмах и заметках Пушкина значение того или иного русского

вии к своему переводу «Адольфа» Бенжамена Констана) к намеренному использованию в литературном языке «галлицизмов понятий», т. е. семантических калек с французского языка, «потому что они уже европеизмы».[184] В этих условиях литературный язык, ориентированный на разговорную речь дворянской интеллигенции, приобщает русскую культуру к западноевропейской цивилизации. В плане содержания (т. е. на семантическом уровне) этот язык выступает как средство международного общения, объединяя просвещенные сословия в разных странах; однако в пределах нации он оказывается в полной мере доступным лишь избранной части общества. В этом смысле литературный язык данного типа скорее соответствует по своей функции латыни как интернациональному языку образованного общества, нежели национальному итальянскому языку. В отличие от латыни, церковнославянский язык отнюдь не рассматривается в данный период как язык культуры и цивилизации: поскольку культура мыслится как европеизация, эта роль приписывается французскому языку, на который и может ориентироваться теперь русский литературный язык. Одновременно изолированность церковнославянского языка от западноевропейского влияния заставляет воспринимать церковнославянскую языковую традицию в качестве национальной традиции. При этом представление о церковнославянском языке как о «коренном» языке-

---

слова очень часто поясняется в скобках соответствующим французским эквивалентом, как бы обнажающим французский языковой субстрат русской речи (см.: *Виноградов В. В.* 1) Язык Пушкина..., с. 262—266; 2) Очерки по истории..., с. 239—240). Жуковский говорил П. А. Вяземскому про его отца, «что он ‹Жуковский› всегда удивлялся ловкости и сноровке, с которою в разговоре переводил он ‹кн. А. А. Вяземский› на русскую речь мысль, видимым образом, сложившуюся в уме его по-французски» (см. «Автобиографическое введение» в кн.: *Вяземский П. А.* Полн. собр. соч., т. 1. СПб., 1878, с. LVIII). Ср. аналогичное наблюдение великого князя Павла Петровича (будущего императора Павла Первого): «...иные столь малосильны в своем языке, что все с чужестранного от слова до слова переводят и в речах и в письме, например: „Vous avez trop de pénétration pour ne pas l'entrevoir", *вы очень много имеете проницания, чтоб этова не видеть*; „on prétend, qu'il n'est parti que ces jours-ci", *требуют, что он не поехал, как только на сих днях* и тому подобное» (*Порошин С.* Записки, служащие к истории..., стб. 13).

[184] *Вяземский П. А.* Полн. собр. соч., т. 10. СПб., с. X. — Ср. те же мысли у Вяземского в статье о Дмитриеве (там же, т. 1, с. 126), а также декларативное заявление П. И. Макарова в его полемическом выступлении против Шишкова: «Хотим сочинять фразы и производить слова ‹...› умствуя как Французы, как Немцы, как все нынешние просвещенные народы» (Моск. Меркурий, 1803, ч. 4, с. 169—170). Любопытно вместе с тем, что Жуковский отказывается считать кальки галлицизмами. В своих маргиналиях на принадлежащем ему экземпляре «Рассуждения о старом и новом слоге Российского языка» Шишкова он замечает: «*Сцена* есть французское слово, но почему *переворот* французское? ‹Шишков трактует *переворот* как кальку с révolution, см.: [*Шишков А. С.*] Рассуждения о старом и новом слоге..., с. 27›. Оно изображает идеи, а идеи ни французские, ни русские. Душа народа может получать и выражать идеи прежде другого, другой выражает ее после него на своем языке». И в другом месте, где Шишков пишет, что «с одной стороны, в язык наш вводятся нелепыя новости, а с другой истребляются и забываются издревле принятыя и многими веками утвержденные понятия», — Жуковский восклицает: «Какие понятия? Разве слова понятия?» (*Канунова Ф. В., Янушкевич А. С.* В. А. Жуковский — читатель и критик А. С. Шишкова (по материалам библиотеки В. А. Жуковского). — Рус. лит., 1975, № 4, с. 88—89).

предке, а о русском языке как о результате порчи этого коренного языка в процессе повседневного употребления (которая ставится в прямую связь с разного рода иноязычными влияниями) обусловливает возможность объединения в языковом сознании славянизмов и архаических русизмов. В итоге западноевропейское влияние способствует консолидации церковнославянской и русской национальной стихии, объединению их в одну стилистическую систему.[185] Именно поэтому борьба с этим влиянием ведется в России — в самые разные исторические периоды — с позиций церковнославянского языка: вспышки пуризма периодически выражаются в славянизации языка, т. е. проявляются в активизации славянизмов, мобилизации церковнославянских языковых моделей и т. п.[186] Дихотомия церковнославянского и русского языков может осмысляться, таким образом, в плане противопоставления: «национальное — интернациональное» или же «национальное — западноевропейское».

Остается отметить, что если в Италии борьба за литературный язык нового типа велась в большей степени в интересах буржуазии, то русская буржуазия (купечество) связана скорее с церковнославянской, нежели с западноевропейской языковой стихией. В русских пьесах речь купца или крестьянина, как правило, выделяется славянизмами, которые выполняют примерно ту же функцию, что галлицизмы в речи столичного дворянина как сценического персонажа.

Итак, при всей очевидности преемственной связи между идеями итальянских гуманистов и программой карамзинизма необходимо признать, что то, что в Италии воспринималось как «национальное» и «демократическое», приобретает в России прямо противоположное содержание. С пересадкой итальянских идей на русскую почву «национальное» претворяется в «европейское», а «демократическое» становится «кастовым».

Любопытно, что историки русского языка нередко связывают деятельность Карамзина с борьбой за демократизацию литературного языка и вместе с тем с борьбой за его национальные истоки; точно так же считается, что в результате карамзинской «реформы» расширяется сфера действия литературного языка как универсального для русской нации средства общения. Очень часто вообще, говоря о демократизации русского литературного языка, имеют в виду, в сущности, его секуляризацию. Подобные оценки представляют собой, разумеется, результат применения к русской языковой ситуации той концептуальной схемы, которая была выработана еще в Италии в эпоху Ренессанса. Кажется крайне знаменательным следующее обстоятельство: для того чтобы адекватно понять

---

185 См.: *Хютль-Ворт Г.* О проблемах русского литературного языка..., с. 36—37; *Лотман—Успенский*, с. 208 и сл., 222 и сл.

186 Так, в XX в. «Петер*бург*» закономерно преобразуется в «Петро*град*» (в 1915 г.) и затем последовательно в «Ленин*град*» (в 1924 г.); ср., между тем, полногласный элемент в исконной форме «Нов*город* и т. п. (ср.: *Unbegaun B. O.* Les noms des villes russes: la mode slavonne. — Rev. des études slaves, 1936, t. 16); позднее *голкипер* меняется на *вратарь*. Примеры такого рода нетрудно было бы умножить.

смысл оценок, которые прилагаются сейчас при характеристике деятельности Карамзина, оказывается необходимым углубиться в историю споров о языке, выходящую далеко за пределы собственно русской проблематики. Такого рода оценки свидетельствуют не только об истоках языковой концепции Карамзина, но — в известном смысле — и об актуальности языковой полемики конца XVIII—начала XIX в. еще для сегодняшнего языкового сознания; историки языка, повторяя соответствующие определения, явно примыкают к карамзинской программе и тем самым как бы включаются в языковую полемику тех лет, т. е. становятся ее участниками.

*
* *

Рассмотрение «Писем русского путешественника» на фоне литературной деятельности Карамзина периода их создания (1790—1801) позволяет сделать вывод, что, соотнося русскую и европейскую культуру, Карамзин вводил в сознание своих современников итоги духовной жизни в исключительно широком диапазоне: Ренессанс и культура «галантного века», Просвещение и предромантизм, масонские утопии и французская революция, как и многие другие факты и материалы, оказывались в поле зрения Карамзина и его читателей.

Однако «Письма русского путешественника» менее всего походят на энциклопедию или научный трактат. Карамзин был человеком глубоких и разнообразных знаний, хотя никогда не подчеркивал своей учености. «Упрощенность» же его изложения была результатом установки Карамзина на популяризацию. Карамзин принципиально стремился сделать культуру доступной и распространенной. Таким образом, литературное движение развивалось в двух направлениях: с одной стороны, вершинные достижения культуры облекались в доступную форму и вносились в сознание массового (по нормам той поры) читателя. С другой — мир массового читателя, его язык, интересы, нравственные идеалы, культурный кругозор поднимались на вершины культуры как высокоавторитетная норма. Правда, уже говорилось: это был не реальный читатель, а его идеализованный двойник. Однако это не отменяло значения того факта, что норма ориентировалась не на «мудреца» или «жени́», а на «обычного человека». В ближайшей культурной перспективе это приводило к канонизации «щегольского наречия» или утверждению светской нормы культуры как национального по значению образца. Не случайно ближайшие последствия карамзинской «реформы» вызывали резкую и чаще всего обоснованную критику современников. Однако в тенденции утверждение употребления как нормы и реального как закономерного открывало возможность той широкой демократизации литературы и литературного языка, которая сделалась характерной чертой пушкинского и гоголевского периодов литературы.

В синхронном срезе салонность карамзинизма и народность его оппонентов представляли собой антагонистические тенденции, в исторической

перспективе они представали как разные этапы одной и той же линии развития.

«Письма русского путешественника» лежат у истока многочисленных дискуссий, в них упираются разнообразные тенденции культурного движения. Тенденции эти предстают здесь в ранних, еще не дифференцированных формах. Они овеяны наивной верой и еще не пережили горечи утрат и разочарований. Эта книга принадлежит детству новой русской литературы: в этом ее наивная ограниченность, но в этом же и ее ценность. Детские воспоминания не случайно служат опорой для человека в трагические минуты его жизни — в них он черпает веру в себя и память о былой целостности своей личности. «Письма русского путешественника» во многом играют такую же роль: напоминая о далеком прошлом, они вселяют надежды на будущее.

Н. А. Марченко

ИСТОРИЯ ТЕКСТА «ПИСЕМ РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА»

Впервые «Письма русского путешественника» появились на страницах «Московского журнала» (1791—1792) и «Аглаи» (М., 1794—1795). В последний раз при жизни автора это произведение было напечатано в томах 2—5 «Сочинений Н. М. Карамзина» (М., 1820). За тридцать лет «Письма русского путешественника» печатались семь раз, и почти каждый раз Карамзин изменял текст — иногда это замена одного или нескольких слов, иногда переписывались несколько страниц, изменялся смысл. Рукописи Карамзина не сохранились, так что сравнение всех печатных вариантов, исследование разночтений является единственным источником для суждения о творческой истории «Писем» и одновременно об идейно-художественной эволюции Карамзина. Перед нами редкий случай, когда полный учет всех данных по тридцатилетней истории работы писателя над текстом представляет интерес не только для филолога-специалиста, но и для широкого круга любителей словесности: мы оказываемся свидетелями лабораторного процесса работы писателя в переломный момент истории русского литературного языка.

Впервые проблемы, связанные с историей текста Карамзина, были поставлены в исследованиях В. В. Сиповского,[1] многие наблюдения которого и сейчас не утратили своего значения. На основе изучений печатных редакций текста исследователь сделал попытку воссоздать первичный, как он считал, основной текст, предполагая, что такой текст существовал в 1790-е гг., но при печатании в силу разных обстоятельств, внешних и внутренних, был изменен самим Карамзиным. При этом В. В. Сиповский различал всего пять изданий,[2] особо оговаривая, что не учитывает второго издания «Московского журнала», цензурная история которого и время его выхода в свет до сих пор до конца не выяснены. При тщательном текстологическом сравнении всех печатных вариантов выясняется,

[1] См.: *Сиповский В. В.* К литературной истории «Писем русского путешественника» Н. М. Карамзина, вып. 1—5. СПб., 1898; *Сиповский*.

[2] В. В. Сиповский различал следующие издания: публикации в «Московском журнале» и «Аглае» (неполный текст), первое отдельное издание, тексты в «Сочинениях Н. М. Карамзина» 1803, 1814 и 1820 гг.

что во втором издании «Московского журнала» представлено много интересных разночтений по сравнению с остальными текстами, а также — что отдельное издание «Писем» 1797—1801 гг. распадается на два варианта, существенно отличающиеся друг от друга. Таким образом, целесообразно учитывать не пять, как у В. В. Сиповского, а семь различных редакций.

Очень долго считалось, что в основе текста «Писем русского путешественника» лежит реальная переписка, которую Карамзин вел со своими московскими друзьями. В. В. Сиповский доказал, что для такого утверждения нет ни документальных, ни биографических данных, но выдвинул другое предположение: во время путешествия Карамзин вел путевой журнал, или дневник, что почти обязательно входило в ритуал путешествия, и текст этого журнала стал основой «Писем русского путешественника». Хотя установившаяся традиция допускает мысль о наличии такого дневника, никаких документальных доказательств его существования нет. История же печатного текста представляет существенный интерес.

Первое известие о «Письмах русского путешественника» появилось 6 ноября 1790 г., когда Карамзин, возвратившись в Москву, разослал на особом листке при «Московских ведомостях» объявление об издании «Московского журнала»:[3] «Один приятель мой, который из любопытства путешествовал по разным землям Европы — которой внимание свое посвящал Натуре и Человеку преимущественно перед всем прочим, и записывал то, что видел, слышал, чувствовал, думал и мечтал — намерен записки свои предложить почтенной Публике в моем Журнале, надеясь, что в них найдется что-нибудь занимательное для Читателей». Таким образом, выступая в роли издателя нового журнала, Карамзин намеревался поместить свои записки в качестве журнальной статьи, не открывая своего авторства. Главы «Писем» появлялись в каждом номере «Московского журнала», кроме февральского и октябрьского за 1792 г. Сравнивая текст отдельного издания «Писем русского путешественника» с журнальной публикацией, нетрудно установить полную идентичность их состава, за исключением главы «Февраля 2, 1790», которая была напечатана в № 1 за 1791 г. отдельно под названием «Самоубийца, Анекдот» за подписью «К». Публикации «Московского журнала» оканчивались главой «Париж, 27 марта». В последней части журнала за 1792 г. Карамзин поместил «Заключение», где сообщал о прекращении журнала, о намерении вместо этого издавать альманах «Аглая», «заняться древними архивами», т. е. историей, и о предположении издать свое произведение отдельной книгой: «*Письма русского путешественника*, исправленные в слоге, могут быть напечатаны в двух частях; первая заключится отъездом из Женевы, а вторая возвращением в Россию».[4] Такого издания, в двух частях, никогда не было. Можно предположить, что к концу 1792 г. рукопись еще не существовала в окончательном виде и Н. М. Карамзину не совсем ясен был объем произведения.

[3] *Неустроев А. Н.* Исторические разыскания о русских повременных изданиях и сборниках за 1703—1802 гг. СПб., 1874, с. 699—700.

[4] Моск. журн., 1792, ч. 8, с. 337.

1793 г. оказался очень неблагоприятным для издательских начинаний Карамзина. Московский главнокомандующий А. А. Прозоровский, обеспокоенный по поводу выпущенных и разрешенных «в публику» книг, трактовавших о французской революции, отдает распоряжение: «...более типографий заводить не позволяю, как никакой цензуре нельзя бы успеть читать книг, при том и иностранных много сюда привозят. А к лутчему предотвращению не позволенных и развращенных содержаний книг за первое средство почитаю, чтобы таковых книг не впускать из заграницы, как после того трудно оные удерживать».[5] Осложнились отношения с типографией. «Московский журнал» печатался в типографии Московского университета, содержателем которой был Василий Иванович Окороков, человек, близкий Н. И. Новикову. В 1793 г. его уже здесь нет, и Карамзин беспокоится о судьбе «Аглаи», печатанием которой он занят в это время. «Судьба университетской типографии еще не решена, — пишет он И. И. Дмитриеву. — Может быть она достанется какому-нибудь Водопьянову или Пономареву — вообрази же, в каких руках будет московская литтература!».[6] К счастью, все уладилось, и «Аглая» (1794—1795) печатается также в университетской типографии (содержателями университетской типографии и книжной лавки в это время были Х. Клауди и Г. Ридигер;[7] у них же печаталось отдельное издание «Писем русского путешественника»). В «Аглае» Карамзин не возобновил последовательной публикации «Писем», но поместил только две главы, при этом только к одной главе — «Путешествие в Лондон» (1794) — дал подзаголовок «Отрывок из второй части „Писем русского путешественника“». Возможно, прав В. В. Сиповский, проанализировавший порядок и отбор глав, опубликованных в «Аглае», и сделавший вывод: «...или произошло цензурное крушение, или этого крушения боялся Карамзин и потому сам изуродовал свое произведение».[8] Сложность положения усугублялась тем, что в это же время Карамзин готовил отдельное издание «Писем русского путешественника». Уже 4 июня 1796 г. он писал И. И. Дмитриеву: «Если спросишь, что я делаю? то мне стыдно будет отвечать: так мало, что почти ничего, имея впрочем охоту писать. Лишь только за перо, кто-нибудь в дверь, или корректура на стол. 4 тома писем *Руск. пут.* выдут через месяц и будут тебе доставлены».[9] Первые четыре тома «Писем» вышли только в январе 1797 г.

Отдельное издание «Писем русского путешественника» представляет собой 6 томиков небольшого формата, они снабжены гравированным титулом, предисловием, посвящением семейству Плещеевых и «Изъяснением виньета» (имеются не на всех экземплярах). Внимание к гравированному

---

[5] *Рогожин В. Н.* Дела Московской цензуры в царствование Павла I. СПб., 1902, с. IX—X.

[6] *Письма к Дмитриеву*, с. 40; — письмо датировано: 22 июня 1793 г. Москва.

[7] О В. И. Окорокове, Х. Клауди и Г. Ридигере см.: *Неустроев А. Н.* Указатель к русским повременным изданиям и сборникам за 1703—1802 гг. и к историческому разысканию о них. СПб., 1898, с. 293, 454, 570.

[8] *Сиповский*, с. 160.

[9] *Письма к Дмитриеву*, с. 70.

титулу представляется не случайным: настойчивая тема путешествия, *пути* для Карамзина чрезвычайно существенна. К немецкому изданию (1800), за печатанием которого Карамзин не имел возможности следить так пристально, приложена картинка с изображением путешественника в коляске — жанровая сценка.

Отдельное издание «Писем русского путешественника» на самом деле представляет собой не одно, а два различных издания, помеченных одним и тем же годом. На томах 1—4 стоит дата: 1797; тома 5 и 6 помечены 1801 г. При этом по вариантам различается текст первых пяти томов. Тома 1—4 легко различаются и по внешнему виду: характером набора, пагинации (в первом издании колонцифры помещены в углу страниц, во втором — над серединой полосы набора), оформлением (в первом издании гравированный титул приложен к каждому тому, во втором — только к первому), во втором издании нет посвящения Плещеевым.[10] В. С. Сопиков предполагал, что перепечатка частей 1—4 произведена в 1801 г., так как 10 июля 1801 г. в «Московских ведомостях» появилась публикация о продаже пятой части «Писем русского путешественника» одновременно с частями 1—4.[11]

В июне 1797 г. был образован Московский цензурный комитет, новое для России учреждение, и Карамзин в это время особенно жалуется на тяготы издательского дела. 12 октября 1798 г. он писал И. И. Дмитриеву: «Здешние ценсоры при новой эдиции Аонид поставили + на моем *послании к женщинам.* Такая же участь ожидает и Аглаю, и мои безделки[12] и письма Руск. Путеш., т. е. вероятно, что ценсоры при новых изданиях захотят вымарывать и поправлять, а я лучше все брошу, нежели соглашусь на такую гнусную операцию; таким образом через год не останется в продаже может быть ни одного из моих Сочинений».[13] Возможно, что, стараясь перехитрить цензуру и ответить на потребности книжного рынка, Карамзин переиздает части 1—4 «Писем», не обозначив издание как второе, и печатает 5-й том, внешне почти не отличающийся от первого издания (различаются только по наличию издательской марки Ридигера и Клауди — РК — на обороте титула в 1-м издании). Шестой том «Писем русского путешественника» был издан только один раз.[14]

«Письма» Карамзина становились известны в Европе. 11 февраля 1798 г. Карамзин писал И. И. Дмитриеву о статье, заказанной ему журналом «Spectateur du Nord»: «От меня требовали *несколько строк* о рус-

---

[10] Общую характеристику изданий см.: Сводный каталог книг XVIII века, т. 2. М., 1964, № 2821, 2822.

[11] *Сопиков В. С.* Опыт российской библиографии, ч. 3. СПб., 1904, с. 121, № 5067.

[12] «Аониды» — альманах, издававшийся Н. М. Карамзиным в 1796—1797, 1799 гг. «Мои безделки» — сборник произведений Н. М. Карамзина; 1-е изд. — 1794, 2-е — 1797 г.

[13] *Письма к Дмитриеву*, с. 103—104.

[14] Ср.: Сводный каталог книг XVIII века, т. 2, № 2821. — 6-й том включен в состав первого издания; второе издание кончается томом 5. Между тем уже с 5-го тома колонцифры в обоих изданиях стоят над серединой полосы, оформление единообразно, так что оба издания фактически сливаются.

ской литературе вообще и при том извлечения из моих писем».[15] Именно в этой публикации «Письма» впервые предстают как законченное полное произведение, Карамзин пишет о пяти томах, совершенно готовых к печати. В 1800 г. в Лейпциге появился немецкий перевод «Писем русского путешественника» (переводчик Рихтер). Книгу не разрешили ввозить в Россию. 28 марта 1800 г. Карамзин жаловался в письме Дмитриеву: «Вообрази, что Рижская цензура, т. е. Туманский, остановила немецкий перевод моих писем! Как людям хочется делать зло!».[16] 18 апреля 1800 г. Павел I указом запретил ввозить книги из-за границы.

В начале 1800 г. Карамзин готовил переиздание «Московского журнала». А. Н. Неустроев, а вслед за ним и В. С. Сопиков датировали это издание 1801—1803 гг., причем Сопиков утверждал, что части 3 и 4 напечатаны в 1801 г., части 1, 5 и 6 — в 1802 г., а части 2, 7 и 8 — в 1803 г. Сопиков отметил, что издание «напечатано без перемен против первого издания».[17] Перемен не было, если судить только по оглавлению, но текст временами существенно отличается от текста первого издания журнала.

В 1803 г. выходят «Сочинения Н. М. Карамзина», где помещен полный текст «Писем». Второе издание «Сочинений Н. М. Карамзина» выходит в 1814 г., а третье — в 1820 г. Между последними двумя изданиями разночтений почти нет, текст «Писем русского путешественника» к 1814 г. приобретает свой окончательный вид.

Таким образом, работая над историей создания «Писем русского путешественника», необходимо учитывать 7 отличных друг от друга вариантов текста.

1. а) Публикации в «Московском журнале» 1791—1792 гг., которые оканчиваются главой «Париж, 27 марта»; кроме этого, в № 1 «Московского журнала» за 1791 г. была опубликована статья «Самоубийца. Анекдот», которая впоследствии вошла в состав «Писем русского путешественника» как глава «Февраль 2, 1790». Отдельная публикация этой главы повторена во втором издании «Московского журнала».

б) Публикации в альманахе «Аглая» 1794—1795 гг. Текст в альманахе опубликован выборочно:

Т. 1. «Путешествие в Лондон. (Отрывок из второй части «Писем русского путешественника»)». Отрывок соответствует главам: «Го-Бюиссон, в 4 часа пополудни»; «Кале, в час по полуночи»; «Кале, 10 часов утра»; «Пакет-бот»; «Дувр»; «Лондон».

Т. 2. Напечатана глава «Париж, Апреля 29, 1790», части которой скомпанованы иначе, чем в окончательном тексте: «Ныне целый день просидел...»; «На так называемом французском театре...»; «На театре графа Прованского...»; «Нынешний день обедал я у господина

[15] *Письма к Дмитриеву*, с. 92.
[16] Там же, с. 115.
[17] *Сопиков В. С.* Опыт российской библиографии, ч. 3, с. 19, № 3823.

Гло...»; «Париж ныне не то∾в тесном круге друзей и родственников...»; «Вчера, в придворной церкви...»; «Отчего сердце мое страдает?..».

2. Публикации во втором издании «Московского журнала» 1801—1803 гг. и во втором издании альманаха «Аглая» 1796 г.

3. Первый вариант отдельного издания «Писем русского путешественника» (т. 1—5. М., 1797—1801).

4. Второй вариант отдельного издания «Писем русского путешественника» (т. 1—5. М., 1797—1801).

Том 6 был издан только один раз, в 1801 г., когда вышли и продавались одновременно все пять томов первого и второго вариантов отдельного издания.

5. Издание полного текста «Писем» в составе «Сочинений Н. М. Карамзина» (т. 2—5. М., 1803).

6. Издание полного текста «Писем» в составе «Сочинений Н. М. Карамзина» (т. 2—5. Изд. 2-е. М., 1814).

7. Издание полного текста «Писем» в составе «Сочинений Н. М. Карамзина» (т. 2—5. Изд. 3-е. М., 1820).

ПРИМЕЧАНИЯ

ПИСЬМА РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

‹1›

С. 5. *Тверь, 18 маия 1789.* — До переезда границы Карамзин указывает даты по календарю юлианского летосчисления (так называемому «старому стилю»), в пограничной области дает двойные даты, а затем переходит на принятый в Европе грегорианский календарь. Разница между русской и европейской системой календарного исчисления в XVIII в. составляла 11 суток.

С. 5. *...готической дом, любезный предмет глаз моих в часы ночные...* — Имеется в виду так называемая «Меншикова башня» у Мясницких ворот. построенная архитектором И. П. Зарудным, вид на которую открывался из окон дома Дружеского ученого общества, где Карамзин жил с 1786 по 1789 г. Карамзин употреблял слово «готический» в нескольких смыслах — «старинный», «средневековый», «варварский». Здесь — в значении «старинный», одновременно намекая на увенчивающий башню острый шпиль.

С. 5. *Птрв.* — А. А. Петров, переводчик и друг Карамзина, проживавший с ним в одной комнате в доме Дружеского ученого общества. Об А. А. Петрове см. с. 685 и след.

С. 6. *...стоя перед каррикатурами Королевы Французской и Римского Императора...* — Имеются в виду Мария-Антуанетта и ее брат, австрийский император Иосиф II. Наводнившие с начала 1789 г. Париж карикатуры, направленные против королевы и ее австрийской родни, вдохновлявшей контрреволюционные интриги европейских дворов, были доступны в России. «У братьев Ге, торговавших одновременно в Петербурге и в Москве, имелись комплекты известного периодического издания Камилла Демулена ‹...› Каждый номер сопровождался злободневными политическими карикатурами, имевшими большой успех у современников» (*Штранге М. М.* Русское общество и Французская революция 1789—1794 гг. М., 1956, с. 55). Однако парижские памфлеты, карикатуры и лубочные картинки продавались и у других книгопродавцев, а также служили образцами для русских лубочных картин (ср. лубок «Славный объедала и веселый подпивала», воспроизводящий карикатуру С. Дюмопстье «Гаргантюа за завтраком», направленную против Людовика XVI). Карамзин и в Париже проявлял большой интерес к карикатурам и сатирическим листкам. Какую карикатуру видел Карамзин в деревенском трактире около Твери, установить невозможно. Однако эпизод этот важен другим — он вводит, хотя и в завуалированном виде, в самое первое письмо путешественника тему французской революции.

С. 6. *...выплакать сердце свое.* — Слова Кассия в трагедии Шекспира «Юлий Цезарь» (действ. 4, явл. 3). В 1787 г. эта трагедия была издана в Москве в переводе Карамзина.

‹2›

С. 6. *Д** — Александр Иванович Дмитриев (1759—1798), брат поэта И. И. Дмитриева и друг Карамзина. О нем см.: *Письма к Дмитриеву*, с. 3; *Дмитриев М. А.* Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869, по указателю; *Державин Г. Р.* Соч., т. 1.

СПб., 1864, с. 800—801. — О любовных страданиях А. И. Дмитриева Карамзин спрашивал его брата в письме из Лондона 4 июня 1790 г.: «Что-то делается в сердце любезного Александра Ивановича? Время и воинский шум рассеяли ли мрачность его?» (*Письма к Дмитриеву*, с. 14). А. И. Дмитриев был тогда влюблен в М. А. Пиль, на которой позже женился. Чувство это считалось в дружеском кругу эталоном нежной страсти: «Нетерпеливо желаю знать историю его нежного сердца», — писал Карамзин Дмитриеву (там же, с. 49).

‹3›

С. 8. *Миних* Бурхард Кристоф (1683—1767) — русский полководец. В 1760-х гг. ведал портами в Прибалтике и Северной России.

С. 8. *З**, едущий из Италии...* — Василий Николаевич Зиновьев (1754—1822), русский дипломат, масон. В Италии Зиновьев путешествовал в обществе Сен-Мартена. Вероятно, это было одной из тем получасовой беседы. Следует отметить, что Карамзин только что расстался с новиковским кружком, конечно, интересовавшим Зиновьева, и направлялся к А. М. Кутузову, который был приятелем Зиновьева по Лейпцигскому университету. Попытки Карамзина выехать из Петербурга морем заставили его бывать на бирже и вступать в беседы с иностранными моряками. Естественнее всего было искать их на таможне, где Карамзину мог оказать помощь третий лейпцигский студент — однокашник первых двух, А. Н. Радищев. Круг этих масонских и личных связей, видимо, составил тему беседы Карамзина с Зиновьевым.

С. 9. *Языки их сходны...* — Граница между Эстляндией и Лифляндией разделяла северную Эстонию с одной стороны и южную Эстонию и Латвию с другой. Говоря о сходстве языков, Карамзин имеет в виду ревельский и дерптский (таллинский и тартуский) диалекты, из которых в дальнейшем синтезировался эстонский литературный язык. Характеристика словаря эстонского языка свидетельствует, что Карамзина интересовала абстрактная лексика и что по этому показателю он судил о составе языка.

С. 9. *...они все Немецкия слова смягчают в произношении...* — Карамзин проявляет хорошую осведомленность в фонетике эстонского языка, указывая на отсутствие шипящих и замену их в заимствованных словах свистящими звуками. В сознании Карамзина это могло ассоциироваться с «нежным» произношением парижских петиметров и русских щеголих, заменявших в своей речи «грубые» шипящие «нежными» свистящими звуками. Источником сведений Карамзина об эстонском языке мог быть брат Якоба Ленца, с которым Карамзин был очень близок в Москве, Фридрих-Давид Ленц (1745—1809), который был знатоком и первым лектором эстонского языка в Дерпте.

С. 9. *Сии бедные люди, р а б о т а ю щ и е г о с п о д е в и с о с т р а х о м и т р е п е т о м...* — неточная цитата из Библии (Пс., 2, ст. 11). В немецком переводе «Писем» И. Г. Рихтера, авторизованном Карамзиным, дана в следующей редакции: «Сии люди, работающие господеви из нужды и по принуждению...».

С. 9. *...должен напоминать о падении Апостола Петра.* — Иисус предсказал, что Петр в течение ночи, прежде чем пропоет петух, трижды отречется от него (Евангелие от Матфея, гл. 26, ст. 34).

С. 9. *Тут была прежде наша граница...* — С XVI в. Нарва находилась под властью Швеции. В 1704 г. была отвоевана петровскими войсками.

С. 9. *...брат нещастного Л*** — Фридрих-Давид Ленц; издал несколько книг на тартуском диалекте эстонского языка.

С. 9. *Л*** — Якоб Михаэль Ленц (1751—1792), немецкий поэт и драматург, один из ярких представителей движения «бури и натиска» (см. ‹16›). В 1780 г. переселился в Россию. В Московском кружке Новикова познакомился с Карамзиным. Нужда и душевная болезнь явились причиной преждевременной смерти поэта. О влиянии Ленца на Карамзина см.: *Розанов М. Н.* Поэт периода «бурных стремлений» Якоб Ленц, его жизнь и произведения. М., 1901, с. 481—494.

С. 9. *...Поэму шестнадцатилетнего Л**...* — Речь идет о поэме Ленца «Народные бедствия» (1769). В шести ее книгах описаны страдания, причиняемые войной, голодом, чумой, пожаром, наводнением и землетрясением.

С. 10. *Клопшток* Фридрих Готлиб (1724—1803) — немецкий поэт, создатель религиозного эпоса «Мессиада» и возвышенно-патетических стихов, воспевающих любовь, природу, радость творчества. Один из основоположников гражданской поэзии в Германии. Упоминание имени Клопштока рядом с именем Шекспира — свидетельство преклонения перед творцом «Мессиады», которое разделяли с Карамзиным его московские друзья. В программном стихотворении Карамзина «Поэзия» (1787) Клопшток представлен в одном ряду с величайшими певцами прошлого, призванными вдохновлять современных поэтов.

С. 10. *Благочиние* — управа благочиния (полицейское управление).

С. 10. *Илью отправлю...* — Крепостные слуги сопровождали господ, как правило, до границы, после чего нанимались «вольные», поскольку право собственности русского дворянина на своего крепостного в Европе автоматически уничтожалось. Источники изобилуют случаями «отхода» взятых за границу крепостных от своих господ. Гоголь в альбом М. А. Власовой написал слова: «...глуп Руской, выехавший заграницу и жалеющий, что нет при нем крепостного человека» (*Jakobson Roman, Aroutunova Bayara.* An Unknown Album Page by Nikolaj Gogol. — Harvard Library Bull., 1972, vol. 20, № 3, July, p. 236).

‹4›

С. 10. *...вне отечества...* — Курляндия сделалась губернией Российской империи только в 1796 г. До этого она являлась полусамостоятельным герцогством со столицей в Митаве (теперь Елгава).

С. 11. *...Готшедову Грамматику...* — «Основания искусства немецкого языка» Иоганна Кристофа Готшеда (1700—1766), главы немецкого классицизма.

‹5›

С. 12. *...старомодных берлинов...* — название старомодных карет, изобретенных в Берлине.

‹6›

С. 13. *Курляндской Гаф* — Куршский залив.

С. 14. *...рыцарь веселого образа!* — Карамзин шутливо противопоставляет себя как странника Дон-Кихоту, Рыцарю печального образа.

‹7›

С. 15. *Wer seyd ihr?* — в немецком языке XVIII в. форма фамильярного обращения, не требующего обязательного соблюдения этикета. В тексте Карамзина ошибка: местоимение Ihr пишется с прописной буквы.

С. 16. *Доктор Фауст...* — Интерес к легенде о Фаусте, возникшей в эпоху Реформации, во второй половине XVIII в. проявился в творчестве Лессинга, молодого Гете и «бурных гениев» (см. ‹16›). О Фаусте Карамзин мог узнать не только из литературных источников, но и из бесед с Ленцем, использовавшим легенду в одном из своих ранних драматических фрагментов.

С. 16. *В самом же деле Иоанн Фауст...* — В данном случае Карамзин следует версии, отождествлявшей героя легенды с книгопечатником Иоганном Фаустом (ум. ок. 1466).

С. 18. *Что слышно о Шведах, о Турках?* — В конце 1780-х—начале 1790-х гг. Россия вела войны одновременно со Швецией и с Турцией.

С. 19. *Тренк* Фридрих фон (1726—1796) — прусский авантюрист. Свои приключения и странствования описал в автобиографии (1787), которая пользовалась большим спросом и многократно переиздавалась.

‹8›

С. 20. *Ритмейстер* — ротмистр.

С. 20. *Кант* Иммануил (1724—1804) — немецкий философ. В 1794 г. был избран иностранным членом Петербургской Академии наук. Философское учение Канта оказало значительное влияние на немецкую литературу. Лекции Канта в Кенигсбергском университете слушали Гердер и Ленц (первый в дальнейшем стал одним из самых непримиримых противников своего учителя). В 1770-х гг. в переписку с Кантом вступает Лафатер. С 1787 г. философию Канта углубленно изучает Шиллер.

С. 20. *Малебранш* (Мальбранш) Никола (1638—1715) — французский философ, утверждавший тезис о независимости души от тела. Вопрос о соотношении души и тела широко дискутировался в философской литературе XVIII в. Карамзин ставит его в письме к Лафатеру от 24 апреля 1787 г.

С. 20. *Лейбниц* Готфрид Вильгельм (1646—1716) — немецкий философ и математик. Большим влиянием пользовалось его учение о предустановленной гармонии и о земном мире как лучшем из миров, изложенное в трактате «Опыт теодицеи» (1710).

С. 20. *Боннет* (Бонне) Шарль (1720—1793) — швейцарский естествоиспытатель и философ, примыкал к французским сенсуалистам. Выступал против Мальбранша, стремился найти обоснование идеям Лейбница в изучении живой природы. Карамзин усердно штудировал сочинения Бонне. О встречах и беседах его с Бонне см. ‹84›.

С. 20. *Мендельзон* (Мендельсон) Моисей (1729—1786) — немецкий философ, друг Лессинга, по национальности еврей. В трактате «Федон, или о бессмертии души» (1767), полемизируя с Вольтером, защищал положение Лейбница о предустановленной гармонии. Сочинения Мендельсона были популярны в масонском кружке Н. И. Новикова.

С. 20. ...*дело постороннее.* — Карамзин выделил это выражение курсивом как неологизм, кальку немецкого Nebensache. Соответствует современному «дело второстепенное».

С. 20. *Потом я ... обратил разговор на природу и нравственность человека...* — Путешественник в беседе с Кантом проявляет знание и понимание сочинений и интересов немецкого философа. То, что в числе произведений Канта, которых он еще *не* читал, он называет лишь «Критику практического разума» и «Метафизику нравов» (вернее, «Основы метафизики нравов», вышедшие в Риге в 1785 г.; работа под заглавием «Метафизика нравов» была опубликована Кантом позже, лишь в 1797 г., следовательно, во время встречи путешественника с Кантом о ней речи идти не могло), можно рассматривать как указание на знакомство с «Наблюдением над чувством прекрасного и возвышенного» (1764), «Критикой чистого разума» (1781) и «Пролегоменами ко всякой будущей метафизике» (1783). Вопросы, которые Карамзин в 1788 г. задавал Лафатеру, свидетельствуют, что он был уже в курсе полемики между Мендельсоном и Кантом (см.: *Rothe H.* N. M. Karamzins europäische Reise: Der Beginn des russischen Romans. Philologische Untersuchung. Bad Homburg v. d. H. e. a., 1968, S. 70, 267—271, 286—288). О том, что Карамзин был в курсе журнальных публикаций Канта, см. ниже.

С. 21. *Он знает Лафатера...* — Отношение Канта к физиогномике было критическим. В «Антропологии с прагматической точки зрения», над которой он работал во время беседы с Карамзиным, он назвал ее «дешевым товаром» (см.: *Кант И.* Соч. в 6-ти т., т. 6. М., 1966, с. 546). Возможно, что ироническое отношение Канта к Лафатеру способствовало охлаждению восторга Карамзина (см. его письма к Лафатеру) и появлению иронических нот, звучащих в «Письмах».

С. 21. ...*ослепляется мечтами, верит Магнетизму...* — Магнетизм — медицинская система австрийского врача А. Месмера (1733—1815), согласно которой существует особая жизненная сила — животный магнетизм, — с помощью которой живые организмы таинственно воздействуют друг на друга. Х. Роте считает, что Я. Ленц ознакомил Карамзина еще в Москве с трактатом Канта «Грезы духовидца, поясненные грезами метафизика» (1766) и что именно здесь кроется, возможно, источник того чистого эмпиризма, который сквозит в письме Карамзина

Лафатеру от 10 июня 1788 г. (см. Переписку Карамзина с Лафатером; *Rothe H.* N. M. Karamzins europäische Reise, S. 70). Критика мистицизма и интуитивизма занимала Канта (см. его письма г-же Кноблох 10 авг. 1763 и М. Мендельсону 8 апр. 1766). То, что Карамзин, порвав с умозрениями московских мистиков 1780-х гг., начал свое европейское путешествие с посещения Канта, не случайно ни для его реального путешествия, ни для композиции «Писем» как литературного произведения.

С. 21. ... *внутри приборов не много.* — Приборы здесь: убранства.

С. 21. *Марграф* (маркграф) — правитель пограничной области (марки) в средневековой Германии. Маркграфство Бранденбургское впоследствии вошло в состав Пруссии.

С. 21. ... *подобно Улиссу, зовущему тени друзей...* — Имеется в виду XI песнь «Одиссеи», где Одиссей посещает царство мертвых и вызывает тени своих соратников.

С. 22. *И**** — Иван Исаков, консул в Кенигсберге в 1789 г.

‹9›

С. 24. ... *взялся за работу Данаид...* — В греч. мифологии — дочери аргосского царя Даная, которые в наказание за убийство своих женихов были обречены вечно наполнять водой бездонную бочку.

С. 24. *Курхо* — божество жатвы у древнего племени пруссов, населявшего южное побережье Балтийского моря.

С. 25. *Браге* Тихо (1546—1601) — датский астроном. Был сторонником геоцентрической системы. На острове Вен, пожалованном ему королем, была сооружена великолепная обсерватория Ураниборг. Происки врагов вынудили Браге прекратить работу в обсерватории и уехать из страны.

С. 26. *Шведская Померания* — северо-западная часть Померании, находившаяся со времен Тридцатилетней войны под владычеством Швеции.

С. 26. ... *вы губите нашего бедного Короля!* — Шведский король Густав III (1746—1792) терпел неудачи в войне с Россией.

С. 26. *Немецкий Орден* — Тевтонский рыцарский орден, осуществлявший в XIII—XIV вв. агрессию в Восточной Прибалтике.

‹10›

С. 26. *Подобно как монахи строжайшего Ордена ... произносят: Помни смерть!* — Монахи ордена траппистов (1148—1636) были связаны обетом молчания. Единственные произносимые ими слова были «Memento mori», которыми они обменивались при встрече вместо приветствия.

С. 27. ... *славную Эйхелеву картину...* — Имеется в виду картина Ван Эйка. Однако Карамзин, как и его современники, ошибался: триптих «Страшный суд» (ок. 1473), до середины XIX в. приписывавшийся Ван Эйку, был работой Ханса Мемлинга.

С. 27. *Тренделенбург* Иоганн Георг (1757—1825) — профессор греческого и восточных языков Данцигской гимназии, автор учебника «Начальные основы греческой грамматики» (1782).

С. 27. *Станислав Лещинский* (1677—1766) — претендент на польский престол. После сдачи Данцига бежал за границу и поселился в Лотарингии.

‹12›

С. 29. *Бишоф* — напиток из красного вина с сахаром, лимоном и специями.

‹13›

С. 30. ... *боюсь ... Руских козаков.* — Трактирщик вспоминает события Семилетней войны, когда в 1760 г. русские войска вступили в Берлин.

С. 31. *Не зная по-Французски, употребляют они в разговоре множество Французских слов...* — Имеется в виду одно из проявлений галломании немецкого дворянства, осмеянной в тогдашней сатирической литературе.

С. 31. *Луцифер* (Люцифер) — сатана, повелитель сил ада.

С. 31. *Мамон* — бог богатства у древних сирийцев.

С. 32. *Баракоменеверус* — Происхождение этого имени не установлено.

С. 32. *Панглос* — персонаж повести Вольтера «Кандид».

‹14›

С. 32. *Б р а т Р а м з в й* — прозвище Карамзина в дружеском кругу по имени Эндрю Рамзея (1688—1743). Рамзей мечтал реформировать масонство, превратив его в «народ высших интеллектов», братство людей науки и искусств ради всеобщего мира и социальной справедливости. Эти идеи, видимо, развивались Карамзиным в дружеском кругу и дали основание для несколько иронического прозвища. «Брат» — обычное обращение масона к масону. Противопоставление раздоров и войн, царящих в социальной действительности, братству и миру, соединяющим ученых различных стран и вероисповеданий, см. у Карамзина на с. 258 наст. изд. Начиная с эпизода с Кантом, терпимость к чужим взглядам станет обязательной чертой положительного портрета ученого в «Письмах».

С. 33. *Империя* — монархия Габсбургов, именовавшаяся до 1806 г. «Священной Римской империей германской нации».

С. 33. *Ж и з н ь Б а р о н а Т р е н к а* — См. ‹7›.

С. 33. *...во сне увидела Тренка в цепях...* — В 1754 г. Тренк был вторично арестован в Пруссии; после неудачной попытки бежать был закован в кандалы и провел в тюрьме около девяти лет.

С. 33. *Приезжай благополучно в наше отечество... Тут я готов был вспрыгнуть от радости, что это был не наш А***.* — Смысл отрывка раскрывается из сопоставления с реальными обстоятельствами биографии скрытого за инициалом *А**** А. М. Кутузова (о нем см. в статье Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского в наст. изд.). После ареста и осуждения Радищева Кутузову, которому было посвящено «Путешествие из Петербурга в Москву», дорога на родину была закрыта. Друзья Кутузова из круга московских масонов дали ему понять, что существует приказ арестовать его на границе, и старательно предостерегали от опрометчивого возвращения в Россию. Карамзин входил в этот круг и, конечно, знал, что Кутузов не может отправиться из Берлина обратно в Москву, хотя и пламенно желает этого. Поэтому предположение, что ночной путешественник, которого встретил герой «Писем», подъезжая к Берлину, был возвращавшийся на родину Кутузов (*А****), — лишь литературный прием, позволяющий ввести в текст 1791 г. смелое пожелание *благополучного* его возвращения. Карамзин понимал, что последнее возможно лишь при условии изменения общего направления правительственного курса, пересмотра дела Радищева и прекращения гонений на масонов. Даже в зашифрованном виде введение такого пожелания было делом большой смелости, оценивая которую, следует учитывать, что личные отношения Карамзина и Кутузова к моменту публикации «Писем» из дружеских превратились в самые холодные.

С. 34. *...к нашему Королю пожаловала гостья, его сестрица.* — Имеется в виду Фридерика София Вильгельмина (1751—1820), жена Вильгельма V, штатгальтера нидерландского.

С. 34. *...у нас война.* — См. ‹7›.

С. 34. *Л и п о в а я улица* — Унтер ден Линден, главная улица Берлина.

С. 35. *Когда Руския войска пришли сюда...* — См. ‹13›.

С. 35. *Покойный Король* — Фридрих II.

С. 35. *...Николаево описание Берлина...* — Фридрих Николаи (1733—1811) — писатель и журналист, представитель умеренного бюргерского просветительства. Сотрудничал с Лессингом. Карамзин имеет в виду его «Описание королевских резиденций Берлина и Потсдама со всеми их достопримечательностями» (1769).

С. 35. *Бистер* Иоганн Эрих (1759—1816) — журналист, один из издателей «Бер

линского ежемесячника» (в переводе Карамзина: «Берлинский журнал»); с 1784 г. был королевским библиотекарем.

С. 36. *Шарлотенбург* — замок, построенный в конце XVII в. под Берлином. Назван по имени супруги Фридриха I Софии Шарлотты.

С. 36. *Принц Фердинанд* — Принц Прусский (1730—1813), младший брат короля Фридриха II.

‹15›

С. 36. *...я виделся с известным Николаем...* — О Николаи см. ‹14›.

С. 37. *Берлинской Иезуитизм.* — Орден иезуитов в 1773 г. был упразднен папой Климентом XIV, но иезуиты долгое время сохраняли влияние во многих странах Европы, в частности в южногерманских княжествах — оплоте католической реакции. Козни иезуитов — одна из постоянных тем немецкой публицистики конца XVIII в. Однако опасность иезуитизма порой сильно преувеличивалась, полемика против него нередко переходила в ожесточенные споры по вопросам вероисповедания. Отсюда— ироническое отношение Карамзина к «ужасной войне», начатой в Берлине против «скрытых иезуитов».

С. 37. *Каллиостро* Александр (наст. имя Джузеппе Бальзамо, 1743—1795) — знаменитый авантюрист, объездивший все страны Европы; выдавал себя за медика, алхимика, заклинателя духов.

С. 37. *Гедике* Фридрих (1754—1803) — педагог и журналист; издавал совместно с И. Э. Бистером (см. ‹14›) «Берлинский ежемесячник».

С. 37. *...колкого ответа Доктора Бистера Господину Гарве...* — Имеется в виду полемика между Бистером и Кристианом Гарве (1742—1798), философом просветительского направления, на страницах журнала «Берлинский ежемесячник» в 1785 г.

‹16›

С. 40. *...естьли бы не было у них Лессинга, Гете, Шиллера...* — «Письма русского путешественника» свидетельствуют о том, что их автор хорошо знал немецкую литературу и понимал основные тенденции ее развития. Этому в немалой степени способствовал интерес к духовной жизни Германии, господствовавший в кружке Н. И. Новикова, к которому в 1784—1789 гг. принадлежал Карамзин, а также общение молодого писателя с Ленцем (см. ‹3›) — непосредственным участником литературного движения «буря и натиск» (название произошло от заглавия пьесы Ф. Клингера). Сочинения немецких авторов Карамзин читал в оригинале; по словам того же Ленца, он писал и говорил по-немецки, как прирожденный немец (см.: Briefe von und an I. M. R. Lenz, Bd 2. Leipzig, 1918, S. 232). «Письма» содержат отзывы Карамзина о произведениях различных жанров немецкой литературы, однако преимущественное внимание он уделяет драматургии. В особенности Карамзина интересовал опыт создания в Германии драмы нового типа, имевший в то время общеевропейское значение. Будучи сам теоретиком драмы (см. его предисловия к переводам Шекспира и Лессинга), Карамзин понимал новаторский характер немецкого театра. Главную заслугу немцев он видит в том, что они «с такою живостию представляют в Драмах своих человека, каков он есть, отвергая все излишние украшения, или французские румяны...». Отрицание «холодного» и «украшающего» классицистического искусства, требование естественности в изображении человека — основные идеи, выраженные в литературных манифестах движения «бури и натиска». Участники его решительно порывают с нормативной эстетикой классицизма. На первый план выдвигается идея «характерного» искусства, наделенного силой, энергией и национальной самобытностью, народного во всех своих проявлениях. Отвергая рассудочное знание, писатели «бури и натиска» провозглашают культ «оригинального гения» — художника-творца, отрицающего искусственные «правила» и следующего во всем природе. Олицетворением такого художника был для них Шекспир. Молодой Гете и его сподвижники продолжали борьбу, начатую Лессингом, за создание немецкого

национального театра, они открыли живую стихию народного творчества, обогатили литературу новым демократическим содержанием и новыми выразительными средствами. Эстетическая программа раннего Карамзина обнаруживает немало точек соприкосновения с программой «бури и натиска». Понятие «гений Натуры», которым он пользуется, в основном соответствует штюрмерской (от немецкого «Sturm» — буря) концепции «оригинального гения». «Глубокая чувствительность», любовь к природе, признание внесословной ценности человеческой личности — все это также сближало Карамзина с творчеством «бурных гениев». Его вдохновляли те же художественные образцы — Гомер, Оссиан, Шекспир, Руссо. В то же время между Карамзиным и поэтами «бури и натиска» имеются и существенные различия. Карамзин не приемлет штюрмерского титанизма и антифеодального бунтарства, его мировоззрению в большей степени отвечали «религия сердца» Лафатера и меланхолическая мечтательность ранних немецких сентименталистов. Характеризуя новый этап в развитии немецкой литературы, Карамзин (возможно, не без влияния Ленца) в первоначальной журнальной редакции «Писем» рядом с именами Лессинга, Гете и Шекспира назвал также Ф. Клингера. Позднее, однако, Карамзин исключил это имя, выделив тем самым только вершинные явления в развитии немецкой драмы XVIII в. Первым в ряду великих писателей Германии Карамзин называет Лессинга, теоретические труды и художественное творчество которого открыли путь новой немецкой драме. Программное произведение Лессинга — трагедия «Эмилия Галотти» была переведена Карамзиным в 1788 г.; в предисловии к переводу он характеризует автора трагедии как «философа, проникающего взором своим в глубины сердца человеческого». Драматургическое творчество Гете ко времени создания «Писем русского путешественника» было уже хорошо известно читающей публике. В течение 1770—1780-х гг. были опубликованы основные его драматические произведения: «Гец фон Берлихинген», «Клавиго», «Ифигения в Тавриде», «Эгмонт». В 1790 г. вышли в свет «Торквато Тассо» и первая редакция «Фауста» («Фауст. Фрагмент»). Историю освоения Гете в России принято начинать с 1780 г. — с момента опубликования первого русского перевода «Клавиго». Имеются, однако, основания полагать, что интерес к творчеству немецкого поэта пробудился в русском обществе еще до появления этого издания. Показательно, что переводчик «Клавиго» О. П. Козодавлев счел излишним подробно говорить в предисловии об авторе пьесы и его достоинствах, поскольку они «всем любителям словесных наук уже известны». Карамзин мог почерпнуть много сведений о Гете из бесед с Ленцем, другом юности великого поэта. Шиллер в 1780-х гг. воспринимался прежде всего как последователь «бури и натиска». В России в 1793 г. Н. Н. Сандунов перевел шиллеровских «Разбойников». Карамзин — один из первых русских писателей, обратившихся к творчеству Шиллера. В «Письмах» он подробно останавливается на его юношеских трагедиях «Заговор Фиеско» и «Дон Карлос». С идейной проблематикой «Дона Карлоса» связано, возможно, и то место в письме из Парижа, где Карамзин говорит о «привлекательных мечтах» Шиллера.

‹17›

С. 41. *Сан-Суси* (*франц.* sans-souci — беззаботность) — дворец в Потсдаме, любимое место отдыха Фридриха II.

С. 41. *Нынешний Король* — Фридрих Вильгельм II (1744—1797), племянник и преемник Фридриха II.

С. 41. *...будучи Принцом, имел там много неудовольствий и досад...* — Фридрих II порицал наследника своего престола за бесхарактерность и распущенность.

С. 41. *«Видно, что у нас на Руси язык очень переменился...»* — Карамзин высказывает исключительно важную для него идею исторического развития языков, легшую в основу его концепции эволюции культуры и вызвавшую в дальнейшем полемику карамзинистов с шишковистами.

С. 42. *Здесь гулял Фридрих с своими Вольтерами и Даланбертами.* — Играя роль просвещенного монарха, Фридрих II настойчиво приглашал к себе иностранных писателей и ученых. Вольтер находился при дворе прусского короля с 1750 по 1753 г. Его дружба с Фридрихом II закончилась ссорой. «*Даланберт*» (Д'Алам-

бер) Жан Лерон (1717—1783) — французский философ и математик, издававший вместе с Д. Дидро «Энциклопедию». В 1762 г. нанес Фридриху II кратковременный визит.

С. 42. *Аркадия* — в поэзии XVIII в. страна счастливых пастухов и пастушек. В 1789 г. Карамзин перевел из немецкого журнала «Друг детей» пастораль «Аркадский памятник».

С. 43. *...сестры покойного Короля...* — Речь идет об Амалии Прусской (1723—1787), младшей сестре Фридриха II, увлекавшейся оккультными науками.

С. 43. *Играли Оперу Медею, в которой пела Тоди.* — Португальская певица Луиза Роза д'Агьяр Тоди (1753—1833) пела в опере Иоганна Готлиба Наумана (1741—1801) «Медея в Колхиде». Певица гастролировала в крупнейших столицах Европы. О ее выступлениях в России упоминает Радищев в «Путешествии из Петербурга в Москву» (глава «Клин»).

‹18›

С. 44. *Ныне был я у старика Рамлера...* — Карамзин дает широкий обзор интеллектуальной жизни Берлина: путешественник посещает Николаи, Формея, Рамлера, Морица, упоминает Кампе, Энгеля, неизменно проявляя полную осведомленность о творчестве каждого из них и их литературных отношениях. Однако в целом оценка Карамзиным литературной среды Берлина сухая и сдержанная: он не скрывает устарелости воззрений берлинцев и особенно подчеркивает их узость и нетерпимость. Однако, верный своему требованию толерантности, он уклоняется от прямых осуждений, выражая неодобрение формулой умолчания. Такая позиция требовала от читателя большой культуры — понимания не только того, что сказано, но и того, что обойдено. Так, говоря о Формее, Карамзин не упоминает о грубо бестактной книге его «Анти-Эмиль», вышедшей в Берлине в 1763 г. и бравшей одну из самых высоких нот в травле Руссо. Но через два письма Карамзин с высочайшей похвалой отзывается об «Исповеди», а еще в следующем письме (Берлин, июля 7) положительно отзывается о «Руссовой системе» воспитания, т. е. об «Эмиле». Понимающий читатель мог сделать из этого вывод об отношении путешественника к Формею; одновременно он испытывал на себе воздействие высокой культуры карамзинского повествования.

С. 44. *...при жизни Геснеровой...* — Соломон Геснер (1730—1788) — швейцарский поэт, автор идиллий, оказавший большое влияние на литературу европейского сентиментализма. В России поэма Геснера «Авелева смерть» была в 1780 г. издана Н. И. Новиковым. Молодой Карамзин перевел в 1783 г. его идиллию «Деревянная нога». В стихотворении «Поэзия» Карамзин прославляет Геснера за то, что тот пел «Невинность, простоту, пастушеские нравы И нежные сердца свирелью восхищал».

С. 45. *Автор пишет в Шекспировском духе.* — Молодой Шиллер воспринимался современной ему критикой как последователь Шекспира. Следы шекспировского влияния рецензенты находили и в «Дон Карлосе» (1783—1787).

‹19›

С. 46. *Anton Reiser* — «Антон Райзер. Психологический роман» (1785—1790), автобиографическое произведение К. Ф. Морица, продолжающее социально-критическую линию творчества «бурных гениев».

С. 46. *Confessions de J. J. Rouseau* — «Исповедь» Жан-Жака Руссо (1712—1778), автобиографическое произведение, созданное в 1766—1769 гг.

С. 46. *Stillings Jugendgeschichte* — Точное название: «Юность Штиллинга. Подлинная история» (1777). Генрих Юнг, прозванный Штиллингом (1740—1807), — представитель течения «философия чувства и веры», связанного с «бурей и натиском».

С. 46. *Reisen eines Deutschen in England* — «Путешествие немца по Англии в 1782 году» (1783). «Письма» Карамзина в описании быта англичан обнаруживают сходство с книгой Морица (см.: *Сиповский*, с. 247—251).

С. 46. *О путешествии его по Италии ... Немецкая Публика еще ничего не знает.* — «Путешествия немца по Италии с 1786 по 1788 г.» были изданы позднее, в 1792—1793 гг.

С. 46—47. *Психологический Магазин* — «Magazin für Erfahrungsseelenkunde» («Журнал изучения душевных способностей»), 1783—1793.

С. 47. *«...предложил Публике свое оправдание».* — К. Мориц (см. выше) послал во «Всеобщую литературную газету» ответ на обвинения Кампе, за которым последовало его письмо «О брошюре г-на школьного советника Кампе и о правах писателя и книгопродавца».

С. 47. Светский философ — название сборников философско-назидательных произведений, издававшихся И. Энгелем в 1775, 1777 и 1800 гг.

С. 47. *...представляли ныне Шредерову Familiengemählde...* — Фридрих Людвиг Шредер (1744—1816) — немецкий актер и драматург; Familiengemählde — «семейная картина», разновидность мещанской драмы, в которой обычно все конфликты благополучно улаживались. В немецком переводе «Писем» Рихтера поясняется, что речь идет о «семейной картине» Шредера «Кузен из Лиссабона» (1784).

С. 47. *Два охотника* — комическая опера Луи Ансома «Два охотника и молочница» (1763), муз. Гретри.

‹20›

С. 47. *Ц** — Иоганн Георг Циммерман (1728—1795), немецкий врач и писатель. В своей книге «О Фридрихе Великом и моих беседах с ним незадолго до его кончины» (1788) отмечает падение нравов берлинского общества.

С. 48. *Руссова система* — педагогическая система Ж.-Ж. Руссо, изложенная в его романе-трактате «Эмиль, или О воспитании» (1762). Руссо выдвигает идею воспитания идеального человека, не затронутого пагубным влиянием ложной «цивилизации», сохраняющего естественность и чистоту чувств.

С. 48. *Орфей* — мифический певец, погибший от рук вакханок.

‹21›

С. 48. *...schwer Noth* (Schwere Noth) — В немецком языке употребляется также как проклятие.

‹22›

С. 49. *...провел на песке длинную змейку, подобную той, которую в Тристраме Шанди начертил Капрал Трим...* — Место, которое, видимо, по памяти цитирует здесь Карамзин, находится в 4-й главе девятого тома «Тристрама Шенди» и звучит так: «„Ничего не может быть грустнее пожизненного заключения, — продолжал капрал, — и слаще свободы, ваша милость“. — Ничего, Трим, — повторил мой дядя Тоби в раздумьи. „Пока человек свободен“, — воскликнул капрал, — и кончил свою мысль, описав палкой по воздуху такую линию». Далее в романе следует змеeобразная прихотливая черта, которая должна иллюстрировать мысль Стерна о связи игры и свободы.

С. 50. *Гогардские каррикатуры* — рисунки и картины английского художника сатирика Уильяма Хогарта (1697—1764).

‹23›

С. 52. *Я рассматривал со вниманием Рафаэлеву Марию...* — Имеется в виду одно из самых прославленных произведений Рафаэля — «Сикстинская Мадонна».

С. 52. *...Корреджиеву ночь...* — «Поклонение пастухов», часто называемое «Ночь», наиболее чтимого в XVIII и в первой трети XIX в. итальянского художника Корреджо (1494—1531).

С. 53. *Фарнезские палаты* — римский дворец папы Павла III, происходившего из рода Фарнезе.

С. 54. *В Бассановых картинах* — в картинах Якопо Бассано (1510—1592).

С. 54. *Во всех Джиордановых картинах* — в картинах неаполитанского живописца Луки Джордано (1632—1705).

С. 54. *В картинах Николая Пуссеня* — в картинах Никола Пуссена (1594—1665), крупнейшего мастера классицизма.

С. 54. *Фан Дик, Рубенсов ученик...* — Имеются в виду фламандские мастера Антонис Ван Дейк (1599—1641), прославленный портретист, и его еще более прославленный учитель Питер Пауль Рубенс (1577—1640).

С. 54. *Менгсовы...* — произведения Антона Рафаэля Менгса (1728—1779), немецкого художника-классициста.

С. 55. *Посланника нашего нет в Дрездене.* — Речь идет об Александре Михайловиче Белосельском-Белозерском (1752—1809), дипломате и писателе, русском посланнике в Саксонии с 1779 по 1789 г.

‹26›

С. 57. *«Глаз, по своему образованию...»* — цитата из письма Лафатера от 16 июня 1787 г. (см. с. 469 наст. изд. — в другом переводе).

С. 58. *Один древний поэт сказал...* — Имя автора стихотворения не установлено. По-видимому, Карамзин имеет в виду одного из представителей латинской поэзии, процветавшей в Германии в XV—XVII вв.

С. 58. *...Герои от племени Виттекиндова...* — Виттекинд (Видукинд, VIII в.) — вождь саксов. Вел борьбу против Карла Великого, пытавшегося захватить его страну, однако после нескольких поражений перешел на сторону франков и принял крещение. Карл Великий, по преданию, стал крестным отцом Виттекинда и щедро одарил его.

‹28›

С. 61. *...узнал я о славе Анахарсиса...* — Речь идет о романе Жан-Жака Бартелеми (1716—1795) «Путешествие молодого Анахарсиса по Греции» (1788).

С. 62. *Афоризмы Платнеровы* — «Философские афоризмы» (1776—1782).

С. 62. *...видел я Геллертов монумент, сделанный ... Эзером.* — Кристиан Фюрхтеготт Геллерт (1715—1769) — немецкий писатель умеренного бюргерского направления, один из предшественников сентиментализма. Адам Фридрих Эзер (Oeser) (1717—1799) —немецкий художник и скульптор, с 1764 г. директор лейпцигской Академии искусств.

С. 62. *...читая его Инкле и Ярико... или Зеленого осла...* — Названия рассказа и басни Геллерта. Перевод этого рассказа об англичанине, продавшем в рабство свою возлюбленную — индианку, спасшую ему жизнь, был помещен в 1780 г. в «Санкт-Петербургском вестнике».

С. 62. *Профессор*** — Иоганн Матиас Шаден, директор пансиона, в котором в 1777—1781 гг. учился Карамзин.

С. 63. *...буду читать Вейсееву Элегию на смерть Геллерта, Крамерову и Денисову Оду...* — Все три стихотворения, названные Карамзиным, помещены в приложении к биографии Геллерта, изданной в 1774 г. И. А. Крамером.

‹29›

С. 64. *Я вам поставлю в пример Франклина, не как Ученого, но как Политика.* — Бенджамин Франклин (1706—1790) — американский просветитель, ученый и общественный деятель; выступал против религиозных преследований, обличал торговлю наемниками и требовал отмены рабства.

С. 64. *...из Мендельзоновых Философических Писем, или Иерузалемовой книги о Религии...* — По-видимому, имеются в виду «Философские разговоры» (1755) Мендельсона (см. ‹8›) и «Размышления о важнейших истинах религии» Иоганна Фридриха Вильгельма Иерузалема (1709—1789), изданные в 1768—1779 гг.

‹30›

С. 65. *...все Лейпцигские книгопродавцы богатеют... предлагает ему десять, двадцать и более талеров за лист.* — Отрывок посвящен вопросам авторского права, гонораров, просвещения и книжной торговли и представляет собой под видом рассказа о положении книгоиздательского дела в Германии краткое изложение программы Карамзина по вопросам распространения знаний.

С. 65. *Он помнит К*, Р* и других Руских, которые здесь учились.* — Имеются в виду прибывшие в 1767 г. для обучения в Лейпцигском университете А. Кутузов, П. Челищев, А. Рубановский, А. Радищев, С. Янов, А. Несвицкий, В. Трубецкой, В. Зиновьев, Ф. и М. Ушаковы и И. Насакин. Под инициалами К* и Р*, вероятно, скрыты А. М. Кутузов и А. Н. Радищев. Предположение, что это с такой же вероятностью могут быть О. П. Козодавлев и А. К. Рубановский (см.: *Карамзин Н. М.* Избранные соч. в 2-х т., т. 1. М.—Л., 1964, с. 792), представляется малоубедительным: у нас нет никаких данных, говорящих о сколь-либо серьезном интересе Карамзина к этим лицам. Между тем Кутузов был его близким другом (см. ‹14›), и вспомнить о нем в разговоре с его университетским профессором было более чем естественно. Видимо, соприкосновение Карамзина с окружением Радищева было более близким, что это обычно представляется. Даже во время путешествия за границей Карамзин постоянно общался с людьми из радищевского круга: Кутузов и Зиновьев были его школьными товарищами, Платнер — профессором, П. П. Дубровский — хорошим знакомым, а С. Р. Воронцов — братом ближайшего друга. По крайней мере очевидно, что читатель летом 1791 г., сталкиваясь с упоминанием лейпцигского студента Р*, в первую очередь должен был думать о Радищеве, чей нашумевший процесс был злобой дня, а не о мало кому известном Рубановском. Карамзин не мог не учитывать такой ассоциации. Избежать ее было в его власти — он этого не сделал. Вряд ли это было случайно.

С. 66. *Сульцерова Теория Изящных Наук* — «Всеобщая теория изящных искусств» Иоганна Георга Зульцера (1720—1779), труд, изданный в форме словаря в 1771—1774 гг.

С. 66. *...ужин, — самый Афинский...* — Афинский ужин, симпозиум — пир мудрецов; ср. повесть Карамзина «Афинская жизнь».

С. 66. *...десять песней Мессиады переведены на Руской язык.* — В 1785—1787 гг. поэма Клопштока (см. ‹3›) была издана в Москве в переводе друга Карамзина А. М. Кутузова.

С. 66. *Россияда* (1779) *и Владимир* (1785) — поэмы М. М. Хераскова. Отбор произведений, перечисленных Карамзиным, явно тенденциозен и соответствует литературным вкусам новиковского окружения. Ср. письмо Карамзина Лафатеру 20 апр. 1787 (с. 468).

‹31›

С. 67. *...разныя пиесы из его Друга детей...* — Речь идет о журнале, издававшемся К. Ф. Вейсе в 1775—1782 гг. Переводы Карамзина и А. А. Петрова из этого журнала печатались в «Детском чтении».

С. 68. *Дмитревской* — Иван Афанасьевич Дмитревский (1734—1821), русский актер и театральный деятель. Рукопись его «Истории русского театра» не сохранилась.

С. 68. *...купил... Оссианова Фингала и Vicar of Wakefield.* — «Фингал» — поэма шотландского поэта Джеймса Макферсона (1736—1796), выдавшего себя за переводчика легендарного кельтского барда Оссиана, сына Фингала. Издана в 1762 г. Оссианической поэзией увлекались Клопшток (см. ‹3›) и «бурные гении» (см. ‹16›), образы и мотивы ее широко использовались молодым Карамзиным. Здесь речь скорее всего идет о книге «Fingal. An epic poem in six books», вышедшей в 1788 г. в Геттингене. Vicar of Wakefield — «Векфилдский священник», роман английского писателя-сентименталиста Оливера Голдсмита (1728—1774), изданный в 1766 г.

С. 68. *...Господину Аделунгу угодно почитать это слово за испорченное...* — Немецкий филолог Иоганн Кристоф Аделунг (1732—1806) дает этимологию слова

«филистер» в своем «Опыте полного грамматико-критического словаря верхне-немецкого наречия» (*Adelung J.-K.* Versuch eines vollständigen grammatisch-kritischen Wörterbuches der Hochdeutschen Mundart, Th. 3. Leipzig, 1777, S. 1076).

‹32›

С. 69. *А** — См. ‹14›.

‹33›

С. 71. *Urkunde des menschlichen Geschlechts* — Полное название: «Älteste Urkunde des menschlichen Geschlechts». В этом труде, изданном в 1774—1776 гг., Гердер сопоставляет Ветхий завет с космогоническими преданиями народов древнего Востока.

С. 71. *Я читал его Бога...* — Трактат Гердера «Бог» (1787), в котором в диалогической форме излагается пантеистическое учение Спинозы.

С. 72. *Парамифии* — короткие рассказы на мифологические темы, включенные Гердером в первый том его «Разрозненных листков» (1785).

С. 73. *Meine Göttin* — «Моя богиня», стихотворение, написанное Гете в 1780 г. В ответ на восторженный отзыв Карамзина о Клопштоке Гердер предлагает ему этот образец новой поэзии, проникнутой эллинистическим духом и знаменующей отход Гете от штюрмерства (см. ‹16›).

С. 73. *Физиогномическое Путешествие* — точнее, «Физиогномические путешествия» — книга, высмеивающая учение Лафатера.

С. 73. *Чувствительная Амалия...* — Анна Амалия, герцогиня Саксен-Веймарская (1739—1807), мать герцога Карла Августа (1757—1828).

‹34›

С. 74. *Л** — Ленц; см. ‹3›.

С. 75. *Ш** — Андрей Петрович Шувалов (1727—1789), государственный деятель и литератор. Поддерживал связи со многими европейскими писателями. Знаток французского языка, он помогал Екатерине II вести переписку с Вольтером.

С. 75. *Медицисская* (Медицейская) *Венера* — статуя в музее Уффици (Флоренция).

С. 75. *Бельведерский Аполлон* — статуя в Бельведерском дворе Ватикана.

С. 75. *Фарнезский Геркулес* — статуя в Неаполитанском музее, копия с утраченного бронзового оригинала.

С. 75. *Олимпийский Юпитер* — скульптурное изображение Зевса в Ватикане.

С. 76. *...перевод печальной весны.* — Имеется, по всей вероятности, в виду «Весенняя песнь меланхолика» — стихотворение Карамзина, написанное в марте 1788 г. и опубликованное в «Детском чтении» (1789, ч. 18, с. 63).

С. 76. *...Агатон, или Оберрон...* — «История Агатона» (1766—1767), ранний образец просветительского «романа воспитания», в котором описывается духовное развитие греческого юноши. Переведен в России в 1783—1784 гг. Карамзин называл Агатоном своего друга А. А. Петрова. «Оберон» (1780) — фантастическая поэма, переработка старофранцузского эпоса «Гюон Бордо».

С. 77. *Клелия и Синибальд* — поэма, названная Виландом «легендой из XII в.» (1784).

С. 77. *Музарион* — «Музариона, или Философия граций» (1768), поэма из жизни древней Греции, утверждающая новую гуманистическую мораль. Переведена на русский язык в 1780 г.

С. 77. *Бертух* Фридрих Юстин (1747—1822) — немецкий писатель, журналист и переводчик. Из «Магазина» Бертуха Карамзин перевел староиспанскую балладу «Граф Гваринос». См.: *Алексеев М. П.* К литературной истории одного из романсов в «Дон-Кихоте». — В кн.: Сервантес. Статьи и материалы. Л., 1948, с. 113—123.

С. 77. *Боде* Иоганн Иоахим (1730—1793) — немецкий писатель, книгоиздатель и переводчик.

С. 78. *...призвала и Гердера в начальники здешнего Духовенства.* — Гердер получил в Веймаре пост суперинтендента, высшего духовного лица в провинции, инспектирующего церковь и ее служителей.

‹35›

С. 79. *Молодая Герцогиня* — Луиза Саксен-Веймарская, супруга Карла Августа.

С. 79. *Иксион* (*мифол.*) — царь лапифов, домогавшийся любви Юноны и наказанный за это Юпитером.

С. 79. *Одна дама взяла его с собою в деревню...* — Имеется в виду Шарлотта фон Штейн, подруга Гете, пригласившая Ленца осенью 1776 г. в свое имение Кохберг.

‹36›

С. 79. *...место, где погребен Граф Глейхен.* — История Эрнста Глейхена изложена в повести К. А. Музеуса (см. ‹33›) «Мелехсала». Это предание использовано также в юношеской драме Гете «Стелла», где в финале одна из героинь рассказывает о судьбе средневекового графа.

С. 81. *...множество странных картин.* — Речь идет о серии гравюр «Пляска смерти».

‹38›

С. 82. *Йорик* — герой романа Л. Стерна (см. ‹130›) «Сентиментальное путешествие Йорика по Франции и Италии» (1768).

С. 82. *Вормсский Сейм* — сейм, осудивший в 1521 г. Мартина Лютера.

‹39›

С. 84. *...о новых Парижских происшествиях.* — Речь идет о взятии Бастилии 14 июля 1789 г.

С. 84. *А** — См. ‹14›.

С. 84. *Ифландовы драмы* — В репертуаре немецкого театра 1780-х гг. чувствительные мещанские пьесы Августа Вильгельма Ифланда (1759—1814) противостояли бунтарским трагедиям Шиллера.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

‹41›

С. 87. *Брауншвейгской Принц Фердинанд* — Фердинанд, герцог Брауншвейгский и Люнебургский (1721—1792), полководец Фридриха II.

С. 87. *...портреты всех Императоров, от Конрада I до Карла VI.* — Имеется в виду, что в зале стоят портреты всех императоров Священной Римской (т. е. Германской) империи с момента ее возникновения в X в. до середины XVIII в.

С. 87. *...славную золотую Буллу, или договор ... Карла IV...* — «Золотая булла» римско-германского императора Карла IV (1316—1378) расширила права курфюрстов, закрепив политическую децентрализацию Германии.

С. 87. *...много и Реформаторов ... выгнанных из отечества Людовиком XIV...* — Имеются в виду гугеноты, покинувшие Францию в результате отмены в 1685 г. Людовиком XIV Нантского эдикта, провозглашавшего свободу вероисповедания.

С. 88. *Мендельзонов Иерусалим* — книга Мендельсона «Иерусалим, или О религиозном могуществе и еврействе» (1783). См. также ‹8›.

‹42›

С. 90. *Златые Пифагоровы стихи* — нравоучительные стихи, приписывавшиеся философу Пифагору.

С. 90. *Good name in man and woman ... And makes me poor indeed.* — Цитата из трагедии Шекспира «Отелло» (действ. 3, явл. 3).

‹45›

С. 92. *...произведение Фидиасова резца* — произведение Фидия (V в. до н. э.), великого греческого скульптора.

С. 92. *...она подала Виргилию мысль к описанию нещастного Лаокоонова конца.* — Имеется в виду вторая книга «Энеиды» Вергилия, ст. 199—222.

‹46›

С. 95. *Древние не так изображали ее...* — Об изображении смерти в античном искусстве писали Лессинг и Гердер. Мысли, высказанные по этому поводу Карамзиным, созвучны мыслям Шиллера, которые выражены в его стихотворении «Боги Греции» (1788): «Не костяк ужасный в час томлений // Подступал к одру, а уносил // Поцелуй последний вздох, и гений, // Наклоняя, факел свой гасил». (*Пер. А. А. Фета*).

С. 96. *Взять абшид* (*нем.*) — здесь: «уйти в отставку».

‹47›

С. 97. *Он сын придворного... Аптекаря...* — Спутником Карамзина был Готфрид Беккер (1766—1845), впоследствии профессор химии Копенгагенского университета; в дальнейшем часто называется «*Б**».

С. 97. *И так, я уже в Швейцарии, в стране живописной Натуры, в земле свободы и благополучия!* — Идеализация политического уклада и патриархального быта Швейцарии — черта, характерная для немецкого и всего европейского Просвещения. В XVIII в. эта страна становится местом литературного паломничества, что отмечается и Карамзиным. Следуя установившейся традиции, автор «Писем» прославляет швейцарских горцев, живущих «под благодетельными законами братского союза, в простоте нравов и служа одному богу» (с. 102 наст. изд). Высшим благом швейцарского народа провозглашается его свобода. Карамзин постоянно напоминает читателю о героическом прошлом швейцарских кантонов, о мужестве, проявленном простыми альпийскими пастухами в борьбе с иностранными захватчиками. Позднее, правда, писатель пришел к выводу, что «дух торговый, в течение времени овладев швейцарами, наполнил их сундуки золотом, но истощил в сердцах гордую, исключительную любовь к независимости» («Падение Швейцарии» — Вести. Европы, 1802, № 20, с. 319—320). Однако в пору создания «Писем» Швейцария еще оставалась для Карамзина прибежищем от пороков цивилизации. Его привлекает творчество писателей, восхваляющих швейцарский патриотизм, проповедующих любовь к природе, естественность и простоту нравов. Преимущественное внимание Карамзин уделяет Галлеру, Геснеру, Бодмеру, Лафатеру — писателям, бывшим также участниками литературного движения в Германии. В письмах из французской Швейцарии большое место отведено долго жившему здесь Руссо. Образ страны, ее природы в значительной мере складывается у Карамзина под влиянием руссоистских идей и настроений.

С. 98. *Минстер* (*нем.* Münster) — собор.

С. 98. *Монументы Эразма и супруги Императора Рудольфа I...* — Имеются в виду Эразм Роттердамский (1466—1536), нидерландский гуманист, последние годы своей жизни проведший в Базеле, и Анна Габсбургская (ум. 1282).

С. 98. *Похвала Дурачеству* (в современных переводах «Похвала Глупости», 1509) — сатира Эразма, обличавшая церковь и феодальное общество.

С. 98. *Альфреско* (а фреско) — основная техническая разновидность фресковой живописи, исполняемой по свежей известковой штукатурке.

С. 98. *...танец мертвых...* — серия рисунков Гольбейна «Образы смерти» (1524—1538).

С. 99. *...прекрасный портрет одной молодой женщины...* — портрет девицы Оффенберг.

С. 99. *Лаиса* — имя одной из греческих гетер.

С. 100. *Базельский Церковный Собор* — собор западной католической церкви 1431—1449 гг., на котором был провозглашен принцип верховенства вселенского собора над папой.

С. 101. *Ципселов сундук* — ящик из кедрового дерева, украшенный рельефами, в котором, по преданию, был спрятан от врагов после рождения Кипсел, ставший впоследствии коринфским тираном. Упоминается в пятой книге «Описания Эллады» Павсания.

С. 101. *...жестокое сражение между Французами и Швейцарами...* — битва у Санкт-Якоба 26 августа 1444 г. между швейцарцами и французскими наемниками императора Карла V.

С. 102. *Цирих* — Цюрих.

‹50›

С. 103. *...во владении нашего Союзника!* — Имеется в виду союз между Россией и Австрией (1787).

‹51›

С. 105. *Гельвеция* (*латин.*) — старинное название Швейцарии.

‹52›

С. 106. *...где душа бессмертного Клопштока...* — Клопшток (см. ‹3›) жил в Цюрихе с июня 1750 по февраль 1751 г.

С. 106. *Герман* — Имеется в виду драматическая трилогия Клопштока, посвященная Арминию (Герману), предводителю древнегерманского племени херусков: «Битва Германа» (1769), «Герман и князья» (1784) и «Смерть Германа» (1787).

С. 106. *Ноахида* — библейская поэма Бодмера, посвященная потомству Ноя.

С. 106. *...где Виланд и Гете в сладостном упоении обнимались с Музами...* — Виланд (см. ‹33›) прибыл в Цюрих по приглашению Бодмера в октябре 1752 г. и жил там до июня 1759 г. Гете посетил Цюрих дважды: первый раз в июне 1775 г., второй — осенью 1779 г.

С. 106. *...где наш Л* бродил с любовною своею грустию, и всякой цветочик ... посвящал Веймарской своей богине.* — Имеется в виду пребывание в Цюрихе в мае 1777 г. Ленца и его отношение к Саксен-Веймарской герцогине Луизе.

С. 106. ***Физиогномический кабинет*** — название сборников, издававшихся Лафатером в 1777—1780 гг.

С. 107. *Християнский Магазин* (точное название: «Сборники материалов к Христианскому магазину», 1781—1783) — периодическое издание Пфенингера.

С. 107. *...очень похож на С. И. Г. ...* — Имеется в виду Семен Иванович Гамалея (1743—1822), друг Н. И. Новикова, участник московского кружка розенкрейцеров, масонский «наставник» Карамзина. Есть сведения, что именно Гамалея составлял «масонский» вариант маршрута заграничного путешествия Карамзина.

С. 107. *Метопоскопия* — гадание по линиям лба, будто бы дающим возможность определить судьбу человека.

С. 107. *Подоскопия* — гадание о характере человека по форме его стопы.

С. 108. *...решился повиноваться воле Короля и Национального Собрания...* — Получив отставку с поста министра финансов (11 июля 1789 г.), Неккер уехал в Швейцарию, однако через две недели он был призван на прежнюю должность.

С. 108. *Blow, winds ... kingdom!* — цитата из «Короля Лира» Шекспира (действ. 3, явл. 1).

С. 108. *...здесь говорят самым нечистым Немецким языком.* — Карамзин обращает внимание на резкое отличие цюрихского диалекта от литературного немецкого языка, которым он владел.

‹53›

С. 109. *Вильгельм Тель* (Телль) — До Шиллера сюжет предания о Вильгельме Телле был обработан в пьесах Бодмера (1777), И. Г. Циммермана (1775) и И. Л. Амбюля (1779).

С. 109. *Анна Гре* (Иоанна Грей, 1537—1554) — внучка английского короля Генриха VIII; по настоянию придворной протестантской партии и против собственной воли была объявлена наследницей престола; после воцарения Марии Тюдор была предана смерти. Судьбе ее посвящена трагедия К. Виланда «Иоганна Грей» (1758).

‹54›

С. 112. *Б** — См. ‹47›.

‹55›

С. 112. *Монтань... в описании своего путешествия...* — Имеется в виду книга французского философа Мишеля де Монтеня (1533—1592) «Дневник путешествия в Италию через Швейцарию и Германию» (1774).

‹57›

С. 115. *Краген* (*нем.*) — воротник.

С. 118. *Клопшток* — См. ‹3›.

С. 118. *...читая Клариссу....* — «Кларисса Гарлоу, или История молодой леди» — роман английского писателя С. Ричардсона (1689—1761), написанный в 1749 г. Героиня романа служит воплощением нравственной добродетели. Рецензия на русский перевод «Клариссы Гарлоу» (1791) помещена Карамзиным в «Московском журнале» (1791, ч. 4).

С. 121. *...ответы на вопросы моих приятелей.* — Издание вышло в 1790 г. в Берлине под заглавием «Ответы на важные и достойные внимания вопросы и письма мудрых и добрых людей».

С. 121—122. *Всеобщая Немецкая библиотека* — журнал Ф. Николаи (см. ‹14›), издававшийся с 1765 по 1796 г.

С. 122. *Аделунг* — См. ‹31›.

С. 122. *Библиотека для друзей* — «Небольшая библиотека для друзей»; издавалась с 1790 по 1793 г. в Цюрихе.

С. 122. *...о ... Швейцарском Теокрите!* — Геснер был автором идиллий, посвященных жизни швейцарских пастухов.

С. 122. *Дочь Г. Гейдеггера* — Речь идет о дочери Генриха Гейдеггера Юдифи, ставшей в 1761 г. женой Геснера.

С. 122. *Мейстер* Леонгард (1741—1811) — швейцарский писатель и критик. Его книга «Характеристики немецких поэтов» (1785—1787) была использована Карамзиным при описании смерти поэта Клейста в сражении при Кунерсдорфе (см.: *Сиповский*, с. 347—349).

С. 122. *Мейстер* Якоб Генрих (1744—1826) — швейцарский философ и политический публицист, двоюродный брат Л. Мейстера. Писал по-французски, был близок к энциклопедистам. В 1789 г. его книга «О естественном нравоучении» (1788) была переведена на немецкий язык Виландом.

С. 122. *...будучи выгнан из Цириха за одно смелое сочинение...* — Имеется в виду книга «О происхождении религиозных принципов» (1768), за которую Л. Мейстер подвергся преследованиям и был вынужден переселиться во Францию.

С. 124. *Граф М** — Адам Готтлоб Детлев Мольтке (1765—1843), датский публицист и поэт.

С. 124. *Баг** — Йенс Баггесен (1764—1826), датский поэт, писавший на датском и немецком языках. Большую часть жизни провел в странствиях; в других случаях называется «Багзен».

С. 124. ...*сочинил на Датском языке две ... Оперы...* — По утверждению К. Ф. Теандера, речь может идти об одной только опере Баггесена — «Holger Danske» («Оге-датчанин») (*Тиандер К. Ф.* Датско-русские исследования, вып. 1. СПб., 1912, с. 12). Музыка — композитора Ф. Л. Кунцена. Поставлена в Копенгагенском Королевском театре 31 марта 1789 г.

‹60›

С. 127. *Габсбургские Графы* — владельцы замка Габсбург в швейцарской области Ааргау, от которого произошло название императорской династии.

С. 127. *Рудольфовы предки* — предки Рудольфа I (см. ‹47›).

С. 127. *Стамедные корсеты* — корсеты, сделанные из шерсти.

‹61›

С. 128. *Ренггер* Абрахам (1732—1794) — швейцарский теолог, поддерживал тесные связи с Лафатером, а также с немецкими писателями И. Кампе и Ф. Николаи.

С. 128. *Герцог Церингенской* — Бернад V, герцог Церингенский (ум. 1218). Берн был им основан в 1191 г.

С. 129. ...*Галлеров стих...* — Альбрехт фон Галлер (1708—1777) — поэт и натуралист, один из главных представителей швейцарской просветительской литературы. Большое число произведений Галлера в XVIII в. было переведено на русский язык. Карамзину принадлежит перевод его поэмы «О происхождении зла» (М., 1786).

С. 129. ...*Соссюрово путешествие по Швейцарии...* — Орас Бенедикт Соссюр (1740—1799) — швейцарский натуралист и путешественник. Точное название его книги — «Путешествия по Швейцарии, предваренные опытом естественной истории окрестностей Женевы» (1779—1796).

‹64›

С. 134. ...*справедливость того, что Руссо говорит о действии горного воздуха.* — Упоминание о целительном воздействии горного воздуха, возвращающего человеку душевное спокойствие, содержится в 23-м письме «Новой Элоизы» (см. ‹73›).

‹71›

С. 143. *Оз** — Николай Яковлевич Озерцковский (1750—1827), русский натуралист, путешественник и литератор, член Российской Академии наук.

С. 144. *Жена Лангансова* — Мария Магдалена Лангханс, урожд. Вебер (ум. 1751).

С. 145. *Карл Смелый, Герцог Бургундский* — Карл Смелый (в следующем письме «Дерзостный») (1433—1477). В 1474—1477 гг. в войне с швейцарцами потерпел ряд поражений в битвах при Грансоне, Муртене и Нанси; в последней битве погиб сам.

‹72›

С. 147. *Литтих* — Льеж (*нем.* Люттих), город в Бельгии.

‹73›

С. 148. ...*Ода напечатана в Английском Зрителе.* — «Спектатор», сатирико-нравоучительный журнал, издававшийся в 1711—1714 гг. Д. Аддисоном и Р. Стилом.

С. 149. *Платнер ... Гейне...* — См. ‹28›.

С. 149. *Княгиня Орлова* Екатерина Николаевна, урожд. Зиновьева (1758—1782) — жена Г. Г. Орлова, фаворита Екатерины II. См. о ней подробнее в статье Ю. Лотмана и Б. Успенского (наст. изд.).

С. 149. *Герцогиня Курляндская* — Каролина-Луиза, принцесса Вальдекская (ум. 1780), первая жена Петра Бирона, герцога Курляндского и Семигальского (см.: *Бюлер Ф. А.* Герцог Бирон, регент Российской империи. — Рус. старина, 1873, кн. 7, с. 63).

С. 149. *Руссова Элоиза* — роман Руссо «Юлия, или Новая Элоиза», вышедший первоначально под заглавием «Письма двух влюбленных, жителей маленького городка у подножья Альп» (1761). Название было подсказано трагической историей любви французского философа Абеляра к Элоизе (XII в.), закончившейся уходом их в монастырь. Роман Руссо дал отправной толчок к развитию сентиментальной литературы в Европе. В России был впервые переведен в 1769 г.

С. 150. *...каменные утесы... с которых... Сен-Прё хотел низвергнуться в озеро...* — Будучи плебеем, Сен-Пре не мог получить руку Юлии.

С. 150. *Немецкой Вертер* — роман Гете «Страдания молодого Вертера» (1774), вызвавший многочисленные подражания в европейской литературе конца XVIII—начала XIX в. В России был впервые переведен в 1780 г. (О восприятии «Вертера» Карамзиным см.: *Жирмунский В. М.* Гете в русской литературе. Л., 1981, с. 33—35).

С. 151. *Клера* — героиня романа Руссо «Новая Элоиза», кузина Юлии.

С. 151. *Кокс* Уильям (1747—1828) — английский историк и путешественник, автор книги «Опыт естественного, гражданского и политического состояния Швейцарии. В письмах к Уильяму Мельмоту» (1779). Карамзин пользовался французским переводом этой книги (1781—1782). В 1791 г. «Опыт» Кокса был переведен на русский язык. Рецензия Карамзина на это издание помещена в «Московском журнале» (1791, ч. 3).

С. 151. *Господин де Л** — по предположению П. Н. Беркова, Луи Левальд (см.: *Карамзин Н. М.* Избранные соч., т. 1. М.—Л., 1964, с. 795). Возможно, однако, что Карамзин имел в виду известного швейцарского ученого Жана Андре Делюка (1727—1817) или его брата Гийома Антуана Делюка (1729—1812). Оба они были друзьями Руссо.

С. 151. *Эрмитаж* — вилла Д'Эпине (о ней см. ниже в примечаниях к этому письму). Руссо жил на вилле с апреля 1756 по декабрь 1757 г.

С. 152. *Devin du Village* — комическая опера Руссо, впервые поставленная в 1752 г. Под ее влиянием в России А. О. Аблесимовым была создана комическая опера «Мельник, колдун, обманщик и сват» (1779).

С. 152. *«После того... я оставил все важныя упражнения...»* — цитата из 8-й книги «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо.

С. 152. *Делюк* Жан Франсуа (1698—1780) — член Совета двухсот Женевы, близкий друг Руссо, добивавшийся возвращения ему женевского гражданства.

С. 152. *Совместничество* — здесь: соперничество.

С. 152. *Депине* (Д'Эпине) Луиза Флоранс (1725—1783) — французская писательница, друг Руссо.

С. 153. *Замок Шильйона* — средневековый замок герцогов Савойских, служивший крепостью в войнах с швейцарцами. В подземелье замка находилась тюрьма.

С. 153. *...чтобы взглянуть на Мельери и Кларан.* — Речь идет о местах, описанных в «Новой Элоизе» Руссо.

С. 153. *Рамон* Луи Франсуа (1755—1827) — французский натуралист. Карамзин придавал большое значение примечаниям, которыми Рамон снабдил книгу У. Кокса о Швейцарии (см. выше в этом же письме), и высказал сожаление по поводу того, что в русском переводе Кокса эти примечания были опущены.

‹74›

С. 154. *...нагой труп нещастного дю-Фулона...* — Самосуд над суперинтендантом, генеральным контролером Жозефом-Франсуа Фулоном (1717—1789), которого народ Парижа обвинял в дороговизне и больших налогах, был одним из наиболее знаменитых эпизодов первых дней революции. После взятия Бастилии Фулон около двух суток скрывался от разъяренной толпы, но 15 июля был схва-

чен, растерзан, его отрубленную голову, в рот которой было набито сено, на пике носили по улицам Парижа. Включение этого эпизода во впечатления путешественника, находящегося в Лозанне в конце сентября, представляется искусственным. К этому времени самосуд над Фулоном уже был заслонен в сознании современников другими, не менее драматическими событиями. Появление в Лозанне парижских маркизов, повторяющих парижские разговоры полугодовой давности, скорее всего, литературный прием. Если верно предположение, что Карамзин сам побывал летом 1789 г. в Париже (см. с. 542—543), то можно предположить, что подобные разговоры он слышал именно там, когда эти события, с одной стороны, были злобой дня, а с другой — все происходящее казалось легкомысленной парижской аристократии вспышкой случайного мятежа. Известно, что события июля 1789 г. в салонах были восприняты как интересная новость. После августовских происшествий маркизы уже не смеялись.

С. 155. *П** — Платон (Петр Григорьевич Левшин, 1737—1812), митрополит московский, проповедник и церковный писатель.

С. 155. *Йорик* — См. ‹38›.

С. 155. *...вздохи бедных поселян Савойских.* — Савойя, граница которой с Швейцарией проходила по южному берегу Женевского озера, с 1720 г. входила в состав Сардинского королевства. В экономическом отношении была одной из самых отсталых областей феодальной Европы. Нищую Савойю Карамзин противопоставляет зажиточной Швейцарии также в другом письме — из Женевы (см. ‹84›).

‹75›

С. 157. *Барон де Лю* — возможно, Фридрих Карл, барон фон Люэ (1752—1801), австрийский поэт.

С. 157. *...познакомил меня с Готскими молодыми Принцами...* — Имеются в виду принцы Саксен-Кобург-Готской династии.

С. 158. *Ферней* (Ферне) — поместье на границе Франции и Швейцарии, в котором Вольтер провел последние двенадцать лет своей жизни.

С. 158. *Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer...* — цитата из «Послания автору новой книги о трех обманщиках» Вольтера (1769).

С. 158. *...известная наследница Вольтерова...* — Мари Луиза Дени (1712—1790), племянница писателя.

С. 159. *Комнатные приборы...* — См. ‹8›.

С. 159. *...покойного Прусского Короля...* — Фридриха II.

С. 159. *Д'Аламберт* — См. ‹17›.

С. 159. *Франклин* — См. ‹29›.

С. 159. *...многие ли удивляются Отеллу?* — Имеется в виду трагедия Шекспира «Отелло» (Карамзин называл ее «Отелл»).

С. 159. *Белая Савойская гора* — Монблан.

С. 160. *Каласово семейство* — семейство тулузского купца Жана Каласа (1698—1762), протестанта, который был ложно обвинен церковниками в убийстве сына, собиравшегося якобы перейти в католичество. Калас был казнен, его второй сын и дочери заточены в монастырь. Вольтер возбудил в пользу Каласа общественное мнение и добился его реабилитации в парижском парламенте.

С. 160. *Серкли (франц.)* — кружки.

С. 160. *...у России со Швецией война.* — Речь идет о русско-шведской войне 1788—1790 гг.

С. 160. *Визирь два раза разбит...* — Имеются в виду победы, одержанные Суворовым над турками под Фокшанами (21 июля 1789 г.) и при Рымнике (11 сентября 1789 г.).

С. 160. *...Белград взят...* — В 1789 г. Белград был отвоеван у турок австрийскими войсками.

С. 160. *...песни вдохновенных Бардов.* — Карамзин имеет в виду так называемую «бардическую поэзию», сформировавшуюся в Германии в 1760—1770-х гг. под влиянием Клопштока (см. ‹3›). Представители ее ошибочно отождествляли древнегерманских певцов с кельтскими бардами.

‹76›

С. 161. *Руссо с великим жаром утверждал, что Театр вреден для нравов.* — Имеется в виду «Письмо к Д'Аламберу о зрелищах» (1758).

С. 161. *Атис* — опера итальянского композитора Николо Пиччини (1728—1800), поставленная в 1780 г. труппой итальянской оперы в Париже.

С. 161. *Цибелла* (*мифол.*) — фригийская богиня Кибела, полюбившая юношу Атиса. Узнав, что у Атиса есть возлюбленная, она наслала на него безумие.

С. 161. *Маленькие Савояры* (точное название: «Два маленьких савояра», 1789) — опера французского композитора Никола Далейрака (1753—1809).

С. 162. *Эдип* — первая трагедия Вольтера (1718).

С. 162. *Кузнец* — комическая опера французского композитора Франсуа Андре Филидора (1726—1795), поставленная в 1761 г. (см. ‹108›).

С. 162. *Беккер* — См. ‹47›.

С. 162. *Луцерн* — Люцерн, город в центральной Швейцарии.

С. 162. ...*как рыцари печального образа*... — См. ‹6›.

С. 163. *Внук бывшего Датского Министра* — Адам Готтлоб Мольтке (1710—1792), датский государственный деятель, министр короля Фридриха V.

С. 164. *Лезбийская Песнопевица* — древнегреческая поэтесса Сапфо (VI в. до н. э.), жившая на острове Лесбос. Согласно легенде, из-за неразделенной любви к Фаону бросилась со скалы в море. Карамзин следует этой легенде в стихотворении «Сафина песня» (1794).

‹81›

С. 167. *Боннет* — См. ‹8›.

С. 168. *Скиния* — святилище.

С. 168. *Палингенезия* — Точное название труда Бонне «Философическая Палингенезия, или Мысли о прошлом и будущем состоянии живых существ» (1769).

С. 168. *Боннет позволил мне переводить его сочинения на Руской язык.* — Отрывок из «Созерцания природы» под заглавием «Человек, рассматриваемый как существо телесное» в переводе Карамзина был опубликован в 1789 г. в «Детском чтении» (ч. 19). Полностью этот труд Бонне был издан в 1792—1796 гг. в переводе И. Виноградова.

С. 168. *Спаланцаниев перевод* — перевод «Созерцания природы» Бонне на итальянский язык, выполненный итальянским натуралистом Ладзаро Спалланцани (1729—1799).

С. 169. *Lettres écrites de la Montagne* («Письма с Горы») — антиклерикальное сочинение Руссо (1764), в котором он обвинил кальвинистскую церковь в отступлении от духа Реформации. Это сочинение вызвало бурю негодования у ортодоксального швейцарского духовенства, осудившего Руссо как еретика.

С. 169. *Инсект* — насекомое (от *латин.* insectum). Первый научный труд Бонне носил название «Трактат по инсектологии» (1745).

‹83›

С. 174. *Филемон и Бавкида* (*мифол.*) — дружная супружеская чета, которую Зевс и Гермес наградили долголетием за оказанное им гостеприимство.

С. 175. ...*спор о Письмах дю-Пати*... — Точное название книги французского писателя Шарля Дю Пати (1746—1788) — «Письма об Италии в 1785 году»; изданы в 1788 г. См. также ‹97›.

С. 175. *Франсиада и Voyageur sentimental*... — Полные названия произведений Верна: «Франсиада, или Древняя Франция» (1789) и «Сентиментальный путешественник, или Моя прогулка в Ивердон» (1786).

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

‹84›

С. 176. *Б** — См. ‹47›

С. 176. *Мегадидактос, вместе с ... Микрологосом...* — Многодидакт (Многоученый), Микролог (Малоученый) — характерные для литературы XVIII в. «говорящие имена».

С. 177. *...затрепетал вслух, как говорит Клопшток.* — Наглядный пример языкового новаторства Клопштока (см. ‹3›) — объединение в единое смысловое целое слов с несочетаемой семантикой.

С. 177. *Здоровья* — здравицы.

С. 179. *Avec tous les talens... le servit.* — Стихотворная надпись Вольтера к портрету Анри де Рогана. Помещена в книге «Мемуары и письма Анри, герцога де Рогана о Вальтеллинской войне», изданной в 1758 г. Б. Ф. Цурлаубеном.

С. 180. *Герцог Орлеанской и Принц Конде хотели овладеть Парижем, и уничтожить Парламент...* — Жан Батист Гастон, герцог Орлеанский (1608—1660), брат Людовика XIII, и Конде Луи II Бурбон (1621—1686) — участники Фронды. Здесь имеются в виду события периода Фронды, когда парижский парламент (высшее судебно-законодательное учреждение страны) временно стал на путь блока с антифеодальными силами, потребовав проведения реформ. Королевские войска во главе с Конде в январе—феврале 1649 г. предприняли осаду города, и тогда парижские буржуа и дворянство отказались от своих требований.

С. 180. *Histoire de Tancrede* — книга французского писателя Анри Гриффе (1698—1771), изданная в 1767 г.

С. 181. *Pays de Gex* — страна Жё, территория между Швейцарией и восточной Францией, часть древней Бургундии, вошла в состав Франции в 1601 г. Ныне — часть департамента Эн.

С. 181. *...на острове св. Петра, где величайший из писателей осьмого-надесять века укрывался от злобы и предрассуждений человеческих...* — Имеется в виду Ж.-Ж. Руссо, который находился на острове Сен-Пьер, расположенном посредине Бьенского озера в октябре—ноябре 1765 г. Здесь он нашел убежище, после того как его дом подвергся нападению, спровоцированному церковниками.

С. 182. *Promenades solitaires* — это произведение Руссо, дополняющее его «Исповедь», было опубликовано в 1782 г.

С. 182. *...Дайте мне умереть ... слабый старец должен проститься с любезным своим островом...* — По настоянию бернских властей Руссо вынужден был покинуть остров. Из Швейцарии он отправился в Страсбур, а оттуда через Париж выехал в Англию.

С. 182. *...Константинова времени.* — Подразумевается время римского императора Константина I (IV в. н. э.).

С. 182. *Во всей Швейцарии видно изобилие и богатство; но как скоро переступишь в Савойскую землю...* — См. ‹74›.

С. 183. *Граф Молтке и Поет Багзен...* — См. ‹57›.

С. 183. *Беккер* — См. ‹47›.

С. 184. *Созерцатель Натуры* — Шарль Бонне (см. ‹8›).

С. 184. *Галлер* — См. ‹61›.

С. 185. *...Галлерову Поэму о происхождении зла...* — Речь идет о религиозно-философском сочинении Галлера (1734). Переведено в прозе Карамзиным в 1786 г.

С. 185. *Essay on Man* — философская поэма английского поэта Александра Попа (1688—1744). Издана в 1734 г., в России переведена в 1756 г.

С. 185. *Клопшток* — См. ‹3›.

‹86›

С. 189. *Марта 1.* — То, что Карамзин не выехал на самом деле из Женевы 1 марта, свидетельствует не только дата на письме к Лафатеру (см. с. 482), но и недавно обнаруженное И. С. Шарковой в архиве Жильбера Ромма письмо женевца

Кунклера, адресованное Ромму и Павлу Очеру (Строганову), переданное с Карамзиным и датированное: «Женева, 10 марта».

‹87›

С. 189. *Pays de Gez* — вернее Pays de Gex.

С. 190. *Саксонский маршал* — Мориц Саксонский (см. ‹46›).

С. 190. *Фонтенуа* — деревня в Юго-Западной Бельгии, где 11 мая 1745 г. французское войско под командованием Морица Саксонского одержало верх над объединенной армией Англии и ее союзников — Голландии и Австрии.

‹88›

С. 194. *Оберж и (франц.)* — постоялые дворы.

‹89›

С. 195. *Вестрис* — Вестрис-Аллар (или Вестрис-сын) Мари Огюст (1760—1842), знаменитый французский танцовщик, прозванный королем танца, изобретатель пируэтов. Описанный Карамзиным эпизод триумфа Вестриса в Лионе имел подтекст, понятный читателям тех лет: популярность Вестриса-сына у зрителей была связана с тем, что он первый открыто порвал с традицией восприятия балета как «королевского зрелища». Осенью 1788 г. он демонстративно отказался танцевать для гостившего в Париже шведского короля и отверг сначала приказ, а затем и просьбу Марии-Антуанетты. За это он был по приказу короля заключен в тюрьму на полгода. Однако бурные протесты парижан заставили освободить его через полтора месяца. Последующие выступления Вестриса неизменно превращались в триумфы вроде того, какой описывает Карамзин (см.: *Lifar Serge.* Auguste Vestris, le dieu de la danse. Paris, 1950). Карамзин не говорит прямо о политической подоплеке описываемой им сцены, однако намек на это обстоятельство можно видеть в указании на демократический состав публики. Карамзин подчеркнул этот факт, введя фигуры двух аристократов, для которых Вестрис «превеликая скотина». Иронические слова о том, что «в сию минуту легкие французы могли бы, думаю, провозгласить Вестриса диктатором», также приобретают в этом контексте особый смысл. Когда Карамзин издавал полный текст «Писем», он знал уже и то, что в дальнейшем Вестрис сделался кумиром революционного Парижа, танцевал Карманьолу не только на балетных подмостках, но и под окнами заключенной в Тампль Марии-Антуанетты. Однако он не вычеркнул этой сцены, воссоздающей атмосферу начала революции. Вестрис произвел своим искусством сильное впечатление на Карамзина. В стихотворении «Филлиде» (1790) Карамзин писал:

Прыгунья Терпсихора,
Как Вестрис, пред тобою
Пляши, скачи, вертися

(*Карамзин Н. М.* Полн. собр. стихотворений. М.-Л., 1966, с. 368)

Показательно, что, опубликовав эти строки в «Московском журнале» в 1791 г. (ч. 1, с. 16), Карамзин в Сочинениях 1803 г. их исключил.

С. 195. *Душа сидит у него в ногах, вопреки всем теориям ... которые ищут ее в мозговых фибрах.* — Ироническая отсылка к рассуждениям Л. Стерна в «Тристраме Шенди» о месте пребывания души: «Наименее спорным казалось для всех то, что главное чувствилище, или главная квартира души, к которой относились все сведения и из которой выходили все повеления, находится или в самом мозжечке, или около него, или, точнее, где-то около продолговатого мозга, где сходились — согласно всеобщему решению датских анатомов — все мельчайшие нервы от органов всех семи чувств, подобно тому как в площади сходятся улицы и бульвары» (*Стерн Лоренц.* Тристрам Шенди. СПб., 1892, с. 147).

С. 196. *Граф Мирабо имел дело, сказывают ... С Маркизом...* — «Имел дело» — галлицизм, «имел дуэль». Беглый театральный разговор, который Карамзин специально приводит в виде невразумительного отрывка, должен намекнуть на одно из важнейших политических обстоятельств 1790 г.: вражду между двумя деятелями французской революции — Лафайетом и Мирабо. Несмотря на попытки скрыть от публики подлинную суть их отношений и образовать блок в борьбе за власть (осенью 1789 г. Лафайет предложил Мирабо пост посла и пятьдесят тысяч ливров на уплату долгов; Мирабо деньги принял, от посольства отказался, надеясь занять министерское кресло), в публике ходили многочисленные слухи об их взаимной враждебности. Лафайету приписывали слова: «Я победил мощь короля Англии, власть короля Франции, ярость народа — мне ль отступать перед Мирабо» (*Bardoux A.* La jeunesse de la Fayette, 1757—1792. Paris, 1892, p. 292—293). Мирабо прозвал Лафайета «Кромвель-Грандиссон». Карамзин, видимо, имеет в виду передававшийся из уст в уста следующий разговор между Мирабо и Лафайетом весной 1790 г.:

— Я знаю, г-н Мирабо, что вы мой давний враг!

— Если вы в этом убеждены, г-н Лафайет, что ж вы до сих пор не приказали меня убить? — прервал его граф с отвратительной улыбкой на широком лице, испорченном оспой.

— Я не такой человек, чтобы прибегать к подобным средствам! — с отвращением сказал Жильбер ‹Лафайет›.

— Это правда: в политике вы обладаете невинностью агнца (*Rousselot Jean.* La vie passionée de La Fayette. Paris, 1957, p. 202). Сведений о дуэли между Мирабо и Лафайетом не имеется.

С. 198. *...статуя Людовика XIV, такой же величины, как монумент нашего ... П е т р а, хотя сии два героя были весьма не равны...* — Сопоставление Петра I с Людовиком XIV часто встречается в литературе XVIII в. Оно восходит к следующему месту из «Истории Российской империи при Петре Великом» Вольтера: «В любопытных мемуарах одного офицера, весьма любимого Петром Великим, находится сообщение, что однажды, когда государю читали главу из английского „Зрителя“, содержащую параллель между ним и Людовиком XIV, он, прослушав, сказал: „Я не думаю, что заслужил, чтобы мне отдавали преимущество перед этим монархом. Я довольно счастлив уж и тем, что превзошел его в одном существенном вопросе: я принудил моих церковников жить в мире и повиновении, а Людовик XIV позволил своим подчинить себя“» (*Voltaire.* Oeuvres compl., t. 27. [Paris], 1785, p. 416).

С. 199. *Дикий камень* — необтесанный, необработанный камень. Автор памятника Петру Фальконе поставил статую не на пьедестал, а на имеющую символическое значение скалу. Однако выражение Карамзина имеет и другой смысл: в масонской терминологии «дикий камень» означает профана, человека, не приступившего еще к «работе каменщика» — самовоспитанию и усовершенствованию своей души. Таким образом, мысль Карамзина заключается в том, что сущность внешнего прогресса состоит во внутреннем прогрессе, в усовершенствовании душевных способностей и качеств человека. В речи, произнесенной 5 декабря 1818 г. в Российской академии, Карамзин развил эту мысль: «И жизнь наша и жизнь империй должны содействовать раскрытию великих способностей души человеческой; здесь все для души, все для ума и чувства; все бессмертно в их успехах!» (*Карамзин, III*, с. 654).

С. 200. *Я воображал его, как он, в бороде и в непричесанном парике...* — Карамзин имеет в виду один из наиболее патетических и гражданственных эпизодов «Исповеди» Руссо: «В этот день я был в своем обычном небрежном виде: длинная борода и довольно плохо причесанный парик. Принимая этот недостаток благопристойности за проявление мужества, я вошел в таком виде в ту самую залу, куда должны были прибыть немного спустя король, королева, королевская семья и весь двор.

Г-н Кюри провел меня в свою ложу, где я и уселся. Это была большая ложа на подмостках, а напротив ее, несколько выше, находилась маленькая ложа, где поместился король с г-жой де Помпадур. Я был единственный мужчина среди дам, сидевших в первом ряду, и не мог сомневаться, что меня посадили туда на-

рочно, всем напоказ. Когда залу осветили и я почувствовал, что меня в таком одеянии видят все эти люди в великолепных нарядах, мне стало не по себе; я спросил себя: на своем ли я месте, пристойно ли мне быть здесь? И после нескольких тревожных минут ответил себе: „Да", с неустрашимостью, происходящей, может быть, скорее от невозможности отступления, чем от убедительных доводов. Я сказал себе: „Я на своем месте, раз я смотрю на сцене свою пьесу, раз я сюда приглашен, раз я написал ее только для этой цели и раз в конце концов никто не имеет больше прав, чем я сам, наслаждаться плодами моей работы и моего таланта. Я одет как обычно — ни лучше, ни хуже; если только я опять стану рабом общественного мнения хоть в чем-нибудь, мне вскоре придется подчиниться ему во всем. Чтобы всегда быть самим собой, я нигде не должен краснеть за то, что одет согласно положению, которое я избрал. Мой внешний вид прост и небрежен, но чист и опрятен; точно так же и борода сама по себе не представляет ничего неопрятного, раз она дана мужчинам природой и, в зависимости от времени и моды, иногда считается украшением. Меня могут найти смешным и невежей? Что мне до этого! Я должен уметь переносить насмешки и порицание, лишь бы они не были заслужены"» (*Руссо Жан-Жак.* Избранные соч., т. 3. М., 1961, с. 328—329).

С. 201. *Вид недоделанных статуй приводит меня в уныние.* — Эпизод беседы со скульптором, которого отвлекает от работы необходимость принимать участие в национальной гвардии, видимо, отражает не реальную встречу в Лионе, а беседы с русским скульптором М. И. Козловским, с которым Карамзин тесно общался в Париже. После взятия Бастилии Козловский доносил Совету Академии художеств: «Имею честь доложить Почтенному Собранию, что здесь воспоследовала перемена большая, граждане взяли оружие и содержат сами караул, и нас к тому принуждают, не принимая никаких наших отговорок, на что пенсионеры императорской Академии крайне ропщут, ибо стоит им каждая неделя 6 франков, а самим ходить казалось бы непристойно с ружьем в чужом отечестве. Для сей причины был я у нашего посланника, сказывал ему, что нас императорская Академия не с тем сюда прислала, чтобы нам ружье здесь носить, и просил его, чтобы нас защитил, на что его превосходительство не дал никакого решения, и мы теперь все должны исполнять, что нам прикажут» (*Петров В. П.* Михаил Иванович Козловский. Л., 1976, с. 29).

‹90›

С. 202. *...с огромной Картезианской церкви...* — Картезианский орден, основанный св. Бруно Кельнским (между 1030—1040 и 1101 г.), предписывал строгое уединение и молчание (монахам запрещалась совместная жизнь, общие трапезы). Монастырь, который посетил Карамзин, был основан в 1086 г. в глухом месте в 20 км от Гренобля и сделался одним из главных центров картезианцев. В литературе XVIII в. тема «картезианцев» имела двойной смысл: с одной стороны, к ней прибегали как к поэтическому образу одиночества, бегства от суеты и блаженного уединения (ср. стихотворение французского поэта Ж.-Б. Грессе «La Chartreuse», где поэтический чердак сравнивается с картезианским уединением). С другой стороны, в образе жизни «молчаливых братьев» видели предельное искажение природы человека, «рожденного для общежития». На русской почве тема эта осложнилась созданием условной сатирической пары: молчащий картезианец и болтающий щеголь. А. П. Сумароков писал: «Как монахи Картезиянского устава никогда не говорят, так петиметер говорит беспрерывно» (Трудолюбивая пчела, 1759, дек., с. 753). Осуждение уединения как «противного натуре» приобретало в этом контексте характер осторожной защиты «щегольской» культуры.

С. 204. *Мефитический* — зловонный.

С. 204. *Басня Алфея и Аретузы* — Имеется в виду античный миф о нимфе Аретузе, которая, спасаясь от преследований Алфея, бросилась в море. Алфей, превратившись в реку, настиг ее.

С. 205. *Представляли новую трагедию, Карла IX, сочиненную Гм. Шенье.* — Пьеса М.-Ж. Шенье (1764—1811) «Карл IX, или Варфоломеевская ночь» была одним

из крупнейших не только театральных, но и политических событий 1789 г. Посвященная обличению религиозного фанатизма, политических и церковных злоупотреблений «старого режима», она была запрещена королевской театральной цензурой и подверглась бойкоту со стороны монархически настроенной труппы Комеди Франсез. Бурные эксцессы, среди которых были демонстрации и драки в театральном зале, вмешательство мэра Парижа Бальи (см. о нем ‹102›), специальное решение Национального собрания о постановке пьесы, интерполяции О. Г. Мирабо от имени марсельцев, листовки в театральном зале, волна памфлетов, газетных статей и брошюр и даже дуэль между сторонником пьесы, исполнителем роли короля Тальма, и противником ее, актером Нодэ, — таков был ореол событий вокруг описанной Карамзиным пьесы. Обстоятельства эти были знакомы читателям Карамзина хотя бы по книге известного в России, популяризируемого Н. И. Новиковым и позже Карамзиным немецкого педагога И. Г. Кампе «Briefe aus Paris zur Zeit der Revolution» (geschr. von Joachim Heinrich Campe. 3. verb. Aufl. Braunschweig, 1790). Здесь в письме из Парижа от 26 августа 1789 г. описывалось посещение автором театра: «„Карл IX“! раздавалось от партера до галереи ‹...› Я воспользовался минутой перерыва, чтобы спросить у соседа, что это все означает, и в особенности, чего добиваются этими криками о Карле IX. Ответ его был таков: уже около года как создана трагедия под таким названием. Автор ее г-н Шенье, а предмет — Варфоломеевская ночь» (S. 307). Далее Кампе изложил историю борьбы политических страстей вокруг этой постановки. Книга Кампе пользовалась большим успехом и за один год выдержала три издания. При том внимании, которое сочинения этого автора вызывали в России, Карамзин бесспорно мог рассчитывать, что книга эта известна его читателям. История этой театральной постановки, о которой Дантон сказал: «Если „Фигаро“ убил дворянство, то „Карл IX“ убьет королевскую власть» (*Labitte Ch.* Vie de Chénier. — In: Poésies de M. G. Chénier. Paris, 1844, p. 34—35), — возможно, была в России даже слишком хорошо известна, и с этим, вероятно, связано то, что Карамзин перенес описание постановки из парижского театра в лионский. Вопрос о том, видел ли реальный автор «Писем» «Карла IX» в Париже или в Лионе, остается открытым. Однако анализ реалий, лежащих в основе «Писем», убеждает, что идейно-художественная телеология у Карамзина доминирует над эмпирической правдой биографических фактов. В тех случаях, когда этого требовали тактика или искусство, Карамзин свободно создавал, комбинировал, заимствовал из различных источников то, что он предлагал читателям как «встречи» и «личные впечатления». Трудно себе представить, чтобы Карамзин, который, по его собственным словам, «целый месяц» был в Париже «всякий день в спектаклях», не посетил этой гремевшей постановки и, в частности, не был на спектакле 12 апреля (открытие Комеди Франсез после пасхальных каникул), когда произошел знаменитый скандал: Ф. Тальма должен был читать речь, специально написанную М. Шенье, но королевская труппа не допустила этого выступления. В театре произошла драка, Шенье опубликовал запрещенную речь в печати (см.: Державин, с. 66—73). Если даты пребывания Карамзина в Париже, выставленные в «Письмах», реальны, то он действительно не мог видеть «Карла IX» на столичной сцене: с 20 марта по 12 апреля театр был закрыт на пасхальные каникулы, а потом пьеса долгое время не возобновлялась из-за сопротивления труппы. Однако есть основания полагать, что Карамзин приехал в Париж раньше.

С. 205. *Синав видит умерщвленного Трувора...* — Имеется в виду трагедия А. П. Сумарокова «Синав и Трувор» (1747). Карамзин отождествляет трагедии французского классицизма с художественно несовершенной, с его точки зрения, пьесой Сумарокова. Ср. его характеристику французского театра в рецензии на русский перевод «Сида» П. Корнеля: «Французские трагедии можно уподобить хорошему регулярному саду, где много прекрасных аллей, прекрасной зелени, прекрасных цветников, прекрасных беседок; с приятностию ходим мы по сему саду и хвалим его; только все чего-то ищем и не находим, и душа наша холодною остается; выходим, и все забываем. Напротив того Шекспировы произведения уподоблю я произведениям Натуры, которые прельщают нас в самой своей нерегулярности; которые с неописанною силою действуют на душу нашу, и оставляют в ней незагладимое впечатление» (Моск. журн., 1791, ч. 3, июль, с. 95—96).

С. 205. ...*ла-Рош, сочинительнице* *Истории девицы Штернгейм*...— Мари Софи Ларош (1731—1807), немецкая писательница, примыкала к литературному окружению Х. Виланда. Была женой немецкого писателя Лароша (Лихтенфельза), пострадавшего за антиклерикальные «Письма о монастырском фанатизме». Названный Карамзиным роман отражает влияние Ричардсона. Русское изд.: История девицы Стернгейм... с немецкого на российской язык переведенная В.... И.... Ч. 1—2. М., у Н. Новикова, 1780.

С. 208. *Вы читали Тристрама... помните Амандуса...*— Имеются в виду 132 и 141 главы «Тристрама Шенди» Л. Стерна (см. ‹130›), где описание истории двух влюбленных, Амандуса и Аманды, носит иронический характер.

‹91›

С. 210. ...*я не увижу плодоносных стран Южной Франции...*— Отказ от путешествия по югу Франции, видимо, на самом деле был вызван исключительно беспокойной обстановкой в этом районе. В это время аграрные беспорядки на юге страны, вызвавшие опасность путешествий по дорогам, дополнились кровавыми религиозными распрями. Произошла муниципальная революция в Авиньоне: новый муниципалитет отменил инквизицию и попытался рассматривать город как часть Франции, что встретило сопротивление папы. В городе вспыхнули столкновения, сопровождавшиеся актами насилия. «Ним и Марсель также были охвачены кровавыми беспорядками. В первом из этих городов вспыхнул конфликт между католиками и протестантами. Последние, подавленные в родном городе, обратились за помощью к женевским собратьям. Национальная гвардия из Бокера, Тараскона и других соседних городов прибыла, чтобы заставить восторжествовать конституционный порядок и положить конец ужасным распрям» (*Morin G.* Histoire de Lyon depuis la Révolution de 1789, t. 1. Paris, 1845, p. 147). Естественно, что Карамзину пришлось отказаться от планов посетить Авиньон и Ним.

‹92›

С. 211. ...*напоминает мне тех Духов в Багват-Гете...*— Бхагаватгита — древнеиндийская (на санскрите) поэма, входящая в эпос «Махабхарата». Интерес Карамзина к этому памятнику пробудился под влиянием А. А. Петрова, который был переводчиком книги «Багуат-гета, или беседы Кришны с Аржуном с примечаниями, переведенными с подлинника на древнем браминском языке, называемом Санскрита, на английский, а с сего на российский язык» (М., 1788).

С. 212. ...*поезжайте в Сирию, в Египет...*— Рассуждение навеяно книгой крупнейшего для своего времени знатока восточных языков и стран Востока К. Ф. Вольнея «Руины, или размышления о революциях империй», которую Карамзин рекомендовал читателям «Московского журнала» (1792, ч. 8, с. 150—151). Карамзин, как и Вольней, видит в человеческой истории прогресс, однако основу его в отличие от французского публициста находит в успехах цивилизации, а не в революционных переменах.

‹93›

С. 213. *Mémoires de Trevoux*— издание иезуитов, созданное для борьбы с философами-просветителями. Карамзин относился к иезуитам отрицательно и как адепт масонов, и в качестве последователя философов-просветителей. Борьба с предрассудками и фанатизмом была для него одной из наиболее привлекательных сторон революции. В этом он видел реализацию идей века Разума. Вспышки религиозного фанатизма и резня между католиками и гугенотами, с которыми он столкнулся на юге Франции, усилили его неприязнь к иезуитам, питавшуюся еще немецкими впечатлениями (встреча с Николаи — см. ‹14› — и др.).

С. 213. *д'Аланберт*— См. ‹17›.

‹94›

С. 213. *Фонтенебло есть маленький городок...* — Описание воспроизводит соответствующее место из книги Дюлора (*Dulaure*, р. 161). Оценивая обширные заимствования в «Письмах русского путешественника» из популярных справочников Ж. Дюлора и Сенфуа, следует иметь в виду, что, во-первых, Карамзин не скрывал своего пользования этими источниками и сам отсылал к ним читателей (скрыть было и невозможно — издания эти были слишком известны в России); во-вторых, отнесенность текста к книжному источнику не отменяла личных впечатлений: Карамзин имел эти книги в Москве, видимо, тщательно изучал их перед путешествием и посещал места, заранее ему известные по книгам, находя удовольствие в узнавании уже знакомого.

С. 213—214. *Святый Лудовик* — Людовик IX (1215—1270), французский король. У Дюлора (*Dulaure*, р. 161): «Людовик Святой здесь (в Фонтенбло, — *авт.*) основал монастырь св. Троицы; на многих его письмах находится заключительная помета: „Дано в нашей пустыне в Фонтенбло"».

С. 214. *...жестокая Христина* — Христина (1626—1689), королева Швеции; после отречения странствовала по Европе, в Фонтенебло по ее приказу был убит ее любовник маркиз Мональдески; умерла в Риме. Справляясь с источником, Карамзин допустил описку: Дюлор указывает 1657 г. (см.: *Сиповский*, с. 294—295). Остальные данные, приводимые Карамзиным, точно соответствуют Дюлору.

‹95›

С. 215. *Брегет* (Бреге) Авраам Луи (1747—1823) — прославленный часовой мастер в Париже, поддерживавший регулярные торговые связи с Россией. В XVIII в. у путешественников было принято отправлять свою корреспонденцию на адрес банкирских контор или известных торговых домов. Друзья Карамзина отправляли ему письма на адрес Бреге в Париже.

С. 216. *...кофейные домы...* — Посещение кафе входило в норму дня обеспеченного человека в Париже: утром, во время завтрака, и после обеда перед театром. Е. Ф. Комаровский, попавший в Париж перед самой революцией как дипломатический курьер русского двора, вспоминал: «Поутру ходил я завтракать в Café de Foi, бывшем тогда в большой моде, или в другой кофейный дом ‹...› После обеда кофе пить я ходил au Café méchanique, где из-под полу, посредством машин доставлялось все, что пожелаешь» (Записки гр. Е. Ф. Комаровского. СПб., 1914, с. 9—10). Свидетельство Комаровского указывает, что даже вполне благонамеренные русские молодые офицеры посещали Café de Foi. Между тем Карамзин обошел молчанием вопрос о том, какие «кофейные домы» он посещал, и лишь много дальше упомянул о возможности «с томною. по приятных чувств исполненною душею отдыхать в Пале-Рояль, в „Café de Valois", de „Caveau"» (см. дальше ‹108›). Для людей, владевших ключом к тексту, смысл был ясен: назывались лишь монархические или нейтральные кафе, хотя трудно предположить, что хотя бы любопытство не привлекло Карамзина туда, где бывал обычно даже недалекий Комаровский. Смысл этих упоминаний раскрывается из следующих сообщений: «Этот период, который простирается от 1789 до 1799 г., — писал исследователь, — был золотым веком кафе. Во многих из этих кафе, которые преобразились в политические клубы, можно было прочесть вечерние газеты, в них спорили, произносили речи, судили правительство и подготовляли мятежи (ср. у Карамзина: «...где также все людьми наполнено, где читают вслух газеты и журналы, шумят, спорят, говорят речи и проч.»). В Пале-Рояле Café de Foi было гнездом демагогов, раздававшиеся там постоянные призывы к гражданской войне заставили его наконец закрыть (так вот куда ходил по утрам будущий любимец Павла I, Константина и Александра Павловичей и начальник корпуса внутренней стражи, т. е. военной полиции!) ‹...› Роялисты, прозванные „неизлечимыми", встречались в Café de Valois и Café de Chartres». Среди нейтральных (с монархическим оттенком) названо Le café du Caveau, где на галерее были выставлены бюсты Филидора, Глюка и Пиччини, пивших в свое время там кофе (*Alméras Henri d'*. La vie parisienne sous la Révolution et le Directoire. Paris, 1909, p. 67—68).

С. 216. *Все казалось мне очарованием, Калипсиным островом, Армидиным замком.* — Калипсо — персонаж «Одиссеи» Гомера, нимфа, привлекавшая путешественников на свой остров и удерживавшая их там с помощью волшебных чар; остров Калипсо — остров любви. Армида — главная героиня поэмы Тассо «Освобожденный Иерусалим», волшебница, влюбленная в героя поэмы Ринальдо. Силами чар и колдовства она удерживает его в своем волшебном замке.

‹96›

С. 217. *Система Декартовых вихрей...* — Теория происхождения вселенной из вихреобразных потоков материи изложена Декартом в третьей части «Начал философии». Здесь говорится: «Частицы образовали таким путем столько вихрей, сколько ныне существует в мире светил (впредь я буду употреблять слово «вихрь» для обозначения всей материи, вращающейся таким образом вокруг каждого из подобных центров)» (*Декарт Ренэ.* Избранные произведения. [М.], 1950, с. 513). Отредактированный Декартом французский текст «Начал» вышел в 1647 г. Сопоставление теории вихрей с характером парижан восходит к «Философским письмам» Вольтера.

‹97›

С. 217. *...с яиц Леды...* — перевод латинской поговорки «ab ovo», «с яйца», т. е. с самого начала. Источник выражения — стих 147 из «Науки поэзии» Горация, который хвалит Гомера за то, что

Он Диомедов возврат не начнет с Мелагаровой смерти,
Он для Троянской войны не вспомнит про Ледины яйца:
Сразу он к делу спешит...

(*Квинт Гораций Флакк.* Оды, эподы, сатиры, послания. М., 1970, с. 387; *пер. М. Л. Гаспарова*)

Ссылка на «древних» и упоминание «ученой важности» приводит к тому, что подробные данные по описанию Парижа, заимствованные почти полностью из сочинения Сенфуа (см. след. примеч.), вводятся с резкой переменой тона повествования. Граница между непринужденной «болтовней» и рассказом эрудита отмечена иронией.

С. 217. *...сей город назывался некогда Лютециею...* — Весь отрывок заимствован, как установил В. В. Сиповский (см. с. 287—288), из книги Сенфуа. Однако, заимствуя у Сенфуа и исторические сведения, и цитаты, Карамзин обращался и к первоисточникам: сведения об императоре Юлиане приведены им в более обширном объеме, чем у Сенфуа.

С. 217. *Записки Юлия Цесаря* — «Комментарии на войну с галлами».

С. 217. *Мизопогон* — сочинение императора Юлиана (331—363) «Ненавистник бороды, пли Антиохиец».

С. 218. *Окружить ли мне себя творениями Иоанна Готвиля, Вильгельма Коррозета, Клавдия Фошета, Николая Бонфуса, Якова Берля, Маленгра, Соваля, Дона Филибьеня, Коллетета, де-ла-Мара, Брисса, Буассо, Праделя, ле-Мера, Монфокона...* — Карамзин перечисляет ряд трудов по истории Парижа. Некоторые фамилии авторов приводятся искаженно, а книги двух авторов вообще опознать не удалось. Упоминаемый Карамзиным Готвиль — Jean d'Auteville или de Hauteville, поэт XVII в., писавший на латинском языке, автор поэмы, рисующей картины жизни средневекового Парижа. Далее имеются в виду следующие книги: *Gilles Corrozet.* Fleurs des antiquités, singularités et excellence de la ville et cité de Paris (1532); De la ville Paris et pourquoi les rois l'ont choisie pour capitale, par *Claude Fauchet* (1590); Antiquitées et choses les plus rémarquables de la ville de Paris par *Pierre Bonfons* (1601); Les Annales de la ville de Paris, depuis sa fondation jousqu'au 1640 ‹...› par *Malingre*; Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris,

par *H. Sauval* (1724); Histoire de la ville de Paris par *Félibien*, augmentée et mis au jour par dom Lobineau, bénédictin de Saint-Maur, t. 1—5, avec figures (1725); Abrégé des annales et antiquités de Paris par *Fr. Colletet* (1644); Journal des avis et des affaires de Paris <...> par *Fr. Colletet*; Dictionnaire de police de *Nicolas Lamarre* (1705); Nouvelle description de la ville de Paris et de tout ce qu'elle contient de plus remarquable par *Germain Brice*, t. 1—4 (1725); Description nouvelle de Paris et recherche des singularités, qui s'y trouvent à present par *Dom Germain Brice* (1684); Itinéraire de la ville de Paris, par *J. Boisseau* (1643); Les Adresses de la ville de Paris par *Abraham Pradel* (1691); Paris ancien et nouveau, avec une description de ce qu'il y a de plus nouveaux dans les églises communautés, palais, maison, rues, place etc., par *Le Maire* (1601); посмертное, наиболее полное издание — 1608).

С. 218. *Лаис* Франсуа (1758—1831) — знаменитый певец. Когда «Письма» вышли в свет, Карамзину, конечно, было известно, что в годы революции Лаис сделался убежденным якобинцем и прославился исполнением «Марсельезы» со сцены, участием в патриотических спектаклях и выступлениями перед отбывающими на фронт войсками.

С. 218. *Рено* Роза — молодая, но популярная во время пребывания Карамзина в Париже певица.

С. 218. *Братья Оссиановы...* — Под влиянием «Оссиана» (см. с. 676) в Европе распространился интерес к кельтской старине. Оссиан был бардом (певцом-импровизатором), а каста бардов считала членов касты жрецов-друидов братьями. Под «братьями Оссиана» здесь подразумеваются друиды, жрецы и древних кельтов и галлов. Друиды не воздвигали храмов, а молились в глубине лесов, поклоняясь священным дубам.

С. 218. *...прочитаем Сент-Фуа...* — Имеется в виду книга Сенфуа (см. Список сокращений).

С. 218. *...лесок, насажденный самими Ореадами...* — Ореады (*мифол.*) — нимфы, обитающие в гротах, покровительницы девственных рощ. Декоративный персонаж поэзии и живописи рококо.

С. 219. *Турнфор* (Турнефор) Жозеф Питтон (1656—1708) — путешественник и ботаник, объездил Европу и Азию; погиб, раздавленный каретой на улице Копо в Париже.

С. 220. *Одна часть булеваров называется старыми, а другая новыми...* — Старая часть города рисуется Карамзиным как место контрастов, столкновение старого режима и революции как причины и следствия. Ей противопоставляется идиллическая картина «нового города», где нет ни богатства, ни бедности, ни аристократов, ни революционеров.

С. 220. *...тут Гесперидские сады, в которых не достает только золотых яблок...* — Геспериды (*греч. мифол.*) — дочери Атланта, жившие в саду блаженства и бессмертия, в котором произрастали яблони, приносившие золотые плоды. Сад Гесперид — античный вариант Рая.

С. 220. *Тут молодой растрепанный франт встречается с пожилым, нежно-напудренным петиметром...* — Франт и петиметр выступают здесь и как люди двух эпох: пожилой петиметр представляет XVIII век, молодой франт — эпоху предромантизма, — и двух национальных культур. Не случайно ниже говорится, что в новой части города нет «ни английских, ни французских щеголей». Противопоставление французских и английских щеголей было традиционно в русской (и европейской) сатире на моды: «Английский Петиметр различается от других коротким и непудренным париком, платком на шее, которой они вместо галстука употребляют, нахальными и подлыми речами <...> Из сего видно, что Французский Петиметр походит на обезьяну, а Английский может уподоблен быть медведю» (Из Гольберговых писем, пер. с датского Ивана Борисова. — Трудолюбивая пчела, 1759, дек.. с. 755). Карамзин заменил сатирические маски, хорошо знакомые читателю, собирательными образами культурно-исторических типов. Ср. в «Послании к Привете» А. А. Палицына: «Прежни петиметры иль франты нынешни» (Поэты 1790—1810-х годов. Л., 1971, с. 765). «Нежно-напудренный» означает «с напудренным париком», чему противопоставлен «растрепанный» по романтической моде франт без парика. Эта живая сценка — и плод непосредственных наблюдений

автора, и словесное воспроизведение модной в Париже сатирической гравюры времен пребывания там Карамзина. См. илл. на с. 221.

С. 220. *Бомарше ... умел не только странною Комедиею...* — Карамзин имеет в виду оперу Бомарше (музыка Сальери) «Тарар» (поставлена 8 июня 1787 г.), которую зрители смотрели, по словам современника, «со своего рода изумлением, какого еще не было в театре» (*Державин*, с. 173). В пьесе соединялись буффонные и трагические сцены, в прологе ее действовали: Гений Природы, Гений Огня, любовник природы, «тень Атара», «тень Тарара», «тень полководца Альтамора», «тень первосвященника Брамы Артенея» и еще «тени обоего пола».

С. 220. *Теперь имеет Бомарше все средства и способы наслаждаться жизнию.* — Описание роскошного дома Бомарше было рассчитано на то, что в момент публикации «Писем» читатель уже знал, что Бомарше, пройдя через тюрьму, изгнание и полное разорение, умер в своем совершенно разрушенном и опустошенном парижском доме.

С. 222. *...обедал я у Господина Гло***...* — Расшифровать, какой салон скрыл Карамзин под обозначением «Гло***», не удается: хозяйки салона, чье имя начиналось бы подобным образом, не обнаруживается. Тем не менее за литературно-условным образом г-жи Гло*** обозначается определенный прототип. Из сопоставления следующих данных: 1) Салон г-жи Гло*** имеет французско-швейцарский характер: путешественник был принят в нем по рекомендации из Женевы; 2) в салоне находится брат Неккера; 3) хозяйка салона, «ученая дама лет в тридцать», которая «говорит по-английски, итальянски», сопоставляется с г-жой Неккер, — можно сделать вывод, что, не создавая точного портрета, Карамзин наделил, однако, свою героиню чертами г-жи Неккер и что ее салон в определенной мере — изображение этого последнего знаменитого салона предреволюционной Франции. Факт посещения Карамзиным в Париже салона г-жи Неккер вводит его в самый центр интеллектуальной жизни Франции 1790-х гг. Постоянными посетителями салона были Сийес, Кондорсе, Талейран и дочь хозяйки, ровесница Карамзина — Ж. де Сталь, а также многие другие писатели, философы и ораторы. Атмосфера салона точно передается в романе Ж. де Сталь «Коринна», где герой так характеризует парижский салон 1791 г. (имеются в виду, конечно, в первую очередь салоны самой писательницы и ее матери): «Я был поражен простотой и свободой, царившими в парижских салонах. Самые важные вопросы обсуждались без тени легкомыслия, но и без малейшего педантства: самые глубокие мысли высказывались в непринужденной беседе, и, казалось, величайшая в мире революция совершалась лишь затем, чтобы придать еще больше приятности парижскому обществу. Я знал высокообразованных и чрезвычайно одаренных людей, скорее одушевленных желанием нравиться, чем приносить пользу; они искали аплодисментов в салоне после того, как срывали их на трибуне» (*Сталь Ж. де.* Коринна, или Италия. М., 1969, с. 199). Если Карамзин и Ж. де Сталь и встретились в 1790 г. в салоне г-жи Неккер, то вряд ли тогда они обратили друг на друга внимание. А встреча в Москве в 1812 г. перед самым нашествием Наполеона не сблизила их. Ж. де Сталь записала в дорожном дневнике нелестное впечатление о Карамзине: «Никакой оригинальности, сухой француз» (*Balayé Simone.* Les carnets de voyage de Madame de Staël. Genève, 1971, p. 290). Видимо, оба были не расположены предаваться воспоминаниям, которые могли бы удостоверить или опровергнуть предположение об их встрече в 1790 г.

С. 222. *Худо не знать обычаев...* — Порядок дня в Москве и Париже, в кругу, доступном наблюдениям Карамзина, различно распределялся по часам суток: французская аристократия рассматривала позднее вставание как сословную привилегию. В конце XVIII в. это породило обширную сатирическую литературу, вероятно, известную Карамзину. Так, в комедии Сорена «Нравы нашего времени» на слова добродетельного буржуа, восхваляющего удовольствия солнечного дня, героиня-аристократка отвечает: «Фи, сударь, это неблагородное удовольствие: солнце — это для простонародья» (*Saurin.* Les moeurs du temp. Sc. XII). В России XVIII в., даже в его конце, день начинался и кончался раньше. Гость, званный на обед, являлся к двум-трем часам дня (явиться поздно означало проявить невежливость и гордость). В 1799 г. званый обед у московского главнокомандующего гр. И. П. Салтыкова начинался в три часа (см.: *Макаров* [*М. Н.*]. О времени

обедов, ужинов и съездов в Москве с 1792 г. по 1844 г. — В кн.: Щукинский сб., вып. 2. М., 1903, с. 4). Французский распорядок дня распространился значительно позже: в 1812 г. мадам Сталь вызывала всеобщее удивление москвичей тем, что завтракала в Галерее на Тверском бульваре в два часа дня. Карамзин пришел к г-ну Гло***, следуя московским представлениям о времени визитов. Эпизоды такого рода занимают в «Письмах» значительное идейно-художественное место, поскольку именно в быту автор видит реализацию народного характера.

С. 222. *Мармонтелева Поэтика* — «Poétique française», дополненное и расширенное издание статей Жана Франсуа Мармонтеля (1723—1799) в «Энциклопедии».

С. 222. *Я хвалил дю-Пати...* — Дюпати (см. <83>) был также президентом парламента (судейская должность) в Бордо. Поэтому г-жа Гло*** называет его хорошим адвокатом. Споры о Дюпати также ведут нас к салонам г-жи Неккер и Ж. де Сталь: Дюпати был близким другом Неккера и частым посетителем его дома. Его «Путешествие по Италии» — один из существенных источников «Коринны». Сочинения Дюпати пользовались популярностью в России. См.: *Работи Т.* Литература «путешествий» — В кн.: Русская проза. Л., 1926, с. 48 и др. — А. Бестужев писал, что в «Поездке в Ревель» он «приключения пути Вам описал, как Дюпати» (*Бестужев-Марлинский А. А.* Собр. стихотворений. Л., 1948, с. 120).

С. 222. *Кавалерами Св. Людовика...* — Орден св. Людовика, учрежденный в 1693 г., давался за личные военные заслуги (т. е. функционально соответствовал учрежденному в 1769 г. в России ордену св. великомученика и победоносца Георгия).

С. 222. *...один Адвокат, который хотел быть Министром...* — Эпизод, видимо, является пересказом анекдотического выступления в печати некоего шевалье д'Арлаш. В газете «Petites-Affiches» 1789 г. он писал: «Я намерен доказать самым ясным образом, 1) что за год, считая со дня, когда мой план будет принят и утвержден, существующий дефицит будет восполнен; 2) что расходы будут приведены в соответствие с доходами и что избыток в 200 миллионов ежегодных будет использован на оплату национального долга» (*Saint-Germain Jacques.* La vie quotidienne en France à la fin du Grand siècle. D'après les archives, en partie inéd. du lieutenant général de police Marc-René d'Argenson. [Paris], 1965, p. 69).

С. 224. *«Здесь», — сказал мне Аббат Н*, идучи со мною по улице St. Honoré...* — Улица Сен-Оноре — место расположения знаменитых литературных салонов XVIII в. См.: *Ségur Pierre de.* Le royaume de la rue Saint-Honoré. Paris, 1897; *Glotz Marguerite, Maire Madèleine.* Salons du XVIII-e Siécle. Paris, 1945. — Здесь находились салоны маркизы дю Деффан, г-жи Жоффрен и дочери ее маркизы Ферте-Эмбо.

С. 224. *...у Маркизы Д*...* — Имеется в виду салон Мари де Виши-Шамрон дю Деффан (1697—1780), в котором собирались как философы-энциклопедисты, так и светские люди.

С. 224. *...у Графини А*...* — Имеется в виду салон герцогини д'Эгийон (по-французски Aiguillon), известной своим умом и безобразием, чей салон был прибежищем гонимых правительством писателей и местом сбора философов-энциклопедистов.

С. 224. *Мабли* Габриэль-Бонно (1709—1785) — аббат, философ и историк, коммунист-утопист. О влиянии идей Мабли в России см.: *Лотман Ю. М.* Радищев и Мабли. — В кн.: XVIII век. сб. 3. М.—Л., 1958. — В Париже Карамзин перечитывал Мабли, см.: *Neumann Fr. W.* Karamzins Verhältnis zu Schiller. — Z. fur Slawische Philologie, 1932, IX, S. 359—367. — Ср. также письмо Карамзина к А. И. Вяземскому (Рус. архив, 1872, ч. 10, стб. 1324).

С. 224. *...у Баронесы Ф*...* — Имеется в виду салон Марии-Терезы маркизы Ферте-Эмбо (1715—1791), в котором собиралось общество «Орден Лантюрлелю», имевшее одновременно антипросветительский, ортодоксально-католический, с одной стороны, и щегольской, прециозный — с другой, характер. Маркиза, чей салон открыто враждовал с салоном ее матери, в котором царили Даламбер, Томà, Морели, Монтескье, Мармонтель, Станислав Понятовский, носила в «Ордене» титул «ее экстравагантнейшего величества лантюрлелийского, основательницы Ордена и самодержицы всех Глупостей». Салон посещался такими деятелями, как кардинал Берни. Показательно, что, если салон г-жи Жоффрен поддерживал, несмотря на

некоторые размолвки, связи с Екатериной II, то Павел во время своего пребывания в Париже под именем князя Северного посещал салон Ферте-Эмбо и вместе с Марией Федоровной вступил в «Орден Лантюрлелю».

С. 224. ...*читал М**... — Видимо, имеется в виду известный проповедник, крупнейший церковный оратор Жан Батист Массильон (1663—1742). Подчеркивая впечатление, которое производили речи католических проповедников в антипросветительских салонах, Карамзин знал об ироническом отношении к ним в противоположном лагере; описывая далее свое посещение монастыря Сен-Дени и рассказ о чуде св. Дионисия, который «после казни стал на ноги, взял в руки отрубленную голову свою и шел с нею версты четыре», Карамзин добавляет: «Одна парижская дама, рассуждая о сем чуде, сказала: „Cela n'est pas suprenant; il n'y a que le premier pas qui coûte“». Карамзин цитирует известное bon-mot маркизы дю Деффан. Эпизод этот рисуется по другим источникам так: «Кардинал Полиньяк рассуждал однажды о мученичестве св. Дени: „Подумайте, мадам, — говорил он герцогине Дю Мен, — что этот святой нес свою голову в руках целых две мили... две мили!“ — О сударь, ответила г-жа дю Деффан, ведь стоит сделать лишь первый шаг» (*Bellessort André*. Le salon de M-me du Deffand. — In: Les grands salons littéraires (XVII-e et XVIII-e siècle). — Conférence du musée Carnavalet (1927). Paris, 1928, p. 154). Стремясь к художественной обобщенности, а не документальной точности создаваемой им картины, Карамзин заменяет исторические имена инициалами, что дает ему бо́льшую свободу сдвигать и комбинировать факты. Так, Массильон проповедовал не в салоне у г-жи Ферте-Эмбо, а в более ранних обществах, однако соединение этих имен, скрытых под прозрачными инициалами, создавало картину мощного католического центра и придавало законченность нарисованной Карамзиным гамме: светский салон маркизы Д*, философский — графини А* и религиозный — баронессы Ф*. Ради законченности композиционного ряда «маркиза — графиня — баронесса», который, превратившись в сжатый образ дореволюционной аристократии Парижа, был устойчивым элементом комедий и сатир той эпохи, Карамзин сдвинул реальную картину, сделав ее «более типической»: г-жа Эгийон была герцогиней, а не графиней, Ферте-Эмбо — маркизой, а не баронессой. Желая подчеркнуть, что мир салонов — черта аристократической культуры, Карамзин вообще не упомянул о «средах» у г-жи Жоффрен, матери Ферте-Эмбо, которая не была знатного происхождения, хотя ум, остроумие, роль хозяйки самого блестящего салона Парижа, связи со всеми дворами Европы сделали ее имя бесспорно центральным в том ряду, который мог прийти в данной связи на ум писателю. Художественно обобщил Карамзин и картину конца «века салонов», связав ее с революцией. Историческая реальность была именно такой, но детали Карамзин сдвинул ради выразительности. Маркиза дю Деффан не уехала в Лондон, а умерла задолго до революции (деталь эту Карамзин, однако, не просто выдумал: он опирался на известные ему сведения об англофильстве маркизы и об ее поездках в Англию). Ферте-Эмбо не уезжала «в Рим, чтобы постричься там в монахини». Но и здесь сведения, сообщаемые Карамзиным, не были лишены оснований. В 1789 г. королева «Ордена Лантюрлелю» «отреклась от престола» и орден прекратил существование. Большинство членов разъехалось. Кардинал Берни, который в это время проживал в Риме и носил звание протектора Французской церкви, звал маркизу покинуть Париж и переехать в Рим. Она отказалась и скончалась в Париже в 1791 г. Карамзин был осведомлен об этой переписке и «дорисовал» картину, превратив планы кардинала Берни в реальность. Таким образом, получился законченный образ: революция разрушила мир салонной культуры. Однако следом идет утверждение, частично опровергающее или, по крайней мере, сильно коррегирующее первое: «французы давно уже разучились веселиться». Широкая картина исторического движения от эпохи Людовика XIV к концу XVIII столетия представляет и гибель салонной культуры, и смену «забав и вкуса» «страшными играми» в карты, спекуляциями, всеобщим разорением, единым неудержимым потоком, завершившимся тем, что «грянул над ними гром революции».

С. 224. ...*в доме известной Марионы де-Лорм... где Вуатюр... Менаж... блистали остроумием, сыпали аттическую соль*... — Перечисленные Карамзиным якобы со слов аббата Н* писатели принадлежат к «галантной», или прециозной,

литературе или же связаны с либертинажем, светским вольнодумством; все они характеризуются интересом к вопросам языка, чаще всего в перспективе идей Ренессанса—барокко, и причастностью к «дамской» культуре салонов. Подбор имен исключительно показателен для собственной позиции Карамзина. Большинство из них встречается в известном «Словаре прециозников» Сомеза. Так, например, о Вуатюре там читаем: «Валер («галантное» имя Вуатюра в прециозных кружках, — *авт.*) пользуется такой известностью как среди былых, так и нынешних прециозниц, столь прославлен в их сочинениях и его произведения столь запечатлелись в умах всех занимающихся литературой и всех профессиональных щеголей (профессионалов галантности), что невозможно прибавить что-либо к тому, что уже запечатлелось в умах тех, кто будет читать эти строки» (*Le sieur de Somaize.* Le dictionnaire de precieuses, t. 1. Paris, 1856, p. 240); О Менаже: «Менандр — один из величайших знатоков галантности в Афинах (Париж на языке прециозников, — *авт.*), и в царстве литературы о нем говорят как об универсале <...>. Он друг Софи (мадмуазель де Скюдери, — *авт.*), часто ее посещает, и все интеллектуальные женщины отдают ему за это должное» (Ibid., p. 171).

С. 224. *Жан Ла (или Лас)* — Шотландец Джон Ла (Ло) (1671—1729) основал в 1716 г. Генеральный банк и начал впервые в Европе издавать бумажные деньги. После резкого бума последовали крах банка и массовое разорение держателей ассигнаций. Ло скрылся в Венецию.

С. 224. *...истинная Французская веселость была уже с того времени редким явлением...* — Карамзин рисует следующую картину развития французской культуры: Золотой век — эпоха прециозных салонов, торжества вкуса, главенства женщин в культуре (характерно, что «высокая» литература с ее признанными авторитетами и придворно-государственное влияние на культуру обходятся молчанием); время распада — регентство, рост культурной и финансовой разрухи; итог всего — революционный кризис.

С. 224. *...молодыя дамы ... метали карты на право и на лево...* — Ср. характеристику эпохи Регентства в «Пиковой даме» Пушкина: «В то время дамы играли в фараон» (*Пушкин.* Полн. собр. соч., т. 8, кн. 1. [М.], 1948, с. 228).

С. 224. *Потом вошли в моду попугаи и Экономисты...* — Попугаи вошли в моду в эпоху рококо как деталь интерьера, связанная с модой на все странное и экзотическое и в качестве занятия светской дамы (в антитезе «простой» канарейке как детали третьесословного быта). Экономистами называли философов-физиократов, близких к энциклопедистам и проповедовавших полную экономическую свободу. Учение физиократов, воспринимавшееся как либеральное, сделалось модной темой дебатов в салонах: у м-ль Леспинас и г-жи Жоффрен оно находило пламенную поддержку, салон г-жи дю Дефан был штабом их врагов. Вершиной популярности экономистов было министерство Тюрго, реформы которого привели к «мучной войне» — восстанию бедноты в 1775 г. Современный исследователь считает «мучную войну» «рождением революционного комплекса». «Ее можно счесть пограничным рубежом в истории старого порядка» (*Фор Эдгар.* Опала Тюрго 12 мая 1776 г. М., 1979, с. 331). Карамзин сознательно перечисляет факты разного плана и значения, стремясь создать картину общего исторического потока, неудержимо стремящегося к революции.

С. 224. *...Академическия интриги и Энциклопедисты...* — Речь идет об острой борьбе между кандидатами, поддерживаемыми правительством, и ставленниками «республики философов» — общественности, возглавленной просветителями-энциклопедистами. Эти столкновения двора и общества дискредитировали монархию и идейно подготовляли события 1790-х гг. Острым моментом в этой борьбе были выборы во Французскую академию в 1781 г., когда Даламбер добился избрания Кондорсе и поражения кандидата, выдвинутого противниками энциклопедистов.

С. 225. *Новая Элоиза* — См. <73>.

С. 225. *На Короле был фиолетовый кафтан...* — Французские короли и принцы крови носили фиолетовый цвет в знак траура. Деталь эта намекает на многозначительные обстоятельства, современникам Карамзина понятные: королевская семья носит траур по маркизу Фаврасу, повешенному на Гревской площади в конце февраля 1790 г. по обвинению в заговоре, имевшем целью похищение королевы. На самом деле имела место конспирация с участием королевы, графа Прован-

ского и, вероятно, Мирабо. Фаврас взял всю вину на себя, и заговор остался нераскрытым. Однако в Париже циркулировали слухи, — возможно, известные Карамзину, — что Фаврас был обманут своими высокими покровителями и до последней минуты надеялся, что приговор не будет приведен в исполнение. Уже на эшафоте он хотел сделать важные признания, но ослепленный ненавистью народ (первый случай повешенья аристократа!) не дал ему говорить. В этих условиях, когда говорили, что казнь Фавраса вызвала вздох облегчения у его друзей в большей мере, чем у врагов, траур короля и королевы получал несколько двусмысленное значение.

С. 225. *Ланбаль* — Мари-Тереза-Луиза Ламбаль (1749—1792), друг и наперсница Марии-Антуанетты; была убита во время сентябрьской резни 1792 г. Описание королевской семьи сделано от лица путешественника 1790 г., еще не знающего ничего о будущем. Фактически глава писалась (и тем более дошла до читателя), когда будущее описанных здесь лиц уже свершилось. Карамзин сознательно рассчитывает на двойной эффект переживания этого отрывка.

С. 225. *...с голубою лентою через плечо...* — Речь идет о ленте ордена Св. Духа, которым награждались все члены королевского семейства.

‹98›

С. 226. *С 14 Июля...* — 14 июля 1789 г. — день взятия Бастилии, явившийся началом французской революции.

С. 226. *Один Маркиз...* — П. Н. Берков предположил, что подразумевается маркиз Лафайет, см. ‹102› — (*Карамзин Н. М.* Избранные соч., т. 1. М.—Л., 1964, с. 798). Однако более вероятным представляется предположение, что имеется в виду Антуан-Никола маркиз де Кондорсе (1743—1794) — известный ученый, математик и философ, непременный секретарь Французской Академии наук, примкнувший к революции и сделавшийся в 1791—1792 гг. одним из ее лидеров, с тем чтобы пасть в эпоху террора вместе с жирондистами. Выражение «был некогда осыпан королевскими милостями» не подкрепляется биографией Лафайета, между тем как не располагавший никаким состоянием Кондорсе в молодости получал королевскую пенсию. Лафайет не был заикой, о Кондорсе же известно, что «застенчивость и крайняя слабость легких, неумение сохранять хладнокровие и быстроту соображения посреди шума, волнений и смуты ‹...› заставляли его держаться вдалеке от трибуны» (*Arago Fr.* Biographie de Condorset. — Mémoires de l'Académie des sciences, t. 20. Paris, 1849, p. LXXII). В незнакомом обществе он производил впечатление заики. Проясняется еще одна деталь: говоря об опасности революции, Карамзин строкой ниже использует выражение Мирабо, однако вставляет в него упоминание о цикуте, в речи Мирабо отсутствовавшее. Последнее может быть истолковано как прямой намек на судьбу Кондорсе: преследуемый Робеспьером, Кондорсе принял яд, чтобы избежать эшафота; перед нами лишнее свидетельство осведомленности Карамзина в деталях парижских событий.

С. 226. *...помнит ли цыкуту и скалу Тарпейскую?* — Слова представляют собой перефразировку изречения Мирабо, произнесенного, видимо, в присутствии Карамзина. В конце мая 1790 г. в Национальном собрании обсуждался вопрос о праве короля на ведение тайной дипломатии и объявление состояния войны. 20 мая Мирабо в обширной речи доказывал, что право войны принадлежит в равной мере и королю, и Национальному собранию, что же касается до заключения договоров, то это право принадлежит королю с последующей санкцией собрания. 21 мая Барнав произнес обширную речь, опровергающую тезисы Мирабо. Одновременно на улицах Парижа стали продавать инспирированный Ламетом памфлет: «Великое предательство графа Мирабо». 22 мая Национальное собрание было окружено толпой в 50 000 человек. Мирабо долгое время не давали начать ответной речи, заглушая его голос криками, а когда он направлялся к трибуне, Вольней крикнул ему: «Мирабо, вчера в Капитолии — сегодня на Тарпейской скале». Мирабо в патетической речи ответил: «Мне не надо этих уроков, чтобы помнить, что от Капитолия близко до Тарпейской скалы!» (см.: *Mathiez A.* La Révolution française, t. 1. Paris, 1928, p. 94; *Castries duc de.* Mirabeau ou l'échec du destin. Paris, 1960, p. 438—439; *Caste L.* Mirabeau. Lyon, 1942).

С. 228. *Новые Республиканцы с порочными сердцами!* — Отрывок, видимо, представляет позднейшую интерполяцию, соответствуя ряду высказываний Карамзина 1800—1810-х гг. Ср.: «Республика без добродетели и геройской любви к отечеству есть неодушевленный труп» — в «Историческом похвальном слове Екатерине II» (*Карамзин.* Соч., т. 1. СПб., 1848, с. 297); «Без высокой добродетели республика стоять не может» (Вестн. Европы, 1802, № 20, с. 319—320).

С. 228. *...разверните Плутарха, и вы услышите ... Катона...* — Карамзин имеет в виду слова Катона Утического, сказавшего, что он предпочитает «любую власть безначалию», приведенные Плутархом в очерке, посвященном Помпею (см.: *Плутарх.* Сравнительные жизнеописания в 3-х т., т. 2. М., 1963, с. 372).

‹99›

С. 230. *Это гулянье напомнило мне наше Московское, 1 Мая.* — Гулянье на 1 мая в Москве происходило в Сокольниках (на Семик гулянье происходило в Марьиной роще, в Духов день — во дворцовом саду в Лефортове). Оно выглядело как длинный и медленный кортеж карет, в которых сидело нарядное общество гуляющих. Менее знатные москвичи собирались в Сокольники, чтобы наблюдать это блестящее и длившееся часами зрелище (см.: Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком Д. Благово. СПб., 1885, с. 213—214).

С. 230. *...с длинными деревянными саблями...* — Ношение деревянных сабель вместо тростей стало модой щеголей эпохи революции. Ср. в карикатурном образе модника конца XVIII в. Слюняя из шутотрагедии Крылова «Трумф, или Подщипа»:

Да, да! подсунься-ка к его ты паясу:
Ведь деревянную я спагу-то носу!

(*Крылов И. А.* Полн. собр. соч., т. 2.
М., 1946, с. 348)

С. 231. *Изабелла* (или Елизавета) св. (1224—1358) — основательница монастыря Лоншан.

С. 231. *Фремень* (Фремен) Рене (1673—1745) — скульптор, автор алтаря св. Людовика в Луврской церкви и ряда фонтанов в Париже.

‹100›

С. 231. *В Париже пять главных Театров...* — В Париже в 1790 г. насчитывалось 16 театров (см.: *Державин*, с. 50—53).

С. 231. *Большая Опера* — театр, основанный в 1671 г. под названием «Королевская академия музыки»; в 1791—1793 гг. назывался «Театр оперы», в 1793—1794 — «Национальная опера».

С. 231. *Французской Театр* (или Комеди франсез) — основан в 1680 г., помещался у Люксембургского дворца.

С. 231. *Италианской* — Итальянский театр, или Итальянская комедия; основан в 1716 г., в 1792 переименован в Национальную комическую оперу; помещался на площади Фавара.

С. 231. *Графа Прованского* — «Театр господина брата короля»; открыт в 1789 г. в Тюильрийском дворце; в 1790 г. был переведен на Сен-Жерменскую ярмарку, а в 1791 г. — в театр на улице Фейдо. Граф Прованский — титул старшего из братьев короля, будущего Людовика XVIII.

С. 231. *Variétés* — В Париже в 1790 г. существовало два театра с подобным названием: Театр «Варьете», открытый г-жой Монпансье в Пале-Рояле, в зале Театра Божоле, в 1790 г., и театр «Веселое варьете», открытый в 1779 г. и находившийся с 1784 г. в Пале-Рояле, называвшийся также Театр Пале-Рояля, или Пале-Эгалите. Е. Ф. Комаровский вспоминал: «Должен признаться, что любимый мой театр был тогда Les Variétés amusantes; зала была в самом Palais Royal» (*Комаровский Е. Ф.* Записки. СПб., 1914, с. 9). В известном конфликте между

французской и итальянской музыкальной школами Карамзин, вслед за Руссо, пропагандирует французскую оперу.

С. 232. *Поля Елисейския* — место пребывания блаженных душ в античной мифологии.

С. 232. *Тартар* — подземное царство в греческой мифологии.

С. 232. *...страшный Ахерон... шум черного Коцита и Стикса...* — Ахерон, Коцит, Стикс — реки в Тартаре.

С. 232. *Флегетон* — огненный приток Ахерона.

С. 232. *Тантал, Иксион и Данаиды* — грешники, наказанные за преступления вечными муками в царстве мертвых: Тантал, накормивший богов мясом своего сына, был наказан вечным голодом и жаждой; Иксион, покусившийся на супругу Зевса Геру, был прикован в Аиде (Тартаре) к огненному колесу. Данаиды — см. ‹9›.

С. 232. *Лета* — река забвенья в царстве мертвых. Хлебнувший ее воды забывает всю земную жизнь.

С. 232. *Орфей* — в древнегреческой мифологии поэт и музыкант, спустившийся живым в Аид, пытаясь вернуть к жизни свою умершую жену Эвридику.

С. 232. *Орест* (*мифол.*) — древнегреческий герой; преследовался богинями мщения фуриями за убийство матери.

С. 232. *Язон* — герой древнегреческого мифа; отправился в Колхиду (Кавказ), чтобы добыть золотое руно. Он достал его с помощью красавицы-колдуньи Медеи, на которой женился. Когда он впоследствии бросил Медею, она, из мести убив рожденных от него детей, улетела на огненном змее.

С. 232. *Диана... целует Эндимиона...* — Античная богиня Луны была возлюбленной пастуха Эндимиона.

С. 232. *Телемак* — сын Одиссея; увлеченный чарами Калипсо (см. ‹95›), готов был отказаться от героической жизни ради ее любви, но наставник Ментор ударом сбросил его со скалы в воду и, этим охладив любовный жар, увлек от волшебного острова.

С. 233. *Италиянской получеловек* — кастрат.

С. 233. *Глукова ария* — См. ‹106›.

С. 233. *Я и теперь не переменил мнения своего о Французской Мельпомене.* — Мнение Карамзина о французском театре находилось в русле предромантических концепций. Ср. высказывания Я. Ленца: «На французской сцене царствуют свирепейшие герои древности. Длинные вереницы римских полководцев, императоров, царей, чисто выбритых, в париках и шелковых чулках ‹...› Английская сцена — противоположность французской. Английские драматурги не устыдились изображать природу такой же голой, как младенец в утробе матери. Немецкая сцена — удивительная смесь» (цит. по кн.: *Розанов М. Н.* Поэт периода «бурных стремлений» Якоб Ленц. М., 1901, с. 165).

С. 235. *Ла-Рив* — Жан Ларив (1747—1827), трагический актер. Игра его отличалась декламационной аффектацией, тщательной разработкой поз и эффектностью. Был поборником реформы костюма, стремился сделать его исторически точным, приблизив к подлинной античности.

С. 235. *Орга́н* — театральный термин, означающий сценический голос.

С. 235. *...снова явился на сцене в роли Эдипа.* — Имеется в виду трагедия Вольтера «Эдип». В отличие от античной традиции и «Эдипа» Корнеля, Эдип у Вольтера появляется лишь в 3-й сцене, после длинных монологов Филоктета и Димаса, рассказывающих зрителю о предшествующих событиях. Слова Димаса «Эдип здесь появился» находятся в конце 1-й сцены. Монолог, который (не с первых стихов) цитирует Карамзин, занимает полностью 4-ю сцену 5-го акта трагедии. В первом стихе цитаты — неточность. Карамзин цитирует идеологическую вершину трагедии — место, в котором Эдип обвиняет богов за зло, творимое людьми на земле. Естественно, что этот монолог Карамзин дал без перевода, что резко контрастировало с расположенным рядом монологом Лира, который он снабдил прозаическим переводом.

С. 236. *Рокур* Мари-Антуанетта (1756—1815) — трагическая актриса, сторонница традиционных форм исполнения и костюма.

С. 237. *Конта* Луиза (1760—1813) — комедийная актриса, знаменитая исполнением роли Сюзанны в комедии Бомарше.

С. 237. *Le Couvent* — антиклерикальная пьеса Олимпии де Гуж (1748—1793) «Монастырь, или Вынужденный обет».

С. 237. *Моле* Франсуа Рене (1734—1802) — драматический актер, исполнитель ролей в «слезных драмах».

С. 237. *... в Мольеровом и Фабровом Мизантропе...* — Имеются в виду комедии Мольера «Мизантроп» (1666) и Фабра д'Эглантина «Филинт, или продолжение „Мизантропа“» (1790).

С. 237. *Монтескьё* — драма Мерсье «*Монтескьё в Марселе*» (1784).

С. 237. *Мерсье* Луи Себастьен (1740—1814) — французский писатель, автор «Картины Парижа», использованной Карамзиным в «Письмах».

С. 237. *Так называемый Италианский Театр ... есть мой любимый...* — Итальянские актеры были изгнаны указом короля в 1779 г., и театр состоял только из французских актеров, хотя и сохранил свое название. Театр специализировался на комической опере и музыкальной мелодраме. Симпатии Карамзина вызваны тем, что именно в Итальянском театре в наибольшей мере проявился отказ от классической традиции.

С. 237. *Рауль синяя борода и Петр Великий* — оперы А. Э. М. Гретри: первая по тексту комедии Седана, вторая на сюжет комедии Буйи. Обе были поставлены в 1790 г. «Петр Великий» представлял в контексте 1790 г. революционную антидеспотическую пьесу, прославляющую союз короля и нации. «Популярными героями драматургии становятся такие короли, как Генрих IV, Людовик XII и даже Петр Великий, которых окружает демократическая легенда» (*Державин*, с. 177).

С. 239. *Гретри сочинял музыку: она прекрасна.* — Продолжая Глюка и Руссо, Гретри отстаивал естественность в музыке и связь ее с интонациями выразительного слова (см.: *Ля-Лоранси Лионель де.* Французская комическая опера XVIII века. М., 1937, с. 116—126).

С. 239—240. *Жил был в свете ... другова не найдете.* — Карамзин представляет свой текст как перевод. На самом деле текст его существенно отличается от оригинала. Вольная переделка приближает его к программе Карамзина. Разница между французским и русским текстами весьма существенна для понимания карамзинской концепции реформ Петра I. Тема Петра I — столь же сквозная для «Писем», как и тема французской революции. Тема Петра-преобразователя появляется уже в третьем письме и затем, переплетаясь с темой Генриха IV, развивается как альернатива революционному пути Франции. Приводим для сравнения французский текст:

ROMANCE

Jadis un célèbre empereur
Remit le soin de son empire
Entre les mains d'un sage gouverneur
Pour courir le monde et s'instruire.

Les trésors, les rangs, la grandeur
Ne font pas toujours le bonheur.

Chœur: Les trésors, les rangs, la grandeur
Ne font pas toujours le bonheur.

Il prit l'habit d'un charpentier
Afin de cacher sa naissance;
Et visita jusqu'au moindre chantier
De l'Anglettere et de la France.

Les trésors... etc.
Chœur: Les trésors... etc.

Courbé sous de pésans fardeaux,
Couvert de sueur, de poussière,
De la marin il suivi les traveaux
Pendant près d'une année entiere.

Let trésors... etc.
Chœur: Les trésors... etc.

Il prend la hache, le marteau
Au lieux de sceptre, de couronne,
Et réussit à construire un vaisseau,
Dont la beauté séduit, étonne.

Les trésors... etc.
Chœur: Les trésors... etc.

Grand rois, superbes potentats,
Quitez vos cours, vos diadêmes,
Ainssi que lui, sortez de vos états,
Voyagez, travaillez vous-même,

Et vous verrez que la grandeur
Ne fait pas toujour le bonheur.

Chœur: Et vous verrez... etc.

(Pierre le Grand, comedie en trois actes et en prose, mêllé de chants, représentée pour le première fois par les Comédiens Italiens ordinaires du roi, le 12 janvier 1790 ⟨. . .⟩ par J. N. Bouilly, musique de Grétry. A Paris, an IX, p. 29—30)

Перевод: Некогда некий славный император доверил заботы о своей империи мудрому наместнику, чтобы объехать мир с целью образования.

Сокровища, высокое положение и величие не всегда составляют счастие.
Хор: Сокровища, высокое положение и величие не всегда составляют счастие.

Чтобы скрыть свое происхождение, он оделся плотником и обошел всю Англию и Францию вплоть до последней хижины. Сокровища... и т. д.
Хор: Сокровища... и т. д.

Сгибаясь под тяжелой ношей, покрытый потом и пылью, он целый год работал моряком. Сокровища... и т. д.
Хор: Сокровища... и т. д.

Вместо скиптра и короны он взял топор и молоток и сумел построить корабль, красота которого привлекала и изумляла. Сокровища... и т. д.
Хор: Сокровища... и т. д.

Великие цари и высокие владетели! Оставьте ваши дворы и короны! Так же, как и он, покидайте свое отечество ради путешествий и трудов, и вы увидите, что величие не всегда составляет счастие.
Хор: И вы увидите ... и т. д.

Сравнение убеждает, что Карамзин не только ввел лишнюю строфу, но и решительно изменил содержание всей песни. Он свел до минимума основной мотив оригинала — личный физический труд царя и овладение им полезными ремеслами. Красочные детали — топор и молоток в руках царя, корабль, построенный его руками, — полностью устранены. Карамзин устраняет характеристику Петра как царя-труженика, канонизованную в России Ломоносовым, а во Франции Вольтером. Цель путешествия Петра, по Карамзину, другая: просветить свое сердце и способствовать нравственному просвещению подданных — свои «Душу, сердце украшать Просвещения плодами», а русских «*в искусстве жить* наставить». Слова, которые Карамзин выделил курсивом, как и вся строфа, не имеют параллели во французском тексте и весьма отдаленно связаны с реальным характером заграничного путешествия Петра I. Зато они очень точно излагают цели путешествия самого Карамзина и его просветительское кредо. Делается очевидной глубоко

скрытая, но явно присутствовавшая в сознании Карамзина параллель между «Великим посольством» Петра I и заграничной поездкой автора «Писем русского путешественника». Это путешествие частного человека, устанавливающего контакт с европейским просвещением, цивилизацией, прогрессом и гуманностью, должно внести в петровскую реформу корректив, соответствующий духу времени.

С. 241. *Феникс* — здесь: чудо.

С. 241. *Монвель* Жак Мари Буте (1745—1811) — артист и драматург. Изгнанный из Франции по приказу политической полиции в 1781 г., он вернулся перед революцией, пламенным сторонником которой сделался. Карамзин, вероятно, видел его музыкальную комедию «Утро 14 июля» (шла весной 1790 г.), а о мелодраме «Монастырские жертвы», бывшей одним из наиболее примечательных явлений театра революции, он дал развернутый положительный отзыв в «Московском журнале».

С. 241. *...есть в Париже множество других в Palais Royal, на булеварах...* — В Пале-Рояле находились театры Варьете и Веселое Варьете, известные как место сбора случайной публики и публичных женщин, а с 1790 г. — Театр цирка Пале-Рояля; театры на бульварах — небольшие и более демократические по составу труппы и репертуару театры, являвшиеся конкурентами «королевских». До революции «королевские» театры с помощью монополий жестко ограничивали возможности «бульварных» театров. Основное место сосредоточения этих театров — Бульвар Тампль. Здесь располагались Театр Веселья (до 1790 г. именовался Театром великих танцоров короля), Театр товарищества на бульваре Тампль (основан в 1790 г.), Театр комического двусмыслия — в основном мимический театр, основанный в 1769 г., Театр комического отдохновения (основан в 1785 г.). Во время пребывания в Париже Карамзина на Бульвар Тампль переехал из Пале-Рояля Театр Божоле. В годы революции на Бульваре Тампль открылся еще ряд театров. Имелись «бульварные театры» и в других частях города. Так, с 1790 по 1794 г. существовал Французский комический и лирический театр на Бульваре Сен-Мартен. Поскольку метафора «жизнь — китайские тени моего воображения» сделалась одной из любимейших в языке и сознании Карамзина, то можно предположить посещение им Театра Серафена, или Театра китайских теней, который с 1784 г. находился в Пале-Рояле, а позже переехал на Бульвар Тампль.

С. 242. *Stabat Mater* — католический гимн на слова средневекового поэта, монаха Якопоне да Тоди (ок. 1300). Заглавие по первому стиху гимна: «Stabat Mater dolorosa».

С. 242. *Miserere* — католическое песнопение на слова 50-го покаянного псалма, называемое по первой строке: Miserere mei Domine (*латин.*: Помилуй мя, Господи!).

‹101›

С. 242. *...сцены из Метаморфоз Овидиевых...* — «Метаморфозы» — поэма римского поэта Овидия, посвященная мифам о превращениях и создающая грандиозную картину изменяющегося мира. Карамзин дополняет ее новым звеном — зрелищем разрушения некогда роскошных дворцов королевской Франции. Эпизод этот, внешне примыкая к предромантической традиции «поэзии развалин», имеет в контексте «Писем» и другой, более глубокий смысл. Он раскрывается сопоставлением с книгой Вольнея «Руины, или размышления о революциях империи» — одним из наиболее боевых памфлетов позднего просветительства; Карамзин рекомендовал читателям «Московского журнала» «Руины...» как одну из двух книг, которые «можно назвать важнейшими произведениями французской литературы в прошедшем (1791, — *авт.*) году» (Моск. журн., 1792, ч. 5, кн. 1, янв., с. 150). Вольней считал, что развалины погибших империй — свидетельства царствовавшего там некогда деспотизма. Там, где неравенство порождает деспотизм, следом идут революции и низвержение империй. Королевские дворцы во Франции так же превратятся в развалины, как и дворцы азиатских деспотов. «Новые революции взволнуют народы и империи. Могущественные престолы снова будут низвергнуты» (*Вольней.* Руины, или размышления о революциях империй. М., 1927, с. 51). В мыслях Вольнея Карамзин видит подкрепление своей идеи о двух исторических возмож-

ностях: постепенном прогрессе, основанном на успехах просвещения и нравственности, социальной справедливости и религиозной терпимости, с одной стороны, и катастрофических сменах деспотизма и анархии — с другой. Исторические преступления средневековой Франции — Варфоломеевская ночь, убийство Генриха IV, роскошь, деспотизм и фанатизм — делают закономерной и неизбежной революцию. Эпизод этот вписывается в ряд упоминаний о казни тамплиеров, убийстве Генриха IV и прочих подобных исторических воспоминаний, пронизывающих «парижскую» часть «Писем».

С. 242. *Пирам* — один из персонажей «Метаморфоз», вавилонский юноша, погибший от трагической любви к Тисбе.

С. 243. *Семелея* (Семела) — смертная возлюбленная отца богов Юпитера. По версии Овидия, погибла от мести жены Юпитера Юноны.

‹102›

С. 244. *А. А.* — Алексей Александрович Плещеев, приятель Карамзина, муж Настасьи Ивановны Плещеевой.

С. 244. *...поутру читать разные журналы, газеты...* — Количество выходивших во Франции в 1790 г. газет и журналов очень велико. См.: *Hatin Eugéne*. Bibliographie historique et critique de la presse periodique française. Paris, 1866, p. 94—200. — Характер газет, которые можно было прочесть в том или ином кафе, зависел от его политического лица.

С. 244. *Бальи* Жан Сильвен (1736—1793) — писатель и астроном; возглавил клятву в Зале для игры в мяч; после взятия Бастилии — мэр Парижа; погиб на гильотине.

С. 245. *Лувр* — В описании Лувра Карамзин следует за книгой Дюлора (*Dulaure*, p. 170—171; см.: *Сиповский*, с. 301—302).

С. 245. *Потомки Кловисовы* — французские короли; Кловис I (ок. 466—511) — король франков.

С. 245. *...Перро, обесславленный, разруганный насмешливым Буало...* — Полемика Буало с Клодом Перро (1613—1688) — строителем луврской колоннады, писателем и натуралистом — приходится на 1674 г. В начале IV песни «Поэтического искусства» Буало упомянул о медике, сделавшемся архитектором:

Галена тяжкий труд навек оставил прочим
И, недостойный врач, стал превосходным зодчим.

(*Буало*. Поэтическое искусство. М., 1957, с. 97;
пер. Э. Л. Линецкой)

Перро принял эти стихи на свой счет, что вызвало эпиграмму Буало: «Врачу» («Да, я сказал, что один известный убийца...»). Спор обострился в 1687 г. в связи с полемикой «древних и новых». Братья Перро — Клод и Шарль, — нападая на авторитеты классицизма, отстаивали превосходство современных им французских поэтов над древними авторами, не щадя авторитета Гомера и Вергилия. Буало ответил эпиграммами: «На чтение в Академии стихов против Гомера и Вергилия», «По тому же поводу», «Еще по тому же поводу», «Г-пу Перро по тому же поводу», «Бюрлескная пародия первой оды Пиндара в похвалу г-ну Перро». Примирение Буало и Шарля Перро (Клод уже умер) состоялось лишь в 1694 г. Ср. стихотворение Буало «На примирение автора с г-ном Перро» и «Письмо к г-ну Перро, члену Французской академии». Упоминание это в тексте «Писем» интересно как свидетельство внимания Карамзина к «спору древних и новых» во французской литературе XVII в., в ходе которого были высказаны тезисы, существенные для полемики по вопросам языка и литературы в России XVIII—начала XIX в. Упоминание колоннады Перро у Дюлора отсутствует.

С. 246. *ле-Брюневы картины* — картины Шарля Лебрена (1619—1690), художника, почитавшегося высоким авторитетом в живописи XVII в. Упоминаемые Карамзиным картины ныне находятся в Лувре.

С. 246. *Тюльери* (Тюильри) — Источником описания послужила книга Дюлора.

С. 246. *Катерина Медицис* — Екатерина Медичи (1519—1589), дочь Лоренцо Медичи, жена французского короля Генриха II, мать Франциска II, Карла IX и Генриха III. Во время юности Карла IX была регентшей и приняла участие в организации Варфоломеевской ночи.

С. 246. *Кор-де ложи* — крытая галерея, соединяющая части здания или отдельные павильоны.

С. 246. *Тут живет ныне Королевская фамилия.* — Упоминание это имеет в тексте несколько значений. Прежде всего, здесь содержится намек на события 5—6 октября 1789 г. — самый острый момент во всей политической хронике революции до момента отъезда Карамзина из Парижа. Тюльери не было в XVIII в. официальной резиденцией французских королей. Однако после того как толпа парижских женщин заставила короля и Национальное собрание переехать из Версаля в Париж в знак разрыва с прошлым король с семьей был помещен не в своей обычной парижской резиденции, а в Тюльери. В этом значение «ныне» во фразе Карамзина. Однако когда текст этот сделался доступен русскому читателю (а возможно, и когда он писался), и Людовик XVI, и Мария-Антуанетта давно уже были гильотинированы, а предсмертным местом пребывания их был не Тюльери, а замок Тампль. Позиция, при которой писатель как бы не знает того, что известно читателю, придает тексту особую смысловую весомость.

С. 246. *День Св. Духа* — второй день Троицы (51-й день после Пасхи). «Духов день» в 1790 г. приходился на 25 мая н. ст. Так как Карамзин 4 июня уже написал Дмитриеву письмо из Лондона (см. *Письма Карамзина к Дмитриеву*, с. 13—14), крайне сомнительно, чтобы он мог в этот день еще быть в Париже. Существует предположение, что праздника Ордена св. Духа в тот год, когда его описывает Карамзин, вообще не было. Е. Ф. Комаровский, наблюдавший эту церемонию в 1789 г., вспоминал: «Г. Мошков ездил со мною в Версаль в день сошествия св. Духа. Я был в придворной церкви и видел процессию сего ордена, которая была едва ли не последняя до революции. Г. Мошков испросил позволения у королевы осмотреть маленький Трианон, любимое ее тогда местопребывание. Король и королева обедали в сей день au petit couvert, т. е. за столом сидел один король и королева тоже одна, но в разных комнатах. Вся публика могла проходить мимо их величеств» (*Комаровский Е. Ф.* Записки. СПб., 1914, с. 8—9). Карамзин мог слышать описание церемонии от того же Мошкова, с которым он общался в Париже, и, как он часто делал, превратить его в эпизод, якобы лично пережитый путешественником. Смысл эпизода — в показе быстрого падения авторитета королевской власти. В апреле Карамзин в неопределенной форме говорит о возможности гибели короля («он... может погибнуть в шумящей буре»), но завершает рассуждение мажорной уверенностью в любви народа к династии: «Народ еще любит кровь царскую!». В исходе мая изображение праздника кавалеров Св. Духа завершается пессимистическим описанием вторжения любопытной толпы в самые покои короля — демонстрацией полного неуважения парижан к Людовику XVI в его новом и вынужденном жилище. Для читателя, который уже знал последующие исторические события, такое предсказание облекалось реальным смыслом, а в образ путешественника добавлялась новая черта — дар исторического провидения. День св. Духа был орденским праздником кавалеров ордена Св. Духа — высшего ордена дореволюционной Франции. В этот день носители ордена во главе с королем, который был его главой, слушали торжественную мессу в дворцовой церкви. Кавалеры являлись на празднество в полном орденском одеянии: вместо обычного ношения голубой ленты через правое плечо, со знаком ордена — большим крестом белой эмали с золотыми лилиями в углах — на бедре, орден надевался на золотой цепи на грудь, поверх пышного орденского платья в виде голубой мантии с геральдическим золотым шитьем и знаками огненных языков — образом св. духа. Шитая серебряная звезда ордена, носимая на кафтане на левом боку, имела изображение летящего вниз голубя. Зрительное представление роскоши этого средневекового шествия необходимо для понимания контраста между ним и изображением парижской толпы, вломившейся в королевский дворец. Русские читатели Карамзина, которые в дни св. Андрея, св. Георгия, св. Владимира были свидетелями торжественных орденских выходов и праздников

(ко двору имел доступ любой дворянин), легко могли представить себе зрительный контраст этих двух картин.

С. 247. ...*следственно, не похожа на душу отца его.* — Луи Филипп Жозеф Орлеанский, принявший в годы революции имя Филипп Эгалите, вел сложные политические интриги, пытаясь проложить себе путь к власти. Попытками примкнуть к революции, дошедшими до того, что в Конвенте он голосовал за смертную казнь своему кузену Людовику XVI, он заслужил ненависть роялистов, а интригами, беспринципностью и склонностью к темным политическим махинациям — презрение революционеров. Погиб на эшафоте в 1793 г. Отношение Карамзина к нему было резко отрицательным.

С. 247. *Мария Медицис* (Медичи, 1573—1642) — королева Франции, жена Генриха IV; после смерти мужа была регентшей, устранила от дел министра Генриха IV, крупного государственного деятеля Сюлли, заменив его бездарным Кончини; способствовала выдвижению Ришелье, который, однако, предал ее, перейдя на сторону ее сына Людовика XIII. Умерла в Кельне.

С. 248. *Кондильяк* Этьен (1715—1780) — философ энциклопедист, автор популярных пособий, излагавших основы сенсуалистического материализма и логики, брат Мабли (см. ‹97›). Карамзин любил Кондильяка за простоту и ясность изложения и часто на него ссылался.

С. 250. ...*диким Американцем*... — Так называли в XVIII в. североамериканских индейцев.

С. 250. *Краковское дерево* — развесистый каштан в Пале-Рояле, названный так в знак симпатии парижан к Польше во время первого ее раздела. Обмен политическими новостями в тени Краковского дерева привел к рождению идиомы «une nouvelles de l'arbre de Cracovie» (новость Краковского дерева) в значении «бабья сплетня» и арготического cracovie — «вранье». Посаженное, согласно легенде, рукой Ришелье, Краковское дерево было срублено по приказу Филиппа Орлеанского (об отношении к нему Карамзина см. примечание к этому же письму).

С. 250. *Герострат* — грек, печально прославившийся поджогом храма Дианы Эфесской, нарицательное имя разрушителя.

С. 251. *Сирк* — цирк, помещение, расположенное в центре Пале-Рояля и занятое увеселительными заведениями. В 1790 г. там был открыт Театр цирка Пале-Рояля, в 1791 г. переименованный в Театр национального цирка.

С. 251. *Сады Вавилонские* — висячие сады Семирамиды, одно из семи чудес света.

С. 251. *Реверберы* — фонари с рефлекторами.

‹103›

С. 251. *Молодой Скиф К** — Карамзин. Вся сцена свидания автора и Бартелеми написана с проекцией на сюжет романа Бартелеми «Путешествие юного Анахарсиса», в котором ищущий мудрости молодой скиф посещает Афины и беседует с греческими мудрецами.

С. 252. ...*рассуждение о Самаританских медалях и легендах*... — Речь идет о монетах из Самарии; легенда — пояснительная надпись; здесь: надпись на монете.

С. 252. ...*о медалях Ионафановых, Антигоновых, Симеоновых*... — Речь идет об иудейских монетах от XI до I в. до н. э.

С. 252. *Ему гораздо более 70 лет*... — Бартелеми в 1790 г. было 74 года.

С. 252. *Шуазёль* Этьен Франсуа (1719—1785) — министр иностранных дел при Людовике XV. Когда Шуазель подвергся опале, Бартелеми сохранил верность дружбе, что широко обсуждалось в салонах 1770-х гг. Маркиза дю Деффан писала по этому поводу И. И. Шувалову: «Аббат Бартелеми сейчас в Париже, но пробудет он здесь очень недолго: он не покидает Шантелу (имение, куда удалился сосланный Шуазель, — *авт.*) и служит большим утешением для всех его обитателей» (Литературное наследство, т. 29—30. М., 1937, с. 285).

С. 252. *Левек* Пьер Шарль (1736—1812) — историк, прибыл в Россию по рекомендации Дидро. В 1780 г. вышла по-французски его «История России», переве-

денная в 1787 г. на русский язык. В 1789 г. избран в Академию надписей и словесности.

С. 252. *Робертсон* Вильям (1721—1793) — английский историк. Карамзин высоко ценил английскую историческую школу XVIII в. В записной книжке 1797 г. он писал: «Займусь историею. Начну с Джиллиса; после буду читать Фергусона, Гиббона, Робертсона — читать со вниманием и делать выписки» (Неизданные сочинения и переписка Николая Михайловича Карамзина, ч. 1. СПб., 1862, с. 203).

С. 253. *Левек ... соображает...* — здесь: «сопоставляет», «сравнивает».

С. 253. *Путь образования или просвещения один для народов...* — Карамзин формулирует здесь концепцию непрерывного поступательного развития человеческого разума, шествующего единым путем от темноты и невежества к знанию и совершенству. Идея эта органически связана с философским оптимизмом Просвещения XVIII в. (ср. «Опыт исторической картины прогресса человеческого разума» Кондорсе). С этой точки зрения, национальное своеобразие оказывалось не субстанцией, а этапом в общечеловеческом движении. Результатом было стремление подчеркивать сходство основных моментов русской и мировой истории: «У нас был свой Карл Великий: Владимир — свой Лудовик XI: царь Иоанн». К моменту работы над «Историей государства Российского» позиция Карамзина коренным образом изменилась: его стало интересовать именно своеобразие исторического пути России в общем движении человечества к просвещению. Показательно, что, прослушав посвященные разгрому Новгорода главы «Истории» Карамзина, А. И. Тургенев подчеркнул совсем не сходство Ивана IV с Людовиком XI, а черты национального своеобразия в его характере: «Истинно Грозный, тиран, какого никогда ни один народ не имел ‹...› представлен нам с величайшею верностию и точно русским, а не римским тираном» (*Лотман Ю.* Проблема народности и пути развития литературы преддекабристского периода. — В кн.: О русском реализме XIX века и вопросах народности литературы. М.—Л., 1960, с. 43). То, что Карамзин именовал в «Письмах» «жалкими иеремиадами», исключительно близко к его собственной оценке деятельности Петра I в «Записке о древней и новой России».

С. 254. *Иеремиады* — здесь: жалобы (от имени библейского пророка Иеремии). Карамзин выделил слово курсивом как не принятый в русском языке галлицизм. Слово это во французском языке имеет фамильярный стилистический оттенок, что придает русскому тексту характер иронии.

С. 254. *Ликург* — законодатель в древней Спарте, в публицистике XVIII в. (особенно у Мабли и Руссо) — образец государственной мудрости.

С. 255. *Век Вольтеров, Жан-Жаков, Энциклопедии, Духа Законов не уступает веку Расина...* — Идея поступательного развития человечества заставляла Карамзина считать, что каждый новый этап культуры выше предшествующего. Ср. противоположную тенденцию в творчестве Пушкина, который «решительно и определенно поворачивает к большим дорогам французского классицизма XVII в. Восемнадцатому веку он отдал слабую дань, и то лишь в пределах русских подражаний своих современников. В споре „древних“ с „новыми“ Пушкин на стороне „древних“» (*Томашевский Б. В.* Пушкин и Франция. Л., 1960, с. 89). Карамзин периода «Писем» — на стороне «новых».

С. 255. *...в доме Г-жи Неккер, Барона Ольбаха...* — «В 1789 г. в канун революции первым салоном Парижа был салон г-жи Неккер ‹...› Сийес, Парни, Кондорсе, Талейран собирались на ее среды» (*Lecour Louis.* Grand Monde et salons politique de Paris àpres la terreur. Paris, 1861, p. 85). «Салон Гольбаха был местом сбора и своеобразным штабом энциклопедистов. Соединявший самые прославленные умы середины XVIII в., салон Гольбаха был известен блеском и разнообразием бесед и крайностью высказывавшихся там мнений; «Энциклопедия» была, однако, менее отважна, чем салон Гольбаха: приходилось считаться с цензурой и мнением публики» (*Glotz Marguerite, Maire Madeleine.* Salons du XVIIIe siècle. Paris, 1949, p. 260).

‹104›

С. 255. *Господин П*, мой земляк...* — Имеется в виду Павлов, второй секретарь русского посольства в Париже (см.: *Комаровский Е. Ф.* Записки. СПб., 1914, с. 8—9).

‹105›

С. 257. *Лексикон Французского языка...* — Работа Французской академии над словарем началась в 1638 г. и продолжалась крайне медленно.

С. 257. *Лексикон Джонсонов* — Dictionary of the English language, 1747—1755; Сэмюел Джонсон (1709—1784) — филолог.

С. 257. *Аделунг* — См. ‹31›.

С. 257. *Дорат* (Дора) Клод Жозеф (1734—1780) — поэт. Карамзин перечисляет видных деятелей французской литературы, которые не были удостоены избрания в Академию.

С. 258. *Пирон* Алексис (1689—1773) — плодовитый поэт, драматург. Написанная им в молодости порнографическая «Ода Приапу», получившая широкую известность, воспрепятствовала избранию его в Академию, за что Пирон отомстил академикам рядом эпиграмм.

С. 258—259. *Немецкий ученый снимает колпак, говоря о Лаланде и Лавуазье... Что ни говорят Мизософы, а Науки — святое дело!* — Отрывок связан в идейном отношении со статьей Карамзина «Нечто о науках, искусствах и просвещении», написанной весною 1793 г. и опубликованной в ч. 1 альманаха «Аглая» (1794). Защита науки от «мизософов» (*греч.* «врагов знания») была направлена в два адреса. С одной стороны, Карамзин имел в виду клерикальных и реакционных публицистов, которые, считая революцию порождением философии Просвещения XVIII в., осуждали идею прогресса, опираясь на терминологию и идеи Руссо («...под Эгидою славного Женевского Гражданина злословят просвещение» — *Карамзин, III*, с. 374). Противопоставление благодетельного века Просвещения разрушительной революции станет одним из основных мотивов либеральной публицистики 1810-х гг. в борьбе с шишковистами и Магницким, предававшими анафеме весь век «разрушительной философии». С другой стороны, рассуждение Карамзина представляет собой апологию *мирного* просвещения, противопоставленного всем видам насилия — и в первую очередь войнам, религиозному и политическому фанатизму. Карамзин противопоставляет науку политике. В то время когда революционная Франция объявила войну королю Венгрии и Богемии, т. е. фактически Австрии, а коалиция контрреволюционных держав со своей стороны готовила походы против Франции, что явилось началом общеевропейской войны, не прекратившейся и к моменту выхода «Писем», Карамзин подчеркивал дух международного братства, царящий среди ученых: «немецкий ученый» (видимо, Кант, с которым Карамзин мог затронуть в беседе вопросы космогонии и астрономии) приветствует французов Лаланда и Лавуазье, Лавуазье «обласкал» датчанина Беккера, узнав, что он ученик «берлинского химика Клапрота», русский путешественник везде принят европейскими учеными как собрат. Фокусом противопоставления науки и политики является в тексте Карамзина исполненный многозначительных намеков рассказ о судьбе Лавуазье. Повествование ведется от лица путешественника, который в 1790 г. еще не догадывается о ждущей великого химика гильотине. Примечание «Лавуазье и Бальи умерщвлены Робеспьером» дано как позднейшая приписка. Однако знакомый с событиями современник не мог не заметить, что упоминание о должности генерального откупщика, которую занимал Лавуазье перед революцией и которая послужила источником его состояния, обнаруживает знакомство путешественника с обвинениями, которые будут предъявлены химику в 1794 г. Сопоставление Лавуазье с Гельвецием и неожиданная похвала благотворительности последнего также не случайны. Противопоставление любящего науки Гельвеция «мизософу» Руссо в этом контексте заставляло читателя вспомнить сопоставление этих двух деятелей в речи 5 декабря 1792 г., произнесенной упомянутым на этой же странице «Писем» Робеспьером. Превознося Руссо, Робеспьер требовал удалить бюст Гельвеция из Якобинского клуба: «Лишь двое, на мой взгляд, достойны здесь нашего признания — Брут и Руссо». Гельвеций, по мнению Робеспьера, «должен пасть. Гельвеций был интриганом, презренным остроумцем, человеком безнравственным. Он был одним из самых жестоких гонителей славного Ж.-Ж. Руссо, того, кто более всех достоин наших почестей. Если бы Гельвеций жил в наши дни, не думайте, что он бы примкнул к тем, кто защищает свободу. Он пополнил бы собой толпу интриганов-остроумцев, от которых

страдает ныне наше отечество» (*Робеспьер Максимилиан.* Избранные произведения в 3-х т., т. 2. М., 1965, с. 141—142). Слова об «интриганах-остроумцах» относились к людям типа Шамфора, о котором Карамзин упоминал на предшествующей странице и о гибели которого в эпоху якобинской диктатуры он, конечно, знал, когда описывал свою с ним встречу в стенах Французской академии. Это лишнее свидетельство того, в какой мере чтение «Писем» Карамзина подразумевает знание прямо не упоминаемых в тексте обстоятельств эпохи: рассказывается о встрече с Лавуазье в 1790 г., однако подразумевается знакомство с обстоятельствами его гибели в 1794 г. Брошенное вскользь при этом сравнение с Гельвецием (в контексте с упоминанием Робеспьера) отсылает читателя к речи последнего, а речь эта проясняет смысл ассоциаций, возникающих у читателей 1801 г. в связи с именем известного парижского остроумца (отметим, что в 1799 г. в журнале «Иппокрена, или Утехи любословия» (ч. 3, с. 289—295) появились «Отборные анекдоты и острые мысли Шамфоровы», — имена, упоминаемые Карамзиным, были читателю знакомы). См.: *Козмин Н. К.* Пушкин-прозаик и французские остословы XVIII в. (Шамфор, Ривароль, Рюльер). — Изв. ОРЯС, 1928, кн. 2, с. 548—551.

С. 258. *...дочь свою ... в шутку называет Уранией...* — Урания — муза астрономии.

С. 259. *Бальи ... тишину кабинета променял может быть на эшафот!* — Эти слова Карамзина — типичный пример «предсказания задним числом», характерного приема псевдописьма в структуре художественного построения «Писем русского путешественника».

‹106›

С. 260. *Он не читал Сент-Фуа...* — Ссылка на Сенфуа предваряет целый ряд описаний парижских достопримечательностей, прямо заимствованных из этого автора и Дюлора (см.: *Сиповский*, с. 286—305). Демонстративный характер этой ссылки показывает, что перед нами сознательный прием, не скрываемый от читателя.

С. 260. *Диана дю-Пуатье* (1499—1566) — любовница Генриха II, который построил для нее дворец в Анете.

С. 260. *Брантом* Пьер де Бурдей (ок. 1535—1614) — писатель, автор мемуаров, а также «Жизнеописания знаменитых людей и великих полководцев», «Жизнеописания знаменитых женщин» и «Жизнеописания галантных дам». Карамзин цитирует последнее сочинение, что свидетельствует о его интересе к «прециозной» литературе «галантного века», поскольку именно в этой среде сочинения Брантома пользовались особенной популярностью.

С. 261. *Фламель* Никола (1330—1418) — писатель, осужденный Парижским университетом; народная молва считала его колдуном. Эпизод с Николаем Фламелем полностью заимствован у Сенфуа (см.: *Сиповский*, с. 289).

С. 262. *Я не хотел бы жить в улице Ферронери...* — Хотя описания улиц Ферронери и особенно Тампль обнаруживают явную зависимость от Сенфуа, включение этих страниц в «Письма» имеет отнюдь не только информационно-развлекательный смысл. Эти два эпизода завершают линию судьбы короля Франции и прямо связаны с предшествующими размышлениями на эту тему. Церковный фанатизм — одна из постоянных тем обличения как в «Письмах русского путешественника», так и в других материалах «Московского журнала». Тема эта была близка всему новиковскому окружению. Идеал союза хорошего короля и нации — основной мотив революционной публицистики 1790 г. — был явно близок Карамзину. В ходе пропаганды этого лозунга образ Генриха IV подвергался систематической идеализации. Описывая парижский театр той поры, К. Н. Державин указывает: «Генрих IV появляется во многих пьесах неизменно в самом идеализированном облике короля-демократа, который борется со злом, причиняемым народу корыстолюбивыми и злыми министрами и высокомерными аристократами» (*Державин*, с. 117). Описывая убийство «короля-демократа» религиозным фанатиком, Карамзин показывал, что не только революционный, но и реакционный фанатизм покушался во Франции на жизнь монарха. Это разрушало повторявшееся в контрреволюционной публицистике утверждение о неслыханности для истории

Франции покушения на «священную особу» монарха и ставило суд над королем в определенную историческую перспективу, которая подразумевала одновременно и осуждение актов политического фанатизма, и указание на исторические корни разыгрывающихся в Париже событий.

С. 262. *...бедственный жребий славного Ордена Тамплиеров...* — Тема тамплиеров была популярна в антитиранической литературе 1789—1790 гг. Карамзин, наверное, видел в Комеди Франсез трагедию Рейнуара «Тамплиеры», в которой Тальма играл роль Мариньи-младшего, сына сюринтенданта финансов, казненного по приказу Филиппа Красивого. Однако у темы был и другой подтекст. Еще Эндрю Рамзей, имя которого сделалось дружеским прозвищем Карамзина, выдвинул идею преемственной связи масонов и тамплиеров. Свою реформу масонства он замыслил как превращение его в строгий рыцарский орден на манер тамплиерского. Реально значимого воплощения эта мысль не получила, но идея воинствующих «тамплиерских» степеней время от времени всплывала в масонской среде. Так, например, создавая раннюю декабристскую организацию «Орден Русских Рыцарей», М. А Дмитриев-Мамонов обратился именно к «тамплиерской» легенде; призывая не размышлять «женоподобно о делах мужества», он писал: «Вспомни Храмовников, певших гимны хвалебные на костре, кости их сжигавшем» (Вестн. ЛГУ, 1949, № 7, с. 138). В парижских масонских кругах, соприкосновение с которыми Карамзина более чем вероятно, бытовала легенда, согласно которой революция — это возмездие со стороны Вечной Справедливости за преступление, которое короли Франции некогда совершили, безвинно казнив тамплиеров. Легенда эта заставляла видеть в казни короля неизбежное последствие преступлений его предшественников, а в самом Людовике XVI — «мученика ошибок славных» (Пушкин. Ода «Вольность»; «славных» здесь имеет значение «всем известных»), «сложившего главу», по пушкинскому же выражению, «за предков». Связь эта делается очевидной, если вспомнить, что Тампль, который напомнил Карамзину преступление Филиппа Красивого, бесспорно был памятен и автору, и его читателям по гораздо более свежим историческим воспоминаниям — как место последнего заключения королевской семьи, откуда Людовик XVI и Мария-Антуанетта отправились на гильотину. Ассоциация эта симметрично замыкала всю цепь размышлений, вызванных улицей Тампль.

С. 264. *...если бы только он не ездил воевать в Азию и в Африку...* — Людовик IX предпринял два неудачных похода против «неверных»: в 1249 г. в Палестину и в 1270 г. в Тунис. В ходе первого из них он попал в плен и с трудом выкупился, во время второго умер от чумы. Карамзин, как пацифист и просветитель, относился к крестовым походам отрицательно.

С. 264. *Шотланец Ла...* — Отрывок заимствован у Дюлора (см.: *Сиповский*, с. 303—304) вместе со ссылкой на Мерсье.

С. 265. *...При Королях второго поколения...* — Имеется в виду династия Каролингов, основанная в 752 г. Пипином Коротким.

‹107›

С. 267. *Музыка Глукова Орфея...* — Христофор Виллебальд Глюк (1714—1787) — немецкий композитор, перестроивший оперу, направив ее от вокальной виртуозности к драматической выразительности пения. Имеется в виду его опера «Орфей и Эвридика» (1762). Столкновение сторонников Глюка («глукистов») и его оппонента — итальянского композитора Н. Пиччини, имевшего среди парижской публики свою партию («пиччинисты»), было одной из самых шумных «театральных войн» XVIII в.

С. 267. *Один славится гармониею, другой мелодиею...* — Карамзин передает здесь мнение, которое в 1790-х гг. было уже трафаретным общим местом, — что у Глюка основную роль играет оркестр и гармония, а мелодия играет второстепенную роль и «мало певучей декламации»; см.: *Gretry*. Mémoires ou essais sur la musique. Paris, 1789, p. 286. — Музыкальная теория Руссо, в частности, подразумевала, что музыка как искусство подражательное должна воспроизводить естественные интонации речи, что достигается путем мелодии, а не гармонии. Поэтому Руссо ценил первую значительно выше, чем вторую. В «Новой Элоизе» он писал:

«Гармония, сказал он мне, есть только вспомогательное средство в подражательной музыке, в самой же гармонии нет ничего подражательного. Она подкрепляет интонации, это верно, она усиливает выразительность и сообщает обаяние напеву. Но одна только мелодия является источником того непобедимого могущества, которым обладает вдохновенное искусство, только в ней — власть музыки над сердцами» («Новая Элоиза», ч. 1, письмо 48). Считая гармонию явлением условным и искусственным, а мелодию — естественным подражанием природным явлениям, Руссо противопоставил их в «Опыте о происхождении языков, в котором говорится о мелодии и музыкальной изобразительности». Здесь он писал: «Что же делает музыку им ‹изобразительным искусством›? Мелодия» (*Rousseau J. J.* Oeuvres compl., t. 1. Paris, 1825, p. 540). Результатом такой позиции явилось прохладное отношение Руссо к Глюку, которого он критиковал не с позиции «пиччинизма», а с точки зрения еще более далеко идущих требований «натуральности»: если Глюк стремился выразить мелодией интонации человеческой страсти, то Руссо хотел отразить в ней и интонационный рисунок французской речи. Эти мысли в дальнейшем развил высоко ценимый Руссо Гретри, который писал: «Вокальная музыка никогда не станет хорошей, если не будет подражать подлинным интонациям речи» (цит. по кн.: *Ля-Лоранси Линонель де.* Французская комическая опера. М., 1937, с. 124). Однако в дальнейшем Руссо признал победу Глюка и в 1774 г., посетив «Ифигению», обратился к нему с восторженным письмом. О примирении Руссо с музыкой Глюка ходили многочисленные анекдоты, один из которых передает Карамзин. Комментируемое место «Писем», видимо, привлекло внимание Пушкина: к нему, вероятно, ближайшим образом восходит упоминание о споре глюкистов и пиччинистов в «Моцарте и Сальери». Характерно и колебание Пушкина в формулировке стиха в «Каменном госте»:

Из наслаждений жизни
Одной любви Музыка уступает;
Но и любовь мелодия...

(*Пушкин.* Полн. собр. соч., т. 7. М., 1937, с. 145)

Однако Пушкин колебался в выборе между «мелодией» и «гармонией» — в альбом П. А. Бартеневой он записал эти стихи с вариацией: «Но и любовь Гармония» (Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. М.—Л., 1935, с. 661).

‹108›

С. 268. *Солиман Ага, Турецкий Посланник ... первый ввел в употребление кофе.* — Истории кофе Карамзин посвятил статью в «Детском чтении» (1785, ч. 2, № 16, с. 33—44).

С. 268. *...Прокоп Сицилиянсц открыл новый кофейный дом...* — Кафе Прокоп, посещавшееся в предреволюционные годы литераторами, в годы революции стало излюбленным местом встреч якобинцев. Café de Foi было местом встреч крайних демократов и было закрыто в период преследований эбертистов. Два других кафе, названных Карамзиным: café de Valois и café de Chartres, — были роялистскими, а café du Caveau не имело определенного политического лица. Таким образом, за внешне небрежным перечислением Карамзина скрывается продуманная система пропорций: два революционных кафе, два контрреволюционных и одно нейтральное (см.: *Alméras Henri d'.* La vie parisienne sous la Révolution et le Directoire. Paris, 1909, p. 67—70).

С. 270. *Барон B** — Вильгельм Вольцоген (1762—1809), парижский приятель Карамзина. Был одним из школьных друзей Шиллера. Он был бесспорно одним из источников сведений и интереса Карамзина к Шиллеру и его творчеству. В 1799 г. он побывал в России в связи с бракосочетанием сестры Александра I Марии Павловны и возобновил знакомство с Карамзиным, привезя ему «Мессинскую невесту» Шиллера. Дружеское общение Карамзина и Вольцогена в Париже продолжалось около трех месяцев и, видимо, было близким: уезжая из Парижа, Карам-

зин посвятил Вольцогену прочувствованные строки. См.: *Herder H.-B.* Schiller in Rußland. Materialen zu einer Wirkungsgeschichte (1789—1814). Berlin—Zürich, 1969.

С. 272. *Стернов капрал Трим* — См. ‹21›.

С. 272. *Петр Великий, осматривая Парижский Инвалидный дом...* — Петр I прибыл в Париж в апреле 1717 г. Его пребывание в Париже описано Вольтером в «Истории Российской империи при Петре Великом».

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

‹110›

С. 275. *...фамилия Князя Г*...* — Русский посол в Париже доносил Екатерине II (16/27 июля 1790 г.): «В настоящее время в Париже очень мало знатных лиц. Князь Борис Голицын, который живет несколько лет во Франции со своей семьей, уже готов к отъезду» (Литературное наследство, т. 29-30. М., 1937, с. 436). Борис Владимирович Голицын (1769—1813) — писатель, сочинявший как на русском, так и на французском языке (псевдоним Дм. Пименов), генерал-лейтенант; умер от ран, полученных в Бородинской битве. Находился в Париже с женой, Н. П. Голицыной.

С. 275. *Секретарь М** — Машков (или Мошков), первый секретарь русского посольства в Париже.

С. 275. *Г. У** — Петр Петрович Дубровский (1754—1816). Согласно его послужному списку, «во время революции французской, по причине отсутствия советника и секретаря посольства, исправлял их должности один» (Каталог писем и других материалов западноевропейских ученых и писателей XVI—XVIII вв. из собрания П. П. Дубровского. Л., 1963, с. 10. — В этой же книге см. очерк истории замечательного собрания книг и рукописей, принадлежавших Дубровскому). Знакомство Карамзина с Дубровским, лично знавшим Руссо и многих деятелей французской культуры, владельцем уникальных документов, исключительно интересно. Известен факт сношений Дубровского с Радищевым. Положение Дубровского и его собрания до возвращения в 1800 г. в Россию было весьма деликатным, и Карамзин, видимо, имел основания тщательно замаскировать его имя.

С. 275. *Железная маска* — секретный узник, содержавшийся в Пиньерольской крепости и умерший в Бастилии в 1703 г. Вольтер писал о Железной маске в первом томе своего «Века Людовика XIV» и «Философском словаре». Это место «Писем» Карамзина, видимо, привлекло внимание Пушкина, когда он приступил к заметке «О железной маске» (*Пушкин.* Полн. собр. соч., т. 12. М., 1949, с. 28). Пушкин, как и Карамзин, приводит цитату из «Века Людовика XIV» Вольтера, но в несколько ином переводе.

С. 276. *Жизнь Герцога Ришельё* — Имеются в виду апокрифические «Mémoires du maréchal de Richelieu, pour servir à l'histoire de cours de Louis XIV de la minorité et du Règne de Louis XV» (vol. 1—4. Paris, 1790). Карамзин, видимо, ознакомился с этой книгой еще в Париже, что лишний раз свидетельствует о внимании, с которым он следил там за новинками книжного рынка.

‹111›

С. 277. *Лебрюнь* — См. ‹102›.

‹112›

С. 279. *Химист Л** — Лавуазье (см. ‹105›).

‹114›

С. 281. *Новая Артемиза* — Артемиза, карийская царица, воздвигла в память своего мужа, царя Мавзола, «мавзолей», считавшийся в древности одним из семи чудес света.

С. 282. *Целестины* — монашеский орден, основанный в 1221 г. будущим папой Целестином V. Эпизод, описанный Карамзиным, заимствован у Дюлора (см.: *Сиповский*, с. 304).

С. 283. *Пилон* Жермен (1535—1590) — французский скульптор, автор надгробий Франциску I в Сен-Дени и трех граций — надгробия Генриху II.

С. 283. *В церкви Св. Кома...* — описание церкви Св. Кома представляет собой заимствование из Сенфуа (Сиповский, с. 291—292).

С. 283. *Турнфор* — См. ‹97›.

С. 284. *Лейбниц* — См. ‹8›.

С. 284. *Новая церковь Святой Женевьевы...* — Построенная архитектором Суффло церковь была превращена в годы революции в Пантеон и украшена надписью «Великим людям благодарное Отечество».

С. 285. *Агатон* — А. А. Петров; см. ‹1›, а также переписку Петрова с Карамзиным и статью Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского в настоящем издании.

С. 285. *Иаков II* (1633—1702) — английский король, сын Карла I; был свергнут Вильгельмом Оранским в 1688 г. и умер в изгнании. Карамзин осуждал его за жестокость, религиозный фанатизм.

С. 285. *Малерб* Франсуа (1555—1628) — лирический поэт. Карамзин имеет в виду следующие слова Буало:

Но вот пришел Малерб и показал французам
Простой и стройный стих, во всем угодный музам,
Велел гармонии к ногам рассудка пасть
И, разместив слова, удвоил тем их власть.

(*Буало.* Поэтическое искусство. М., 1957, с. 61;
пер. Э. Л. Линецкой)

С. 286. *...муж и жена Дасье* — Андре Дасье (1651—1722) — филолог, комментатор древних текстов; его жена Анн Лефевр (1651—1720) — эллинистка, переводчица «Илиады» и «Одиссеи» на французский язык.

С. 286. *Кенотаф Графа Келюса.* — Кенотаф — пустая гробница в память умершего, тело которого погребено в другом месте.

‹117›

С. 292. *...наш Посольской священник, Г. К*, Руской Артист с великим талантом...* — Священником русской посольской церкви в 1783—1791 гг. был Павел Васильевич Криницкий (?—1828). Общение Карамзина с ним представляет интерес, поскольку в 1790—1791 гг. Криницкий был захвачен либеральными настроениями. Посол Симолин доносил в Петербург, что Криницкий ведет себя «самым порочным и соблазнительным образом», «со времени же здешней революции Права человека вступили ему в голову, что он более ни приходить ко мне на требования по церковным делам, ни повиноваться не хочет; на возражения же мои отвечает, что он позовет меня к суду в здешний [трибунал]» (Литературное наследство, т. 29-30. М., 1937, с. 440). Однако это не помешало Криницкому в дальнейшем быть духовником Марии Федоровны и детей императора Павла I. К* — Михаил Иванович Козловский (1753—1802), известный скульптор, в дальнейшем профессор Академии художеств. См. о нем на с. 637.

С. 292. *Гальйот* — здесь: закрытое небольшое судно для речного плаванья.

С. 292. *Рабле ... писал романы ... которые ... подали Стерну мысль сочинить Тристрама Шанди.* — То, что Карамзин связывал традицию Рабле со Стерном (см. ‹130›), свидетельствует, что в последнем он видел не только «чувствительного» писателя, но и мастера иронической игры с текстом, колеблющейся между сатирой и лирикой.

С. 292. *Темпейския долины* — долины в Фессалии между Олимпом и Оссой, воспетые Вергилием.

С. 293. *...статую земледельца и Диктатора Цинцинната...* — Цинциннат — римский политический деятель V в. до н. э., прославленный простотой жизни: дважды избранный диктатором, он узнавал об избрании на своем поле, которое лично обрабатывал плугом.

С. 294. *Кулыбин* — Иван Петрович Кулибин (1735—1818), талантливый изобретатель, механик, инженер и конструктор; был самоучкой.

С. 294. *Алькамен* (V в. до н. э.) — древнегреческий скульптор; сведения о том, что он был афинянином, восходят к Плинию. Атрибуция резцу Алькамена статуи Германика является очевидной ошибкой Карамзина. Из Луврского собрания с именем Алькамена связывается статуя Афродиты-родоначальницы.

С. 294. *Я вспомнил 4 Октября...* — Карамзин имеет в виду поход парижских женщин на Версаль (с ошибкой на день — фактический поход состоялся 5—6 октября 1789 г.), повлекший капитуляцию королевской власти и переселение короля и Национального собрания в Париж. Перепуганная Мария-Антуанетта, не успев одеться, бросилась в комнаты короля, чтобы спастись от толпы, проникшей утром 6 октября во дворец. Вмешательство Лафайета спасло жизнь королевы. Отрывок этот свидетельствует об использовании устных источников: во время пребывания в Париже Карамзин, видимо, расспрашивал о событиях, свидетелем которых не был.

С. 294. *Тут все картины представляют славу и торжество женщин.* — Культ «выдающихся женщин» характерен для искусства и культуры «галантного века», а в равной мере и для карамзинизма.

С. 294. *Пенелопа* — героиня древнегреческого эпоса, жена Одиссея, прославленная красотой и верностью мужу.

С. 294. *Ида* — гора в Греции, в древнегреческой мифологии — место пребывания Зевса.

С. 294. *Бассано* — См. ‹23›.

С. 294. *Вандик* — См. ‹23›.

С. 294. *Тициан* — См. ‹23›.

С. 295. *Версалия без Двора...* — Намек на события 5—6 октября 1789 г., после которых королевская резиденция была насильственно перемещена в Париж, что ставило королевскую власть под контроль парижского населения. Описание Версаля заимствовано у Дюлора (*Сиповский*, с. 300).

С. 296. *Делиль* Жак (1738—1813) — поэт. Приводимый Карамзиным французский отрывок заимствован из его поэмы «Сады».

‹118›

С. 298. *Вальян* (Вайан) Франсуа (1753—1824) — путешественник. Книга Вайана называлась «Voyage de Mr. le Vaillant dans l'interieur de, l.Afrique par le Cap de Bonne Espérance dans les années 1780, 1781, 1782, 1783, 1784 et 1785» (2 vol., Paris, 1790). В «Московском журнале» (1791, ч. 1, № 1) Карамзин опубликовал свой перевод рецензии Шамфора из «Mercure de France» на эту книгу. Рецензия, что естественно для автора, переживавшего увлечение идеями первых лет революции, написана в духе идей руссоизма. Здесь читаем: «Бакон говорил, что надобно *снова начать действия разума человеческого...* также бы может быть надлежало начать снова и наблюдения, на которых философы основывают свои идеи о натуре человеческой и представляют ее злою и немогущею никогда перемениться» (с. 114). Разница между серьезным тоном рецензии и ироническим — в «Письмах русского путешественника» показательна. Особенно существенно, что Карамзин опубликовал рецензию д о т о г о, как читатель должен был, по его плану, получить в руки соответствующее место «Писем». Возможность такого двойного освещения одного и того же объекта подчеркивала в образе путешественника то, что он соединяет в себе почти энциклопедического знатока самых различных вопросов и светского человека, не педанта, уклоняющегося от излишней профессионализации. Одновременно такой метод подачи материала позволял и всерьез изложить мнение о «добрых дикарях», и поиронизировать над этим мнением.

С. 298. *Автор изображает себя маленьким Тезеем...* — Тезей (*мифол.*) — древнегреческий герой, победивший чудовище Минотавра.

‹119›

С. 299. *Я пришел сюда...* — Эпизод из жизни Буало, Расина, Лафонтена и других писателей заимствован из книги Дюлора, откуда же приведены и стихи Вольтера (*Сиповский*, с. 269).

‹120›

С. 301. *Птоломей (II) Филодельф* (285—247 до н. э.) — египетский фараон, известный административными реформами и покровительством наукам и искусствам.

С. 301. *Св. Дионисий* (между I и III вв.) — первый епископ Галлии, патрон Франции в средние века.

‹122›

С. 305. *Д'Епине* — См. ‹73›.

С. 305. *...где сочинена Новая Элоиза; где Автор читал ее своей простодушной Терезе, которая, не умев счесть до ста, умела чувствовать красоты бессмертного Романа, и плакать.* — Весь отрывок представляет собой пересказ «Исповеди» Руссо: «В гостинице „Попшартен", против моих окон были часы, по которым я пытался больше месяца научить ее узнавать время. И теперь она с трудом узнает его. Она никогда не знала порядка, в котором следуют названия месяцев года, и не знает ни одной цифры, несмотря на все мои старания ознакомить ее с ними» (*Руссо Ж.-Ж.* Избранные соч. в 3-х т., т. 3. М., 1961, с. 290). И далее: «Каждый вечер, сидя у горящего камина, я читал и перечитывал эти две части («Новой Элоизы», — *авт.*) моим домоправительницам. Дочь, не говоря ни слова, рыдала вместе со мной от умиления» (там же, с. 381). Тереза (она же — «дочь» в приведенном тексте Руссо) — Тереза Левассер (1721—1801), подруга, а в последние годы жена Ж.-Ж. Руссо. Об отношении Карамзина к «Исповеди» Руссо см.: *Лотман Ю. М.* Руссо и русская культура XVIII—начала XIX века. — В кн.: *Руссо Жан-Жак.* Трактаты. М., 1969, с. 581—585.

‹123›

С. 305. *Сципион Африканский* (234—183 до н. э.) — римский полководец, победитель Ганнибала.

С. 305. *...по рисунку Юлия Романа...* — См. ‹23›.

С. 306. *Басни Псиши* — миф об Амуре и Психее.

С. 306. *...беден как Ир, а честен как Сократ...* — Ир убогий — нищий, упоминаемый в «Одиссее» Гомера и православном Прологе на 17 марта; нарицательное имя нищего. Сократ (V—IV до н. э.) — греческий философ. Как образец честности характеризуется в диалогах Платона и «Федоне» Мендельсона — произведениях, вызывавших устойчивый интерес Карамзина.

С. 306. *Однажды Бидер пришел ко мне весь в слезах...* — Отрывок имеет литературное происхождение. Основу его Карамзин заимствовал из газеты «Journal des Révolutions de l'Europe en 1789—1790» (t. 8. A Neuwied sur le Rhin et à Strasbourg, MDCCLXXXX). Здесь на с. 50—52 читаем следующее сообщение: «30 марта на улице Сен-Мерри было совершено одно из тех обдуманных самоубийств, примеры которых мы находим только в Англии. Некто Вилетт, слуга, в возрасте 26 лет, примерной честности, был человек прилежный в выполнении всех своих обязанностей. Не имея никаких склонностей, он накопил довольно значительные сбережения. Он никогда не выходил из дома и проводил то свободное время, которое у него оставалось от исполнения своих обязанностей, за чтением книг хорошего содержания. 10-го последнего месяца он написал завещание и приложил к нему письмо, в котором объявлял, что он незаконнорожденный, что его воспитала бедная женщина, вскормив вместе со своими детьми, что он благодарен ей и что он помогал ей всеми возможными для него средствами. ‹...› Он объясняет свое решение оставить жизнь рассуждениями, содержащимися в сочинениях Руссо и Сенеки. Он сообщает, что свое состояние слуги он переносил с отвращением,

поскольку считал его бесконечно унизительным. Он прощается с великодушным третьим сословием, дворянством, которое должно быть счастливо милосердием своих победителей, и духовенством, которое он призывает отвергнуть свои одеяния и свои привилегии. Он заключает благодарностью своим господам, к которым он очень привязан за их заботы и их внимательность. В адрес своих хозяев он произносит настоящий панегирик. В день его смерти ни в выполнении им своих обязанностей, ни в его лице не было заметно никаких изменений. Когда хозяева улеглись, он удалился в свою комнату. Он привел свои дела в полнейший порядок и положил на стол запечатанное завещание, в котором он назначил своим наследником одного из детей своей приемной матери, которого он называет своим братом. Утром он написал ему, сообщая о своей смерти. Своей матери, которой, как он писал, он более благодарен, чем ее собственные дети, он послал 132 ливра. Совершив все распоряжения, он взял лист бумаги и твердой рукой внес дополнения в свое завещание. Он назначил 100 ливров на патриотические цели, 48 ливров обществу материнства, 48 ливров на пропитание заключенным в тюрьмах, 12 ливров на чай тем, кто будет предавать его тело земле. Он положил каждую сумму денег в отдельный ящик. Внизу листа он приписал слегка дрожащей рукой: „Скорее, должно отправляться в путь“. Затем он размозжил себе голову из пистолета. Он запер дверь на задвижку, но сначала прикрепил к дверям снаружи листок с надписью крупными буквами: „Самоубийца“.

Несчастного обнаружили распростертым на полу, плавающим в крови, с пистолетом в руке и прикрепленной к нему запиской: „Quand on n'est rien, et qu'on est sans espoir, la vie est un opprobre et la mort un devoir“. Другой пистолет был приготовлен с таким же девизом. На стене комнаты было написано крупными буквами: „Сегодня моя очередь — завтра твоя“».

Газетный текст принадлежит концу марта, когда Карамзина, по хронологии «Писем», в Париже не было. Поэтому он перенес действие на два месяца вперед, пометив его 28 мая. Установление источника исключительно важно для определения творческого метода Карамзина — переплетения газетной фактологии и вымысла. Этим же путем устанавливается, по крайней мере, одна газета, которую бесспорно читал Карамзин в Париже. Из этого издания Карамзин мог черпать обильную и объективную информацию о революционных событиях, особенно о заседаниях Национального собрания, подробные отчеты о которых газета систематически публиковала. Видимо, по газетам Карамзин восстанавливал события, произошедшие за то время, когда его в Париже не было, — это обусловило чтение им с т а р ы х газет. Однако Карамзин, видимо, искал в газетах не только политических известий: он сам сообщал, что регулярно поутру читает «газеты, где всегда найдешь что-нибудь занимательное, жалкое, смешное» (с. 244). Тема самоубийства, активно обсуждавшаяся в философских сочинениях моралистов XVIII в., весьма интересовала Карамзина.

С. 306. ...*на стене было написано: «quand on n'est rien, et qu'on est sans espoir, la vie est un opprobre, et la mort un devoir...* — неточная цитата из трагедии Вольтера «Меропа» (действ. 2, явл. 7):

Quand on a tout perdu, quand on n'a plus d'espoir
La vie est un opprobre, et la mort un devoir.

(*Voltaire*. Oeuvres compl., t. 3. [Paris], 1785, p. 306)

Расхождение между цитатой, приведенной у Карамзина, и текстом трагедии Вольтера, с одной стороны, и дословное совпадение ее с приведенной выше газетной заметкой показательно свидетельствует об источнике.

С. 307. *Эпиктет был слугою, но не убил себя.* — Эпиктет (I в. н. э.), философ-стоик, был рабом, ему приписываются поступки, отмеченные стоическим презрением и к несчастьям, и к благам жизни.

‹124›

С. 307. *Эрменонвиль* — местечко недалеко от Парижа, где Руссо проживал по приглашению маркиза де Жирардена и где он скончался 2 июля 1778 г.

С. 308. *Пуссень*. — См. ‹23›.

С. 308. ...*милая Габриэль* — Габриель д'Эстре (1573—1599), любовница Генриха IV. Эпизод восходит к «Генриаде» Вольтера, равно как эпитет «милая» применительно к Габриели д'Эстре. «Генриада» сыграла огромную роль в формировании концепции «демократического короля», получившей новую актуальность после присяги Людовика XVI конституции в 1790 г.; ср. примечание А. Н. Радищева к «Письму к другу, жительствующему в Тобольске» (*Радищев А. Н.* Полн. собр. соч., т. 1. М.—Л., 1938, с. 151).

С. 308. ...*имена сельских Певцов: Теокрита, Виргилия, Томсона.* — Теокрит (Феокрит, III в., до н. э.) — древнегреческий поэт, автор идиллий: Виргилий (Вергилий) Публий Марон (70—19 до н. э.) — римский поэт, здесь упомянут как автор «Георгик» и «Буколик», эпических поэм, описательно-дидактических по жанру, посвященных сельской жизни; Джеймс Томсон (1700—1748) — английский поэт, автор описательной поэмы «Времена года».

С. 308. *Тиволи* — город недалеко от Рима (древн. Тибур). Знаменит античными развалинами.

С. 308. ...*несовершенный ум человеческий не может произвести ничего совершенного...* — Аналогичные утверждения широко встречаются в масонской литературе, например в «Заблуждениях и истине» Сен-Мартена (1775). Ср. в русском переводе П. Страхова: «Когда он (человек, — *авт.*) совершенно отлучен от Света, то можно ли ему одному зажечь светильник, долженствующий быть путеводителем его?» (О заблуждениях и истине или воззвание человеческого рода ко всеобщему началу знания <...> Философа не известного. Пер. с франц. Москва. Иждивением Типографической компании, тип. И. Лопухина, 1785, с. 2).

С. 308. ...*другие надеются, что разум в школе веков возмужает...* — Вера в прогресс человеческого разума, высказывавшаяся неоднократно просветителями, — в частности, в сходных выражениях Вольтером и Кондорсе, — разделялась Карамзиным.

С. 309. ...*тот единственно может быть свободен, кому для исполнения воли своей не надобно приставлять к своим рукам чужих.* — Цитата из педагогического трактата Руссо «Эмиль, или О воспитании»: «Le seul qui fait sa volonté est celui qui n'a pas besoin, pour la faire, de mettre les bras d'un autre au bout des siens» (*Rousseau J. J.* Oeuvres compl., t. 10. Nouv. éd. [Paris], 1791, p. 162).

С. 310. ...*по уверению Италиянского Тибулла...* — Имеется в виду Франческо Петрарка (1304—1374), итальянский поэт, перефрастически уподобленный римскому элегику Тибуллу (I в. до н. э.).

С. 311. *Школьный мастер* — галлицизм: «учитель».

<125>

С. 312. *Мысль, что хозяин его скитается...* — Принц Конде Луи-Жозеф де Бурбон (1736—1818) эмигрировал в 1792 г. и встал в Кобленце во главе армии эмигрантов.

С. 312. ...*латы Орлеанской девственницы.* — Иоанна д'Арк, или Орлеанская дева (1412—1431), стала национальной героиней Франции во время франко-английской войны XV в. («Столетняя война»).

С. 312. *Северный Граф* — Под этим именем в 1781 г. вел. кн. Павел Петрович (буд. имп. Павел I) совершал путешествие по Европе.

С. 313. ...*Великой Конде* — Людовик II де Конде, прозванный Великим Конде (1621—1686), полководец и политический деятель эпохи Фронды и Людовика XIV. Характеристика Карамзина перекликается с оценками в монографии Вольтера «Век Людовика XIV» и надгробным словом Боссюэ.

<127>

С. 317. *Скажу вам нечто о Парижском Народном Собрании...* — То, что посещение Национального собрания не было для Карамзина случайным эпизодом, а представляло собой результат стремления глубже познакомиться с революцией

в самом ее эпицентре, свидетельствует недавно обнаруженный факт: отправляясь во Францию из Женевы, Карамзин запасся рекомендательным письмом к Жильберу Ромму и П. Строганову, который в это время, захваченный революционной волной, отказался от графского титула и именовался «гражданин Очер». В письме женевца Кунклера Ромму, содержавшем рекомендацию Карамзину и переданном через последнего, заключалась также просьба «поделиться своими мыслями о работе Национального собрания, об успехах революции и о том, чего достигнет новый режим» (*Шаркова И. С.* Фонд Жильбера Ромма. — В кн.: Рукописные источники по истории Западной Европы в архиве ЛОИИ СССР. Л., 1982, с. 175). Не приходится сомневаться в том, что все это было темой и бесед Карамзина с Роммом. Характер рассуждений Ромма легко угадать, зная глубину его вовлеченности в события и одновременно ум, красноречие и умение убеждать. Возможно, Карамзин посетил основанный Роммом клуб «Друзей закона». Ромм и Строганов легко могли ввести его и в якобинский клуб, что является еще одним подкреплением гипотезы о личном знакомстве Карамзина и Робеспьера.

С. 317. *Рабо-Сент-Этьен* Жан-Поль (1743—1793) — активный борец за веротерпимость и видный деятель первого периода французской революции, один из теоретиков прав третьего сословия, автор популярного обзора «Précis historique de la révolution française», который Пушкин читал в Одессе, — см. в письме Вяземскому: «Рабо де С-т Этьен — дрянь». (*Пушкин.* Полн. собр. соч., т. 13. [М.], 1937, с. 102); см. также цитату в заметке «О генеральных Штатах» (там же, т. 12, [М.], 1949, с. 196). В тексте Карамзина обнаруживается показательное противоречие. Согласно его сообщению, он посетил Национальную ассамблею во время председательства Рабо Сент-Этьена и датирует эго посещение июнем 1790 г. Однако Рабо Сент-Этьен был председателем Ассамблеи с 16 по 30 марта (см.: Oeuvres de Rabaut St.-Étienne, t. 2. Paris, 1826, p. 412—413). Карамзин же, согласно тексту «Писем», прибыл в Париж лишь во второй половине дня 27 марта. Во-первых, шаткость датировок «Писем», на которую мы уже неоднократно обращали внимание, дает основание в данном случае предположить, что приезд Карамзина в Париж, возможно, произошел ранее указанной им даты. Во-вторых, относя посещение Национальной ассамблеи к последним дням пребывания путешественника в Париже, Карамзин задавал определенный тон этому эпизоду: посетив все театры, Пале-Рояль, исходив бульвары Парижа и его окрестности, путешественник, наконец, из любопытства сходил и в Национальную ассамблею. Однако анализ эпизода убеждает, что реальный путешественник — автор «Писем» — повел себя иначе: он буквально бросился в Национальную ассамблею в первый же день своего пребывания в Париже. Его порыв был вознагражден: он сразу же стал свидетелем важных сторон деятельности революционного законодательства — 28 марта обсуждалась инструкция по созданию национальных собраний в колониях, в ходе прений обсуждался вопрос об отмене рабства негров и произносились пламенные речи о всеобщем братстве людей. Известно, как эти проблемы волновали Карамзина, а параллель между рабством негров и русским крепостным правом была общим местом в просветительской публицистике. 30 марта Ассамблея декретировала освобождение всех заключенных по приговорам превотальных судов. Эта амнистия вызвала взрыв энтузиазма — в ней видели разрыв с веками судебного произвола старого порядка. Таковы, видимо, были первые впечатления Карамзина в Париже. Трудно представить себе, чтобы знакомство Карамзина с Рабо Сент-Этьеном, происшедшее, как мы видим, сразу же после приезда писателя в Париж, имело столь случайный характер, как это описано в «Письмах». Естественнее полагать, что Карамзин сам обратился с просьбой о пропуске к председателю Ассамблеи, имя которого ему было наверняка известно прежде: Рабо Сент-Этьен происходил из семьи протестантов, подвергшейся жестоким гонениям после отмены Нантского эдикта, и с ранней молодости сделался убежденным борцом за веротерпимость. Именно он добился в 1788 г. от короля (с помощью Лафайета) признания за протестантами прав гражданства, что воспринималось как уничтожение одного из самых вопиющих злоупотреблений Людовика XIV. При напряженном интересе Карамзина к проблемам веротерпимости акт этот не мог пройти мимо его внимания. В дальнейшем Рабо Сент-Этьен не играл видной роли в революции и в 1793 г. был гильотинирован как противник якобинцев.

С. 317. *Г. Андре, читал на кафедре...* — Эмери Антуан Балтазар Жозеф Андре (1759—1825), член Национального собрания, монархист, эмигрировал в 1792 г. Упоминание внимания, с которым Собрание слушает Андре, характерно для тактики Карамзина в описании парижских событий — оно должно уравновесить впечатление от самого факта посещения Собрания.

‹128›

С. 319. *...Йорик сказал Министру Б*...* — Имеется в виду место из «Сентиментального путешествия» Л. Стерна (см. ‹130›): «Однако французы, господин граф, — прибавил я (желая смягчить слова), — обладают таким множеством достоинств, что могут отлично обойтись без этого... Если у них есть недостаток, так только тот, что они — слишком серьезны» (*Стерн Л.* Сентиментальное путешествие. М., 1939, с. 101).

С. 319. *...огонь, воздух — и характер Французов описан.* — цитата из монолога Клеопатры в «Антонии и Клеопатре» Шекспира: «Я — воздух и огонь» (см.: *Шекспир У.* Полн. собр. соч. в 8-ми т., т. 7. М., 1960, с. 251; *пер. М. Донского).*

С. 321. *В Булонском лесу читал я Маблиеву Историю... Сколько приятных вечеров провел я ... читая ... Шиллера...* — То, что Карамзин закончил описание Парижа упоминанием двух глубоко значимых для него имен — Шиллера и Мабли, в значительной мере характеризует его отношение к французским событиям.

‹130›

С. 323. *Лаврентий Стерн* — английский писатель Лоуренс Стерн (1713—1768), автор «Жизни и мнений Тристрама Шенди» (1750) и «Сентиментального путешествия по Франции и Италии» (1768); его герои неоднократно упоминаются Карамзиным. Эпизод из «Тристрама» обыгрывается в главе «Лион»; «Кале» целиком проходит под знаком Стерна. Карамзин как бы путешествует по местам, памятным из «Сентиментального путешествия», сверяя свои впечатления с чувствами героев Стерна. Сознательно декларируемая ориентация на «Сентиментальное путешествие» Стерна как на образец чувствительного путешествия повлияла на восприятие Карамзина современниками как «русского Стерна». Однако реальное сходство двух «путешествий» невелико. «Письма» Карамзина на самом деле ближе к другому типу литературных путешествий, в котором «история души» за время путешествия соседствует с сообщением фактических сведений и изложением исторических и политических концепций. Один из образцов такого «путешествия» — книга Дюпати (*Dupaty.* Lettres sur l'Italie en 1785. Paris, MDCCLXXXVII), о которой Карамзин упоминает в «Письмах» и которая, очевидно, оказала на него влияние в литературном отношении. О влиянии Стерна на русскую литературу см.: *Маслов В. И.* Интерес к Стерну в русской литературе конца XVIII и начала XIX вв. — В кн.: Историко-литературный сборник, посвященный В. И. Срезневскому. Л., 1924 г.

С. 325. *«Год дем»* — проклятье (*англ.*). Междометие это неизменно включалось в тривиальный литературный портрет англичанина. Ср. рассуждение в «Женитьбе Фигаро» Бомарше (действ. 3, явл. 5).

‹133›

С. 327. *...я в Англии — в той земле, которую в ребячестве своем любил я с таким жаром...* — В московских планах путешествия Карамзина фигурировала Англия как одна из основных целей вояжа. Однако в реальности пребывание Карамзина в Англии было, видимо, непродолжительным. Он прибыл туда в первых числах июня (а не в июле, как указано в «Письмах») и пробыл, вероятно, до начала июля. Крайние даты устанавливаются, с одной стороны, письмом Дмитриеву из Лондона, датированным 4 июня 1790 г., и временем прибытия в Петербург, с учетом длительности морского путешествия Лондон—Кронштадт, — с другой. Краткость пребывания в Англии привела к тому, что значение книжных источников для описания, характеристик и «встреч» путешественника здесь больше, чем в других частях. Целый ряд характеристик быта, внешности, обычаев англичан

носит стереотипный характер и повторяется в широком круге описаний Англии путешественниками XVIII в. В. В. Сиповский указал на книги, послужившие источниками «Писем» Карамзина. Для английской части это: *Moritz K. F.* Reisen eines Deutschen in England. Leipzig, 1783 (русский перевод: Путешествие г. Морица по Англии. М., 1804); *Archenholz J. W.* England und Italien. Leipzig, 1787; справочник «Londres et ses environs ou guide des voyageurs. Paris, 1784. — Возможно, что Карамзин также пользовался книгами: Vouage philosophigue d'Angleterre, fait en 1783. Londres, 1787; Le guide d'Angleterre ou relations curieuse de voyage de M-r de B.** Amsterdam, MDCCXLIV. Карамзин также использовал важную для него книгу: *Delolme J. L.* Constitution de l'Angleterre ou état du gouvernement Anglais (Amsterdam, 1771), о которой он упоминает в «Письмах». Карамзин нигде прямо не указывает на источники приведенных им сведений и описаний, однако некоторые из этих книг в «Письмах» упомянуты. Так, описывая Кингс-Бенч, Карамзин признается, что «читал в Архенгольце описание Кингс-Бенча», но не упоминает, что его собственное описание по материалу прямо зависит от Архенгольца; в главах о Берлине Карамзин описывает встречу с Морицем и сообщает, что читал его «Путешествие» «с великим удовольствием». «Путешествие» Морица послужило для Карамзина одним из основных источников сведений об Англии.

С. 328. *<...> море, в которое погружалось солнце...* — Характерный пример литературного пейзажа, выдаваемого за личное впечатление: со скал Дувра Карамзин не мог видеть закат солнца, погружающегося в море, так как Ла-Манш простирается на восток от Дувра, а на запад от него расположена зеленая равнина юго-восточной Англии, а не море.

С. 328. *Земляные яблоки* — картофель (галлицизм).

<134>

С. 329—330. *К сей физической причине их сплина... нещастный Лорд прострелил себе голову...* — Отсылкой к этому месту «Писем» являются первые стихи XXXVIII строфы первой главы «Евгения Онегина» от «Подобный английскому сплину...» до «Он застрелиться, слава Богу, Попробовать не захотел...». Карамзин здесь впервые в русском языке употребляет слово «сплин», так же как и впервые изображает героя, имеющего сердце «мертвое для всех радостей», предвосхищая романтическую тему «преждевременной старости души» (Пушкин).

<135>

С. 331. *Фарос* — здесь: путеводный маяк.

С. 333. *Гогард писал с Натуры.* — Уильям Хогарт (1697—1764) — первый крупный английский художник, особенно известный сатирическими рисунками.

С. 333. *П.* — А. А. Петров.

<136>

С. 334. *Успел слышать... Генделеву Ораторию, Мессию...* — Имеется в виду немецкий композитор Георг Фредерик Гендель (1685—1759), много лет проживший и умерший в Англии, и его оратория «Мессия» (1742), которая ежегодно исполнялась в Вестминстерском аббатстве в память Генделя. Согласно лондонским журналам, в 1790 г. «Мессия» исполнялась во вторник 24 июня, на представлении присутствовали король Георг III (у Карамзина — «наш добрый Джорж») и принцессы. Среди певцов журналы упоминают мадам Мару, Пиккиеротти, Стораче, Кантело. Описание Карамзина во всем, кроме даты, соответствует действительности. См., например: The British Mercury, 1790, June 26.

С. 334. *Семи-хоры* — полухоры.

С. 335. *Принц Валлисской* — принц Уэльский, наследник престола, впоследствии король Георг IV.

<137>

С. 336. *...Ловелас кажется ей ... любезнее Грандиссона. Обожая Клементину, Дженни смеется над девицею Байрон...* — Ловелас — образ соблазнителя, а Грандисон — идеального героя добродетели из романов Ричардсона; Клементина, мисс Байрон — героини Ричардсона.

С. 336. *...Клариссу называет умною дурою.* — Слова эти отразились в письме Пушкина брату из Михайловского (конец ноября 1824 г.): «...читаю Кларису, мочи нет какая скучная дура» (*Пушкин.* Полн. собр. соч., т. 13. [М.], 1937, с. 123). Слова эти, которые обычно приводятся как пример критики Пушкиным сентиментализма, на самом деле — пересказ слов Карамзина.

С. 337. *Эстампные кабинеты* — магазины эстампов.

С. 337. *Нутка-Соунд* — Захват испанцами английского залива и порта Нутка-Саунд в Америке создал между этими странами конфликт. Поскольку королевская Франция была связана с Испанией договорными обязательствами, в Национальном собрании дебатировался вопрос о войне. После горячих речей Мирабо собрание признало Францию свободной от старых договоров. Карамзин, видимо, присутствовал при этих прениях.

С. 337. *...всего чаще обедаю у нашего Посла, Г. С. Р. В. ...* — Многократное приглашение на обед означает большую степень близости: или длительное знакомство (чего у Карамзина не могло быть с постоянно жившим в Лондоне С. Р. Воронцовым), или же существенные для Воронцова рекомендательные письма. Эти последние Карамзин мог получить от Зиновьева, бывшего родственником, другом и политическим единомышленником Воронцова, а может быть, в Петербурге от брата его Александра Романовича Воронцова. За короткое время пребывания в Лондоне Карамзин сделался своим человеком в доме Воронцова, о чем свидетельствует дружески-интимное стихотворение, посвященное им сыну Воронцова Мишеньке (в будущем известному военному и государственному деятелю, гонителю Пушкина). С. Р. Воронцов, как и его брат Александр Романович, был человеком с недвусмысленно очерченным политическим лицом: противник самодержавного деспотизма вообще и режима Потемкина в частности, он не скрывал своей оппозиционности по отношению к петербургскому правительству. Сторонник английских конституционных порядков, он соединял политический практицизм с интересом к утопическим учениям: в эти годы он сблизился с Сен-Мартеном, который, порвав с масонством, сделался автором социально-утопических сочинений. Особенно интересовала Воронцова французская революция, в которой он видел враждебный себе, но неизбежный завтрашний день человечества. В письме к брату от 2 (13) сентября 1792 г. он писал: «Франция не успокоится, пока ее гнусные принципы не укоренятся и здесь; и, несмотря на превосходную конституцию здешней страны, зараза возьмет верх. Это, как я вам сказал уже, война не на жизнь, а на смерть между теми, которые ничего не имеют, и теми, которые обладают собственностью. И так как эти последние немногочисленнее, то в конце концов они должны будут пасть. Зараза станет всеобщей. Наша отдаленность охранит нас на некоторое время; мы будем последними, но и мы станем жертвами этой всемирной чумы. Мы ее не увидим, ни Вы, ни я; но мой сын увидит ее. Поэтому я решился обучить его какому-нибудь ремеслу, слесарному или столярному, чтобы когда его вассалы ему скажут, что они его больше не хотят знать и что хотят разделить между собой его земли, он смог бы зарабатывать на жизнь своим трудом и иметь честь стать одним из членом будущего Пензенского или Дмитровского муниципалитета. Эти ремесла будут ему более нужны, чем греческий или латинский языки и математические науки». Эти слова Воронцова можно сопоставить с высказыванием Карамзина в 1797 г., что Россия движется «в направлении той же цели, что и Франция»: «Начинается новая эпоха <...> хотят рассматривать революцию как завершенную. Нет! Нет! Мы еще увидим множество поразительных явлений». Вряд ли будет ошибкою предположить, что беседы Карамзина и Воронцова вращались вокруг событий во Франции. Частые посещения Воронцова Карамзиным тем более бросаются в глаза, что ни в одной из столиц европейских государств, кроме Лондона, он не наносил таких высоких визитов, ибо ни служебное положение, ни родственные связи, ни состояние не давали ему на это права.

С. 338. *За чем быть попугаями и обезьянами вместе?* — Весь отрывок — полемический ответ на обвинения Карамзина в галломании, раздававшиеся в первую очередь из рядов вчерашних братьев-масонов. Ср. памфлет А. М. Кутузова против Карамзина, написанный как бы от лица последнего и подписанный «Попугай Обезьянин» (см. письмо А. М. Кутузова к Н. Н. Тургеневу от 31 дек. 1789 (11 янв. 1790): *Барсков,* с. 731).

С. 338. *Потаты* — картофель.

С. 338. *Кларет* — В Англии «из сухих вин общее название: клерет относится ко всякому почти французскому вину, кроме бургунского; первоначально клеретом называли скорее светлое вино, затем темно-красное, преимущественно бордоское» (*Шпет Г.* Комментарий к «Посмертным запискам Пиквикского клуба». М.—Л., 1934, с. 312).

С. 338. *Мадера* — сладкое и крепкое вино, называемое по имени испанского острова, где произрастает виноград, из которого оно выделывается.

‹138›

С. 339. *...как Говард — осматривал темницы...* — Имеется в виду Джон Ховард (1726—1790), шериф Бэдфорда, филантроп и реформатор тюрем, автор сочинений об устройстве тюрем.

С. 340. *...славную темницу, которой имя прежде всего узнал я из Английских романов.* — Вероятно, имеются в виду «Том Джонс» Г. Филдинга, «Молль Флендерс» и «Жизнь полковника Жака» Д. Дефо.

С. 343. *...Кодры и Деции давали убивать себя...* — Кодр (*мифол.*) — царь в древней Греции; Деций — римский военный трибун. Служили примером патриотического самопожертвования.

С. 343. *...Курции бросались в пропасть...* — Марк Курций — римский юноша, принесший себя, согласно легенде, в жертву отечеству: он бросился в пропасть на римском Форуме, и она после этого тотчас же закрылась.

‹139›

С. 343. *...называются Диссентерами* — инакомыслящими.

‹140›

С. 344. *Королевское Общество* — английская Академия наук; существует с 1660 г.

С. 344. *...Карл II любил любить.* — Карл II был известен любовными похождениями и считался отцом 14 незаконнорожденных детей.

С. 344. *...служит магазином...* — Магазин — журнал, источник сведений.

С. 344. *Господин С** — либо Иван Иванович Смирнов, зачисленный в 1788 г. в штат русского посольства в Лондоне, либо его старший брат Яков (1754—1840), протоиерей при церкви русской миссии в Лондоне. См.: *Cross A. G.* Yakov Smirnov: A Russian Priest of Many Parts. — Oxford Slavonic Papers. New Ser., 1975, vol. VIII.

С. 344. *...волшебного прутика...* — Возможно, намек на повесть М. М. Хераскова (1733—1807) «Золотой прут» (1782), опубликованную анонимно и использовавшую масонскую символику. Это тем более вероятно, что ниже Карамзин употребляет в ироническом смысле масонскую терминологию: «профаны» — немасоны, «мистика» здесь означает, что объятие русского Карамзина и шведа Сильверхьельма должно таинственно повлиять на примирение воюющих России и Швеции. Иронически оценивая мистическую идею подобной симпатии, Карамзин, однако, высказывает здесь важную для него мысль о том, что исторические конфликты находят разрешение в отношениях частных людей. Гуманность и терпимость во взаимоотношениях между людьми — путь к примирению народов и государств.

С. 345. *Г. Пар ** — Джон Парадайз (1743—1795).

С. 345. *барон Сил ** — шведский ученый Ульрих Сильверхьельм (1762—1819).

С. 345. *Президент, Г. Банкс* — Джозеф Банкс (1743—1820), английский натуралист и путешественник; был президентом Королевского общества с 1778 г.

‹141›

С. 345. *Шекспирова галлерея* — Собрание картин и иллюстраций, написанных по мотивам пьес Шекспира, открылась в Лондоне в марте 1790 г.

С. 345. *Господин Бойдель* — Джон Бойдель (1719—1804), издатель и гравер, а с 1790 г. — лорд-мэр Лондона; был хозяином галереи в Пэл Мэл, в которой экспонировались иллюстрации к Шекспиру. По сообщению «The British Mercury» (March 15), в Шекспировой галерее экспонировались картины художников, имена которых называет Карамзин: Иоганна Генриха Фисли (1741—1825), друга Лафатера, работавшего в Швейцарии, Англии, Италии; Вильяма Гамильтона (1751—1801), английского художника; Анджелики Кауффман (1741—1807), шведской художницы, работавшей в разных странах; Бенджамена Веста (1738—1820), американского художника, работавшего в Англии.

С. 346. *Орфордово собрание* — собрание картин графа Джоржа Уолпола-Орфорда, купленное Екатериной II в 1769 г.

С. 347. *...их дело разливать чай...* — Отсылка к ситуации, типичной для английских романов, например для «Клариссы» Ричардсона (ср. в «Романе в письмах» Пушкина: «...живу в глухой деревне и разливаю чай, как Кларисса Гарлов»; затем этот мотив переходит в «Евгений Онегин»: «А Дуня разливает чай...» и т. д.).

С. 347. *Comme notre bon et pauvre Louis XVI...* — Анахронизм, свидетельствующий о позднем и литературном происхождении этого эпизода: письмо датировано июлем 1790 г.; между тем Людовик XVI был детронирован 21 сентября 1791 г.

С. 348. *Христофор Рен* (1632—1723) — английский архитектор и ученый, который пытался ввести в Англии стиль римских и парижских церквей, но ему противодействовало духовенство, отстаивавшее сохранение средневекового английского стиля. Проект собора Св. Павла, представленный Реном в 1673 г., был отвергнут и заменен на более соответствующий традиционному стилю.

С. 348. *Вильгельм Завоеватель* — с 1066 г. король Англии, которую он завоевал во главе войска норманнов.

С. 348. *Римской Сенат во время Калигулы...* — Калигула, римский император I в. н. э., известный жестокостью и безнравственностью, унизил сенат, провозгласив своего коня сенатором.

С. 348. *...жизнь Кромвеля...* — Карамзин, вероятно, имеет в виду книгу «Memoirs of the Protectoral House of Cromvell» (1787).

С. 348 *...сочинения Секретаря его, Мильтона...* — Джон Мильтон (1608—1674), великий английский поэт, с 1649 г. был секретарем Кромвеля «по иностранным языкам».

С. 349. *...флота Англии, разбившего славную Гишпанскую А р м а д у.* — Англичане разбили испанский флот в 1588 г. при Елизавете I (1558—1603). Испанией правил Филипп II (1527—1598). *«Славная»* — здесь в значении «знаменитая».

С. 349. *...воображал ту минуту, когда Герцог Сидония...* — Карамзин пересказывает сцену из трагедии Шиллера «Дон Карлос» (действ. 3, явл. 6). Герцог Медина Сидония — адмирал, командовавший испанским флотом.

С. 349. *...горсть Греков торжествует над бесчисленными Персами...* — Карамзин имеет в виду битву при Фермопилах, когда спартанский царь Леонид I задержал войска персов.

С. 349. *...Голландские рыбаки или Швейцарские пастухи истребляют лучшия армии...* — В первом случае речь идет о войне Нидерландов с Испанией за независимость (1572—1609 и 1621—1648), о ней писал Шиллер в историческом сочинении «История отпадения соединенных Нидерландов от испанского правления» (1788). Во втором случае речь идет о победе отряда крестьян, разгромивших в 1315 г. в Швейцарии войско герцога Леопольда, стремившегося присоединить их к Австрии, или о победе над Карлом Бургундским в 1476 г. (см. с. 146).

С. 349. *Ч е р н ы й П р и н ц* — Эдуард, принц Уэльсский (1330—1376), сын короля Эдуарда III, названный черным по цвету своего оружия.

С. 349. *Анна Грей* — См.: ‹53›.

С. 350. *Рубенс* — Питер Пауль Рубенс (см. ‹23›), расписал потолок Уайт-холла в 1634 г.

С. 350. ...*нещастный Карл* — Карл I (1600—1649), король Англии с 1625 по 1649 г.; был свергнут и обезглавлен в результате гражданской войны. Эшафот был возведен возле банкетного зала дворца Уайт-холл.

‹142›

С. 351. ...*«видно, по обещанию!»* — Как паломники, исполняющие обет.

С. 351. *Pope* (*англ.*) — Александр Поп (1688—1744), один из любимых и часто цитируемых Карамзиным английских поэтов. В этой главе Карамзин приводит собственный перевод отрывка одного из центральных стихотворений Попа «Виндзорский лес», опубликованного в 1713 г. Подробнее о Карамзине и Попе см.: *Cross*, p. 97.

С. 353. ...*портрет нашего Великого Петра, написанный во время Его пребывания в Лондоне живописцем Неллером ... Это Марс в Преображенском мундире!* — Портрет написан в 1697 г. в Лондоне во время путешествия Петра I за границу живописцем английского короля Вильгельма III Готфридом Кнеллером (1648—1723). Оригинал находится в Хэмптон-Корте, существует множество гравюр с портрета; любопытно, что Петр изображен не в преображенском мундире, как пишет Карамзин, а в фантастических латах. Вероятно, Карамзин не видел портрета.

С. 353. *Св. Георгий* — покровитель Англии.

С. 353. *Зала Св. Георгия, или Кавалеров Подвязки ... представлен Карл II в Орденской одежде...* — Орден Подвязки — высший орден Великобритании. Знаки ордена включали золотое изображение покровителя Англии св. Георгия, поражающего змея, которое носилось на орденской цепи на шее, специальную орденскую одежду и главный орденский знак — голубую ленту с золотой надписью «Honni soit qui mal y pense!». Лента носилась в виде подвязки над коленом левой ноги (только королева носит ее на левой руке выше локтя). Кроме того, орден включал в себя звезду, носимую на груди.

С. 353. ...*в осьмиугольнике, под крестом Св. Георгия, окруженном подвязкою...* — Все перечисленные мотивы входят в символику ордена Подвязки: звезда ордена была восьмиугольной, и в центре ее находился красный крест (так называемый крест св. Георгия).

‹144›

С. 355. ...*М*, Д*, и я...* — М* — Василий Федорович Малиновский (1765—1814), дипломат, литератор, первый директор Царскосельского лицея. Д* — Григорий Александрович Демидов (1765—1827). См.: *Cross A. G.* Whose Initials? Unidentified Persons in Karamzin's Letters from England. — Study Group on Eighteenth-Century Russia Newsletter, 1978, № 6, p. 32.

С. 356. *Эвр* — в греческой мифологии теплый утренний юго-восточный ветер.

С. 356. *Австер* — Астрей, в греческой мифологии бог, вместе с Эос производивший на свет ветры.

С. 356. *Зефир* — (*мифол.*) восточный ветер.

С. 356. *Борей* — северный ветер.

С. 356. ...*там родилась Елисавета.* — Елизавета I (1533—1603), королева Англии с 1558 по 1603 г., родилась в Гринвиче.

С. 357. *Друиды* — См. ‹97›.

С. 357. *Воксал* — увеселительный сад для народа.

‹145›

С. 358. *Выбор в Парламент.* — Лондонские журналы содержат отчеты об этих выборах, причем они состоялись не в июле, как пишет Карамзин, а 14 июня. Однако отчеты о выборах в журналах появились как раз в июле, т. е. тогда, когда, по утверждению Карамзина, выборы имели место.

С. 358. *Лорд Гуд* — английский адмирал и политический деятель (1724—1816).

С. 358. *Горн Тук* (1736—1812) — политический деятель и филолог; на выборах 1790 г. был кандидатом от Вестминстера против Фокса и лорда Гуда.

С. 358. *Вилькес* (1727—1797) — политический деятель, скандально известный своей авантюрной карьерой.

С. 359. «*Юниевы письма*» — пестрые по составу литературные письма неизвестного автора, выступавшего под псевдонимом «Юний». Печатались с 1769 по 1772 г. в лондонском журнале «Public Advertiser». Политическая часть писем была направлена против министерства герцога Графтона и задевала самого Георга III. Аноним до сих пор не раскрыт; установление авторства было популярной темой уже в XVIII в. Предлагалось около 40 кандидатов на авторство, среди них — Горн Тук.

С. 359. ... *курьером из П**... — из Петербурга.

‹146›

С. 360. *Театр* — Данные о театре, приведенные Карамзиным, частично подтверждаются лондонскими журналами лета 1790 г. (см., например: The gentleman's Magazine, 1790, Jul.—Aug).

С. 360. *Летом бывает здесь только один Гемеркетской Театр, на котором ... играют ... Ковенгарденские и Друриленские актеры.* — В июле и в августе действительно функционировал только Хаймаркетский театр, в котором выступали актеры театров Ковент-гарден и Друри-лейн.

С. 360. ... *видел я Шекспирова Гамлета*... — «Гамлет», согласно журналам, летом 1790 г. в этом театре не шел ни разу. «Гамлета» давали в театре Ковент-гарден 2 июня. Первое свидетельство о пребывании Карамзина в Лондоне относится к 4 июня; был ли Карамзин на представлении «Гамлета» в Ковент-гардене 2 июня, сразу после приезда, или описание сделано по литературным источникам — установить невозможно.

С. 361. *Нина* — «Нина, или Безумная от любви», опера Н. Далейрака па либретто Б. Марсолье.

С. 361. *Инкле и Ярико* — опера английского композитора Самуэля Арнольда; впервые поставлена в Лондоне в 1787 г. Эта опера, по сообщению журналов, шла в Лондоне летом 1790 г. 1, 2 и 26 июля вместе с другой комической оперой — «Try Again».

С. 361. ... *в здешней Италианской опере.* — Итальянская опера давала спектакли в Лондоне начиная с июля.

С. 361. *Андромаха* — Подразумевается опера итальянского композитора Себастьяна Назолини (1768—1816); шла в Лондоне с 1790 г.

С. 361. *Понтифекс* — (*латин.*) первосвященник, здесь: папа римский.

С. 361. ... *читаем в Вал. Максиме*... — В книге Валерия Максима (I в. н. э.) «Factorum et dictorum memorabium», (libri IX) пересказывается история Дария.

‹148›

С. 363. ... *судьбе Семелеиной*... — см. ‹101›.

С. 363. ... *насвистывал разныя песни, как Стернов дядя Тоби*... — Дядя Тоби, персонаж «Жизни и мнений Тристрама Шенди» Лоуренса Стерна, среди других эксцентричных привычек имел обыкновение насвистывать в критических ситуациях мотив «Лиллибуллиро», сатирической антикатолической баллады.

‹149›

С. 364. *Магна Харта* — Великая Хартия вольности, принятая королем Иоанном в 1215 г., праобраз английской конституции.

‹150›

С. 365. ... *Эмили ... Софии.* — Эмиль и София — персонажи романа Ж.-Ж. Руссо «Эмиль, или О воспитании» (1762); здесь: идеальные дети.

С. 365. *Мильтонов Эдем* — Карамзин имеет в виду описание рая в поэме Мильтона «Потерянный рай».

С. 365. *Чичисбей* — В Италии XVI—XVIII вв. так называлось лицо, которое дама выбирала себе в спутники для прогулок; мужу считалось неприличным сопровождать жену при выходах ее в общество.

С. 366. ...*Зефир опахала ея не приманивает уже Сильфов...* — Она уже не привлекательна.

‹151›

С. 368. ...*Томсоновыми Временами года...* — Шотландского поэта Джеймса Томсона (1700—1748) наряду с Оссианом, Юнгом и Мильтоном Карамзин называл одним из любимых своих поэтов и часто упоминал в ранних произведениях. В «Детском чтении» Карамзин опубликовал прозаический перевод «Времен года» (1787), а также поэтический перевод заключительного стихотворения цикла — «Гимн» (Детское чтение для сердца и разума, 1789, ч. 17, с. 151—158; ч. 19, с. 138—144). Стихотворение Томсона (о Петре I) приведено в главе «Лион, 9 Марта». Большое влияние чувствительных описаний природы и мира у Томсона ощутимо в стихотворении Карамзина «Деревня» (Моск. журн., 1792). См. об этом подробнее: *Simmons*, p. 169—172.

С. 368. *Мильтоново описание Адама и Евы...* — См. примеч. на с. 672.

С. 368. *Шекспир* — Об отношении Карамзина к Шекспиру см.: *Заборов П. Р.* Шекспир и русский преромантизм. — Н. М. Карамзин. — В кн.: Шекспир и русская культура. — М.—Л., 1965, с. 70—78; *Cross*, p. 93—94.

С. 369. *Славная Аддисонова трагедия* — «Катон» (1713). Об отношении Карамзина к «Катону» см. подробнее в статье Ю. М. Лотмана «Источники сведений Пушкина о Радищеве» (Пушкин и его время, вып. 1. Л., 1962, с. 54).

С. 369. *Grecian Daughter, Fair penitent, Jean Shore* — «Дочь Греции», пьеса Артура Мерфи (1772); «Кающаяся красавица» (1703) и «Джин Шор» (1713), пьесы Николаса Роу.

С. 369. *Робертсон, Юм, Гиббон...* — Имена шотландского историка и философа Дэвида Юма (1711—1776), шотландского историка Вильяма Робертсона (1721—1793) и английского историка Эдварда Гиббона (1737—1794) Карамзин не раз приводит как образцы историков, сравнивая их с классическими историками Греции и Рима — Фукидидом и Тацитом. Эти имена упоминаются в записной книжке Карамзина в том же контексте. Наибольшее внимание он уделял Юму: с книгой Юма в руках Карамзин путешествует по Англии, Юма позже изучает для своих занятий историей, Юма читает в 1812 г. Позже Карамзин отзывался о Юме критически — как об историке сухом и холодном (письмо А. И. Тургеневу от 17 ноября 1815 г.), причем Юма цитирует по-французски (см.: *Карамзин III*). О влиянии, которое оказали на Карамзина английские историки, подробнее см.: *Cross*, p. 106—108.

С. 369. *Новейшая Английская Литература...* — Этот абзац впервые включен в издание 1801 г.: в «Московском журнале» за июль 1791 г. (ч. 3, с. 37) Карамзин опубликовал перевод английской заметки о незначительности современной поэзии.

С. 369. *Йонг* — Эдвард Юнг; см. о нем и Карамзине: *Simmons*, p. 176.

С. 370. *Валлис* — Уэлс.

С. 370. ...*что в Реторике называется числом...* — подразумевается ритм.

‹153›

С. 371. ...*суд Гастингса...* — Уоррен Хейстингс (1732—1818), первый генерал-губернатор Британской Индии, был судим Верховным Парламентским судом за «крупные преступления и проступки»: хищения из казны, ограбления, пытки и т. п.; его процесс длился с 1788 по 1795 г. Отчеты о заседаниях суда регулярно помещались в журналах. Хейстингс был признан невиновным, но за годы процесса потратил состояние на судебные издержки. Одним из адвокатов Хейстингса был известный парламентский оратор Ричард Шеридан.

С. 372. *Англичанин человеколюбив у себя; а в Америке, в Африке и в Азии едва не зверь...* — Ср.: «Англичанин в Бенгале забыл великую хартию и habeas corpus; он паче всякого Индейского Набоба» (*Радищев А. П.* Полн. собр. соч., т. 2. М.—Л., 1941, с. 64). Оба высказывания восходят к «Истории обеих Индий» Рейналя.

С. 373. *...трое должны быть всегда в Шпанских париках...* — Шпанские (испанские) парики — длинные парики с тремя и более буклями — уже вышли из употребления во второй половине XVIII в. и сохранили лишь церемониальное значение.

‹155›

С. 378. *Гулливерово путешествие* — роман английского писателя-сатирика и политического деятеля Джонатана Свифта (1667—1745).

С. 378. *Фраскати* — городок под Римом, где жила летом римская знать.

С. 378. *Алгамра* (Алгамбра) — дворец мавританских королей около Гранады, построен в XIII—XIV вв.

С. 379. *...кровопролитное сражение...* — В 1471 г. близ Барнета состоялось решительное сражение войны Йорков и Ланкастеров, победу одержали Йорки.

С. 379. *Английской Ришельё и Дюбуа — так можно назвать Вольсея...* — Вольсей (1471—1530) — кардинал и канцлер при Генрихе VIII. Карамзин сравнивает его с известными французскими кардиналами — Ришелье(1585—1642) и Дюбуа (1655—1723).

С. 380. *...Лангедокское небо...* — Лангедок — бывшая французская провинция между Роной, Средиземным морем, Пиринеями и Гаронной, отличающаяся отличным климатом; здесь: южное небо.

‹156›

С. 380. *...будучи пансионером Профессора Ш*...* — Карамзин воспитывался с 1777 по 1781 г. в пансионе Иохана Матиаса Шадена в Москве.

С. 381. *Йориковы проповеди* — книга Л. Стерна «Проповеди Йорика» (1760—1769).

С. 381. *Ж** — Степан Семенович Джунковский (1762—1839), экономист и агроном; проживал в Англии с 1784 г.

‹157›

С. 386. *...читаю Оссиана и перевожу его Картона.* — Карамзин высоко ценил Оссиана как образец прекрасной простоты, оригинальности выражения и глубокой меланхолии. Свой перевод «Картона» с предуведомлением и примечаниями Карамзин опубликовал в «Московском журнале» (1791, ч. 2, май, с. 115—147). Там же (1791, ч. 3, авг., с. 134—149) опубликован его перевод «Сельмских песен». Подробнее см.: *Левин Ю. Д.* Оссиан в русской литературе. Л., 1980.

ДОПОЛНЕНИЯ

ПИСЬМО В «ЗРИТЕЛЬ» О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

«Письмо в „Зритель“ о русской литературе» — документ исключительной важности как для истории творческой эволюции Карамзина в целом, так и для «Писем русского путешественника» в частности. С одной стороны, «Письмо» заключает в себе ряд ответственных высказываний по вопросам русской истории и культуры, русского языка, будущего России, уникальные для Карамзина оценки Французской революции, высказанные с меньшей, чем в других случаях, оглядкой на цензуру — правительственную и общественную. С другой — оно содержит автореферат «Писем русского путешественника», являющийся единственным имеющимся в наших руках источником для суждений о не дошедшем до нас раннем варианте этой книги. Статья написана в дни, когда Карамзин не растерял еще оптимистических надежд на только что взошедшего на престол Павла I, ожидая от известного прямотой и рыцарством воспитанника Никиты Панина реформ и исправления злоупот-

реблений, сделавшихся в последние годы царствования его матери слишком очевидными. Карамзин был настолько уверен в смягчении цензуры, что пометил издание «Писем русского путешественника» 1797 г. как вышедшее в пяти томах. На самом деле в этом году смогли появиться лишь четыре тома. Окончание же книги (не в одном, а в двух томах) появилось лишь в 1801 г. Таким образом, автореферат в «Северном зрителе» представляет для нас единственный источник суждений о духе первоначального текста парижских писем. А сопоставление отрывков из «Писем», которые Карамзин приводит в этой статье, с известным нам текстом дает картину далеко идущей переработки.

«Письмо в „Зритель" о русской литературе» впервые введено в научный оборот Я. Гротом и П. Пекарским в издании писем Карамзина к Дмитриеву. Издатели обратили внимание на следующее место в письме Карамзина от 16 ноября 1797 г.: «Издатель французского „Северного зрителя" требовал от меня чего-нибудь.Я послал к нему Un mot sur la litterature russe. Письмо мое напечатано в октябре месяце журнала; но я еще не имею этой книжки».[1] Авторы примечаний не обнаружили в России комплекта «Le Spectateur du Nord», издававшегося в Гамбурге в 1797—1802 гг., и опубликовали статью по копии, изготовленной в Париже В. С. Порошиным. Журнал этот, однако, в библиотеках СССР имеется: полный экземпляр в Библиотеке СССР им. В. И. Ленина в Москве и неполный — в Научной библиотеке Тартуского государственного университета. Сравнение публикации Грота и Пекарского с подлинником убеждает, что в копии Порошина были неточности: наиболее существенная замена — «proscrit» на «prosélit», что существенно изменяло смысл характеристики перечисляемых Карамзиным русских песен. Имелись меняющие смысл неточности в пунктуации. Наши публикации текста и перевода сделаны по подлиннику.

«Le Spectateur du Nord» не был на правом крыле эмигрантской печати: позиция журнала состояла в стремлении к сближению умеренных элементов внутри Франции с умеренными же элементами эмиграции, не стремившимися вернуться к дореволюционному порядку. Одновременно журнал отрицательно относился к традиционному французскому пренебрежению культурой остальной Европы и стремился познакомить французского читателя с литературой Севера — Германии, Англии и отчасти России, а европейцев — с положением во Франции. Умеренная позиция журнала привела к тому, что в самой Франции он в первые годы издания распространялся беспрепятственно. Видно, эта умеренность и роль культурного моста между Францией и северной Европой привлекли к журналу внимание Карамзина. Со своей стороны, «Le Spectateur du Nord» занял позицию пропагандиста именно карамзинского направления в русской литературе, что, бесспорно, было очень важно Карамзину при его шатком положении «подозрительного» писателя. Нарочито небрежный тон письма Карамзина к Дмитриеву, долженствующий изобразить эту связь как случайную и для Карамзина несущественную, не должен вводить нас в заблуждение. Уже февральский номер журнала за 1797 г. открывался переводом повести Карамзина «Юлия» (пер. Булье; в том же году вышел в Москве отдельной книжкой).[2] Перевод этой литературной новинки (русское издание появилось в 1796 г.), едва ли предпринятый без ведома Карамзина, был снабжен исключительно лестным предисловием переводчика, называвшего Карамзина соперником Мармонтеля и Флориана, а также французскими стихами, прославляющими Карамзина:

Auteur charmant, je vous offre l'ouvrage,
Qui vous valut les plus flatteurs succès;
Votre Julie a changé de langage
Et dans ce jour elle parle français.
...Puisse surtou, l'Ecrivain séduisant

---

[1] *Письма к Дмитриеву*, с. 82.

[2] См.: *Быкова Т. А.* Переводы произведений Карамзина на иностранные языки и отклики на них в иностранной литературе. — В кн.: Державин и Карамзин в литературном движении XVIII—начала XIX века. Л., 1969, с. 237 (XVIII век, сб. 8).

Qui la forme si douce et si joli,
A son aspect prendre un air caressant
Et s'écrier: c'est toujours ma Julie! [3]

В 10-м (октябрьском) номере журнала появилась статья самого Карамзина, излагавшая всю историю русской литературы, увиденной в перспективе идей автора «Писем русского путешественника». Естественно возникает вопрос: при столь тесных связях Карамзина с гамбургским журналом ограничился ли он посылкой только этих материалов, или сотрудничество его было более широким? В этом отношении обращает на себя внимание статья «Lettre au Spectateur sur Pierre III», опубликованная в том же втором (февральском) номере журнала за 1797 г., что и перевод «Юлии». Статья эта, как сообщали редакторы в третьем томе, была прислана из России и имеет подпись «путешественник» («Voyageur»).[4] Если учесть, что сам Карамзин так именовал себя без каких-либо оговорок в том же журнале, в статье, опубликованной п о с л е той, о которой мы говорим, и что кличка «Путешественник» надолго закрепилась за ним в русской литературе,[5] то предположение об авторстве Карамзина сделается вполне вероятным. Статья, написанная вполне лояльно по отношению к Павлу I (прощение Новикова и масонских друзей Карамзина, окончание висевшей над ним самим в связи с этим делом опалы, ожидание реформ — все это настроило Карамзина в 1797 г. сочувственно к новому правительству) и умеренно-благожелательная по отношению к Петру III (Карамзин и позже неизменно положительно оценивал, например, уничтожение Тайной канцелярии), содержит, однако, столь резкую оценку деятельности Екатерины II, что, в случае признания авторства Карамзина, ее придется отнести к наиболее ответственным его политическим заявлениям. Хотя о Петре III сказано, что благодеяния, оказанные им России, «требуют вечной благодарности» [6] (имеются в виду, очевидно, указ о вольности дворянства, уничтожение Тайной канцелярии и смягчение преследований старообрядцев, что затрагивало проблему веротерпимости, одну из наиболее волновавших Карамзина), однако тут же встречаем и такую характеристику: «Строгая справедлизость истории упрекнет его, без сомнения, во многих недостатках: тот, который его погубил, был слабость».[7] В «Записке о древней и новой России» сказано то же, но более резко, в соответствии с духом и тоном этого документа: «Слабый Петр III...», «Новый заговор — и несчастный Петр III в могиле с своими жалкими пороками».[8] Зато о Екатерине II ска-

---

[3] Le Spectateur du Nord, Journal politique, littéraire et moral, 1797, № 2, p. 183—184. —

Перевод:

Примите этот труд, писатель-чаровник,
Успеха коего вы лестная причина;
Вот — Юлия. Она, переменив язык,
Отныне говорит на языке Расина.
...О если б на нее, с улыбкой бросив взгляд,
Словами нежного привета и признанья
Сказали вы: «Переменив наряд,
О Юлия, и так ты все ж *мое* созданье!»

[4] Ibid., № 3, p. 436.

[5] Ср. в анонимной сатире «Галлоруссия»:

Вот путешественник, что кистию своей
Французолюбие в нас вечное посеял...

(Поэты 1790—1810-х годов. Л., 1971, с. 785)

[6] Le Spectateur du Nord, 1797, N 2, p. 287.

[7] Ibid., p. 284—285.

[8] *Карамзин Н. М.* Записка о древней и новой России. СПб., 1914, с. 36 и 39. — Следует учитывать, что критическое отношение Карамзина в 1811 г. к политике и государственным способностям Александра I в соединении с печальной памятью,

зано так: «Екатерина II одела корону, и ее слава наполнила мир. Философы были ее герольдами. Друг истины не будет с ними спорить. Но да будет ему позволено счесть число мужчин, женщин и детей, жизнь которых оплатила за тридцать лет эту славу в Польше, Швеции, Турции, Персии и, в особенности, в России. Он пытается счесть это ужасающее число жертв и видит, что оно столь же неисчислимо, как и масса кредитных бумаг — мрачный образ богатств, поглощенных блеском этого прекрасного царствования».[9] Далее следует подпись: «Путешественник» (в тексте письма автор именует себя «voyageur véridique»). Оценка эта существенно дополняет «Письмо о русской литературе», равно как и «Письма русского путешественника».

С. 449, 457. *...ссыльный...* — В публикации Грота—Пекарского ошибка: вместо proscrit — proselit.

С. 450, 457. *Во всех этих песнях ... царствует меланхолия...* — Мнение Карамзина о русских песнях в определенной степени зависит от предисловия Н. А. Львова к «Собранию русских несен с их голосами» Львова—Прача (1790): «Протяжные наши песни старинные суть самые лучшие: сии-то суть характеристическое народное пение» (цит. по кн.: Собрание народных русских песен с их голосами. На музыку положил Иван Прач. М., 1955, с. 40). Однако ближе всего оно к известному высказыванию А. Н. Радищева: «Кто знает голоса русских народных песен, тот признается, что есть в них нечто скорбь душевную означающее. Все почти голоса таковых песен суть тону мягкаго» (*Радищев А. Н.* Полн. собр. соч., т. 1. М.—Л., 1938, с. 229—230; ср.: *Мордовченко Н.* Белинский и русская литература его времени. М.—Л., 1950, с. 184—185).

С. 450, 457. *...уже два года как ... был раскопан отрывок стихотворения...* — «Слово о полку Игореве» стало известно ранее, чем в 1795 г. См.: *Дмитриев Л. А.* История открытия рукописи «Слова о полку Игореве». — В кн.: «Слово о полку Игореве» — памятник XII века. М.—Л., 1962, с. 421.

С. 450, 457. *...в стране, где чин решает все, слава имеет мало привлекательности.* — Выступление Карамзина в пользу профессионализации писательского труда предвосхищает известные высказывания Пушкина. См. письмо А. А. Бестужеву от мая—июня 1825 г. (*Пушкин.* Полн. собр. соч., т. 13. [М.], 1937, с. 178—179).

С. 450, 458. *Календарь муз* — Во французском тексте здесь «Almanach des Muses» с очевидной проекцией на французский «Almanach des Muses» и «Musen-Almanach» Шиллера. Перевод: «Календарь Муз» принадлежит Карамзину.

С. 451, 458. *Chérissons le rival ... l'embrasser.* — Источник цитаты: *Chamfort.* L'homme de lettres. Discours philosophigne en vers. — In: Oeuvres de Chamfort, rec. et publ. par un de ses Amis, t. 3. Paris, l'an 3 de la République, p. 369.

С. 451, 458. *...потом они умолкают на целый год.* — Место это содержит намек на цензурные трудности и отсутствие литературных журналов в России.

С. 451, 458. *Письма русского путешественника*, в пяти томах... — На самом деле в 1797 г. вышло лишь четыре тома. См. «Историю текста „Писем“» в наст. изд.

С. 451, 458. *Мы публикуем ... письмо, в таком виде, в каком оно было нам послано.* — Примечание издателей «Spectateur du Nord» свидетельствует, что статья Карамзина была им написана по-французски. Показателен следующий момент: в «Письме о русской литературе» Карамзин, переводя собственный русский текст, передал выражение «происходящими <...> от сего самого порока» французским «qui tienn à ces mêmes défauts». Однако оказывается, что и в русском тексте он, считая свое выражение слишком смелым и недостаточно понятным, пояснил его

которую оставил Павел I, заставило его идеализировать Екатерину II, к которой он в последние годы ее и в начале царствования Павла относился резко отрицательно. Соответственно менялось и отношение к Петру III. В статье «О тайной канцелярии» он умолчал о том, что первая попытка ее уничтожения принадлежала царствованию Петра III (см.: Вестн. Европы, 1803, № 6, с. 122—123). В «Записке о древней и новой России» ликвидация Тайной канцелярии приписана, вопреки прекрасно известным Карамзину фактам, Екатерине II (с. 37).

[9] Проблемы историзма в русской литературе; конец XVIII—начало XIX в. Л., 1981, с. 127 (XVIII век, сб. 13).

под строкой при помощи того же французского фразеологизма. Таким образом, Карамзин, даже когда писал по-русски, некоторые обороты обдумывал в системе французской фразеологии и рассчитывал на такое же восприятие их читателем.

С. 452, 459. *...только что появившееся продолжение его «Исповеди».* — Последние части «Исповеди» Руссо были опубликованы в 1789 г.

С. 453, 459—460. *«История Парижа ... Я умолкаю».* — Место это исключительно интересно: Карамзин рассматривает Французскую революцию как продолжающийся процесс — органический результат хода цивилизации. На фоне этого непрерывного движения кровавый эпизод 1793 г. представляется ему в 1797 г. законченным эксцессом, естественной крайностью поступательного развития. Не Франция, а Россия после Петра движется, по его мнению, путем катаклизмов и быстрых, но мало укорененных скачков вперед. На русском языке Карамзин опасался высказывать этот смелый парадокс (современная Карамзину русская публицистика изображала Францию в виде обезумевшей, несущейся в бездну лошади, а Россию — как неколебимую и неподвижную скалу).

С. 454, 460. *Прочтите примечание в «Эмиле»...* — Имеется в виду утверждение Руссо: «Мы приближаемся к эпохе кризиса, к веку революции». В примечании Руссо отрицал возможность длительного существования монархической Европы (*Руссо Ж.-Ж.* Эмиль, или О воспитании. СПб., 1913, с. 182).

С. 455, 461. *Проведя четыре месяца в Париже...* — Согласно окончательному тексту «Писем русского путешественника», Карамзин провел в Париже не четыре, а три месяца. О датировках см. статью и примечания.

С. 455, 461—462. *«Люблю Англию ... покидаю ее без сожалений».* — Приведенный Карамзиным текст существенно отличается от окончательного вида этого отрывка в «Письмах русского путешественника».

С. 456, 462. *...обманем сами себя и тех, кто достоин быть обманутым.* — Этот отрывок, вероятно, дан в более поздней редакции, чем остальной текст: идеи иллюзорности реального мира, искусства как обмана характерны для Карамзина второй половины 1790-х гг.: см. «К бедному поэту», «Илья Муромец» и др.

ПЕРЕПИСКА КАРАМЗИНА С ЛАФАТЕРОМ

Переписка Карамзина с Лафатером охватывает промежуток между 1786 и 1790 г. и имеет непосредственное отношение как к планам заграничной поездки Карамзина, так и к «Письмам русского путешественника», частично перекрывая содержание последних. Она является, с одной стороны, ценным биографическим источником, а с другой, позволяя сопоставить литературные и реальные письма, ведет нас в творческую лабораторию Карамзина-писателя. Одновременно следует иметь в виду, что письма Карамзина к Лафатеру — это не обычные бытовые документы эпистолярного жанра: обращаясь к прославленному в те годы авторитету, участнику предромантического литературного движения, Карамзин явно стилизует свои письма (достаточно сопоставить их с письмами к Дмитриеву, чтобы обнаружить господствующую в них сентиментальную аффектацию), так же как и утрирует в своей собственной личности черты сентиментального юноши, искателя истины.

Переписка Карамзина и Лафатера была обнаружена в Цюрихе бывшим директором гимназии в Вильянди (Эстония) Ф. Вальдманом и опубликована совместо с Я. Гротом в 1893 г. в приложении к т. 73 «Записок ИАН» (Приложение № 1; отдельный оттиск — СПб., 1893). Воспроизводится по тексту этого издания. Письма Карамзина к Лафатеру даются в римской нумерации, ответы Лафатера — в арабской. Все переводы принадлежат Вальдману—Гроту, за исключением перевода № 6, который сделан Ю. Лотманом.

Иоганн Каспар Лафатер (1741—1801) — писатель, философ и проповедник, цюрихский пастор — был заметной фигурой в предромантическом движении Европы. К числу его друзей принадлежали молодой Гете, Гердер, он оказал сильное влияние на «бурных гениев» — молодых немецких литераторов эпохи «бури и натиска». Он проповедовал самоуглубление и самопостижение, «религию сердца». Чуждаясь политики, он отличался, однако, гражданской смелостью и глубоким

чувством личной независимости: в молодые годы он сделался известен благодаря смелым разоблачениям злоупотреблений провинциального фогта Гребеля. Однако наибольшую известность принесли ему «Физиогномические фрагменты» («Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntnis und Menschenliebe», 1775—1778). Согласно учению Лафатера, между физическим строением тела человека и свойствами его души существует связь. Из этого Лафатер делал вывод о бесконечном разнообразии человеческих душ и характеров, что было созвучно предромантическому культу «оригинальной личности». Одновременно он рассматривал изучение человеком своего лица как шаг в науке постоянного самонаблюдения, которое является путем к исправлению своих пороков. Проповедуя смесь гуманизма и пиетизма, деятельной филантропии и крайне шатких квазинаучных идей, Лафатер достиг широкой популярности в Германии 1770—1780-х гг. С большим уважением относились к нему и в кружке Новикова—Кутузова. 18 января 1790 г. друг и наставник Карамзина И. П. Тургенев писал из Симбирска Лафатеру: «Я весьма Вам благодарен за труд, который Вы ради меня приняли, написав мадмазель Тоблер.[1] Мне крайне лестно воспользоваться этим столь благоприятным случаем, чтобы от лица всей русской нации заверить Вас, сколь ценно во многих отношениях внимание такого достойного человека, как Вы. И русские начинают сознавать, к сколь высокому предназначению рожден человек. Они приближаются к тому, чтобы сделаться людьми высокой цели».[2]

Интерес московских друзей Карамзина к Лафатеру поддерживался не только общностью теоретических воззрений. В сентябре 1782 г. Лафатера посетил в Цюрихе путешествовавший по Европе под именем князя Северного наследник русского престола Павел Петрович. Беседа с Лафатером, в ходе которой швейцарский философ удивительно точно определил характер Павла, произвела на последнего сильнейшее впечатление. Связи Лафатера с Павлом Петровичем, переписка с Марией Федоровной и ее матерью открывали возможность воздействия на наследника престола, к чему активно стремился новиковский кружок. Если верно, что план заграничного путешествия Карамзина составлялся с участием С. Гамалеи, то включение в него посещения Лафатера, конечно, было не случайно.

Переписка Карамзина с Лафатером была известна и поощрялась в его московском окружении 1780-х гг. Для Карамзина же имя Лафатера ассоциировалось с теми столпами германского предромантизма, посещение которых входило в план его европейского паломничества. В дальнейшем, в 1797 г., в статье, написанной для «Северного зрителя», Карамзин отозвался уже весьма критически об «ошибочных суждениях» Лафатера.

Таким образом, переписка Карамзина с Лафатером весьма важна для понимания духовной атмосферы, в которой жил автор «Писем русского путешественника» перед созданием этого произведения.

I

С. 464, 484. *К кому намереваюсь я писать? К Лафатеру?* — Следует отметить, что восторженное отношение к Лафатеру в дальнейшем сменилось более прохладным: это ощущается уже в «Письмах русского путешественника» и особенно в статье в «Spectateur du Nord» (см. с. 452). Сохраняя положительное отношение к Лафатеру-человеку, Карамзин проявлял весьма сдержанное отношение к его научным и философским воззрениям (см. статью: Сравнение Дидерота с Лафатером. — Вестн. Европы, 1802, ч. 2, № 5, с. 39—40).

С. 463, 483. ...*к тому же недостаточно знаю немецкий язык.* — Письма Карамзина к Лафатеру написаны исключительно хорошим немецким языком, хотя

---

[1] Маргарет Тоблер — швейцарка, проживавшая в эти годы в Москве.

[2] *Dickenmann E.* Ein Brief Johann Turgenevs an Caspar Lavater. — In: Festschrift für Dmytro Čyževskyj. Berlin, 1954, S. 100; *Strahlmann Berens.* Johann Caspar Lavater und die «Nordischen Herrschaften». Oldenburger Jb., 1959, Bd 58, T. 1; *Heier Edmund.* Das Lavaterbild im geistigen Leben Rußlands des 18. Jahrhunderts. — Kirche im Osten, Göttingen, 1977, Bd 20.

Петров в письме от 11 июня 1785 г. иронизировал над тем, что Карамзин «в трех строках сделал пять ошибок против немецкого языка» (см. с. 503). Из писем Петрова к Карамзину (см. письмо от 1 августа 1787 г., с. 504) видно, что Карамзин обсуждал свои письма к Лафатеру с Петровым, который, возможно, выправлял ему немецкий язык. Однако в дальнейшем в Швейцарии Лафатер уверял Карамзина, что он пишет «по-немецки нехудо» (см. с. 124). Между тем показательна, как это устанавливается из тех же писем Петрова, тяга Карамзина в начале его творчества к писательству на немецком языке: можно предположить, что обостренное восприятие стиля, вызванное отчуждением от языковой стихии, способствовало выработке стилистической позиции при писании по-русски. В этом отношении письма к Лафатеру приобретают отчетливо лабораторный характер.

Стр. 465, 483. *Когда я был еще мальчиком...* — Карамзин излагает свою биографию, стилизуя ее в соответствии с масонскими моральными схемами как историю падения чистого юноши под влиянием «удовольствий большого света» и последующего его возрождения под действием мудрых моральных наставников. Это следует учитывать, оценивая утрированный характер самообвинений Карамзина: последний называет себя «картежником», Дмитриев же свидетельствует, что в Симбирске нашел Карамзина «опытным за вистовым столом» (*Дмитриев И. И.* Соч., т. 2. СПб., 1893, с. 25), т. е. речь идет об увлечении неазартными коммерческими играми, выигрыш или проигрыш в которых не бывал особенно значительным. Игры эти считались «приличными» и вполне допускались в обществе в отличие от официально запрещенных азартных игр. Картежником в точном значении этого слова Карамзин, конечно, не был никогда.

С. 465, 485. *Учителем моим был немецкий профессор.* — «С приближением юношеского возраста, Карамзин был отправлен в Москву и отдан в учебное заведение г. Шадена, одного из лучших профессоров Московского университета» (*Дмитриев И. И.*, соч., т. 2, с. 23—24).

С. 465, 485. *...один достойный муж...* — И. П. Тургенев (1752—1807), видный деятель московского масонского кружка, адъютант московского главнокомандующего гр. Чернышева; после разгрома новиковской группы был сослан в свое поместье в Симбирске. После прощения при Павле I был назначен директором Московского университета.

С. 465, 485. *...живу в Москве в кругу моих истинных друзей...* — речь идет о новиковском кружке. Карамзин жил в «масонском» доме (см. с. 466). Принятая в кругу наставников Карамзина терминология складывалась под влиянием немецкой предромантической философии и была понятна Лафатеру. Обращаясь к последнему как «ученик», который ищет «руководителя», Карамзин говорил на одном с Лафатером языке.

С. 465, 485. *Пусть сумасбродный француз кричит до изнеможения легких!* — Видимо, имеется в виду разоблачительная брошюра Мирабо «Lettre du comte de Mirabeau à*** sur M. M. de Cagliostro et Lavater» (Berlin, 1786). Здесь, в частности, Мирабо писал: «Этот Лафатер, наделенный под ледяной корой севера самым кипящим вдохновением юга, составляет странную смесь образования и невежества, предрассудков и нечестия, ума и безумия. Он набожный и колдун, щеголь и ригорист. Кажется, никто не сомневается в его искренности. И действительно, редко когда кого-либо вводили в заблуждение красноречие и убеждения человека, который, долго и много обманывая других, не начал с того, чтобы обмануть сам себя» (р. 27). Об отношении Карамзина к Мирабо в дальнейшем см. с. 553.

1

С. 466. *Ленц* Якоб (1751—1792) — немецкий поэт, драматург эпохи «бури и натиска», друг Гете и Лафатера. Последние годы жизни, находясь в болезненном состоянии духа, провел в скитаниях. Умер в Москве (см. с. 510). Оказал влияние на литературные интересы молодого Карамзина, см.: *Розанов М. Н.* Поэт периода «бурных стремлений» Якоб Ленц, его жизнь и произведения. М., 1901.

С. 466. *Френкель* — крестный отец Лафатера; в эти годы был врачом в Петербурге.

С. 466. *Бруннер* — протестантский пастор в Москве во второй половине XVIII в.

II

С. 468, 487. *Каким образом душа наша соединена с телом...* — Заданный Карамзиным вопрос, с одной стороны, лежал в основе масонской психологии, а с другой — был исключительно существенным для эстетики сентиментализма. Одновременно этот же вопрос привлекал внимание сторонников сенсуалистического материализма. «Вопросы о связи души с телом, о бессмертии души и смертности человека занимали большое место и в масонских журналах 80—90-х гг. XVIII в.; с ними была органически связана проблема смертности и бессмертия, которой в одинаковой мере, хотя и с разных точек зрения, интересовались Карамзин и Радищев (*Виноградов В. В.* Проблема авторства и теория стилей. М., 1961, с. 334). Воззрения А. М. Кутузова на эту проблему изложены в письме И. П. Тургеневу, см.: Труды по русской и славянской филологии, 6. Тарту, 1963, с. 315 (Учен. зап. Тартуск. гос. ун-та, вып. 139). — Радищев был убежден, что, «по системе Гельвециевой», «разум идет чувствованиям в след, или ничто иное есть, как они» (*Радищев А. Н.* Полн. собр. соч., т. 3. М.—Л., 1952, с. 346).

Карамзин проявлял устойчивый интерес к вопросу,

как тело в жизни сей
Сопряжено с душей?

(*Карамзин Н. М.* Полн. собр. стихотворений.
М.—Л., 1966, с. 109—110)

В «Записках одного молодого Россиянина» этому вопросу посвящено скептическое высказывание: «Как может существовать душа по разрушении тела, не знаем» (Моск. журн., 1792, ч. 6, апр., с. 66).

С. 469, 488. *...я буду в Цюрихе и увижу вас.* — Для определения художественного метода «Писем русского путешественника» представляет интерес сопоставление описания воображаемой встречи с Лафатером в письме к нему и описания реальной встречи в воображаемом письме к друзьям. Сопоставление наглядно обнаруживает налет антисентиментальной иронии в описании «Писем русского путешественника».

С. 469, 488. *...каждую неделю должен приготовить печатный лист для детей...* — «Детское чтение для сердца и разума» выходило раз в неделю.

С. 469, 488. *Мы еще бедны писателями.* — Высказывание относительно общего состояния русской литературы носит полемический характер. Карамзин отрицает как ломоносовскую, так и сумароковскую литературную традицию, считая, что русской литературе еще предстоит возникнуть. Ср. его стихотворение «Поэзия» (*Карамзин Н. М.* Полн. собр. стихотворений. М.—Л., 1966, с. 63 и 376—378).

2

С. 470. *Глаз наш не так устроен, чтобы видеть себя без зеркала, — а наше «я» видит себя только в другом «ты».* — Высказываемое Лафатером credo философского субъективизма было близко и понятно Карамзину, поскольку совпадало с идеями А. М. Кутузова, излагавшимися последним печатно, в письмах друзьям и, вероятно, устно в разговорах с Карамзиным. «Внутри нас происходит самая та перемена, каковую мы причиняем со вне» (Магазин свободно-каменщический, 1784, т. 1, ч. 2, с. 6). «Предметы суть единые случаи, нам принадлежит деяние» (перевод Кутузова «Нощи VI» Юнга: Утренний свет, 1779, ч. 7, с. 21). В статье «Почему не хорошо предузнавать судьбу свою» Кутузов писал: «Сила, которою наперед на меня уже они (внешние предметы и обстоятельства, — *авт.*) действуют ‹...› находится не столько в них самих, как в свойствах характера моего» (Моск. ежемесячное издание, 1781, ч. 3, сент., с. 59). Следствием этого являлось убеждение, что для актуализации душевных потенций человеку необходим внешний агент, в качестве которого выступает «друг». По словам Кутузова, друг — «феномен или явление, которое до нас касается». «Друзей своих любят больше за те качества, которые им приписывают, а не за те, которые они имеют» (там же,

ч. 2, май, с. 57—58). «Мысли наши, выходя из уст, чинятся яснее <...> неужели нет у тебя друга, дабы душе твоей давать истечение? Здравый рассудок учинится гниющим блатом. Заключенные мысли должны иметь выход <...> Способность говорить — конец мыслей наших! <...> Друзья наши суть необходимые помощники, чтобы для общества сотворенные человеки сами в себе истинное наслаждение обретали» (Юнговы нощи, нощь II. — Утренний свет, 1778, ч. 4, ноябрь, с. 274—277). Представление о друге как о зеркале для самонаслаждающейся личности вошло в сознание Карамзина и его окружения. «Добрым приятелем может быть всякой честный человек, у которого есть уши», — писал Петров Карамзину 5 мая 1785 г. (см. с. 499). Ср. слова Карамзина в «Рыцаре нашего времени» о «милой склонности наслаждаться собою в другом сердце» (Вестн. Европы, 1802, № 13, с. 44).

III

С. 472, 490. *Бюффон* Жорж-Луи-Леклерк (1707—1788) — писатель и естествоиспытатель, автор 36-томной «Частной и общей естественной истории».

С. 472, 490. *...and at the destin'd Hour ... my Woe.* — отрывок из поэмы Эдуарда Юнга «Жалоба, или Ночные размышления о жизни, смерти и бессмертии» ([*Young E.*] The Complaint or, Night-Thoughts on Life, Death and Immortality. Hamburg, 1777, p. 37).

С. 472, 491. *Клопшток* Фридрих (1724—1803) — немецкий поэт, высоко чтимый в предромантических кругах (в частности, в России — в окружении Кутузова), автор поэмы «Мессиада».

С. 474, 492. Come then ... come! — Неточная цитата заключительного стиха «Гимна» из поэмы Томсона «Времена года» («The Seasons») — указано Ю. Д. Левиным. В стихотворном переводе Карамзина: «Молчание! гряди витийственно вникать, Вникать хвалу его!» (*Карамзин Н. М.* Полн. собр стихотворений, с. 74); ср. с. 505 и 690 наст. изд.

‹4›

С. 477. Текст письма опубликован Ф. Вальдманом и Я. Гротом с искажениями. В настоящем издании восстанавливается подлинный порядок расположения строк.

VII

С. 478, 495. *В мае месяце думаю ехать...* — О маршруте путешествия см. с. 536—540.

ЗАМЕТКА

С. 480, 495—496. *По возвращении в Москву я тотчас предприму периодическое издание.* — Решение издавать собственный журнал, таким образом, возникло у Карамзина по крайней мере в середине его заграничного путешествия. Поскольку план этот с самого начала имел антимасонскую направленность, ибо явно означал нежелание сотрудничать с новиковскими издательскими предприятиями, то такое решение могло быть принято лишь после разрыва с Кутузовым. Между тем путешествие, по крайней мере до Франкфурта-на-Майне, совершалось под знаком самых дружеских чувств между Карамзиным и «любезным А*». Относительно того, что разрыв мог произойти в Париже, см. с. 546. Обращает на себя внимание, что именно с этого момента начинается неурядица в датах «Писем русского путешественника»: в письме X Карамзина Лафатеру, помеченном 14 марта 1790 г., он сообщает, что «завтра утром» покидает Женеву, чтобы ехать во Францию. Таким образом, Карамзин покинул Женеву 15 марта. Однако в «Письмах русского путешественника» дата эта сдвинута вперед, причем это сделано с настойчивостью, исключающей случайность. Письмо, помеченное 28 февраля 1790 г., кончается: «Вот последняя строка из Женевы! — *Март 1*». Следующее письмо по-

мечено: «Марта 4, 1790, в полночь». Письмо якобы писано из «Горной деревеньки в Pay de Gez» и сообщает: «Ныне после обеда поехали мы из Женевы» (с. 189). Однако реально Карамзин в это время еще находился в Женеве. Можно предположить, что сдвиг в датах был нужен, чтобы скрыть двухнедельный разрыв во времени «Писем», как мы полагаем, вызванный тайной поездкой в Париж.

X

С. 482, 497. «*Человеческое сердце*» — первый том «Ручной библиотеки для друзей» Лафатера. Сочинение это в продажу не поступало — автор рассылал его своим друзьям.

ПИСЬМА А. А. ПЕТРОВА К Н. М. КАРАМЗИНУ

Письма А. А. Петрова к Н. М. Карамзину неоднократно использовались историками литературы. Впервые на этот источник указал сам Карамзин вскоре после смерти его друга. В «Цветке на гроб моего Агатона» он писал: «Обстоятельства разлучали нас — он писал ко мне — и сии письма (пример чистого слога и зеркало тихой, стройной души) будут всегда храниться близ моего сердца».[1] В дальнейшем Карамзин приступил к подготовке писем Петрова к печати. Планы эти, видимо, следует датировать началом XIX в. С этой целью Карамзин распорядился снять копии с писем Петрова и подверг их стилистической и смысловой правке. Последняя заключалась главным образом в тщательном изъятии всего связанного с масонской терминологией и с намеками на дружескую близость к кружку Новикова. Публикация не состоялась. Что же касается до писем Карамзина к Петрову, то, хотя Карамзин пытался получить их обратно после смерти своего друга, попытки эти не увенчались успехом. 21 марта 1793 г. Карамзин писал Дмитриеву: «Мне очень хочется иметь все бумаги покойного моего друга. Если хочешь обязать меня, то попроси их у брата его Ивана Андреевича. Надеюсь, что он сделает для меня это великое одолжение; а естьли не сделает, то я прошу возвратить мне хотя одни письма мои, которые ни для кого не могут быть интересны. Ты можешь отобрать их и переслать ко мне через почту».[2] Последнее замечание подчеркивало цензурную безобидность переписки, что должно было успокоить И. А. Петрова, видимо, сильно встревоженного тем отсветом неблагонадежности, который бросило на его брата «дело» московских масонов. И. А. Петров поспешил, однако, уничтожить все оставшиеся после брата бумаги, и Карамзин не получил своих писем обратно. Видимо, содержание их было не столь уж невинно, по крайней мере он писал Дмитриеву: «Я доволен, что письма мои сожжены».[3]

Письма Петрова к Карамзину впервые были частично опубликованы Б. Федоровым в альманахе «Памятник отечественных муз» (СПб., 1827, с. 10—24 1-й паг.). Здесь были опубликованы отрывки из писем от 5 мая 1785, 20 мая 1785, 11 июня 1785, 30 июня 1788, 20 сентября 1789 и 19 июля 1792 г. Б. Федорову в это время покровительствовал А. И. Тургенев, и, бесспорно, именно от него публикатор получил эти материалы. Анализ убеждает, что публикация делалась не с оригинала писем, а с копии, правленной рукой Карамзина, которая и по сей день хранится в Тургеневском архиве (Ин-т русской литературы АН СССР). Отметим, забегая вперед, что с той же копии в дальнейшем снимались все последующие копии, использовавшиеся публикаторами этих документов. Сами же оригиналы писем, видимо, погибли вместе с карамзинским архивом в огне московского пожара 1812 г. Это заставляет полагать, что готовившиеся Карамзиным к изданию копии писем Петрова были им переданы Тургеневу еще до 1812 г. Как и Б. Федоров, все дальнейшие публикаторы вносили правку Карамзина в текст писем Петрова.

---

[1] *Карамзин, III*, с. 363.
[2] *Письма к Дмитриеву*, с. 34—35.
[3] Там же, с. 35.

Копия с карамзинской копии позже попала в руки А. Старчевского, который опубликовал значительные выписки из нее в своей книге «Н. М. Карамзин» (СПб., 1849, с. 20—22, 46—47, 115).

В 1863 г. П. Бартенев получил от Я. К. Грота весьма неисправный список этих писем, восходящий все к той же копии. Он считал этот список «полным» и опубликовал его в 1863 г. в «Русском архиве» с примечаниями М. Лонгинова под заглавием «Семь писем от А. А. Петрова Н. М. Карамзину» (с. 473—486). Но уже в 1866 г. Бартенев получил от В. С. Порошина более полные копии, сделанные непосредственно с текстов тургеневского архива. Основываясь на них, «Русский архив» поместил в 1866 г. дополнения к предшествующей публикации под заглавием «Неизданные отрывки из писем А. А. Петрова к Н. М. Карамзину» (Рус. архив, 1866, с. 1756—1763). Не говоря уж о неудобстве такого способа публикации документа, при котором одно и то же письмо оказывается частично напечатанным в 1863, а частично в 1866 г., копии Порошина оказались небрежными и неполными и не дали проверенного текста писем. Более надежные копии использовал М. Погодин, опубликовавший в своей получившей заслуженное признание монографии «Н. М. Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников. Материалы для биографии с примечаниями и объяснениями» (Ч. 1—2. М., 1866) ряд отрывков из этих писем.

Итак, полного и проверенного текста писем А. А. Петрова к Н. М. Карамзину в печати не появлялось.

В 1940 г. В. В. Фурсенко заново открыл в тургеневском архиве Пушкинского Дома (фонд бр. Тургеневых, № 124) переплетенный том с заглавием: «Письма И. И. Дмитриева, К. Н. Батюшкова к А. И. Тургеневу». Тут же — считавшиеся утраченными копии писем Петрова к Карамзину. На основании анализа водяных знаков исследователь установил, что это не оригиналы, а копии, правленные, по его же определению, рукой Карамзина. Копии, видимо, сняты были, судя по водяным знакам, в конце 1790-х гг. Тщательно скрывая свои прошлые (тогда уже, однако, не подвергавшиеся преследованиям) масонские связи, Карамзин поручил переписку не писарю-профессионалу, а кому-то из близких лиц: копия выполнена не писарским почерком. Письма попали к переписчику в спутанном порядке, а он, не разобравшись, переписал их подряд. Затем Карамзин в случаях, когда у Петрова отсутствовали даты, расставил их сам. Делая это по памяти, он иногда ошибался. Так, письмо от 30 июня 1788 г. (год бесспорно датируется на основании упоминаемых в письме реалий) он пометил 1786 г. В дальнейшем, стремясь изъять все, что напоминало о связях с кружком Новикова—Кутузова, он начал вымарывать определенные куски писем, а два листа (с. 13—14 и 19—20 из сохранившегося архивного тома), видимо, сам вырвал. Таким образом, часть писем Петрова дошла до нас в отрывках, что сбивало исследователей, публиковавших их не полностью и в произвольных комбинациях. Подготовленная В. В. Фурсенко публикация не увидела свет по обстоятельствам военного времени.[4]

В 1948 г. Ю. Лотман по поручению Г. А. Гуковского подготовил письма для очередного тома сборника «XVIII век», причем письма были заново сверены с рукописями (удалось прочесть ряд зачеркнутых Карамзиным слов, отмеченных В. В. Фурсенко как неразборчивые) и откомментированы. Однако и это издание не состоялось. В настоящем томе письма впервые публикуются полностью. Восстанавливается текст А. А. Петрова, лежащий под слоем карамзинской правки, а исправления Карамзина даются под строкой.

Хронологическая последовательность писем А. А. Петрова восстанавливается в следующем виде:

№ 1 — от 5 июня 1785 г., из Москвы в Симбирск.
№ 2 — от 20 мая 1785 г., из Москвы в Симбирск.
№ 3 — от 11 июня 1785 г., из Москвы в Симбирск.

---

[4] В. В. Фурсенко скончался в апреле 1942 г. в эшелоне во время эвакуации из Ленинграда. См.: *Лотман Ю.* Василий Васильевич Фурсенко, краткая биографическая справка. — Труды по русской и славянской филологии, 6. Тарту, 1963, с. 296—297. (Учен. зап. Тартуск. гос. ун-та, вып. 139).

№ 4 — от 30 июня 1788 г., из Авдотьина-Тихвинского в Москву.
№ 5 — от 1 августа 1787 г., из Москвы в имение А. А. Плещеева Знаменское.
№ 6 — отрывок без даты, из Москвы в Знаменское.
№ 7 — отрывок без даты, из Москвы в Знаменское.
№ 8 — от 20 сентября 1789 г., из Москвы в Женеву.
№ 9 — от 19 июля 1792 г., из Петербурга в Москву.

Писем Карамзина за время работы его над «Письмами русского путешественника» до нас почти не дошло. Если исключить хорошо сохранившийся корпус его писем к И. И. Дмитриеву, то останутся единичные и малоинтересные письма к брату и несколько разрозненных писем к Державину. Ни эти, ни другие сохранившиеся письма не могут сравниться с письмами Петрова, которые, несмотря на утрату писем Карамзина, вводят нас в самый центр литературной атмосферы в кружке Карамзина—Петрова. Для изучения историко-литературного генезиса «Писем русского путешественника» это источник первостепенной важности.

Карамзин имел основание считать А. А. Петрова своим литературным учителем в 1785—1789 гг., а письма его — важным памятником в истории «нового стиля» языка. Письма показывают, что Петров был прямым предшественником Карамзина в его языковой реформе, но опережал его в эти годы в стилистической гибкости, легко пародируя тексты разных литературных традиций.

1

С. 499. ...*1785 Года.* — Карамзин в 1785 г. приехал из Симбирска в Москву и поселился в доме Типографической компании («Гендриковском доме»), по воспоминаниям И. И. Дмитриева, «у Меньшиковой башни, в старинном каменном доме, принадлежавшем Дружескому обществу» (*Дмитриев И. И.* Соч., т. 2. СПб., 1893, с. 26), в одной комнате с Петровым. В этом же доме жили тогда А. М. Кутузов, С. И. Гамалея и некотрые другие масоны. Летом Карамзин вновь отлучился в Симбирск, что и положило начало его переписке с Петровым.

С. 500. *Иоаннов день* — 24 июня, день Иоанна Предтечи, главный масонский праздник в году, который в новиковском кружке отмечался с неизменной торжественностью.

С. 500. *В рассуждении книжных ... не продается.* — Публикуется впервые. Карамзин не только вычеркнул весь абзац, но и в уже вычеркнутом предпочел выражение «С‹вободных› К‹аменщиков›» густо замазать, чтобы не оставлять в бумагах следов близости к масонству.

С. 500. *«Магазин для С. К.»* — Правильное название: «Магазин свободно-каменщический, содержащий в себе: речи, говоренные в собраниях, песни, письма, разговоры и другие разные краткие писания стихами и прозою; в 7 томах, а каждый том в 3 частях состоящий» (т. 1. М., тип. И. Лопухина, 1784). Вышли в свет ч. 1—2; ч. 3 не была допечатана, когда издание подверглось запрету. Издание не поступало в продажу, а раздавалось масонам на заседаниях лож. Хотя на титуле стоит 1784 г., но книга, как видно, вышла лишь летом 1785 г.

С. 500. ...*Судьба Рел‹игии›...* — Имеется в виду книга: Судьба религии; пророчество, которое осмеяно будет, но исполнится. Посвященное всем разоряющим и назидающим християнство. М., Иждивением Типографической компании, тип. И. Лопухина, 1785.

2

С. 501 ...*обе Типографии заняты печатанием Российского Шакеспира.* — Планы Карамзина заняться в Симбирске переводами Шекспира не привели к реальным результатам. Что из произведений английского драматурга Карамзин собирался переводить. нам также неизвестно. Вышедший без указания имени переводчика текст «Юлий Цезарь, трагедия Виллиама Шекспира» появился лишь в 1787 г. Текст был снабжен предисловием Карамзина. О проблеме «Карамзин и

Шекспир» см. работу П. Р. Заборова в кн. «Шекспир и русская культура» (М.—Л., 1965, с. 70—80). В письмах Петрова Shakespeare передается как «Шакеспир» или «Шакеспер», Карамзин в издании 1787 г. транскрибирует фамилию английского драматурга «Шекеспир», но, редактируя письма Петрова, пользуется как равнозначными «Шакспир» и «Шекспир». Упоминая «обе типографии», Петров имеет в виду находившиеся в распоряжении Новикова московскую университетскую типографию и типографию «Типографической компании». Полуконспиративная «Вольная типография И. Лопухина» обслуживала только издания, предназначенные для внутриорденского распространения, и даже в шутку представить ее печатающей переводы Шекспира было невозможно.

С. 501. *...сообщенную мною Российским детям Историю кофия!* — Отрывок «Разговор между отцом и детьми о кофе» был опубликован А. А. Петровым в редактируемом им «Детском чтении для сердца и разума» (1785, ч. 2, л. № 16, с. 32—33).

С. 501. *...какую связь имеет стих из Св‹ященного› П‹исания› и заключение 16-го листа...* — Стих из священного писания — эпиграф из Евангелия от Иоанна: «Не убо ведяху писания яко подобает ему из мертвых воскреснути». № 16 журнала вышел в свет накануне Пасхи и заканчивался обращением к читателям с призывом о примирении с врагами. Помещение в пасхальном номере статьи о кофе, который считался предметом роскоши, принадлежностью «щегольского» быта, вызвало возражение в масонских кругах. Отказ от публикации предложенной Карамзиным статьи о табаке, видимо, исходил от Н. И. Новикова, отстаивавшего моралистическую направленность журнала. «История табаку» выглядела с этих позиций как слишком «щегольская» и несовместимая с дидактической направленностью журнала.

С. 502. *Виданоль ... чтоб в письмах целые строки вымарывались?* — Подвергая свои письма автоцензуре, ориентированной на вкусы московских масонов, Карамзин, видимо, вымарывал упоминания о своих светских развлечениях в Симбирске, где И. И. Дмитриев застал его «играющим ролю надежного на себя в обществе: опытным за вистовым столом, любезным в дамском кругу и оратором перед отцами семейств» (*Дмитриев И. И.* Соч., т. 2. СПб., 1893, с. 25). Обычно считается, что, переехав с И. П. Тургеневым в Москву, Карамзин резко сменил тип поведения. Прочтение зачеркнутых Карамзиным слов убеждает, что и после его «обращения» звание «ученика» в симбирской ложе не мешало ему поддерживать светские связи. Посылать письма с зачеркиваниями и поправками по эпистолярному этикету XVIII в. при обращении к старшему считалось недопустимой неучтивостью. Посылая письма с помарками, а не переписывая их, Карамзин сознательно создавал графический канон небрежного дружеского письма.

3

С. 502. *Виноват я ... может случиться.* — Публикуется впервые.

С. 502. *Ты пишешь о переводах, о собственных сочинениях, о Шакеспере, о трагических Характерах, о несправедливой Волтеровой критике, равно как о кофие и тобаке.* — Перечень дает представление о содержании утраченных писем Карамзина и о характере его литературных трудов этих лет, до нас не дошедших. В словах «о несправедливой Волтеровой критике» Карамзин, вероятнее всего, имел в виду «Рассуждение о трагедии», опубликованное Вольтером в качестве предисловия к трагедии «Семирамида», или XVIII письмо («О трагедии») из «Писем об англичанах, или философских писем». До сближения с масонами Карамзин испытал влияние вкусов Вольтера. И. И. Дмитриев описывает разговор с Карамзиным в 1784 г.: «„Я, примолвил он, — думаю переводить из Вольтера с немецкого перевода“. — Что же такое? — „Белого быка“. — Как! Эту дрянь, и еще не Вольтерову, а подложную! — вскричал я» (*Дмитриев И. И.* Соч., т. 2. СПб., 1893, с. 25). Об отношении Вольтера к Шекспиру и о влиянии его взглядов по этому вопросу на русскую литературу см.: *Державин К. Н.* Вольтер. М.—Л., 1946, с. 326—333; *Алексеев М. П.* Первое знакомство с Шекспиром в России. — В кн.: Шекспир и русская культура. М.—Л., 1965, с. 24—26. Слова «о кофие и о тобаке» относятся

к статье А. А. Петрова и отвергнутому предложению Карамзина написать «Историю табаку» (см. выше, с. 501).

С. 502. *...под сочинением твоим о Соломоне...* — Характер замысла сочинения о Соломоне, — видимо, аллегорического, — нам неизвестен.

С. 503. *Жени — франц.* Génie. Ср.: «Génie — жени, гений, лично-обособленное дарование, дух великий, творец оригинальный» (определение Я. Галенковского в кн.: Корифей, или Ключ литературы, ч. 1, кн. 4. СПб., 1803, с. 15). Карамзин (выражение в письме Петрова имеет характер полуиронической цитаты из речи Карамзина), как и Галенковский, употребляет «жени» в значении, принятом в языке «бурных гениев» немецкого предромантизма. Подробнее см.: *Лотман—Успенский*, с. 303—305.

С. 503. *...советую тебе читать сочинения ... Вас. Тредиаковского...* — Упоминание Тредиаковского имеет иронический характер, однако свидетельствует об обсуждении и в кружке Петрова—Карамзина языковых проблем. В таком контексте отсылка к «Езде в остров любви» с ее известным указанием в обращении «К читателю» — «Я оную неславенским языком перевел, но почти самым простым Русским словом, то есть каковым мы меж собои говорим» (Сочинения Тредьяковского, т. 3. СПб., 1849, с. 649) — получала вполне серьезный смысл. В обстановке выработки «нового слога» интерес к раннему Тредиаковскому не был единичным и затрагивал весьма актуальные вопросы. Показательно, что в 1778 г. «Езда в остров любви» была переиздана «вторым тиснением».

С. 503. *Мне очень хочется ... давно уже к тебе посланы?* — Публикуется впервые.

С. 503. *...получил ли ты ... Карманную Августинову Псалтирь...* — Карманная псалтирь блаженного Августина. Изд. 3-е. М., Иждивением Типографической комп., Унив. тип., у Н. Н. Новикова, 1785.

4

С. 504. *Третьего дни ... того надобно чем нибудь наказать.* — Публикуется впервые.

С. 504. *...два дни осталось до вторника.* — Вторник и пятница были «почтовые дни», дни отправления почты.

С. 504. *...письмо твое к Лафатеру...* — См. с. 470—472.

С. 504. *Батте* Шарль (1713—1780) — член Французской академии, один из авторитетов позднего классицизма, автор «Курса изящной словесности» («Cours de belles lettres», 1765).

С. 504. *Азмус* (Асмус) — псевдоним Маттиаса Клаудиуса (1740—1815), писателя из группы «геттингенских поэтов». В 1771—1775 гг. издавал «Вендебекский вестник», в котором сотрудничали Клопшток, Гердер, Гете; в 1775—1812 гг. — «Собрание сочинений Вандбекского вестника». Борясь с французским влиянием, пропагандировал идею народной литературы. Ряд его песен вошел в фольклорный репертуар.

С. 504. *Фенелон, Аддисон, Геллерт* — Франсуа Фенелон (1651—1715) — французский писатель, моралист и церковный деятель, автор «Приключений Телемака» (1699), трактатов и речей; Джозеф Аддисон (1672—1719) — английский писатель-просветитель, совместно с Р. Стилом издавал моралистический журнал «Зритель» («The Spectator»); Христиан Геллерт (1715—1769) — немецкий писатель, автор «Духовных од и песен» («Geistliche Oden und Lieder», 1757) и «Басен и рассказов» («Fabeln und Erzählungen», Bd 1—2, 1746—1748). Петров противопоставляет простоту и безыскусственность — требование, выдвигаемое предромантической эстетикой, — простонародности.

С. 504. *«История Аглицкова милîорда Георга»* — роман М. Комарова «Повесть о приключении аглинского милорда Георга и бранденбургской маркграфини Фридерике Луизе. Изданная М. К.». К моменту, когда Петров упоминал это произведение, оно было уже издано три раза (1782, 1785 и 1786).

С. 504. ...*п о д и к о т ы*... — По-видимому, Карамзин зачеркнул «ты» потому, что в таком сочетании это воспринималось как ругательство.

С. 505. *Пьяные мужики ... находятся в н а т у р е; но я не пожелал бы читать живого оных описания*... — Ср.: *Письма к Дмитриеву*, с. 39.

С. 505. ...*Шакеспер был величайший Génie; но ... его трагедии не так мне нравятся, как Эмилия Галотти.* — Противопоставление Лессинга и Шекспира, видимо, не встретило сочувствия со стороны Карамзина — в его развернутой рецензии на «Эмилию Галотти» (Моск. журн., 1791, ч. 1, кн. 1, с. 62—79) не обнаруживается следов этой мысли.

С. 505. *А. И.* — видимо, Алексей Иванович Новиков (1749—1799), масон, брат Н. И. Новикова.

С. 505. *Что перемена воздуха ... сердцу*... — Публикуется впервые.

5

С. 505. [*Не нужно указывать*] — Примечание Карамзина, которое первоначально начиналось с зачеркнутых слов: «Не нужно указывать», свидетельствует, что Карамзин в эти годы плохо владел церковнославянской лексикой: зная значение глагола «истязать», сохранившееся в современном ему русском языке («мучить»), он не уловил стилистически высокого («вопрошать», «испытывать»). Возможно, однако, что Карамзина не удовлетворяло стилистическое использование славянизма в ироническом контексте.

С. 506. ...*для сретения солнца*... — Всенощное бдение и встреча солнечного восхода были частью ритуала масонского празднования Иоаннова дня; см. с. 687.

С. 506. ...*от И. П. подробнее узнаешь!* — В архиве И. П. Тургенева (ф. бр. Тургеневых, Ин-т русской литературы АН СССР) хранится рукопись «Тихвинский праздник», посвященная описанию этого праздника.

С. 506. ...*на всякую приятность можно щитать по десяти неприятелей.* — Заменяя «неприятелей» на «неприятностей», Карамзин сглаживал намек на конкретные обстоятельства гонений на московских масонов.

С. 506. *А. А.* — Алексей Александрович Плещеев, близкий друг Карамзина.

С. 506. *Чистые Пруды внемлютли Гимну Томсонову*... — Имеется в виду окончание поэмы Томсона «The Seasons», которое Карамзин опубликовал в «Детском чтении» (1789, ч. 18, с. 151) под названием «Гимн». Там же (1787, ч. 10—12) публиковался прозаический перевод поэмы Томсона «Времена года», видимо, выполненный Карамзиным. На Чистых прудах, в Кривоколенном переулке, находился дом Типографической компании.

С. 506. ...*письмо к Лаватеру с Луидором*... — См. с. 474.

С. 506. ...*подать трубку*... — Карамзин вычеркнул «подать трубку» как слишком «вольную» и неудобную в печати деталь. Б. В. Томашевский, объясняя причины, по которым еще в 1810-е гг. стих из «Опасного соседа» В. Л. Пушкина

Пришел, — и понесло повсюду табаком...

звучал более выразительно, чем появившийся в более поздних списках, — «...и понесло повсюду кабаком», — писал: «Не следует забывать, что в начале XIX в. курение табаку не было распространено в такой степени, как впоследствии, и пахнуть табаком было знаком дурного тона» (Ирои-комическая поэма. Л., 1933, с. 737).

С. 506. *И я стихи писал*... — Петров, ценимый Карамзиным за стиль его прозаических переводов, стихов не писал.

С. 506. *Гратуляция* — поздравление.

С. 506. *Случайные стихи* — стихи «на случай», поздравительные стихи, приуроченные к какой-либо дате.

С. 506. *Н. Л. С.* — Николай Ларионович Сафонов, масон, член кружка Новикова.

С. 507. *А. М.* — Алексей Михайлович Кутузов (см. с. 618). Письмо Кутузова, которое читал И. П. Тургенев, — видимо, отправленное 20 (31) мая 1788 г. из

Берлина и полученное 9 июня в Москве. В нем Кутузов, в частности, писал: «Я еще более узнал о себе со времени нашей разлуки и нахожу себя изрядным каменьщиком, не имеющим, однако же, ни малейшей способности быть архитектором. Умею говорить о порядке, но не умею наблюдать оный. Кратко сказать, я не умею думать сам собою, мысли мои рождаются не прежде как при дружеской беседе. Но таковое свойство означает великий недостаток, ибо таковые мысли редко бывают беспристрастны, но всего чаще суть они плод какой ни есть кроющейся во мне страсти, и отдаленное действие того расположения, в котором нахожусь с беседующей со мною особою <...> Ах, мой друг, нередко воздыхаю я, видя мое странное состояние, голова моя бывает почти всегда пуста; мысли рождаются и исчезают мгновенно...» (Письма А. М. Кутузова И. П. Тургеневу. Подгот. текста и примеч. В. В. Фурсенко. — Учен. зап. Тартуск. гос. ун-та, 1963, вып. 139, с. 313). Настроения эти были близки Петрову, также переживавшему период сомнений.

6

Публикуется впервые. Начало письма утрачено вместе с вырванной страницей рукописного тома (с. 13—14). Упоминание жизни Карамзина в деревне и писем, полученных от Кутузова (к концу 1790 г. переписка Карамзина с Кутузовым замирает, а отношения между ними делаются недвусмысленно недоброжелательными), заставляет отнести письмо предположительно к 1789 г. (до поездки за границу).

С. 507. *Письмо ... от самого писавшего.* — Лицо не установлено.

С. 507. *П. Ф. К. ... Внимай и уразумей!!!* — Характерное свидетельство охлаждения между Карамзиным и масонами. «П. Ф. К.» — явная описка вместо Ф. П. К<лючарев>. Еще 20 апреля 1787 г. Карамзин в письме Лафатеру, характеризуя русскую литературу, назвал лишь три имени: Хераскова, Новикова и Ключарева, которого именовал «поэтом-философом» (см. с. 468). Накануне отъезда за границу отношения, видимо, достигли критической точки.

С. 507. *...хотя и я ... жив; но окончить сии старой дедовской формы не могу...* — Упоминание Петровым своей болезни также говорит в пользу того, что письмо писано накануне отъезда Карамзина за границу. В «Цветке на гроб моего Агатона» Карамзин относит болезнь Петрова ко времени своего путешествия: «Сердце мое замерло, когда я увидел Агатона. Долговременная болезнь напечатлела знаки изнеможения на бледном лице его» (*Карамзин, III*, с. 365).

С. 507. *...Абдеритской мой сенатор...* — Абдериты — сатирический образ народа глупцов из романа Виланда «Абдериты» («Abderiten», 1774). Материальные трудности заставили Петрова искать секретарского места. Имя московского сенатора, секретарем которого Петров был до того, как переехал в Петербург и поступил на аналогичную должность к Державину (вероятно, по протекции Карамзина—Дмитриева), неизвестно.

7

Конец письма, начало которого отсутствует (с. 19—20). Письмо хронологически близко к предшествующему и написано до заграничного путешествия Карамзина (в публикации «Русского архива» ошибочно включено в начало письма от 20 сентября 1789 г., посланного Петровым в Женеву. Письмо обращено к Карамзину, живущему в деревне (видимо, у Плещеевых в Знаменском).

С. 508. *И я начал, по приказанию, нечто писать.* — Отношения Петрова с масонскими руководителями к 1789 г. сделались достаточно сложными: с одной стороны, как свидетельствует это письмо, он продолжал выполнять поручения, которые ему давал, вероятно, его масонской руководитель Н. И. Новиков; с другой — он явно отходил от идеалов масонства. Видимо, в это время Карамзин и дал ему дружеское прозвище «Агатон» по имени героя Виланда, который расстался с мистицизмом, найдя противоядие в сатире и скептицизме.

8

С. 509. *Четыре уже месяца ... живши с тобою.* — Этот отрывок был опубликован Карамзиным в «Цветке на гроб моего Агатона». Характер стилистической обработки, которой подверглось письмо под пером Карамзина, весьма показателен для его языковой позиции в начале 1790-х гг.: «Воспоминание о тебе (писал он ко мне в Женеву) есть одно из лучших моих удовольствий. Часто путешествую за тобою по ландкарте; расчисляю, когда куда мог ты приехать, и сколько где пробыть; взбираюсь с тобой на высокие горы, воображаю тебя бродящего по прекрасным местам, или сидящего в кабинете какого-нибудь Ученого. Усердно желаю, мой любезный друг, чтобы везде встречались тебе такие люди, которых знакомство и воспоминание возвышало бы удовольствия, находимые тобою в наслаждении прекрасною Природою, и утешало бы тебя в неприятном опыте, что везде есть зло. Могу себе представить, что сей опыт часто тебя огорчает и приводит в такое грустное расположение, в каком я видал тебя, живши с тобою» (*Карамзин, III*, с. 364).

С. 509. *Я не ожидаю от тебя подробных описаний твоего путешествия...* — Это место в письме Петрова — одно из основных доказательств того, что Карамзин не писал во время путешествия обстоятельных писем друзьям и что, следовательно, «Письма русского путешественника» — позднейшее литературное произведение, а не факт реальной переписки (см.: *Сиповский*, с. 149—158).

С. 509. *Я опасаюсь проезда твоего через Францию...* — Из этого исключительно существенного известия вытекает, что по предварительному плану, составленному друзьями в Москве, Карамзин должен был посетить Францию после Швейцарии. Этому противоречит сообщение в «Письмах русского путешественника», согласно которому у Карамзина существовал заранее обдуманный план направиться из Германии в Париж и лишь зрелище уличных беспорядков в Страсбуре заставило его переменить маршрут. Такое освещение событий, изложенное намеком в печатном тексте «Писем» и более определенно в «Spectateur du Nord», видимо, не соответствует действительности: план отправиться в Париж через Страсбур был дорожной импровизацией, нарушавшей первоначальный маршрут. План этот, вероятно, возник во время пребывания Карамзина во Франкфурте на Майне, где он узнал о начале французской революции.

С. 509. *...поехал недели через две после твоего отъезду...* — В начале июня 1789 г.

С. 509. *Детское чтение намерен я наполнить ... из Кампова Теофрона.* — См. с. 638.

С. 509. *Все наши знакомые ... желают тебе всякого добра.* — Упоминание в числе лиц, которым Карамзин передавал приветы из-за границы и которые отвечали ему теплым участием, С. И. Гамалеи особенно интересно. А. И. Плещеева, сообщая А. М. Кутузову о путешествии Карамзина, писала: «К счастию, что не все, например, вы знаете причины, которые побудили его ехать. Поверите ль, что я, из первых плакав перед ним, просила его ехать; друг ваш Алексей Александрович Плещеев — второй; знать, что сие было нужно и надобно ‹...› Да, таковы были обстоятельства друга нашего, что сие непременно было должно сделать. После этого скажите, возможно ли мне было и будет любить злодея, который всему почти сему главная причина? ‹...› А того, кто причиной сего вояжу, вообразить без ужаса не могу, сколько зла я ему желаю! О, Тартюф!» (*Барское*, с. 5—6). Первый публикатор этого письма считал, что здесь подразумевается С. И. Гамалея (см.: Рус. старина, 1874, янв., с. 65), однако Барсков позже выразил в этом сомнение (*Барсков*, с. 289). Публикуемое письмо позволяет окончательно снять это предположение.

С. 509—510. *...Ленц ... живет ... в том же домике ... но мы всякой день с ним видимся.* — Фраза показательна для тех натянутых отношений, которые в эту пору установились между Петровым и московскими масонами, — из нее следует, что проживание Ленца в доме Типографической компании могло рассматриваться как препятствие для частых свиданий с ним.

9

С. 510. *Благодарю ... за присылку последнего месяца Журнала.* — Петров имеет в виду майский номер «Московского журнала».

С. 510. *...Иоганн Иакоб Ленц отошел уже в землю отцев наших.* — Ленц скончался в Москве 24 мая 1792 г.

С. 510. *Может быть некогда ... тонкая влага его ... составит новый источник, чистый и приятный, как источник Бландузской...* — Высказанная здесь Петровым идея метампсихоза не была характерна для масонской мифологии. Источником ее, возможно, являются индуистские представления, интерес к которым характерен для Петрова, опубликовавшего в 1788 г. в типографии Н. Новикова книгу: «Багуатгета, или беседы Кришны с Аржуном с примечаниями, переведенными с подлинника на древнем браминском языке, называемом Санскрита, на английский, а с сего на российский язык». Источник Бландузский — родник, к которому обращена 13-я ода из книги третьей од Горация.

С. 510. *...с Историею Российской торговли...* — Видимо, имеется в виду «Историческое описание российской коммерции при всех портах и границах от древних времян до ныне настоящего и всех преимущественных узаконений по оной государя имп. Петра Великого и ныне благополучно царствующей государыни императрицы Екатерины Великия», сочиненное Михаилом Чулковым (т. 1—7. СПб., 1781—1788). Работа над этой книгой, надо думать, была связана с выполнением Петровым его секретарских обязанностей у Державина.

С. 510. *Что я разумел под человекоугодничеством ... теперь право сам не знаю.* — Имеется в виду статья «Разные отрывки (Из записок одного молодого Россиянина)» (Моск. журн., 1792, ч. 6, с. 65—73). Статья принадлежит Карамзину (см.: *Виноградов В. В.* Проблема авторства и теория стилей. М., 1961, с. 246—323). «Человекоугодничеством» Петров мог назвать пункт 10-й, содержащий элементы скептического сенсуализма («На систему наших мыслей сильно действует обед...»). Отрицательное отношение Петрова к этому отрывку не было учтено В. В. Виноградовым при определении позиции «Московского журнала» в указанной работе. Показательно одновременное положительное отношение к «Бедной Лизе».

С. 511. *Львов ... превесьма доволен твоими примечаниями на его стихи...* — Речь идет о стихотворении Н. А. Львова (1751—1803) «К лире» («Как луч во тьме...») (Моск. журн., 1792, ч. 6, с. 227).

С. 511. *...в каких ныне обстоятельствах Сочинитель Гимна «Ходящему на крыльях»...* — Речь идет о Д. И. Дмитриевском, молодом московском поэте-масоне из новиковского кружка. Его стихотворение — «Гимн» (Моск. журн., 1792, ч. 6, с. 235—237). Называя стихотворение «Гимном ходящего на крыльях», Петров иронически намекает на следующие стихи Дмитриевского:

Тебя торжественно ходяща
Мы зрим на ветреных крылах.

Участь Дмитриевского волновала Петрова в связи с репрессиями против московского кружка масонов.

С. 511. *Лиодор твой ... спит... Не пора ли разбудить его?* — «Лиодор» — неоконченная повесть Карамзина (Моск. журн., 1792, ч. 5, с. 305—335).

С. 511. *...не сыщется ли у тебя ...помощника для перевода последней Мармонтелевой сказочки...* — Карамзинские переводы «Вечеров» из сборника «Нравственных рассказов» («Contes moraux», 1761) Жана Франсуа Мармонтеля (1723—1799) начали появляться в «Московском журнале» с мартовского номера 1791 г. В 1794—1798 гг. вышли отдельным изданием: «Новые Мармонтелевы повести». Переводчиком был Карамзин. Позже переиздавались в 1798, 1815, 1822 и 1835 гг.

С. 511. *Коцебу* Август Фридрих (1761—1819) — немецкий писатель и драматург. Петров проявлял интерес к творчеству Коцебу и перевел для «Московского журнала» его повесть «Прогулка арабского философа Аль Рашида» (1792, ч. 6, с. 17—22). О переводе Коцебу Державина см.: Моск. журн., 1792, ч. 7, с. 377.

С. 511. *Гаврила Ром.* — Державина.

С. 511. *Касательно сочиняемых здесь водопадов...* — Имеется в виду стихотворение Державина «Водопад».

С. 511. *...стихи «К милости», как они сперва были написаны.* — Стихотворение Карамзина «К милости» (Моск. журн., 1792, ч. 6, с. 117) представляло собой смелое выступление в защиту Новикова и его соратников. Рукописный вариант, — видимо, еще более решительный, — до нас не дошел; однако, как свидетельствует письмо Петрова, в литературных кругах он был известен.

С. 512. *О Петербургском Зрителе, что сказать, не знаю.* — Имеется в виду журнал «Зритель, ежемесячное издание 1792 года», печатавшийся в типографии Крылова «с товарищи». Основными издателями были Крылов и Клушин. Издания Крылова вели систематическую полемику с Карамзиным, которая последнего больно задевала, хотя он и подчеркивал свое якобы презрительно-равнодушное отношение к этим выпадам. См.: *Письма к Дмитриеву*, с. 26, 28, 33 и др.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН *

* Аннотации даются к именам, упомянутым в основном тексте и непрокомментированным в примечаниях.

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

При отборе иллюстраций составители отдавали предпочтение тем, которые так или иначе несут на себе печать вкусов Карамзина или непосредственно связаны с его впечатлениями во время заграничной поездки. Прежде всего следует выделить группу иллюстраций, лично одобренных Карамзиным. Это относится к фронтисписам немецких изданий «Писем русского путешественника» (изд. 1-е — Лейпциг, 1800; 2-е — 1802). Рисунки для этих иллюстраций выполнил Фридрих (в России — Федор Федорович) Кюнель (1766—1832), который в 1800-х гг. служил учителем рисования в Московском университете и рисовал портреты для издаваемого Карамзиным при посредстве П. Бекетова «Пантеона российских авторов». Он же рисовал портрет Карамзина для немецкого издания «Писем». Все эти иллюстрации можно считать как бы авторизованными Карамзиным.

Гравер Иоганн Генрих Липс (1758—1817) — художник из ближайшего окружения И. К. Лафатера, и очень возможно, что Карамзин с ним познакомился в Цюрихе, где Липс жил постоянно, хотя в 1789 г. подолгу бывал в Веймаре, куда был приглашен профессором рисования. По крайней мере Карамзин, конечно, видел в доме Лафатера писанный Липсом масляный портрет хозяина, гравированный вариант которого воспроизводится нами в настоящем издании. Выбор Липса в качестве гравировальщика, безусловно, согласован с Карамзиным, если не целиком ему принадлежит.

Вторую большую группу составляют иллюстрации к парижскому путешествию Карамзина. Здесь следует отметить группу карикатур и гравюр той эпохи, очевидная близость которых к текстам «Писем русского путешественника» позволяет утверждать, что они привлекли внимание Карамзина в Париже. Они дополнены современными путешествию Карамзина портретами и гравюрами.

Из иконографии Карамзина выбраны портреты, хронологически близкие ко времени путешествия и создания «Писем русского путешественника». Подбор иллюстраций осуществлен Ю. М. Лотманом.

1. Н. М. Карамзин. Художник Ф. Кюнель, гравер И.-Г. Липс. Портрет выполнен для издания «Briefe eine reisenden Russen» (Leipzig, 1799—1800). (*Фронтиспис*).

2. Wer seid Ihr? (Кто вы? — *нем.*). Фронтиспис к книге «Briefe eines reisenden Russen» (Bd 1. 2. Ausg., Leipzig, 1802). Худ. Ф. Кюнель, гравер И.-Г. Липс. (*С. 15*).

3. Молодой Карамзин. Миниатюра на кости неизвестного автора. Литературный музей (Москва). (*С. 32*).

4. Иммануил Кант. Худ. К. Штоббе, гравировали И.-М. Прейслер и К. Гейер. Гравюра конца 1780-х гг. воспроизводит облик Канта времени посещения его Карамзиным. (*С. 33*).

5. И. В. Гете. Мраморный бюст работы А. Триппеля. Рим, 1787—1788. Этот бюст, трактующий Гете не как «бурного гения», а как «великого эллина», отражал новую культурную ориентацию немецкого поэта, писавшего по поводу этого изобра-

жения: «Я не против, чтоб в мире осталось представление, что именно таков был мой облик». Примечательно, что эта новая самооценка Гете была чутко уловлена Карамзиным, отметившим в «Письмах» «важное греческое лицо» Гете. (*С. 78*).

6. И. К. Лафатер. Этот портрет, созданный И. Липсом, находился в кабинете Лафатера; Карамзин видел его. Воспроизводится по рисунку И.-Г. Липса (гравировал И. Штёбер), приложенному к «Физиогномическим этюдам» Лафатера в качестве фронтисписа (*Lavater J. C.* Physiognomik, zur Verförderung der Menschenkenntniß und Menschenliebe, Bd 4. Wien, 1829). (*С. 107*).

7. Du bist sehr glücklich, mein Freund! (Ты очень счастлив, мой друг! — *нем.*). Фронтиспис к книге «Briefe eines reisenden Russen» (Bd 3. Leipzig, 1800). Поскольку иллюстрации авторизованы Карамзиным, можно думать, что фигура путешественника близко воспроизводит костюм автора во время заграничной поездки. (*С. 141*).

8. Ж.-Ж. Руссо. Художник Ж.-Г. Тараваль. (*С. 151*).

9. Зарисовки А.-Л. Жироде-Триозона уличных эпизодов в Париже в июне 1789 г.: голова Фулона на пике (вид сзади и в профиль, рот заткнут сеном); голова маркиза де Лоней, коменданта Бастилии, на вилах; голова и сердце коменданта дворца Бертрана де Совиньи на пиках. Кабинет эстампов Жироде (Париж). (*С. 155*).

10. «Тут молодой растрепанный *франт* встречается с пожилым, нежно-напудренным *петиметром*, смотрит на него с усмешкою, и подает руку оперной певице» (Париж, Апреля.... 1790, с. 220). Гравюра Шатинье. Подписи: «Какая древность!», «Какая безумная новизна!» (*С. 221*). № 10—17 относятся к эпохе путешествия Карамзина.

11. Щеголь и модница времен Французской революции. С акварели Дебюкура, коллекция музея Карнавале (Париж). (*С. 223*).

12. Пробуждение третьего сословия. Сатирический эстамп. (*С. 227*).

13. Разрушение замка Бастилии парижским народом летом 1789 г. (*С. 228*).

14. Максимилиан Робеспьер. С медали. (*С. 229*).

15. «...Приходи к Пале-Рояль *диким Американцем*, и через полчаса будешь одет наилучшим образом, можешь иметь богато украшенный дом... и естьли угодно, цветущую Лаису, которая всякую минуту будет умирать от любви к тебе» (Париж, Маия..., с. 250). Костюмы и моды времен революции. Гравюра Дарсиса по рисунку К. Верне. (*С. 249*).

16. Мирабо. С портрета Моро гравировал Одуан. (*С. 318*).

17. Возвращение аббата Мори к отцу. Подпись под окном: «Браво, браво! Этот .... давно уже сделался негодяем!». (*С. 320*).

18. Карамзин в 1800-е гг. Акварель художника Молинари. Литературный музей (Москва). (*С. 336*).

19. С. Р. Воронцов. Портрет маслом, исполненный Ричардом Эвансом, гравирован А. Вегером; приложен к «Архиву кн. Воронцова» (Т. 9. М., 1876). (*С. 337*).

СОДЕРЖАНИЕ

Николай Михайлович
К а р а м з и н

ПИСЬМА РУССКОГО
ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Утверждено к печати
Редколлегией серии «Литературные памятники»
АН СССР

Редактор издательства *Е. А. Смирнова*
Художник *М. И. Разулевич*
Технический редактор *Р. А. Кондратьева*
Корректоры *О. В. Олендская, Н. З. Петрова*
и *Г. И. Тимошенко*

ИБ № 20105

Сдано в набор 15.06.82. Подписано к печати 09.01.84. М-19303. Формат $70 \times 90^1/_{16}$. Бумага типографская № 2. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Усл. печ. л. 52.65 + 0.42 вкл. Усл. кр.-отт. 54.18. Уч. изд. л. 53.58. Тираж 100 000 (1 завод 1—30 000). Тип. зак. 1520.
Цена 6 р. 70 к.

Ленинградское отделение издательства «Наука»
199164, Ленинград, В-164, Менделеевская лин., 1

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая типография издательства «Наука»
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «НАУКА»
МОЖНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАКАЗАТЬ
В МАГАЗИНАХ КОНТОРЫ «АКАДЕМКНИГА»

*Для получения книг почтой
заказы просим направлять по адресу:*

117192 Москва, В-192, Мичуринский пр., 12.

Магазин «Книга — почтой»
Центральной конторы «Академкнига»;

197345 Ленинград, П-345, Петрозаводская ул., 7.
Магазин «Книга — почтой»
Северо-Западной конторы «Академкнига»,

220012 Минск, Ленинский пр., 72 («Книга — почтой»);
103009 Москва, ул. Горького, 8;
117312 Москва, ул. Вавилова, 55/7;
630076 Новосибирск, Красный пр., 51;
630090 Новосибирск, Академгородок, Морской пр., 22 («Книга — почтой»);
142292 Пущино Московской обл., МР «В», 1;
620151 Свердловск, ул. Мамина-Сибиряка, 137 («Книга — почтой»);
700029 Ташкент, ул. Ленина, 73;
700100 Ташкент, ул. Шота Руставели, 43;
700187 Ташкент, ул. Дружбы народов, 6 («Книга — почтой»);
634050 Томск, наб. реки Ушайки, 18;
450059 Уфа, ул. Р. Зорге, 10 («Книга — почтой»);
450025 Уфа, Коммунистическая ул., 49;
720001 Фрунзе, бульв. Дзержинского, 42 («Книга — почтой»);
310078 Харьков, ул. Чернышевского, 87 («Книга — почтой»).